VISIT…

LANZAROTE
Caliente.COM

А. ДЖ. ТОЙНБИ

ПЕРЕЖИТОЕ

МОИ ВСТРЕЧИ

A. J. TOYNBEE

EXPERIENCES

ACQUAINTANCES



А. ДЖ. ТОЙНБИ

ПЕРЕЖИТОЕ

МОИ ВСТРЕЧИ



МОСКВА
АЙРИС ПРЕСС
2003

УДК 82-94
ББК 63.3(2)6-8
Т50

Переводчики: *М. Ф. Носова, Н. А. Кудашева*

Научный комментарий: *к. и. н. Д. Э. Харитонович*

Оформление *А. М. Драгового*

Тойнби А. Дж.

Т50 Пережитое. Мои встречи / Пер. с англ. — М.: Айрис-пресс, 2003. — 672 с. + вклейка 8 с. — (Библиотека истории и культуры).

ISBN 5-8112-0076-5

В книгу включены воспоминания знаменитого английского историка А. Дж. Тойнби о его насыщенной событиями восьмидесятилетней жизни.

Учеба, а затем преподавательская деятельность в престижных колледжах Оксфорда, поездки по «горячим точкам» мира, работа в Королевском институте международных отношений, участие в качестве консультанта и помощника британских государственных деятелей во многих международных конференциях, встречи с первыми лицами мировой политики (Ллойд Джорджем, А. Гитлером, Дж. Неру, М. К. Ататюрком и др.), а также людьми, работавшими «за кулисами истории» (Лоуренсом Аравийским, лордом Брайсом, профессором Лютославским и др.) — все это представляет немалый интерес для современного читателя.

Книга «Мои встречи» (Acquaintances. Oxford University press, 1967) впервые публикуется на русском языке. Книга «Пережитое» (Experiences. Oxford University press, 1969) публикуется по изданию: «Прогресс», М., 1994.

ББК 63.3(2)6-8
УДК 82-94

© Носова М. Ф., перевод, 1994
© Харитонович Д. Э., научный комментарий, 1994
© Перевод на русский язык, научный комментарий, оформление, Айрис-пресс, 2003

ISBN 5-8112-0076-5

EXPERIENCES

ПЕРЕЖИТОЕ



...Выходит человек на дело свое
и на работу свою до вечера.

Псалтырь, псалом 103, стих 23



ПРЕДИСЛОВИЕ

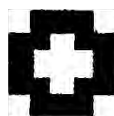
Эта книга — продолжение книги «Мои знакомства», вышедшей в издательстве «Оксфорд юниверсити пресс» в 1967 году. В той, первой книге я пишу о других людях, а сам фигурирую лишь тогда, когда представляю моих знакомых читателю. В первой части «Пережитого» я сам предстаю и объектом рассказа, и рассказчиком. Во второй части я выступаю в роли наблюдателя и оценщика, но не отдельных личностей, как в «Знакомствах». Эта вторая часть настоящей книги представляет собой обзор тех перемен, которые произошли в мире на моей памяти, и мои комментарии к ним.

Соединение трех обстоятельств дало мне шанс оказаться на моем веку свидетелем бо́льшего числа событий, нежели человеку обычно приходится наблюдать на протяжении восьмидесяти лет. Я родился и вырос в Англии; родился в 1889 году и не был пригоден к действительной военной службе в Первую мировую войну благодаря счастливой случайности, о которой я рассказываю во второй главе первой части книги. Не многие страны претерпели такую перемену в своей судьбе, как Британия между 1889 и 1969 годами. Я достаточно стар, чтобы помнить Британию, какой она была в период расцвета викторианства, а в августе 1914 года я уже занимался работой взрослого человека. Эта первая глава моей взрослой жизни могла бы оказаться также и последней, если бы я сражался на полях Первой мировой войны. Она оказалась последней главой для огромного числа моих современников по обе стороны фронта. Очень вероятно, что меня бы убили в 1915 или 1916 году. Мне же выпало прожить еще более полувека после этих убийственных лет. И мне было суждено стать свидетелем ранних стадий мирового кризиса, который начался в 1914 году и который с тех пор неуклонно набирает силу и скорость. Едва ли я доживу до развязки, но перед моим взором развернулось уже достаточно актов этой исторической драмы, чтобы захотелось попробовать составить предварительный баланс мировых событий, свершившихся за годы моей жизни, пока я еще жив и нахожусь в здравом уме.

То, что содержится в Приложении к настоящей книге, писалось на протяжении шести десятилетий (1907—1966). Остальная

книга (то есть почти вся) написана в последние годы, начиная с 1964-го, когда я завершил «Януса в 75 лет». Первые пять глав первой части были написаны летом 1965 года, в то же самое время, что и «Знакомства»; шестая и восьмая главы — в 1966 году, девятая глава — в 1966—1968 годах. Вторая часть была начата в январе и закончена в мае 1968 года. До намеченной даты издания — весны 1969 года — еще остается время, в течение которого нынешний мировой кризис сможет пройти еще через несколько стадий. Как бы там ни было, в мае, когда писались эти строки, он продолжал набирать скорость.

23 мая 1968 года
Арнольд Тойнби





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СУДЬБЫ



1. ОТЪЕЗД В ШКОЛУ

Обычай отсылать детей в школы-интернаты — это типично английский обычай, причем типичен он лишь для «высших» и «средних» классов общества. Для большинства английских семей он не по средствам, ибо стоит это очень дорого, если только ребенку не удается получить стипендию, как это произошло со мной и моей будущей женой. В Шотландии, где уровень образования выше, чем в Англии, для всех классов общества отсылать детей в школы-интернаты — дело исключительное, так же как и в континентальной Европе и Соединенных Штатах. Моя невестка-американка и слышать не хочет о том, чтобы поместить моего внука в школу-интернат. В самом деле, принятой во всем мире формой обучения является обычная школа, в которую ребенок ходит каждый день, — так называемая дневная школа, и для чувствительного ребенка, с тонким восприятием, оказаться в школе-интернате — это настоящая пытка. Сторонники школ-интернатов, конечно, считают, что как раз чувствительных детей и следует в них помещать, ибо, если они хотят когда-либо в будущем твердо стоять на собственных ногах, им надо приобретать «толстую кожу».

Я никогда не забуду того, что я пережил, когда, будучи около десяти лет от роду, услышал от родителей, что они собираются отослать меня начиная с летнего семестра в школу-интернат. Я, как сейчас, вижу кресло, которое стояло у нас в гостиной в доме номер 12 по Верхней Уэстборн-Террас, сидящую в кресле мать и себя, как я стою перед ней, словно пораженный громом. Надо мной нависло непредвиденное, непостижимое и неотвратимое несчастье, ибо летний семестр был не за горами. Мои родители признались, что откладывали этот разговор со мной, потому что не могли вынести

мысли о том, каким это будет для меня ударом и как я буду страдать. Действительно, я вдруг потерял почву под ногами. До этого момента я чувствовал себя уверенно и в полной безопасности. С тех пор я никогда больше не испытывал того райского состояния. Может быть, это и нехорошо, когда человек чувствует себя уверенно и в полной безопасности; может быть, должна оставаться какая-то частица неуверенности в качестве стимула, если хочешь добиться чего-нибудь в жизни. Лично я в этом сомневаюсь, ибо в свое время я вошел в жизнь своей дневной школы с рвением и восторгом. Я знал в лицо и по именам всех других мальчиков и получал огромное удовольствие от игр на школьной площадке. Площадка для игр выходила на Гранд-Джанкшен-Канал, а сама школа помещалась в одном из тех оштукатуренных в итальянском стиле домов периода средневикторианской эпохи, которые еще сохранились кое-где между Паддингтоном и Риджентс-парком.

Судьба моя была решена, когда моя мать получила небольшое наследство, как раз после того, как директор моей дневной школы, называвшейся Уорик-Хаус, передал ее своему брату, решив открыть школу-интернат в Вутгон-Корте, в графстве Кент. Наследства не хватало на то, чтобы оплатить целиком весь двух- или трехгодичный курс обучения в интернате, но директор Уорик-Хауса сообщил своему брату, что у меня есть немало шансов получить стипендию в одной из привилегированных частных школ, называемых «паблик скул»[1]; если я выдержу экзамен на такую стипендию, то это будет хорошей рекламой для Вуттон-Кортской школы, и директор Вуттон-Кортской школы готов был взять меня, сделав скидку в оплате.

День начала занятий был для меня как день казни для приговоренного к смерти узника. Страшный момент приближался с ужасающей быстротой, и моя агония достигла предельной точки; причем так было не только в первый раз. Это происходило три раза в год в течение шести лет по меньшей мере — фактически три года в Вуттон-Корте и не менее двух с половиной — трех лет в Уинчестере, куда я попал после Вуттон-Корта. Я с начала и до конца занимал в отношении школы-интерната оборонительную позицию и без энтузиазма думал об университете. Я почувствовал себя снова совершенно счастливым — таким, каким был, когда учился в обычной школе, — только тогда, когда стал студентом Британской археологической школы в Афинах в 1911—1912 годах. К этому времени мне было уже двадцать два — двадцать три года. Именно в Греции, а не в двух школах-интернатах в Англии я и научился твердо стоять на собственных ногах. Я научился этому, когда бродил по греческим селам и деревням, и мне удалось выдержать это довольно-таки суровое испытание, которому я добровольно себя подверг, потому что оно доставляло мне огромное наслаждение.

Мне кажется, у большинства мальчиков нервы гораздо крепче, чем были у меня в этом возрасте. Например, когда мой сын Филипп находился в школе-интернате, которая называлась Драгон-Скул, в Оксфорде, мы однажды утром получили от него письмо, где он писал: «Дорогие мама и папа, случилась изумительная вещь: у нас образовалось антитойнбианское общество». Если бы в Вуттон-Корте против меня организовалось «антитойнбианское общество», я был бы в отчаянии. Я молил бы Бога о том, чтобы земля разверзлась и поглотила меня. Филипп же в этом возрасте испытывал потребность как-то выделяться даже ценой некоторого дискомфорта. В надежде заставить его пересмотреть эту свою юношескую философию, а также потому, что мне любопытно было увидеть, как в его возрасте он воспримет Гиббона, я однажды, во время его следующих каникул, прочитал ему вслух тот отрывок из «Истории упадка и крушения Римской империи», где Гиббон рассказывает о тщеславном сенаторе Дидиохе Юлиане, потратившем все свое огромное состояние на покупку императорской должности у преторианской стражи, только что умертвившей его предшественника. Неизбежный конец не заставил себя ждать. Не успел вновь вступивший в должность император доесть обед, приготовленный для его предшественника — обед еще не остыл, — как он в свою очередь был умерщвлен[2]. Я надеялся, что эта история произведет на Филиппа впечатление — и так оно и было, только произвела она не то впечатление, на которое я рассчитывал. «Ну что же, — сказал Филипп, — этот император поступил совершенно правильно. Он хотел прославиться — вот и прославился. Он достаточно прославился, чтобы Гиббон написал о нем эту историю и чтобы ты мне ее теперь прочитал». Я как-то прежде об этом не подумал, так что последнее слово осталось за Филиппом.

Наказание для ребенка за то, что он не по годам развит, заключается в том, что ему приходится жить, заниматься и стараться сохранить свое «я» среди детей, которые в среднем значительно старше его по возрасту. Сначала старшие ребята в Вуттон-Корте третировали меня; я стал хуже учиться; казалось, мои шансы на стипендию упали, и директор, думая, что, по-видимому, он зря поставил на меня, стал неприятно нервничать. Учителям и моим родителям нелегко было заставить его понять, что от него самого зависит, чтобы меня прекратили травить. Когда он принял необходимые меры, я снова стал заниматься успешно, и меня направили сдавать экзамены на стипендию в привилегированную Уинчестер-Скул, где конкурс был выше, чем во всех других подобных школах. Я родился 14 апреля и благодаря этому имел возможность сделать две попытки. Первая попытка окончилась неудачей: я не попал в список принятых. Я оказался в списке кандидатов, но в течение учебного года

ни один из мальчиков не был отчислен из колледжа, и в результате я туда не попал. Так что я сделал вторую попытку, и на этот раз был третьим в списке. Первым в списке оказался Э. Р. Морган (заслуженный епископ в Труро), с которым я дружу всю свою жизнь. Вторым, также обошедшим меня, был Р. Х. Фаулер, замечательный математик и игрок в крикет. Своим успехом я был обязан высокому интеллектуальному уровню подготовки, которую я получил в Вуттон-Корте у одного из преподавателей, по имени Х. Дж. Хейзелфут. Он научил меня самостоятельно мыслить.

Конкурсный экзамен на стипендию был просто страшным; так много, казалось, зависело от того, как его пройдешь. Здесь мои родители проявили такое понимание, за которое я всю жизнь им благодарен. «Ты просто сделай все, что можешь, — сказали они мне, когда стала известна дата экзамена на уинчестерскую стипендию. — Никто не требует от тебя невозможного. Очень может быть, что тебе не удастся получить эту стипендию; тебе придется соревноваться с самыми способными и знающими мальчиками из всех других подготовительных школ страны. Ну что же, если тебя и не примут в Уинчестер, то это еще не конец света. Ты знаешь школу на севере, где твоя тетя Мэгги заведует хозяйством. Мы можем послать тебя туда без стипендии, и это отличная школа, так что постарайся не слишком нервничать». Столь разумное и доброе отношение ко мне родителей в тот критический момент несказанно облегчило мое состояние. Я, конечно, мог и хотел приложить все свои силы, а это, собственно, все, что меня просят сделать.

И тем не менее напряжение оказалось огромным. При первой попытке было еще ничего, потому что я знал, что у меня будет еще один шанс, но во второй раз даже перспектива попасть в северную школу, если я провалюсь в Уинчестер, не могла меня полностью успокоить. Экзамен продолжался три дня, и утром второго и третьего дня, после завтрака, просто не терпелось быстрее пробежать глазами вывешенный на доске объявлений список еще не отсеявшихся кандидатов. Чтение списка «выживших» кандидатов может доставить не меньше волнений, чем чтение списка убитых и раненых на поле боя. При обеих попытках я все-таки оставался в списке «выживших» до конца. И вот утром после третьего дня экзамена, прежде чем мы встали с постелей, отец пробормотал, еще лежа в кровати: «Твой соня умер». Он правильно сделал, что не сообщил мне эту печальную весть раньше. Я был убит горем, и если бы я знал об этой потере накануне, то не мог бы сосредоточиться на экзаменационных вопросах. И так вопросы по математике, на которые с легкостью ответил Ральф Фаулер, меня буквально довели до слез. В тот день отец постарался утешить меня земляникой, на которую был наложен запрет до конца всех экзаменов. Между Уинчестером и

Саутгемптоном раскинулись, пожалуй, лучшие в Англии плантации земляники, а экзамены на уинчестерскую стипендию проходили как раз в разгар земляничного сезона. Я ел землянику, но она не приносила мне утешения — она не могла восполнить мне потерю моего сони. В том семестре я как раз закончил в столярной мастерской Вуттон-Корта строительство суперклетки для него — прекрасный дом со множеством помещений; и теперь он навеки останется необитаем.

Все эти воспоминания об экзаменах напомнили мне одну забавную историю, рассказанную мне как-то Арнольдом Уилсоном. История эта произошла с ним и с его отцом, каноником Уилсоном, директором Клифтон-колледжа. По силе характера каноник не уступал своим ребятишкам, а это говорит о многом. И вот в один прекрасный день, когда Арнольд Уилсон объявил, что он хочет попробовать поступить в Вулидж, отец просто фыркнул: «Вулидж? Сандхерст (Сандхерстский военный колледж. — *Ред.*) — вот где твое место»[3]. «Все равно я хочу попытаться поступить в Вулидж», — повторил Арнольд, и в поединке этих двух воль отец, хотя и неохотно, уступил. Наконец пришел день, когда должны были стать известны результаты экзаменов. Арнольд спустился к завтраку, раскрыл «Таймс» и увидел, что он не только прошел, но и оказался первым в списке. Он аккуратно сложил газету так, как будто и не открывал, и положил ее перед прибором отца. Когда каноник, чуть позже, спустился к завтраку, он раскрыл газету на той странице, где были напечатаны списки поступивших в Вулидж, и стал просматривать их снизу вверх. «Тебя нет, тебя нет; я говорил», — приговаривал он чуть ли не с торжеством, скользя глазами по колонке с фамилиями. И когда он уже почти дошел доверху, Арнольд небрежно указал пальцем на свою фамилию.

Три года, проведенные в подготовительной школе, лишь частично подготовили меня к встрече с «паблик скул». В подготовительной школе разрыв в возрасте между младшими и старшими учениками составлял всего три или четыре года; в «паблик скул» — пять или шесть лет, и восемнадцати-девятнадцатилетние юноши казались новичкам совсем взрослыми — тем более что эта подавляющая возрастная разница усиливалась их деспотической властью. Старшеклассник имел над младшим учащимся такую власть, какую никогда больше ему не придется ни над кем иметь в будущем, даже если он станет главнокомандующим или премьер-министром. Более того, подготовительные школы и даже подготовительные школы-интернаты чаще всего управлялись женщинами, и «управление» это не только не было «жестким», но, наоборот, было мягким и облагораживающим. В отличие от них Чеймбер-Корт в Уинчестере был такой же исключительно мужской школой, как монастыри горы

Афон[4]. Женщина, которая была ближе всех к нам, — мисс Стьюарт из «лазарета», — находилась в самом дальнем конце школьного здания, совершенно вне досягаемости после того, как нас запирали на ночь. «Мама-глупышка», штопавшая нам носки, ни в каком другом отношении мамой не была.

Я живо помню момент, когда Эдди Морган в сопровождении своего старшего сводного брата и я, которого привел отец, встретились в первый раз в кабинете старшего воспитателя, куда нас пригласили перед началом нашего первого семестра в колледже. До своего приезда в Уинчестер я еще не читал никаких антропологических описаний институтов первобытных обществ с их непременными мучительными обрядами посвящения, через которые заставляют проходить подрастающее поколение[5]. Как только я прочел некоторые из этих описательных антропологических работ, я понял, что в течение пяти лет в Уинчестере я испытал на себе, какова была жизнь первобытного человека. Человек оказывался внезапно погруженным в целый мир произвольных запретов и заповедей (главным образом запретов). Мальчик не имел права носить коричневые ботинки, пока не пройдет двух лет с момента его поступления в колледж. Он не имел права носить серые фланелевые брюки, пока не станет префектом[6] или его «заместителем». Он не должен употреблять слово «думать», а в некоторых контекстах даже определенный артикль, и это создавало немалые трудности при разговоре. Он должен был снимать свою соломенную шляпу (или, по воскресеньям, цилиндр), проходя через ворота, ведущие в Чеймбер-Корт, потому что до Реформации в средней из трех ниш над воротами находилась статуя Святой Девы Марии Уинтонской. Однако, когда мальчик становился префектом, ему разрешалось не снимать шляпы, несмотря на невидимое, но постоянное присутствие Богоматери. Это дает некоторое представления о том, каков был статус префекта. Используя теологическую терминологию, можно сказать, что он был *isotheotokos*[7].

Человека бросали в этот незнакомый и полный сложностей новый мир не без некоторой подготовки. В течение первых двух недель новичка еще не заставляли «потеть» (то есть его еще не подвергали «дедовщине»), и к нему прикреплялся «папаша» для введения его в «общество». Моим «папашей» был Ли Маллори, погибший позже на Эвересте. Моим «сынком» был А. Д. Гиллеспи, он был убит в Первую мировую войну. Его фотография стоит сейчас у меня на каминной доске, здесь, в той комнате, где я пишу эти строки, как раз за моим правым плечом. За эти первые две недели надо было многому научиться и многое выучить; прежде всего усвоить племенной язык, «уинчестерские понятия». Словарь этого языка был опубликован, так что я смог заранее его изучить, но большей части того, что должен был знать новичок, можно было научиться только

на месте. Труднее всего мне оказалось запомнить лица, имена и прозвища этой массы людей, «донов» (преподавателей. — *Ред.*) и, что важнее, таких значительных особ, как, например, «капитан лордов» и «старший префект общины» (то есть учеников, не получающих стипендии и вносящих плату за обучение. — *Ред.*)[8]. Жены «донов» тоже имели прозвища: Ястреб, Лошадь и т. д. Надо было знать, чьи это жены. По прошествии первых двух недель префекты подвергали новичка экзамену. Если новичок проваливался, его «папашу» могли отлупить деревянной ракеткой для игры в ручной мяч. Если он сдавал экзамен, то должен был повести «папашу» в школьный буфет и угостить за свой счет всем, чего «папаша» пожелает. Первый раз я провалился, но, к счастью для меня, Маллори из-за меня не избили — я говорю «к счастью», так как подразумевалось, что «папаша» имеет право выместить обиду на «сынке», который его подвел. Собственный мой «сынок», Гиллеспи, экзамен сдал. Он был первоклассным умницей (впоследствии, в Оксфорде, он сдал экзамен на Ирландскую стипендию[9] в тот же год, когда мы оба держали этот экзамен). Что касается меня, я был для него очень усердным и заботливым «папашей».

С самого начала и до конца я был ярым противником подобных учебных заведений. Произвольные племенные законы и традиции казались мне нелепыми и бессмысленными; меня возмущало то, что я должен им подчиняться, и иногда я лез в драку. Если бы я был не «из колледжа», а каким-нибудь подающим надежды масайским воином[10], я мог бы поплатиться за это жизнью, но в течение пяти лет (1902–1907) в Уинчестерском колледже мне ни разу не пришлось пострадать за свое бунтарство. Его воспринимали со снисходительным юмором, как воспринимают на Востоке чудачества юродивых.

Из Уинчестера я унес и сохранил на всю жизнь три сокровища: сыновнее чувство, пролегшее через разделявшую нас пропасть более чем в пять столетий, к основателю нашего колледжа Уильяму Уикему[11], который подарил нам наше образование; глубокое уважение, восхищение и любовь к М. Дж. Рендаллу, который в мое время был старшим воспитателем, а впоследствии, когда я уже окончил школу, стал ее главой; и наконец, искреннюю дружбу со многими моими современниками. Эта дружба оказалась такой близкой и долгой, как кровные узы между братьями. Итак, спустя несколько минут после того, как я познакомился со ставшим на всю жизнь моим другом Эдди Морганом, я уже стоял в девятой аудитории. Там я впервые в жизни видел Дэвида Дэвиса, который был пятым в списке принятых, как мне кажется (хотя, упоминая уикемовское учебное заведение, я не должен говорить «мне кажется»; я должен либо знать наверняка, либо молчать). Мы с Эдди Морганом еще

живы; Дэвида, который был на несколько месяцев моложе меня, нет в живых. Однако с 1902 по 1964 год мы с Дэвидом оставались неразлучны. Мы вместе прошли через Уинчестер и Оксфорд; оба выжили в Первую мировую войну, так как не были призваны в армию по состоянию здоровья; и всю жизнь, пока мы работали в Лондоне, мы еженедельно встречались за ленчем.

Первая мировая война унесла жизни около половины наших сверстников — однокашников по школе и университету. Это, возможно, еще больше укрепило связь между теми, кто остался в живых; но между теми, кто прожил всю долгую жизнь, и теми, чья жизнь оборвалась раньше времени, связь была и есть самая тесная.

Среди моих сверстников в Уинчестере, чьи имена, я полагаю, сейчас наиболее известны, были Стаффорд Криппс[12] и Д. Н. Притт[13], оба известные юристы и радикалы в политике, хотя и в различной степени. Освальд Мосли[14] поступил в школу уже после того, как я ее окончил. Если бы не пятидесятипроцентные потери, число прославленных имен по меньшей мере удвоилось бы. Например, Бобби Палмер был бы сейчас выдающимся деятелем консервативной партии; Дж. Л. Чизмен был бы, без сомнения, самым известным после смерти Фраккаро[15] и Де Санктиса[16] современным специалистом по истории Древнего Рима.

Когда я покинул Уинчестер, я написал двустишие на древнегреческом, в котором заявлял, что, несмотря на полученное мною классическое образование и на мои лучшие чувства к основателю школы, я рад, что ухожу. Позднее, в Оксфорде, я написал второе двустишие, которым перечеркивалось первое. В это время я жил уже не под властью уинчестерского племенного закона и понял, каким сокровищем были для меня дружеские отношения, заложенные в Уинчестере.



2. ТРИ ГРЕЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Я признался, что в Уинчестере постоянно испытывал чувство протеста и возмущения против тирании (как я это воспринимал) царивших там первобытно-племенных законов. Моя любовь к Уинчестеру велика, но это любовь-воспоминание. Существовал тем не менее один дар из множества тех, какими я обязан Уинчестеру, который я уже в то время ценил всем сердцем: это — первоклассное образование, полученное мною там в области древнегреческого языка, латыни и литературы на этих языках.

Если не считать военных занятий, образование в Уинчестере в 1902— 1907 годах было на девять десятых классическим. Обратной

стороной этой медали являлось то, что другие предметы оставались «на голодном пайке». Например, учебный план был построен так, что невозможно было изучать одновременно французский и немецкий языки. Если кто-нибудь из мальчиков хотел начать учить немецкий, ему приходилось бросать учить французский, и каждый из этих языков мы учили поочередно, словно это были тоже мертвые языки. Лишь много позже я понял, что латынь и древнегреческий еще не умерли, учитывая, что каждый из них использовался в литургиях, один — римско-католической, другой — греческой Православной Церкви; а в 1937 году в Венгрии я познакомился с пожилым мадьярским дворянином, который владел не церковной, а разговорной латынью. До 1846 года она была принята в Венгрии как язык парламентских дебатов[1]. Это был изысканный латинский язык Высокого имперского суда в Древнем Риме в постдиоклетианову эпоху[2]. Например, в устах моего дворянина слово «ты» вовсе не звучало так прямо и недвусмысленно, как простое «tu»; оно звучало как «*dominatio tua*»[3].

В мое время в Уинчестере французский и немецкий языки преподавали большей частью учителя математики. Очевидно, подразумевалось, что учителю по одному неклассическому предмету можно с таким же успехом поручить преподавать еще один неклассический предмет. Я весьма благодарен за то, что меня научили читать по-немецки. Стараниями господина Э. Дж. Тернера я так же хорошо знаком с Фаустом, как и с Агамемноном, а «Путевые картины» Гейне[4] в подаче господина Тернера позволили мне изнутри увидеть наполеоновскую империю и последовавшую за ней меттерниховскую реакцию[5]. Я только сожалею, что наше изучение живых языков не пошло дальше этого. О том, чтобы научить нас еще и говорить по-французски и по-немецки, и вопрос не стоял. Я был выпущен в мир бессловесным в том, что касается любого другого языка, кроме моего родного, и мне было стыдно, когда, во время Первой мировой войны, я был послан одним из министерств в Швейцарию для переговоров с немецкими беженцами-республиканцами[6]. Я не мог говорить.

Тем, что с тех пор я научился объясняться по-французски, по-немецки, по-гречески и по-турецки, я обязан тому, что мне приходилось бродить пешком по этим странам и, значит, я вынужден был спрашивать дорогу, покупать еду и питье и находить ночлег. Такие повседневные нужды — магическое средство для развязывания языка. Однажды я умудрился выспросить дорогу в горах Японии, зная лишь одно японское слово. Этим словом-талисманом было слово «ичийикан», что значит «час». Произнося это слово и поднимая поочередно один, два и три пальца с вопросительным выражением лица, я узнал, сколько еще часов пути до ближайшей деревни.

Нужда, конечно, может заставить путешественника бегло заговорить на живом иностранном языке, но звучит его речь при этом весьма смешно, и мне не раз приходилось краснеть за себя, слушая, как отлично изъясняются по-французски или по-немецки сотрудники британского министерства иностранных дел, которые получили такую же хорошую подготовку по живым языкам, как я по латыни и древнегреческому. Тем не менее господин Э. Дж. Тернер (Попрыгунчик) настолько великолепно, как я уже сказал, подготовил нас по «Фаусту», что с тех самых пор Фауст, так же как и Агамемнон, остается для меня постоянным духовным сокровищем и вдохновителем.

Преподавание математики велось более серьезно, чем преподавание современных языков. И все же в шестнадцать лет я был поставлен перед выбором, который, как я вижу теперь, в ретроспективе, мне не удалось сделать достаточно разумно. Я должен был выбрать между тем, чтобы начать изучать математические исчисления или в противном случае бросить математику вообще, а освободившееся время посвятить более широкому изучению древнеримской и древнегреческой литературы. Я решил бросить математику и впоследствии, когда было уже поздно исправлять эту ошибку, очень о том сожалел. Если бы я занялся математическими исчислениями или хотя бы попробовал их изучать, это дало бы мне в будущем гораздо более глубокое понимание Вселенной, в то время как к тому моменту, когда я стоял перед этим выбором, я уже достаточно хорошо знал латынь и древнегреческий, чтобы заниматься ими дальше без посторонней помощи. Таким образом, выбор, который я сделал, оказался ошибочным, и все же вполне естественно, что я сделал именно такой выбор. Математика мне не давалась, я ее не любил и скоро обнаружил, что сущность математики (несомненно, это составляет часть ее прелести и славы) заключается в том, что ни одну ступеньку на этой ведущей вверх лестнице нельзя пропустить. Каждая низшая ступенька постоянно дает о себе знать, и, пропустив внизу хоть одну, не будешь чувствовать себя уверенно на верхней ступеньке.

Особенно я не любил тригонометрию, и неприятный опыт знакомства с нею заставил меня опасаться, что, если я займусь исчислениями, окажется, что меня тянет вниз тригонометрия. Я и по сей день не знаю, действительно ли мне был не по силам этот курс, но одного только страха перед этим было достаточно, чтобы заставить меня бросить математику, как только мне представилась такая возможность. Оглядываясь назад, я уверен, что это было ошибкой — ставить ученика перед таким выбором; по крайней мере основы исчислений должны быть даны в школе обязательно. В конце концов, выпуская человека в мир, в котором ему предстоит жить, надо его вооружить для этого. Мне предстояло жить в Западном мире в

период его перехода из современной в постсовременную эпоху его истории, и математика, подобно оснастке парусного судна (как учил меня Освальд Шпенглер[7]), служит продвижению вперед и адекватному проявлению современного западного гения.

В качестве компенсации за все эти интеллектуальные потери преподавание древнегреческих и римских классиков было поставлено в мое время в Уинчестере великолепно. Образование, которое мы тогда получали, было не таким, каким видел его наш основатель. Уильям из Уикема, епископ Уинчестерский, основал свой колледж Святой Марии Уинтонской близ Уинтона («близ» означало «сразу же за городскими стенами»), с тем чтобы он питал своими выпускниками его колледж Святой Марии Уинтонской в Оксфорде. Последний до сих пор называется Нью-Колледж («новый колледж»), потому что, подобно большинству вещей в мире, он когда-то был новым. Епископ Уильям основал свой колледж в Оксфорде, так же как и колледж в Уинчестере, для подготовки крестьянских сыновей к карьере приходского священника. Наш основатель неодобрительно относился к монахам. Он считал их образ жизни паразитическим. Он сам начал свою карьеру даже не священником в миру[8], а просто мирянином. Он был главным поверенным в делах короля Эдуарда III[9], и король вознаградил своего приближенного за хорошую службу, сделав его епископом. Вся эта процедура, говорят, была проделана в течение одного дня. Встретив утро мирянином, Уильям стремительно прошел все последовательные ступени Римской католической Церкви, начиная со второй ступени церковной иерархии[10], оказавшись к концу дня епископом. Автор его надгробия в Уинчестерском соборе, должно быть зная о его предубеждении против монахов, решил подшутить над ним. У ног высеченной на надгробной плите фигуры сидят три маленьких веселеньких монаха, все явно хорошо под градусом. Очевидно, они радуются смерти епископа — врага монахов.

Наше образование в Уинчестере в 1902–1907 годах было не уикемским; оно было гросинским. Гросин[11] — имя одного из тех английских ученых XVI века, которые принесли в Англию итальянский гуманизм. В Уинчестере в первом десятилетии XX века мы по-прежнему получали полное гуманитарное образование эпохи итальянского Ренессанса XV столетия. Наше «проникновение» в цивилизацию Греко-Римского мира было настолько глубоким, что это привело к некоторым своеобразным результатам, о чем я еще буду говорить в седьмой главе этой книги.

Конечно, большинство мальчиков в школе недостаточно далеко продвинулось в изучении классических языков — не говоря уже о литературе на упомянутых языках, — чтобы когда-нибудь действительно чувствовать себя в этом мире как дома. Для этого большинства

задалбливание основ латинской и греческой грамматики было тяжелой, каторжной работой, и, когда они наконец окончили школу, значительная часть того, что они с таким нежеланием зазубрили, было выброшено обратно их освобожденным умом. Урожай с этого унылого поля гуманитарного образования собрала только меньшая часть мальчиков — те, кто имел к тому надлежащие способности и чей интеллект, кроме того, отличался литературной направленностью. Таким условиям отвечали очень немногие, и бесплодность подобного гуманитарного образования для большинства мальчиков, пропущенных через его мельницу, — лучшее свидетельство против него.

Однако, к счастью (я считаю) для меня, я оказался одним из тех, для кого классическое образование вполне подходило. За все годы обучения в Уинчестере я никогда не восставал против него. Я отдавался учебе всем сердцем и со всей серьезностью, и, по правде говоря, мое неприятие племенного образа жизни, заставлявшее меня замыкаться в себя, понуждало меня овладевать классиками чуть ли не с демоническим жаром. В самостоятельной работе над классиками, что значительно превышало требования ко мне по программе, я открыл средство, дававшее мне возможность не участвовать в племенной жизни, которая так сильно раздражала меня. В Греко-Римском мире, куда мне уже открылся доступ, я находил счастливую обитель, и это была не просто «обитель Кекропа» в терминологии Марка Аврелия, но также более обширная «обитель Зевса»[12]. Моей физической обителью в Уинчестере стала библиотека Моберли; и само собой разумеется, она была прекрасно оснащена для изучения классиков, но ее возможности этим не ограничивались. В библиотеке Моберли я не только исследовал Греко-Римский мир, к которому я уже имел ключ. Моему мысленному взору открывались все новые и новые миры. Уже сама возможность свободно пользоваться сокровищами библиотеки Моберли давала самое широкое образование.

Тем не менее ядро нашего учебного плана составляли древнегреческие и римские классики, и последствия этого оказались поистине оригинальными. Целью итальянских гуманистов был уход с последующим возвращением. Они стремились вырвать себя интеллектуально и духовно из современного им мира, с тем чтобы обрести путь назад, в утерянный земной рай Греко-Римского мира. Такой идеал требовал от соискателя умения читать римских и греческих авторов — но также и умения имитировать их, причем передавая все тонкости индивидуального стиля каждого мастера древности. Сколько отрывков из речей Бёрка[13] я перевел в Уинчестере на Цицеронову латынь?! Сколько отрывков из эссе Эмерсона[14] перевел я на древнегреческий язык Платона?! Нам всем предлагалось переводить из английской поэзии любого стиля на латынь и древнегреческий, используя классическую стихотворную форму и выдерживая

размер. Более того, эта изнурительная тренировка в создании «вариантов» была всего лишь подготовительной работой. Вершиной нашего классического образования являлось наше собственное оригинальное сочинение на латинском и греческом языках в прозе и в стихах.

Для меня лично одним из следствий этого мощного гуманитарного образования стало то, что, попав к нему навеки в плен, я оказался отчужденным от моего родного языка. На жизненном пути человека бывают случаи, когда его чувства оказываются затронутыми так глубоко, что для полной разрядки и самовыражения их необходимо облечь в особые, единственно верные слова. Когда такое случается со мной, слова эти оказываются не моими родными, английскими, а либо греческими, либо латинскими. Читателю, не получившему классического образования, трудно поверить, что это не аффектация. Могу заверить его, положа руку на сердце, что это правда. Я отнюдь не поэт, когда я думаю и изъясняюсь по-английски; так что, если б я остался ограничен английским языком, я был бы нем. Мои чувства оказались бы закупорены, не находя выхода. А так они находят выход на древнегреческом и латыни, потому что на этих языках я немножко (очень немножко) поэт.

Иногда меня забавляет мысль о том, что бы сказал о моих древнегреческих и латинских стихах, а также стихах моих однокашников и тех, кто учился до нас, подлинный античный мастер, если бы он мог вернуться к жизни и прочитать их. Я реконструирую его гипотетическую реакцию, исходя из моей собственной реакции на произведения, написанные по-английски одним высокообразованным и способным индийским автором. Девяносто девять процентов того, что написано по-английски этим индийским автором, так афористично, что я не перестаю поражаться, насколько блестяще он владеет иностранным языком, — и вдруг время от времени оставшийся один процент отклонения от совершенства комичен именно потому, что остальные девяносто девять процентов безупречны. Этот неполноценный один процент выдает в авторе человека, для которого английский язык не родной, несмотря на столь виртуозное владение им. Мне представляется, что, если бы Цицерон, или Платон, или Софокл, или Вергилий могли просмотреть антологию литературы, созданной на древнегреческом и латыни современными западными гуманистами начиная с XV века христианской эры, их реакция приближалась бы к той, какую я сейчас описал.

Положение, в котором оказывался человек, получивший полноценное классическое образование в Англии в первом десятилетии XX века, было таким же, какое в первые два столетия христианской эры сознательно и преднамеренно занимали неоклассицисты. Ученые-теоретики тех лет зарабатывали себе на жизнь в Римской

империи так же, как я это делаю в настоящее время в Соединенных Штатах, — чтением публичных лекций; но в отличие от моих подходов к лекциям такого рода они никогда не затрагивали современности. Ни сами они, ни их слушатели не потерпели бы подобной вульгарности. Они решительно перемещали себя в столетие между Марафонской битвой и битвой при Херонее, а затем выступали в роли одного из знаменитых государственных деятелей той кратковременной эпохи — скажем, Перикла, — взвешивая все «за» и «против» похода Афин против Спарты в 431 году до Р. Х., или в роли Эпаминонда, обсуждающего в 371 году до Р. Х. с Пелопидом, следует ли фивианцам рисковать встретиться с дотоле непобедимыми лакедемонцами на поле боя в надежде разгромить их благодаря внезапности атаки и новомодной фиванской тактике нанесения удара[15].

В Уинчестере в 1902—1907 годах мы, неонеоклассицисты, также жили в «классическом» веке древнегреческой истории. Правда, современные события порой все-таки проникали в наше сознание. О деятельности политических партий в нашей стране мы были осведомлены достаточно хорошо: вопросы внутренней политики обсуждались в школьном дискуссионном клубе. Гораздо меньше нас занимали международные дела. Однако в моей памяти сохранились два случая, когда события международной жизни были даже включены в учебный план.

Когда началась русско-японская война, г-н Рендал отменил одно из наших еженедельных сочинений на древнегреческом и латыни и сказал, чтобы мы посвятили эту неделю изучению карты военных действий и затем, в классе, по памяти нарисовали эту карту как можно лучше, отразив на ней не только береговую линию, реки и горные хребты, но также порты, морские пути, железные дороги, крепости и любые другие объекты, как естественные, так и искусственные, которые, по нашему мнению, имеют военное значение. Русско-японская война кое-что для нас значила, потому что мы знали, что Россия соперничала с Британией в Азии[16]. Другой такой темой стала Антанта[17]. Эта тема была предложена нам в 1906/07 учебном году для нашего ежегодного очерка, который мы обычно писали на приз по латинскому языку. Этот очерк у меня сохранился, и содержание его свидетельствует о нашем понимании того, что Антанта представляла собой новый поворот в англо-французских отношениях и что эти две страны сблизила общая тревога, вызванная растущей мощью Германии. Однако я уверен, нам и в голову не приходило — да и сомневаюсь, что это приходило в голову даже преподавателю, который выбирал тему, — что создание Антанты действительно явилось провозвестником важных событий в мире, где мы живем. И уж совсем не предчувствовали мы, что все это

станет прелюдией к войне, в которой потери наши будут так же велики в пропорциональном отношении, как потери спартанцев, дравшихся на стороне Лакедемона в битве при Левктрах.

Правда состоит в том, что мир, в котором мы жили, — мир, которому предстояло повергнуть нас через какие-нибудь семь лет в смертоносную пучину, — был для нас в 1907 году таким же нереальным миром, каким был мир Римской империи для знатоков «Второй софистики». Реальным миром для нас был тот же самый мир, который был реальным и для них. Это был мир, создавший произведения греческой литературы, признанные неоклассицистами поколения Августа каноническими. И в наших и в их глазах это был мир, родившийся в эпопеях Гомера и внезапно погибший после того, как была произнесена последняя речь Демосфена[18]. Для нас, однако, в отличие от Диона Хризостома или Элия Аристида этот греческий мир в век Августа пережил недолгий период латинского возрождения. С некоторым сомнением мы могли бы еще принять в наш мир даже «серебряный век» римской литературы; но последняя строка последней из Ювеналовых сатир была уже завершающей — за ней для нас полностью исчезал реальный мир[19]. После нее история кончалась.

Таков был эффект моего первого древнегреческого образования. Оно отняло двенадцать лет моей жизни — критические двенадцать лет, начиная с десяти, когда я приступил к изучению древнегреческого языка, и до двадцати двух, когда я сдал мой выпускной экзамен в Оксфорде по курсу изящной словесности. Я начал изучать латынь, когда мне исполнилось семь лет; но задолго до этого моя мать сделала из меня историка, ибо сама была историком, и поэтому тем подходом к Греко-Римскому миру, который больше всего привлекал меня, стал подход не литературный, а исторический. Еще до того, как я сдал выпускной экзамен в Оксфорде, мой колледж, Бейллиол, поручил мне вести занятия по древнегреческой и римской истории в качестве преподавателя. Я должен был начать преподавание через год. Между тем колледж продлил мне пребывание в университете еще на один год, с тем чтобы я провел 1911/12 академический год за границей, занимаясь тем, что, с моей точки зрения, было бы наиболее полезным для моей будущей работы и жизни.

Я ни минуты не сомневался в том, что мне делать. Я завершу мое греческое образование и посвящу этот год странствий тому, чтобы собственными глазами увидеть впервые в жизни ландшафт греческого мира, ставшего моим духовным домом. Я сознавал, что описания, карты и фотографии, которые я так детально изучил в Уинчестере и Оксфорде, ни в коей мере не заменяют непосредственного знакомства. Итак, сначала я поеду в Британскую археологическую школу в Риме. Рим станет моей базой, откуда в течение

шести-семи недель я буду совершать экскурсии по прилегающей местности. Это даст мне живое представление о ландшафте, на котором зародилась римская история. Затем я поеду в Британскую археологическую школу в Афинах. Теперь уже Афины станут моей базой и оставшуюся часть моего драгоценного свободного года я посвящу изучению Греции, исходив ее вдоль и поперек. Этот год бродяжничества восполнил бы пробелы в моем греческом образовании. Я выполнил эту программу.

Направляясь из Дувра в мой средиземноморский духовный дом, я пересек Францию. Одно место сменяло другое, однако названия их ни о чем не говорили моей душе. Впрочем, то же самое я испытывал, путешествуя у себя дома, в Англии. В раннем возрасте я с успехом сопротивлялся попытке заставить меня запомнить названия графств, рек и главных городов Англии. Я остался в неведении относительно топографии Британии и Галлии и даже, до некоторой степени, Цизальпинской Галлии; и что еще хуже — меня это вовсе не интересовало. Однако я не испытывал подобного отвращения к изучению топографии полуостровной части Италии, Греции и района Эгейского моря. Более того, я использовал любую возможность ее изучать, корпя над картами, планами и книгами; поэтому с того самого момента, когда 30 сентября 1911 года мой поезд отошел от вокзала в Пизе, медленно прополз мимо «падающей» башни и проскользнул по мосту через реку Арно, я мог без запинки сказать, в какой именно точке я нахожусь, на всем протяжении пути, вплоть до восточной оконечности Крита — этой самой восточной точки, до которой я добрался за год моих странствий.

Одним из самых острых интеллектуальных наслаждений в жизни для меня всегда было то трепетное чувство узнавания, которое охватывало меня, когда я впервые видел воочию какой-то кусочек ландшафта греко-римского мира, давно мне знакомый заочно и несущий в себе такой высокий заряд исторических ассоциаций. Я всегда узнавал гору, остров, реку, равнину или город, даже тогда, когда они, разочаровывая меня, выглядели не так, как я ожидал. Эта полоса обнаженного известняка — это же Локрида Озольская, отмечал я про себя, когда мой пароход «Микали» продвигался вверх по Коринфскому заливу. Целый кантон Эллады. А выглядит так, словно здесь и одна-единственная коза не прокормится. При выходе из Коринфского канала в Саронийский залив меня охватил трепет. Здесь мне внезапно открылся вид, описанный Сервием Сульпицием Руфом в его знаменитом соболезнующем письме Цицерону в связи со смертью горячо любимой Цицероном дочери Туллии[20]. Коринф, остров Эгина, город Мегара, остров и город Саламин, города Пирей и Афины — все это внезапно открылось моему взору. Даже трудно было поверить, что такое большое количество исторических городов

оказалось зажатыми все вместе на такой маленькой территории. Так как мы подошли к западной оконечности канала со стороны залива, не оставалось сомнений в том, что перед нами Акрокоринф[21]. Кроме того, он точно отвечал бесчисленным рисункам и фотографиям. Однако после того, как мы обогнули южную оконечность Саламина и перед нашим взором предстали Афины, меня ждал сюрприз. Я ожидал увидеть, что над Афинами господствует Акрополь. Вместо этого я обнаружил, что Акрополь кажется карликом на фоне горы Ликабетт, и в глаза бросался не Парфенон, а монастырь на вершине этой горы, в историческом плане лишенной какой бы то ни было примечательности. Британская школа, которой предстояло служить мне базой в продолжение ближайших девяти месяцев, расположена как раз у подножия Ликабетта.

И эта часть пути — от Акрокеравна[22] до высадки в Пирее — стала для меня венцом и завершением моего интенсивного греческого образования, в течение двенадцати лет поглощавшего все мои силы и энергию. У меня было такое чувство, словно я достиг вершины, к которой стремился все эти двенадцать лет. И все же, несмотря на трепет, охвативший меня при виде греческих пейзажей, какая-то часть моего сознания не была поглощена этим захватывающим зрелищем, ибо внимание мое привлекал и стоявший рядом со мной, облокотившись о перила, попутчик. Это был человек моего возраста, американец; мы уже успели обменяться жизненными впечатлениями, и я был поражен тем, какой богатый опыт успел приобрести этот мой ровесник. Он успел поработать в трех или четырех различных местах. Я помню три из них: он работал на ферме, в банке и в пекарне. Между прочим, за пять или шесть лет работы он накопил достаточно денег, чтобы позволить себе совершить кругосветное путешествие. Он уже трижды проехал через Симплонский туннель[23]. Он дважды повторил свой путь, чтобы встретиться с сестрой, которая путешествовала самостоятельно. В своем маршруте он уделил два́ дня Греции, прежде чем проследовать в Египет. Попутчик мой практически ничего не знал о Греции, и, конечно, тех двух дней, которые он выделил для восполнения этого пробела в своих знаниях, было до смешного мало. Я отводил на пребывание в Греции девять месяцев — и это были лишь первые девять месяцев. Метод ознакомления с миром, применяемый этим американцем, нельзя было назвать иначе, как поверхностным, и такой же поверхностной была, надо полагать, его подготовка к выполнению тех трех или четырех видов работ, которые дали ему возможность оплатить свой проезд. Но что меня больше всего в нем поразило, так это не его поверхностность, а его предприимчивость.

По сравнению с непоследовательной карьерой американца собственное мое поприще показалось мне скучным и однообразным,

и контраст этот разбудил во мне первые сомнения относительно традиционного образования, до сих пор воспринимавшегося мною как должное и не вызывавшего у меня никаких вопросов, подобно тому как некоторые мои сверстники и однокашники по Оксфорду по сей день принимают как должное религию наших предков. Этот мой американский сверстник лучше, чем я, научился жить. Когда мы пришли в Пирей, то не я, а он сумел договориться с агрессивно настроенным лодочником, который отвез нас с корабля на берег, и с не менее агрессивно настроенным извозчиком, которого мы наняли довести нас из Пирея в Афины. Осмотреть Грецию за два дня — а затем дальше, осматривать Египет! Смешно! Однако я, который провел в Греции следующие девять месяцев, увидел Египет лишь через пять десятков лет. Мне мешала, держала меня в узде именно глубина и доскональность моего классического образования. Чуть ли не до смешного поверхностное образование, которое получил мой ровесник, американец, имело по меньшей мере одно отрицательное достоинство: оно не принуждало его идти по проторенной дорожке. Я же был обречен двигаться по узкой и глубокой колее, за пределы которой, возможно, не выберусь никогда в жизни.

В обеих британских школах мне посчастливилось сойтись со старшими моими коллегами, вкусы которых были особенно близки моим, и они всеми силами старались оказаться полезными вновь прибывшему младшему собрату. Они разделяли мое страстное желание проводить как можно больше времени не в городе, а бродя по стране. Сидеть и потеть в библиотеке школы, штудируя книги, которые мы с таким же успехом могли читать дома, в Британии, казалось нам непростительной, пустой тратой времени. Теперь, когда мы находились в Италии и Греции, когда в пределах досягаемости были исторические места, которые, возможно, нам никогда больше не придется посетить, грех было отсиживаться в аудиториях и библиотеках. Даже для тех из нас, в чьем распоряжении было более одного года, в Греции и Италии имелось бессчетное число вещей, которые можно и нужно было посмотреть. Предназначение школы состояло в том, чтобы служить штабом и домом отдыха, где можно было восстановить силы во время коротких интервалов между путешествиями в глубь страны. Мои старшие товарищи были не менее деятельны, чем я сам; и кроме того, они проявляли заботу и внимание к своим младшим собратьям и часто приглашали нас участвовать вместе с ними в экспедициях. Это была редкая возможность путешествовать по местам классической древности под руководством таких знающих и опытных гидов. Я испытываю чувство глубокой благодарности к бывшему тогда директором Британской археологической школы в Риме Томасу Эшби, уикемисту старшего поколения, а также к А. Дж. Б. Уэйсу, М. С. Томпсону и библиотекарю Ф. У. Хазлаку из

школы в Афинах. Директор школы Р. М. Докинс отсутствовал в течение большей части моего пребывания в Афинах.

Алан Уэйс был прирожденным археологом и человеком самых разносторонних интересов — или скорее страстей, ибо «интерес» — слово слишком мягкое для характеристики темперамента Уэйса. В 1911–1912 годах Уэйс занимался одновременно стратификацией керамики эпохи неолита, Микенами[24], стилями современной вышивки на островах Греческого архипелага и антропологией кочевой валашской пастушеской общины[25], летним местом стоянки которой была Самарина на восточных склонах горы Эмолика, исследованием вершин горного массива Пинд, нависшего над бассейном реки Галиакмон. Уэйс имел обыкновение следовать за своими любимыми валахами в их миграциях между летними и зимними пастбищами. В большинстве этих предприятий принимал участие и Томпсон. Они охотились вместе, как пара гончих; и как взявшие след гончие, они не обращали внимания ни на жару, ни на холод, ни на непогоду, когда преследовели свою жертву. Они могли служить примером физической выносливости.

Эшби был самым прилежным археологом-практиком. Цель его жизни, которой он в основном достиг, заключалась в том, чтобы идентифицировать, измерить, сфотографировать и опубликовать как можно большее количество древностей, сохранившихся вдоль множества древних дорог, расходившихся лучами от Рима. Манера Эшби путешествовать забавно отличалась от манеры Уэйса и Томпсона. Эти две ищейки путешествовали, как клефты[26], налегке, с минимумом багажа и снаряжения. Эшби пускался в странствие, как Белый Рыцарь в «Алисе в Зазеркалье»[27], с той только разницей, что он путешествовал не на деревянном коне, а на велосипеде. Он был снаряжен на все случаи жизни, какие только можно себе вообразить. У него всегда имелся с собой свитер, который он непременно натягивал на себя, если ему предстояло спуститься с какого-нибудь холма на побережье. Он полагал, что этим он надежно оградит себя от простуды, схватить которую на встречном ветру было проще простого, потому что с него еще градом катился пот от усилий, которые ему понадобилось приложить, чтобы затащить свой велосипед на этот самый холм. Он также возил с собой фотоаппарат с большим запасом объемистых, тяжелых фотопластинок, не говоря уже о хлебе и неприкосновенном запасе сыра. Из всего снаряжения Белого Рыцаря отсутствовала только птичья клетка. Если же вы принадлежали к числу его студентов и он оказывал вам честь, пригласив вас с собой в поход, вы, естественно, выражали свою признательность и уважение тем, что несли на себе половину имущества шефа. Это связывало вас, как сиамских близнецов, — узы более неразрывные, нежели узы товарищества, связывавшие между собой Уэйса и Томпсона, —

и мой собственный опыт, когда я оказался в одной упряжке с Эшби, заставил меня впервые почувствовать, что моя сосредоточенность на греко-римской эпохе имеет предел.

30 октября 1911 года мы ехали с Эшби на велосипедах по долине реки Клитунно. Мы ненадолго остановились у прелестного маленького храма постройки IV века н. э., вокруг которого паслось стадо великолепных белых коров. Затем заглянули в Фолиньо. Продолжив наш путь вниз по течению реки, мы вскоре достигли Спелло; и отсюда как на ладони перед нами раскинулся Ассизи, он находился всего в каких-нибудь семи милях от нас. Меня охватило огромное желание посетить Ассизи. В детстве родители читали мне вслух «Цветочки св. Франциска Ассизского» в английском переводе, и я знал о церкви брата Илии и о фресках, которыми украсил ее Джотто[28]. С восторгом я указал Эшби на Ассизи, но он не понял моих чувств. Эшби жил в Италии, кажется, с двухлетнего возраста, и, я полагаю, он уже нагляделся до пресыщения на все достопримечательности, которые может предложить взору Италия. Это был ученый такого уровня научных познаний и такой искушенности, что его не могли взволновать просто живописные пейзажи; пейзажи его волновали только в том случае, когда они обрамляли исторические места, достойные его внимания. «Ассизи? Да, это Ассизи, но туда ездят только старушки. Зато там вот, направо, есть фундамент одной римской виллы, который я давно намеревался обмерить». Что я мог поделать? Он был моим руководителем, и я тащил на себе половину его скарба. Мы обмерили фундамент этой виллы, а также сфотографировали его, а тут уже и пора было отправляться на железнодорожную станцию. Мы принялись грузить остатки хлеба, свитер, все прочее, так как рано утром на другой день у моего шефа было назначено свидание в Риме. Я был горько разочарован, но постарался утешиться, сказав себе: «Я съезжу в Ассизи на следующей неделе». Мне не удалось этого сделать. Однако в конце концов я все-таки попал в Ассизи. К настоящему моменту я побывал там дважды, но впервые я попал туда лишь 15 сентября 1955 года, так что, как оказалось, непреложная ценность фундамента виллы, с точки зрения Томаса Эшби, отложила мое знакомство с Ассизи почти на целых сорок четыре года.

С годами, когда мои собственные интересы были уже почти такими же разносторонними, как интересы Алана Уэйса, я как-то прочитал «Итальянское путешествие» Гёте. С невыносимым самодовольством Гёте описывает, как, находясь в Ассизи, он старался не глядеть на примитивную церковь брата Илии и проводил время, любуясь фронтонами и колоннами маленького храма Минервы, что разместился на полпути от вершины горы. Почему бы не любоваться и храмом и церковью? И греко-римский стиль, и средневековый

западный стиль каждый прекрасен в своем собственном, неповторимом роде. В данном случае Гёте проявил себя слепым педантом. Однако предположим, что 30 октября 1911 года Гёте оказался вместе с нами близ Ассизи. Показал ли бы он себя таким же фанатиком, как Эшби? Предпочел ли бы он обмеривать фундамент этой чисто римской виллы над Спелло и бросился бы к храму Минервы в Ассизи — классическому зданию, лишившемуся своей чистоты оттого, что оно было превращено в христианскую церковь? Я думаю, что Гёте выбрал бы храм, ибо я убежден, что на самом деле он вовсе не был таким извращенным, каким ему захотелось изобразить себя в своем «Итальянском путешествии».

Моя собственная манера путешествовать, с кем бы я ни отправился в дорогу — с Уэйсом, или Томпсоном, или с моим однокашником по Бейллиолу и старинным другом, Робом Дарбиширом, — как, впрочем, и когда я путешествовал один, была скорее чем-то средним между манерой Уэйса и манерой Эшби, хотя ближе мне был стиль Уэйса. Я носил с собой рюкзак, флягу с водой и плащ — и больше ничего.

В 1911 —1912 годах организация путешествий была еще, можно сказать, допотопной, но в некоторых других отношениях они были проще и совершались более цивилизованно, чем теперь. Дорога от Лондона до Афин занимала по меньшей мере четыре дня, даже если ехать на поезде из Кале до Бриндизи, с тем чтобы там пересесть на пароход, отправлявшийся в Пирей. «А если взобраться вон на ту гору, видны будут огни вашей страны?» — спросил меня однажды морейский погонщик мулов, когда мы вместе шагали по дороге. Он указал при этом на вершину Эриманфа[29]. «Нет. Дело в том, что отсюда очень далеко до моей страны — четыре дня пути, причем не пешком, а на поезде и на пароходе». Погонщика мои слова не убедили. «Да, но ведь это очень высокая гора», — отреагировал он. Конечно, сегодня из космического корабля можно одновременно увидеть и вершину Эриманфа, и огни Лондона. Во всяком случае, совсем недавно мы с женой долетели из Афин в Лондон на реактивном самолете за три с половиной часа. Такое изменение скоростей на протяжении немногим более чем полувека — это поразительное технологическое достижение. Оборотная сторона его состоит в том, что вас катапультируют в заоблачную высь и вы не видите захватывающей прелести земной поверхности. Более того, во всем, кроме скорости, условия передвижения за этот период ухудшились.

К 1911 году Европа сорок лет жила в мире, и созданные человеком границы между государствами значительно поистерлись. В то время не существовало никаких формальностей при переезде через границу. Если вам захотелось поехать за границу, вы просто покупали билет и ехали, как это делается в пределах одной страны. Впрочем,

я обнаружил все-таки, что Турция, посещение которой было у меня запланировано, требовала от иностранца предъявления документа, называемого паспортом. Турция была одной из трех стран в мире, где подобное требование в то время было нормой. Двумя другими были Россия и Румыния. Соответственно, зная это и намереваясь посетить Турцию, я перед отъездом из Англии пошел в мой банк в Оксфорде и сказал: «Выдайте мне, пожалуйста, паспорт». Так, как я мог бы сказать: «Выдайте мне, пожалуйста, золотой наполеондор» или «золотую монету достоинством в пять фунтов стерлингов». Через один-два дня документ прибыл. Это был клочок бумаги, на котором крупными буквами было написано: «Мы, сэр Эдуард Грей, один из главных государственных министров Его Величества и т. д. и т. д.». Никакой фотографии в доказательство того, что я — это действительно то лицо, на чье имя выправлен паспорт!

Из-за этого экзотического документа я чуть было не попал в беду. 29 сентября 1911 года, через семь дней после моего отплытия из Англии, Италия объявила Турции войну[30], и вечером 16 ноября, когда мы с Робом Дарбиширом входили в Формию, куда мы следовали из Террачина, нас остановил карабинер. «Мне кажется, вы турки», — сказал он. Он нас не арестовал, но все-таки записал название нашей гостиницы. К сожалению, в моем паспорте имелось упоминание о моем желании посетить Турцию, и это мне могли инкриминировать. В глазах того карабинера разница между тем, что я намерен посетить Турцию, и тем, что я турок, была бы слишком неуловимой. Я сообразил, что если не показывать этому карабинеру мой паспорт, то ему и в голову не придет самому спросить его. Он, скорее всего, за все годы своей службы и слыхом не слыхивал о такой вещи, как паспорт. Однако когда он явится в гостиницу — что он, по-видимому, собирался сделать, — нам все-таки надо будет предъявить ему какой-нибудь оправдательный документ. Когда он пришел, я вручил ему мою карточку. На ней, под моей фамилией, значилось: «Бейллиол-колледж, Оксфорд», и слово «колледж» выручило нас. «Ах, студенты, — сказал карабинер, — тогда вы не турки» — и полностью утратил к нам интерес. Его представление о том, что слово «колледж» несовместимо со словом «турок», было в 1911 году уже, пожалуй, устаревшим, и, конечно, оно явно не соответствует действительности сегодня.

В 1911—1912 годах при пересечении границы не возникало проблем с деньгами. Международный валютный курс был стабильным, а между Бельгией, Францией, Италией и Грецией существовал «Латинский монетарный союз»[31], в соответствии с которым серебряные монеты всех этих стран считались законным платежным средством в любой из них. Во время моих экскурсий из Афин в провинцию у меня обычно один карман был набит греческими мелкими

монетами, а другой — греческими, французскими, бельгийскими и итальянскими серебряными монетами, в качестве резерва я брал с собой также пару неполеондоров или золотых соверенов, которые носил на себе спрятанными в носке. Я носил высокие носки и брюки гольф, чтобы легко было менять носки, когда они промокнут. А все, что выше их, оставалось всегда более или менее сухим благодаря плащу.

Оправданность такого способа хранения денег однажды прошла проверку практикой. 13 февраля 1912 года я взобрался на вершину горы Хломон, на пересечении границ Беотии, Фокиды и Опунтской Локриды. Хломон — гора невысокая: ее вершина находится на высоте 1801 метра, но благодаря своему центральному положению и тому, что она выше окружающих ее гор, взору открывается великолепный вид. В тот день я любовался с ее вершины горой Хоронея на юге и горой Олимп на севере. Сегодня с борта самолета в столь же ясный день зрителю представится более широкая панорама. Спускаясь, я захотел пройти напрямик, чтобы кратчайшим путем выбраться на тянувшуюся внизу дорогу, которая пересекала Опунтскую равнину и уходила на восток–юго-восток от Атланди; поэтому, заметив на склоне горы двух пастухов, я направился к ним, чтобы спросить дорогу.

Я пошел было по тропе, которую мне указали, как вдруг услышал, что они кричат, чтобы я их подождал. Я подождал; мы уселись рядом, они начали осматривать мой рюкзак, затем карманы и, наконец, мои часы (золотые), и тогда я понял, чего они от меня хотят. «Мы хотим, чтобы вы отдали нам часы», — сказал один из них. «Я вам их не отдам, — ответил я. — Эти часы принадлежали моему отцу, и я ими дорожу». Тогда один из пастухов демонстративно вложил в ружье патрон. «Тогда одно из двух, — сказал он, — или отдашь, или получишь вот это!» «Я предпочитаю получить это», — ответил я, не без опаски идя на такой риск. Однако я рассудил, что вероятность того, что он выстрелит, невелика. Хотя дорога, что петляла внизу, была довольно далеко, звуки голосов и цоканье подков мулов хотя и слабо, но все-таки доносились до нас, и я заметил, что второй пастух сжимает челюсти своей собаки, боясь, как бы она не залаяла. Если они боятся, что собачий лай может привлечь чье-то внимание к их грязному делу, они едва ли рискнут выстрелить. К счастью, я рассудил правильно. Когда я сказал: «Я предпочитаю это», угрожавший мне пастух выглядел весьма глупо. Я не дал взять себя на пушку — и победил.

Более того, эти пастухи явно были бандитами-любителями. Они поддались искушению под влиянием внезапного импульса; их явно смущала роль головорезов, которую они пытались играть, и по природе они не были жестокосердными. «Кто вы?» — «Учитель». —

«Учителя ведь не богачи?» — «Отнюдь», — уверенно согласился я. «Ладно. Тогда мы возьмем только мелочь, вам оставим серебро и часы». Подумав, они предложили мне, кроме того, обменяться с ними карманными ножами, и я не могу сказать, что это был выгодный для меня обмен. Но я все-таки легко отделался, могло обернуться и хуже. Интересно в этой истории и то, что им таки не пришло в голову заглянуть в мой носок, где были спрятаны два наполеондора. Сегодня я не мог бы пронести так же незаметно примерно эквивалентную сумму денег, хотя это и была бы всего пара банкнот по сто драхм каждая. Спрятанные в носке банкноты быстро бы расползлись от пота и дождя, бессильных против золота.

Это происшествие потрясло меня, должно быть, больше, чем я осознал в тот момент, так как я помню, как на другой день, шагая на восток по той самой дороге, что тянулась внизу, в долине, я почувствовал, как у меня забилось сердце, когда я вдруг заметил впереди группу пастухов — и никого больше на дороге. Я испытал нечто вроде кризиса. «Если я не найду в себе сил идти вперед, — сказал я себе, — это будет означать одно — что я струсил, и, возможно, это будет концом моих вольных странствий вообще. Как? Отказаться от лучшего, что обещал мне грядущий год?! Нет, об этом нечего и думать». И, подталкиваемый этой мыслью, я пошел вперед, всем своим видом изображая уверенность, которой я отнюдь не чувствовал, — и на этот раз я снова взял моих противников на пушку. Не успел я приблизиться к ним, как они снялись с места — и были таковы. Эти угрожающего вида фигуры были вовсе не пастухами. Это были стервятники. Несомненно, эти самые стервятники доклевывали бы сейчас мои кости, если бы вчерашний пастух застрелил меня на склоне Хломоса, но, привыкнув питаться падалью, эти птицы не рискнули напасть на меня, пока я жив. Я почувствовал значительное облегчение.

За те девять месяцев я исходил по земле Греции, должно быть, не меньше трех тысяч миль, неутомимо осматривая развалины городских стен, храмов и других сооружений греко-римской эпохи, но главное, измеряя в ходо-часах территории городов-государств, прикидывая соотношение между площадью долин и квадратами обрабатываемых земель и пастбищ, определяя путем проб и ошибок, куда в этой стране с сильно пересеченным ландшафтом можно добраться на своих двоих и куда нельзя. Опыт этих путешествий в значительной мере довершил мое вживание в греко-римский мир. Собственные ноги оказались тем самым именно средством передвижения, которое требовалось для достижения подобной цели. Я шел по следам древних греков, ибо они тоже ходили пешком — даже самые именитые из них, — значит, я путешествую так, как путешествовали они, и с их скоростью. Дороги, по которым мог двигаться

колесный транспорт, тогда были такой же редкостью, какой они были в Греции в 1911–1912 годах. (Отличная сеть дорог Греции 1969 года — это другое дело.)

Что касается завершения моего первого греческого образования, то мой год странствий прошел точно по плану. Однако этот чудо-год дал мне еще одно греческое образование. И это уже было вне плана. Я прибыл в Грецию с тем, чтобы узнать там у неодушевленной природы — полей, ручьев, гор, у древних ее камней — о мертвом, ушедшем от нас греческом мире, который благодаря классическому образованию, полученному мною в Англии, стал моим духовным домом. Но между прочим, паломничество к этим немым реликтам Античности дало мне возможность познакомиться с живыми греками, народом очень сообразительным, смышленым и громкоголосым. Эти простые люди, что встречались мне в ходе моих странствий, не получили западного классического образования в области древнегреческой литературы и языка. Это были крестьяне, живущие в селениях. Древняя Греция не была для них тем, чем она стала для меня за годы моей учебы в Уинчестере, — убежищем, в которое можно укрыться от современного мира; для них это была реликвия, обладавшая определенной ценностью, так как она могла помочь стране в осуществлении сегодняшних национальных задач. Эти мои греческие современники жили — причем жили полнокровно, излучая типично греческую энергию и пыл, — в сегодняшнем мире, от которого отворачивался я. Я приехал в Грецию не для того, чтобы познакомиться со своими современниками, меня интересовали только реликты. Однако именно знакомство с сегодняшними греками и давало мне мое второе греческое образование. Они ввели меня в мир XX века, с которым волей-неволей был связан и я.

Греция 1969 года покрыта сетью автомобильных дорог и мотелей, расположенных один от другого на расстоянии примерно одного дня езды на автомобиле. О Греции 1911–1912 годов едва ли вообще можно сказать, что там существовали дороги, и, конечно же, там не было никаких мотелей; и даже если бы они там имелись, то от одного до другого при моем способе передвижения мне пришлось бы добираться не меньше недели. Когда мы с женой в 1965 году путешествовали по северо-западной Греции на машине, мы за одну неделю покрыли такое расстояние, какое во время моего года странствий мне удалось бы преодолеть, вероятно, недель за семь. Кроме того, путешествуя на машине, мы повстречали по пути многих своих собратьев — иностранных туристов, но не так уж много коренных жителей страны. В 1911–1912 годах я бродил, бывало, по проселочным дорогам, каждый раз останавливаясь на ночь в разных деревнях. А вечера я, как правило, проводил в деревенских харчевнях, служивших для сельчан клубом, где они собирались, вернувшись с

поля или с пастбища. Из вечера в вечер я слушал эти неспешные разговоры деревенских жителей, и в конце концов, по мере того как я все лучше и лучше овладевал современным греческим языком, я начал и сам принимать в них участие. Здесь-то я и получил мое непредвиденное греческое образование в том, что касается современного мира, — образование, которое впоследствии привело меня на две Парижские мирные конференции и позволило мне в течение тридцати трех лет быть одним из соавторов издаваемого Четем-Хаусом* ежегодника «Сервей оф интернэшнл афферс». В греческой деревне в 1911 —1912 годах я узнал разницу между американским языком и моим родным языком Соединенного Королевства; я научился смотреть на Средний Запад Соединенных Штатов глазами иммигрантов первого поколения; и я узнал о смертельной игре — международной политике силы, — в которую играли европейские великие державы, в том числе и моя родина.

Конечно, в Оксфорде я встречался со своими американскими сверстниками — стипендиатами Родса** и др., — и, естественно, мы понимали, что говорим с разным акцентом, но каких бы то ни было различий в словаре не ощущалось. Словарь наш оказывался идентичным, потому что это был словарь меньшинств, которым посчастливилось получить высшее образование, а книжный словарь английского языка примерно один и тот же по обе стороны Северной Атлантики. Однако теперь, в греческих селениях, я сталкивался с англоговорящими людьми, чей словарный запас был ограничен приблизительно сотней основных слов, и я обнаружил, что американский «бейсик инглиш» — это совсем не тот язык, что «бейсик инглиш» в Британии[32]. «Sick» вместо «ill», «store» вместо «shop» (магазин), «mail» вместо «post» (почта). Разница между «британским» и «американским» вариантами стала очевидной, когда от языка остался лишь скелет.

Англоговорящими людьми, преподавшими мне этот лингвистический урок, стали именно греческие крестьяне, иммигрировавшие некогда в Соединенные Штаты и скопившие там достаточно денег, чтобы оказаться в состоянии снова приехать в родные деревни. В 1911—1912 годах поток эмигрантов из Греции в США достиг наивысшей точки. Чем глуше была деревня, чем суровей окружающий горный ландшафт, тем меньше было возможности заработать деньги дома и тем большее число взрослых мужчин под давлением

* *Четем-Хаус* — здание в центральной части Лондона, в котором находится Королевский институт международных отношений. — *Прим. ред.*

** Стипендия из фонда, учрежденного в 1902 году английским политическим деятелем Сесилом Родсом, которая дает право учиться в Оксфордском университете студентам из США, стран Содружества и Южной Африки. — *Прим. ред.*

нужды отправлялись в чреватое опасностями путешествие через Атлантику в неведомый им дотоле новый мир. Помню, я как-то заночевал в одной совсем уж глухой деревушке, где, как мне рассказывали, больше половины взрослого мужского населения работало в то время в Америке и посылало домой долгожданные денежные переводы.

Эмигранты, приехавшие в свою деревню на побывку, явно наслаждались жизнью. Испытывая болезненную тоску по родине, там, в США, они жили надеждой на то, что придет день, когда они снова увидят родную деревню, — и вот они здесь, с полными карманами денег и целым ворохом рассказов о чудесах Америки, послушать которые собиралась вся деревня. Им льстила престижность их положения, и они начинали подумывать, не остаться ли им дома навсегда. А тут, глядишь, подоспевал и Великий Пост. Вернувшиеся домой эмигранты успевали за время пребывания в Америке забыть о Великом Посте, а Великий Пост по законам Православной Церкви чрезвычайно строг. В пост нельзя есть никакую пищу, содержащую кровь, а согласно церковным канонам и церковному праву, запрет налагается и на молоко и яйца. В Великий Пост основной пищей в греческой деревне была третьесортная черноморская паюсная икра и изрубленные щупальца осьминога, перемешанные с рисом. Как тут было не ощутить тоску по Америке, по той основательной американской пище, которая доступна каждому круглый год, независимо от церковных постов. Испробовавшему новой жизни американскому греку не улыбалась перспектива сурового православного поста у себя дома. Какой же он находил выход? Недолго думая он делал предложение одной из незамужних девиц в деревне; если же получал отказ, то делал предложение другой, и так до тех пор, пока не находил себе жену. Женившись, он увозил молодую жену в Америку теперь уже с твердым намерением остаться там навсегда. Таким образом, он находил вполне удобный для себя и как бы компромиссный вариант. С женой-гречанкой и детьми он не будет испытывать чувства одиночества в Америке, и в то же время и он и его семья будут наслаждаться всеми удобствами американского образа жизни.

И все-таки английский и американский — это один язык или нет? Старуха, в доме которой я как-то заночевал, была уверена в том, что я говорю на американском языке. На следующее утро, когда я уходил, она подарила мне два пасхальных яйца, потому что я говорю по-американски, а у нее в то время два сына находились в Америке. Вместе с тем, когда вечером 27 декабря 1911 года я приехал в деревню Тсипиана, чуть восточнее Мантинеи, я попал из-за своего языка в затруднительное положение. «Послушай-ка, Джон, откуда ты родом?» — спросил меня кто-то. «Из Англии». — «А где

ты выучил американский?» — «В Англии». — «Как это ты выучил американский язык в Англии?» — «Мы там на нем говорим». «Не заливай! Будто я не знаю, что Англия не в Америке; Англия в Европе, а в Европе не говорят на американском языке». Заподозрив, что я лжец, односельчане сбились в кучу, устроив нечто вроде совещания на футбольном поле, чтобы обсудить вопрос, действительно ли я лгу или, может быть, говорю правду.

Через какое-то время они снова явились ко мне, чтобы сообщить мне, что им удалось увязать вместе два моих противоречивых утверждения. Они считают, что Англия — действительно моя родина, но что, когда мне было лет десять, моя семья эмигрировала из Европы в Соединенные Штаты. Этим и объясняется то, что я так бегло говорю по-американски, но с очень плохим акцентом. Я не стал им возражать. Моя честность была установлена, а большего мне было не надо. Подобно Птоломеевой теории движения небесных тел, эмиграционная теория сельчан давала убедительное объяснение всем фактам. Единственным ее недостатком, как и Птоломеевой теории, было то, что все равно она оказывалась неверной. И все же я получил урок, который никогда с тех пор не забывал: а именно что в англоговорящем мире Англия находится теперь на периферии. Большинство тех, чьим родным языком был английский, жили теперь в Северной Америке, и североамериканский стал стандартной формой языка. То, что в Англии говорили на английском языке задолго до того, как в Европе впервые услышали об Америке, было неважно. История не стоит на месте, и теперь мой британский диалект оказался сведенным до ранга непривычного «провинциального говора».

С новой для меня точки зрения я увидел и американский образ жизни. До сих пор я смотрел на Америку глазами моих американских однокашников по Оксфорду, не задумываясь о том, что студенты и их семьи относятся к привилегированному, а следовательно, непредставительному меньшинству общества. Теперь я знакомился со взглядом на Америку снизу вверх, тогда как ранее это был взгляд сверху вниз. В мое поле зрения попадали теперь и Канзас-Сити, штат Миссури, и Омаха, штат Небраска. Я узнавал об их великолепных залитых асфальтом тротуарах, по которым спокойно можно ходить в тонких лакированных туфлях — так непохожих на эти неуклюжие подбитые гвоздями башмаки, в которых приходится бродить по горным тропам Греции, чтобы ноги не превратились в покрытую синяками культю. Лишь пятьдесят один год спустя увидел я эти два американских города собственными глазами. И даже тогда, в 1963 году, я так живо помнил эти восторженные описания греческих крестьян, что въезжал в эти города с ожиданием чего-то чудесного. Однако, к своему разочарованию, я обнаруживал, что

тротуары тут самые обыкновенные, как, впрочем, и все остальное. В моем же воображении они были вымощены сапфирами и хризопразами, как тротуары Небесного Иерусалима в Апокалипсисе[33].

Однако самой животрепещущей темой из обсуждавшихся в сельских лавчонках Греции была международная политика.

Какую политику проводит сэр Эдуард Грей? (Я знал, что Грей — министр иностранных дел и что паспорт мой был выправлен от его имени, но то, что оно проводит какую-то политику, не приходило мне в голову.)

Война начнется этой осенью или следующей весной? (Война? Что такое?) И когда бы она ни началась — что это дает Греции? Она что же, получит только Крит? Или еще и Македонию?[34] Для меня подобные вопросы были новыми, странными, пугающими и поучительными. Они стали первой ступенью на моем пути к международной политике.

Та «игра ума», которой я развлекался, сочиняя в 1906/07 учебном году в Уинчестере латинский трактат на тему об Антанте, не научила меня серьезно воспринимать текущие события международной жизни. Не просветился я в этом отношении и в Оксфорде. В мое время студенты интересовались политикой так же, как они интересуются ею и сейчас. Однако для моего поколения в Оксфорде слово «политика» означало «внутренняя политика». Это было десятилетие, когда в Великобритании либеральное правительство закладывало основы общества всеобщего благосостояния и правительственные меры — пенсии по старости, государственное медицинское страхование и пр. — давали обильный противоречивый материал для оживленных дебатов в Оксфордском союзе студентов. В своей программе союз отводил внешнеполитическим дебатам одну дискуссию в год; и это единственное обсуждение внешнеполитических вопросов использовалось для того, чтобы выявить, кто из первокурсников выглядит многообещающим оратором. Так как тема дискуссии не воспринималась как важная, можно было воспользоваться ею для достижения этой чисто практической цели. Таким образом, по окончании Оксфордского университета я был более чем несведущ в делах международной политики. Теперь, в Греции, я получал наконец серьезное образование в этой области.

Образование в меня вкладывали, но я проявил себя просто тупицей. В 1912 году река истории уже стремительно неслась к опасным поворотам, но я все еще был настолько слеп, что пришел в ярость, когда трезвомыслящие греки стали предпринимать меры предосторожности военного характера, причинявшие мне определенные неудобства. Например, 9 января 1912 года в Домокосе арестовали Роба Дарбишира, обвинив его в шпионаже на местности. Конечно же, он просто любовался видом снежных вершин Олимпа, которые словно

парили в воздухе, — картина, описанная Апулеем в начале «Золотого осла»[35]. Там, на склоне горы, каждому путешественнику просто положено остановиться и полюбоваться видом. Само название — Домокос — Фаумакой[36] — как бы отдает такой приказ. И вот теперь Роба арестовали именно за то, что он это сделал. Это было возмутительно, это не укладывалось ни в какие рамки; Роб не только потерпел ущерб, ему было нанесено оскорбление. Задержавший Роба жандарм был вполовину против него ростом, и у него была смехотворная для наших ушей фамилия — Катсоупис. Возмутительно? Только когда я уже вернулся в Англию и когда началась Первая Балканская война, я понял, что военные власти в Домокосе имели полное право поступить так, как они и поступили. Несомненно, мы с Робом просто невинно любовались белоснежными вершинами Олимпа, как бы парившими над горизонтом где-то на севере. Однако любование небом могло быть и предлогом для скрытого обзора раскинувшейся перед нашими глазами местности, а местность эта представляла собой серьезной стратегической важности седловину между хребтом Отрис и гористой местностью Аграфа. Внизу извивалась рельсами колея железной дороги, протянувшейся из Афин в направлении греко-турецкой границы, пролегавшей тогда у выхода из ущелья Темпе[37].

Мое возмущение было беспредельным, когда в последний день последней экскурсии моего чудесного года странствий арестованным оказался и я сам. Это было 21 июля 1912 года. Я направлялся из долины верхнего Кифисоса к Асопосскому ущелью, чтобы посмотреть, насколько полно господствовала над этим проходом между долинами рек Кифисос и Сперхиос цитадель Гераклеи Трахинии[38]. Когда я достиг южной бровки ущелья, я увидел, что железная дорога пересекает ущелье по эстакадному мосту. К этому времени меня давно уже мучила дизентерия и я устал. Зачем мне карабкаться по этим каменистым склонам, когда по железнодорожному мосту я могу запросто перебраться на ту сторону. Я прошел по мосту и по ту сторону его был моментально задержан сержантским патрулем.

Сержант препроводил меня на станцию Элефтерохори. Я объявил о своем намерении сесть на поезд, идущий в Афины. Сержант сообщил мне, что он намерен отправить меня на поезде, направляющемся в противоположную сторону, в Ламию, где меня допросит его начальство. Афинский поезд пришел и ушел, и мне, конечно, не разрешили на нем уехать. К этому времени я достаточно бегло говорил на новогреческом языке, чтобы ругаться на нем, но сержант воспринял это весьма добродушно. Это была его повседневная работа. Он просто выполнял свой воинский долг. Он бросил пару слов, что дословно означало: «Я не слышал», но по существу — «Я слышал, но я не обращаю внимания, так как не хочу использовать

против вас вашу невежливость». Он посадил меня на поезд, затем ссадил с поезда в Ламии и передал одному из своих солдат, который и провел меня по всем кабинетам тамошней военной разведки. Мой солдат был еще большим коротышкой, нежели Катсоупис. Однако он был при оружии, и я был его пленником. Меня провели по всем ступенькам военной лестницы, пока мы не добрались до областного командования, и, чем выше было начальство, тем больше я возмущался и тем грубее разговаривал. Однако все они смотрели на это весьма добродушно, а областной командир быстро во всем разобрался, и меня отпустили,

Я не был удовлетворен, ибо ход размышлений, который заставил сержанта задержать меня, не выдержал бы испытания у Аристотеля. Силлогизм сержанта был следующим: «Этот человек, что пересекает мост, имеет при себе военную флягу для воды; это не такая фляга, какая положена по греческому воинскому уставу; значит, это, должно быть, шпионская фляга» — как будто иностранный шпион станет носить с собой знак своей профессии! В Афинах я поднял шум в британском посольстве. Они тактично мне посочувствовали, но благоразумно воздержались от каких бы то ни было действий. В конце концов, мне причинили лишь неприятность, но не причинили никакого вреда. Только когда началась Первая Балканская война, я сообразил, что эта железнодорожная колея была единственным путем, по которому греческая армия могла осуществлять поставки на фронт, и что эстакадный мост через Асопсское ущелье был самой уязвимой точкой на всем протяжении этой жизненно важной железнодорожной линии. Если бы, проходя по мосту, я заложил там какую-нибудь бомбу замедленного действия, которая взорвала бы мост, я оказался бы одним из тех, кто творит историю. Я заставил бы взлететь в воздух назначенную дату дня «Д» для греческой армии.

Несмотря на то что к этому времени я прошел девятимесячный курс международной политики в моей вечерней школе в греческих лавчонках, я все еще ничего не понимал. В августе того же года, поднимаясь на пароходе вверх вдоль Адриатического побережья империи Габсбургов, я видел, что все прибрежные городки от Котора до Триеста забиты войсками. Казалось, туда собрана вся мобилизованная имперская армия. Я, как зачарованный, разглядывал старинный покрой и расцветку мундиров (они тогда еще шились по моде 1848 года); но даже тогда я не понял, что означает эта массовая мобилизация. Я не догадывался об очевидном — о том, что, конечно же, Балканская война стоит на пороге и что австро-венгерскому генеральному штабу об этом прекрасно известно.

Не осознавал я и того, какая страстная ненависть существует между народами, ненависть, которая на протяжении моей жизни

добавляла столько жестокости к ужасам войны. Я не осознавал этого, несмотря на то что мне, по крайней мере один раз, пришлось увидеть отблеск этого адского пламени. Шагая на восток по Криту, вдоль залива Месара, а было это 15 марта 1912 года, я разговорился со стариком — погонщиком мулов. Мой попутчик просто-таки излучал доброжелательность. Он настоял на том, чтобы я ехал верхом на его муле (это было чистой воды гостеприимство — о том, чтобы я ему заплатил, не могло быть и речи), но, когда мы подъезжали к крутому спуску, он каждый раз просил меня слезть с мула, чтобы поберечь ноги животного. Он не мог быть добрее в отношении мулов и меня, но мулы и я — мы были его единоверцами — христианами и поэтому заслуживали естественной человеческой доброты. Я был поражен, обнаружив такие границы его человеческих чувств, когда наивно спросил, почему деревни, разбросанные по краю этой плодородной равнины, стоят пустые. «Вон те деревни?! — воскликнул он. — Да там жили мусульмане. Но в девяносто седьмом мы их всех повырезали — мужчин, женщин и детей, — всех повырезали»[39], — и он выразительным жестом провел рукой поперек горла; при этом голос его стал истошно визгливым, а глаза засверкали восторгом при одном только захватывающем воспоминании.

Я был очень расстроен. Вот я иду и разговариваю с человеческим существом, до сих пор казавшимся мне таким справедливым и доброжелательным. А каких-нибудь пятнадцать лет назад он с радостью принимал участие в таких отвратительных зверствах. И я тем более не мог предположить, что массовую резню на Крите в 1897 году затмит депортация армян в 1915 году[40], а депортация армян померкнет перед геноцидом в отношении евреев и славян, геноцидом, который совершат нацисты, чему мне еще предстояло быть свидетелем. Не сделал я тогда еще и неизбежного вывода общего характера. А вывод этот заключается в том, что всей человеческой природе присуща какая-то дьявольская склонность ко злу. Наш «первородный грех» может быть покрыт толстым слоем цивилизованных привычек, и все же никто не в состоянии поручиться за моральную чистоту любого отдельно взятого человеческого существа или любой человеческой общности. Никто не в состоянии дать гарантию, что он способен устоять перед любым искушением. Искушение может вызвать внезапное извержение вулкана, даже если вулкан этот считается давно потухшим.

Между тем в 1912 году лава внутри вулкана уже кипела. Когда приписанный к критскому порту пароход «Ретимнон», на котором я возвращался в Афины, входил 1 апреля 1912 года в Пирей, на палубу выбежали двое из пассажиров — моих попутчиков. Это были две молодые девушки. Выбежав на палубу, они выкрикнули: «Да здравствует Крит!» — и затем, вдохновленные собственной дерзостью,

крикнули еще громче, на сей раз: «Да здравствует Македония!» Пассажир постарше, как и я не грек, сказал, снисходительно улыбаясь: «Это будет потруднее!» Пассажира, отпустившего это замечание, звали Фабрициус; это был известный немецкий ученый, за тридцать лет до этого обнаруживший знаменитую надпись в Гортине[41] и впервые с тех пор снова побывавший на Крите. Устами Фабрициуса говорили мудрость и опыт; но не прошло и года с того дня, как события подтвердили, что оптимизм девушек был более чем оправдан. К весне 1913 года Греция уже получила не только Крит и Македонию, но еще и Самос, Хиос и Митилену в придачу.

Однако Первая Балканская война — это была еще не война, как не была еще войной и Вторая Балканская война. Так же как и Триполийская война; развязанная Италией как раз тогда, когда я только что отправился в свое годичное странствие, войны эти были просто отдельными дождевыми капельками — предвестницами грядущего потопа. За три последующих года половина моих современников пали в «Великой войне», как мы ее тогда называли. Однако и мировая война 1914—1918 годов тоже оказалась еще не совсем настоящей войной. Она стала просто первым ее раундом. Я пережил две мировые войны и теперь ощущаю их совокупное действие; да и сейчас, в 1969 году, никто в мире не знает, была ли война 1939—1945 годов финалом той общей войны. С 1945 года человечество живет под тенью угрозы третьей мировой войны, перед которой померкнут все предыдущие войны, так как вестись она будет атомным оружием.

Почему я сегодня еще жив и пишу эти строки? Если бы в 1914 году я оказался годен к действительной воинской службе, то, скорее всего, как и многие мои однокашники, к 1916 году был бы уже мертв. Тем, что я выжил, как и тем, что большую часть моей последующей трудовой жизни посвятил анализу международных событий, я обязан моему году странствий, 1911/12-му. В конечном счете я обязан своим выживанием ошибке на географической карте.

В 1911—1912 годах были опубликованы лишь первые несколько листов карты Греции, подготовленной греческим генеральным штабом. Этими листами охватывалась только самая северо-восточная окраина Греции в государственных границах того времени. Что касается остальной территории Греции, приходилось пока пользоваться не очень качественным приложением к отличной австро-венгерской штабной карте Центральной и Юго-Восточной Европы; и несмотря на то что, как говорили, это приложение было тоже составлено австрийским военным картографом, его указаниям доверять было нельзя.

26 апреля 1912 года, оказавшись в Лаконии, я планировал пройти пешком из Като-Везани, где я провел предыдущую ночь, в Гитион.

Като-Везани лежит на восточной окраине болот, через которые пробирается к морю река Эвротос. Гитион расположен на противоположном берегу залива, и между ним и западной оконечностью прибрежного болота протянулся участок довольно пересеченной местности. Я рассчитал, что на это путешествие мне вполне хватит одного дня, потому что на листке псевдоавстрийской штабной карты здесь была помечена первоклассная дорога, проходившая как раз по участку пересеченной местности; таким образом, последний этап этого однодневного похода обещал быть простым и быстрым. Этот лживый листок, который я в ту пору постоянно носил с собой, и сейчас лежит у меня на столе, прямо перед глазами. Вот она, эта якобы прекрасная дорога, обозначенная двумя бесстыдными, дерзкими черными линиями. Когда, перейдя через Эвротос по мосту, который на карте не был указан, я достиг того места, где должна была начинаться дорога, оказалось, что там вообще нет никакой дороги, а значит, мне предстояло добираться до Гитиона по пересеченной местности. Одно ущелье следовало за другим; я уже на несколько часов опаздывал против моего расписания; фляга моя была наполовину пуста, и тогда, к моей радости, я набрел на резво бегущий ручей с прозрачной водой. Наклонившись, я припал к нему губами и пил, пил, пил. И только когда я напился, я заметил какого-то человека, стоявшего неподалеку у входа в свой дом и наблюдавшего за мной. «Это очень плохая вода», — заметил он. Если бы этот человек обладал чувством ответственности и если бы он внимательнее относился к ближнему, он сказал бы мне об этом прежде, чем я начал пить; однако если бы он поступил так, как следовало поступить, то есть предупредил бы меня, то меня, весьма вероятно, не было бы сейчас в живых. Нечаянно он спас мне жизнь, ибо оказался прав: вода была плохая. Я заболел дизентерией, и благодаря этой болезни, не отпускавшей меня в течение следующих пяти-шести лет, я оказался непригодным к несению воинской службы и не был призван на войну 1914—1918 годов.

Между тем я усугублял свою болезнь, не желая ей поддаваться. Следующим пунктом моего маршрута после Гитиона значилась оконечность Матапан (она же — мыс Тенар), представляющая собой средний из трех зубцов Пелопоннеса и притом самый труднодоступный из них. В плане труднодоступности и гуляющих на нем ветров Мани — это самая что ни на есть Греция. Суровость греческой природы доведена здесь до карикатурности. На всем Мани есть только один ручей. Местные жители обходятся дождевой водой, которую они собирают в цистерны; а так как почва в расселинах манийского известняка красная, то и вода в цистернах тоже красная. Красная вода Мани не могла быть полезна для моего больного желудка. Но я сумел-таки добраться до мыса Тенар. Мною владело

твердое намерение увидеть это место, ибо именно на этом «краю земли» находился легендарный исторический рынок наемных солдат, а также знаменитый храм Посейдона[42]. Поэтому ничто не могло остановить меня, и я все-таки прошел пешком до этого лаконского «края земли». Правда, обратный путь я проделал, удобно устроившись на спине мула — это был первый случай, когда я позволил себе такую дорогую роскошь, — и у меня хватило ума вернуться из Ареополиса в Афины самым быстрым способом: пароходом и поездом. Но у меня не хватило ума прекратить после этого мои вылазки, ибо стояло еще начало мая, а я должен был возвратиться в Оксфорд лишь в октябре. Мог ли я позволить дизентерии украсть у меня такой больший кусок моего года странствий?

Я продолжал мое бродяжничество, и по мере того, как становилось все жарче, моя дизентерия все усиливалась и усиливалась. Я научился приглушать ее симптомы тем, что принимал (несомненно, с опасностью для жизни) мышьяк, капая его на кусочки сахара. Я продолжал свои вылазки до конца июля, а затем наконец сел в Пирее на австрийское почтово-пассажирское судно, принадлежавшее компании «Ллойд». Я планировал сойти с него в Которе и подняться оттуда пешком в Черногорию, но к этому времени я был уже так болен, что решил, хотя и неохотно, доплыть на том же судне до Триеста. Там я сел на первый же поезд, который отправлялся во Флушинг. Вследствие этой запоздалой капитуляции перед здравым смыслом я так до сих пор и не посетил Черногории, а теперь идет уже 1969 год. Мое упорное сопротивление дизентерии могло свести меня в могилу. Если бы это случилось, то, как говорится, и поделом. А между тем эта дизентерия не только не убила меня в 1912 году, но, напротив, не допустила, чтобы я оказался убитым в 1914—1918 годах. Когда смотришь с высоты преклонных лет на цепь случайностей, которые решали твою судьбу, охватывает какое-то беспокойное чувство. Представляется, что природа неисправимо иррациональна, а человек целиком отдан на милость природы — причем не в последней степени на милость своей собственной природы. Мой дядя Арнольд[43] умер от менингита в возрасте тридцати лет, а меня моя дизентерия, напротив, сохранила и позволила мне дожить до моих теперешних восьмидесяти лет.

Осенью 1907 года, как раз перед началом моего первого семестра в Оксфорде, я гостил у старой приятельницы моей матери, Элеоноры Джордан, заместителя директора школы Сент-Хью. И сколько я себя помнил, я, кажется, всегда знал мисс Джордан и чувствовал себя у нее как дома; она была как бы членом семьи. На этот раз я, по-видимому, изливал ей все мои планы и сетовал на краткость человеческой жизни, ибо я помню, как она сказала с улыбкой: «В твоем распоряжении еще сорок лет». Считая от того дня,

когда происходил этот разговор, я уже прожил около шестидесяти двух лет и не потерял ни физической силы, ни разума. Мне потребовалось все это время — более чем в полтора раза превышающее срок, отпущенный мне мисс Джордан, — для того чтобы выполнить мою программу. В 1907 году ни мисс Джордан, ни я не подозревали, что в моем распоряжении, возможно, осталось всего семь лет. А между тем всего лишь семью годами позже мои сверстники уходили в армию — и половины из них не стало к концу Первой мировой войны. Такой же оказалась бы и моя участь, если бы я в какой-то момент не выпил зараженной воды из того предательского ручья. Если бы в 1907 году я мог предположить, какая на нас надвигается катастрофа, меня бы не успокоили расчеты мисс Джордан, предвещавшие мне сорок лет созидательной жизни.

Мое первое греческое образование — то, которое я получил, обучаясь в 1899—1911 годах в Вуттон-Корте, Уинчестере и Оксфорде, — полностью соответствовало традициям западной гуманитарной школы, и результаты его были точно такими, как и предполагалось. Мое второе греческое образование — которое я получил в Греции в 1911—1912 годах — явилось неожиданностью. Оно не планировалось и не предполагалось; оно как с неба свалилось; оно было наградой. И вот уже сорок один год — с 1915 по 1956-й — я пользуюсь именно тем багажом, который я приобрел за время этого моего второго греческого образования. Я работал во время двух мировых войн, я выступал в качестве государственного служащего, а в промежутке между ними и после окончания Второй мировой войны — в качестве одного из двух авторов и редакторов журнала «Обзор международной политики», издаваемого Четем-Хаусом. И все эти долгие годы, как оказалось, это неожиданное второе греческое образование служило мне добрую службу. И вот теперь, в 1969 году, после того как я официально «вышел в отставку», я получаю мое третье, и тоже неожиданное, греческое образование.

Мое третье греческое образование началось в Пакистане, в Карачи, в 1960 году. Предыдущая моя поездка в Карачи состоялась в 1957 году, и я тогда нашел Карачи до неузнаваемости изменившимся по сравнению с тем Карачи, который я посетил в 1929 году. Тогда, в 1929 году, Карачи был второразрядным портом и конечной станцией железной дороги. Единственным заслуживающим интереса объектом был, пожалуй, тамошний тропический зоопарк. Однако Британская Индийская империя оказалась со временем расчлененной, и Карачи стал столицей одного из трех государств, образовавшихся из Британской Индии, — новорожденного Пакистана. Город наводняли теперь орды чиновников-мусульман и еще более несметные орды беженцев-мусульман. Карачи по своим природным условиям не мог быть гостеприимным домом для беженцев. Площадки

для их палаточных городков отводили либо в зарослях мангровых деревьев, либо в пустыне. В 1956—1957 годах нищету, царившую в Карачи, можно было сравнить лишь с нищетой Калькутты, также переполненной миллионами индийских беженцев из Восточной Бенгалии. А теперь, в 1960 году, я снова нашел Карачи изменившимся до неузнаваемости.

Жалкие трущобы вокруг города исчезли. Их вытеснили просто добротно построенные и умело спланированные новостройки. Цепь новых домов тянулась до самого горизонта, и это на земле, которая прежде была пустыней. Строить здесь приходилось много, ибо и в то время число беженцев, нуждавшихся в переселении, было огромно. Градостроительная политика здесь хорошо продумана и социально ориентирована. Новые микрорайоны спланированы так, что дети могут за пять—десять минут дойти от дома до школы, а домохозяйки до магазинов или бани. Фактически каждый комплекс занимает такую площадь, что живущие здесь люди знают друг друга лично. И очевидно, что усилия архитекторов по созданию условий для возникновения новой жизни этого небольшого сообщества достигают задуманного психологического и социального результата.

В 1957 году трущобные городки вокруг Карачи были заполнены человеческим отребьем. С корнем вырванные из родных гнезд по другую сторону границы, беженцы не умели и не могли прижиться в отвратительных новых условиях, куда их вышвырнули всех вперемешку. В новых поселках, которые я посетил в 1960 году, переселенцы явно пускали новые корни. Их веками существовавшие общины были для них навсегда утеряны, но они уже не были странниками в пустыне, какими они чувствовали себя в 1957 году. Вместо утерянной общинной жизни они обрели новую, причем обрели ее благодаря гению того, кто так заботливо и удачно спланировал для них эти новые районы. Кто он, этот гений, который сумел не только в своем воображении представить себе, в чем более всего нуждаются беженцы, но и найти материальное воплощение для удовлетворения их нужд, соединив кирпич и мрамор в захватывающих новых сочетаниях? Автором, как мне сказали, был грек по имени Константинос Доксиадис. В эта время он проектировал на севере Пенджаба новую столицу Пакистана — Исламабад[44]. Так кто же он был по профессии, этот д-р Доксиадис? Мои собеседники-пакистанцы затруднялись ответить на этот вопрос. Архитектор? «О, не только! Доксиадис не просто проектирует дома, не заботясь об их окружении. Он проектирует группы зданий, создавая из них целостные комплексы». (Во время этого разговора мы стояли в одном из таких зданий.) Значит, он архитектор, проектирующий города? «Это не совсем так; ибо он не создает проектов поселков и городов вне природного контекста. Он их вписывает в ландшафт. Но он на

этом не останавливается. Поле его мысли и деятельности — это все обитаемое пространство земной поверхности. Короче говоря, он проектирует в глобальных масштабах, и его временной диапазон не уступает диапазону пространственному. Он смотрит в будущее. Он проектирует по крайней мере на столетие вперед — проектирует для того времени, когда обитаемая часть земной поверхности будет одним большим городом. Доксиадис предвидит время — и оно не так уж удалено от нас и стремительно приближается, — когда современные разросшиеся во всех направлениях города соединятся в один непрерывный Большой город, Экуменополис (Всемирный город). Он отмечает, что традиционные отношения между городом и селом изменятся на прямо противоположные. Со времен основания первого города, Иерихона[45], и вплоть до наших дней земная поверхность в основном представляла собой поля, пастбища и не освоенные человеком пространства. Города были словно изюминки в пироге, и символом их исключительности являлись городские стены, призванные оградить территорию города от постоянной угрозы снова оказаться поглощенной сельской местностью. Лишь два столетия назад взрыв, вызванный Промышленной революцией, разрушил крепость городских стен, позволив промышленному городу разрастаться и захватывать территорию, которая ранее была сельской местностью. Уже сегодня сельская местность сужается до пределов «зеленого пояса», и обносить забором теперь приходится именно эти клочки земли, чтобы их не поглотил Экуменополис. Доксиадис построил нам дома для беженцев в Карачи, теперь он строит для нас Исламабад; но, как мы догадываемся, в душе он вынашивает планы чего-то более значительного, если не сказать вечного. Его цель — сделать сносной жизнь человека в Экуменополисе».

Творения д-ра Доксиадиса произвели на меня глубокое впечатление с первого взгляда, еще больше меня поразило и взволновало то, как мои друзья-пакистанцы описывали самого их творца. Я отправился в Исламабад, с тем чтобы посмотреть, как д-р Доксиадис решает проблему, весьма отличающуюся от проблемы переселения беженцев, — проблему планировки и строительства нового столичного города. Скоро я узнал, что Пакистан — это лишь одна из многих арен его деятельности. Одновременно он проектировал новый город-порт в Гане; он проводил реконструкцию трущобных районов Филадельфии, штат Пенсильвания; по приглашению муниципальных властей он посетил Детройт, штат Мичиган, где дал консультации относительно того, как справиться с непомерным и стремительным разрастанием города, консультировал он также по аналогичным проблемам власти Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Фактически его деятельность охватывала весь мир. Мне очень хотелось познакомиться с д-ром Доксиадисом, и спустя два года желание мое осуществилось.

По окончании лекции, которую я читал в Афинах по линии Британского Совета, он сам подошел ко мне, а затем представил меня преподавателям и студентам своего Института экистики в Афинском технологическом центре, находившемся на южном склоне горы Ликабетт, на одной высоте с вершиной Акрополя. Конечно, д-р Доксиадис сам спроектировал это замечательное здание, равно как и стоявшие дальше по той же улице многоквартирные жилые дома, в одном из которых он и поселился.

Наконец-то мне представился случай задать д-ру Доксиадису вопрос, который волновал меня с тех самых пор, когда я увидел плоды его труда в Карачи, так восхитившие меня. «Как, — спросил я его, — вам удалось угадать, что именно требуется создать для беженцев? Как вы пришли именно к такой модели застройки, которая действительно позволяет этим с корнем вырванным из родных мест человеческим существам пустить новые корни?» «Ну, отчасти потому, — ответил д-р Доксиадис, — что мне пришлось пережить то же самое. Я сам родился в семье беженцев». Отец д-ра Доксиадиса был врачом в бывшей греческой общине в болгарском городе Стенимакосе[46], и его семье пришлось переехать из своего родного дома в Болгарии в Грецию во время обмена населением в этой части мира после Первой мировой войны[47].

Однако что такое экистика? Это название нового предмета изучения предмета, о котором, помнится, мне уже говорили что-то мои друзья-пакистанцы. Экистика — это наука о человеческом поселении. Она охватывает всю историю человеческого поселения с того времени — не столь уж далекого в масштабах существования человечества, — когда некоторые общины поднялись до достаточно высокого уровня экономического развития, чтобы, не голодая, перейти на оседлый образ жизни. Как и ко всем другим дисциплинам, имеющим отношение к жизни людей, к изучению экистики следует подходить, принимая во внимание временной фактор, — то есть подходить исторически. Однако то, что экистика — это новая наука, родившаяся при нашем поколении, отнюдь не случайно, ибо экистика — это не просто теоретическая дисциплина, это также практический ответ на необходимость сделать жизнь в Экуменополисе терпимой.

Экуменополис? Никто из ныне живущих, кому уже столько лет, сколько мне, не увидит Экуменополис своими глазами. Впрочем, внуки мои, может быть, и доживут до того времен, когда их поглотит Экуменополис. Для их поколения жизнь в Экуменополисе будет связана с практическими проблемами, а так как проблемы моих внуков — это и мои проблемы, то экистика — это тот предмет, который представляет для меня живейший интерес. Когда мне было шестнадцать лет, я упустил возможность почувствовать вкус к математическим исчислениям. Теперь, шестьдесят четыре года спустя,

в мои восемьдесят лет, когда мне непозволительно терять время зря, я не намерен упустить представившуюся возможность расширить мой умственный горизонт. В самой природе экистики заложено то, что эта новая наука расширяет кругозор любого человека, с какой бы стороны он к ней ни подходил. Экистику нельзя сузить просто до еще одной специальной дисциплины, ибо ее вообще невозможно изучать вне других сторон деятельности человека. И поэтому любой, кто занимается экистикой, неизбежно встретит — и встреча эта весьма его обогатит — коллег, чье поле деятельности поразительно отличается от его собственного. На третьем симпозиуме д-ра Доксиадиса по экистике, проходившем в Делосе в июле 1965 года, собрались не только архитекторы и градостроители, но также биологи и антропологи; и для историка общение это было очень поучительным. Так что теперь я при содействии д-ра Доксиадиса приступил к моему третьему греческому образованию — по экистике; и пока я жив и в здравом уме, я не собираюсь его бросать.

Мое первое греческое образование приобщило меня к прошлому; второе — к настоящему; третье обещает приобщить меня к будущему. Всеми тремя образованиями я обязан живому уму и воображению около сотни поколений моих сотоварищей-греков. Конечно, Греция — это еще не весь мир. Несмотря на то что я начинал как узкий эллинист, мои интересы расширились и привели меня к сравнительному изучению цивилизаций, а при таком подходе к истории нельзя не развить в себе чувство пропорции. И все же — три греческих образования! Какой еще народ в мире, кроме греков, мог так много мне дать? Моя благодарность грекам — моим учителям — соразмерна разве что их огромному вкладу в человеческую историю.



3. АВГУСТ 1914-го

Август 1914-го. «Весь мир гудит, как колокол», и мертвые, с которыми связывает нас этот погребальный звон, — это люди многих национальностей по обе стороны линии фронта, отдавшие свои жизни за эти четыре страшных года. Август 1914-го. Почему людей моего поколения, во всяком случае англичан, так глубоко трогает упоминание этой даты? Август 1914 года ушел теперь от нас более чем на полстолетия в прошлое; уже отгремела и Вторая мировая война. Почему упоминание сентябрьской даты 1939 года не производит на нас такого же сильного воздействия? Одна из причин, я думаю, кроется в том, что нельзя дважды с одинаковой силой пережить одно и то же потрясение. В 1939 году начало мировой войны не явилось для нас новым и неожиданным переживанием. В некоторых отношениях

это второе переживание было даже более мучительным, потому что на сей раз мы видели, как на нас надвигается эта война, ощущали поступь ее задолго до того, как она разразилась; она не была для нас громом среди ясного неба. Более того, наш опыт Первой мировой войны научил нас заранее предвидеть, какие нам предстоят испытания. И тем не менее именно благодаря этому горькому предвидению потрясение во втором случае оказалось не столь жестоким.

Другая причина того, почему эта дата — август 1914-го — высечена в наших сердцах, заключается в том, что для Британии, пожалуй, больше, чем для любой другой страны, участвовавшей в этих двух войнах, начало Первой мировой войны обозначило зловещий перелом в ее истории. До августа 1914 года Британия почти сто лет не принимала участия ни в одной большой войне. Для нас последняя великая война окончилась 18 июня 1815 года в Ватерлоо. В школьных программах, по которым училось мое поколение, Ватерлоо подавалось как конец истории. Правда, на протяжении этих девяноста девяти лет Великобритания вела много «малых войн» — больше, чем другие страны. Однако эти мелкие конфликты не задевали нас глубоко. Пойдите в часовню Уинчестерского колледжа, взгляните на медную мемориальную доску с высеченными на ней именами уикемистов, погибших в Крымскую войну, и сравните список со столбцами имен, высеченных с четырех сторон новых галерей, построенных в память тех, кто погиб в 1914–1918 годах. Вы увидите разницу; и в том, что Великобритания почти сто лет не несла сокрушительных военных потерь, она составляла исключение среди стран Западного мира. Страны континентальной Европы пережили в середине прошлого века приступ жестоких революций и войн, которые сотрясли их с 1848 по 1871 год. Соединенные Штаты пережили свою Гражданскую войну 1861–1865 годов — самую жестокую в мире войну за этот девяностодевятилетний период, окончившийся в августе 1914 года. Это, пожалуй, была и самая дорогостоящая война в том столетии, если иметь в виду, сколько она унесла человеческих жизней, счастья и богатства. Сравниться с ней по жестокости может лишь кровопролитное Тайпинское восстание в Китае[1]. К августу 1914 года страны континентальной Европы жили без большой войны всего сорок три года, а Соединенные Штаты — всего пятьдесят два года (до апреля 1917-го, когда они тоже, в конце концов, оказались втянутыми в Первую мировую войну). Период, когда Британия жила в условиях мира, был примерно в два раза дольше, и вследствие нашей психологической неподготовленности удар, нанесенный нам, показался нам в два раза болезненней.

Я принадлежу к тому поколению англичан среднего класса, которое успело получить образование и приступило к своей профессиональной деятельности до того, как на нас обрушился август 1914-го.

Людям моего поколения к августу 1914 года было уже достаточно лет, чтобы они могли оценивать происходящее. Поэтому исторический перелом, который принес с собой август 1914 года, ощущается нами гораздо сильнее и болезненнее, нежели нашими современниками, встретившими Первую мировую войну подростками.

Мои собственные переживания, связанные с началом войны в августе 1914 года, были хотя и незначительными на фоне общих событий, но довольно драматичными. Мой второй академический год в колледже Бейллиол я закончил уже в ранге «дона» и после поездки в июле в Уинчестер, где я принимал участие в принятии экзамена у выпускников шестого класса, претендующих на Годдаровскую стипендию, возвратился в замок Хауард. Летние каникулы я намеревался посвятить творчеству. Мне было поручено написать том по истории цивилизации Древней Греции для издания «Университетская библиотека». Однако для меня, как и для огромной массы людей во всем мире, планы на лето оказались сорванными. В Уинчестере, после того как мы с моим коллегой-экзаменатором Ливингстоном присудили Годдаровскую стипендию К. Э. Маккартни, я спросил последнего, что̀ он собирается делать летом. «Я собираюсь пройтись пешком до Вены», — сказал он. Несмотря на то что Маккартни с блеском сдал государственный экзамен по древнегреческому и латыни, мысль его была прикована к делам современной Центральной Европы. Следующее мое свидание с Маккартни состоялось уже после войны. «Ну и как, сходили вы в Вену?» — спросил я его. «Ну, не в то лето, и не пешком, но с войны я служу там в качестве штабного офицера». Что же касается моего тома для «Университетской библиотеки», то август 1914 года обрушился на него подобно ножу гильотины еще до того, как я закончил вторую главу; да и события последующих десятилетий никак не способствовали моим мирным академическим планам. Прошло более сорока лет, прежде чем я смог снова взяться за ту работу, посвященную Древней Греции, однако на этот раз мне удалось дописать ее до конца. Дописал я ее в конечном счете потому, что у меня лежала к этой теме душа, так же как у Маккартни душа лежала к Центральной Европе. Даже мировые войны, если человеку посчастливится их пережить, не способны убить в нем его мечту и помешать выполнению задуманных планов.

Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены[2] произошло как раз перед моим приездом в замок Хауард. Это убийство потрясло мир; но в сознании большинства людей его частный аспект — а именно то, что это было отвратительное обыкновенное кровавое уголовное преступление, — отодвинул в тень его общественный аспект. Не каждый отдавал себе отчет в том, что это была та самая искра, которая может вызвать всемирный пожар. До Первой мировой

войны дипломатия была еще более тайной, чем сегодня, и общество вполне удовлетворял этот факт. Общество не осознавало, что международная борьба за власть может в конце концов затронуть каждого. А так как дипломатия оставалась искусством посвященных, для непосвященного большинства она была просто скучным предметом. Нет сомнения в том, что это небольшое посвященное меньшинство из правительственных кабинетов Европы поняло всю серьезность сараевского убийства сразу и до конца. Но все благоразумно хранили молчание; а так как дни шли за днями без видимого развития событий на международной арене, внимание публики вновь обратилось к повседневным частным делам.

Возвращаясь в конце июля из Уинчестера в замок Хауард, я разговорился с человеком, сидевшим напротив меня в поезде. Мой попутчик оказался квакером[3], и наследственная приверженность делу мира заставляла его более бдительно следить за ходом международных событий, чем это было свойственно мне. Беседуя о политическом аспекте сараевского преступления, мы оба сошлись на том, что логически оно должно привести к всеобщей войне между европейскими державами. Однако мы также были согласны и в том, что невозможно представить, чтобы эта логика восторжествовала.

Всеобщая европейская война казалась чем-то, что лежало за чертой вероятности; и действительно, за те недели, что прошли с момента совершения преступления, не произошло пока никаких слишком тревожных общественно-политических событий. Скоро, однако, нам предстояло перестать обманываться.

Хотя в июле 1914 года Британия не находилась еще в состоянии войны, замок Хауард, можно сказать, был в осаде. Война против него велась воинствующими суфражистками[4]. Владелица замка, Розалина графиня Карлайн, не была противницей этого движения, каковой, несомненно, являлась моя тетя Чарли. Леди Карлайн, напротив, была сторонницей женского равноправия, причем сторонницей убежденной; но она также была и убежденной противницей любых форм насилия, а так как она была личностью заметной и сильной и славилась своим непреклонным характером, то она навлекла на себя гнев воинствующих суфражисток, и они прислали ей уведомление о том, что они намерены сжечь ее великолепный дом. Соответственно замок Хауард приготовился к обороне. В нем поселился полицейский из Малтона, мистер Киоун, а вокруг дома на кольях был туго натянут шнурок, обвешанный маленькими колокольчиками. Расчет был на то, что, когда вооруженные банками с бензином и спичками менады[5] ринутся в темноте в атаку, они споткнутся о шнурок и вовремя раздастся сигнал тревоги, так что мистер Киоун успеет выйти им навстречу, дабы предотвратить возможность осуществления их зловещих планов. Мистеру

Киоуну не пришлось пребывать в полной бездеятельности. Сигнал тревоги периодически звучал — правда, причиной тому были не воинствующие дамы, а ощипывающие молодые побеги кролики, — и при каждой такой ложной тревоге мистер Киоун оказывался на своем посту. В общем и целом, однако, он, по-видимому, не слишком утомлялся.

В тот день, когда в Британии была объявлена война, события в замке Хауард также начали стремительно развиваться. Одновременно принесли две телеграммы. Одна из них была адресована леди Карлайн воинствующими суфражистками. «Наша война с Вами прекращается, пока идет война с Германией», — гласила эта телеграмма. Другая телеграмма предназначалась мистеру Киоуну. Он был резервистом гвардии, и телеграмма на его имя гласила: «Вы мобилизованы. В полночь за Вами прибудет экипаж».

Пока я жив, не забуду выражение лица и голос мистера Киоуна, садящегося в экипаж. Последний прибыл точно в указанное время — возглавляемая лордом Холдейном организация Британского экспедиционного корпуса была отличной[6]. «Три миллиона немцев, — бормотал как бы про себя мистер Киоун, — и я на передовой». Он действительно оказался на передовой и прошел всю войну. К счастью, мистер Киоун остался жив и в послевоенные годы служил старшим полицейским офицером в Малтоне.



4. ДВЕ ПАРИЖСКИЕ МИРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Я не единственный среди людей моего поколения, кто присутствовал на двух Парижских мирных конференциях. Нас было несколько человек, тех, на чью долю выпало стать участником этих непостижимых и тревожных событий. Я назвал эти события тревожными, но оставить такое определение без объяснений было бы слишком примитивно. Возможно, они не показались бы тревожными древнему греку или индусу, ибо то, что повторяется снова и снова периодическими циклами, — это как раз то, чего и ожидал бы греческий или индийский философ, исходя из своей теории о ритмах Вселенной. Однако мусульманина, христианина или еврея, равно как и нас, «народ Писания», это тревожит по той причине, что порождает предположение о том, что в конце концов теория циклов может оказаться ближе к истине, нежели наше собственное наследственное убеждение в том, что история движется не кругами, а по прямой линии, восходя от исходной точки к цели. В нашем представлении именно цель придает смысл Вселенной, в то время как циклическая история нам представляется «сказкой, которую рассказывает идиот и которая

не имеет никакого смысла»[1]. И тем не менее, хотя мы, возможно, и находим нашу иудейскую теологию вдохновляющей, мы, пожалуй, оказались бы в затруднительном положении, если бы нас попросили на примере доказать, что именно наша теория, а не теория циклов соответствует фактам действительности. И после опыта повторных Парижских мирных конференций трудно не прийти к убеждению, что Вселенная действительно движется повторяющимися кругами.

Вот она — платформа на вокзале Виктории, с которой всегда отходит специальный поезд британской делегации на Парижской мирной конференции. Вот в доке ждет знакомый специальный пароход. А теперь, когда мы уже в Кале, вон там, в той столовой, нас будут кормить обедом перед отъездом в Париж. Вон там? Но оказывается, столовой там больше нет. Ничего там больше нет. И Кале нет. Кале лежит поверженный в прах. Так что в этой точке цикл на этот раз отклонился от нормы. В прошлый раз Кале еще стоял. На этот раз он — в руинах. Что же, эта перемена делает несостоятельной циклическую теорию? Если и да, то это, в конце концов, не означает, что мы медленно продвигаемся вперед ко Второму Пришествию; это скорее означает, что мы по-прежнему кружимся, но кружимся по нисходящей спирали.

И вот теперь мы в Париже, чтобы участвовать в мирной конференции. Последний раз мы принимали в ней участие в 1919 году, а сейчас — 1946-й; мы снова в той же точке спустя двадцать семь лет. Что же, двадцать семь лет — это длина волны Парижских мирных конференций? Если так, то мы снова сюда вернемся в 1973 году[2], и эта мысль приводит в ужас, ибо для того, чтобы собралась Парижская мирная конференция, сначала должна произойти мировая война. Неужели мы доживем до того, что снова увидим мировую войну и мирную конференцию? Ясно, что новая мировая война возможна. Кто может поручиться, что ее не будет? Но если она возникнет, то в высшей степени сомнительно, чтобы кто-нибудь из нас дожил до ее конца, и после нее, несомненно, уже не соберется мирная конференция. Несомненно потому, что в прошлом году было в конце концов создано — и применено — атомное оружие. Так что следующая война была бы войной атомной, а после атомной войны не только от Кале останутся одни руины. Мирная конференция после атомной войны? Кто может быть настолько наивен, чтобы поверить в подобную возможность? Нет, в следующий раз атомный поворот колеса истории всех нас спустит вниз по спирали, и тогда уже — в пропасть. Такие вот кошмары, словно летучие мыши, проносились перед моим мысленным взором в то время моего путешествия в 1946 году, повторяющего путешествие 1919 года.

Парижские мирные конференции 1919 и 1946 годов обнаружили, конечно, не только сходство, но и различие. Однако сходство преобладало, а большая часть видимых различий, подвергнутая анализу, оказалась все тем же сходством, только искаженным в ходе мучительного лишнего поворота штопора.

Наиболее разительным сходством этих конференций было то, что на них не были представлены побежденные державы. Правда, на сей раз побежденная держава Германия не могла бы быть представлена, даже если бы победители, памятуя о том, что Гитлеру удалось использовать «Версальский диктат» в своих целях, и захотели бы вести переговоры с германской делегацией[3]. В 1946 году Германия, подобно Кале, лежала в руинах. Германского правительства, с которым победители могли бы сесть за стол переговоров, не существовало вовсе. Очевидным различием, причем в пользу конференции 1946 года, было присутствие на форуме бывшего союзника западных победителей — России. На сей раз, в отличие от 1919 года, Россия не была повержена. Она опять истекала кровью от нанесенных ей ужасных ран, однако теперь она не только продолжала твердо стоять на ногах, но и закрывала своей тенью полмира. Так, может быть, ее присутствие за столом переговоров обеспечивало большую эффективность этим переговорам? К сожалению, нет. Ибо несмотря на то, что Россия и ее бывшие союзники из числа западных стран сидели за столом переговоров друг против друга, практически разговора между ними не происходило. Столько же толку могло бы быть и от их присутствия в 1919 году на острове Принкипо[4].

В 1946 году атмосфера конференции не была столь штормовой, какой она бывала порой в 1919 году, но и это не стало положительным фактором, как этого можно было ожидать. На самом деле это служило плохим признаком, ибо причина того, что она не была штормовой, состояла в том, что она была ледяной. В 1919 году отношения между главными представителями держав были достаточно человеческими, чтобы они могли ссориться. Кроме того, делегаты располагали необходимыми средствами языкового общения, чтобы ссориться громко, во весь голос, благо Клемансо говорил по-английски. Единственным иностранным языком, которым владели делегаты Италии, был французский; иностранным языком Ллойд Джорджа тоже был французский, на французском же говорил и лорд Грей; не был полиглотом и президент Вильсон[5]. Таким образом, Клемансо оказался незаменимым посредником, и это давало ему значительные дипломатические преимущества.

В 1946 году общение между главными делегатами шло через переводчиков, и переговоры оказывались лишенными жизни из-за длительного и нудного процесса перевода. Делегаты также подпали

в какой-то мере под власть переводчиков; ибо хотя переводчики и не отваживались, возможно, переиначивать смысл речей, но они все же могли — что иногда и делали — придавать иной оттенок словам при помощи интонации. Я не раз наблюдал, как это делали, при переводе на русский язык, переводчики французской делегации, граждане Франции из русских белогвардейцев. Политика французской делегации заключалась в том, чтобы по возможности осуществлять посредничество между русской делегацией, с одной стороны, и двумя англоговорящими делегациями — с другой. Например, господин Бидо[6] делал на французском языке какое-нибудь предложение, которое и по тону и по существу было примирительным, а затем я слышал, как его переводчики выпаливали свой перевод в лицо Молотову[7], и слова звучали, как пистолетные выстрелы. Я не знаю русского языка и поэтому не могу сказать, насколько правильно переводчики переводили слова господина Бидо, однако их тон, безусловно, не передавал тона господина Бидо, и, по-видимому, Бидо ничего не мог с этим поделать.

И на той и на другой конференции моя роль была более чем скромной. Заняв место на задних скамьях конференц-зала, я постоянно держал наготове бумаги, которые могли понадобиться делегатам, сидящим в первом ряду; и так как этим мои обязанности исчерпывались, то возможностей для наблюдения у меня было предостаточно. Те долгие часы, которые я проводил в зале, слушая обсуждения, стали бесценной частью моего образования.

Из числа знаменитых государственных людей, за деятельностью которых я имел, таким образом, возможность наблюдать, мне более всех запомнился Молотов как самый забавный. В детстве я однажды видел в Лондонском зоопарке зловредных ребят, дразнивших бегемота, который неустанно барахтался у края своего водоема. Один такой хулиган тыкал в него зонтиком; другой бросил ему на спину горящую сигарету. Мучители бегемота изо всех сил старались раздразнить его, но у них равным счетом ничего не получалось. Бегемот не реагировал. Нельзя было даже понять, замечает ли он их присутствие. Так вот, Молотов напомнил мне этого бегемота. Господа Бирнс[8] или Бевин[9] могли говорить самые ужасные вещи о нем или даже ему самому, и их переводчики со смаком передавали этот град брани. А Молотов неизменно оставался невозмутим. Я заметил, что на его высоком лбу не было ни единой морщины, хотя известно было, что он пережил много тяжелого, такого, что подорвало бы нервную систему любого заурядного человека. Самообладание Молотова вызвало бы зависть и восхищение стоика, эпикурейца и буддиста. Неуязвимость и невозмутимость[10] — аскетические идеалы греческой и индийской философий отрешенности — были воплощены в этом человеке, и, по-видимому, такой

стиль поведения давался ему без всяких усилий, и это спокойствие Молотова было, конечно, его козырной картой.

Не раз и не два в 1946 году я с увлечением наблюдал за игрой Молотова. Игра шла всегда одинаково. Первые час или два или вообще столько часов, сколько могло потребоваться в данном конкретном случае, Молотов старательно занимался тем, что срывал попытки Бирнса и Бевина добиться хоть чего-нибудь дельного. Может быть, Молотов читал когда-то описание Гёте в «Итальянском путешествии» того, как один английский дворянин интервьюировал Гёте на ступеньках неаполитанского собора в течение ровно десяти минут, держа в руке часы? Как бы то ни было, Молотов понимал, что англосаксов предельно раздражает то, что их заставляют зря терять время; и конечно, потеря времени для них отнюдь не была потерей времени для него. С точки зрения Молотова, время, затраченное на то, чтобы довести Бевина и Бирнса до состояния крайнего раздражения, было прекрасно потраченным временем. Тот момент, когда они достигали нужного Молотову состояния, можно было определить по чисто физическим признакам: у Бирнса начинало дергаться лицо; Бевин в ярости начинал чуть ли не рычать. Когда Молотов замечал эти наглядные признаки того, что он победил в психологическом туре, он наконец соглашался разговаривать. На этой стадии он располагал неоспоримыми преимуществами. Но что же они ему давали? Тактика его была мастерской, однако значительного выигрыша у своих противников он не получал. Эти развлекательные сеансы никогда не приводили ни к каким серьезным соглашениям.

Слабость русского стиля дипломатии в том, что они переигрывают. Делая ставку, как это вообще присуще русским, на достижение полной победы, причем не только в существенном, но и в мелочах, они часто упускают возможность достижения важной цели, которой они, пожалуй, могли бы добиться, если бы не провоцировали в другой стороне желания проявить упрямство, не уступающее упрямству русских. Взаимное упрямство исключает переговоры. Задача переговоров — достигнуть согласия между сторонами, когда ни одна из сторон не в состоянии навязать свою волю другой. Согласие предполагает взаимные уступки, а когда стороны к ним не готовы, переговоры со скрипом заходят в тупик.

Тем не менее эта тупиковая ситуация за столом переговоров не мешала членам противостоящих делегаций завязывать дружеские отношения между собой. Что касается меня, то одной и приятных сторон Парижской мирной конференции 1946 года явилось для меня знакомство с русским представителем, работавшим в том же комитете, что и я. Так же как и я, этот мой русский коллега не был профессионалом. Он трудился на поприще высшего образования, и если

мерить мерками нашего западного общества, то он, как и я, принадлежал к среднему классу. Например, у них с женой была квартира в Москве, дача в пригороде, и каждое лето они пользовались месячным отпуском. Он любил плавать, поэтому обыкновенно проводил отпуск в Крыму или на Черноморском побережье Кавказа.

Он не был кадровым дипломатом, однако отношение к нему его коллег поражало нас редкостным великодушием — что можно продемонстрировать на примере подлинного происшествия, имевшего счастливый конец. На одном из утренних заседаний нашего комитета мы уговорили его присоединиться к нам и поддержать нас в решении обратиться с пятью вопросами к нашим непосредственным начальникам. Мы уже поздравляли друг друга с успешно найденным решением, ибо принятие этих вопросов обещало продвинуть дело на один-два дюйма вперед, однако, когда мы вновь собрались вместе после обеда, наш русский коллега поспешно заметил, что утром у него сложилось впечатление, будто мы вообразили, что он согласен с нашим планом. Если это его впечатление правильно, то он с сожалением вынужден нас информировать, что мы неверно истолковали его слова. Он не давал согласия на подобную вещь. Нас это, естественно, весьма разочаровало, однако к тому времени мы все успели его полюбить (он действительно был милейший человек), и раздражение сменилось беспокойством, когда еще до окончания наших бесплодных послеобеденных переговоров пришла телеграмма из Москвы, где говорилось: «Ваша жена только что родила. В парижском аэропорту Вас ждет самолет, который доставит Вас на свидание с ней и новорожденным. Приезжайте немедленно».

Для нас за всем этим почудился какой-то зловещий смысл, и мы почувствовали угрызения совести. Неужели, уговаривая в то утро нашего коллегу задать эти пять вопросов, мы непроизвольно навлекли на него беду? Все наши усилия продвинуть дело оказались не просто напрасными, а привели к прямо противоположному результату. Наш друг исчез, и его место в комитете занял молчаливый молодой человек. В течение следующих трех недель мы постоянно спрашивали у вновь прибывшего, нет ли каких-нибудь известий о нашем отсутствующем коллеге, и каждый раз молодой человек отвечал как-то неопределенно. Возможно, он действительно ничего не знал. Возможно, ему просто хотелось произвести на нас впечатление. И он делал вид, будто он знает больше, чем считает нужным сказать. И вдруг, однажды утром, в комитете снова появился наш друг, и оказалось, что все было правдой. Его жена действительно родила, ему действительно был предоставлен самолет, чтобы доставить его в Москву на свидание с ней. Мои американские коллеги согласились со мной, что при соответствующих обстоятельствах наши делегации, возможно, и предоставили бы нам оплаченный

отпуск по семейным обстоятельствам, но наши финансовые отделы, конечно же, заставили бы нас заплатить из собственного кармана за такую роскошь, как специальный самолет.

Единственное развлечение, которое позволял себе мой русский друг в свободное от работы время, — это знакомство с историческими достопримечательностями; а так как он был человеком высокообразованным и чрезвычайно дотошным, он и осмотром достопримечательностей занимался очень досконально.

Как-то в воскресенье, за обедом, я предложил ему провести вторую половину дня в Версале, и он живо согласился. Я вызвал моего водителя из Корпуса обслуживания британской армии, и мы отправились. Когда мы прибыли на место, оказалось, что наш водитель не только никогда не бывал в Версале, но даже никогда о нем не слыхал. Я велел ему припарковать машину и идти с нами. Наш осмотр затянулся, так как мой спутник не хотел упустить ни единой подробности. Было уже почти шесть часов вечера, когда мы приблизились к «деревенской обители» Марии Антуанетты[11]. Мария Антуанетта? О ней мой водитель тоже никогда не слыхал. Я сказал: «Она была королевой», а мой спутник добавил: «Она была обезглавлена». Затем он повернулся и обратился ко мне в теперь уже хорошо знакомой мне безличной манере. «Знаете, — сказал он, — русские поступили с императорской семьей более гуманно, чем французы — с королевской. Французы мучили королевскую семью судом, играя с нею, как кошка с мышью, — ведь приговор был предопределен. И кроме того, французы разбили королевскую семью. Они отделили дофина от родителей, и по сей день никто не знает, что стало с несчастным ребенком[12]. Русские же поступили тактичнее: они не разъединили императорскую семью и они сообщили им, что их расстреляют, только за три минуты до экзекуции». Желая соблюсти вежливость, я отвечал в той же, что и он, безличной манере: «Ну, я полагаю, начало этому положили англичане, отрубив голову королю Карлу[13]». «О, они ничего не сделали его семье», — быстро подхватил мой коллега.

Даже если бы мы были французскими придворными XVII века, наша взаимная вежливость не могла бы быть более изысканной. В этот момент запел соловей, и упали первые капли дождя; но мой друг, казалось, не замечал ни дождя, ни времени. Волшебные зрелища и звуки повергли его в экстаз, и он стоял, зачарованный, не в силах уйти отсюда. Между тем мой англосаксонский ум был занят куда более прозаическими мыслями: «Так мы совсем вымокнем, да и водителю, наверное, уже надоело: он и так получил исторических познаний больше, чем способен переварить, и ему явно не терпелось вернуться домой, где его ждет чашка чая». Мне удалось увести моего русского друга, прежде чем водитель начал громко выражать свое недовольство.

Даже во время мирных конференций случаются передышки. В то воскресенье в Версале, в 1946 году, мне вспомнилась другая поездка в Версаль — в первое воскресенье Парижской мирной конференции 1919 года. В тот зимний день на покрытых льдом прудах Версаля мы наблюдали веселую толпу конькобежцев, одетых в военную форму всех союзных и дружественных держав. Какое оживление! Какая захватывающая картина! Грациозная, словно лучший русский балет. И вдруг я понял, почему созерцание этой сцены доставляет мне такое острое наслаждение. Впервые на протяжении четырех лет я видел людей, которые снова могли свободно, всей душой предаваться веселью.

Однако, несмотря на подобные редкие передышки, мирные конференции в общем-то мероприятия мучительно гнетущие. И прежде всего потому, что на них постоянно испытываешь чувство разочарования и неудовлетворенности. И это неизбежно, это заложено в самой природе подобных мероприятий.

Мирная конференция — это попытка снова склеить мир, после того как этот мир был разнесен войной на мелкие кусочки. Однако конференция, призванная уладить все международные дела в один присест, — это поистине Психеева задача[14]. Она оставалась бы такой, даже если бы причиной ее созыва и не являлась война, сама по себе поддерживающая в участниках конференции воинственное настроение, и даже если бы в их распоряжении было сколько угодно времени для ведения переговоров, слишком трудных и слишком деликатных, чтобы можно было их удачно завершить в спешке. Участники конференции находятся далеко не в спокойном и примирительном настроении, которое могло бы способствовать продвижению переговоров; вместе с тем работать им приходится под постоянно возрастающим давлением времени, обусловленным требованиями ее скорейшего завершения. Первейшая задача, возлагаемая на участников мирной конференции, — это заключить мир, и заключить его быстро, даже ценой его качества. Давление, требующее завершения мирных переговоров, ощущается очень сильно, потому что, пока не подписан мирный договор, мир остается в состоянии войны, а значит, повседневная, мирная деловая активность остается наполовину парализованной. Большинство людей не знают и не хотят знать обо всех тонкостях обсуждаемых общественных вопросов, но они хорошо знают, что их частные дела по-прежнему страдают от военных действий, хотя те уже прекратились. Это вызывает у людей чувство нетерпения и возмущения; и их официальные представители на конференции постоянно ощущают эту струю холодного воздуха.

Другая причина, почему мирные конференции действуют угнетающе, кроется в том, что участники их легко поддаются искушению

попрать правосудие ради достижения преимуществ в грязной игре политики с позиции силы. Международная политика с позиции силы будет существовать всегда, пока существуют локальные суверенные государства. Война — это политика с позиции силы, накаленная до температуры выше точки кипения. Но даже в такие периоды, когда никто никого не убивает на полях сражений, политика с позиции силы не уходит в прошлое, а результаты этой игры все равно оказываются порочными. Проведение мирной конференции означает, что последний раунд силовой политики окончился поражением одной стороны; и как только вчерашний противник уничтожен, вчерашние союзники, которых недавно еще общий противник удерживал вместе, становятся оппонентами друг друга и снова начинают силовую игру — уже между собой, при новой расстановке игроков. Это печально не только для поверженного врага, но и для всех тех, чья судьба волею случая оказывается в руках мирной конференции. Теперь справедливость решения любого вопроса будет подчинена соображениям, основанным на том, каким образом это решение скажется на национальных интересах каждой из соперничающих сторон. Я наблюдал — возмущенный и бессильный что-либо предпринять — за тем, как и в 1919 и 1946 годах в Париже беспардонно попиралась справедливость. Приведу один-два вопиющих примера.

В 1919 году Италия старалась добиться от своих союзников всего, что они ей обещали, правда, обещали вынужденно, в секретном Лондонском договоре 1915 года. Теперь помимо этого Италия требовала Фиуме. Соединенные Штаты противились этим несправедливым требованиям, которые могли быть удовлетворены лишь за счет тирольских австрийцев и югославов. Франция и Великобритания без энтузиазма поддерживали Соединенные Штаты.

При любом решении вопроса союзники ставили себя в весьма некрасивое положение. Тогда Италия в порыве оскорбления покинула конференцию. Правда, порыв этот был хорошо рассчитан, ибо она полагала, что ее уход заставит трех ее партнеров согласиться с ее требованием[15]. В пику Италии союзная тройка удовлетворила просьбу удачно выбравшего момент Венизелоса[16] и разрешила ему высадку греческих войск в Смирне, совсем рядом с той зоной на юго-западе Турции, которая предназначалась Италии по секретному договору в Сен-Жан-де-Морьене[17]. Этот контрудар, нанесенный Италии, оказался весьма безответственной акцией. Решение о нем было принято после того, как в Париж пришли телеграммы от британских, французских и американских военно-морских, военных и консульских властей в Западной Турции, в один голос умолявших своих начальников в Париже не разрешать греческим войскам высадку в Смирне, а принять против Италии любые другие меры, которые они сочтут нужными. В результате этот безответственный ход

в межсоюзнической силовой игре, сделанный вопреки совету профессионалов, привел к греко-турецкой войне и насильственному выдворению греческого меньшинства из Турции и турецкого меньшинства из Греции.

В 1919 году президент Вильсон, сосредоточив свои усилия на том, чтобы спасти как можно больше югославов, вытащив их из когтей итальянцев, бросил итальянским «волкам» Южный Тироль[18]. Южный Тироль — это территория в верховьях реки Эч (она же — Адидже), населенная австрийцами, говорившими на немецком языке. Южный Тироль был одним из тех кусков Габсбургской монархии, который в секретном договоре 1915 года Великобритания, Франция и Россия пообещали Италии. Президент Вильсон предоставил Южный Тироль предопределенной ему судьбе. Это было одним из самых непозволительных нарушений принципа самоопределения наций при мирном урегулировании в 1919 году.

Когда в 1946 году я ехал на следующую Парижскую мирную конференцию, я с уверенностью ожидал, что уж эта-то несправедливость будет устранена. Вступив в войну на стороне Германии, Италия, конечно же, потеряла право на то, что она получила по договору 1919 года, хотя она и переметнулась на другую сторону, когда Вторая мировая война вступила в решающую стадию и стало ясно, что антигерманская коалиция выиграет войну и на этот раз. Что касается Австрии — теперь уже не старой Австрийской империи, а малюсенького государства с говорящим на немецком языке населением, образованного в результате мирного урегулирования 1919 года, — она тоже оказалась во Вторую мировую войну в германском лагере, но она была там по принуждению. Гитлер захватил ее силой[19]. Не может быть, чтобы ее вынужденное участие в войне оказалось поставленным ей в вину. Не может быть, чтобы в отношении Тироля Парижская конференция 1946 года не восстановила справедливость, нарушенную на мирной конференции 1919 года. Не может быть, чтобы победители 1946 года не воспользовались этим случаем сделать доброе дело, тем более что им это теперь ничего не стоило.

Однако ничего подобного победители не сделали. Все они без исключения рассуждали о Тироле не с точки зрения справедливости, а с точки зрения политики с позиции силы. «Я, Соединенные Штаты, в моем соперничестве с Советским Союзом, и я, Советский Союз, в моем соперничестве с Соединенными Штатами, должен вовлечь в свой лагерь как можно больше второразрядных и третьеразрядных государств. И не могу надеяться на поддержку ни со стороны Италии, ни со стороны Австрии, потому что обе эти страны грызутся друг с другом из-за Южного Тироля. И если по этому вопросу мне придется стать на ту или другую сторону, то ценой этого станет то, что страна, которой я нанесу обиду, примкнет к лагерю моего

соперника. Итак, надо выбрать между Австрией и Италией: которой из двух протянуть руку дружбы, а которую оттолкнуть от себя? Которая из двух станет для меня более ценным сателлитом? Иными словами, которая из двух крупнее и сильнее? Конечно же, Италия. Значит, это и есть мой ответ на вопрос, какой будет моя политика в отношении Южного Тироля. Вопрос отвечает сам за себя. Моя политика будет заключаться в том, чтобы поддержать господство Италии над Южным Тиролем и отвергнуть требование Австрии о пересмотре урегулирования, достигнутого в 1919 году».

По этому пункту политики с позиции силы в 1946 году мысли американцев и русских работали параллельно и в одном и том же направлении. Обе сверхдержавы поддержали Италию, причем каждая из них действовала из страха того, что если она поддержит Австрию и тем самым поступит по справедливости, то Италия перекинется на сторону соперничающей сверхдержавы. Это был один из немногих вопросов, по которым в 1946 году у Америки и России не было разногласий. Согласие было достигнуто охотно и быстро. Великобритания и Франция, конечно, последовали их примеру.

И как это трагично, что, когда внезапно победители-соперники оказались согласны друг с другом, мотивы и той и другой стороны оказались такими недостойными. Я был шокирован — но благодаря опыту, приобретенному мною на первой Парижской мирной конференции, я не был удивлен.

Ну что же, остается только радоваться, что дата моего рождения и дата изобретения ядерного оружия дают мне двойную гарантию того, что мне никогда больше не придется присутствовать на Парижской мирной конференции — даже если циклическая теория и правильна в отношении человеческих дел.



5. ТРИДЦАТЬ ТРИ ГОДА В ЧЕТЕМ-ХАУСЕ

Однажды вечером в Париже в 1919 году, когда мирная конференция находилась уже в той стадии, когда виден был ее конец, я присутствовал на встрече в отеле «Мажестик», где размещалась штаб-квартира британской делегации. На встречу были приглашены все временные сотрудники американской и британской делегаций. Постоянные сотрудники тоже могли присутствовать на этой встрече, если их непосредственное начальство не возражало.

Когда я вошел, комната была полна народу. Главенствовал в ней один из временных сотрудников британской делегации, Лайонел Кертис. Лайонел обладал гением предвидения, и он вовремя почувствовал, что, проводя эту встречу, он предвосхищает желание,

зарождающееся в умах всех остальных. Все мы сознавали, что срок нашей работы на правительственной службе подходит к концу. Некоторым из нас предложили остаться и перейти в разряд профессиональных чиновников. Я был одним из них, но после долгих размышлений я отказался, и все мы, за редким исключением, намеревались, когда правительство отпустит нас, вернуться к нашим прерванным карьерам. Наши годы работы по мобилизации были какими-то не совсем реальными, и нереальными они были потому, что как-то выпадали из нашей нормальной жизни; они скорее ощущались как часть какой-то иной жизни, несоизмеримой с нормальной, так же как военное время несоизмеримо с мирным временем. И все же, хотя эта работа была необычной и временной, мы не освоились еще с мыслью, что она подходит к концу и скоро придется забыть о ней.

Мы не могли забыть о нашей работе в период войны, потому что она очень расширила наш кругозор. Мы узнали на опыте, что мировые войны, которые в доавгустовской Великобритании и Америке многими представлялись «древней историей», могли стать и стали страшной современной действительностью. По крайней мере половина наших британских современников, ушедших на войну, погибли, и не было никакой гарантии, что ужасная катастрофа 1914—1918 годов не повторится. Теперь это зависело от того, насколько хорошо или насколько плохо правительства и народы мира будут решать международные проблемы послевоенного периода, а мы, временные сотрудники, не могли относиться к этому равнодушно, ибо после войны тезис о том, что международные дела — это забота исключительно госдепартаментов и министерств иностранных дел, никого больше не удовлетворял. Катастрофическое число убитых и раненых показало нам, что международные дела касаются каждого, и было очевидно, что мы не сможем теперь отмежеваться от последствий правительственной внешней политики, просто-напросто вернувшись к нашим довоенным негосударственным занятиям. На карту ставилась наша собственная судьба и судьба наших детей, и, таким образом, затрагивалось чувство нашей личной, а также гражданской ответственности. Нам необходимо было после возвращения к нашей частной жизни по-прежнему иметь возможность что-то предпринимать в области международных дел, которые, как теперь казалось, оставались варварской и опасной сферой деятельности современного человека. Как осуществить эту нашу потребность? Именно для обсуждения данного вопроса и была организована эта встреча.

В повестке дня встречи стояло практическое предложение. Предлагалось, чтобы мы основали частное англо-американское общество для научного осмысления международных дел. Под словом «научного» авторы предложения имели в виду «объективного, непредвзятого,

беспристрастного, неэмоционального». Это, несомненно, была идеальная задача, к чему, учитывая человеческую природу, можно было только стремиться. Но чем ближе будет деятельность предполагаемого общества к научной в том смысле слова, который имелся в виду, тем эффективнее она будет для достижения поставленной цели. Эту цель мы видели в самом скрупулезном изучении хода текущей международной политики. Предполагалось, что обязательная основа для достойной государственной деятельности — это объективное изучение; именно достойная государственная деятельность нужна человечеству, если оно хочет избежать повторения катастрофы 1914—1918 годов. Спонсорами выдвинутого предложения подчеркивалось, однако, и подчеркивалось настоятельно, что работа нашего общества должна быть строго ограничена именно научным анализом. Деятельность, для которой, надо надеяться, окажутся полезными результаты такого анализа, должна будет вестись правительствами, ответственными перед избирателями. Международная деятельность — это политика, научная же работа не может быть подлинно научной, если политика не будет исключена из нее полностью. Поэтому первый параграф устава нашего общества предусматривал, что общество это как организация не должно иметь собственной политики. Конечно, подобное положение ограничивало свободу каждого члена общества как гражданина и избирателя поддерживать и проводить ту или иную политику.

Предложение нам понравилось. И мы решили основать общество для научного изучения международной политики на предложенной основе. В то время я, конечно, не имел представления о том, как сильно отразится принятое в тот вечер решение на моей собственной жизни, как личной, так и профессиональной. В тот вечер многие из собравшихся, в том числе и я, подали заявления о членстве в этом обществе.

Впоследствии первоначальное англо-американское общество разделилось на два — Совет по внешним сношениям со штаб-квартирой в Нью-Йорке и Королевский институт международных отношений (или Четем-Хаус) со штаб-квартирой в Лондоне. Это изменение не было вызвано каким бы то ни было различием во мнениях среди американских и британских членов нашего общества, оно диктовалось соображениями практического удобства: жизнь скоро показала, что трудно управлять как единым целым организацией, члены которой были обитателями разных континентов. Обе сестринские организации — совет и институт — всегда поддерживали между собой самые живые и сердечные отношения.

Министерство иностранных дел на Уайтхолле в то время не приветствовало результаты встречи в Париже. Они готовы были принять в свою среду посторонних лишь временно, в качестве чрезвычайной меры, вызванной нуждами военной поры. Что еще им

оставалось делать, когда в связи с войной так непомерно увеличился объем их работы? И тем не менее даже во время Первой мировой войны Военный отдел министерства иностранных дел состоял всего из четырех клерков; все они были кадровыми военными, причем младший член этого квартета выполнял обязанности машинистки отдела. Министерство иностранных дел намеревалось, по окончании Парижской мирной конференции, возвратиться к своей работе на традиционные рельсы. А традиционно оно управлялось по принципу семейного делового предприятия. Число чиновников первого отдела[1] министерства всегда было настолько ограничено, чтобы они могли поддерживать между собой личные отношения. Исторической прерогативой этого узкого семейного круга министерства иностранных дел была монополия на проведение внешней политики. Четем-Хаус изначально и намеренно лишил себя права даже иметь взгляды на политику. У нас никогда не было и мысли о том, чтобы вторгаться в заповедную область политиков-профессионалов. И все-таки в то время руководство министерства иностранных дел чувствовало, что если посторонние станут проводить научный анализ ревниво охраняемого поля деятельности министерства, то это может оказаться для них неудобным и способно в определенной степени нарушить их стиль.

До самого окончания Первой мировой войны министерство иностранных дел фактически игнорировало какие-либо связи с общественностью, будучи стопроцентно настроено на секретность. Подобно свободе и равенству, гласность и секретность — антагонисты. В министерстве это осознавали, но никак не могли признать, что секретность должна делать какие-то уступки гласности. В министерстве понимали, какую опасность представляет та область человеческих отношений, с которой оно непосредственно соприкасается, и были убеждены, что делать их деликатную работу можно исключительно за завесой секретности.

Регулировать отношения между отдельными независимыми и суверенными государствами, обладающими правом и силой воевать друг с другом, — это поистине опасная игра, и она будет становиться все более и более опасной, поскольку при нынешней устаревшей политической системе неуклонный технологический прогресс будет вкладывать в руки правительств отдельных государств все более и более смертоносные виды оружия. В атомный век несовместимость косной мировой политической структуры с революционизированным технологическим процессом достигла ужасающе критической точки. В 1969 году мы все еще не имеем понятия о том, в состоянии ли мы сознательно и постепенно разрядить напряжение, прежде чем оно будет разрешено какой-нибудь всеуничтожающей силой; однако и это понимание опасности современных международных отношений могло стать лишь аргументом в пользу дальнейшего уничтожения

секретности, если бы правительства продолжали действовать в политическом вакууме. А тем не менее в странах с демократической выборной парламентской системой, где постоянно растет уровень образованности и информированности населения, в отношении практической политики дело обстоит уже иначе.

В демократической стране правительство не может значительно переступить предел тех действий, в правильности которых оно сумело убедить общественное мнение; и это справедливо прежде всего в отношении ревниво охраняемых вотчин министерств иностранных дел всего мира (которых в 1969 году около 125). Правительственные решения в области международных отношений в атомный век — это в буквальном смысле слова вопрос жизни и смерти для всего населения страны. Если в демократической стране правительство перестает считаться с общественным мнением, то выработанный им втайне политический курс может быть с возмущением отвергнут прессой и обществом в самый последний момент, тогда, когда придет время претворять его в жизнь и, следовательно, когда тайну придется наконец раскрыть. В качестве примера можно привести план Хора — Лаваля[2], отвергнутый прессой и обществом в 1935 году. В демократической стране это риск, присущий официальной секретности. Единственно возможная гарантия против подобного риска — гласность, поэтому гласность не должна ущемляться, даже если неизбежной ценой этого окажется некоторое ослабление секретности. Где предел компромисса между этими двумя принципами? Нет сомнения в том, что в такой относительно цивилизованной области общественной деятельности, как образование, возможен больший объем гласности, чем в варварской сфере международных отношений. Но и в международных отношениях полная секретность также уже не является практически достижимым идеалом. Однако первая негативная реакция министерства иностранных дел на основание британского Королевского института международных отношений не явилась для меня неожиданностью, потому что незадолго до начала работы Парижской мирной конференции 1919 года я фантастическим образом лично столкнулся с редкостной аллергией министерства иностранных дел на контакты с общественностью.

В период между двумя мировыми войнами во взглядах министерства на общественные отношения произошла радикальная перемена. Мы в Четем-Хаусе наблюдали перемены в настроении министерства и постепенную модификацию его первоначальной установки по вопросу об участии его штатных чиновников в нашей работе. Вначале им запрещалось быть членами института. Несколько позже им разрешили посещать наши собрания при условии, что они не будут принимать участия в дискуссиях. Наконец им разрешили выступать, если таковое желание у них возникнет. Как мне представляется, в

министерстве открыли для себя, что какое-то знакомство с общественным мнением необходимо чиновникам для эффективного выполнения их работы и что Четем-Хаус основан для того, чтобы быть своего рода форумом, где формировалось бы общественное мнение по международным вопросам. Должно быть, министерство иностранных дел в конце концов осознало, что лучший способ выяснить чье-то мнение — это самому принять участие в обсуждении. Перед началом Второй мировой войны отдел по связям с общественностью стал ключевой частью механизма министерства — чего невозможно было себе представить в 1918 году. На пресс-конференции, проводимой отделом, приглашались корреспонденты газет, аккредитованные при дипломатических службах.

Через пять лет после основания Четем-Хауса я был зачислен в его штат. (Мне был поручен выпуск четем-хаусского обзора международных отношений — «Сервей оф интернэшнл афферс».) Я проработал в Четем-Хаусе тридцать три года, вплоть до пенсионного возраста. Это было нечто новое в моей профессиональной карьере. Я проработал членом ученого совета[3] в Бейллиоле всего два с небольшим года и затем, после Первой мировой войны, в течение пяти лет заведовал кафедрой истории и культуры Византии и новогреческого периода в Лондонском университете. Эти относительно короткие периоды завершались моим уходом с занимаемых постов: из Бейллиола я ушел по собственному желанию, а мой уход с кафедры Лондонского университета был добровольным лишь формально. В Четем-Хаусе я остался. Что меня там удержало?

Я задаю себе этот вопрос, потому что в Четем-Хаусе и в возрасте тридцати пяти лет, и позднее мой статус был ниже, чем в Бейллиоле в двадцать три года. В Четем-Хаусе я с начала до конца был наемным служащим, и, хотя я имел доступ к Исследовательскому комитету, которому непосредственно подчинялся, я не имел права голоса в комитете и почти до конца моего пребывания там не имел доступа в Совет Четем-Хауса, а именно за ним оставалось последнее слово по вопросам, относившимся к моей работе. Напротив, в Бейллиоле я был членом гильдии. Младшие научные сотрудники колледжа были воплощением самого колледжа. Мы не только отбирали студентов и занимались с ними; мы владели и распоряжались принадлежавшей колледжу собственностью, и мы участвовали в выработке его политики. Короче говоря, мы были сами себе хозяевами. Что касается статуса, то член Ученого совета колледжа в Оксфорде или Кембридже занимает первостепенное положение; таким образом, если бы главным соображением для меня был статус, я бы, надо полагать, постарался вернуться в один из этих университетов. Мой собственный колледж, который я предпочел оставить, возможно, и не захотел бы снова распахнуть передо мною двери

(позднее Бейллиол великодушно избрал меня почетным членом Совета колледжа — честь, которую я ценю). Однако я и не пытался вернуться. Статус не был для меня решающим соображением, хотя бывали периоды, когда я болезненно сознавал, что мой статус в Четем-Хаусе не столь высок, каким он был бы в Оксфорде. И что же все-таки заставляло меня оставаться в Четем-Хаусе?

Преимущество быть самим себе хозяином, каким пользуется научный сотрудник в Оксфорде или Кембридже, на мой взгляд, перевешивалось некоторыми недостатками в карьере преподавателя университета, очень, с моей точки зрения, серьезными.

Самым серьезным недостатком был тот, что присущ преподавательской работе на всех уровнях. Ритм преподавательской работы цикличен и, по-видимому, иным быть не может. Каждый год конвейер приносит преподавателю новую группу учеников того же возраста, что и те, которых он только что выпустил; и преподаватель должен каждую очередную группу учить одному и тому же. И то, что ново для учеников, для преподавателя становится с каждым годом все более и более избитым. Уже на второй год моего преподавания я ловил себя на том, что мне скучно твердить одно и то же. Я произвел некоторые подсчеты и обнаружил, что если я проведу в колледже столько лет, сколько провел в нем сегодняшний его глава — ему перевалило за семьдесят, а мне в ту пору было всего двадцать четыре, — то каждое сочинение, скажем по Солону или Писистрату[4], мне придется задать, проверить и разобрать немыслимое число раз, а вернее, число это будет выражено четырехзначной цифрой. Это меня смутило.

Ритм профессиональной карьеры любого преподавателя, несомненно, цикличен, независимо от того, цикличен ли ритм работы университета. Работа преподавателя университета — это вершина профессии в том смысле, что ему приходится иметь дело практически уже со взрослыми людьми, которые тем не менее нуждаются в нем как в наставнике. И именно поэтому отношения преподавателя со студентами отличаются большей деликатностью и сложностью, нежели отношения школьного учителя с учениками.

На школьном уровне учитель не только явно принадлежит к старшему поколению, но эта разница поколений лежит в основе взаимоотношений учителя и ученика. Напротив, студент университета находится в переходном возрасте между юношей и взрослым человеком. Студент университета — это в некотором смысле неклассифицируемое существо — ни рыба, ни мясо, ни птица, — что делает отношения между ним и преподавателем двусмысленными. Искусство обращения со студентами университета заключается в том, чтобы им казалось — причем казалось без каких-либо подозрений, — будто к ним относятся как ко взрослым, и это при необходимости держать

их в жесткой узде, а иногда даже и стегануть кнутом. Дело это сложное, и преподаватели в Оксфорде и Кембридже разработали собственный метод общения со студентами.

«Имидж» (говоря языком Мэдисон-авеню[5]), который они себе стараются создать в отношениях со студентами, — это имидж скорее старшего по возрасту современника, нежели преподавателя старшего поколения. Преподаватель старается выглядеть и вести себя как старший брат студента, а не как наставник. Если преподаватель способен играть эту роль, то все складывается великолепно. Но роль эта в известной мере вынужденная, и с течением лет она становится все более искусственной и поэтому более трудной. Проходят годы, и пропасть между «имиджем» и реальностью неумолимо увеличивается, что само по себе обрекает преподавателя на все возрастающее чувство неудовлетворенности. Конечно, встречаются в среде педагогов и преподаватели от Бога, и они могут полстолетия оставаться преподавателями, не теряя ни связи со студентами, ни чувства нового. Эти прирожденные преподаватели способны творить чудеса, и с каждым новым поколением учеников они будут только самоусовершенствоваться. Они благословенны, но люди такие редки. Я знал, почитал и любил некоторых преподавателей, обладающих этим редким даром, но я чувствовал, что сам я не обладаю ни такими талантами, ни призванием.

Цикличное движение — самое близкое к статичности. Движение по кругу и стояние на месте похожи друг на друга в том отношении, что в обоих случаях исключается возможность направленного движения от какой-то начальной точки к заданной цели. Если жизнь не имеет направления, в ней ничего не случается; но при том, что в жизни ничего не случается, само время не стоит на месте, оно идет, однако идет незаметно. Не успеешь оглянуться, как оказывается — оно прошло.

Эта сторона преподавательской карьеры открылась мне уже через несколько недель после начала моего первого университетского семестра. Шел осенний триместр 1912 года. Ректор колледжа, д-р Дж. Л. Строн-Дэвидсон, достиг своего семидесятилетия. Научные сотрудники давали в его честь обед, чтобы отпраздновать это счастливое событие. Старейшина колледжа, А. Л. Смит, именуемый для краткости А. Л., произносил тост во здравие юбиляра. Из речи А. Л. явствовало, что на протяжении пятидесяти двух лет, прошедших с того времени, когда юбиляр впервые, восемнадцати лет от роду, приехал в Оксфорд, он никогда не уезжал из колледжа на двенадцать месяцев кряду.

Эту страницу жизни юбиляра А. Л. справедливо считал характерной, поднося ее нам как нечто достойное восхищения. Однако меня это открытие в тот вечер потрясло. Я тоже пришел сюда в

восемнадцать лет; с тех пор я тоже не покидал колледж более чем на один академический год; и хотя мне тогда было всего лишь двадцать четыре года, мне вдруг представились следующие сорок шесть лет, промелькнувшие как одно мгновение, — и вот уже такая же точно речь, какую сейчас произнесли о Строне, произносится обо мне. Всего несколько недель назад меня официально избрали членом Совета колледжа, и по этому случаю был составлен документ, удостоверяющий, что если я не обанкрочусь, не совершу никакого аморального поступка и не женюсь[6], то мое членство — при выполнении этих трех условий — принадлежит мне отныне и навсегда. Памятуя все это, я почувствовал, что празднование семидесятилетия ректора колледжа заставило меня несколько покачнуться в том заветном седле, в которое я так недавно вскочил.

Циклический ритм преподавательской работы выглядел устрашающе; требование обета безбрачия вызывало отвращение. В этом документе, относящемся к моему избранию членом Совета колледжа, отказ от женитьбы был назван в качестве одного из трех условий, нарушение которых автоматически прекращало срок моего пребывания в должности. Женитьба была в нем поставлена в один ряд с парой «аморальных» поступков. Возможно, это должно было означать, что женитьба тоже аморальна?

После Дж. Л. Строн-Дэвидсона пост ректора какое-то время занимал А. Л. Смит, а затем Бейллиол возглавил А. Д. Линдсей. В один прекрасный день, когда ректором колледжа был еще Строн-Дэвидсон, а Линдсей был «старшим преподавателем по последнему экзамену на степень бакалавра наук», Линдсей подошел к нам, двум младшим научным сотрудникам колледжа, и, улыбаясь во весь рот, сообщил: «Шеф сказал мне сейчас очень забавную вещь. “Я надеюсь, — заявил он, — что Джибсону и Тойнби не повезет в любви. Я всегда замечал, что научные сотрудники, которым не повезло в любви, становятся впоследствии на всю жизнь верными слугами колледжа”». Линдсей мог позволить себе смеяться над этим — он уже давно был женат. Я полагаю, он тоже потерял из-за этого свое членство в Совете колледжа, но если так, то оно было впоследствии восстановлено. Однако ни Бобу Джибсону, ни мне не показалось забавным то, что сообщил нам Линдсей. Очевидно, лица наши помрачнели, так как Линдсей отошел от нас с еще более веселой ухмылкой. Шефу не удалось удержать Линдсея не только от женитьбы, но и от вступления в лейбористскую партию. Он безуспешно доказывал Линдсею, что, хотя преподаватели и вольны быть либо либералами, либо консерваторами, но лейбористская партия представляла для преподавателей *religio non liceta*[7].

Спустя несколько месяцев я был обручен. Прежде чем пойти на такой шаг, мне важно было убедиться, что я способен по крайней

мере зарабатывать себе на жизнь. Но как только я успешно прочитал свою первую лекцию, сомнения отпали. Наутро после моего обручения я зашел к шефу договориться о том, чтобы он принял меня во второй половине дня. Я не сказал ему, какое у меня к нему дело, и ожидал этого свидания с волнением. Между тем новость моя быстро обежала преподавательскую, и старший член Совета колледжа А. Л. Смит взял дело в свои руки. «Не говорите ему сами, ему скажу я», — предупредил он меня и тут же решил, что после обеда мы с ним вместе пойдем прогуляться, а в назначенное время он сам вместо меня постучит в дверь к шефу.

Мы вышли на прогулку, и А. Л. сказал мне, что он поведет меня в лес, где он слышал пение соловья в это самое время в прошлом году. Трели соловья, вероятно, должны были, по его замыслу, подготовить нас к нашему следующему мероприятию. Место обитания соловья — даже если предположить, что эта птица обладает регулярными привычками, — оказалось довольно далеко за пределами Оксфорда. Не говоря уже о том, что у нас не было никаких гарантий того, что соловей вернулся в этом году на свое старое место, скоро стало ясно, что мы просто опоздаем на свидание с шефом, если не сократим наше странствие в поисках соловья. Свидание само по себе было достаточно устрашающим. Мысль о том, что мы усугубим и без того сложную ситуацию, заставив шефа ждать, была для меня невыносима. Я предложил вернуться назад. «Нет никакой необходимости, — ответствовал А. Л. — Боитесь заставить шефа ждать? Ничего, это пойдет ему на пользу». Беспечное настроение А. Л. только усилило мое беспокойство, и, когда мы наконец достигли предполагаемого убежища соловья, мы еще потеряли массу времени, тщетно ожидая, чтобы птица появилась и начала петь. К тому моменту, когда мы вернулись в колледж, было ясно, что мы безнадежно опоздали. А. Л. направился к шефу, а я в самом жалком состоянии остался бродить в саду. Через некоторое время появился А. Л. Выглядел он по-прежнему веселым и беззаботным. «Что сказал шеф?» — спросил я, затаив дыхание. «О! — отвечал А. Л. — Он сказал: “Черт возьми! Я знал, что парень хочет сказать мне что-то неприятное, когда утром он просил меня об этом свидании”».

А. Л. изо всех сил старался проявить ко мне доброту. Правда, сам он никак не подходил на роль защитника безбрачия, ибо был женат уже много лет и к тому времени имел длинную череду дочерей и по сыну с обоих концов этой цепочки. Чтобы разместить их всех, колледжу пришлось построить для них большой дом, названный Кингз-Маунд («королевский могильник»), на Мастерс-Филд, спортивном поле Бейллиола. Когда я на следующее утро пошел в Кингз-Маунд, чтобы еще раз поблагодарить А. Л. за столь деликатную услугу, миссис Смит с удовольствием приняла мои благодарности,

не преминув в свою очередь воспользоваться моими услугами. Она заставила меня снять улей с пчелами, устроившимися на дереве у нее в саду. В ожидании моего визита она приготовила для меня защитную сетку и перчатки, однако в моем экзальтированном состоянии я почти не чувствовал укусов пчел, которые запросто проникали через эти защитные средства.

Я был восстановлен в моем утерянном членстве в Совете колледжа, и это было очень благородно со стороны колледжа. Ректор и члены Совета колледжа имели полное право отдать освободившееся место кому-нибудь другому. Однако женитьба еще не решает всех проблем в жизни преподавателя. Преподавание — это не просто профессия, это, подобно браку, еще и образ жизни. Колледж — это не деловая контора, это братство. Но жить на два дома так же трудно, как быть слугой двух господ. Между ними неизбежно возникает борьба, какое-то время идущая с переменным успехом, однако жена и семья неизменно выигрывают в состязании с секуляризованной формой монашества, составляющей природу университетской жизни. Дать и хранить обет безбрачия — это в человеческих силах, только когда делается во славу Господа. Но служение образованию для большинства людей не является достаточным мотивом для подобного самопожертвования. В борьбе между светской университетской жизнью и женитьбой университетская жизнь оказывается побежденной, но я думаю, что для большинства женатых преподавателей — хотя есть и яркие исключения, такие, как А. Л., — эта двойная вассальная зависимость, пусть даже неравнозначная по сути своей, создает напряжение, значительно усугубляющее трудности жизни. Мой собственный опыт такой жизни заставил меня в 1915 году отказаться от членства в Совете Бейллиола, на этот раз по моему собственному желанию, после того как я переехал из Оксфорда в Лондон, чтобы заниматься там работой, которую взвалила на мои плечи война.

Все эти обстоятельства и соображения заставляли меня отбрасывать всякую мысль о том, чтобы попытаться снова стать преподавателем, даже в такие моменты, когда мой статус в Четем-Хаусе действовал мне на нервы, — а такие моменты случались не очень часто. При всем том мое неприятие образа жизни преподавателя, возможно, не одержало бы верх, если бы работа в Четем-Хаусе не имела свои привлекательные стороны.

Прежде всего эта работа привлекала меня своей практической стороной. В тот момент я оказался без работы, а так как у меня подрастали дети и следовало подумать об их образовании, долго подыскивать себе работу не было никакой возможности. Мне только что пришлось уйти из Лондонского университета, где я заведовал кафедрой истории и культуры Византии и новогреческого периода.

Вскоре после моего назначения на эту должность я получил творческий отпуск на время летнего триместра для изучения современного положения дел в Греции. Греко-турецкая война, ускоренная высадкой греческой армии на Смирне, что произошло с англо-франко-американской санкции, данной в 1919 году, все еще продолжалась. В Афинах неожиданно пал Венизелос, и король Константин I возвратился из изгнания[8]. Таким образом, события в Греции развивались. Мне хотелось изучать их на месте, и я решил финансовую сторону моей экспедиции, отправившись на Ближний Восток в качестве военного корреспондента газеты «Манчестер гардиан». Находясь на этой временной работе, я оказался свидетелем зверств, чинимых греками против турок, и, конечно, я не мог не писать о них в своих корреспонденциях. Это ставило в неловкое положение англо-греческих основателей кафедры, которой я заведовал, Лондонский университет, да и меня тоже. Мое положение стало невыносимым, и я ушел с кафедры. Этот инцидент — теперь уже «древняя история», и у меня нет ни малейшего желания выяснять, кто в ней виновен и в какой степени. Более того, чья бы тут ни была вина, для меня она обернулась счастьем. Она привела меня в Четем-Хаус, и там началось мое партнерство с Вероникой. Как говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Между тем в тот момент мне грозила безработица. Однако еще до моего окончательного разрыва с университетом в один прекрасный день я получил письмо от сэра Джеймса Хедлэм-Морли, одного из моих старших коллег, работавшего тогда в Отделе политической разведки министерства иностранных дел. «Для Вас должна быть и будет найдена работа», — говорилось в этом теплом и благожелательном письме. Я испытал чувство огромного облегчения и в еще большей степени — благодарности, ибо у меня не было совершенно никаких оснований рассчитывать на подобное расположение со стороны Хедлэм-Морли. Однако я не сомневался в том, что он выполнит свое обещание. Я достаточно хорошо его знал, чтобы быть уверенным, что он не станет обещать того, чего не имеет возможности выполнить.

Мне повезло благодаря счастливому стечению обстоятельств. Как раз в то времен когда я ушел с кафедры, Совет Четем-Хауса решил приступить к выпуску ежегодного журнала «Обзор международных отношений» в продолжение «Истории Парижской мирной конференции», которая теперь близилась к завершению. Как только в Париже было основано Англо-американское общество по научному изучению международных отношений, было сразу решено, что одной из сторон деятельности этого общества должна быть публикация объективных трудов, относящихся к интересующей общество сфере. Мы решили начать с создания истории мирной конференции,

в которой принимали участие основатели общества. За финансирование этого издания взялся мистер Томас Ламонт, который был партнером нью-йоркской банковской фирмы «Дж. П. Морган и К°». Благодаря царскому жесту Ламонта «История Парижской мирной конференции» вышла в свет под эгидой Четем-Хауса в шести томах. Это был коллективный труд. Большинство авторов входили в свое время в состав американской и британской делегаций, и они со знанием дела описывали переговоры и договоры, к заключению которых сами были непосредственно причастны. Редактировал этот труд бывший член британской делегации, профессор Кембриджского университета Х. У. В. Темперли, хорошо известный историк.

«История Парижской мирной конференции» — монументальный труд. Благодаря тому что он основывался на полученной из первых рук информации, он не потеряет своей ценности и тогда, когда будут открыты все современные официальные архивы. История, однако, не кончилась с заключением в 1920—1921 годах пяти мирных договоров[9]. Задолго до того, как вышел в свет VI том «Истории Парижской мирной конференции» 1919 года, поток послевоенных событий превратился в наводнение. Например, один из этих пяти мирных договоров — хрупкий Сервский договор, навязанный Турции, — явно уже стал достоянием прошлого. Он был отвергнут могучим движением сопротивления, развернувшимся под руководством великого человека — Мустафы Кемаля. Если Четем-Хаус не собирался отказаться от своего намерения издавать хронику международных событий, «Историю Парижской мирной конференции» надлежало дополнить историей ее последствий.

Совет Четем-Хауса понимал необходимость этого, но ему трудно было осуществить задуманное. Подобно «Истории Парижской мирной конференции», планируемому ежегоднику требовалась финансовая поддержка, и она подоспела только тогда, когда первые три тома «Обзора» уже были опубликованы на деньги, временно позаимствованные из фонда, предназначенного для иной цели, а именно постройки лекционного зала. Едва первые три тома увидели свет, Лайонел Кертис извлек на свет пожертвование сэра Дэниэла Стивенсона, сделав это с такой же легкостью, с какой фокусник извлекает из шапки кролика. Однако в 1924 году, когда Совет принял решение об издании «Обзора», никаких пожертвований на это мероприятие не предвиделось, так что планировать его надо было в расчете на самые минимальные затраты. Было решено, что в отличие от своей предшественницы, «Истории...», «Обзор» должен выпускаться одним-единственным автором с одним-единственным внештатным помощником и девушкой, на которую возлагалась обязанность следить за содержанием мировой прессы, читать, отмечать, вырезать и классифицировать необходимое для «Обзора». Хедлэм-

Морли, тогда советник по истории в министерстве иностранных дел, был еще и председателем комитета по издательству Четем-Хауса. На его долю и выпало найти автора-составителя для планировавшегося издания. Его великодушное желание помочь мне совпало, таким образом, с поставленной перед ним весьма трудной задачей. По рекомендации Хедлэм-Морли, основанной, я полагаю, на его личном со мной знакомстве и моей работе во время Первой мировой войны, Совет поручил Хедлэм-Морли предложить мне работу по изданию «Обзора» на ближайшие двенадцать месяцев; это был тот временной предел, в течение которого Совет мог гарантировать мне оплату моего труда.

Принял ли бы я это предложение, если бы не столь крайняя нужда в работе? Так как нужда действительно была крайней, этот вопрос передо мной не вставал. Я просто ухватился за это предложение. И все-таки принял я его с трепетом. Ни Хедлэм-Морли, ни я заранее не знали, окажется ли эта информация, которая была открыта для пользования, достаточной для описания текущей истории международных событий и будут ли эти обзоры представлять ценность для читателя. Не могли мы также предвидеть и того, каким окажется объем точного описания и какой материал мы сможем охватить за двенадцать месяцев. Что мы предвидели наверняка, так это то, что в текущем году нам предстоит геркулесов труд. И еще мы точно знали, что я не буду иметь доступа к текущим документам британского министерства иностранных дел и министерств иностранных дел других государств. Мы оба прекрасно понимали ценность этой недоступной для меня информации, ибо оба мы пользовались ею в военное время и в ходе мирной конференции, а Хедлэм-Морли и по сей день имел доступ к ней — хотя, конечно, он не имел права распространять этот доступ на меня теперь, когда я уже не числился временным сотрудником министерства иностранных дел. Помимо этих трудностей меня смущало и то, что моя собственная научная и интеллектуальная подготовка может оказаться недостаточной. История, которую я действительно знал (и знаю по сей день), — это история греко-римского мира, и, хотя благодаря моему году странствий в Греции и последующей работе во время войны я приобрел определенные знания в области современной истории, эти знания пока ограничивались текущими политическими событиями на Ближнем и Среднем Востоке, тогда как теперь мне предстояло сесть за написание глобального обзора текущих международных дел.

Желая как-то помочь мне, Хедлэм-Морли предложил, естественно если будут изысканы средства, поручить региональным экспертам работу над проблемами, которые, с европоцентристской точки зрения Хедлэм-Морли, представлялись периферийными. В частности,

он имел в виду Восточную Азию и Латинскую Америку. Моя реакция на это полезное предложение была недвусмысленной: коли уж я взялся за написание глобального обзора, я бы предпочел весь материал держать в своих руках. Если же будут изысканы дополнительные средства, то я, конечно, с благодарностью их приму, однако вместо того, чтобы членить работу, исходя из региональных позиций, я предпочел бы поручить некоторые темы технического характера — главным образом финансовые и экономические — специалистам в данных областях, так как сам я не чувствовал себя достаточно компетентным. Я не ошибся, делая это контрпредложение — которое Хедлэм-Морли и принял, — ибо кое-какие тревожившие меня предчувствия вскоре начали сбываться. Я догадывался, что Европа вскоре потеряет свое главенствующее положение в мире, которое она удерживала на протяжении последних четырех столетий. Я также догадывался, что мы находимся на подступах к такой стадии истории человечества, когда весь мир объединится — на счастье ли, на беду ли — в единое общество, где некогда изолированные регионы сольются в единое целое. Если эти мои догадки оправдаются, история объединяющегося мира может быть вразумительно написана только в том случае, если она будет описана с новых позиций, где ни Европе, ни какому-либо другому региону не будет отводиться особое почетное место. Чтобы довести эту мысль до сознания читателя, я включил в первые тома «Обзора» географическую карту, на которой мировым центром оказалась не Европа и не Северная Атлантика, а Тихий океан.

Я выполнил мое первоначальное задание, на которое отводился год. Но почему мне захотелось продолжать писать «Обзор» и дальше? По истечении двенадцати месяцев, когда я представил изрядную стопку томов, взаимные обязательства между Четем-Хаусом и мною были исчерпаны. Почему я захотел сохранить эту работу? Ведь не только потому, что благодаря Лайонелу Кертису и сэру Дэниэлу Стивенсону под нее была подведена постоянная материальная основа? У меня было время оглядеться. Я мог бы, если бы захотел, поискать и, вероятно, найти какую-то другую работу. Что меня удерживало?

Одно соображение, имевшее в моих глазах существенный вес, возможно, прозвучит банально. Работа в Четем-Хаусе — это была работа в Лондоне, а мои корни были и сейчас находятся именно там. Я родился и вырос в Лондоне, и до сих пор в моей жизни было только три года (1912— 1915), в течение которых я жил в Англии, не имея лондонского дома. Эти три года я чувствовал себя словно в ссылке. Я скучал по Кенсингтон-Гарденз, ибо в детстве это был для меня центр Вселенной, и мне недоставало лондонских автобусов и подземки. Мысленно я постоянно с тоской возвращался

к воспоминаниям детства. О, эта шоколадного цвета лошадка-автобус, на которой я любил кататься от Куинз-роуд (теперь Куинзуэй) до зоопарка; эта упряжная лошадь, которую прицепляли к ислингтонскому автобусу, чтобы помочь ему взобраться на гору; эти ведра с месивом из отрубей, которые однажды на моих глазах конюх вынес из конюшни постоялого двора, чтобы прицепленные к автобусу лошади подкрепились на полпути своей долгой дороги до Крикл-вуда; а что за паровозы сновали по Столичной железной дороге в черте Большого Лондона и по Окружной железной дороге (смена паровозов на Внутреннем кольце обычно тянулась десять минут). Я скучал даже по удушающему сине-черному дыму, валившему с Гауэр-стрит-стейшн на улицу через грязную решетку.

Конечно, уже к 1912 году внешний вид лондонского транспорта изменился до неузнаваемости. Отец часто водил меня смотреть, как двухколесные тележки с конной тягой убирают вынутый из шахт грунт; эти шахты нужны были для строительства Центральной лондонской железной дороги, и я помню, как он рассмеялся, заметив, в какой ужас я пришел, когда впервые на моих глазах автобус на Пиккадилли-серкус неожиданно круто повернул за угол улиц Суон и Эдгар. Лондон всегда быстро менялся, но за двадцать четыре года, прошедших теперь с окончания Второй мировой войны, он претерпел куда большие изменения, чем те, что случились за предыдущее полстолетие. Сейчас, в 1969 году, ездить по Лондону менее приятно и более утомительно, чем это было в 1899 году. И все-таки, если бы мне пришлось перестать ездить в сегодняшних капризных лондонских автобусах и переполненной подземке, я уверен, меня бы охватило острое чувство потери. Но так ли банальны эти детские привязанности и привычки, если они не отпускают человека всю жизнь? Я думаю, психолог заявил бы, что они не лишены своего особого психологического значения. Нельзя безнаказанно лишить человека родины, а пока я нужен был Четем-Хаусу, я имел возможность жить и работать в моем родном городе.

Другой стороной, привлекавшей меня в Четем-Хаусе, были те удивительные люди, которые меня там окружали. Многие члены Четем-Хауса, как и я, не выносили рутины обыденной размеренной жизни. Это были люди большого жизненного опыта и большой ответственности, ибо юность их совпала с серьезными историческими испытаниями. Встречаться с ними, беседовать, советоваться и спорить было для меня равносильно продолжению моего образования.

Там было много выдающихся личностей, однако особое место в моей памяти заняли две фигуры: Лайонел Кертис и Хедлэм-Морли. Эти двое, можно сказать, создали Четем-Хаус *ex nihilo*, из ничего, на пустом месте. Их сотрудничество давало уникальные плоды,

они прекрасно дополняли друг друга, и они это знали. Поэтому они могли позволить себе постоянно подтрунивать друг над другом. Лайонел, человек действия (он был непревзойденным адвокатом добрых дел), заявлял, что Хедлэм никуда не годится, так как он неисправимо академичен, прекрасно при этом понимая, что вся научная сторона деятельности Четем-Хауса лежит в основном на Хедлэме. Хедлэм-Морли в отместку окрестил Лайонела чудаком. Он любил поддразнивать Лайонела, неизменно употребляя в речи традиционное название «Британская империя» вместо новомодного и любимого Лайонелом «Британское Содружество». И все же однажды, когда Четем-Хаус находился в особенно стесненных финансовых обстоятельствах, Хедлэм сказал мне: «Когда будет решен ирландский вопрос[10], у Четем-Хауса начнут появляться какие-то деньги. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Да, — ответил я. — Вы имеете в виду, что, когда ирландский вопрос будет решен, Лайонел сможет бросить свою теперешнюю временную работу в министерстве по делам колоний, и со всем пылом и страстью отдаться своему хобби — поиску финансов для Четем-Хауса, — и тогда деньги, несомненно, потекут к нам рекой». Работать под началом Кертиса и Хедлэм-Морли и располагать их дружбой, а также иметь постоянную возможность обратиться к ним за советом — это было огромной наградой, которую я получил за то, что согласился на работу в Четем-Хаусе и остался там.

Принимая меня на работу, мне не просто выделили помощника для работы над «Обзором», а предоставили право выбора такого помощника. Я мог, если хотел, пригласить кого-нибудь со стороны, мог остановить свой выбор и на ком-то из тех, кто уже работал в Четем-Хаусе. У меня не было никого на примете, и я рассудил, что если я все-таки возьму человека со стороны, то у меня не будет уверенности в том, что он легко и просто войдет в этот спаянный годами совместной работы коллектив. Поэтому я попросил, чтобы помощника мне подобрали из тех, кто уже состоял в штате Четем-Хауса. И оказалось, что только один человек мог выполнять требуемую работу. В то время (шел 1924 год) штат Четем-Хауса состоял из трех человек, не считая меня (я был временным сотрудником, работавшим по контракту и выполнявшим конкретную работу). Постоянными сотрудниками числились Маргарет Клив, Вероника Боултер и Джессика Уэстли. Мисс Клив была главным администратором, мисс Уэстли — секретарем мисс Клив, мисс Боултер занималась скорее исследовательской работой, нежели административной. Поэтому я попросил, чтобы работу над «Обзором» поручили именно мисс Боултер, и мисс Клив с готовностью на это согласилась. Я знал, что это был тот самый выбор, на который надеялась и мисс Клив.

Как мы с Вероникой собирались организовать нашу совместную работу? Я с самого начала знал, чего я не хочу. Я не хотел, чтобы мой коллега постоянно играл роль «ассистента по исследованию». Сам принцип «ассистирования», принятый в некоторых «провинциальных» университетах (ни в Оксфорде, ни в Кембридже подобной системы не существовало), представлялся мне уловкой, при помощи которой женщину заставляли делать работу, которую потом приписывали мужчине. Мне казалось это несправедливым по отношению к «ассистенту», а кроме того, это смахивало на введение в заблуждение общественности. Я бы испытывал угрызения совести, если бы под своим именем вышла в свет научная публикация, которая не была бы результатом моей собственной работы на всех стадиях, от начала и до конца. Я не понимал и не понимаю, как можно честно работать на других условиях. Тем не менее некоторое время — собственно, пока мы работали над первыми двумя томами «Обзора» — Вероника исполняла все-таки обязанности моего «ассистента» на полставки; но на остальных томах я попросил ее быть моим соавтором. Я не мог бы постоянно работать с коллегой ни на каких иных условиях, а к тому времени я убедился в способностях Вероники. Мне повезло, что я нашел достойного коллегу. Мыслили мы удивительно согласно друг с другом. По сей день, если я открываю наудачу какой-нибудь том «Обзора» и бросаю взгляд на страницу, я в большинстве случаев не могу сказать, Вероника писала эту страницу или я.

Помнится, на столе у меня лежала корректура I тома «Обзора», над которым мы с Вероникой работали совместно. Обдумывая, как оформить титульный лист, я как нечто само собой разумеющееся поставил на нем обе наши фамилии, чтобы читатель знал, что внутри заключен труд двух человек. Когда я передал черновик Веронике, она вычеркнула свою фамилию; я ее снова поставил; она опять вычеркнула. Будучи не только одним из двух авторов, но и помощником редактора, она могла вопросы оформления решить самостоятельно, и я уже боялся, что из скромности она поставит меня в ложное положение перед общественностью, когда положение спас печатник. Он восстановил фамилию Вероники на титульном листе и напечатал ее, не прислав нам корректуры. Так что после выхода тома из печати Вероника оказалась перед свершившимся фактом. С тех пор и вплоть до ухода на пенсию ее фамилия стояла рядом с моей на всех последующих томах. Я благодарен этому печатнику; я был бы ему благодарен, даже если бы оказалось, что его поправка на титульном листе прошла случайно. Я предпочитаю думать, что он действовал под влиянием интуиции в отношении того, что правильно и справедливо.

Работать с кем-то в паре было для меня внове. С моих отшельнических лет в Уинчестере, когда, избегая тягот племенного образа

жизни, я замкнулся в своей скорлупе, научившись работать, как волк-одиночка, я не менял своих привычек, и мой год странствий по Греции, и моя последующая работа в период войны на Уайтхолле и в Париже очеловечили меня лишь отчасти. Однако теперь я оценил другую форму работы. Мое сотрудничество с Вероникой в Четем-Хаусе продолжалось и после того, как она стала в 1946 году моей второй женой. А с тех пор, как мы ушли на пенсию, она составляет указатели для всех моих работ.

Самое ценное в жизни — это человеческие взаимоотношения. Им нет замены. И все же даже самая счастливая личная жизнь была бы неполной, если бы ее не дополняла приносящая удовлетворение работа. И вот в этой весьма существенной области я также многим обязан Четем-Хаусу. Моя работа приносила мне и интеллектуальное и моральное удовлетворение, и она, кроме того, открывала мне простор для другой деятельности, находящейся за ее пределами. С 1927 по 1954 год я мог благодаря моему партнерству с Вероникой связать четем-хаусский «Обзор международных отношений» в одну упряжку с моим собственным, личным начинанием — работой над «Постижением истории». Между этими двумя работами не было никакой дисгармонии. Обе только выигрывали.

Написание «Обзора» удовлетворяло меня интеллектуально, потому что в этой работе отсутствовал основной недостаток преподавательской деятельности, так меня угнетавший, — неизбежное возвращение к пройденному. Что же касается работы над «Обзором», то здесь не могло быть ничего цикличного. Это гарантировал сам предмет. Совершенно невозможно было предугадать что принесет завтрашний день, но можно было быть уверенным, что он не станет повторением дня вчерашнего. По сравнению с преподавательской деятельностью, когда труд с каждым годом становится все более легким, но и все более скучным, труд писателя-обозревателя никогда не может стать привычным и легким, но он не может и надоесть. Я был рад, что мне пришлось сменить работу, и никогда не жалел об этом. Я вовремя понял, что монотонность ежегодно повторяющегося цикла не для меня, но я никогда не боялся и не боюсь тяжелого труда.

Что я имею в виду, когда говорю, что написание «Обзора международных отношений» приносило мне не только интеллектуальное, но и моральное удовлетворение? Казалось бы, какое моральное удовлетворение может давать чисто научная работа, основным принципом и условием которой было обеспечивать объективный, безличностный подход к изучению международных событий? Работая над «Обзором», я изо всех сил старался, чтобы мои личные надежды и страхи и мои суждения о том, что верно, а что неверно, не проступали сквозь ткань повествований, и там, где я чувствовал,

что не достигаю этой цели, я старался изъясняться предельно откровенно, чтобы помочь читателю заметить это и отнестись скептически к моим предубеждениям. Если человек, занимающийся изучением отношений между людьми, воображает, будто их можно анализировать, не привнося в этот анализ какое-то свое личное пристрастие, то он обманывается. Самое большее, что может сделать исследователь дел человеческих, — это обнаружить в себе это пристрастие и объявить о нем во всеуслышание.

Я верил и всей душой верю в ценность объективного научного подхода. Поэтому я всем сердцем приветствовал основной принцип Четем-Хауса — ограничить свою деятельность «научным изучением», исключая возможность формирования какой бы то ни было корпоративной политики. «Научное» изучение, однако, по самой своей природе не может быть самоцелью, хотя оно может стать необходимым инструментом для достижения той цели, ради которой оно проводится. Причина того, что «научное» изучение должно быть лишь средством, а не целью, заключается в том, что в конечном счете назначение жизни — это не изучение, а действие. «Научная» работа Четем-Хауса, ради которой он лишил себя права корпоративного действия, способна иметь практическую ценность только в той мере, в какой она будет помогать потребителям ее продукции предпринимать индивидуальные благоразумные и более обоснованные действия, чем они могли бы оказаться, если бы предпринимались без использования той объективной информации, которую поставляет Четем-Хаус.

Теперь, пережив две мировые войны и дожив до изобретения атомного оружия, направленного против человека, я избавился от многих иллюзий. Я сейчас говорю не как историк, стремящийся к объективности в своей профессиональной работе, а как человек, прадед и гражданин. Как человека меня не удовлетворяет мир, каким я его вижу. Мое изучение мира было бы бесплодным и безответственным, если бы оно меня не вооружило и не побудило делать все, что в моих силах, — как бы мал ни был результат моих действий, — чтобы помочь человечеству хотя бы отчасти излечиться от того зла, которое люди причиняют друг другу. Я должен сделать все возможное, чтобы спасти моих внуков и правнуков от такой судьбы, которая преступно оборвала жизнь столь огромного числа моих современников.

Весь мой жизненный опыт, все мои усилия и умения направлены сейчас на то, чтобы помочь человечеству избежать кошмара войны. Война — это самое жестокое из всех изобретений человечества и вместе с тем именно то изобретение, за которое человечество держится с неизменной настойчивостью. В 1914 году война способна была унести лишь миллионы жизней. С августа 1945 года[11]

она идет к тому, чтобы стать настолько смертоносной, чтобы истребить человечество и даже, возможно, сделать поверхность нашей планеты необитаемой, уничтожив все формы жизни.

Несмотря на то что по воле случая я оказался непригодным для действительной воинской службы в Первую мировую войну, я тем не менее начиная с августа 1914 года не раз сталкивался лицом к лицу с жестокостью войны. До августа 1914 года жители Великобритании, за исключением квакеров, были морально слепы к ее жестокости, хотя и вели вполне достаточно «маленьких войн», причем войн агрессивных, способных, если бы люди того хотели, открыть им глаза. Если бы не эта всеобщая слепота, то мои родители никогда не позволили бы мне играть в войну, поражая игрушечных солдатиков из игрушечной пушки; да и сам бы ребенок не получал удовольствия от этой неприятной игры. После августа 1914 года наше непроходимое невежество стало вовсе не простительным.

Половина моих современников были убиты в ходе Первой мировой войны; однако я не был свидетелем их смерти, а человека способно потрясти, как правило, лишь то, что он видел собственными глазами. Поэтому, когда я думаю о войне, перед моим мысленным взором предстают не лица моих мертвых друзей, а лица трех человек, причем вовсе мне не знакомых.

В 1915 году, после того как я переехал из Оксфорда в Лондон, меня за чем-то послали в министерство иностранных дел на Уайтхолле. Едва я вошел в помещение, в глаза мне бросился вывешенный на доске объявлений список недавно убитых на войне офицеров. Как раз в этот момент от доски отошли две женщины. Одна из них горько рыдала, другая быстро и настойчиво что-то говорила своей спутнице, словно ее горячие торопливые слова могли вернуть жестокую потерю. Мысленным взором я и сейчас вижу лица этих несчастных женщин так же ясно, как я видел их в тот день. Поэтому, пока я жив и пока у меня хватит на то сил, я буду бороться за уничтожение этого жестокого изобретения человечества, изобретения, ставшего причиной столь страшного горя.

И второе впечатление, оставшееся со мной на всю жизнь, — это мертвое тело молодого греческого солдата, убитого в марте 1921 года во второй битве при Инню[12]. Тело уже застыло, лицо стало восковым, крохотное отверстие во лбу казалось слишком незначительным, чтобы мгновенно оборвать жизнь. Мертвый мальчик лежал в нескольких ярдах от турецких окопов, на вершине горной гряды, которую атаковала его часть. В окопах лежали тела турецких крестьян — бравые «построенные в боевой порядок» фермеры, — тела которых были страшно изувечены греческим артиллерийским огнем. Эти юноши, греки и турки, были в муках произведены на свет матерями; их любовно растили, но, едва они успели возмужать,

уделом их стала кровавая бойня. Я должен бороться за уничтожение этого жестокого изобретения, ставшего причиной преступного истребления самого дорогого, что есть на Земле.

Существуют способы борьбы за мир на земле более непосредственные, чем мой. Вместо того чтобы потратить тридцать три года на написание многотомного «Обзора международных отношений», я мог бы, например, работать в Лиге Наций. Веря всей душой, что интеллектуальная работа есть необходимая основа для действия, не говоря уже о присущей ей ценности как таковой, я всегда чувствовал, что, занимаясь «Обзором», я не просто помогаю разоблачать главное зло нашего времени (да, собственно, и всех времен и народов), но я помогаю попыткам других людей подавить это жестокое изобретение, прежде чем оно уничтожит нас, его создателей.

В моей личной войне против войны я абсолютный аболиционист[13]. Я не отношусь к абсолютным трезвенникам. Я наблюдал слишком много случаев, когда полное воздержание от алкоголя побивало самого себя. В этой области, по моему мнению, запрещение продажи спиртных напитков оказалось злейшим врагом добровольного воздержания, и для борьбы с социальным злом алкоголизма более долгий путь представляется мне более обещающим, нежели метод шоковой терапии. Война же, в моем представлении, так же как и рабство, — это такое социальное зло, в борьбе с которым невозможен никакой компромисс. Цель моя — полное уничтожение войны; это, и только это. И тем не менее я аболиционист, но не пацифист. Если бы мне представился случай голосовать за войну с Японией из-за Маньчжурии в 1931 году, или с Италией из-за Эфиопии в 1935 году, или с Германией из-за Чехословакии в 1938 году, я голосовал бы за войну в каждом из этих трех мучительных случаев[14].

Я голосовал бы за войну, потому что считаю неправильным и недальновидным не оказывать военного сопротивления милитаристу, ступившему на тропу войны. Дилемма эта крайне мучительна, ибо, с одной стороны, непротивление военной агрессии отдает мир в руки милитаристов, в то время как, с другой стороны, вступая в «священную войну» против агрессии, невозможно предсказать, как долго эта война будет оставаться священной. В ходе войны, даже если это делается ради ее окончания, в качестве противоядия против зла используется зло, и в этой игре все козыри всегда оказываются в руках Вельзевула. Нельзя также сказать, какая «война за уничтожение войны» окажется последней на этом долгом *via dolorosa*[15]. Мои современники, отдавшие жизни за то, чтобы покончить с войной в Первую мировую войну, умирали, веря в то, что их война окажется последней. Таким образом, в своем стремлении покончить с древним институтом войны человек обречен на бесконечные потери и разочарования.

Опыт этот — устрашающий, но к нему надо быть готовым, ибо это одна из сторон трудной правды жизни. А правда жизни заключается в том, что каждое поколение несет груз кармы[16], завещанный ему его предшественниками. Каждое новое поколение не начинает жизнь свободным; оно приходит в мир, будучи пленником прошлого. К счастью, пленник не беспомощен: в его силах разбить оковы унаследованного обычая. Но он может их разбить лишь ценой огромных усилий, и при этом он никогда не освободится до конца. Человеческая свобода не иллюзия, но она никогда не будет абсолютной.

Казалось бы, человечество действительно свободно уничтожить войну мирным политическим актом. Институт войны между государствами — это паразит на институте местного суверенитета, а местный суверенитет можно упразднить мирно, путем добровольного вхождения во всемирный федеральный союз, в котором отдельные государства поступятся своим суверенитетом, продолжая существовать как часть единого целого. Это — позитивное решение вопроса о войне, пропагандируемое Лайонелом Кертисом. Нет никакой нужды уже сейчас приниматься за обсуждение деталей будущего федерального устройства мира. Но надо бороться за его достижение в той или иной форме. В атомный век, похоже, это единственная имеющаяся у человечества альтернатива массовому самоубийству.

Первые три года нашей с Вероникой работы над «Обзором» нам приходилось, следя за текущими событиями, одновременно возвращаться и в недалекое прошлое, к тем самым событиям, что накопились с последней даты, отмеченной в «Истории Парижской мирной конференции». На этой стадии работать над «Обзором» приходилось буквально двенадцать месяцев в году. Однако к лету 1927 года мы все подогнали и шли в ногу с текущими событиями, поэтому, начиная с того лета, мне удалось сочетать работу над «Обзором» с написанием «Постижения истории». С годами у меня выработался определенный ритм. Каждый год в начале ноября я планировал содержание очередного тома «Обзора» за предыдущий календарный год. Начиная с ноября в течение зимы, весны и начала лета мы с Вероникой работали над «Обзором» в Четем-Хаусе. В июне я уезжал в деревню, заканчивал там работу над текущим томом «Обзора» и потом уже все долгие летние каникулы работал над «Постижением истории». В начале ноября я снова возвращался в Лондон, чтобы посвятить себя целиком работе над «Обзором». Я не мог бы этого делать, если бы Вероника из года в год не оставалась в Лондоне до середины лета, следя за тем, чтобы текущий том «Обзора» был напечатан. Она же составляла и научные указатели. Ее прекрасные указатели удваивали практическую полезность «Обзора», как и полезность «Постижения истории».

Конечно, это был тяжкий труд — одновременно работать над двумя вещами, — но для меня подобное сочетание было стимулирующим, и — что важнее — обе эти работы в результате только выигрывали. По моему мнению, было бы невозможно должным образом или хотя бы толково готовить «Обзор», целиком погрузившись в изучение текущих событий и оставив без внимания более далекое прошлое. Жизнь проходит во временнóм измерении, люди совершают поступки, будучи связаны памятью, а коллективная память человеческих сообществ охватывает период в сотни и тысячи прошедших лет. Любое событие, относящееся к прошлому, но возвращающееся к нам памятью о нем, может оказать влияние на текущие события. Поэтому, описывая события истекшего года, мы никогда не знали наперед, насколько глубоко нам, возможно, придется окунуться в историю, для того чтобы объяснить, почему в прошедшие двенадцать месяцев люди действовали так, а не иначе. Если не учитывать исторический фон настоящего, то это настоящее грозит стать неразрешимой загадкой, и в попытках справиться с этой неизвестной величиной человек действия, но не мыслящий исторически может просто-напросто заблудиться в трех соснах.

Эта истина может быть проиллюстрирована на примере того, в какое затруднительное положение поставили себя американцы в 1968 году своей политикой во Вьетнаме и Китае. Из разговоров с американцами в 1968 году я понял, касаясь двух больных вопросов, что для некоторых американцев — в том числе и тех, кто получил и получал в то время университетское образование, — события вокруг Китая и Вьетнама должны были стать событиями сатанинскими, чтобы стать историческими. Для американцев, придерживавшихся подобных взглядов, история Вьетнама и Китая началась в тот момент, когда в них победил коммунистический режим. Однако как можно надеяться постигнуть современный Китай и Вьетнам, не принимая в расчет их прошлое? Как можно понять причину сегодняшнего свирепого нрава Китая, если не знать, что с 1839 по 1945 год Китай был попран ногами англичан, французов, русских и японцев?[17] И как можно понять, какое потрясение и какое унижение испытывали китайцы, когда их в те годы вдруг стали считать «туземцами», если не знать того, что до 1839 года Китай, в глазах китайцев, был Срединным Царством или «Поднебесной», а значит, центром цивилизованного мира? Опять-таки, как можно понять, почему Вьетконг[18] с таким упорством боролся за освобождение Вьетнама от американского присутствия, если не знать, что до американской интервенции вьетнамцам пришлось в течение целого столетия бороться против французского присутствия в их стране, а перед тем в течение двух тысячелетий они боролись за то, чтобы не допустить поглощения своей страны китайским государством, отхватывавшим кусок за

куском земли в северной части Вьетнама[19]. Эти примеры, надеюсь, ясно показывают, что, не привнося исторического фона в картину настоящего, невозможно разобраться в текущих событиях. Работая над «Постижением истории», я получал столь мне необходимый исторический фон для «Обзора», причем получал его в нужных для «Обзора» глобальных масштабах.

И наоборот, «Обзор» помогал «Постижению истории». Когда изучаешь историю ушедших поколений, приходится мысленно воскрешать эти мертвые поколения в своем воображении. Представить себе, какими они были в жизни, можно только по аналогии с тем, что мы знаем о живых, то есть о наших современниках. По этой причине совершенно необходимо, чтобы всякий историк стоял одной ногой в современной истории, независимо от того, устремлен ли его научный взор в эпоху создателей пирамид или эпоху позднего палеолита. Независимо от того, сколь далеко ушла в прошлое исследуемая эпоха, историку предстоит оживить ее, вдохнув в нее жизнь. А для этого нужно знать жизнь людей, которых историк застал на Земле и которые называются его современниками. Если бы одновременно с «Обзором» я не писал «Постижения истории», я был бы лишен самого эффективного инструмента, который был нужен мне для умственной реконструкции давно умерших обществ, без чего «Постижение истории» попросту не состоялось бы.

Таким образом, для моей работы было большой удачей, что на протяжении двадцати одного года (с 1927 по 1954-й минус семь военных лет, 1939—1945 годы) я мог работать над «Обзором» и над «Постижением истории» одновременно. И это было возможно лишь потому, что в течение тридцати трех лет (1924—1956) я был сотрудником Четем-Хауса.



6. ПОЧЕМУ И КАК Я РАБОТАЮ?

(I) Почему?

Что заставляло и заставляет меня работать? Когда я был ребенком и учился в школе, первым стимулом, который я осознавал, было беспокойство. Я всегда беспокоился, сумею ли я правильно разобраться в значении отрывка на древнегреческом или латыни, если меня вызовут на уроке. Я всегда беспокоюсь перед поездкой, не опаздываю ли я к поезду или самолету. Это имеет свои отрицательные стороны. Это отнимает огромное количество нервной энергии, которая могла бы быть потрачена с большей пользой; и иногда я настолько перебарщиваю в этом плане, что мне же бывает хуже.

Когда я приезжаю на станцию за сорок минут до отхода поезда, носильщик оставляет мой багаж на платформе и мне приходится грузить его самому. Нечто подобное произошло со мной как-то на уроке, когда меня вызвали и попросили разобрать отрывок из Фукидида. Отрывок был трудный, и я подготовил его заранее, но это было несколько недель тому назад. А теперь то, что я опередил других, сыграло против меня. Материал, который я так тщательно готовил, за эти несколько недель подзабылся. И если бы учитель не был уверен в моем усердии, он мог бы подумать, что я вовсе не приготовил урока. Я полагаю, он догадался об истинной причине моей неуверенности и смущения.

Беспокойство может обернуться плохой чертой, если доходит до подобных крайностей, да и само по себе оно не облегчает жизни. Зато оно хорошая движущая сила, так что его достоинства могут перевесить его недостатки.

Вторым подталкивающим меня стимулом была и остается совесть. В своей книге «Знакомства» я упоминал, что ферма моего деда со стороны отца располагалась в пределах видимости башни церкви св. Ботолфа в Бостоне, в Англии. Пуританская совесть, возможно, была частью социального наследия семьи моего отца. К работе я отношусь по-американски: работать, работать и еще раз работать — вот что постоянно велит мне моя совесть. Такое порабощение работой ради самой работы, на мой взгляд, неразумно. Но сколько бы я себя ни убеждал в этом, я не становлюсь свободнее. Если бы я позволил себе расслабиться или хоть слегка опустить поводья, меня бы замучила совесть и, следовательно, я не стал бы в результате счастливей, так что, похоже, этот стимул будет продолжать погонять меня всю жизнь, пока у меня хватает сил работать.

Беспокойство и совесть — это могучая пара динамо-машин. И если эти машины работают бесперебойно, это гарантия того, что человек будет упорно трудиться, но они не могут гарантировать того, что он при этом будет делать нечто стоящее. Они слепые силы, которые погоняют, но не направляют. К счастью, я был движим еще одним мотивом: моим желанием видеть и понимать. Я осознал наличие этого мотива несколько позже, чем почувствовал наличие двух других. Однако я думаю, что мотив этот двигал мною с самых ранних лет моей жизни. Любознательность побуждает к деятельности. Кроме того, это одна из отличительных черт человеческой природы в противоположность природе животных. Все люди в какой-то мере испытывают любознательность, и чувство это, надо сказать, одно из самых бескорыстных. Однако эта общечеловеческая черта у одних людей выражена сильнее, чем у других. Заряд любознательности, отведенный судьбою мне, оказался зарядом очень высокого напряжения. Это Божий дар, и я сердечно за него благодарен.

Постоянное беспокойство, заставлявшее меня в детстве заранее готовить уроки, имело положительный результат, поскольку у меня высвобождалось время для удовлетворения моей любознательности. Я научился сам распоряжаться своим временем и мог работать над тем, над чем мне хотелось, в то время как другие мальчики порой готовились к следующему уроку в последний момент. Беспокойство, сделавшее из меня раба моей работы, в конечном счете освобождало меня, давая мне возможность самому выбирать, чем и когда заняться. Заранее выполняя все, что задано, я освобождался для того, к чему меня влекло, к чему лежала моя душа.

И если меня спросят, почему я потратил всю свою жизнь на изучение истории, я отвечу: «Для удовольствия». И это самый правильный ответ и, уж конечно, искренний. А если бы меня спросили, избрал ли бы я тот же путь, если бы мне довелось прожить жизнь снова, я бы ответил без колебания: «Да».

Но почему я избрал именно историю? Любознательность всеядна. В мире существует бессчетное число других вещей помимо истории, которые могут тешить человеческую любознательность. Почему моя любознательность сосредоточилась на истории? И на этот вопрос я знаю совершенно точный ответ. Я историк потому, что историком была моя мать. Сколько я себя помню, я всегда и во всем разделял ее интересы и склонности. Когда мне исполнилось четыре года, отец сказал, что они больше не могут позволить себе держать для меня няню. Моя мать спросила, нельзя ли оставить няню еще на год, если она заработает на ее содержание, написав книгу, и отец согласился. Я живо помню мое волнение, когда пришла корректура «Рассказов из истории Шотландии». Гонорар составлял двадцать фунтов, и это было годовое жалованье няни в Англии в 1893/94 году. Однако год кончился, няня ушла, и мать сама стала укладывать меня спать. Я не капризничал и сразу ложился в постель, потому что она каждый вечер рассказывала мне историю Англии от истоков ее и до 1895 года.

Конечно же, именно мать вдохнула в меня желание стать историком, но я воспринял ее склонность по-своему. Мне кажется, моя мать любила конкретные исторические факты ради них самих. Я их тоже, разумеется, люблю. Если бы я их не любил, я никогда бы не смог стать историком. Факты для историка — это запас сырья, и он должен добывать его в таких количествах, что сам процесс вызывал бы у него отвращение, не люби он эту работу. Я люблю факты истории, но не ради них самих. Я люблю их как ключики к чему-то, что лежит за их пределами, — как ключи к природе и значению таинственного мира, в котором каждый человек пробуждается к самосознанию. Мы хотим понять мир и свое место в нем. Мы знаем, что наше понимание его всегда будет лишь проблеском,

но это нас не расхолаживает, и мы продолжаем этот бесконечный поиск.

Любознательность может быть сфокусирована на чем угодно. Однако я полагаю, что конечная цель всякой любознательности — это постижение духовной реальности, скрывающейся за явлениями; и именно потому, что это так, любознательность несет в себе нечто божественное. Благодаря наклонности моей матери мой подход к этой конечной цели заключается в изучении человеческих дел. Каждая научная дисциплина предлагает свой путь к общей цели. Но при иудео-христианско-мусульманском взгляде на мир история ограничена рамками богословской теории. Этот традиционный западный взгляд на историю на протяжении последних двух с половиной столетий отвергается многими западными историками, как и их незападными учениками. И все же я полагаю, что любой человек, занимающийся изучением людских дел, обязательно захвачен богословской теорией, независимо от того, признает он это или нет; и я полагаю, что, чем успешнее ему удается подавлять ее, не допуская на порог своего сознания, тем сильнее она держит его в своей власти.

Конечно, я могу говорить только за себя. По моему убеждению, причина того, что изучение человеческих дел так сильно волнует меня, кроется в том, что для меня это окно в мир. Геолог или ботаник, путешествуя по местам, никогда не бывшим ареной важных событий в человеческой истории, увидит в них руку Всевышнего так же живо, как я ее вижу, скажем, в Иерусалиме. Но поскольку мой собственный подход к тому, что открывается за явлениями, лежит в сфере человеческих дел, природа вне человека не вызывает у меня интереса. Гора Кинф[1] волнует меня больше, чем гора Эверест, и Иордан — больше, чем Амазонка.

Почему я работаю и почему занимаюсь именно историей? Потому, что для меня это как раз то занятие, которое — пусть даже очень медленно и неуверенно — нащупывает путь к блаженству.

(II) Как?

С раннего возраста и до двадцати лет я большую часть времени готовился к сдаче экзаменов, следовавших непрерывной чередой. Я уже рассказывал о том, как я сдавал конкурсный экзамен на стипендию в Уинчестере. Подготовка к экзаменам в определенном отношении имеет и воспитательное значение. Она заставляет ребенка самого отвечать за результаты своего труда. Конечно, умный и заботливый учитель способен помочь ребенку научиться тому, как это делать, но он не может сделать это за него; и никто, кроме самого экзаменующегося, не в состоянии ему помочь, когда он уже сел за экзаменационный стол, и перед глазами

у него лежит экзаменационный билет, и он знает, что в его распоряжении всего три часа, и ни минутой больше.

Х. Дж. Хейзелфут, учитель в приготовительной школе, специально готовивший меня к уинчестерскому конкурсному экзамену на стипендию, был лучшим учителем из всех, какие у меня когда-либо были. Он учил меня тому, как надо работать, и это помогает мне по сей день. Хотя я и в детстве понимал, как мне повезло с преподавателем, моя благодарность к нему год от года возрастала. Я не раз убеждался в непреходящей ценности его советов. Первым и лучшим советом Хейзелфута был следующий: «Не паникуй, потому что время, отводимое для ответов, ограничено. Не начинай отвечать на вопросы, не обдумав их. Лучшее время из трех часов — это время, которое ты отведешь на размышления». Это единственно правильный метод, независимо от того, предстоит ли тебе написать сочинение на заданную тему или перевод с древнегреческого или латыни на английский язык либо, наоборот, перевод английского текста на древнегреческий или латынь прозой или стихами. Мистер Хейзелфут учил меня ясно выражать свою мысль, видеть общее, не позволяя себе заблудиться в частностях; идти от известного к неизвестному и исходить из того, что отрывок на древнегреческом или латыни обязательно должен иметь смысл, а если он, по твоему разумению, лишен смысла, то это лишь твоя вина как переводчика.

Трехчасовое сочинение — это великолепная тренировка для журналиста, чиновника и юриста. Если человек научился искусству сочинительства в раннем возрасте, он всегда будет знать, как написать статью или заметку, логично и сжато изложить содержание дела — а в практике жизни всегда и все приходится делать в срок. Ученым, не выработавшим в себе умения правильно распределять свою работу по времени, грозит опасность оказаться непродуктивными, и они не могут оправдывать несовершенство своей работы нехваткой времени. Конечно, работа всегда несовершенна: любая человеческая работа несовершенна, потому что несовершенна человеческая природа; однако это присущее человеческим делам внутреннее несовершенство не может быть преодолено затягиванием дела. В любой работе, в том числе и интеллектуальной, наступает момент, когда надо действовать. Увы, нет такого инструмента, который указал бы человеку, что момент наступил: его нужно почувствовать интуитивно, и в каждом случае распределение времени будет иным. Однако умение правильно распределить время — это необходимое условие успеха, и слишком долгое откладывание может оказаться столь же пагубным, сколь и опрометчивые действия. Ошибка в определении нужного момента, как в ту, так и в другую сторону, только усугубит несовершенство, внутренне присущее любой человеческой деятельности.

Поэтому тренировка, которую получаешь в ходе подготовки к экзаменам, да и на самом экзамене, может принести определенные положительные результаты. Однако она может принести и очень плохие результаты, а именно выработать привычку пассивно относиться к приобретению знаний. Бóльшую часть времени экзамен, ради которого предпринимается столько усилий, маячит где-то в будущем; когда же его срок подойдет, действие оказывается кратковременным и резким. Подготовка длится гораздо дольше и поэтому оказывает на человека гораздо большее воздействие, нежели сами экзамены. Готовясь к экзаменам, будущий экзаменуемый лишен инициативы. Экзаменатор же ею обладает. Во время длительного подготовительного периода единственное, что в состоянии делать будущий экзаменуемый, — это накопить как можно больше знаний в той области, в которой ему предстоит испытание. Тем самым экзаменационная система способна привести экзаменующегося к мысли, будто конечная цель интеллектуальной работы состоит в том, чтобы приобрести исчерпывающий запас знаний в определенной, причем строго ограниченной рамками области.

Областью, рамками которой я был ограничен в Оксфорде, была история Древней Греции и Рима, ибо еще до того, как я сдал выпускной экзамен по курсу изящной словесности, я был назначен на должность руководителя группы студентов в моем колледже с преподаванием этого предмета. К тому времени, когда я сдал этот выпускной экзамен и получил ученую степень, мне уже в такой мере опостылело сдавать экзамены, что я решил никогда больше не сдавать ни единого экзамена. Я не откликнулся на предложение держать экзамены в Олл-Соулз-колледже (научно-исследовательском колледже в Оксфордском университете, куда студенты не зачисляются. — *Ред.*), сдача которых позволила бы мне стать членом Совета этого колледжа, и за пятьдесят восемь лет, которые прошли со времени сдачи мною последнего экзамена на степень бакалавра гуманитарных наук в Оксфорде, я никогда больше не держал никаких экзаменов — за исключением единственного экзамена по отравляющим газам накануне Второй мировой войны. Этот последний экзамен я тоже сдал успешно, но тут же забыл все, что выучил к нему, потому что мозг мой отказывался хранить в памяти знание такого отвратительного предмета. Принять и выполнить решение о том, чтобы никогда больше не подвергать себя экзамену, нетрудно. Труднее, как я обнаружил, освободиться от особого состояния ума, свойственного экзаменуемому.

Летом 1911 года в моем распоряжении были длинные каникулы между сдачей последнего экзамена и отъездом за границу в годичное путешествие по Италии и Греции. Это лето я провел, продолжая готовиться к экзамену по курсу изящной словесности. «Первый период»

греческой истории, закончившийся в 404 году до Р. Х., мною был уже пройден. Теперь, с такой же тщательностью, я взялся за изучение первоисточников и современной литературы по «второму периоду», закончившемуся в 323 году до Р. Х.[1] Я проштудировал книги Ксенофонта и Диодора, изучил биографии в Плутарховой серии, а также массу относящейся к этому периоду современной литературы. Я трудился, словно византийский схолиаст[2], испещряя поля моих греческих и латинских текстов комментариями, которые я писал мельчайшим почерком, для чего пользовался самым жестким карандашом.

Кто-то может подумать, что это ограниченная задача. И действительно, до своего отъезда из Англии я овладел материалом достаточно хорошо, чтобы ввести студентов не только в первый, но и во второй период греческой истории. Однако даже область греко-римской истории, по сути, беспредельна, ибо, хотя собрание первоисточников, включая надписи и археологические свидетельства, не так уж велико, современный исследовательский материал рос и продолжает расти столь же устрашающими темпами, как и в других сферах науки. Я скоро понял, что никогда не смогу угнаться за всеми выходящими из печати книгами и научными статьями по греческой и римской истории, даже если до конца трудоспособного периода своей жизни останусь в Бейллиоле преподавателем по древней истории. Однако на деле меня волновало не это, ибо я давно уже решил не ограничивать свою интеллектуальную любознательность греческой и римской историей в рамках, отведенных ей оксфордским курсом изящной словесности.

Мой дядя, ученый Паджет Тойнби, еще лет шесть назад дал мне весьма ценный, с его точки зрения, совет. В те дни я гостил у него в Дорни-Вуде. В его доме была прекрасная библиотека, и я не вылезал из нее. Он заметил мою всеядность и, когда я уезжал, сказал мне серьезно: «Мы с твоей тетей Нелли (тетя Нелли в целях самообороны тоже стала ученым) пришли к выводу, что ты слишком поверхностен в своих интересах. Тебе надо специализироваться». Я поблагодарил его за совет вежливо, но лицемерно, ибо тотчас решил, что я его совету не последую ни за что. С тех пор я всегда придерживался этого своего решения и, оглядываясь назад, чрезвычайно рад, что дядин авторитет не подавил меня и у меня хватило сил не последовать интеллектуальной моде, царившей как в его, так и в моем поколении. Моим кредо было и осталось: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Еще задолго до того, как мне стали тесны рамки оксфордской учености, я начал планировать, как мне за них вырваться. Так, я мечтал заняться исследованием эллинистического века греческой истории (период этот упорно игнорировался Оксфордской школой изящной словесности). Я

планировал стать византинистом. Мне хотелось изучать арабский, персидский и турецкий, с тем чтобы овладеть этими языками настолько, насколько я уже овладел греческим и латынью. Летом 1911 года все эти планы будоражили меня, и я собирался заняться ими, как только покончу с историей Греции периода 404—323 годов до Р. Х.

Это был опасный для меня момент в моем интеллектуальном развитии, и источником этой опасности служила приобретенная мною типичная для экзаменуемого привычка мышления. То, что я ее приобрел, неудивительно, принимая во внимание, какую огромную роль играли в моей интеллектуальной жизни бесконечные экзамены. Правда, я остался свободен от одной обычной слабости экзаменуемого. Я не захотел держаться в рамках произвольно ограниченной области знания. От этого меня спас мистер Хейзелфут, научив, раз и навсегда, смотреть на предмет в целом. И хотя предметом, который я для себя выбирал, оказались людские дела, меня могло удовлетворить только изучение дел человеческих в целом. Само по себе это было хорошо, но это плохо сочеталось с другой слабостью экзаменуемого — этой, увы, я поддался, — а именно с дурной привычкой накапливать знания для того, чтобы выдержать экзамен, а не для того, чтобы их использовать. Расширяя сферу моей любознательности в стремлении объять все людские дела, я поступал с собой, как великаны поступили с богом Тором, когда они тайно от него подсоединили к морю рог, который он собирался на пари выпить[3]. Даже богу не удалось осушить море, как не удалось бы двадцатидвухлетнему молодому человеку, у которого впереди целая жизнь, познать все человеческие дела, сколь бы упорно он ни трудился и как бы долго ни сохранил свой разум. Не понимая этого, я нацелил себя на бесконечность, а в состязании между смертным и бесконечным смертный неизбежно проигрывает, если вовремя не прекратит этот неравный поединок.

Летом 1911 года я твердо был намерен посвятить себя выполнению той бесконечной программы, которую я себе наметил. По сути дела, я готовил себя к посмертному экзамену, и теперь, когда мною было принято решение никогда в жизни не подвергать себя больше экзаменам, поведение мое было явно непоследовательным. Сам того не зная, я обрекал себя на неминуемое поражение. Однако от этой уготованной мною самому себе судьбы меня спасло новое увлечение, захватившее меня помимо моей воли и сначала раздражавшее меня, потому что оно замедляло процесс освоения материалов по истории Греции. Я занимался сравнением отрывков из Ксенофонта с отрывками из Фукидида, содержавшими информацию об организации лакедемонской армии[4]. Согласуются ли эти отрывки между собой или между ними наблюдаются несовпадения?

И если такие несовпадения существуют, то результат ли это ошибок со стороны авторов или же лакедемонская армия претерпевала реорганизацию за период между событиями, описанными Фукидидом и Ксенофонтом?

Я искал ответа на эти вопросы, вместо того чтобы выполнять норму чтения, которую я для себя наметил. Я полагал, что давно уже приучил свой мозг заниматься тем, что я ему укажу, независимо от того, приятно это ему или нет. Почему теперь мой мозг восставал против этого? Как я позже понял, он восставал потому, что в нем зародился творческий процесс, а стоит только человеческому мозгу совершить акт творчества, он никому и ничему не позволит прекратить развитие этого процесса. Перечить ему он не позволит даже тому, кому он принадлежит.

Результатом этой творческой работы моего мозга летом 1911 года явилась статья, опубликованная в «Джорнэл оф Хелленик стадиз»*, — первая моя опубликованная работа, не считая короткой заметки в «Классикал ревью». Наконец-то я нашел способ, как исключить бесконечность. Вместо того чтобы продолжать до бесконечности приобретать знания, я начал что-то делать с теми знаниями, которыми уже обладал, и это активное применение знаний указывало новые направления, по которым надлежало двигаться для приобретения знаний. Уже отказавшись раньше ограничиваться в приобретении знаний рамками строго определенной области, на сей раз я нашел способ ограничивать безграничное, как сказали бы греки. Я ограничу бесконечность тем, что буду направлять приобретенные знания на то, чего требует действие. Вот они, знания, собранные на полках библиотек и в галереях музеев, все они в моем распоряжении. В конце концов можно не торопиться овладевать ими, ибо они никуда не убегут. Я буду брать столько, сколько мне надо и когда мне надо. Иными словами, впредь я буду приобретать знания для использования их в моих собственных целях, а не для удовлетворения воображаемого посмертного экзаменатора.

С тех пор я не перестаю благодарить судьбу за то, что избежал участи стать пожизненным экзаменуемым. Я понял, какой грустной могла бы стать и моя участь, когда годы спустя встретился с выдающимся, но не продуктивным оксфордским ученым, эрудицией которого я восхищался, будучи студентом. Теперь, в старости, этот ученый признался мне, что он занимается в настоящий момент византийскими историками и находит их отвратительными. Они казались ему отвратительными, потому что он смотрел на них

---

* «The Growth of Sparta» («J. H. S.», vol. XXXIII, Part II, p. 246—275). Эта статья — зародыш части III, «Подъем и упадок Спарты», моей книги «Некоторые вопросы греческой истории», отданной в печать в 1968 году.

как на упаднических и неумелых подражателей классической литературы, вместо того чтобы смотреть на них как на источник сведений о византийской жизни; которая его ни в малейшей степени не интересовала. И вот теперь, раздражаясь и негодуя, он читал византийских историков, ибо у него сформировалась стойкая привычка ежедневно читать что-нибудь на греческом языке, а к этому времени он перечитал на греческом языке все, что могло принести ему хоть какое-то удовлетворение. Он был экзаменуемым, который перегнал своего воображаемого посмертного экзаменатора и поэтому лишился дела всей свой жизни еще прежде, чем лишился самой жизни или разума.

И как только я начал применять свои знания, смысл слова «работать» претерпел для меня самые существенные изменения, причем, я уверен, благотворные. Работать отныне означало для меня «писать» или «готовиться писать». Оно больше не означало «читать». С 1911 года я не отдаю рабочего времени чтению. Время между завтраком и обедом — время, когда моя мысль работает особенно активно, — я всегда провожу за письменным столом. Чтение играет для меня сугубо вспомогательную роль, и этот метод, по-моему, судя по результатам, себя оправдал. Я читаю то, что мне требуется для того, чтобы писать. И надо сказать, написал я гораздо больше, чем думал написать вначале. Как, впрочем, я всегда умудрялся и прочитать гораздо больше, чем это требовалось для моих очередных задач.

Эта перемена в цели моего чтения привела и к тому, что я стал по-другому делать заметки. Раньше я делал заметки на полях моих греческих и латинских текстов, и этот схоластический метод был наиболее удобным, пока интерпретация и понимание текстов оставались для меня самоцелью. Теперь же я научился использовать тексты в качестве материала для создания чего-то своего, и для осуществления этой новой задачи мне надо было, чтобы мои заметки находились под рукой и в более доступной форме. Начиная примерно с 1922 года я стал, читая, выписывать в тетрадь все, что могло мне пригодиться для творчества. Критерием для меня стала теперь степень полезности для работы, и я начал делать выписки не только из греческих и латинских текстов, но и из современных книг. К 1969 году у меня скопилось более тридцати таких тетрадей, исписанных от первой до последней странички. Они давно уже превратились для меня в самый надежный источник информации. По заметке, сделанной в тетради, я всегда могу восстановить оригинал.

С 1911 года я умудрился написать много книг, и, конечно же, за всякое достижение надо платить. Цена, которую я заплатил за то, что стал довольно продуктивным писателем, свелась к тому, что я так и не осуществил своего давнего желания — изучить историю и культуру Византии и овладеть восточными языками в такой же

степени, в какой я владею греческим и латынью. Я прочел бóльшую часть византийских историков. Их произведения были мне доступны благодаря тому, что они написаны на том псевдоклассическом греческом, который заставлял скрежетать зубами моего старого знакомого из Оксфорда. Я поверхностно выучил арабский и значительно лучше — турецкий, и эти две вылазки в область исламоведения сослужили мне неоценимую службу. Однако в этой области я все еще лишь стою на пороге; я не овладел ею так глубоко, как я овладел греко-римской областью знаний. Я уверен, что в совершенстве выучил бы арабский, персидский и турецкий, если бы продолжал думать и работать, как экзаменуемый. Я глубоко сожалею о том, что не изучил эти чарующие языки, особенно арабский и турецкий, которые выводят исследователя, чей родной язык принадлежит к индоевропейской семье языков, за пределы бесчисленных индоевропейских языков с их утомительным структурным единообразием. Но тогда я задаю себе вопрос: «Что бы мне это дало, если бы, досконально изучив арабский и турецкий языки, я бы так и не нашел применения этим моим дополнительным знаниям? Захотел ли бы я, если бы мне предоставили право выбора, стать специалистом по арабскому и турецкому языкам ценой отказа от моих книг?» Конечно же, я не согласился бы на такой обмен. Это было бы подобно Гомерову обмену золотых лат на медные[5].

Отдав приоритет сочинительству, я отказался от возможности совершенствоваться в области языков. Однако есть еще одна сфера знаний, постоянно манившая меня. Я никогда не упускал возможности пополнить свой запас географических познаний непосредственно на местности. Пока я не ушел на пенсию, я был в отношении путешествий на голодном пайке, до некоторой степени из-за нехватки времени и средств. И тем не менее начиная с 1911 года я использовал любую возможность отправиться в путешествие. Это то единственное занятие, которому я отдавал предпочтение перед писательской деятельностью. Как только мне представлялась возможность совершить интеллектуально полезное путешествие, книги и статьи, пусть уже начатые, отодвигались на второй план. Я глубоко убежден, что для тех, кто изучает людские дела, путешествия — это самое главное. Людей и их сообщества невозможно понять вне той среды, в которой они живут; географические условия невозможно узнать понаслышке. Можно годами изучать описания, фотографии, карты какой-нибудь страны и не получить правильного представления о ее характере, и вдруг — один мимолетный взгляд на ее ландшафт — и ты получаешь ту главную информацию, которую невозможно получить заочно.

Чем медленнее человек путешествует и чем ближе он к земле, тем больше рассказывает ему ландшафт. Лучше всего путешествовать

с рюкзаком и флягой с водой при неограниченном запасе времени. Экипированный таким образом пешеход независим. Он может идти куда хочет и полностью удовлетворять свою любознательность. Седло мула или лошади, равно как и повозка, которую тянут быки, стоят как средство передвижения на втором месте после собственных ног. Сразу за ними я бы поставил «Лэнд-Ровер» или «Джип». Обычная машина с низкой посадкой резко снижает ваши возможности. Передвижение в ней ограничено такими дорогами, которые представляются первоклассными с точки зрения профессионального водителя, но никак не с точки зрения путешественника, странствующего с целью как можно больше увидеть, а не как можно скорее достичь места назначения. По правде говоря, такая машина никуда не годится. Неплохо можно увидеть мир с борта вертолета или спортивного самолета — например, с «Сессны», — тогда как гигантский реактивный самолет для подобных целей практически непригоден. Если вы совершаете путешествие из любознательности, а не для того, чтобы быть катапультированным *quam celerrime*[6] из одного отеля Хилтона в другой[7], передвижение на реактивном самолете невыносимо. Но даже этот наименее пригодный из всех до сих пор изобретенных человеком способов передвижения может иногда дать визуальную информацию благодаря какому-нибудь мимолетному окну в облачной оболочке Земли. Тобрук, озеро Аверн, Золотые ворота в Сан-Франциско[8] — все они на мгновение открылись моему зачарованному взгляду из немыслимо высокой точки субстратосферы. Однако всякий раз этот мимолетный взгляд заставляет меня жалеть о том, что я не шагаю в этот момент по земле. Так что мой первый совет всякому, кто путешествует, чтобы видеть и познавать: «Зубом и ногтем добивайтесь разрешения путешествовать самым неэффективным в техническом отношении способом».

Мне также хочется дать пять советов людям, занятым интеллектуальным трудом и согласных со мной в том, что единственная здравая и достойная цель накопления знаний — это собственное творчество на их основе.

Мой первый совет — это золотое правило мистера Хейзелфута: «Не спешите. Подумайте, прежде чем начать действовать. Сначала найдите время обдумать вашу тему или проблему в целом».

Мне, например, это правило помогло, и не раз. В полном соответствии с ним я начинал два своих крупнейших в жизни дела, а именно «Обзор международных отношений» и «Постижение истории».

В «Обзоре», который я имел счастье с начала и до конца писать в партнерстве с моей женой, перед нами стояла задача продолжить летопись истории международных отношений, открытую «Историей Парижской мирной конференции» 1919 года. «Обзор» должен был охватывать весь мир, и по причинам, о которых упоминалось в

предыдущей главе, я не хотел отдавать на откуп специалистам анализ политических событий в некоторых якобы «заштатных» регионах. Охватить весь мир — задача чрезвычайно увлекательная, но столь же и трудная. С чего начать? Я начал с того, что написал маленький обзор «Мир после мирной конференции», где постарался дать срез картины мира в 1920 году. Это заложило основу повествования, которое нам с женой удалось довести до 1946 года.

Приступая к «Постижению истории», я совершил неверный шаг. Летом 1920 года, когда идея книги уже почти сложилась у меня в голове, я попробовал излагать ее в форме комментария ко второму хору Софокловой «Антигоны». Эта греческая поэма действительно превосходно передает непостижимость, величие и пафос человеческой жизни[9]. Но, как я скоро обнаружил, мой средневековый подход к теме через древнегреческий шедевр был слишком сложным и практически неосуществимым. Софокл не мог указать мне путь к моей теме. Я должен был найти его сам, и я его нашел, но лишь спустя год. Это случилось где-то в Западной Болгарии, на пути из Стамбула в Лондон, куда я возвращался по окончании командировки в Анатолию, на греко-турецкую войну, где я был в качестве специального корреспондента «Манчестер гардиан». И именно тогда я записал на клочке бумаги с десяток заголовков, которые оказались потом названиями основных разделов моей будущей книги. На этот раз я не стал спешить. И хотя меня ожидали длинные летние каникулы 1927 и 1928 годов, я употребил их не на попытку с ходу написать первую часть книги, а на раздумья по поводу каждого из моих заголовков. В результате темы расширились и дополнились рядом подробных заметок. Писать я начал лишь летом 1930 года. А в 1929 году мне предстояло совершить самое длинное путешествие из всех, какие я когда-либо до тех пор предпринимал. Я посетил Китай и Индию, проехав по суше до Персидского залива, а оттуда — морями, назад на Дальний Восток и возвратился в Европу по Транссибирской магистрали. И только после этого почувствовал себя готовым приступить к написанию книги.

Мой второй совет: «Как только почувствовал, что мозг твой созрел для действия, действуй быстро. Слишком долгое выжидание может привести к еще более пагубным последствиям, чем поспешное действие».

Я уже говорил, что, когда мы с женой начинали писать «Обзор», мы работали под руководством старшего по возрасту и более опытного ученого, сэра Джеймса Хедлэм-Морли, советника по истории министерства иностранных дел, а также председателя издательского комитета Четем-Хауса, Королевского института международных отношений. Когда некоторое время спустя после того, как мы приступили к работе, я показал ему мой первый маленький томик, «Мир

после мирной конференции», Хедлэм-Морли не был вполне удовлетворен. «Этот обзор, — это все очень хорошо, — сказал он. — Но ваша настоящая работа — вести повествование о том, что происходило дальше. Согласен, задача эта слишком обширна. Но я бы вам посоветовал начать с какого-то конкретного события. Как только вы на чем-то остановитесь, остальное придет само. Вначале вы будете продвигаться вслепую, ощупью отыскивая верный путь, ибо обзор текущей истории — это новый жанр в исторической литературе. Мой вам совет: выбрать для вашего первого куска сюжет не очень большой, а также не очень значительный. По всей вероятности, ваш первый вариант вас не удовлетворит и вам захочется еще раз к нему вернуться. Это ничего. Но сейчас лучше не откладывать и не тянуть время. Для начала нужно просто сдвинуть дело с мертвой точки». Хедлэм-Морли посоветовал мне начать с описания истории послевоенного спора между Нидерландами и Бельгией о навигации на Шельде[10]. Я последовал его совету, и все получилось, как он говорил.

Третий мой совет, я думаю, хорош не только для историков, но и для ученых всех сфер. «Пишите регулярно, день за днем, выбрав для себя то время суток, когда вам лучше всего пишется. Не ждите, пока вы почувствуете, что вы в соответствующем настроении. Пишите независимо от того, хочется вам сейчас писать или нет. То, что вы напишете, не будучи в настроении, конечно, будет написано не так хорошо, как то, что вы пишете, когда чувствуете себя в наилучшей форме. Вас не удовлетворит ваш первый вариант, как меня не удовлетворил мой первый вариант истории спора о навигации на Шельде. Однако в вашей власти переделать свой первый вариант, и пусть даже после переделки кусок этот все равно не будет так хорош, как тот, который вы писали с вдохновением, тем не менее он наверняка окажется приемлемым, а вы между тем продвинетесь вперед со всей работой. Если же вы поставите целью добиться совершенства, вам придется шлифовать свою работу до конца своей трудовой жизни, ибо ничто не совершенно, что создано разумом человека и его руками. Если и есть что-то совершенное, то оно создано не человеком, а Богом. И когда смертный дерзает думать, что может достичь совершенства, он повинен в греховной гордыне, которая есть преддверие падения».

Научиться работать в любом настроении поможет экзаменационная система. Ибо время, отводимое на экзамены, столь коротко, а расписание столь строго, что каждому экзаменующемуся должно быть ясно, что если ждать, пока придет настроение, то дело может кончиться катастрофой. На протяжении двенадцати лет, вплоть до 1911 года, когда экзамены были главными событиями в моей трудовой жизни, мне посчастливилось ни разу серьезно не заболеть к дню экзамена. Однако бывали случаи, когда я плохо себя чувствовал.

Я мог, например, готовиться, будучи сильно простуженным. Но экзамен подобен сражению. Пока он длится, надо напрячь все силы. Практика сдачи экзаменов научила меня работать и при неблагоприятных условиях; и это очень ценная привычка, если хочешь чего-то достичь.

Мой четвертый совет: «Не теряйте случайно выпавшие вам свободные минуты. Не говорите себе: «Ну, сегодня мне удалось закончить пораньше и, право, не стоит начинать следующую работу до завтрашнего утра (или до понедельника). Так что остаток дня (или недели) я могу отдыхать и думать о работе». Однако это ошибочный подход: правильнее всего приниматься за работу не завтра и не на следующей неделе, а немедленно, или, как говорят американцы, «прямо сейчас». Знаменательно, что «прямо сейчас» — это американизм, ибо американцы — прежде всего люди действия.

16 декабря 1911 года я прибыл из Мегары в Пирей днем, когда до наступления темноты оставалось еще несколько часов. И вот, вместо того чтобы отправиться прямо в Афины, я решил обойти вокруг стен, возведенных Колоном в 393 году до Р. Х. для укрепления Пирея[11]. В поезд сел только после наступления темноты. В тот вечер за ужином в Британской археологической школе библиотекарь Ф. У. Хезлак поинтересовался, как я провел эти первые пять дней после начала экспедиции. Я рассказал ему о моих странствиях, и, когда дошел до последнего этапа, он сказал: «Вы человек мужественный». Это удивило меня и, следует признаться, порадовало, потому что Хезлак был ветераном в скитаниях по странам Средиземноморья. Поразмыслив, я понял, что он имел в виду. Когда бродишь пешком по суровой местности, постепенно накапливается усталость. А этот последний день моих скитаний оказался не из легких. Рано утром я покинул Мегару, перебрался на пароме на Саламин, пешком пересек этот остров, добрался на пароме до местечка близ Трона Ксеркса[12] и оттуда пешком прошел дальше до Пирея. К тому времени, когда я достиг Пирея, я, конечно, физически устал («Вдруг навалилась усталость. Рад, что прибыл в Школу» — это последние слова записи, которую я сделал в дневнике в тот день), но усталость не ослабила моего стремления использовать каждую минуту своего времени, для того чтобы увидеть в Греции все, что возможно. С тех пор я постоянно помнил случайную похвалу Хезлака. Меня не покидало чувство, что я должен оправдать созданную мне Хезлаком репутацию, и это меня подстегивало. Никогда не теряй попусту время. «...Должно делать дела... доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать» (Ин. 9:4).

Пятый совет: «Всегда смотри вперед. Устремляй свой взор вперед, словно мотогонщик, стремящийся за горизонт, который мчится ему навстречу».

Еще до Первой мировой войны я составил себе программу на долгие годы вперед. Например, осенью 1965 года я выпустил книгу под названием «Наследие Ганнибала», в основу которой лег курс лекций, прочитанных мною в Оксфорде в Школе изящной словесности в 1913/14 академическом году. Когда я набрасывал заметки для этих лекций, я уже тогда планировал сделать на их основе книгу. Потом одно событие за другим, включая и Первую мировую войну, помешали мне осуществить задуманный план. И все-таки я принялся за эту книгу летом 1957 года. Однако теперь, работая над ней, я широко пользовал весь тот необъятный материал, который скопился в моих многочисленных тетрадях за десятилетия, истекшие с момента, когда этот план зародился в моей голове.

Моя жена говорит, что я обладаю особой способностью — «шестым чувством», как она это называет, — угадывать на годы вперед, что именно мне пригодится в моих дальнейших планах, возможно еще и не сформулированных в данный момент. Она также удивляется моей способности коротко записать именно то, что мне впоследствии пригодится. Безусловно, умение использовать свои тетрадки, несомненно, говорит кое-что о моем методе работы, но я не уверен, что это свидетельствует о каком-то особом даре. Вероятно, любой, кто, занимаясь интеллектуальным трудом, избрал бы этот метод, пользовался бы им с не меньшим успехом. Несомненно, для этого нужны определенные способности, но прежде всего нужны практика и настойчивость.



7. ЯНУС В СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ (14 апреля 1964 года)

Мне семьдесят пять лет. Половина моих однокашников по школе и университету были убиты, не достигнув двадцати семи. С 1915 года я не перестаю удивляться тому, что я все еще жив, и грустить о том, что мои друзья, чья жизнь тогда оборвалась, оказались лишены тех возможностей, которые открылись мне. На семьдесят пятом году жизни я передал в «Оксфорд юниверсити пресс» рукопись книги «Наследие Ганнибала», которую я задумал еще тогда, когда читал на эту тему лекции в Оксфорде, в Школе изящной словесности, в 1913/14 академическом году. Я сел за написание этой книги только в 1957 году. Историку нужно время, больше времени, чем, по-видимому, необходимо поэтам и математикам. Если бы у моего современника Дж. Л. Чизмена было столько времени, сколько выпало мне, он создал бы великие труды по римской истории. Но Чизмен был убит при Дарданеллах в 1915 году[1].

Каждый человек — Янус: «Мы глядим и вперед и назад»[2]. Когда человек молод, легко глядеть вперед: прошлое еще не наваливается всем своим грузом, не тянет оглянуться назад. По мере того как человек стареет, растет искушение обратить свой взор в прошлое, отвернувшись от будущего. Это хорошо известная тенденция, и ей надо сопротивляться. Впасть в созерцание прошлого — это все равно что оказаться мертвым еще до того, как тебя настигнет физическая смерть. Рассказывают, что лорд Рассел, когда ему было уже далеко за восемьдесят, говорил: важно горячо принимать к сердцу то, что произойдет после твоей смерти. Все стареющие люди должны проникнуться этими словами, принять их как руководство к действию, как это сделал лорд Рассел. Наше сознание, до тех пор пока оно не притупилось, не связано физическими границами: оно стремится над Временем и Пространством к Вечности. Быть человеком означает обладать способностью переступать собственные пределы. По сравнению с масштабами сознания самая долгая жизнь коротка. За одну-единственную жизнь можно сделать очень мало, даже если она и не окажется оборванной. Все, что совершает отдельный человек, имеет значение и представляет ценность лишь в более широком контексте свершений общества и истории, в которых каждому отдельному человеку отведена лишь крохотная роль.

Случилось так, что я родился в 1889 году, и вот сейчас, в 1964-м, я все еще жив, а значит, мне выпало увидеть то, что, похоже, представляет собой переход из одной исторической эпохи в другую. Я рос в последние годы сорокатрехлетнего периода мира в Европе, периода, который начался в 1897 году. Я никак не думал, что это состояние мира не вечно, пока на меня не обрушился август 1914 года. И в день подписания перемирия в 1918 году[3] я никак не думал, что увижу на своем веку Вторую мировую войну. Я рос в век стабильности и уверенности, как он воспринимался средним классом Великобритании. Ребенок из английской семьи даже самого скромного достатка, если он проявлял себя способным, работящим и благонравным, мог рассчитывать на удовлетворительную для выходца из среднего класса карьеру. До 1914 года любой выпускник моего колледжа в Оксфорде, в Бейллиоле, не составлявший себе ясного представления о том, чем он хотел бы заниматься после окончания университета, определялся преподавателями Оксфорда, или «донами», по раз и навсегда заведенному порядку на государственную службу в Индию. Карьера государственного чиновника была обеспечена любому выпускнику Бейллиол-колледжа, если он не был способен на что-нибудь лучшее. И контракт, заключаемый кандидатом в государственные чиновники в Индии с индийским правительством[4], обеспечивал новобранца на всю оставшуюся жизнь.

Столь же стабильным был и нравственный мир, в котором я рос. Он все еще оставался миром итальянского Возрождения. Греческие и латинские классики формировали духовный мир человека. И во всяком случае, в отношении меня это привело к любопытному результату: я оказался частично отчужденным от живого Западного мира, в котором родился и жил. Я начал смотреть на этот Западный мир чужими глазами, причем без всякого восторга и интереса. Историей для меня была история греческая и римская; история средних веков и Новая история представлялись мне неуместным и нелепым эпилогом, добавленным к собственно истории североевропейскими варварами. Этот эпилог, по моему мнению, нельзя было считать даже потомком по прямой линии. Это была боковая ветвь. Прямая линия пролегала от Римской империи через Византийскую и Османскую империи и вела на сегодняшний Ближний и Средний Восток. Это и был для меня живой современный мир. Турецкая революция 1908 года[5] настолько меня заинтересовала, что превратила в прилежного читателя «Таймс», каким я остаюсь и по сей день.

Как оказалось, мой духовный дом в греко-римском мире принес мне огромную практическую пользу. Он стал островком стабильности посреди бурного моря перемен. В живом мире, что бушевал вокруг меня, мирная фаза развития была в одночасье сметена фазой бурной, но то, что я прочно стоял на ногах в классическом мире, смягчило потрясение от этого резкого перехода. В варварском постскриптуме к истории один параграф следовал за другим. Однако сама история — то есть история греческая и римская — осталась той, что была всегда.

Недостатки классического образования в современный век очевидны. Из-за традиционной сосредоточенности на греческих и римских классиках я чувствовал себя неуютно и неуверенно в том полном чудес физическом мире, который был открыт взорам многих моих современников благодаря успехам физической науки, вот уже три столетия уверенно завоевывающей этот мир. Естественные науки и высшая математика, являющаяся ключом к ним, остались для меня книгой за семью печатями. И вряд ли что-то способно возместить эту потерю. И уж во всяком случае, не то, что я достиг в изучении древнегреческого и латыни достаточных высот, чтобы в минуты особенно проникновенные писать на этих языках стихи. И это при том, что я никогда не мог писать стихи на родном языке, и это, кстати, еще один довольно странный результат серьезного отношения к классическому образованию.

Однако нельзя отрицать и того, что мое классическое образование оказало мне две услуги, которые невозможно переоценить. Оно дало моему сознанию точку опоры вне того времени и места,

где и когда мне случилось появиться на свет, и это спасло меня от переоценки значения современной Западной цивилизации. Вторая услуга, оказанная мне моим классическим образованием, состоит в том, что у меня на всю жизнь сложилось убеждение: людские дела можно понять, только рассматривая их в целом, и вследствие этого я всю жизнь старался выработать у себя всеобъемлющий взгляд на историю. К тому времени, когда я вступал в жизнь, западные ученые уже начали разрывать цельную паутину людских дел на кусочки, столь же крохотные, сколь и многочисленные, и рассматривать каждый кусочек под микроскопом, словно каждый из них был изолированным миром, а не неотъемлемой частью одного большого целого, как это есть на самом деле. Я благодарен моему старомодному классическому образованию за то, что оно спасло меня от увлечения этим немецким методом XIX века. Итальянский метод XV века представляется мне куда более верным, потому что, как мне кажется, он учит такому взгляду на человека и его дела, который гораздо ближе к жизни. Студент-гуманитарий, изучающий классиков, приучается видеть греко-римскую жизнь как единое целое. В его глазах, языки, литература, изобразительное искусство, религия, политика, экономика, да и сама история классического мира, — это не набор отдельных «предметов», изолированных друг от друга и лежащих каждый на своей полочке; это стороны единой жизни, и они не могут быть правильно поняты, если не рассматриваются сообща, как дополняющие одна другую и составляющие единое целое.

Естественные науки XX века могут обеспечить этот целостный взгляд так же, как и гуманизм XV века. В тот момент, когда я — нащупывая путь к «целостности» через гуманизм — приступал к написанию первых томов моей книги «Постижение истории», как раз вышел из печати «Холизм» генерала Сматса[6], и я с радостным волнением обнаружил, что та цель, к которой я столь упорно стремился, уже достигнута. Как я уже говорил в своей книге «Знакомства», мне довелось выполнять кое-какие поручения генерала Сматса на Парижской мирной конференции 1919 года. И уже тогда он показался мне человеком, вступившим в мир сегодняшнего дня прямо из «моего» классического мира. Прежде всего это был классически разносторонний человек. Фермер, юрист, солдат, государственный деятель, философ, ученый, Сматс как будто сошел со страниц «Жизнеописаний» Плутарха. Ключом к величию Сматса была «всеобъемлемость». Она была ключом и к величию Эйнштейна. Эйнштейн приходил к своим эпохальным открытиям путем сопоставления вещей, которые для менее мощных умов оставались разрозненными. Еще один пример великого человека, чье величие лежит в том же самом несовременном ключе, — сэр Уинстон Черчилль. Всесторонность этих трех великих людей — это то общее,

что объединяет их, несмотря на все различия в характерах, взглядах и карьерах. Все трое, родись они во времена Полибия, Катона Цензора, Архимеда[7], чувствовали бы себя в их мире как дома.

Этими тремя личностями не исчерпывается список моих современных западных героев. Из современных западных историков я глубоко обязан Кларендону, Гиббону, Фримену, Бери, Теодору Моммзену и Эдуарду Майеру[8]. Я черпал в них вдохновение, потому что в каждом из них, в каждом по-своему, ощущалось что-то от несовременной широкомасштабности мышления, свойственной Черчиллю и Сматсу. Государственный деятель и историк Кларендон был Сматсом и Черчиллем XVII века. Сведя в единую систему разрозненные исследования ученых XVII века, Гиббон озарил их новым светом, как Эйнштейн озарил новым светом исследования ученых XIX века. Фримен исповедовал идею единства и универсальности истории. Подобно исламскому философу XIV века Ибн Хальдуну[9] и западному философу XVIII века Вико[10], Фримен обладал даром «видеть в песчинке мир». Время его рождения и место его жизни ограничивали сферу его внимания западной частью Ойкумены, и все же он сумел разглядеть ту истину, что людские дела — это неделимое целое. Он видел это так ясно, словно история цивилизаций Египта, Азии и доколумбовых Америк была ему так же доступна, как историкам моего поколения. Эдуард Майер сочетал совершенное знание греческих и латинских источников, дававших ключ к пониманию истории западной части Ойкумены до начала Нового времени, с непосредственным знакомством с языком и письменностью Шумера, Аккада и Египта. Его мысленный взор проникал далеко на Восток, в те пределы, каких достигли бактрийские греки в своих завоеваниях в Индии.

Что касается Моммзена и Бери, то в них меня восхищает отнюдь не следование принципам XIX столетия, до которых они, к счастью, не дотянули, а их практика XVII столетия. Мой Моммзен — это ранний Моммзен времен написания «Римской истории». «Римская история» Моммзена — это художественное произведение, стоящее, по моему мнению, на уровне Гиббоновой «Истории упадка и крушения Римской империи». Рассказывают, что впоследствии Моммзен смотрел на свою «Римскую историю» как на грех молодости, который он надеялся искупить дальнейшими своими трудами. Нет нужды говорить, что я с такой самооценкой Моммзена не согласен, но, и не соглашаясь с ним, я продолжаю считать Моммзена одним из моих интеллектуальных героев. Я также категорически не согласен с определением Бери, что история — это наука, не меньше, но и не больше того. И хотя Бери старательно следовал данному определению в своих работах, к счастью, он не преуспел в своих стараниях, и именно это придает трудам Бери ту огромную

ценность, которую они имеют в моих глазах. Несмотря на свои принципы, на практике Бери был истинным гуманистом.

Мне посчастливилось больше, чем Бери и Моммзену, в том отношении, что я избежал внутреннего конфликта, присущего этим ученым. Благодаря моему классическому образованию культ специализации, столь характерный для XIX века, абсолютно не затронул меня. Мне даже не пришлось бороться с искушением пойти на компромисс со своими убеждениями. Передо мной даже не вставал вопрос, быть ли мне историком политики, экономики, религии, искусств, науки или техники; моей сознательной и обдуманной целью было изучение человеческих дел в совокупности, как единого целого. Я всей душой восставал против их деления на так называемые дисциплины. Строго придерживаясь этой линии, я, надеюсь, «перепрыгнул» прямо из XVIII века в век XXI, не запутавшись ни в XIX, ни в XX веке. Я убежден, что традиция прошлого — это также и «волна будущего». Мы движемся сейчас к такой главе человеческой истории, в которой нам придется выбирать не между миром единым и миром лоскутным, а между просто миром и вообще отсутствием мира. Я верю, что человечество выберет жизнь и добро, а не смерть и зло. Поэтому я верю в неизбежность единого мира и верю, что в XXI веке человеческая жизнь снова станет рассматриваться во всех ее аспектах и проявлениях. Я верю, что в сфере религии сектантство уступит место экуменизму; что в политической сфере национализм уступит место мировому правительству и в сфере изучения людских дел специализация уступит место всеобъемлющему подходу.

Во всяком случае, таковы были мои принципы и цели моей собственной работы. Полученное мною образование научило меня видеть Греко-Римскую цивилизацию как единое целое; а кроме того, я неуклонно стремился расширять свой исторический горизонт. Я не ограничивал сферу моих интересов греко-римской историей, в не меньшей степени мое же внимание привлекали и все другие известные общества и цивилизации Земли. Таких же подходов я придерживался в отношении философии и главных религий. Я старался, помимо учений Платона, Аристотеля, Эпикура и Зенона, постичь учения Будды и Конфуция. Я старался, помимо христианства, нащупать пути в иудаизм и ислам, в индуизм и махаяну. И несмотря на мое легкое предубеждение против Западной цивилизации, которая теперь распространилась на всю обитаемую поверхность нашей планеты, я стараюсь, сохраняя чувство прошлого, не упускать из поля зрения текущие человеческие дела.

Как я уже упоминал, я первоначально открыл для себя мир, в котором и живу, идя по стопам Греко-Римской цивилизации, и путь мой к современной истории пролегал через цивилизации Ближнего

и Среднего Востока. Я полагаю, между 1911 и 1923 годами существовала опасность того, что я могу стать в какой-то мере пленником специализации. В то время я был близок к тому, чтобы совместить профессии «балканиста» и «историка античности». К счастью, от этой ловушки меня спасла одна серьезная неприятность. Я оказался лично замешан в конфликт между двумя националистическими движениями на Ближнем Востоке. Вследствие этого я вынужден был уйти с кафедры истории и культуры Византии и новогреческого периода Лондонского университета, где я занимал тогда должность заведующего. Новая же работа вводила в круг моих занятий текущую политику, переключая мои интересы с Ближнего и Среднего Востока на весь мир в целом. Работа над выпуском «Обзора международных отношений» заставляла следить за текущими событиями не только на Ближнем и Среднем Востоке и не только в Европе и Соединенных Штатах Америки, но также в Латинской Америке, Советском Союзе и Китае.

Работа над «Обзором», который я в партнерстве с моей женой выпускал в Четем-Хаусе, продолжалась с 1924 по 1956 год. В тот же период, с 1927 по 1954 год, я выпустил десять книг «Постижения истории». Со всех точек зрения это было самое счастливое сочетание занятий. Я думаю, у меня не получилось бы издать ни «Обзор», ни «Постижение истории», если бы я не работал над этими темами одновременно. Эти столь, казалось бы, разные работы открывали передо мной самые широкие горизонты, предоставляя самое широкое поле деятельности, какое я мог только охватить. Таким образом, я достиг своей цели. Ибо целью моей было расширение моего горизонта и области деятельности до предела моих возможностей.



8. ДРУГОЕ ДЕЛО

(I) Конец программы (22 февраля 1966 года)

В январе 1966 года, сдав в печать рукопись «Некоторые проблемы истории Греции», я исчерпал тем самым программу, которую я сам себе некогда наметил. Это было для меня новым ощущением, ибо на протяжении, пожалуй, более чем полустолетия я постоянно был как бы в плену у этой программы. Так, два из выполненных пунктов — книга «Наследие Ганнибала», опубликованная в 1965 году, и «Эллинизм», опубликованный в 1959 году, — стояли у меня в программе с начала Первой мировой войны. Другие, и в их числе крупнейший четем-хаусский проект «Обзор международных отношений», добавились к ним позже.

Завершение моей программы в чем-то напомнило мне завершение образования моих детей. Дело, которое много лет держало меня в постоянном напряжении, вдруг подошло к концу. И вот я свободен, пока здоров и в здравом рассудке, а пока я не лишусь рассудка, я не лишусь любознательности. Число книг, которые мне еще хочется прочитать, и стран, которые мне еще хочется посетить, кажется, не уменьшилось. И более того, удовлетворение этой широкой любознательности уже не наталкивается на необходимость выполнения определенных планов, связанных с творческой работой. Таким образом, я снова оказался в том же положении, в каком был в то время, когда развивался мой ум, в те годы, когда я получал образование и учился заниматься самообразованием. Однако на той стадии я подсознательно готовил себя к выполнению программы, которая начала складываться в моей голове, как только завершилось мое образование. И вот сейчас, в 1966 году, эта программа осталась наконец позади, но мне идет уже семьдесят седьмой, а не двадцать третий. В этом возрасте я не могу заняться составлением новой программы, подобно той, которую я только что завершил. Так что же, моя любознательность и та энергия, симптомом которой она является, будет отныне уходить в песок, не принося никаких действенных результатов? Или во мне зреет какая-либо иная программа?

Положение, в котором я оказался, отнюдь не радует меня. Скорее оно причиняет мне беспокойство и даже боль. И тем не менее, дав себе труд взглянуть на себя со стороны, я нахожу положение свое довольно комичным в силу противоречивости обуревающих меня чувств.

Пока моя программа не была завершена, я постоянно испытывал беспокойство, меня буквально терзала мысль о том, что ее надо выполнять. Я описывал, как еще в школе беспокойство заставляло меня готовить уроки заранее, за недели и месяцы до того, как их задавал преподаватель. На протяжении полувека, в течение которого я не позволил себе расслабиться ни на день, я начинал работу над следующим пунктом, едва закончив очередную работу. Я никогда не устраивал себе передышки, и чувство беспокойного нетерпения только росло во мне с возрастом. С тех пор как мне исполнилось семьдесят, я на каждый Новый год смотрю как на подарок, который нельзя принимать как нечто само собой разумеющееся, ибо он может и не повториться.

Мой сын Филипп очень верно схватил мой характер в своем первом романе «Яростные дни»[1]. Он представляет меня в нем человеком, терзаемым мыслью, что у него не хватит времени сделать все, что он задумал. Таким действительно и было мое состояние до самых последних дней. По мере того как шли годы и я разделывался

пункт за пунктом с моей программой, я все больше и больше сознавал, что время — совершенно необходимое условие для того, чтобы чего-то достичь, во всяком случае, в моей области. Это также заставляло меня все яснее осознавать бессмысленно несправедливое неравенство судеб. Я все больше и больше думал о том, чему уже никогда не суждено осуществиться, — о программах моих однокашников по университету и Оксфорду, убитых в Первую мировую войну: Дж. Л. Чизмана, Л. У. Хантера, Уилфреда Лангдона. Их планы были по меньшей мере столь же солидными и перспективными, как и мои собственные. Тем не менее их мечты и планы погибли вместе с ними, в то время как я все живу и могу заниматься своим любимым делом. Это неравенство становилось для меня все более и более невыносимым, тем более что оно было следствием простой случайности. Как мои удачи, так и несчастная судьба моих преждевременно ушедших из жизни друзей были одинаково незаслуженными. В то же самое время я был благодарен за дарованные мне годы жизни. (Дарованные мне кем? Благодарен кому? Кому ими обязан: слепому случаю или некоей Божественной силе, которая действует целенаправленно? Но если это так, то это еще более несправедливо, ибо кто волен по своему капризу раздавать добро и зло мне, моим друзьям и всем остальным?)

Чем большую благодарность я испытывал за эту удачу или за это неожиданное счастье — дарованное мне время, — тем нетерпеливее я старался выжать все из отведенного мне срока. Тем не менее теперь, когда вся моя программа наконец выполнена, я с болью гляжу на лежащий перед моими глазами чистый лист бумаги, где нет уже неоконченных пунктов, которые все эти годы были своеобразным стимулом в моем движении вперед. Отсутствие программы оказалось для меня более мучительным, чем сама программа, настоятельно требовавшая своего завершения. Что же теперь терзает мою душу? Если, освободившись, я не способен радоваться свободе, значит, моя полувековая программа была для меня чем-то вроде наркотика. Может быть, терзаюсь я оттого, что лишился навязанного себе обязательного дела, которое привычно отвлекало меня от мыслей о чем-то, о чем я всю жизнь избегаю думать?

Это стремление быть занятым практическим делом сродни духовной немощи. Если это так, то только ли мне одному присущ сей недуг? Или он присущ тому складу ума, что преобладает в современном западном обществе? Несомненно, мое непременное желание найти себе какое-то занятие — это часть моего собственного темперамента. Этот темперамент, я думаю, все равно проявился бы, случись мне родиться и вырасти, скажем, в Индии. Но в Индии моему темпераменту противостоял бы традиционный дух индуизма, в то время как в Европе он утвердился и укрепился под влиянием

духа времени современного Западного мира. Наш сегодняшний западный дух времени заставляет всех живущих здесь — даже людей, склонных к созерцательности, и интровертов — постоянно загружать какой-то, пусть даже бесполезной деятельностью, заполняя ею все свободные от сна часы. Не заполненное работой время должно заполняться «отдыхом», который иногда очень походит на ту же самую работу, только под другим названием. Когда мой современник — человек Запада — не находится на работе, он играет в гольф или включает радио или телевизор.

«Отдых» в современном западном смысле слова всегда казался мне нездоровым впадением в детство. Поэтому я презирал такой отдых и, полагаю, был прав. Но не обязывает ли меня такое суждение осудить вместе с тем и мою собственную уловку, когда я заставляю себя работать по двадцать четыре часа в сутки? Дискомфорт, который я ощущаю теперь, когда завершена моя полувековая программа, заставляет меня думать, что в моем случае программа играла ту же порочную роль, что радио и телевидение играют для инфантильного обывателя. Я создавал себе возможность отвлекаться от другого дела, о котором боюсь думать — боюсь отчасти потому, что я — это я, а отчасти также потому, что я человек Запада.

Это современное западное состояние ума с большой проницательностью описано Лукрецием. Он сумел увидеть его в жизни, потому что оно типично для представителей господствующего класса Рима в период, когда республиканский режим явно шел к своему печальному концу*.

Если бы люди могли настолько же, как они, видно,
Чувствуя бремя, их дух давящее гнетом тяжелым,
Также сознать и причины его, и откуда такая
Камнем гнетущая грудь, появилась страданий громада,
Жизни бы так не вели, как обычно ведут ее нынче,
Не сознавая, чего они сами хотят, постоянно
К мест перемене стремясь, чтоб избавиться этим от гнета.

Часто палаты свои покидает, кому опостылел
Собственный дом, но туда возвращается снова внезапно,
Не находя вне его никакого себе облегченья;
Вот он своих рысаков сломя голову гонит в именье,
Точно спешит на пожар для спасенья горящего дома,
Но начинает зевать, порога еще не коснувшись;
Иль погружается в сон тяжелый, забыться желая,
Или же в город спешит поскорее опять возвратиться.
Так-то вот каждый бежит от себя и, понятно, не может

**Лукреций.* О природе вещей. М., 1958, с. 123–124 (кн. III, с. 154–175).

Прочь убежать; поневоле с собой остается в досаде,
Ибо причины своей болезни недужный не знает.

Затем Лукреций ставит собственный диагноз этой болезни, и слова его вполне бы могли принадлежать одному из Отцов Церкви:

А понимай он ее, он бы, все остальное оставив,
Прежде всего природу вещей постарался постигнуть.
Дело ведь здесь не идет о каком-нибудь часе едином,
А состояньи, в каком неизбежно все смертные люди
Должны по смерти своей во веки веков оставаться.

Смерть действительно такой факт, которому трудно смотреть в глаза; но я, будет время, специально обращусь к этой теме. Однако не думаю, чтобы основной причиной духовного недуга, описываемого Лукрецием и столь остро ощущаемого нами на Западе, была проблема, связанная с. перспективой встретиться лицом к лицу со смертью, какой бы устрашающей она ни была. Я бы сказал, что недуг заключается в боязни столкнуться с конечной реальностью, а я не думаю, что смерть — это самая страшная из высших реальностей, хотя также не верю и в реальность бессмертия в смысле бесконечного посмертного продолжения в ином мире той жизни, которую мы ведем и которую знаем в мире этом.

Здесь отношение и мировоззрение индийцев, если я их правильно понимаю, представляются мне более обоснованными и глубокими, нежели позиция, выработанная на Западе. Меня, воспитанного в западных традициях, завершение моей программы тревожит прежде всего потому, что, в глазах человека Запада, оно выглядит как конец деятельной жизни. С другой стороны, если бы я был воспитан в индийской традиции, то чистый лист передо мной воспринимался бы как символ не конца жизни, а ее истинного начала. Брахман, как и человек Западного мира, имеет практическую программу. Он тоже женится, у него родятся дети, он их воспитывает. Это его долг перед обществом. Однако, когда брахман выполнил свой долг, он волен заниматься тем, что для него составляет истинное призвание человека. А для брахмана истинное призвание человека — это то «другое дело», которое ждет его после того, как выполнены все пункты практической программы. Когда дети брахмана выросли и вышли в мир, брахман волен уйти из мира, уединиться в лесу и провести там остаток жизни в созерцании. На поздней стадии жизни это для него та самая духовная деятельность, которая придает цель и смысл всей жизни.

Я полагаю, что в этом пункте — а это пункт чрезвычайной важности — индийский идеал правилен. Могу ли я последовать ему? Если я попытаюсь это сделать, то столкнусь с двумя препятствиями: моим собственным темпераментом и сегодняшним духовным настроем

западного общества, то есть той социальной среды, в которой я живу и работаю. Сегодняшний духовный настрой западного общества — это просто привычка, причем даже не очень старая. На средневековой стадии западной истории Запад располагал социальной средой, более благоприятной для созерцания, хотя, возможно, среда эта никогда не была столь благоприятной, как в Индии.

Бороться с собственным темпераментом еще труднее, и все же я верю, что способность к созерцанию и внутренняя потребность пользоваться этой способностью заложены в природе человека. Эти общечеловеческие способности потенциально должны быть и во мне, каким бы мощным ни было наслоение привычек заполнять свою жизнь практической деятельностью. Не может быть, чтобы я не нашел возможности разбить эту корку и освободить путь потоку духовной жизни.

(II) Смерть

Лукреций считает, что страх смерти и страх того неизвестного состояния, которое наступит после смерти, — это главная и единственная причина живущего в человеке беспокойства. Я близко знал двух людей, действительно страдавших в старости от болезненного страха смерти. Одним из них был мой двоюродный дедушка Гарри, другим — Джилберт Марри[1]. Их отношение к смерти было одинаковым, хотя их представления о природе Человека и Мира были очень разными. Мой дедушка Гарри был христианином-протестантом и принадлежал к ортодоксальной евангелической епископальной церкви. Джилберт Марри был католиком, агностиком-рационалистом. По логике вещей их убеждения должны были бы облегчить каждому из них встречу со смертью. Дедушка Гарри придерживался официального христианского взгляда, что истинная вера и следование Христовым заповедям — это необходимые условия спасения. Он был также уверен, что теологическая позиция безупречна. Теоретически он полагал, что спасение после смерти ему обеспечено, на практике же страшился перспективы, что может умереть на пути к спасению. Что касается Джилберта Марри, то его мировосприятие было, в сущности, таким же, как у Лукреция. Следовательно, логически его страх смерти должен был бы смягчаться аргументом Лукреция, что так как смерть — это вечное забытье, то она освобождает нас от какой бы то ни было возможности посмертных страданий. Надо полагать, умом Джилберт Марри это понимал, однако его рационалистические убеждения не могли развеять жившую в его сердце иррациональную тревогу.

Самому мне уже почти семьдесят семь лет, так что день моей смерти не так уж далек. Самое большее, на что я могу рассчитывать, —

это прожить еще лет пятнадцать; а когда человеку перевалило за семьдесят, пятнадцать лет — это всего лишь мгновение. Более вероятно, что я умру намного раньше[2]. Пока, однако, меня не беспокоит страх смерти, одолевавший моего дедушку Гарри и Джилберта Марри. Может быть, этот до сих пор охранявший меня иммунитет основывается на недостатке воображения? Мне никогда еще не приходилось стоять перед лицом собственной смерти как неизбежности, или вероятности, или даже возможности. Вполне возможно, что, когда я окажусь лицом к лицу с неминуемой смертью, и я тоже испугаюсь ее, как боялись ее дедушка Гарри и Джилберт Марри? Я не в состоянии заранее сказать, какой будет моя реакция.

Смерть, которая действительно способна потрясти воображение, — это смерть вашего ровесника. Смерть человека старшего поколения воспринимается нами как естественное явление природы, мы считаем само собой разумеющимся, что, пока рядом с нами живет и здравствует более старшее поколение, нам самим, естественно, ничто не грозит. Однако я по воле случая принадлежу к тому поколению Западного мира, для которого потеря юношей и мужчин во цвете лет оказалась нормальным уделом, а те немногие, что выжили и продолжают жить, воспринимаются как счастливчики, которым выпал редкий шанс.

Около половины моих сверстников, однокашников по школе и университету, были убиты в 1915—1916 годах. И только случайное происшествие спасло меня от того, чтобы разделить судьбу моих сверстников, умерших молодыми.

Более того, в раннем детстве, еще когда ничего не говорило о том, что моему поколению суждено будет принести кровавые жертвы на алтарь войны, мне суждено было близко столкнуться с преждевременной смертью. Меня назвали в память о моем дяде, который погиб в возрасте тридцати лет. Нет, он погиб не от пули, его убили враги иного рода — бактерии. Эта трагедия, естественно, произвела на нашу семью глубокое впечатление, и я рос в атмосфере, пронизанной горем от этой утраты. Позже я слышал от моей тетки Гертруды о преждевременной смерти моего двоюродного деда Джорджа Тойнби. Это тоже был многообещающий молодой человек выдающихся интеллектуальных способностей, но в возрасте двадцати девяти лет — прожив годом меньше, чем его племянник Арнольд, — он умер от скоротечной чахотки.

С 1915—1916 годов мне всегда казалось странным, что сам я до сих пор жив; и чем старше я становлюсь, тем более странным мне это кажется. Смерть представляется мне нормальной, выживание — странным. Конечно, близкое знакомство необязательно действует как противоядие против страха, и все же оно, как можно ожидать, по крайней мере должно ослабить страх, когда придет час испытания.

Я не узнаю ответа на этот вопрос, пока не наступит моя очередь пройти через это.

В последние десять или пятнадцать лет стали уходить те мои современники, которые, подобно мне, пережили Первую мировую войну. И это был «естественный» конец — смерть от старости. Первым из них умер Джек Деннистон, однако его смерть, несомненно, была ускорена последствиями трех ранений, полученных в Первую мировую войну. Смерть Дэвида Дэвиса, который умер два года назад и который был на несколько месяцев моложе меня, наступила без подобных «вспомогательных» причин. Дэвид никогда не был физически крепким. И тело его, и разум начали изнашиваться еще до того, как ему стукнуло семьдесят. Для Дэвида смерть, когда она пришла, стала избавлением. Затем, в семьдесят с небольшим лет, умер от рака Джон Стейнтон. Джон был на несколько лет старше меня. Летом 1957 года, когда я видел его в последний раз, за несколько дней до смерти, я только приступал к работе над «Наследием Ганнибала». И вот я дожил до того момента, когда эта объемная книга вышла в свет. Теперь я чувствую себя исключением из того исключительного контингента моих сверстников, которые пережили Первую мировую войну. Я прожил достаточно долго, чтобы закончить полувековую программу. Поэтому, с моей стороны, было бы нелепо роптать на судьбу. Почему мне суждено было пережить других — причем оставаясь физически здоровым и в здравом уме? Кто подарил мне эти последние два, девять или, собственно говоря, эти последние пятьдесят лет?

Более того, быть смертным отнюдь не лишено преимуществ. Когда я ловлю себя на том, что хотел бы быть бессмертным, я тотчас пересекаю свое желание вопросом: действительно ли меня привлекает перспектива бессчетное число лет заполнять ежегодную налоговую декларацию? Неужели меня действительно привлекает перспектива до бесконечности жить под бременем непрерывно закручивающегося штопора инфляции?

Рано или поздно, каждого в свою очередь, смерть все-таки избавляет от тягот и несправедливостей этой жизни. Смерть — фактически наш окончательный спаситель от тирании человеческого общества, тирании, переносимой, если она вообще переносима, лишь постольку, поскольку имеет неумолимый временной предел. В минуту смерти департамент налогов и сборов и вздуватели цен внезапно лишаются возможности причинять мне новые огорчения. От имени моего трупа я заранее показываю им язык. Меня печалит то, что эти угнетатели по-прежнему будут иметь возможность огорчать любимых мною людей, которые меня переживут, но рано или поздно смерть придет на выручку и этим жертвам — а также на выручку самим угнетателям. Смерть кладет предел обязанностям

жизни. Это творимое смертью благо чрезвычайно ценно и поэтому должно приносить огромное облегчение, как на это мужественно указывал Лукреций и меланхолично — Хаусман[3].

Однако, признав за благо эту оказываемую нам смертью услугу — а это весьма существенная услуга, — мы сталкиваемся с тем, что смерть сводит нас лицом к лицу с одной из тех несообразностей человеческого положения, из-за которых быть человеком трудно и мучительно. Человек наделен некими богоподобными духовными и интеллектуальными способностями. Он в состоянии интимно общаться и взаимодействовать с духовным началом, стоящим за явлениями Вселенной, он в состоянии проникать умом в самое Вселенную сквозь бессчетное число световых лет. В то же время человеческая жизнь коротка и физически человек слаб и ничтожен, как букашка; и сама планета, которая на какой-то момент становится обителью этой мелкой букашки, не более чем пылинка в гигантском космическом пространстве, эфемерная пылинка в Космосе, возможно тоже имевшая свое начало и неуклонно летящая к концу. По сравнению с нашими физическими силами наши духовные и интеллектуальные возможности колоссальны. Но зачем это несоответствие в структуре психологического образования, называемого человеком? Смерть ставит этот вопрос, но не дает ответа.

(III) Потеря разума до физической смерти

Быть может, я обманываюсь, думая, что не боюсь смерти, но что я знаю наверняка, так это то, что я боюсь — и боюсь неизбывно и сильно — потерять разум прежде, чем меня настигнет физическая старость. Меня больше пугает перспектива умственной несостоятельности, нежели физической. Я живу под страхом такой судьбы с 1908 года, когда мне пришлось близко столкнуться с потерей человеческого разума. Жертве было тогда сорок семь лет, мне — девятнадцать. Человек этот просуществовал после этого еще треть столетия. Это была не жизнь, это была смерть в жизни. Это потрясло меня, и гнетущая тень этого случая висела надо мной, пока я сам не миновал угрожающий возрастной рубеж — сорок семь лет.

Лишиться ума в расцвете сил — явление необычное, и, если бы тот несчастный человек, о котором я говорю, принадлежал к поколению своих детей, его, возможно, вылечили бы; и он наверняка был бы спасен, если бы принадлежал к поколению своих внуков. Одним из немногих подарков, полученных нами от двух мировых войн, было стремительное развитие психотерапии. Что произошло в значительной мере благодаря обильной и открывающей новые горизонты информации, которую пионеры этой науки получили во время войны, исследуя случаи контузии. Умственное расстройство —

это болезнь старости. Сейчас, когда вследствие успехов медицины увеличилась продолжительность физической жизни, болезнь эта стала довольно обычным явлением.

Дряхление, подобно смерти, имеет свои преимущества. Оно избавляет неспокойную душу от тревог и любящую душу от печали. И все-таки, пока человек физически жив, он хотел бы сохранить разум, даже ценой постоянно испытываемой боли. Старение не превращает человека в нечеловека, дряхление превращает; и пожалуй, худшая болезнь, которая может поразить человека, та, что превращает его в нечеловека, пока он еще физически жив. Даже частичная утрата умственных способностей мучительна для того, кто одарен умом энергичным и ищущим, кто привык и хотел бы с пользой применять этот дар.

Мне вспоминается лорд Сэмюэл, которому исключительно посчастливилось до конца дней своих сохранить не только абсолютно ясный и светлый ум, но также все физические способности, кроме слуха. На приеме, который его семья и друзья устроили, чтобы отметить его девяностолетие, он поднялся и произнес речь, не заглядывая ни в какие записи. Он говорил с присущей ему легкостью, и речь его, как всегда, была содержательна и логична. И все же этот удивительный старик в конце концов подтвердил истинность десятого стиха 89-го псалма:

«Дней лет наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим».

Последние слова — это единственное утешение перед лицом неизбежного одряхления. Страдания, причиняемые немощью, как и сама жизнь, зло преходящее. Временной предел, который кладет смерть, делает переносимым даже умственное расстройство. И все же, по моему мнению, это гораздо большее несчастье, чем смерть, и, как и смерть, потеря разума заставляет нас удивляться поразительному несоответствию между нашими возможностями и их ограниченностью.

(IV) Утраты

Самое большое счастье в жизни — это взаимная любовь, и поэтому самая большая печаль, после печали о наших грехах, — это печаль не по поводу чего-то, что может случиться с нами самими; но печаль, причиняемая нам страданиями людей, которых мы любим, и печаль при расставании с ними, если они уходят раньше нас. И все же это такая печаль, которой человек не должен страшиться, если его любовь искрення и глубока. Если смерть разлучает двух любящих людей, удел оставшегося в живых — страдание;

того же, кто умер, небытие спасает от страданий; и если оставшийся в живых истинно любит, он не может сожалеть о том, что горькую чашу выпало испить ему, а не любимому.

В христианском — или бывшем христианском — мире счастливейшим концом для мужа и жены, глубоко привязанных друг к другу, представляется смерть одновременная, как, например, в авиационной катастрофе. Однако подобное нечаянное избавление обеих сторон от неизбежной утраты случается редко. По заказу это не делается. Конечно, простым и рациональным избавлением страдальца от тяжелой утраты было бы самому или самой покончить с жизнью и таким образом соединиться с дорогим усопшим в мире и забвении, которые несет с собою смерть. В Китае и Японии этот путь к избавлению от страданий через самоубийство кажется вполне приемлемым для того, кто пришел к заключению, что продолжение жизни есть неоправданное бремя для него самого или для других. Самоубийство при аналогичных обстоятельствах не было бы заклеймено позором и в дохристианском Греко-Римском мире. Постхристианский мир моего поколения в этом вопросе все еще руководствуется христианским предрассудком. Христиане осуждают самоубийство как нечестивую узурпацию прерогативы Творца решать, в какой день надлежит умереть его творению. Самоубийство продолжает шокировать постхристиан, которые уже не верят в существование Бога. Этот устойчивый предрассудок нелогичен, но он до сих пор настолько силен, что удерживает людей, даже свободных от него, от того, чтобы стать причиной смятения; в которое самоубийство по-прежнему повергает западное общество. Греко-римская и восточноазиатская практика, на мой взгляд, рациональнее и гуманнее.

(V). Лицом к лицу с самим собой

Человеку страшно смотреть в лицо самому себе. Смотреть в лицо самому себе означает принимать близко к сердцу свои моральные ошибки, а у каждого человека есть много моральных ошибок, о которых он сожалеет. На совести святых грехов меньше, и грехи эти менее серьезные, чем у простых смертных, но совесть святого столь чувствительна и их моральные требования столь строги, что святые не меньше, а больше и острее нас осознают свою греховность.

Объективно исследовать собственную совесть — дело нелегкое. Человек склонен либо слишком легко отпускать себе грехи, либо, наоборот, стремится перегнуть палку в другую сторону, желая убедить себя в том, что он судит себя достаточно строго. Грехи, к которым человек особенно чувствителен, скорее всего, не самые тяжкие его грехи, потому что человеческая совесть — большой мастер

в искусстве одурачивать самое себя и выставлять себя в более благоприятном свете. Поэтому смотреть в лицо самому себе — это испытание пострашнее, чем утрата, или потеря разума, или даже смерть. Тем не менее Лукреций прав, говоря, что от собственного «я» не убежишь, а если кому-то и удастся это сделать, то только путем отсечения себя от того, что, согласно взгляду индийцев, лежит внутри собственного «я». Согласно этому взгляду, тот, кто проник в самые глубокие тайники собственного «я», окажется лицом к лицу с конечной духовной реальностью.

(VI) Лицом к лицу со старостью

Я пишу эти строки в преддверии моей семьдесят седьмой годовщины, и в последние месяцы я чувствую, что постарел. Приходится теперь бороться с теми проблемами, которые несет с собой старость. Мне посчастливилось достичь этого возраста, не потеряв пока ни здоровья, ни рассудка, так что мне грех жаловаться на судьбу или сетовать, что она предъявляет мне слишком высокий счет. Мои друзья, убитые в Первую мировую войну, с радостью заплатили бы такую же или более высокую цену за возможность прожить столько, сколько прожил я на сегодняшний день.

На каждой стадии жизни есть свои испытания и свои награды. Моя награда за то, что я достиг своего нынешнего возраста, заключается в том, что мне было даровано время выполнить больше, чем было намечено в моей первоначальной программе, а труд историка — это труд, в котором время является обязательным условием успеха. Испытание, которое ощущается как наиболее тяжкое на данной стадии, состоит в том, что мне приходится умерять свой пыл. Поступать так — значит признать, что ты не сверхчеловек, а для человека подобное признание пределов своих возможностей мучительно, хотя, несомненно, и благотворно. Как далеко суждено мне пройти по пути все большего отстранения от напряженной, деятельной жизни? Если я буду стараться делать все, что делал всегда, я смогу добиться желаемого лишь ценой перенапряжения моих сил, как физических, так и психологических. С другой стороны, я убежден, что если я отпущу вожжи и если, например, стану уклоняться от исполнения таких неприятных, но весьма мобилизующих обязанностей, как проверка банковских счетов и заполнение налоговых деклараций, то я быстро стану недееспособным. Мне надо нащупать средний путь.

Пока человек жив, его помыслы сосредоточены на самом себе. Переход из одной стадии жизни в другую ничего не меняет. Однако мой опыт жизни в последней стадии — похоже, что я в нее уже вступил, — доказывает мне с очевидностью и настойчивостью, сколь

тщетно вкладывать свои сокровища в такое ненадежное хранилище, как собственная личность. Я начал понимать, что «другое дело», отодвинутое мной в самый конец моей программы, может оказаться самым важным, а также самым трудновыполнимым. Теперь моя задача состоит в том, чтобы попытаться отделить мое сокровище от меня самого и поместить его куда-то, где оно окажется ближе к истинному центру духовной реальности.



9. РЕЛИГИЯ: ВО ЧТО Я ВЕРЮ И ВО ЧТО НЕ ВЕРЮ

(I) Субъективность религиозного опыта

Религия для меня — это отношение человека к конечной реальности, лежащей за и над явлениями Вселенной, в которой каждый из нас пробуждается к сознанию.

Но даже столь краткое определение ее содержит по меньшей мере четыре спорных вопроса. Мое определение религии небесспорно. В самом деле, некоторые люди полагают, что религия — это всего лишь иллюзия, потому что такой вещи, как конечная реальность, считают они, не существует. Люди, убежденные в иллюзорности религии, могут считать, что люди верят в эту иллюзию искренне, другие могут считать, что эта иллюзия индуцируется подсознательно или даже преднамеренно как психологический опиум для облегчения человеческих страданий. Каждый из нас уверен в своем собственном существовании и существовании других людей, однако концепция человеческой природы каждого из нас столь же небесспорна, сколь и наши взгляды на религию. Наконец, те, кто считает, что такая вещь, как конечная реальность, существует, могут также считать, что она не имеет ничего общего с тем началом в человеческой природе — я буду называть его духовным началом, — которое заставляет человека стремиться к сближению с конечной реальностью и гармонии с нею. Если принять этот взгляд на природу конечной реальности, то тот поиск, который мы называем религией, обречен на провал — как бы этот поиск ни был искренен. Если человек считает, что конечная реальность существует и духовное начало в человеческой природе с нею связано, то его представление о духовном начале в человеке — явлении, о существовании которого каждый из нас знает по собственному опыту, — будет ключом к его представлению о конечной реальности. Сама конечная реальность — это гипотеза, не поддающаяся проверке, хотя есть люди, верящие в то, что они имели опыт общения с нею столь же конкретный, как с другими себе подобными.

Взгляды человека на природу человека черпаются, как и все его взгляды, из собственного опыта. Это для него единственный источник информации о любом явлении. Его опыт в отношении нечеловеческой природы — это «общественный» опыт, аккумулированный человеческим сообществом. В этой области в каждом обществе существует, как правило, консенсус, хотя картина в целом будет меняться от общества к обществу, а также внутри одного общества в зависимости от прогресса в наблюдениях за явлениями и в интерпретации его результатов. Однако человеческий опыт в отношении природы человека частично также черпается из общения его с самим собой — и вот здесь уже человек попадает в область субъективного. Он может рассказывать о том, что обнаруживает в себе, и может сравнивать свои открытия с рассказами своих собратьев, но если рассказы эти не согласуются между собой, то определить, кто прав или кто правдив, невозможно. Человек не в состоянии проникнуть в психику другого человека. Не существует способа убедиться в том, что рассказ одного человека о себе верен, а рассказ другого ошибочен. Все эти рассказы о самонаблюдении в равной мере достоверны или недостоверны, ибо не подлежат проверке.

В этой неясной ситуации лучшее, что можно сделать, — это раскрыть карты в той степени, в какой они открыты нашему сознанию. Открытия в области психологии, сделанные в наше время, говорят мне, что в моем подсознании могут иметься и другие карты — возможно, козырные, — скрытые от моего собственного взора.

Несомненно, мой собственный субъективный взгляд на человеческую природу частично является продуктом моей личности, но он, конечно же, еще и продукт социальной, культурной и религиозной среды. По воле случая я родился в 1889 году в Англии в семье, принадлежащей к средним слоям общества. Мой отец был человеком интеллектуального труда, общественным деятелем. Моя мать до замужества также работала. Она зарабатывала себе на жизнь преподаванием; она закончила Ньюнхем-колледж в Кембридже и с отличием сдала экзамены на степень бакалавра исторических наук Кембриджского университета. Ее отец был промышленником в центральных графствах Великобритании. Отец моего отца был лондонским врачом. Вырос он на ферме в болотистой местности в Линкольншире. Родители мои принадлежали к английской епископальной протестантской Церкви. Насколько мне известно, они принимали доктрины христианской Церкви, как теологические, так и этические, принимали без фанатизма, но и без каких-либо сомнений. Во всяком случае, меня не воспитывали — я уверен, совершенно искренне — как христианина, приверженца ортодоксальной англиканской Церкви. Однако у меня уже в очень раннем возрасте стали появляться сомнения. Например, я сразу и безоговорочно не поверил

утверждению, будто Иисус появился на свет, не имея отца-человека. Но окончательно я отошел от традиционной ортодоксальной христианской веры, будучи студентом Оксфорда. Я пришел тогда к выводу, что сама религия — это не имеющая значения иллюзия. Теперь, спустя более полустолетия, я по-прежнему агностик, но я пришел к убеждению, что религия имеет отношение к реальности и что эта реальность имеет первостепенное значение.

Совершенно очевидно, что моя интерпретация собственного опыта в отношении человеческой природы обусловлена историей моей собственной жизни. Я продукт своего христианского воспитания и своего христианского исторического прошлого, которое, если идти в глубь истории от сегодняшнего дня, насчитывает, наверное, одиннадцать столетий по линии моего отца и уходит корнями в Денло и, пожалуй, на два столетия старше по линии семьи моей матери, происходящей из Мерсии[1]. Я бы сказал, что мое постхристианство имеет большее значение для моего мировосприятия, нежели то, что я стал агностиком. Удельный вес и движущая сила культурного наследия человека колоссальны.

Насколько справедливо, с моей стороны, ставить знак равенства между созданной моим субъективным восприятием картиной человеческой природы и объективной реальностью? Полагаю, это зависит от степени согласия с моей точкой зрения других. Если бы я знал, что живущая в моем мозгу картина адекватно согласуется с представлениями всех остальных людей, этот полный консенсус субъективных взглядов настолько приблизился бы к объективной достоверности, насколько это возможно. Я, безусловно, знаю, что моя картина не есть просто плод моего индивидуального воображения. По своим основным моментам это христианская картина, так что если она частично или полностью иллюзорна, то это такая иллюзия, которая разделяется всеми верующими христианами и всеми постхристианами-агностиками вроде меня, а я, надо сказать, типичный для моего поколения агностик западного толка. Более того, существенные моменты в христианской картине человеческой природы можно найти, я полагаю, в картине, рисуемой последователями всех других религий — высших и низших. Если так, то моя картина подкрепляется консенсусом между почти всеми доселе жившими людьми.

Не достаточно ли этого для оправдания утверждения, что эта картина есть верное отображение объективной истины? Нет. С моей стороны, было бы необоснованно утверждать подобное по двум причинам. Во-первых, я не могу говорить от имени еще не родившихся поколений; а если человечество воздержится от самоликвидации, то число представителей вида Homo sapiens, которые появятся на свет в ближайшие две тысячи лет, скорее всего, неизмеримо превысит

число тех, кто родился в течение первого миллиона лет существования нашего вида. Во-вторых, я не могу с уверенностью считать, что располагаю консенсусом ныне живущих людей.

В течение последних трех столетий среди христиан Запада наблюдается все больший отход от веры в традиционные христианские доктрины. Примером может служить мой собственный отказ от христианской ортодоксальности в пользу агностицизма. Распространение идей Запада на остальной мир способствовало переносу данной тенденции и на другие живые исторические религии. Этот процесс достиг во всем мире таких масштабов, что появляется новое поколение, которому традиционные верования и заповеди религии предков — независимо от того, что это за религия, — либо вообще неизвестны, либо известны, но представляются вздором, который ничего не говорит ни сердцу, ни разуму. Здесь уже нельзя говорить о консенсусе с предшествующими поколениями.

Я и те, кто думает и чувствует, как я, могли бы, конечно, утверждать, что наши собратья, нигилисты, заблуждаются. Мы могли бы упорствовать в том, что наш собственный взгляд на природу человека истинен, как бы яростно нигилисты ни оспаривали это. Однако подобное заявление было бы, несомненно, слишком самонадеянным; и даже если бы ему можно было бы найти подтверждение — а это сделать невозможно, — все равно у него оставалась бы ахиллесова пята. Давайте предположим, ради интереса, что сущность человеческой природы действительно такова, какой ее представляют все верующие всех религий. Тогда напрашивается вывод, что каждый человек, который рождался, рождается и будет рождаться, наделен определенными чертами изначально. Но нет никакой гарантии того, что человек не предпочтет изжить в себе именно те начала, которые кажутся нам существенными, — такие, например, как совесть и любовь, — в том случае, если угрызения совести и позывы любви будут отброшены как вздор подавляющим большинством его современников.

Рисуя картину человеческой природы так, как она мне представляется, я намерен постоянно держать в уме эти сдерживающие соображения. Я полагаю, что имею веские основания утверждать, что аналогичная картина представляется мысленным взорам сотен миллионов людей — моих собратьев, но большего я утверждать не могу. Я не могу утверждать, что нам открылась истинная картина. Не могу я также утверждать, что, даже имей мы возможность доказать истинность этой картины, это стало бы гарантией против ее преднамеренного искажения теми, кто решит и сможет превратить себя в нечеловеков. Эти сдерживающие соображения относятся ко всему, что в последующих рассуждениях будет выглядеть так, как будто это общепризнанный факт.

(II) Моя неспособность сдать экзамен на религиозную ортодоксальность

Религия моих предков, христианство, требует принятия, среди других, следующих догматов: конечная реальность — это Бог; Бог един; Бог — личность в том смысле, в каком личностью является человек, или, точнее говоря, наше знание человеческой личности, природу которой мы постигаем опытным путем, — это самое точное из возможных доступных человеческому мозгу приближений к постижению природы личности Бога; Бог и бесконечно могуществен, и бесконечно любящ. Он — создатель Вселенной, и созданная им Вселенная — это памятник как его любви, так и его могуществу. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31). Однако мир, каким мы, люди, знаем его по нашему собственному опыту, не очень хорош. Добро в нем смешано со злом и замарано злом. Христианство объясняет это несоответствие между миром, каким его создал Бог, и миром, каким видит его человек, последствиями «падения» первого созданного Богом человека. Но христианство не объясняет — да и не может объяснить, — каким образом Бог, всемогущий и вселюбящий, мог создать мир, оказавшийся в конце концов не очень хорошим, мир, в котором Падение, принесшее зло, могло свершиться и на самом деле свершилось. Христианскому богословию приходится искать оправдание вселюбви всемогущего Бога перед лицом неоспоримого присутствия зла в мире, который, как считается, создал Бог. Эти факты вынуждают христианских богословов признать, что Бог воздержался от проявления своего так называемого всемогущества для удержания своего первоначально безупречного творения от вступления на порочный путь. Богословы стараются спасти идею вселюбия Бога, утверждая, будто Бог принес себя в жертву ради искупления грехов своего падшего создания. Они стараются спасти идею всемогущества Бога, утверждая, будто его самопожертвование достигло своей цели вселюбия.

Этот христианский догмат покоится на следующем догмате, а именно что Бог воплотил себя в Иисусе. Если я верю в Искупление, я должен верить и в Воплощение, а истину Воплощения продемонстрировать невозможно. Более того, доктрина искупления людских грехов через принятие Богом человеческого образа и подобия на нашей планете требует исходить из того, как это и делается христианской доктриной, что человек — это венец божественного Творения. В ту эпоху, когда было принято это исходное положение, его авторы считали Землю центром физической Вселенной, однако открытие впоследствии множества миров опровергает христианскую веру в уникальное значение Человека в глазах Бога. Отцы

римской Церкви понимали это, и именно поэтому они предали смерти Джордано Бруно[1]. Но они не могли заставить замолчать науку или остановить ее развитие; да и сам Бруно был бы потрясен масштабами физической Вселенной, как она нам теперь представляется. Практически бесконечное число солнечных систем в практически бесконечном числе галактик, возможно, содержит бесконечное число планет, населенных подобными нам существами[2]. Числа такого порядка делают население нашей собственной планеты чем-то вовсе не значительным. Если Бог принес Себя в жертву ради искупления наших грехов, то Он сделал бы то же самое для падших человекоподобных обитателей всех других планет. Можно ли поверить, что Бог перевоплощался и подвергался Распятию на каждой из них?

Христианство винит Бога в Падении, для того чтобы воздать ему хвалу (*O felix culpa!*[3]) за Искупление. Трудно поверить, что такой план был делом рук Бога, вселюбящего и всемогущего. В это трудно поверить, даже если человек считает, что эпизод, происшедший на нашей планете, уникален. Однако предположим, что масштаб физической Вселенной таков, каким сегодня его считают ученые. Мы должны тогда поверить в то, что если Падение и Искупление в действительности свершились, то они фактически должны были свершаться бессчетное число раз. Я не нахожу это правдоподобным.

Христианское объяснение положения Человека в мире, конечно, догмат христианства, но среди исторических высших религий не только христианству присуще стремление найти то или иное объяснение положения Человека. Каждая из религий этого вида дает ему собственное объяснение, и, хотя эти объяснения очень отличаются друг от друга, мотив для поисков объяснения положения Человека в мире во всех случаях один и тот же. Этот общий мотив заключается в милосердном желании помочь людям на их тернистом пути от рождения к смерти. Жизнь — нелегкая штука для живого существа, пробудившегося к сознанию, Человек видит недостатки и несуразности мира, в котором он живет и из которого ему на этом свете не убежать. Еще тревожнее то, что Человек осознает свою собственную греховность. Поэтому ему так хочется получить заверения в том, что вопреки видимости и опыту его мир в основе своей разумен и хорош и что сам он, несмотря на всю свою греховность, может обрести спасение.

Каждая из исторических высших религий предлагает именно такое заверение. Она предлагает его искренне и поэтому уверенно и говорит авторитетно, действительно веря, что ее объяснение вещей — это открытие или раскрытие конечной несомненной истины. Это откровение, по общему признанию, имеет для Человека решающее значение, ибо оно обещает удовлетворить одну из наиболее глубоко

переживаемых Человеком потребностей. Более того, предлагается не просто информация; предлагается еще и программа действий. После объяснения Человеку его места в мире не ставится точка; Человеку обещают спасение и дают рецепт его; а необходимость спасения Человек ощущает еще более глубоко, чем потребность в правде. Вот почему влияние исторических высших религий так всеобъемлюще и так живуче. Однако их влияние зависит от выполнения одного условия. Для того чтобы люди приняли эту религию, ее догматы должны заслуживать доверия, а в каждой из высших религий ее основополагающие догматы, с точки зрения самой религии безупречные, для меня, например, представляются неправдоподобными.

Среди основополагающих догматов религии моих предков такие догматы, как Непорочное зачатие Иисуса, его Воскресение из мертвых и его Вознесение, на мой взгляд, абсолютно неправдоподобны, ибо я не могу примирить эти догматы с моей умозрительной картиной мира.

Именно по этой причине мой ум отверг догмат Непорочного зачатия, когда я был еще в очень раннем возрасте. Помню, как мать рассказывала мне о Непорочном зачатии, и помню также, как она смущалась, объясняя его мне. Я не знаю точно, что именно ее смущало. Возможно, она стеснялась того, что просит меня поверить этой едва ли правдоподобной истории. Более вероятно, я думаю, что она стеснялась объяснять мне историю, которая требовала упоминания фактов половой близости. Я понятия не имел об этих фактах в то время и многие годы после того. Однако я уже знал, что у каждого ребенка есть не только мать, но и отец, поэтому, когда мать сказала мне, что у Иисуса не было отца-человека, я не поверил этому. Я ясно помню, что мое недоверие было моментальным и безусловным. Вспоминая теперь этот эпизод, я понимаю, что я отвергал догмат Непорочного зачатия, потому что не мог примирить его с уже сформировавшимся у меня убеждением в «единообразии Природы». Конечно, в то время я не осознавал, что причиной моего неприятия этой традиционной христианской доктрины была ее несовместимость с «мировоззрением». В то время я знал о науке столь же мало, сколь и о сексе.

Мои естественнонаучные познания и по сей день остаются в зачаточном состоянии, и я понимаю, что в данной области я принимал свои убеждения на веру без каких бы то ни было доказательств, как верующие христиане принимают свои убеждения в области религиозной доктрины. Мои знания о природе — опосредованные, они не получены путем непосредственного ее изучения, и я знаю, что по мере развития науки взгляды самих ученых на природу постоянно изменяются. На протяжении моей жизни их концепция «единообразия Природы» подверглась, насколько я понимаю, определенной

модификации. Этот предполагаемый «закон» природы обнесен теперь живой изгородью условий, оговорок и уточнений, и, пожалуй, даже считается, что они ограничивают ту область, в которой действует «закон». Теоретически я полагаю, возможно, что в один прекрасный день ученые объявят, что Непорочное зачатие, Воскресение и Вознесение — это нормальные составные части закона Природы. Если бы это случилось, то мне пришлось бы пересмотреть мои собственные опосредованные взгляды на природу, чтобы привести их в соответствие с последними взглядами ученых, основанными на непосредственном ее изучении. Однако если бы это все-таки случилось, то Непорочное зачатие, Воскресение и Вознесение Иисуса потеряли бы свою ценность и то место, которое они занимают в христианской схеме вещей, потому что ценность их для христианства заключается как раз не в соблюдении, а в нарушении признанных законов природы, то есть в том, что они — «чудеса».

Я считаю понятие «чудо» внутренне алогичным. Если Бог — всемогущий творец природы, а значит, и законов, которым подчиняются природные явления, тогда «чудо» было бы нарушением законов, установленных самим же Богом. Это мне представляется демонстрацией не Божественной силы, уже проявившей себя в «законах», а Божественного каприза, что заставило бы меня лишь меньше уважать Божественную силу. «Чудеса» были бы уместной демонстрацией Божественной силы, если исходить из того, что нарушаемые Богом законы установлены все-таки не самим Богом. Мне вряд ли удастся сказать об этом лучше, чем сказал Гиппократ в своем трактате о влиянии воздуха, воды и местности на человеческую жизнь: «Я тоже нахожу эти явления божественными, но тогда я утверждаю, что все другие явления также божественны и ничто не является ни более божественным, ни более человеческим, чем что бы то ни было другое. Все явления единообразны и потому единообразно божественны — если вам так нравится. В то же время каждое из них имеет свою собственную природу и каждое явление имеет естественное объяснение»[4].

Если я нахожу неправдоподобным в христианских догматах все, что требует веры в «чудеса», то что остается? Я не верю в историчность Непорочного зачатия, Воскресения и Вознесения; зато я верю в историчность Распятия Христа. У христиан не могло существовать никакого мотива для того, чтобы придумать подобный рассказ о смерти основателя их религии, рассказ, который был бы «для Иудеев соблазн, а для Эллинов безумие»[5]. И принятие знака Креста в качестве наглядного символа христианства служит убедительным материальным свидетельством того, что Распятие Христа — это исторический факт. На этом факте основывается христианское утверждение, что Бог есть любовь. Автор Первого соборного послания святого апостола Иоанна Богослова[6] верил, что Иисус был сыном Божьим

(что бы ни означало слово «сын» в этом ex hypothesi сверхчеловеческом контексте), и этот автор также считал, что Иисус добровольно отдал себя на мученическую смерть на Кресте из любви к своим ближним. Та же самая вера звучит в глубоко трогательных словах святого апостола Павла в Послании к Филиппийцам (1:6–8)[7]. Я могу поверить, что, если бы мне были известны все факты, я бы тоже считал, что пожертвовать своей жизнью Иисуса заставила любовь. Но могу ли я поверить еще и в то, что Иисус был сыном Бога?

Смысл выражения «сын Божий» определить трудно, потому что в данном выражении слова «сын» и «отец» употребляются метонимически. Единственное отношение сын — отец, о котором мы знаем по опыту, — это отношения между людьми, являющимися сыном и отцом в физическом смысле, а в учении о Христе это отношение, конечно же, не мыслится как физическое. В действительности христианство считает, что Иисус был единственным из людей, у кого не было физического отца — ни человеческого, ни божественного. Это отношение между Иисусом и Богом мыслится как духовное отношение, аналогичное идеальным духовным отношениям между сыном и отцом. Я могу поверить, что Иисус был сыном Божьим в том смысле, что Иисус был вдохновлен любовью более глубокой, нежели любой другой известный нам человек. Но если трактовать его сыновнюю связь с Богом именно таким образом, то Иисус был не единственным человеческим сыном Бога, хотя его связь с Богом, возможно, ближе к идеалу, чем чья-либо еще. Сыновнее отношение к Богу в этом смысле было бы вопросом степени. В то же время если ни один другой человек, пожалуй, не был сыном Божьим в такой степени, в какой им был Иисус, то, возможно, правда и то, что мало найдется людей, которые не были бы также сыновьями Божьими хоть в какой-нибудь степени, пусть даже в самой минимальной. По свидетельству Евангелий, это была одна из тех истин о человеческой природе, которые видел и восхвалял Иисус. Он умел увидеть скрытую искру любви в груди грешника; более того, он обладал духовной силой раздуть эту искру в пламя.

Если, как я полагаю, правда, что любовь превращает людей в «детей Божьих» именно в этом переносном смысле, и если правда также то, что пробным камнем любви является самопожертвование, то в таком случае признание и провозглашение христианством этой правды есть заметный вклад в объяснение положения Человека в мире и в обеспечение для Человека пути к спасению. Положение христианства о том, что Распятием Христа Бог приносил себя в жертву ради человечества, представляется мне несовместимым с христианской доктриной о том, что Бог всемогущ, однако оно полностью согласуется с моим собственным неортодоксальным положением, гласящим, что любовь Бога безгранична, а его сила — нет.

Основополагающий христианский догмат, как я его понимаю, заключается в вере в жертвенную любовь как лучший и самый мощный из всех известных нам духовных импульсов. Я полагаю, что это правильно, и я также полагаю, что понимание этой правды есть суть христианства. Однако то, что я придерживаюсь этого основного христианского убеждения, не делает меня христианином. Христианство — это религия христианской Церкви, а Церковь — это институт. Я не могу называть себя христианином, зная, что я не прошел бы элементарной проверки на христианскую ортодоксальность. Вскрылось бы не только мое неверие в Непорочное зачатие, Воскресение и Вознесение, но и в само Божественное всемогущество. Я разделяю христианскую веру в то, что Бог есть любовь, но я не разделяю христианской уверенности в том, что Бог так уж безусловно всемогущ. По этому решающему вопросу мои взгляды совпадают с взглядами Маркиона, а не Иринея[8].

Не прошел бы я проверки и по догматам других высших религий. Например, я не верю в то, что евреи — Богом «избранный народ». Я верю в то, что каждый человек в какой-то степени дитя Бога. Я не могу верить, что Бог, любящий и всемогущий, проводил бы столь оскорбительную дискриминацию между своими детьми. Подобная дискриминация дело не Божеское, а людское. Проводя такого рода селекцию, причем всегда в свою пользу, мы впадаем в грех эгоцентризма, а эгоцентризм — это антипод любви, милостью которой мы имеем Бога своим отцом. Верить в то, что твое собственное племя есть избранный Богом народ, означает стать на путь национализма. Это не только интеллектуальная, но и моральная ошибка. И не только евреи подвержены ей. Я не верю, что евреи или британские иудеи — избранный народ; a fortiori я не верю, что репатриация евреев в Палестину — это тот венец, к которому вела вся человеческая история начиная со второго десятилетия VI века до Р. Х.[9].

Я не прошел бы также мимо исламских текстов. Я верю в то, что Мухаммед был Пророком, как были ими и Иисус и Заратуштра[10]. Моральные недостатки пророка Мухаммеда — например, его воинственность и женолюбие — просто свидетельствуют о том, что он был человек, а значит, ничто человеческое не было ему чуждо, несмотря на все его духовное величие. Однако я не верю, чтобы этот или любой другой Пророк мог быть последним Пророком[11]. Человеку предстоит жить на этой планете еще около двух миллиардов лет[12]. Если правда то, что «без откровения свыше народ необуздан» (Притчи Соломона 29:18), то как мог Бог, который считается любящим и всемогущим, бросить своих чад на погибель на самой заре их истории?

Из догматов буддийской ортодоксальности для меня непостижима и неприемлема вера во второе рождение (переселение душ).

А это изначальный буддийский догмат. Если бы Будда не верил в реальность «горестного круга нового рождения», он бы не посвятил себя духовному подвигу поиска пути к тому, как вырваться из этого порочного круга.

И все же я не знаю ни одного убедительного доказательства реальности нового рождения. Вера в него, возможно, выросла из опыта североазиатских шаманов, медитирующих в состоянии транса. В этом состоянии у них создавалось впечатление, будто их души временно отделялись от тел и парили над миром[13]. Однако, даже если бы это душевное переживание представляло собой объективную психосоматическую реальность, оно не доказывало бы, что души могут переселяться или в действительности переселяются из одного тела в другое.

Я не верю в новое рождение, более того, у меня возникает сильный протест против предписания Будды в отношении того, как добиться освобождения. Будда рекомендует своим собратьям очистить себя от любых желаний — не только от эгоизма и алчности, то также от любви и сострадания. Мне представляется абсолютно неправильным очищать себя от любви и сострадания. Если ценой отказа от этого будет потеря возможности войти в нирвану, я лучше заплачу эту цену, чем погашу в себе всякое стремление к состраданию. Сам Будда ставил такое стремление выше собственного освобождения. И в этом отношении его практическая деятельность благородно отличалась от того, что он проповедовал.

Более того, то, что проповедовал Будда, для непосвященного представляется противоречивым. Будда не стремился и не мог стремиться внушить своим ученикам отказ от любых желаний. Буддистам рекомендовалось сосредоточиться на единственном сверхжелании — желании освободиться от желаний, которые порождают эгоцентризм. Однако сама эта сосредоточенность на том, как избежать эгоцентризма, есть — что парадоксально, но неопровержимо — упражнение в эгоцентризме, причем в высшей его форме. Этот камень преткновения на пути буддизма был замечен не только непосвященными, но и критиками внутри буддистского лагеря. Критика этого аспекта буддизма со стороны самого буддизма привела к отделению от него махаяны и придала последователям этого нового течения смелость назвать его «Великий путь», хотя в глазах приверженцев первоначального буддизма махаяна является отклонением от подлинного пути.

Среди исторических высших религий наименьшее число подводных камней содержится, с моей точки зрения, пожалуй, в зороастризме. Для последователей зороастризма жизнь — это арена борьбы между добром и злом. И мне представляется, что эта картина соответствует тому, что нам известно о духовной структуре человеческой

природы. Сознание и воля, которыми наделен человек, дают ему возможность выбора и заставляют совершать этот выбор, и порой человеку приходится выбирать между жизнью и добром, с одной стороны, и смертью и злом — с другой. Таким образом, я разделяю главный постулат веры последователей зороастризма. В то же время я не разделяю присущей им веры в то, что борьба между добром и злом будет вестись лишь в течение какого-то определенного времени и что она непременно завершится полной победой добра[14]. Лично я верю, что первородный грех — то есть грех эгоцентризма, являющийся неотъемлемой частью души каждого живого существа, — заново рождается в каждом появляющемся на свет младенце. «Никогда у матери не рождалось безгрешное дитя» — так выразил христианскую доктрину архиепископ Уильям Темпл[15], но слова эти принадлежат не ему. Они принадлежат шумерскому предтече Книги Иова*[16]. Я верю, что Человек — индивидуально или коллективно — когда-нибудь сможет позволить себе успокоиться, уверовав, что он раз и навсегда победил в духовной борьбе с собой. Иллюзорность подобной веры не раз убедительно доказывалась моральным падением, неизменно следовавшим за кажущейся победой, — падением, которое, несомненно, являлось возмездием.

Таким образом, я не верю в некоторые основополагающие понятия высших религий. Это неверие остается моим устойчивым убеждением с того самого времени, когда шестьдесят один год назад я начал изучать философию на отделении гуманитарных наук в Оксфорде. Убеждения, которых я придерживаюсь столь длительное время, — это мои твердые убеждения, они отражают подлинную сущность моего умонастроения. Я не могу поручиться, что не отрекся бы на словах от моих твердых убеждений, если бы меня подвергли пытке, или если бы совсем одряхлел, или если бы у меня сохранился рассудок, но сдали нервы в момент неминуемой смерти. Утопающие порой хватаются за соломинку, и я, как и другие, мог бы повести себя столь же жалким и постыдным образом, если бы подвергся достаточно жестокому испытанию. Поэтому я заявляю сейчас, пока еше полностью compos mentis (в здравом уме) и, насколько я понимаю, еще не стою на пороге смерти, что мои подлинные убеждения — это те, которых я придерживался на протяжении последних шестидесяти одного года. Я заранее отвергаю любое отречение от этих убеждений, случись таковое в будущем, когда я уже не буду самим собой.

Пункт, по которому я расхожусь со всеми историческими высшими религиями, — это пункт, касающийся их попытки дать точные

* Цит. по: *Kramer S. N.* History Begins at Sumer. New York, Doubleday, 1959, p. 107, 117.

и определенные ответы на загадку, заданную Человеку тем положением, в каком он находится. Пресловутые точность и определенность теологических ответов отнюдь не свидетельствуют о том, что эти ответы выверены или могут быть подтверждены. Насколько я понимаю, они свидетельствуют лишь о нетерпеливом желании человечества получить разъяснение своего двусмысленного положения.

Положение Человека действительно парадоксально. Человек наделен разумом, способным охватить бесконечное время и пространство, и совестью, способной выносить моральный приговор; и все же на первый взгляд кажется, что выживание этих духовных способностей зависит от их связи с жизнью недолговечного физического тела. Если какие-то жизненно важные органы тела от рождения неполноценны, то духовные способности человека никогда не разовьются, во всяком случае никогда не разовьются полностью; и если отдельные органы тела нормального человека сдают до наступления смерти, то автоматически отказывают и духовные способности человека. В любом случае, когда наступает смерть, духовные способности исчезают из этого воспринимаемого чувствами мира; и широко и прочно укоренившаяся вера в бессмертие души после смерти не подтверждается никакими неопровержимыми свидетельствами. Более того, наши тела, хотя и «страшно и чудесно сотворенные»[17], в физическом отношении суть пылинка на поверхности другой пылинки, называемой Землей, которая является спутником еще одной пылинки, называемой Солнцем; а наше Солнце — это пылинка в нашей Галактике, которая есть пылинка во Вселенной, возможно бесконечной в отношении Времени и Пространства.

Однако эта ничтожная пылинка — человеческое тело — есть неотъемлемая часть непостижимо огромной физической Вселенной; и когда после смерти тело разлагается на физические элементы, сами эти элементы не уничтожаются. Смерть разрушает организм, которому в течение какого-то короткого отрезка времени удавалось поддерживать самого себя в качестве неизмеримо ничтожной микровселенной; но те органические материалы, на которые распалось разложившееся человеческое тело после смерти, не оказались разрушенными оттого, что они перестали временно быть составной частью органической физической структуры. Они продолжают существовать как часть физической Вселенной, хотя теперь уже не в органической форме.

Наука сумела это доказать, избрав предметом своих исследований физический материальный мир. И мы можем утверждать, что на сегодняшний день самые крупные достижения науки лежат в области реальности в ее физическом аспекте. В последнее время наука начала исследование реальности также и в ее духовном аспекте; однако психологическая наука пока еще находится в колыбели, и, хотя

открываемые ею возможности расширения нашего знания и понимания Вселенной потенциально колоссальны, сейчас еще слишком рано предсказывать, превратятся ли эти возможности в достижения, хотя бы приблизительно сравнимые по своему значению с теми, которых наука уже добилась в физической области. Между тем познанием духовного аспекта человеческой природы, к чему современная западная наука приступила совсем недавно, индийская практика созерцания занимается уже по меньшей мере две с половиной тысячи лет.

Еще до Будды традиционная индийская философская школа, которой противопоставлял себя Будда, исходила из того, что сущность духовного аспекта человека тождественна конечной духовной реальности и лежит за пределами объектов Вселенной, доступных чувственному восприятию. Если интуиция, на которой зиждется это заявление, нащупала истину, то это означает, что духовный аспект человека, подобно его физическому аспекту, является неотъемлемой частью Вселенной, духовная сфера которой по своим размерам может быть так же необъятна, как физическая Вселенная. И казалось бы, отсюда должно следовать, что, когда наступает смерть, аспект человека, называемый нами его духом или душой, перестает быть эфемерной отдельной личностью, каким он был на протяжении жизни этого мертвого теперь тела, но продолжает существовать как конечная духовная реальность, каковой она и была даже во время своей телесной жизни на Земле.

Если истина именно такова, то и «материя» и «дух» могут быть бесконечными в своем собственном измерении, и каждый человек будет той точкой, в которой пересекаются эти две, возможно, бесконечные сущности. Мы не понимаем, какие между ними существуют отношения. Я подозреваю, что их кажущаяся двойственность, по-видимому, иллюзия, производимая какой-то структурой нашего сознания, которая преломляет и дробит невидимую реальность на частички, и мы не знаем, как снова соединить эти частички воедино.

Человеческая природа задает человеческому уму загадку, которую он еще не разгадал и, насколько можно судить, вероятно, никогда не сумеет разгадать. Дихотомия человеческого существа, расщепление его на «душу» и «тело» не есть данное опыта. Никто никогда не был в реальности бестелесной живой человеческой душой и не встречался с таковой, хотя, как я заметил, встречаются живые человеческие тела, в которых душа практически угасла или вообще никогда не загоралась. Расчленение человеческой личности на душу и плоть, ее метания между двумя предположительно различными и несоизмеримыми порядками бытия есть ментальный акт человеческого интеллекта, причем не неоспоримый. Современные исследования в области как медицины, так и психологии, похоже,

говорят о том, что человеческая личность представляет собой неделимое психосоматическое единство. Психический аспект жизни человека не может быть правильно понят, если он искусственно изолирован от физического аспекта, и, наоборот, физический аспект не может быть понят изолированно от психического. Это открытие не ново: это как раз то новое, что является хорошо забытым старым. На этом положении строятся евангельские сказания об актах исцеления, совершенных Иисусом. На этом же положении зиждется верование христианской Церкви в то, что Иисус восстал из мертвых как духовно, так и физически и что всем ушедшим в мир иной суждено испытать как духовное, так и телесное воскресение в день Страшного Суда. Кто-то, подобно мне принявший на веру современный научный взгляд на Вселенную, может оказаться не в состоянии поверить, что живое существо, умерев, может снова ожить. Но если бы он и поверил в это, то взгляд его в рамках христианских представлений о психосоматическом воскресении[18] был бы более научным по сравнению с шаманистическими представлениями об освобожденном от телесной оболочки духе.

И все-таки есть свидетельства того, что заключенная в телесную оболочку человеческая душа может сообщаться с другой заключенной в телесную оболочку человеческой душой посредством чисто психических актов, не используя ни физический аппарат чувств общающихся людей, ни какое бы то ни было физическое устройство или приспособление, находящееся вне человеческих тел. Мне лично привелось наблюдать множество успешных сеансов общения между Джилбертом Марри и его дочерью Розалиндой, моей первой женой, в ходе которых Джилберт Марри описывал сцены — одни из жизни, другие из вымышленного мира пьес и романов, — которые отбирала Розалинда. Засвидетельствовать это могли многие находившиеся в одной комнате с Розалиндой, в то время как Джилберта Марри не только не было в комнате, но он находился так далеко, что не имел возможности получить какие-либо сигналы даже при сверхчувствительном слухе.

Это личное наблюдение убедило меня в том, что внечувственное восприятие — реальность. Джилберт Марри, в весьма высокой степени обладавший способностью к нему, считал, что внечувственным восприятием в различной степени обладают все люди. По его мнению, в ходе разговора между его участниками происходит нечто бо́льшее, нежели обмен словами, несущими определенный смысл. Он высказал предположение, что наши слова дополняются коммуникацией посредством внечувственного восприятия. Он также полагал, что до того, как наши предки обрели дар членораздельной речи, использующей физический аппарат органов человеческого тела и физическое посредство волн, которые мы воспринимаем в

виде звуков, эти бессловесные долюди и протолюди уже обладали способностью общаться друг с другом (как должны ею обладать любые групповые животные) и что на этой предварительной стадии внечувственное восприятие, позже вытесненное языком на периферию, было главным средством общения, а крики и жесты — средствами дополнительными. Если это правильно в отношении предков человека, то это должно быть тем более правильно в отношении групповых видов других животных.

Если нечувственное восприятие есть доказанная реальность (а я убедился в этом лично), то ее существование указывает, что человек, возможно, все-таки и не является тем психосоматическим монолитом, каким он предстает в свете современных исследований в области медицины и психологии. Человеческая природа остается таинственной, и тайна эта выходит за пределы самой человеческой природы, распространяясь на всю Вселенную, в обоих своих аспектах, как духовном, так и физическом.

Тайна существования мучит человека и ставит его в тупик. Поэтому естественно, что нам не терпится разгадать эту тайну, а следовательно, естественно и то, что, поддавшись искушению идти кратчайшим путем, мы хватаемся за предлагаемые нам непроверенные и, возможно, не поддающиеся проверке догмы. Наша готовность некритично принимать догмы по-человечески понятна, но это не обязательно означает, что она целесообразна. Бывают ситуации, когда лучше выдержать шторм в открытом море, чем стараться укрыться в ближайшем порту. В открытом море в шторм есть риск потерпеть кораблекрушение, но, пока корабль в море, впереди у него открытое водное пространство. В то время как ближайший порт может оказаться не той гаванью, в которую ему хотелось бы попасть. Постоянное стремление человека обрести покой и уверенность в своей безопасности — это слабость, которой ему надлежит остерегаться.

Я оказался в положении рака-отшельника, сбросившего один чуждый ему панцирь и оказавшегося перед соблазном облечься в другой. Этому соблазну нельзя поддаваться, потому что второй панцирь может оказаться так же не в пору, как и первый. Лучше уж раку оставаться нагим и незащищенным, но зато свободным, чтобы продолжать свой путь вперед. Тем более если ты не рак, а человек и путь твой — это путь исследования. Моя цель — иметь максимум религии при минимуме догм.

Я теперь изложил по возможности честно, откровенно и ясно позицию, к которой пришел за почти восемьдесят лет своей жизни, начиная с того дня, когда я был крещен. Крещение в англиканской церкви официально сделало меня христианином англиканского вероисповедания, и я никогда не покидал лона этой Церкви. И все же, если бы кому-то из высшего англиканского духовенства

случилось дочитать эту главу до настоящего места, он, несомненно, отлучил бы меня от Церкви. Не являюсь я и просто внецерковным христианином. Не могу я также претендовать на принадлежность к какой-либо из большинства других живых высших религий. Единственная из основных живых высших религий, в лоно которой я, пожалуй, мог бы быть принят, — это индуизм, ибо индуизм всеобъемлющ. Индуизм мог бы меня принять, ибо индуизм католичен, в смысле — всеобъемлющ, не католичен в изначальном смысле христианской католической церкви, то есть частной религии, претендующей на универсальность, однако в иерархии каст я бы котировался ниже метельщиков[19].

Быть непригодным для всех ныне существующих религиозных общностей, за исключением, пожалуй, одной, — обстоятельство весьма неудачное, потому что религия не просто частное дело между человеком и конечной духовной реальностью; она также общественное дело, в котором в процессе общения с конечной реальностью люди вступают в общение друг с другом. Три критических события в жизни человека — его рождение, женитьба и смерть — отмечаются в священнослужениях высших религий обрядами, в которых собратья-люди выражают свое — и Бога — участие в личных судьбах каждого из нас. Отказ от освящения главных событий жизни — это высокая цена за разлад с религиозной доктриной предков. И увы, в современном мире не я один потерял свою связь с религиозной общиной предков; число таких людей все увеличивается, а неприкаянные лица представляют угрозу обществу не только в религиозном плане, но также и в политическом. В наше время энергия, вылившаяся из исторических высших религий, устремилась в национализм и другие постхристианские идеологии. Все они представляют собой разновидности культа власти человека, а это одна из худших форм религии, какие до сих пор изобрело человечество. Было бы очень полезно как для индивидуумов, так и для человеческих сообществ, если бы исторические высшие религии смогли открыть свои двери достаточно широко, чтобы их экс-члены смогли вернуться в старое лоно без ущерба для своей и партийной и духовной целостности.

С тех пор как мои предки со стороны отца прибыли в Линкольншир из Дании, что случилось примерно тысячу лет тому назад, и были приняты в лоно христианской Церкви, я, пожалуй, первый в роду оказался выброшенным в холодный, пустой мир. Мой отец был безупречным христианином, мой двоюродный дядя Гарри был фанатически привержен низкой Церкви[20]. Я не могу сказать с уверенностью о позиции моего дяди Арнольда, моего деда и двоюродного деда Джорджа — думаю, что ни один из них не был на сто процентов ортодоксален; но ни один из них не отошел так определенно от Церкви, как я.

Возможен ли для меня и все возрастающего числа моих собратьев, экс-христиан, находящихся в моем положении, возврат в лоно Церкви? Я уповаю на то, что христианская Церковь, равно как и сообщества, относящиеся к другим историческим высшим религиям, рано или поздно откроет свои двери достаточно широко, чтобы в них могли вернуться экс-члены, оказавшиеся в нашем положении. Большинство течений христианской Церкви, а также большая часть других религиозных сообществ начали сегодня освобождать основу своих верований и практической деятельности от накопившихся несущественных наростов. Это, однако, задача деликатная, и проведение ее в жизнь займет немало времени. По-видимому, мне уже не придется увидеть эту дверь настолько широко открытой, чтобы я мог войти через нее обратно, не поступившись своей свободой и честностью. А это была бы слишком высокая цена.

Однако положение, в котором оказался я и многие мои современники, сохранившие в себе религию, но не принадлежащие к религиозному сообществу, исторически не столь уж уникально. Подобное положение характерно для переходного периода. В переходный период жить трудно. Зато интересно. Мой двоюродный дядя Гарри жил и умер в такое время, когда у англичан среднего класса была стабильная жизнь. Он родился четыре года спустя после Битвы при Ватерлоо, а умер за четыре года до начала Первой мировой войны. На мою долю выпало пережить две войны, но я бы не поменял времена своей жизни на времена жизни дядюшки Гарри.

Бывают эпохи — некоторые очень длительные, — когда человеческий ум оставался бездеятелен и покорен, когда люди не дерзали мыслить самостоятельно, полагаясь во всем на авторитеты. В западной части Старого Света эта длившаяся восемнадцать столетий эпоха закончилась в XVIII веке. В нашем веке ум западного человека впервые со II века до Р. Х. снова дерзнул мыслить самостоятельно; и хотя в наше время экс-христианские и экс-конфуцианские идеологи[21] (националисты, коммунисты, индивидуалисты) впали в догматическую спячку, экс-христианские агностики[22] продолжают сохранять интеллектуальную независимость, завещанную нам первопроходцами XVII века. Я не готов предать это ценное наследие — индивидуальную свободу. В моих глазах это означало бы предать будущее человечества.

(III) Пределы моего агностицизма

Я уже отмечал, что мое неверие в некоторые из обязательных догм исторических высших религий остается неизменным уже более полувека, но мое отношение к религии на протяжении этого времени менялось. Мой отказ от религии был внезапным; мой обратный

путь оказался постепенным; это был ряд Ответов на следовавшие один за другим Вызовы, которые бросал мне мой опыт. Я пришел к выводу, что сама религия — в противоположность ее исторически сложившимся внешним формам — это дар, присущий человеческой природе. Я уверен, что человек не может не иметь религии, что люди, заявляющие, будто у них нет религии, обманываются, ибо не умеют заглянуть в собственное сердце. Более того, я уверен, что религия является самым отличительным и самым фундаментальным элементом человеческой природы. Религия — это поиск конечного духовного принципа во Вселенной, и цель этого поиска не просто интеллектуальная игра, это духовная задача постижения истины, с тем чтобы гармонично влиться в нее самому. И на этом тернистом пути каждая из исторических высших религий старается стать надежным пастырем и проводником своим приверженцам. И в этом общем стремлении я заодно с последователями всех высших религий.

(IV) Любовь есть Бог

Повторю еще раз, что я верю в то, что любовь есть Бог. Я пришел к этому убеждению не без посторонней помощи. Возможно, я никогда бы к нему не пришел, если бы эту истину не открыло мне Первое соборное послание апостола Иоанна, в котором утверждается, что Бог есть любовь. Само по себе это утверждение, возможно, и не убедило бы меня, если бы я сам не испытал любви и не был свидетелем взаимной любви других людей и наших «братьев меньших». Я по опыту знаю, что такое любовь, но у меня нет доказательств, что любовь есть Бог. Принимая без доказательств веру в то, что любовь и Бог тождественны, я иду по стопам Первого соборного послания апостола Иоанна, совершая этим акт веры.

Мы, люди, знаем по опыту любовь, но не знаем по опыту Бога. Тот, кто воспитан в монотеистской религии, способен некоторые явления воспринимать как свидание с Богом. Мне довелось дважды в своей жизни столкнуться с подобными явлениями. Но теистическое объяснение этих явлений не может быть ни проверено, ни продемонстрировано. Существование Бога — это гипотеза, и представления людей о природе Бога заметно отличаются в зависимости от догматов различных религий. Мое кредо можно выразить одной-единственной фразой: «Dues est mortali iuvare mortalem» («Для смертного Бог есть акт помощи другому смертному»). Я верю, что цель Человека — жертвенная любовь. Эта любовь божественна, это единственный Бог, которого мы знаем по опыту, как верно и то, что этому Богу Человек должен посвятить себя безоговорочно, не задумываясь о последствиях.

(V) Любовь не всемогуща

Три религии иудейской семьи — иудаизм, христианство и ислам[1] — сходятся в том, что Бог, по крайней мере в одном из его аспектов, милосерден, сострадателен и любящ, но они также считают, что Бог всемогущ. Ортодоксальный христианский тезис получил незабываемое выражение в четверостишьях поэмы Теннисона[2] «In Memoriam»:

Могущественное Дитя Бога, бессмертная Любовь,
Которую мы, не знающие твоего лика,
Верою, одной только верою, постигаем;
Вера приходит туда, где бессилен разум;

Тобою создан и свет дня, и ночи мрак;
Ты даруешь Жизнь и человеку и зверю;
Ты посылаешь Смерть; и твой знак —
На челе, созданном тобою.

Тезис этот заключается в том, что, как и все остальное, смерть создана Богом и что Бог продемонстрировал свое господство над смертью в Воскресении Христа.

Этот отрывок из «In Memoriam» я выучил наизусть в Уинчестере, но еще раньше мое воображение поразила картинка, висевшая в спальне у матери. Это была фотография с картины современника Теннисона, Уоттса[3]. Эта аллегорическая картина называлась «Любовь и Смерть», и, вместо того чтобы подтверждать вышеупомянутый тезис, она бросала ему вызов. Любовь Уоттса — это Бог, но любовь не всемогуща. Она терпит поражение в отчаянной борьбе, защищая любимого человека — которого нет на картине — от приближающейся Смерти. Смерть для Уоттса — тоже Бог, и этот Бог оказывается более могущественным. От Смерти не уйдешь, она надвигается со спокойной уверенностью. Она знает, что она сильнее, чем Любовь, кроме того, она уверена, что она также и мудрее; и поистине смерть — очень действенное оружие в руках Природы, гарантирующее ей возможность избегать непоправимых случайностей в ходе эволюции. В глазах Уоттса любовь не всемогуща, и его взгляд подтверждается нашим жизненным опытом.

К числу самых тяжелых испытаний, выпадающих на долю человека, относится потеря любимого человека, которого уносит смерть. Чем сильнее любовь, тем сильнее горе.

Душевные силы человека находятся в глубоком противоречии с тем, что человек смертен. Способность человека не только любить, но и мыслить, научаться, знать, учить, действовать, творить не может быть полностью реализована за недолгую человеческую жизнь.

И все же в этом мире, единственном мире, который мы знаем, человеческий дух не переживает своего физического тела. Дряхлеющее тело зачастую лишает человека рассудка еще до наступления физической смерти. И это мучительное несоответствие приносит людям горе, унижения и мучения с тех самых пор, как человек впервые осознал себя. Можно ли поверить, что любовь, будь она действительно всемогущей, допустила бы подобное несоответствие?

К тому же жизнь существует в ущерб самой себе. Животные живут или в ущерб растениям, или за счет животных других видов. Эволюция, возможно, и идет по восходящей — если судить по интеллектуальным критериям умственного развития и целесообразности, — но этот же самый процесс выглядит нисходящим — если судить о нем с точки зрения моральных норм поведения. Человек — наиболее производительный вид благодаря тому, что он пользуется своим превосходством, чтобы жить в ущерб другим видам; и человечество также единственный вид, живущий во вред самому себе. Мы единственные среди млекопитающих, кто ведет братоубийственные истребительные войны. Материнская грудь, давшая имя тому отряду живых существ, к числу которых принадлежит Человек[4], есть символ любви. Война — это сознательное и преднамеренное попрание любви. Человеческий институт войны клеймит Человека как преступного члена того порядка вещей, в котором он претендует на главенствующую роль.

(VI) Непостижимость всемогущества

Любовь не всемогуща. Правда заключена в картине Уоттса, а не в стихотворных строках Теннисона. Подрывает ли подобный вывод тот постулат, которым любовь отождествляется с Богом? Является ли всемогущество сутью Божественности? У нас, людей, нет иного опыта Бога, кроме любви, и у нас также нет опыта всемогущества. Всемогущество означает власть без границ; под всемогуществом понимается власть делать все, не только возможное, но и невозможное, а для человеческого сознания понятие «власть делать невозможное» лишено смысла. Приписывая Богу всемогущество, мы тем самым отрицаем реальность Бога, не добавляя ничего вразумительного к признанию могущества Бога. Лишив Бога бессмысленного эпитета, мы не умалим его величия, а лишь повысим его.

Таковы доводы против постулата всемогущества Бога с точки зрения практической реальности. Остается еще привести доводы против него с точки зрения морали. Говорят, что Иисус сказал: «Человек этого не может, но Бог может все»[1]. Если это правда, то Бог вполне мог сотворить жизнь без эгоцентризма, любовь без утрат, сознание и свободу без греха; а раз все эти пороки и горести

существуют, значит, их сознательно создал Бог, всемогущество которого тем самым ставится под сомнение. Сознательно избрав путь причинения страданий, которые несут его творениям эти бессмысленные пороки, всемогущий Бог заклеймил бы себя как изверга, если бы человеческий разум не спас его доброе имя, открыв, что всемогущество невозможно.

Маркион и Блейк[2], разделявшие ортодоксальное христианское вероучение о реальности всемогущего Бога-Творца, отождествляли его с темной стороной Яхве, Бога Израиля и иудеев, Бога Ветхого Завета. Блейк назвал этого изображенного им и Маркионом Бога-Творца «Ничей Папаша», чтобы обозначить его неспособность любить и быть любимым в противоположность представлению Иисуса о «Боге Отце». Принимая во внимание пороки, существующие в известном нам земном мире, всемогущий Творец должен нести столько же порока в себе самом. Маркион рассудил логично, проведя различие между порочным Богом-Творцом Ветхого Завета и Богом, который в Новом Завете отождествляется с Любовью. В представлении Маркиона, Бог, который есть любовь, чужой в мире Бога-Творца и человечество в силу своей способности к любви также в нем чужое.

Версия, созданная Маркионом, представляется мне более убедительной, нежели ортодоксальная христианская версия, получившая классическое выражение у Иринея. Можно было бы придать версии Маркиона еще большую убедительность, упразднив Бога Отца и оставив в качестве единственного известного Божественного присутствия всемогущую Любовь и Праведность, творящие максимум добра в пределах их небезграничной власти. Творить максимум добра — это самое большее, чего можно требовать от кого бы то ни было — человека или Бога.

(VII) Порок во Вселенной

Эти соображения не только наводят на мысль, что любовь не всемогуща, но заставляют думать, что в мире, где мы живем, вообще отсутствует всемогущая и направляющая его сила.

...и тогда по небесным явленьям,
Как и по многим другим, я дерзнул бы считать достоверным,
Что не для нас и отнюдь не божественной волею создан
Весь существующий мир: столь много в нем всяких пороков*.

Я чувствую силу доводов Лукреция. Наш общий опыт относительно Мира, в котором мы живем, действительно говорит нам, что Мир этот не безупречен. Он не безупречен ни в физическом, ни в

**Лукреций.* Цит. соч., кн. II, с. 178–181.

этическом смысле. Нам неизвестно, действительно ли Мир этот болен со времени своего возникновения, как это считает, вслед за Лукрецием, Хаусман. Свидетельств тому у нас нет, но на уровне возникновения жизни на нашей планете эта болезнь очевидна. Каждое известное нам живое существо контактирует с остальным Миром по двум линиям, не просто различным, но даже прямо противоположным. С одной стороны, живое существо — неотъемлемая часть Вселенной, и, можно полагать, психический его аспект есть часть того духовного начала, которое присутствует во всем сущем. С другой стороны, живое существо, пока оно живое, старается существовать как контрвселенная: не просто отдельно, а в противоположность той Вселенной, неотделимой частью которой оно на деле является. Каждое живое существо ведет себя так, словно оно — центр и смысл Вселенной. Насколько у него хватает сил, оно старается использовать всю остальную Вселенную, включая и своих сородичей — живых существ, в своих интересах.

Этот акт самоопределения и объявления независимости есть один из симптомов пробуждения к жизни, а жизнь — включая и дочеловеческую жизнь — кажется нам, человеческим существам, лучшей и высшей формой бытия, нежели доодушевленная природа (если подобная вещь существует). В то же время мы чувствуем, что болезнь, в геологическом смысле, которая заставляет живое существо утверждать свою отстраненность от остальной Вселенной, — это болезнь и духовная, причем проявляется она по целому ряду направлений. Утверждая свою обособленность, свое центральное место и свою сверхважность, живое существо открыто попирает действительность. По сути дела, оно не может оторваться от остальной Вселенной и, конечно же, не является ни ее настоящим центром, ни ее настоящим смыслом. Каждое живое существо заявляет одинаковые претензии на то, что оно центр и смысл Вселенной, но лишь одна-единственная из этих мириад претензий может оказаться обоснованной, и каждая подобная претензия фактически несовместима с тем, что нам известно о структуре Вселенной. Поэтому легко можно сделать вывод, что ни одна из этих претензий не имеет законной силы. Эгоцентризм живых существ — это также отрицание морали. Не может быть морали в мире живых существ, каждое из которых преследует свои собственные интересы, и ничего, кроме них.

Претензии живого существа, таким образом, нелепы и непомерны. Тем не менее ему удается в определенной степени добиваться удовлетворения своих претензий. И именно это обстоятельство позволяет ему оставаться живым. Но значит, жизнь — это подвиг. Эксплуатация Вселенной даже самым сильным и долговечным живым существом локальна и эфемерна. Рано или поздно существо перестает быть живым благодаря либо распаду, либо смерти; и то,

что оно перестает быть живым, означает, что оно потерпело в конце концов поражение. Между тем локальная и временная эксплуатация им своих сородичей — живых существ — причиняет последним страдания.

(VIII) Болезнь в Человеке: грех и совесть

Мир дочеловеческой жизни — это мир вне морали, но это не аморальный или греховный мир. Насколько нам известно, эгоцентристское поведение нечеловеческих живых существ в человеческом смысле морально, ибо оно невинно. Вопросы нравственности не возникают также во многих случаях, когда перед выбором стоит человек. В повседневной жизни все мы подчас делаем такой, в моральном отношении нейтральный, выбор из бессчетного числа мелких, незначительных, банальных вещей. Однако ни одно человеческое существо не может прожить жизнь — какой бы короткой она ни была, — не столкнувшись с необходимостью выбора между добром и злом, и мы часто вопреки совести выбираем зло.

«Я вижу лучший путь, и моя совесть говорит мне, что он верен, и все же я следую худшим»*.

В то время как все прочие виды живых существ — хищники, человечество — единственный вид, способный грешить. Когда акула или тигр убивает или терзает своего собрата, они не совершают злодеяния. Но когда человек преднамеренно причиняет увечье своему собрату, человеку, он не просто хищник, он злодей.

Если это так, то на человеческом уровне эгоцентризм, отделяющий человека от остальной Вселенной, включая его собратьев, людей, не только идет против природы и причиняет страдания другим живым существам, но он еще и грех и таковым признается. Эгоцентризм входит в суть самой жизни, и человеческая природа не составляет здесь исключения. Однако в человеке та дисгармония, которая наблюдается во всех видах живых существ, приобретает иные масштабы. Человек, позволяющий себе впасть в грех эгоцентризма, сознает, что совершает грех, и совесть мучит его за этот грех. Он может восстать против своей совести и действовать вопреки ей, но ему не удастся легко ее подавить.

Понимание разницы между добром и злом, сопутствующее способности человека делать сознательный выбор, есть мыслительный акт — но не только мыслительный акт: это также и призыв к действию, ограниченному рамками морали. Когда мы стоим перед выбором между морально правильным и морально ущербным, между добром и злом, наша совесть дает нам команду выбрать добро, даже

* *Овидий*. Метаморфозы, кн. VII, с. 20—21.

если это идет вразрез с нашими собственными интересами. Мы можем не послушаться своей совести и действовать в собственных интересах, выбрав то, что в рамках нашей морали воспринимается как зло, но мы не можем сделать это безнаказанно. Пусть мы не послушаемся нашей совести, но нам не избежать ее укоров.

Укоры совести — вещь страшная, даже для закоренелого грешника, потому что наша совесть предстает перед нами в качестве абсолютного авторитета, на который некому пожаловаться. Абсолютный авторитет совести — это нечто ей внутренне присущее и от нее неотъемлемое. Он не нуждается в удостоверении подлинности или чьем бы то ни было стороннем подтверждении. Можно предаваться размышлениям относительно того, какая санкция и кем заложена в основе совести. Она может представляться нам гласом того, кого мы называем Богом или любым другим именем, которым мы обозначаем конечную духовную реальность, стоящую за Вселенной, — если предположить, что мы верим в существование такой конечной духовной реальности. Или же совесть можно интерпретировать как голос нашего человеческого общества. Если мы находим эту последнюю интерпретацию убедительной, то мы должны по логике вещей неизбежно прийти к следующему заключению: с моральной точки зрения наша коллективная совесть не более безукоризненна, чем индивидуальная. В действительности эти альтернативные догадки относительно источника власти над нами нашей совести никак не влияют на саму эту власть. Власть совести остается в чем-то уязвимой и тем не менее абсолютной, какое бы мы ни старались найти ей объяснение или как бы мы ни пытались ослабить эту власть. Неумолимость силы абсолютного авторитета, с каким говорит с нами наша совесть, есть ее характерная и фундаментальная черта.

По моим наблюдениям, все люди осознают различие между добром и злом, и если они избирают путь зла, то испытывают потом угрызения совести. Однако я не хочу этим сказать, что один и тот же поступок выглядит одинаково в глазах всех людей. «Хороший» и «плохой» — понятия абстрактные. Для того чтобы ими пользоваться на практике, их надо применить к конкретной ситуации. Иначе говоря, их надо перевести в кодекс правил для отдельных конкретных случаев. Каждое из наших многочисленных человеческих обществ имеет собственный кодекс, и внутри каждого общества каждый человек волен толковать этот кодекс по-своему, в то же время различия между кодексами столь сильны, что по некоторым пунктам оказываются непримиримыми. Например, рабство, полигамия, детоубийство, самосожжение вдов и другие формы человеческих жертвоприношений в одних кодексах разрешаются или даже требуются, тогда как в других та же самая практика осуждается и влечет за собой наказание. Более того, эти кодексы правил постоянно

меняются, причем иногда весьма стремительно. Поэтому мне представляется, что было бы абсурдно считать, что человечество способно выработать кодекс, который воплощал бы в себе нравственные принципы и правила, пригодные на все времена. Человеческой природе, как мне кажется, внутренне присуще разграничивать «добро» и «зло», «правильно» и «неправильно» в абстрактном смысле. Это все — но этого немало.

(IX) Борьба Человека за преодоление эгоцентризма

Совесть говорит человеку, что его природный эгоцентризм есть зло, и не оставляет его в покое, пока человек не предпримет попыток побороть свой эгоцентризм.

Поскольку эгоцентризм есть суть жизни, преодоление эгоцентризма — это самая трудная духовная задача, какую может поставить перед собой любое живое существо. Совесть настоятельно требует взяться за выполнение этой задачи — причем приказы ее неоспоримы, — но это не делает задачу более легкой. Совесть ставит задачу, но не предоставляет орудий для ее выполнения. Предоставление таких орудий — дело и задача философии и религии, а так как каждый человек обладает совестью, он обладает также религией или философией. Если проанализировать жизнь людей, полагающих, будто они далеки от каких-либо религиозных или философских воззрений, выясняется, что на деле это не так.

Один из рецептов преодоления эгоцентризма заключается в том, чтобы научиться отказываться от желаний. Этот духовный режим предписывается буддизмом, стоицизмом и эпикурейством. Из упомянутых трех учений буддизм наиболее искренен в своих убеждениях, и вследствие этого он гораздо радикальнее в указаниях о том, как применять эти убеждения. Будда признавал, что его путь нелегок. Он требовал от того, кто однажды встал на этот путь, не отклоняться от него. Он не поощрял попыток уйти от свершения нравственного подвига в метафизические раздумья. Он требовал от своих последователей выполнения особых духовных упражнений, которые, если от них не отступать, приведут, через решительный отказ от всех других желаний, к желанной цели — нирване.

Все философии и религии сходятся в том, что человек должен стремиться к подавлению своего эгоцентризма. Подобно буддизму, стоицизм и эпикурейство не подразделяют желания на моральные и аморальные[1]. Существуют, конечно, эгоистические желания; и христиане и экс-христианские агностики не станут отрицать, что следует стремиться к их подавлению. Однако есть и такие желания, которые направлены на что-то, лежащее вне эгоистического интереса. Желаниями, возвышающимися над эгоистическими интересами

человека, представляются любовь, сострадание, сочувствие. И все эти желания можно объединить одним словом — «любовь».

В истории жизни любовь, возможно, моложе эгоцентризма. Последний, должно быть, так же стар, как сама жизнь, в то время как реальных проявлений любви среди более примитивных видов живых существ, по-видимому, нет. Любовь, однако, старше человека, ибо любовь проявляется не только у человека, но и у других млекопитающих и у птиц.

Любовь воздействует на человека иначе, нежели совесть. Совесть приказывает, любовь вдохновляет. То, что мы делаем ради любви, мы делаем потому, что хотим это делать. Любовь по сути своей один из видов желания; но это такой вид, который поднимает человека над самим собой, унося его за пределы собственного «я», в отличие от желаний эгоистических, таких, как желание «угасания» в нирване. Любовь — это свобода, совесть — узы. И все же по двум признакам наше отношение к любви такое же, как наше отношение к совести. Мы вольны не подчиниться призыву любви, как мы вольны не подчиниться приказу совести, и тем не менее любовь, как и совесть, не может быть отвергнута безнаказанно. Даже отвергнутая, любовь будет продолжать нас преследовать — по той же причине, что и попранная совесть. Власть любви, как и власть совести, абсолютна. И так же, как и совести, любви не требуется ни удостоверения подлинности, ни чьего бы то ни было утверждения. Размышления о наличии или отсутствии у любви мандата не могут ни повысить, ни умалить абсолютность любви.

Можно вслед за святым апостолом Иоанном отождествлять любовь с Богом, можно согласиться с греческим философом, определявшим Бога как акт помощи человеческому существу (это определение ближе всего к моему собственному кредо). Или же любовь можно интерпретировать как выдумку Природы для нейтрализации более старой выдумки — эгоцентризма. (Подобное приписывание Природе разумной целенаправленности не следует, разумеется, понимать в буквальном смысле; это прием мифотворчества, к которому вынуждает нас несовершенство человеческого языка.)

Природа создала живые существа эгоцентричными, с тем чтобы они могли противостоять остальной Вселенной. Но помимо заботы о поддержании недолговечной жизни своих хрупких творений Природа позаботилась также о бесконечной сменяемости их ради сохранения различных видов. Когда Природа пошла дальше — от воспроизводства жизни путем деления к ее воспроизводству путем полового размножения, перед ней встала проблема заботы о выживании в достаточном количестве детенышей, чтобы сохранялся вид. Первое, что сделала Природа для решения данной проблемы, — это щедро наделила двуполые виды живых существ плодовитостью. Однако это

грубое средство оказалось и расточительным и непроизводительным, поскольку оно не подкреплялось положительного характера защитой, проистекающей из родительской любви. Детеныши могли погибнуть и вид мог исчезнуть, если бы внутренне присущему родителям эгоцентризму не противопоставлялась теперь неэгоистическая забота о благополучии своего потомства. Поэтому на определенной стадии развития существ, воспроизводимых путем полового размножения, Природа в соответствии с этой натуралистической интерпретацией любви наделила их любовью, которая должна была сосуществовать с эгоцентризмом и умерять его. Заставив свои творения чувствовать, что их потомство есть продолжение их самих, Природа научила их жертвовать собой ради любви.

Эти два объяснения мандата, которым располагает любовь, полярно противоположны. Натуралистическое объяснение видит в любви механизм, изобретенный на данный случай (ad hoc) ради сохранения определенного вида жизни на одной из малых планет; и если это объяснение правильно, то любовь — ограниченное явление, возможно не имеющее никакого значения для структуры и функционирования Вселенной в целом. В это же время если правильно то, что душа живого существа на этой планете есть также проявление духа, который вездесущ во всей Вселенной, то даже в терминах Природы альтруизм будет столь же «природен», как и эгоизм. Согласно ненатуралистическому объяснению, отождествляющему любовь с Богом, та любовь, что проявляется на нашей планете у птиц, животных и людей, не просто частная *lusus Naturae*[2], но и не просто универсальное общее свойство природы: эта любовь есть проявление конечной духовной реальности, не являющейся частью Природы, но лежащей вне Природы и стоящей за нею.

Ни одно из этих объяснений не доказуемо. Для любви не требуется никаких подтверждений и мандатов. Ее ценность остается для нас абсолютной при всех мыслимых условиях и предположениях. Мы не можем ни отрицать ее, ни отречься от нее, ибо опыт любви говорит нам, что ее ценность — суть от сути самой любви.

Абсолютность любви и абсолютность совести — это те духовные реальности, которые испытываются нами непосредственно и постоянно, независимо от нас самих. Это несомненные факты и надежные советчики. Если мы будем следовать их советам, то они позволят нам найти правильный путь в жизни. В этой земной жизни и в необъятной Вселенной, частью которой является жизнь, все остальное может быть покрыто тайной, но любовь и совесть, если они есть, этого достаточно для человеческих нужд. Они нам обе нужны, но любовь — больше.

Когда мы вслед за автором Первого Иоаннова послания отождествляем любовь с Богом, то что именно мы имеем в виду? Имеем

ли мы в виду любовь в греческом смысле, то есть как одного из богов, одного из членов политеистического пантеона? Или же мы представляем себе любовь как единственного истинного Бога иудейских религий? Если мы попытаемся представить себе божество любви именно так, то это будет противоречить тому представлению о любви, о котором говорит нам наш опыт. Греческий бог Эрос и иудейский бог Яхве несоизмеримы по масштабу, но у них есть одна общая черта, существенная для предмета нашего рассмотрения. И бог греческий и бог иудейский представляются нами в образе людей, а мы не можем воспринимать любовь как человека, подобного нам самим. Мы испытываем любовь как сверхличностный дух, одухотворяющий человека, других млекопитающих и птиц и преображающий эгоистическое существо до такой степени, что его эгоцентричность превращается в самопожертвование. Наш опыт говорит нам, что это сверхличностное проявление Бога как любви несопоставимо ни с греческим, ни с иудейским представлением о божестве в человеческом образе и подобии: антропоморфический Эрос, Бог-Тиран, Бог Отец, Бог, воплощенный в человеке, — Иисусе.

Однако есть другое традиционное представление о Божестве, когда Бог воспринимается как сверхличностный дух, проникающий в человека и одухотворяющий его. Такой образ Божества рисуется христианской религией. Сошествие Святого Духа на апостолов в День Пятидесятницы полностью соответствует нашему опыту любви. В этом христианском представлении о Божестве в сверхличностном аспекте Дух как любовь — как мы ее испытываем — активно действует в человеческих душах. Если мы будем понимать Дух, действующий во Вселенной, как конечную духовную реальность, то мы должны отождествлять Святой Дух христианства с Брахмой индуизма[3].

(X) Любовь и совесть как индикаторы характера конечной реальности

Любовь и совесть — духовные реальности. Реальность каждой из них подтверждается непосредственным духовным опытом, и свидетельство это тем убедительнее, чем труднее оно достижимо. Сталкиваясь с этими духовными реальностями, мы обнаруживаем, что и любовь и совесть имеют для нас истинную ценность и весомость. А если это так, то мы, люди, стоим на твердой почве, пусть даже все остальное в жизни, включая и ее конечное предназначение, для нас тайна. Человеческая жизнь настолько таинственна, что породила в человеческих умах различные толкования, порой взаимно несовместимые. Можно предположить, что люди не перестанут размышлять над этими вопросами, пока существует человечество. Это

представляется вполне вероятным, потому что любопытство — одна из черт, присущих человеческой природе. Можно также предположить, что правильность ответов, сколь бы убедительными они ни казались, по-прежнему невозможно будет проверить. Научный метод исследований, который расширил наши представления о физической Вселенной и начинает также прояснять вселенную духа, не даст здесь исчерпывающего ответа. Несмотря на все научные достижения последних лет, природа конечной реальности, похоже, продолжает оставаться за пределами постижения ее людьми. Однако недоказательность наших открытий в этой сфере никоим образом не влияет на абсолютность любви и совести.

В Индии во времена Будды большинство мыслителей, включая и самого Будду, не задумывались о высшем мире, открывающемся человеку через его органы чувств и интерпретируемому современной наукой в количественных показателях. Они исследовали внутренний мир, мир, который человек открывает в своей духовной жизни. Одна из школ — школа, против которой выступал Будда, — придерживалась того мнения, что если человек, занимаясь самосозерцанием, проникает в самые потаенные уголки своего «я», то он обнаруживает там духовное присутствие, которое обнаруживается также в пределах и за пределами всей Вселенной. Индийским мыслителям этой школы принадлежит афоризм: «*Tat tvam asi*» (то есть «И это — ты сам»)[1]. Человеческая душа отождествляется с духовной реальностью. Будда, напротив, отрицал существование такой вещи, как душа, в духовной структуре человека. Он не находил там ничего стабильного или постоянного — ничего, кроме потока последовательных состояний, не вытекающих одно из другого и связанных друг с другом лишь клубком желаний, которые надлежало рассеять путем духовных упражнений.

В утверждении идеи целостности духовной реальности индийская философская школа, против которой выступал Будда, стояла на тех же позициях, что и современная наука. Единообразие Природы и сейчас является одним из постулатов науки, хотя его формулировка на сегодняшний день, пожалуй, менее проста и абсолютна, чем была столетие назад. Данный постулат о единообразии представляется разумной гипотезой. Во всяком случае, мало вероятно, чтобы духовная жизнь человека в том виде, в каком мы ощущаем ее в себе, была чем-то таким, что характерно для одного-единственного вида существ на одной-единственной планете. Почему бы Вселенной допускать этакое крохотное новообразование, по природе своей отличное от всей остальной Вселенной? Как могло возникнуть подобное исключительное явление? У нас нет убедительных ответов на эти вопросы, если, конечно, мы не верим, что существует всемогущий Бог, использующий свое всемогущество, чтобы

пробивать бреши в единообразии Природы, тем самым нарушая «законы Природы», то есть именно те законы, которые он сам же и создал. Современный исследователь поэтому склонен подписаться под индийским тезисом VI века до Р. Х.: «И это — ты сам». Тезис этот не более чем гипотеза, причем гипотеза, не поддающаяся проверке, но она, во всяком случае, более правдоподобна, чем альтернативная гипотеза, согласно которой духовное устройство одного из видов живых существ на нашей планете есть исключение из единообразия Природы.

На моральном уровне гипотеза о единообразии Вселенной, включая Человека, обоюдоострая. Если человеческая природа, как это представляется мне и моим единомышленникам, — это действительно осколок Вселенной в миниатюре, то любовь и совесть пронизывают ее всю, и точно так же ее пронизывают эгоцентризм и грех, ибо эти порочные духовные явления не менее характерны для человеческой природы, чем любовь и совесть. Эгоцентризм и грех фактически неотъемлемы от любви и совести. Здесь мы видим две стороны одной медали. В человеческой жизни, какой мы ее знаем по опыту, идет вечная борьба между любовью и совестью, с одной стороны, и эгоцентризмом — с другой.

Мы полагаем, что борьба идет в душе каждого человека и идет она постоянно. Ход этой духовной войны имеет свои отливы и приливы. И тогда как в каждом отдельном случае битва эта может быть проиграна или выиграна, для человеческого общества в целом результат ее пока неопределен. Мы не можем угадать, будет ли, и если будет, то когда, одна из сторон победительницей. Между тем мы нисколько не сомневаемся в том, на чью сторону нам следует встать. Мы знаем, что должны безоговорочно поддерживать дело любви и совести. Для нас, людей, именно это дело правое. Оно правое по своей сущности, независимо от того, какие у него перспективы. Оно все равно останется правым, даже если ему предстоит потерпеть решительное и окончательное поражение. А так как исход борьбы неясен, то мы полагаем, что каждый человек обязан бросить на эту борьбу все силы души, сердца и ума. Пока исход борьбы не решен, дорог каждый боец. Никто не имеет права уклоняться от активного в ней участия под тем предлогом, что его вклад в любом случае будет столь незначителен, что не стоит и стараться что-то предпринимать.

Если мы станем придерживаться того мнения, что Вселенная есть одно единое целое и что конечная духовная реальность, стоящая за Вселенной, та же субстанция, что и духовное начало в духовной системе человека, мы придем к заключению, что наш человеческий опыт, знания и понимание жизни на этой планете дают нам подлинную информацию о Вселенной и о том, что за ней стоит. По

аналогии мы можем сделать вывод, что и в космических масштабах любовь и праведность имеют такую же абсолютную моральную ценность, какую они имеют в человеческой жизни; что не только на этой планете, но и во всей Вселенной они противостоят злу, причем в космической борьбе, так же как и в делах земных, силы добра не всегда одерживают победу и окончательный исход ее далеко не предрешен.

Общеизвестно, что в человеческой жизни за каждое достижение надо платить; это, по-видимому, относится и к царству нечеловеческой природы. Попробуем, исходя из лингвистических соображений, персонифицировать дух любви и праведности, как мы персонифицировали «Природу», не обращая внимания на вопрос, действительно ли в космической области любовь и праведность проявляются через личность, как это происходит с любовью и праведностью в среде людей. Создание жизни можно считать великим достижением любви и праведности, потому что без жизни не могла бы проявить себя любовь, а без человеческой жизни не могла проявить себя и совесть. Однако за создание жизни было уплачено тем, что в каждом живом существе нашел себе приют эгоцентризм. Это весьма высокая цена, и лучше бы ее не платить. Но платить приходится, ибо в противном случае жизнь не была бы создана, а эгоцентричные живые существа все-таки более обещающая альтернатива, нежели безжизненная Вселенная. За эту цену любовь получила возможность в конце концов проявить себя в жизни на этой планете. Однако за любовь тоже надо платить, и цена ее — утрата. Чем сильнее какое-то существо любит другое существо, тем сильнее боль при расставании с любимым существом. Нас неумолимо разлучает смерть, а смерть — это цена другого достижения — создания живых существ, обладающих достаточно высокой духовной организацией, чтобы испытывать любовь.

Создание сознательного живого существа — это на сегодняшний день, пожалуй, величайшее достижение в сфере жизни. Человеческое сознание позволяет носителю его — человеку — осознанно отвечать на призыв любви и выполнять приказы совести. Однако свобода Человека выбирать добро несет с собой такую же свободу выбирать зло, и люди пользуются своей свободой и для того, и для другого. Нет зла — нет добра; нет эгоизма — нет любви, нет греха — нет праведности. Доказательство того, что каждое достижение имеет свою цену, представляется более чем достаточным.

Это трагично, и трагедия эта, возможно, космического порядка. Но если это и так, то ничто не указывает на то, что она следствие злого умысла; если судить по аналогии с нашим человеческим опытом, то она скорее следствие недостатка могущества. Опыт говорит нам, что всякое могущество ограниченно.

С того самого момента, когда человек пробуждается к сознанию, и до того момента, когда он в конце концов теряет его, он движется и борется в потоке истории. Его несет его импульс, и в то же время его собственные действия оказывают влияние — пусть даже бесконечно слабое — на силу, скорость и направление этого потока. История — та вечнодвижущаяся среда, в которой проходит жизнь человека, — не есть просто история жизни людей; это также история всей жизни на планете и это также история Вселенной. Если правда то, что в самих глубинах духовного начала каждого человека заключен дух, тождественный божественному духу, то как относится этот божественный дух к потоку истории, в который погружен на период своей жизни человек? Этот вопрос занимал умы множества людей, и на него давалось множество противоречивых ответов.

Иудейско-христианско-мусульманский ответ состоит в том, что поток этот — творение Бога; пусть он течет по воле Божией; когда Он найдет нужным, Он его остановит; этот поток находится во власти Бога и под Его контролем; Он сам стоит вне его. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний» (это утверждение вложено в уста Бога в четырех местах Откровения)[1].

Данная теологическая теория истории выглядит возвышенной и стройной по сравнению со взглядами на историю, господствующими сегодня. Согласно сегодняшнему взгляду, история есть бессмысленное нагромождение случайных событий. Согласно классическому иудейскому взгляду, история есть творение Бога. Эстетически эти два видения истории полярны; и тем не менее если подойти к ним с точки зрения морали, то, как это ни удивительно, они сводятся почти к одному и тому же. Оба эти взгляда согласны в том, что лишают историю ее смысла. Если Бог — «первый» и «последний» и если Бог — конечная духовная реальность, стоящая за Вселенной, тогда незыблем и неоспорим принцип: «Как все было, так все и остается»; и если это правда, то нельзя отрицать, что «борьбой ничего не достигнуть», а значит, придется признать, что «подвиги и раны ни к чему». Создание Богом Вселенной, жизни и людей было бы бессмыслицей, ибо все заканчивалось бы тем, что Бог, то есть конечная реальность, оставался бы тем же самым, чем Он был вначале. Нам приходится принять безысходное индийское объяснение Вселенной, состоящее в том, что она божественная игра ума; а если Вселенная не более чем шутка, то ее создание было безответственной и бессердечной проделкой, ибо Вселенная, как ясно видел и остро чувствовал Будда, — это море труда и тревог, это масса боли. Если тяжкие муки Вселенной есть просто времяпровождение Бога, то сам факт, что Бог создал способные чувствовать

творения лишь для того, чтобы они служили пешками в его произвольных играх, просто отвратителен. Давайте, однако, изменим наклонение и время и скажем лучше, что это было бы отвратительно, если бы это было правдоподобно. У нас, людей, барахтающихся в потоке истории, страдающих и причиняющих себе и другим муки и наносящих раны, нет такого чувства, что эти тяжкие муки на самом деле бессмысленны. Вера в то, что история имеет какой-то смысл и какую-то цель, возможно, не более чем акт веры, но, во всяком случае, участнику ее проще поверить в это, чем в то, что история бессмысленна.

В тезисе «Бог есть Альфа и Омега» не просто заключена концепция Вселенной, в которую невозможно верить; сам этот тезис не подлежит проверке. Он не основан ни на каких фактах человеческого опыта. Он произвольная уступка глубокому и настойчивому требованию человеческого сердца. Сердце страстно желает, чтобы ему указали его место в таинственной и грозной Вселенной, в которой оно оказалось, и высшие религии откликнулись на это страстное желание, дав, по всей видимости, авторитетные и точные указания. Иудейская религия претендует на то, что она в состоянии точно определить наше положение на ничейной Земле в период между годом первым и годом последним. Будда претендует на то, что он в состоянии указать нам то, что мы должны делать, чтобы войти в нирвану. Эти непроверенные и не поддающиеся проверке претензии принимаются нами, потому что мы готовы их принять. Наша готовность — естественная реакция на наше неустроенное человеческое положение. Тем не менее наша изначальная доверчивость есть слабость, которой следует сопротивляться. Лучше откровенно признать, что мы не в состоянии познать непознаваемое. Принимать на веру, исходя из *ipse dixit* (сам сказал)[2], окончательные ответы на фундаментальные вопросы, на которые человеческий ум не в состоянии ответить самостоятельно — даже ценой предельного напряжения интеллектуальных способностей, — это ошибка, причем не только интеллектуальная, но и моральная.

В порядке отрицательной реакции на доктрины иудейской религии появилась современная философская школа, которая утверждает от имени науки, будто дух, отождествляемый этими религиями с Альфой и Омегой, на самом деле есть не что иное, как одна тонко завуалированная Альфа. Исходное положение, на котором зиждется этот антитезис, состоит в том, что если вам удалось проследить последовательные стадии процесса роста, двигаясь назад, к его зародышу, то вы разоблачили этот процесс как иллюзию. Зародыш, от которого взял начало сам процесс, и есть единственная реальность, выдерживающая тест вашего анализа. Последовательные стадии роста, через которые «эволюционирует» первоначаль-

ный зародыш, представляют собой, согласно этой теории, «вторичные патологические явления», снимаемые наукой, подобно тому как реставратор снимает слои за слоем, открывая подлинное произведение старого мастера. В соответствии с этим взглядом слово «эволюция» должно пониматься буквально. Рост — это не что иное, как развертывание текста, в котором находится первичный зародыш.

Ошибочность подобного взгляда заключается в том, что здесь не проводится различия между логикой и опытом. Рост, учитывая саму его природу, трудно, пожалуй даже невозможно, выразить концептуальным языком, ибо язык интеллекта статичен, в то время как рост — это движение и перемена. И все же, несмотря на то что рост, возможно, алогичен, он тем не менее представляет собой факт опыта, а когда логика вступает в противоречие с опытом, то уступить должна логика. Тезис, гласящий, что дух не что иное, как Альфа, не более приемлем, чем тезис о том, что он одновременно и Альфа и Омега.

В таком случае, может быть, дух есть исключительно Омега? Может быть, он не начало и не начало плюс конец, а только лишь конец? Эта точка зрения также неубедительна. Дух действует здесь и сейчас, и возможность достигнуть точки, которая еще не достигнута, конечно же, ничуть не больше, чем возможность стоять на точке, которая уже осталась позади.

Таким образом, у нас нет выбора, кроме как принять единственный оставшийся теперь взгляд. По-видимому, мы неизбежно должны прийти к заключению, что дух не является ни началом, ни концом истории Вселенной, а также не является началом и концом одновременно: он заключен в самом движении. Если это помещение духа в поток истории, в котором движемся мы сами, оправданно, значит, муки человека действительно ужасны, ибо Будда несомненно, прав, ставя знак равенства между жизнью и болью, и в этом с ним согласен апостол Павел: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне»*. Если поистине это мученичество есть конечная реальность, то можем ли мы это вынести? Можем, «ибо мы спасены в надежде»**.

Надежда — на каком основании? Мы обманывали бы себя, если бы надеялись на то, что конечный результат мученического пути Вселенной предопределен и что чаша весов, перевешивая эгоцентризм и грех, решительно склоняется в пользу любви и праведности. У нас нет свидетельств, которые подтверждали бы правильность этого утешительного предположения. Надежда наша заключается в признании нами того, что любовь и праведность обладают абсолютной

* Римл. 8:22.

** Там же.

духовной ценностью и поэтому абсолютным правом на нашу им приверженность, независимо от того, какая их ожидает судьба. Мы не можем заглушить их зов, даже когда мы ему не следуем или даже когда полагаем, что это призыв добровольно вступить в борьбу за заведомо обреченное на провал дело. Любовь и праведность ставят перед нами цель, которую мы не можем игнорировать; а если мы не можем и если Вселенная едина, то мы должны сделать вывод, что любовь и праведность ставят неотвратимую цель перед всей Вселенной.

Здесь мы имеем хорошее основание для надежды. Положение наше становится обнадеживающим, потому что движение, в которое мы вовлечены, не бесцельно. Перспективы его неясны, и оно чревато болью и муками, но эту цену платить стоит, ибо это цена победы, за которую бьются любовь и праведность. Сражаться на их стороне — это то дело, которому человек может посвятить себя не только с надеждой, но и с радостью, даже если оно потребует полного самопожертвования. За дело любви и праведности можно пожертвовать и самой жизнью.

(XII) Любовь: самоцельность и самоценность

Следствием безоглядного повиновения зову любви может стать распятие, и это может оказаться концом жизни: Воскресения может не быть. Если мы не верим в то, что Иисус после смерти на Кресте снова вернулся к жизни, то не лишает ли наше неверие радости и надежды идею воскресения, связанную с памятью первого пасхального дня, с Христианством? Не обрекает ли наше неверие на дурную славу само слово «воскресение» как отмирающее наименование галлюцинации или обмана? Эти вопросы настойчиво вставали передо мной в последние часы Страстной субботы 1966 года, когда я присутствовал на службе в мемориальной церкви Менелика[1] в Аддис-Абебе, в Эфиопии. Несмотря на то что полночь еще не наступила, празднование Христова Воскресения в коптской дохалкидонской литургии[2] приближалось к самому торжественному моменту. Эти вопросы нахлынули на меня под впечатлением радости, звучавшей в слаженных голосах двух хоров. И это была не та сдержанная радость, что посещает верующего в западной церкви. Эфиопская христианская радость переливалась в веселье — как оно и должно быть, если Воскресение, празднуемое на Пасху всем Христианским миром, подлинный факт. Однако подлинно ли оно? А если нет, то не вызвана ли эта веселая эфиопская христианская хвала Господу трогательным и, по существу, трагическим недоразумением?

Для певших во славу Воскресения Христа само Воскресение было, несомненно, бесспорным историческим фактом, но они ощущали его

при этом и как явление космического значения. Мне сказали, что они благодарят Бога за его доброту, выразившуюся в обновлении им всего сущего вследствие его Воскресения из мертвых. Для моих верующих собратий-эфиопов Воскресение было не только историческим, но и символическим событием. И еще за шесть или семь тысяч лет до первого Дня Пасхи это символическое событие существовало для верующих в умирающего и воскресающего бога ежегодного урожая. «Только бы не умерло семя...» Я тоже верю в реальность Воскресения в этом символическом смысле и готов в полной мере разделить радость и надежду, которые вызывает это слово. Иисус действительно воскрес из мертвых духовно, хотя и не воскрес физически. Он вернулся к жизни в душах своих учеников и в духовном импульсе, направившем христианскую Церковь на тот путь, по которому она продолжает следовать и поныне. Однако Воскресение имеет и космическое значение, более широкое, чем христианское и превосходящее земледельческое понимание возрождения жизни каждый год с возвратом весны. Воскресение в его космическом значении символизирует постоянно обновляемые попытки любви преобразовать Вселенную, заставив все сущее любить, действовать во имя любви и самореализовываться в божественном духе любви. Мы не в состоянии предвидеть, и, насколько мы можем догадываться, сама любовь не в состоянии предвидеть, каков будет результат этих стараний любви. Но, зная любовь, а мы ее знаем из непосредственного опыта, мы понимаем, что любовь, пока она жива, не перестанет стремиться к преобразованию Вселенной по своему образу и подобию. Мы понимаем это, ибо знаем, что таково неотъемлемое свойство природы любви.

Один греческий буколический поэт остро и проникновенно описал ежегодное воскресение скромного цветка, противопоставив этот триумф жизни неотвратимой смерти, ожидающей нас, людей, — существа сильные и талантливые[3]. Этот контраст подлинен на уровне естественной истории, однако на уровне духа он преодолим. Любовь не может спасти человека от смерти, но любви не нужно воскресение жизни, которая погибла, потому что самопожертвование ради любви есть само по себе цель. Абсолютная любовь — это абсолютная добродетель, и она сама по себе служит целью. Она то, что она есть, независимо от того, всемогуща она или нет. Любовь придает жизни цель, смысл и ценность, которые невозможно найти, во всяком случае, в человеческой жизни, если жизнь эта не освещена любовью. Абсолютная ценность любви придает ценность самой жизни и тем самым делает приемлемым неприкаянное и трудное положение Человека. Любовь не может спасти жизнь от смерти, но она помогает осуществить цель жизни; а если цель жизни осуществлена, то это не может быть аннулировано смертью, даже

когда смерть кладет конец самой жизни. В этом смысле любовь сильнее смерти. Смерть не более всесильна, чем любовь. За смертью остается последнее слово только в случае отказа от любви, ибо тогда — и только тогда — жизнь лишается цели, смысла и ценности, над которыми смерть безвластна. Если мы любой ценой будем следовать призыву любви, то любовь примет на себя муки смерти, ибо тогда «мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления»*, даже когда мы лицом к лицу столкнемся со смертью или — хуже, чем со смертью, — с тяжелой утратой.



* Фил. 4:7.

ПРИЛОЖЕНИЕ



ПРОТИВОРЕЧИЯ В МОЛИТВЕ ГОСПОДНЕЙ[1]

В Молитве Господней мы обнаруживаем сосуществующие бок о бок две концепции Божественной природы, которые не только отличаются друг от друга, но и, безусловно, противоречат одна другой.

По одной из концепций — исторически более молодой — Бог олицетворяется с любовью, как, например, в Первом соборном послании Иоанна Богослова. Мы просим его: «и прости нам грехи наши, как и мы прощаем всякому должнику нашему», — потому что мы признаем, что Он стремится расширить царство любви, и ощущаем призыв сотрудничать с ним в его наполненном любовью стремлении преобразовать Вселенную по своему образу и подобию. В то же время мы признаем, что Вселенная сопротивляется борьбе любви за ее спасение путем искупления грехов. «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя яко на небесах и на земле». Обращаясь с этим ходатайством, мы признаем, что в мире, где мы сами находимся, Бог, как и мы, человеческие существа, не является хозяином положения. Он борется за то, чтобы стать им, как боремся мы.

Согласно второй из двух несовместимых концепций природы Бога, содержащихся в Молитве Господней, Бог всемогущ. Царствие его уже установлено, и воля его уже свершается на Небесах. Этот всемогущий Бог из Молитвы Господней уже не является Богом-Тираном — преобладающая особенность Яхве, судя по допророческим книгам Ветхого Завета. Он Бог Отец, наподобие ханаанейского верховного бога Эла, который может также присутствовать, хотя и в подчиненном значении, в изначальном иудейском видении Яхве[2]. Если Яхве в конечном счете есть наш Небесный Отец, то мы должны доверять ему, как ребенок доверял бы своему отцу-человеку, не сомневаясь в том, что тот будет день за днем обеспечивать его средствами к жизни. До сих пор всемогущего Бога рисуют как существо великодушное и милосердное — как, по сути дела, любовь с добавлением всемогущества. Однако при добавлении всемогущества становится невозможным играть роль великодушного, ибо всемогущий бог несет ответственность за все, что есть, было и будет. Он ответственен за все, что есть зло, как и за все, что есть добро, поскольку он создатель Вселенной и ее распорядитель. Бог, который является всемогущим создателем и распорядителем этой страдающей недугами Вселенной, не может не быть одновременно дьяволом; и в последней части Молитвы Господней к нему обращаются так, словно подразумевается, что он дьявол.

«И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Каждому, кто воспитан в христианской традиции, с раннего детства так хорошо знакомо каждое слово Молитвы Господней («Отче наш»), что поневоле становишься невосприимчивым к поразительному, если не сказать шокирующему, характеру завершающей мольбы. В ней к Богу обращаются как к искусителю, который вводит нас в искушение, но который также, будучи всемогущим, сможет, если захочет, избавить нас от лукавого — которого сам же и навлек на нас. Для живого существа главное искушение неотъемлемо от его самости. Это искушение — поместить себя в центр Вселенной и считать себя смыслом Вселенной и вследствие этого использовать Вселенную в своих собственных, эгоистических целях.

Если бы кто-нибудь прочитал эту завершающую мольбу из Молитвы Господней вне контекста, не будучи знакомым с нею ранее, и его попросили бы определить ее происхождение, он, по всей вероятности, предположил бы, что это отрывок из какой-то индуистской молитвы, обращенной к Шиве[3]. Одно из интеллектуальных достижений индуизма заключается в том, что он обладает ясностью и честностью в признании того, что Бог всемогущ, что он создатель греха, ибо он создатель всего. Он не может быть и хорошим и всемогущим одновременно. Таковы взаимоисключающие, противоположные точки зрения на Божественную природу. Нам приходится выбирать одну из двух, и это тот самый выбор, который не желают делать религии иудейского корня. В завершающей мольбе Молитвы Господней всемогущество Бога подтверждается открытым признанием его создателем зла. В священных писаниях этих религий такая ясность видения, как в индуизме, встречается редко.



АГНОСТИЦИЗМ: ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ — ПРОБЛЕМА, ДЛЯ ДЕТЕЙ — ЗАГАДКА

На агностика налагается моральное обязательство иметь смелость придерживаться своих негативных убеждений: отступление от них было бы для него предательством будущего человечества, и эта истина сталкивает его лицом к лицу с другой истиной. Агностик пришел к своим убеждениям сам по себе и для себя; и тем не менее ему приходится жить в обществе, ибо ни одно человеческое существо — даже отшельник в пустыне — не может снять с себя обязательства быть существом общественным: принадлежность к обществу — неотъемлемая черта человеческой природы. Сама озабоченность агностика будущим связывает его с его собратьями — человеческими существами, которым суждено жить после того, как

сам он умрет. Будущее связывает его в первую очередь с его детьми и через них с его внуками и внуками его внуков. Воспитание детей — это, пожалуй, наиболее важный и совершенно особенный труд, совершаемый в жизни человеческим существом. Когда родители — агностики, каково живется детям?

Детям приходится отыскивать свой путь в том мире, где они родились. Они должны отыскать его быстро, и они, естественно, ожидают, что родители обеспечат их необходимой информацией. Все человеческие существа на всех стадиях жизни страстно желают, чтобы карта Вселенной была ясной, четкой и всеобъемлющей. Дети считают само собой разумеющимся, что их родители располагают такой надежной картой, и если они разочаровываются в своих ожиданиях, то склонны испытывать недоумение, тревогу и обиду. Дети «программируют» свои вопросы родителям по бинарной системе, в такой форме, в какой мы задаем вопросы компьютеру: да или нет? Истинно или ложно? Правильно или неправильно? Они ожидают получить ответы в этих же терминах бинарной системы исчисления — причем ответы не только на практические вопросы о повседневной жизни, но и на вопросы о конечной реальности. Догмы религий наших предков давали ободряюще уверенные ответы на «бинарные» вопросы и в этой трансцендентной области тоже. Агностик находит эти ответы неудовлетворительными, поскольку он считает их непроверенными и не поддающимися проверке. Вместо того чтобы пожертвовать искренностью своих убеждений, он предпочитает пожертвовать чувством безопасности. Это, однако, личный выбор, который он делает сам и для себя самого. Имеет ли он право сделать этот выбор и за своих детей тоже? А если, предположим, он имеет такое право, то захотят ли его дети принять этот выбор из его рук? Не будут ли они чувствовать, что он предлагает им камень вместо хлеба? И не будет ли он сам это чувствовать?

Таким образом, агностик в своих отношениях с собственными детьми обнаруживает, что он сталкивается с проблемой, которая не возникает перед, безусловно, ортодоксальным приверженцем какой-либо традиционной религии. Агностик не может уклониться от решения этой проблемы, а его дети не могут избежать ее. Это, по сути дела, проблема, которая постоянно тревожит человеческие существа, даже в таком возрасте, когда верят, не подвергая критике, ибо самая всеобъемлющая и дидактически догматическая система теологии не в силах постоянно удерживать человеческое существо в состоянии ослепления в отношении истинности нашего человеческого положения. А истина такова, что мы рождены в таинственной Вселенной и именно тайны Вселенной поднимают вопросы, которыми человеческие существа не могут не задаваться и на которые они в то же время не могут обоснованно надеяться получить

ответ. Такова общая судьба человечества, и из нее нельзя исключить детей, поскольку они, как и их родители, тоже человеческие существа. Благонамеренные попытки уберечь детей от воздействия данного опыта обречены на провал, ибо, чем дольше знание жизни искусственно скрывается от ребенка, тем острее и тяжелее будет потрясение, когда искусственная ширма рухнет под давлением реальности — а рано или поздно она неизбежно рухнет.

Если это справедливо, то родитель-агностик не окажет своим детям хорошей услуги, предавая ради них искренность своих суждений. Он был бы несправедлив к своим детям, так же как и к самому себе, если бы давал им ответы, в которые сам не верит.

Искренние и смелые в своих суждениях, дети агностика уже в раннем возрасте обнаружат, что в вопросе о конечной реальности, как и во многих менее существенных вопросах тоже, общество взрослых не имеет единодушия. Честные родители-агностики не станут держать своих детей в неведении относительно доктрин исторической религии, которая четко вырисовывается на социальном фоне, общем для родителей и детей. Агностику следует воспитывать в своих детях знание как религиозных верований и установок, которых придерживается общество, так и знание личной точки зрения родителей. Цель образования заключается в том, чтобы вооружить ребенка, дав ему возможность начать образовывать себя самостоятельно в как можно более раннем возрасте. Долг старшего поколения по отношению к подрастающему поколению заключается в том, чтобы передать нравственные и интеллектуальные инструменты, необходимые для самостоятельного выполнения мыслительной и отборочной работы.

Человечество ощупью прокладывает свой путь, и оно всегда прокладывало его ощупью, с тех пор когда люди еще не стали людьми. До настоящего времени величайшим достижением человечества был прорыв к сознанию. Ощупью прокладывать себе путь — занятие болезненное и небезопасное, но в этом заключена особая доля человечества и в этом кроется его надежда. Каждое человеческое дитя, рожденное в этом Мире, должно подставить свое плечо, чтобы помочь человеческой расе нести свою исключительную ношу.



ДЕЙСТВЕННОСТЬ МОЛИТВЫ, ОБРАЩЕННОЙ К БОГУ, ВО ВСЕМОГУЩЕСТВО КОТОРОГО НЕ ВЕРИШЬ

Возможно ли для человеческого существа молиться Богу, чью власть оно считает ограниченной, как ограничена его собственная человеческая власть? Молитва относится к числу необходимых нам духовных потребностей. Она — ответ на тяжкое испытание, заклю-

ченное в нашем человеческом положении: на неопределенность, на неприспособленность, на муки и страдания, с которыми приходится постоянно бороться. Мы сознаем, что наши духовные силы без помощи извне недостаточны. Молитва — это мольба о помощи; и, взывая о помощи, просящий полагает, что потенциальный помощник, к которому он обращается, сильнее, чем сам просящий. Можем ли мы с уверенностью обращаться за помощью к Богу, если мы не верим, что власть Бога неограниченна?

Ответ на этот вопрос, безусловно, заключается в том, что помимо мольбы к Богу мы постоянно обращаемся за помощью к людям и постоянно получаем ее; и наше признание очевидной истины, состоящей в том, что наши собратья — люди — отнюдь не всемогущи, не удерживает нас от обращения к ним за помощью, так же как ограниченность их власти не мешает им помогать нам, и помогать зачастую эффективно. В таком случае почему бы нам не искать помощи у обладающего всемогуществом Бога? И почему бы не найти у него ту помощь, которую мы ищем? В отношении Бога, к которому мы обращаемся с молитвой, нам необходима уверенность не в его абсолютном могуществе, а в его абсолютной доброте, ибо доброта — это единственная оправданная цель молитвы.

Могущество, конечно же, остается для нас важным отличительным свойством Бога, если мы обращаемся к Нему за милостью. Чем могущественнее Бог, тем больше у него возможностей оказывать милости — если он захочет это делать — просителям-людям. Всемогущий Бог обладал бы властью оказывать милости, далеко превосходящие все то, чего могут достигнуть своими усилиями человеческие существа. Молясь о них, человек молится о том, чтобы его эгоцентричные требования исполнялись в объеме, превышающем пределы возможностей человеческих действий без помощи извне. Человеческому существу присуще молиться ради обретения милостей, но, когда мы обращаемся к Богу с подобной молитвой, наше сознание советует нам отказаться от нее. Евангелие говорит нам, что если Иисус, пребывая в смертельной печали в Гефсиманском саду, молился: «Отче! если возможно, да минует Меня чаша сия», — то немедленно вслед за этими словами он продолжал: «Впрочем, не как Я хочу, а как Ты»*.

О чем мы действительно должны молиться, так это о том, чтобы возросли и укрепились и в нас самих, и во всех существах, и в Боге духовная преданность и нравственные силы, необходимые для того, чтобы помочь победить любви и праведности. Если оправданна хоть какая-нибудь эгоцентрическая молитва, то это могла бы быть мольба о более тесной связи с Богом ради обретения еще большей

* Мф. 26:39.

милости выполнять его волю и ради возможности принимать участие в его работе в такой бесконечной степени, в какой это укладывается в границы духовных возможностей человеческого существа. Бог, который вселюбящ, но не всемогущ, *не станет пренебрегать* слабой помощью человеческого существа.



НЕИЗБЕЖНОСТЬ И НЕАДЕКВАТНОСТЬ АНТРОПОМОРФИЗМА

Мольба направляется от одного человека к другому человеку. Это очевидно, когда призыв о помощи обращен к собрату — человеческому существу. И когда мы взываем к человеку о помощи, мы со всей очевидностью непосредственно общаемся с человеком, к которому апеллируем. Молитва к Богу по аналогии обращена к некоему «человеку», и сходство этой божественной личности с человеческой личностью будет казаться большим, если мы не будем считать, будто Бог, которому мы молимся, всемогущ.

Стремясь установить контакт с Богом, мы не можем не представлять себе Бога в нашем собственном, человеческом образе: наш человеческий опыт не располагает какой-нибудь более адекватной моделью, рисующей нам Бога. И тем не менее неадекватность этой человеческой модели бросается в глаза. Единственные личности, которых мы знаем из непосредственного опыта, — это смертные человеческие существа, обладающие физическими телами, но, кроме того, наделенные сознанием и волей, позволяющими им делать выбор. И все же практика молитвы подразумевает веру в то, что где-то внутри Вселенной или над ней существует некое нефизическое, нечеловеческое существо (или пантеон нечеловеческих существ), представляющее собой личность в человеческом смысле этого слова, и к тому же в форме, достаточно похожей на известную нам земную форму человеческой личности, чтобы могла стать осуществимой связь между нами и им, или ею, или ими.

Если Вселенная — это единое целое и если она к тому же фактически бесконечна, то вполне вероятно, что в других галактиках имеется бесконечное число других планет, которые могут быть обитаемы и населены существами, подобными по характеру чувств нашим человеческим существам. Если, однако, этот вопрос должен подвергнуться проверке при помощи научных знаний, то он уже не будет иметь отношение к вопросу о природе богов или Бога, которому мы, человеческие существа, молимся. Предположим, что мы преуспели в установлении контактов с этими гипотетическими человекообразными живыми творениями, и предположим, что мы

обратились к ним за помощью — тогда этот призыв о помощи был бы аналогичен нашим призывам о помощи, когда мы обращаемся друг к другу; он не был бы аналогичен нашей молитве о Божественной помощи.

Действительно, рисуемая нашим воображением картина богов или Бога не имеет аналога в воображаемых нами картинах гипотетических человекообразных существ, населяющих «иные миры». Наше представление о них создается и постоянно меняется на основе наших знаний о нас самих. Мы рисуем их себе как существа психосоматические, подобно нам самим не всемогущие и, скорее всего, как и мы, смертные. С другой стороны, рисуя себе богов или Бога, которому мы молимся, мы воображаем себе некое существо, соединившее в себе некоторые наши человеческие черты с такими особенностями, с которыми мы никогда не встречались на опыте. Мы рисуем себе своих богов как человеческие существа, как личности; и в то же время мы воображаем их себе бестелесными, а если и телесными, то вылепленными из иной глины, нежели человек. Мы также представляем их себе бессмертными, наделенными сверхчеловеческой силой. Если мы монотеисты, то представляем себе своего Бога всемогущим. Если мы политеисты, то воображаем, будто могущество каждого отдельного бога имеет предел, подобно могуществу местного человеческого суверена, только за счет равного ему могущества соперника. По сути дела, мы воображаем, будто боги или Бог — это личности, в определенных отношениях подобные нам самим, но в то же время «сверхчеловеки», «нечеловеки» и «недочеловеки»: «сверхчеловеки» по могуществу, «нечеловеки» — ибо не имеют телесного воплощения, «недочеловеки» — ибо используют свое сверхчеловеческое могущество, потворствуя, когда им этого хочется, сверхчеловеческим преступлениям и безрассудству. Такова греческая и индийская картина богов индоевропейского пантеона, и таков же представленный евреями портрет Яхве, судя по допророческим книгам Ветхого Завета.

Если подумать, то этот портрет божества настолько нравственно шокирует, что должен быть отвергнут человеческими существами, наделенными достаточным умом, чтобы критиковать, и обладающими смелостью, чтобы вынести свой приговор и объявить о нем. Греческие философы сделали гомеровского Зевса достойным уважения, понизив его статус до всего лишь личностной «первопричины»[1]. Западные деисты XVIII века в этом же направлении «откорректировали» Яхве[2]. Они признали интеллектуальную несостоятельность пророков Израиля и компромисс христианской Церкви, благодаря которому Яхве был преобразован из тирана в отца, не лишившись при этом своего всемогущества или возможности проявлять его в случаях нарушений им самим установленных законов.

Однако даже полное устранение морально не оправданных и неприемлемых особенностей в сверхчеловеческом образе богов или Бога не искоренило бы всех сложностей, связанных с этой концепцией. Главная сложность заключается в том, что в данной картине сочетаются элементы, сочетание которых мы не обнаруживаем нигде, исходя из своего опыта, в то время как некоторые из этих несочетающихся элементов не только находятся за пределами нашего опыта, но и несовместимы с ним.

Эту позицию можно проиллюстрировать, разобрав традиционный образ ангела. Перед нами воображаемое существо, которое, подобно кентавру, рисуют как млекопитающее позвоночное с шестью конечностями, как у насекомого, вместо четырех, как у позвоночного. В случае с кентавром мы признаем, что добавление этой лишней пары конечностей превращает его в чудовище, которое, как указывает Лукреций*, не существует и не могло существовать в реальной жизни. Ангел выглядел бы не менее чудовищным, если бы взгляд христианина мог лишить ангела тянущегося за ним облака славы.

Таким образом, если мы откроем глаза и взглянем правде в лицо, то обнаружим, что не в состоянии думать о Боге или богах, которым молимся, как о сверхчеловеческой личности или личностях. «Сверхчеловеческий» начинает означать «нечеловеческий» или даже «недочеловеческий». В поисках Божественного образа мы отброшены теперь назад к человеческой природе, какой мы ее знаем, судя по нашим собратьям, смертным психосоматическим человеческим существам, живущим на этой планете. Человеческие существа, обладающие наиболее высоким духом и известные нам из нашего опыта, — это святые. На западном конце Ойкумены к таковым мы относим Сократа, Иисуса, Франциска Ассизского. В людях, именуемых нами святыми, человеческая личность поднимается на духовную высоту, возвышаясь над уровнем рядовых человеческих существ. Но может быть, мы найдем среди этих святых человеческих существ божество, которое ищем? Мы можем обращаться к святым за вдохновением, за помощью и руководством, и мы это делаем. И тем не менее если мы спросим самих себя, верим ли мы, что человеческая природа, даже на исключительно высоком уровне святости, есть высшее духовное проявление во Вселенной, то мы обнаружим, что это представление слишком нелепо, чтобы в него можно было поверить.

Святые, как и все мы, прочие, — человеческие существа, а наше знание человеческой природы, исходя из собственного опыта и опыта наших собратьев, заставляет нас считать, что абсурдно видеть в человеке, даже достигшем самого высокого уровня, духовную вершину Вселенной. Большое значение имеет и то, что и сами святые мучатся

* *Лукреций.* О природе вещей. Кн. V, с. 878–881.

сознанием того, что они жалкие грешники. Их поступки, разумеется, неизмеримо лучше наших, однако те стандарты, по которым они оценивают поступки, непропорционально выше наших, причем низкая оценка святыми человеческой природы, какой они видят ее в себе самих, явно ближе к истине, чем наше относительное самодовольство. Духовные идеалы человека — так, как они представлены на высшем уровне, в чаяниях святых, — похоже, указывают на то, что внутри и вне Вселенной имеется духовное присутствие, незначительно превосходящее самые высокие духовные достижения человека.

Это заключение поддерживается христианской теологией. Последователи Иисуса настолько были поражены величием духа этого человека, что они не могли не преклоняться перед ним, как перед Богом. Однако, обожествив его, они обнаружили, что не могут больше думать о нем как о существе всего лишь человеческом, каким бы духовно возвышенным ни было это святое человеческое существо. Мужества Иисуса как такового недостаточно, чтобы вобрать в себя его очевидную божественность. Его поклонникам недостаточно иметь Бога, который был всего-навсего человеком. Их желание поклоняться ему вынуждает их видеть в нем человека, в котором воплотил себя трансцендентный Бог.

Каким образом должны мы рисовать себе Бога, парящего над вершинами духовного взлета человека и в то же время настолько подобного нам, простым смертным, чтобы быть в состоянии вступать с нами в контакт? Я не в состоянии понять это умом. Однако дважды мне удалось близко подойти к пониманию этой тайны; и приближения эти нельзя было назвать работой мысли, они ощущались как вспышки внутреннего видения или откровения. Оба раза это произошло со мной в момент величайшего духовного напряжения. Более ранний случай относится к тому времени, когда моя лучшая и моя худшая стороны находились в нравственном конфликте, причем лучшая сторона вынуждена была обороняться. Второй случай произошел в момент смерти — трагической смерти — моего собрата, близкого мне человека, жизнь которого была тесно связана с моей жизнью. В первом случае я ощутил, как трансцендентное духовное присутствие, выступающее за праведность, недоступную для меня, пришло мне на помощь и оказало моей недостаточной человеческой праведности поддержку, без которой она не смогла бы выиграть эту отчаянную битву. Во втором случае я ощутил, как то же самое трансцендентное духовное присутствие, выступающее за любовь, превосходящую мою или моего умирающего собрата, в тот ужасный момент отодвинуло в сторону завесу, обычно оставляющую нас в неведении относительно постоянной близости Бога к нам. Бог на мгновение открыл себя, чтобы дать безошибочное уверение в своем милосердии и прощении.

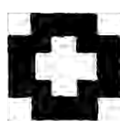
По всей видимости, этим двум случаям может быть дано не одно толкование, и не существует никакого поддающегося объективной оценке теста, чтобы решить, в равной мере убедительно для всех умов, какое же из этих толкований истинно. Те зрительные образы, которые эти незрительные впечатления оставили в моем мозгу, совершенно очевидно, уходят корнями в христианскую мифологию. В первом случае Бог явился ко мне под видом святого Георгия[3], во втором — он уподобил себя Микеланджелову видению Создателя, дающего жизнь Адаму[4]. Рационалист мог бы предположить, что в первом случае я облек в конкретную форму то, что в действительности было порождено внутренним психологическим конфликтом, а во втором случае я утешал себя обманчивым уверением в выполнении желания, ибо не смог бы перенести горя. Я не могу ни оспорить этого, ни согласиться с этим. И я не могу дать иного объяснения тому, что я пережил. Все, что я могу сказать, — это то, что в этих двух случаях я подошел ближе, чем когда-либо раньше, к тому, что я ощущаю как непосредственную встречу с божеством, которому мы адресуем наши человеческие молитвы.

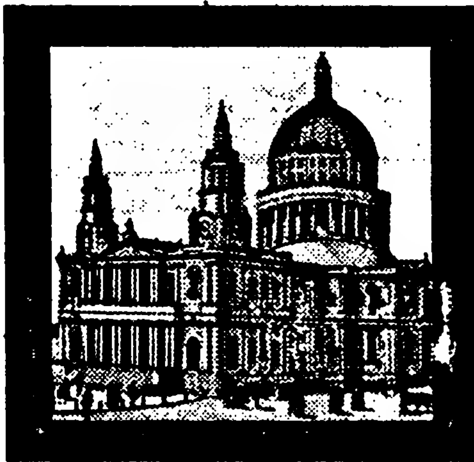
Человеческие существа, испытавшие свои человеческие духовные способности в высшей степени, говорят нам, что молитва, в том виде, в каком она совершается повсеместно, не является единственной или конечной формой между человеком и духовным присутствием, стоящим за Вселенной. Когда молитва-общение между человеческой личностью и божественной личностью достигает самого высокого градуса духовного напряжения, она превращается в переживание иного рода. На этом наивысшем духовном уровне личность становится трансцендентной, а вместе с нею преодолевается разъединение, являющееся ограничением личности. На этой надличностной духовной высоте переживания объединяют. На этой высоте Бог и человек не общаются друг с другом, потому что на этой высоте они идентичны. «Ты есть это». Надличностная основа бытия человеческого существа является надличностной основой конечной духовной реальности. На этой высоте личность остается позади, а вместе с нею и неразрешимая загадка божественной личности.

Похоже, что божественная природа, как и человеческая природа, обладает рядом различных граней, одной из которых является личность. Во всяком случае, в божественной природе число граней, может быть, бесконечно. Из этого, возможно, бесконечного ряда три грани включены в христианское представление божества как триединства.

Для политеистов христианство выглядит как унылый монотеизм; для Иоахима Флорского оно выглядело как аллегория исторического человеческого прогресса в направлении духовного просвещения[5] — и, конечно же, Иоахим был прав. Бог Отец представляет

концепцию Бога как надчеловеческой личности. Тирана больше нет; остался только отец. И тем не менее в первом лице христианской Троицы Бог — надчеловеческая личность по-прежнему узнаваем. Бог Сын представляет концепцию Бога как человеческой личности наиболее достижимой для человека духовной высоты. Однако во втором лице человечность Иисуса не смогла остаться нетронутой. Распятие символизирует абсолютное самопожертвование ради любви. Жизнь — это самое ценное, что может отдать человеческое существо, и когда оно отдает жизнь, то это дар окончательный. Для человеческого существа, исходя из человеческого опыта, нет никакой возможности воскресения после смерти, не говоря уже о вознесении в иной мир, мир, свободный от того зла, какое существует в этом мире. Венчая Распятие Воскресением и Вознесением, христианское кредо разочаровывает в жертвенности смерти Иисуса и тем самым снижает его духовный статус, вместо того чтобы повышать его. Тем не менее во втором лице Троицы Бог как святая человеческая личность по-прежнему узнаваем. В третьем лице Троицы мы встречаемся с надличностным духом, идентичным в Боге и Человеке, и на этом уровне преодолевается разъединение Бога и Человека. То же относится и к антропоморфизму, ибо, несмотря на то что в человеческой природе обнаруживается духовность, она не связана только с Человеком; она обнаруживается и в Божественной природе тоже, причем в Боге и в Человеке эта духовность одна и та же.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЛЮДСКИЕ ДЕЛА НА ПРОТЯЖЕНИИ МОЕЙ ЖИЗНИ



1. ЛЮДСКИЕ ДЕЛА И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА

В тот день, 12 января 1968 года, когда я начал писать эту часть книги, мне не хватало всего лишь трех с небольшим месяцев до семидесяти девяти лет, так что я прожил уже долгую жизнь, даже если соизмерять ее со средним показателем продолжительности жизни в развитых странах, где эта средняя продолжительность за недавнее время увеличилась благодаря поразительному прогрессу медицинской науки. Это увеличение продолжительности человеческой жизни в части мира совпадает по времени с ускорением хода перемен в людских делах, что характерно, пожалуй, для всего мира. Ход перемен ускорялся постоянно начиная с самого раннего периода, о котором у нас имеются какие-либо сведения. Однако при жизни моего поколения это ускорение достигло просто поразительного темпа.

«Людские дела» следует отличать от «человеческой природы». Разумеется, я не увидел на протяжении моей жизни никаких изменений в человеческой природе, и я бы не увидел их, если бы прожил такую долгую жизнь, какую приписывают мифическим персонажам Книги Бытия[1]. Без сомнения, природа человека некогда претерпевала изменения. Процесс, в ходе которого наши дочеловеческие предки становились людьми — обладателями сознания и воли, — был процессом глубоких перемен. На фоне перемен такого порядка даже самые быстрые и революционные последующие изменения в людских делах выглядят незначительными. Не существует, однако, никаких свидетельств того, что человеческая природа, обретя известную нам форму, продолжала изменяться и изменяется теперь. Можно допустить, что определенные изменения накапливаются, но происходит это настолько медленно, что изменение остается неза-

меченным не только на протяжении одной, даже самой долгой жизни, но и на протяжении всего периода всей документально подтвержденной истории. Вместе с тем вполне возможно, что человеческая природа остается статичной с тех самых пор, как она возникла. Некоторые особи живых существ, считающиеся наиболее древними — неизмеримо более древними, чем человечество, — по-прежнему существуют, и тем не менее, судя по тому, что нам известно об ископаемых, они, похоже, существуют сегодня в том самом виде, какой обрели первоначально. Таким образом, человеческая природа тоже, возможно, оставалась статичной в течение того значительно более короткого периода, какой до сих пор прожило человечество.

Если человечество во всем схоже с остальными формами жизни на этой планете, то людские дела могли бы изменяться не быстрее, чем человеческая природа, и если верно, что человеческая природа статична или практически статична, то людские дела тоже должны бы быть статичны. Для живых существ, обитающих на нашей планете, характерно распространять свои образ жизни и поведение, как и свои психосоматические особенности, почти исключительно путем физического воспроизводства своего вида, благодаря чему от поколения к поколению неизменно воспроизводится один и тот же образец. Человеческий психосоматический типаж воспроизводится при помощи того же физического механизма и с той же аккуратностью. Однако психический аспект человеческой природы представляется уникальным в том, что он не полностью подсознателен. В Человеке уровень подсознания перекрывается сознанием и волей. Этот специфически и исключительно человеческий дар в области психики позволил человеку создать культуру (как в физическом, так и в духовном смысле слова), а культура передается не путем физического воспроизводства, а посредством образования.

Культура и образование, в отличие от природы и воспроизводства, лежат в области сóзнания и воли. Отсюда следует, что передача культуры путем образования не является процессом автоматическим и точным. Культурное наследие человеческого общества может быть намеренно видоизменено передающим поколением, или принимающим поколением, или и тем и другим вместе. Действительно, культура в отличие от природы настолько гибкая, нестабильная и неустойчивая субстанция, что, даже если передающее и принимающее поколения задумали сохранить культуру общества неизменной, она все равно изменится в процессе передачи, несмотря на единодушное стремление сохранить ее статичной.

Язык, например, будет изменяться от одного поколения к другому, даже если каждое последующее поколение сделает все, чтобы сохранить этот язык «замороженным» в некоей древней форме, которую принято было рассматривать как «классическую», то есть

неприкосновенную. Народ, который пытается сохранить санскрит, в конце концов обнаруживает, что говорит на одном из пракритов; народ, который пытается сохранить латынь, обнаруживает, что говорит на одном из романских языков[2]. В самом деле, для человечества так же невозможно сохранить свою культуру статичной, как невозможно изменить свою (или любых других разновидностей жизни) природу. Человек не более способен «заморозить» свой язык или какие бы то ни было элементы своей культуры — например, обычаи, идеи, идеалы, — чем он способен добавить еще одну локтевую кость к своему телу или изменить цвет своей кожи. Культурные феномены — явления, именно в силу своей принадлежности к области культуры пребывающие в постоянном движении, — это то, что я в этой книге объединяю категорией «людские дела».

Поскольку человек — животное общественное, и людские дела — общественны. Поскольку человеческие существа — творения, наделенные сознанием и волей, и поскольку часто наиболее важный выбор, сделанный человеком, не может не влиять на жизнь других людей, человеческие существа неизбежно выносят суждения о поведении друг друга с точки зрения нравственности. В самом деле, каждый из нас выносит суждение не только о поступках других людей, но и о собственных поступках. Каждое человеческое существо слышит предостережения своего внутреннего голоса; оно может к нему не прислушаться, но оно не в состоянии заставить его умолкнуть. Каждый из нас в определенной мере ответственен, лично и индивидуально, за социальные последствия как своих собственных поступков, так и поступков современников. И на протяжении моей жизни эта ответственность вышла за пределы семьи конкретного человека и того политического и религиозного сообщества, к которому он принадлежит, и распространилась на все ныне живущее человечество, поскольку вследствие «уничтожения расстояния» благодаря техническому прогрессу все человечество теперь связано — на счастье или на горе — в единое мировое сообщество.

Каждый, кто наблюдает в наше время людские дела, уже одним этим участвует в них и, таким образом, вовлечен в них морально. Действительно, каждый из нас вовлечен морально во все людские дела, которые находятся в пределах наших знаний, включая те, что стали свершившимися фактами, прежде чем родился сам наблюдатель-участник и прежде чем он достиг возраста, когда стал ответственным членом общества. Эта моральная вовлеченность исключает возможность наблюдать людские дела с любопытством морального и эмоционального безразличия, с каким ученый наблюдает процессы, происходящие в природе, как исключает и чисто утилитарный подход, с каким технический специалист изучает неживую природу, с тем чтобы заставить ее служить человеческим целям — будь то добрым или злым.

Моральная вовлеченность исключает возможность наблюдать людские дела по-научному отвлеченно и объективно. В то же время общеизвестно, что на суждение наблюдателя влияет его возраст. Влияет непременно, как бы бдительно он ни остерегался этого возрастного пристрастия.

В том возрасте, когда человек только входит во взрослый мир, его взгляд чаще бывает неоправданно оптимистическим. Несомненно, он будет не удовлетворен тем состоянием, в каком мир вручен ему предшественниками; особенно это касается родителей. В то же время он будет испытывать уверенность в том, что сам он сможет действовать лучше, чем действовали они. Неадекватность их свершений объясняется, по поспешно составленному мнению их молодого преемника, допущенными ими ошибками, которых, как он считает, легко было избежать. Представитель нового поколения ожидает, что он и его современники будут в состоянии наконец впервые в истории преобразовать полученное ими несовершенное наследие в земной рай. Давящий груз накопленных традиций, препятствующий быстрому движению вперед по новым, непроторенным тропам, обнаруживает свою угнетающую роль лишь постепенно. Прозрение приходит с опытом, избавляющим от иллюзий.

В старости, напротив, взгляд человека на мир может быть неоправданно пессимистическим. Жить в незнакомом мире трудно и болезненно. В юности человек может позволить себе критически относиться к миру, в котором он вырос, и он принимает близкое знакомство с этим миром как нечто само собой разумеющееся. Он готов изменить его, активно пытается это сделать, и лишь позже придет разочарование медлительностью перемен и их незначительностью. В старости же он вдруг обнаруживает, что он уже не впереди всего Мира. Более того, он теперь обнаружит, что Мир обгоняет его, неумолимо опережая его собственный замедляющийся шаг. И по мере того как он все больше и больше отстает, мир, в котором он продолжает жить, становится для него все менее и менее знакомым.

Это одно из неизбежных испытаний старости во все времена и во всех местах. Оно настигает старость даже на той фазе развития общества, на которой количество перемен в людских делах минимально. При поколении Ун-Амуна в XI веке до н. э. египетская культура, кажется, была настолько статичной, насколько может быть статичной какая бы то ни было человеческая культура. И тем не менее если бы Ун-Амун дожил до моего возраста, то даже он почувствовал бы, по крайней мере в определенной степени, неудобство от того, что продолжает жить в частично незнакомом мире[3]. Мне в отличие от Ун-Амуна довелось жить в такое время и в таком месте, когда и где поступь перемен была как никогда значительной и ощутимой. Более того, мои собственные темперамент и склад ума

оказались таковы, что перемены в людских делах, происходящие в наше время, задевают и тревожат меня больше, чем многих моих современников. Особенно я не люблю механизмы и совершенно не умею с ними обращаться. (Мое отвращение к ним и неспособность обращаться взаимосвязаны и образуют порочный круг.) Следствием этого — для меня в особенности, но, без сомнения, также и для многих моих сверстников — является то, что мир 1969 года нам даже более незнаком, тягостен и неприятен, чем это было бы, перешагни мы восьмидесятилетний рубеж в другую эпоху.

Растущая неспособность в пожилом возрасте идти в ногу с меняющимся миром порождает еще одно возрастное пристрастие, с которым приходится считаться, как приходится считаться с противоположным ему юношеским возрастным пристрастием. Все, что для человека трудно или болезненно, неизменно кажется ему плохим, и, возможно, это действительно плохо для него как для индивидуума; но этот его индивидуальный опыт ни в коей мере не служит свидетельством того, что перемены, которые он, оказывается, не в силах принять, плохи также для людей младшего возраста или плохи по своей сути.

Соответственно, все пессимистические суждения, которые содержатся в этой книге, должны рассматриваться критически и мною, и моими читателями. Они могут оказаться оправданными; могут найти подтверждение в приговоре потомков; если со мной согласятся поколения моих детей и внуков, то этот консенсус трех поколений подтвердит предположение, что мои пессимистические выводы не слишком далеко отклонились от истины. В то же время мне самому невозможно оценить, насколько мой пессимизм — в той мере, в которой я теперь пессимист, — действительно оправдан и насколько его следует не принимать в расчет как иллюзорное воздействие той особой формы, какую принимает на последней фазе жизни возрастное пристрастие.

Разумеется, эта необходимость рассматривать и, пожалуй, корректировать мои пессимистические суждения имеет свою оборотную сторону. Мои оптимистические суждения могут приниматься с определенной долей уверенности как, скорее всего, обоснованные. Я вынес их несмотря на мое возрастное пристрастие, а не благодаря ему, и это может служить предварительным свидетельством того, что я прав.



2. ВИКТОРИАНСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ СТАБИЛЬНОСТИ РАЗБИВАЕТСЯ ВДРЕБЕЗГИ

К августу 1914 года, когда разразилась Первая мировая война, я уже в течение двух лет зарабатывал себе на жизнь. Мне шел двадцать шестой год, и я был преподавателем, или «доном», в Оксфорде.

Честно заработанные деньги тогда не сводились на нет из-за изменяющейся ставки подоходного налога, а налог на наследство был недавним изобретением.

В преобладании «независимых доходов» у британского среднего класса поздневикторианского периода заключалась слабость самого этого среднего класса и всей нации в целом. Конечно, некоторые из тех, кто унаследовал «независимые доходы», использовали их на невыгодные с финансовой точки зрения, но ценные с точки зрения общественных интересов и культуры дела. В детстве я встречал таких сознательных, патриотически настроенных состоятельных англичан поздневикторианской эпохи, которые нашли приложение своих сил и средств, бесплатно работая на Общество благотворительных организаций[3]. Возможности всех живых существ так или иначе ограничены. Эти добровольно работающие на общее благо представители британского среднего класса (а также аристократии), конечно, распространяли свою благотворительность в определенных пределах, ибо возможности их были все-таки весьма ограниченными. И тем не менее они были солью Земли, и, между прочим, в значительной степени благодаря им Великобритания эпохи королевы Виктории внесла свой вклад в общее культурное наследие человечества. Однако в человеческой природе заложена тенденция избегать работы — или по крайней мере избегать очень тяжелой работы, тем более если ты владеешь «независимым доходом», который освобождает тебя от заповеди святого Павла: «Если кто не хочет трудиться, тот не ешь» [2 Фес. 3:10]. Для человеческого существа, не обладающего чрезвычайным трудолюбием или высокой сознательностью, «независимые доходы», подобно расслабляющей щедрости тропического климата, неблагоприятны, поскольку не способствуют деятельной жизни. А к 1914 году Соединенное Королевство ни в коем случае не могло позволить себе почивать на лаврах.

Уже тогда, когда мои родители были детьми, Великобритания начала лишаться своего привилегированного положения, приносившего ей чрезвычайно высокие прибыли приблизительно в течение столетия и позволявшего ей называться «мастерской мира». После 1865 года серьезным соперником в области промышленности стали для Великобритании Соединенные Штаты, а после 1871 года — Германия[4]. И к тому времени, когда я стал разбираться в людских делах, британская промышленность уже слышала за своей спиной «летящую на крыльях Времени колесницу, которая догоняла ее»[5]. Британская промышленность неохотно осознала силу соперничающей германской промышленности, а осознав, отреагировала на брошенный ей вызов неправильно.

Британским предпринимателям следовало признать правду: успех их германских соперников обеспечен сочетанием упорного труда

с высоким интеллектом. Немцы были пионерами в области приложения научных достижений к развитию техники. Если бы англичане правильно восприняли преподанный им урок, то они принялись бы изучать новые и более совершенные немецкие методы, с тем чтобы применить их на практике. Если бы англичане оказались достаточно внимательными и энергичными и нашли свой положительный Ответ на Вызов, то они могли бы великодушно признать, что немцы честно заслужили свой успех и соревноваться с ними надлежит без недоброжелательства. К несчастью, реакция возмущенных английских предпринимателей была отрицательной. Вместо того чтобы стремиться выиграть соперничество с немцами, делая ставку на упорный труд и повышение производительности, они старались отразить удар, заставляя своих соотечественников расплачиваться за медленное развитие британской промышленности. Англичане вынуждены были покупать более дорогие британские товары вместо более дешевых германских. Британские предприниматели взывали к националистическим чувствам англичан. Они добились принятия законодательного акта, согласно которому на германских промышленных товарах, ввозимых в Великобританию, должно было значиться: «Сделано в Германии».

Это требование Великобритании не было совсем уж неоправданным. Германская промышленность — да и американская промышленность тоже — набирала мощь под защитой высоких тарифных стен, обеспечивавших на внутреннем рынке искусственное преимущество германским товарам перед британским импортом. В то же время британский народ в тот период невозможно было убедить отказаться от принципа свободной торговли. Тем не менее требование ставить фабричное клеймо на ввозимых в Великобританию германских товарах было оскорбительным, а в мое время это оружие стало обоюдоострым. Качество германских товаров улучшилось, а цены на них по-прежнему оставались демпинговыми. Вследствие чего слова «Сделано в Германии», задуманные в качестве акта политического сдерживания, стали служить экономическим стимулом, выступая в роли гарантии высокого качества.

Неудивительно, что германский ответ на британскую реакцию на германское соперничество выразился в негодовании, усиленном презрением. Таким образом, неверную реакцию Великобритании на вызов Германии нельзя не учитывать как одну из причин Первой мировой войны, даже если признавать, что главными ее причинами послужили ошибки германского народа. Потрясающий рост благосостояния Германии, ее населения и мощи начиная с 1871 года вскружил немцам голову; успехи прусского милитаризма ослепили немцев и отдали их в ловкие, но надежные и твердые руки Бисмарка, а достижение политического единства Германии открыло ей путь к

последующему экономическому прогрессу; и вот после Бисмарка и в небисмарковском духе германский народ в конце концов предпринял в 1914 году тот пагубный шаг[6], который нельзя не оценивать как моральное преступление и величайшую ошибку как в политической, так и в военной областях. Одним-единственным ударом меча они стремились обеспечить себе «место под солнцем», тогда как, сохранив мир, они отвоевали бы себе куда больше, действуя честными и цивилизованными методами экономического соперничества. А к 1914 году метод уже продемонстрировал свою действенность.

Я родился меньше чем через год после того дня (15 июня 1888 года), когда кайзер Вильгельм II[7] вступил на престол, и одно из моих ранних ощущений — беспокойство моих родителей, которое передавалось и мне, когда время от времени утренняя газета приносила новости о каком-нибудь очередном провокационном заявлении или поступке «этого безответственного молодого человека». Мои родители не ошибались в своей оценке кайзера. В то же время я сомневаюсь, сознавали ли они, что они сами и их соотечественники несут кое-какую долю вины за особенно враждебное отношение Германии к Великобритании, виня во всем лишь германскую заносчивость и агрессивность.

У моего отца не было никаких связей с миром предпринимательства. Его отец был врачом — первым в Лондоне отоларингологом, — а его дед был фермером. Когда успешная профессиональная карьера моего деда так трагически прервалась (он случайно убил себя, проводя на себе опыты с обезболивающими средствами), отца устроили работать в фирму, импортирующую чай. Однако его очень угнетала мысль о том, что он всю жизнь вынужден будет работать ради куска хлеба, без какого-либо морального удовлетворения от труда. И скоро он нашел подходящую для себя работу в филантропической организации Общества благотворительности. Организация эта существовала на пожертвования частных лиц, и платили там очень мало даже по сравнению с государственными служащими. По стандартам британского среднего класса поздней викторианской эпохи мои родители были бедны, но, подобно другим людям с таким же уровнем доходов и принадлежащим к тому же классу общества, они были достаточно обеспечены, чтобы дать своим детям наилучшее образование из того, что было возможно в то время в Великобритании, — впрочем, только при двух условиях: дети должны были обладать определенными способностями и быть приучены к упорному труду. Для способного ребенка, выросшего в семье, занимающей такое положение, знание того, что его будущее зависит от его собственных усилий, служило стимулом к тому, чтобы приложить все старания.

В одной из предыдущих глав этой книги я уже описал мой собственный опыт, когда я карабкался, ступенька за ступенькой, по

образовательной лестнице викторианского английского среднего класса. Этот подъем требовал большого напряжения и затягивался на долгие годы, однако если в конце концов человек становился, скажем, научным сотрудником Бейллиол-колледжа в Оксфорде, то его будущая жизнь была фактически обеспечена, если только он по безответственности не лишался всего этого из-за лености или дурного поведения. Я уже упоминал о том, что худшее, что могло ожидать выпускника Бейллиол-колледжа до августа 1914 года, — это место служащего в Индийской гражданской службе. Места в этой службе, так же как стипендии в привилегированные школы и в колледжи Оксфорда и Кембриджа, получали по сдаче конкурсного экзамена, и конкурс в данном случае на место в администрации был весьма высоким, ибо штат Индийской гражданской службы (ИГС) при правлении Великобритании был поразительно мал для администрации целого субконтинента. Для мальчика, родившегося в семье, принадлежащей к среднему классу, и вынужденного пробивать себе дорогу вверх по лестнице британского высшего образования, это была исключительно привлекательная перспектива.

Поступающий на службу подписывал контракт с правительством Индии, и это был весьма детально продуманный контракт, гарантирующий служащему стабильное и надежное будущее. Соискатель мог с уверенностью предвидеть, что по крайней мере в таком-то возрасте он сможет позволить себе жениться, а затем по истечении определенного срока выйдет в отставку, вернется с семьей жить в Челтнем или Бедфорд и будет получать пенсию, достаточно высокую, чтобы обеспечить детям приличное образование, а ему и его жене достойные условия жизни до самой их смерти. Разумеется, отличившийся служащий ИГС в конечном счете мог рассчитывать стать вице-губернатором одной из провинций с населением пятьдесят или семьдесят миллионов душ. ИГС символизировала фантастическую надежность устройства жизни среднего класса в Соединенном Королевстве в позднюю викторианскую эпоху. Именно безопасность английского среднего класса разлетелась вдребезги в августе 1914-го.

Мне не пришлось сдавать экзамен на поступление в штат ИГС. Прежде чем я сдал последний экзамен в университете, я уже был назначен членом Совета с проведением практических занятий в моем колледже. Однако к этому времени я вполне осознавал тот факт, что карьера в ИГС фактически обеспечена любому выпускнику Бейллиола. Это заставило меня почувствовать, что я был представителем особого общественного класса в особой стране, где меньшинство наделено весьма ощутимыми привилегиями.

Формально любой британский подданный имел право сдавать экзамен на право стать государственным служащим — вне зависимости от его расовой принадлежности или того, в каком месте, осененном

британским флагом, он родился. Однако экзамен, предназначенный для отбора кадров во все отделы высшего подразделения государственной службы, проводился в Лондоне; язык, на котором его нужно было сдавать, был английский; при этом латынь и греческий входили в число предметов, за которые желательно было получить самые высокие баллы. Таким образом, индийскому британскому подданному создавались — и не преднамеренно — серьезные препятствия в его конкуренции с коренным жителем Соединенного Королевства. Индийский кандидат не только сам должен был быть достойным соперником своего европейского конкурента, но, кроме того, его семья должна была быть достаточно богата, чтобы финансировать его путешествие из Индии в Лондон для сдачи экзаменов, не говоря уже о том, чтобы предварительно дать ему дорогостоящее образование, отвечающее британским требованиям. Более того, если семья индийского кандидата принадлежала к индусам и к тому же к высшей касте, то им пришлось бы нарушить традиционный религиозный запрет на путешествие за пределы Индии, и особенно на плавание по морю.

Иными словами, высшие эшелоны государственной службы оставались недоступными для огромного большинства моих соотечественников; и для меня тоже они были бы закрыты, если бы финансовые возможности моих родителей оказались немного ниже, чем они были, и если бы сам я оказался немного менее способным и менее трудолюбивым, чем я был. Дипломатическая служба была фактически недоступна для меня, поскольку на тот момент одним из условий принятия на нее было владение частным доходом не менее 400 фунтов стерлингов в год, а именно столько зарабатывал за год мой отец. С течением времени я осознал, что, если бы мне не удалось преодолеть тот крутой подъем, который я взял, открывающиеся передо мной перспективы оказались бы значительно менее приятными, а потолок, которого я мог бы достичь, был куда более низким.

Постепенно я пришел к сначала смутному, а в конечном счете острому пониманию того, что я родился в обществе, где неравенство в распределении власти, благосостояния и возможностей имеет просто потрясающие масштабы. Ребенком я страшно расстраивался, когда видел детей моего возраста, плохо одетых и, судя по их виду, недоедающих. Будучи студентом, я испытывал угрызения совести, когда встречал студентов из Раскин-колледжа (который содержится на профсоюзные и частично государственные средства. — *Ред.*). Этот колледж для выходцев из семей промышленных рабочих в то время находился в Оксфорде, но не принадлежал к нему. Он не был частью Оксфордского университета, и его студенты почти не имели доступа к благам университетской жизни. Раскинские студенты, я думаю, чувствовали бы себя менее ущемленными

и оскорбленными, если бы их колледж находился не в Оксфорде, а, скажем, в Варингтоне. Мне был предоставлен доступ ко всем возможностям и благам студенческой жизни, которые предоставлял университет; я получил этот доступ только частично благодаря своим собственным способностям и приложенным мною усилиям. Но все мои способности и усилия были бы сведены на нет, если бы моя семья по своим доходам и социальному статусу принадлежала не к «среднему классу», а к «рабочему классу». И лишь ничтожное меньшинство, к которому принадлежал и я, пользовалось привилегией получить образование высшей категории, тогда как оно должно быть доступно каждому, кто способен извлечь из него пользу. А между тем значительная часть того меньшинства, которое пользовалось этой привилегией, не обладала должными способностями. Они пользовались этой привилегией, потому что их родители могли позволить себе полностью оплатить стоимость обучения.

Социальное неравенство в обществе очень наглядно демонстрируется тем, насколько широко в нем применяется такой непродуктивный труд, как труд домашней прислуги. По стандартам британского среднего класса мои родители были бедны, и тем не менее у них всегда были кухарка и служанка, живущая в доме и занятая полный рабочий день. Кроме того, когда я родился, они взяли для меня няню. В одной из предыдущих глав я упоминал о том, что, когда мне было четыре года, мой отец объяснил матери, что содержать няню нам не по средствам и без нее можно обойтись, а моя мать уговорила отца позволить держать няню еще год при условии, что мать заработает деньги для уплаты няне (20 фунтов стерлингов в год), написав учебник. Но едва мне исполнилось пять лет, няня была уволена и заботу обо мне взяла на себя моя мать. Следующие три года я провел в тесном общении с нею, если не считать того времени, когда ее заменяла служанка, работавшая неполный рабочий день в качестве няни. Это были счастливейшие годы для меня. Я не просто любил свою мать, но испытывал потребность в ее уме, ее знаниях. В свое время она была студенткой Ньюнем-колледжа в Кембридже и блестяще сдала публичный экзамен по истории на степень бакалавра. Но когда родилась старшая из моих двух сестер, я испытал потрясение, обнаружив, что, хотя моя мать и любила меня так же сильно, как я ее, забота обо мне обременяла ее (вероятно, и потому, как я теперь догадываюсь, что служила препятствием для ее общественной жизни), и она рада была от нее избавиться.

Одним из следствий рождения еще одного ребенка явилась новая няня, и меня теперь отправляли гулять с няней, ребенком* и

* Дж. М. К. Тойнби, в 1969 году — заслуженный профессор (в отставке) классической археологии Кембриджского университета.

детской коляской, вместо того чтобы я гулял с мамой, как это было прежде. Я с горечью негодовал как по поводу того, что лишился общества моей матери, так и по поводу понижения моего собственного статуса — меня уже не устраивала роль ребенка в подчинении у няни. (Когда мне было пять лет, я любил свою няню и горько плакал, когда она ушла.) Когда родилась моя вторая сестра, взяли еще помощницу няни. Мои родители могли теперь это себе позволить, поскольку к этому времени умерла моя бабушка со стороны отца, завещав своим восьмерым детям и одной невестке «независимые доходы», что составило примерно триста фунтов стерлингов годового дохода на каждого. Это значительное состояние было собрано моим дедушкой до его преждевременной смерти.

Я сам, даже после Первой мировой войны, имел как минимум двух слуг, а иногда и трех. У моей жены были кое-какие «независимые доходы», и тем не менее я постоянно находился в крайне затруднительном финансовом положении, вынужденный работать как можно больше, чтобы платить жалованье двум слугам, содержать дом и платить за обучение моих детей в школах-интернатах. В Великобритании в период между двумя мировыми войнами процент населения, занятого трудом домашней прислуги, был еще очень высок. После того как разразилась Вторая мировая война, одна молодая женщина, которая работала со мной на временной государственной службе, рассказала мне такую историю. У ее бабушки (аристократки) было на тот момент семнадцать слуг. И вот, после падения Франции, младшая помощница судомойки заявляет как-то своей хозяйке, что считает теперь своим долгом отказаться от работы домашней прислуги, так как чувствует себя обязанной работать на нужды войны. За свою боевитость и патриотизм девушка заработала выговор от своей старомодно мыслящей «госпожи». Ей объяснили, что самая подходящая работа на нужды войны, какую она может выполнять, — это продолжать занимать то положение в жизни, на которое Бог соблаговолил призвать ее; причем дом, где происходил этот разговор, находился в графстве Кент, а время, когда он происходил, — накануне ожидаемой Битвы за Британию[8] с перспективой высадки германского десанта! Через две недели все семнадцать слуг этого дома будут принудительно мобилизованы. Мне не довелось узнать, как несознательная старая леди отреагировала на столь грубое нарушение ее прав, как она, должно быть, это расценила. Подозреваю, что она отнесла это на счет социалистов. Лейбористская партия официально считалась социалистической, а в тот период она объединила свои силы с консервативной партией, чтобы сформировать общенациональное правительство на период войны.

Еще более странно то, что труд домашней прислуги выжил во время войны в Германии. Гитлеру и в голову не пришло мобилизовать

немецких женщин, как Черчилль и его коллеги мобилизовали английских. Правда, Гитлер обрек на подневольный труд население всех временно захваченных Германией стран. На протяжении всей войны Гитлер недооценивал степень военных усилий, которые необходимо было предпринять Германии. После того как Япония своим нападением на американский флот в Пёрл-Харборе ввергла Соединенные Штаты в войну[9], Япония и Германия были, несомненно, в любом случае обречены на поражение вследствие этого безумного японского акта. Япония совершенно бессмысленно бросила на чашу весов противника огромную мощь военного потенциала Соединенных Штатов. Единственный оставшийся у Германии шанс — если у нее еще оставался хоть какой-нибудь шанс — состоял в мобилизации всего женского работоспособного населения наряду с мужским столь же решительно, сколь Великобритания мобилизовала своих женщин. К счастью, Гитлер был так же слеп в отношении реальностей войны, как и английская аристократка — бабушка моей коллеги.

Разумеется, до 1914 года привилегиями пользовались не только аристократия и средний класс Великобритании. В других западных странах по обе стороны Атлантики, как и в Австралии и Новой Зеландии, также были привилегированные классы. В Соединенных Штатах, как и в Европе, тоже были аристократы. Одним из них был Франклин Делано Рузвельт[10]. Западные промышленные и сельскохозяйственные рабочие тоже находились в привилегированном положении по сравнению с их коллегами в Азии, Африке и тех латиноамериканских странах (а их было большинство), где население было преимущественно индейского или негритянского происхождения. Среди катастрофически нищего латиноамериканского, азиатского и африканского населения процветала кучка постыдно пользовавшихся привилегиями людей, которые были богаче едва ли не всех западных вельмож и миллионеров. Латиноамериканские латифундисты и индийские правители «туземных княжеств»[11] буквально купались в деньгах, тратя их большей частью на экстравагантную роскошь для себя и своих семей. Цивильный лист[12] турецкого султана, я полагаю, куда длиннее, чем цивильный лист Виктории, хотя Виктория не только была королевой, но и стала императрицей задолго до конца своего правления.

До 1914 года эти исключительные привилегии, монополизированные крошечным меньшинством населения мира, странным образом сосуществовали со стабильностью, которая, казалось, прочно утвердилась в большинстве стран. Можно было бы ожидать, что эти две стороны положения дел в мире несовместимы друг с другом, и тем не менее они не только мирно уживались в викторианскую эпоху, но и существовали в других обществах в течение значительно более

долгого периода времени. Наиболее стабильным и долгоживущим обществом можно считать Египет. Он выжил в течение более чем трех тысяч лет. За ним по стабильности и длительности существования следует китайское общество. В обоих обществах распределение власти, благосостояния и возможностей всегда было еще более вопиющим и несправедливым, чем в викторианском мире. Объяснение заключается в том, что со времени расцвета цивилизации около пяти тысяч лет назад эксплуатируемые массы населения приучались к покорности.

Однако сама по себе человеческая природа не отличается полной покорностью. В ней есть склонность к упрямству, которая обнаруживает себя, когда угнетение и несправедливость становятся для людей невыносимыми. Для человеческих существ дисциплина не является внутренне присущей чертой. Ее следует принимать в расчет лишь как привычку, а привычки в отличие от инстинктов могут разрушаться. С 1914 года привычка к покорности стала разрушаться по всему миру. Западный рабочий класс отказывается зарабатывать себе на жизнь в качестве домашней прислуги, а те, кто работает на промышленных предприятиях, хронически готовы начать забастовку. Не принадлежащее к Западному миру большинство человечества дружно восстало против западного господства. Свергнув своих туземных правителей и обложив налогами местную плутократию, они проявили себя куда более решительными, нежели это мог себе позволить западный колониальный режим. И это отнюдь не мутация человеческой природы; это всего лишь расставание с человеческой привычкой, возраст которой, вероятно, не превышает пяти тысяч лет. И именно это изменение привычки оказало революционизирующее влияние на ход людских дел. Вместе с тем до 1914 года стабильность, то есть отсутствие бунтарской активности, оставалась выдающейся особенностью общественного ландшафта — причем она наблюдалась по всему миру и почти во всех областях человеческой деятельности. К августу 1914 года уже миновало сорок три года относительной политической стабильности мира, что представляло собой разительный и внушающий надежды контраст с непосредственно предшествующими этому периоду беспокойными, бурными годами — с 1848 по 1871-й. Международными политическими делами управляла (хотя и весьма рискованно, как доказали следующие события) горстка людей, стоявших у власти в Лондоне, Париже, Вене, Риме, Санкт-Петербурге, Вашингтоне и Токио. Правители в Вашингтоне и Токио вступали в международную политическую игру, лишь когда события каким-то образом затрагивали регионы, которые, как они считали, находятся в сфере их интересов. Мировыми финансовыми делами заправляли (пожалуй, менее рискованно) несколько человек, стоявших у власти в Лондоне, Париже и Нью-Йорке.

Мне лично временная финансовая стабильность в мире оказалась на пользу. Она позволила мне в 1911 –1912 годах совершить длительные и плодотворные заграничные путешествия, о чем я уже подробно писал выше.

Британские, французские и американские золотые монеты принимались тогда повсюду в мире и по стабильному курсу обменивались в любой стране. В Великобритании до изъятия из обращения золотых монет, что произошло, когда разразилась Первая мировая война, единственной бумажной купюрой, которую кто-либо когда-либо видел, была банкнота в пять фунтов стерлингов.

Более того, свобода передвижения, законность и порядок, без которых этой свободой трудно было бы воспользоваться, преобладали в 1911— 1912 годах на большей части поверхности земного шара, и это явилось следствием быстрой экспансии суверенной власти западных держав над незападными странами.

Странами, по-прежнему остававшимися нестабильными, были не сами западные страны и не те, что находились под управлением западных держав; это были страны, сохранившие свою независимость и внутренне сопротивлявшиеся западному образу жизни. Наиболее заметными из этих по-прежнему нестабильных стран были Россия, Турция, Иран и Китай. Все еще нестабильными западными странами оставались и некоторые страны Латинской Америки, а самыми нестабильными латиноамериканскими странами были те, в которых Западная цивилизация оставалась не более чем простой видимостью. Из прочих нестабильных стран Россия первой начала перестраивать себя на западный лад (еще два столетия назад, во время царствования Петра Великого), и к 1914 году она прошла по этому пути гораздо дальше, чем Турция, и значительно дальше, чем Иран или Китай. Тем не менее политический режим в России оставался деспотически самодержавным — с 1825 года страна кипела революционными возмущениями, направленными против самодержавия. Деловую активность западного типа Россия успешно проявила уже в XIX столетии, ловко захватывая и усмиряя народы Кавказа и Западного Туркестана[13]. Однако успехи эти носили ограниченный характер, и уже в 1904–1905 годах Россию разгромила Япония.

Япония не была страной Западного мира и никогда не находилась под западным правлением, но с 1868 года она стала активно и целенаправленно перестраивать себя по западному образцу и в 1904 году продемонстрировала, что на этом трудном пути «окультуривания» она добилась больших успехов, чем Россия. Япония была не единственной восточноазиатской страной, которая деловито и за короткий срок приобрела западный облик. То же самое и в тот же период удалось проделать Таиланду. На рубеже XIX и XX веков Таиланд, как и Япония, относился к стабильной части мира, куда

входили также Афганистан, Абиссиния (Эфиопия) и Мексика. Подобно Японии и Таиланду, эти страны обрели свою стабильность не благодаря тому, что были «озападнены», а благодаря тому, что в каждой из них пришел к власти самодержец, который был не просто деспотом, а еще и умным деловым человеком. Этими тремя замечательными правителями были эмир Абдуррахман в Афганистане, император Менелик в Эфиопии и диктатор Порфирио Диас в Мексике[14].

Таково было положение дел в мире в то время, когда я подрастал. Господствовали безопасность и стабильность, и все выглядело так, словно люди моего возраста доживут до того времени, когда эти два комфортных обстоятельства станут превалировать во всем мире. Предполагалось также, как само собой разумеющееся, что грядущий мировой порядок воцарится во всем мире в облике Западной цивилизации. Почти все жители западных стран — а также многие из тех, кто жил в незападных странах, включая и тех, кому эта перспектива не нравилась, — не сомневались в том, что Западная цивилизация прошла, чтобы остаться. До 1914 года жители западных стран, и больше всех англичане, чувствовали себя не такими, как другие люди. Жители западных стран считали себя «цивилизованными», видя во всех остальных лишь туземцев. Даже китайцы, которые были когда-то самым цивилизованным народом — и, кстати, были таковым в глазах половины мира, — стали «туземцами», после того как Китай потерпел поражение в Опиумной войне. Другие цивилизации поднимались и рушились, приходили и уходили, но жители западных стран не сомневались в том, что их собственная цивилизация неуязвима. Дом, который построил Джек Франк[15], был построен на скале; дома, которые строили преемники Джека и его соперники, были построены на песке.

Тот факт, что греческая цивилизация закатилась и Римская империя пришла в упадок и в конце концов пала, разумеется, хорошо известен жителям западных стран, особенно моим сверстникам, получившим отличное образование по греческому и латинскому языкам и литературе, — образование, доставшееся нам в наследство от итальянских гуманистов XV века. Еще когда я учился в школе, я прочел «Историю упадка и крушения Римской империи» Эдуарда Гиббона и обратил внимание на раздел «Общие наблюдения об упадке Римской империи на Западе». В этом замечательном отступлении от общего повествования Гиббон решает один вопрос: «Может ли ужасная катастрофа, которая обрушилась на западную половину Римской империи в V веке, повториться в современном Западном мире?» Ход его рассуждений вполне оптимистичен и заканчивается обнадеживающим выводом: «Невероятно, чтобы судьба Римской империи ожидала в свою очередь современный Западный мир».

До августа 1914 года мне ни разу не пришло в голову подвергнуть сомнению это суждение Гиббона. В ретроспективе, оглядываясь назад из нынешнего, 1969 года, я удивляюсь тому, что был столь некритичен. Ибо уже тогда я резко протестовал против предвзятого отношения к отдельным периодам истории и выборочного изучения ее. Дело в том, что в классической программе изучения греческой и латинской историй греческая история после даты смерти Демосфена и римская история после событий, описанных Тацитом, Плинием Младшим и Ювеналом, игнорировались так настойчиво, словно в этих «периодах» было нечто неприличное. По правде говоря, в этих пассажах истории были две неприличные, с точки зрения западного ученого XIX столетия, особенности.

Одна из этих неприличных особенностей заключалась в том, что греческие и латинские писатели, которые жили и работали в эти периоды, уже не писали на «классическом» языке и в «классическом» стиле. Их вульгарный литературный язык и стиль заставляли западного ученого буквально скрипеть зубами. Эта языковая ущербность этих работ признавалась официально, о ней открыто заявлялось; считалось, что знакомство с этими работами угрожает чистоте стиля современного ученого.

Вторая неприличная особенность была более значительной, поскольку она, я думаю, ощущалась подсознательно, не будучи признанной официально (и о ней, безусловно, никогда не заявлялось открыто). Современные западные ученые уклоняются от изучения этих «объявленных вне закона» периодов греческой и римской историй, поскольку история тех времен не может быть истолкована как «история успеха», а у современных западных ученых существует по меньшей мере две причины, заставляющих их утверждать, что Греко-Римская цивилизация не потерпела поражения. Во-первых, греческая и латинская литература по-прежнему священна для них, как для правоверного христианина священна Библия. Во-вторых, признание того факта, что Греко-Римская цивилизация, безусловно, сломалась, пришла в упадок и, в конце концов, рухнула, открывает прямую возможность того, что современная Западная цивилизация может в конечном счете пойти тем же путем. Современный западный ум предпочтет быть очарованным стройными и правдоподобными рассуждениями Гиббона и тем здоровым оптимизмом, которым проникнуты эти рассуждения.

Еще в школе я восставал против ограничения моего горизонта произвольными отрывками из греко-римской истории. Я решил попытаться приобрести всеобъемлющий взгляд на нее и нарушил табу еще до того, как закончил школу. Будучи студентом Оксфорда, я пришел к заключению, что среди греческих и римских историков, чьи работы дошли до нас, величайшим, кто писал на греческом, был

Полибий; что Прокопий далеко превзошел Ксенофонта и вплотную подошел к тому, чтобы стать равным Фукидиду, и что колкие зарисовки характеров, сделанные Аммианом Марцеллином, столь же проницательны, как у Тацита[16]. Фактически я знал лучше, чем свой собственный дом, ту запретную территорию, где пришла в упадок и рухнула Греко-Римская цивилизация, и я неумолимо пришел к выводу, что цивилизация, в которой довелось родиться мне самому, отнюдь не защищена от возможности навлечь на себя такую же катастрофу.

Смерти не замкнута дверь,
Настежь отверста она и зияет огромною пастью*.

Я уже знал наизусть эти мрачные строки из Лукреция и все же не воспринимал их сердцем. Я продолжал соглашаться с Гиббоном. И так было до тех пор, пока в первые дни августа 1914 года мне внезапно не открыла глаза на правду катастрофа, в которую был ввергнут мой собственный мир. Свет вспыхнул у меня перед глазами; иллюзия, будто я принадлежу к привилегированным гражданам стабильного мира, рассыпалась, словно пораженная ударом молнии. Я увидел мир другими глазами и обнаружил, что он совсем не такой, каким я его себе наивно воображал.



3. ВОЙНА: ИЗМЕНЕНИЯ В ЕЕ ХАРАКТЕРЕ И В ОТНОШЕНИИ К НЕЙ ЛЮДЕЙ

Западные законы войны XVIII столетия в определенной степени ограждали права гражданских лиц, чье место жительства оказывалось в зоне военных действий. Защита эта, однако, была неполной. Наиболее жестким исключением из этого правила было сохранение варварского римского обычая отдавать во власть победителя гражданское население осажденного города, взятого штурмом (в отличие от осажденного города, чей гарнизон сдал крепость в результате переговоров о капитуляции). Одним из поздних и особенно шокирующих случаев злоупотребления этим традиционным варварским правилом было отвратительное обращение с гражданским населением осажденного города Бадахос в Испании, когда английская армия взяла его штурмом у французского гарнизона 6 апреля 1812 года[1]. Испанское гражданское население Бадахоса приветствовало французский гарнизон ничуть не больше, чем английскую армию. Французская

* *Лукреций.* О природе вещей. Глава V, с. 373 и 375.

армия насильно оккупировала Бадахос, не спрашивая на то разрешения у испанского населения. Испанское население не принимало никакого участия в сопротивлении французского гарнизона наступлению английской армии. И тем не менее, поскольку сопротивление французов было упорным и англичане несли тяжелые потери, английские войска, ворвавшись в конце концов в город, принялись чинить зверства против нефранцузского гражданского населения, мстя за свои потери тем, кто не мог принимать участия в военных действиях, не имел голоса в политическом плане и кто формально «освобождался» от французского господства своими английскими мучителями.

Традиционно признаваемое право на разграбление города, взятого штурмом, — этот пережиток варварства — сохранялось вплоть до XVIII века. И тем не менее жестокость, проявленная английскими войсками в отношении гражданского населения Бадахоса в 1812 году, сегодня, в ретроспективе, меркнет перед жестокостью, хладнокровно проявленной 26 апреля 1937 года германскими военными летчиками, разбомбившими беззащитное гражданское население другого испанского города — Герники (первого города, разрушенного бомбардировками с воздуха)[2], или, скажем, по сравнению со зверствами, учиненными войсками Соединенных Штатов (не говоря уже об их южновьетнамских помощниках) во Вьетнаме, как Северном, так и Южном[3]. Когда английская армия вела военные действия на Пиренейском полуострове, у нее не было ни побудительных мотивов, ни соответствующих вооружений, чтобы совершать такие зверства, на какие пошла в 1968 году армия Соединенных Штатов. Несмотря на то что наполеоновские войны были уже в зачаточной форме войнами религиозными, постольку поскольку это были войны, вдохновляемые национализмом, вспышки фанатизма не достигали тогда далее приблизительно такой силы, какой они способны достичь в настоящее время и какой достигают в нынешних чувствах американцев, русских и китайцев. К тому же техническая оснащенность армий не позволяла дойти до такой дьявольской изощренности, как бросать в беззащитных людей бомбы с аэропланов.

Бомбардировка неразборчива по своему характеру. Даже если ее намеченными целями являются военные объекты (то есть войска противника, фортификационные сооружения, средства связи и заводы, производящие вооружение или разные виды военной техники и оборудования, необходимых войскам противника), все равно фактически невозможно сбросить бомбу на законную военную цель без того, чтобы одновременно не убить и не ранить множество гражданских лиц, не уничтожить и не повредить гражданскую собственность. Более того, воюющая сторона, которая прибегает к

использованию военно-воздушных сил, постоянно испытывает искушение под предлогом поражения военных объектов намеренно терроризировать гражданское население страны противника в надежде подорвать моральный дух гражданского населения и дезорганизовать его жизнь до такой степени, чтобы войска противника оказались парализованными, а правительство — поставленным на колени.

Во Вьетнаме вооруженные силы Соединенных Штатов пошли на применение всех видов современных вооружений, кроме атомных бомб и бактериологического оружия, но оба этих сверхзверских средства они держат про запас. Сознательность и благоразумие удержали правительство Соединенных Штатов от применения атомного оружия во Вьетнаме. Если бы это оружие когда-либо было применено еще раз, то по сравнению с его смертоносной силой, неумолимо возрастающей за счет порочного применения в этой области все новых научных достижений и технических усовершенствований, две бомбы, сброшенные в 1945 году на Хиросиму и Нагасаки, показались бы такими же безобидными, как пара «коктейлей Молотова»[4]. Что касается бактериологического оружия, то невозможно предвидеть масштабы геноцида, который оно сотворит, если когда-нибудь будет приведено в действие.

Таким образом, за полтора столетия, разделяющие поколение Гиббона и мое поколение, разница между гражданскими лицами и теми, кто ведет военные действия, фактически стерлась. Мы снова вернулись в те мрачные века, когда все население — не исключая детей, женщин и стариков — становилось беззащитной жертвой войны. Мы также вернулись прямо в мрачную эпоху религиозных войн. И в то же время мы ушли далеко вперед, в тот век, в котором эта возродившаяся бесчеловечность и фанатизм вооружены оружием несравненно более смертоносным и более жестоким, чем все то, что когда-либо имели в своем распоряжении варвары.

Слепота, поразившая почти каждого в Западном мире в течение сорокатрехлетнего периода относительного мира, закончившегося в 1914 году, отчасти объясняется гением Бисмарка, который, применяя уравновешенный подход XVIII века в XIX столетии, добился осуществления идеологической цели минимальной ценой. Эфемерность достижений Бисмарка, которая была предсказана самим Бисмарком с проницательностью гения и с которой он боролся всю оставшуюся часть своей политической карьеры, не была осознана его современниками. Меньше всего ее осознавали молодые германцы. Осознание это пришло лишь после того, как в 1890 году кайзер Вильгельм II уволил Бисмарка в отставку, а Россия отказалась в 1891 году от своей дружбы с Пруссией, продолжавшейся все XIX столетие, и пошла на сближение с Францией[5].

Совершенная Россией «перемена союзов» была лишь симптомом возвращения нестабильности — она не была причиной этого. Причиной было изменение настроения в Германии — изменение, ознаменовавшееся отставкой Бисмарка, — и это изменение начало вызывать беспокойство не только у России и Франции, но и у всех, кто не находился на достаточно безопасном расстоянии, учитывая состояние ее вооруженных сил. В опасной близости от Германии почувствовала себя и Великобритания, когда Германия стала соперничать с ней в области военно-морских вооружений. К концу XIX века немцы уже не довольствовались национальным единением, завоеванным для них государственной деятельностью Бисмарка. Германия честолюбиво намеревалась превзойти достигнутое Бисмарком, завоевав титул «мировой державы». И она все больше и больше склонялась к тому, чтобы рискнуть попробовать силой урвать эту награду. Разразившейся Первой мировой войной были внезапно закрыты бисмарковские полстолетия мира и открыта эпоха нестабильности, беспорядков, преступлений и страданий. И вот сейчас, в 1969 году, когда пишутся эти строки, именно в такой обстановке живет мир — причем не видно надежды на какое бы то ни было облегчение, а на горизонте лишь маячит непоправимая катастрофа.

Между 1914 и 1969 годами человечество переживало одно потрясение за другим: разразилась Первая мировая война; Германия нарушила нейтралитет Бельгии, одним из гарантов которого она сама же и являлась; устремившись через Бельгию во Францию, немецкие войска чинили страшные жестокости в отношении гражданского населения этих стран в напрасной попытке добиться победы за семь недель войны; вместо семи недель война затянулась на четыре года, и все эти годы совершались массовые убийства в беспрецедентных масштабах; в России традиционное самодержавие пало, но оно сменилось не конструктивным и либеральным режимом, а новым самодержавием, приверженным фанатической идеологии коммунизма; в результате внутренней войны сначала Италия, а затем Германия попали под власть приверженцев фанатической идеологии с обратным знаком «гипернационализма»[6]; Гитлер принял чудовищное решение навлечь на человечество мировую войну и с безрассудным азартом игрока нанес серию ударов, в результате чего на Германию и весь остальной мир обрушились еще более страшные несчастья, чем первая мировая война; в Германии и в оккупированной Германией Европе творился геноцид против еврейской диаспоры; было изобретено и применено Соединенными Штатами против Японии атомное оружие. И хотя все это свершилось на наших глазах, большая часть человечества упорно продолжает вести себя так, словно все еще живет в доатомную эпоху.

Этот ряд тяжких испытаний, обрушившихся на человечество, заставил многие отдельные человеческие существа и даже целые страны отбросить традиционное согласие с институтом войны и фаталистическую веру в то, что этот институт — достоин он уважения или преступен — в любом случае неистребим. К несчастью, неприятие войны, отвращение к ней — вместо того чтобы распространиться повсеместно и стать всеобщим настроением с того самого момента, когда в 1945 году мир вступил в атомный век, — и сейчас, в 1969 году, проявляется лишь отчасти, даже в тех странах, которые стали ядерными, а в большинстве стран по-прежнему господствуют настроения, характерные для доядерной эпохи, если не сказать — времен до Первой мировой войны.

Лично я стряхнул с себя это традиционное отношение к войне раз и навсегда после гибели в Первой мировой войне половины моих друзей по школе и университету. Они принадлежали к тому поколению и тому классу общества, среди которых в британской армии в ту войну потери оказались самыми тяжелыми. Они не были профессиональными солдатами; они были добровольцами, которых временно производили во вторые лейтенанты, что в Первую мировую войну было равноценно смертному приговору. Многие из них отдали свои жизни, веря в то, что они жертвуют собой в «войне, которая покончит с войной». Сам я избежал такой судьбы только благодаря случайности. Вот как получилось, что я отверг традиционное восприятие войны и решительно перешел в оппозицию. В 1914 году я пришел к убеждению, что война не является ни достойным уважения институтом, ни простительным грехом; война — это преступление. С 1945 года я убежден, что если человечество будет упорствовать в совершении этого преступления, то рано или поздно оно придет к массовому самоубийству.

Однако первые двадцать пять лет своей жизни я не подвергал сомнению то традиционное отношение к войне, которое было неотъемлемой частью культурного наследия моей страны. Я, например, всем сердцем симпатизировал народам Греции, Болгарии, Сербии и Черногории, начавшим в 1912 году войну с Турцией с целью положить конец турецкому правлению во владениях Османской империи в Юго-Восточной Европе, где большинство населения составляли не турки и не мусульмане. Я чувствовал, что у правительств этих балканских государств есть моральное оправдание для ведения войны, и это полностью отвечало моим взглядам на нравственность и войну. Я чувствовал, что и у Бисмарка и Кавура[7] было моральное оправдание, когда они вели войны с целью политического объединения своих стран. Я чувствовал, что у американского народа было моральное оправдание, когда он вел Войну за независимость, хотя это и была война против моей собственной страны, как

было оно у Жанны д'Арк, когда она сражалась за освобождение Франции от английских захватчиков.

Оглядываясь назад, на историю последних пяти тысяч лет, я больше не считаю, что у какого бы то ни было правительства существовало когда-либо моральное оправдание, чтобы начать войну — даже с самыми чистыми целями. Я по-прежнему нахожу оправданным, а в некоторых случаях отношу даже в ранг моральных обязательств сопротивление агрессии (примером может служить сопротивление агрессии Германии, Японии и Италии во Второй мировой войне), но отныне я расцениваю даже «справедливую» войну в защиту своей собственной страны или какой-то другой страны как трагическую необходимость. А теперь я к тому же с опаской отношусь к подобным оценкам, потому что убедился на практике, что справедливость редко оказывается безусловной; что существуют войны (например, война во Вьетнаме), в которых обе стороны заявляют — и более или менее верят в это, — что сопротивляются агрессору, а на деле оказывается так, что либо одна из воюющих сторон, либо обе они фактически совершают агрессию, а не противостоят ей.

Однако, когда я был ребенком, традиционное отношение человечества к войне у большинства не вызывало сомнений. Единственными, кто считал войну преступным институтом и решительно отказывался принимать в ней какое бы то ни было участие, были члены Общества друзей. Позиция, занятая квакерами, вызывала уважение у людей, придерживавшихся, по тогдашним меркам, нормальной точки зрения. Признавалось, что квакеры совершенно искренни в своих нравственных убеждениях, тем более что они были готовы, если придется, пострадать за преданность своим убеждениям.

Квакеры показали и показывают своим собратьям пример нравственности. И тем не менее квакеры — это лишь горстка англоязычного меньшинства в протестантском меньшинстве формально христианского меньшинства человечества. Квакеры — это закваска, которая пока еще не разрыхлила плотный ком; впрочем, человеческая история преподносит порой поразительные примеры конечного триумфа — вопреки, казалось бы, очевидному — принципов, поддерживаемых ничтожным меньшинством, которое, однако, придерживается этих принципов всем сердцем и готово пострадать за них. Мученичество снова и снова оказывается потенциально более сильным, нежели физическая сила, применяемая правительствами.

Тем не менее в Великобритании до 1914 года позиция квакеров по отношению к войне не была превалирующей; превалировала традиционная точка зрения, распространенная во всем мире. И это имеет важное значение, поскольку в то время англичане, подобно современным американцам, не обладали милитаристским складом ума в том смысле, в каком им обладали тогда немцы и японцы. До

1914 года Великобритания и Соединенные Штаты были уникальными державами среди великих держав, уникальными в том отношении, что они производили набор в свои вооруженные силы исключительно на добровольной основе. Призыв на военную службу в сухопутные войска нигде не был обязательным, ни в Соединенном Королевстве, ни в Англии или Шотландии до их объединения. Он стал обязательным в Соединенном Королевстве в 1915 году впервые в истории британских сухопутных войск. Что же касается военно-морских сил, то в ходе наполеоновских войн служба в них была обязательной. Населению она навязывалась подлыми, низкими способами, когда отряды вербовщиков с санкции британского военно-морского командования похищали гражданских лиц, не исключая и американских торговых моряков. В Соединенных Штатах призыв в армию был обязательным во времена Гражданской войны 1861 –1865 годов у обеих воюющих сторон, но, как только война закончилась, он был отменен.

Английский народ был наивен и, без сомнения, вызывал раздражение у остального мира, откровенно гордясь британским флотом, в сражениях заслужившим себе право на мировое господство, продолжавшееся в течение столетия, до Трафальгарской битвы[8]. До войны 1914–1918 годов жители Соединенного Королевства не боялись войны и не были принципиальными противниками войны (за исключением квакеров).

На протяжении столетия, закончившегося в 1914 году, Соединенное Королевство вело больше колониальных войн, нежели любая другая великая держава того времени. В Великобритании эти английские колониальные войны не принимались во внимание, считаясь «малыми войнами» — эвфемизм, подразумевающий выгодный контраст с «большими войнами», которые вели другие державы. Разумеется, эти войны не казались «малыми» их жертвам, и по крайней мере две из них, Опиумная война 1839–1841 годов и Южноафриканская война 1899–1902 годов[9], справедливо осуждались миром в целом как безнравственные — и это в ту эпоху, когда война сама по себе по-прежнему повсеместно считалась вполне законной и заслуживающей уважения практикой. Стремление Великобритании XIX века к власти обнаруживало себя также в продолжавшемся и расширявшемся завоевании всего Индийского субконтинента и в той решительности, с какой она возвращала районы, временно вырванные из ее рук восставшими индийскими войсками.

Великобритания XIX века энергично соперничала с Францией на еще не занятых территориях Азии и Африки. Менее беспечно она соперничала с Россией за политическое влияние, контроль или обладание территориями в регионе, который протянулся от Афганистана до оставшихся в Европе владений Османской империи, включая

эти последние. В ходе этого соперничества с Россией, соперничества, длившегося целое столетие и закончившегося в 1907 году, Великобритания однажды вступила в войну, известную как Крымская война 1854—1856 годов, и вполне могла снова вступить в войну с Россией в 1878 году, если бы Бисмарк, обеспокоенный угрозой стабильности бисмарковской политической карты Европы, не вмешался и не предложил свои услуги как «честный брокер» — именно та самая роль, для которой Бисмарк был лучше всего предназначен[10].

Английский народ действительно напоминал бульдога, рвущегося с поводка.

Эти печально известные исторические факты свидетельствуют о том, что в своем отношении к войне Великобритания, страна, где я родился в 1889 году, отнюдь не была ренегатом. Тем не менее существуют разные степени «неренегатства» — если не согласно теологической теории, то, во всяком случае, с точки зрения нравственности — и Данте, если бы он жил в викторианскую эпоху и был пацифистом, по всей вероятности, не отправил бы свой народ в самый последний круг своего Ада. Узник Дантовой Преисподней мог бы в качестве оправдания сослаться на то, что, с тех пор как Генрих VIII проиграл свою бессмысленную войну с Францией в 1512—1515 годах, Англия — а затем и Соединенное Королевство — никогда больше не развязывала агрессивной войны на западном конце Евразийского континента, хотя она и принимала участие в ряде войн, которые велись с целью пресечь гегемонистские устремления какой-либо одной-единственной европейской державы — сначала Испании, а затем Франции[11].

Такое оправдание согласовывалось бы с истиной. С другой стороны, мои соотечественники никого, кроме самих себя, не обманывали, когда убеждали себя в том, что британская военно-морская мощь — единственная, причем благотворная, сила на полях силовой политики. Они рассматривали ее как защиту от агрессии для тех стран, которым покровительствует Великобритания, и для нее самой и как угрозу только для работорговцев и пиратов.

Беспристрастный приговор судьи в отношении использования Великобританией ее военно-морской мощи, безусловно, заключался бы в том, что она отнюдь не гнушалась применять ее и в качестве инструмента агрессивной национальной политики. И тем не менее английский народ был, пожалуй, особенным среди других европейских народов. Ему удавалось твердо держать свою армию в отличие от флота в надлежащем месте — иначе говоря, под действенным контролем парламента. Британский военно-морской флот был идолом английского народа, и вследствие этого флот в состоянии был оказывать давление на парламент, угрожая обращением через голову последнего к народным чувствам. Британская армия

не могла вести такую игру, как флот. Армия находилась под подозрением еще с тех пор, когда Армия Новой Модели, созданная Кромвелем для того, чтобы парламент смог выиграть свою битву с Короной, распустила парламент и отдала английский народ во власть военной диктатуры, которая оказалась более жестокой и деспотичной, нежели абсолютная монархия. Вспыхнувшее отвращение к правлению генерал-майоров привело к Реставрации, и с тех пор Великобритания теоретически никогда больше не имела постоянной армии[12]. На практике у нее, конечно, была армия, с тех пор как в Западном мире профессиональные армии стали обычным делом. По сути дела, Великобритания продолжала сохранять армию XVIII столетия. В годы своего детства британская армия состояла исключительно из добровольно записавшихся в нее людей, и теперь, в 1969 году, она снова является исключительно профессиональной армией.

Когда рассматриваешь историю британской армии, то поначалу представляется, что в глазах английских мальчиков поздневикторианского периода она не имела ореола славы. И тем не менее в Великобритании тех лет игра в солдатики была страстным увлечением любого мальчика в возрасте от пяти-шести до тринадцати—четырнадцати лет. Свидетельствую, что я был полностью захвачен этой страстью и что в этом отношении я был типичным представителем своего поколения. Мое страстное увлечение игрушечными солдатиками разделяли все мальчики, каких я знал, кроме одного, который родился в семье, принадлежавшей к Высокой английской Церкви. С раннего детства он готовился принять сан, и церковные службы заменяли ему наши игры. А мы, все остальные, тратили свои карманные деньги, создавая армии оловянных солдатиков. Восхищение войной у детей моего поколения отражало дух времени, но, к сожалению, дух этот витал не только над нашим детством и не только в Великобритании; дух этот здравствовал пять тысяч лет, в течение которых война была одним из главных институтов человечества. Сила привычки, державшая человечество в тисках пять тысячелетий, была движущей силой и нашей страсти к игре в солдатики.

Для меня — и, я полагаю, для большинства моих современников — удовольствие состояло в самом создании армии оловянных солдатиков, в проведении парадов войск, которыми располагаешь, и построении их перед битвой; размеры подразделений и их великолепие постепенно росли, и это было предметом наших непрестанных забот. Мне приходилось выбирать пополнение очень тщательно, потому что мой бюджет, предназначенный на военные расходы, был невелик, и выбор иногда становился просто мучительным, поскольку производители оловянных солдатиков выбрасывали в продажу такое количество своего соблазнительного товара, что оно значительно

превышало возможности кошелька юного покупателя. Я знал, какую форму носят все британские полки того времени. Яркие, веселые цвета военной формы тогда еще не были заменены монотонным болотного цвета хаки, впервые появившимся в годы Африканской войны[13]. Прежде чем книги решительно потеснили оловянных солдатиков по части требований к моему кошельку, я успел собрать батальон гвардейской пехоты, или псевдогвардейской пехоты, численностью по крайней мере пятьдесят человек, и парад этой внушительной силы неизменно доставлял мне глубокое удовлетворение. Эта начальная стадия игры мне никогда не приедалась, однако затем наступало разочарование. Разместив две армии лицом друг к другу, я понимал, что должно последовать дальше: я вынужден буду позволить одной из двух армий выиграть сражение; поэтому я обычно заставлял одну армию наступать, а другую отступать, побивая больше солдат в той армии, что проигрывала, и меньше в той, что выигрывала. Я бил их только слегка из опасения сбить краску, которой были раскрашены их великолепные мундиры.

Эта стадия игры, когда я заставлял свои армии вести военные действия, была, однако, неубедительной и поэтому не приносила ожидаемого удовольствия. Еще до того, как я достаточно подрос, чтобы совершенно перестать играть в солдатики, я постепенно ограничился парадами войск, устраиваемыми обычно по утрам. С неизменным восторгом я смотрел на этот великолепный спектакль, а стадию сражения просто опускал. Вволю поинспектировав парад, я, бывало, проводил остальную часть моего свободного времени (тогда я уже ходил в школу) за чтением. Затем, вечером, я еще раз возвращался к своим солдатикам, которые так терпеливо стояли по стойке «смирно» весь этот долгий день — без книг или других развлечений, позволяющих скоротать время, — чтобы уложить их на ночь в коробки.

Я так подробно описываю это свое детское увлечение потому, что, как мне кажется, оно может пролить свет на позицию взрослых людей в отношении военных расходов. А эта позиция в свою очередь объясняет, почему европейские державы позволили себе шаг за шагом ввязаться в войну 1914 года и почему они не сумели предвидеть ужасающие последствия этого. Удовольствие, которое доставляла мне моя игрушечная армия, было, как мои читатели уже догадываются, удовольствием того же рода, что и удовольствие при созерцании своих войск прусским королем Фридрихом Вильгельмом I, этим относительно безвредным самодержцем XVIII столетия[14]. Моя армия, подобно его армии, сверкала показной пышностью парадов; она не была пушечным мясом, она была сокровищем, которое нельзя было тратить. Мне никогда не приходило в голову связывать солдат со смертельной битвой — с убийствами, ранениями,

со смертью. Даже на той ранней стадии, когда я пусть и без особого увлечения, но все же устраивал игрушечные сражения, от которых в конце концов отказался, я, опрокидывая часть своих солдатиков на стол, не представлял себе, что играю в совершение преступного акта. Мне не приходило в голову, что, будь это настоящие, живые солдаты, они бы кричали, корчились и стонали, лежа на поле битвы; и для них было бы большой удачей оказаться убитыми мгновенно, вместо того чтобы умирать медленной смертью, или быть растоптанными конскими копытами, или быть раздавленными колесами пушки прежде, чем их сознание настолько угаснет, что они станут невосприимчивы к боли. Правда, им не приходилось бояться быть раздавленными гусеницами танка, поскольку в то время, когда я играл в солдатиков, танки еще не были изобретены.

Если бы в детстве я имел хоть чуточку воображения, я бы, несомненно, был так же потрясен, как царь Ашока[15], в реальной жизни увидевший ужасы развязанной им войны, и, вероятно, подобно Ашоке, я отказался бы от этой игры с отвращением и искренним раскаянием. Фридрих Вильгельм I был бы огорчен видом страданий, вызванных войной, не больше, чем его сын Фридрих Великий[16] или, скажем, Наполеон, Бисмарк или Гитлер. Фридрих Вильгельм I был, без сомнения, таким же бессердечным, как и эти организаторы войн. От вступления в войну его удерживало не человеческое сочувствие, а маниакальная скаредность коллекционера. Фридриха Вильгельма I больше всего радовала помпезность живой армии на параде в отличие от Наполеона, этого бога войны, которого, как он сам бесстыдно признавался, ничто так не радовало, как вид молодых людей, лежащих бездыханными на поле боя наутро после битвы.

Контраст между тем, от чего получал удовольствие Фридрих Вильгельм I, и тем, от чего получал удовольствие Наполеон, действительно, я полагаю, подводит нас к объяснению позиции взрослого населения всех европейских стран, включая Германию, накануне начала Первой мировой войны. Сорок три года мира оказали такое же влияние на позицию людей в отношении войны и военного дела, какое оказал на позицию Фридриха Вильгельма I мирный период между окончанием Войны за Испанское наследство и началом Войны за Австрийское наследство. Снова стали считать, будто армии и вооружения существуют для показа, а не для использования. Армии, однако, были оснащены и обучены для использования, как и живая игрушечная армия Фридриха Вильгельма I. Прусская история XVIII столетия дает пример того, как инструмент, созданный поколением отцов, решительно и безжалостно использован сыновьями. А Наполеон и Гитлер в свою очередь развязали войны в духе Фридриха Великого. В отличие от этого воюющие

стороны в Первой мировой войне, включая Германию, шаг за шагом втягивались в войну, которую даже германское правительство, я думаю, намеренно не планировало и не собиралось вести. Их захватили обороты из мобилизационных машин, а машины эти, так эффективно сконструированные и изготовленные генеральными штабами, действовали без малейших угрызений совести, стоило только нажать кнопку включения. Колеса завертелись, грянула мировая война, и эта мировая война пошла своим ходом, унося миллионы жизней, сея вокруг бесконечные страдания, не говоря уже о материальных потерях, и положив начало цепи беспорядков, от которых мир не избавился и к 1969 году.

Нажатие кнопки в 1914 году не просто вызвало одну-единственную мировую войну (что само по себе было несказанной катастрофой). Оно открыло «ящик Пандоры», который не захлопнут и по сей день.

Мучительные испытания, которые не отпускают человечество более чем полвека, — это горькие плоды войны, и они повлияли на отношение людей к войне на всех континентах. Общий эффект таков, что люди в определенной степени пересмотрели традиционное отношение к войне; однако пока что прозрели далеко не все. Конкретная реакция каждого народа на эти общие для всех испытания обусловлена двумя факторами: относительной мерой страданий, выпавших на его долю с 1914 года, и особенностями его истории. Эти два фактора разнятся в разных частях мира и по своей силе и по своему влиянию, обусловливая многообразие взглядов на войну, вплоть до взаимоисключающих. Эта прогрессирующая дифференциация между отношением различных стран к войне представляет собой самую тревожную и самую зловещую черту нынешнего международного положения.

Сфера широкого применения средств массового поражения в Первой мировой войне охватывала главным образом воюющие стороны Старого Света. Соединенные Штаты вступили в войну поздно, и потери американцев в абсолютных цифрах были сравнительно небольшими; еще меньшими они были пропорционально гражданскому населению Соединенных Штатов. Что касается Старого Света, то не только французский, английский и австрийский народы, но, я думаю, и германский народ были поражены в самое сердце. Немцам к тому же пришлось пережить шок поражения. Австрийцы были раздавлены политическими и экономическими последствиями войны. В конечном счете они оказались куда более катастрофическими для Австрии и Венгрии, нежели для Германии.

С австрийцами война обошлась слишком жестоко, чтобы у них осталось хоть какое-то чувство, способное перерасти в возмущение. Австрия и помышлять не могла о том, чтобы когда-нибудь даже

частично восстановить свой довоенный статус в мире. В Германии страшное воздействие огромных военных потерь и ошеломляющее воздействие поражения до некоторой степени компенсировались чувством негодования и желанием взять реванш — эмоциями, охватившими Францию после ее поражения в войне 1870–1871 годов. Германия, однако, была временно парализована, как, впрочем, и Франция и Великобритания, тем невероятным хаосом, который произвела война в сложных и тонких механизмах высокоразвитой экономики этих стран. В Германии этот хаос невероятно усугубился в 1923 году в результате оккупации Францией Рура и сопутствующего этому падения марки до нуля[17]. Возмущение немцев и их желание в конечном счете взять реванш, разумеется, только обострились.

Венгрия, будучи экономически отсталой, сельскохозяйственной страной, не так жестоко пострадала от последствий войны, как другие европейские страны, поэтому жажда реванша не так искушала ее, как, скажем, Германию. Кроме того, мадьяры были более отсталыми, чем их западные соседи, не только в экономическом, но и в культурном отношении, и, может быть, поэтому они оказались менее ранимы и чувствительны к страданиям.

Опыт Венгрии в той войне и ее реакция на поражение схожи с опытом и реакцией двух других воюющих сторон, лежащих к востоку от нее: России и Турции. Эти две страны как в экономическом, так и в культурном отношении были в то время еще более отсталыми, чем Венгрия. Их экономическая отсталость сделала их легкой добычей, не оставив шансов на победу. Но эта же самая экономическая отсталость позволила им также сравнительно быстро оправиться от экономических последствий поражения в войне.

Они мало чего лишились в области экономики, зато теперь им мало что пришлось восполнять. Более того, их культурная отсталость сделала их, как и венгров, сравнительно бесчувственными к ужасным потерям, которые они понесли во время войны. (Потери русских были даже тяжелее, чем потери немцев.) Вследствие этого Россия и Турция первыми из стран, понесших поражение в Первой мировой войне, стали оспаривать ее итоги и бросили вызов временным победителям.

Большевистская марксистская социалистическая партия (позднее называемая «коммунисты»), захватившая власть в России, вынуждена была до окончания войны на Западном фронте подписать жесткие требования мирного договора, продиктованные ей противником. Однако после того, как условия договора, подписанного в Брест-Литовске[18], оказались аннулированными в результате капитуляции Германии и распада Габсбургской монархии, большевики сумели оказать сопротивление «белой» русской армии, которая при

поддержке союзных западных держав-победительниц атаковала большевиков по трем направлениям. Более того, большевики в конечном счете изгнали «белых» и распространили свою власть на всю территорию бывшей Российской империи, за исключением ее западных окраин[19], а также небольшой части территории Закавказья, отнятой Россией у Турции в 1878 году, а теперь возвращенной Турции, за исключением порта Батуми[20]. Большевики вышли победителями в своей послевоенной войне в России отчасти благодаря тому, что они эффективно использовали выгодную стратегию опоры на низшие слои населения, но главным образом благодаря энергии и убежденности, которые вдохнула в них их идеология. Как и все искренние религиозные фанатики, большевики были убеждены, что истинная вера — имеется в виду их собственная вера — неизбежно восторжествует, и в то же время — совершенно нелогично, но вполне рационально — они считали своим религиозным долгом идти на все, вплоть до самопожертвования, с целью ускорить ход безжалостных законов исторической неизбежности.

Что касается турок, то они со своей стороны набрались смелости и оказали сопротивление грекам, которым западные союзные державы-победительницы предоставили полную свободу рук (на данной стадии несогласна с этим была только Италия); и турки, как и русские, выиграли свою послевоенную войну, несмотря на тот крайне неблагоприятный факт, что победители разоружили турецкую армию после ее капитуляции и обеспечили греков всем необходимым для вторжения в Анатолию. Турок тоже вдохновляла религиозная вера — в данном случае это была религия национализма, — которую они восприняли со страстью новообращенных, лишившись в результате Первой мировой войны большей части территории, хоть и принадлежавшей бывшей Османской империи, но заселенной в большинстве своем турками. Безусловный успех турок в их схватке с греками побудил уже утративших свой боевой пыл западных союзников выбросить в корзину для мусора проекты мирного договора, условия которого они намеревались продиктовать Турции. Вместо этого им пришлось вести переговоры о мирном урегулировании с Турцией на равных.

Итак, мы видим, что опыт военных действий в Первую мировую войну даже временно не заставил турок и русских отбросить традиционное для человечества отношение к войне как к перманентному факту нормальной жизни, в то время как французов и англичан он заставил настолько переменить свои взгляды на войну, что они уклонились от возобновления военных действий даже ради того, чтобы заставить Турцию и Россию, наименее сильных из побежденных держав, подчиниться воле экс-победителей. Наиболее сильной из побежденных держав была Германия, и неудивительно, что после

того, как Гитлер пришел к власти и стал оспаривать и нарушать одно за другим условия Версальского «диктата»[21], французский и британский народы должны были испытывать значительно большее беспокойство, чем они испытывали, когда «блефовали» турки или русские.

На протяжении зловещих лет, с 1933 по 1939 год, западноевропейские державы, опасавшиеся быть втянутыми в войну, предпринимали различные попытки избежать Второй мировой войны. Французы до конца осознавали страшную правду: Гитлер решил ввергнуть их в пучину Второй мировой войны; они не в силах были вынести даже мысль об этом, и, когда война обрушилась на них, они почти сознательно и намеренно ринулись навстречу своему падению в 1940 году. А вот англичане как раз попытались закрыть глаза на эту страшную правду; и когда Вторая мировая война обрушилась на них, они упорно отказывались отнестись к ней серьезно, как к «большой войне». Впрочем, едва только Франция пала, англичане наконец посмотрели правде в глаза и признали, что они сами позволили Гитлеру шаг за шагом толкать их к краю пропасти. И вот тогда они напрягли все свои силы, чего, пожалуй, никогда раньше не делали, даже в самые отчаянные моменты своей истории.

Более года после падения Франции Великобритания фактически в одиночку боролась против превосходящих сил противника без какой-либо надежды на скорую победу или помощь со стороны. Однако помощь против всяких ожиданий пришла. И пришла она благодаря ошибкам противника, ошибкам настолько самоубийственным, что если бы их кто-либо предсказал, то такому предсказанию никто бы не поверил. За неразумным нападением Гитлера на Советский Союз последовало неразумное нападение Японии на Соединенные Штаты, и все это неизбежно привело к тому, что Великобритания в конце концов оказалась в числе победителей. Оставалось, однако, очевидным, что во Второй мировой войне, как и прежде, решающий удар по Германии нанесен не англичанами. Победу в войне завоевали совместно Соединенные Штаты и Советский Союз. В Первой мировой войне дело решили Соединенные Штаты, бросив свою огромную мощь на чашу весов антигерманского союза.

Английский народ собрался с духом, чтобы выдержать тяжелые испытания Первой мировой войны, не смог выстоять перед испытаниями Второй мировой войны.

Благодаря победе русских и американцев во Второй мировой войне Великобритания и Франция временно сохранили или возвратили себе свои колониальные довоенные империи. А когда их азиатские и африканские подданные отвергли их правление, увидев, как Япония в 1941 году не поддалась на запугивание западных

колониальных держав, Великобритания и Франция обе оказались вовлеченными в новые колониальные войны: Великобритания — в Палестине, на Малайском полуострове, в Кении, на Кипре, в Южной Аравии, а Франция — во Вьетнаме и в Алжире[22]. Знаменательно, однако, что и Франция и Великобритания к настоящему моменту отказались от большей части своих колониальных владений добровольно, не дожидаясь, пока их правлению бросят вызов вооруженные мятежники. А в Палестине, во Вьетнаме, в Алжире и Южной Аравии, где им все-таки бросили такой вызов и где они предпочли ответить силой на силу, и Франция и Великобритания в конце концов либо потерпели военное поражение, либо вынуждены были, не вынеся тягот войны, отказаться от борьбы. Колониальные войны за сохранение империй оказались после Второй мировой войны куда более основательным военным предприятием, нежели колониальные войны XIX столетия за завоевание этих империй. Из всех колониальных войн, какие вели Великобритания и Франция после Второй мировой войны, победами колонизаторов окончились лишь войны Великобритании — против местных коммунистов в Малайе и против движения «Мау-Мау» в Кении. Но по завершении этих двух маленьких, но напряженных военных кампаний Великобритания добровольно предоставила независимость своим побежденным противникам.

Влияние на Великобританию и Францию испытаний, выпавших на их долю с 1914 по 1969 год, таким образом, очевидно. Влияние на Германию пережитого ею за те же самые пятьдесят пять лет не так легко оценить. Германия развязала Вторую мировую войну — войну, которой Франция и Великобритания стремились избежать, не останавливаясь даже перед унижениями и бесчестьем, чем по сути была бесплодная политика «умиротворения». Они «умиротворили» Германию за счет третьих сторон, нарушая свои обязательства, подписанные ими в Лиге Наций, а в случае с Францией нарушив также конкретные соглашения. Тем не менее эти жертвы, принесенные на алтарь чести французов и англичан, были заведомо принесены напрасно. Гитлер не только развязал Вторую мировую войну, но и сделал это преднамеренно и хладнокровно, в отличие от бывшего германского императорского правительства, которое ввязалось в Первую мировую войну безрассудно, но, пожалуй, непреднамеренно. Преднамеренно развязывая мировую войну, действовал ли Гитлер в соответствии с мандатом, врученным ему немецким народом? Ответ на этот вопрос, вероятно, заключается в том, что Гитлер выполнял волю меньшинства немецкого народа, искренне и всем сердцем преданного ультрафанатичной немецкой национал-социалистической версии религии национализма, распространенной во всем постхристианском мире. Давайте представим

себе, что в августе 1939 года было политически осуществимо провести одновременно в Германии, Великобритании и во Франции плебисциты, на которых избирателям была бы дана возможность свободно ответить путем тайного голосования либо «да», либо «нет» на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы ваша страна приняла участие во Второй мировой войне?» Я лично думаю, что в такой воображаемой ситуации процент тех, кто сказал «нет», оказался бы немногим ниже ста не только во Франции и Великобритании, но и в Германии.

Если я прав в своей догадке относительно действительных чувств немцев накануне Второй мировой войны, то я, по всей вероятности, прав тем более, полагая, что испытания, выпавшие немецкому народу в этой войне, заставили его относиться к ней с таким же опасением, с каким в настоящее время относятся к войне английский и французский народы. Вторая мировая война не могла не завершить процесс избавления немецкого народа от иллюзии, будто война может служить инструментом либо достижения национальных задач, либо отмщения за поражение, усугубленное несправедливостью.

Гитлер, прежде чем он развязал свою собственную войну, осуждал прусский генеральный штаб за то, что тот в 1914 году повел войну на два фронта. Гитлер похвалялся, что сам он не собирается совершать такую же, в высшей степени глупую стратегическую ошибку. Тем не менее в 1941 году Гитлер вполне сознательно повторил ошибку своих предшественников. Он напал на Советский Союз, несмотря на то что на Западном фронте ему не удалось склонить Великобританию последовать примеру Франции и капитулировать. А еще до конца 1941 года его союзница, Япония, совершила еще одну, фатальную для него ошибку, втянув в войну на стороне своих противников Соединенные Штаты. Действительно, Вторая мировая война пошла тем же путем, что и Первая мировая война, с той лишь разницей, что во Второй мировой войне повороты военного счастья оказались более крутыми.

Первые военные успехи Германии были более впечатляющими во Второй мировой войне, нежели в первой, а ее окончательное военное поражение и его политические последствия — более катастрофическими для нее. После капитуляции в 1914 году Германия вынуждена была уступить относительно небольшие части своей территории, на которых большинство местного населения составляли люди, не принадлежавшие к этническим немцам[23]. Она также вынуждена была согласиться на демилитаризацию Рейнского бассейна и на временную военную оккупацию победителями этой территории наряду с несколькими плацдармами по другую сторону Рейна. После Второй мировой войны вся территория, какой владела Германия после Первой мировой войны, была оккупирована войсками победителей; германское правительство было распущено; некоторые из

его главарей были привлечены к суду и признаны виновными в преступлениях, заслуживающих смертной казни. Более того, на этот раз Германия была расчленена, как была расчленена Австрия после Первой мировой войны. Оставленные Германии по Версальскому договору территории к востоку от рек Одер и Северная Нейсе теперь были поделены между Советским Союзом и Польшей[24]. Местные жители-немцы были выселены оттуда, так же как судетское немецкое меньшинство в Чехословакии. Оставшаяся территория Германии была разделена на восточногерманское государство, контролируемое Советским Союзом, и западногерманское государство, которое сначала контролировалось западными державами, а затем было принято ими в качестве партнера. Соответствующим образом был разделен город Берлин[25]. Пруссия, аннексировавшая после своей победы в 1866 году почти всю оставшуюся часть Северной Германии, была стерта с политической карты Европы.

Таким образом, в плане потери территорий итог Второй мировой войны для Германии настолько превзошел результаты Первой мировой войны, что в 1969 году восстановление границ, навязанных Германии Версальским «диктатом», показалось бы немецкому народу истинным благодеянием, если бы это не было вне пределов практических возможностей. Гитлер предсказывал своему рейху тысячу лет жизни; рейх протянул двенадцать лет, и, когда он пал, он унес с собой все территориальные завоевания в Восточной Европе, приобретенные германскими княжествами путем насаждения своей культуры, колонизации и захвата на протяжении предыдущих восьми столетий. Территориальные потери Германии вследствие Второй мировой войны должны были довести до ее сознания то, что стало уже очевидным в результате Первой мировой войны. Преподанный урок заключается в том, что войны редко приносят дивиденды.

После Второй мировой войны Германия не может больше мечтать о том, чтобы когда-нибудь восстановить свой довоенный статус в мире. Территориальные потери, понесенные вследствие Второй мировой войны, сделали это немыслимым для Германии. В качестве компенсации экономические последствия Второй мировой войны были для Западной Германии (но не для Восточной) более счастливыми, нежели последствия Первой мировой войны. У Западной Германии есть теперь экономический стимул — отсутствовавший у нее в межвоенные годы, — побуждающий ее делать все от нее зависящее для сохранения мира. Развал германской экономики в период между двумя мировыми войнами — явившийся следствием экономического кризиса, охватившего весь мир в 1929 году[26], — стал тем событием, которое привело к власти Гитлера; а Гитлер развязал Вторую мировую войну.

История Германии со всей очевидностью вскрывает причину того, что Германия с 1914 года дважды навлекала ужасные несчастья на мир, и прежде всего на себя самое. Вина Германии за развязывание Первой мировой войны не ограничивается действиями ее правительства в те дни, которые отделяли убийство эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены от начала военных действий. Конечной причиной Первой мировой войны была международная напряженность, нараставшая в течение двух предвоенных десятилетий. Причиной этой напряженности было провокационное и хамское поведение германского правительства. Ведя себя столь безответственным образом, оно чутко улавливало настроение немецкого народа и реагировало на него, а настроение это отличалось безрассудством, объяснявшимся в свою очередь тем, что взгляд немецкого народа был обращен на три недавних войны, в которых участвовала и которые выиграла Пруссия в 1864, 1866 и 1870—1871 годах под мастерским руководством Бисмарка. Эта череда военных успехов ввела немецкий народ в заблуждение, заставив его считать себя непобедимым. Подобное заблуждение столь прочно укоренилось в умах немцев, что им не хватило одной разрушительной войны, а потребовалась еще и вторая, более разрушительная, чтобы вернуть трезвый взгляд на жизнь.

Эта часть германской истории может послужить уроком для всех народов. Более того, из германской истории следует мораль для каждого из нас. Общий урок заключается в том, что любая страна, которой неизменно сопутствовала победа в целой серии войн, вполне может стать угрозой как для себя самой, так и для остального мира. На протяжении моей жизни отравляющее действие подобного жизненного опыта испытали на себе помимо Германии еще три страны: Япония, Соединенные Штаты и Израиль. В истории Японии, как и в истории Германии, серия победных и приносящих выгоду войн уже закончилась, и результаты их неумолимо сведены на нет военным поражением. Мне удалось трижды посетить Японию, и сейчас, в 1969 году, мне представляется, что общее разочарование, вызванное выпавшими на долю японского, так же как и на долю немецкого, народа испытаниями заставило японцев отказаться от того взгляда на войну, который превалировал в мире в течение пяти тысячелетий. В отличие от Японии разрыв в цепи военных побед существенно не изменил отношения к войне ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах.

Победными войнами Японии были ее война с Китаем в 1894 году, ее война с Россией в 1904—1905 годах и Первая мировая война, в которую Япония вступила на антигерманской стороне[27]. Русско-японская война была для Японии столь же трудной, как и франко-прусская война 1870—1871 годов для Германии. Однако в обоих этих

случаях усилия и жертвы оказались ненапрасными, и народ-победитель сумел воспользоваться плодами победы. Разочаровывающие результаты более легких побед 1894 и 1914—1918 годов преподали Японии урок, который она могла бы оценить, если бы была несколько более наблюдательной. Однако японский народ был тогда ослеплен столь, казалось бы, основательными выигрышами в трудно доставшейся победе в русско-японской войне. Взгляд японского народа, как и взгляд народа немецкого, застилали прошлые военные успехи, и иллюзия военной неуязвимости подтолкнула Японию на то, чтобы ринуться в военную авантюру, закончившуюся невероятной катастрофой.

Японская военная авантюра имела довольно глубокие корни. Начало ей было положено в 1931 году захватом Маньчжурии силой оружия в нарушение взятых Японией на себя обязательств перед Лигой Наций и Договора девяти держав[28], подписанного 6 февраля 1922 года в Вашингтоне, что, кроме того, являлось вызовом общественному мнению. За оккупацией трех маньчжурских провинций Китая последовала оккупация Жэхэ и восточных районов Внутренней Монголии. В 1937 году Япония «перешла Рубикон». Она вторглась в сердце Китая, попытавшись захватить провинции, расположенные в границах Великой Китайской стены. Задействовав огромное количество сухопутных войск, Япония преуспела в захвате главных железнодорожных магистралей, водных путей, морских и речных портов и ряда крупных городов. Скоро, однако, она обнаружила, что не в силах завершить даже свой общий план захвата Китая. Японии не удалось установить контроль над обширными китайскими территориями, за исключением узких полосок земли, удерживаемых японскими гарнизонами. Размеры Китая, степень выносливости китайского народа и эффективное ведение им партизанской войны — все это, вместе взятое, завело вторую японско-китайскую войну в тупик в 1940 году, том самом году, когда Гитлер завоевал Францию, но не сумел завоевать Великобританию.

В 1941 году японцы, словно соревнуясь с Гитлером, совершили самую главную ошибку, пойдя на совершенно бессмысленный акт агрессии, который был столь же самоубийственным, как и нападение Гитлера на Советский Союз. Вместо того чтобы свести операции на Тихом океане к легкому с военной точки зрения захвату тамошних британских, голландских и французских владений, Япония атаковала еще и Соединенные Штаты. Этот акт, венчающий безрассудство Японии, служит классическим примером возмездия, которое ожидает самонадеянную военную державу, отвечающую на разочарование очередным военным вызовом.

Во Второй мировой войне повороты военного счастья оказались для Японии не менее крутыми, чем для Германии. Разбомбив

американский флот в Пёрл-Харборе и захватив Филиппины, Япония в конечном счете вынуждена была капитулировать перед Соединенными Штатами; ей пришлось согласиться на американскую военную оккупацию ее территории, убрать свои войска со всех иностранных территорий, которые она столь успешно оккупировала начиная с 1931 года[29], и уступить все территории в восточной части Азиатского континента, приобретенные ею в результате победы в русско-японской войне 1904—1905 годов, а также уступить остров Тайвань (Формозу), отошедший к ней благодаря победе в китайско-японской войне 1894 года. Впервые в истории Япония была оккупирована войсками иностранной державы. Со времен Мэйдзи исин 1868 года японскому народу внушали догму, будто Япония — это «Земля богов» и будто благодаря этой божественно дарованной привилегии ей предназначено судьбой оставаться не оскверненной чужеземцами и в конце концов править всем остальным миром.

Потрясение, испытанное японским народом от поражения в войне 1931—1945 годов, видимо, было исключительным. Существует ли хоть малейшая возможность того, что японский народ, памятуя о своей давней победе над Россией в 1905 году, все еще воображает, будто развязывание войны себе окупает? Нуждается ли Япония, подобно Германии, во втором, еще более сокрушительном поражении, чтобы образумиться? Я пишу эти строки по пути в Англию, возвращаясь из пятинедельной поездки в Японию, и мои впечатления от этого, уже третьего посещения Японии дают мне возможность с большой долей уверенности ответить на поставленный вопрос отрицательно. Сейчас, в 1967 году, я, как и раньше, в 1956 году, был поражен контрастом между послевоенными настроениями в Японии и предвоенными. Эти более ранние настроения произвели на меня сильное впечатление во время моей первой поездки в Японию, в 1929 году, — накануне того, как Япония ввязалась в свою обреченную на провал авантюру. В 1929 году я обнаружил, что японский народ все еще отравлен ядом предыдущих побед. В 1956 и 1967 годах японцы показались мне более здравомыслящими.

Немецкому народу не хватило одной-единственной военной катастрофы, чтобы «переучиться». Однако одна-единственная катастрофа для Японии завершилась сбрасыванием на Хиросиму и Нагасаки двух атомных бомб, а это средство устрашения не было применено ни против Германии, ни против какой бы то ни было другой страны. У меня сложилось впечатление, что это уникальное испытание военного времени, ужасы которого не имеют прецедента, вызвало у Японии «аллергию» не только на атомную войну, но и на войну с применением любых видов оружия.

Изречение, что у Японии теперь «аллергия» на атомное оружие, принадлежит американцам, и это — бестолковое объяснение.

Оно подразумевает неумение вообразить себе психологическое, нравственное и духовное влияние того беспрецедентного ужаса, который пришлось испытать японскому народу по вине Америки и который сами американцы пока еще не испытали. Япония сама навлекла на себя это страшное возмездие. Если бы японские «обычные» бомбы не были сброшены на Пёрл-Харбор, то американские атомные бомбы не были бы сброшены на Японию менее чем четыре года спустя. Американское вторжение на Японские острова могло бы стоить сотен тысяч жизней, как японских, так и американских. Можно привести доводы в пользу судьбоносного решения президента Трумэна использовать страшное новое оружие на завершающей фазе войны. Однако нельзя оправдать позицию, когда существование этого нового оружия воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Изобретение атомного оружия увеличило разрушительную способность и мерзости войны до такой степени, что количество здесь перешло в качество. До тех пор пока хоть одна страна, обладающая атомным оружием, будет закрывать глаза на трагическое значение этого изменения, выживание человечества — которое не вызывало сомнений с тех самых пор, когда в верхнем палеолите Человек завоевал господство над всеми остальными представителями живых существ, — будет оставаться под вопросом.

Катастрофический разрыв, казалось бы, неразрывной цепи японских и германских победоносных войн дает основание полагать, что японский и германский народы, подобно французам и англичанам, в настоящее время избавляются от традиционного отношения к войне как к нормальному и терпимому институту. С другой стороны, к ноябрю 1968 года еще не разомкнулась цепь победоносных войн Соединенных Штатов и Израиля.

Государству Израиль исполняется только двадцать один год, и тем не менее Израиль уже вел и выиграл четыре войны. Первую военную победу Израиль одержал еще до того, как в 1948 году Великобритания отказалась от своего мандата на Палестину, и до того, как сам Израиль был официально провозглашен государством. И это была победа над Великобританией. Остальные три войны Израиль выиграл у арабских государств: первую — в 1948 году, на заре своего существования как государства, а две другие — в 1956 и 1967 годах[30]. Победоносные войны Соединенных Штатов более многочисленны, чем войны Израиля. К 1969 году возраст Соединенных Штатов достиг 193 лет, и это куда больше израильских двадцати одного. Подобно Израилю, Соединенные Штаты начали свое существование благодаря победе в войне, причем над тем же противником — Великобританией. Первая победоносная война Соединенных Штатов в самих Соединенных Штатах называется Революционной войной, а в Великобритании — Американской войной за независимость.

Вторую победоносную войну Соединенные Штаты вели в 1802 году против Триполи, североафриканского государства, номинально находящегося под властью Османской империи, чьи корсары предвосхитили нападение Японии на Пёрл-Харбор, захватив американский фрегат[31]. Третью победоносную войну Соединенные Штаты снова вели против Великобритании. Это была война 1812—1815 годов, и завершилась она решительным поражением Великобритании при ее попытке взять Новый Орлеан. (Сражение за Новый Орлеан произошло после подписания в Генте мирного договора, но до того, как эта новость успела достичь зоны военных действий по другую сторону Атлантики[32]). Четвертой победоносной войной Соединенных Штатов стала война против Мексики в 1846—1848 годах. В результате этой войны Соединенные Штаты получили огромные территориальные приобретения. Независимая республика, заложенная поселенцами из Соединенных Штатов на мексиканской территории Техаса, стала одним из штатов Союза. Соединенные Штаты аннексировали мексиканские территории, которые с тех пор превратились в штаты Нью-Мехико, Аризона, Невада и Калифорния, вместе с южными окраинами нынешних штатов Колорадо и Юта[33]. Пятой победоносной войной Соединенных Штатов стала Гражданская война, в которой Соединенные Штаты разбили и вновь завоевали Конфедерацию. Это была самая крупная война, если судить по числу сражавшихся и количеству потерь, из всех, какие велись в Западном мире в течение столетия между Битвой при Ватерлоо и Первой мировой войной. Людские потери в американской Гражданской войне превысили потери в любой другой войне на протяжении этого столетия, за исключением Тайпинского восстания и мусульманского восстания в Китае[34].

Шестой победоносной войной Соединенных Штатов была испано-американская война 1898 года, в которой Соединенные Штаты освободили от испанского владычества Кубу, создав свои военные базы в Гуантанамо, а также в Пуэрто-Рико и на Филиппинах. Седьмой и восьмой победоносными войнами Соединенных Штатов стали две мировые войны. В обеих этих войнах Соединенные Штаты вступили в ряды воюющих держав на поздней стадии, а во Второй мировой войне они приняли участие не по собственному желанию: их втянули в войну, напав на них. В Первой мировой войне Соединенные Штаты нанесли Германии сокрушительный удар, после того как Франция и Великобритания (главным образом Франция) уже добились решающих успехов. Что касается Второй мировой войны, то Соединенные Штаты могут оспаривать у Советского Союза (который тоже вступил в войну только после того, как на него было совершено нападение) право заявлять, что еще до окончания войны они стали главной воюющей державой антигитлеровской коалиции.

Девятой победоносной войной Соединенных Штатов была война в Корее — и здесь Китай и Северная Корея могли бы, пожалуй, оспорить претензии Соединенных Штатов на титул победителя; они могли бы утверждать, что это была война с неясным исходом; однако в любом случае Америка не потерпела в ней поражения[35].

Таким образом, военная история Соединенных Штатов была «историей успехов», какой была до сих пор и военная история Израиля. Граждане государства, которое родилось в результате победоносной войны и которое еще ни разу не проиграло войны, будут дорожить репутацией своей страны как победоносной военной державы, и им трудно будет примириться с представлением о том, что в истории их успехов тоже может образоваться разрыв, поскольку актеры в этой пьесе — смертные люди.

Если верно, что неразрывная цепь победоносных войн делает страну опасной для остального мира и для себя самой, то Соединенные Штаты и Израиль должны быть сегодня двумя самыми опасными из 125 независимых государств, между которыми поделена в настоящее время вся поверхность суши этой планеты. Обе эти страны, пожалуй, особенно опасны сейчас, когда я пишу эти строки, потому что обе они находятся в состоянии войны и обе сталкиваются с тем, что ее планы срываются, — к чему они непривычны.

На ноябрь 1968 года Израиль в Юго-Западной Азии, а Соединенные Штаты в Юго-Восточной Азии находились в не менее сложном положении, чем Япония в Китае перед окончанием китайско-японской войны 1931—1945 годов. Подобное положение, прерывающее привычную череду победоносных кампаний, удел всех завоевателей. Вспомним, например, поляков в XVII веке, шведов в XVIII столетии, французов в 1812 году и немцев времен Второй мировой войны (не касаясь эфемерного успеха немцев, навязавших мирный договор России перед окончанием Первой мировой войны). Подобно Гитлеру, Наполеону и Карлу XII в России, а также японцам в Китае, американцы в Юго-Восточной Азии и израильтяне в Юго-Западной Азии сталкиваются с сопротивлением, которому не видно конца. Они могли выигрывать сражение за сражением и занимать территорию за территорией, а их противники по-прежнему сохраняли свою боеспособность, потому что в их распоряжении было фактически бесконечное пространство, куда они могли отступать, тогда как их преследователи постепенно утрачивали способность эффективно контролировать захваченные территории.

За рекой Иордан арабский мир протянулся на восток до Загросских гор и Персидского залива; за Суэцким каналом он простирается до Атлантического океана; за Синайским полуостровом на юг — до Голубого Нила; за Эль-Кунейтрой на север — до междуречья Тигра и Евфрата. Американцы в Юго-Восточной Азии столкнулись с той

же проблемой, что и израильтяне в арабском мире. За Вьетнамом находится Северный Вьетнам, за Северным Вьетнамом лежит Китай; и хотя население Соединенных Штатов сегодня вдвое превышает население Японии, но японский опыт вторжений в Китай в 1931—1945 годах указывает, что даже людских резервов, промышленной мощи и экономических ресурсов Соединенных Штатов было бы недостаточно, чтобы решить задачу военной победы над Китаем. Соединенным Штатам пришлось бы завоевать и оккупировать Северный Вьетнам, прежде чем они могли бы начать вторжение в Китай; причем здесь им пришлось бы считаться не только с Китаем, но и с Советским Союзом. Эти две крупнейшие коммунистические державы в настоящее время раздирают распри, но они попрежнему едины в своей решимости не позволить Соединенным Штатам выиграть войну во Вьетнаме[36].

Обескураживающую стратегическую ситуацию, в какой оказались Соединенные Штаты и Израиль, усугубляет негативное психологическое воздействие неразорванной цепи побед в прошлом. Память о былых военных победах мешает им сейчас, в 1968 году, сделать то, что они должны сделать во имя своих истинных целей. Однако они упорствуют в своем нежелании взглянуть в лицо неприятной перспективе оказаться на этот раз побежденными.

У Израиля есть одна главная цель, превосходящая все остальные, и цена ей — собственное выживание. Израиль не может добиться для себя безопасности, если он не сможет убедить арабов признать факт своего существования. И сделать это надлежит со всей честностью, чтобы убеждение дошло до сердец, а не было просто словами, отпечатанными на листке бумаги. Израиль должен убедить арабов жить с ним бок о бок по-добрососедски. Он не в состоянии будет убедить их сделать это, если он не убедит их в том, что намерен действовать на началах взаимности, чистосердечия, проявляя истинно добрососедское отношение; и даже если он убедит их в этом, арабам трудно будет заставить себя заключить с ним мир, потому что арабы чувствуют себя пострадавшей стороной. Израильтянам, однако, тоже трудно будет пойти на заключение мира — но по совершенно иной причине. Израильтяне выходили победителями в трех арабо-израильских войнах; их победа в третьей из этих войн была наиболее стремительной и наиболее сенсационной, а, как известно, победители редко бывают склонны идти на уступки; ошеломляющая цепь побед вполне способна ослепить победителей, не дав им увидеть ту истину, что военная победа — это напрасно растраченный капитал. Таким образом, именно блестящая военная деятельность Израиля до сих пор служит серьезным психологическим препятствием на пути достижения им своей цели. Это звучит парадоксально, но это правда.

Проблема, с которой столкнулись в Юго-Восточной Азии Соединенные Штаты, не столь труднопреодолима, как израильская проблема в Юго-Западной Азии. Своим территориальным положение Израиль физически обречен на вечный контакт с арабским миром, так же как Советскому Союзу невозможно разорвать физический контакт с Китаем. Соединенные Штаты находятся в более счастливом положении. Они могут полностью уйти как из континентальной части, так и с островов Восточной Азии вплоть до Гавайских островов, не нанеся ни малейшего ущерба своей военной безопасности. Соединенные Штаты, как и остальные 124 независимых государства современного мира, совершенно лишены безопасности теперь, когда стало возможным поразить цель в любой точке на поверхности этой планеты ракетой с ядерной боеголовкой достаточной мощности. В Восточной Азии Соединенные Штаты преследуют негативную цель. Они хотят добиться уверенности в том, что континентальный Китай не оккупирует — или не установит своего господства, что близко к оккупации, — страны Восточной Азии. Казалось бы, Соединенным Штатам легче добиться этой цели, нежели Израилю добиться своей, ибо цель континентального Китая прямо противоположна цели Соединенных Штатов; это тоже негативная цель, и все эти негативные цели не противоречат одна другой. Цель континентального Китая заключается в том, чтобы Соединенные Штаты вывели свои вооруженные силы с занимаемых ими в настоящее время позиций на пороге Китая. Следовательно, политически урегулирование вполне достижимо, но существует и психологическое препятствие. Соединенным Штатам не хочется отказываться от победы в десятой по счету войне, из череды войн, которые они вели на протяжении 193 лет своего существования.

Это настроение американцев вызывает тревогу, потому что со времени японского нападения на Пёрл-Харбор Соединенные Штаты переключились со своей традиционной политики изоляционизма на прямо противоположную политику вмешательства в дела во всем мире, сделав таким образом большой шаг в направлении милитаризма.

В истории Соединенных Штатов это нечто новое. Подобно английскому народу, американский народ всегда придерживался традиционного взгляда на войну, однако, пока Соединенные Штаты не оказались против своего желания вовлечены во Вторую мировую войну, американский народ — опять-таки подобно английскому народу — никогда не отличался склонностью к милитаризму, в том смысле, в каком этот термин применим к японскому народу до 1945 года и к немецкому народу, охваченному «прусским духом», за исключением периода Веймарской республики. Милитаризм можно определить по двум симптомам. Один симптом: вооруженные

силы являются «государством в государстве»; вместо того чтобы твердо контролироваться гражданской исполнительной и законодательной властями и избирателями, они имеют возможность действовать как фактически независимая сила в государстве, причем сила господствующая. Второй симптом милитаризма заключается в том, что вооруженные силы милитаризованной страны состоят главным образом из призывников, мобилизованных на военную службу, и эти войска, сформированные на основе закона о воинской повинности, являются инструментом в руках группы профессиональных офицеров, хорошо организованных и пронизанных корпоративным духом. Если исходить из этих показателей, то Соединенные Штаты до Второй мировой войны не являлись милитаристской страной. Все свои предыдущие семь победоносных войн, за исключением Гражданской и Первой мировой войн, они вели силами добровольческих армий. И несмотря на то что в указанных двух случаях в качестве чрезвычайной меры вводился обязательный призыв на военную службу, от него каждый раз отказывались, как только война завершалась. Что же касается офицерского корпуса, то до Второй мировой войны он не обладал заметным влиянием в американской жизни. Профессиональная служба в офицерском корпусе вооруженных сил всегда пользовалась уважением и считалась хорошей карьерой, но она никогда не была ни слишком престижной, ни прибыльной.

В отличие от этого в 1968 году американский народ по обоим этим показателям можно считать милитаристским народом. Обязательный призыв на военную службу, введенный в Соединенных Штатах после того, как они были насильно втянуты в военные действия Второй мировой войны нападением японцев на Пёрл-Харбор, не был на этот раз отменен, когда вызвавшие его чрезвычайные обстоятельства перестали существовать. С тех пор в Соединенных Штатах действует закон об обязательной воинской повинности[37]. Это означает, что каждый американский гражданин мужского пола и призывного возраста является теперь потенциальным пушечным мясом для Пентагона, если последнему это потребуется. До сих пор обязательный призыв в армию, восстановленный в Соединенных Штатах в 1941 году, был избирательным, а отбор призывников производился на местных призывных пунктах гражданскими служащими. Однако в экономической жизни Соединенных Штатов щупальца Пентагона протягиваются в настоящее время значительно дальше. В самом деле, он контролирует большую и все растущую часть хорошо оплачиваемого населения. Бюджет, выделяемый вооруженным силам конгрессом, достигает значительной доли национального дохода американского народа, что совершенно очевидно: контроль, осуществляемый конгрессом над тем, каким образом эти средства расходуются, весьма поверхностный; а отсюда следует, что

заказы на вооружение, раздаваемые вооруженными силами по их собственному усмотрению промышленным корпорациям, стали главным фактором в объемах производства корпораций, а значит, и в получаемых ими прибылях. Этот экономический контроль над американским деловым миром дает Пентагону политический контроль над всеми американцами, кто зарабатывает деньги, производя товары, основным покупателем которых является Пентагон; а финансируя научные исследования, Пентагон обеспечил себе подобный же контроль над университетами. Более того, расходуя средства налогоплательщиков, он вынуждает самих налогоплательщиков молчаливо соглашаться с той зависимостью, которую их отцы и деды отвергли бы как «неамериканскую»! Американцы более раннего поколения, как и их английские современники, сочли бы политическое послушание ошибкой, присущей немцам.

Прогрессирующая «германизация» американского народа идет бок о бок с эскалацией войны Соединенных Штатов во Вьетнаме, и это изменение в американском образе жизни — большое несчастье для азиатской страны, которую превратили в театр военных действий и, кроме того, в угрозу всему остальному миру. Американский народ пребывает в опасном настроении, потому что «всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно». Нынешняя власть поджигателей войны в Соединенных Штатах превышает власть, какой обладает правительство любого независимого государства. Вызов, брошенный этой могущественной американской власти маленькой и технологически слабо оснащенной азиатской страной, унижает национальную гордость американского народа. Эта гордость подстегивается неразрывной цепью былых военных успехов; заметную роль здесь играет и фанатизм. Американская война во Вьетнаме — это крестовый поход, как она видится многим американцам. Однако в этом крестовом походе крестоносцы ошиблись в оценке личности своего противника. Веря в то, что она борется с коммунизмом, Америка столкнулась с вьетнамским национализмом, и мощное сопротивление, встреченное Америкой во Вьетнаме, — это лишь частное выражение общей для Азии и Африки решимости раз и навсегда избавиться от ненавистного западного господства.

В этой напряженной ситуации администрация в Вашингтоне испытывает давление со стороны Пентагона, который хочет бесконечно наращивать свои ужасные арсеналы, а американский народ склоняется к тому, чтобы поддержать требования Пентагона, отчасти потому, что американцы получают удовольствие от технологических достижений самих по себе, а отчасти потому, что американцы верят — возможно, ошибочно в данном случае, учитывая особенности местности во Вьетнаме и боевой дух противников, — что во вьетнамской войне людские потери армии США могли бы быть

уменьшены, если заставить технику выполнять работу людей, как это успешно делается в гражданской жизни в самих Соединенных Штатах.

Эти слова, написанные мною в 1968 году, будут опубликованы только в апреле 1969 года. Тем временем переговоры, начатые в мае 1968 года в Париже, могут закончиться подписанием соглашения или провалом, а могут еще и продолжаться. В любом случае состояние умов американцев в апреле 1969 года невозможно предсказать в 1968 году. Однако уже произошло нечто необратимое и непоправимое: американский народ уступил милитаризму. И даже если это отклонение в умах американцев окажется временным, каким оно, по-видимому, было в Японии и Германии, оно уже открыло остальному миру новую черту Америки, черту столь же обескураживающую, сколь и неожиданную. Даже если американский народ исправит допущенную ошибку и вернется на прежний курс, «имидж» Америки в мире никогда уже не будет таким, как прежде.



4. БОРЬБА МЕЖДУ ГУМАНИЗМОМ И БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТЬЮ

(1) Раскол по поводу войны как классический случай общего нравственного конфликта

В главе второй этой части я обсуждал изменения в позиции по отношению к войне, которые я наблюдал на протяжении моей жизни и которые также испытал на себе. Когда я был ребенком, институт войны, существовавший к тому времени около пяти тысяч лет, все еще воспринимался большинством людей в мире как нечто само собой разумеющееся, нормальное и вполне приемлемое. В то время только одно маленькое религиозное сообщество, именовавшее себя Обществом друзей, осуждало войну как безнравственный акт и вследствие этого отказывалось принимать какое бы то ни было в ней участие. Я дожил до времен, когда позиция квакеров в отношении войны распространилась на более широкий круг людей.

Охватывающее все большее число людей отвращение к войне в значительной мере объясняется чудовищным усилением смертоносного потенциала войны из-за применения новых технологий для «совершенствования» вооружений. Западный мир был потрясен картиной массовых убийств, совершенных на полях Первой мировой войны. Мир лишился лучших в физическом отношении молодых людей. Это было избирательное человеческое жертвоприношение, совершенное в беспрецедентном масштабе. Оно затмило жертвоприношения

ацтеков[1]. Бомбардировки с воздуха, впервые примененные во время испанской гражданской войны, изобретение и применение атомной бомбы на заключительной стадии Второй мировой войны продемонстрировали, что в будущем жертвоприношения молоху войны уже не будут избирательными. Это будет массовое истребление ни в чем не повинных людей, как это фактически происходит во время войны во Вьетнаме. В результате этих опустошительных экспериментов необходимость отказа от войны как средства решения проблем стала для многих очевидной.

Таким образом, на протяжении моей жизни беспрецедентный рост разрушительной мощи вооружений внес раскол в подход человечества к войне. Люди разошлись в своем отношении к войне, и обе эти различные позиции обнаруживают тенденцию доходить до крайностей. Эта поляризация чувств и мнений особенно бросается в глаза в вопросе о войне, потому что начиная с 1914 года человечество не раз испытывало на себе опасности, которые несут с собой мировые войны. Однако это явление поляризации не ограничивается чувствами в отношении войны; на протяжении моей жизни оно стало обнаруживать себя в сфере людских дел в целом. Борьба между теми, кто хотел бы уничтожить войну, и теми, кто по-прежнему озабочен гонкой вооружений, — это только частный случай, хотя и наиболее важный, общей борьбы между гуманизмом и бесчеловечностью — или, в зороастрийской терминологии, между силами добра и зла. Поляризация чувств и поведения людей обнаружила себя на протяжении моей жизни и в ряде других областей, помимо сферы войны.

(II) Гуманизм против геноцида, этнической чистки и апартеида

Насколько мне известно, за все предыдущие века не было сколько-нибудь длительного периода, когда гуманизм определял бы мысли, дела и поступки больших масс людей. Знаменитое, волнующее изречение «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо», которое римский комедиограф Теренций вложил в уста одного из своих героев, фактически более характерно для современного мира, нежели для Греко-Римского мира II века до Р. Х. И тем не менее в тот век, в который суждено было родиться и жить мне, наблюдалось массовое отречение от идей гуманизма в пользу жестких доктрин, призванных оправдать зверские поступки людей.

С самых ранних времен, о которых до нас дошли сведения, люди допускали массовые убийства друг друга без всяких законных оснований — помимо ритуальных форм массовых убийств во время войны. Однако в наше время нам пришлось создать новое слово, «геноцид», чтобы описать новый вид массового убийства. Отличительной

чертой геноцида XX века является то, что он совершается хладнокровно, согласно заранее изданному приказу тех, кто держит в своих руках деспотическую политическую власть, а также то, что виновные в геноциде пользуются всеми плодами современной технологии и организации, чтобы сделать свои запланированные массовые убийства систематическими и всеобъемлющими. Я достаточно стар, чтобы помнить ужас массового убийства турецких армян в Османской империи в 1896 году, свершенного по подстрекательству пользовавшегося дурной славой султана Абдул-Хамида II. Однако этот акт геноцида выглядит любительским и неэффективным по сравнению с более успешной попыткой уничтожить армян — подданных Османской империи, попыткой, сделанной во время Первой мировой войны, в 1915 году, послехамидовским режимом комитета «Единение и прогресс», в котором главными преступниками были Талаат и Энвер[1]. Вторая мировая война сопровождалась нацистским геноцидом в отношении евреев как в Германии, так и в других европейских странах, временно захваченных и оккупированных германскими вооруженными силами. Поскольку общий уровень, как технологический, так и организационный, в нацистской Германии был значительно выше, нежели в Турции времен комитета «Единение и прогресс», германский геноцид европейских евреев оказался еще более эффективным, нежели турецкий геноцид армян.

Подсчитано, что нацистский режим преуспел в уничтожении шести миллионов евреев. Со времени окончания Второй мировой войны политическое освобождение от европейского колониального правления бывшей Британской Индийской империи и значительной части Африки к югу от Сахары было трагически обезображено геноцидом, творимым в ужасающих масштабах и на Индийском субконтиненте, и в Руанде-Урунди, и в Нигерии[2].

Быть убитым в результате массового уничтожения людей — худшая судьба, нежели быть изгнанным с родной земли и лишенным своего дома и собственности. Беженец такой ценой выкупает свою жизнь, и, пока он жив, он может лелеять слабую надежду в конце концов оказаться репатриированным и восстановленным в своих правах или хотя бы получить компенсацию и устроиться на новом месте, достаточно подходящем для него, чтобы он мог пустить там новые корни. И тем не менее изгнание целых народов или даже диаспоры — это повторение в нынешнюю эпоху ошибок прошлого, варварского обычая, который время от времени проявлялся, однако раньше это происходило в менее безжалостной и не столь тщательно отработанной форме.

Когда после Первой мировой войны в ходе мирного урегулирования перекраивалась политическая карта Центральной и Восточной Европы, была предпринята искренняя попытка применить

в данном случае либеральный принцип политического самоопределения. Однако к тому факту, что в географическом отношении национальности в этом регионе перемешаны, добавилась вполне естественная, но заслуживающая порицания тенденция победителей принимать решение в пользу тех стран, которым довелось оказаться на их стороне. В результате с мнением меньшинств при проведении новой границы, как правило, никто не считался. И тем не менее новым устроителям Европы не пришло в голову изгнать эти меньшинства из их домов, оказавшихся на территории стран, где другие национальности составляли большинство и, следовательно, стояли у власти. Более того, страны-союзники и присоединившиеся державы заставляли вновь созданные или заново расширенные государства в Центральной и Восточной Европе подписывать соглашения о защите прав меньшинств и других национальностей в качестве условия вознаграждения за новые границы. Правда, выполнение этих соглашений о защите прав меньшинств проводилось в жизнь не слишком эффективно. Тем не менее Лига Наций действительно активно вмешивалась в дела Польши в период между двумя мировыми войнами, с тем чтобы предотвратить выселение польским правительством немецких сельскохозяйственных колонистов в Познани, поселившихся в период перед Первой мировой войной здесь, на польской территории, которая была тогда под прусской юрисдикцией[3].

Такова была политика онемечивания. Этой политике нет оправдания; и тем не менее в период между двумя мировыми войнами Лига Наций справедливо полагала, что не имеющие оправдания обстоятельства, при которых немецкие поселенцы основали свои фермы в Познани, не могут считаться достаточным основанием для того, чтобы изгнать их оттуда, каким бы несправедливым ни было их поселение там. Изгнание по политическим мотивам совершенно справедливо считалось нравственно недопустимым, даже при самых провокационных обстоятельствах.

Первая крупная ошибка при соблюдении этого принципа заключалась в обязательном обмене населением меньшинств и их собственности, как это произошло между Турцией и Грецией и между Турцией, Грецией и Болгарией после разгрома греческой армии в Анатолии в ходе греко-турецкой войны, случившейся после окончания Первой мировой войны. Было признано, что эта принудительная миграция и принудительный обмен частной собственности были наименьшим злом при существовавших тогда обстоятельствах. Национальная рознь в тех странах в то время настолько обострилась, что для меньшинства практически было невозможно оставаться в местах своего проживания. Греческие и армянские меньшинства в Турции бежали, бросив свое имущество; турецкое меньшинство в

Греции было изгнано в качестве ответной меры; страдания и потери выселенных лиц, кто внезапно оказался беженцем, облегчались положением, согласно которому брошенная или конфискованная частная собственность в каждой стране должна была передаваться правительству данной страны и затем распределяться между беженцами, прибывшими в эту страну. Урегулирование это осуществлялось под контролем Лиги Наций, и оно давало реальную возможность для греческих, турецких и болгарских беженцев и высланных лиц пустить новые корни и начать новую жизнь в стране, где коренное население было одной с ними национальности.

Судьба этих переселенных греков, турок и болгар счастливо отличается от судьбы палестинских арабов, которые бежали или были изгнаны из домов своих предков и лишены всей своей собственности, с тех пор как в 1948 году на населенной арабами территории в Палестине было создано государство Израиль. Со времен третьей арабо-израильской войны (Шестидневная война 1967 года) по настоящее время (1968) число высланных палестинских арабов, включая детей, родившихся в ссылке, увеличилось до почти полутора миллионов человек. Кроме того, еще около миллиона палестинских арабов остались жить под израильским правлением на территориях, оказавшихся израильскими после проведения, согласно условиям перемирия 1949 и 1967 годов, новых разграничительных рубежей. И теперь это политически зависимое палестинское арабское население страдает оттого, что к нему относятся как к «гражданам второго сорта» — отношение, которое испытали на себе зависимые меньшинства Центральной и Восточной Европы в период между двумя мировыми войнами.

Что же касается палестинских арабов, изгнанных или бежавших из родных домов, то тем, кого израильтяне лишили в 1948—1949 годах домов и имущества, запрещено было, под угрозой быть застреленным на месте, возвращаться в свои дома. Они не получили никакой компенсации за похищенную у них собственность ни от израильтян, ни от кого бы то ни было еще. Они едва сводят концы с концами в ссылке благодаря лишь скудному вспомоществованию, получаемому от других стран — главным образом от Соединенных Штатов и Великобритании. Американский и британский вклады — это, по сути дела, деньги, выплачиваемые для успокоения совести (то есть своего рода молчаливое признание того, что эти две страны в определенной мере несут ответственность за нынешнее плачевное положение палестинских арабских ссыльных и беженцев). Эти благотворительные средства — пусть даже недостаточные — все-таки предоставлялись ООН до тех пор, пока эта гуманитарная работа не была нарушена и парализована израильской военной оккупацией сектора Газы в 1967 году.

Правительствам арабских государств предъявляют обвинение в подстрекательстве палестинских арабов к сопротивлению в 1948 году и в том, что они с тех пор намеренно воздерживаются от расселения палестинских арабских беженцев на своих территориях, с тем чтобы использовать их как политических заложников. Первое из этих обвинений не доказано, хотя, впрочем, существует свидетельство того, что израильская сторона в 1948 году терроризировала население (наиболее чудовищным случаем было массовое убийство гражданского населения Дейр-Ясина), пытаясь вызвать панику среди палестинских арабов и заставить их бежать из своих домов. Обвинение арабских государств в том, что они намеренно воздерживаются от расселения палестинских беженцев на своих территориях, безусловно, несправедливо в отношении Иордании или Объединенной Арабской Республики[4], которые взяли на себя заботу о большинстве палестинских беженцев. Иордания, маленькая и бедная страна, предоставила беженцам с оккупированных Израилем палестинских арабских территорий равные права со своими собственными гражданами[5]. Объединенная Арабская Республика, перенаселенная страна, предоставила способным студентам из числа палестинских арабских беженцев места в египетских университетах с перспективой профессиональной карьеры в Египте, если эти палестинцы-стипендиаты хорошо проявят себя в египетских университетах.

Несмотря на то что арабский мир весьма велик, а некоторые арабские государства получают огромные доходы от продажи нефти, все арабские государства, за исключением плотно населенного и гористого Ливана, имеют статус «развивающихся» стран и не располагают достаточными возможностями для создания новых рабочих мест. Кроме того, палестинские арабские беженцы не могут быть расселены насильно, против своей воли, а многие из них столь же решительно настроены вынести все тяготы ссылки в надежде в конце концов вернуться в свои дома, сколь решительно были настроены изгнанники-евреи, после того как в VI веке до н. э. их изгнали вавилоняне, а во II веке н. э. — римляне[6].

Со времени окончания Второй мировой войны число немцев, изгнанных или бежавших из мест своего проживания в Восточной Германии, Польше, Чехословакии и Советском Союзе, приблизительно равняется числу умерщвленных в ходе этой войны нацистами европейских евреев[7]. В результате поражения Германии во Второй мировой войне восточная граница Германии была отодвинута назад, на линию Одер–Нейсе, и все бывшее немецкое меньшинство в Судетах, на территории Чехословакии, было оттуда выслано. Более того, условия жизни в Восточной Германии и Восточном Берлине при послевоенном коммунистическом режиме оказались настолько непереносимыми для значительной части населения, что

из Восточной Германии в Западную потекли потоки беженцев. Эта огромная масса восточногерманских беженцев — примерно в четыре раза превышающая нынешнюю массу палестинских арабских беженцев — успешно расселилась в Западной Германии. Однако Западная Германия в отличие от арабских стран обладает технологическими и экономическими преимуществами «развитой» страны, открывшими ей возможность энергично и эффективно завоевывать мировой рынок. Послевоенная промышленная экспансия Западной Германии фактически столь велика, что, найдя применение для дополнительной рабочей силы, поставляемой Восточной Германией, Западная Германия вынуждена приглашать еще рабочих других национальностей — причем не только из Италии и Испании, но и из таких сравнительно дальних стран, как Греция и Турция[8].

Стать жертвой массового убийства — это худшая судьба, нежели быть изгнанным и ограбленным, это худшая судьба, нежели быть вынужденным покинуть родные места. Наказание более слабой части населения само по себе не является новой формой бесчеловечности. В прошлом людей часто наказывали за исповедуемую ими религию, за их национальность, за их расовую принадлежность. Наказание невинных людей безнравственно в любом случае, однако наиболее зловещая перспектива открывается — причем как для преследуемых, так и для преследователей — в тех случаях, когда основанием для наказания служит расовая принадлежность.

На протяжении моей жизни я наблюдал, как усиливаются преследования по расовому признаку, при том что стиранию расовых различий через смешанные браки зачастую препятствует жесткое законодательство. Такая позиция характерна для господствующего «белого меньшинства» в Южной Африке[9]. Господствующее «белое меньшинство» в Родезии идет по тому же пути. С другой стороны, в Соединенных Штатах столетие спустя после отмены рабства на Юге «белое большинство» Северных штатов предпринимает решительные усилия с целью добиться расовой интеграции. И оно преуспело в навязывании своей политики упорно сопротивляющемуся «белому» сообществу на Юге. Тем не менее политика интеграции не принесет заметных плодов, пока не станет очевидно, что недостаточно решить расовую проблему Соединенных Штатов.

Интеграция, подобно апартеиду, упирается в законодательную сферу, а далеко не все стороны жизни регулируются законом. Слабость закона заключается в том, что радиус его действия не соответствует сфере общественной жизни. Существует множество общественных отношений, которые не могут регулироваться законами. Южноафриканское законодательство, утверждающее право на жизнь апартеида, было бы неэффективным, если бы большинство господствующего «белого меньшинства» в Южной Африке возра-

жало против него. Законодательство, поддерживающее процессы интеграции в Соединенных Штатах, эффективно только постольку, поскольку оно отражает чувства и поведение господствующего там «белого большинства». А сейчас, когда все больший и больший процент негритянского населения Соединенных Штатов перебираются с Юга в промышленные города Северо-Востока, промышленные рабочие из разряда «синих воротничков»[10] в этих городах обнаруживают точно такую же антипатию к неграм, какую проявляли к ним на Юге. Американский гражданин негритянского происхождения, возможно, теперь равен «белому» американскому гражданину в глазах закона, однако это юридическое равенство не гарантирует автоматически, что негр за одинаковую с «белым» работу будет получать равную плату. Оно не гарантирует и того, что они будут пользоваться одинаковыми жилищными удобствами и образовательными возможностями.

Негру обещали, причем действительно веря своим обещаниям, что эмансипация, а затем интеграция положат конец его неполноправному статусу. Каждый раз негру подавали надежду, а затем разочаровывали, и он в конце концов лишился своих иллюзий и ожесточился. Часть негритянского сообщества в Соединенных Штатах уже склонна обратиться к институту апартеида — но на этот раз по собственной воле и в воинствующей форме. Это изменение в характере американского негра и его устремлениях угрожает превратить расовые стычки со стрельбой вроде тех, что произвели столь разрушительное воздействие на Детройт и Ньюарк летом 1967 года[11], в ежегодное событие; причем ожесточенность с каждым разом, по всей вероятности, будет расти. Эпидемия гражданской войны — да еще войны, носящей расовый характер, — это грозная перспектива для любой страны. Уже после того, как я написал эти последние строки, убийство д-ра Мартина Лютера Кинга[12] спровоцировало новый взрыв насилия, и он намного превзошел ставшие уже рутинными расовые волнения летнего периода.

Мексиканец, бразилец или мусульманин мог бы справедливо возмущаться расовым подходом господствующих «белых» в Соединенных Штатах, Родезии и Южной Африке. В Исламском мире, в Бразилии, в Мексике расовые конфликты предотвращаются благодаря отчасти общей религии, отчасти смешанным бракам, чему немало способствует общая религия, там, где к религии относятся серьезно. С другой стороны, англичанин, наблюдающий трагический ход событий в Родезии, Южной Африке и Соединенных Штатах, не может взирать на них с чистой совестью.

Мы, в Великобритании, вплоть до окончания Второй мировой войны гордились своей невосприимчивостью к расовым предрассудкам. Помню, однажды, когда я был ребенком, моя мать мягко

сделала мне замечание, когда я уставился на индийских студентов, которые прошли мимо нас по улице. И это при том, что мое внимание к этим незнакомым темным лицам было вызвано любопытством, а не антипатией. Однако моя мать справедливо указала мне на то, что, позволяя себе обнаруживать свое любопытство и откровенно рассматривая своих собратий, я привожу их тем самым в замешательство и, значит, моя бестактность граничит с грубостью. В 1969 году темные лица стали в Великобритании уже настолько привычным явлением, что они больше не возбуждали в «белом» ребенке любопытства, зато они вызывают антипатию у такого количества «белых» взрослых, что это приводит в замешательство. Мы к настоящему времени осознали, что наша невосприимчивость к расовым предрассудкам была всего-навсего временной и объяснялась тем, что мы не сталкивались с проблемой расовых отношений в смешанном обществе. Те симптомы, которые мы наблюдали и которые осуждали у южноафриканских, родезийских и американских «белых», полностью проявились и у нас самих, в Великобритании, с началом массовой послевоенной иммиграции в нашу страну жителей Западных и Восточных Индии и Пакистана.

Эти послевоенные «небелые» иммигранты выполняют в Великобритании ту работу, которую больше не хотят выполнять местные «белые», но которая должна по-прежнему выполняться, чтобы общественная жизнь Великобритании не заглохла. Несмотря на то — или, может быть, потому, — что работа, выполняемая в настоящее время этими «небелыми» иммигрантами в Великобритании, имеет важное значение, их присутствие вызывает недовольство местных «белых». Это недовольство достигло к нынешнему моменту такой стадии, что правительство Соединенного Королевства вынуждено было ввести дискриминационное с расовой точки зрения законодательство. Во-первых, было законодательно введено ограничение на иммиграцию в Великобританию граждан других государств — членов Британского Содружества, которые раньше пользовались полной свободой въезда и поселения в Великобритании. В 1968 году дискриминационное законодательное ограничение было введено на въезд в страну индийцев и пакистанцев из Кении[13], имевших действующие паспорта Соединенного Королевства, в то время как «белые» жители Кении с точно такими же паспортами по-прежнему пользовались правом на свободный въезд, который официально предоставляет паспорт Соединенного Королевства. С тех пор как я написал эти строки, расовый вопрос в Великобритании превратился в политическую проблему в связи с решением консервативной партии выступить против законопроекта, выдвинутого в парламенте нынешним правительством[14] и предлагающего объявить незаконными определенные дискриминационные процессуальные нормы.

Хуже того, произнесенная в парламенте зажигательная речь вызвала взрыв расовых чувств среди местных «белых» в тех районах Великобритании, которые относительно плотно заселены «цветными» иммигрантами. Эта послевоенная вспышка расовых чувств заставляет многих британцев испытывать чувство стыда. Она также вызывает тревогу у тех, кому довелось своими глазами увидеть последствия расовых конфликтов других стран, где население расово неоднородно в силу географического фактора.

Расовое чувство отличается прежде всего отсутствием у него здравого смысла. По-видимому, не существует никаких научных свидетельств того, что физические различия, например в пигментации кожи или в форме носа, хотя бы в малейшей степени связаны со способностями человека или уровнем его нравственности. Среди представителей всех рас процент гениев, слабоумных, преступников и святых, по всей вероятности, один и тот же. В тех случаях, когда физические различия действительно кажутся на первый взгляд связанными с психическими различиями, это, как правило, проявление различий в культуре. А различия в культуре берут свои корни в относительной географической изоляции различных народов и рас на ранней стадии их истории. Помимо этого, культурное развитие отдельной расы может искусственно сдерживаться как следствие «наказания» этой расы за ее физические особенности. Это неблагоприятное воздействие на культуру наказания, налагаемое по расовым причинам, создает порочный круг, который трудно разорвать.

Можно ли разорвать этот порочный круг? Опыт говорит нам, что, к счастью, его можно разорвать с помощью браков между людьми различной расовой принадлежности. Там, где правит апартеид, разрушение преграды между людьми путем смешанных браков — это героический поступок; однако, когда на него осмеливаются пойти, это оказывается очень действенным средством. Когда же системой апартеида категорически запрещены смешанные браки, последствия бывают наиболее трудными и наиболее трагическими. Классическим примером служат евреи.

Серия трагических конфликтов между евреями и их соседями, неверными, началась, по свидетельству Книг Ездры и Неемии[15], когда Ездре удалось заставить членов еврейской общины в Иудее разорвать все существовавшие браки с неверными и в будущем отказаться от подобных браков. Этот запрет на смешанные браки между евреями и неверными, по всей вероятности, был введен в еврейской диаспоре в Вавилоне уже после того, как часть этой диаспоры возвратилась в Иудею в 538 году до Р. Х., поскольку Ездра и Неемия принадлежали к той части еврейской диаспоры в Вавилоне, которая не воспользовалась своим правом возвращения, дарованным Киром. А когда Ездра пришел со своею миссией в Иудею, он

обнаружил, что смешанные браки с неверными являются обычным делом среди потомков тех, кто был изгнан и возвратился в 538 году до Р. Х. Были они распространены и среди «людей земли», то есть иудейского крестьянства, которых не заставляли покидать родные места, когда Навуходоносор депортировал богатых и знатных, а также мастеров царства Иуды. Это было сделано последовательно в три приема, и в целом было изгнано не менее 4600 человек.

Табу, наложенное Ездрой на смешанные браки с неверными, оказалось настолько сильнодействующим, что оно не угасло за последующие двадцать три или двадцать четыре столетия и пережило эмансипацию западноевропейских евреев в наполеоновскую эпоху[16] и избавление значительной части евреев России от бывшей польско-литовской черты оседлости в результате русской революции 1917 года[17]. Евреи, избравшие культурную и языковую ассимиляцию со своими соседями, неверными, и даже те из них, кто полностью утратил веру в иудейскую религию, по-прежнему ощущают давление запрета на браки с неверными; а неевреи в свою очередь с привычным предубеждением относятся к бракам с евреями, хотя этот предрассудок, пожалуй, менее сильный. Тем не менее в Германии и Австрии, как и во всей Западной Европе, на протяжении столетия, закончившегося приходом Гитлера к власти в Германии в 1933 году, смешанные браки между евреями и неевреями становились все более частыми. Но это прогрессивное движение было затем прервано ужасным испытанием геноцидом.

У индусов такой же запрет существует среди вестернизированных брахманов[18]. Однако в настоящее время наиболее крайним случаем апартеида является режим, существующий на юге Африки. Законодательством ЮАР господствующей в стране «белой» диаспоре запрещено не только вступать в браки с «небелыми», но и иметь внебрачные половые связи с ними. В отличие от этого на «старом добром Юге» Соединенных Штатов «белые» представители мужского населения не испытывают никаких внутренних запретов в отношении половых связей с негритянскими женщинами. При этом «белый» мужчина может безнаказанно поддерживать свои отношения с «черной» женщиной, однако он почувствовал бы себя не в своей тарелке, если бы вздумал повысить статус своей любовницы-негритянки, сделав ее законной женой. Для «белых» американского Юга препятствием к законному смешанному браку служит не физическое отвращение к половым связям с неграми, а политические мотивы. Это безошибочно проглядывается в табу, налагаемом господствующим «белым» большинством на законные браки между «белыми» американцами и американцами негритянского происхождения, а также еще в одном табу — на внебрачные половые связи между «белыми» женщинами и мужчинами-неграми.

Эти намеренно унизительные условия, налагаемые «белыми» на половые связи между «белыми» и неграми, в настоящее время вызывают в американском сообществе реакцию, подобную реакции на геноцид европейских евреев и бывших европейских, а ныне израильских евреев. Оскорбленное общество отвечает на принудительную ресегрегацию (за которой последовало в случае с европейскими евреями массовое уничтожение) принятием со своей стороны политики контрсегрегации. Естественное и достойное похвалы чувство человеческого достоинства является лицевой стороной монеты «Власть — черным», а ее оборотная сторона — это угроза эндемической расовой войны в стране, где «белая» и негритянская расы в настоящее время географически перемешаны не только на «старом Юге», но и повсюду в Соединенных Штатах.

Эти препятствия на пути интеграции как евреев и неевреев, так и «белых» и негров являются несчастьем для всего человечества — единой общей расы всех частных рас.

(III) Диаспора, наказанная или господствующая

Диаспоры есть неизбежный продукт местных различий в уровнях развития цивилизаций, и эти местные различия существуют со времен самой ранней цивилизации, которая, как мы знаем, возникла в Шумере около пяти тысяч лет назад[1]. Когда сообщества, находящиеся на существенно различных уровнях цивилизации, устанавливают контакт друг с другом, отсталое сообщество испытывает острое желание сравняться с более продвинутым сообществом или хотя бы попытаться сократить разрыв. Члены отсталого сообщества осознают, что если они теперь же, незамедлительно, не овладеют мастерством и знаниями, присущими более развитой цивилизации, то они погибнут. Однако им нелегко быстро поднять свой культурный уровень без помощи со стороны более цивилизованного общества. Им приходится спешно приспосабливаться к этому новому миру с более высоким, нежели у них, культурным уровнем. Они не могут позволить себе ждать.

Спасительным средством в их плачевном положении служит «импорт» членов более развитого сообщества для осуществления тех функций, которые они пока еще не в состоянии осуществлять сами, но о выполнении которых должны позаботиться, если хотят удержаться в том странном новом мире, где они оказались. Эта потребность в новых людях, испытываемая отсталым сообществом, предоставляет развитому сообществу богатые возможности. Она открывает для его членов новое поле предпринимательской деятельности. Они могут «начинить» отсталую страну искусными в своем деле мастерами, которые ей необходимы и которых она не в состоянии

вырастить в своей среде. Это один из путей возникновения диаспоры. В современном мире местные различия в уровне развития цивилизации весьма велики. Развитие техники «уничтожает расстояния». Для большинства народов Земли сглаживание различий в культурных уровнях становится насущной потребностью. Таким образом, сегодня диаспоры, вероятно, еще более многочисленны и более важны, чем когда бы то ни было раньше. И соответственно, диаспоры стали одной из наиболее трудноразрешимых проблем в мире. Эта проблема трудноразрешима потому, что незаменимость диаспоры отнюдь не прибавляет ей популярности и любви.

Классическим примером этого исключительно сложного вопроса в истории Западного мира служит незаменимость и непопулярность евреев в средневековых христианских королевствах Запада. Без тех услуг, которые осуществляли евреи для Христианского мира, этот средневековый Христианский мир не смог бы сам по себе устоять против превосходящих его цивилизаций восточных ортодоксальных христианских стран и Исламского мира. Еврейская диаспора на Западе осознавала ценность для Запада тех услуг, которые она ему оказывала, и, следовательно, поскольку ничто человеческое не было чуждо этой еврейской диаспоре, она высоко ценила свои услуги. Христиане в отсталых странах средневекового Запада со своей стороны осознали, что местные евреи одновременно и оказывают им незаменимые услуги, и извлекают для себя выгоду из своей монополии и мастерства. Западное христианское большинство отвечало на это тем, что наказывало еврейское меньшинство, а как только почувствовало, что может обойтись без евреев, принялось изгонять их. И оно не позволяло евреям возвратиться в свое общество, пока не овладевало в достаточной мере присущим евреям мастерством, чтобы быть в состоянии выстоять в соперничестве с ними.

Этот классический пример из истории существования евреев в средневековом Западном мире говорит нам о том, что положение диаспоры всегда ненадежно. Эта ненадежность заставляет членов диаспоры держаться вместе и оказывать друг другу взаимную поддержку. В глазах коренных жителей это выглядит как преступный сговор чуждого меньшинства в их среде, сговор, направленный против них. А это подозрение в свою очередь делает данную диаспору еще более непопулярной, а чем более непопулярна диаспора, тем более тесной становится солидарность ее членов между собой. Таким образом создается порочный круг действия и противодействия, который неизбежно оказывается в конце концов разорванным. И здесь возможны два пути. Либо данная диаспора будет уничтожена или изгнана, либо — другой вариант — она станет господствующим чуждым меньшинством, которое управляет подвластным ей боль-

шинством коренных жителей. «Белая» диаспора по-прежнему остается в настоящее время господствующим меньшинством а Южной Африке, но она уже отмерла в Кении и Северо-Западной Африке. В Северной Нигерии исчезла народность ибо; китайцы ушли из Индонезии, но в настоящее время они господствуют в Малайзии[2].

Существует ли какая-нибудь третья возможная развязка помимо этих двух крайностей, каждая из которых гибельна? К счастью, существует. Чуждая диаспора может без особого желания пойти на постепенную ассимиляцию или решительно взять курс на нее, по мере того как «культурный разрыв» между этой диаспорой и коренным населением будет быстро уменьшаться — отчасти в результате непосредственного воздействия чужеродной закваски на тесто коренного происхождения.

Когда в 1966 году на Пасху я посетил Эфиопию, то был удивлен, увидев на фоне ночного неба крупную светящуюся и бросающуюся в глаза каждому надпись. В столице страны Аддис-Абебе, в самом центре ее, огненными буквами горели слова «Итальянский клуб». Принимая во внимание то, что сделали с Эфиопией итальянцы в 1935—1936 годах[3], я никак не мог уразуметь, как они могли осмелиться, какие бы то ни было итальянцы остаться здесь после ликвидации в начале Второй мировой войны краткого итальянского правления, навязанного в свое время Эфиопии посредством циничного и жесткого акта военной агрессии. И если уж какие-то итальянцы тем не менее явно остались, то как они могли осмелиться выставлять напоказ свое присутствие, вместо того чтобы скромно оставаться в тени? Порасспросив многих жителей, я обнаружил, что из трех диаспор, обосновавшихся за этот период в Эфиопии, итальянцы пользовались наибольшей популярностью, несмотря на тот факт, что их соперники, греки и армяне, никогда не причиняли эфиопам вреда, а армяне, кроме того, исповедовали ту же религию, что и эфиопы. (Они, так же как и эфиопы, принадлежат к дохалкедонской Церкви, которую отделившиеся от нее христиане обычно называют «монофиситская» (т. е. до Халкедонского Вселенского Собора см.: Библ. энц., с. 738).) Армяне и греки были здесь сравнительно непопулярны потому, что они переправляли большую часть денег, заработанных ими в Эфиопии, своим семьям за границу, а также потому, что они заключали браки, как правило, с членами своего собственного сообщества. Итальянцы же в отличие от них легко вступали в браки с коренными жителями и оставляли заработанные деньги в Эфиопии. Эфиопы понимали — и понимали, несомненно, правильно — эти две характерные черты поведения итальянцев как свидетельство намерения местных итальянцев сделать Эфиопию своим постоянным домом. Готовность итальянцев вступать в браки с эфиопами заставила эфиопов простить итальянцам кровавые расправы над ними в

недалеком прошлом. Я уже высказывал здесь свое убеждение, твердо выведенное мною из опыта моей жизни, что смешанные браки — это наилучшее решение проблемы апартеида.

Таким образом, готовность обеих сторон к ассимиляции представляется цивилизованным решением проблемы, созданной присутствием чуждой диаспоры в среде относительно отсталого большинства коренного населения. В 1956 году я имел возможность наблюдать в Колумбии местные ливанскую и сирийскую арабские христианские диаспоры (известные в Латинской Америке как «турки»)[4], которые поддерживали с местными креолами и метисами в значительной мере такие же отношения, как эфиопские итальянцы с эфиопами в 1966 году. У «турок» в Колумбии, как и у итальянцев в Эфиопии, был собственный клуб, а уровень их профессионального мастерства, а значит, и доходы тоже были выше, чем у коренного населения. В то же время «турки», подобно итальянцам, действительно вступали в браки с коренными жителями, и тот факт, что члены диаспоры свободны от расовых предрассудков, предвещал их неизбежную ассимиляцию, защищая их, помимо того, от опасности навлечь на себя ненависть местного населения, которую в противном случае могли бы навлечь на них более высокий уровень мастерства и более высокое материальное положение.

В Аргентине я в 1966 году обнаружил английскую диаспору, также проявлявшую готовность к ассимиляции. Все большее и большее число ее членов отказывались от своего британского подданства и принимали гражданство Аргентины. Вместо того чтобы посылать своих детей в Великобританию получать там среднее и высшее, университетское, образование, они оставляли их учиться в Аргентине. Подобная тенденция в среде именно этой диаспоры заслуживает особого внимания по нескольким причинам. Народы, говорящие на германских языках, вообще тонко чувствуют свою расовую и языковую принадлежность, как это было продемонстрировано в Южной Африке, Австралии, Соединенных Штатах и Канаде. Более того, в Аргентине английская диаспора в течение почти столетия, закончившегося в 1914 году, занимала господствующее положение в экономическом плане. Именно эта диаспора открыла для Аргентины возможность превратиться в современную страну, построив порты, проложив газопроводы, проведя электричество и прежде всего создав сеть железных дорог, разбегающихся от Буэнос-Айроса. Принимая во внимание историю английской диаспоры в Аргентине, решение, к которому она пришла после Второй мировой войны, — слиться с аргентинским народом — можно считать свидетельством умения проникнуть в суть реального положения дел. Если бы эта диаспора продолжала бороться за сохранение своего особого положения, это было бы по-человечески понятно, но это

также было бы самоубийственно. Выбор, с которым столкнулась в то время эта диаспора, заключался, как она это правильно поняла, в том, чтобы либо ассимилироваться, либо оказаться выдавленной из страны.

В Уругвае я имел возможность наблюдать процесс ассимиляции в действии на примере четырех поколении. Я посетил скотоводческое ранчо, созданное сто или более лет назад шотландским поселенцем-пресвитерианином. Ранчо процветало; семья превратилась в местную знать; и по мере того, как повышалось ее материальное и общественное положение, она все больше идентифицировала себя со своими уругвайскими соседями. В 1966 году все жившие тогда представители четырех поколений этой семьи принадлежали к римско-католической Церкви; старшее из четырех поколений было еще двуязычным, хотя его представители говорили по-английски с сильным кастильским акцентом; младшее же поколение, представители которого еще не вошли во взрослую жизнь, можно было бы принять за уругвайцев испанского происхождения, если бы не их фамилия, раскрывающая их шотландское происхождение.

Ключом к ассимиляции служат смешанные браки, а это становится возможным при общности религии. Например, французские протестанты, которые после отмены Нантского эдикта[5] эмигрировали в страны с протестантской религией — Англию, Нидерланды, Южную Африку, Вюртемберг, Пруссию, Южную Каролину, — беспрепятственно начали вступать в смешанные браки с местным населением тех протестантских стран, в которых они нашли убежище. Они осваивали свой новый дом, рассчитывая жить среди собратьев по религии, и их принимали с радостью, потому что у себя на родине они пострадали за то, что исповедовали ту же самую религию, что и их новые сограждане. В таких обстоятельствах смешанные браки были заранее предрешены. Ирландские поселенцы в Аргентине тоже начали быстро вступать в смешанные браки с аргентинцами испанского происхождения, потому что те, подобно им, принадлежали к римско-католической Церкви. Обосновавшиеся в Аргентине английские семьи того же поколения не спешили заключать смешанные браки, поскольку большинство из них были протестантами, и религиозная принадлежность служила для них препятствием при вступлении в смешанные браки, как и препятствием для ассимиляции. В данном случае переход в католичество представлял собой один из симптомов того, что тогдашнее поколение приняло решение отождествлять себя с населением приютившей их страны. В Колумбии многие «турки» были униатами, а для католиков-униатов нетрудно перейти на римско-католический обряд, если они поселились в стране, где население придерживается римско-католического обряда.

Тем не менее существуют исключения из общего правила. Я уже упоминал о том, что в 1966 году в Эфиопии я обнаружил, что представители итальянской диаспоры, принадлежащие к римско-католической Церкви, вступают в смешанные браки с представителями коренного населения, принадлежащими к дохалкедонской Церкви, с большей готовностью, нежели представители армянской диаспоры, тоже принадлежащие к последней.

Отношения между членами диаспоры и коренными жителями страны, где обосновалась эта диаспора, являются наиболее сложными в тех случаях, когда смешанные браки наказуемы или решительно запрещены законом, гражданским или церковным, либо запрет налагается предрассудком. В 1969 году наиболее оскорбительной приверженностью запретам среди существующих в настоящее время диаспор отличались евреи, брахманы и «белая» диаспора в Южной Африке.

(IV) Западноевропейская деколонизация и новые колониальные империи

Борьба между гуманизмом и бесчеловечностью в сфере политических отношений между народами земного шара происходит на протяжении всей моей жизни. Я уже упоминал о том, что я достаточно стар, чтобы живо помнить празднование бриллиантового юбилея королевы Виктории в 1897 году и что теперь, в ретроспективе, нетрудно видеть, что это было фактически празднование наивысшего подъема, какого достигла Британская империя. Великобритания обладала всего лишь наиболее крупной и наиболее мощной из империй, созданных западноевропейскими государствами: Великобританией, Францией, Нидерландами, Бельгией, Германией и Италией. В 1897 году эти шесть западноевропейских стран в определенной степени разделили между собой почти весь остальной мир. Масштабы их империи на тот период не полностью отражаются расцвеченной политической картой мира за 1897 год. Многие государства — и среди них весьма крупные государства, — обозначенные на карте тех дней как политически независимые, зависели от Западной Европы экономически, а экономическая зависимость, когда она доходит до крайних пределов, превращает номинальную политическую независимость в нечто эфемерное. В 1897 году экономическая империя Западной Европы — невидимая на политической карте мира, но весьма ощутимая для ее субъектов — включала Российскую империю, Османскую турецкую империю, Иран, Китай и все латиноамериканские республики.

В 1897 году даже Соединенные Штаты были должником Западной Европы. Они прибегли к западноевропейскому капиталу для

финансирования развития своих обширных неосвоенных западных территорий. Положение круто изменилось с Первой мировой войной, когда западноевропейские державы вовлекли друг друга в самоубийственную игру под названием «Пущу-ка я по миру своих европейских соседей». В 1897 году впереди у Западной Европе было еще семнадцать лет финансового господства, прежде чем она начала, с Первой мировой войной, разорять себя, успешно завершив этот процесс в ходе Второй мировой войны. Положение действительно круто изменилось, когда после Второй мировой войны Европа оказалась обязана своим экономическим возрождением Плану Маршалла, согласно которому американская помощь предоставлялась ей в качестве дара, безвозмездно, в отличие от тех условий делового партнерства, на которых Западная Европа финансировала экономическое развитие Соединенных Штатов в XIX столетии.

Задолженность Соединенных Штатов Европе, достигнув своих наивысших масштабов, хотя и сказывалась достаточно тяжело на экономике страны, не подорвала тем не менее политической независимости Соединенных Штатов. Однако, за исключением Соединенных Штатов, полностью независимые государства вне пределов Европы были в 1897 году достаточно редки. В Азии, например, их было всего два, а именно Япония и Таиланд, а в Африке, после аннексии в результате Южноафриканской войны (англо-бурской) Свободного Оранжевого государства и Трансвааля Британской империей, и вовсе одно — Эфиопия. Либерия, хотя она и оставалась номинально независимой, была фактически протекторатом Соединенных Штатов[1]. Эфиопия же — естественная крепость с гарнизоном из воинственного народа амхара[2] — не только сохранила свою независимость, но и успешно соперничала с западноевропейскими державами в «борьбе за Африку». С другой стороны, Египет, первым вступивший в эту борьбу, завоевав в 1820 году Судан, не только вынужден был уступить свою нильскую империю последователям Махди Мухаммеда Ахмеда, но и сам в 1822 году стал британским владением[3]. Тунис превратился во французский доминион в 1881 году[4]. В 1905 году французская армия вошла в Марокко, и в 1911 году эта страна стала французским протекторатом[5]. А Ливии предстояло быть отвоеванной Италией у Османской империи в ближайшее время[6].

Политическая карта Африки за 1969 год, если ее положить рядом с картой Африки за 1897 год, демонстрирует степень деколонизации Африки и других неевропейских стран, находившихся в зависимости от Западной Европы. Фактически процесс деколонизации протекал во время Второй мировой войны и после нее, начавшись с уничтожения в ходе войны кратковременного итальянского правления в Эфиопии и достигнув своей кульминации в Африке с уходом французов из Алжира. В 1968 году единственной

сохранившейся западноевропейской империей в Африке оставалась самая старая из них, а именно португальская[7]. Причем Португалия была по-прежнему в состоянии удерживать Анголу и Мозамбик только потому, что ее поддерживала другая африканская страна, Южная Африка, которая *de jure* была независимой, и еще одна страна, Родезия, которая благодаря поддержке Южной Африки и Португалии, а также слабости своего официального суверена, Великобритании, была независимой *de facto*.

Несмотря на то что движение за деколонизацию началось во время Второй мировой войны восстановлением независимости Эфиопии, оно получило решающий импульс в 1947 году, когда Великобритания — завершив выполнение обязательства, взятого ею на себя в 1917 году и успешно с тех пор выполняемого, — отказалась от своего суверенного права на бывшую Британскую Индийскую империю и Цейлон. (Освобожденная Британская Индийская империя немедленно распалась на три отдельных независимых государства: Индийский Союз, Пакистан и Бирму[8].) Азиатские территории, оставленные Великобританией в 1947 году, представляют собой настолько огромную и настолько важную часть всех неевропейских владений Западной Европы, что их освобождение сделало неизбежным освобождение остальных владений.

Мотивы, заставлявшие бывшие колониальные державы Европы отказываться от своих империй, были различными. Несомненно, имел место и моральный фактор как мотив искренний и бескорыстный. Широкие круги общественности западноевропейских стран, обладавших колониальными империями, стали чувствовать несправедливость того, что неевропейские подданные империй лишены той политической независимости, которую европейцы требовали для себя, — ведь это же не Богом данная привилегия для Европы, а одно из основных человеческих прав. Кроме того, был другой мотив, не идеалистический, а вполне материальный и тем не менее не постыдный.

К окончанию Второй мировой войны зависимые народы во всем мире стали настойчиво требовать предоставления национальной независимости во имя соблюдения принципов национализма и демократии, о которых они узнали благодаря невольным контактам со своими европейскими правителями. Эти требования все равно были бы рано или поздно предъявлены, и в любом случае их осуществления добились бы, в крайнем случае прибегнув к насилию. Однако неизбежный ход событий оказался ускоренным благодаря влиянию двух мировых войн — особенно первоначальному успеху во Второй мировой войне Японии, которая, разбомбив военно-морской флот Соединенных Штатов в Пёрл-Харборе, на какое-то время захватила и оккупировала все американские, английские, французские и голландские

колониальные владения в Восточной Азии, вплоть до Малайского архипелага, Индонезии и Бирмы. Эти японские завоевания оказались эфемерными. Вторая мировая война закончилась для Японии капитуляцией и военной оккупацией, что произошло впервые за всю историю этой страны. И тем не менее в историческом плане поразительные победы Японии на определенном этапе войны оказали более сильное влияние, нежели ее окончательное поражение.

Япония «творила» историю — необратимую историю, — демонстрируя тот факт, что Запад уязвим. В 1941 году Япония показала, что Запад блефует. Репутация неуязвимых держав, приобретенная Великобританией в 1757 году в Битве при Плесси и Францией в 1798 году при Имбаба[9], позволила западноевропейским странам захватить и весьма ограниченными силами удерживать огромные территории, платя за это крайне низкую цену. Жертвы западноевропейских «строительных империй» оказывались сломлены психологически еще до того, как физически вступали в битву с западными захватчиками. Теперь же, когда Япония показала, что Запад блефует, стало очевидно, что уже поднимающейся волне антиколониализма в Азии и Африке противостоять невозможно. После 1945 года эта невозможность была подтверждена французским экспериментом в Индокитае и Алжире и опытом Великобритании, обретенным ею на Кипре и на юге Аравийского полуострова. Измученные испытаниями двух мировых войн, бывшие колониальные державы Европы не имели больше ни желания, ни возможностей удерживать при помощи военной силы свои империи, которые они прежде удерживали главным образом благодаря своей репутации. Западноевропейские державы в конце концов пришли к разумному выводу, что игра в колониализм больше не стоит свеч. В течение короткого промежутка времени казалось, что конец европейского колониализма станет концом колониализма вообще, однако туда, куда западные европейцы отныне опасаются ступить, ринулись американцы и израильтяне. Едва Великобритания отказалась от своего мандата на управление Палестиной, как за этим немедленно последовало провозглашение государства Израиль на палестинской арабской территории. Едва только спала волна французского колониализма во Вьетнаме, как следом за ней незамедлительно поднялась американская волна, а война Соединенных Штатов во Вьетнаме, как и предыдущая их война в Корее, — лишь попытки построить американскую колониальную империю в Восточной Азии, простирающуюся от Японии до Таиланда, охватывая Южную Корею, Тайвань и Южный Вьетнам, а также включающую Австралию и Новую Зеландию.

На своей первоначальной стадии американская колониальная империя в Восточной Азии предстает в форме американского протектората над государствами, которые формально остаются независимыми,

но фактически становятся сателлитами Соединенных Штатов. Такой же была первая стадия строительства ныне почивших в Бозе европейских колониальных империй. Так что эта стадия хорошо знакома как самим народам бывших колониальных стран Европы, так и их бывшим азиатским и африканским подданным. В глазах большей части человечества Соединенные Штаты в свою очередь предпринимают попытку создания колониальной империи традиционного типа. Эту точку зрения разделяет и то меньшинство американской общественности, которое протестует против подобных акций правительства. Мы можем догадываться, что подобной же точки зрения молчаливо придерживаются и некоторые люди в Пентагоне.

С другой стороны, большинство американцев искренне и гневно отвергают подобное обвинение. В глазах этого большинства американцы не наносят миру оскорбления, занимаясь сейчас, в 1968 году, строительством империи, что они в прошлом справедливо осуждали, когда тем же самым занимались их европейские собратья. Американцы полагают, что они защищают «свободный мир» (то есть все страны, живущие в условиях некоммунистических режимов любого типа) от «мира коммунизма». Многие американцы все еще искренне верят, что этот монстр существует и что его цель — не больше и не меньше, как завоевать весь мир. Вместе с тем наблюдатели-неамериканцы сознают, что страны, где правят коммунистические режимы, не более объединены между собой, чем страны с любыми другими режимами. Действительно, разлад между коммунистическим континентальным Китам и коммунистическим Советским Союзом дошел до крайности, а Советский Союз удержал в своей сфере Чехословакию путем военной оккупации.

Американцы считают, что они ведут крестовый поход — в средневековом западном значении этого слова — от имени Всемирной Капиталистической Демократии против Всемирной Коммунистической Тирании. Американцы правы, когда они полагают, что капиталистическая и коммунистическая постхристианская идеологии представляют собой религии, причем миссионерского типа, к более старым представителям которых относятся буддизм, христианство и ислам. Президент Вильсон заявил, что Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну, чтобы «спасти мир для демократии». Троцкий — если бы он победил в соперничестве со Сталиным — расширил бы сферу возможностей Советского Союза, чтобы спасти мир для коммунизма. Этот неверный подход зиждется на ошибочном представлении, будто капитализм и коммунизм являются главными — или даже единственными — постхристианскими идеологиями, существующими ныне в мире. Фактически же главными наследниками христианства, как и всех остальных исторических высших религий, сейчас, в 1969 году, является национализм,

а не эти две миссионерские идеологии. Национализм — это могущественная религия отчасти потому, что он стар, как само человечество, а отчасти потому, что в постхристианском Западном мире фанатизм, унаследованный христианством от иудаизма, отфильтровался в национализм. Престиж Запада подтолкнул незападные народы к принятию этой могущественной и наиболее отвратительной из трех постхристианских западных идеологий. В 1969 году национализм служит религией для примерно девяноста процентов всего человеческого рода. Поражение, нанесенное Троцкому Сталиным, исключительно знаменательно. В каждой стране — не важно, коммунистическая она или капиталистическая, — в условиях, когда экуменистическая идеология пришла в столкновение с особыми национальными интересами страны, этим национальным интересам неизбежно будет отдаваться предпочтение, а коммунизм или капитализм в равной степени обречен на поражение.

Как мне кажется, там, во Вьетнаме, американцы ошиблись в личности противника, которому они бросили вызов. Их противником был не мифический монстр «мировой коммунизм», а вьетнамский национализм. Военная мощь Соединенных Штатов потерпела сокрушительное поражение во Вьетнаме, потому что национализм — это то дело, ради которого современные человеческие существа готовы пожертвовать своими жизнями. Северовьетнамцы и вьетконговцы сражались прежде всего не за расширение владений коммунизма, а за то, чтобы изгнать иностранного завоевателя из своей страны. Советский Союз и континентальный Китай предоставляли Северному Вьетнаму и вьетконговскому движению сопротивления материальные возможности для выполнения этой работы, делая это отнюдь не по идейным, а по тем же практическим соображениям, которые заставляли Соединенные Штаты предоставлять материальные возможности Великобритании в 1940 году. Соединенные Штаты в 1940 году считали, что их собственная национальная безопасность подвергнется угрозе, если они позволят Германии завоевать Великобританию. Я уже отмечал, что Советский Союз и Китай, чьи взгляды на их собственные национальные интересы пришли в столкновение по многим вопросам, одинаково убеждены в том, что Соединенные Штаты будут представлять угрозу национальной безопасности обеих сверхдержав, если они позволят Соединенным Штатам завоевать и удерживать Вьетнам.

В ноябре 1968 года один факт стал уже очевидным. Чем бы ни кончилась война во Вьетнаме, вьетнамское движение сопротивления успело «сделать» историю. Маленькая развивающаяся страна осмелилась бросить вызов могуществу сильнейшей из когда-либо существовавших военных держав. Вьетнамский народ выдержал тяжкое испытание, выстояв, когда его терзали «обычными» видами оружия

беспрецедентной мощи. Он уступил захватчику лишь крошечную часть страны, и боевой дух народа не был сломлен превосходящими силами противника. Между тем героизм вьетнамского сопротивления вызвал напряжение экономических ресурсов Соединенных Штатов, что поколебало веру всего мира в доллар. Вполне возможно, что к тому времени, когда настоящая книга выйдет из печати, вьетнамский народ будет уничтожен и во Вьетнаме не останется населения. Вьетнамцев может ожидать та же судьба, какую римляне уготовили палестинскому еврейскому движению сопротивления в 66—70 и 132—135 годах н. э.[10]. Тем не менее в этом случае вьетнамцы сыграют такую же роль, какую сыграли триста спартанцев, уничтоженных в 480 году до Р. Х.[11]. Они вдохновят народы других незападных стран на то, чтобы предпочитать смерть подчинению колониального правления.

Во всяком случае, ценой военной победы Соединенных Штатов во Вьетнаме, скорее всего, станет девальвация доллара, принесение в жертву сотен тысяч молодых американцев и моральное осуждение Соединенных Штатов всем остальным миром, осуждение не менее суровое и не менее всеобщее, нежели то, которому подверглась Германия при нацистском режиме, Япония в 1931—1945 годах и Советский Союз в период правления Сталина. Я буду удивлен, если американский народ предпочтет бороться во Вьетнаме до конца, однако по нескольким причинам, о которых я уже упоминал, я не считаю подобную возможность совершенно немыслимой.

Между тем ход вьетнамской войны уже подтверждает как мудрость, так и нравственную силу отказа западноевропейских бывших колониальных держав от своих колониальных империй. В то же время неспособность американского народа извлечь из этого полезный урок служит печальной иллюстрацией упрямого нежелания человеческой натуры учиться на чем бы то ни было, кроме своего непосредственного горького опыта.

В ноябре 1968 года исход войны на Ближнем Востоке, как и исход войны во Вьетнаме, продолжает оставаться непредсказуемым. В каждой из трех арабо-израильских войн, которые до сих пор велись, израильтяне одерживали победы столь стремительно и с таким профессиональным блеском, что этому, должно быть, завидовали люди из Пентагона. Тем не менее в долгосрочной перспективе израильские военные и политические перспективы на Ближнем Востоке еще более сомнительны, чем американские перспективы в Восточной Азии. В 1968 году израильтяне озадачены той же духовной и той же географической проблемами, какие ставили в тупик Соединенные Штаты. Арабы, как и вьетнамцы, полны решимости бороться против возвращения их под колониальное правление.

Что же касается географической проблемы, то арабский мир по протяженности не уступает Вьетнаму и континентальному Китаю, взятым вместе, в то время как людские ресурсы Израиля крошечные по сравнению не только с Соединенными Штатами, но и с Вьетнамом.

Более того, палестинские арабы, как, впрочем, и все арабские народы, до которых может «дотянуться» Израиль, обладают еще большим стимулом к сопротивлению, нежели вьетнамцы. Большинство арабов, чьи дома оказались на израильской стороне относительно проведенной в 1949 году линии перемирия, были изгнаны и ограблены. В 1968 году арабское население, проживающее на территории, заключенной между линиями перемирия в 1949 и 1967 годов, постоянно находилось в опасности подвергнуться столь же безжалостному обращению.

Израильский сионизм с момента учреждения государства Израиль остается одним из двух самых отвратительных случаев во всей истории колониализма современной эпохи, и его мерзкий лик особенно бросается в глаза из-за его современности. Восточноевропейские сионисты осуществляют колонизацию Палестины в наиболее крайней форме, изгоняя и грабя коренное арабское население в то самое время, когда западноевропейские народы отказываются от своего господства над неевропейскими народами. Вторым наиболее отвратительным случаем является изгнание пяти земледельческих американских индейских племен — чикасо, чокто, криков, чироки и семинолов — из домов их предков, находившихся на территории нынешних штатов Джорджия, Алабама, Миссисипи и Теннесси. Индейцы были вытеснены в резервации, расположенные в настоящее время на территории штата Оклахома. Это изгнание началось в 1820 году и было в основном завершено к 1838 году. Однако чироки не желали покоряться, а семинолы оказывали вооруженное сопротивление. Они отступили в болота Южной Флориды, и армии Соединенных Штатов удалось подавить их сопротивление только в 40-х годах XIX века[12]. Американский колониализм XIX столетия был преступлением. И израильский колониализм, который осуществляется в то самое время, когда я пишу эти строки, тоже является преступлением, но еще и моральным анахронизмом.

(V) Появление государства всеобщего благосостояния

Традиционные функции независимого государства заключались в том, чтобы поддерживать закон и порядок в пределах своих границ, пренебрегая законом и порядком вне пределов своих границ, где велись войны с другими независимыми государствами. Поддержание закона и порядка у себя в стране означает в значительной

степени защиту собственности богатого меньшинства от посягательств на нее бедного большинства подданных этого государства. Вступление в войну означает — в том случае, если военные действия ведутся достаточно успешно и война идет на чужой территории, — аннексию территории иностранного государства и захват чужих богатств.

В XIX столетии прежние функции государства выгодно дополнились новыми. Эти дополнительные функции способны в конечном счете изменить к лучшему характер государства, до сих пор безнравственный. В XIX столетии некоторые государства начали использовать часть своих финансовых и административных ресурсов на развитие социальных услуг, оказывая их гражданам, и особенно бедному, непривилегированному большинству. Всеобщее начальное образование, введенное в XIX веке, стало первым шагом государства от традиционных военных и полицейских функций к повышению благосостояния людей. Следующим шагом стало всеобщее социальное страхование.

Тем не менее в XIX столетии государство всеобщего благосостояния развивалось рука об руку с государством — организатором войн. В том столетии определенные шаги в этом направлении предпринимала Пруссия, а Бисмарк был одновременно и милитаристом, и социальным реформатором. Действительно, Бисмарк считал, что эти две роли отнюдь не противоречат друг другу, а, наоборот, дополняют одна другую. Армия, чтобы быть эффективной, должна укомплектовываться образованными людьми, а гражданин, которого обязывают рисковать своей жизнью, защищая свою страну, имел право, с точки зрения Бисмарка, на социальное обеспечение и право голоса при решении общественных дел. В 1969 году независимые государства все еще играют такую же двойственную с точки зрения нравственности роль, какую они играли при Бисмарке. Они попрежнему развязывают войны и ведут эти войны при помощи все более и более жестокого оружия, которое обеспечивает им технологический и технический прогресс. И тем не менее на протяжении моей жизни произошел заметный сдвиг в соотношении этих двух видов деятельности государства. Великобритания, например, стала в меньшей степени военно-полицейским государством и в большей степени государством всеобщего благосостояния. В Великобритании начало государству всеобщего благосостояния было положено либеральным правительством, пришедшим к власти в 1906 году[1].

Однако существует определенная ирония — и это невозможно отрицать — в том, что развитие британского государства всеобщего благосостояния ускорилось благодаря бедствиям, постигшим Великобританию с вовлечением ее в две мировые войны.



5. НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ВО БЛАГО ИЛИ ВО ЗЛО?

О достижениях техники к 1969 году я знаю меньше, чем любой человек, умеющий водить машину. О достижениях науки я знаю меньше, чем любой ровесник моих внуков, окончивший среднюю школу. Все же как человек, пользующийся достижениями науки и техники, и как жертва злоупотребления ими я являюсь непосредственным свидетелем огромного роста их могущества на протяжении моей жизни, могущества, которое может быть использовано как во благо, так и во зло.

В 1909 году, то есть в том году, когда я впервые выехал за пределы Великобритании, единственным средством сообщения между этим островом и любой другой страной был корабль. В 1966 году я перелетел на самолете из Лондона в Рио-де-Жанейро и обратно в Лондон из Сантьяго-де-Чили, проносясь высоко над Андами, вместо того чтобы тащиться по ним вверх, а затем вниз на поезде. С другой стороны, в 1909 году мне не грозила опасность подвергнуться бомбежке с воздуха, ибо, хотя бомбы к тому времени уже изобрели, воздухоплавание находилось еще в зачаточном состоянии.

В 1969 году ракета со сверхмощной атомной боеголовкой может быть запущена из любой точки на поверхности Земли и с безупречной точностью поразить и уничтожить на ней любой объект. Не знаю, можно ли подсчитать материальный ущерб от опустошения, которое в состоянии принести существующий ныне запас современных бомб, но уверен, что духовное опустошение в результате снятия седьмой печати[1] не поддается воображению. Апокалипсический язык автора Откровения, писавшего в I веке от Р. Х., дает более адекватное представление о тех испытаниях, которые уготовило себе человечество на протяжении моей жизни, нежели любой хладнокровный фантастический роман наших дней.

Атомная энергия может применяться не только в разрушительных, но и в созидательных целях. «Мирный атом» мог бы и, вероятно, будет использован на Земле для того, чтобы сделать беднейшего из живущих тогда более состоятельным материально, чем самый богатый ныне. Но пока развитие «мирного атома» идет гораздо медленнее, чем прогресс «атома военного». Пока возможности первого поколения атомщиков — ученых и технологов — эксплуатируются в антисоциальных целях. И похоже, что все эти очень способные люди, отдавшие свои способности столь дьявольской работе, даже не протестовали. Человека нельзя заставить делать научные открытия и изобретать новые технологии, как можно плетью заставить раба добывать камень в карьере, рубить дрова и качать воду.

Атомщики не могли не быть добровольными инструментами в руках правительств, на которые они работали, и налогоплательщиков, дававших этим правительствам возможность находиться у власти и финансировать атомное вооружение.

Я также дожил до революции в средствах передвижения по земле. В 1889 году, когда я родился, не были еще изобретены ни автомобиль, ни аэроплан[2]. Ныне я и счастливый обладатель благ этих двух продуктов кумулятивных достижений в технологии, и их жертва. Пользуясь самолетом или машиной, я исколесил за свою жизнь куда больше земной поверхности, чем это было возможно для поколения моих родителей. Однако видел я меньше, чем видели путешественники, которые совершали свой путь в тот век, когда не было еще ни пароходов, ни железных дорог. Но тот век закончился еще при жизни моих бабушек и дедушек.

«Он видел города со многими людьми и узнавал, что они думают»*. В этом стихе важна вторая половина; и хотя «Одиссея» главным образом, а может, и целиком сказка, правда жизни этого чарующего отрывка поэтической выдумки подтверждается сохранившимися подлинными описаниями путешествий, начиная с XI века до Р. Х.[3] до кануна изобретения паровой тяги.

Каждое новое техническое усовершенствование в средствах сообщения может считаться победой для того, кто ставит перед собой бессмысленную цель как можно быстрее оказаться катапультированным из одной точки земного шара в другую; но каждое из них было поражением для истинного путешественника, который хочет увидеть мир людей, как видел его Одиссей, по свидетельству автора «Одиссеи».

С тех пор как в период между двумя войнами началось регулярное авиасообщение, все новые и новые технические усовершенствования приводят лишь к тому, что путешествие по воздуху делается все менее и менее приятным. Моим первым длительным путешествием по воздуху был перелет с одного побережья Соединенных Штатов на другое в 1942 году. Шла война, и в «целях безопасности» окна в первые несколько минут после взлета, а также перед посадкой были зашторены; однако это неудобство с лихвой компенсировалось низкой высотой полета. Я не знаю, было ли это обычной военной предосторожностью или было вызвано технологическими особенностями. Как бы то ни было, результат оказался подарком для любознательного путешественника. Пролетая низко над штатом Айова, я видел не только густую сеть дорог, но и зеленые квадраты маисовых полей, загоны для свиней и рогатого скота. Плавно и низко скользя над Скалистыми горами, я видел замысловатые узоры

* *Гомер.* Одиссея, кн. 1, стр. 3.

пастуших троп и темные пасти заброшенных золотых рудников. Конечно, я видел и «города со многими людьми», хотя «узнавал, что они думают», только во время остановок в этих городах.

В моей собственной жизни я перепробовал все формы путешествия, сменявшиеся одна за другой благодаря злосчастному технологическому прогрессу. В Греции в 1911–1912 годах я путешествовал пешком, как солдаты Филиппа Македонского[4], и, следовательно, увидел и узнал почти так же много, как Одиссей. В 1960 году между Лондоном и Нью-Дели я путешествовал на самолете и, следовательно, был слеп и глух. Я полагаю, что самолет, на котором я летал, был последним технологическим достижением. Я не знаю, какой он был марки. Во всяком случае, это был гигант. Если вам все-таки придется куда-нибудь лететь и вы сможете выбирать тип самолета (что бывает редко), обязательно выбирайте «Сессну». Конечно, даже летя на «Сессне», вы увидите меньше, чем увидели бы, путешествуя пешком, но вы увидите почти столько же, сколько увидели бы, путешествуя верхом на муле. Чем совершенней с технической точки зрения механизированное средство сообщения, тем хуже оно с точки зрения социальной, так как оно изолирует путешественника от общения с собратьями-людьми.

В одной из предыдущих глав этой книги я упоминал о Ф. У. Хезлаке, библиотекаре Британской Археологической школы в Афинах в 1911–1912 годах, которому я многим обязан. Я помню, как Хезлак говорил мне, что однажды ему попался не то англо-венгерский, не то французско-венгерский (не помню, какой именно из этих двух западноевропейских языков) разговорник XVIII века, и первой фразой в нем была фраза «Моего форейтора[5] поразила молния». Странно? Нет, прозаически практично.

Этот французский или английский вельможа с разговорником в кармане, по-видимому, путешествовал в собственной карете. Он переезжал с одного места на другое, как в 1969 году его американский собрат переезжает в собственном «кадиллаке» из одного «Хилтона» в другой. Дворцы, где этот благородный путешественник XVIII века останавливался на ночь, были, конечно, домами его собратьев, аристократов, как правило связанных сетью брачных связей. Как и наш путешественник, они бегло говорили на «благородных» языках — французском, английском, итальянском, испанском, — освоив их в раннем детстве с помощью гувернанток. (Современный американец, останавливаясь на ночь в любом из международных отелей, точно так же может быть уверен, что его там поймут, так как обслуживать его будет штат людей, которые говорят на единственном известном путешественнику языке, а именно на английском.) Таким образом, западноевропейскому аристократу-путешественнику XVIII века, как и американскому плутократу-путешественнику

XX века, не было необходимости вступать в беседу с простыми людьми в тех странах, через которые он проезжал, а значит, не было необходимости знать местный язык. Но это правило действовало до тех пор, пока его средство сообщения не давало сбоя. Однако ни один самый хитроумно сконструированный экипаж не застрахован от «стихийных бедствий» (в понимании страхового агента). В карбюратор попадает капля дождевой воды или форейтора поражает молния — и человек оказывается брошенным на волю судьбы или собственных ресурсов. Путешественнику надо выйти из экипажа и обратиться за помощью к первому встречному местному жителю. И в этой экстремальной ситуации турист-аристократ XVIII века, неожиданно оказавшийся в безвыходном положении на венгерской дороге, будет весьма рад, что он предусмотрительно захватил с собой французско-венгерский или англо-венгерской разговорник. Первая фраза в этом компетентно составленном справочнике становилась тем необходимым ключом, который открывал дверь к дальнейшему общению. Оказавшийся в безвыходном положении вельможа должен начать свой вынужденный разговор с местным жителем с описания неприятностей, заставивших его, вельможу, вступить в общение.

Однако любая неприятность с форейтором или мотором автомобиля пустяк по сравнению с ситуацией, когда путешествие внезапно прекращается из-за того, что в его самолете загорелись или выключились двигатели. У кареты и «кадиллака» есть одно общее ценное качество. Оба они делают свое дело без отрыва от поверхности земли. Для того, кто летит на шикарном самолете, возить с собой разговорники на местных диалектах так же бесполезно, как для рыбака на озере Титикака[6] учиться плавать. Когда у рыбака случается неприятность с плотом или что-то выводит из строя самолет, это, скорее всего, конец. Упавший в ледяную воду озера Титикака рыбак (озеро находится на высоте двенадцати с половиной тысяч футов над уровнем моря) будет немедленно парализован судорогой и найдет успокоение под толщей воды. Тот, кто летит на самолете, если ему повезет, будет убит мгновенно, если же не повезет — сгорит заживо. За девять секунд — с момента прикрепления привязного ремня до столкновения с землей — несчастный путешественник может испытать худшие муки, чем те, что испытал сатана со своей ужасной командой за время их девятидневного падения с Небес в Ад.

Когда мы с женой пускаемся в очередной раз в столь рискованное путешествие на самолете (а летаем мы теперь довольно часто), нас утешает лишь то, что, если в один ужасный день нас постигнет именно эта мучительная смерть, ни одному из нас не придется испытать душевные муки от утраты другого. Правда, остается

лишь пожалеть, что наша одновременная смерть не принесет особой финансовой выгоды нашим наследникам, так как им придется платить двойной налог на наследуемую недвижимость. Чиновники Управления налоговых сборов Соединенного Королевства сочтут, что один из нас умирал ровно настолько дольше, чем другой, — хотя бы на миллионную долю секунды, — чтобы успеть унаследовать недвижимое имущество другой жертвы, и, исходя из этого, наложат на наших наследников двойной налог на наследство[7].

Автомобили, аэропланы и атомное оружие — это не единственные достижения науки и техники, которые я при всем моем невежестве имел возможность оценить «по их плодам». Я знаю также «по их плодам» открытия, сделанные за годы моей жизни в таких науках, как бактериология и химия, а также в области хирургии. Бактериологи научились не только уничтожать бактерии, но и выращивать их. Достижения в химии используются для изготовления лекарств, беспрецедентно сильных и эффективных. Достижения в хирургии позволяют делать операции, которые невозможно было представить себе во времена моего детства, а бактериология кооперируется с хирургией, чтобы вырвать у бактерий ее жертву, обеззараживая рану антисептиками, независимо от того, нанесена ли эта рана благотворным скальпелем хирурга или злонамеренно, осколочными бомбами или напалмом. Я знаю эти достижения по их плодам, потому что мне выпало испытать их на себе.

В Лондоне, когда я был ребенком, в моей семье не рисковали пить воду из водопровода, предварительно не пропустив ее через фильтр. Наверное, это была не слишком эффективная предосторожность, но она обладала психологической ценностью, ибо успокаивала моих родителей. В 1911 году, в тот год, когда я впервые побывал в Италии, в тех местах, где я путешествовал, была эпидемия холеры, и я не выпил ни капли воды, не прокипятив ее предварительно. А воды я пил много, ибо, когда скитаешься пешком по Центральной Италии ранней осенью, постоянно хочется пить, а вино жажду не утоляет. В 1911 году я методом проб и ошибок установил, что литра вина недостаточно для того, чтобы утолить жажду, хотя этого более чем достаточно, чтобы опьянеть. Теперь я пью воду прямо из водопровода и в Италии, и в Англии и делаю это с уверенностью в том, что могу так поступать безнаказанно.

Третьего мая 1957 года в Пальмире[8] у меня неожиданно подскочила температура до 103 градусов по Фаренгейту (39,4°С). Если бы это случилось в 1911 году, мои кости, вероятно, остались бы лежать в одном из привлекательных пальмирских склепов-башен, в которых еще достаточно места для новых человеческих скелетов. Однако местный врач был молодым человеком, совсем недавно получившим диплом, и потому он хорошо знал новомодные способы

лечения с применением самых последних современных лекарств. Я потерял счет тому, сколько он их в меня ввел, но я испытал к нему глубокую благодарность за его высокое профессиональное мастерство. Отдохнув денек, я уже пятого мая находился в пути, направляясь из Пальмиры через пустыню в Русафах, и температура у меня была чуть ниже нормальной.

Что касается хирургии, то я, как мне говорили, был первым ребенком в Лондоне, которому удалили гланды. Я пострадал от того, что был первым подопытным кроликом. Я до сих пор помню, как у меня болело после операции горло и как долго не проходила боль. Когда удаляли гланды моим внукам, они на другой день после операции уже весело прыгали по палате, а на третий день их выпустили из больницы. Двенадцать лет назад, на семидесятом году жизни, мне благополучно вправили грыжу и сразу вслед за этим удалили предстательную железу, и, хотя общий упадок сил в результате двух операций заставил меня пролежать в постели несколько недель, сегодня я вполне здоров благодаря мастерству хирургов, меня оперировавших.

Я имел возможность наблюдать, как в ходе Второй мировой войны начала развиваться нейрохирургия. Теперь я дожил до того, что в печати появляются ошеломляющие сообщения о новых достижениях в области хирургии. Мне довелось увидеть, как поврежденное человеческое сердце успешно заменяется здоровым сердцем другого человека, неожиданно погибшего в результате несчастного случая. При первых попытках человек, в тело которого было пересажено чужое сердце, жил после операции всего несколько дней. Однако успехи здесь столь впечатляющи, что, возможно, я доживу до того дня, когда это хирургическое новшество будет доведено до такой степени совершенства, что позволит пациенту прожить весь положенный ему естественный срок жизни.

Этот триумф хирургии, начало которому было положено в Южной Африке, имеет общемировое значение и потому может служить моральным связующим звеном между господствующим «белым» меньшинством в Южной Африке и остальным человечеством, в какой-то степени искупая политику апартеида, навязанную меньшинством большинству. Восьмого января 1968 года я проезжал в Кейптауне мимо больницы, в которой сердце умершего «цветного» человека было пересажено страдающему от болезни сердца «белому» пациенту, и меня переполняло горячее чувство восхищения и благодарности[9].

Если успешная пересадка сердца, наиболее жизненно важного из всех органов, войдет в обычную хирургическую практику, то мы сможем надеяться, что придет день, когда любой неисправный, или поврежденный, или изношенный орган возможно будет заменить. Поначалу их придется заменять здоровыми естественными органами,

взятыми из тел других людей, погибших в результате несчастных случаев, или тех, кто наделен достаточной предусмотрительностью и человечностью, чтобы завещать международному Банку по замещению органов любой из своих органов, который найдут пригодным для пересадки, когда их собственное тело сразу после смерти будет препарировано. Такие люди, если к ним добавить растущее число жертв дорожных происшествий, смогут, пожалуй, поддерживать этот благодатный банк довольно полным в ожидании того дня — пока еще очень далекого, сокрытого где-то в необозримом будущем, — когда органическая химия и технология хирургии достигнут такого уровня, что станет возможным создание искусственных органов, пригодных для пересадки.

Мало вероятно, что я доживу до того дня, когда химическая технология создаст искусственные живые органы, но на протяжении моей жизни она не только преуспела в создании всевозможных новых лекарств, но и изобрела различные опылители и инсектициды. При применении в медицинской практике многие новые препараты служат прекрасную службу жизни и добру, будучи использованы в качестве антибиотиков и анестезирующих средств. Однако они могут использоваться и как пагубные наркотики, а накопившийся у человека запас их растет с ростом запаса лечебных химических препаратов.

Употребление опьяняющих напитков и злоупотребление ими — это, конечно, не самое новое из зол, причиняемых себе человечеством. Опьяняющие средства знали и употребляли еще до того, как люди научились обрабатывать землю. Говорят, что священная хаома (сома) древних арийцев изготовлялась из какого-то дикого растения[10]. Однако окультуривание злаков, риса, сахарного тростника, капусты и картофеля приводило в каждом случае к изготовлению из них не только пищевых продуктов, но и алкогольных опьяняющих напитков. Мак культивировался для изготовления опиума, а конопля — для изготовления гашиша. А с того времени, когда была изобретена дистилляция (перегонка), опьяняющие напитки с повышенной степенью содержания алкоголя соперничают с опиумом в своей разрушительной деятельности[11]. Сегодня, однако, даже наиболее крепкие и ядовитые из алкогольных опьяняющих напитков и даже сам опиум представляются невинными, как кока-кола, по сравнению с синтетическими наркотиками, употребляемыми наркоманами.

Но и наркотики — это не единственный продукт химической технологии, который может использоваться ныне не только во имя добра, но и во имя зла. Нам служит газ, используемый в домашней кухонной газовой плите и обезболивающий газ, применяемый хирургом, однако человек научился изготовлять и боевые отравляющие

газы. Изготовитель удобрений может изготовлять и дефолианты[12]. Бактериолог, который умеет стерилизовать воду и обеззараживать раны, убивая бактерии, может выращивать бактерии, служащие человеку в качестве дрожжей или заставляющие бродить кумыс и йогурт. Но он может также выращивать бактерии, которые являются смертельными врагами человека и способны служить чудовищным оружием. В тот самый момент, когда я пишу эти строки, достоверные источники сообщают, что бактериологи ведут секретные работы по поручению правительств некоторых независимых стран мира над созданием условий для умышленного распространения смертельных болезней. Сообщают, что эти военные бактериологи даже «совершенствуют» смертоносные микробы, выращивая новые виды, более опасные и более устойчивые к действию антибиотиков, чем естественные виды, являющиеся сырьем для военных бактериологов. Так же как и производство атомных бомб все большей разрушительной силы, эти приготовления к бактериологической войне (если это достоверный факт) суть не что иное, как научная и технологическая работа дьявола.

На протяжении моей жизни научное изучение психосоматической системы вышло за пределы видимого, осязаемого аспекта человеческой природы и приступило к исследованию психического ее аспекта. Первые попытки проникнуть в глубины душевной, возможно бездонной, пропасти, предпринятые Фрейдом и Юнгом, начались уже после моего рождения, а в 1908 году эта область практической медицины все еще беспомощно бродила ощупью в потемках.

Теперь психотерапия широко применяется в практической медицине. И все же в этой вновь завоеванной области науки и техники, как и во многих других, одни и те же приемы могут быть использованы по желанию как для добра, так и во зло. Они могут быть использованы для «перестройки» больной психики пациента во благо пациента; они могут также быть использованы для манипулирования психикой психически здорового человека.

В искусстве «регулирования» есть несколько степеней, но даже самая низшая ее степень зловеща. Эта низшая степень — пропаганда — так же стара, как старейшие из миссионерских религий и политических партий. Однако коммерческая пропаганда получила широкий размах после Промышленной революции в Западном мире на рубеже XVII и XIX столетий, когда понадобилась принудительная интенсификация торговли, чтобы нагружать на плечи сопротивляющегося мира необъятную продукцию, ибо сложное и дорогостоящее производство могло приносить доходы, только если колеса его крутились двадцать четыре часа в сутки. Что касается политической пропаганды, то она стала вестись с неслыханной дотоле яростью обеими воюющими сторонами в Первую мировую войну.

Но политическая пропаганда периода Первой мировой войны и коммерческая реклама XIX века были грубой работой по сравнению с изощренными методами сегодняшней Мэдисон-авеню.

Пропаганда любого вида есть оскорбление человеческого достоинства и угроза честности и разумности, являющихся неотъемлемым моральным реквизитом жизни общества. И все же даже самая хитрая пропаганда невинна по сравнению с «промыванием мозгов», осуществляемым различными способами умственной и духовной пытки, и можно себе представить, что «регулирование» способно достигнуть еще большего размаха. Психологические методы, которые могут использоваться в целях восстановления психики, наверняка могут использоваться и для ее разрушения. Нетрудно представить, что в один прекрасный день могут быть изобретены психологические и хирургические методы для перманентной дегуманизации наследственной человеческой природы и, возможно, даже для «регулирования» генов жертвы с целью передачи этого искусственно насажденного психического уродства ее потомкам.

Приведенного выше обзора достижений науки и технологии за время моей жизни, пожалуй, достаточно — каким бы он ни был кратким, поверхностным и недостоверным, — для того чтобы подчеркнуть, что наука и технология — силы морально нейтральные. Это плоды нейтральных в моральном отношении интеллектуальных способностей Человека, и они вознаграждают Человека за его успехи в этой области человеческой деятельности тем, что наделяют его властью, которую он по желанию может использовать во имя жизни и добра или для смерти и зла.

И хороший плод, и плохой плод созревают на одном и том же дереве; и дерево это приносит столь смущающую нас мешанину из хороших и плохих плодов в зависимости от того, употребляем ли мы, люди, во благо или во зло ту власть, которой наделяют нас наука и технология. Плоды науки и технологии никогда не существуют в сыром, необработанном виде: они людьми же приспосабливаются для потребления во благо или во зло, они выходят на рынок как плоды человеческой деятельности. И знание, получаемое нами в качестве плодов нашей деятельности, — это знание нашей собственной человеческой природы.

Разнообразие плодов нашей человеческой деятельности говорит нам о том, что мы являемся с моральной точки зрения существами двойственными. Каждый из нас несет в себе и хорошее и дурное. В душе каждого человека на протяжении его земной жизни идет вечная моральная борьба между добрым и злым началами человеческой природы. Наука и технология дают нам лишь орудия для работы, которую нам предстоит сделать. А наши интеллектуальные способности вооружают нас — со слепой беспристрастностью — как

для дьявольской, так и для ангельской работы в зависимости от нашей человеческой воли и выбора.

Конечно, человек — животное социальное, и социальность его невозможна без определенного минимума моральных правил, принятых большинством членов человеческого общества. Но правила различных обществ глубоко отличаются друг от друга, а в некоторых случаях они почти диаметрально противоположны. Однако есть одна общая черта — и это, безусловно, кардинальная черта: люди всегда проводят различие между добром и злом, независимо от того, насколько различаются их понятия о том, что есть добро и что есть зло.

Все суждения об относительных достоинствах различных моральных кодексов неизбежно субъективны, ибо автор любого такого суждения обязательно является членом какого-то общества, обладающего собственным кодексом. Поэтому на его суждение будет оказывать влияние кодекс общества, к которому он принадлежит, — причем независимо от того, приемлет он этот кодекс или выступает против него. Одна из главных черт этих разнообразных кодексов, которая, как показывает наше знание, является объективным фактом, заключается в том, что авторитет каждого кодекса весьма непрочен. Кодексы, кажущиеся наиболее высокоморальными, могут быть нарушены аморальными действиями. Кодексы, кажущиеся с моральной точки зрения самыми низкопробными, могут быть усовершенствованы спонтанными действиями или вытеснены привнесенными извне кодексами, представляющимися обществу более высокоморальными.

Таким образом, в области морали наблюдаются беспрерывные отливы и приливы как в жизни отдельных людей, так и в истории человеческих обществ. Однако вывести какую бы то ни было долгосрочную кривую, наблюдая этот процесс, не удается. Насколько можно видеть, моральные качества нынешнего поколения современного «развитого» (развитого в научном и технологическом отношениях) меньшинства человеческого рода не отличаются от моральных качеств самых древних наших первобытных предков. Мы бессильны сколько-нибудь повысить моральные качества, которыми Природа наградила человечество в тот момент, когда оно вышло из какой-то дочеловеческой формы жизни. С другой стороны, некоторым процветающим сообществам (например, народу Соединенных Штатов) удалось за время моей жизни увеличить на один-два дюйма физический рост привилегированной части своего населения благодаря сбалансированному питанию, улучшению качеств медицинского обслуживания и санитарных условий жизни.

Это замечательное свидетельство возможностей человека оказывать влияние на физиологию человеческого тела служит иллюстрацией природного различия, существующего между моральным и

интеллектуальным аспектами человеческой природы. Эти две составляющие человека, по всей видимости, появились одновременно, и, также по всей видимости, столь же очевидно, что они неотъемлемы от самой человеческой природы. Отличительная черта человеческой природы состоит в наличии у человека сознания и в вытекающей из этого мыслительной способности, позволяющей человеку сравнивать и делать выбор — причем выбор неизбежно приходится делать между добром и злом. Сознание — мать технологии. Наши первые очеловеченные предки продемонстрировали, что они «человеки», тем, что стали дробить камни, чтобы превратить их в более эффективные орудия. Первые дробители камней были первыми человеческими существами, и в качестве таковых они были также первыми учеными и технологами и первыми живыми существами на планете, познавшими добро и зло.

Моральная и интеллектуальная стороны человеческой природы, по-видимому, возникли одновременно. Но к несчастью, и в том, что касается каждого человека в отдельности, и в том, что касается всего человеческого рода в целом, природа человеческая устроена так, что ее моральное и интеллектуальное проявления в действии несоизмеримы одно с другим. Моральным действиям мешает внутренне присущий человеческой природе эгоцентризм, который является синонимом самой жизни и который, следовательно, так же неистребим в Человеке, как и во всех представителях всех остальных видов живых существ. Наоборот, интеллектуальным способностям, заложенным в человеческой природе, дан зеленый свет, и они могут беспрепятственно двигать вперед научную мысль, претворять эту мысль в действие. Соответственно, с самого начала предрешен кризис морали при соприкосновении ее с интеллектом. С самого начала технология неизбежно опережала мораль.

Этот «кризис морали» (как его можно окрестить по аналогии с «кризисом доверия», отделяющим сегодня политиков от их избирателей) представляет собой, конечно, «бесконечную» пропасть, но она, скорее всего, не была непреодолимой в первые несколько миллионов лет человеческой истории. Она не является непреодолимой пропастью в жизни быстро исчезающих остатков человечества, пребывающих до сегодняшнего дня на ранней стадии развития науки и технологии. Несомненно, с самого начала наука и технология развивались, а мораль оставалась статичной. Однако на протяжении тех первых нескольких миллионов лет, периода, который мы называем ранним палеолитом, развитие науки и технологии, как это можно проследить по дошедшим до нас остаткам орудий труда, было таким медленным, что кризис морали оставался достаточно слабым, чтобы не приводить к разрыву. Можно сказать, что в эпоху раннего палеолита деятельность людей с моральной точки зрения была столь же

сомнительной, как и сегодня. Но к счастью для человека эпохи раннего палеолита, его технологическая оснащенность была настолько слабой, что, когда он решал использовать свою технологию в целях смерти и зла, а не во имя жизни и добра, тот вред, который он мог причинить своему собрату и себе самому, был, по нынешним меркам, весьма незначительным. И если дурные намерения нашего древнего предка были не лучше наших, то его способность осуществлять злые замыслы на практике была все-таки несравнимо слабее, чем у нас. Крайне слабая техническая и технологическая вооруженность человека раннего палеолита надежно охраняла его от него самого, и это было ценной компенсацией за неудобство жизни в Садах Эдема.

Адам и Ева были лишены каких бы то ни было материальных удобств, присущих «американскому образу жизни». Им приходилось добывать себе пропитание так, как это делают по сей день австралийские аборигены: собиранием растительной или животной пищи, которую предоставляла им дикая Природа. Материальные условия жизни человека эпохи раннего палеолита были на самом деле даже менее привлекательными, чем это описывается в первых двух главах Книги Бытия. Ибо в ту эпоху, пока намного превосходящую по продолжительности все прочие эпохи, человек действительно не обладал господством над всеми другими формами животной жизни на нашей планете — господством, приписываемым ему авторами этих глав. В Раю, помимо человека, рыскали кругом стаи диких зверей, и можно догадаться, что в течение первого миллиона лет жизни человека, когда его технологические таланты еще лежали втуне, саблезубые тигры поймали и сожрали больше людей, нежели люди — саблезубых тигров. Оружие для добывания пищи, данное Природой саблезубому тигру, намного превосходило оружие человека в то время, когда интеллектуальный элемент в естественном вооружении человека еще не позволял ему эффективно использовать его технологический потенциал.

Лишь на заре эпохи позднего палеолита — пожалуй, не более тридцати тысяч лет назад — человек развил свою технологию до такой степени, что обрел господство над саблезубыми тиграми, мамонтами, мастодонтами и подобными им крупными животными. И лишь поколение моих бабушек и дедушек обрело относительное господство над бактериями, бациллами и микробами. Раньше же бактерии господствовали над человеком хотя бы потому, что человек оставался в неведении относительно их существования. В перечне животных — рабов человека — в Книге Бытия бактерии красноречиво отсутствуют. Человеком, впервые распознавшим их и давшим им имя, был не Адам; это был Пастер[13]. Что касается бактерий, то в конце концов их открытие — факт, для них фатальный. На

протяжении моей жизни бактерии вели арьергардные бои, и похоже, что дело их безнадежно, несмотря на всю изобретательность этого нашего собрата, ушло противостоящего все новым и новым вызовам, которые Человек бросает его выживанию.

Вероятно, бактерии обречены на гибель — хотя у них в мгновение ока могли бы появиться разительные перспективы, если бы человек когда-либо сам развязал против себя бактериологическую войну. А так как невозможно представить себе такого преступления или такой глупости, от совершения которых человек был бы застрахован, бактерии могут продолжать жить и надеяться. И все-таки, даже если человек сам не уступит бактериям ту власть, которую они так долго над ним имели, бактерии не единственный враг человека.

В провозвестии апостола Павла последним врагом человека именуется смерть[14], но тот, кому выпало, родившись в 1886 году, дожить до 1969 года, не может разделить уверенность Павла в отношении того, что смерти уготована та же участь, что и другим врагам человечества. Такой наблюдатель, живущий в XX веке, может считать вполне вероятной перспективу, которая в глазах апостола Павла выглядела бы нечестивой, самонадеянной фантазией. В наши дни мы можем предвидеть возможность того, что, не ожидая Второго Пришествия Христа, химическая и хирургическая технологии совместными усилиями преуспеют в том, чтобы сделать человека бессмертным (сомнительное благо), открыв способы заменить любой поврежденный или износившийся орган запасной частью. Однако в наше время мы можем также предвидеть и противоположную возможность, а именно: что атомная технология и развитие ракетной техники сумеют объединенными усилиями помешать силе Бога и Человека уничтожить смерть, даровав человеческому роду способ совершить массовое самоубийство в тот самый момент, когда химическая и хирургическая технологии преуспеют в том, чтобы сделать человека потенциально бессмертным. Эта вторая возможность, которую святой Павел отверг бы как фантастический кошмар, заставляет нас пересмотреть идентификацию последнего врага апостолом Павлом и усомниться в справедливости его уверенности в том, что то, что представлялось ему последним врагом рода человеческого, будет также истреблено. Сквозь линзы, которыми вооружили нас наука и технология, выпуская нас в атомный век, мы видим, причем не смутно, а в смертоносном зареве взрывов в Хиросиме и Нагасаки, что враг человека не смерть, а сам Человек. Человек есть последний и коварнейший свой враг — коварнее смерти, коварнее вирусов, коварнее бактерий, коварнее саблезубых тигров.

Иначе говоря, за время, прошедшее с того момента, когда наши предки стали людьми, и до 1969 года христианской эры, «нравственная

пропасть» заметно увеличилась. Она увеличилась до размеров «двери смерти», которая «настежь отверста» и «зияет огромною пастью»*.

Если теперь, из года 1969 от Р. Х., мы оглянемся назад и окинем взором ход научного и технологического прогресса, достигнутого человеком, мы заметим в нем две извечные тенденции. И мы должны будем констатировать, что в ходе примерно миллиона тридцати тысяч лет прогресс был кумулятивным и темпы его ускорялись. Таковы, несомненно, долгосрочные тенденции, но, конечно, ни кривая накопления, ни кривая ускорения прогресса не были стабильными. Накопительство время от времени прерывалось потерями, которые приходилось восполнять. Например, в бассейне Эгейского моря техника письма, по-видимому, была утеряна в XII веке до Р. Х. и обретена заново лишь в IX веке до Р. Х.[15]. Что же касается ускорения, то оно, похоже, шло скачками.

Самый ранний из известных нам скачков произошел в начале позднего палеолита, примерно около тридцати тысяч лет назад, когда произошло внезапное усовершенствование техники обтесывания каменных орудий труда — внезапное, так сказать, по сравнению с едва заметным прогрессом, который наблюдался на протяжении предшествующего миллиона лет. Второй скачок произошел в начале эпохи неолита, десять или восемь тысяч лет назад, когда отесанные каменные орудия труда были вытеснены шлифованными каменными орудиями и почти одновременно возникли сельское хозяйство, прядение, ткачество и гончарное искусство, а одомашнивание собаки дополнилось одомашниванием ряда других животных. Третьим скачком стало изобретение металлургии и письма, что произошло на заре цивилизации, около пяти тысяч лет назад[16]. Четвертый скачок надолго задержался, однако толчок, возникший в результате запоздалого освобождения долго сдерживаемых возможностей, оказался вследствие этого чрезвычайно сильным.

Этим четвертым скачком была Промышленная революция, начавшаяся приблизительно двести лет назад. Отличительной чертой четвертого скачка было использование неодушевленных сил природы с целью облегчения и в конце концов замены физического труда, то есть труда, осуществлявшегося силой мускулов как человека, так и животных. (Эта революция в принципе не являлась каким-то новшеством. Сила ветра надувала паруса еще на заре цивилизации, а сила воды вращала колеса мельниц еще до наступления христианской эры.) В наши дни этот четвертый скачок ускорения все еще разворачивается, и пока нет признаков того, что он утрачивает силу и темп.

Таким образом, мне довелось дожить до такого ускорения в прогрессе науки и технологии, какого еще не бывало на протяже-

---

* *Лукреций.* О природе вещей, кн. М, с. 376.

нии жизни одного человека. И мне же довелось увидеть, как самые прогрессивные достижения науки и технологии используются во зло, для совершения хладнокровных, тщательно организованных преступлений, превосходящих все предшествующие преступления, какие сохранились в анналах истории.

Злодеяния, которые мне довелось увидеть, злодеяния, совершаемые с помощью изобретений, вложенных в руки людей наукой и технологией, могли бы привести меня и других покуда живущих людей моего поколения в отчаяние в отношении будущего человеческого рода — будущего наших внуков и их потомков в семидесятисемимиллионном колене. К счастью, я дожил до начала осознания человечеством опасности движения по этому пути. Я дожил до лучшего: я вижу, как человечество, застыв над краем пропасти, начинает испытывать беспокойство. В моем возрасте я едва ли могу надеяться дожить до того времени, когда это беспокойство начнет претворяться в действие путем мобилизации духовных сил, заложенных в образовании и религии.

Для того чтобы эти силы были мобилизованы и начали действовать эффективно, они должны быть мобилизованы на официальном и личностном уровнях. А как и все прочие институты, оба эти института могут быть задействованы как во благо, так и во зло. Институционализация враждебна духовности, и только благодаря силе бессмертного, но не всемогущего духа любви «нравственная пропасть» может становиться все меньше и меньше, пока — если любовь восторжествует — пропасть эта не закроется вовсе. В нравственном отношении институтам присуща двойственность, однако в любом обществе, вышедшем за тесные рамки сети прямых личностных отношений, институты являются необходимым общественным инструментом. Поэтому с риском для себя нам придется прибегнуть к услугам институированной религии и институированного образования, для того чтобы закрыть «дверь смерти», которая сейчас «зияет огромною пастью».

Улавливая осознание человечеством существующей сегодня широчайшей «нравственной пропасти» и несколько утешаясь тем, что факт этот осознается наконец с тревогой, я смею надеяться, что не принимаю желаемое за действительное.



6. ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

В начальных главах этой книги я подробно описал мое собственное образование. Я начал изучать Древнюю Грецию в возрасте десяти лет, а до этого я занимался латынью, к изучению которой приступил в семь лет.

В Уинчестере, в то время когда я учился там с 1902 по 1907 год в колледже, серьезно изучались только два предмета. Помимо греческого и латыни там серьезно изучалась только математика. Преподавание математики в Уинчестере было хорошо поставлено, но изучалась лишь «чистая» математика; применение же ее к другим наукам и технологии игнорировалось — по крайней мере на том уровне, до которого добрался я, — а, к несчастью для меня, мне позволили отказаться от дальнейшего изучения математики, когда я только-только добрался до исчислений. Математика в Уинчестере искренне почиталась. Однако математика, как, впрочем, и изучение классиков, была изолирована от практической жизни, и я подозреваю, что именно благодаря ее «чистоте» ей выпала необыкновенная честь считаться равной двум «классическим» языкам.

В 1902—1907 годах в Уинчестере мы все еще жили в ментальном мире итальянских гуманистов XV столетия и едва ли сознавали, что идет развитие науки и технологии, что они обручились друг с другом и шагают вместе и что математика стала верной служанкой прикладных дисциплин. И тем не менее в ту эпоху, когда в Италии утвердилось классическое образование, которое мы получали в Уинчестере в 1902—1907 годах, один из величайших гениев итальянского Возрождения, «универсал» Леонардо да Винчи, провозгласил, что механика — венец математической науки, потому что благодаря механике нам достаются те плоды, которые способна приносить математика[1]. В этих словах Леонардо выразил свой восторг в предвкушении торжества механики, и своим восторгом он с присущей гению способностью видеть далеко вперед предвосхитил ту восторженность, которая обуяла Западный мир в XIX столетии.

В XVII веке Фрэнсис Бэкон критиковал оторванность от жизни современной ему науки и бессистемность современной ему технологии и выражал сожаление по поводу отсутствия взаимодействия между ними[2]. В середине XVII века основатели Королевского научного общества в Англии поставили перед собой цель добиться такого взаимодействия. Сто лет спустя в Великобритании разразилась Промышленная революция. Еще сто лет спустя в Германии Промышленная революция поднялась на следующую ступень благодаря применению науки к технологии[3]. В Лондоне Г. Дж. Уэллс начал свою карьеру с того, что получил в 1884 году место преподавателя-практиканта с содержанием в размере одной гинеи в неделю в Нормальной школе (зародыш нынешнего Имперского колледжа науки и технологии). Большая часть всего этого мне не была известна, когда я получал образование в Уинчестере, а затем в Оксфорде.

В последней четверти XIX века скупость правительства Соединенного Королевства достигла высшей точки. Что же в таком случае понудило это правительство тратить хотя бы и мизерную долю

общественных фондов на технологическое образование и даже пойти на то, чтобы выплачивать пособие преподавателям за подготовку учащихся в этой области? Здесь о многом говорит сама дата. Это дата обдуманного введения (а не случайного взрыва, как прежде) второй фазы Промышленной революции. Британская промышленность уже ощущала легкий ветерок конкуренции со стороны Германии. Британская общественность смутно осознавала, что человеческие отношения достигли той стадии, когда научное преподавание технологических дисциплин становится ключом к богатству и могуществу, и потому правительство было вынуждено выделить хотя бы минимальные средства на высшее технологическое образование.

Власти допускали практическую необходимость технического и научного образования задолго до того, как они согласились признать силу и ценность новых научных знаний. Точно так же, как эти консервативные силы разрешили введение начального образования только потому, что польза определенной подготовки низов стала очевидной, — точно так же они санкционировали и рост числа технических учебных заведений. Техническая полезность была их единственным оправданием.

За восемьдесят пять лет, прошедших с момента принятия Уэллса в Нормальную школу, эффективность вложения денег в науку и технологию была сенсационно продемонстрирована в ходе обеих мировых войн.

Германия была по сравнению с Россией карликом, если судить по размерам территории и численности населения, однако в Первую мировую войну она была по сравнению с Россией гигантом по уровню технологической подготовленности населения — особенно по обилию высококлассных механиков среди низших чинов. Технологическая и научная структура в любом обществе имеет пирамидальное строение, и для того, чтобы она эффективно действовала, ширина ее основания значит больше, нежели ее высота. По этому критерию Германия в 1914—1918 годах несравненно превосходила Россию, и численное превосходство русской армии сводилось на нет из-за недостаточного ее оснащения и еще более из-за недостаточной технической подготовки.

В период между двумя войнами правительство Советского Союза показало, что оно усвоило уроки Первой мировой войны. Оно воспользовалось полученной передышкой для осуществления форсированной программы массового технологического образования. И все-таки этих двадцати лет оказалось недостаточно, чтобы сделать Россию равной Германии с точки зрения технологической продуктивности, и немецким захватчикам удалось проникнуть на территорию России еще глубже, чем в Первую мировую войну. Однако во Второй мировой войне они не сумели заставить Россию

капитулировать, и представляется вполне вероятным, что в любом случае Россия одолела бы Германию — что она фактически и сделала, — даже если бы продукция ее собственной военной промышленности не подкреплялась дополнительными поставками из Соединенных Штатов и Великобритании. Усилия Советского Союза в сфере образования в предыдущие двадцать лет сделали свое дело, что и подтвердилось, когда Россия вынуждена была во второй раз противопоставить свою мощь германской мощи.

Эти и другие события заставили все народы мира понять, что научная технология — ключ к богатству и могуществу, и поэтому расходы, затрачиваемые обществом на естественнонаучное и техническое образование, не только оправданны, но и совершенно необходимы. Материальное оснащение, необходимое для обеспечения образования в данной области, с самого начала было более дорогостоящим, чем то, которое требуется для обеспечения образования в области гуманитарных наук. Простейшая лаборатория технического учебного заведения стоит намного дороже, чем перья, бумага, книги и учебные аудитории — то, чего вполне достаточно для успешного преподавания гуманитарных наук. Более того, наука и технология становятся все сложнее и сложнее, и пропорционально возрастает стоимость образования в этой области. И тем не менее это не испугало сто двадцать пять правительств мира[4] и их налогоплательщиков. В 1969 году они так же щедро льют наши общественные деньги на мельницу научного и технологического образования, как и на вооружение: и это логично, ибо высокообразованные ученые и технологи сами по себе уже являются вооружением. В самом деле, материальное вооружение бесполезно без человеческих рук, которые этим вооружением управляют; и солдат-техник не имел бы в своем распоряжении современного оружия, если бы солдат-ученый не приобрел знаний, необходимых для его создания.

Таким образом, сегодня научное и технологическое образование располагает практически не ограниченными средствами, однако в этой сфере существуют ограничения, которые за деньги купить невозможно. Ни за какие деньги не купить научные и технологические способности для студента, бездарного от природы или обладающего способностями в совершенно иной области. Не купить за деньги и энтузиазм, увлеченность и вытекающее отсюда желание работать именно в научной и технологической областях знаний, даже если студент и обладает природным даром для работы в этой сфере. К счастью для человечества, природе человека в какой-то мере присуще упрямство, свойственное верблюду, козлу и ослу. Правительства и крупный капитал могут и денежными вливаниями, и принудительными мерами побуждать высшие учебные заведения страны создавать оптимальные условия для обучения сту-

дентов в научной и технологической областях. Они могут привлекать студентов в учебные заведения этого профиля, устанавливая для них такие стипендии, с какими не могут тягаться традиционные стипендии в гуманитарной сфере. Промышленные корпорации могут соблазнять студентов делать выбор в пользу научного и технологического образования, заманивая их перспективой высокооплачиваемой работы по окончании учебного заведения. Однако предположим, что эти студенты не любят науку и технологию и не намерены посвятить им жизнь, и предположим, что подобное отвращение к науке и технологии станет в подрастающем поколении массовым явлением, — что же в таком случае могут сделать руководящие работники сферы образования, промышленные магнаты, политические деятели или избиратели?

Можно плетью заставить раба вырыть траншею, или построить стену, или даже вскопать поле; но нельзя плетью заставить студента заниматься постылой ему наукой. А если, лишив его иного выбора, и можно заставить студента кое-как пройти курс наук, все равно нельзя сделать из него ученого или технолога, который будет приносить какую-то пользу. Даже если ради простой выгоды или заурядной уверенности в будущем он и попробовал бы пойти против самого себя, ему бы это не удалось. Для того чтобы преуспеть в какой-либо профессии, надо, чтобы к ней лежала душа, чтобы дело стало *sine qua non* (единственно возможным). А хорошо служит нуждам общества, увеличивая его богатство и могущество, только преуспевающий ученый и технолог.

Несомненно, что у значительной части человечества не лежит душа к этой области деятельности. Так, карьера того же Уэллса показывает, что правительство не в состоянии отливать людей в формы по собственному усмотрению, если их собственные склонности не совпадают с правительственной политикой. Уэллс не остался на всю жизнь преподавателем естественных наук, к чему готовило его правительство Соединенного Королевства, несмотря на то что он получил бесплатную подготовку, да еще и содержание в размере одной гинеи в неделю.

В Нормальной школе Уэллсу повезло. Волею случая в штатный состав преподавателей школы был принят известный ученый Т. Г. Хаксли[5], который изучал и преподавал естественные науки исключительно из любви к ним, без какой бы то ни было утилитарной задней мысли. Первый свой год в Нормальной школе Уэллс провел в качестве ученика Хаксли, о чем он писал позже, что «этот год занятий в классе Хаксли, вне всякого сомнения, был самым плодотворным годом в моей жизни». Конечно, Уэллс располагал большей свободой действий, чем другие, потому что был гениален. Тем не менее Уэллсу, несмотря на то что он был исключительно щедро

одарен от природы, с большим трудом удалось отстоять свое право заниматься тем, к чему лежала его душа, а не тем, к чему призывало его правительство Ее Величества и что было для него наказанием.

В наши дни, когда занятия естественными науками стали столь же хорошо оплачиваемыми, как и занятия греческим и латынью в допромышленную эпоху, студенты своим свободным выбором подтверждают необоримую силу слов, приведенных в Книге Второзакония: «Не хлебом единым жив человек»[6].

Я столкнулся с замечательным проявлением этого бескорыстного поиска знаний и понимания вещей в краткосрочном университете с шестинедельным курсом, созданным армией Соединенных Штатов на западе Англии для американских солдат, которые после окончания Второй мировой войны ожидали своей очереди отправиться через Атлантику домой для демобилизации. Их командир рассказал мне, что, когда они с коллегами составляли программу предстоящих занятий, они исходили из того, что большинство слушателей выберут те предметы, которые помогут им получить прилично оплачиваемую работу в гражданской жизни, к какой они так скоро возвращались. Поэтому основной состав преподавателей включал специалистов по таким практическим дисциплинам, как менеджмент, бухгалтерское дело, зубоврачебное дело, инженерное дело и сельское хозяйство. Однако когда слушатели начали прибывать и выбирать курсы, их руководство получило сюрприз. Самое большое число заявлений было подано на курс философии, затем шел курс классической музыки. Этот неожиданный выбор повлек за собой академический кризис. Штат преподавателей по зубоврачебному делу, бухгалтерскому делу и другим хорошо укомплектованным курсам пришлось срочно сокращать, а штат преподавателей по «недоходным» дисциплинам так же срочно увеличивать. Срочная переукомплектовка временного штата преподавателей оказалась очень непростой операцией.

Объяснение выбора, сделанного слушателями, прозвучало для меня тогда, и звучит теперь, вполне убедительно. Командир пришел к заключению, что большинство этих людей на том этапе не мыслили категориями сиюминутной выгоды; они мыслили категориями вечности конечной реальности. Они только что освободились от тянувшейся для кого-то годами действительной военной службы; они не раз смотрели смерти в лицо и несли эту смерть другим. Переживание оказалось апокалипсическим. Захватившие их события заставили их жить на духовном уровне их абсолютных человеческих «я» — «я», которое, согласно индийской философской доктрине, идентифицируется с конечной духовной реальностью, лежащей за явлениями Вселенной и вне их. Теперь им надо было переварить этот опустошающий и просвещающий опыт и духовно

сориентироваться, определив свое положение во Вселенной и вне ее. Это было то, к чему они испытывали тягу теперь, когда у них выдалась короткая передышка. Пока они не удовлетворят эту свою духовную потребность, они не смогут думать о перспективах своей будущей земной жизни.

И я вспомнил тогда, как я сам был удивлен выбором командира, когда представил ему на рассмотрение темы лекций. Если я правильно помню, я предложил две темы: о текущем международном положении и из философии истории, и командир предпочел вторую.

И сейчас, спустя двадцать четыре года, в академическом 1968/69 году, промышленные корпорации по-прежнему испытывают нехватку дипломированных специалистов. Выпускники университетов не хотят работать в промышленности и торговле, предпочитая так называемые свободные профессии, невзирая на ясное понимание того, что вакансии там открываются гораздо реже и оплата труда в среднем ниже. И опять же, как и в 1945 году, интересы выпускников вузов в значительной мере объясняются состоянием дел в мире. С применением бесчеловечного оружия и с разрушительными духовными и материальными последствиями велись войны во Вьетнаме, на Ближнем Востоке и в Нигерии. В Соединенных Штатах расовые беспорядки грозят превратиться в хронические. В Великобритании внезапный взрыв расистских настроений открыл тревожную перспективу того, что эта страна может пойти по американскому пути. Нетерпимость британских «белых» может спровоцировать ответное насилие со стороны «небелых», хотя в процентном отношении число «небелых» в Великобритании невозможно даже сравнивать с числом их в Соединенных Штатах. В этих, снова ставших апокалипсическими обстоятельствах неудивительно, что молодое поколение чувствует, что главное — это стараться поднять уровень человеческого поведения, а дальнейшее развитие науки и технологии может пока обойтись и без их помощи.

Подобное отношение разумно, учитывая, что использование науки и технологии — это тоже дело выбора человечества. Чем сильнее наука и технология, тем сильнее ее потенциальное действие как во благо, так и во зло, и если наука и технология будут продолжать развиваться, в то время как уровень человеческого поведения будет оставаться тем же или падать, то власть Человека над Природой станет проклятием для Человека, вместо того чтобы стать благословением. То, что мы переживаем сегодня, является для нас предупреждением: нам действительно следует отдать пальму первенства изучению природы человеческой психики, и ее надо изучить не только ради удовлетворения нашего любопытства. Человеческую природу следует также изучать в целях дальнейшего использования результатов наших изысканий на практике.

Эта задача для гуманитарных наук самая неотложная, потому что в этой области мы сравнительно отстали, причем как в теории, так и на практике. В интеллектуальной истории эллинского мира отец физики Фалес явился почти на полтора столетия раньше Сократа, отца этики[7]. Сознательное переключение Сократом своего внимания с физики на этику, в то время как в юности именно физика владела его воображением, было эпохальным событием. Однако на всем протяжении эллинской истории и впоследствии, на протяжении западной истории, до самого последнего времени, изучение человеческой природы ограничивалось пунктирным обозначением карты человеческой психики, и между эпистемологией и самодисциплиной постоянно оставалась огромная пропасть, невзирая на старания философов — стоиков и эпикурейцев — спустить философию на землю.

На Западе, по крайней мере в исследовании пучины подсознания человеческой психики, при моей жизни и только считая от этой новой отправной точки, теория и практика объединили усилия в изучении человеческой природы, как ранее они объединили усилия в изучении нечеловеческой природы и овладении ею, создав союз науки и технологии. История отношений между западной наукой и западной технологией на протяжении последних трех столетий указывает на то, что, когда теория и практика взаимодействуют, они стремительно развиваются.

Между тем сейчас в жизнь вступило второе поколение нового века, открывшего исследования подсознательных пластов человеческой психики, поэтому применение результатов наших изысканий в этой новой области делает лишь первые шаги. Действительно, изучение нами подсознания и овладение им находятся к 1969 году на той же ступени, какой достигало изучение физики во времена Фалесовых диадохов Анаксимандра и Анаксимена[8]. Теперь, когда развитие науки вложило в наши детские руки потенциально всемогущее оружие уничтожения, нам нельзя терять время, на долгом и трудном пути от детства до духовной зрелости.

К счастью, сама наша отсталость в изучении человеческой природы и прямо пропорциональная отсталость в практическом применении этих новых знаний дают двойной стимул ищущим умам. Один из стимулов — это просто привлекательность неизвестного. Другой — это тот факт, что, вступая в новую для себя область, мы все начинаем с нуля при равных возможностях, независимо от различий в социальном и культурном планах.

Директор гимназии в северо-западной части Англии как-то говорил мне, что способные мальчики и девочки, пришедшие в его школу из семей со сравнительно низким уровнем образования, чаще отдавали предпочтение естественным, а не гуманитарным наукам, причем необязательно потому, что имели личную склонность и способности

к естественным наукам, а из соображений социального порядка, потому что в естественных науках они могли на равных соревноваться с детьми из семей с более высоким уровнем образования, тогда как в гуманитарных науках они не чувствовали себя достаточно свободно. Занимаясь гуманитарными дисциплинами, дочь врача или сын юриста будет постоянно получать дополнительное внешкольное образование дома, что даст ребенку заметное преимущество в классе. Дома за столом этот ребенок будет слышать разговоры об общественных делах, а возможно, и о литературе и искусстве, и дома обязательно окажутся интересные и полезные книги, до которых всегда доберется любознательный ребенок, даже если его к этому не поощрять. Естественные же науки представляют собой такой предмет, который можно изучать только систематически, зачастую лабораторно, с помощью аппаратуры, то есть только в школе. Приступая к изучению естественных наук, ребенок из интеллигентной семьи и ребенок из рабочей семьи стартуют на одном уровне. Таким образом, в естественных науках индивидуальные способности проявляются свободно, без подпор и без помех, обусловленных тем, в какой социальной или культурной среде ребенку посчастливилось родиться.

Вглядываясь в будущее, мне кажется, я вижу, как психология становится царицей гуманитарных наук; и становится она таковой потому, что в отличие от греческого и латыни психология способна оказывать практическую помощь человеку в век, когда человеку нужна вся помощь, какую он только может получить, от Бога или от самого себя, чтобы оградить себя от греха и безумия самоуничтожения собственного рода. Сегодня мы еще стоим на пороге этой новой области знания, которая, возможно, поможет нам спастись, если мы сумеем правильно применить ее на практике. Каждому из нас надо учиться управлять собой (дисциплина, которой в Индии Будда учил еще в VI веке до Р. Х.), а научившись управлять собой, мы должны научиться управлять отношениями друг с другом.

Неизменный закон человеческой жизни состоит в том, что всякое знание может быть использовано как во имя добра, так и во зло. Понимание человеческой психики, когда оно используется в интересах пропаганды, рекламы, надувательства, работает во имя зла. Это пагубное использование нашего недавно обретенного знания. Однако знание человеческой психики можно так же легко использовать для честного исследования наших сердец с целью самоусовершенствования и для того, чтобы поднять уровень отношений с нашими собратьями, людьми, на такую высоту, которой до сих пор достигали только святые.

Разве в этом новом обличье гуманитарные науки не открывают нам столь же увлекательное поле деятельности, как наука и технология? Разве не похоже, что эти «новые гуманитарные науки» будут

гораздо эффективнее служить человеку в его насущной необходимости спастись от самого себя? Пагубная черта науки и технологии заключается в их моральной нейтральности. «Новые гуманитарные науки» морально окрашены. И я очень надеюсь, что для поколения моих внуков они станут той областью, которая покажется им самой привлекательной для приложения способностей и сил.



7. ВЕТЕР ПЕРЕМЕН В РЕЛИГИИ

В области религии на моих глазах перемены происходили дважды. Уже глазами взрослого человека мне довелось наблюдать грустное зрелище того, как исторические высшие религии, по-видимому, окончательно погрузились на дно после длительного скольжения вниз. В Западном мире этот процесс начался более чем за два столетия до моего рождения, и, как многие мои современники, я спокойно воспринимал исчезновение исторических религий. Я не видел причины, почему освобожденное ими место должно быть снова чем-то заполнено. И поэтому я был удивлен, когда древняя и, казалось бы, канувшая в Лету религия вдруг снова, как ванька-встанька, восстала на наших глазах, причем восстала, обрядившись в три разные модные одежды, с тем чтобы замаскироваться под три соперничающие идеологии. Еще более удивительным и забавным мне показалось зрелище, когда уже после окончания Второй мировой войны исторические религии внезапно снова замаячили на горизонте.

Своим воскресением эти старые религии доказывают, что их исчезновение из поля зрения на рубеже веков не означало, оказывается, что они пошли ко дну. Ветер, изначально надувавший их паруса, не потопил их. Так и не обретя силы рокового урагана, этот когда-то попутный ветер, конечно же, постепенно утих. Он не потопил корабли. Короткий штиль был вскоре нарушен порывом ветра, подувшим на этот раз совсем с другой стороны. Достигнув силы урагана, этот ветер принес с собой крушение идеологий и иллюзий, заставлявших людей верить, что мир их устроен прочно и надежно. И вот сейчас, в 1969 году, ощущается третий порыв ветра — на сей раз он дует в диаметрально противоположном направлении по сравнению с ветром моего детства. Этот третий шквал гонит традиционные религии назад, в те пределы и на те океанские просторы, которые они занимали столь длительную череду столетий в прошлом[1].

Превратности религиозной истории человечества поражали меня не раз; и теперь, в ретроспективе, я вижу, что удивление мое было наивным.

Во-первых, наивным было предполагать, будто просторы океана смогут оставаться пустынными надолго — или хотя бы на мгновение. Я полагаю теперь, что религия — неотторжимый спутник сознания, а способность к выбору — отличительная черта человеческой психики. По моему убеждению, у каждого человека есть своя личная религия, а у каждого человеческого сообщества — своя коллективная религия, независимо от того, сознает ли это отдельный индивид или сообщество. Я полагаю, у каждого есть религия, даже если человек отрицает это, причем отрицает совершенно искренне. Вакуум противен духовной природе, как противен он природе физической. Если нам удалось отречься от унаследованной религии, мы неизбежно находим ей замену, и эта замена может оказаться и более порочной, и более архаичной. Мысль эта в классической форме выражена в одной из самых впечатляющих евангельских притч.

«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого»*.

Человек в этой притче — это современный западный человек. Эта притча точно отражает опыт человека Западного мира на протяжении моей жизни. Нечистый дух, которым одержим западный человек, — это дух фанатизма, являющийся частью наследия, полученного христианством и исламом от их религии-прародителя — иудаизма. В западном христианстве этот врожденный фанатизм вылился в отвратительные католическо-протестантские религиозные войны XVI и XVII столетий[2]. Зверства, совершавшиеся во имя религии, так глубоко потрясали наиболее чувствительные и наиболее просвещенные души в современном Западном мире, что уже к концу XVII столетия некоторые люди начали отвергать христианство, да и вообще самое религию в любой форме. «Вот к злодеяньям каким побуждала религия смертных»**. Начиная от поколения Пьера Бейля[3] и вплоть до наших дней этот скептицизм, порожденный моральным отвращением, распространялся все шире и шире, от немногочисленной и сначала непредставительной интеллектуальной и духовной элиты до самых широких народных масс.

Довольтеровский[4] христианский фанатизм умирал медленно. Я еще застал в живых христианина, который был настолько фанатичен, что чувствовал бы себя как дома в ту эпоху, когда христиане сжигали друг друга на кострах только из-за подозрения в ереси.

---

* Мф. 12: 43–45. Ср. Лк. 11: 24–26.

** *Лукреций.* О природе вещей, кн. I, с. 101.

Христианство дорого заплатило за свой упрямый фанатизм и фальшь. Оно было выброшено за борт; и так как, отвергая христианство, человек Западного мира одновременно навязывал свое господство остальному человечеству, то следом за западным морским, торговым и колониальным флагом шел и западный скептицизм. Озападнивающееся интеллектуальное меньшинство остального мира шло следом за западными интеллектуалами. Они отрекались от религий своих предков: индуизма, буддизма, зороастризма и даже ислама, — прежде пользовавшихся репутацией неуязвимых.

Пустыни, которые приходилось теперь преодолевать эмансипированному человеку Западного мира и его эмансипированным незападным последователям в поисках покоя и отдохновения, были всего лишь духовным вакуумом, созданным ими в собственных душах; и они не могли найти покоя, ибо такое состояние противоречит человеческой природе. Их дом был пуст. Из него все вымел рационализм, не оставив ни пылинки. Дом аккуратно и тщательно прибрала наука, но наука не сделала его уютным для обитания Человека, ибо оставила его без религии. А когда предлагают науку в качестве заменителя религии, то это все равно что предложить вместо хлеба камень. Волей-неволей современному западному человеку и его незападным попутчикам приходилось заменять религию предков какой-нибудь другой подлинной религией; и подлинные религии, которыми они в конце концов заполнили духовный вакуум в своих душах, оказались, конечно же, более жестокими, чем христианство, даже если брать те периоды, когда фанатизм разогревался до точки кипения, а то и выше. Однако в притче говорится о семи еще более злых духах. Я могу назвать трех, виденных мною в жизни. Имя им: национализм, индивидуализм и коммунизм. Преступления, совершаемые во имя каждой из этих трех постхристианских идеологий, оказались — если это возможно — еще более жестокими, нежели худшие из тех, что когда-либо совершались во имя христианства. Состояние современного человека в век агонии и жестокости, начавшееся в 1914 году, еще хуже состояния человека, который жил в век католическо-протестантских религиозных войн.

К счастью, однако, это худшее состояние оказалось преходящим. Неожиданно возникнув снова, исторические высшие религии вступили в новую главу истории религии, и сделали это в атмосфере нового настроения, которое являет собой обнадеживающий контраст с традиционным настроением взаимной зависти, ненависти и жестокости. Возрождение исторических религий началось в промежуток между двумя мировыми войнами, когда некоторые протестантские христианские Церкви начали экуменическое движение и вовлекли в него часть восточных православных Церквей[5]. Это омолаживание христианства получило мощный новый толчок, когда на

Папский престол бы избран Папа Иоанн XXIII[6] и когда в течение своего краткого пребывания на нем он приступил к *aggiornamento* (осовремениванию) римской католической Церкви, успев до своей преждевременной кончины сделать это движение «необратимым». Экуменическое движение и aggiornamento ратуют за взаимное милосердие, уважение и любовь, что открывает пути к примирению и сотрудничеству, не задаваясь пристрастным вопросом о том, является ли действительно возможным и желательным конечное объединение. Этот перелом в умонастроениях верующих христиан достаточно быстро распространился и на исповедующих другие исторические религии. Со времени окончания Второй мировой войны примирились друг с другом северная и южная секты буддизма, а индуизм помирился с буддизмом обоих направлений. В арабском мире в этот же период ислам помирился с христианством[7].

Между тем постхристианские идеологии продолжали беспрепятственно развиваться и сотворили худшее из того, что можно было сотворить за краткий период жизни одного поколения, в течение которого они обладали столь гибельной властью. Я отвожу им такой отрезок жизни потому, что полагаю, что эти эрзац-религии не способны помочь человеку сохранить свою личность, а именно такова элементарнейшая необходимость в век, когда триумф технологии грозит дегуманизировать личность, сведя ее просто к «вещи», различимой не по имени собственному, а по серийному номеру, выбитому на карточке и зашифрованному в недрах компьютера.

Конкурирующий индивидуализм, пчело- или муравьиноподобный коммунизм и национализм, базирующийся на племенном уровне сознания, — все они в плане обезличивания подобны друг другу и сродни технологии. Обезличенное управление обществом находится в противоречии с сущностью человеческой природы. Следовательно, это такое управление, против которого человеческая природа не может не восставать. А когда на справедливый протест человеческой природы отвечают либо сугубо формально, либо вовсе не отвечают, то человек приходит к выводу, что никакие действия с его стороны, кроме физического насилия, не привлекут к нему внимания в этом недоступном, неуловимом, подобном ибсеновской Кривой[8], тумане безличных отношений, куда он попал, словно в клетку*. Человек хочет, чтобы к нему относились как к личности, даже если он может добиться подобного внимания к себе лишь ценой стычки с полицейским, что чревато вызовом на следующий день в полицейский участок для возбуждения дела. В этом, по моему мнению, кроется причина уличных беспорядков и демонстраций, которые сегодня поднимаются, волна за

* См.: *Ибсен Г.* Пер Гюнт. — Собр. соч. в 4-х тт. Т. 2. М., 1956, с. 464.

волной, над мертвенной поверхностью дегуманизированного мира современного человека.

В наше время человек поистине испытывает на себе иронию судьбы. С того момента, когда его предки стали людьми, сделав первый робкий слабый шаг к контролю над окружавшей их природой, Человек не оставлял своей извечной мечты господствовать над природой, вместо того чтобы оставаться ее рабом. И вот наконец в ходе последних трех столетий мечта эта осуществилась до такой степени, что, кажется, превзошла все ожидания. Человек не только покорил окружающую природную среду; он уничтожил ее, возведя вокруг себя искусственную среду собственного изготовления. Эта окружающая среда есть продукт технологии современного Человека, технологии, достигшей за эти три столетия большего, чем за весь предыдущий период человеческой истории. Человек решительно победил природу своей технологией; однако победителем была именно технология, а не сам Человек. Человек просто поменял хозяина, и его новый хозяин оказался гораздо более властным, нежели прежний. А Человек все так же остается рабом окружающей среды, только теперь это та окружающая среда, которую он сам для себя создал, а не та, которую изначально дала ему Природа. Природа секла Человека розгами; его собственная технология коварна, как скорпион.

Теперешнее жалкое положение Человека не просто иронично, оно трагично. Порабощение Человека технологией начиная с 1914 года приобрело угрожающий характер и неумолимо движется к непредсказуемому кризису, а с 1945 года это движение идет *crescendo* (по нарастающей). Среди всего того зла, которое Человек творит и от которого он страдает на протяжении послевоенных лет, новое появление на горизонте исторических религий представляется единственным обнадеживающим событием. Это добрая весть, она явилась для человечества нежданно. И все же не случайно, что старые религии вернулись как раз в самый критический момент, ибо старые религии всегда были сильны там, где оказывались слабы идеология и технология. Они предложили Человеку действенное руководство и помощь на его трудном жизненном пути — а путь этот труден потому, что Человек хочет жить сознательно и обладает возможностью выбора; обладание же этими богоподобными желаниями — пытка для смертного живого существа, каким является Человек.

Утопающий хватается за соломинку, и если бы исторические религии возрождались в том же состоянии духа, в каком они на рубеже столетий отмирали, то возлагать надежды на их возвращение было бы пустым занятием и самообманом. Их возвращение дает веские основания для надежды потому, что в самый кризисный момент своего падения они отреагировали на превратности судьбы переломом своего отношения к окружающему миру, и перелом этот

оказался как нельзя более важным. Злым гением высших религий, низведшим их до уровня еще более низкого, чем тот, что занимали их во всех отношениях более низко стоящие предшественницы, была их неисправимая фракционность и необузданная мстительность и злобность, постоянно подливавшие масла в огонь их бесконечных ссор. Приверженцы каждой религии ссорились с приверженцами всех остальных религий, и в лоне каждой религии приверженцы различных сект с еще большей озлобленностью ссорились друг с другом. Еврей шел против христианина, христианин против мусульманина, мусульманин против индуиста; и внутри каждой из этих религиозных систем фарисей враждовал с саддукеем, тринитарий с арианином, католик с диофиситом и монофиситом, восточноправославный кафолик с римским католиком, римский католик с протестантом, шиит с суннитом[9]. Эта фракционность и те злоба, ненависть и немилосердие, с какими она выплескивалась наружу, подорвали авторитет западного христианства и начиная с XVII века все сильнее и сильнее отталкивали западного человека от религии его предков. Таково было состояние духа, когда на рубеже XIX и XX веков исторические религии ушли из поля зрения Человека. В 1907–1911 годах, когда я был студентом Оксфордского университета, именно эти религии, казалось, не имели будущего. Создавалось впечатление, что их фракционность неизлечима. И все-таки я дожил до того дня, когда в судьбе этих религий произошла непредвиденная и в высшей степени важная перемена.

Исторические религии вновь и в новом состоянии духа возникли на горизонте истории, и это обновление духа ликвидировало веками лежавший на пути камень преткновения. Оно открыло перед этими религиями новый путь к душе Человека. Исторические религии могут оказать Человеку неоценимую помощь в поисках непосредственного соприкосновения с конечной духовной реальностью за пределами явлений Вселенной и вне их. И хотя пути, которыми эти религии следуют к одной и той же духовной вершине, различны, они в равной степени способны дать Человеку духовную силу вырваться из рабства человеческой технологии и прийти к подлинно человеческому обществу, к подлинной человеческой свободе. Человек, приобщившийся к конечной духовной реальности и избравший своей главной целью жить в гармонии с этой духовной реальностью, оправдает существование Человека. И именно личность станет гарантией против наступления безликих сил некогда человеческого мира, превращенного развитием технологии в осиное гнездо.

Вот такие плоды может принести наблюдаемый нами перелом в позиции исторических религий. Упрочатся ли ростки нового или изменения окажутся эфемерными? Пока трудно с уверенностью ответить на этот вопрос. Однако налицо по крайней мере два добрых

предзнаменования. Перелом этот настолько фундаментален, что трудно себе представить, как можно теперь повернуть назад; и наконец, новый подход отвечает новым требованиям. Существующая сегодня угроза человеческой личности превосходит все те опасности, которым когда-либо подвергало себя человечество, с тех пор как наши предки стали людьми. Угроза физическому выживанию человеческого рода есть всего лишь следствие этого духовного кризиса. Одни только высшие религии могут помочь человечеству спастись от самого себя, давая ему возможность вновь обрести контакт с конечной духовной реальностью, являющейся основой бытия и источником спасения.

Этот перелом есть суть всего вопроса. Если он действительно достигнут и если это достижение окажется прочным, то он принесет с собой добрую перемену в поведении людей, причем не только в их отношениях друг с другом или когда они выступают в роли поборников своих религий, но и во всех человеческих отношениях, на всех уровнях человеческой деятельности. Главное — это согласие сердец. Вопросы доктрины и отправления обрядов — дело второстепенное.

Вглядываясь в будущее, мы не можем предугадать, объединятся ли завтра какие-либо религиозные сообщества, существующие сегодня отдельно. Не можем мы предугадать и того, сохранится ли в нынешнем виде та или иная доктрина, и если она изменится, то в каком направлении и насколько сильно. Мы, однако, знаем, что все созданное Человеком подвержено изменениям, а институты Церкви и теологические доктрины созданы Человеком. И это признается не только агностиками, считающими, что церковная атрибутика — это творение Человека, и ничего больше. Это признается людьми, верящими, что Церковь есть созданное Человеком выражение чего-то трансчеловеческого и сверхчеловеческого, или, в теистическом понимании, божественного. Суть может быть вечной, но ее человеческое выражение останется человеческим и, следовательно, не может быть ничем иным, как временным и эфемерным приспособлением к конкретному времени и месту. Жизни присуще изменение, и человеческая жизнь в наше время стремительно меняется под безжалостным напором все ускоряющегося технического прогресса.

Проблемы, вытекающие из неумолимого факта изменчивости, стояли перед церковной властью всегда и везде, но они заявили о себе особенно громко в эпоху, когда перемены во всех сторонах человеческой жизни происходят с небывалой скоростью, и наиболее остро это ощущают ответственные главы институтов, бывших некогда противниками каких бы то ни было перемен. В подобных обстоятельствах только герой рискнет открыть так долго стоявшую запертой дверь и только у государственного деятеля достанет мудрости решить, как далеко и как быстро должен пойти процесс *aggiornamento.*

Папа Иоанн XXIII сыграл прекрасную роль первопроходца. Задача, унаследованная после него папой Павлом VI[10], соответствует по своим масштабам духовному величию папы Иоанна XXIII.

Мы не можем предугадать, как будет меняться каждая из исторических религий или какие изменения произойдут в отношениях между этими религиями. Однако если я прав, полагая, что общий новый дух взаимного милосердия и уважения утверждается в мире, то можно не сомневаться в том, что каждая из религий, как никогда прежде, будет открыта для приверженцев других религий; для людей, искренне ищущих конечную духовную реальность, это станет неоценимым благом.

В прошлом, до так называемого исчезновения расстояний, религия Человека была практически для него предопределена, причем на всю жизнь, и это определялось тем, в каком месте и в какое время ему довелось родиться и вырасти. Он автоматически наследовал религию предков, и возможность перехода в другое вероисповедание практически была перед ним закрыта невежеством остальных людей и проистекающими из этого невежества предрассудками. Однако уже на протяжении приблизительно ста лет у западного христианина, родившегося католиком или протестантом, есть возможность достаточно хорошо ознакомиться с альтернативной формой западного христианства, чтобы, достигнув духовной зрелости, сделать выбор: остаться ли в лоне той формы христианской религии, к которой принадлежали его предки, или принять другую. Он может также избрать третий путь: отвергнуть обе эти формы и стать агностиком.

Сейчас мы приближаемся к эпохе, когда выбор будет богаче и практика свободного выбора расширится. Можно предвидеть такую ступень в религиозной истории человечества, на которой религией Человека будет становиться религия, не унаследованная им, а выбранная по достижении совершеннолетия, причем она может оказаться вовсе не той, в которой он родился и вырос. И это будет в порядке вещей. И этот духовный выигрыш для будущих поколений человечества уже находится в поле нашего зрения благодаря перемене духа в приверженцах различных религий.



8. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

(I) Головы гидры

В мире времени и перемен не существует последней главы. В истории никогда нельзя поставить точку. Жизнь подобна состязанию Геракла с Лернейской гидрой. Когда боец-человек отсекает одну

из голов змеи, на месте отсеченной головы тут же возникает гроздь новых. Решение одной проблемы создает новые проблемы, непредвиденные и, уж конечно, не созданные умышленно. Поэт Джордж Херберт[1] был прав, говоря, что покой — это последнее и лучшее из Господних благодеяний и что Бог не простер его на Свое творение — Человека. Для живого нет покоя на этом свете.

(II) Ответный удар целебных лекарств

Непредвиденные и в некоторых случаях вызывающие тревогу последствия достижений, в целом положительных, — факты иронические, но неизбежные. В качестве типичного примера, пригодного служить символом всего этого явления, можно привести непредвиденные побочные эффекты некоторых замечательных лекарств, обогативших на протяжении моей жизни врачебную фармакопею. Предположим, что одно из этих новоизобретенных сильнодействующих лекарств было применено благотворно и успешно, излечив в конечном счете недуг, от которого принималось. И все же оно может потребовать плату за оказанную добрую услугу, вызвав какой-нибудь побочный неблагоприятный эффект. Если прописавший лекарство врач предвидел этот неблагоприятный эффект, значит, он в своих действиях исходил из того, что данный эффект является меньшим из двух зол. Это всего лишь пример, но подобные ситуации возникают сегодня в жизни постоянно. Это стало притчей во языцех, когда речь заходит о том, что происходит в настоящее время во многих областях созданной человеком искусственной окружающей среды, которой мы себя подчинили.

(III) Социальная цена новой технологии на фермах в штате Айова

Например, систематическое применение научных достижений в сельском хозяйстве на самых плодородных почвах в технологически наиболее развитых странах на протяжении послевоенных лет (после Второй мировой войны) позволило добиться значительного увеличения количества продукта на акр и на работника. В штате Айова сегодня один фермер со своей семьей может обработать до 450–600 акров земли по сравнению с 260 акрами, которые был в состоянии обработать его отец; и с каждого акра он может получить, скажем, в четыре раза больше, чем мог получить его отец. Этот новый фермер добивается такого успеха, вкладывая огромные капиталы в технику и химикаты. Он сохраняет весь продукт для потребления его потенциальными потребителями — скотом и людьми, — вводя в почву вместе с семенами гербициды и инсектициды. И так

как он вложил слишком большой капитал, чтобы позволить себе годами дожидаться дохода, то он вводит в почву еще и удобрения, отказавшись от старой фермерской практики периодически оставлять землю под паром.

Пока это остается выгодным делом, но оправданно ли все это с экономической точки зрения? Конечный капитал фермера — земля, и он из года в год выкачивает максимальные доходы, не очень заботясь о фонде амортизации и возмещении убытков. Так, в сегодняшнем штате Айова почва может в конце концов пострадать от достижений сельскохозяйственной науки, однако Человек уже теперь стал жертвой нового способа ведения фермерского хозяйства. Уже сегодня сельская местность Айовы кормит примерно вполовину меньше народа, чем она кормила в довоенные годы. Проезжая по этому штату, любуешься богатыми, выращенными на удобрениях хлебами и высоким уровнем механизации. Коровники и амбары превращены в мастерские и заводы, и управляют там техники, химики, фабриканты и дельцы, а не фермер в традиционном понятии. Однако нельзя при этом не расстраиваться, замечая, как обезображены эти индустриализированные земельные угодья. На каждый пока еще обитаемый дом приходится другой, покинутый и приходящий в запустение. Это заброшенные дома бывших фермеров — хозяев двухсот шестидесяти акров земли, которым так и не удалось стать фермерами — «операторами» современных механизированных ферм. Эти неудачники отказались от борьбы и перебрались в города. Что они обрели там для себя и что — для своих детей? Для ребенка вырасти в деревне — это поистине счастливый удел, и это счастье было спутником большинства американских ребятишек на протяжении первого столетия в истории Соединенных Штатов.

В 1783 году Соединенные Штаты были в основном фермерской страной, да и городское меньшинство по большей части все еще жило в маленьких провинциальных городках. Более того, сельское население устремлялось потоками на запад, за Аппалачи и Аллеганы, и от западного подножия этих гор шло дальше на запад, до полосы, где между Миссисипи и Скалистыми горами простирались сказочно обширные нетронутые просторы потенциальных фермерских угодий. Американский сельскохозяйственный переселенец прекратил свое движение на запад лишь около 1890 года. Еще во время Второй мировой войны, если лондонцу случалось разговориться с американским солдатом, его удивляло, что американец чаще всего оказывался деревенским парнем, для которого его общение с Лондоном было первым опытом городской жизни. Сегодня, однако, какие-нибудь пять процентов населения Соединенных Штатов производят достаточно продуктов питания, чтобы накормить себя и остальное население страны, да еще и кое-что остается. Упадок

наблюдается в производстве только одного продукта, но зато самого главного — выросших в деревне ребятишек. В Соединенных Штатах в 1969 году вырасти на ферме стало редкой удачей.

(IV) Политический и экономический неоколониализм

На другом континенте, в Африке, в жизни с совершенно иными измерениями сегодня можно наблюдать непредвиденные неблагоприятные последствия политической деколонизации. В ряде африканских стран уход от власти бывших правителей, европейцев, для большинства населения означал лишь смену хозяев. Потеря Британской Южной Африки открыла дорогу к господству там местных белых поселенцев, которые третируют своих соотечественников, африканцев, так же, как спартанцы третировали своих илотов. В Кении горстка белых поселенцев погибла или разъехалась, однако вакантный трон был занят представителем одного из местных африканских народов — кикуйю. Этот энергичный сельскохозяйственный народ взял верх, потому что обладал способностью адаптироваться к современному образу жизни. Пастушеские племена масаи и народ сомали оказались менее удачливыми, и сомнительно, выиграли ли они от смены режима[1]. Кикуйю отнюдь не единственные африканские неоколоналисты из туземцев. В Эфиопии господствующая нация — амхара, в постбританском Судане северяне-мусульмане стремятся подчинить себе языческий и христианский Юг[2]. В Нигерии самая способная часть населения, состоящая из смешанных народностей, — это народ ибо; однако ибо составляют меньшинство населения страны; их превосходство сделало их столь же непопулярными среди других племен, сколь непопулярна китайская диаспора в Юго-Восточной Азии или же еврейская диаспора в средневековой Западной Европе и польско-литовских губерниях бывшей Российской империи. И вот теперь ибо в свою очередь прижаты к стенке.

Более того, европейские экс-колониальные державы, отказавшись от своих старых политических империй, сохранили свои скрытые экономические империи, а последние были и есть намного обширнее первых. Сегодня на большей части Африки к северу от Замбези, на большей части Азии к югу от континентального Китая и Советского Союза и почти во всей Латинской Америке сохраняется экономическое господство западноевропейских стран, или Соединенных Штатов, или и тех и других. Неожиданным следствием охватившего весь мир процесса политической эмансипации оказалось то, что политически освободившиеся страны относительно беднеют, в то время как бывшие империи относительно богатеют. Формально освободившиеся страны обнаружили, что сменить флаг

легче, чем изменить условия торговли, и что изменение условий торговли к невыгоде производителей первичных продуктов может буквально свести на нет иностранную помощь, которую выделяют им процветающие индустриальные державы.

(V) Графа дебета на счету Британского Содружества

Перераспределение национального дохода британцев на моем веку стало более справедливым. Вслед за введением государственного образования, финансируемого с 1870 года из общественных фондов, последовало начиная с 1906 года введение финансируемого из общественных фондов страхования на случай болезни и потери работы, государственного здравоохранения и пенсионного обеспечения. В результате заметно возросла уверенность британцев в будущем, средний реальный доход семьи увеличился, а положение народа в целом улучшилось. На первый взгляд результат этой серии социальных реформ социалистического порядка, начатых правительством либералов в 1906 году, выглядит как решительный отход от принципов Общества по организации благотворительной помощи. Статьи в кредитной графе государства всеобщего благоденствия фактически неоспоримы, но время показало, что опасения Общества по организации благотворительной помощи в какой-то мере оправдались. Подобно новому стилю фермерства в штате Айова, в британском государстве всеобщего благоденствия, очевидно, есть свой подвох.

Общество по организации благотворительной помощи исходило из того, что англичанин викторианской эпохи, принадлежавший к среднему классу, был в состоянии защитить себя. Он способен был это сделать благодаря самодисциплине и собственным усилиям, даже если он принадлежал к английскому среднему классу с самым низким уровнем доходов. Общество по организации благотворительной помощи надеялось, что промышленный рабочий поднимется до уровня самообеспечения, присущего среднему классу. Члены среднего и высшего классов, добровольные пожертвования которых снабжали материальными средствами Общество по организации благотворительной помощи, оставались глухи к той истине, что даже самый добродетельный рабочий — тот, кто не пьет, не курит, не играет в азартные игры, трудится в поте лица и копит деньги, — даже такой рабочий может, отнюдь не по своей вине, окончить свои дни в работном доме, что редко грозит столь же добродетельному клерку в цилиндре.

Когда мой отец приближался к вершине своей карьеры, здоровье его внезапно резко ухудшилось. Члены Общества по организации благотворительной помощи, где он служил, ценившие его двадцатисемилетний самоотверженный труд, поняли, что это семейная

катастрофа, которую он не в состоянии был предвидеть, а значит, и предотвратить. По подписному листу коллеги отца собрали достаточно средств, чтобы спасти положение нашей семьи. И все-таки эти добрые, благожелательные и великодушные люди не принимали во внимание тот факт, что недельная зарплата промышленного рабочего не дает ему материальной обеспеченности, как не дает и возможности скопить из своего крохотного негарантированного заработка достаточно денег, чтобы обеспечить себя в случае потери работы, болезни или к старости. Собственно говоря, они едва ли вообще мыслили в категориях реальностей рабочего класса: они мыслили почти исключительно в категориях моральных идеалов среднего класса, а это никак не сопрягалось с потребностями и интересами британского рабочего класса.

Это звучит нелепо, но это так. И все же посмертно Общество по организации благотворительной помощи можно оправдать. Благодаря социальным реформам, начавшимся в 1906 году, удалось поднять жизненный уровень большинства промышленных рабочих в Великобритании до уровня «низшего» слоя среднего класса. Однако промышленные рабочие не восприняли уровень среднего класса. Они получили социальные блага, но не получили воспитания в духе добродетелей среднего класса, и это привело к печальным последствиям. Так по крайней мере мне это представляется сегодня; но я, возможно, пристрастен в своих оценках. Несмотря на то что я отошел от кредо среднего класса XIX столетия, я смотрю на вещи так, как смотрели на них мой отец и его коллеги по Обществу по организации благотворительной помощи, то есть глазами представителя среднего класса.

И все-таки, отдавая отчет в своей собственной необъективности, я рискую утверждать, что на сегодняшний день средний британский промышленный рабочий все еще мыслит по-детски и безответственно. До социальной революции, начавшейся в 1906 году, такое состояние умов было оправданно, и вины самого рабочего в этом не было; вина лежала на истеблишменте среднего и высшего классов, который поглощал фантастически огромную долю национального дохода, лишая промышленного рабочего нормальных человеческих условий, необходимых для претворения в жизнь добродетелей среднего класса. Сегодня львиную долю национального дохода получает промышленный рабочий класс, поэтому если Великобритания обанкротится, то больше всего потеряют при этом рабочие.

Промышленные рабочие, кажется, еще не поняли того, что теперь их главный интерес лежит в поддержании национального дохода на сегодняшнем уровне и по возможности в увеличении его. Они, кажется, все еще больше настроены на борьбу со своими хозяевами,

чем на то, чтобы удержаться на мировом рынке в борьбе со своими конкурентами — например, промышленными рабочими Германии, Гонконга и Японии. В своих действиях они все еще исходят из того, что им достаются лишь крошки с хозяйского стола, а значит, именно хозяин, а не они обязан заботиться о том, что стоит на этом столе. Короче говоря, на протяжении двух третей XX столетия британские промышленные рабочие по-прежнему ведут на внутреннем фронте войну XIX века, а война эта начала устаревать уже столетие назад, когда Великобритания лишилась своей временной монополии на право называться «мастерской мира». В продолжающейся борьбе промышленных рабочих с их хозяевами рабочие одержали теперь победу.

Привычки умирают с трудом, особенно привычки, выработанные горькой нуждой. Виноват в данном случае истеблишмент, чья несправедливость породила у промышленных рабочих привычку чувствовать себя беспомощными. Более того, с приходом государства всеобщего благоденствия они стали смотреть на свой заработок как на карманные деньги, которые они могут позволить себе расходовать на излишества, потому что определенная часть необходимых для семьи услуг — например, образование, медицинское обслуживание и страховка по безработице, а также пенсия по старости — оплачивается из общественных фондов.

На деле, конечно, косвенно работники оплачивают эти услуги. Единственный источник дохода — это производительный труд. И если бы средства социальных фондов не поступали в национальный бюджет в виде налогов, а выплачивались напрямую в виде зарплаты, то доход семьи каждого наемного работника значительно вырос бы. Однако тогда наемному работнику пришлось бы платить за услуги из своего кошелька. Наемному служащему из среднего класса всегда приходилось оплачивать эти услуги, и именно эта обязанность выработала у него чувство личной ответственности. Обретение чувства ответственности есть решающее условие для того, чтобы человек стал взрослым. Это одна из основополагающих истин о человеческой природе и человеческой жизни.

Ответный удар запоздалого достижения социальной справедливости через институт государства всеобщего благоденствия, в моих глазах, есть самое тревожное из всех непредвиденных последствий тех деяний, которые, несомненно, принесли ожидаемые результаты. Мне кажется, главный вопрос состоит в следующем: оправданно ли обеспечение всеобщего социального благополучия без одновременного воспитания чувства личной ответственности? Справедливо ли, и если справедливо, то оправданно ли политически, взимание налогов для оплаты социальных услуг, навязываемых в принудительном порядке?

На основе опыта представляется желательным, чтобы по крайней мере некоторые из социальных услуг в какой-то степени оплачивались не из государственного бюджета. Это представляется желательным не только по моральным соображениям, но и по соображениям политическим и социальным. В стремительно меняющемся обществе необходимо, чтобы постоянно была открыта дверь для пересмотра и внесения поправок в законы, регулирующие столь важные стороны человеческой деятельности.



9. ПОСМЕРТНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

Надо ли мне писать эту главу? В восьми предыдущих главах я обрисовал ряд проблем, стоящих перед человечеством в 1969 году. Мне уже перевалило за восемьдесят. Разве я не выполнил своих обязательств? Не могу ли я теперь откланяться, предоставив более молодым искать решение проблем и проводить их в жизнь? Мне осталось жить куда меньше, чем им. Но меньше ли я, чем они, заинтересован в будущем? Имею ли я право «свалить ответственность» на других? Нет, не имею; и если бы я почувствовал желание это сделать, то был бы пристыжен известным утверждением, приписываемым лорду Расселу[1]. «Очень важно неустанно заботиться о том, что произойдет после твоей смерти».

Действительно, я весь, без остатка вовлечен в дела людские. Меня остро волнует будущее моих детей, моих внуков и моих правнуков. Конечно, эта моя забота о них прежде всего дело личное, но она имеет и символическое значение. Шестнадцать человек (моих близких родственников) олицетворяют для меня все поколения людей моложе меня, а также всех пока еще не родившихся, которые, если человечество воздержится от самоликвидации, будут долго еще приходить и уходить после смерти моих правнуков. Сейчас и здесь я вовлечен в будущее человечества, каким бы это будущее ни оказалось. И я также вовлечен в то, что произойдет со Вселенной после того, как вымрет человечество, если такова его конечная судьба.

Я все еще вовлечен в дела человечества, потому что мое беспокойство за человечество — это беспокойство за духовную сторону психосоматического присутствия, которую обнаруживает человек перед своими собратьями — другими людьми — и самим собой. Я верю, что обитатель самого сокровенного духовного святилища человека тождествен духовному началу, трансцендирующему Вселенную, и я верю, что эта конечная духовная реальность есть любовь. Я уже говорил о моем понимании любви. Я верю, что любовь не

всесильна, и я верю при этом, что любовь «все переносит» и «все покрывает»*. Если я предан человечеству, то тем самым предан любви, а сама природа любви такова, что преданность любви безгранична.

Безграничная преданность любви выводит человека за пределы его собственной быстротечной жизни. Она дарует ему свободу. Между тем, сколько бы ни отпустила мне судьба времени, я уверен, что зов любви всегда будет для меня сопровождаться импульсом любопытства. Мне любопытно знать, какова будет развязка нынешнего акта драмы человеческой истории. Мое любопытство заставляет меня мириться с дискомфортом моей исключительно долгой жизни, дарованной мне предназначенной судьбой.

Если человек переживает своих сверстников, то за это приходится платить даже в относительно спокойные и размеренные времена, и плата эта заключается в том, что человека захлестывает во все более чуждый ему мир. Оценивая дискомфорт, проистекающий из долгожительства, я говорю лишь о целом ряде неудобств, однако я опускаю здесь боль от утраты близких — боль, равносильную агонии. Дискомфорт — это профессиональный риск, которому подвергается наблюдатель за текущей жизнью человечества. Ради того, чтобы увидеть развязку идущего сейчас акта человеческой драмы, я готов даже примириться с перспективой еще, скажем, двадцать — но не более двадцати — лет представлять в департамент налогов и сборов Великобритании декларацию о доходах.

Каковы мои шансы действительно дожить и увидеть, а не просто предугадать, «чтó день грядущий нам готовит»? В западном христианстве со времен, которые не сохранились в памяти ныне живущих, встречались верующие, которые были убеждены, что они могут дожить до развязки не только идущего тогда акта, но и всей пьесы. Кажется, Заратуштра породил догму, что человеческой истории суждено внезапно закончиться в Судный день, когда будут воскрешены мертвые, чтобы вместе с живыми получить свою долю страшного испытания. Из иранского источника догма перекочевала в фарисейский иудаизм, потом в христианство и в ислам. При моей жизни эта традиционная вера в неотвратимость «конца света» иссякла в Западном мире, так как конец человеческой истории стал реальной возможностью, которая будет (если будет) осуществлена не Божественным промыслом, а действиями Человека. Однако если ныне живущее поколение в один страшный день и совершило бы высший грех и глупость, уничтожив человеческий род, совершенно очевидно, что оно не смогло бы зарегистрировать свой опыт мгновенного самоуничтожения. Это очевидно для всякого, кто предвидит

* 1 Кор. 13: 7.

«конец света» не в свете теологии Заратуштры, а в свете потенциальной возможности использования энергии атома для смерти и зла.

Притом что ни один из зрителей не сможет досмотреть всю пьесу до конца, может кто-нибудь надеяться увидеть хотя бы конец акта? Это вполне возможно; нам известен целый ряд случаев, когда это уже происходило. Мне самому было уже двадцать пять лет, когда в августе 1914 года начался разворачивающийся сейчас акт исторической драмы человечества. Немец, родившийся в 1846 году и проживший до семидесяти двух лет (то есть он был бы на восемь лет моложе, чем я сейчас), являлся очевидцем создания в 1871 году второго германского рейха. И он дожил бы до падения второго рейха в 1918 году. Немец, родившийся в 1781 году и доживший до девяноста лет (то есть он был бы на одиннадцать лет старше, чем я), в свои двадцать пять лет стал бы очевидцем формальной ликвидации в 1806 году первого германского рейха[2] и дожил бы до создания второго германского рейха в 1871 году. Вряд ли кто-то может сказать, увижу ли я конец того акта, который начал разворачиваться в 1914 году. Сам я не пророк и не математик, так что мои собственные догадки — это «пальба наугад», но я все-таки выскажу их, сколь бы сомнительными они ни казались. Каждый из нас, будучи зрителем драмы жизни человечества, является также и актером в этой пьесе, и неизбежное чувство сопереживания радостям и горестям своих собратьев, людей, призывает нас подняться со своих удобных кресел в зрительном зале и на свой страх и риск незамедлительно вмешаться в происходящее на сцене, ибо делу жизни и добра грозит опасность. Каждый из нас морально обязан, а также психологически вынужден выносить определенные суждения и принимать участие в человеческих делах. Следя за ходом пьесы, человек не может не принимать в ней участия. То, что можно практически сделать по ходу действия, зависит, конечно, от самого актера. Что же касается наших тревог о том, что будет происходить после нашей смерти, наши действия не могут идти дальше высказывания пожеланий тем, кто придет после нас, и тем, кому суждено пережить нас, воспользоваться нашим опытом и нашими советами. В заключение книги мне хочется набросать мою посмертную повестку дня для решения некоторых текущих проблем, стоящих в моем списке. Я прежде всего предложил бы определенные мелкие урегулирования, призванные подготовить полный перелом в убеждениях и чувствах людей.

Я хочу начать мои частные предписания тем, что спущусь не на землю, а на море и привлеку внимание к до сих пор практически неиспользуемому потенциалу моря как источника запасов пищи для человечества. Я уже упоминал об одном непредвиденном последствии развития медицины и государственного здравоохранения. Это привело

к демографическому взрыву, продолжительность которого непредсказуема, так как невозможно предвидеть, какой период времени потребуется «отсталому» большинству человечества для самообразования в вопросе планирования семьи. Если этот процесс займет столетие, то численность населения планеты к моменту стабилизации может в десять раз превысить сегодняшнюю цифру. Но и сейчас лишь треть населения планеты питается полноценно. Поэтому придется учитывать необходимость увеличения производства продуктов питания в течение следующих столетий. Описывая развитие агрокультуры в штате Айова после Второй мировой войны, я отмечал, что существуют сомнения относительно того, сможет ли даже плодородная почва штата Айова долго выдержать напряжение, с каким ее эксплуатируют. Тем более мы не можем ожидать чуда от более бедных почв тропических регионов, где демографический взрыв особенно интенсивен. Отсюда следует, что будущее земледелия и животноводства находится не на земле, а в море.

До сих пор мы удовлетворялись тем, что добывали пищу из моря методами времен палеолита, то есть собирая и вылавливая годные для еды продукты, поставляемые Природой. На суше этот примитивный метод сохранился только в отдаленных частях земной поверхности планеты — например, среди австралийских аборигенов. Бóльшая часть человечества перешла от собирательства и охоты к земледелию и животноводству восемь или десять тысяч лет назад, но лишь недавно, и пока только в Японии, было положено начало ведению сельского хозяйства на море. И мы должны возрадоваться, что наша технология не сумела уничтожить море, а она по своей недальновидности вполне могла это сделать. Мы должны быть благодарны за то, что технология не сумела уничтожить море, потому что море — это еще не ограбленная сокровищница человечества.

Даже теперь наш допотопный способ добывания продуктов моря дает значительную прибавку к питательному рациону человечества. Когда японский опыт в выращивании морских водорослей и разведении рыбы будет подхвачен и развит дальше, продуктивность моря возрастет до невообразимой степени.

11 декабря 1967 года я посетил в Японии то место (Ширахаму), где разводят желтохвостку[3]. Как раз перед моим приездом там произошло знаменательное событие. Уже много лет они умели искусственно оплодотворять икру желтохвостки — женского и мужского пола; полученные от этой пары икру и молоки можно было использовать для нового раунда искусственного оплодотворения. Иными словами, впервые был искусственно воспроизведен полный жизненный цикл желтохвостки. В естественной природной среде женская особь желтохвостки мечет (если мои данные верны) в течение своей жизни около миллиона икринок, а выводятся и достигают

зрелости в среднем только три рыбины. Когда же икра оплодотворяется искусственно и хищники не имеют к ней доступа, взрослого состояния достигает около ста тысяч желтохвосток!

Прежде чем разведение рыбы станет экономически выгодным, надо решить еще одну проблему. По современной технологии до сих пор рыб, заключенных в больших корзинах, плавающих в защищенных водах, кормят «дикой» рыбой; таким образом, пока разведение рыбы паразитирует на практике рыболовства, осуществляемой традиционными методам. Сейчас проводятся исследования с целью подобрать какую-либо искусственную диету для желтохвостки, чтобы избавиться от необходимости ловить для этих целей рыбу в море.

Море — поистине сокровищница. Его воды обещают решить продовольственную проблему путем создания искусственных плантаций для разведения рыбы. Однако это еще не все. До сих пор люди не научились эффективно использовать морское дно, площадь которого гораздо больше, чем площадь выступающих из моря клочков суши. И надо полагать, морское дно таит в своих недрах не меньше полезных ископаемых, чем удалось открыть старателям в течение первых пяти или шести тысяч лет истории горнодобывающего дела. Море обещает стать Эльдорадо не только для того, кто выводит рыбу, но и для шахтера-подводника. И самое обнадеживающее здесь то, что почти все это Эльдорадо лежит вне территориальных вод локализованных суверенных государств планеты. Эта кладовая в качестве общей собственности человечества, можно надеяться, послужит мировому государству будущего. И даже если мировому государству придется удовлетворять аппетиты составляющих его государств путем расширения границ их территориальных вод от трех миль, как того требует Великобритания, до двухсот миль, как того требует Перу, то все равно в распоряжении правительства мира останется основная часть еще не тронутых ресурсов планеты. Этого будет достаточно, чтобы снабдить государство мира большим запасом материального капитала и большим ежегодным доходом, нежели капитал и доход всех вместе взятых входящих в него государств.

Эта перспектива обнадеживает, потому что, если мировое государство окажется эффективным, ему надо быть и достаточно сильным, чтобы иметь возможность упразднить сам институт войны. Негативное же условие, которое придется соблюдать, раз будет упразднена война, заключается в создании альтернативных отдушин для присущей человеку агрессивности. Поскольку любой организм — это часть Вселенной, причем часть, дерзко заявившая о своей независимости от остальной Вселенной и стремящаяся заставить остальную Вселенную концентрироваться вокруг нее и служить ее целям,

агрессивность является синонимом жизни. В то же время очевидно, что институт войны не единственная отдушина, какую может найти для себя человечество. Присущая человеку драчливость, должно быть, находила другие отдушины до того, как была изобретена война. Придется снова отыскать их теперь, когда развитие технологии сделало войну предельно разрушительной.

С тех пор как наши предки стали людьми, человечество большую часть времени обходилось без войны. Человечеству сейчас около миллиона лет, а войне не может быть более пяти тысяч лет. Ведение войны требует организации, дисциплины и избытка материальных ресурсов. Этот набор требований отсутствовал, пока плодородные почвы бассейна низовьев рек Тигр и Евфрат не были завоеваны и на них не раскинулась мозаика суверенных городов-государств. Война, должно быть, была изобретена шумерами. И хотя с 1945 года война стала явно самоубийственной, может статься, что будет очень трудно убедить человечество отказаться от войны, если не предложить ему в качестве замены какие-нибудь альтернативные отдушины для утоления духа соперничества и жажды риска, которые, однако, в отличие от войны не были бы сопряжены с жестокостью и разрушениями.

Возможной заменой войны, как представляется сегодня, могли бы стать спорт, альпинизм, космонавтика и подводное плавание. Из этих четырех занятий подводное плавание наименее популярно, несмотря на то что оно обещает быть наиболее выгодным с материальной точки зрения и приносящим наибольшее удовлетворение с точки зрения психологической. Можно ожидать, что подводное плавание тоже рано или поздно оценят по достоинству. Однако можно также ожидать, что одержимость упомянутыми здесь заменителями войны не даст того эффекта, который требуется. И весьма возможно, что увлечение подводным плаванием, космонавтикой, альпинизмом и спортом не заменит одержимости войной, а будет существовать наряду с последней.

Тем не менее человеческой агрессивности сегодня все же предлагается мишень, которая может показаться ей более привлекательной, чем космос, море, горы, соперничество с другой командой или армией противника. Эта новая мишень — искусственная окружающая среда, в которую человек поместил себя благодаря развитию науки и технологии, поработивших своего создателя и уничтожающих его как личность.

Каким же образом человеческой личности сохранить себя? Как я понимаю, это самый главный вопрос в моей посмертной повестке дня. Здесь тоже, мне кажется, можно осуществить ряд мелких урегулирований, с помощью которых могло бы быть частично снято давление на личность.

Например, давление, оказываемое мировым государством — институтом, представляющим собой определенную часть цены, которая будет уплачена за упразднение войны, — может быть ослаблено путем передачи полномочий. Для того чтобы быть жизнеспособным, мировое государство должно иметь федеральное устройство. Существующее суверенные государства могут в качестве частичной компенсации за необходимость поступиться своим суверенитетом получить статус составной части мирового государства. Им в свою очередь нужно будет объединиться в региональные подсоюзы. Такие подсоюзы уже существуют в тех ныне суверенных государствах, которые имеют федеральное устройство с эффективно действующей системой передачи полномочий. В других государствах, являющихся в настоящее время унитарными, сегодня наблюдается широко распространившаяся тенденция, когда население региональных союзов требует передачи полномочий в размерах, простирающихся от местного самоуправления до полной независимости. Шотландцы, валлийцы, фламандцы, ибо, южные суданцы — все они выдвигают теперь это требование, а федеральное устройство Канады в теперешнем его виде не удовлетворяет франкоязычных канадцев[4]. Более того, передачу политических полномочий, я думаю, придется проводить на самом низком уровне, на уровне самоуправления территорий. Передача полномочий заметно ослабит давление на личность, если ее распространять на таком уровне, где люди лично знакомы друг с другом и смогут напрямую решать местные общественные проблемы.

Эта основная структура в составе грядущего мирового государства будет тождественна основному — структуре в составе мирового города, ибо мировое государство и мировой город будут совпадать. Это будут политическая и административная ячейки одного и того же мирового сообщества. Прообраз структуры будущего мирового города уже сейчас можно разглядеть в городе Бразилиа, новой столице государства Бразилия, построенном по плану на необжитых землях в дикой и необустроенной местности. Спланировавший Бразилиа архитектор Лусиу Коста разбил этот первый в мире экуменополис на квадраты. Они представляют собой достаточно мелкие по размеру секторы, с тем чтобы население этих микрорайонов знало друг друга лично. Каждый квадрат автономен. Через него не проходят транспортные магистрали, поэтому дети могут ходить пешком от дома до школы, а женщины — в магазины и прачечную, не подвергаясь при этом риску попасть под машину[5].

Мужчинам повезло меньше: большинству из них приходится выезжать за пределы своего квадрата, чтобы попасть на работу. Проблема уличных пробок стоит там весьма остро, и, насколько я понимаю, эту проблему можно решить лишь крутыми мерами, как,

например, она когда-то была решена в Древнем Риме или теперь в современной Венеции. В Венеции прибывающий в город водитель должен оставлять машину в общественном гараже на городской окраине. В пределах города он может или ходить пешком, или сесть на пароход, или взять гондолу. В Древнем Риме в дневное время было запрещено передвижение любого колесного транспорта, как личного, так и торгового. В Экуменополисе, вероятно, придется вводить правила движения, сочетающие опыт Венеции и Древнего Рима. В дневное время центр мирового города должен быть открыт лишь для общественных транспортных средств; и коли уж службе общественного транспорта будет предоставлена такая монополия, ей непростительно будет не быть первоклассной.

Однако нам еще предстоит подумать о мелких усовершенствованиях для ослабления давления на личность работника, занятого на предприятиях и в учреждениях. Автоматизация сведет труд промышленного рабочего и канцелярского служащего к минимуму или сделает его и вовсе не нужным. Когда автоматизация доведена до совершенства, единственной формой оплачиваемой работы, при которой работник может оставаться личностью, является «работа не по найму», принадлежность к одной из так называемых свободных профессий. Однако возможности получения такой работы будут сравнительно невелики даже в наиболее высококультурном и развитом обществе. Для огромного большинства единственной возможностью избежать безработицы и пусть щедрого, но унизительного социального пособия станет работа по принципу «сделай сам» (то есть сам ремонтируй себе обувь или чини часы) либо занятие какой-нибудь абсолютно непрактичной деятельностью (то есть искусством, наукой или религией).

Мелкие усовершенствования такого рода, какие я только что наметил, несомненно, стоит осуществить. Надо употребить все силы, чтобы провести их в жизнь. Но дурное предчувствие говорит мне, что, когда мы выложимся на этом мелком уровне, окажется, что мы все-таки не принесли личности победу над технологией — победу, которую мы обязаны одержать, ибо если мы ее не одержим, то жизнь станет вовсе невыносимой.

Победа не может быть достигнута путем исключительно одних только мелких усовершенствований. Давление искусственной окружающей среды на человеческую личность может быть решительно снято только благодаря перелому в умонастроениях и чувствах людей. В компьютерный век единственное спасение для личности — это внутренняя благодать безмятежности, а безмятежность не может быть достигнута ни наркотиками, ни фатализмом. Человек, будучи общественным животным, не может вылететь из общества, словно катапультированный, как бы ни давило на него в духовном

плане то общество, с жизнью которого он случайно оказался связан благодаря месту и времени своего рождения, «ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя»*.

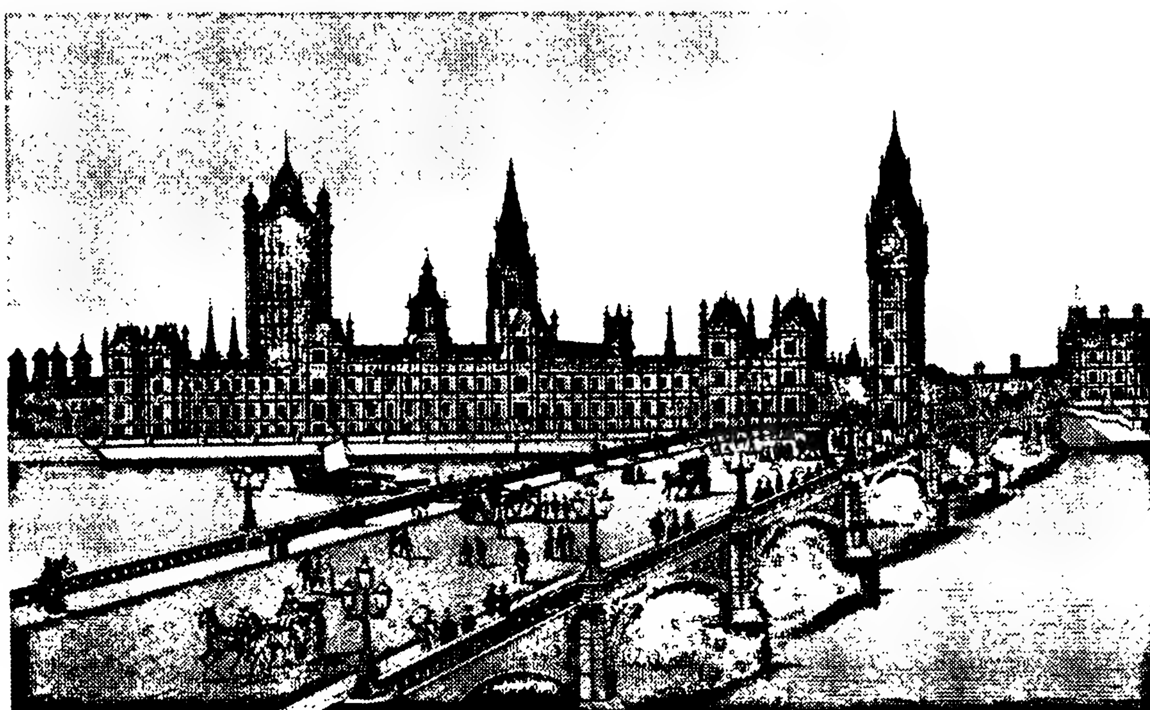
Среди трудов и волнений дня безмятежность может быть двух видов. Существует безмятежность гарнизона неприступной крепости и безмятежность жителей города, сознательно оставивших его открытым. Отрицательная форма безмятежности была целью эпикурейцев и стоиков, а также индийской философии буддизма. В преследовании этой суровой цели ни одна из греческих философий не доходила до конца; индийская же философия дошла, и протест против первоначального буддизма породил форму махаяны, что говорит о том, что искренности в преследовании негативной цели недостаточно — сколь бы благородными ни были побуждения. Безмятежность, которая может дать человеку духовную силу жить в этом новом мире, не теряя своей личности, — это безмятежность, которая не старается забаррикадироваться от страдания, а принимает страдание ради того, чтобы идти по пути любви. В безмятежности любви «не убоюсь зла», хотя «пойду и долиною смертной тени»**.



* Римл. 14: 7.
** Пс. 22:4.

ACQUAINTANCES

МОИ ВСТРЕЧИ





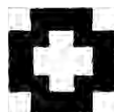
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Вошедшие в эту книгу очерки о людях, с которыми мне довелось быть знакомым, представляют собой, лишь избранное из моих воспоминаний. Я отобрал для опубликования воспоминания о таких личностях, которые, как мне кажется, могут быть интересны многим. Степень этого интереса в разных случаях, конечно, будет различной, но я стремился не допускать в этот сборник воспоминаний, имеющих важность и ценность лишь для меня одного. С другой стороны, я, также намеренно, исключил из него некоторые мемуары, которые, убежден, могли бы вызвать не менее широкий интерес, чем те, что представлены на суд читателя.

Я не стал включать некоторые темы, потому что понял, что не смогу изложить их с должным *pietas*. Это выразительное латинское слово не имеет лаконичного эквивалента в английском; но чувство, которое оно обозначает, прекрасно знакомо многим. В жизни большинства людей были встречи с личностями, которые вызывают слишком сильную любовь, уважение или благоговение, чтобы рискнуть каким-то образом задеть их чувства — в случае, если они еще живы, либо нанести урон их репутации — если их уже нет на этом свете. Поэтому мы воздерживаемся от предания гласности своих размышлений об этих персонажах — причем не только ради них, но и ради нас самих. Мы знаем, что если бы нам пришлось заглушить угрызения совести и нарушить это добровольное табу, то мы почувствовали бы раскаяние. Именно это чувство было моим главным критерием при принятии решения о том, что следует поместить в данную книгу, а что оставить за ее пределами. Людей, о которых здесь рассказывается, за исключением одного-двух упомянутых вскользь, уже нет в живых, и я положил целью не публиковать об умерших ничего такого, что могло бы оскорбить их чувства, будь они живы, или задеть чувства ныне здравствующих, которые их любили и чтили и лелеют память об этих своих (и моих) умерших друзьях. Характер моих отношений с личностями, описанными в этой книге, был разным — от простого знакомства до тесной дружбы. Общим для всех является то, что я смог, не нанося обиды, рассказать о них, во-первых, правдиво, а во-вторых, так, чтобы это было интересно многим. Я был знаком и с другими не менее интересными личностями, но не смог бы поведать о них с полной объективностью. А рассказ о них с

опусканием многих важных и характерных деталей мог бы в итоге сделать образ до такой степени неполным, что, пожалуй, вводил бы в заблуждение. Такие портреты я сознательно отказался включить в серию зарисовок, составивших эту книгу.

Октябрь 1966
Арнольд Тойнби



1. ДЯДЯ ГАРРИ

Я стоял возле плетеного шезлонга, а сидевший в нем дядя Гарри объяснял мне, что мы пришли в этот мир не за тем, чтобы быть счастливыми. Хотя с тех пор минуло семьдесят четыре года, я отчетливо помню свою реакцию. «Я и не спорю, но мне всего лишь три года; рановато мне еще слушать об этом», — таков был мой безмолвный комментарий (я благоразумно оставил его при себе), хотя, конечно, и не облеченный в эти взрослые слова.

Плетеный шезлонг я тоже отчетливо помню. Он выглядел щегольски: в каждом из его подлокотников имелась щель, в которой прежде, видимо, помещался очень длинный тумблер, управлявший реверсивным механизмом; однако вид шезлонга не соответствовал характеру его владельца. Дядя Гарри был человеком евангельских добродетелей, не бравшим в рот спиртного, некурящим и никогда не употреблявшим крепких слов — несмотря на то что до своего выхода на покой он командовал кораблем, совершавшим рейсы в Ост-Индию. В ту пору, когда он втолковывал мне, что мы пришли в этот мир не за тем, чтобы быть счастливыми, ему было на четыре года меньше, чем мне сейчас. Он родился в 1819 г., а я — в 1889-м. (Полагаю, что мог бы выглядеть и ощущать себя таким же старым, как и он тогда, пожелай я подражать его облику — отрастить седую бородку, надеть легкую маленькую шапочку, плотно облегающую голову, а плечи укутать черным шерстяным пледом.)

Родившись в 1819 г., дядя Гарри умер в 1909-м, чуть-чуть не дожив до девяноста и сумев счастливо избежать и Ватерлоо, и Первой мировой войны. То столетие, что вместилось в его жизнь почти полностью, было свидетелем преображения Британии в результате громадных экономических и социальных перемен; но внешне то был для нее век мира и покоя. И хотя «рабочему классу» — как аграрному, так и промышленному — эти времена принесли ненадежность положения и множество горестей, однако для всякого, кто сумел подняться наверх и войти в меньшинство, составляющее средний класс, этот век был веком стабильности и изобилия.

Отец дяди Гарри, мой прадед, фермерствовал на участке земли площадью в шестьсот акров, между Свенсхайдом и Хекингтоном, откуда открывался вид на так называемый Бостон-Стамп («Бостонский черенок») — изящно сужающуюся кверху башню церкви Св. Ботольфа, которую было видно на много миль вокруг через обширные пространства линкольнширских болот. Если смотреть от побережья залива Уош, со стороны Норфолка, то видно, как «черенок» темным силуэтом вырисовывается на фоне летнего заката. Ферма Джорджа Тойнби была большой — какой ей и полагалось быть, поскольку он имел от двух браков пятнадцать детей, лишь один из

которых умер в младенчестве. Дядя Гарри был седьмым, самым младшим (а мой дед — четвертым), ребенком в первой семье. Эта семья и ее потомки прославились своим умением производить на свет людей с хорошими мозгами, которые, однако, не нажили больших денег, хотя фермер Джордж дал этому потомству не худший старт, чем детям от своего второго брака, которые и состояние нажили, и, бесспорно, имели хорошие мозги.

Их отец начал заботу о будущем своих детей с того, что превратил один из своих амбаров в классную комнату и нанял учителя для их обучения. Они пускали в своего наставника стрелы с деревянными наконечниками, милосердно изготовленными из ивы, — милосердно, потому что древесина ивы относительно мягкая. (Както, во время летних каникул, дядя Гарри настрогал мне целый комплект, чем вызвал у моей матери легкую панику.) В дальнейшем некоторые из мальчиков поступили в закрытую школу «Белоуз Булдогз», в Кингс-Линн. Судя по всему, фермер Джордж сколотил в период наполеоновских войн достаточно денег, чтобы дать всем своим подросшим детям возможность выбрать свободные профессии, и только два сына и одна дочь, из четырнадцати, связали жизнь с землей, причем один из них — не в Англии, а на Ямайке. Дочь, вышедшая замуж за фермера, тетушка Бёрбидж (ее звали Анна; дядя Гарри любил повторять мне имена всех четырнадцати), имела обыкновение на каждое Рождество посылать дяде Гарри две золотые гинеи, зашитые в кусок красной фланели. (Помню, с каким волнением взирал я на эти монеты, когда их извлекали.)

Сам дядя Гарри пошел в моряки, мой дед стал врачом в Лондоне. Дед был первым, кто стал специализироваться на заболеваниях уха и горла, и первым, кто установил плату за консультацию в размере двух гиней, вместо одной. Его врачебный кабинет находился на Сейвиль-Роу — улице, которую ныне занимают не доктора, а портные. А жил он в доме под названием «буковый остров», на Уимблдон-Парксайд, и, возвращаясь домой, обычно доезжал на подземке до станции Путни, у подножья холма. Здесь его верхом встречали дети (их у него было девятеро) и конюх, ведший в поводу лошадь для него самого, после чего все вместе ехали домой. Помимо своей уникальной врачебной специальности, мой дед был пионером здравоохранения и зачинателем применения обезболивающих средств. Он погиб в результате несчастного случая, проводя на самом себе опыты с анестетиками (которые тогда находились еще на ранней, несовершенной стадии развития). Я говорил, что потомки от первого брака моего прадеда не нажили больших денег. И все же дед за период своей безвременно оборвавшейся карьеры сколотил достаточно средств, чтобы оставить каждому из девятерых детей либо их вдовам, ежегодный доход

в 200 фунтов; а 200 фунтов до 1914 г. — это было больше похоже на 2 тысячи в ценах 1966 г.

Подобно Джозефу Тойнби, другой мой дед, Эдвин Маршалл, также поплатился за свое новаторство преждевременным уходом из жизни. Он имел в Бирмингеме заводы по производству железнодорожного подвижного состава, и предприятие финансировали его двоюродные братья, открывшие банковское дело на капитале, который их предки сколотили в чугунолитейном бизнесе. Однажды дед объявил своим кузенам-банкирам, что решил впредь в качестве материала для производимых им транспортных средств вместо дерева использовать железо. Казалось бы, этот дальновидный проект должен был послужить хорошей рекомендацией для инвесторов, чья семья в свое время разбогатела на производстве чугунного литья. Однако вышло наоборот. Вопреки ожиданиям, те поспешили сделать вывод, что дедушка сошел с ума. Ударившись в панику, они отозвали из его предприятия свои капиталы, таким образом разорив его. Тревога и беспокойство способны убивать не хуже газовой атаки, и дедушка умер сраженным свалившимся на его голову незаслуженным несчастьем. Он жестоко пострадал за то, что опередил свое время; но люди, купившие его заброшенное предприятие — без сомнения, по дешевке, — смогли в конечном счете извлечь выгоду из той самой дальновидности, которая для него оказалась роковой.

Когда поезд подъезжает к предместьям Бирмингема и мой глаз выхватывает надпись *«Маршалл и К°, производители железнодорожного подвижного состава»*, венчающую внушительный ряд фабричных зданий, в голове начинают роиться мысли о том, как бы сложилась наша с сестрами жизнь, доживи оба наших деда до своего естественного конца. Ведь они могли бы сколотить достаточно средств, чтобы одарить своих внуков щедрым и незаслуженным доходом. От подобного несчастья мы были избавлены преждевременной кончиной наших дедов. Человеческая натура, даже когда имеет естественную склонность к какому-то ремеслу или искусству, обычно отвращается от желания действовать, если человек знает, что имеет возможность существовать комфортно, не прилагая к тому никаких усилий. Среди моих однокашников я могу припомнить лишь одного, сэра Джона Стейнтона[1], который, вступив в жизнь уже обеспеченным, проявил тем не менее силу характера и, побуждаемый совестью, заставил себя трудиться столь же энергично, как если бы его подгоняла нужда. (Джон Стейнтон получил право адвокатской практики и, набравшись опыта, продолжил свою деятельность в качестве составителя парламентских документов, что также является весьма напряженным занятием.) Совесть и честолюбие способны выступать в качестве замещающего стимула, но для этого они должны достичь очень

высокой степени, а такое бывает редко. Для большинства из нас непременным стимулирующим уколом должен стать укол необходимости. Среди детей моего прадеда-фермера от первого брака самым способным был, пожалуй, старший — Джордж, который в 1833 г., с затерянной среди линкольнширских болот фермы поступил в Боннский университет, преобразованный правительством Пруссии после мирного соглашения 1815 г.[2]. Впоследствии Джордж Тойнби обосновался в Лондоне и стал сотрудником «Вестминстер Газетт» (во всяком случае, так рассказывали моей тетушке Гертруде). Полагаю, он бы составил себе имя как писатель, если бы не умер в возрасте двадцати девяти лет — прожив на год меньше своего также рано ушедшего из жизни племянника Арнольда[3].

Другой брат сделался миссионером в Индии, еще один — адвокатом в Линкольне, третий — там же, лошадиным барышником. Однажды, когда я, ребенком, проводил летние каникулы в Норфолке, мы совершили экскурсию в Сэндрингем, и я помню, как в тамошних конюшнях был поражен при виде медной таблички с выгравированной на ней надписью «Toynbee». Вероятно, Эдуард VII[4] купил лошадь у моего двоюродного деда-барышника или его потомков и назвал ее по имени торговца, потому что это имя привлекло его старинной причудливостью написания. Оно не выглядело бы столь необычно, если бы имело орфографию на манер *Ashby, Whitby, Selby* и десятков других восточноанглийских географических названий с окончанием на «by». В датском языке «by» означает «место», тогда как «toyn», похоже, является эквивалентом голландскому «tuin», или «сад». Поскольку слово «сад» подразумевает «огороженное место» (сюда же относятся и слова «tun», «town» и «zaun»), моя фамилия могла означать «укрепленное поселение». (Самые ранние представители рода Тойнби, чью генеалогию проследила моя сестра Маргарет Тойнби, жили в Коулби и Уэддингтоне, не на болотах, а на открытой пустоши.) В Линкольншире имеется по меньшей мере пять деревень с названием Тойнтон, они расположены двумя группами — к югу и юго-востоку от Хорнкасла. К югу от Хорнкасла есть местечко Тамби, и, вероятно, именно оно дало имя моим предкам.

Когда дядя Гарри был ребенком, на болотах все ходили с шестами, чтобы перебираться через вырытые дренажные канавы. Несмотря на то что к тому времени болота были практически осушены, тамошние жители по-прежнему страдали от лихорадки (т. е. малярии). Хотя трудовая жизнь дяди Гарри, начиная с четырнадцати лет, протекала вдали от болот — сначала на море, а затем в лондонском Метеорологическом бюро, в душе он остался болотником. В летние каникулы, когда мы выезжали в деревню, он всегда выискивал цветущий камыш и был вне себя от радости, когда его находил.

Живя с дядей Гарри под одной крышей, невозможно было не усвоить раз и навсегда, что мы пришли в этот мир не за тем, чтобы быть счастливыми. Однажды, уже позже, сам дядя Гарри доставил мне горькое переживание из-за несчастья, приключившегося с его хронометрами. Как навигатор, он всегда славился точностью своих наблюдений и расчетов, оставив морскую службу и поступив во вновь учрежденное Метеорологического бюро, он взял с собой на сушу и свои хронометры. Естественно, он высоко ценил эти тонкие и хрупкие приборы и хранил их у себя в спальне, на верхней полке комода. В один прекрасный день они оказались опрокинуты, и дядя настаивал, что виновником преступления являюсь я. Я был невиновен, но мои родители не могли убедить его в этом, пока, в конце концов, не установили причастность кота. Уж не знаю, какими уликами они располагали. Возможно, обнаружили красноречивые отпечатки кошачьих лап. Так или иначе, доказательства были столь бесспорны, что дяде Гарри пришлось с ними согласиться; но он нашел способ увернуться от признания своей неправоты. Ребенку, сказал он, никогда не бывает рано узнать, что в жизни ему часто придется быть обвиненным несправедливо.

Строго и требовательно относясь к детям, дядя Гарри поступал так, как поступали в детстве с ним самим. Он с чистой совестью проявлял строгость, потому что был убежден, что суровое воспитание обеспечило ему успех в жизни и что теперь его священный долг проследить за тем, чтобы и самое младшее поколение было воспитано не хуже.

Он любил доводить этот пункт до моего сознания, рассказывая мне историю из своего раннего опыта. Однажды в детстве, на ферме, он сидел, читая книгу, когда вошел его отец и дал ему какое-то поручение. Гарри подумал, что он сначала дочитает предложение, но не успел дочитать до точки, потому что отец обрушил палку на столь притягательную книгу и руку провинившегося. Удар фермера был так силен, что палка пробила книгу и поранила руку ребенка, державшую ее. Фермер Джордж был человеком справедливым, и потому он заплатил за новый экземпляр испорченной книги — ведь не книгу хотел он наказать, а только руку; пораненную же руку так быстро не восстановишь. Сочетание скоропалительной жестокости с щепетильной справедливостью произвело на воображение жертвы именно тот эффект, на который было рассчитано. Этот ранний урок остался с дядей Гарри на всю жизнь. Немедленное повиновение, а не то... Когда дядя Гарри стал капитаном корабля, он практиковал отцовский урок на членах своей команды, прежде чем начал практиковать его на мне.

Историю с пораненной рукой он любил подкреплять историей об откушенном ухе, которая поражала воображение сильнее, однако

являлась информацией не из первых рук. Молодой человек, осужденный на смерть за серьезное преступление, испросил для своей матери разрешения навестить его в тюрьме, прежде чем он отправится на виселицу. Когда она вошла в камеру, он сказал, что хочет открыть ей один секрет, и, приблизив рот к ее уху, откусил его. При этом даже видавшие виды тюремщики были потрясены. «Сначала ты убил человека, а теперь откусил ухо своей бедной матери. Что подвигло тебя на такое?» — «Неужели вы не понимаете, — последовал ответ, — ведь это вина моей матери, что ныне я — осужденный на смерть убийца. Когда я был ребенком, она совсем не учила меня повиноваться. Она не исполнила своего долга по отношению ко мне, и вот к чему это привело. Откушенное ухо — еще легкое наказание за то, что она довела своего сына до смерти».

Дядя Гарри не застал плавание корабля «Мейфлауэр», как не застал битву при Ватерлоо. Живи он в то время, несомненно, находился бы на борту судна, но столь же, несомненно, был бы разочарован религиозными взглядами своих товарищей-колонистов[5]. После вступления с ними в богословскую дискуссию он бы почти непременно нашел, что они заражены вредным влиянием архиепископа Лода[6]. Вероятно, с этим же связано и то, что в период моих летних каникул дядя Гарри неизменно наносил визит местному священнику (сам дядя Гарри принадлежал к англиканской церкви), неизменно втягивал его в теологический спор и в конце концов всегда ссорился с ним, несмотря на отчаянные усилия священника избежать конфликта и сохранить мир. Одним из достоинств англиканской церкви является ее способность вместить широкий диапазон воззрений; но сильное тяготение дяди Гарри к «низкой церкви»[7] находилось на нижнем пределе допустимого. Имелся еще только один храм англиканского толка во всем Лондоне, где богословская позиция пастора была также достаточно низка, чтобы удовлетворять дядю. То была церковь при больнице «Лок Хоспитал». Дядя Гарри горел нетерпением, ради моего блага, сводить меня туда в воскресенье и однажды преуспел в этом, хотя обычно мои родители отражали эти настойчивые приглашения. Если я не ошибаюсь, «Лок Хоспитал» была венерологической лечебницей, и пациентов не выпускали за ее пределы, чтобы предотвратить распространение заразы. Я, впрочем, не уверен полностью, была ли «Лок Хоспитал» именно такой лечебницей, поскольку даже на излете викторианской эпохи подобные предметы затрагивались лишь иносказательно. Моя догадка основана лишь на явном смущении и замешательстве моих родителей. Дядя Гарри замешательства не испытывал. Богословские доктрины церкви при больнице «Лок Хоспитал» были, с его точки зрения, единственно удовлетворительными, и только это имело значение.

Дядя Гарри был воинствующий антипапист. Его героем был мистер Кенсит-мученик, поскольку, подобно Пирру в Аргосе, мистер Кенсит в Ливерпуле был убит в уличной драке импровизированным метательным снарядом[8]. У дяди Гарри была печать, таящая для детского воображения колдовскую притягательность. Будучи повернута вверх одной стороной, она представляла голову папы, а будучи перевернута вверх ногами — дьявола.

Дядя Гарри имел неопровержимое доказательство того, что папа — есть Антихрист. Он состоял в братстве Св. Троицы, сообществе, которое присматривало за маяками на Британских островах. Как члену братства дяде однажды выпало инспектировать маяки в Ирландии, и вот однажды он оказался на пароме в компании католического священника. Священник читал свою молитву, а поперек колен у него лежал дробовик. Внезапно он выронил требник, схватил дробовик, подстрелил птицу, пролетавшую над их головами, и вновь вернулся к чтению. Дядя Гарри со смешанным чувством благоговейного ужаса и радости обратил внимание на проявление этой католической злобности, которая с такой поразительной точностью изобличала весь тип. Когда же они достигли пристани, он обнаружил там рыбаков, предположительно также католиков, резавших на куски живую рыбу с целью изготовления приманки. Два эти случая в совокупности и внушили дяде его духовное прозрение. Какие еще требовались доказательства? Папа был признан Антихристом, вердикт был вынесен за бесспорностью улик, так сказать, заочно.

Подобного рода доказательства часто и обстоятельно приводились дядей Гарри за трапезой. Мои родители тоже были протестантами; но они не были фанатиками; и настолько, насколько могли это сделать, не проявляя вопиющей нелояльности по отношению к дяде, обычно старались предупредить меня, чтобы я воспринимал его антикатолические тирады *cum grano salis* (т. е. с долей иронии). Дядя Гарри, подобно пресловутому византийскому вельможе времен заката православного Константинополя, предпочитал тюрбан Пророка кардинальской шапке[9]. Для моих родителей это было чересчур. Я в конце концов решил для себя эту проблему, научившись испытывать равно доброжелательные чувства и к римскому католицизму, и к исламу.

Должен отметить, что неприязнь моих родителей к нетерпимости была характерна для большинства англичан, во всяком случае со времен нашего опыта гражданской войны и ее последствий. Политика умеренно настроенного большинства состояла тогда в том, чтобы отправить как можно больше фанатиков из своей среды на плантации в Северную Америку. Если бы их удалось отправить значительно больше и существенно раньше, то, возможно, в XVII веке Англия избежала бы гражданской войны[10]. А если бы Америка приняла

существенно меньшее их количество, то, возможно, она смогла бы избежать в XIX веке своей гражданской войны[11]. Как оказалось, в каждой из стран таковых набралось достаточно, чтобы разжечь войны; и, конечно же, в обеих войнах и на той, и на другой стороне были фанатики. Так происходят расколы в обществе.

Религия была не единственным предметом, в отношении которого дядя Гарри проявлял предвзятость. Одна из его занимательных небылиц (он имел, несомненно, поистине неистощимый их запас) состояла в том, что корма американских морских судов настолько отвесна, что ничего не остается, как заключить, что американская технология судостроения состоит в изготовлении длинной заготовки в виде бруска, которая затем нарубается поперек на ломти, каждый длиной с готовый корабль. Как раз в те времена, когда дядя Гарри нес свою морскую службу, кораблестроители Балтимора и Новой Англии разработали новую конструкцию корабля с полной парусной оснасткой — клипера, который превосходил все предыдущие изяществом линий, а стало быть, и скоростью, с которой прокладывал свой путь по волнам. Был ли американский обрубок (по версии дяди Гарри) неуклюжим предшественником элегантного клипера? Был ли клипер сконструирован в порыве отвращения к предшествовавшему типу корабля? Или же корабль-обрубок был всего лишь мифом? Не возник ли этот миф в ответ на вызов реальной жизни, в которой американское судостроение посрамило британское? Не была ли байка о технологии «нарубания ломтей» выдумана британскими моряками в качестве врачующего душу бальзама, когда они, к своей досаде, обнаружили, что их собственные корабли не могут соперничать в скорости с новым американским изобретением? Я подозреваю, что верна как раз вторая из этих гипотез. Не скажу наверняка, но полагаю, что адмирал Сэмюэль Элиот Морисон[12] мог бы прояснить этот вопрос*.

Капитан корабля, бывший подобно дяде Гарри приверженцем евангелической церкви, был в те времена, пожалуй, редкостью, но не новостью. До отмены работорговли встречались протестантские капитаны невольничьих судов. (Один из таких, Джон Ньютон, после выхода в отставку перешел в англиканство, а затем покушался на жизнь поэта Каупера[13].) Однако этот тип был все еще достаточно редок и потому вызывал удивление, и дядя Гарри с удовольствием

* Адмирал Морисон дал ответ в письме ко мне от 12 февраля 1966 г. «Нечто аналогичное шутке Вашего двоюродного деда можно услышать в шутках моряков американского торгового флота относительно китобойных судов: «Строятся длиной в милю, а затем нарезаются на куски нужной длины». Они действительно были коренастыми, с круто обрывающейся кормой — в силу необходимости; однако торговые суда, даже предшественники клиперов, имели очень изящные очертания».

приводил впечатление некоей дамы, которая привела своего сына на борт, чтобы поручить его заботам капитана перед отплытием корабля из Калькутты. Когда леди взошла на борт, дядя Гарри был занят тем, что отдавал распоряжения, необходимые накануне отправки в путь. Покончив с этим, он подошел к даме и представился. «Как, это вы — капитан? — воскликнула та. — Я слушала вас битых четверть часа и не услышала, чтобы вы хоть раз выругались!» Дядя Гарри был законным образом горд такой аттестацией.

Разумеется, пуританские наклонности вполне сочетались с авторитарными. Дядя Гарри любил похвалиться, что его команда добровольно посещала даже вторую из двух воскресных служб, которые он постоянно проводил на борту корабля. Когда он произносил эту похвальбу, какой-нибудь озорник спрашивал, как он поступал с матросом, который позволял себе уклониться. «Ну так, я заковывал его в кандалы», — отвечал дядя, оставаясь при этом в убеждении, что присутствие членов команды на церковной службе было исключительно добровольным.

Оставив морскую службу, дядя Гарри уже не мог прибегать к принуждению; поэтому, если на улице ему попадался курящий мальчишка, он останавливал его и спрашивал, чему будет равен годовой доход от одного пенни в день. Если мальчик не мог справиться с ответом, дядя Гарри сам производил для него вычисления, теша себя надеждой, что, в отсутствие кандалов, таящийся в человеке инстинкт бережливости впредь отвратит мальчишку от порока.

В море был случай, когда дяде Гарри довелось проявить чувство юмора, а также недюжинную находчивость. Однажды, во время морского путешествия из Сиднея в Лондон, продолжительность которого вполне могла составлять и три месяца, пассажиры и офицеры оказались втиснуты вместе в тесные помещения; так что один-единственный скандалист мог стать источником мучений для всего общества. В одном из рейсов оказалась сварливая пассажирка, сущая мегера, и все страдали от приступов ее раздражения. В разгар одной такой вспышки дама устремилась к планширу, истерически выкрикивая: «Я выброшусь за борт!» Последовал миг всеобщего оцепенения, но дядя Гарри (к тому времени бывший уже вторым помощником капитана) не потерял головы. «Пусть бросается!» — крикнул он с квартердека. Как он и рассчитывал, это спасло ее от смерти, и на оставшуюся часть путешествия она несколько притихла.

Капитан Генри Тойнби был первоклассным специалистом по предсказанию погоды и штурманом. Нам с сестрами достался от него в наследство массивный серебряный сервиз викторианской эпохи: чайник, кофейник, молочник и сахарница. На кофейнике были выгравированы имена дарителей — офицеров королевского флота и военно-морских сил Ост-Индской компании, а также ее гражданских

служащих. Все они совершали рейс из Англии в Индию на корабле, которым командовал дяди Гарри. Так случилось, что на южных подступах к Мадрасу дядя Гарри, при ясной погоде, почуял впереди циклон и положил корабль в дрейф, в котором тот находился, пока опасность не миновала. Пассажиры, поначалу злившиеся на задержку, изменили свое отношение, когда узнали, что случилось с другими кораблями, капитаны которых были не столь сведущи в погоде. Серебряный сервиз остался в знак признательности от спасенных дядей пассажиров. Навигаторское мастерство, бывшее предметом самой большой гордости дяди Гарри, проявилось и в случае, когда он спас свой корабль, предотвратив снос его бурей к французскому берегу на завершающем отрезке путешествия из Индии в Англию. Рассказывая эту историю, дядя Гарри неизменно прибавлял: шторм был такой яростный, что ветром сорвало все медные пуговицы с его бушлата.

Став моряком в возрасте четырнадцати лет, дядя Гарри вышел в отставку рано, в 1866 г., чтобы занять должность на суше во вновь учрежденном Метеорологическом бюро. Его второе плаванье проходило на барке[14]; и в дальнейшем он выходил в море лишь на кораблях с полной парусной оснасткой. Последний корабль, которым он командовал, был корабль ост-индского типа, имевший название *«Hotspur»* («Сорванец»). На борт парохода он ступал только в качестве пассажира. Его жизнь, таким образом, была связана с классическим парусником, который изобрели португальцы в пятнадцатом столетии и который с тех пор дал людям Запада господство над морскими просторами земного шара.

В 1892 и 1893 гг. мы проводили летние каникулы в бухте Сент-Маргарет на английском побережье Па-де-Кале. Несмотря на то что я был тогда еще очень мал, я имел привычку часами стоять с дядей Гарри на выступе утеса, и он учил меня узнавать и различать оснастку проходящих мимо кораблей. Я поднаторел в этом так же хорошо, как в наши дни дети — в марках автомашин. Если мимо проплывали баркентины[15] или трехмачтовые шхуны[16] с топселем[17], которые ныне все еще в ходу, я мог точно сказать, что есть что в их оснастке, и верно провести грань между двухмачтовой шхуной с топселем и бригантиной[18]. Вереницы кораблей в проливе в то время можно было наблюдать столь же часто, как ныне процессии экипажей и всадников в Гайд-парке. Я вспоминаю, что в начале девяностых годов XIX века около двух третей всех морских судов составляли все еще не пароходы, а парусники. Это были преимущественно большие парусники. Некоторые имели по четыре мачты, а их реи и паруса приводились в движение вспомогательными паровыми двигателями. То были преимущественно зерновозы и лесовозы. Самыми распространенными парусными судами были небольшие топсельшхуны. Уже позже, в заливе Сент-Маргарет, я с восторгом наблюдал

движение нансеновского «Фрама», держащего путь к Северному полюсу[19]. На его стеньге[20] виднелось громадное «воронье гнездо» — наблюдательный пост, с которого вахтенный мог оповещать о приближении айсбергов.

Я никогда не уставал слушать рассказы дяди Гарри о его молодых годах, проведенных на море. На борт первого судна его, еще ребенком, привела мачеха. На нем, как на дрессированной обезьянке, был надет пышный, в оборках, воротничок. Судовой плотник весьма бурно прореагировал на появление нового члена экипажа. «Поднимите его за жабры», — закричал он и действительно стал тянуть мальчика кверху за воротник, покуда тот не оторвался. Таково было последнее воспоминание бедной леди о мальчике перед разлукой, продлившейся примерно с год.

Во время одного из плаваний по Китайским морям команде корабля, в которую входил и дядя Гарри, было объявлено, что возникла опасность нападения китайских пиратов, а потому необходимо заниматься строевой подготовкой, дабы смочь отразить атаку неприятельского экипажа. Матросы испытывали смешанные чувства — некоторый страх перед пиратами, и в то же время надежду, что те все-таки материализуются; поэтому, когда однажды, во время муштры, капитан, чтобы испытать их боеготовность, внезапно крикнул: «Слева по борту вражеский корабль!» — то вся команда — и в том числе дядя Гарри — в безумном возбуждении ринулась на полубак с оружием в руках, и, хотя тревога оказалась ложной, произошло несчастье. Один матрос пришел в состояние такой воинственной экзальтации, что, не успев еще сообразить, что делает, нанес помощнику капитана удар в спину.

В другом рейсе, по прибытии на Цейлон, своенравный капитан корабля приказал, несмотря на сильный прибой и буруны, незамедлительно отвезти его на берег в собственной шлюпке, не дожидаясь прибытия шлюпки с берега. Более того, он пожелал облачиться в парадную форму. Старший помощник, наблюдавший в подзорную трубу за продвижением капитанской шлюпки, увидел, что лодку накрыло и швырнуло на берег громадной волной. Затем было видно, как с берега на корабль, через буруны, которые оставались столь же сильными, направился катамаран. Капитана усадили на корму, и во время движения фалды его парадного кителя стлались за ним по пенящейся воде. Когда он взошел на борт, промокший насквозь и подавленный, корабельный оркестр, по команде, грянул песню: «О, Боже, что случилось? Джонни припозднился с ярмарки». Капитан показал своему помощнику ярмарку за то, что тот вздумал над ним насмехаться.

Вероятно, самой пленительной из историй, слышанных мною от дяди Гарри по меньшей мере с десяток раз, но которой я никогда

не пресыщался, была история о ручной обезьянке, спасшей дяде жизнь в первое его плаванье. Однажды в порту дяде Гарри, тогда еще мальчику, поручили взобраться на рею для выполнения какого-то задания, а он оступился и сорвался вниз. К счастью, падая, он зацепился за какую-то оснастку. Упади он на палубу с самого верха, непременно разбился бы насмерть. И все-таки он упал с высоты, достаточной для того, чтобы потерять сознание. Поблизости никого не было — никого, кроме обезьяны, которая, находясь на палубе, следила глазами за каждым движением своего хозяина. Когда дядя Гарри упал, обезьянка пронзительно вскрикнула и продолжала кричать, пока не привлекла чье-то внимание, и жизнь дяди была спасена.

Понятное дело, что в свое ближайшее увольнение дядя Гарри взял свою спасительницу на родную ферму, однако с этого момента история с обезьянкой принимает печальный оборот. Как раз перед этим мачеха дяди Гарри обзавелась полированным обеденным столом красного дерева, за сохранностью которого следила с величайшим вниманием; поэтому, когда обезьяна вторглась в пределы столовой, она применила против нее кочергу. Однако обезьяна увернулась, нырнув за ножку стола, и кочерга причинила столу именно тот ущерб, от которого была предназначена уберечь. Попутно обезьяна открыла клетку, в которой содержалась привезенная дядей в подарок сестре пара голубей, и принялась потрошить одну из птиц. Наконец, она едва не погубила теленка. Жизнь на суше, в холодном климате деморализовала ее. И в конце концов ее пришлось отправить в зоопарк.

К тому времени, как я узнал дядю Гарри, тот жил прошлым. Отставной генерал-артиллерист Крофтон, которого дядя Гарри доставлял в Индию на своем корабле во времена подавления восстания сипаев[21], был нашим соседом. (Генерал Крофтон жил на Уэстбурн-Сквер, а мы — в доме № 12 по Аппер-Уэстбурн-Терас. Кое-кто из наших кузенов, ответвившихся от второй семьи моего прадеда, проживал на собственно Уэстбурн-Терас, имея пароконный выезд, с кучером и ливрейным лакеем.) Каждое воскресенье генерал Крофтон имел обыкновение приходить к нам на чай, и тогда они с дядей Гарри с головой уходили в 1850-е годы, обмениваясь воспоминаниями о старых временах. К тому времени я уже достаточно разбирался в истории, чтобы получать удовольствие, уносясь во времени полувековой давности.

Однажды воскресным днем, когда оба старика были основательно погружены в свои воспоминания, вышло так, что к нам, навестить своего дядю, зашел возвратившийся с войны в Южной Африке[22] Баден-Пауэлл[23]. Дядя Гарри был женат на одной из дочерей адмирала Смита, который, по поручению Адмиралтейства, проводил

инспектирование средиземноморского флота после наполеоновских войн. А мать Баден-Пауэлла и покойная жена дяди Гарри, тетя Эллен, были сестрами. Баден-Пауэлл присоединился к моим родителям, которые скромно слушали беседу двух стариков, когда те на миг вернулись к настоящему. «Правильно ли понимаю, — вежливо обратился дядя Гарри к своему племяннику, — что ты только что вернулся с какой-то войны?» Тогда Баден-Пауэлл рассказал им о своем участии в обороне Мафекинга[24]. Он говорил просто и скромно, не выказывая и тени заносчивости, хотя и был человеком прославленным и известным. В сущности, он держался в высшей степени достойно. Что до моих родителей и меня, то мы с трудом удерживали смех, потому что уже в течение нескольких месяцев имя Баден-Пауэлла не сходило с заголовков газет. Он был знаменит — слишком знаменит, чтобы это могло прийтись по вкусу его суверену. Когда Баден-Пауэлл в осажденном Мафекинге выпускал почтовые марки, разве он не помещал на них свое собственное изображение и надпись вместо изображения и надписи королевы Виктории? Это было явным, вопиющим посягательством на прерогативу королевы, и поговаривали, что старая дама так никогда его и не простила. Но хотя он, быть может, и замарал свою репутацию в ее глазах, он тем не менее весьма похвальным и делающим ему честь образом выдержал свой мучительный визит к дяде Гарри.

Адмирал Смит, дед Баден-Пауэлла и тесть дяди Гарри, посвятил много лет своей грандиозной миссии по инспектированию побережий и акватории Средиземного моря. Поскольку миссия была продолжительной и носила мирный характер, адмирал имел возможность держать на борту свою семью. Выражаясь точнее, он имел возможность на корабле производить детей. Вследствие продолжительности его служебной миссии детей оказалось много, и при крещении он давал ребенку (по крайней мере, одному из них) имя в честь того географического пункта, где в момент рождения проходило инспектирование. В одном случае имя оказалось удачным. Девочку назвали Розетта[25], что прекрасно ей подошло. (Я знал ее как леди Флауэр, жену сэра Уильяма Флауэра, хранителя Музея естественной истории.) Должно быть, адмирал закончил инспектирование дельты Нила раньше, чем родилась его следующая дочь, потому что в семье не оказалось ребенка по имени Дамиетта[26]. Была, однако же, Пенсильвания (таково было второе имя тети Эллен) и был сын со столь же экзотическим именем, каким было «Пенсильвания» и каким могло бы стать «Дамиетта». Этот сын родился в Неаполе и вполне мог быть наречен Наполеоном, но его назвали всего лишь Пьяцци, в честь сицилийского астронома[27].

В лице Чарльза Пьяцци Смита дядя Гарри имел шурина столь же экстравагантного, как и его имя. Он уже был фигурой легендарной

к тому времени, как дядя Гарри поведал мне эту легенду. Пьяцци Смит написал первую из той длинной череды книг, где в размерах египетских пирамид угадываются знамения времени. Книга Пьяцци была так сильно пронизана безумием, что один читатель сошел с ума лишь от ее прочтения. Неудивительно, что сам автор, бедняга, в конце концов тоже свихнулся. Первый симптом состоял в том, что, будучи в тропиках, он отказался убивать москитов. Люди мрачно качали головами по этому поводу, впрочем, не имея к тому достаточных оснований. Эти пессимисты забывали о приверженцах индийского *джайнизма*[28], которые не только щадят жизнь насекомых, но даже строят им резные каменные убежища причудливой красоты и окутывают себе рты повязками из страха неумышленно погубить насекомое, проглотив его. Эти джайнистские инсектофилы вовсе не страдают умственной отсталостью. Напротив — это успешные дельцы, крепко стоящие на земле обеими ногами. Однако же Пьяцци в конечном счете все-таки сошел с ума, хотя его мягкосердечие по отношению к москитам не являлось веским признаком того, что это случится. Развязка наступила, когда однажды утром, начав читать семейную молитву, он так и не смог остановиться. По прошествии лет, уже лежа на смертном одре, он все еще продолжал бормотать эти утренние молитвы, по крайней мере, так всегда утверждал дядя Гарри.

Дядя Гарри был спартанцем — а как иначе, если собираешься проводить в море, вдали от свежей зелени и докторов, месяца по три кряду? Пища моряков девятнадцатого века была столь же отвратительна, как черная похлебка спартанцев[29] или как горькие травы, с помощью которых монахи эфиопского монастыря в Дебра Либанос[30] приучали себя к единственной трапезе в день — добиваясь того, чтобы еда не приносила плотского удовольствия. Дядя Гарри не раз вспоминал, каким горьким на вкус оказался долгоносик, раз попавшийся ему на зуб, когда он откусывал морскую галету. Достоинством долгоносика явилось то, что его горечь на миг перекрыла омерзительный вкус сухаря. Когда корабельные крысы имели неосторожность сделаться слишком надоедливыми для команды, моряки устроили на них охоту и затем, в течение нескольких дней, могли побаловать себя пирогом с крысятиной, разнообразя монотонность своего неизменного пудинга с изюмом. Если человек мог обходиться без свежей еды, то он мог также научиться обходиться и без медицинской помощи. До конца дней дядя Гарри был сам себе дантистом. Когда зуб начинал портиться, он обычно окунал спичку в карболку и с ее помощью выскребал полость зуба. Если же зуб после этого все еще продолжал доставлять ему неприятности, он обматывал вокруг него один конец нитки, другой — привязывал к дверной ручке и захлопывал дверь; зуб в результате этой операции обычно вырывался,

хотя и не всегда со всеми корнями. В пять утра, зимой и летом, он принимал холодную ванну, практикуя полное погружение и обращая особое внимание на то, чтобы глаза под водой были открыты. Привычка к этой бодрящей процедуре его и погубила; дело в том, что как-то раз он упал и поранил лицо; на следующее утро, прежде чем семья успела его остановить, он, как обычно, погрузился в свою холодную ванну и в результате заработал рожистое воспаление. После чего так уже и не оправился.

Дядя Гарри был первой личностью (если не считать моих родителей), которая оставила в моей памяти след на всю жизнь. Индивидуальность дяди Гарри была мощной по своему воздействию, как читатель сможет убедиться. Она и сейчас, по прошествии пятидесяти семи лет, продолжает оказывать на меня влияние. Однако для меня дядя Гарри был не просто личностью; он был также одной из сил Природы — частью той вселенной, в которой я пробудился к сознанию. Его можно считать одной из важных частей моего жизненного опыта, и в этом качестве он также должен идти первым в данной книге.

Мне хорошо запомнился образ дяди Гарри, когда он воскресным утром, после семейной молитвы, отправлялся покупать апельсины у его любимого лоточника на Харроу-Роуд. Он брал с собой огромный цветной платок и возвращался с ним, полным апельсинов. Он радовался, что смог купить их по пенни за четыре штуки. Даже для 90-х годов XIX века это было дешево. Пересчитав их, он говорил: «О'кей», — что, согласно его объяснению, означало *«All correct»,* т.е. «все верно». Я полагал, что то была отжившая острота из времен его морской службы или жизни на линкольнширских болотах и что уста дяди Гарри будут последними, из которых я ее услышу. Каково же было мое удивление, когда много лет спустя, выражение «О‘кей» вдруг оказалось в обиходе половины населения земли[31].

К тому времени, как я начал осознавать присутствие дяди Гарри, его ареал ограничивался расстоянием между Аппер-Уэстбурн-Терас и Харроу-Роуд. Но в пору расцвета сферой его жизни был целый океан, и весь этот широкий мир открывался мне не только в его рассказах, но и в редкостных, антикварных вещицах, которые он вывез из своих плаваний. В доме № 12 по Аппер-Уэстбурн-Терас эти восточные раритеты были частью обстановки столовой — и моего сознания. Был, например, отрезок гигантского бамбукового стебля, в два сочленения длиной, который стоял в дальнем углу комнаты, возле дядиного письменного стола. В передней части комнаты, в застекленном книжном шкафу, под стеклянным колпаком, красовалась процессия индийских солдат из слоновой кости — миниатюрные фигурки, конные и пешие, эскортирующие такого же миниатюрного костяного вельможу верхом

на миниатюрном костяном слоне. На каминной полке симметрично стояли два длиннобородых бронзовых китайца верхом на буйволах; а по стенам столовой, рама к раме, тянулся фриз из акварелей, написанных рукой тети Эллен.

Моя мать говорила мне, что эти работы тети Эллен не были великими произведениями искусства. Может, и так, но для меня не в этом заключалась их прелесть. Я ценил их потому, что они создавали ощущение скрупулезной документальности; и, когда, годы спустя, я увидел Индию своими глазами, то понял, что картинки тети Эллен дали мне верное представление о том, что было в действительности. Бордюр из акварелей стерся из памяти много лет назад, но одна картина по-прежнему ясно встает перед моим мысленным взором. То было изображение как будто бы нескончаемого ряда кораблей в полном парусном вооружении, пришвартованных, корма к носу — так же тесно друг к другу, как висели картины тети Эллен. Я полагаю, что и ходившее в Ост-Индию торговое судно тети Эллен и дяди Гарри «*Gloriana*» или их последний корабль «*Hotspur*» («Сорванец»), тоже были в той нарисованной шеренге, ибо картина изображала якорную стоянку в Калькутте, на реке Хугли. Дядя Гарри всегда потешался над преисполненным важности лоцманом на реке Хугли, в дельте Ганга, когда капитан прибывшего корабля передавал в его руки непростую задачу привести корабль в калькуттский порт через коварный лабиринт фарватера.

Я назвал корабль кораблем не только дяди Гарри, но и тети Эллен, и это справедливо, потому что капитан торгового судна, совершавшего рейсы в Ост-Индию, имел право брать в плаванье свою жену. В доме № 12 по Аппер-Уэстбурн-Терас обеденный стол из каюты тети Эллен и дяди Гарри передислоцировался в мою детскую. Столешница откидывалась, как крышка, обнаруживая ящик, в котором я держал свои игрушки. По краям столешницы виднелись следы зубцов, оставленные на ней зажимами, с помощью которых к столу крепилась каютная лампа (необходимая предосторожность, так как незакрепленная лампа при шторме могла стать на корабле причиной пожара). Тетя Эллен, как и дядя Гарри, внесла свой вклад в развитие науки. В то время как ее муж отличался кропотливостью и точностью в своих навигационных расчетах, тетя Эллен с тщанием рисовала морских животных. Низкая скорость, с которой корабли данного типа вспахивали морские просторы, вполне позволяла это делать! Будь корабль клипером, он, полагаю, скользил бы по волнам слишком быстро, чтобы тетя Эллен могла выследить и *en passage*[32] изобразить проплывающих мимо представителей морской фауны. Скорость имеет свою цену, как знает всякий, кто путешествовал реактивным самолетом. Цена состоит в том, что быстрота движения обратно пропорциональна возможности двигающегося

видеть по пути что-либо из того чарующего мира, что получили мы для своего обитания.

Я знал тетю Эллен только по ее работам. Сама она умерла за несколько лет до моего рождения. В сущности, причина, по которой я вырос в доме дяди Гарри, состояла в том, что мои отец и мать, поженившись, поселились в его доме для ведения хозяйства после того, как он овдовел. Дядя Гарри был предан тете Эллен и лелеял память о ней, покуда сознание ему позволяло. Но в последний период жизни Природа сыграла с ним злую шутку, убив его разум прежде тела. Однажды, уже впав в трогательно-жалостное слабоумие, он спросил мою мать, когда та упомянула тетино имя: «Кто это, Эллен?» — «Вы ведь знаете, так звали вашу милую жену», — ласково отвечала мать. «А где она сейчас?» — «Вы же помните, что она умерла; ее нет с нами уже долгое время». — «Что ж, нам хорошо и без нее, верно?» Голос, который отдавал эту невинную дань моей матери за счет бедной тети Эллен, был голосом дяди Гарри только номинально. В духовном смысле дядя Гарри уже угас, хотя все еще был жив в физическом.

Родственник, которого, в отличие от тети Эллен, мне удалось лицезреть во плоти и который произвел на меня живое и яркое впечатление, был кузен Фред, племянник дяди Гарри, из поколения моего отца. Кузен Фред заправлял плантацией в Малайе. (Я не знаю, был ли он только ее управляющим или также и владельцем, как не могу припомнить, какую сельскохозяйственную культуру он там выращивал. В начале 1890-х гг. это еще едва ли мог быть каучук; каучуковые плантации в Малайе, дополнившие и, в конечном счете, заменившие собой культуру дикого каучука в лесах Амазонки, едва ли возникли раньше 1900 г.) Дядя Гарри был главным, еще живым звеном, связывающим Фреда Тойнби с семьей, поэтому, когда кузен Фред приезжал погостить на родину, он бывал частым гостем в доме № 12 по Аппер-Уэстбурн-Терас. Я с нетерпением ожидал этих визитов, потому что кузен Фред был добродушным человеком и всегда старался мне угодить. Я был горячим слушателем его рассказов о жизни европейского плантатора в тропиках. Эти беседы нанесли еще одну азиатскую страну (помимо Индии и Китая) на карту моего воображения.

Рассказы кузена Фреда, вместе с картинами тети Эллен и восточными диковинками дяди Гарри, придавали дому № 12 по Аппер-Уэстбурн-Терас, в моем восприятии, ощутимый аромат Южной и Восточной Азии. Мое раннее представление об этом огромном и прекрасном мире расширилось благодаря коллекции азиатских деревьев на Цветочной аллее в Кенсингтон-Гарденз, снабженных ярлыками, где указывалось их латинское название, и пометками, откуда они были привезены. А вскоре я еще больше расширил свою

азиатскую панораму, посещая Индийский музей в Восточном Кенсингтоне — собрание ориентальных редкостей, которое, конечно же, далеко превосходило скромную коллекцию дяди Гарри. В Индийском музее, когда вы туда входили, ваш взор натыкался на макет индийской деревни. Далее шли два изысканных, тончайшей работы китайских макета горных ландшафтов, которые были отосланы императором в подарок Наполеону, но были перехвачены пиратским британским фрегатом и переправлены Георгу III[33]. (Вероятно, Императорский двор не слишком заботило, который из двух второстепенных варварских принцев приобретет знаки его благосклонности; так или иначе, подобные произведения искусства были незаслуженной честью для любого варвара.) По мере того как посетитель шел по галерее, он миновал витрину за витриной, содержащие украшенные красочными миниатюрами манускрипты Моголов[34] (тут были оживленные сцены кавалерийских схваток, умиротворяющие пейзажи симметрично разбитых садов и картины карающего правосудия, на которых слоны казнят узников, затаптывая их насмерть). Апофеозом захватывающей воображение омерзительности был деревянный тигр Типу Саиба[35], попирающий поверженного ниц деревянного франка[36]. Это — механическая игрушка во франкском стиле. Она имеет ручку, и когда ее поворачивают, тигр рычит. Поворот этой ручки помогал тигру отвести душу. Это приспособление для одномоментного утешения было неучтенной безделушкой из добычи, захваченной при разграблении Серингапатанама. (Воочию я увидел эту островную крепость лишь в 1957 г., с ее тремя рядами укреплений и окруженную рукавами стремительно мчащейся реки.)

Впервые же Индию и Китай я увидел в 1929 г., и к тому времени мне уже перевалило за сорок. Но — благодарение тетушке Эллен, которую никогда не видел — я готовился к этому долгожданному визиту в течение, по меньшей мере, тридцати семи лет, пока наконец не получил возможность совершить это длительное путешествие на другой конец света.



2. ТЕТУШКА ШАРЛИ

«Куда голова — туда и тело», — так говорила моя тетушка Шарли[1].

Помню, как я рьяно твердил нараспев эту импровизированную поговорку у себя в детской. Голова моя была прочно зажата между двумя брусьями железной кроватки. Перед этим внизу, в гостиной, я, затаив дыхание, усердно слушал, как тетя Шарли* волнующе повествовала о прогулке, совершенной ею где-то в окрестностях Оксфорда. Кульминационным моментом путешествия стал успешный прорыв тети сквозь довольно узкую брешь в густо разросшейся живой изгороди. Тогда-то я и побежал наверх, чтобы на себе проверить правильность упомянутого анатомического тезиса. Без сомнения, он годился только для нее. Тетя Шарли была крохотной и обладала железной волей. Лет до восьмидесяти с лишком она никогда, ни одного дня, не лежала больной в постели. Так что когда наконец тело ее все-таки подвело, это вызвало в ней негодование.

Тетушка Шарли (Шарлота Тойнби) была вдовой моего дяди Арнольда, в честь которого назвали меня, поскольку я был первым ребенком мужского пола, родившимся в нашей ветви семьи после безвременной кончины дяди. Он умер ошеломительным образом — от «воспаления мозга» (менингита? — *А. Тойнби*). Это произошло в разгар серии дебатов — в духе тех, что проходили в ходе предвыборной кампании между А. Линкольном и С. А. Дугласом[2] — между ним и американским экономистом, сторонником единого земельного налога Генри Джорджем[3]. Тетушка Шарли была более чем на одиннадцать лет старше дяди Арнольда, но пережила его почти на сорок восемь лет**.

Хотя Арнольду Тойнби было всего тридцать, когда он умер, он уже был известным человеком, и трагедия его внезапной смерти в таком возрасте сделала его еще более знаменитым. Под влиянием своего отца он стал одним из пионеров в попытке преодолеть постыдную пропасть, увеличенную промышленной революцией, — ужасную пропасть между «рабочим классом» и средним классом Великобритании. В викторианской Англии эти два класса действительно представляли собой «две нации». Если им было суждено воссоединиться, то социальная справедливость непременно должна

---

* Буквосочетание “Ch” в имени “Charlie” произносится как в имени “Charlotte”; именно так по-настоящему звали мою тетку. — *Прим. автора.*

**Шарлота Мария Атвуд родилась 30 марта 1841 г., а скончалась 8 января 1931 г.; Арнольд Тойнби родился 23 августа 1852 г., а умер 9 марта 1883 г.

была быть осуществлена лишь путем государственного вмешательства. Это «государство всеобщего благоденствия», до воцарения которого так и не дожил дядя Арнольд, было частично достигнуто при моей жизни. Пока лишь частично, поскольку в Британии 1966 г. «государство всеобщего благосостояния»[4] все еще далеко от того, чем ему следует быть и чем оно могло бы быть. Более того: требовалось, и требуется, нечто большее, чем даже самое благоприятное и всестороннее социальное законодательство, чтобы воссоединить разделенную надвое нацию. Требовалось, и требуется, обновление человеческих общественных отношений; и именно это было той сферой, в которой Арнольд Тойнби играл свою роль. Каноник Барнетт, священнослужитель англиканской церкви, имевший приход в лондонском Ист-Энде[5], предложил моему дяде переселиться и пожить в Ист-Энде, чтобы лично познакомиться с некоторыми из прихожан. Дядя последовал этому совету; и после смерти в его честь было основано первое университетское общежитие в Восточном Лондоне для студентов, занимающихся благотворительностью. Оно получило название Тойнби-Холл, а каноник Барнетт стал его первым комендантом.

Идея состояла в том, чтобы насадить в Ист-Энде общину, которая бы давала тамошним «непривилегированным людям» все самое лучшее, что может дать оксфордский колледж. Молодые люди, которые только что окончили Оксфорд, перед началом своей профессиональной карьеры в Лондоне должны были пожить в Тойнби-Холле точно так же, как они жили в университетских городках своих оксфордских колледжей, и должны были посвящать свои вечера организации различных просветительских и культурных мероприятий для жителей Уайтчепела[6]: дискуссионных клубов, клубов для мальчиков, художественных кружков, библиотек и т. п. Таким образом, обитатели Тойнби-Холла могли бы передать более широкому кругу людей хотя бы часть из тех замечательных навыков и знаний, которые сами они имели привилегированное право получить. Ведь в Англии (но не в Шотландии[7]) вплоть до начала Первой мировой войны университетское образование было привилегией очень незначительного меньшинства населения. Одним из первых жителей Тойнби-Холла стал лорд Эттли[8], и его тамошний опыт, возможно, сыграл некоторую роль в определении его будущей карьеры.

После женитьбы дядя Арнольд продолжал жить в Оксфорде. Он входил в профессорско-преподавательский состав Бейллиол-колледжа[9], и его очень ценил глава колледжа Бенджамин Джоветт. Мои тетя и дядя впервые встретились в Уимблдоне. Там проживали и тетины родители. Ее отец состоял в некоей организации, связанной с Министерством иностранных дел. Тетя с дядей сдружились

во время совместных верховых прогулок на общинном выгоне в окрестностях Уимблдона. После смерти дяди тетушка так и осталась жить в Оксфорде, сначала со своей матерью и теткой, а потом, после их смерти, — одна. Впрочем, нет, не одна, поскольку у нее были там две закадычные подруги.

Одной из них была миссис Т. Г. Грин, вдова преподавателя[10] Бейллиол-колледжа, философа, который был старшим современником моего дяди по колледжу, разделял его филантропические интересы и, подобно ему, умер молодым. Миссис Грин была сестрой хорошо известного литератора викторианской эпохи Джона Аддингтона Симондза. Характеры моей тетки и миссис Грин дополняли друг друга. Миссис Грин была обычно нрава кроткого и спокойного; моя тетка могла быть язвительной и колкой. У тети Шарли в характере было нечто от тетушки Дэвида Копперфильда. Каждое воскресенье, на протяжении долгого ряда лет, эти две дамы вместе ходили к заутрене в церковь Св. Жиля. Они также делили запряженную пони рессорную двуколку и конюха — между собой и еще одним членом этого трио — миссис Артур Джонсон, муж которой был жив и трудился в колледже Поминовения (*All Souls*)[11]. Каждая из леди пользовалась двуколкой по два дня в неделю. Между собой их связывали узы тесной дружбы, но, кроме того, эти дамы являлись весьма почитаемыми знакомыми многих оксфордских мэтров, к примеру Фелпса из Ориела[12] и Спунера[13] (чьи «спунеризмы» ввели его имя в широкий обиход по всему англоязычному миру), а также прочих личностей той же величины.

Доктор Спунер был попечителем Нью-Колледжа. Он был альбиносом, коротышкой и имел тонкий, пронзительный голос. Внешне он походил на кролика, но был отважен, как лев. Он был готов в любую минуту смело принять вызов любого противника, каким бы грозным тот ни казался. Спунер доказал свою храбрость во время Первой мировой войны. В Нью-Колледже в те годы имена сотрудников и учащихся колледжа, погибших на войне, заносились в постоянно удлиняющийся список, который вывешивался на дверях университетской церкви. К концу войны там оказались имена четырех членов колледжа: Гая Леонарда Чизмана, Лесли Уайтейкера Хантера, Артура Джорджа Хита, Джеффри Смита. В колледже было несколько сотрудников немцев — стипендиатов фонда С. Родса[14], и однажды Оксфорда достигла новость, что один из этих немецких членов Нью-Колледжа также сложил голову на войне. Попечитель Спунер внес его имя в список, вывешенный на дверях церкви, вместе с именами прочих. Среди некоторых узколобых людей в Оксфорде пошел недовольный ропот; но Спунера не так-то легко было отвратить от того, что он считал правильным. «Они тоже члены нашего колледжа, — был его ответ. — И они тоже отдали жизни за

свою страну». Таким образом, погибшие немцы и англичане остались в одном списке на дверях церкви.

Свидетельницей забавного проявления доктором Спунером своей решительности, уже в менее трагических обстоятельствах, стала однажды моя тетка. Это произошло в те времена, когда они с доктором Спунером оба состояли в оксфордском Попечительском совете. На одном из его заседаний Совету пришлось иметь дело с одним ирландским просителем, обратившимся за материальной помощью. Требования ирландца были высоки, а манера, в которой он их выражал, грубой и вызывающей. Заметив, что члены Совета колеблются, он бросился их стыдить. «Вы что, хотите увидеть, как я умру прямо здесь, на ковре?» — вопросил он с мелодраматическим жестом. На миг воцарилось растерянное молчание. Демагогический выпад ирландца сделал свое дело, заставив всех попечителей почувствовать себя неуютно. Всех, кроме одного. Молчание нарушил неизменно шепеляво-писклявый голос доктора Спунера: «Да, мы бы хотели это увидеть, очень бы хотели!» Положение было спасено; ирландец отступил, посрамленный, и после этого кротко, как ягненок, принял ту сумму вспомоществования, которую ассигновал ему Совет.

«Спунеризм» в более широком смысле этого слова означает «понять все вверх тормашками», «переставить все с ног на голову». Большинство циркулирующих по свету «спунеризмов» являются словесными, поскольку именно в этом виде они лаконичны и легко распространимы. «*Boil your icicle*» («свари сосульку») вместо «*oil your bicycle*» («смажь велосипед») — вот пример «спунеризма» такого вербального типа. Коллекция таковых могла бы составить том величиной с данную книгу, но большинство из них являют собой подделки. Дело в том, что, когда сам доктор Спунер стихийно, без подготовки, произвел на свет несколько таких перлов, множество изобретательных оксфордских умов — хорошо подготовленных длительными упражнениями в греческом и латинском стихосложении — засели за работу, дабы улучшить природу ремеслом. Поэтому, чем остроумнее или элегантнее образчик, тем менее вероятно, что он подлинный. Подлинные «спунеризмы», однако, не ограничивались «метатезами»[15], порой они принимали форму высказываний *non sequitur*[16]; и по крайней мере один из «спунеризмов» был выражен не в словах, а в действиях. Я упомяну здесь по одному примеру каждой из этих двух менее известных разновидностей.

Мой однокашник Реджинальд Купленд[17] являлся студентом Нью-Колледжа, однажды утром, по выходе из церкви, его остановил доктор Спунер и сказал следующее: «Мистер Купленд, вы очень скверно читали отрывок из Священного Писания во время нынешней службы». — «Но, Попечитель, это был не я». — «О, мне так и показалось,

будто это не вы», — сказал доктор Спунер, оставил озадаченого Купленда распутывать кружево спунеровской мысли.

Свидетельницей «спунеризма» в действии была старинная приятельница моей матери Элинор Журден. На званом обеде в Оксфорде она увидела, как доктор Спунер по нечаянности опрокинул солонку, после чего потянулся за графином с кларетом. Он нацедил кларета на соль, капля за каплей, пока не образовался маленький пурпурный холмик, что, судя по всему, явилось бы конечным продуктом, если бы он пролил на скатерть кларет, а затем насыпал бы на лужицу горку соли, чтобы дать вину впитаться.

«Метатезы» были личным вкладом доктора Спунера в «оксфордский английский» (в буквальном смысле слова)[18]. Более широкое хождение в оксфордском академическом мире имели архаизмы. Мой наставник и впоследствии коллега по Бейллиол-колледжу, А. У. Пикард-Кембридж[19] однажды прогуливался по травянистой тропинке на вершине горы Шотовер-Хилл, когда взгляд его был привлечен каким-то странным явлением впереди по курсу. Приблизившись, он обнаружил странную комбинацию из человека, лошади и ворот. Рука всадника сжимала верхнюю перекладину ворот; лошадь бочком, украдкой семенила прочь, всадник же при этом потихоньку, дюйм за дюймом, вываливался из седла. Впечатление было как от просмотра замедленного фильма. Подбежав, Пикард-Кембридж оторвал руку седока от ворот, помог ему вернуть правильное положение в седле и тут увидел, что спасенный им человек — Томми Кейс[20]. Все, что сказал ему после этого президент, звучало так: «Молодой человек, мне неизвестно ваше имя, и да осмелюсь попросить вас не осведомляться о моем». Эта просьба свидетельствовала лишь о скромности спасенного, поскольку в течение ряда лет Томми Кейс слыл одним из записных чудаков в Оксфорде. Весь фокус насчет языка, на каком была выражена просьба, состоял в том, что в нем не было и тени аффектации, то был действительно присущий Томми Кейсу особый язык.

Я сам однажды столкнулся с этим архаичным оксфордским английским говором. Я читал курс лекций с показом диапозитивов по греческой исторической географии в Музее Эшмола[21] в Оксфорде, и сотрудник, управлявший видеопроектором, оказался человеком обязательным и услужливым. Мой курс лекций проходил под покровительством Перси Гарднера[22], профессора классической археологии; потому, встретившись с ним в коридоре по окончании последней из лекций, я спросил: «Следует ли мне дать служителю чаевые?» Если бы я облек свой вопрос в греческие или латинские слова, коммуникативная связь между нами, без сомнения, была бы налажена незамедлительно; но я обратился к Перси на низком родном языке и даже использовал разговорное словцо. На несколько

секунд Перси застыл с озадаченным видом, и я понял, что он подыскивает эквивалент моему вульгаризму в своем собственном языке. Наконец он уяснил суть вопроса. «О!.. вы имеете в виду не выплатить ли ему вознаграждение? Нет конечно!» Перси начинал свою карьеру на фондовой бирже. Тут только остается сказать: «*Credo quia absurdum*»[23], ибо само наличие этого факта еще не придает ему достоверности.

Славным обыкновением Перси было разражаться песней, когда наконец он провожал до входной двери очередного студента, нанесшего визит ему и миссис Гарднер субботним днем. Мы отдавали себе отчет, что песня была выражением его радости по поводу того, что теперь он свободен и может вернуться к своему греческому искусству, а, может, к паулинистскому богословию[24]. (То было его побочное увлечение.) Мы также понимали, что его песня была бессознательна и, таким образом, не имела намерения задеть ничьих чувств. (Перси был по природе добр и обходителен и пришел бы в отчаяние, если бы поймал себя на какой-то бестактности. Вся суть его натуры отражалась в его добрых, простодушных и бесхитростных голубых глазах.)

Воскресные послеполуденные визиты к женатым «донам»[25], когда жена преподавателя заранее приглашала студента на ленч, были частью студенческого образования; и для хозяев дома это было крайне малоинтересное мероприятие — уделять нам свое личное время, чтобы мы имели возможность дополнительно попрактиковаться за их счет. Чему действительно должен был научиться застенчивый студент, тренируясь в искусстве общения на преподавательских женах, — так это искусству правильно и вовремя откланяться. Порой его визит сильно затягивался, и, согласно негласной традиции, хозяйке дома полагалось терпеливо выносить это, не давая студенту ни малейшего намека, что он задерживается с уходом. Бедный студент и сам прекрасно понимал это; его проблема состояла в том, как вывести себя из затруднительного положения; жена же преподавателя поступала, исходя из принципа, что ребенок никогда не научится плавать, если протягивать ему руку помощи.

В период моего студенчества институт воскресных послеполуденных визитов к женатым преподавателям твердо держался; и если бы студент вздумал воздерживаться от них, это, вероятнее всего, обратило бы на себя внимание, причем неодобрительное. Между тем возраст этой традиции на тот момент (1907—1911 гг.) едва ли превышал полстолетия; ибо, по меньшей мере до середины XIX в., одним из условий вхождения в оксфордское преподавательское братство был обет безбрачия. Выворачивая наизнанку институт целибата римско-католической церкви[26], Оксфорд в период после Реформации завел правило, согласно которому, если член братства преподавателей

колледжа хотел жениться, он должен был быть посвящен в духовный сан. Колледжи имели в своем владении ряд приходов англиканской церкви, и если в одном из них оказывалась вакансия, а член братства, который хотел жениться, был в хороших отношениях со своей братией, его официальное введение в права бенефиция[27] колледжа становилось наказанием за отказ от мирского безбрачия его собратьев. Отмена правила целибата для колледжей революционизировала оксфордскую общественную жизнь. Северное предместье Оксфорда теперь стало предоставлять семейным донам жилье. Первая жена преподавателя Оксфорда вошла в историю, и ей был воздвигнут памятник в аркаде Нью-Колледжа. Этот памятник призван напоминать, что она была первой женщиной, которой выпало на долю цивилизовать чопорную профессорскую жизнь, внеся в нее сладость домашнего очага.

Жизненной философией Перси Гарднера был кроткий пессимизм. Однажды я разговорился с человеком (сейчас уж не помню, с кем именно), который вместе с Перси путешествовал верхом на мулах по Центральной Греции. Как раз тогда до Перси дошел слух, что его брат Эрнест[27] только что получил кафедру в Лондонском университете. И все время, пока продолжалось путешествие, мой информант слышал, как Перси удрученно бормотал: «Бедный Эрнест! Бедный Эрнест!» — «Но ведь нет никаких причин так сокрушаться, — заметил его спутник. — Стать профессором — разве это несчастье?» — «О, конечно, несчастье, несчастье, — был ответ Перси. — На таком высоком посту Эрнест подвергает себя риску совершить заметные ошибки. Бедный, бедный Эрнест».

Опасения Перси не оправдались. Его брат Эрнест был весьма способным человеком и выполнял свои профессиональные обязанности *musterhuft*[28]. С не меньшим почетом и уважением Эрнесту Гарднеру[29] довелось позже служить и на трудной, ответственной должности вице-канцлера[30] Лондонского университета. Горестные восклицания Перси никак не сказались на Эрнесте, они были просто выражением собственного темперамента Перси.

Перси оборвал ставшее ему в тягость пребывание Лондоне, сделав то, что намеревался сделать Дик Уиттингтон[31]. Он навсегда бежал из города, и через Кембридж пробрался в Оксфорд, где и составил себе карьеру. Для студентов более естественным является после сдачи выпускных экзаменов отправиться в Лондон и уже больше не возвращаться. Таким вот сверстником моего дяди Арнольда по Оксфорду, который поддерживал дружбу с моей тетушкой после смерти дяди и после своего собственного отъезда из Оксфорда, был лорд Милнер[32]. Этот человек был очень верным в дружбе. Так, например, посреди своей насыщенной, беспокойной жизни он обычно находил время наносить ежегодные визиты в Гамбург своей мачехе, пока та была жива.

Как известно, Милнер прославился своими высокими интеллектуальными способностями еще будучи студентом, и вскоре после того, как с высокими отличиями сдал выпускной экзамен, встретил на улице своего пожилого «дона». Впоследствии он так рассказывал об этом случае моей тетушке. «Что ж, — сказал ему «дон», — мы с нетерпением ждем возможности увидеть вас в нашем оксфордском сообществе теперь уже навсегда». — «Нет, я не останусь», — ответил Милнер. «О, как жаль! Но почему?» — «Дело в том, что я уже не вижу в Оксфорде подходящего для себя занятия». — « О, мой дорогой друг, здесь найдется сколько угодно работы по огласовке греческих звуков».

Конкретные дела, а не звуки — вот был выбор лорда Милнера, и его отмеченная известностью карьера на государственной службе увенчалась назначением на должность Верховного комиссара в Кейптауне[33], когда перспектива войны между Британией и двумя Южно-Африканскими республиками стала угрожающей. Прямо перед отплытием в Африку Милнер, следуя своему обыкновению, нашел время проехаться до Оксфорда, чтобы навестить мою тетку и попрощаться с ней. Когда она поздравила его с назначением на такой ответственный пост, он сказал: «Да, некоторые люди полагают, что намечается война с Южной Африкой, но я уверен, что смогу ее предотвратить». Через нескольких недель со дня того разговора война в Южной Африке разгорелась, и справедливо или нет, но широко бытовавшее мнение возложило главную ответственность за нее на лорда Милнера. К тому времени, как он покинул Южную Африку и вернулся на родину, в Англию, там уже возникала сильная волна противоположных, антиимпериалистических чувств, и Милнер оказался в опале. В его прежде блестящей карьере то был первый опыт серьезного отстранения от деятельности, причем такой, который оказался для него особенно болезненным. Он был выведен из игры в расцвете сил, на пике возможностей, а Милнер был честолюбивым человеком — честолюбивым не в смысле стремления к богатству и славе, а в смысле желания применить свои крупные способности на достойном поле деятельности. Стоицизм, который был примечательной чертой его характера, теперь проявился особенно рельефно. Он принял потускнение своей славы с терпением и достоинством.

Quo magis in dubiis hominem spectare periclis
Convenit, adversisque in rebus noscere qui sit;
Nam verae voces tum demum pectore ab imo
Eiciuntur et eripitur persona, manet res.

[Вот почему наблюдать всегда надлежит человека
В бедах и грозной нужде и тогда убедиться, каков он;
Ибо ведь только тогда из глубин раздается сердечных
Истинный голос, личина срывается, суть остается.[34]]

Это наблюдение Лукреция нашло подтверждение в данной главе жизни Милнера. Характер человека действия никогда не проявляется более выгодно, чем во время периода его вынужденного бездействия и сравнительной безвестности.

После того как я столько слышал о лорде Милнере из уст моей тетушки, мне довелось увидеться с ним и лично. Это было еще в период моего пребывания в Оксфорде в качестве студента. Однажды вечером, возвратившись в свою комнату в Бейллиоле, я нашел у себя на столе его визитную карточку, и прежде, чем он отбыл обратно в Лондон, я получил возможность нанести ему ответный визит, чтобы поблагодарить. Отношение лорда Милнера к моим дяде и тете побудили его (что опять-таки было весьма характерно для него) засвидетельствовать свое расположение и ко мне. Во время Первой мировой войны мне в ходе моей гражданской службы пришлось выполнять для него кое-какую работу. Тогда он уже вернулся к общественной жизни — теперь уже на самую ее вершину, в качестве одного из четырех министров новообразованного военного кабинета[35]. Я обнаружил, что с ним хорошо работать. Лорд Милнер был тактичен и внимателен к сотрудникам, деловит и аккуратен. Главное же, его характер умел вызвать в людях уважение, вне зависимости от их политических взглядов. (Сам я был и являюсь либералом школы Кэмпбелл-Баннермана[36].) То же воздействие имела на меня личность лорда Галифакса, когда уже во время Второй мировой войны приходилось работать и с ним. (В 1930-х гг. я был очень сильно настроен против проводимой под его руководством правительством Соединенного Королевства т. н. политики «умиротворения»[37].)

Выдающиеся мужи Оксфорда из поколения моих дяди и тети, которые, в отличие от лорда Милнера, остались в Оксфорде и стали там крупными фигурами, выказали свое уважение к моей тете тем, как однажды сплотились вокруг нее по случаю одной неприятности, которую она пережила. Моя тетя ни в коей мере не была феминисткой. Сказать по правде, однажды они вместе с миссис Хэмфри Уорд попытались даже основать женское общество, направленное против суфражисток[38]. Удивительно, что эти воинствующие дамы не спалили дома двух предательниц. Тем не менее моя тетя была в течение многих лет казначеем колледжа «Леди Маргарет Холл», и там имеется здание, носящее в честь нее имя «Тойнби». Ее казначейская служба и явилась причиной несчастья. Однажды, в начале семестра, она собрала студенческие взносы наличными деньгами. Затем она сложила все деньги в чемодан, вместе со своими золотыми часами и другими ценными вещами, довезла чемодан поездом от Оксфорда до Паддингтонского вокзала в Лондоне, оставила его без присмотра на платформе и, вернувшись, с удивлением обнаружила, что он исчез. Весь Оксфорд был глубоко взволнован этой

скорбной потерей. Выдающиеся умы объединились, чтобы помочь: по подписке была собрана щедрая сумма, был организован званый вечер, на котором деньги и были вручены. Стоимость золотых часов и других драгоценностей была великодушно возмещена. Но как же утраченные взносы? «Ну, что ж, — говорила моя тетя, рассказывая эту историю, — мне было не по карману их вернуть, поэтому я просто объявила студентам, что они должны заплатить еще раз». Еще более удивительно, что они это сделали — причем, судя по всему, без звука. В наши дни все было бы иначе. Однако в те времена, шестьдесят с лишком лет назад, моей тете (что с очевидностью следовало из ее рассказа) и в голову не приходило, что она не права, а тогдашние студенты были слишком воспитаны, чтобы поднимать шум из-за пустяков. Возможно, они также испытывали благоговейный страх перед казначеем колледжа. Как бы то ни было, они предпочли заплатить вторично.

Студентам и впрямь понадобилась бы немалая отвага, чтобы отказать в этом абсурдном требовании, коль скоро это требование исходило от моей тетушки Шарли, они предпочли стерпеть и снова раскошелиться Я уже упоминал, что тетушка Шарли напоминала мне тетю Давида Копперфильда. Ее сердце было добрым, но характер — повелительным, а в манере сквозило нечто диктаторское. Впечатляющим свидетельством ее властной силы было подчинение ею мисс Роджерс.

Строго говоря, следуя принципиальным соображениям, мисс Роджерс следовало бы разорвать отношения с тетей Шарли, когда тетка вместе с миссис Хэмфри Уорд вознамерились учредить движение против предоставления женщинам избирательных прав. А мисс Роджерс была женщиной с принципами, если такая вообще когда-нибудь существовала. Она была, как теперь называют, борцом за свободу, и побуждающим мотивом ее была справедливость. Она вела борьбу на протяжении всей жизни за то, чтобы добиться для студенток Оксфорда одинаковых прав со студентами-мужчинами. Целью борьбы, которую вела мисс Роджерс, было добиться, чтобы студентки, выдержавшие университетские проверочные экзамены, удостаивались того же самого официального признания, влекущего за собой тот же самый статус, который автоматически давался за аналогичные достижения их сотоварищам, принадлежащим к другому полу. Сегодня справедливость этого требования кажется столь очевидной, что нам трудно представить, что могли существовать мужчины — и притом мужчины высокообразованные, у которых хватало совести противиться этому. Однако в обоих университетских Советах (*Kongregation* и *Convocation*)[39] во времена мисс Роджерс, противники такой интеграции составляли значительное большинство, а меньшинство сторонников реформы мало что могли сделать в то время, дабы

помочь делу мисс Роджерс. Что ж, *Italia fara da se*[40]. Мисс Роджерс помогла себе сама. В ее арсенале было одно оружие, которое уже доказало свою действенность в руках Флоренс Найтингейл[41]. Этим оружием было совершенное владение всеми значимыми, имеющими отношение к делу фактами, в частности юридического характера, и всеми вытекающими из них выводами и следствиями. Мисс Роджерс была более сведуща в университетских статутах и правилах, нежели сам университетский секретарь. Это сделало мисс Роджерс их грозным противником; и, когда она все-таки вынудила их, хоть и с неохотой, вступить в схватку, так сказать, на их собственном поле, то одерживаемые ей победы были столь же часты, как и поражения. Эта борьба своей медлительностью и ожесточенностью напоминала позиционную войну или американский футбол[42]. Тем не менее с течением лет мисс Роджерс постепенно, дюйм за дюймом, продвигала линию фронта вперед.

Мисс Роджерс была устрашающим противником для любого мужчины — даже для тех немногих, кто был на ее стороне. Джилберт Марри[43] был одним из тех немногих оксфордских «донов», которые сочувствовали женскому вопросу, и свое сочувствие он хотел выразить в виде практической поддержки. Поэтому однажды он предложил мисс Роджерс свои услуги в качестве репетитора для занятий со студентками, которые готовились к первому публичному экзамену (на степень бакалавра). Приняв предложение Джилберта Марри, мисс Роджерс спросила, какую плату он возьмет за обучение. Г.М. об этом еще не думал. Подобно Гитлеру (см. с. 542), он делал это не ради денег. Тогда он быстро придумал сумму, которая была значительно ниже стандартной шкалы расценок. «О, такую сумму мы платим только нашим лучшим репетиторам», — быстро ответила мисс Роджерс. Дж. М. почувствовал легкое смущение и замешательство. «О, хорошо, — сказал он, — оплата это не самое главное. Вы знаете мое отношение к женскому образованию. Я буду рад давать уроки бесплатно». На сей раз мисс Роджерс, воспользовавшись слабиной, налетела молниеносно, точно ястреб. «Милостыни мы не принимаем!» — заявила она. Шах и мат! Она не оставила этому сочувствующему мужчине пути к отступлению. Она загнала его в угол. Он вполне мог быть *bien-pensant*[44], но он был мужчиной, поэтому инстинктивно она начала свои боевые действия против него, подобно собаке, устремляющейся вперед при виде кошки.

Помня этот инцидент, я был изумлен, когда тетя Шарли небрежно обронила однажды, что она выбрала «Энни Роджерс» себе в компаньонки во время туристической поездки на континент. Когда мисс Роджерс, словно танк, опрокинула благожелательно настроенного мужчину, то каких действий можно было бы от нее ожидать по отношению к женщине — предательнице женского дела? Предательнице

тем более вредоносной, что она была личностью заметной. Принципиальной мисс Роджер следовало, по меньшей мере, подвергнуть тетушку Шарли остракизму; и вот, пожалуйста — она из кожи лезет, чтобы с ней дружить. Я был еще больше ошеломлен, когда позднее увидел, как они вместе планируют свое турне. Тетя обходилась с мисс Роджерс столь бесцеремонно, будто та была глупенькой девочкой, а мисс Роджерс покорно воспринимала подобное обхождение. Ее манера поведения была смиренной и даже какой-то просительной, словно она старалась задобрить мою тетку. Этот *malleus maleficorum virilis sexus*[45] совершенно не снабдил ее необходимыми навыками для того, чтобы достойно встретить равного ей соперника в лице женщины. Капитуляция мисс Роджерс перед тетушкой Шарли открыла мне, какова может быть властная энергия моей тетки.

Если ты назван в честь знаменитого человека, то это имеет свои невыгодные стороны. Твое имя оказывается принадлежащим не только тебе. Между тем люди, а не только собаки и кошки, очень нуждаются в таких именах, которые обозначали бы их персонально. Это стало мне совершенно очевидно после выхода моей первой книги. Типография вывела на титульном листе: «Сочинение Арнольда Тойнби», и, когда я читал пробный оттиск рукописи, мне в голову не приходило, что с книгой что-то не так. В конце концов, «Арнольд Тойнби» — это мое законное имя. Тем не менее через несколько дней после выхода книги в свет каждый из здравствующих в то время моих дядюшек и тетушек — а их тогда набралось девять человек — так вот, все они, за одним только исключением, написали мне примерно следующее: «С какой это стати ты вздумал поставить на титуле книге имя «Арнольд Тойнби»? Что ты себе вообразил? Это не твое имя, это имя твоего дяди».

Это показалось мне нелогичным, поскольку имя было дано мне в младенчестве и по их же желанию. Нельзя было сказать, чтобы я нагло и дерзко сам присвоил себе это имя. Однако, ради сохранения мира в семье, я стал с тех пор подписываться на американский лад «Арнольд Дж. Тойнби». «Дж.» в данном случае означает «Джозеф», то есть имя моего деда, и я рад носить его точно так же, как и имя дяди Арнольда. Табу, которое мои дядья и тетки наложили для меня на имя «Арнольд», было строгим. Лишь после смерти последней из них, моей тетушки Грейс, я отважился вновь подписываться «Арнольд Тойнби». Теперь я могу делать это с чистой совестью, поскольку уверен: дядя Арнольд, будь он жив и имей возможность сказать свое слово, не стал бы испытывать ревности и не пожалел бы для меня нашего общего имени.

Почему я так уверен в этом? Отчасти из-за сложившегося у меня впечатления о том, что представлял собой дядя Арнольд. Это впе-

чатление, разумеется, получено из вторых рук. Будучи рожден шесть лет спустя после его смерти, я никогда не имел счастья знать его лично — так близко, как, будучи ребенком, знал нашего дядю Гарри. Я уверен тем не менее, что полученный мной из вторых рук мысленный портрет дяди Арнольда весьма близок к оригиналу. А это — портрет человека живого, общительного и доброжелательного. Человека, который испытывал живой интерес к окружающему миру — интерес идеалистический, связанный с горячим стремлением облегчить жизнь своих менее удачливых человеческих собратьев. Эти интересы и стремления были так сильны, что ему просто не хватило бы времени и внимания на то, чтобы настаивать на своем выдающемся месте в обществе или воображать себя оскорбленным.

Фактически, дядя Арнольд был одним из представителей более жизнерадостного крыла из тех двух, по которым распределились мои дяди и тети из семьи Тойнби. Эта оптимистически настроенная группа вела свое начало от моего деда; его я тоже живым не застал. Другая группа явно пошла от его вдовы, моей бабушки, которую я знал. Подобно многим другим матерям больших викторианских семейств, моя бабка являла собой уменьшенную копию самой королевы Виктории; и человеку приходилось быть особенно внимательным, дабы адресоваться к ней с тем почтением, которого она к себе по праву ожидала (хотя уж какое такое право эти некоронованные королевы имели на свое величие, я не знаю). Контраст между традиционной и неординарной половинами нашей семьи ярко воплощался в личностях моих тетушек: Мэри и Гертруды (тети Гедди).

Одним из самых патетических высказываний, в низком смысле этого слова, какие я когда-либо от кого-либо слышал, было замечание, сделанное однажды моей тетей Мэри, обращенное наполовину к самой себе: «Если бы я одевалась так же плохо, как Гедди, меня никто никогда бы не пригласил в гости. Но Гедди так одевается, и ее приглашают все и повсюду». Это была истинная правда. Двери для Гедди были гостеприимно открыты, потому что ее скромный достаток был сдобрен ее одаренностью. Однажды, на пятом десятке лет, она ворвалась в Национальную галерею и принялась копировать там акварели Тёрнера. Она никогда прежде не занималась живописью, тем не менее ее копии (у меня имеется несколько) удивительно хороши. Вообще-то, строго говоря, тетя Гедди жила в грязи и запустении. Она считала неправильным нанимать своего собрата-человека в прислуги, а также неправильным — терять на уборку хоть сколько-нибудь своего собственного времени. Поскольку она жила в Лондоне в эпоху, когда подземка (тогда еще не электрифицированная) днем и ночью изрыгала наружу клубы черного дыма, то в тетиной квартире имел место не передаваемый словами кумулятивный эффект, т. е. накапливание сажи и копоти — как

следствие ее идейного отказа выполнять какую-либо домашнюю работу самой или нанять для этого другое лицо. На ее книжных полках стояли увлекательные книги, но я до сих пор содрогаюсь при воспоминании о грязи, посыпавшейся на меня при попытке снять книгу с полки. Что же касается окончательного состояния тех вещей, которые год за годом она забрасывала к себе под кровать, ни один член семьи никогда не имел смелости вникать в этот вопрос. В коттедже, который она однажды снимала в Чиддингфолде, бытовой уклад напоминал тот, что существовал на чаепитии у Безумного Шляпника[46]. Имелось семь комплектов чашек, тарелок, ножей, ложек и вилок, и использованные комплекты с остатками пищи оставались плесневеть и разлагаться, дожидаясь большой общей помывки в конце недели.

Несмотря на все тепло своего сердца, тетушка Гедди не была тем единственным родственником, который не стал писать мне укоризненного письма по поводу узурпации мною имени дяди Арнольда. Она тоже не преминула сделать мне выговор, и я не виню ее за это. Она была подвигнута на это лояльностью. Дядя Арнольд, мой дед и Джон Раскин[47] были ее богами. Человеком, который не набросился на меня с упреками по этому поводу, был как раз тот, кто имел наибольшее право сделать это, если бы пожелал. Этим человеком была вдова Арнольда Тойнби, моя тетушка Шарли.

Когда появились авторские экземпляры моей книги, я принес один из них к ней домой, чтобы подарить. Взяв книгу в руки и рассмотрев ее, она сказала: «Твой дядя никогда не написал бы такой большой книги, как эта. Бедный парень!» «Бедный парень»! Я оглох от изумления и жалости. То был 1915 г. — мне самому было всего лишь на четыре года меньше, чем было дяде Арнольду в год его смерти. Тетушка Шарли сейчас была почти в два с половиной раза старше, чем он в год своей неожиданной и трагической смерти. Пока я не услышал из ее уст этих поразительных слов, дядя Арнольд был в моих глазах возвышающимся на пьедестале полубогом, не имеющим возраста; ибо, начиная с раннего детства, я был пропитан этим семейным культом. Теперь я понял, что для тети Шарли он вовсе не был богом; он был для нее любимым человеком, который испытал на себе немилосердность судьбы. С того дня Арнольд Тойнби тоже стал для меня «бедным парнем». Несколько месяцев спустя половина из моих сверстников были убиты во Франции, на полях сражений. Бедные парни! В моих мыслях они теперь в одной компании с дядей Арнольдом, и я часто думаю о них всех. Те, чьи жизни безвременно оборвались, имеют одно преимущество перед остальными, уцелевшими. Они остаются навечно молодыми, тогда как мы влечемся по нормальной жизненной траектории к неумолимому концу.



Автор, уже работающий над книгой



Гарри Вэлпи и Сара Эдит Тойнби (урожд. Маршалл), родители А. Дж. Тойнби

Капитан Генри Тойнби («дядя Гарри»), такой, каким знал его автор





Джордж Тойнби, прадед автора, фермер с линкольнширских болот



Джилберт Марри





Алан Уэйс и А. Дж. Тойнби
в Британской археологической школе в Афинах
(1911–1912)



Льюис Неймир, после окончания Бейллиол-колледжа



Константинос Доксиадис



Четем-Хаус (Королевский институт международных отношений) на Сент-Джеймс-сквер в Лондоне

На заседании Исследовательского комитета Четем-Хауса



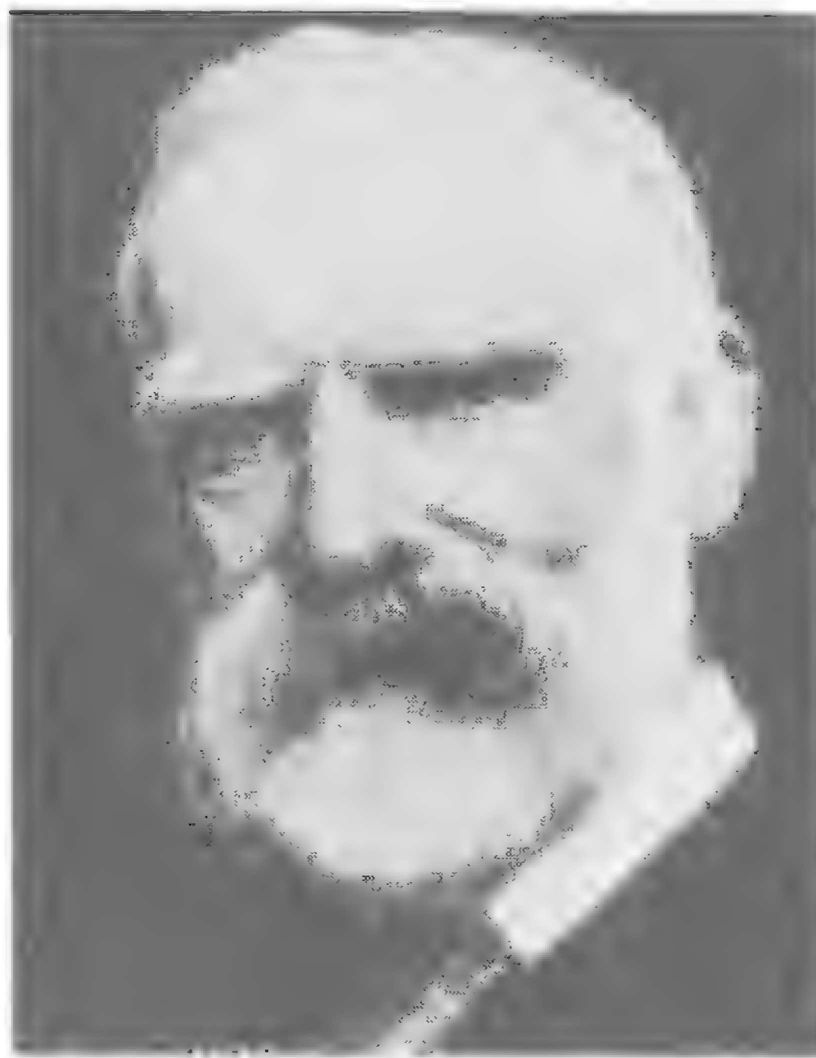
Сидни и Беатрис Уэбб





Лоуренс и Барбара Хэммонд

Лорд Брайс во время Первой мировой войны





Сэр Джеймс Хедлэм-Морли



А. Дж. Тойнби, после окончания Бейллиол-колледжа (1911)



Арнольд и Вероника Тойнби в Самотрейсе (июль 1967)

Когда тетушка Шарли сказала, что дядя Арнольд никогда не смог бы написать такой большой книги, она думала, я полагаю, о той его книге, которая все-таки увидела свет — о его «Промышленной революции»[48]. На самом деле, он не успел сам написать эту книгу. Она была мастерски составлена после его смерти из записей, собранных двумя его студентами, разумеется, из тех лекций, что он читал в Оксфорде. Эта книга была новаторской работой. Я убежден, что дядя Арнольд был первым, кто употребил термин «промышленная революция» на английском языке. (Мне сказали, что к тому времени он уже вошел во французский.) Нет сомнения, что по прошествии более восьмидесяти лет «Промышленная революция» Арнольда Тойнби совершенно устарела с позиции современных экономических учений. Тем не менее книга может устареть в специальном смысле, не устарев как произведение искусства или как памятник выдающейся личности. Гиббоновская «История упадка и крушения Римской империи»[49] представляет собой в этом смысле общепризнанный пример. Отваживаюсь утверждать то же самое о книге моего дяди. Его личность, право же, как мне кажется, сообщает ей неувядаемую жизнеспособность. Я знаю, что не могу быть объективным судьей в этом вопросе. Знаю, что я не беспристрастен. И в самом деле, мое чувство к дяде Арнольду становится сильнее с каждым прожитым мною самим годом. Сегодня, в 1966 г., я более чем в два раза старше, чем был он, уходя из жизни. Чего бы он, наверное, только не совершил, доживи до моих нынешних лет! Я счел бы мою собственную жизнь очень хорошо прожитой, если бы к моменту моей смерти люди могли сказать, что я сделал для мира хотя бы половину того, что совершил для него к своим тридцати годам Арнольд Тойнби.



3. МОНТЕГЮ ДЖОН РЕНДАЛЛ[1]

В годы моего обучения в Уинчестере[2] (1902—1907) мистер Рендалл был там заместителем директора (*Ostiarius*)[3]; лишь по прошествии некоторого времени он стал директором (*Informator*, что по латыни означает вовсе не «доносчик», а «человек, формирующий характер»). Должность заместителя директора для колледжа соответствует школьной должности воспитателя (т. е. человека, заведующего школьным пансионом), я же был студентом колледжа. Таким образом, пять лет, важных для формирования моей личности, я провел вблизи мистера Рендалла. С тех пор его влияние на меня было сильным и неизменным.

Когда человек находится в подростковом возрасте, то взрослые, под властью которых он оказывается, могут наполнять его благоговейным трепетом, а могут побуждать к насмешкам. Его реакция на них может быть двойственной, ведь насмешка — это форма защиты от благоговения, которое может оказаться чрезмерным, если его не нейтрализовать. Мы слегка подшучивали над слабостями мистера Рендалла. Его личность была весьма колоритной, но, прежде всего, она была внушительной. Поэтому, когда мы карикатурно изображали, скажем, его манеру речи, отрывистую, с отчетливыми модуляциями, наше передразнивание не являлось признаком неуважения. Наше уважение к мистеру Рендаллу доходило до восхищения, что, кстати, добавляет к его портрету еще один штрих: завоевать подобное отношение к себе в колледже было не просто для человека, находящегося на столь заметном посту. В колледже царил критический дух, порой даже отдающий непочтительностью. Мы, учащиеся — всего семьдесят человек (благоприятное число, столько же было учеников у Христа[4]), — были, как ни крути, кучкой «яйцеголовых»[5].

Мы восхищались благородством натуры мистера Рендалла. Это благородство было настолько очевидным, что невозможно было оставаться равнодушным к этой его особенности, а тем более отрицать ее существование, даже если кто-то состоял в конфликте с мистером Рендаллом и желал бы думать, что тот слеплен из обычного теста. Нет, он был не из обычного теста. «В нем нет ни капли обычного», — утверждал Эндрю Марвелл[6] (с которым нас познакомил мистер Рендалл) о короле Карле в памятный момент его казни[7]. Однако тот случай особый, момент кратковременный. Разве может человек прожить всю жизнь без единой капли обычного? Пожалуй, человек на это и не способен, но человеческие существа способны приблизиться к воплощению этого идеала; а из всех людей, которых мне доводилось знать, мистер Рендалл, по моему убеждению, был к этому идеалу наиболее близок. Возможно, это был

всего лишь обман зрения. Ведь пока человек не повзрослеет, взрослый, вызывающий в нем восхищение, зачастую значительно превышает в его глазах свой реальный рост; и тогда это преувеличенный образ, вероятно, сохранится в его памяти на долгие годы. Не могу сказать, нуждается ли мое изображение мистера Рендалла в уменьшении, чтобы казаться более правдоподобным, но, даже если его масштаб слишком велик, я убежден, что его черты, такие, какими они видятся мне до сих пор, тем не менее верны.

Лежавшая в основе некоторой внешней аффектации мистера Рендалла его внутренняя, душевная аффектация объяснялась его склонностью воображать себя в роли человека эпохи Возрождения. У него был одно замечательное основание претендовать на эту роль: он обладал чисто итальянской страстью к красоте; но если бы ему предложили окунуться в эту стихию безоговорочно, по-настоящему, для него было бы морально невозможно зайти столь далеко. Ибо, к несчастью, Италия эпохи Возрождения, вместе с ее культом красоты, имела и свою неприглядную изнанку. Итальянский Ренессанс сопровождался развращенностью нравов, которая шокировала испанского пуританина Игнатия Лойолу[8]. Мистер Рендалл тоже был пуританином. Недаром же он родился в семье священника. Он, несомненно, пришел бы в священный трепет, сумей с помощью машины времени Г. Уэллса оказаться в мастерской Бенвенутто Челлини[9] и понаблюдать художника за работой. Но если бы Бенвенутто, польщенный визитом странного незнакомца, взял затем мистера Рендалла под руку и пригласил бы составить ему компанию на вечер, мистер Рендалл не смог бы сделать и шага, отшатнувшись с омерзением при виде разнузданной манеры великого мастера проводить часы досуга.

Мистер Рендалл восхищался Древней Грецией так же сильно, как и Италией эпохи Возрождения. Но он не одобрял (на что особо указал нам) греческого обыкновения употреблять слово χαλός в значении «красивый», «прекрасный», в качестве синонима слову ἀγαθός, обозначающего «добрый, хороший» «благо». Хотя красота и значила для мистера Рендалла не меньше, чем для древнего грека или для итальянца эпохи Возрождения, он не мог допустить и мысли о том, чтобы сводить нравственность к терминам эстетики. Красота значила для него многое, но далеко не все. Для него она не была тождественна добродетели. Что было замечательно и необычно в характере мистера Рендалла, так это то, что он сочетал в одном лице эстета и пуританина, и оба эти противоположные начала были развиты в нем в одинаковой мере.

Чувство прекрасного, которым обладал мистер Рендалл, заявляло о себе сразу же, как только вы переступали порог его дома. Если не знать, что он был холостяком, и притом закоренелым, можно было

подумать, что в доме не обошлось без женской руки. Мистер Рендалл обладал редким для мужчин чувством цвета и фактуры. Он мог похвастать тонким чутьем и восприимчивостью в области, которую большинство мужчин не считают своей стихией. Однако для мистера Рендалла женщины практически не существовали. Когда ему волей-неволей приходилось иметь дело с женщиной, он вел себя с преувеличенной обходительностью, которая не могла полностью замаскировать его комичной отстраненности от этих странных, непостижимых существ. Для мистера Рендалла женщина была чем-то вроде мифического существа из средневекового бестиария[10]. Мне думается, на свете была всего одна женщина, к которой мистер Рендалл относился вполне серьезно, и даже очень серьезно. Этой женщиной была его мать, и она обладала единоличным правом на его преданность. Мать мистера Рендалла была самодержавной королевой. В доме приходского священника, в Грейт-Роллрайт, она безраздельно правила своим мужем и девятью сыновьями, обходясь в семье без помощи и моральной поддержки другой женщины.

Я знавал еще лишь одного человека, столь же безразличного к женщинам, как и мистер Рендалл. То был Р. М. Докинс[11], директор Британской школы археологии в Афинах, который впоследствии стал профессором в Оксфорде, специалистом по истории Византии и Греции Нового времени. После начала Второй мировой войны я убедил Докинса поступить в Отдел международных исследований и печати в Четем-Хаусе[12], который в конце концов превратился в Исследовательский отдел Министерства иностранных дел. Но когда, согласно своим обязанностям, я нашел ему прекрасного ассистента в лице Китти Литэм (впоследствии — миссис М. А. Томсон), Докинс впал в панику. Он готов был смириться с тем, что она владела древним, а не современным греческим языком, но не мог преодолеть неприязнь к ее полу. Мысль о совместной работе с женщиной была для него абсолютно неожиданной и в высшей степени пугающей. На поверку он так и не выдержал этого тяжелого испытания; я догадываюсь, что мистер Рендалл оказался бы столь же негибок, доживи он до эры стенографии и машинописи, в которую мир только вступал в его время.

Страсть мистера Рендалла к красоте сочеталась в нем с миссионерским стремлением поведать о ней каждому, и в этом он был силен. Эта его страсть была заразительна, поскольку он обладал замечательной способностью пробуждать к жизни красоту, скрытую в вещах. Это делало Рендалла воистину исключительно вдохновляющим и увлекающим аудиторию преподавателем на отделении Античности (полной противоположностью тому отставнику, который позже отравил моему сыну Тони изучение Античности). Наш учебник по истории Древней Греции (который все еще имел хождение в Уинчестере в

студенческие годы Тони) был отталкивающе сух. Не стану упоминать имя автора. В этой книге он проявил себя не с лучшей стороны, поскольку есть другая его книга, обладающая всеми качествами хорошей книги. Как бы там ни было, для преподавателя этот неудачный учебник являлся вызовом, но Рендалл нашел, чем ответить. Он оживлял наши уроки греческой истории, показывая снимки, сделанные им во время поездки в Грецию и изображавшие исторические пейзажи, здания, произведения искусства, о которых наш учебник рассказывал безо всякого вдохновении, и сопровождал демонстрацию рассказами о том, что можно увидеть, путешествуя по современной Греции. Этот изобретательный подход был не просто противоядием от учебника, он превращал занятия по греческой истории в пиршество и заставлял нас с нетерпением ожидать каждого следующего урока. Это был блестящий трюк. Мистер Рендалл был превосходным фотографом. Его обостренное чувство прекрасного подняло его на высшую ступень в искусстве фотографии, как и во всех других областях, куда способна была проникнуть красота.

Лучшие фотоснимки из тех, что я знаю, были сделаны годы спустя на Синайском полуострове и в Палестине, когда он, оставив пост директора, совершал свое «Великое странствие». «Великое странствие» — это, как мне кажется, самое подходящее название для его поездки с верховой и вьючной лошадьми и слугой, название вполне в стиле Байрона и Кинглейка[13].

Кроме чтения унылого учебника по греческой истории, нам приходилось проводить немало времени за переводами отрывков из английской прозы и поэзии на греческий и латынь, причем — также стихами и прозой.

Мистер Рендалл умел превратить для нас это трудное упражнение в еще одну приманку побродить на свободе по просторам английской литературы, а также греческой и латинской классики. Оксфордский сборник английской поэзии, изданный как раз перед моим поступлением на отделение к мистеру Рендаллу, оказался в его руках прекрасным инструментом расширения нашего культурного кругозора. Когда он давал нам задание на неделю — скажем, отрывок из Джорджа Херберта[14] или Колриджа[15], — мы вдруг с удивлением обнаруживали, что нам необходимо познакомиться с гораздо большим количеством произведений поэта. Мистер Рендалл разжигал наше любопытство, читая нам вслух отрывки, не требуя их перевода. Он рассчитывал (и отнюдь не напрасно) разбудить в нас чувство прекрасного, которое сокрыто во всех Божьих созданиях, без исключения. По сути дела, он применял на нас легендарное волшебство Орфея. Проучиться год на отделении мистера Рендалла воистину представляло собой идеал высшего образования для развитых не по годам подростков.

Однако свой шедевр мистер Рендалл создал не на уроке. Каждый год он читал факультативный курс лекций с показом диапозитивов по итальянской живописи. Посещение было сугубо добровольное (в отличие от посещения воскресных служб на корабле моего дяди Гарри). Однако ежегодно множество старшекурсников приходили послушать мистера Рендалла. Примечательно, что среди его добровольных слушателей были не только «яйцеголовые». Эти лекции посещали даже люди, что называется, «низколобые», которые должно быть, с удивлением ощущали в себе побуждение явиться. Что нас всех притягивало, так это заразительная любовь мистера Рендалла к красоте, которой он щедро делился с нами. Перед моим мысленным взором до сих пор стоит яркий образ мистера Рендалла. Я вижу его восхищенно застывшим перед картиной, которая только что возникла на экране. Его восторг перед ее красотой был так велик, что несколько секунд он не мог найти слов, чтобы его выразить. Он просто стоял перед ней в молчании, но вся сила его восхищения выражалась в одной блаженной улыбке, игравшей на его лице. То была улыбка, относящаяся к картине, зрителям и всей Вселенной.



4. СЕМЬЯ МАРГОЛИУС[1]

Несчастный настоятель Кентерберийского собора Роберт Пейн Смит[2] был при смерти, а дело всей его жизни оставалось неоконченным. Он составлял *Thesaurus syriacus* (Полный словарь сирийского языка), и завершение было уже не за горами, однако он все еще находился, скажем, на букве «коф» (*qoph*). Декан был вдовцом, и его незамужняя дочь Джесси вела хозяйство и вместе с ним работала над Thesaurus syriacus, так как тоже занималась сирийским языком. «Ты должна окончить словарь, когда меня не станет, — сказал ей отец. — Тебе понадобится помощь, а в Англии есть только два человека, которые могут помочь тебе в этом деле. Один их них — мистер X. (даже, если моя тетя Шарли и упоминала это имя в своем рассказе, то я все равно его не запомнил), а другой, — заключил настоятель, — мистер Марголиус». Мистер X. вскоре и сам скончался, пережив Пейна Смита всего на полгода, так что в распоряжении мисс Пейн Смит остался лишь мистер Марголиус. Она обратилась к нему за помощью, и он согласился выполнить ее просьбу; и поскольку мистер Марголиус преподавал в Окфорде, то она переехала туда, чтобы взяться за работу над словарем, и поселилась у моей тетки. Взялась она не только за словарь, но и за мистера Марголиуса, причем за последнего столь успешно, что к тому времени, как они дошли, скажем, до буквы «шин» (*shin*)[3], то были уже мужем и женой. Тетушка наблюдала за развитием событий с благожелательным интересом.

Будь словарь сирийского языка окончен при жизни настоятеля Пейна Смита, мистер Марголиус, полагаю, остался бы холостяком до конца дней. Но к моменту нашего с ним знакомства он состоял профессором арабского языка колледжа архиепископа Лода и был внешне вроде бы уже одомашнен, хотя и выглядел всегда так, словно и сам был удивлен тому, что с ним приключилось. Если бы не эти два удачно последовавших одно за другим события (если, конечно, столь неуместные слова подходят для описания двух прискорбных кончин), он бы, я уверен, стал очередным мистером Рендаллом или профессором Даукинсом. Пожалуй, лишь бойкость мисс Пейн Смит, в сочетании с колдовским действием сирийского языка на ученого, целиком посвятившего себя семитским языкам, смогли произвести столь благоприятную перемену в судьбе мистера Марголиуса.

Брак Марголиусов был счастливее некуда — возможно, отчасти благодаря крайнему несходству их темпераментов. Ученые занятия сирийским языком были единственной точкой соприкосновения их характеров. В остальном же миссис Марголиус была живой и болтливой, тогда как профессор Марголиус был степенным и сдержанным в словах. Его жена умела им управлять, поскольку не испытывала перед

ним благоговения, несмотря на то что вид он имел весьма внушительный и способный вызвать трепет: седовласый, с пронзительными черными глазами, и носил шляпу, представляющую собой нечто среднее между котелком и цилиндром. (Директор Бейллиол-колледжа носил такую же шляпу; этот головной убор подошел бы и Зевсу, но даже на голове Джеймса Ли Стрэчен-Дэвидсона[4] она не выглядела столь величественно, как на голове Дэвида Сэмюэля Марголиуса.) Кроме того, профессор Марголиус носил белую бабочку, чтобы показать, что он был посвящен в духовный сан служителя англиканской церкви. Возможно, она была нужна ему и для напоминания об этом самому себе, ибо я не слышал о том, чтобы он когда-либо совершал богослужения. Мне до сих пор живо вспоминается миссис Марголиус, бесстрашно суетящаяся вокруг своего мужа, словно служитель в зоопарке, который не боится чистить и купать слона, потому что знает: слон слишком его любит, чтобы даже помыслить о нападении.

Миссис Марголиус относилась к вкусам своего мужа снисходительно. Когда я оканчивал университет, профессор Марголиус время от времени приглашал меня на прогулки. Однажды, заранее договорившись, я заглянул с этой целью к ним в дом, в Северном Оксфорде. Дверь отворила миссис Марголиус и на мой вопрос, дома ли профессор, дала поразительный ответ: «О, наверное, он как всегда в пабе». А заметив мое удивление, пояснила, что «пабом» она, для краткости, называет любую работу, которой профессор в настоящий момент посвящает все свое время. При полном отсутствии тяги к спиртным напиткам он все же был, в некотором роде, наркоманом. Он был рабом своих последовательно возникавших интеллектуальных увлечений. У его жены тоже были свои хобби. Однажды я застал ее дома в окружении жен других оксфордских преподавателей: они склонились над грудой бархата и парчи, погруженные в шитье. Миссис Марголиус мобилизовала своих подруг из Северного Оксфорда помочь ей в изготовлении церковного облачения для духовенства несторианской церкви в Курдистане[5]. Несторианская церковь много значила для миссис Марголиус, так как богослужебным языком этих христиан является сирийский. Но, возможно, это мало значило для тех дам, которые вместе с ней работали на благо отдаленного христианского анклава. Они шили ризы для Его Блаженства Мар Шимуна[6], потому что отказать миссис Марголиус было нелегко.

А нелегко это было оттого, что она была очень мила и любезна. По правде сказать, ее доброжелательность простиралась так далеко, что производила даже обратный эффект. Помню, тетушка наставляла меня: «Если Джесси Марголиус скажет тебе, что такой-то и такой-то — мой *особый* друг, и если затем она попросит тебя что-нибудь сделать для этого особого друга, остерегайся слова «особый» и

дважды подумай, прежде чем во что-то ввязаться. Когда она называет кого-то своим «особым другом», это верный признак, что это некий бедолага, с которым она в данный момент нянчится». Получить от миссис Марголиус титул ее «особого друга», было чревато неприятными последствиями. Акции данного лица моментально падали в цене на бирже сплетен Северного Оксфорда.

В другой раз, придя в дом Марголиусов, я увидел карточки со словами на сирийском языке, разложенные по всему огромному столу. Должно быть, я лицезрел рождение дополнения к «Краткому словарю сирийского языка» (*Compendious Syriac Dictionary*) — плоду совместной работы Марголиусов, ставшему продолжением их работы над «Словарем сирийского языка» (*Thesaurus Syriacus*). К этому дню они уже долгие годы были партнерами не только в работе, но и в жизни.

Основной страстью профессора Марголиуса были семитские языки. Но то были совершенно иные эмоции, нежели те, что мистер Рендалл испытывал к итальянской живописи. Мистер Рендалл был движим любовью, профессор Марголиус был одержим, это — эмоциональное состояние не менее сильное, но часто сопровождается неприятием и порицанием. Семитские языки захватили профессора с детства. Ходила легенда, что он, еще будучи мальчишкой и живя в Уинчестере, составил для себя словарь арабского языка, поскольку тогда еще не было выпущено ни одного подобного словаря, который бы удовлетворял его требования, уже в те годы достаточно высокие. Но будучи заядлым любителем, он не был восторженным энтузиастом. Мало того, он был еще и скептиком; подобное сочетание противоположных качеств можно было бы счесть психологически невозможным — если бы не пример профессора Марголиуса.

Это странная комбинация чувств поразительно проявлялась в отношении профессора к исламу. Однажды он рассказал мне, что взял за правило хотя бы раз в год от начала до конца прочитывать Коран. Это, должно быть, отнимало изрядное количество его рабочего времени (несмотря на то что арабским он владел в совершенстве) — ведь Коран значительно длиннее Библии[7]. В связи с этим профессор Марголиус говорил — и я уверен, не лгал, — что, изучая ислам, нельзя проникнуться его духом, пока не станешь все время держать под рукой Коран. И все же он отнюдь не восхищался Кораном, не говоря уже о любви к нему, как не испытывал ни восхищения, ни любви к Пророку Мухаммеду. Когда он взялся описать жизнь Пророка для серии книг под названием «Национальные герои», получилась настоящая сатира в духе Вольтера — тем более устрашающая, что автор, несомненно, владел фактами. Мухаммед был героем? Неужели это правда? Пророк отнюдь не выглядел таковым

после того как профессор Марголиус в своем очерке выжал и прокатал его историю, словно белье. Книга вызвала среди мусульман вопли ужаса. Она и в самом деле была столь немилосердна, что огорчила даже проживавшего в Оксфорде в одно время со мной христианина-копта[8] Фануса. Копт вовсе не собирался выступать в защиту ислама, но книга профессора Марголиуса показалась Фанусу выпадом не только против ислам, но против всего Востока в целом.

Скептицизм профессора временами оказывал на него парализующее действие. Когда во время Первой мировой войны я работал в отделе политической разведки Министерства иностранных дел, я убедил его взяться сделать доклад по армянской прессе. Вскоре, однако, он возвратил мне первую пачку армянских газет, сухо заметив, что в них нет ничего стоящего. Я был и остаюсь абсолютно убежден, что для целей политической разведки эти газеты были полны ценной информации, но профессор Марголиус был не в состоянии приспособить свое мышление к прозаическим нуждам Министерства иностранных дел военного времени.

Иногда его скептицизм перерастал в доверчивость. Однажды Джилберт Марри получил от Марголиуса письмо. (Дж. М. был его близким другом, когда-то они даже вместе путешествовали по Леванту.) Письмо оказалось научным докладом, в котором Марголиус позволил себе изложить будущим читателям все, что более всего нам хотелось бы узнать о Гомере: имя его отца, место и дату рождения, а также количество строк в поэме, из которой вся эта информация была почерпнута. Не помню, шла ли речь об «Илиаде» или об «Одиссее», но, как бы там ни было, Марголиус вывел акростих, составленный из первой и последней букв в каждой из первых шести строк. Указанная сенсационная информация была заложена туда поэтом подобно тому, как в фундамент важного строения иногда закладывают серебряный мастерок. В своем письме Марголиус просил Мюррея высказать свое мнение перед опубликованием этого доклада. Он утверждал, что число строк в поэме, согласно акростиху, совпадает с числом оных в наших рукописях и что это является предположительным свидетельством того, что не поддающиеся проверке моменты заложенной в акростих информации также верны.

Когда Марри прочел это, он встревожился, представляя, какой урон будет нанесен репутации Марголиуса как ученого, если этот доклад будет напечатан. Правда, в данном случае беспокойство Мюррея оказалось чрезмерным. Репутация Марголиуса основывалась на достаточно убедительном труде, так что он мог себе позволить потратить ее кусочек на фантазию, не рискуя прослыть интеллектуальным банкротом. Однако Марри почувствовал необходимость

отвратить Марголиус от намерения опубликовать доклад. Он должен отговорить его, но как бы потактичнее это сделать? После краткого размышления он взял наугад пьесу Эсхила, пьесу Софокла и пьесу Эврипида; отметив первые и последние буквы первых шести строк в каждой пьесе, он прочел в каждом комплекте букв акростих, указывающий дату и место рождения автора, имя его отца и число строк в каждой пьесе. После чего Марри отослал Марголиусу обратно его доклад, приложив к нему лист со своими собственными наблюдениями, не дав, кроме этого, никаких комментариев. Марголиус тоже не прислал Мюррею ответного комментария, но быстро опубликовал свое открытие, и профессорская репутация от этой выходки не пострадала. Его настоятельная потребность сделать это граничила с навязчивой идеей. До тех пор, пока акростих Гомера не был напечатан, он был для него «пабом», если выражаться языком миссис Марголиус.

Как показывает этот случай, Марголиус был специалистом не только в семитской, но и в греческой культуре. Студент Уинчестера его поколения едва ли мог оказаться несведущ в латыни и греческом. Его любимым греческим автором был Аристотель, и изучение трудов Аристотеля полезно дополняли занятия арабской лингвистикой, учитывая историческое значение переводов Аристотеля на арабский. Однако древними языками не ограничивалась область интересов профессора Марголиуса, как выяснилось еще при первых наших совместных прогулках. Мы всегда гуляли в Порт-Мидоу, откуда слышался гул поездов линии Грейт-Вестерн[9]. И всякий раз, когда мимо с грохотом проносился скорый поезд, профессор Марголиус поглядывал на часы, чтобы свериться, не отстает ли он от расписания. Очевидно, он знал наизусть железнодорожный справочник Бредшоу — по крайней мере ту его часть, что относилась к Оксфорду. Я бы не удивился, если бы узнал, что он обладал буквально универсальным знанием.



5. СЭР АЛЬФРЕД ЦИММЕРН[1]

Одним из наиболее ярких интеллектуальных впечатлений моего оксфордского студенческого периода был курс лекций по древней истории преподавателя Нью-Колледжа. А. Э. Циммерна. Это был вводный курс в историю Греции для тех, кто только начинал изучать классические гуманитарные науки. Циммерн читал его в летнем семестре. И, поскольку слушателей собиралось немало, он проводил лекции в актовом зале колледжа.

Слушая Циммерна летом 1909 г., я постиг, что именно таким и должен быть курс лекций. Этот лектор словно вдыхал жизнь в древнюю историю. У него выходило само собой разумеющимся, что древние греки были реальными людьми, населяющими реальный мир, а отнюдь не образцами совершенства, обитающими на некоей священной земле, где царит вечное воскресенье. Поскольку древние греки были в подлинном смысле людьми и нашими собратьями, то их история — их мысли, идеалы, успехи, неудачи, их судьба — приобретала для нас, живущих на той же планете много веков спустя, почти практическое значение. Циммерн умел добиться этого, перебрасывая какое угодно количество мостов через реку времени между современной историей и древней. Очевидно, его интерес к Греко-Римскому миру, такой же глубокий, как и мой, не исключал одновременного интереса к современному миру. Пример Циммерна показал мне, что оба эти интереса могут уживаться в одной голове, лишь ярче высвечивая друг друга. Этот курс лекций в Оксфорде стал прелюдией к тому уроку, который мне предстояло выучить до конца два с половиной года спустя, уже в Греции.

Интерес Циммерна к современному миру был велик. Однажды, после лекции, поднявшись к нему на сцену, чтобы уточнить какой-то вопрос, о котором только что шла речь, я случайно увидел книгу, лежащую на его столе рядом с конспектом лекций. Эта книга была не о каком-либо эпизоде из античной истории. Она называлась «Расовые проблемы в Венгрии»; ее автор скрывался под псевдонимом *Scotus Viator*[2]; дата публикации стояла недавняя — предыдущий год (тогда шел 1909 г.), но Циммерн уже подобрался к ней. Эта книга возбудила моя любопытство, хотя на тот момент пробелы в моих знаниях о Восточной Европе еще не начали заполняться, как это произошло впоследствии благодаря моему товарищу по Бейллиолу Неймиру (Бернштейну)[3], который перешел в Оксфорд из Сорбонны лишь в начале следующего учебного года. Циммерн заметил, что именно приковало мой взгляд. «А, это последняя книга моего друга Р. У. Сетон-Уотсона[4], — сказал он. — Мы вместе собираемся в путешествие по Австро-Венгрии в следующие летние каникулы». Он взял книгу и протянул ее мне. «Возьмите ее на вре-

мя, если хотите», — сказал он. Я с благодарностью взял книгу и с горячим интересом прочел. Она оказалась вехой в моем образовании, и обратил на нее мое внимание ученый, чьи научные интересы располагались, казалось бы, в совершенно ином *Fach*[5], если конечно предполагать, что деление истории человечества на обособленные разделы имеет какой-то смысл. Казалось, однако, что для Циммерна этого разделения не существует.

Исторические горизонты Альфреда Циммерна были широки не только благодаря его личной широкой любознательности, но и в связи с необычной историей его семьи. Они были родом из Франкфурта, где отец Альфреда начинал свою деловую карьеру. Однако за несколько лет до завоевания и присоединения Франкфурта Пруссией в 1866 г.[6] отец Альфреда чувствовал, что пруссаки на подходе, и решил убраться оттуда прежде, чем это случится. Поэтому он уехал в Англию и заново начал свое дело, на этот раз занявшись торговлей с Китаем. Дела отца пошли в гору, и Альфред вырос в недрах английского делового общества, в обеспеченной семье, в уютном сурбитонском[7] доме. Он получил стипендию в Уинчестере (там он учился за десять лет до меня), а затем — в Нью-Колледже, где был теперь преподавателем-наставником. Казалось, Альфред ничем не отличался от нас, англичан, и в то же время через семейные корни у него сохранились родственные связи с континентальной Европой — связи, которыми мало кто из нас, прочих, вообще имел возможность обзавестись. Замечали, например, что он говорил по-немецки, по-итальянски и по-французски так же бегло, как и по-английски, и с такой же готовностью, как если бы языки континентальной Европы были для него обиходными подобно английскому. Если кто из нас и владел каким-нибудь из этих континентальных языков, то, чаще всего, говорил на нем, запинаясь и смущаясь. Это смущение был смесью очевидного стыда от столь явной своей умственной бездарности и подавленной досады оттого, что приходится стыдиться недостатка сноровки в языке, который имеет сомнительное право на существование[8]. Такова была разница между Альфредом и нами, и мы признавали, что эта разница была целиком в пользу Альфреда.

Космополитизм Альфреда был двойным. Его происхождение было не только континентальным — по отцовской линии оно было еще и еврейским. Когда я сошелся с Альфредом достаточно близко, чтобы спросить его, не причиняя обиды, я задал ему личный вопрос, который уже давно возбуждал мое любопытство. Считает ли он, спросил я его, что его еврейское происхождение как-либо повлияло на его отношение к жизни и мировоззрение? Альфред ответил, что сам не раз задавался этим вопросом, испытывая аналогичное любопытство, и пришел к выводу, что с возрастом его ответ поменялся. В Уинчестере, а поначалу и в Оксфорде, он не замечал

какой-либо разницы между собой и своими сверстниками неевреями. В конце концов, он не был воспитан в иудейской вере — ведь исповедуй он или его родители иудаизм, едва ли они отправили бы его учиться в Уинчестер, где с неангликанцами, проводили такую же политику, как с азиатами в Австралии. В австралийском своде законов нет антиазиатских ограничений, но азиатскому претенденту на въездную визу будет предложен экзамен, который тот заведомо не сможет сдать, ибо экзаменационный диктант будет предложен на том языке, заботливо выбранном иммиграционными властями, которого претендент точно не знает. В Уинчестере, во времена Альфреда, да и в мое тоже, религиозного тестирования не устраивали, зато посещение церкви было обязательным, а в Уинчестерской школьной церкви проходили только англиканские службы. (Теперь учащиеся неангликанского вероисповедания уже получили право посещать имеющиеся в городе храмы своих религиозных конфессий.) Школьником, а затем и студентом, Альфред делал и чувствовал все то, что делают и чувствуют остальные мальчишки. Однако, согласно его признанию, какое-то время спустя он стал замечать в себе нечто отличающее его от других. Я был весьма заинтересован, но в свете того, что знал об Альфреде, заключил, что найденное им отличие было едва уловимым, ведь он не отличался от других своим отношением к современным проблемам человечества. Он был либералом до мозга костей (не в фанатично политическом, а в более широком смысле этого слова), а такой искренний либерализм едва ли совместим с социальной обособленностью.

Альфред мог найти, и находил, мельчайшие отличия, поскольку был необычайно восприимчив и чувствителен. Он обладал каким-то особым психическим органом, действие которого было подобно сейсмометру или усикам бабочки. Этот орган мог улавливать мельчайшие колебания в структуре общества и предвидеть что-либо задолго до того, как оно случится. Возможно, Альфред унаследовал свой дар от отца. Конечно же, он, как и его отец, имел предчувствия относительно того, как намеревались поступить пруссаки. Например, когда я однажды рассказывал ему о своих путевых впечатлениях, полученных при возвращении из Греции в Англию в 1912 г., то упомянул об ощущении, что кривая цивилизации, вдоль которой я следовал вверх, путешествуя на северо-запад, достигла своего пика в Рейнланде, но стала снижаться к тому времени, как я достиг Фолькстона[9]. «Это меня удручило», — сказал я. «По какому признаку вы судили?» — резко осадил меня Альфред. «Ну, полагаю, по состоянию зданий, какими я их видел с корабельной палубы и из окна вагона. В Рейнланде дома были такими опрятными, с иголочки; в Фолькстоне же они, по сравнению с теми, совсем обветшалые». — «Не стоит судить по внешним впечатлениям, — сказал

Альфред. — Здесь дело в другом. Этого нельзя увидеть глазами. Дело в душевном настрое людей, и если бы вы судили именно по нему, то никогда бы не сказали, что Германия стоит на вершине человеческого прогресса». Через два года, вспоминая об этом разговоре, я отдал должное проницательности Альфреда.

В конце летнего семестра 1909 г. в Оксфорде, прослушав курс лекций Циммерна по греческой истории, я был приглашен к нему на маленький прощальный вечер, который он устраивал у себя на квартире в Нью-Колледже. То был вечер для его тогдашних учеников в Нью-Колледже, но он пригласил и меня, поскольку я, как все они и сам Альфред, был почитателем Уикемиста[10], а также их близким другом.

Студенты, гости Альфреда, были огорчены его предстоящим уходом из Оксфорда. Самим нам оставалось еще два года до выпускного экзамена по его предмету, и теперь мы чувствовали, что вместе с ним и часть жизни, так много для нас значившая, теперь тоже покинет Оксфорд. К тому же мы были озадачены решением Альфреда. Он отказывался от своей должности в колледже, пробыв в ней едва ли больше полудюжины лет. Ведь место преподавателя-наставника в Оксфорде было желанной наградой. Мы, студенты, просиживали над книгами, в надежде сдать экзамен с наивысшей оценкой и получить право быть выбранными в члены ученого сообщества, но одновременно осознавали, что это — честолюбивая мечта и нам следует почитать себя счастливчиками, если она исполнится. Альфреду самому было жаль покидать Оксфорд, хотя он нашел для этого вескую причину и теперь полностью решился. После ужина он поднялся с нами на башню Нью-Колледжа (у него как у сотрудника колледжа был от нее ключ). Стоял прекрасный летний вечер, а вид самого сердца Оксфорда, открывающийся с этой высокой точки — это вид ни с чем не сравнимый. Если что-то и могло бы изменить решение Альфреда, то, вероятно, лишь красота этого зрелища.

Одним из эпизодов, который подвиг Альфреда уйти со своей должности, стала забавная и в то же время неприятно взволновавшая его встреча с попечителем Спунером. В начале третьего года преподавательской деятельности Альфреда в Нью-Колледже попечитель вызвал его к себе и сказал: «Итак, мистер Циммерн, когда вы закончите писать свои лекции, мы с миссис Спунер полагаем, что было бы неплохо, если бы вы взялись за написание книги о минойской культуре». Приказная форма этой директивы, в которой зачем-то была ссылка на миссис Спунер, отнюдь не прибавила ему привлекательности в глазах Альфреда. Еще сильнее он был расстроен нелепым предположением попечителя, что за первые два года из возможных сорока или пятидесяти лет членства в ученом сообществе Альфред должен был сочинить свои лекции, раз и навсегда,

и затем так и читать их год за годом, ничего уже больше в них не меняя.

Смятение Альфреда было тем более понятно, что, в отличие от многих других тогдашних оксфордских преподавателей, он был прирожденным лектором, поэтому четко понимал, каким должен быть курс лекций. Все, что может дать слушателю лектор, это познакомить его с предметом. Он может подтолкнуть воображение и разжечь любопытство слушателя в такой степени, чтобы тому захотелось, уже самостоятельно, по собственной инициативе, углубиться в предмет. Дальнейший процесс познания происходит не через слушание, а через чтение; поскольку правильным посредником для донесения подробной фактической информации, уже в деталях, является книга. Если лектор пытается переложить на лекционный курс функции книги, он упускает имеющуюся у него единственно верную возможность и лишь зря тратит время слушателей. Смешение задачи лекционного курса с функцией книги было распространенной ошибкой некоторых оксфордских лекторов того периода, и печальные последствия этой ошибки повторялись на курсах постоянно, из года в год. Лектор не должен бездумно повторять один и тот же курс, всякий раз перед чтением лекции он должен непременно кропотливо проверять и исправлять свой конспект. И все его последовательно производимые исправления и дополнения должны следовать в одном направлении. Они должны быть направлены на переработку текста лекций в исходный материал для возможной будущей книги, и, когда материал достигнет «точки кипения», лектору следует начинать писать. Если же книга не получается, ему следует порвать свои записи и начать составлять новый курс по какому-нибудь другому предмету. Но в любом случае он никогда не должен повторять чтение одних и тех же лекций, иначе эти лекции всегда будут далеки от идеала. Это я понял на примере работы Альфреда. К тому времени, когда он отказался от преподавания, он уже начал работу над книгой, которую впоследствии опубликовал под названием «Греческий союз» (*The Greek Commonwealth*). Теперь он собирался провести год в Греции, чтобы закончить книгу в соответствующей обстановке.

«Греческий союз» оправдал бы самые взыскательные ожидания слушателей курса Альфреда. Эта книга обладала той же добротностью, какую я обнаружил в «Промышленной революции» моего дяди Арнольда и — конечно, в еще больше степени — в «Истории упадка и крушения Римской империи» Гиббона. Такая книга является в качестве хроники исторических фактов, сохраняя одновременно всю свежесть произведения искусства, которым оригинальный ум обогащает мир χτῆμα εἰς αεί[11]. Еще прежде, чем отправить в печать «Греческий союз», Альфред не раз обращался к мысли написать

книгу ей в пару. Эти два произведения должны были составить как бы «парный портрет» современного Западного мира, и успех «Греческого союза» являлся ярким доказательством того, что он способен создать вторую работу подобного же плана и качества. Разница между двумя начинаниями состояла не в характере исследования и не в его построении; это была просто количественная разница в объеме материала, который требовалось освоить в каждом случае.

Одно из преимуществ Греко-Римского периода как предмета исследования историка состоит том, что сохранившиеся источники — литературные, документальные и археологические — относительно скудны и разуму исследователя не требуется трудиться над ними на протяжении всей творческой жизни. Перед работающим в этой области стоит задача не Психеи, а, скорее, Шерлока Холмса[12]. Ему необходимо реконструировать из обрывочных следов и подсказок связную историю прошедших событий; ему нет нужды копаться в бесконечном количестве материалов. Напротив, для изучающего историю Запада обилие материала и есть загвоздка. Одни только документы и литература, дошедшие до нас со времен западного «средневековья»[13], намного превышают всю массу греко-римских исторических источников. А в последующую эпоху западной истории, благодаря изобретению печатного станка, эта масса стала возрастать уже в геометрической прогрессии, сначала от столетия к столетию, а в последнее время — уже от десятилетия к десятилетию. Количество этого уже накопившегося и все быстрее накапливающегося материала теперь так фантастически разрослось, что разве что атомному оружию было бы под силу сократить его до количества тех греко-римских источников, которые пощадили огонь и меч. Итак, решив написать книгу, вроде «Греческого союза» на тему современного Западного мира, Альфред Циммерн взялся за куда больший объем нелегкой предварительной работы, чем от него потребовал «Греческий союз», — а та, первая его книга, стала зрелым плодом, по крайней мере, восьмилетнего кропотливого труда, не считая основы, заложенной предыдущими девятью или десятью годами классического образования, проведенными в Уинчестере и Оксфорде.

Альфред взялся за свое новое начинание и теперь принялся готовить для него почву с тщательностью, которая становится второй натурой у квалифицированного и опытного ученого-классика. В качестве исходной точки, с которой он приступил к изучению современного Западного мира, Циммерн выбрал переписку Эразма Роттердамского и начал ее читать. Лучшего выбора быть не могло. У Альфреда был отлично наметанный глаз ученого. Но тут он начал сбиваться со своего пути. Полагаю: он даже не закончил читать труды Эразма Роттердамского и, определенно, не дополнил эту первую часть подготовительной работы каким-либо дальнейшим чтением

источников с целью изучения современного Запада. Теперь он сделался очень популярен в различных кругах, и его стали повсюду приглашать, часто и по разным поводам. Публикация «Греческого союза» открыла его таланты более широкому кругу читателей, чем просто ученые, и его интеллектуальный рейтинг резко подскочил. Теперь многие люди, признавая его одаренность и многосторонность, вообразили, что его уход из оксфордского ученого сообщества высвободил ему время для работы над теми задачами, которые они для него уготовили. Таким образом, намерение Альфреда посвятить себя второму, еще более напряженному этапу длительной интеллектуальной работы проверялось на прочность многочисленными соблазнами разменять свой интеллектуальный потенциал по мелочам. Для человека с темпераментом Альфреда эти посягательства были серьезным испытанием. Он поддавался то одному обольщению, то другому, и подготовительная работа над его «*Modern Commonwealth*» («Современным Содружеством») забуксовала и встала. Шли годы, но о продвижении будущего шедевра Альфреда Циммерна так ничего и не было слышно.

Этот провал самого главного его проекта расстраивал меня. Я очень любил Альфреда и высоко ценил его интеллектуальный потенциал, который столь великолепно проявился в «Греческом Союзе». Как могло его второе детище — давно вынашиваемое «Современное Содружество» — так запоздать с рождением? Эта проблема постоянно тревожила меня в глубине души, и в 1930-е гг., почти четверть века спустя после ухода Альфреда из Нью-Колледжа, мне показалось, что я нашел способ решить ее.

К этому времени Рокфеллеровский фонд выделил Четем-Хаусу щедрый грант на поощрение академических научных трудов в той сфере исследований, которой занимался Четем-Хаус. Мне как директору по научной работе Четем-Хауса выпало давать рекомендации Комитету по публикациям и Совету института, на какие проекты следует потратить выделяемый фондом грант. Я сразу же подумал о недописанной масштабной работе Альфреда и спросил его, могу ли включить ее в список своих предложений. К моей радости, он согласился, и, к еще большей моей радости, Комитет по публикациям и Совет Четем-Хауса, со своей стороны, также согласились. Они сформулировали это в том смысле, если мы действительно сумеем собрать желаемый урожай с того, что обещает быть важнейшим трудом всей жизни Альфреда, то нам следует в этих целях как можно более эффективно использовать те деньги, что выделил нам Рокфеллеровский фонд. Совет уполномочил меня от своего имени пригласить Альфреда писать задуманную им книгу под покровительством и при содействии Четем-Хауса. Соглашение об этом было заключено. Но далее мы испытали горькое разочарование. Работа

снова не сдвинулась с мертвой точки. Она сдерживалась чередой все новых несущественных, мелких дел. К этому времени Альфред слишком долго позволял себе отвлекаться то на один такой пустяк, то на другой. Уступать этим соблазнам вошло у него в почти неодолимую привычку. В конце концов, после Второй мировой войны, смерть настигла Альфреда Циммерна, и работа над книгой «Современное Содружество» так и осталась на стадии 1913 г. Это потенциальное достижение Альфреда так и не увидело свет, а по превосходному качеству его вступительной книги «Наследие Греции» можно судить о том, что потерял мир, так и не увидевший задуманного продолжения.

Как расценить эту трагедию? (И слово «трагедия» здесь, право же, не преувеличение.) Мне думается, главную причину следует искать в самом характере и темпераменте Альфреда, второстепенная же заключается в ошибочном решении отца Альфреда в решающий момент жизни сына.

Я уже говорил, что в складе ума и психики Альфреда присутствовал необычный и отличительный элемент. Я говорю о том, что я назвал его «психической антенной». Чувствительность и восприимчивость этого особого психического органа и делала оксфордские лекции Циммерна такими захватывающе интересными, и эти же качества сообщили его единственной и существенно важной книге «Греческий союз» столь высокое качество — и как научной работе, и как художественному произведению. Это особое дарование составляло силу Альфреда, покуда тот держал его под контролем, имея в виду долгосрочную цель; но оно же стало слабостью его обладателя, когда тот позволил ему управлять собой. Бабочку прежде, чем она допьет весь нектар из одного цветка, уже влечет к другому. Такого же рода соблазн испытывал и Альфред, и он поддавался этому соблазну. В чем же заключалась ошибка его отца? Собираясь оставить преподавание и научную работу в Нью-Колледже, Альфред рассказал мне, что отец, с которым он, конечно же, предварительно посоветовался, порекомендовал сыну делать то, что будет лучше для его интеллектуальной карьеры, не отвлекаясь на финансовые соображения. Отец (как он уведомил заранее) был готов содержать Альфреда в случае, если тот бросит зарабатывать на жизнь в качестве ученого-исследователя и преподавателя в Оксфорде. Этот отеческий жест сам по себе был совершенно естественным. Отец Альфреда ценил таланты своего сына; он гордился ими; он беспокоился о том, чтобы финансовые затруднения не встали на пути наилучшего применения этих талантов; и, наконец, он располагал необходимыми средствами, чтобы об этом позаботиться. Великодушие отца, который был в состоянии содержать своего сына, было по-человечески понятным; но оно было также и непоследовательным

в человеке, который сам, своими собственными усилиями сделал себе состояние. И еще: оно было, пожалуй, странно для отца, который предположительно знал характер своего сына. Талантам Альфреда, чтобы они могли принести плоды, нужна была дисциплина. Его «психическая антенна», постоянно подстрекавшая его перелетать с цветка на цветок, вместо того чтобы утвердиться на одном, делала для него затруднительной внутреннюю дисциплину. Альтернативная внешняя дисциплина — в виде финансовой необходимости — без сомнения, была дисциплиной низшего сорта; но, как оказалось, для Альфреда она была благословением. Тут-то и он, и его отец оказались слепы. (Как легко быть дальновидным, оглядываясь назад!)

Да, это действительно было несчастьем для Альфреда — что, подумывая оставить Оксфорд, он был избавлен от необходимости немедленно найти себе другую оплачиваемую работу. Если б ему пришлось тратить основные часы на труд ради заработка, то представляется вполне вероятным, что в свободное время ему удавалось бы писать «Современное Содружество». Ярмо было бы помощью, а не помехой, потому что обеспечивало бы дисциплину, в которой так нуждался характер Альфреда, дабы эффективно работать в школе или вне ее.

Пожалуй, я мог бы отнести те же соображения *ad hominem*[14]. Предположим, что в тот период, когда мне пришлось оставить свою кафедру Кораиса[15], кто-то стал бы обеспечивать меня финансовыми средствами просто так, по собственному влечению. Принял бы я тогда приглашение Четем-Хауса взять на себя пугающий своей непомерностью труд составления и издания нашего «Обзора»? И если бы я избежал необходимости впрягаться в это ярмо, пришел бы я когда-нибудь к своему «Постижению истории»?

Альфред был не единственным из моих друзей, кто унес ценный интеллектуальный труд в могилу, после того как друзья годами напрасно пытались убедить его отдать эти богатства миру. Из английских специалистов по Византии Норманн Бейнс[16], полагаю, до сих пор является единственным, кто мог бы поспорить с Дж. Б. Бьюри[17] за право называться величайшим ученым за всю историю Британских островов. Но, как и Альфред Циммерн, Норманн Бейнс разменял свой потенциал по мелочам. Только, пожалуй, удельный вес его монеты был выше, чем у Альфреда. Та часть познаний Бейнса, которая нашла дорогу в печать, в основном обрела форму педантичных и густо снабженных документальными обоснованиями рецензий чужих книг. Бейнс не опубликовал ни одного эссе «на злобу дня», ни одной сиюминутной газетной статьи. Его печатные работы все подчеркнуто академичны. Тем не менее, в целом, его интеллектуальная карьера сложилась подобно Альфредовой. Он умер, не оставив читателям шедевра, достойного своей квалификации.

Слабостью Бейнса была черта, противоположная непостоянству; то была гипертрофированная добросовестность ученого. Бейнс взял себе одно правило, которого строго придерживался. Он решил, что ни за что не станет публиковать ни одной из собственных работ на тему Византии, пока не прочтет всего, что на данный момент уже напечатано другими учеными во всех областях, имеющих отношение к Византийской жизни — каждую книгу и каждую статью. Научных работ, посвященных Византии относительно мало, по сравнению с количеством изданий по истории современной Европы или по неорганической химии. И тем не менее в наши дни человек оказался настолько мал в сравнении с громадой производимого им же самим во всех областях, что Бейнсу никак не удавалось выполнить свое невыполнимое условие — он всякий раз оказывался лишенным возможности опубликовать что-то свое. (Публикация рецензий была единственной вольностью, которую он себе позволял.)

В надежде склонить его наконец понизить свои сверхчеловеческие стандарты, я придумал довод, который наглядно демонстрировал ошибочность его рассуждений. «Если даже такой трудоспособный человек, как вы, — убеждал я, — не в состоянии угнаться за временем, то можете быть уверены — ваши собратья-византисты, чьи книги и статьи держат вас в состоянии вечной погони, опубликовали их, точно так же не изучив всего, что на сегодняшний день увидело свет в этой области. Согласно вашим меркам, эти ученые пребывают в неведении, а значит — если следовать вашей логике — опубликованные ими работы столь же никчемны, сколь были бы и ваши, последуй вы их примеру. Поскольку их работы не основаны на исчерпывающих сведениях, вы можете их не читать, и я, право же, советую вам именно так и поступить. Ведь подобные невежественные произведения неинформативны; они вас только запутают. Так что забудьте обо всей этой никчемной продукции своих современников; ограничьтесь первоисточниками, которые уже есть у вас под рукой, и, основываясь на них, опубликуйте что-нибудь свое. Вы можете сделать это с чистой совестью». Бейнс всегда с улыбкой признавал, что моя критика его принципа была неоспорима, но никогда даже не помышлял о том, чтобы изменить этот заведенный им бесперспективный порядок.

К счастью, кроме присущей обоим боязни создания значительных произведений был и другой момент в интеллектуальной деятельности Альфреда Циммерна и Бейнса, который их роднил. В то время как опубликованных работ у обоих оказалось прискорбно мало, они оставили другое наследие, которое нельзя измерить с точностью, потому что оно невидимо. Это другое, неизданное наследие посвоему столь же ценно, как и любой изданный труд. Подобно Циммерну Бейнс был отличным лектором и так же обладал неистощимой

сердечной щедростью, что делало его не просто педагогом, а добрым другом, умеющим воодушевить каждого учащегося, которому посчастливилось получить такого наставника. Область личных человеческих отношений стала именно той областью, где оба они реализовались — и здесь их реализация была полной, не омрачаясь никакими помехами.

Именно в этой ипостаси предстал передо мной Альфред, когда я впервые слушал его в аудитории Нью-Колледжа; и хотя он сменил карьеру преподавателя на писательство, его оксфордский курс вводных лекций в историю Греции остался не единственным выдающимся достижением в этой области. В течение нескольких лет, в период между двумя мировыми войнами, во время сессии Ассамблеи Лиги Наций он ежегодно организовывал в Женеве летнюю школу. Одним из пунктов программы был беглый комментарий самого Альфреда по поводу деятельности Ассамблеи. Излишне говорить, что этот читаемый им курс был мастерским; но, кроме того, работа открывала благодатную возможность широко развернуться этой его «психической антенне», которая в другое время порой сбивала своего владельца с пути. Студенты, посещавшие летнюю школу Циммерна, приезжали не только со всей Европы, но и из Соединенных Штатов. Предлагавшаяся им интеллектуальная пища была достаточна сама по себе, но стоило им посетить школу однажды, как у них возникал и другой повод приехать сюда вновь. Они были очарованы человеческой добротой сэра Альфреда и леди Циммерн — качеством, казалось бы обычным, но в данном случае, и в муже, и в жене отмеченным необычайной искренностью и сердечностью. Я сам непосредственно видел, какой эффект оно производит, когда в течение года был одним из лекторов в летней школе у Альфреда.

Оксфордские лекции Альфреда были достойной прелюдией к «Греческому союзу», в который они потом и вылились. Женевская летняя школа стала шедевром его общественной жизни, в которой интеллектуальный стимул очеловечивался присутствием доброго личного отношения. Его достижение в этой области, которое было исключительно его собственным, бесспорно, смягчает трагедию, связанную с книгой, которая так и не была написана.



6. СЭР ЛЬЮИС НЕЙМИР

Однажды осенним утром 1909 г., спустя неделю или две с начала третьего года моего студенчества в оксфордском Бейллиол-колледже, я стал свидетелем необычного зрелища: за служителем колледжа, который, как всегда, доставлял мне в комнату мой завтрак, на сей раз следовала целая процессия. Прямо за ним шествовал второй служитель, несший другой завтрак, а из-за спины этого служителя донесся голос, произнесший с сильным славянским акцентом: «Я — Бернштейн, я пришел позавтракать вместе с вами». Этот единственный говорящий член процессии был в ней отнюдь не последним — за обладателем голоса клубами вился дух Восточной Европы. Эти облака вплыли в мою комнату вместе с потоком речи Бернштейна и быстро наполнили ее.

Этот прием в постели, который в то раннее утро мне пришлось провести помимо моей воли, не застал меня врасплох, ибо мне уже довелось слышать о том, как другие студенты моего курса подвергались подобным визитам назойливого и эксцентричного первокурсника. Тактика Бернштейна была рискованной, она представляла собой нарушение довольно строгих правил этикета, принятых среди студентов. По традиции, старшим студентам полагалось первыми наносить визит первокурсникам и приглашать их к себе на завтрак, назначая определенное число, через несколько дней. Именно им, а не новичкам должна была принадлежать инициатива; и вот какой-то первокурсник-иностранец заявляется на завтрак в комнату старшекурсника, по собственному решению, не уведомив об этом заранее. Некоторые из студентов, переживших подобное знакомство с Бернштейном, почувствовали себя оскорбленными. Это, однако, лишь свидетельствовало об отсутствии у них воображения и великодушия. Как можно было ожидать от иноземца из далекой Восточной Галиции[1] знания чисто местных правил и условностей, бытовавших среди студентов Оксфорда? Согласно же представлениям Бернштейна, это было вполне естественно: сделавшись студентом Оксфорда, избрать наикратчайший путь, из всех ему доступных, чтобы свести знакомство с другими членами этого интереснейшего сообщества. И впрямь — ради чего же еще проделал он этот долгий путь через всю Европу, в *Ultima Thule*[2]? Избрав однажды цель, Бернштейн от нее уже не отклонялся. Он всегда знал, чего хочет, и редко останавливался под влиянием каких-либо внутренних сдерживающих комплексов. Исполняя этот свой дебют в Бейллиол-колледже, он пребывал в блаженном неведении относительно того отрицательного впечатления, которое производил на некоторых своих вновь обретенных товарищей — тех самых, чьей дружбы так ревностно домогался.

И если некоторые из них отвечали недоброжелательным отказом на благонамеренные инициативы Бернштейна, то в определенной степени их можно было понять. В Бернштейне было что-то от «Старого Моряка»[3] из поэмы Колриджа. И, имев однажды неосторожность попасть в сферу его внимания, вы могли ощутить себя узником, без суда и следствия. Помню эпизод, произошедший в Оксфорде, незадолго перед Первой мировой войной. Как-то днем он зашел к нам в дом, как раз в тот момент, когда моя жена собиралась выходить, и начал перечислять по памяти исконные славянские названия германских городов к востоку от Эльбы[4]. (В ту пору Бернштейн был еще славянофилом.) Моя жена оказалась застигнутой на сквозняке между открытой дверью и окном. Мысленно она прикидывала: «Это довольно обширный край, и тамошние города, должно быть, многочисленны. Если я попрошу его присесть, а потом закрою окно и дверь, этот пересказ может занять Бог знает сколько времени». Поэтому она продолжала оставаться там, где застал ее этот визит, и простояла так все двадцать минут, которые он длился, за что и поплатилась простудой. Обладай Бернштейн «психической антенной» Ллойд-Джорджа[5] или президента Джонсона[6], он был бы более восприимчив к ответной реакции человека. Однако, на беду, его психический радиолокатор был столь же плох, как и у президента Вильсона[7]. Его внимание было целиком поглощено тем, о чем он сам собирался сказать, и уже не оставалось психической энергии для того, чтобы улавливать чувства собеседника.

Я рад заметить, что моя собственная реакция на непрошеный визит Бернштейна была положительной. Когда вслед за голосом в моей комнате возник и его обладатель, я был моментально захвачен открывшимся мне зрелищем: этой характерной массивной головой, с широким лицом, на котором красовались очки. Я почуял — и не ошибся, — что этот Бернштейн человек симпатичный, и мне вовсе не показалась удушающей проникающая вслед за ним атмосфера Восточной Европы, я нашел ее завораживающей. Его монолог не порождал во мне скуки, он меня околдовывал. По мере того как Бернштейн говорил, отдельные явления восточноевропейской реальности, прежде окутанные туманной дымкой, обретали все более четкие очертания, а затем сгущались в общую картину. Этот мир становился таким же плотным и осязаемым, как и мои уинчестерский или оксфордский миры, и одновременно оставался пленительно непривычным и замысловатым. То был настоящий пир для удовлетворения моего любопытства. Когда мой гость ушел, я остался преисполнен желания увидеть и услышать его вновь; и в течение следующих нескольких лет подобные наши встречи частенько повторялись, причем столь же часто по моей инициативе, как и по его.

Мы хорошо ладили друг с другом, поскольку наши устремления находились в гармонии. Бернштейн хотел говорить, я хотел слушать. Бернштейн очень уместно и своевременно заполнял пробелы в моей картине мира. В этой картине Восточная Европа все еще была, своего рода, *terra incognita*, хотя части света, гораздо более отдаленные от Англии — вроде Индии, Китая или Малайи, — уже что-то значили для меня благодаря знаниям, полученным от дяди Гарри и кузена Фреда. Надо сказать, что подобные представления о мире были типичны для англичан моего поколения и соответствующего происхождения, и большинство наших с Бернштейном современников в Бейллиол-колледже продолжали упорно пребывать в своем диком невежестве относительно Восточной Европы — до тех самых пор, пока в августе 1914 г. не разразилась война. Они пренебрегли возможностью узнать о том мире, представителем которого был Бернштейн, из первых рук — от самого Бернштейна, поскольку питали неприязнь к нему, а стало быть, и к его родине. Не принимая его всерьез, они точно так же не сумели осознать, что и этот его мир тоже был реальностью.

За год до начала Первой мировой войны, когда Бернштейн учился в Бейллиоле на последнем курсе, я тоже находился там, но уже в качестве преподавателя. То был год двух балканских войн[8]. В этот год, во время каких-то каникул — уж не помню, было ли то Рождество 1912 г. или Пасха 1913 г. — Бернштейн поехал на родину навестить семью и по возвращении в Оксфорд выглядел встревоженным. «Ситуация в мире очень серьезная, — сообщил он нам. — Австрийская армия мобилизована на границе, вблизи имения моего отца, а русская армия стоит наготове прямо по ту сторону границы. Европейская война уже не за горами». Но Бернштейну не дали возможности развить эту мрачную тему. При словах «европейская война» большая часть молодых англичан, к которым обращался Бернштейн в переднем квадратном дворике Бейллиол-колледжа, разразились смехом — точь-в-точь как афиняне, когда св. Павел, обращаясь к ним в Ареопаге, дошел до слов «воскресение из мертвых»[9]. Это уж слишком, чтобы быть правдой! Руритания[10], воплощенная наяву! Точно и впрямь в романе Энтони Хоупа! Руритания? А быть может, Утопия? Определенно, мир Бернштейна и мир его насмешников не могли существовать в реальности одновременно — они были несовместимы друг с другом, взаимно несочетаемы. Какому из этих двух миров суждено в итоге оказаться взаправдашним, а какому — миражом? Реальным на поверку оказался мир Бернштейна, а не тех, кто над ним смеялся. Это было полностью доказано. Не прошло и трех лет после того удивительного разговора, как половины из этих незадачливых насмешников уже не было в живых.

Но тот предвоенный разговор оказался не последним и не самым разительным примером британской невежественности, с которой довелось столкнуться галицийцу Бернштейну. В День перемирия, в 1918 г.[11], лорд Роберт Сесил[12], который во время войны был министром блокадных действий, сдержал свою клятву покинуть правительство, как только война закончится, в знак протеста против отделения от государства Епископальной Церкви в Уэльсе[13]. После этого он был сразу же назначен главой рабочей группы британской делегации на предстоящей мирной конференции в Париже, которой предстояло заниматься учреждением Лиги Наций. Лорд Роберт хотел надлежащим образом подготовиться к выполнению этой новой задачи, подкрепившись необходимыми знаниями. Поэтому он послал в Отдел политической разведки Министерства иностранных дел за географической картой Австро-Венгрии. За этот вопрос отвечал Бернштейн, и он отправился в кабинет лорда Роберта, неся карту. Бросив на нее взгляд, лорд Роберт заявил Бернштейну: «Эта карта, должно быть, ошибочна». — «Нет, сэр, она правильная», — ответил Бернштейн. «Но ведь, определенно, этот широко раскинувшийся кусок территории должен быть желтым, а не красным!» — сказал лорд Роберт, показывая пальцем на Галицию, родной край Бернштейна, принадлежавший австрийской короне. (На карте Бернштейна Венгрия была выкрашена в желтый цвет, Австрия — в красный, а Босния и Герцеговина — в зеленый. Я увидел это позже, когда Бернштейн, все еще с картой в руке и оцепенелым выражением лица нетвердой походкой вошел в мою комнату.) «Да нет же, сэр, Галиция это часть Австрии, а не Венгрии»[14]. Наступила минутная пауза. «Ну и забавная же конфигурация у Австрии», — помолчав, задумчиво произнес лорд Роберт, обращаясь, скорее, к самому себе. Услышать такое от министра, который участвовал в блокадных действиях против Австрии последние четыре года! Бернштейн так никогда и не оправился от шока после этой беседы. «Англичане, люди ли они?» — так, помнится, называлась кем-то некогда опубликованная книга. Справедливость этого сомнения, похоже, то и дело подтверждалась оксфордским и уайтхолльским опытом Бернштейна.

Поместье Бернштейна-старшего располагалось в Восточной Галиции, непосредственно по австрийскую сторону российско-австрийской границы. Соседские помещики прозвали Бернштейна-отца «графом Иерусалимским». Он был по рождению еврей, а это было необычно для сельского мелкопоместного дворянства Восточной Галиции. Семейство уже не являлось иудейским по вероисповеданию: они выкрестились в римско-католическую веру. Выбор религиозной принадлежности был связан с тем, что помещики Восточной Галиции были поляками либо, по крайней мере, ополячились. При

этом их крестьяне были украинцами, а по вере — униатами, то есть бывшими приверженцами восточной православной церкви, которые признали верховную власть Папы, а взамен получили разрешение Ватикана отправлять свои церковные службы по православному обряду[15].

Бернштейны перешли в характерную национальность и характерную религию своих восточногалицийских собратьев-помещиков, однако их обращение, хотя и зашло далеко, не было окончательным. Их соседи, видимо, чувствовали, что Бернштейны не сделались стопроцентными поляками и римскими католиками. И свидетельством тому было данное им прозвище. Скорее, наоборот — едва познакомившись с Бернштейном, я сразу понял, что он прекрасно осознает свои еврейские корни и гордится ими. Одно из первых сведений, которое он преподнес мне о своем мире, состояло в том, что он ведет свое происхождение от вильнюсского гаона[16] Илии Бен Соломона, грозного врага хасидов[17]. (Гаон? Хасидизм? Франкисты[18]? Эти фигуры из истории еврейской черты оседлости[19] стали частью моего интеллектуального багажа с тех пор, как Бернштейн внес их в мое сознание.)

Начиная с этого момента впредь я буду называть Бернштейна тем именем, которое он принял после того, как решил связать свою судьбу с Англией. Он стал называть себя Неймир. Почему Неймир? Это имя является гибридом. Возьмите слово «Немиров», название семейного поместья Бернштейнов, отбросьте последний слог, являющийся суффиксом прилагательного, замените гласную по аналогии с английской фамилией Нейпир[20], и вы получите имя, которое его изобретатель и последующий носитель прославил своими достижениями в качестве историка.

Хотя Льюис Неймир в то время, когда я впервые узнал его, чувствовал приверженность к своему еврейскому прошлому, но, по моим воспоминаниям, в тот период он смотрел на международную политику скорее польскими, чем еврейскими глазами. Он тогда горел надеждой увидеть Польшу освобожденной и воссоединенной, а потому желал ниспровержения владычества и Германии, и Российской империи. Ясно, что это было единственным условием, при котором политическое возрождение Польши могло воплотиться в жизнь. Однако в то время эта польская надежда представлялась химерической. Даже если бы разгорелась война в Европе, то Россия и Германия были бы в ней противниками, так что, судя по всему, лишь один угнетатель мог бы оказаться поверженным, а победитель, кто бы им ни оказался, продолжил бы, как и прежде, угнетать принадлежащий ему кусок Польши. Но, как мы знаем, в действительности обстоятельства сложились непредсказуемо. К концу Первой мировой войны и Россия, и Германия оказались проигравшими, и Польша смогла воссоединиться за счет двух неожиданно пораженных гигантов.

Наш с Льюисом Неймиром общий друг и соученик по Бейллиолу Хэмиш Пейтон[21] (профессор Х. Дж. Пейтон) придерживается мнения, что никогда — даже перед Первой мировой — польские чувства Льюиса не были настолько доминирующими, а еврейские настолько подчиненными, какими они, насколько я помню, представлялись мне в политических воззрениях Льюиса того времени. Возможно, на самом деле, и не существует противоречия между впечатлениями Хэмиша и моими. Скорее всего, мы просто вспоминаем разные стадии развития политических взглядов Неймира. Я больше всего общался с Льюисом в предвоенное время, когда мы еще были студентами. Хэмиш же чаще сталкивался с ним во время Первой мировой войны, когда они оба, находясь на службе у британского правительства, вместе работали над обстоятельным и детальным исследованием этнического состава населения по периметру той территории, в которой поляки, бесспорно, составляли решающее большинство. (Результатом их совместной работы стала «линия Пейтона» — известная как «линия Керзона»[22]; научные сотрудники, какими бы выдающимися в интеллектуальном отношении они ни были, редко удостаиваются чести попасть в список участников проекта.) Нет сомнения, что, когда Польша восстановила свою независимость, Льюис сделался полонофобом и сионистом. Возможно, он уже и ранее сильно дрейфовал в том направлении. Он постепенно охладевал к польскому национализму — пожалуй, по мере того, как польские националисты все больше выказывали свое истинное лицо.

Переход Льюиса от полонизма к сионизму, как бы и когда бы он ни произошел, вполне согласовывался с его неизменными антигерманскими настроениями. Понятно, что к концу периода между двумя мировыми войнами Германия стала еще более ненавистной Льюису как еврею, чем перед Первой мировой была ненавистна ему как поляку, когда поляки, как и венгры, находили в евреях своих политических союзников. В противоположность враждебности Льюиса к Германии его враждебность к России не была непримиримой. Это, в конце концов, было продемонстрировано двумя позитивными действиями, которые явились двумя самыми важными событиями в его частной жизни. Льюис оба раза женился на женщинах, происходивших из России, и его вдова, леди Неймир, сделала последнюю главу его жизни, безусловно, счастливейшей. Я никогда не видел, чтобы какое-то человеческое существо было в столь огромной степени преображено другим человеческим существом, как это произошло с Льюисом под воздействием этой женщины. «Преображение» едва ли является слишком сильным словом, чтобы описать эффект, произведенный на Льюиса его второй женитьбой. Та внутренняя привлекательность, которую я угадал в нем при первой нашей встрече, теперь светилась в выражении его

лица и манере поведения, не заслоняемая прежними тучами. Последняя глава жизни Льюиса оказалась слишком короткой. По меркам нынешней средней продолжительности жизни, он умер рано, когда ему еще предстояло сделать многое и оставалось многое, ради чего стоило жить. Это было грустно; и все-таки последний период жизни позволил ему многое наверстать, компенсировав предыдущие неудачи и разочарования.

Льюис был обезоруживающе обаятелен от начала до конца; и в ту пору, когда он еще не был преображен своей второй женитьбой, это безотчетное и обезоруживающее очарование была ему просто необходимо, чтобы дружба с ним могла выдержать серьезные угрозы. Ибо была в его характере еще одна черта, которая, покуда не смягчилась с годами, немало вредила его обаянию. Если вы схлестывались с ним в каком-то пункте, который для него имел значение, он был способен объявить против вас тотальную войну, каким бы старым и близким его другом вы ни были; а в войне он был всегда неистов, порой мстителен и даже ядовит — иными словами, *impiger, iracundus et acer*[23]. Если бы кто-то другой объявил подобную войну в столь же резком, невоздержанном духе, то добрые чувства к такому человеку неизбежно стали бы угасать и, рано или поздно, вероятно, совсем бы угасли. Однако было в Льюисе что-то обезоруживающее, даже когда он бросал вам нешуточный вызов. Могу сказать только о своей ответной реакции. Когда он ссорился со мной, я не ощущал побуждения дать сдачи. В противоборстве между давней привязанностью к нему старого друга и нынешним раздражением привязанность легко побеждала. Эта давняя привязанность как бы говорила досадующему человеку, что воинственно настроенный Льюис — это еще не весь Льюис. Человек будто вспоминал прежнее голубое небо — пусть даже в данный момент оно было затянуто тучами, — и у него не оставалось сомнений, что настанет день, когда тучи уйдут и небо вновь засияет.

Льюис ссорился со мной по поводу того, что я писал в «*Обзоре*» Четем-Хауса, занимаясь исследованием истории Палестины в период ее нахождения под британским мандатом[24]. Он возражал против моего отношения к этому противоречивому и скользкому предмету, потому что к тому времени сделался ярым сионистом, тогда как я, по мере разворачивания палестинских событий, начинал все больше сомневаться в том, что мандатная власть сумеет в равной мере учесть интересы палестинских арабов и евреев. Я опасался, что арабам будет навязано несправедливое соглашение, и потому чувствовал необходимость непременно отразить в своем повествовании те факты, которые, как мне представлялось, давали арабам серьезный повод для обеспокоенности, а стало быть, и для возмущения.

Частью исследовательского метода, который я тогда выработал, было ознакомление с моими черновыми набросками, посвященными полемическим вопросам, авторитетных специалистов из противоборствующих лагерей, с тем, чтобы, рассмотрев и сравнив различные замечания, соответствующим образом переработать мои предварительно написанные главы, прежде чем отослать текст в набор. Когда я просил эксперта прочесть какой-то из моих черновиков, я обычно уверял его, что самым внимательным образом рассмотрю любые возникшие замечания и предложения; однако я также прибавлял, что не могу гарантировать, что непременно приму эти предложения, даже частично.

Когда мне пришлось приступить к изложению палестинских событий взрывоопасного 1929 года[25], я сразу же подумал о Льюисе и послал ему свой набросок с приложенным к нему письмом, содержавшим обычную мою формулировку. Комментарий Льюиса был яростным и пространным. К тому времени, как я переделал свой текст с учетом всех пунктов, перечень сносок, уточняющих первоначальные утверждения в свете замечаний Льюиса, стал таким же толстым, как и в комментариях к пьесам Эсхила или посланиям св. Павла. Но Льюиса это не удовлетворило. Ему-то хотелось включения его поправок в мой текст *in toto u verbatim* [*лат.* полностью и дословно]. (Среди многочисленных моих комментаторов, за весь тридцатитрехлетний срок, единственный человек, кроме Льюиса, который счел обидой не полное принятие его замечаний, был сэр Сэмюэль Хор[26].) После того как ситуация повторилась в последующие год-два, Льюис разорвал со мной отношения. Если мы сталкивались на улице, он демонстративно проходил мимо в зловещем молчании; если же со мной оказывались мои коллеги по Четем-Хаусу, он игнорировал их тоже. Таким образом, я навлек на целый институт и все его работы анафему Льюиса.

Мотив, побудивший Льюиса стать сионистом, носил рыцарственный характер; этот же мотив двигал и другими людьми еврейского происхождения, которые, подобно Льюису, прежде тоже довольно легковесно относились к своему еврейству. Теперь это было демонстрацией солидарности с еврейским народом — в тот период, когда еврейский народ переживал неблагоприятные времена.

В течение первых пятнадцати лет после окончания Первой мировой войны, несчастия евреев были, конечно, не сравнимы с теми, которые им предстояло перенести, когда Гитлер захватил власть в Германии и вслед за этим завоевал большую часть остальной континентальной Европы. До захвата в России власти большевиками в 1917 г. врагом номер один для евреев была Россия. В 1915 г. русские армии при своем масштабном отступлении из Галиции через еврейскую черту оседлости *en passage* пограбили, согнали с мест и в

некоторых случаях допустили убийства евреев тех местностей, через которую отступали. Но многие жертвы войны из этих еврейских местечек нашли новую родину в Австрии и Германии; и хотя Британия обнародованием своей Декларации Бальфура[27] частично отобрала у Германии выгодную роль главного друга евреев, Германия времен Веймарской республики[28] все еще оставалась сравнительно благоприятным местом для проживания евреев. (И Британии, и Германии предстояло недолго оставаться доброжелательными по отношению к евреям.)

Странами, в которых в результате мирного договора 1920–21 гг.[29] уже поднялась волна антиеврейского общественного мнения, были Польша и Венгрия. Покуда управление польским и венгерским народами оставалось в руках земельных магнатов и мелкопоместного дворянства, положение местной еврейской общины было благоприятным. Местные нееврейские аристократы с удовольствием нанимали евреев на службу, по достоинству ценя их услуги. Польский землевладелец, к примеру, держал на службе еврея-управляющего, который вел его дела. Но после восстановления Польского государства в прежних границах ситуация изменилась в неблагоприятную для евреев сторону. В какой пропорции предстояло распределиться постам в новой польской государственной гражданской службе? Здесь евреи столкнулись с сильной конкуренцией со стороны польского городского среднего класса. Этот средний класс был ревнив, мелочен и неблагороден. Его представители не учли интересов своих еврейских соотечественников. Освобождение Польши не обернулось интеграцией и равенством для еврейского меньшинства. Именно этим объяснялись внезапное и сильное отвращение Льюиса Неймира от полонизма и поворот к сионизму. Возгоревшись вследствие польской несправедливости чувством солидарности с еврейским народом, Льюис захотел внести свой собственный вклад в дело облегчения невзгод евреев. Сионизм показался ему в этом плане привлекательным.

Думаю, ни в один из периодов своей жизни Льюис не был иудеем в религиозном смысле, как никогда не был и истинным католиком. Я не помню, чтобы мы когда-либо обсуждали с ним и сопоставляли наше отношение к религии, однако мое впечатление таково, что с того времени, когда он впервые сам задумался для себя над этим вопросом, и до момента женитьбы на Джулии де Бособр он был агностиком. Конечно, древние религиозные взгляды и мировоззрения имеют способность переживать сопутствующие им религиозные верования, в чем легко убедится всякий экс-иудейский или экс-христианский агностик, если хорошенько заглянет в самого себя. Так что, возможно, для Льюиса практическая ценность Палестины для еврейского народа как страны, в которой евреи теперь могли бы жить свободно, не будучи изгоняемы, повышалась

благодаря сентиментальной ее ценности как Эрец Исраэль — земли обетованной, в которую еврейской диаспоре предназначено вернуться самой судьбой.

Любопытный дополнительный свет проливает на отношение Льюиса к иудаизму как к религии один эпизод семейной истории, который он однажды подробно изложил мне. Когда Льюис был ребенком, семья приняла к себе на воспитание маленького еврейского сироту, примерно того же возраста, что и он сам. Когда этот мальчик вырос, Бернштейны изыскали деньги, чтобы заплатить за его переезд в Соединенные Штаты. Хаммерлинг (так звали их протеже) был благодарен приемной семье за то, что она для него сделала, и после переезда в США благодарность его выразилась в практической форме — потоке подарков немировскому дому. При этом подарки раз от разу становились все более роскошными — вплоть до золотых часов и мехов. Откуда происходили американские деньги Хаммерлинга? Насколько было известно Бернштейнам, он стал шахтером. Когда время учебы Льюиса в Оксфорде подходило к концу, тайна Хаммерлинга, кажется, получила разгадку. Мой друг получил письмо от Хаммерлинга, где говорилось, что тот поможет Льюису сколотить состояние, если Льюис приедет в Америку и войдет с ним в долю в его бизнесе. Хаммерлинг обязывался оплатить Бернштейну проезд до Америки.

Отчасти из любопытства Льюис принял это предложение и, по прибытии на место, обнаружил, что Хаммерлинг давно перестал быть шахтером. Теперь вместо мускульной силы он использовал силу ума, и работа мозгами оказалась куда более прибыльной. Хаммерлинг установил контроль над значительной частью иноязычной прессы Соединенных Штатов и продавал свое обретенное политическое влияние тому, кто предложит наивысшую цену. Это влияние было сильно среди избирателей-иммигрантов первого и второго поколения, и доходы бизнеса Хаммерлинга были соразмерно высоки. Редакторами большинства его газет были священники иноязычных католических общин; поэтому, чтобы придать делу более гладкий ход, Хаммерлинг сам перешел в католичество.

Льюис нашел это крайне отвратительным. (Сам он всегда был скрупулезно честен.) Тем не менее, уже приехав, он решил остаться на некоторый срок; и на его пребывание там пришелся праздник Йом Киппур[30]. В этот день бывшие иудеи могут, по обычаю, посетить синагогу без того, чтобы им задавали какие-то вопросы. «Нам лучше сходить», — сказал Льюису Хаммерлинг, и они пошли. Однако на следующий день Хаммерлинг снова, как и прежде, был в своем бизнесе, а когда началась Первая мировая война, Хаммерлинг стал немецким шпионом. Льюис порвал с Хаммерлингом не на почве религии, а на почве этого приспособленчества. Хаммер-

линг был благодарен семье Бернштейнов, Бернштейн был благодарен Англии, поэтому он отверг мысль сделать состояние в Америке и вернулся в Англию, чтобы стать студентом привилегированного учебного заведения.

Каким бы ни было возможное отношение Льюиса к религии, его сионизм был, в конечном счете, практического и политического свойства. Однако антиклерикальные националисты могут быть фанатичными не хуже религиозных зелотов[31]. В самом деле, со времен подъема и распространения агностицизма, явившегося возмездием за западные католико-протестантские войны[32], уже ослабевавший религиозный фанатизм нашел себе альтернативное вместилище в виде национализма. Ультра-сионисты были и являются до определенной степени политическими фанатиками; и этот дух нашел отклик у воинствующей части темперамента Льюиса.

Наша с Люисом ссора поддерживалась им в течение нескольких лет, и конец ей положила лишь счастливая случайность. Однажды днем мы столкнулись с ним на Лоуэр-Риджент-стрит, и, позабыв про свой обет не поддерживать со мной отношения, Льюис подхватил ту ниточку, которую обронил в моей комнате в Четем-Хаусе за двадцать или тридцать месяцев до этого. «Тойнби, те ваши сноски...» Но строптивость Льюиса была такой комичной, что я со смехом оборвал его. «Послушайте, Льюис, — сказал я, — это просто смешно. Мы были однокашниками в Бейллиоле и друзьями в течение долгих лет. Это чистый абсурд, что каким-то сноскам суждено встать между нами так же, как и политике». К моему удивлению, он сдержался, и на его воинственном лице расцвела улыбка прежнего симпатичного Льюиса. С тех пор Неймир уже никогда не порывал со мной, хотя наши взгляды на палестинский вопрос оставались столь же различными, как и прежде.

Сионизм заставил Льюиса на время порвать со мной, но был не в силах заставить его расторгнуть связь с Англией. Как Неймир ухитрялся совмещать эти две несовместимые приверженности, я не знаю, но дело обстояло именно так. Он влюбился в эту страну с первого взгляда и, по меньшей мере, за десять лет до того, как был увлечен сионизмом, Англия не отплатила Неймиру в равной мере за эту преданность. Официальное признание государством его заслуг было, на мой взгляд, неадекватным. Правда, Англия в конце концов все-таки пожаловала его рыцарским званием[33], но она так и не предоставила ему преподавательской кафедры в Оксфорде. С другой стороны, неофициальный пиетет, которого он добился в Англии, был огромен. Если подражание есть самая искренняя форма лести, то сердце Льюиса должно было быть согрето зрелищем легиона последователей-неймиристов, которые проросли на британской почве, где он посеял зубы дракона в виде своего собственного

особого подхода к изучению истории. Задолго до своей безвременной кончины Льюис успел почувствовать, как те облака, которые всегда клубились за ним, превратились в фимиам славы. Состав этих облаков изменился с тех пор, как они вплыли за ним в мою комнату однажды утром 1909 г. Тогда это была атмосфера Восточной Европы, и мало кто из Льюисовых товарищей-студентов разделял мой интерес к ней. К двадцатым годам XX столетия она преобразовалась в атмосферу британской конституционой истории XVIII века, и мой интерес к ней затух, однако пробудился интерес сонма других историков[34].

Я, со своей стороны, продолжал держать в поле зрения восточноевропейские дела. Это происходило в русле исторического изучения прочих областей незападного мира. И к тому времени, как Льюис сфокусировал на Англии луч того прожектора, с помощью которого прежде высвечивал для меня Восточную Европу, у меня уже были основательные познания в восточноевропейских вопросах. Мое обучение, начатое Льюисом, продолжалось в предвоенный период с помощью его кузена Эрлиха[35], который проложил путь в Оксфорд по стопам брата. Голова Эрлиха была еще массивнее, чем голова Льюиса, и еще плотнее набита деталями практических знаний о Восточной Европе. Короче говоря, Эрлих явился Бернштейном в концентрированном виде, и сам Бернштейн (каковое имя все еще носил в ту пору Льюис) отнюдь не воспринял это добродушно. Одна из дополнительных моральных наград Льюису за то, что его занесло так далеко от родного дома, состояла в том, что, подобно Одиссею в конце странствий, он достиг земли, где снискал лавры, в том числе своей уникальностью; и вот теперь выходило, что его ограбили, отняв эту уникальность, причем сделал это его же собственный родственник, обладавший с ним карикатурным сходством. В Оксфорде в то время у меня была собака северной самоедской породы[36], которая, как и Льюис, была местной достопримечательностью и подобно ему наслаждалась сознанием своей уникальности. И вот однажды мой самоед повстречал на углу улицы двойника. Его отвращение комическим образом напоминало отвращение Льюиса, чувствовавшего, что Эрлих его выследил.

Занявшись изучением английской истории, Льюис поначалу не стал углубляться ни в британскую политическую историю, ни в британскую историю XVIII в. Его первым открытием были сочинения («жития») английских пуритан XVII в. К концу Первой мировой войны он мог по памяти декламировать оттуда длинные пассажи. Его анализ структуры британской политики во времена царствования Георга III появился вслед за этим. Может показаться *tour de fopce*[37], что ученый, бывший по происхождению славянизированным евреем, стал величайшим авторитетом по такому, чисто британскому явлению. Тем

не менее у Льюиса были два не менее видных предшественника. Одним из них был русский ученый сэр Павел Виноградов[38], который прошел период ученичества на родине, занимаясь исследованием Русского мира[39] (*Russian mir*), но составил себе имя в Оксфорде в качестве специалиста по Книге Страшного суда[40] и по английскому манору[41]. Другим предшественником Льюиса был французский ученый-еврей Эли Галеви[42], который стал ведущим авторитетом своего времени по социальной истории Британии первых десятилетий XIX века. Мне кажется отнюдь не случайным, что такой выдающийся вклад в изучение английской политики, социальной жизни и культуры был сделан именно иностранными учеными, чей собственный культурный фон был столь непохож на изучаемый им английский культурный феномен. Экзотика не просто привлекательна: целеустремленному исследователю экзотическая среда раскрывает свои тайны скорее, чем его собственная среда обитания. Когда упомянутые трое ученых континентальной Европы почувствовали себя как дома в этой чуждой им изначально сфере английской истории, они оказались в выгодной позиции, которая давала им возможность внимательно рассмотреть все свежим взглядом; и этот иностранный взгляд смог обнаружить такие вещи, причем весьма достопримечательные, которые их английские коллеги не сумели заметить, поскольку воспринимали свой родной и хорошо знакомый пейзаж как нечто само собой разумеющееся.

Льюис, к примеру, однажды пришел ко мне в состоянии некоторой взволнованности, чтобы поделиться только что сделанным наблюдением. Он заметил, что английский язык, в отличие от польского, имеет два лексикона вместо одного. Во-первых, подобно польскому, английский имеет конечно словарь повседневной речи, но вдобавок он располагает еще и лексиконом авторизированной версии Библии короля Иакова[43]; и его можно привлекать, чтобы обогатить первый. Делать это можно любыми порциями — начиная от буквального цитирования текста Писания до тончайшей детали, намека нюанса, заимствованных из библейского языка. В противоположность этому, обратил внимание Льюис, польский язык лишен соответствующего ресурса, потому что Польша — католическая страна латинского церковного обряда, и, таким образом, авторизованная версия Библии там так и осталась в виде *Latina Vulgata*[44], то есть латинского перевода Библии, сделанного в IV веке. Из этого источника польский язык не мог ничего заимствовать, потому что между польским и латинским лежит огромная бездна. Это открытие Льюиса стало также открытием и для меня. В отличие от Льюиса, я был воспитан на Библии короля Иакова, и различия между ее лексиконом и повседневным английским языком моего времени было мне всегда так очевидно, что я никогда над этим

не задумывался. Даже если бы я это и сделал, все равно не смог бы без посторонней помощи прийти к выводам Льюиса, потому что не владел ключевым условием сравнения, которым владел Льюис, имевший польский в качестве родного языка.

Главные открытия Льюиса в британской жизни были сделаны, как известно, в области истории британского парламентаризма XVIII в. Область знания, которую Льюис сделал своей собственной и в которой достиг таких вершин, кажется мне почти столь же непривлекательной, как тригонометрия. Конечно, это пробел в моих интеллектуальных представлениях, и подобная слепота есть недостаток. Но, хотя меня не очень увлекает избранная Льюисом *corpus vile*[45] как таковая, я тем не менее очень заинтересовался методом, который он разработал для ее препарирования.

Льюис однажды заметил мне, что, хотя со времени нашего знакомства мы пошли совершенно различными путями, у нас осталось нечто общее: мы оба не желаем следовать широким и проторенным путем, тем путем, который был протоптан большинством современных западных историков. Сравнение, которое Льюис употребил в этом случае, было таким. «Вы, — сказал он, — стараетесь увидеть дерево в целом. Я стараюсь обследовать его, лист за листом. Основная масса историков пытается рассматривать дерево, ветка за веткой. И мы с вами сходимся в том, — подытожил он, — что этот последний подход, по меньшей мере, малообещающ».

Сам я убежден: то общее в подходе, что было у нас с Льюисом, — это нечто большее, чем просто отрицание тривиального пути. Я уверен, что мы отвергли тот, другой путь, потому что он представлялся нам обоим мифологическим. Оба мы старались демифологизировать историю. Мы старались, каждый следуя собственным курсом, найти некий способ выразить исторические события в терминах не мифов, но реальностей: «*wie es eigentlich gewesen ist*»[46], выражаясь известными словами фон Ранке. Та реальность, с которой я старался соотнести историю («дерево в целом», выражаясь словами Льюиса) — это, так сказать, вся Вселенная, вместе с конечным присутствием духа за историческим явлением. Отдельные листья — то есть та реальность, которой стремился оперировать Льюис, — это отдельные человеческие существа, человеческие индивидуальности. Их бесчисленные и замысловато переплетенные взаимоотношения и производят ту овеществленную ткань истории, которая предлагается нам, чтобы мы за нее ухватились, если только мы в состоянии найти способ постичь тонкую, ускользающую структуру этой паутины. Я не собираюсь рассматривать здесь свой собственный метод. Я распространялся по этому поводу в целой серии других изданий. Предметом данной главы является научный подход Льюиса; и этот подход интересует меня не меньше, чем мой собственный.

Он интересует меня, потому что, на мой взгляд, раскрывает суть того, что составляет одну из ключевых проблем историка, как я ее вижу.

Мне представляется (и именно так представлялось Льюису), что реальности в мире человеческих деяний — это отдельные люди, а также связи и отношения, в которые эти люди вступают. За каждым человеческим деянием стоит какая-то отдельная персона. Каждое человеческое действие есть продукт предварительного акта выбора, а способность делать выбор есть монополия человеческих личностей. Поэтому, когда мы говорим: «Гарольд Вильсон[47] сделал то-то и то-то», — мы используем язык на сто процентов реалистический. Если мы говорим: «Премьер-министр сделал то-то и то-то», наши ноги уже не столь твердо стоят на земле, потому что термин «премьер-министр» — это абстракция; титул этот истерт, как костюм, побывавший в употреблении у нескольких людей по очереди, и реальностью являются те, кто его носил, а не их служебное облачение. Если мы говорим: «Это сделано правительством Ее Величества», нас сносит с твердой почвы в область мифологии. На самом деле мы ссылаемся на действие некоторого числа реальных сил, а именно — на сеть взаимоотношений между мистером Вильсоном, мистером Стюартом, мистером Гантером, мистером Брауном и несколькими другими реальностями в виде человеческих личностей. «Правительство Ее Величества» — это мифический персонаж; и таковыми являются субъекты, относящиеся к той же категории: Соединенное Королевство, электорат, королевская власть, церковь, суд, коллегия адвокатов, предприниматели, завсегдатаи скачек. Эти коллективные абстракции, которым мы приписываем человеческие поступки, есть сущности того же нереального порядка, как нереиды, дриады, ореады[48] и прочие антропоморфические божественные существа, с чьими воображаемыми действиями древние греки олицетворяли проявления морей, лесов, гор и других сил неодушевленной природы, прежде чем Фалес[49] свел все эти мифические существа к воде.

Каждый согласится, что историю надо писать, следуя курсом Фалеса, в терминах реальностей, а не мифов. Мифическая история есть негодное средство описания реальностей человеческих деяний, подобно тому как словарь терминов Эразма Дарвина[50] в его сочинении «*The Love of Plants*» не подходит для описания реальностей ботанической науки. Тогда попытайтесь написать кусок исторического повествования в терминах только лишь человеческих индивидуальностей и их взаимоотношений. Этот эксперимент окажется разочаровывающим. Вы убедитесь, что не сможете написать ни строчки без того, чтобы не приписать мифическим абстракциям авторство деяний, которые, в действительности, выполнялись (как

вы очень хорошо знаете) не этими несуществующими духами из страны сказок, а человеческими индивидами.

Почему же оказывается, что мы пишем о человеческих деяниях в терминах, которые, как мы знаем, являются воображаемыми? Историки — не единственные исследователи человеческих деяний, которые вынуждены на этом пути сдаться под тяжестью своей собственной задачи. Социологи, антропологи и экономисты преуспевают в достижении своих целей ничуть не лучше. Все они, точно так же, бывают сокрушены задачей, которую ставит перед ними Психея[51] — совладать со всеми этими громадными количествами, с которыми человеку, с его слабыми силами, без посторонней помощи, справиться не под силу. В наше время эта задача была отягчена специфической особенностью современного мира. Со времен промышленной революции количество всего в человеческом окружении — особенно объем продукции и численность населения — непрерывно, беспорядочно и неумеренно возрастают, тогда как силы и возможности самого человеческого существа остаются теми же, что и прежде. Ограниченность этих сил наиболее жестко проявляется в сфере интеллектуальной работы, которую способен выполнить одиночный человеческий мозг и которую нельзя ускорить, как в сфере промышленного производства, бригадным методом. В области интеллектуального труда пределом мощности одиночного мозга является максимальное количество работы, которое способен выполнить энергичный, прилежный, работящий мозг за работоспособный период своей жизни. Этот предел был несколько расширен, благодаря прогрессу медицины, за счет увеличения средней продолжительности работоспособной жизни; но этот выигрыш, полученный человеческим существом, смехотворно мал по сравнению с многократно умножившимся полем интеллектуальной работы, количеством явлений, которые надо постичь. Интеллектуальный труженик, изучающий человеческие деяния, обнаруживает, что не в состоянии преодолеть все разрастающуюся пропасть между этими двумя частями баланса.

Трудность в описании человеческих деяний в терминах реальностей иллюстрируется нашей неспособностью постичь то, что конкретно происходит на выборах. Единственный способ, который мы на сегодняшний день нашли для их описания, или протоколирования, относиться к выборам как к некоему обезличенному событию. Из такого-то и такого-то количества потенциальных избирателей, такое-то и такое-то количество действительно проголосовало (в урны были опущены бюллетени); из отданных голосов такое-то количество было отдано в пользу такой-то партии и такого-то кандидата. Обеспечившее победу количество голосов составило такую-то величину. Конечно, это неадекватный способ описания реальности,

который явно вводит в заблуждение. Реальность не была одним простым обезличенным событием, она представляла собой необъятное число персональных действий индивидуальных человеческих существ, которые действовали по замысловатой схеме связей и отношений. Некоторые из действий потенциальных избирателей были негативными. Эти люди проигнорировали выборы и не стали голосовать. Из тех же, кто проголосовал, некоторые отдали голоса без предварительной консультации; другие предварительно обсудили эти вопросы со своими соседями, с официальными агитаторами, а возможно даже с самими кандидатами — одним или больше. Полная регистрация всех этих действий, негативных и позитивных, и была бы оценкой выборов в терминах реальностей. Почему же тогда историк, который пишет исследование о выборах, или социолог, который приступает к их анализу, не представляют свои открытия в этих реалистических терминах персональных человеческих действий? Почему они вместо этого прибегают к обезличенным абстракциям, о которых сами знают, что они нереальны? Одна из причин такого их поведения очевидна, и она непреодолима: количества, которые надо вовлечь в подобный отчет в терминах реальностей, настолько обширны, что без посторонней помощи, в одиночку, наблюдатель не может даже начать ими оперировать. Ему требуется проследить поток чувств и мыслей каждого избирателя, а также — каждую нить в паутине взаимоотношений и взаимодействий всех избирателей и их соседей, на протяжении всего периода избирательной кампании, и, пожалуй, даже в продолжение предшествующего периода, который может оказаться неопределенно длительным. Это воистину задача, которую человеческий разум не может даже надеяться выполнить самостоятельно.

Льюис Неймир имел, в частности, две добродетели, которые замечательны сами по себе и являются важнейшими для изучения человеческих деяний. У него была интуиция, то есть способность проникать в суть вещей, и отвага. Льюис видел, что в этой области исследования проблема состоит в том, чтобы демифологизировать наш язык путем описания вещей в терминах человеческих реальностей. Он понял, что если нам суждено разрешить эту семантическую проблему, то суждено также разрешить практическую проблему совладать с непомерными количествами, и он составил план кампании, решив начать наступление со стороны реальностей. Он проводил анализ действий, мыслей и чувств отдельных человеческих существ, вовлеченных в рассматриваемые им трансакции. Этому анализу надлежало быть столь точным, доскональным и обширным, чтобы охватывать всю сумму реальностей и, таким образом, сделать ненужной мифологическую пародию на эти реалии. Когда же Неймир разработал этот план, ему хватило отваги запустить его в

действие. То был акт веры, ибо он мог полагаться только на собственные ограниченные человеческие интеллектуальные способности, не подкрепленные помощью сверхъестественных сил или возможностями технологии.

Льюис не был, конечно, первым из тех, кто, изучая человеческие деяния, задействовал «просопографический» («персонифицированный»)[52] метод исследования. Своеобразие индивидуальности этих первопроходцев раскрывается уже в самом техническом термине «просопография». Это слово, которое означает «документирование индивидуальностей», образовалось из двух греческих составляющих, и данный метод уже был применен в области греческой и римской истории прежде, чем ее взял на вооружение Льюис Неймир. Еще до того, как он начал составлять свой справочник «Кто есть Кто», включающий членов парламента Англии, а затем — и Соединенного Королевства, подобные издания уже существовали. Одно касалось военачальников Александра Великого, другое — представителей римского правящего класса[53]. В Китае история была частично представлена в форме просопографии с тех самых пор, как образец китайской историографии был установлен ее отцом Сыма Цянем[54] во II веке до н. э. Льюис, однако, создал новую отправную точку, которая была, должен отметить, не только особой, но эпохальной. Его предшественники в областях китайской и греко-римской истории внесли заметный вклад в банк первичных знаний человечества. В собрании трудов по китайской истории объем персонификационных материалов широк. Но ни китайские, ни западные просопографы — классицисты не заглядывали далеко — если вообще заглядывали — за пределы процесса накапливания биографических сведений. Льюис Неймир был, пожалуй, первым просопографом, для которого этот процесс был не самоцелью, а средством достижения самостоятельной цели, лежащей за его пределами. Цель решительного погружения Льюиса в просопографию состояла в том, чтобы суметь в конечном счете представить саму историю в категориях отдельных личностей и их связей друг с другом, то есть «*wie es eigentlich gewesen ist*».

Следует заметить, что персонификационный рецепт Льюиса для выявления реальностей противоположен рецепту социологов для той же самой цели. Льюис начинает с овладения реальностями, то есть человеческими персонажами, и его цель — в конечном счете оставить эти личности в покое, как только будут вытеснены и уничтожены последние остатки мифологических абстракций. В противоположность этому социологи начинают с анализа абстракций; и они рассчитывают, путем последовательного обтачивания аналитических приемов, уменьшить абстракции до крупиц размером с отдельную человеческую личность. Надежды социологов связаны с тем,

что в результате «последней стадии этого анализа» их *corpus vile* претерпят неожиданную метаморфозу. Они верят, что они обернутся межличностными отношениями и индивидуальными действиями реальных, живых человеческих существ. Надежды социологов представляются более зыбкими и менее обоснованными, чем у Льюиса, а их подход, соответственно, не столь обещающим.

Но насколько обещающим является противоположный подход Льюиса? Все просопографы, которых я упоминал (он сам, западные классицисты и китайцы), были рационалистами, но при этом не владели техническими средствами; и это обрекло их на необходимость схватиться врукопашную с противником сверхчеловеческой силы.

Они не искали божественной поддержки, которая в мифе пришла на выручку душе — Психее; и они не прибегали к услугам машины, которая бы заменила усилия их собственных серых мозговых клеток. *Deus ex machina*[55] может оказаться недоступным; кроме того, без него вполне можно обойтись интеллектуальному труженику, который восстает против бесконечности. Но — *Aut deus aut machina*[56]. Если же исследователь не заручается поддержкой одной из этих двух внешних сил, то как может он рассчитывать на победу в деле освобождения бесконечности от пут мифологии и сведение ее к реальности?

Очевидно, что наиболее многообещающими сферами для просопографа, не прибегающего к посторонней помощи, будут те, в которых число действующих персон невелико, а средний объем имеющейся информации о каждой из них велик. Эти условия лучше всего соблюдаются при исследовании олигархических обществ; и не случайно именно китайские, македонские, римские и британские правящие классы стали объектами, на которых персонификационный метод исследования был испытан первым делом, а сам эксперимент оказался в значительной мере успешен. Этот успех, однако, был лишь относительным и неполным. Он и не мог быть больше при отсутствии дополнительной поддержки извне этим упорным персонификационным усилиям. Не мог, поскольку даже внутри самого узкого и закрытого от внешнего мира олигархического режима объем персонификационного материала все еще слишком широк, чтобы исследователь мог его переработать без внешней помощи, усилиями одного лишь собственного ума, в пределах ограниченного рабочего времени одной жизни.

Льюис к концу жизни урезал свою норму работы по истории британского парламента, ограничив ее XVIII веком и хронологическим отрезком протяженностью в двадцать лет. Тем не менее в последний раз, когда мне случилось осведомиться у него, как он поживает, Льюис был настроен пессимистически. Было очевидно,

что он пал духом и не рассчитывает прожить достаточно долго, чтобы самостоятельно завершить эту и так уже радикально урезанную порцию работы; в конце концов он умер, оставив ее незавершенной. (К счастью для Льюиса, она была закончена после его смерти — коллегой, которого он сам посвятил в сущность этого метода и который стал официальным последователем Неймира с его собственного благословения.)

Потерпел ли Льюис неудачу? На первый взгляд, может показаться и так, поскольку незаконченная часть работы — а это была всего лишь одна порция из огромного их количества, на которое он сам разделил весь объем, — являлась, в свою очередь, только одним из шагов чисто подготовительного этапа в разработанном им плане действий. К концу жизни громадный объем этой подготовительной работы был проделан им персонально либо под его непосредственным руководством испытанными и прошедшими его личный отбор сотрудниками. В составлении биографий достижения Льюиса были столь же героическими по масштабу, что и достижения бога Тора, принявшего вызов осушить предложенный ему Гигантами рог[57]. Когда, наконец, Тор опустил рог, так и не выпив его до конца, Гиганты признались, что исподтишка подсоединили кончик рога к морю и что теперь он выпил одну треть всего мирового океана. Тем не менее две трети воды все же остались не выпитыми; поэтому, хотя деяние Тора было героическим, он проиграл свое пари. Льюис уподобился Тору в поставленной самому себе задаче собрать воедино персонификационные материалы для написания истории парламента через реальные деяния конкретных личностей, их жизни и межличностные отношения. Но героические усилия Льюиса также разбились о превосходящую силу в виде несметного количества материала, которым ему предстояло овладеть. Написание истории парламента, начало которому положил Льюис, еще не вступило в свою вторую и завершающую фазу — ту фазу, которая и составляет цель подготовительных операций. Льюис умер, не успев завершить Давидову часть возведения храма и не успев приступить к Соломоновой[58].

Означает ли это провал? Нет, поскольку в двух отношениях он все-таки достиг своей амбициозной цели. Во-первых, он преуспел в написании истории в терминах человеческих реальностей, по крайней мере относительно истории Германской революции 1848 г., он преуспел в искусстве интуиции, заменившей ему помощь извне — со стороны опекающей Божественной силы либо компьютера. Во-вторых, Льюис ощупью проложил тот путь, по которому его эпигоны, оснащенные компьютерами, возможно, смогут пройти до конца, достигнув поставленной им цели, но который, не будь Льюиса, они, вероятно, никогда бы не проторили самостоятельно.

Открытие Льюиса о германской революции 1848 г. — это типичное проявление вспышки его гения. Приближение сотой годовщины этого исторического события побудило Льюиса заняться исследованием этой темы, и, естественно, он подошел к предмету с персонификационной стороны. Он составил биографии выдающихся участников революции, и в этом исследовании он пришел к выводу, который был столь же блестящ, сколь и поучителен.

Неймир обнаружил, что большинство лидеров, чьи жизнеописания он составляет, были людьми, пережившими смену суверена. Дело в том, что их родной край перешел под чужую юрисдикцию, согласно мирному соглашению 1814—15 гг.[59]. Население этих переданных территорий было произвольно и деспотически лишено своей потомственной политической принадлежности, и люди не чувствовали ни расположения, ни лояльности к тем германским государствам, чьими подданными они невольно стали. Подобно ссыльным или эмигрантам, они ощущали себя в политическом смысле лишенными корней. Человек, однако, по выражению Аристотеля, является «политическим животным»[60]. Лишенный родины, он чувствует себя неуютно до тех пор, пока не обретет ее заново, то есть обретет страну, способную стать для него средоточием патриотических чувств. Прежние субъекты ликвидированных германских духовных княжеств[61], ставшие теперь подданными Пруссии (в Рейнской области) или Баварии (в долине Майна), отдавали свои верноподданнические чувства, которые Пруссия или Бавария были бессильны в них пробудить, общему фатерланду, который превосходил пределы мелких германских государств. Они отдавали свою преданность Германии в целом. Германия, однако, подобно Италии, была, по невеселому выражению Меттерниха, «всего лишь географическим понятием»[62]. Если бы Германия стала понятием политическим, то прежнее мирное соглашение подлежало бы аннулированию. Германская революция 1848 г. была первой попыткой достичь этого, и было естественно, что в этом движении люди, лишенные родины, взяли инициативу в свои руки. Историческая связь между мирным договором 1814—15 гг. и революцией 1848 г. была раскрыта Льюисом, и он постиг ее лишь благодаря собственной исторической проницательности.

Исследуя же британский парламентаризм, Льюис не преуспел в достижении поставленной цели. Кому же предстоит стать его наследником? Вероятно, тому, у кого не будет исторической проницательности Льюиса, но будет в распоряжении компьютер. (Проживи Льюис на десять лет дольше, возможно, он и сам бы пристрастился к работе с компьютером и на этом электронном коне доскакал бы до победы в своем парламентском предприятии.)

Перспектива, которая открывается в результате этой моей догадки, одновременно и волнующа, и печальна. Она волнующа потому,

что Человеку неплохо обзавестись инструментом, сулящим такие возможности, которые в докомпьютерную эру были столь же не досягаемы, как луна. И в то же время печально, что железный, неодушевленный болван способен выполнять вещи, находящиеся за пределами возможностей самого компетентного человеческого ума.

Компьютер — болван. Его «мыслительная способность» ограничена двоичной арифметической процедурой «да — нет». Лейбниц изобрел двоичное исчисление[63] в качестве математического *jeu d'esprit*[64] и не помышлял о том, что не пройдет и трехсот лет, как его игрушка станет инструментом для решения серьезных практических задач. Лейбницу невозможно было и представить такое, ибо интеллектуальный потолок компьютера смехотворно низок, намного ниже уровня математических возможностей человека. Мощь компьютера, с которой человеческий ум не может тягаться, состоит в его быстродействии, то есть компьютер своим неуклюжим двоичным методом способен в считанные секунды произвести вычисления, которые заняли бы рабочее время всей жизни целого ряда лучших математических умов, вместе со всеми их самыми изощренными приспособлениями.

Компьютер не может, конечно, формулировать свои собственные задачи. Ему нужен человеческий ум, который бы его «запрограммировал». Но забросьте нерешенные вопросы Льюиса в компьютер, и он мгновенно выдаст ответы, на получение которых Льюису просто не хватило жизни. В самом деле, любой ограниченный человек с помощью компьютера приобретает возможность легко справляться с проблемами такого масштаба, которые Льюис так и не смог одолеть. Человеку, оснащенному компьютером, не понадобится ограничивать свои исследования олигархическими режимами. Он сможет описать выборы в Индии в терминах человеческих реальностей, хотя в Индии количество избирателей выражается девятизначным числом.

Льюис бросался на штурм бесконечности с голыми руками, и это было донкихотством. Это было величественно и ослепительно и производило впечатление, но не было войной в подлинном смысле. Человек с компьютером покорит с помощью своей машины количества и величины более высокого порядка, чем те, что лежат в области человеческих деяний. Его победа в этой более грандиозной интеллектуальной войне будет научной, но она будет менее славной, чем блистательные успехи и героические просчеты Льюиса Неймира.



7. СЕМЬЯ ТОУНИ[1]

Существует салонная игра, на манер шарады, которая может послужить предостережением для бездумных персонификаторов. Если бы Чарльз Бирд[2], к примеру, вспомнил о ней, когда увлекся своими собственными персонификационными упражнениям, он, возможно, не предавался бы им с таким упорством. Задача Бирда состояла в том, чтобы написать историю создания конституции Соединенных Штатов в терминах частных деловых интересов каждого из отцов-основателей США[3]. Истолкование носило, несомненно, человеческий характер, но при этом было нереалистическим, потому что было односторонним. Существует целый букет мотивов и противоречий в поведении и характере даже самого незатейливо мыслящего человеческого существа. Следовательно, любая односторонняя интерпретация человеческой натуры, скорее всего, не выявит всей правды. Бирд признал это, уже когда обрел человеческую мудрость и масштабность ученого-историка. Он пересмотрел и изменил тезис, который излагал первоначально в своей работе «Экономическое истолкование конституции США»; при этом он продемонстрировал добросовестность и широту мышления, сделав этот более поздний пересмотр своих взглядов достоянием широкой публики.

В салонной игре, на которую я сослался, игрок задумывает какую-нибудь персону из числа тех, с кем знаком каждый из присутствующих, а затем, не открывая имени этого общего знакомого, описывает его, упоминая такие его черты, поступки и привычки, которые, при всей их достоверности, не являются в то же время типичными и оттого вводят в заблуждение. Если набор качеств данной особы располагает к такому подходу и если игрок знает ее достаточно хорошо, то он сможет ставить в тупик даже людей близко знакомых с предметом описания.

Я намерен сейчас сыграть в эту игру, имея в виду своего старого друга. Он был выпускником Рагби[4], он был студентом Бейллиола, он был сержантом в армии Китченера[5], он был атташе посольства Великобритании в Вашингтоне во время Второй мировой войны, И вот сейчас я собираюсь подтолкнуть вас к разгадке: когда я зашел к нему в посольство летом 1942 г., он сидел среди львов и единорогов[6] *deshabille*[7] без пиджака. Из этого следует, что карьеру он делал не на дипломатической службе Великобритании. Невозможно представить себе кого-нибудь из постоянных служащих этого ведомства, который допустил бы, чтобы его увидели в дезабилье, даже в жаркий и душный день вашингтонского лета. Как и я в то время, мой друг был всего лишь временным сотрудником Министерства иностранных дел; в вашингтонском посольстве он являлся атташе по вопросам труда. Итак — это был Гарри Тоуни.

К 1942 г. я знал Гарри уже почти тридцать пять лет. Он был старше меня более чем на восемь лет. Он поступил в Оксфорд в 1899 г., и, когда я поступил туда же, он был уже одним из лекторов Ассоциации рабочего образования[8]. Благодаря этой работе, он в каждый летний семестр снова приезжал в Оксфорд, и в Оксфорде мы, благодаря дружелюбию Гарри, проводили немало времени в обществе друг друга. Мы ходили с ним на канадском каноэ вверх по Черуэллу[9]; а это быстро сближает людей, и они начинают чувствовать себя вместе как в родной стихии, даже при наличии некоторой разницы в возрасте. Однажды в верховьях реки мы наткнулись на корову, барахтающуюся по шею в воде. Пытаться из каноэ спасти тонущую корову значило искать беду на свою голову. Корова не утонула, зато мы, в своей безнадежной затее, опрокинулись и промокли до нитки, и это совместное купание стало одним из тех, вроде бы пустяковых жизненных событий, которые цементируют дружбу.

Как раз в период нашего фиаско с коровой Гарри Тоуни был уже помолвлен с Дженет Беверидж[10]. Брат Дженет, Уильям[11], к тому времени приобрел известность в качестве государственного служащего — одного из чиновников нового типа. Бывшее тогда у власти правительство либералов закладывало фундамент «государства всеобщего благоденствия»; а это требовало от гражданских чиновников, которым приходилось воплощать новое законодательство в жизнь, умения быстро и мастерски обращаться с огромной массой подробной информации, а также демонической энергии, дабы сдвинуть с места тяжелые колеса исполнительной власти. Например, организация и налаживание работы Министерства национального страхования явились задачей, которая отнимала буквально все время, как убедились на себе мои современники, назначенные на должности в это министерство вскоре после его учреждения. Ощущение постоянной чрезвычайной ситуации было нехарактерным для традиционной атмосферы государственной службы; оно предвосхищало будущий деятельный дух военного времени; и брат Дженет Беверидж был одним из тех энергичных молодых людей, которые сообщали деятельности государственного чиновника этот новый ритм. Лорд Беверидж и его сестра выросли и воспитывались в Индии, а их мать была выдающимся востоковедом[12]. Ее переводы с тюркского языка на английский мемуаров императора Бабура из династии Тимуридов[13] являются прекрасным образцом труда в области гуманитарных наук.

Когда я ощущаю печальную и мрачную подавленность от лицезрения той глупости, с какой управляется мир, я поднимаю свой павший дух созерцанием в мироздании чего-либо такого, что является прекрасным без изъятия. Одним из явлений, искупающих недостатки и несовершенства нашего мира, представляются мне счастливые

браки; и когда мой ум обращается к таковым, я думаю, в первую очередь, о четырех супружеских парах из тех, с которыми был знаком: о Хэммондах[14], Уэббах[15], Адиварах[16] и о Тоуни.

Дженет и Гарри Тоуни были созданы друг для друга. Так сложилось, что они, естественным образом, привыкли к примерно одинаковому образу жизни, и то не был традиционный, стандартный образ жизни британского среднего класса их поколения. Если бы они могли перенестись в прошлое, в Египет XIV или XV столетия, то легко бы прижились среди тамошних отцов-пустынников, и в этой обстановке, не исключено, прославились бы на весь мир своим аскетизмом.

Гарри Тоуни не зря был выпускником Рагби. Одним из его сверстников там был Уильям Темпл[17], и они сдружились на всю жизнь. Оба были людьми щедрого ума и последовательными радикалами, оба время от времени были воинственно настроены, оба постоянно попадали по собственной вине в беду, и оба объединяли свой социально-политический радикализм с прочной приверженностью к христианству англиканского толка, в котором оба были воспитаны. Темпл стал архиепископом, а Тоуни оставался, как я полагаю, более или менее традиционным англиканским мирянином. (Как? Социалист — адепт старой веры? Для меньшевиков — камень преткновения, для большевиков — просто глупость![18])

Неприятности, в которые то и дело попадал архиепископ Темпл, становились все более серьезными с каждой ступенью его продвижения по карьерной лестнице; ибо успех в церковной карьере не подвигал его раболепствовать перед высокопоставленными представителями общества. Он оставался радикалом и не скрывал этого, тем самым подвергая себя нападкам, при всем своем видном положении. Летом 1942 г., когда я путешествовал по Соединенным Штатам, выступая с докладами в местных отделениях Совета международных отношений, один слушатель, на едином дыхании, выпалил мне вопрос: не пора ли британцам ликвидировать этот допотопный институт, Палату лордов, и не пора ли им также низвергнуть того большевика, который, по Божественному недосмотру, стал ныне архиепископом Кентерберийским? Американец, задавший мне вопрос, оставлял моим соотечественникам узенькую тропку для маневрирования. Между предложенной им Сциллой георгианства и Харибдой сталинизма[19] эта тропинка сужалась, превращаясь буквально в лезвие ножа. Перед Великобританией стояла нелегкая задача удовлетворить жажду таких американцев.

Архиепископ Темпл и Гарри Тоуни были родственными душами, но для архиепископов образ жизни отцов-пустынников всегда был совершенно невыполнимым делом. И, напротив, святые отшельники и анахореты никогда не стремились сделаться архиепископами.

В то же время аскетизм и простота жизненного уклада — понятия относительные. Предшественники архиепископа Темпла на Йоркской кафедре[20] были бы не способны вообразить себе жизнь отцов-пустынников в том виде, как ее вела чета Тоуни. И если бы они могли вернуться к жизни, чтобы заново посетить Бишопторп, когда там жили Темплы, они бы также стали взирать на скромный домашний уклад жизни Темплов с удивлением и неодобрением. Они бы почувствовали, что эта простая жизнь не способствует поддержанию достоинства должности. В самом деле, контраст, имевший место во времена Темплов, между величием дворца и простотой жизненного уклада его обитателей бросался в глаза каждому. Во мне этот контраст вызывал ощущение того, что высокий статус и достоинство этой должности теперь поддерживались более искренне и неподдельно, чем когда-либо раньше. Темплы были совершенно равнодушны к внешней пышности, которая окружала их в Бишопторпе *ex office* [согласно должности]. Преуспел ли кто-либо из предшествовавших архиепископов Йоркских и их жен в том, чтобы сохранить себя столь чистыми и не затронутыми мирскими соблазнами?

Архиепископ Темпл однажды рассказал мне о произошедшем с ним случае, когда он в уик-энд гостил в доме у Гарри. Дом располагался в Лондоне, на Мекленбург-сквер, но с тем же успехом он мог находиться в пустынной долине Нитрии[21]. (Дженет, видимо, была в отъезде, ибо ответственность принимать и развлекать гостя легла в тот раз на одного Гарри.) После того как друзья в течение нескольких часов проговорили о вещах, интересовавших их обоих, Гарри спросил Уильяма, не хочет ли тот сейчас поужинать. Уильям ответил, что да, но выразил сомнение относительно того, как это все устроить. Он не заметил никаких признаков приготовления еды. Однако Гарри подошел к стеллажам из книжных полок и начал шарить за каждой из них поочередно. Уильям внимательно следил, ожидая, что же произойдет, и, наконец, из этого тайника на свет Божий явилась тарелка с холодными бараньими отбивными.

Поужинав ими, друзья продолжали беседовать, пока не пришло время отхода ко сну. Тогда Гарри вытащил два походных пледа и расстелил их на деревянных скамьях, что стояли вдоль окна, с внутренней стороны эркера. Эти скамьи и должны были играть для Уильяма роль убогого ложа отшельника, и на них-то он все-таки ухитрился уснуть крепким сном, хотя окна эркера не имели занавесок и снаружи в комнату проникал свет уличного фонаря. (Квартира Тоуни располагалась на нижнем этаже.) В предрассветный час Уильям внезапно проснулся как от толчка. Его пробудил свет, бивший в окно с удвоенной силой. Подняв голову, он увидел, что по его лицу скользит луч фонаря полисмена, а за фонарем маячило лицо и самого полисмена, который с высоты своего роста подозрительно глядел

на спящего. Архиепископ рассказывал эту историю отчасти со смехом, отчасти с любовной нежностью. Разница в отношениях каждого из друзей к вещам видимым и преходящим не могла поколебать общности их духовных устремлений и взглядов на вещи незримые и нетленные.

Когда я встретил Гарри в 1942 г. в Вашингтоне, они с Дженет были там вместе, и Дженет развернула там бурную деятельность. Ей пришлось искать выход из критического положения, в которое они попали, и она с блеском справилась. Во время своего путешествия через Атлантику чета Тоуни благополучно, живыми и невредимыми, достигла Америки, но их багаж, следовавший за ними, погиб вместе с грузовым судном, подорвавшимся на торпеде. Такая потеря была бы серьезной для любого британца в это военное время, но она оказалась вдвойне тяжелой для Тоуни. Начать с того, что их гардероб был более скуден, чем у среднего человека; и в Америке они не намеревались тратить на его пополнение ни одного лишнего цента. Каждый сэкономленный цент они тратили на нечто совсем другое. Тоуни тратили свои американские центы на отправку продовольственных посылок домой, в Британию, своим друзьям. Конечно, невозможно было избежать покупки новой одежды вместо утраченной, хотя бы в соответствии со стандартами отцов-пустынников. Но как в расточительной Америке экипироваться дешево? Но Дженет была изобретательна. Она нашла способ.

В столице Соединенных Штатов Вашингтоне местная католическая община изобрела остроумный способ увеличить благотворительные фонды общины. Богатые дамы-католички передавали в фонд свою поношенную одежду, а иногда также одежду своих мужей, выглядевшую еще почти как новая. (Постоянное выбрасывание старого и замена его новым есть, несомненно, часть американского образа жизни, причем настолько основополагающая его часть, что она, до некоторой степени, сохранялась и в военное время.) Фонд имел возможность продавать эти почти новые высококачественные вещи по договорным ценам и при этом получал вполне приличную прибыль на католические благие дела. Фонд носил вполне подходящее название: «Благотворительный магазин Младенца Христа “Счастливая возможность”». Дженет Тоуни ухватилась за эту возможность и проворачивала взаимовыгодный бизнес с магазином по телефону. Когда она звонила туда, голос отвечал: «Младенец Христос» слушает. «Младенец Христос» одел чету Тоуни по ценам, позволившим не сокращать поток продовольственных посылок, отсылаемых ими на родину целому сонму друзей.

Дженет умела извлечь все лучшее из американского образа жизни, но она не всегда держала Гарри под контролем, и это однажды стоило ей целого Ватерлоо.

Еще до того как Дженет открыла для себя «Младенца Христа», а Гарри все еще имел только одну смену одежды — ту, в которой он добрался до Нью-Йорка, один американский друг, с характерной американской щедростью, отдал Гарри свой костюм. Этот поступок был великодушным, но костюм плохо сидел на новом хозяине. Даритель был маленьким и худым, а Гарри был крупным во всех трех измерениях. Когда Гарри надел это дареный костюм и только успел соединить петли с пуговицами, как пиджак, в знак протеста, от напряжения распоролся по боковым швам. Сам Гарри этого не заметил; но заметила Дженет — в конце концов, у нее был женский взгляд.

Работа Гарри в вашингтонском посольстве была такой, какую лорд Брайс[22], бывший там же послом перед Первой мировой войной, считал самой полезной вещью, на какую только британский дипломат в США может тратить свое время. Вместо того чтобы сидеть в Вашингтоне и вращаться там в узком и экзотическом кругу членов дипломатического корпуса, Брайс объездил всю страну с лекциями. К счастью для европейских лекторов, аппетит американской публики к таким выступлениям был ненасыщаемым; и в тех частях обширной страны, которые лежат далеко от столицы, приезд иностранного дипломата особенно ценился. Этот его визит — приятный знак того, что он осознал: Вашингтон — это не США. Гарри в его работе в качестве атташе во время Второй мировой войны суждено было пойти по стопам лорда Брайса; и лекции Гарри также пользовались популярностью; он был первоклассным оратором. Будучи атташе по вопросам труда, он выступал главным образом перед профсоюзными аудиториями, и однажды ему довелось обратиться к съезду Национального профсоюза рабочих-швейников.

Речь Гарри в тот день привела в такой восторг его слушателей, что они сразу же решили преподнести ему некий памятный подарок, символизирующий эту высокую оценку. «Мистер Тоуни, — сказали они, — вы нас до смерти порадовали своим выступлением. Мы хотим пошить для вас костюм из самой лучшей ткани, что есть в США. Все, что от вас требуется, это дать нам ваши мерки». Обстоятельство усугублялось тем, что при Гарри не было Дженет (город, в котором проходил съезд, находился далеко от Вашингтона), а потому Гарри был одет в тот дареный костюм, что совершенно не подходил ему по размеру. «Мерки? — рассеянно переспросил он. — Мерки... О, я не знаю своих мерок. Что ж, возьмите мерки вот с этого костюма, который на мне; они подойдут». Для рабочих-швейников слово Гарри было законом, поэтому, когда Дженет несколько недель спустя, в Вашингтоне, открыла посылку, она обнаружила, что материал действительно превосходен, но что новый костюм с педантичной точностью воспроизводит неподходящие размеры

старого. Это было настоящей трагедией для Дженет, но не для Гарри. Годится или не годится — какая разница, если речь идет всего-навсего об одежде, а не о социальной справедливости.

Гарри Тоуни был идеалистом, как в теории, так и на практике. После начала Первой мировой войны он добровольцем поступил в армию Китченера и из принципа отверг предложение стать офицером. Ему не нужно никаких привилегий среднего класса. Он будет служить рядовым; и он пообещал себе, что там-то наконец окажется в своей стихии. Он на время освободится от неподвластного командам и распоряжениям образа жизни среднего класса, в который был погружен с тех пор, как себя помнит. В рядовых он будет иметь удовольствие общаться с неиспорченной человеческой натурой. Когда Гарри поступал рядовым в армию, его представление о человеческой натуре носило, скорее, конфуцианский, чем христианский характер. Несмотря на свою неизменную приверженность религии предков, он выстроил себе убеждение, что человеческая натура, в не испорченном буржуазной идеологией виде, является изначально доброй. Однако он был удивлен и разочарован в солдатах, обнаружив, что под коркой иных манер и привычек в пролетариях человеческая натура оказалась точно такой же, как у буржуа.

Этот отрезвляющий опыт Гарри демонстрирует силу британского классового сознания. Гарри старался изо всех сил освободиться от присущего среднему классу чувства социального превосходства, но все, на что он оказался способен, — это вывернуть его наизнанку. Его идеализм наделил «рабочий класс» теми добродетелями, которые Гарри с негодованием отказывался видеть в своем собственном классе, к которому принадлежал по рождению. Чему научила его служба в армии, так это одному из классических догматов религии его предков. Он узнал, что все человеческие существа, без различия, подвержены первородному греху.

Действительная военная служба Гарри началась и закончилась битвой на Сомме[23]. В свой первый день под огнем он был жестоко ранен; и, хотя поправился, полученная на войне рана досаждала ему периодически до конца жизни. Этот физический недостаток не мешал ему, впрочем, приносить в мир дары, которые он должен был приносить, и эти дары были двойными. Сам Гарри, без сомнения, отдавал первенство своим бескорыстным и напряженным трудам на благо людей, но он оставил более осязаемую и, пожалуй, более долговечную память о себе в своих увидевших свет произведениях. Тоуни был столь же плодовитым, сколь и известным специалистом в области экономической истории; но он был известен не только как ученый, но и как писатель. Он был мастером английского языка, умел волшебным образом распоряжаться словами; и это качество, безусловно, обеспечит долговечность его книгам.

Всем научным познаниям, по самой их природе, уготовано в свой черед замениться новейшими познаниями. Достижения гуманитарных наук, накапливаясь, дают возможность последующим поколениям гуманитариев взбираться все выше и все более непрочно, опираясь на плечи своих предшественников. С другой стороны, произведения искусства вечны, не имеют срока давности. Никакое последующее произведение искусства не делает более раннее произведение устаревшим. А Гарри Тоуни был не только большим ученым, но и большим художником.



8. ХЭММОНДЫ

Пускаясь в написание воспоминаний о Лоренсе и Барбаре Хэммонд, я чувствую необходимость преодолеть небольшой сдерживающий комплекс. Это происходит отнюдь не потому, что в подобной сдержанности есть какая-то надобность. Мне неизвестно о Хэммондах ничего такого, что нуждалось бы в сокрытии от широкой публики, да и самим Хэммондам, надумай они когда-нибудь опубликовать свое жизнеописание, не понадобилось бы никаких умолчаний. Я говорю «жизнеописание» — в единственном числе, а не во множественном, потому что в этих двух телах обреталась одна душа. Обнародованная Хэммондами автобиография, в отличие от собственного жизнеописания Блаженного Августина, могла бы воспроизвести их ненаписанную исповедь слово в слово. Меня удерживает не стремление что-то скрыть, а мое трепетное к ним отношение. Я испытываю к Барбаре и Лоренсу чувства, которые сродни чувствам к родственникам, членам ближнего семейного круга. Дада, они именно таковы. Но, несмотря на это, я все-таки намерен написать об этих людях, потому что верю: они являются драгоценной частью человеческого достояния, и это достояние не должно быть утаено от читателей, которым не посчастливилось знать Хэммондов лично. Мое знакомство с ними быть может не столь значимо, есть и другие ныне здравствующие люди, которые могли бы рассказать не меньше меня, и даже больше. Я лишь один из когорты их преданных друзей, кто еще жив.

Я поклонник научных работ Хэммондов в той же степени, как самих Хэммондов. За очень малыми исключениями (такими, как исследование Лоренса, посвященное Гладстону[1] и ирландскому вопросу), их сочинения были продуктами их совместного труда — сотрудничества, которое распространялось на все, что они делали. Их труды, по моему мнению, того же качественного уровня, что и труды Гарри Тоуни; и если, несмотря на это, в моем описании произведения Хэммондов могут прорисоваться менее ярко, чем они сами, то лишь потому, что я, согласно своему канону, числю их среди святых.

Научные творения — я имею в виду публикации, — похоже, подчинены одному из законов моды, который правит также и большинством других видов творения. Согласно этому закону, всякое произведение, заслужившее признание и высокую оценку при жизни его создателя, обречено выйти из моды в следующем поколении и снова войти в моду через поколение. На протяжении моей собственной жизни я видел, как эти почти автоматические колебания фортуны затрагивали викторианские ценности. Сегодня то, чему посвятили себя Хэммонды, находится в той котловине, из которой эти викторианские ценности уже извлечены на свет Божий,

и имеются признаки, что дело Хэммондов тоже начинает потихоньку воскрешаться.

Хэммонды были специалистами по социальной истории. Областью их исследований была Британия в эпоху после вступления на престол Георга III, и эта сфера во многом перекликалась с областями исследований Эли Галеви, Льюиса Неймира и моего дяди Арнольда, если не считать того, что область Хэммондов не была ограничена определенным предметом (как у Льюиса Неймира — политикой) и что в той части, которой занимался Лоренс, нижний хронологический предел спускался к поколению Гладстона.

Тот ряд мнений и оценок относительно промышленной революции в Британии, который был высказан ее многочисленными исследователями, по своему характеру напоминает переменный электрический ток. Социальный эффект технологических изменений в Британии той эпохи оценивался — для британских промышленных рабочих и для британского народа в целом — попеременно, то как пагубный, то как благотворный. Оценка Хэммондов была негативной. Она была оспорена мисс Дороти Джордж[2] как тенденциозная, продиктованная сентиментальностью и не согласующаяся с фактами. Ныне эта, противоположная хэммондовской, интерпретация мисс Джордж, в свою очередь, была опротестована мистером Э. П. Томпсоном[3] в его работе «*The Making of the English Working Class*» («Возникновение британского рабочего класса»).

Если бы мистер Томпсон просто возвратился к позиции Хэммондов, можно было бы опасаться, что изучение промышленной революции оказалось в плену циклического ритма, при котором оно будет двигаться по кругу без всякого развития, как узник на прогулке или как белка в колесе. Однако реабилитация Хэммондов мистером Томпсоном носит относительный характер, хотя его собственная оценка вроде бы ближе подходит к их суждению, чем к суждению мисс Джордж. Ради прогресса познания и понимания приходится надеяться, что мистер Томпсон преуспел в превращении круга в спираль и что из тезиса Хэммондов и антитезиса мисс Джордж он произведет синтез, который придаст общему предмету изучения этих историков новый импульс. Хэммонды, с их скромностью и смирением, никогда не надеялись и не стремились к тому, чтобы сказать последнее слово. Каждый ученый в достаточной мере бывает вознагражден, если его ведро воды не окажется потеряно в водовороте, а пойдет на усиление бегущего потока.

Существует еще одно течение в общем потоке исторических исследований, которое в наше время, как мне кажется, подвержено еще более серьезной угрозе циклических колебаний. По какой-то причине, которой я не могу постичь, чувства британских наблюдателей в последние полтора века обращались попеременно «за» и «против»

каждого из двух народов Юго-Восточной Европы, не относящихся к индоевропейской языковой семье — венгров и турок. В обоих случаях эта британская приверженность бывала страстной. Турки и венгры становились в глазах британцев поочередно либо дьяволами, либо ангелами, но только не обыкновенными человеческими существами, как все прочие. С тех самых пор, как Альфред Циммерн и Льюис Неймир приохотили меня к наблюдению за ходом восточноевропейских событий, всегда имелись одновременно какие-то два британских специалиста по венгерской политике, возрастом различающиеся на полпоколения: один — мадьярофоб, другой — мадьярофил. Когда я впервые познакомился с венгерскими штудиями британских исследователей, специалистом по венгерским вопросам был Р. В. Сетон-Уотсон, который придерживался мадьярофобского взгляда. Затем я увидел, как Сетона-Уотсона обошел следующий участник этого состязания, мадьярофил К. Э. Макартни[4]. Теперь же я дожил до времени, когда Макартни, в свою очередь, оказался потеснен мадьярофобом, последователем Сетона-Уотсона, А. Дж. П. Тейлором[5]. Хотя мне, может, уже и не случится увидеть появление на горизонте очередного мадьярофила, который обскачет Тейлора, я могу спрогнозировать его приход с такой же уверенностью, с какой астроном предсказывает приход затмения. Чего не могу предсказать с той же уверенностью, так это того, выйдут ли британские исследования венгерских проблем в конце концов из того бесплодного циклического движения, в котором они находились на протяжении моей жизни.

Когда я познакомился с Хэммондами, они только что переехали из Хэмпстеда в Пиккотс-Энд[6], и это место оставалось их пристанищем до конца дней. До этого они жили в Лондоне, а Барбара там выросла. Ее отец был англиканским священником и имел приход в лондонских доках. Отец Лоренса также был служителем англиканской церкви, и его приход находился на промышленном севере Англии, хотя сам он был с острова Джерси. Ни Лоренс, ни Барбара не родились в сельской местности. Однако, поселившись в Пиккотс-Энд, они прониклись неприязнью к городской жизни. Для Лоренса современный город был физически — точно так же, как и психологически — невыносим. Годы спустя после того, как лондонская подземка, перейдя с пара на электричество, избавилась от своего первобытного удушающего дыма, Лоренс, путешествуя по ней, все еще чувствовал приступы удушья. Поездки Хэммондов из Хертфордшира в читальный зал Британского музея были по необходимости частыми на протяжении многих лет, когда они были заняты своими исследованиями, вылившимися затем в написание книг. Но эти вылазки были подобны спуску ныряльщиков под воду. Они представляли собой тяжелые испытания для Лоренса и Барбары, которые

находили бы их и вовсе неприемлемыми, если бы не их краткость. Хэммонды взяли себе за правило окунаться в Лондон не более чем на день, всегда возвращаясь ночевать в деревню.

Единственный человек, которому регулярно удавалось уговаривать Лоренса остаться в городе на более длительный срок, был владелец и редактор «Манчестер Гардиан» Ч. П. Скотт[7]. Помимо изучения британской истории XVIII — нач. XIX в., Лоренс был внимательным и чутким знатоком современной политики и горячим приверженцем либеральной идеи. Они со Скоттом смотрели на политические события одинаковыми глазами. И помимо этой тождественности их общественно-политических взглядов, Скотт был очень высокого мнения о способностях Лоренса как журналиста. Скотту не удалось убедить Лоренса занять в «Гардиан» штатную должность, но он убедил его из года в год приезжать в Манчестер для функционирования в качестве своего *locum tenens*[8] на время своего ежегодного отпуска. Высокая оценка Скоттом профессиональных качеств Лоренса на этом временном посту в полной мере подтверждалась тем, как Лоренс исполнял свою собственную часть работы в «Гардиан»; и его уважение к редактору простиралось и на саму газету. К тому времени, как разразилась Вторая мировая война, Скотта уже не было в живых; но Лоренс и Барбара в военное время работали в «Гардиан», выполняя свой долг по отношению к его штатным сотрудникам, которые тогда находились на военной службе. Для Хэммондов, в том возрасте, которого они достигли к тому времени, это продолжительное пребывание в городе, да еще в условиях военного времени, было тяжелым испытанием, от которого они в ужасе отшатнулись бы и выносили его только ради «Гардиан».

«Оутфилд» (так назывался дом Хэммондов в Пиккотс-Энд), в смысле устройства человеческого быта, производил такое же впечатление суровой простоты отцов-пустынников, какая была присуща квартире Тоуни в Блумсбери. В «Оутфилде» в течение многих лет, во все времена года и всякую погоду, Хэммонды ночевали в разборном летнем домике с походными кроватями, открытыми воздействию прохладного знобящего климата средней части Англии. (Одной из причин их переезда в деревню было наличие у Барбары в то время симптомов туберкулеза. Возможно, именно благодаря этому радикальному лечению свежим воздухом, она дожила, в конце концов, до очень преклонных лет — прожив жизнь слишком долгую для того, чтобы остаться счастливой, поскольку пережила Лоренса.)

Образ жизни Хэммондов (как и Тоуни) был аскетичен. В «Оутфилде», однако, приверженные аскетизму человеческие существа составляли меньшинство. Их значительно превосходили числом домочадцы в виде птиц и зверей. На кухонных подоконниках рядами

возлежали кошки; самое теплое место — в гостиной перед камином — было всегда занято собакой, а за высокими стеклянными окнами, или, скорее, дверями, выходящими в сад (они открывались круглый год), гостевало постоянное сборище птиц, в таком же вечном ожидании, как птицы на картине Джотто, где им проповедует св. Франциск[9]. Птицы Хэммондов, подобно птицам св. Франциска, считались дикими, тогда как четвероногие считались домашними; однако птицы и звери одинаково были приручены. Они были ручными на манер ястребов, грифов и обезьян в Индии или тех зверей и птиц, которые не боялись св. Франциска. Подобно ему, Хэммонды умели очаровать диких существ без помощи Орфеевой лиры[10]. Их инструмент был неслышим, но противиться его чарам было невозможно. Они любили своих друзей и питомцев, и их любовь была достаточно велика, чтобы пробиться через барьер, разделяющий человеческие существа и бессловесные твари, и пробудить в животных почти человеческое ответное чувство.

Хэммонды по-настоящему умели уважать чужую личность. Строго говоря, дискриминационные различия они при этом все же проводили, но это была не та дискриминация, которая могла бы навлечь на них упрек апостола Иакова[11]. Существами, в ущерб которым они проявляли свою пристрастность, были они сами. По отношению к ним птицы и звери имели предпочтение. А как обстояло дело с людьми, гостями Хэммондов? Ждал ли их тот же прием, что и архиепископа Темпля, оставшегося погостить в доме у Тоуни? Нет — ибо существовала решающая разница в устройстве домашнего обихода в том и другом домах. Тоуни не держали домашних животных, которые могли бы поднять уровень их человеческого комфорта. У Хэммондов же были питомцы, и потому они предоставляли своим гостям-людям столь же благодатное обхождение, какое получали у них звери и птицы. В результате прием оказывался роскошным.

Бессловесных существ, пользовавшихся благодеяниями Хэммондов, право же, следовало счесть самыми черствыми и неблагодарными, если бы они не отзывались на эту доброту, ибо самоотверженность Хэммондов по отношению к ним не знала границ.

Примером служит случай с жаворонком. Птичка устроила гнездо прямо на лужайке у Хэммондов. Как примирить интересы жаворонка и кошек? Гедонистические соображения подсказывали, что на сей раз кошачий интерес должен занять подчиненное положение. Желание котов поохотиться не могло перевесить право птенчиков на жизнь. В таком случае надо ли помещать котов в заточение до тех пор, пока птичка-мать не вырастит потомство? Подобная жестокость была совершенно немыслима. Поэтому Барбара подрядилась целыми днями присутствовать в саду в качестве телохранителя. Теперь в

дневные часы она неустанно приглядывала за гнездом жаворонка, чтобы не пропустить момент, когда мать улетит добывать корм для своих малышей, а птенчики, таким образом, останутся без защиты. В этот момент подбегала Барбара с сетчатым колпаком в руках — одним из тех, какими хозяйки прикрывают от мух кусок мяса — и прикрывала гнездо. Эта трудная задача заняла у нее несколько недель, но она была вознаграждена за свое усердие тем, что успешно достигла обеих гуманистических целей. Свобода котов не была ограничена, а птенцы жаворонка не стали добычей котов.

Когда я наблюдал это размеренное и методичное занятие — укрывание и раскрывание гнезда жаворонка — и даже ему содействовал, в голове моей оживало воспоминание о другой операции столь же необычного сорта, в которой я однажды участвовал за много лет до этого. Весной 1912 г., возвращаясь пешком с восточного конца Крита на запад, я остановился на ночлег в доме у американского археолога Ричарда Б. Сигера[12]. (Я вторгся без приглашения, так же бесцеремонно, как Льюис Неймир однажды во время завтрака вторгся в мою комнату в Бейллиол-колледже.)

Сигер построил себе дом в северной части городка Пахьямос[13] и обосновался там, чтобы исследовать с этой опорной базы находящиеся в окрестностях многочисленные участки раскопок, относящиеся к различным эпохам. Сигер любил цветы так же сильно, как Хэммонды зверей и птиц, и, дабы не чувствовать себя одиноко (его единственным человеческим компаньоном был слуга — критянин Али), он окружил свой дом садом. Расчистить окружающую территорию от кустарника, разбить клумбы, засеять их семенами и луковицами было легко. Но как спасти жизнь цветов, когда они уже проклюнутся из почвы? Его усадьба располагалась в ложбине, ограниченной горами, и ветры прокатывались через этот «туннель» с силой, способной расплющить по земле самые стойкие цветы. Эти самые ветры и задали Сигеру задачу, аналогичную той, что поставили перед Барбарой ее кошки. И Сигер предвосхитил решение Барбары. Он привез морем полный корабль деревянных ящиков из Триеста — это был ближайший к Криту пункт, в котором деревянные изделия можно было добыть в большом количестве — и, как только поднимался ветер, выбегал, чтобы накрыть ящиком каждую купу цветов (это требовало многих перебежек туда и обратно). Потом, как только ветер утихал и уже можно было позволить цветам подышать, не подвергая их опасности, Сигер опять выбегал и убирал ящики.

Единственное, чем я мог отплатить моему хозяину за гостеприимство, это помочь ему, пока гостил, в его задаче — той задаче, которая по трудоемкости соперничала с археологией. Но, хотя я работал со всем рвением, однако вскоре обнаружил, что мы вдвоем

не в состоянии справиться с установлением и удалением этих ящиков меньше чем за двадцать минут. Если бы за человеческое самопожертвование в деле взращивания нечеловеческих форм жизни давали приз, то Барбара Хэммонд могла бы разделить его с Ричардом Сигером.

Помню, было время, когда, прогуливаясь по окрестностям в радиусе мили или двух от «Оутфилда», вы могли бы обнаружить валяющиеся тут и там куски железа, одной и той же конфигурации. Они были достаточно любопытны, чтобы заинтересовать археолога, специализирующегося на изделиях железного века, если предположить, что он не распознал бы истинного происхождения этих артефактов. Причиной появления этих объектов стал несчастный случай, произошедший с маленькой собачкой, которой отдавило лапку. Ни одно человеческое существо, кроме Хэммондов, не стало бы возиться с увечным песиком, поэтому Хэммонды забрали его себе. Однако просто держать у себя и кормить этого инвалида было им недостаточно. Лоренс и Барбара не находили себе места, пока не придумали, как вновь сделать собаку счастливой. С помощью кузнеца они разработали для нее железный башмак. Однако искусство кузнеца не простиралось так далеко, чтобы заставить башмак сидеть на лапе. Очень скоро башмак милосердия спадал, и бедный песик снова оказывался немощным. Результатом явилось то, что книга заказов у кузнеца была всегда полна, а отброшенные за ненадобностью собачьи туфли усеивали землю в окрестностях «Оутфилда» все более толстым слоем.

Однажды зимним утром 1919 г. Барбара Хэммонд возвращалась домой в Пиккотс-Энд из Парижа. (Лоренс находился там в качестве специального корреспондента «Манчестер Гардиан» на мирных переговорах[14], и Барбара его сопровождала.) Прежде, чем уехать из Парижа, Барбара заранее написала на извозчичий двор в Хемел-Хемпстед и заказала кеб, который бы встретил ее на железнодорожной станции. (Эра такси еще не наступила.) Однако к тому времени, когда она добралась от Северного вокзала в Париже до Юстонского в Лондоне, спустился вечер, такой сырой и холодный, что Барбара поняла: не стоит гонять бедную лошадь на улицу в такую ночь. Соответственно, она протелефонировала из Юстона в платную конюшню Хемел-Хемпстед, отменяя заказ, и от станции двинулась домой пешком, неся на себе сумку. Расстояние от станции до Пиккотс-Энд составляло, должно быть, мили две-три. Я и сам проделывал этот путь, но только не зимним вечером, с дорожной сумкой в руках, и не в качестве завершающего этапа путешествия из Парижа.

Я еще не упомянул о собственных лошадях Хэммондов. Они стали послевоенным прибавлением к той их колонии домочадцев-

животных, которая предстала мне при нашем первом знакомстве. Лошади явились следствием военной службы Лоренса.

Реакция Лоренса на разгоревшийся в августе 1914 г. пожар войны была такой же, как реакция Гарри Тоуни. Подобно Тоуни, Лоренс немедленно поступил на военную службу и вскоре обнаружил себя в качестве офицера на батарее полевой артиллерии. Это был героический шаг со стороны Лоренса. Военная дисциплина, которая подразумевает необходимость быть всегда подтянутым и аккуратным, стала для него сущим испытанием. Кроме того, в полевой артиллерии офицерам полагалось также быть наездниками. У Лоренса там не обошлось без приключений. Однажды, будучи в отпуске, он шел по улице и столкнулся с генералом, когда тот спускался по ступеням, выходя из какого-то клуба на Пэлл-Мэлл. «Где ваш аксельбант, сэр?» — загремел генерал. Лоренс даже не знал, что это такое, и столь вопиющее невежество лишь отягчило его проступок в глазах генерала. Создавалось впечатление, что генерал последние несколько недель только и занимался тем, что педантично внедрял в моду ношение офицерами аксельбантов. И вот перед ним был первый офицер, встреченный со времен выхода этого строжайшего приказа. Как это, нет аксельбантов? Генеральский приказ, которому было отдано столько труда, оказался попран. Я уж не знаю, как удалось Лоренсу избежать ареста.

Что касается верховой езды, то Лоренс никогда не мог освоить езду даже на велосипеде. Тем не менее он не только выучился ездить верхом на лошади — настал день, когда он стяжал лавры лихого наездника. В тот день батарее предстояли полевые маневры. Лоренс появился в конюшне поздно; там оставалась всего одна лошадь, и это была лошадь майора, известная своей норовистостью. Для Лоренса это был критический момент. Если он не справится с этой лошадью, его военная карьера закончится. Каким-то образом ему все-таки удалось взобраться в седло, но лошадь понесла. Однако судьба оказалась благосклонна к нему во второй раз. Дорога, по которой мчалась во весь опор майорская лошадь, была той самой, по которой рысью двигалась остальная батарея, поэтому, когда лошадь поравнялась с другими лошадьми, она умерила шаг до их аллюра, вместо того чтобы пронести Лоренса мимо — подобно тому, как лошадь Джона Джилпина[15] пронесла его мимо собравшейся в ожидании семьи. Товарищи-офицеры приветствовали Лоренса аплодисментами. «Ну, дружище, поздравляю. Если бы мне удалось справиться с майорской лошадью так, как тебе, я бы был чертовски доволен собой».

И, хотя Лоренс не был таким хорошим всадником, каким заставила его выглядеть майорская лошадь, все же отнюдь не провалом в верховой езде объяснялась его демобилизация. Лоренс был

так же слаб и немощен, как Гарри Тоуни после ранения, и медицинской комиссии хватило прозорливости понять, что на действительной военной службе он станет непригоден по состоянию здоровья раньше, чем успеет проявить себя в деле. Оставшееся до конца войны время Лоренс провел, выполняя свой патриотический долг, на гражданской службе. Однако он был захвачен обаянием верховой езды. Благодаря ей он заинтересовался еще одним видом домашних животных, поэтому после войны Лоренс с Барбарой купили пару лошадей. Барбара теперь тоже выучилась ездить верхом, и в период между двумя войнами они ездили уже вместе — как делали вместе вообще все, покуда жестокая смерть не разлучила их.

Через несколько дней после возвращения Лоренса к штатской жизни, я впал в ошибку, за которую кто-то другой, будь он на месте Лоренса, мог бы на меня обидеться. Он пригласил меня на ленч, и мое внимание привлекла его одежда. «Лоренс, вижу, что вы от души наслаждаетесь возможностью больше не носить военную форму, — сказал я. — Вы празднуете эту возможность, одевшись в самый старый свой костюм». Но тот костюм не был его самым старым; напротив, он оказался самым новым — наименее истрепанным из тех, что имелись у него в наличии; отправляясь в клуб, он надел самый лучший. Явная искренность моего промаха вызвала в нем смех. Шутка оказалась на мой счет, а не на его.

За все хорошее в жизни надо платить; чем лучше вещь — тем выше ее цена; и так как наилучшая вещь в жизни — любовь, то наихудшая мука — утрата. Любовь Лоренса и Барбары друг к другу была на моей памяти непревзойденной по силе, и, стало быть, рано или поздно, непревзойденной силы мука была уготована кому-то из них.

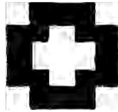
Сей последней трагической страницы в одной из этих двух, слитых воедино, жизней можно было бы избежать, выпади им счастье умереть одновременно. У греков, римлян, китайцев и японцев одновременная смерть являлась и до сих пор является не столь уж редким явлением[16]. Если она не произошла в результате несчастного случая, то оставшийся в живых супруг может тотчас исправить ошибку судьбы, действуя уже по осознанному человеческому выбору; иначе говоря, он может совершить самоубийство. Однако для христианина, как и для бывшего христианина, самоубийство есть вещь запретная; им остается только уповать на всемилостивый случай, и тут самым многообещающим шансом в наше время является возможность погибнуть в авиакатастрофе. Эта счастливая развязка в реальной жизни возможна, хотя она и не приемлема — так я слышал — для налогового ведомства Соединенного Королевства. Мои наследники еще не получили случай проверить, насколько правдива эта информация, но, как я понимаю, одновременная смерть мужа

и жены в любом случае невозможна с финансовой точки зрения. Даже если оба погибнут при крушении одного и того же самолета, департамент, ведающий поступлениями налогов в государственную казну, будет считать, что один из двух (не важно, кто именно) опередил другого, по меньшей мере, на две секунды. Не имеет значения, кто именно, потому, что в любом случае данная теория дает право налоговому ведомству дважды обложить наследство налогом[17]. Тем не менее Лоренс или Барбара все равно не могли бы достичь этого избавления от скорби. Перспектива авиапутешествия никогда не появлялась на их горизонте. Я полагаю, они даже никогда не всходили на борт самолета, не говоря уже о возможности вместе встретить там свою смерть, поэтому одному из них пришлось нести боль утраты. Вся тяжесть этой боли упала на Барбару. Покуда Барбара выбиралась из туберкулеза, Лоренс тем временем все сильнее погружался в пучину сердечного заболевания. Он умер тихо и внезапно, ночью, во сне. Судьба не может быть одинаково милостивой к обоим, и чем легче уход одного, тем тяжелее потрясение другого.

Но тяжелая утрата Барбары была, я полагаю, все же меньшим злом. Я не представляю, как бы Лоренс стал жить без Барбары. Я могу вообразить только некую аналогию с тем, что пришлось вынести ей. Барбара горевала о муже непрестанно, пока наконец Природа не снизошла к ее горю, затуманив память. Это было то же самое средство, которое Природа применила, в конце концов, для облегчения страданий дяди Гарри после утраты тети Эллен. В обоих случаях милость Природы была скупой и неохотной. Природа обрекла свою жертву страдать необычайно долго, прежде чем снизошла и применила свое обезволивающее средство; но даже и тогда ее акт милосердия был не от полноты души. Когда она гасила физические способности, делавшие человека человеком, почему воздержалась от того, чтобы единым махом убить и все тело?

Мой последний визит к Барбаре, пока она все еще была сама собой, произошел в 1956 г., когда я отправлялся в поездку, которой предстояло продлиться 17 месяцев. Когда, по возвращении в Англию, я увидел Барбару снова, она была уже не способна общаться ни с живыми, ни с мертвыми; однако тогда, в 1956 г. ее скорбь не могла оставить человека равнодушным. В их старой, хорошо знакомой гостиной она сидела теперь одна. Но за высоким, до полу, окном, как и прежде, собралось общество ожидающих угощения птиц. Птицы слетались точь-в-точь, как в былые времена, когда в доме обитали оба их благодетеля, на расположение которых они всегда могли рассчитывать. Глядя на птиц во время нашего с Барбарой разговора, я чувствовал, что легендарная привязанность птиц св. Франциска к своему человеческому другу ассоциируется у меня

с этими птицами Лоренса и Барбары. Я отважился заговорить с Барбарой об этом своем ощущении. И она сказала мне, что эта же мысль очень часто возникает и у нее. В ее утрате птицы и звери давали ей утешение, какое бессильны были дать самые преданные друзья — люди. Присутствие птиц было утешительно потому, что эта внутренняя связь между ними и ею была также связью между нею и Лоренсом. Всякий раз, помогая их с Лоренсом бессловесным друзьям, она ощущала его незримое присутствие. Получалось, что птицы — знали они об этом или нет — теперь отдавали долг паре человеческих существ, которые так любовно обращались с ними.



9. УЭББЫ

Я теперь уже не помню, по какому случаю произошла моя первая встреча с Уэббами. Должно быть, это было еще до конца Первой мировой войны. Это подтверждается случаем, подробно излагаемым в этой главе, который касается изящно-старомодного двойного столбца цифр, над которым трудился Сидни Уэбб. Та первая наша встреча произошла, несомненно, по инициативе Уэббов. Определенно, не по моей, потому что мне никогда во время войны не приходилось выполнять для Уэббов каких-то работ, подобных той, что я выполнял для лорда Брайса; а вторгаться без приглашения — ни к лорду Брайсу, ни к Уэббам — я бы никогда не отважился: уж слишком велика была пропасть между ними и мной. Я был намного их моложе и не пользовался никаким особенным авторитетом. Если Уэббы и искали знакомства со мной, то лишь потому, что их натуре, как и натуре Гарри Тоуни, было свойственно дружелюбие, и еще потому, что, подобно лорду Брайсу, они решали проблему разрыва между поколениями, попросту игнорируя ее. Это не была сознательная стратегия; будь так — она бы не оправдалась. Я уверен: то было нечто спонтанное и совершенно естественное. Для молодого человека, ради которого Уэббы, так сказать, взломали лед, сделав первый шаг, это было весомым свидетельством, что Уэббы обладают всеми человеческими качествами. Почему же тогда Уэббы заслужили репутацию людей, лишенных человечности — «бесчувственных», «бесчеловечных», «негуманных»? Сложившаяся о них легенда как о чете безжалостных прозекторов тонкой человеческой материи была широко распространена в то время. Такой их образ можно счесть забавным или ужасающим, но и в том, и в другом случае его достоверность принималась как само собой разумеющееся. Это суждение о Сидни и Беатрис Уэбб было поверхностным. Тому, кто применяет термин «бесчеловечный» или «бесчувственный», следует прежде проанализировать, что он под ним подразумевает. В разных контекстах эпитет может иметь разные оттенки смысла, и не все из них непременно уничижительны.

Начать с того, что надо делать разграничение между миром частной жизни и миром государственной службы. В своей частной жизни Уэббы не были «бесчувственны» ни в малейшей степени. Они не только глубоко любили друг друга, но были даже несколько излишне демонстративны в проявлении своих чувств в присутствии друзей, что не свойственно большинству англичан. Они не были стеснительны — я видел их даже шаловливыми, и их друзья получали свою долю этого обаятельного душевного тепла. Что же касается общественной жизни, в которой они были неутомимы, то главной целью всей их многосторонней деятельности было облегчение

участи своих собратьев — людей, а одним из мотивов столь преданной службы этому благородному делу был как раз моральный бунт против бесчеловечности. Отец Беатрис Уэбб был подрядчиком, и она рассказывала мне, что ранним переживанием ее жизни, в числе других подтолкнувшим ее к выбору карьеры, было отвращение к той бесчеловечной манере, в какой ее отец и его деловые партнеры привыкли рассуждать о «рабочей силе» — будто не о живых существах, а каких-то неодушевленных предметах потребления, вроде древесины или цемента. Сама она к тому времени уже не могла принять этот обезличивающе краткий термин для обозначения многочисленных человеческих существ, чьи жизни были почти полностью во власти их жестокосердых работодателей. Хотя Беатрис Уэбб исповедовала фабианские взгляды[1], она обладала способностью декана Свифта к *saeva indignation*[2]. Ее чувства были сильны; и это с очевидностью проявлялось в частной жизни, где она и не стремилась их скрывать. Когда же у людей, которые сталкивались с ней на общественной почве, возникало впечатление, что она холодна и неэмоциональна, они ошибочно принимали маску за скрывающееся под ней человеческое лицо.

В таком случае намеренно ли Уэббы сдерживали свои чувства, имея дело с общественными деяниями людей? Думаю, да. Я также думаю, что если они так поступали, то имели на то веские причины. Тем не менее эта их манера — на мой взгляд, в принципе, правильная — видимо, и породила впечатление о их мнимой бесчеловечности. Более того, я нахожу это впечатление не совсем уж неоправданным, хотя выражалось оно обычно в заявлениях, на мой взгляд, огульных и скороспелых. Самые лучшие и благородные принципы применимы лишь в определенных пределах; и эта истина особенно уместна, когда речь идет об изучении отношений между отдельными людьми и народами и управлении этими отношениями. В этой области стремление к объективности и беспристрастности постоянно сталкивается с проблемами добра и зла, с представлением о правоте и неправоте, перед лицом которых моральный нейтралитет невозможен, а если бы и был возможен, то сам по себе уже являлся бы злом. Мне представляется, что Уэббы порой старались вывести свое похвальное стремление к объективности за те пределы, где уже в нравственном смысле неверно (и, я бы сказал, в интеллектуальном смысле обманчиво) оставаться беспристрастным и не принимать сторону правоты перед лицом неправоты в общепринятом понимании.

Проблема, возникшая в практике Уэббов, взволновала меня, потому что в некоторой степени она являлась и моей проблемой при написании «*Обзора международных событий*» для Четем-Хауса. Неизменное требование Совета Четем-Хауса состояло в том, что

28-281

«Обзору» надлежит быть «научным», а под этим Совет подразумевал «объективность в преподнесении материала», а также «точность формулировок». Я всегда делал все, что мог, дабы следовать этой инструкции. То был не только мой профессиональный долг — мои личные убеждения тоже совпадали с мнением Совета. Я был также убежден, что объективность необходима для эффективной работы при составлении данного обзора; и имелось много текущих международных событий, которые было не трудно освещать объективно.

Примером является спор между Бельгией и Нидерландами по поводу относительных прав каждой из стран на судоходство в водах реки Шельды, в той части ее устья, ниже Антверпена, где оба берега являются голландскими[3]. Суть задачи здесь состояла лишь в том, чтобы изложить два противоборствующих набора аргументов, и в этом анализе конфликтующих правовых притязаний не было ничего такого, что заставляло бы кровь вскипать, а волосы — вставать дыбом. То была первая порция работы над «Обзором», к которой я приложил руку. Я начал с этой проблемы по совету сэра Джеймса Хедлэма-Морли; и у меня нет сомнений, что его наметанный глаз специально выбрал эту тему как совершенно простую и очевидную для того, чтобы я, как начинающий, обрел свой первый опыт. К счастью, даже в дискуссионном поле международных отношений всегда есть ряд тем, с которыми, как и с дискуссией о правах судоходства в низовьях Шельды, можно обращаться «научно», в том смысле, который в него вкладывал Совет Четем-Хауса — и в свою очередь вкладывали Уэббы (тут между ними нет большой разницы). Но как быть с вопросом отношения итальянских властей к немецкоязычному населению Южного Тироля после перехода Южного Тироля из-под суверенитета Австрии под власть Италии?[4] Как быть с человеческими (а не просто юридическими) правами арабского населения Палестины?[5] Как быть с нападением Италии на Эфиопию?[6] И если взять экстремальный случай: как быть с нацистским геноцидом еврейской диаспоры в континентальной Европе? Насколько возможно — и если возможно, то насколько правильно — стремиться в подобных случаях к «научности» (читай: «беспристрастности»)?

По крайней мере, последняя из четырех только что очерченных мною ситуаций застает «объективного» историка врасплох. Следует ли ему, ради соблюдения «объективности», излагать историю газовых камер тем же ровным и лишенным эмоций тоном, каким он стал бы излагать противоположные доводы голландских и бельгийских правоведов в их споре о судоходстве на Шельде? Давайте предположим (хотя это, конечно, нелепое предположение) — что, благодаря какому-то лексикографическому трюку, кто-то преуспел в изложении нацистских зверств в нейтральных, лишенных моральной окраски выражениях. Разве это не означало бы тогда,

что он приносит реальность в жертву «объективности»? А когда утрачена реальность, какая еще остается субстанция для того, чтобы прицепить к ней «объективность» историка? Беспристрастный и бесстрастный отчет о нацистских зверствах означал бы утрату связи с реальностью, потому что суть реальности здесь состоит в том, что подобные деяния есть не что иное, как преступление, а отнюдь не роковая случайность. Жертвы этих деяний — не то, что жертвы механического действия некоей обезличенной силы, вроде айсберга, унесшего жизни экипажа и пассажиров «Титаника»[7]; эти жертвы нельзя также уподобить жертвам извержения вулканов Мон-Пеле[8] и Кракатау[9] или людям, которых сожрала акула. Эти люди были преднамеренно убиты другими людьми; и нарушить вербальную связь между преднамеренным убийством и порочностью убийц, а также осуждением этой порочности с позиций чистой совести означает не заметить убийства, превратить его в пустяк. Здесь, определенно, мы имеем случай, в котором были найдены верные пределы объективности и их ни в коем случае не следует переступать. В конечном счете, требование придерживаться «научности» в смысле «объективности» являет собой неписаное ограничение, которое может простираться лишь настолько, насколько это согласуется с понятиями о человечности.

Это ограничение раньше или позже заявит о себе, потому что ученый, предметом изучения которого являются человеческие деяния, подвержен профессиональному риску, от которого ученый-негуманитарий защищен. Этот риск состоит в том, что в любой момент профессиональный долг учёного-гуманитария фиксировать людские деяния может столкнуть его с такими событиями, которые он не сможет зафиксировать без того, чтобы одновременно не дать им моральную оценку. Человек не может быть профессиональным историком без того, чтобы не быть собственно человеком, и в силу этой неотъемлемости своей человеческой природы он обладает совестью, которая не может смолчать, когда возникающая моральная проблема серьезна, а вина очевидна.

Вот та точка, где достигается правильная мера «объективности». Но главная трудность в том, чтобы понять, была ли эта мера достигнута в каждом конкретном случае. Единого правила для решения этого вопроса не существует. Ученому, который изучает дела людей и сталкивается с этой проблемой, приходится решать ее в каждом случае *ad hoc* (отдельно) и на свой страх и риск. Его решение, каково бы оно ни было, вероятнее всего, подвергнется критике и будет оспариваться. Изложение вопроса об итальянском вторжении в Эфиопию, сделанное мной в «Обзоре» Четем-Хауса, было раскритиковано на основании того, что я вынес моральные оценки там, где они были неуместны. В противоположность этому Уэббов

порой критиковали за то, что они уклонялись от вынесения моральных оценок там, где они были необходимы.

В обоих этих случаях споры между ученым, изучающим человеческие деяния, и его критиками принципиально не имеют завершения. Дискуссионная интерпретация противоречивых человеческих деяний, по определению, лежит уже за теми пределами, внутри которых «объективность», по общему мнению, достижима и желательна; поэтому каждая сторона имеет возможность отмести точку зрения другой стороны как «субъективную». Я не стану здесь излагать свое собственное отношение к вопросу итальянского вторжения и временной оккупации Эфиопии. Я в данном деле — сторона заинтересованная, и так или иначе этот вопрос не относится к теме настоящей книги. Я хотел только затронуть проблему критики, от которой пострадали Уэббы. В их случае, как и в моем, вопрос, была ли критика оправданной или неоправданной, есть вопрос точки зрения. Самый лучший способ прояснить дело Уэббов — это проиллюстрировать его несколькими эпизодами из первых рук. Я упомяну, в первую очередь, такие, из-за которых Уэббы, вероятно, и заслужили определенные упреки в «бесчеловечности». А затем, ради сохранения верной пропорции, приведу иные примеры (и те, что наблюдал самолично, и те, о которых узнал от самих Уэббов), говорящие совершенно о другом.

Как-то раз, ближе к концу Первой мировой войны, мне пришлось встретиться с Сидни Уэббом по какому-то рабочему вопросу (уже не скажу сейчас, по какому), и, войдя в комнату, я нашел его погруженным в составление двух параллельных столбцов цифр. Эти его арифметические упражнения заинтриговали меня, потому что имели явную важность в его глазах, поэтому я отважился спросить, что представляют собой эти цифры. Сидни сообщил мне, что в цифрах выражено количество кубических футов. Левая колонка представляла собой перечень объемов жилья (в кубических футах), которое, видимо, сохранится после войны, избежав разрушений. (Погибшие, конечно, уже получили свое жилье, быстро и недорого, по шесть футов длины на каждого.) Правая колонка представляла собой объемы жилых построек (тоже в кубических футах), которые потребуются для тех жителей Соединенного Королевства, которые, не случись войны, эмигрировали бы и тем самым снизили бы общую потребность в жилье. Однако по причине войны эти люди были задержаны правительством Великобритании, желавшим иметь резерв живой силы, и, значит, общую потребность в жилье не снизили. После заполнения цифрами обоих столбцов Сидни собирался найти (выраженную в кубических футах) разницу между суммой убитых людей и суммой задержанных потенциальных эмигрантов мужского пола и призывного возраста, которых родина во

время войны приберегла дома для того, чтобы послать на смерть, когда возникнет такая необходимость. Это вторая сумма вроде бы оказывалась больше первой, и простое арифметическое вычитание кубических футов действительных смертей из кубических футов потенциальных смертей давало число кубических футов жилья, которое и потребуется после войны.

Сидни подробно растолковывал мне смысл этих цифр, а я видел вместо них лица своих убитых друзей. (Почти половина моих ближайших друзей и ровесников погибли.) Выглядело так, будто они каким-то нелепым образом неверно поняли свое назначение в этом мире. Некоторые из них полагали, что гибнут «за короля и отечество»; другие считали, что умирают в «войне, которая положит конец всем войнам»; а теперь, когда они были непоправимо мертвы и забыты, получалось, что каждый из них погиб, чтобы сберечь для правительства Его Величества некое количество кубических футов потребного после войны жилья. Расхождение между идеальным представлением и реальностью оказалось слишком нелепым и в то же время трагичным. Трагедия приобрела оттенок фарса, и я услышал свой собственный смех. Такой эффект воздействия цифр удивил и озадачил Сидни. «Я не вполне понимаю, почему то, что я делаю, кажется вам столь забавным. Теперь, получив мое объяснение, вы можете сами видеть, что конечный результат будет одним из ключевых показателей для послевоенного жилого строительства».

Лет четырнадцать или пятнадцать спустя я был свидетелем другого аналогичного взаимного непонимания из-за разницы мировосприятий. И вновь один из взглядов принадлежал Сидни, другой же на сей раз — барону Мейендорфу[10]. Уэббы тогда только что вернулись из своего паломничества в Советский Союз. Они возвратились с массой материалов, большей частью в виде официальных документов, и готовились включить то, что они узнали, в свою книгу — ту самую книгу под названием «Советский коммунизм», которой предстояло наделать столько шума и вызвать столько споров.

Профессиональный метод Уэббов состоял в том, что, приступая к какому-либо исследованию, они старались привлечь для консультации других специалистов по данному предмету, чьи знания и мнения могли бы прояснить картину. (Этот подход, разумеется, особенно полезен, как я сам имел возможность убедиться, коль скоро имеешь дело с текущими событиями, порождающими животрепещущие вопросы.) Уэббы были, кроме того, общительны и гостеприимны, поэтому их первым шагом по возвращении в Англию стало приглашение небольшой группы друзей пообедать вместе с ними в Лондонской школе экономики и политологии. (Уэббы являлись основателями этой школы.) Одним из гостей в тот вечер был барон Мейендорф; в списке приглашенных были и мы с женой. Барон

Мейендорф мог внести вклад в развернувшееся обсуждение больше, чем кто-либо другой. Он был балтийским немцем, а родиной его предков была Эстляндия, провинция бывшей Российской империи, которая на тот момент составила северную часть образовавшегося на этом месте Эстонского государства. Перед второй русской революцией 1917 г. Мейендорф был депутатом, а позже товарищем председателя Государственной Думы Российской империи. После революции они с женой бежали в Англию, где барон получил должность лектора в том самом институте, где собралось приглашенное Уэббами общество.

Во время обеда говорил Сидни. Его и Беатрис переполняли впечатления от пережитого в России, и он явно наслаждался первой возможностью поделиться этими впечатлениями с другими. Сидни проговорил уже изрядное время, как вдруг взгляд его упал на лицо Мейендорфа. «О, Мейендорф, — заметил он, — у вас такой вид, будто вы со мной не согласны». — «Внимая вам, мистер Уэбб, — ответил Мейендорф, — я будто снова вижу лица моих погибших друзей». При этих словах Мейендорфа за столом внезапно воцарилась тишина. Что до меня, то эти слова попали точно в цель. Они врезались мне в память, потому что точно воспроизводили ту мысль, которая мелькнула в моем собственном мозгу в тот день осенью 1918 г., когда Сидни подробно объяснял мне смысл двух цифровых столбцов. И вот теперь ту же самую мысль Мейендорф высказал вслух. Учитывая выражение, с каким они были сказаны, слова эти обрушились как удар молота. Что же последовало вслед за этим?

На миг даже Сидни, казалось, испытал замешательство. Но то радостное возбуждение, с каким он излагал свои русские впечатления, быстро понесло его дальше. Его монолог как бы перелился через восклицание Мейендорфа, подобно тому как при паводке поток воды переливается через попавшийся на пути валун. «О да, конечно, — сказал он, — это прискорбно. Не бывает революции без некоторого насилия. Но вы должны помнить, что число смертей статистически незначительно по сравнению с числом жизней, которые революция, несомненно, спасет и качество которых улучшит, когда принесет свои социальные плоды». Сидни продолжил свой рассказ. Мейендорф не стал с ним спорить. Тем не менее, если бы кто-то из нас, на месте Сидни, получил такое возражение, он бы, я уверен, напрочь замолчал.

Через некоторое время я получил от Уэббов комплект гранок, свидетельствующих о приближении выхода их книги. Авторы просили меня дать свои замечания, если таковые у меня имеются. (Нет сомнения, что они послали какие-то фрагменты и барону Мейендорфу.) Одна из глав, включенных в мой комплект, была отчасти посвящена Ленину, и я с большим рвением начал ее читать, ожидая,

что это поможет мне найти ответ на касающийся Ленина вопрос, который неизменно ставил меня в тупик. Мне всегда казалось, что существует фундаментальное несоответствие между ленинской теорией и практикой. В теории Ленин придерживался марксистского взгляда на то, что неумолимый ход Исторической Необходимости сметет капитализм. В то же время он посвятил свою жизнь тому, чтобы, напрягая все свои человеческие силы, дать толчок колесам джаггернаутовой колесницы[11] этой всемогущей Необходимости. Почему было Ленину не позволить себе спокойно бездельничать и дать тем колесам сокрушить капитализм без посторонней помощи? Если Историческая Необходимость действительно является столь необоримой силой, каковой Ленин, вслед за Марксом, ее полагал, человеческие действия не могли повлиять на ее ход в ту или иную сторону. Конечно, общеизвестно, что марксисты были не единственными детерминистами, которые одновременно являлись сторонниками энергичных действий, в явном противоречии со своими же собственными воззрениями. Мусульмане и кальвинисты вели себя столь же непоследовательно[12]; так что поведение Ленина в этом отношении не было уникальным. Тем не менее эта склонность к детерминизму, идущая рука об руку со склонностью к активизму[13], нуждалась в объяснении. И была еще вторая черта в натуре Ленина, которой я не мог найти объяснения. В теории Ленин был воинствующим атеистом — не только в смысле веры в Бога, но также в смысле светского «буржуазного идеализма» XIX в. Тем не менее в этом вопросе практика жизни Ленина, похоже, опять опровергла ленинскую теорию. Он прожил жизнь, которой были свойственны личный аскетизм и самопожертвование — черты, присущие скорее образу христианского, мусульманского или буддистского подвижника. Это тоже казалось мне нуждающимся в объяснении. Я продолжал читать корректуру, все время пытаясь найти хотя бы дискуссионные соображения на тему этих двух загадочных моментов в жизни и характере Ленина. Однако я дочитал главу до конца, не обнаружив и намека ни на одну из этих тем.

Естественно, передавая Уэббам свои замечания, я упомянул об указанных вопросах и высказал пожелание, чтобы авторы по возможности дополнили главу, посвященную Ленину, учтя эти моменты и предоставив читателю свой собственный взгляд на них. Ответ, который прислала мне Беатрис Уэбб, с очевидностью продемонстрировал, что мои предложения ей неприятны. Это не тот предмет, писала она, который им с Сидни было бы интересно рассматривать.

Не тот предмет? Что ж, содержание гранок дало мне понять, какого рода темы относительно Ленина Уэббы считают важными для рассмотрения. Здесь содержался детальный и обстоятельный отчет о публичных деяниях Ленина: его речах, манифестах, памфлетах, его

политических и административных декретах. Все это было конечно уместно и действительно существенно, но представляло собой ту материю, из которой делаются официальные документы; а к тому времени я уже достаточно знал об официальных документах, чтобы понимать их реальную полезность в деле истинного познания и понимания.

Служа во время Первой мировой войны в Министерстве иностранных дел, я имел возможность наблюдать, как составляются официальные документы, и даже сам прикладывал к этому руку. Тогда же я узнал, для чего официальные документы точно никогда не предназначались, — это для того, чтобы снабжать реальной информацией историков. Даже когда документы составляют с целью информирования, их предназначают должностным лицам и политикам; и содержащаяся в них информация — это тот минимум, который необходим для принятия решений относительно будущих действий. Поскольку официальные документы не должны быть перегружены, то они никогда не включают в себя информацию, и без того известную всем заинтересованным лицам. Вместе с тем вещи, которые общеизвестны для посвященных, могут быть неизвестны *profanum vulgus*[14], являясь, однако, при этом ключевыми моментами для понимания цели и смысла официального документа. Если не обладать знанием таких вот, не отраженных в документе, но необходимых, моментов, то документ из информации превращается в дезинформацию. Понимая это, я с тех пор всегда был настроен скептически при виде ученых, которые с таким доверием относятся к документам, словно в них содержится вся правда и ничего, кроме правды. Эти гуманитарии полагались на содержание документов столь же безоговорочно, как геолог в своих исследованиях безоговорочно полагается на полученные данные о составе, структуре и залегании горных пород. Эти гуманитарии не осознают, что *ex officio* официальный документ, в отличие от геологической формации, не раскрывает всего контекста событий. А этот контекст включает незафиксированные на бумаге сведения и необнародованные цели. И если историк не добавит в свое исследование эти недостающие кусочки, восстанавливающие всю картину, он рискует остаться в дураках, а также морочить голову своим читателям.

Когда я прочел письмо Беатрис Уэбб по поводу гранок их будущей книги, то понял, что Уэббы как раз и совершили эту стандартную ошибку. Они проявили излишнюю доверчивость: с одной стороны, слишком понадеявшись на ленинские публичные акты, и с другой стороны, отказавшись рассматривать личность Ленина — хотя таковая была внедокументальным свидетельством и неоценимым ключом к истолкованию самих документов. Прав ли я был? Могли ли такие опытные исследователи проявить наивность? В это

трудно поверить. Тем не менее я искренне считаю, что Уэббы все-таки попались в эту ловушку в ходе своего изучения советского коммунизма. И я думаю, что завели их в эту ловушку два просчета в рассуждениях: их пристрастие к «объективности», доведенное до такой степени, когда оно уже перестает приносить желаемые плоды, и их ошибочное представление, что при изучении человеческих деяний необходимо сбросить со счетов человеческий фактор — если исследователь стремится постичь объективную реальность. Не могу согласиться с тем, что такой способ обращения с фактами имеет шансы достичь своей цели. За статистикой жилищного строительства «я словно вижу лица моих погибших друзей». Под маской революционера и диктатора я склонен видеть лицо человека, принесшего себя в жертву идее. Во всех трех случаях, которые я сейчас упомянул, Уэббы впали в один и тот же интеллектуальный грех недооценки. Они недооценивали (причем намеренно) человеческий фактор; и в этом плане обвинение их в «бесчувственности», «бесчеловечности» действительно кажется не лишенным оснований.

Итак, Уэббы — люди ли они? Возникает в памяти название книги: «Англичане, люди ли они?» Уэббы были типичными англичанами в смысле присущей островитянам замкнутости и определенной негибкости ума. Я помню тот шок, который испытал однажды, услышав вопрос, с которым обратилась ко мне Беатрис Уэбб. Это случилось в один из дней вскоре после отставки лейбористского правительства[15]. Мы с женой как раз приехали в дом Уэббов в «Пассфилд-Корнер», чтобы провести у них уик-энд. Первое, с чем обратилась ко мне Беатрис, был вопрос: не считаю ли я вероятным, что в скором времени в Германии произойдет революция. При мысли об этом я в ужасе воздел руки. Перед моим мысленным взором вспыхнули кошмарные видения: революция, гражданская война, победа экстремистов — правых или левых, — конфликты с соседями, еще одна мировая война! Была ли эта катастрофа тогда неминуема? Разумеется нет. (То был период временного затишья между подавлением спартаковцев и возвышением нацистов[16].) «Нет, я не ожидаю революции в Германии, — ответил я и прибавил: — И будем надеяться, что я прав». Беатрис выглядела разочарованной. «Видите ли, — пояснила она (возможно, авторство ее слов принадлежало Лайонелу Кертису), — в нашей стране, к нынешнему времени, мы сумели поставить политическую жизнь под контроль, мы надежно держим ее в узде умеренности в течение уже длительного периода. Поэтому не существует опасности, что революция на континенте перекинется сюда; но чем она может нам помочь, так это произвести здесь достаточный политический переполох, чтобы снова привести лейбористов к власти». Вернуть собственную партию к власти в Британии ценой крови и слез, которые придется заплатить за революцию на континенте!

Мог ли какой-либо ответственный человек рассматривать такую возможность и считать, что оно того стоит? Столь бессердечный расчет мог прийти в голову только бриттам, в представлении которых европейский континент располагается настолько далеко за гранью реального мира, что на кровь и слезы его жителей можно взирать без малейших британских терзаний.

Этот жутковатый разговор с Беатрис Уэбб в один из дней в конце 20-х годов XX в. напомнил мне реплику Джилберта Марри о том, что «Уэббы безнравственны, когда дело касается войны». (Дата этой ремарки Дж. М. относится ко времени перед 1914 г., когда слово «война» для британцев все еще означало Южноафриканскую войну.) Уэббы, по словам Марри, приняли такую линию стратегического мышления, согласно которой увеличение в размерах политических образований способствует повышению эффективности управления, а стало быть, росту общественного прогресса. Так что, пусть Оранжевая республика и Трансвааль будут включены в состав Британской империи и давайте не будем отвлекаться от высоких фабианских общественных целей для занятия несущественным политическим вопросом.

В этом своем хладнокровном взгляде на Южноафриканскую войну Уэббы не являлись типичными британцами той поры. Для большинства соотечественников Уэббов данный вопрос не являлся вопросом чисто административного характера, связанным с повышением эффективности управления в целях преодоления стагнации. То был вопрос морального свойства, вопрос борьбы между добром и злом. Реакция либералов типа Кэмпбелл-Баннермана была такова: «эта война неправедна»; реакция либералов Асквита—Грея была несколько иной: «главное — наша страна, праведна эта война или нет»; консерваторы же были уверены: «эта война праведна[17]». В своих оценках партии расходились, но сходились во мнении, что предмет их разногласий имеет моральную природу. В данном случае попытка Уэббов «де-морализировать» предмет представляла собой нечто своеобразное.

Приведенные эпизоды свидетельствуют: Уэббы действительно иногда придерживались «негуманного» мышления в отношении политических событий. Едва ли их можно оправдать на том основании, что они бывали «бесчеловечными» во имя человека, поскольку такая линия защиты реабилитировала бы также и Робеспьера[18]. Их «негуманность», в этих крайностях своего проявления, нельзя обелить. Тем не менее эти отдельные случаи вероотступничества и «впадения» в грех «бесчеловечности» по отношению к человеческим существам «в массе» были своего рода компенсацией той твердости и последовательности, с какой, занимаясь общественными отношениями, Уэббы отодвигали в сторону любые собственные эгоистические чувства. Те чувства, которые у большинства людей, вероятно, заявляли

бы о себе достаточно настойчиво, придавая желчь их суждениям и в определенной степени влияя на их поступки. Могу привести случай, в котором привычка Уэббов к «бесчеловечной» объективности дошла до почти сверхчеловеческого безразличия к самим себе и, в конце концов, обернулась замечательным покорением более своенравной и эгоистичной личности.

«Не могли бы вы мне ответить, — спросила меня однажды Беатрис, — что означает слово «snice»[19]?» — «Для меня оно тоже ново, — ответил я. — А откуда вы его взяли?». — «На прошлой неделе, на собрании комитета, X. сказал мне: “Не хочу больше иметь ничего общего с вашим snice-обществом.” Это явно означает что-то нелестное, но мне бы хотелось выяснить точное значение».

Подробно излагая этот эпизод, Беатрис говорила спокойно и добродушно, и на меня произвела немалое впечатление ее, достигаемая явно без всяких усилий, беспристрастная, холодная отстраненность. Я понимал, что инцидент был не просто лично неприятен ей и Сидни; серьезность положения создавалась не личной обидой на столь грубое и оскорбительное поведение (тем более в присутствии третьих лиц) со стороны человека, стоявшего ниже их по возрасту, положению, признанным заслугам. Инцидент нес угрозу тому, что означало для Уэббов нечто гораздо большее. Высказывание «Ваше snice-общество» относилось ни к чему иному, как к Фабианскому обществу. Двумя его столпами были именно Уэббы, употребивший же это выражение молодой человек был моим сверстником (и другом). Тем не менее для Фабианского общества его воинствующий выпад был угрожающ. Хотя в мире британской политики левого крыла X. все еще был новичком, тогда как Уэббы были старыми, заслуженными олимпийцами, его звезда взошла над политическим горизонтом со скоростью метеора, и он заслужил этот взлет. Он обладал блестящими способностями, характером активным и динамичным, и на первом этапе карьеры его личные амбиции (таково мое мнение) также не знали удержу. Несмотря на свою молодость, он уже собрал вокруг себя когорту сторонников, находившихся под влиянием его энергичной личности. В сущности, для Фабианского общества X. был Люцифером[20]. Он открыто принял роль Люцифера, объявив ту самую войну на прошлом собрании комитета. Каким же образом собирались реагировать наши фабианские небожители, эти фабианские Юпитер и Юнона? Собирались ли они поступить подобно Господу Воинств[21], когда мифологический Люцифер бросил ему вызов? Что ж, они поступили гораздо лучше. Вместо того, чтобы козырять своим старшинством и превосходством, низвергать его вниз головой в ад и таким образом создать там постоянный бунт Земли против Неба, Уэббы сумели повернуть кризис Фабианского общества к более счастливому исходу. Они ухитрились воссоединиться с Люцифером и

его ангелами в своем небесном воинстве; и эту выдающуюся победу смогли одержать лишь потому, что остались спокойными и невозмутимыми к личным нападкам Люцифера. Олимпийцы не позволили себе смешаться под снайперским огнем язвительных стрел, выпущенных в *snicовое* Фабианское общество — то детище, в которое и они, и их соратники, отцы-основатели, вложили столько тяжкого труда и разумного, сдержанного искусства управлять государством.

Лишь год или два спустя, после разговора с Беатрис Уэбб о значении слова «snice», я обнаружил, что Х. теперь снова работает вместе с Уэббами, и не просто из соображений выгодного сотрудничества, а вполне дружественно. Всепобеждающая необидчивость Уэббов в конце концов покорила Х. Конечно, их душевная безмятежность не оказала бы на Х. такого же воздействия — как и на меня их дружелюбие, — если бы то был просто дипломатический ход, с которым их истинные чувства не имели бы ничего общего. Перед «бесчувственной» свободой Уэббов от «человеческого» чувства эгоизма невозможно было устоять, по причине ее полной и неподдельной искренности. Например, Х., при всем его тогдашнем честолюбии, также сумел найти в себе достаточно «обезличенной» «уэббовской» преданности делу левых, чтобы оценить гражданственность Уэббов и отозваться на нее подобным же образом.

Я, право же, не верю, что беспристрастность Уэббов там, где дело касалось их «эго», была вынужденной и достигалась путем какой-то трудной победы над искушением. К примеру, я не верю, что на том неприятном и переломном собрании комитета у них возник хоть малейший импульс ответить на выпад Х. чем-то вроде: «Пошел вон, щенок!» Личные чувства могут порождаться только зарядом физической энергии; а в душе Уэббов (в этом смысле то была единая душа, а не две отдельных) никогда не было излишков энергии, чтобы извергать их в форме сугубо личных чувств обиды, негодования, возмущения. Энергия, которая не была бережно отложена для их абсолютно человеческих отношений друг с другом и с друзьями, целиком и полностью затрачивалась на их общественную деятельность. Что неудивительно, учитывая объем и масштаб общественного спроса на эту их энергию.

Список общественных достижений Уэббов изумляет. Они были отцами-основателями Лейбористской партии — так же, как Фабианского общества. И не просто рядовыми отцами-основателями; они были их Джорджами Вашингтонами. Уэббы основали Лондонскую школу экономики и политологии. Из-под их пера вышла обширная серия научных работ по социально-экономической истории, создание каждой из которых потребовало напряженных и трудоемких исследований. Они трудились подобно муравьям или пчелам. Они сказали мне однажды, что после первой полудюжины лет своего

счастливого брака и упорного интеллектуального труда они решили, что нуждаются в отпуске, и отправились на три недели в Уоррингтон[22], но и там провели время за работой над документами. Рассказывая эту курьезную историю, Уэббы понимали, что выставляют себя в не слишком выгодном свете. Они имели спасительный человеческий дар никогда не принимать себя слишком всерьез, будучи при этом всегда стопроцентно серьезными в отношении к своей работе. Конечно, Сидни и Беатрис имели и частную жизнь, а не только публичные форумы, и в своей частной жизни они были достаточно человечными, что, полагаю, и демонстрируют следующие истории. Все эти исторические анекдоты, кроме одного, являются либо эпизодами, свидетелем которых был я сам, либо случаями, о которых поведала мне Беатрис Уэбб.

Однажды Уэббы путешествовали по Восточной Азии и, как и следовало ожидать, прониклись немедленной неприязнью к Китаю и точно такой же немедленной приязнью к Японии. В то время Китай пришел в упадок, тогда как Япония уже обрела экономический динамизм. (Что бы почувствовали Уэббы, если бы могли вновь вернуться сегодня и обнаружить, что Китай стал коммунистическим, рассчитывая вслед за этим стать экономически эффективным? Были бы их сегодняшние пристрастия на стороне Китая, а не Японии? И какому из коммунизмов отдала бы предпочтение эта чета ярых фабианцев — воинственно настроенному китайскому или размягчающемуся русскому?[23]) Проникшись тогда симпатией к Японии и испытывая особенную приязнь к сопровождавшему их японскому гиду, Беатрис и Сидни были однажды крайне расстроены, обнаружив, что, видимо, совершили нечто, чрезвычайно расстроившее их японского спутника. Сомнений быть не могло: неодобрение гида было столь сильно, что он был не в силах скрыть его. Уэббы умоляли его открыть, какую оплошность они совершили, с тем чтобы они имели возможность ее исправить. Гид был смущен, но хранил упорное молчание. Было совершенно ясно: они совершили что-то слишком ужасное, чтобы можно было сказать об этом, не нарушая правил приличия. Наконец они вытянули из него правду: «О, пожалуйста, не так любовно». Оказывается, дело было в том, что, когда они поднимались на гору, Сидни поддерживал Беатрис, кладя ей руку на поясницу. Столь непристойное поведение на публике со стороны варваров, путешествующих в сопровождении гида, потрясло бедного сопровождающего до глубины души. То, с каким выражением Беатрис рассказывала эту историю, давало понять: она считала эпизод особенно забавным именно по отношению к супружеской паре, которая на своей варварской родине слыла *a la japonese*[24] бесчувственной.

Поттеры, родная семья Беатрис Уэбб, была большой, и человеческие связи между ее членами были тесными. Беатрис была обожаемой

тетушкой и наслаждалась заслуженной привязанностью своих многочисленных племянников и племянниц. Именно поэтому семья воззвала к Беатрис, призывая на выручку, когда одна из ее племянниц, будучи еще в том возрасте, когда совершают опрометчивые поступки, объявила о своем намерении вступить в брак по типу *companionate marriage*[25], при котором допускается развод. Девушка оставалась абсолютно глуха к протестам родителей. Беатрис приняла кризис в семье близко к сердцу. Она пригласила упрямую племянницу к себе на чай, и чайный поднос послужил для того, чтобы продемонстрировать набор изысканных чайных ложечек XVIII века. Беатрис, как она потом мне рассказывала, впрямую и словом не упомянула о предполагаемом злополучном браке. Но, заметив, как ее племянница поедает глазами ложечки, — именно этого она и ожидала, — Беатрис обронила невзначай, что теперь, когда ее земной срок приближается к концу, она подумывает о том, чтобы передать эти ложечки кому-то из младших членов семьи. «Ты достаточно хорошо меня знаешь, — продолжала она, — и знаешь, что я свободна от старомодных предрассудков — как и ты, я полагаю. Но существует практическая сторона, о которой, так или иначе, приходится думать. Прежде, чем расстаться с этими ложечками, мне необходимо удостовериться, что их новый дом будет постоянным. Ты же знаешь, они представляют фамильную собственность». Больше ничего сказано не было, но пока племянница ехала домой, Беатрис уже говорила по телефону встревоженным ее родителям, что теперь все будет хорошо. Ложечки отошли именно к этой племяннице, и новый дом, который они обрели вместе со своей хозяйкой, был прочным. Чайные ложечки, несомненно, сыграли свою роль; но сам-то фокус был заслугой проницательного ума Беатрис и ее знания человеческой натуры. Беатрис с очевидным удовольствием пересказывала этот свой ловкий ход в решении семейной проблемы. Я выражу догадку, что он доставил ей не меньше удовольствия, чем другие ее ловкие ходы, но уже на арене общественных дел.

Сферой, в которой очаровательным образом обнаружилась человечность Уэббов, была их дружба с Джорджем Бернардом Шоу[26]. Их отношение к Шоу было весьма любопытным, как если бы тот был их приемным сыном — талантливым ребенком, успехами которого они в величайшей степени гордятся, но все-таки ребенком, так до конца и не выросшим, а потому всегда нуждающимся в некоторой родительской заботе, независимо от того, какое положение занимает он в глазах остального мира, не знающего его столь близко, как знают Уэббы.

Часть успеха Шоу Уэббы до некоторой степени приписывали себе. Миссис Шоу дружила с Уэббами прежде, чем стала женой Шоу. В доме Уэббов они с Бернардом и познакомились. Уэббы считали,

что в некоторой степени способствовали этому роману; по их мнению, женитьба не только способствовала обретению им личного счастья, но и благоприятно сказалась на профессиональном успехе Шоу. Миссис Шоу имела свои собственные средства, которые дали возможность Шоу забросить литературную поденщину и посвятить все свое время написанию той первой серии пьес, которая с ходу завоевала мир и сделала Шоу в короткое время всемирно знаменитым. Уэббы, однако, не забывали упоминать, что в конечном счете гонорары Шоу далеко превзошли доходы миссис Шоу от ее личных капиталов. Они были *au fait*[27] роста его гонорарных доходов и в качестве примера торжествующе приводили величину гонорара за последний год (выраженная в фунтах стерлингов, она достигала пятизначной величины, если мне не изменяет память). Убеждения Уэббов не позволяли им одобрять успехи частного бизнеса и получение таких прибылей, но их радость от успеха Шоу пробивала себе лазейку в стене их общественной теории. Там, где дело касалось Шоу, Уэббы были чисто по-человечески непоследовательны, необъективны и беззастенчивы, потому что в личном плане относились к Шоу по-человечески терпимо и снисходительно.

Необходимость присматривать за Шоу, как они ее понимали, иллюстрировалась таким происшествием. Однажды Шоу объявил им, что собирается баллотироваться в Совет Лондонского графства. Уэббы отнеслись к идее прохладно; формальные, организационные вопросы управления на общегосударственном и местном уровнях это не по его части — так они ему сказали. Но Шоу невозможно было отговорить. «Я все равно буду баллотироваться, — заявил он, — и, конечно же, вышлю вам экземпляр моего предвыборного обращения к избирателям». (Было принято, чтобы кандидаты на выборах в Совет Лондонского графства распространяли заранее предвыборную речь, в напечатанном виде, что заменяло обход домов избирателей с целью агитации за кандидата.) Итак, Шоу баллотировался, настал день голосования, но результаты оказались плачевными. Уэббы застали Шоу кипящим от возмущения. «Не понимаю, — воскликнул он, — почему я провалился на выборах. Я предполагал, что моя предвыборная речь сделает мое избрание делом решенным. Так должно было произойти. Я изрядно повозился с этой речью, и получилась одна из лучших вещей, какую я когда-либо написал. Вы со мной не согласны?» — «Но мы ее не видели». — «Не может быть! Я послал вам экземпляр, как и обещал. Надо поискать в ваших бумагах. Да, конечно, вот она!» — «Ваш памфлет? Да, он пришел, и мы с удовольствием его прочли. Но мы все равно не видели вашей предвыборной речи». — «Как не видели? Так вот же она!» — «Но в этом памфлете вы и словом не упомянули о выборах; вы даже слова не сказали о Совете графства. Вещь действительно хорошо написана;

но как вы могли ожидать, что избиратели поймут из нее, что вы — кандидат и что вы агитируете их отдать за вас свои голоса? Неудивительно, что вас не избрали». — «Что ж, я чувствую отвращение. Если избиратели настолько глупы, что не смогли понять, что это была моя предвыборная речь без столь многословных объяснений, я жалею, что баллотировался, и рад, что не прошел».

Я уже упоминал, что Уэббы отзывались с одобрением о той роли, которую сыграли личные средства миссис Шоу в достижении ее мужем успеха и славы. Их отношение к частным средствам в обществе, где социализм едва ли еще начал оказывать ощутимое влияние, было следующим: в этих отживших общественных обстоятельствах обладание частными средствами можно временно признать законным, если эти средства используются их обладателями для социально значимых целей. Именно так сами Уэббы использовали частные средства Беатрис. Ни обстоятельства, ни эмоциональная впечатлительность не побуждали их лишать себя имущества по примеру св. Франциска Ассизского, который избавился от имущества, доставшегося ему от отца-купца[28]. Для Уэббов частные средства были инструментом, который освобождал их время и энергию для того, чтобы они могли заниматься социально значимыми, но не прибыльными делами. Они взглянули на дело с точки зрения здравого смысла и поняли, что уменьшили бы ту пользу, которую принесят обществу, если бы отказались от этого инструмента, вложенного в их руки самой Фортуной — своенравной, но всесильной повелительницей людских судеб. Пожалуй, они знали не хуже св. Франциска, чего хотят в жизни, и не менее ясно осознавали значение частных средств для своих лишенных корысти устремлений к общественному благу. Для цели св. Франциска частная собственность была помехой; для целей Уэббов она являлась полезным инструментом. Подобно св. Франциску, Уэббы хотели преобразовать мир, но, в отличие от него, никогда не помышляли о преобразовании мира путем отречения от него. Точно так же их отношение к миру не было аскетичным отношением временно пребывающих в нем странников, подобно тому как это было у Хэммондов и Тоуни, *in forma pauperis*[29]. Они не лишали себя нормальных средств и возможностей британского класса крупной буржуазии своего времени. Судя по тому, что греки называли «*choregia*»[30] — т. е. по обстановке их дома и пище, которую они ели — также нельзя было сказать, что они вели себя как-то специфично, как-то по-особому. В фундаментальном же понимании их можно было считать людьми особенными — в том смысле, в каком были особенны Хэммонды и Тоуни. Всю жизнь Уэббы провели в активной и напряженной работе ради достижения таких целей, в которых не имели личной заинтересованности.

Беатрис Уэбб была привлекательной женщиной. У нее были красивые черты лица, которые не стерлись с годами. Ее наружность требовала соответствующей одежды, и она всегда была хорошо одета. Она разбиралась в искусстве. На этот счет в ее семье бытовала одна шутка. На какой-то коронации (возможно, на коронации Георга V) ее сестре леди Кортни Пенуит пришлось присутствовать в одеянии, соответствующем супруге пэра. Такие наряды стоят дорого и не могут быть применимы в каких-либо других случаях, кроме как на этом государственном торжестве. После того как церемония закончилась, леди Кортни предложили продать ее одеяние и направить полученную сумму на благотворительность. Выручка могла бы, вероятно, быть ощутимой, потому что материал одеяния был, конечно, великолепен. Однако тут вмешалась с просьбой миссис Уэбб. Если ее сестре больше не требуется этот наряд для нее самой, не отдаст ли она его Беатрис? Беатрис перекроит его, чтобы изготовить себе вечернее платье. Она уже сейчас видит, как именно это облачение можно приспособить для более практических целей.

Одно из последних моих воспоминаний о Беатрис Уэбб — это воспоминание о ее появлении на званом ленче в Лондонской школе экономики и политологии. Этот ленч давали в ее честь несколько ее друзей, по случаю ее восьмидесятилетия. Когда виновница торжества поднялась, чтобы ответить на тост, который произнес кто-то из нас, она была так же красива и прекрасно одета, как всегда, а ее ответная речь была составлена в оригинальной манере. Речь Беатрис Уэбб приняла форму серии предсказаний о том, что каждый из присутствовавших мужчин и женщин будет делать десять лет спустя. (Было очевидно, что она выбрала такой срок, через который сама не рассчитывала переступить, чтобы иметь возможность проверить правильность своих прогнозов.) Помимо того, что то был элегантный жест по отношению к ее гостям, эта серия зарисовок характеров (ибо именно так можно назвать ее речь) удивила нас, обнаружив, насколько Беатрис разбиралась в характере каждого из своих гостей. Нам стало ясно, что она испытывала более пристальный личный интерес к каждому из нас, чем мы прежде полагали. Нам было известно о том нежном интересе, который она всегда проявляла к своим племянникам и племянницам. Мы не знали до тех пор, что она сделала почетных племянниц и племянников и из нас. После этого как мог кто-либо когда-либо подумать о Беатрис как о «бесчувственной»?

Беатрис была по-человечески нетерпелива в своем ожидании (и ожидание это возрастало у нее с возрастом) еще при своей жизни дождаться наступления социализма. В этом плане разница в темпераментах ее и Сидни, которая всегда была очевидной, проявлялась более резко, хотя никогда и не нарушала их гармонии. Она и

не могла ее нарушить, так как различные аспекты их темпераментов дополняли друг друга, и это вероятно было одной из тех вещей, которые притягивали их друг к другу и удерживали вместе. Они оба были фабианцами, но Сидни был явным фабианцем, тогда как Беатрис, я смею думать, была фабианкой усилием воли, которое должно было подкрепляться интеллектуальным убеждением в противовес ее естественным чувствам. К концу жизни более импульсивный темперамент Беатрис заявил о себе, и под его давлением ее фабианство начало слабеть.



10. ЛАЙОНЕЛ КЕРТИС

В свое время я не зафиксировал момент моего знакомства с Лайонелом Кертисом. Я тогда не предвидел, что он окажет решающее влияние на мою жизнь. Но я могу определить эту дату с точностью, и вы поймете почему.

Своим знакомством с Кертисом я обязан Альфреду Циммерну. В период между выходом в свет «Греческого союза» и началом Первой мировой войны, Альфред завязал отношения с группой Лайонела «Круглый стол»[1]. Слово «союз» само по себе, пожалуй, было паролем между «Круглым столом» и Альфредом. Лайонел и его сподвижники всегда высматривали себе многообещающих новобранцев; и Альфред, подобно афинским философам, с которыми случайно столкнулся св. Павел»[2], был всегда открыт соблазну какого-нибудь начинания. Так, еще перед войной за ленчем на квартире Альфреда я познакомился с Филипом Керром (впоследствии маркизом Лотианом[3]). А 3 июня 1915 г., также при содействии Альфреда, мне предстояло познакомиться с Лайонелом Кертисом, основателем и руководителем группы «Круглый стол».

В тот день, оказавшись в компании Альфреда и Лайонела, я услышал, как Лайонел рассуждает о федеративном союзе Британского Содружества Наций. По дороге в ресторан, куда мы как раз направлялись, Лайонел продолжал говорить о федеративном союзе Британского Содружества Наций. Причем столь внушительно и авторитетно, что ни Альфред, ни я не отваживались прервать его, даже когда проходили мимо тревожного плаката газетчика. *«Русский гарнизон ключевой крепости Перемышль окружен»*[4] — кричал нам в лицо этот плакат. Но Кертис, не переставая, говорил только о Британском Содружестве. Это было и за ленчем, и на обратном пути. Торговец газетами стоял на том же самом месте, но плакат, который он развернул на этот раз, был уже новым. «Перемышль пал» — такова была новая надпись. «Русские войска численностью сто двадцать тысяч сдались, захвачено 310 единиц тяжелой артиллерии». (Я не помню, разумеется, точных цифр, но те, что я привел, верно отражают порядок величин.)

Содержание этого второго плаката было уж слишком большим ударом для нас с Альфредом. Случившийся несколько дней назад прорыв германских войск в Западной Галиции и без того был достаточно грозен; однако взятие назад крупной австрийской крепости Перемышль, с громадной добычей в виде русских пленных и военной техники, конечно же, означало полную катастрофу для Восточного фронта. У нас вытянулись лица, мы не смогли промолчать. «О, взгляните сюда», — начали было мы с Циммерном, но «Пророк» оборвал нас. («Пророком» прозвали Кертиса в ближнем круге его «апостолов».) «Преходящее событие, не более того!» —

заявил он и вновь продолжал распространяться о Британском Содружестве, пока нам не подошла пора расстаться и разойтись по тем учреждениям, где мы служили в военное время.

«Преходящее событие, не более того». Что ж, не это ли произнес и св. Павел, обращаясь к команде корабля, разбившегося о рифы у берегов. И безмятежная оценка апостолом Павлом откровенно отчаянной ситуации оказалась верной. Все на борту — команда и пассажиры невредимыми достигли суши[5]. «Пророк»... Что следовало думать об этом человеке, который в продолжение двух часов, без паузы, даже не говорил с нами, а, скорее, вещал, мимо нас, в пространство? И это, несмотря даже на падение Перемышля! Был ли он великим человеком масштаба св. Павла? Или же просто маньяком? Если способность делать невероятные предсказания и, в конце концов, оказываться правым есть знак гениальности, то ход дальнейших событий показал, что Лайонел Кертис, подобно Павлу, доказал свою принадлежность к пророкам. А после более долгого и близкого знакомства с Лайонелом я пришел к заключению, что, подобно св. Павлу, он был и гением, и маньяком.

Бывают маньяки, чья изначальная мания — одна-единственная — остается с ними на всю жизнь. Мистер Дик, которого Дэвид Копперфилд повстречал в доме своей тетки Бетси Тротвуд в Дувре, был маньяком этого «стабильного» типа[6]. Мания же св. Павла и мания Лайонела Кертиса могли переноситься с предмета на предмет. Св. Павел в драматической момент своей жизни переключил свою манию с преследования христианства на его пропаганду[7]. Мания Кертиса, как и мания профессора Марголиуса, была отмечена несколькими перескоками. Лайонел поочередно с головой уходил в следующие задачи: создание федерации британских колоний в Южной Африке по окончании Южноафриканской войны, создание федерации всех «белых» народов Британской империи (эта цель привела его к тому, чтобы придать другой смысл слову «содружество» и образовать группу «Круглый стол» с издаваемым ею одноименным журналом); самоуправление Индии как члена Британского Содружества; создание Британского института международных отношений; самоуправление Ирландии как члена Британского содружества; создание Института отношений стран Тихоокеанского региона. И наконец, самой последней, по порядку и значимости, проблемой, занимавшей его, стал крестовый поход против вычерчивания самолетами в небе буквенных знаков. Конечно, найдя очередную привязанность, Кертис не полностью терял интерес к прежним, но его внимание всегда было монополизировано интересом настоящего момента.

Это сочетание маниакальности с серийностью было характерно не только для его служения делу, но и для отношений Кертиса с человеческими существами; и это делало дружбу с ним ненадежной

для всякого, кроме членов его узкого ближнего круга. Зато дружба Лайонела с этими людьми была для него священна. Этот кружок сформировался вокруг «Пророка» в то время, когда первые его участники еще были студентами Нью-Колледжа, а позднее взаимосвязь членов кружка скрепилась их участием в «детском саду» Милнера — группой более молодых людей, которых Милнер собрал вокруг себя в качестве помощников в деле восстановления Южной Африки по окончании войны. Подходящим именем для ядра группы приверженцев Лайонела было бы «апостолы», если бы этот титул не был уже использован другой, современной им группой, чья сфера интересов была иной. Вот некоторые из «учеников» «Пророка Лайонела»: Роберт Бранд (лорд Бранд), Филипп Керр (лорд Лотиан), Джеффри Робинсон (впоследствии Доусон), Джон Дав, (сэр) Эдвард Григг, Хью Уиндхем (лорд Леконфилд), Джеффри Гаторн-Харди[8]. Все это были люди известные; и, естественно, каждый из них следовал своим путем в личной карьере, которая давала им свой, личный опыт и мировоззрение. Лорд Бранд, к примеру, сделал карьеру выдающегося банкира в Лондонском Сити; Джеффри Доусон стал редакторм газеты «Таймс»; Филипп Керр был во время Первой мировой войны членом административного аппарата премьер-министра Ллойд Джорджа (на Даунинг-стрит, 10), а во время Второй мировой войны — британским послом в Вашингтоне. Джон Дав был, пожалуй, единственным из названных мною, о ком можно сказать словами бытовавшего в Бейллиол-колледже стишка: «me the Master quite absorbs» («Я целиком растворяюсь в учителе»).

Эти близкие друзья всегда могли посмеяться над Лайонелом. Само прозвище «пророк» было изобретено ими. (Чужаки никогда бы не отважились выдумать прозвище для Лайонела, тем более использовать его в разговоре.) В великом человеке всегда имеется комическое несоответствие между масштабом личности, который делает его уникальным, и неотъемлемой, чисто человеческой природой, которая ему свойственна, как и другим представителями рода человеческого. Эту несоразмерность вполне можно постичь и над ней улыбнуться, и такое отношение, конечно, вполне совместимо с привязанностью, восхищением и даже поклонением. При этом некоторые из учеников Лайонела были способны не просто улыбнуться над его слабыми струнками, но и критиковать его взгляды на важные моменты государственной политики. В более поздние годы, общаясь с Кертисом и лордом Брайсом, я время от времени слышал, как лорд Брайс с видимой суровостью критиковал действия Лайонела. Но различия взглядов на общественно-политические дела не ослабляли их личной дружбы. Это была дружба на всю жизнь.

Кроме того, для своих, следующих один за другим общественно-политических проектов Лайонел нуждался в подкреплении в виде

молодых помощников и вербовал таковых. И вот для этих людей цикличность его увлечений всегда делала отношения с ним ненадежными и непростыми, а порой — опасными. Кертис, подобно президенту Франклину Рузвельту[9], имел обыкновение по мере надобности отбирать своих помощников из общей массы, а затем отбрасывать их, словно механик — инструменты. В отличие от тех членов кружка Лайонела, которые составляли ядро, этот человеческий материал был ценен для него, в первую очередь, именно как инструмент для выполнения конкретной, стоявшей перед ним на данный момент задачи. Как только работа требовала использования какого-то другого человеческого инструмента, Лайонел отбрасывал прежний. Это было жестоко, ибо для пользования человеческими ресурсами одного утилитаризма недостаточно; человек принимает на себя человеческие обязательства, вступает в человеческие отношения, которые длятся дольше простого использования и от которых нельзя безнаказанно отрекаться.

Склонность Кертиса, в этой своей одержимости обезличенными общественными целями, обходиться с людьми несправедливо, усиливалась другой чертой его характера. Суждения и оценки Кертиса в отношении людей были подвержены ошибкам, а во всем, что делал, он доходил до крайностей. Для него люди были либо белыми, либо черными, без каких бы то ни было полутонов; а человек способен превратиться из белого в черного (правда, никогда не наоборот) в одно мгновение ока строгого судьи.

Если кто-либо собирался сотрудничать с Лайонелом или выполнять для него какую-то работу, то перспективы этого человека были лучше, если он являлся «интеллектуалом», нежели «исполнителем». Кертис по опыту установил, что, согласно какому-то специфическому и загадочному процессу, люди ученого склада могут производить результаты более значимые для его целей — результаты, которые не могут быть произведены чистыми «практиками». Соответственно, он относился к «умникам» с некоторой терпимостью и снисходительностью и даже потакал им. Когда в конце 1930-х гг. сэр Артур Солтер[10] проводил в своей квартире в колледже Поминовения серию встреч с целью обсудить, можно ли предотвратить Вторую мировую войну, я видел, как доктор А. Л. Роуз[11] то и дело нарывался, рискуя своими высказываниями навлечь ярость Кертиса, и все-таки остался невредим. Мой школьный товарищ сэр Реджинальд Купленд счастливо пережил сотрудничество с Лайонелом, гораздо более длительное и тесное, чем мое. Я тоже «спас свою шкуру», хотя Четем-Хаус, в котором я работал, был детищем Кертиса.

Одной из самых интригующих черт личности Лайонела была та, что роднила его с Катоном Цензором[12]. Подобно Катону, Кертис был клубком несообразностей и противоречий.

Например, будучи человеком действия, и притом замечательным, он тем не менее предпочитал жить среди людей академического склада; а поскольку обладал талантом заставлять людей делать то, что ему нужно, то умел заставить этих интеллектуалов пожелать общаться с ним. Он был избран членом научного общества колледжа Поминовения и никогда не лишался своего членства, хотя был подвержен греху монополизировать разговор, рассуждая о предмете своей очередной мании — а этот грех в колледже Поминовения считался непростительным. (N.B. Желанной чести членства в этом колледже так и не удалось добиться Льюису Неймиру. — *Прим. автора.)* Или, скажем, одной из целей, особенно близких сердцу Лайонела, было преобразование Британской империи в федеративный союз; однако результатом его деятельности стало возникновение конгломерата государств, которые все оказались независимы — если не формально, то по сути[13]. Его сильной стороной как человека действия было умение преподнести идею, заинтересовать людей; если бы он стал работать на Мэдисон-авеню[14], то, скорее всего, сколотил бы хорошее состояние. Но он был равнодушен к деньгам, равно как и к почестям. Он был беззаветно предан претворению в жизнь своих благих общественных начинаний и использовал свой талант торговца исключительно в этих бескорыстных и неприбыльных целях. Парадоксальнее всего, что, не умея сказать ни слова ни на одном языке, кроме родного английского, он, однако же, ухитрился основать Британский институт международных отношений.

Что было крупнейшими достижениями Лайонела как человека действия? По многим оценкам, два таких достижения стоят особняком, причем именно те, что были не управленческими деяниями, а актами воображения. Актами воображения достаточно мощными, чтобы иметь далеко идущие последствия в управленческой области.

Его первое достижение такого рода заключалось в том новом использовании, которое он дал старому слову «содружество». Дословный английский перевод римского термина *res publica*[15] был использован в Англии XVII в. для именования политического сообщества, в котором граждане управляли сами собой как равные друг другу, не будучи подчинены власти короля. Лайонел, по аналогии, употребил это слово для обозначения ассоциации политических единиц (в идеале федеративного союза), в которой составляющие единицы должны управлять собой как равные друг другу, не будучи подчинены гегемонии наиболее влиятельного партнера. Такое новое употребление старого слова явилось не просто переосмыслением старого, но также и программой действий.

Вторым элементом воображения Лайонела был тезис, что те «политические истины», на которых зиждились и идеал, и практика демократии, являются благом в универсальном смысле — для всех

человеческих сообществ, во все времена и повсеместно. Он пророчествовал, что таковые были «истинами» не только для древнегреческого или современного западного общества, но и для всего человечества, потому что эти «истины» присущи духовному складу человеческой натуры. Этот тезис требовал, чтобы преобразование Британской империи в Содружество (в Кертисовом смысле) самоуправляемых наций не ограничивалось теми нациями Британской империи, что принадлежали к европейской расе и западной цивилизации. Самоуправление надлежало распространить постепенно на все остальные народы Содружества — любой расы и культуры.

Обе эти идеи были великими, но вторая была из двух более оригинальной и более глубокой. Разумеется, Кертис дал Британскому Содружеству Наций имя; однако эта политическая структура находилась в процессе выработки своей формы уже в течение почти столетия, прежде чем он сделал ее предметом своего беспокойства. Истинными родоначальниками Британского Содружества были отцы-основатели Соединенных Штатов, ибо именно они преподали британцам урок, что лучше предоставить подчиненному лицу или зависимому государству самоуправление добровольно, чем дожидаться, пока это благо будет вырвано у господствующего субъекта силой. Канада, Австралия и Новая Зеландия были уже самоуправляемыми, прежде чем Лайонел взялся за дело внедрения самоуправления в Южной Африке[16]. Что же касается той идеи, что самоуправление стран Содружества должно строиться на основе равенства наций, то она, в конечном счете, ответвилась от доктрины равенства государств, которая утвердила себя в Западном мире, по крайней мере, еще в XVII веке.

Зато Кертис определенно был первым политическим мыслителем в Западном мире, который исповедовал и пропагандировал идею о том, что незападные народы имеют такое же право на самоопределение, как и западные, и столь же неотъемлемую, внутренне присущую им способность к самоуправлению. Следовательно, предоставить им самоуправление не только является моральным долгом, но становится вопросом практической политики. Тезис Лайонела был оригинален, но вместе с тем и глубок, поскольку его принципы покоились на фундаментальных принципах человеческой природы, и этот тезис, следовательно, был применим не только к Британскому Содружеству, но и ко всему миру.

Эти акты воображения были величайшими деяниями Лайонела. Однако они могли бы, подобно платоновской утопии, так и остаться в мире идей, если бы Кертис не был эффективен именно как человек действия, в обычном, управленческом смысле. Тут он сильно отличался от Платона, который упустил счастливую возможность спустить свою утопию с небес на землю, воплотив ее в Сиракузах[17].

Принятая Кертисом тактика для доведения идей до победного конца была та же, что и у римлян, и у шотландских горцев. Он начинал военную операцию с того, что доводил противника до нужной кондиции, «обрабатывая» его метательными снарядами, а затем предпринимал стремительное наступление, чтобы сокрушить в рукопашном бою.

Подготовительными метательными снарядами Лайонела были книги. Его книги, я уверен, принесли бы ему длительное признание, даже будь они единственными памятниками, которые он оставил после себя. Но Лайонел Кертис был писателем всего лишь между прочим. Его сочинения не были самоцелью; они были прелюдиями к непосредственному действию в рукопашных схватках. Вся эта предварительная работа напоминала нудное приставание к людям *viritim*[18], только в данном случае то были люди стратегически значимые для воплощения нужных ему идей. А у Лайонела был безошибочный глаз на потенциальных прозелитов, чье обращение в его веру могло обернуться возникновением волны общественного мнения в пользу того конкретного дела, которое составляло его «помешательство» на данный период. Примерно в середине Первой мировой войны я встретил Лайонела в Лондоне, когда он как раз собирался ехать в Индию после того, как обнародовал выношенную им идею введения поэтапного самоуправления для Индии[19]. Мой мысленный взор, при воспоминании об этом моменте, возможно, играет со мной шутку, ибо Лайонел видится мне в образе одного из тех американских *carpet-baggers*[20], которые перебирались на Юг после Гражданской войны, в период реконструкции. Его экспедиция казалась мне донкихотством. Он предполагал объехать всю Индию, «продавая» свои идеи высшим чиновникам индийской гражданской службы[21]. Последующие события показали: он знал, что делает.

Реакция Кертиса на́ призыв к действию была моментальной, как реакция борзой на зайца. В долю секунды он уже срывался с места. Я имел возможность испытать на собственном опыте быстроту его реакции — и в результате этого опыта, к счастью, оказался в выигрыше. Так, например, еще прежде, чем я окончил написание первых томов «Обзора» Четем-Хауса, зарплата за каковой проект поступала из невозобновляемого фонда, выделенного специально для этой цели, этот фонд иссяк. Лайонел обеспечил получение постоянного гранта для финансирования «Обзора» и для оплаты моего труда как составителя. Однако возникал перерыв в несколько месяцев между датой прекращения финансирования из невозобновляемого фонда и датой поступления заработка от нового источника. Этот временной разрыв был для меня весьма стеснителен в финансовом отношении, поскольку никаких разрывов в потребностях

семьи не предвиделось. Когда этот пункт был изложен от моего имени на заседании исследовательского комитета Четем-Хауса его председателем сэром Джеймсом Хедлэмом-Морли[22], Лайонел немедленно нашел решение проблемы. Он как раз собирался читать лекции на приближавшейся сессии летних курсов по международным отношениям, которые проводились под эгидой Уильям-Колледжа в Уильямстауне, штат Массачусетс. Кертис был уверен, что сможет добиться и для меня приглашения быть там лектором. (И, разумеется, эта работа должна обеспечить гонорар, который решит мои временные затруднения.) В тот же день Лайонел протелеграфировал в Уильямстаун, и организаторы летних курсов приняли меня по его рекомендации. (Тогда я был еще не известен в мире международных отношений. Первые выпуски «Обзора» вышли уже тогда, когда я, под крылышком Кертиса, пересекал Атлантику.) Это трудоустройство не только поддержало меня материально, оно также дало мне возможность впервые побывать в Соединенных Штатах, и полученный опыт, разумеется, был бесценным для моей последующей работы, как над «Обзором», так и в других областях.

Страсть Лайонела к действию, подобно его вкусу к масштабным общественным делам, несла в себе оттенок фанатизма, который иногда подводил его, заставляя совершать абсурдные вещи. Я помню его «кампанию» против рисования самолетами в небе буквенных знаков. Зрелище сей воздушной рекламы, по возвращении на родину из Америки, родило в нем побуждение немедленно развернуть праведную борьбу против этого грубого нарушения чистоты небес. Дело было, возможно, и благим, но явно слишком пустяковым, чтобы претендовать на время и энергию Лайонела Кертиса. В ту пору Лайонел, видимо, был вообще охвачен побуждением действовать; ибо, когда я встретил его в Лондоне после его трансатлантического путешествия, он сунул мне в каждую руку по огромному пуку хлопка. «Это дал мне один американец на борту судна, — сказал он. — Это хлопок, выращенный на его ферме. Сделайте с ним что-нибудь». Я сделал единственное, что было возможно и разумно в данных условиях. Вернувшись домой, я положил хлопок в мусорную корзину. Я был убежден, что, поразмыслив, Лайонел не захочет, чтобы я забросил свою работу в Четем-Хаусе ради того, чтобы заняться маркетингом образцов хлопка его случайного американского знакомого.

В то же время действия Лайонела порой приводили к неожиданным, обратным результатам. К примеру, его кампания за превращение Британского Содружества Наций в федеративный союз, напротив, имела следствием то, что Содружество становилось все более и более рыхлой ассоциацией взаимно независимых государств. Двумя поразительными результатами со знаком «минус» закончились

две последовательные кампании Лайонела, нацеленные на объединение четырех британских колоний в Южной Африке в федеративный союз. В этом первом опыте осуществления идеи федерации его цели носили просвещенный характер и были достойны всяческой похвалы. Кертис хотел успокоить горькие чувства — тяжелое наследие Южноафриканской войны, примирив в политическом плане голландскоязычных южноафриканцев[23] с их англоязычными земляками, а также с населением Соединенного Королевства. Он также хотел избежать угрозы того, что за едва окончившимися боевыми действиями последует война тарифов между четырьмя отдельными британскими колониями, возникшими на политической карте Южной Африки в результате недавней британской аннексии Оранжевого Свободного государства и Республики Трансвааль. Благодаря созданию Южноафриканского Союза эти две конструктивные цели были надлежащим образом достигнуты, и в течение следующего десятилетия, уже после начала Первой мировой войны, это достижение спасало для Британии ситуацию в Южной Африке. Лайонел, вероятно, заслуживает за это бóльших похвал, чем любое другое частное лицо, но, увы, слабостью этого «одноколейного» ума была неспособность обратить внимание более чем на одно явление за раз. Целиком поглощенный своими, вполне успешными усилиями примирить два чуждых друг другу белых сообщества в Южной Африке, он совершенно не замечал черного большинства и индийского меньшинства среди тамошнего населения. В результате этот борец за демократию способствовал превращению Южной Африки в полицейское государство, потому что на этом этапе мыслил о демократии в терминах политических прав только для «белого» населения. А кроме того, он невольно спровоцировал лавину общественно-политического движения в Индии.

В маленькой книге под названием «Сатьяграха» Махатма Ганди[24] возложил на Лайонела Кертиса заслугу вдохновления политической карьеры Ганди. К моменту начала войны в Южной Африке Ганди занимался юридической практикой в южноафриканской индийской общине. Через призму локального кризиса Британской империи Ганди увидел для южноафриканской индийской общины возможность помочь делу самоуправления Индии. Он мыслил осуществить это путем содействия Великобритании в некоторых вопросах и, снискав ее благодарность, таким образом склонить ее, в свою очередь, сделать что-нибудь полезное для Индии. Ганди организовал южноафриканский индийский госпиталь «скорой помощи» для британской армии. Отслужив самолично в этом госпитале на протяжении всей войны, по окончании ее он отправился в Дурбан, имея в кармане билет на пароход до Бомбея. Случайно ему бросилось в глаза одно газетное объявление. В объявлении сообщалось,

что молодой англичанин по имени Кертис, тогдашний секретарь городской корпорации Йоханнесбурга, только что издал приказ о том, что все индийцы в пределах его юрисдикции должны зарегистрировать свои отпечатки пальцев. Этим способом молодой англичанин «продавал» африканерам изобретенное им «грандиозное средство» примирения двух «белых» народов Южной Африки — играя на расовых предрассудках африканеров, за счет индийской общины. Но, естественно, молодой индиец не мог смотреть на эту акцию теми глазами, какими смотрел на нее англичанин. Единственное, что увидел в ней Ганди, так это демонстрацию британской неблагодарности индийской общине, и подобная демонстрация вызвала в нем негодование. Ганди не пожалел своего билета на пароход и остался в Южной Африке, чтобы бороться с приказом администрации Йоханнесбурга. Он проиграл свое сражение на южноафриканском поле и в конце концов вернулся в Индию, чтобы продолжить борьбу за дело родного народа уже на более широкой арене.

Этот непредвиденный результат африканских действий Лайонела вылился в мощную волну индийского национально-освободительного движения, вдохновленную Ганди. И когда однажды Лайонел близко познакомился с проблемой индийского самоуправления, то обнаружил себя на стороне Ганди. Нет, Кертис не сделался сторонником ненасильственного сопротивления. (Этот архиактивист едва ли мог ожидать, что «квакерская»[25] политическая стратегия Махатмы Ганди может оказаться столь же эффективной, как и его собственная.) Но Лайонел к тому времени воспитал слишком большое количество влиятельных британских приверженцев своей схемы, и это подвигло правительство Великобритании принять именно его модель индийского самоуправления.

Той схемой, для которой Лайонел успешно завоевал столько сторонников, была «диархия»[26], и успех этот был заслуженным, поскольку стратегия была остроумной и изобретательной. Еще раз Лайонел выудил старый термин из кладовки историка и, дав этому термину новое применение, заставил его выполнять новую работу. «Диархия для Индии» представляла собой блестящий неологизм, подобный «Содружеству Наций». Оба названия были мастерскими трюками, рассчитанными на эффект аналога; и историческая аналогия, обнаженная в каждом из них, предполагала программу текущих политических действий. В качестве лозунга, который должен воздействовать на умы британских государственных деятелей и политиков, слово «диархия» было выбрано мастерски. Для этих британских умов, получивших классическое образование, значение слова «диархия» было знакомо, а рождаемые им политические ассоциации обнадеживали.

Исторически «диархия» представляла собой модель правления, которую «хитрый племянник Юлия»[27] изобрел в качестве политического предохранительного клапана, чтобы избежать повторения взрыва, который его бескомпромиссному дяде стоил жизни. Август заботился о том, чтобы спасти лицо и одновременно дать некоторый выход энергии римских *nobility*, которых его долгорукий предшественник лишил старинной прерогативы быть правителями Римского Содружества. Август достиг своей цели, вернув Сенату определенную сферу деятельности и функции управления, которые не были связаны с политическим или военным могуществом. Одновременно он благоразумно сохранил в своих руках те полномочия, которые обеспечивали власть над Римским государством[28]. Помимо того, что этот эпизод из римской истории был знаком британским умам, осаду которых повел Лайонел, эпизод являлся для них также успокаивающим; ибо история показала: кажущийся щедрый отказ Августа от некоторых из своих почти неограниченных полномочий не угрожал *de facto* владычеству принцепса. Сфера действия и функции, которые Август вернул Сенату, не обеспечивали римскую аристократию адекватной пусковой кнопкой для попыток контрреволюции. С течением времени именно императорская власть усиливалась, а власть Сената ослабевала. Лайонел рассудил, что британцев можно соблазнить наживкой в виде этой исторически испытанной полумеры. Думал ли Лайонел о том, что диархия, будучи полумерой, не устроит индийцев? И о том, что как только процесс передачи британских властных полномочий в индийские руки будет запущен, его будет невозможно остановить, пока полномочия не будут переданы все до конца? Таким образом, неудачный результат действий Лайонела в Южной Африке привел, в конце концов, к тому, что ему пришлось совершить следующий ход (и на сей раз весьма успешный) в Индии.

Средством, с помощью которого Лайонелу удавалось добиваться нужных плодов, было его редкое умение вербовать людей для своих начинаний и мобилизовать их делать то, что ему требовалось. Удивительно было видеть, как он увлекает за собой людей, настолько отличных от него по темпераменту и взглядам, что это, казалось бы, не оставляло никакой надежды приобрести в них союзников. То было захватывающее зрелище — наблюдать, как он подбирается к намеченной добыче. Лайонел обладал высоким мастерством торговца: используя минимум средств, представить товар в наиболее выгодном свете. Однажды, на заре становления Четем-Хауса, Лайонел соблазнил потенциального благотворителя посетить институт, чтобы показать ему результаты работы в том виде, в каком они имелись. Когда назначенный день настал, Кертис спешно воззвал ко мне, с просьбой о реквизите. То, что я ему дал, состояло из нескольких пачек гранок первого выпуска «Обзора»; и мысль о

том, что он бросается действовать, будучи оснащен столь скромно, повергала меня в уныние. Однако, заглянув в дверь кабинета Лайонела, я увидел, как он, подобно гипнотизеру, взмахивает перед носом посетителя моими гранками, а посетитель стоит раскрыв рот и завороженно внимает его высокопарным разглагольствованиям. Я понял, что в руках Лайонела эти пробные оттиски являются вполне достаточным материалом; именно его личность, а не что-либо другое, производила желаемый эффект. Вскоре и я сам оказался в роли гранок, которыми перед этим он размахивал перед лицом сэра Дэниела Стивенсона[29]. Результатом демонстрации — на сей раз уже живого экспоната — стало появление в Четем-Хаусе кафедры Лондонского университета международной истории, возглавляемой профессором Стивенсоном.

Какие же качества давали этому человеку его гипнотическую силу? Конечно, его самоочевидные искренность и бескорыстие были неотразимы. Кертис был необыкновенным человеком, душой и телом посвятившим себя делу, которое не приносило ему личной выгоды или каких-то преимуществ; а это уже само по себе предполагало, что такое дело заслуживает поддержки. И все же я сомневаюсь, что одной лишь силой искренности и бескорыстия можно было сдвинуть те горы, которые Лайонел, бесспорно, сдвигал и перемещал именно туда, куда ему требовалось. Производимые Кертисом чудесные эффекты были результатами тайного сговора между его добродетелями и его магнетизмом.

В магнетизме Лайонела я убедился воочию, когда в 1929 г. у меня состоялась встреча с ним в международном сеттльменте[30] в Шанхае. (Он прибыл из Англии, через Канаду, а затем через канадские воды Тихого океана, тогда как я добрался по суше: через Европу и Азию, в Басру, а оттуда уже — на корабле.) Я нашел своего друга расположившимся в доме шанхайского купца мистера Брауна. Дом, все домохозяйство и сам мистер Браун были в распоряжении Кертиса. Лайонел и мистер Браун были незнакомы до того, как ступили на борт одного и того же судна, отправлявшегося из Ванкувера, через Тихий океан, в Шанхай. Однако было попросту невозможно, путешествуя с этим человеком на одном трансокеанском лайнере, уже очень скоро не ощутить его присутствия. С первого же дня Лайонел организовал для пассажиров ежедневный семинар по теме федеративного союза. Судно еще не успело достигнуть Шанхая, а мистер Браун уже умолял Кертисов быть его гостями на такой срок, на какой его гостеприимство может быть полезно для продвижения начинаний Кертиса в жизнь. Когда, по прибытии в Шанхай, я в свою очередь встретился с Кертисом в доме мистера Брауна и услышал рассказ о том, как все это происходило, мне показалось, будто передо мной разворачивается вторая серия Деяний

апостолов. Еще раз, как и при моем первом общении с Лайонелом, я оказался перенесен из нашего мира в мир апостола Павла. Мистер Браун теперь заслужил право причислить свое имя к списку имен, чьи благочестивые владельцы, сами того не ведая, прославили свои имена, потому что приглашали св. Павла к себе в дом и споспешествовали ему на его многотрудном пути. Я сам почувствовал себя каким-то новоиспеченным Титом или Тимофеем[31], что сподобились сопровождать слугу Господа к месту привала в одном из его плодотворных миссионерских путешествий.

Лайонел был не только основателем Королевского института международных отношений. На протяжении всей жизни он посвящал значительную часть своих усилий тяжелому труду пестования института на этапе его становления, со всеми сопутствующими болезнями роста. И это делает неприязнь Кертиса к иностранным языкам тем более удивительной. Как-то он рассказал мне, что в раннем детстве их семья в течение года или двух жила где-то во франкоязычной части Швейцарии. Лайонел, судя по всему, успешно избежал блестящей возможности стать билингвистом, и, наверно, именно эта ранняя борьба и привила ему отвращение ко всем языкам, кроме того, с которого он начал.

Неприязнь Лайонела к французскому языку явно доходила до крайности. Мне однажды довелось быть в Париже в один из тех очень редких случаев, когда он наезжал в этот город. (Это было характерно для Лайонела — приезжать во Францию, чтобы нанести визит не каким-то там французам, а должностному лицу из Рокфеллеровского фонда, чей маршрут почему-то вдруг пролег через Париж, а не через Лондон, как тому следовало быть.) Перед отъездом, еще будучи в Лондоне, Лайонел попросил меня, находящегося тогда в Париже, встретить его на Северном вокзале. Я его встретил, уладил дела с носильщиком и таксистом и доставил Лайонела в отель. Как только мы ступили в вестибюль, Лайонел велел мне спросить у главного швейцара следующее: «Когда после завтра отправляется самый ранний поезд обратно?» Разумеется, мне не потребовалось переводить. Швейцар не смог бы удержаться на своей должности, если бы не умел разговаривать по-английски гораздо лучше, чем я по-французски. «В пять сорок семь утра, сэр», — тотчас ответил он. Лайонел никак не желал признавать, что иностранец с континента действительно способен говорить на языке избранных. «Поручите ему, — снова обратился он ко мне, — зарезервировать мне место на этом поезде». И лишь когда служащий пообещал это сделать — но не раньше! — Кертис направился к конторке, чтобы зарегистрироваться. Он не собирался пускаться в такую авантюру, как ночлег за границей, не обеспечив прежде путей к отступлению.

Лайонел был настроен критически к британским чиновникам, служащим в Индии, и британским сотрудникам консульств в Восточной Азии в связи с тем, что те изучили классические языки и литературы стран, в которых служили. По его мнению, подобная ученость делала их слишком влюбленными в недемократическое прошлое этих азиатских стран, и, соответственно, эти ориенталисты на службе были невосприимчивы к «политическим истинам», которые Лайонел был облечен высокой миссией распространять *in partibus infidelium*[32]. Человек, абсурдным образом, подвержен искушению протестовать. Господи, да со времен сэра Уильяма Джонса[33], служба в Британской Ост-Индской компании[34] и на государственной службе в колониях воспитала целые поколения гуманитариев и полиглотов, которые прославили Британию в мире словесности своим выдающимся вкладом в образование! И вместе с тем обывательская критика Лайонелом этих его образованных соотечественников была, возможно, отчасти справедливой. Классическое образование вполне может способствовать политической консервативности ума. Лайонел чувствовал, что ему чинят препятствия политически закоснелые и упертые консерваторы, и, если толковать о его предубежденности против знания языков, пожалуй, все-таки нельзя полностью отрицать, что имелся некоторый смысл в этих его, на первый взгляд сумасбродных, представлениях.

Фобия Лайонела к иностранным языкам и зарубежным странам сильнее всего проявлялась в отношении континентальной Европы. Он воспринимал внешний мир как подлежащий и пригодный к исправлению. В самом деле, он видел в нем поле своей миссионерской деятельности, которая состояла в пропаганде «политических истин» демократии через посредство английского языка. В противоположность этому континент, в восприятии Лайонела, был непреодолимо невежествен в отношении обоих этих средств спасения. Чувствуя, что ему нипочем не обратить континентальную Европу в свою веру, он ее попросту игнорировал.

Однажды в Оксфорде я случайно встретил Андрэ Зигфрида[35] как раз после того, как тот в качестве гостя проводил уик-энд в колледже Поминовения. Тот посмеивался по поводу состоявшегося у него разговора с Кертиом. Зигфрид был ведущим французским специалистом своего времени по англоязычным народам. У него были хорошие данные, чтобы стать специалистом по англосаксам. Его отец был эльзасским протестантом, эмигрировавшим в Гавр после 1871 г.[36]; а Гавр существовал за счет связей с Англией. Зигфрид не только посетил все англоязычные страны; он также опубликовал, по меньшей мере, одну книгу о каждой из них. Реакция Зигфрида на «позицию англосаксов» была похожа на отношение Марголиуса к исламу. Его предмет был ему, в целом, неприятен. В глазах Зигфрида англосак-

сонская культура была вторичной, производной по отношению к французской культуре. Однако же выходило так, что простой металл грозит вытеснить из обращения благородный. Вместе с тем Зигфрид обнаружил, что низшая, производная культура столь увлекательна, что посвятил свою жизнь ее изучению. «Я, право, убежден, — заявил мне Зигфрид по этому поводу, — что если Кертису придется когда-нибудь высадиться в Кале, он скажет себе: “Здесь начинается негритянская земля”». В тот момент я воспринял сарказм Зигфрида, скорее, как выражение задетого самолюбия, нежели обычное прозаическое наблюдение. Но я понял, что был несправедлив к этому трезвомыслящему французу и специалисту по англосаксам, когда, взяв в тот день в руки новую книгу Лайонела, прочел в ней следующее: «некоторые брамины не чернее французов». Итак, в конечном счете, Зигфрид не преувеличивал. Лайонел действительно верил, что сразу же за Ла-Маншем, доступная невооруженному глазу белого британца, лежит первая из земель, в которой цвет человеческой кожи заметно темнее. Лайонел едва ли когда пересекал несколько более широкое море, чтобы пристать в нормандском порту, в котором вырос блондин Андре Зигфрид. В Нормандии люди нордической расы так многочисленны, что даже Лайонел не мог бы не заметить их присутствия там.

Мне, конечно, не следовало сомневаться в словах Зигфрида, ибо к тому времени я уже достаточно знал его, чтобы оценить его героизм специалиста по общественным отношениям. И, когда в Париже, во время мирной конференции 1946 г., я увиделся с ним в самый последний раз, он по-прежнему демонстрировал свою жадную восприимчивость наблюдателя. До этого я с беспокойством спрашивал себя, как-то ему живется там в условиях немецкой оккупации. И вот теперь я, при первой же возможности, встретился с ним. Зигфрид выглядел сильно постаревшим, изможденным и голодным, но при этом был оживлен, горя интеллектуальным возбуждением. И прежде чем я успел спросить его, как он поживает, он уже с нетерпением пересказывал мне что-то из своих военных впечатлений. Как историку ему посчастливилось жить в Париже, то есть в той точке, откуда были хорошо видны события последних дней германского присутствия в городе. Квартира Зигфрида — дом № 8 по Рю де Курти выходила окнами на Министерство иностранных дел, и из своих окон он имел возможность наблюдать, как немецкие снаряды разрывались на углу ближайшего здания. Кэ д’Орсэ[37] была только что захвачена и заполнена бойцами Сопротивления. А затем Зигфрид увидел, как парижане выплескиваются на улицы и возводят из булыжников и стертых плит мостовой баррикады. Когда старый болезненный человек в своем повествовании дошел до этого места, лицо его светилось. «Мог ли я мечтать, — воскликнул он, —

что когда-нибудь увижу события 1830-го, 1848-го и 1871-го гг.[38] своими собственными глазами! И вот теперь мне выпала эта счастливая возможность!»

Пока Зигфрид говорил, я смотрел на лицо его дочери. (Она сопровождала его ко мне в отель, где разместилась британская делегация; мы все вместе сидели за обедом.) Подобно барону Мейендорфу, некогда за столом у Уэббов внимавшему их разглагольствованиям, мадемуазель Зигфрид не могла смотреть отцовскими глазами на эти пережитые ими обоими события, о которых он рассказывал с таким вкусом. Задача мадемуазель Зигфрид была сложнее и тяжелее, чем у ее отца. Ей приходилось поддерживать жизнь в этом восьмидесятилетнем наблюдателе; и я подозреваю, что ее беспокойство возрастало из-за его равнодушия к той опасности, которой он подвергался, высовываясь из окна, когда боялся пропустить какую-нибудь подробность творившейся у него на глазах истории.

Согласно терминам, принятым в британской политической терминологии, Лайонел называл себя либералом. И действительно, ультраконсервативная «Морнинг Пост» через день, в течение многих лет, поносила его как изверга, уничтожившего Британскую империю. Однако обвинения со стороны «Морнинг Пост» не могли сделать Лайонела либералом в истинном смысле слова. По складу темперамента Кертис был консервативно мыслящим человеком — как и столь раздражавшие его представители британской администрации и британские консулы в Азии. С точки зрения принадлежности к какой-то партии, Лайонел на самом деле не был ни либералом, ни консерватором (лейбористы едва ли входили в сферу его внимания). Он имел свою собственную партию — партию федеративного союза, и в этой партии он был сам себе хозяин. Он не прекращал следовать программе этой партии, даже если официальным партиям суждено было при этом тянуться в хвосте, предоставив Лайонелу маршировать одному в качестве авангарда движения мирового федерализма.

Лайонел был сыном священника, и на цепочке для часов имел обыкновение носить крест. Он относил себя, я полагаю, к неортодоксальным христианам, тогда как мне следовало бы отнести себя к не полностью дехристианизированным агностикам. На шкале разнообразия религиозных представлений я всегда чувствовал себя отодвинутым в область неверия, по меньшей мере, на несколько пунктов дальше, чем Лайонел. Тем не менее это я был шокирован его религиозными идеями, а не наоборот.

Когда мы с ним летом 1925 г. вместе пересекали Атлантику, Кертис вносил последние, завершающие штрихи в текст лекции, которую собирался прочитать где-то в Мичигане, еще до прибытия в Уильямстаун, штат Массачусетс, где мы должны были участвовать

в тамошних летних курсах. Тема лекции Лайонела в Мичигане была такова: «Если бы Христу случилось вернуться на землю, где бы в нынешнем мире он обнаружил наилучшее соблюдение своих заповедей?» Лайонел предложил мне угадать ответ. «Ну, уж, разумеется, не в церквях», — сказал я. «Нет, конечно, не там». — «Ну, возможно, тогда в жизни скромных людей, о которых никто никогда не слышал». Но я видел, что в своих поисках на ощупь я все больше удаляюсь, а не приближаюсь к искомому ответу. Поэтому я бросил это дело и спросил Лайонела, каков же правильный ответ. «Ну конечно же, в Британском Содружестве! Отношения между людьми в Британском Содружестве есть лучшая попытка воплотить учение Христа, которую может предложить современный мир!» Лайонел был явно удивлен моей тупостью и неумением разглядеть очевидное. Но моя слепота не могла удивить его сильнее, чем удивил меня этот абсолютно осознанный взгляд человека, исповедующего христианство.

Четырьмя годами позже, в Шанхае, я был гостем на заседании местного «Ротари-клуба»[39], в котором Лайонел выступал с речью. Лайонел рассказывал ротарианцам о миссии, к которой они себя уготовали (так возвестил им «Пророк»). Их миссия, заявлял он, состоит в том, чтобы превратить Китай в государство с демократической формой правления, причем осуществить это надлежит через сияющий пример самоуправляемого устройства шанхайского сеттльмента, в котором и должны были быть претворены в жизнь те самые «политические истины» демократии, дабы весь Китай мог восхититься и перенять их. Лица слушателей, внимавших докладчику, сообщавшему им эти удивительные новости о них самих, представляли собой зрелище, которое надо было видеть. Эти западные предприниматели уже давным-давно привыкли к тому, что на родине левые клеймят их как закореневших в своей корысти эксплуататоров с торгашеским складом ума. Они никогда прежде не слышали, чтобы их превозносили до небес как идеалистов. Было совершенно очевидно: благословение Лайонела они воспринимают со смешанными чувствами. Они были польщены (а как же иначе?), что о них так хорошо думает — да еще со столь несомненной убежденностью! — столь выдающийся человек, приехавший к ним с визитом. Но их самодовольство омрачалось тревогой. Не мог ли Лайонел, со всей искренностью, втянуть их (мысль пугающая!) в такую степень идеализма, которая повредит их будущей коммерческой деятельности?

Со своей стороны, слушая, я чувствовал, что вновь, как и в 1925 г., потрясен, причем на этот раз — до глубины души. Сейчас я был потрясен, потому что мое собственное впечатление от сеттльмента и Французской концессии[40] в Шанхае ничуть не напоминало впечатление Лайонела. Этот громадный город, который был вызван к жизни на китайской почве западной коммерческой инициативой,

произвел на меня ужасающее впечатление. Как я понял, основатели Шанхая перенесли в Восточную Азию тело западного города, но забыли перенести душу. Шанхай, как будто заранее, давал представление о том, чем станут западные города, когда последние, еще сохраняющиеся в них крупицы средневековой души (первоначально искупавшей их грехи), испарятся и не останется ничего, кроме жирной, грязной, алчной, отвратительно расползшейся туши. Британское Содружество в роли Царствия Божия? Это звучало всего лишь комично. Но Шанхай — град Божий?! Это звучало кощунственно.

Такова была моя языческая реакция на рецепты христианского идеалиста для установления на земле Царствия Небесного. Но кто из нас был прав — я или Лайонел? Был ли взгляд Лайонела действительно столь комичным или богохульным, каким на первый взгляд мне представился? Разве сам Христос не сравнивал Царство Небесное с горчичным зерном и закваской, объясняя ученикам, как это Царство должно возникнуть на земле?[41] А что следует из того стиха в Первом соборном послании св. апостола Иоанна: «не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?»[42] Страшный Суд в Шанхае! Мытари и блудницы! И однако же Христос объявил этим грешникам — как Лайонел шанхайским ротарианцам — что они слуги Божии, знают они о том или нет, и пришли в этот мир выполнить работу, которую поручил им Бог. Когда сходящий с Небес Иерусалим воздействует на грешную землю, соприкосновение этих двух несопоставимых миров не может не пугать. Но пугающее не есть непременно комичное или кощунственное *ipso facto*. Пугающее может быть и возвышенным. Что ж, быть может, христианин нетрадиционного толка видел шире, чем традиционный агностик?



11. ЛОРД БРАЙС

Я пребывал в некотором трепете, направляясь на квартиру лорда Брайса, в дом № 3 по Букингем-Гейт. Перед этим, в течение некоторого времени, лорд Брайс принимал из первых рук отчеты американских миссионеров в Турции относительно недавних депортаций оттоманских армян[1] и согласился на просьбу правительства Его Величества сделать подборку этих документов для опубликования в Синей книге[2]. Лорд Брайс согласился на условиях, что правительство обеспечит его личным секретарем, пишущим под диктовку. Эта работа была поручена мне.

В то время я был не знаком с политической подоплекой, скрывавшейся за этим намерением правительства, и, полагаю, лорд Брайс пребывал в таком же неведении, что и я. Пожалуй, оно было к лучшему. Ибо, будь наши глаза открыты, думаю, едва ли лорд Брайс или я смогли бы выполнять это правительственное задание с той полнейшей добросовестностью, с которой мы действительно его выполняли. Задачей лорда Брайса и моей было установление фактов и предание их гласности в надежде, что на основе этих фактов в конечном счете будут приняты какие-то меры. Мертвых — а депортированные умирали тысячами — было уже не воскресить, но мы надеялись (как, выяснилось, напрасно), что можно будет сделать хоть что-то, дабы гарантировать выжившим, что никогда уже впредь не повторятся жестокости, приведшие к смерти такого множества их соплеменников.

После того как Синяя книга была составлена и опубликована, я начинал все больше понимать, что за политика лежала в основе просьбы правительства к лорду Брайсу. На дворе стоял 1915 г. Весной этого года немцы совершили тот самый колоссальный прорыв на Восточном фронте, который побудил Лайонела Кертиса столь пророчески отмахнуться от капитуляции русского гарнизона Перемышля как от «преходящего события»[3]. Отступая через территорию еврейской черты оседлости, русские войска творили бесчинства в отношении еврейского населения, и, когда германские войска заняли оставленные русскими территории, они обратили себе на пользу опрометчивость последних. (А творимые русскими бесчинства были, помимо всего прочего, шагами опрометчивыми. С точки зрения имиджа в глазах общественности «то было хуже, чем преступление, — то была ошибка»[4].) В то время еврейская черта оседлости (совпадавшая территориально с бывшими польско-литовскими владениями Российской империи) все еще была основным районом сосредоточения мирового еврейства. Области в черте оседлости были тогда для евреев тем, чем является ныне северо-восток Соединенных Штатов[5]. Тем не менее к 1915 г. еврейские переселенцы из Восточной Европы

были в США уже достаточно многочисленными, процветающими и являли собой заметную политическую силу в американской жизни благодаря стратегической важности географического распространения американского еврейства на карте избирательных округов США.

Германский генеральный штаб времени не терял. Он пригласил группу примерно из тридцати американских журналистов — без сомнения, туда вошли и евреи — посетить оккупированные Германией русские территории. Представители Генштаба сопровождали в этой поездке журналистов; русские бесчинства, выставленные немцами на обозрение, выглядели во всей своей неприглядности; донесения американских журналистов в американских газетах пылали негодованием; и когда вырезки из этих газет были получены в Лондоне, правительство Его Величества было не на шутку встревожено. Хотя в то время мировое еврейство не находилось в ссоре с самой Британией, но западноевропейские члены антигерманской коалиции[6] неминуемо могли пострадать от преступлений своих союзников; и возможные последствия могли оказаться действительно серьезными. Американское еврейство может отплатить союзникам, бросив свой груз на антибританскую чашу весов в развернувшейся в США полемике относительно того, как далеко должна заходить американская политика при обсуждении широкого толкования британской доктрины о праве военно-морских сил осуществлять блокаду[7]. Кроме того, разоблачение антисемитских акций русских, несомненно, даст влиятельным еврейским общинам в Германии и Австро-Венгрии дополнительный (помимо патриотического) мотив для поддержки тех двух Центральных держав[8], гражданами которых они были.

Уайтхоллу[9] стало ясно, что правительство должно срочно принять какие-то контрмеры, и вот очень кстати правительству был представлен враг, несущий в себе арсенал возможностей контрпропаганды. Как раз в то время, когда русские совершали свои варварства против евреев, турки совершали значительно худшие преступления против своих армянских соотечественников. Если русские бесчинства свидетельствовали против Британии и Франции, почему бы турецким бесчинствам не свидетельствовать против Германии и Австро-Венгрии? Эта Уайтхолловская линия рассуждений и крылась за обращением правительства к лорду Брайсу с просьбой выпустить Синюю книгу, посвященную геноциду армян со стороны турок.

Встречная мера правительства Великобритании, вызванная действиям германского генштаба, показывает, что к 1915 г. Уайтхолл как раз начинал мыслить в духе Мэдисон-авеню. Однако до конца войны Уайтхолл так и не добился ощутимых успехов на этом широком пути. На протяжении Первой мировой Уайтхолл все еще наивно подходил к проблемам связей с общественностью. (Новая

наука «аналитическая психология»[10] тогда еще только зарождалась.) Когда правительство предприняло усилия к тому, чтобы обеспечить издание Синей книги, посвященной жестокому обращению с армянами в Оттоманской империи, они упустили из виду два существенных момента. Один состоял в том, что люди склонны значительно меньше негодовать по поводу варварств, совершенных против посторонних людей, чем по поводу аналогичных действий, совершенных в отношении членов их собственного сообщества. Вторым существенным моментом, который не учло правительство, была несоразмерность в численности и влиянии между еврейской и армянской диаспорами.

Нет сомнения, Синяя книга лорда Брайса произвела бы желаемый эффект на армянскую диаспору — тот же самый эффект, какой сообщения американских газетчиков, организованные германским генштабом, уже произвели на мировое еврейство. Но если правительство ожидало, что еврейское возмущение против Антанты в связи с дурным обращением русских с евреями будет уравновешено еврейским возмущением против Центральных держав в связи с жестоким обращением турок с армянами, то его предположения исходили из ложных посылок. Человек, который чувствует себя в первую очередь и главным образом гражданином мира, без сомнения, будет питать отвращение к любым зверствам — вне зависимости от того, кем являются злодеи и их жертвы. Найми мировые гуманисты какого-нибудь Сидни Уэбба, который сложил бы два столбца цифр, а потом вычислил разницу между полученными суммами, этот Сидни Уэбб сделал бы вывод, что, хотя каждая из воюющих сторон виновна, коллективная вина Центральных держав превышает коллективную вину их противников.

В 1915 г., однако, было мало таких людей (их мало и в 1966 г.), которые бы имели либо повышенную моральную щепетильность, либо чувствительное воображение, которые требуются для достижения подобного глобально-гуманистического взгляда. Численность таковых людей была (и есть) слишком мала, чтобы опираться на них при формировании общественного мнения. Огромное большинство людей (и тогда, и теперь) мыслит довольно узконационалистически. В математических терминах можно, пожалуй, выразить это так, что девяносто процентов гуманистических симпатий человеческого существа все еще отдается членам его собственного сообщества, и лишь десять процентов остается для распространения этих симпатий на громадное большинство чужаков, также принадлежащих к человечеству. Евреи обладали не более глобальным мышлением, чем любое другое человеческое племя. Было бы неразумно ожидать от них чего-то иного. Поэтому, в плане воздействия на мировое еврейство, армянская Синяя книга правительства Великобритании

была обречена на неудачу. Возмущение мирового еврейства продолжало быть приковано к варварствам русских в еврейской черте оседлости. Страдания армян, с которыми обошлись куда более жестоко, так и остались для евреев *le cadet des ses soucis*[11]. Было наивно не предвидеть этого, и было бы весьма несправедливо как-то по-особому винить евреев за жестокосердие, которое было им присуще не больше, чем представителям других племен рода человеческого.

Разочарованное неудачей своего первого пропагандистского опыта, правительство задумалось снова и наконец усвоило очевидный факт: для того, чтобы разрешить эту еврейскую проблему, оно должно найти решение в еврейских, а не в армянских терминах. Отрицательный эффект, произведенный на еврейские чувства тем разбоем, который совершили русские по отношению к евреям, можно было компенсировать (если вообще возможно), только неким позитивным деянием со стороны западных союзников, которое было бы к выгоде евреев. И это доброе деяние, которое союзникам предстояло совершить, должно было по масштабу решительно перевесить преступления русских. Ключом явился сионизм. Западные державы должны были проявить активность для исполнения чаяний сионистов. Именно это явится тем поступком, который перетянет на сторону союзников еврейские симпатии — по крайней мере в Соединенных Штатах и, пожалуй, также в Центральной Европе, ибо, по иронии судьбы, сионизм не был так популярен среди евреев Великобритании и Франции.

Когда правительство Его Величества обнаружило в своих руках эту козырную карту, оно было, конечно, полно желания ее разыграть; но этому мешали два препятствия. Палестина еще не стала британским владением, чтобы можно было позволить сионистам осуществить замысел создания там своего национального очага, и, кроме того, существовало вето России на любые проекты превращения Палестины в еврейское государство. (По мнению властей Российской империи, отданная в руки евреев Палестина перестанет быть той Святой Землей христиан, в которую устремляются русские паломники.) Первое препятствие отпало, когда генерал Алленби вступил в Иерусалим[12], второе было ликвидировано в результате свержения царского режима в России. За этим последовало обнародование Декларации Бальфура. Она оказалась действительно козырной картой для победы союзников в Первой мировой войне. Ей суждено было стать и джокером в колоде международной политической игры мировых держав в период между войнами. Это, однако, уже другая история, и я не намерен касаться ее в этой книге.

Если бы вся эта сплетенная политическим пауком паутина была очевидна лорду Брайсу, когда он получил просьбу правительства

Его Величества осуществить выпуск армянской Синей книги, уверен, что он отклонил бы это предложение. Его прямота и честность были общеизвестны; а именно это, даже в большей степени, чем доступ к американской информации и уважение, которым он пользовался в Соединенных Штатах, делало его, полагаю, особенно подходящим в глазах правительства для этой работы. Знаю также, что если бы политическая подоплека опубликования Синей книги была понятна мне тогда, то я, направляясь в первый раз на квартиру к лорду Брайсу, волновался бы вдвойне. В течение следующих нескольких месяцев мне предстояло находиться рядом с самым выдающимся и прославленным человеком тогдашней Британии.

Впервые я узнал о лорде Брайсе как об авторе «Священной Римской империи». Действительно, прекрасное научное исследование (а эта книга была таковой в подлинном смысле) редко оказывается трудом, имеющим продолжительную, устойчивую ценность; но эта книга была примечательным исключением. Со времени ее выхода в свет в 1864 г. она заслуженно выдержала множество изданий; и к большинству из них автор давал исправления и дополнения, которые только прибавляли ценность книге. Я прочел «Священную Римскую империю» в очень раннем возрасте — у моей матери был ее экземпляр. Я разыскал книгу «Американское Содружество» в библиотеке Моберли в Уинчестере и к тому времени, как закончил чтение этих трех содержательных томов, узнал многое о правительствах штатов, как и о федеральном правительстве Соединенных Штатов. Я также знал, что знаменитый историк — это только одна из многих ипостасей этой многогранной личности. Существовал также Брайс-путешественник, Брайс-альпинист, совершивший восхождение на гору Арарат, Брайс — член кабинета в правительстве Гладстона и, сверх всего, Брайс — посол Британии в Соединенных Штатах — должность, с которой он вернулся домой в 1913 г. и которую исполнял в своей собственной, неповторимой и весьма эффективной манере. А теперь, к моменту нашей встречи, был еще Брайс — человек семидесяти с лишним лет. Когда я впервые прочитал «Священную Римскую империю», лорд Брайс уже был для меня фигурой почти исторической; казалось, он принадлежал уходящей викторианской эпохе; и вот сейчас мне предстояло представиться ему в качестве секретаря, которого выделило ему правительство. Как мне соответствовать той важной роли, на которую меня назначили? Если бы даже разница в возрасте между лордом Брайсом и мной была просто разницей в возрасте, она все равно вызывала бы трепет. То была разница в пятьдесят один год. В 1915 г. лорду Брайсу было семьдесят семь лет, а мне — двадцать шесть.

Я доехал на лифте, позвонил в звонок, вошел и уже очень скоро вновь обрел уверенность. Присутствие рядом лорда Брайса вовсе

не было пугающим. Его острые, внимательные глаза, глядящие из-под кустистых бровей, делали его похожим на скоч-терьера, как и его движения — быстрые и отрывистые. Манера держаться, простая и скромная, тоже ободряла, хотя она не имела ничего общего со скромностью ничтожества. То была простота человека, которому не свойственна высокомерная напыщенность, человека, достаточно значительного, чтобы не чувствовать ни искушения, ни нужды доказывать свою значительность. Лорд Брайс не нуждался также и в поддержке стоящих после имени букв, выражающих почтение[13]. Спустя несколько месяцев после моей первой встречи с ним, когда я составлял титульный лист для будущей Синей книги, я взял список его регалий целиком из справочника «Кто есть Кто»; и когда отпечатанная корректура титульного листа пришла из типографии, вереница аббревиатур и начальных букв заняла около половины напечатанной страницы. Когда я представил эту плотно заполненную страницу лорду Брайсу, он бросил на нее один-единственный взгляд, а затем одним взмахом пера вычеркнул целую фалангу своих регалий (а лорд Брайс имел обыкновение редко вычеркивать что-либо в корректуре). Позднее, не советуясь с ним, я взял на себя смелость вернуть обратно некоторые из наиболее выдающихся его титулов.

Другой характерной чертой лорда Брайса, которая произвела на меня глубокое впечатление, была его неувядаемая внутренняя молодость. То была не достойная сожаления молодость старика, который так до конца и не повзрослел. То была освежающая молодость человека, чьи кровеносные артерии — как в метафорическом, так и в буквальном смысле — не затвердели с течением времени. Я никогда не встречал никого, кто был бы в этом под стать лорду Брайсу, за исключением Шри Джавахарлала Неру, а молодость пандита Неру[14] не имела себе равных по своей долговечности. Хотя жизнь Неру была примерно на восемь лет короче жизни Брайса, Неру, в конце концов, имел несчастье утратить живость и бодрость духа. Конечно, возможности и стартовые условия этих двух людей также не были одинаковы. Неру умер на изнуряюще тяжелом боевом посту премьер-министра, тогда как Брайс имел возможность провести последние годы жизни, спокойно завершая свой *Magnus opus*[15].

Тело и дух лорда Брайса находились в абсолютной гармонии друг с другом. И тело, и дух сохраняли свою бодрость до последнего. Я уже упоминал, что лорд Брайс, будучи уже почти восьмидесяти лет, двигался с проворством терьера. Его лондонская квартира располагалась на двух этажах, и на верхнем этаже помещались многие из его книг и бумаг. Когда ему требовалось принести какой-то документ с верхнего этажа, он не всходил, а взбегал по лестнице, прыгая через две ступеньки. Когда он наезжал в деревню, в свой дом в Форест-Роу, он по-прежнему отправлялся по делам на велосипеде. В саду

возле дома были деревья, посаженные самим Брайсом, и он дожил до того времени, когда смог увидеть их высокими. Лорд Брайс любил обращать ваше внимание на высоту, которой достигли эти деревья. Однажды он сказал мне, что, когда стала приближаться пора его ухода в отставку с должности посла в Вашингтоне, они с леди Брайс решили испытать себя и выяснить, сколько еще физических напряжений и трудностей они смогут выдержать. (Он с уверенностью говорил за леди Брайс как за самого себя; и хотя она действительно была значительно его моложе, но чтобы не отстать от своего семидесятипятилетнего мужа хотя бы даже физически, леди Брайс требовалось все ее возрастное преимущество, поскольку в бергсоновской выносливости[16] лорд Брайс имел преимущество перед любым.)

Проверкой на прочность, которую Брайсы (или только один из них) себе выбрали, стало их путешествие из Вашингтона, округ Колумбия, обратно в Британию, по одной из трансконтинентальных американских железных дорог и Тихому океану, а затем — по Транссибирской железной дороге. И все это — вместо того, чтобы совершить банальный и скучный переезд через Атлантику. Я не буду излагать здесь историю этого длительного путешествия. Х. А. Л. Фишер[17] воспроизвел его с некоторыми подробностями в созданном им жизнеописании лорда Брайса, а я не являюсь непосредственным свидетелем. В итоге, Брайсы нашли транссибирский поезд слишком комфортабельным, чтобы обеспечить возможность такой проверки своих сил, которой они искали; поэтому на полпути через Евразию они пересели на боковую ветку, ведущую к югу, на конечной станции пересели в повозку, запряженную лошадьми, и устремились куда глаза глядят, до Алтая. (Они действительно забрались так далеко, хотя Брайс-альпинист и не прибавил алтайского восхождения к своему араратскому в качестве венчающего карьеру трофея.)

Уверен, что лорд Брайс сожалел об этом упущении. Сам я жалею, что не был назначен к нему секретарем до его отъезда из Вашингтона и, таким образом, не имел возможности послужить сопровождающим в его транссибирском испытании на прочность. Соответственно, я так и не видел Алтайских гор, не говоря уже о восхождении. Тем не менее воспоминание о подвиге лорда Брайса все еще оставляет мне надежду; ибо даже сейчас мне только семьдесят семь. Зная, какие геройские поступки совершал лорд Брайс и в какие лета, я имею эталон активности для себя самого — на закате, но, надеюсь, еще не на исходе своих дней. Я нахожу это великолепным стимулом; но моя жена, озабоченная сохранением меня в живых, сетует, что успешное неподчинение лорда Брайса своему физическому возрасту подало мне безусловно дурной пример.

Если физическая неувядаемость лорда Брайса производила сильнейшее впечатление, то каких же слов заслуживает его интеллектуальная

молодость? Свежие идеи постоянно рождались в его голове. Они появлялись достаточно быстро для того, чтобы создавать проблемы для типографии, печатающей его труды, и для корректора. Когда я считал Синюю книгу уже полностью готовой к печати, лорд Брайс внес в гранки так же много добавлений, как вносил в рукопись, а в верстку — снова столько же, сколько в чудовищно распухшие гранки. На каждой последовательной стадии производства лорд Брайс заставлял пробные оттиски трещать по всем швам. Мне рассказывали, что, когда издательство «Оксфорд Юниверсити Пресс» издавало какую-нибудь его книгу, их тактика состояла в том, чтобы рассыпать набор и начинать весь процесс заново. Они вывели из опыта, что эта процедура обходится им дешевле, чем попытки вставить массу исправлений и добавлений в имеющиеся гранки. Но то было еще до начала роста цен, который неуклонно продолжается уже полстолетия. Я думаю, что сегодня издатели призвали бы к порядку даже лорда Брайса, не сумей он доныне исправиться.

Эта привычка лорда Брайса свидетельствовала об активности его ума, но она была не слишком благоприятна для его литературного стиля. Трудность, которую он испытывал, стараясь удержаться от нагромождения одних мыслей на другие, а других — на третьи, имела порой тенденцию делать его стиль изложения неустойчивым, а местами неуклюжим. Тем не менее мало отрывков из писаний на тему английской истории могут конкурировать, в смысле стиля, с вступительным абзацем «Священной Римской империи» или с одним, расположенным ближе к концу той же самой книги, описанием. В нем говорится о воронах, кружащих над утесом в Берхтесгаден, в то время как терзаемая Германия ждет, когда из пещеры, где они предположительно спят, во второй раз, в качестве ее спасителей, появятся Барбаросса и его рыцари. (Я осмелюсь предположить, что Гитлер своим прискорбным знакомством с этой легендой был обязан какому-то оригинальному немецкому источнику, а не немецкому переводу знаменитой книги лорда Брайса. Лорд Брайс не захотел бы быть ответственным за то, что Гитлер прятался, точно зловещий краб-отшельник, в романтическом убежище Барбароссы[18].)

Лучший показатель умственной активности — любопытство, а любопытство лорда Брайса никогда не ослабевало. Его главной литературной амбицией было желание написать книгу о демократии — не ограниченную на сей раз отчетом о демократии в Соединенных Штатах, а охватывающую историю, структуру и деятельность демократических систем во всех обществах и веках, где они когда-либо появлялись. Однако всякий раз, как он был готов приступить к работе над этим своим обширным замыслом, обращенные к нему призывы на важные государственные должности становились столь

частыми и настоятельными, что воплощение его выдающегося произведения вновь откладывалось. Сначала поступило предложение принять на себя должность посла, затем — задачи, связанные с военным временем. (Армянская Синяя книга, над которой мне посчастливилось работать вместе с ним, была лишь одним из многих поручений, связанных с войной, которые потребовали его усилий.) Лишь после окончания Первой мировой войны он смог наконец в полной мере посвятить себя задуманной большой книге о современных демократических системах.

К тому времени лорду Брайсу было уже немало лет; а, как говорится, *ars longa, vita brevis*[19]. Можно было бы ожидать, что к этому времени его замысел книги о демократии получил надежную основу и оформился и автор полон нетерпения собрать уже созревший урожай, не разыскивая затерявшиеся снопы. Лорд Брайс действительно очень сильно ощущал, что время подгоняет, а это чувство есть мать продуктивности. Но оно же может быть и врагом тщательности. Другой человек, оказавшись в положении лорда Брайса, мог бы позволить чувству подгоняющего времени удерживать себя от погони за всякой новой мыслью. Так, если бы он писал о демократии, то информация о какой-то новой форме демократии или каком-то новом ее осмыслении могла бы заставить мысленно отгородиться от нового знания, могла бы даже пробудить враждебность к нему. Можно было бы закрыть глаза и заткнуть уши. Однако лорд Брайс если и состарился, то лишь в одном отношении — в хронологическом. Его ум был молод, а любознательность столь велика, что он не ощущал уходящего времени.

Я видел это все собственными глазами, когда его масштабное исследование о демократии было в работе. Однажды в разговоре с лордом Брайсом мне случилось упомянуть имя Дугласа Коула. «О, так вы знаете Коула лично?» — поинтересовался лорд Брайс. Я сказал ему, что мы вместе были в Бейллиоле и дружили. В таком случае не мог бы я познакомить его с Коулом? Он слышал о таком новом понятии, как *гильдейский социализм*[20], с которым связывалось имя Коула. Определенно, Коул мог бы снабдить его сведениями об этом. Брайс хотел быть уверенным, что не упустил гильдейский социализм в своем обзоре демократических теорий — как в экономическом, так и политическом плане. Я связал Брайса с Коулом, и, когда, в конце концов, большая книга, посвященная демократии, появилась, я заглянул в нее, чтобы узнать, вошло ли туда упоминание о гильдейском социализме. Конечно же оно там было, и я уверен: автор нашел бы способы и средства дополнить свой труд свежей информацией, полученной в последний момент из газет и последних известий, даже если эта информация пришла, когда он уже сдал в печать то, что типография считала последним комплектом гранок.

Чтобы стимулировать в себе чувство убегающего времени, которое бы противостояло его любопытству, лорд Брайс давным-давно изобрел для себя психологический эквивалент «электрического зайца»[21], применяемого на собачьих бегах. Обдумывая список наиболее милых его сердцу исторических тем, он выбрал жизнь четы императоров, Юстиниана и Феодоры (как и у Хэммондов, то была одна жизнь, а не две отдельные)[22]. Из всех возможных тем эта, как он рассудил, была той самой, в которой он найдет для себя наибольшую приятность. Поэтому он заранее решил приберечь Юстиниана и Феодору на потом, чтобы они служили ему в качестве его конечной литературной цели. После этого любая книга, какую бы он ни писал в текущий момент, была для него предпоследней — той, что отделяла его от книги о Юстиниане и Феодоре. Но как только очередная предпоследняя книга отправлялась в набор, тактика лорда Брайса побуждала его приняться за другую — вновь оставляя в качестве маяка свою окончательную цель, к которой он вечно и горячо стремился. «Жизнь Юстиниана и Феодоры» так и не была написана, и это несомненная потеря. Но был написан труд «*Modern Democracies*» («Современные демократические системы»), и автор даже успел увидеть его опубликованным, а до того вышло множество других книг. И написание лордом Брайсом каждой книги ускорялось для него притягательной перспективой работы над Юстинианом и Феодорой в недалеком будущем. Задача вечно ускользающего «электрического зайца» состоит в том, чтобы ускорить бег охотничьей собаки. Для лорда Брайса, в его писательской деятельности, роль такого зайца призвана была сыграть его любимая чета византийских суверенов.

Неудивительно, что литературная плодовитость лорда Брайса была высокой, несмотря на то что его рабочее время так часто отвлекалось на государственную службу или на путешествия частного характера. Лорд Брайс был полномасштабным путешественником в тот век, когда путешествия совершались гораздо медленнее, чем сегодня — хотя, вследствие этого, были более достойными награды. Его путешествия, в отличие от государственной службы, не снижали его авторской плодовитости, так как большая часть его дорожных впечатлений вылилась в книги.

Помнится, история последних недель жизни лорда Брайса была рассказана мне Джилбертом Марри. Лорд Брайс уехал на лето в Швейцарию, и там он все еще мог заниматься тем, что доставляло ему удовольствие в течение жизни. В это лето, как и прежде, если какая-то гора занимала его воображение, он, невзирая на ее высоту, совершал восхождение. Если его воображение занимало озеро, он погружался в него, какова бы ни была температура воды. (Брайс был шотландцем, и холодные озера его не отпугивали.) К тому времени,

как он получил свою привычную порцию физических упражнений, летний отпускной сезон закончился, и швейцарские отпускники уехали домой. Тогда Лорд Брайс спустился на равнину и совершил турне по швейцарским городам. В каждом городе, который он посетил, он был гостеприимно встречен знатными гражданами, и Брайс нашел время побеседовать с каждым об их склонностях и интересах, в чем бы они ни состояли. Закончив это путешествие, лорд Брайс вернулся на родину и мирно умер во сне.

Есть поговорка: «Человек счастлив только после смерти». Хотя смерть не спешила к лорду Брайсу, я бы с уверенностью мог назвать этого человека счастливым еще при жизни.



12. СЭР ДЖЕЙМС ХЕДЛЭМ-МОРЛИ

Мне повезло, что во время Первой мировой войны судьба привела меня на службу в Отдел политической разведки Министерства иностранных дел. Я, правда, не могу сказать, насколько обоснованно так называемое «министерство всех талантов»[1] заслужило такое свое название, однако веком позже в Отделе политической разведки образовалось средоточие талантов весьма вдохновляющее. Среди моих коллег были К. В. Сетон-Уотсон (все еще в форме капрала), Льюис Неймир (уже не в форме студенческого батальона) и братья Рекс и Аллен Липеры[2], родом из Австралии (оба затем так и остались на дипломатической службе, правда, карьера Аллена была безвременно оборвана смертью). А нашим дуайеном[3] был тогда Хедлэм-Морли и продолжал им оставаться еще долго.

В этот период Хедлэм, как и все мы, состоявшие в Отделе политической разведки, был временным сотрудником МИДа, но, в отличие от любого из нас, он к тому времени состоял на постоянной гражданской службе и имел за плечами замечательную карьеру и выдающиеся государственные заслуги. Однако в тот военный период, подобно всем нам, Хедлэм пребывал в отделе дипломатического ведомства в качестве не государственного чиновника, а ученого. В мирное время местом службы Хедлэма был Департамент народного образования — сфера невоинственная, мирная и благородная. Во время Первой мировой войны Департаменту народного образования пришлось освободить свои помещения в Уайтхолле, чтобы уступить их школе позиционной войны. И, хотя в своей временной штаб-квартире вытесненный с прежнего места Департамент занимался подготовкой эпохального Закона об образовании Х. А. Л. Фишера, некоторые его служащие все-таки оставались незадействованными. Соответственно, Хедлэм был откомандирован в МИД, потому что его личный опыт предвоенного времени вместе с его «внешкольными» научными изысканиями вооружили его необходимым образом, в том числе и для исполнения задач военного характера.

Помимо того, что по должности Хедлэм был опытным профессиональным руководителем на ниве образования, в своей, так сказать, частной жизни он являлся еще историком, специалистом по Германии. Его знание Германии носило не только формальный, но и личный характер. Подобно сэру Эйру Кроу[4], он женился на немке. И, в самом деле, можно ли предпринять что-либо более эффективное для того, чтобы ближе узнать чужую страну?

Во время Первой мировой войны британцы дали выход своим чувствам, позволив им излиться в виде вульгарной ненависти к немцам. Характерно, что подобным чувствам они не поддались во время Второй мировой войны, когда положение Британии было гораздо

более тяжелым, а поведение Германии более чудовищным. Во время Второй мировой войны Британии было, без сомнения, труднее не скатиться к отчетливо антинемецким настроениям, учитывая, что страна тогда давала приют большому количеству немецких беженцев, которые стали жертвами нацистских гонений. Однако в Первую мировую войну в Британии нашлись люди, которые позволили своим антигерманским чувствам разрастись до фантастических размеров. К примеру, директриса той школы, где училась моя сестра Джослин, однажды заявила в классе, что надеется на то, что немецкий станет мертвым языком; а я однажды во время войны был ошарашен, когда на званом чае одна старая леди спросила меня, не считаю ли я, что настала пора избавиться от всех немцев в военном кабинете. (От всех? Я объяснил ей, что в военном кабинете всего только четыре человека. Выяснилось, что глупая старушка имела в виду удаление лорда Мильнера. У того была мачеха-немка, которая, правда, к тому времени давно умерла, однако, по мнению моей собеседницы, сделала из лорда Мильнера пожизненного внутреннего врага, на добровольных началах работающего на Германию.)

Правительство Его Величества было, однако, мудрее и настроено в Первую мировую войну более порядочно, чем британская общественность. Правительство Его Величества по достоинству оценило вклад в военную победу двух государственных чиновников, чьи личные связи с Германией выразились, в каждом случае, в наличии даже здравствующих жен, а не то что скончавшейся мачехи. В ходе войны Хедлэма откомандировали из Департамента образования в МИД, а Эйр Кроу, который уже был в МИДе штатным высокопоставленным должностным лицом, получил повышение и занял пост постоянного заместителя министра[5]. (То была практически высшая должность для чиновника данного ведомства, идущая непосредственно за должностью министра иностранных дел.) Эти взвешенные действия правительства были не только разумны, но также и смелы; потому что во время Первой мировой войны министры стали бояться прессы — и не без причины, поскольку пресса тогда уже была силой, способной управлять общественным мнением, что она и делала. (К моменту начала Второй мировой войны британская общественность сделалась уже достаточно искушенной, научилась распознавать, что реально стоит за печатными сообщениями, и не принимать их в расчет, что делало задачу Правительства Его Величества во Второй мировой войне менее трудной в этом плане.)

Перед началом Первой мировой войны Хедлэм совместил свои знания о Германии с историческими знаниями и создал превосходное жизнеописание Бисмарка для Патнемовской серии «Национальные герои»[6]. В 1914 г. то была образцовая, общепринятая биография Бисмарка на английском языке. Когда Хедлэм возглавил

германский отдел Департамента политической разведки, несомненно, самым важным отделом из всех, не могло возникнуть никаких сомнений, что эта должность полностью соответствует его квалификации. Первой задачей, порученной Хедлэму в военное время, было написание истории дипломатических событий, непосредственно предшествовавших разразившейся войне. Книга «*The History of Twelve Days, July 24 to August 4, 1914*» («История двенадцати дней, от 24 июля до 4 августа 1914 г») явилась самой первой оценкой этого критического исторического момента, вышедшей из-под пера британского историка. (За последние полвека объем разноязычной литературы, посвященной этому, вызывающему вечные споры предмету, разросся до непомерных масштабов.) После Первой мировой войны Хедлэм так и остался служить в дипломатическом ведомстве, навсегда оставив Департамент образования, и для него была создана новая должность советника по вопросам истории при МИДе, и он продолжал занимать ее до тех пор, пока не удалился на покой. (К сожалению, после этого должность была упразднена.)

Следует отметить, что второй этап государственной карьеры Хедлэма (а именно он был наиболее важным) был столь успешным благодаря его внеслужебной деятельности. Такое плодотворное взаимодействие между частной и публичной сферами жизни официального лица, которое проиллюстрировано карьерой Хедлэма, в наши дни является, пожалуй, куда менее реальным. Хедлэм же был, замечу, типичным государственным чиновником своего поколения.

Хедлэму повезло в том смысле, что он поступил на государственную службу еще до окончания золотой трети века, вступление в которую ознаменовалось заменой конкуренции протекционизмом, а закончилась учреждением Национальной страховой комиссии[7]. Я благодарен правительству либералов, приступившему к работе в декабре 1905 г., за то, что оно сделало для превращения Британии в «государство всеобщего благоденствия». (На самом-то деле краеугольный камень был заложен тридцатью пятью годами раньше, когда в стране было введено обязательное начальное образование, притом за государственный счет[8].) В прошлом государство представляло собой, главным образом, институт ведения войны с внешним врагом и институт защиты частного имущества внутреннего привилегированного меньшинства. Если государство может быть постепенно преобразовано в инструмент социальной справедливости, то это станет значительным шагом на пути к цивилизованности. Тем не менее я беру 1905 г. за конечный год золотой эры британской государственной гражданской службы, потому что рождение «государства всеобщего благоденствия» придало новый ритм работе чиновников — тот лихорадочный ритм, который несовместим с вдумчивой неспешностью и наличием свободного времени или, во

всяком случае — с творческим его применением. Начиная с 1905 г. свободное время государственного служащего было занято непрестанной круговертью чрезвычайных обстоятельств и критических ситуаций.

Конкурсный экзамен как метод отбора и назначения на официальные гражданские должности Соединенного королевства с 1870 г. был в своей изначальной форме очень похож на тот, с помощью которого на протяжении по меньшей мере тринадцати веков отбирались китайские чиновники и который также был упразднен в 1905 г. н. э.[9]. В Британии изначально, как и на протяжении всей истории в Китае, предметы, по которым экзаменовались кандидаты на государственную службу, являлись ключевыми предметами высшего образования данного периода, и относительная значимость каждого экзаменационного предмета, выраженная в оценках, более или менее корреспондировалась с уважением, которым пользовался данный предмет в «культурном обществе». Поразительное сходство между этими двумя системами отбора, возможно, тоже было неслучайно. Те десятилетия середины XIX в., когда британцы горячо дебатировали вопрос реформы государственной гражданской службы у себя в стране, были теми самыми десятилетиями, когда британские чиновники и предприниматели открывали для себя Китай, прорвавшись в его двери в пору Опиумной войны[10]. Некоторые черты китайской жизни, которые им обнаружились, были по достоинству оценены кое-кем из них. К примеру, китайская система заполнения вакансий на гражданской службе конкурсным путем была описана членом первой группы британских консулов Т. Т. Медоузом[11] в его книге под названием «*The Chinese and their Rebellions*» («Китайцы и их восстания»), опубликованной в 1856 г. Эта система была также рекомендована в качестве образца, которому британцы могли бы следовать.

Подобно китайскому чиновнику, британский государственный служащий поздневикторианской эпохи назначался, исходя из его успехов в науках; также ожидалось (и действительно поощрялось) дальнейшее повышение им уровня своего образования параллельно с исполнением государственной работы. Это имело смысл, потому что в период до 1905 г. у британского чиновника имелось время для обоих видов деятельности; если государственный служащий был усерден и методичен, то администратор и ученый могли легко сочетаться в одном человеке (и большинство государственных чиновников, назначенных по результатам конкурса, виртуозно преуспевали в обоих этих направлениях). Более того, эти две стороны деятельности не только не мешали друг другу, но дополняли друг друга. Научная деятельность расширяла кругозор гражданского служащего и таким образом предотвращала усыхание чиновника до простого бюрократа.

Со своей стороны, гражданская служба вносила в исследовательскую работу упорядоченность и метод. И порой это помогало ему, при ограниченности свободного времени, достигать более крупных результатов, нежели более свободному университетскому преподавателю, который, при меньшей привычке к самодисциплине, расходует время с меньшей эффективностью.

Сэр Артур Хиртцель[12], к примеру, который поднялся по чиновной лестнице до поста постоянного заместителя министра по делам Индии, одновременно сумел стать выдающимся британским специалистом своего времени по Вергилию. Современник Хитцеля Дж. У. Макейл[13], который мог бы как специалист по классической филологии получить (только попроси!) любую должность в Оксфорде, предпочел провести свою трудовую жизнь в качестве ученого на государственной службе в ведомстве Хедлэма, то есть в Департаменте образования. На этой службе Макейл вырос до поста помощника министра. В учености ему было мало равных в любом университете. И именно его вклад ученого был отмечен орденом «За заслуги», ибо этой редкой чести не удостаивают за выдающуюся службу в органах общественного управления. (Для этого существуют другие знаки отличия.) Присвоение Макейлу ордена «За заслуги» показывает, что его искусство сочетать высокие достижения ученого и литератора с успешной карьерой гражданского служащего свидетельствовало о том, что высшие власти оценили правильность его пути. Да, то была хорошая компания поздневикторианских ученых-администраторов конфуцианского толка, и ее славным членом был также и Хедлэм.

Я назвал эту эпоху золотым веком британской государственной гражданской службы, потому что убежден: они имели возможность выполнять свою официальную работу лучше, чем их последователи, которые уже не располагали временем для выполнения своей собственной научной или литературной работы. Эти гражданские служащие старой школы могли функционировать лучше, потому что имели лучшие возможности сохранять и развивать в себе чувство пропорции; а в деятельности разного рода чувство пропорции необходимо, и его нельзя заменить просто дополнительным временем.

Британские чиновники этого периода были не менее добросовестными, чем их преемники из последующего нервного века, но их добросовестность принимала иную форму. Они были добросовестны в своих стараниях выделить дела и вопросы первостепенной важности и сконцентрироваться на них. Они заботились о том, чтобы дать себе время обдумать каждый из таких ключевых вопросов всесторонне прежде, чем рекомендовать какое-либо действие в этом направлении озадаченному министру; и если они все-таки позволяли порой каким-нибудь пустяковым делам ускользнуть от их внимания, ущерб от этого был небольшим. Напротив, сегодня

гражданский служащий почти так же растерян и сбит с толку, как и сам министр, помогать и подсказывать которому и входит в обязанности этого чиновника. На протяжении последней половины века все возрастающий объем документации в британских правительственных канцеляриях раздулся неимоверно. Прежняя тоненькая струйка «дел», проходившая через письменный стол чиновника поздневикторианской эпохи, ныне превратилась в половодье. И добросовестность теперь все чаще выражается в равно беспристрастном и равно безразличном обращении со всеми материалами. При этом, по мере роста количества «дел», каждому из них неизбежно уделяется все меньше и меньше времени и внимания. Этот эгалитарный принцип «равенства досье», как и принцип «равенства государств»[14], создает хаос, причем по той же самой причине: он находится в противоречии с реальностью. Гражданские служащие поздневикторианской эпохи были более искусны, когда проводили разграничение между делами и вопросами, которые имели значение, и теми, которые не имели. Когда эти различия сглаживают, малозначимому материалу уделяют больше внимания, нежели он достоин, в то время как ключевому, напротив, — меньше, чем необходимо. Этот отказ проводить разграничение противоречит истинной деловитости, но с этим злом трудно бороться; ибо ярлык с кратким содержанием документа на обложке папки имеет то же психологическое воздействие, что и газетный заголовок. Он стандартизует и низводит содержимое всех досье до одного и того же мертвого уровня и заставляет пользователя придерживаться по отношению ко всем ним этого принципа псевдоравноправия. Когда скорость прохождения потока «дел» через конвейер конторского служащего приближается к мельканию кадров на пленке кинопроектора, мозг чиновника испытывает воздействие, подобное гипнотическому.

Поскольку Хедлэм был государственным служащим классической школы, в противоположность эпигонам моего поколения, работа под началом Хедлэма в Четем-Хаусе была для меня очень хорошей школой. И она подоспела как раз вовремя, потому что мы взялись за издание «Обзора» Четем-Хауса, и нам приходилось методом проб и ошибок нащупывать подходящую форму для преподнесения современной международной истории. Я многому научился у Хедлэма-историка, но, будучи сам историком, я, пожалуй, научился еще большему у Хедлэма-чиновника, обладавшего прекрасным чутьем к процедурным вопросам. Хедлэм был мне не только наставником, но исполнял еще и роль прикрытия. Дело в том, что моя работа должна была проходить фильтр критики Совета Четем-Хауса, большинство членов которого были людьми действия в традиционном смысле слова; эти люди не вполне понимали природу академической работы и поэтому иногда требовали невозможного. Я сам не имел прямого

доступа в Совет, но Хедлэм входил в его состав *ex officio*, в качестве председателя Комитета по исследованиям при Совете, и в его руках мое дело было надежно защищено.

Почему мне удалось извлечь так много из помощи Хедлэма? Вопрос лучше будет сформулировать иначе: «С какой стати было Хедлэму уделять столько времени Четем-Хаусу?» Ответ состоит в том, что гражданственность была одной из характерных добродетелей выдающихся интеллектуалов и общественных деятелей поколения Хедлэма. Лорд Брайс, Лайонел Куртис и Джилберт Марри являют собой подобные же примеры; и некоторые из них довели свою гражданственность до степени самоотречения. Я уже описывал, как лорд Брайс целиком отдавал себя работе то на одной государственной службе, то на другой в ущерб написанию большой книги по демократии, которой было отдано его сердце. И это в его преклонные лета, когда риск утратить возможность ее написания раз и навсегда возрастал с каждым годом. Добровольное служение Четем-Хаусу отвлекало немало его свободного времени от цели создания своего собственного труда.

Давно уже, со времен скорополительного написания книги, посвященной событиям, непосредственно предшествовавшим Первой мировой войне, Хедлэм планировал написать более полную и авторитетную работу, посвященную тому же предмету, но уже охватывающую гораздо более широкий временной отрезок. Он намеревался обобщить все подлинные документы, опубликованные к тому времени, и, осмелюсь предположить, расширил бы пределы исследуемого им периода. Он бы отодвинул эти рамки назад — с кануна войны 1914 г. на день окончания войны 1871 г. Служба Хедлэма в Министерстве иностранных дел, а в некоторой степени и его работа на благо Четем-Хауса, конечно же, приносили ему удовлетворение, но занятие двумя этими видами деятельности одновременно не оставляло ему времени для сколь-нибудь систематической работы над его собственным масштабным проектом. Когда пришла пора выхода с государственной службы на пенсию, казалось бы, путь наконец расчистился. Подобно лорду Брайсу Хелдэм тоже взялся за главное сочинение своей жизни со всей жаждой и надеждами человека, который наконец-то пускается в давно мысленно взлелеянное и выстраданное, но долгое время откладывавшееся предприятие. Но Хедлэм-Морли оказался менее счастлив, чем лорд Брайс. Доживи он до возраста лорда Брайса, он бы получил необходимое ему время. Однако едва успел он занести ручку над бумагой, как роковая болезнь свалила его и унесла в могилу. Его безвременная смерть была крахом его личных надежд, но также и потерей для мира. Хедлэм умер, так и не получив шанса одарить мир долго вынашивавшимся шедевром.

13. ФЕЛЬДМАРШАЛ ЯН СМАТС[1]

Я встречался с генералом Сматсом не чаше, чем с лордом Милнером или лордом Галифаксом. При этом я не чувствовал, что мое знакомство (если можно назвать это так) с двумя вторыми требует отдельной главы. Я предусмотрел отдельный рассказ о генерале Сматсе, потому что выполнял для него кое-какие поручения, потому что многим обязан той книге, которую он написал; и потому что был одним из получателей из его рук почетной ученой степени в области истории.

Главным поручением из тех, что я получал от генерал Сматса, была работа в период открытия Парижской мирной конференции 1919 г. Почти сразу же по приезде в Париж я получил от него срочное указание значительно сократить представленные мной материалы относительно обязательств правительства Его Величества на Ближнем и Среднем Востоке. Эти материалы были напечатаны в типографии при Министерстве иностранных дел и были распространены для служебного пользования перед тем, как мы выехали из Лондона. Я потратил немало времени и сил, чтобы сделать этот рапорт сжатым, и полагал, что мне это удалось. В соответствии с любым академическим стандартом это было действительно так. Но сжатость вещь относительная, и ее понимание зависит от степени давления важных дел на время и внимание того человека, для которого документ предназначен. Давление, которое испытывает интеллект государственного деятеля, сравнимо с физическим давлением, которое претерпевают те глубоководные существа, чьи тела попросту взорвались бы, будь они вытянуты на поверхность.

Задача, выполняемая мною для генерала Сматса, состояла в том, чтобы сократить мои материалы, составленные для мирной конференции, примерно до четверти их первоначального объема. Я принес ему мой сокращенный текст, и генерал очень доброжелательно справился о моем самочувствии. И тут я совершил ошибку, признав, что устал. (Срочная и незапланированная работа вынудила меня просидеть две ночи кряду, после шести недель предыдущей работы над докладом в МИДе, также в форсированном режиме.) Мое опрометчивое признание навлекло на меня мягкий упрек, и я почувствовал себя сконфуженным. Я был девятнадцатью годами моложе генерала Сматса, поэтому мне не было извинения за то, что я не был столь же физически бодр и жизнерадостен, как он. Тогда-то я и понял, что политик не может достичь тех вершин, каких достиг Сматс, если его способность игнорировать усталость не является неистощимой.

Книга генерала Сматса, которой я обязан столь многим, называлась «Холизм». Я прочел ее в начале лета 1927 г., когда во время летних студенческих каникул готовился приступить к первому тому своей

собственной книги «Постижение истории». Всеобъемлющий взгляд на вселенную, который открывался в «Холизме», — это было именно то, в чем я нуждался в тот момент для активизации собственных мыслей. Впрочем, не только в тот момент книга генерала Сматса продолжала быть одним из проводников в моем собственном мысленном путешествии историка. Дух этой книги, как мне кажется, прекрасно отражает индивидуальность автора, а ее содержание, безусловно, иллюстрирует разносторонность этой личности. Это ценное и восхитительное качество было больше свойственно — или, во всяком случае, чаще проявлялось — в титанах Греко-Римского мира и итальянского Ренессанса, чем в современных представителях Запада, которые вложили все свои способности и веру в специализацию. Современники критиковали Фемистокла[2] за то, что он стал ничем, кроме как превосходным политиком. Современники Ллойда Джорджа воспринимали его односторонний фемистоклов профессионализм как должное. Найти живые образцы многосторонности, которые встречаются даже на современном Западе, — в этом есть нечто освежающее; а разносторонность генерала Сматса превосходила даже разносторонность лорда Брайса. Каждый из этих двух исключительно многогранных людей был юристом, политиком и писателем; генерал Сматс был также фермером, солдатом и философом; и его философия была подкреплена более чем просто любительским знакомством с прогрессом современной науки.

Почетную ученую степень я принимал из рук генерала Сматса в 1948 г. в Кембридже. Сматс был тогда канцлером Кембриджского университета; он специально приехал в Кембридж из Южной Африки, с тем чтобы председательствовать на церемонии вручения этих дипломов. (То был, я думаю, его последний приезд в Англию.) Областью, за достижения в которой присуждались в тот раз ученые степени, была история, потому что главным получателем был Уинстон Черчилль[3].

«Англичане — люди ли они?» Что ж, церемония награждения продемонстрировала, к моему удовлетворению, что они люди — в той же степени, что и все другие. Но эта церемония заставляла также предположить: потребовался Черчилль, чтобы заставить англичан забыть о своей привычке к психологической настороженности, которая обычно заслоняет их человеческие чувства. Когда мистер Черчилль вошел в зал ученого совета, преподавательские жены, да и сами преподаватели вскочили, приветствуя его возгласами, зааплодировали и замахали программками. Вероятно, они сами себе удивились, но было поздно — они уже дали волю своим чувствам. После того как церемония награждения закончилась и процессия сотрудников университета двинулась из зала ученого совета в здание Тринити-Колледжа, где нас ожидал ленч, население Кембриджа

высыпало из своих домов и лавок, чтобы, вытянувшись в ряд вдоль улиц, приветствовать мистера Черчилля, когда он шел мимо. Подобно профессорским женам, горожане на миг позабыли, что должны соответствовать признанному за ними характеру.

После ленча, когда от имени университета были произнесены тосты за здоровье гостей, с ответным словом выступил оратор от гостей, и этим оратором мог быть, конечно, только мистер Черчилль. Выступление дало ему возможность отпустить остроумную реплику на счет моего однокашника сэра Стаффорда Криппса[4], который был одним из тех, кому только что была присвоена почетная степень. «Подумайте обо всем, что он для вас делает, — сказал мистер Черчилль, указывая на него. — И сколь немногим при этом обходится! Всего лишь стакан воды да один-два ореха». Насчет стакана воды это, во всяком случае, было справедливо, но одна вещь на удивление не гармонировала с этими словами. Как раз в этот момент аскетичный выпускник Уикемского колледжа самым несообразным образом курил сигару. Этот факт не подлежит сомнению. Моя жена, сидевшая рядом с ним, была тому свидетельницей. Тем не менее мистер Черчилль не привлек внимания общества к этому сибаритству Криппса в духе самого Черчилля[5]. Укрылась ли сигара Стаффорда Криппса от глаза мистера Черчилля, или же он заметил ее, но был слишком рыцарственен, чтобы об этом упоминать? Моя догадка такова, что, скорее, артистизм, чем рыцарственность, замкнул уста мистера Черчилля. После стакана воды и орехов сигара стала бы спадом, который разрушил бы ораторский троп; а сэр Уинстон, подобно Демосфену[6], был прежде всего оратором.

Это качество Черчилля проявилось и в более серьезной теме, которую он затронул далее. Теперь, уже переведя взгляд с Криппса на Сматса, Черчилль начал говорить о пережитых им событиях Южноафриканской войны. Он участвовал в войне в качестве корреспондента газеты, а не солдата, но случилось так, что он принял участие в сражении и был взят в плен. Это было столь же неоспоримо, как и Криппсова сигара. В сущности, это был общеизвестный факт. Черчилль продолжал, однако, рассказывать нам, как солдат-африканер, взявший его в плен, отвел его к офицеру, чтобы спросить, следует ли расстрелять этого врага, не являющегося солдатом за то, что он был застигнут сражающимся в гражданской одежде, и офицер сказал: «О нет, не расстреливайте его». В этот драматический момент взгляд Черчилля, устремленный на Сматса, стал жестче, и он прибавил: «Солдат, который взял меня в плен, был Луис Бота[7], а офицером, который не дал меня расстрелять, был Ян Сматс, сидящий вон там». И он указал теперь уже на Сматса.

Устанавливая тождество между пленившим его солдатом и генералом Ботой, Черчилль повторял заявление, обнародованное им

давным-давно, когда он повествовал о ранних годах своей жизни. Но рассказывая о том, что человеком, спасшим ему жизнь, был генерал Смате, он сообщал нам нечто новое; и эта новость была сенсационной. Ибо если о последствиях своего пленения он сейчас доложил правильно, то новость эта становилась частью истории. Если бы тогда, 15 ноября 1899 г., тот человек приказал расстрелять этого человека, то что бы случилось в июне 1940-го? Не окажись под рукой Черчилля, принявшего на себя руководство, смогла бы тогда выстоять Британия, когда Франция сдалась? Не оказался ли бы и сам Кембридж под властью немцев? Теперь настала очередь Сматса сказать ответное слово, и мы жадно ждали его комментария на поразительный рассказ Черчилля. Смате не сделал никакого комментария. Его речь была превосходной. Он восхитительно говорил о многих интересных моментах. Но и словом не упомянул о том пункте, который был теперь в наших умах главенствующим. Почему?

Молчание Сматса можно истолковать двояко. Возможно, он пожелал косвенным образом подтвердить рассказ Черчилля, тактично не давая этому повествованию никакого формального опровержения, когда у него была такая возможность. Или, напротив, он был вынужден прибегнуть к умолчанию, чтобы тактично его опровергнуть. В пользу второго из этих двух объяснений говорят, во-первых, два момента, заключенных в самой этой истории, а также — и, пожалуй, еще в большей степени — наличие артистической жилки в характере Черчилля. Как мог генерал Бота рыскать, подобно простому солдату, на линии фронта? И как мог воин-африканер помыслить о том, чтобы расстрелять британского военнопленного за то, что тот сражался в штатской одежде, коль скоро буры-ополченцы делали то же самое? Однако самым впечатляющим соображением является вероятность того, что Черчилль-артист нередко отклонялся от *Wahrheit* к *Dichtung*[8], как только и когда только его призывали к этому требования художественной правды. Его молчание по поводу сигары Криппса могло быть (точно так же, как и не быть) негативным *Dichtung* в том смысле, что являлось *supressio veri*[9]; драматические роли Сматса и Боты в рассказанной Черчиллем истории его пленения могли явиться артистическим преувеличением рассказчика. Драматический эпизод из собственной жизни, который публично рассказывал Черчилль, требовал, чтобы и другие его *dramatis personae*[10] были фигурами того же масштаба, что и главное действующее лицо.

Но являлись ли подробности рассказа Черчилля историческим фактом или художественным вымыслом — все равно сцена в зале Тринити являлась и драматической, и исторической. Однако в этой драме, которая разыгрывалась в Англии, а не в Южной Африке, главным действующим лицом был южноафриканский, а не англий-

ский герой. Это представление помогло мне осознать, как необыкновенна была карьера Сматса. Перед нами был человек, который впервые приобрел известность как один из лидеров проигранной войны за независимость; и этот же самый человек добился того, что стал одним из лидеров страны, которая когда-то завоевала и присоединила к себе его отечество. Блестящий успех Сматса в этой новой роли свидетельствовал в пользу широты и величия его многосторонней натуры; его незаурядное желание взять на себя эту новую роль подтверждало редкую щедрость духа.

Эта щедрость была, конечно, в первую очередь принадлежностью самого Сматса; но надо отдать должное и трем другим личностям: со стороны африканеров — Боте, а с британской стороны — Кертису и Кемпбелл-Баннерману. Бота, который сражался бок о бок со Сматсом в Южноафриканской войне, как и он, принял после войны то же самое решение — работать во имя урегулирования разногласий и примирения, и они со Сматсом продолжали оставаться коллегами и товарищами, покуда не были разлучены смертью Боты. Черчилль, в своей речи в Кембридже, был прав, связывая имена Боты и Сматса — даже если конкретный эпизод, в котором он соединил этих двух людей, и не имел под собой исторической основы. С британской стороны ту руку, за которую ухватились Сматс и Бота, протянул Кемпбелл-Баннерман. Будучи горячим противником войны в Южной Африке, Кемпбелл-Баннерман, едва только пришел к власти в Великобритании, вернул обоим захваченным государствам африканеров отобранные у них права самоуправления. Что же касается Кертиса, то у него хватило воображения, чтобы разработать проект, и решительности, чтобы настоять на союзе четырех южноафриканских территорий со статусом доминиона, которые все теперь оказались под одним британским флагом. То был мастерский трюк политической технологии, который повысил привлекательность самоуправления для «белого» меньшинства Южной Африки — как голландцев, так и англичан. Сматса не оставили действовать в одиночку; но роль, сыгранная теми политиками, которые сотрудничали с ним, нисколько не умаляет его собственную, весьма значительную роль.

Сматс сам верно резюмировал свою профессиональную деятельность и указал на ее политическое и моральное значение — в одном предложении той речи, которую он держал в Эдинбурге 11 апреля 1917 г., на церемонии по поводу дарования ему права считаться почетным гражданином города. (Он находился в Англии в качестве члена военного кабинета Великобритании.) «Дело, за которое я боролся пятнадцать лет назад, — сказал он, — это то дело, за которое я борюсь сегодня. Я боролся за свободу и гражданские права тогда и борюсь за них теперь».

Задолго до той даты, когда Çматс в Кембридже вручал Черчиллю ученую степень, стало очевидно, что Сматс и Бота увлекли за собой по пути примирения и урегулирования лишь малую часть белого сообщества Южной Африки. И то сказать, голос несогласия мог быть и в собственном доме Сматса. Мне говорили (сам я не стану утверждать), что миссис Сматс так ни разу и не приехала в Англию, и чего она не могла простить — так это смерти одного из ее детей в британском концентрационном лагере. Отказ простить всегда говорит о неблагоприятном умонастроении, но в этой ситуации его, безусловно, можно было понять.

Лагеря, в которых бурских женщин с детьми насильно сгоняли из своих домов британские военные власти в последний период Южноафриканской войны, не были, конечно, теми лагерями смерти, которые впоследствии были устроены нацистами в Европе. Было бы также несправедливо, если бы я стал применять к ним сатирические строки Артура Клау[11] из его «Новых десяти заповедей» («New Decalogue»):

Thou shalt not kill, but need'st not strive
Officiously to keep alive.

[Не убий, но и не лезь из кожи вон,
чтобы сохранить жизнь.]

Британские военные медики в британских концентрационных лагерях в Южной Африке делали, я полагаю, все, что могли, дабы совладать с болезнями и спасти жизнь. Их неудачи были связаны не с черствостью, а с некомпетентностью и нехваткой необходимого оборудования. Ответственность лежит на британских военных властях и их патроне — тогдашнем правительстве Великобритании. Женщины и дети были вырваны из своих домов по военным соображениям; и приказ этот был отдан и выполнен поспешно, не давая возможности предварительно удостовериться, что лагеря, в которых собирали интернированных людей, были пригодны для проживания. Военные соображения были убедительны — если рассуждать с точки зрения военных нужд. Задача состояла в том, чтобы лишить Де Вета[12] и его неистребимых партизан пищи и приюта, которые они могли находить на фермах, покуда там хозяйничали бурские женщины. Но в соответствии с принятым кодексом «цивилизованных» приемов боевых действий военные соображения не оправдывают бесчеловечности при обращении с мирным населением, и осуждение Кампбелл-Баннерманом интернирования бурских женщин и детей и его прискорбных последствий — как «методов варварских» — было столь же заслуженным, сколь и смелым.

Генерал Сматс имел своих противников и своих критиков. Самыми решительными его противниками были южноафриканские

белые националисты, африканеры; и в этом вопросе любой ненацист будет полностью на стороне Сматса. Сегодня национализм и расизм белого южноафриканского большинства дошли до таких крайностей, в сравнении с которыми грубость и дикость британских концлагерей в Южной Африке кажутся мягкими. Нынешнее националистическое и расистское варварство белых южноафриканцев, подобно варварству нацистов, носит преднамеренно злодейский характер. В самом деле, из всех тогда существовавших диктаторских режимов режим мистера Форстера образца 1966 г.[13] был наиболее близок к гитлеровскому. Критики генерала Сматса являются в большинстве своем неюжноафриканцами. Главный грех, который они вменяют ему в вину, — это его увертливость и ненадежность, которые составили ему соответствующую репутацию и породили прозвище среди его соотечественников. Его, как и Джавахарлала Неру, критиковали за неумение в качестве премьер-министра быть достойным тех принципов, которые он проповедовал как гражданин мира. Ему инкриминировалось, например, то, что в течение лет, проведенных в своей должности в родной стране, он демонстрировал непохвальное мастерство ловко обходить вопрос расовой дискриминации. Его также обвиняли как главного изобретателя хитроумных уловок, с помощью которых выполнение раздела Версальского мирного договора относительно репараций формально соответствовало принципу «мир без контрибуций», сформулированному президентом Вильсоном в его «Четырнадцати пунктах» (выполнением этого условия связали себя союзнические правительства при соглашении о прекращении военных действий), тогда как дух этого условия вопиющим образом нарушался[14]. Если это второе обвинение справедливо и если также справедливо утверждение, что Сматс, выгораживая себя, говорил, что у него спрашивали лишь адвокатского совета и что, давая его, он не становился юридической стороной при вынесении решения действовать так или иначе, то мы должны признать, что обвинение серьезно, а аргумент в защиту неприемлем. Неоправданное раздувание счетов по репарациям было нарушением моральных обязательств; и для политика уровня Сматса объявлять жульническое деяние юридически допустимым было равносильно тому, чтобы его одобрить и принять на себя ответственность за него.

Я не знаю, правомерно ли то или иное из этих обвинений против Сматса, а если — да, то какова может быть степень этой правомерности. В любом случае можно считать, что послужной список Сматса как политика не безупречен. Сматс — и это можно признать без всяких сомнений, был выдающимся человеком. Выдающиеся люди тоже являются человеческими существами, а это, помимо всего прочего, означает наличие определенных несовершенств.

Личность Сматса была столь разносторонней, что даже самые суровые его моральные критики и сильнейшие политические оппоненты найдут в нем то, что достойно уважения и восхищения. Эта мысль иллюстрируется историей, которую рассказывают о генерале Герцоге[15], противнике Сматса из лагеря африканерских белых националистов. (Сейчас тогдашний национализм Герцога выглядит умеренным, в сравнении с национализмом его нынешних преемников, исповедующих идеологию, близкую к нацистской.) После визита в Лондон, когда генерал Герцог взошел на борт судна, чтобы отправиться на родину (это происходило еще до наступления эры воздухоплавания), кто-то из провожавших его членов британского правительства невзначай спросил, что он взял с собой почитать в дорогу. «О, ну, конечно же, новую книгу Сматса», — был неожиданный, но восхищенный ответ генерала Герцога. Несогласие Герцога с политикой Сматса не мешало ему ценить по достоинству сматсовскую философию.

Когда я вспоминаю генерала Сматса, то в голове сразу возникает следующая яркая картина. Сматс, в Париже, в 1919 г. прогуливается с генералом Ботой во время одного из перерыва между заседаниями мирной конференции. Тогда можно было часто видеть этих двух товарищей вместе, и Бота, который был к тому времени очень больным человеком, опирался на руку Сматса, а Сматс нежно помогал идти своему старому другу. Эта глубокая взаимная привязанность старых друзей не могла оставить равнодушным. Их долгая дружба зримо обнаруживала в Сматсе ту нежную доброту, которая являлась одним из украшений его многосторонне одаренной натуры, и этого качества хватало на то, чтобы искупить немногие его недостатки.



14. ПОЛКОВНИК Т. Э. ЛОУРЕНС[1]

В течение уже ряда лет «развенчание» Т. Э. Лоуренса является модным литературным упражнением. К настоящему моменту существует целая серия книг на эту тему. Побуждение к написанию таких книг не ослабло, а сами книги пользуются повышенным спросом. Предположим, что все дискредитирующие Лоуренса утверждения в этих книгах можно подтвердить и обосновать. Что же мы в них найдем? Только то, что мы знали и обязаны были знать раньше. Открытие «разоблачителей» состоит в том, что Лоуренс был человеком — то есть тем, чем и должен являться всякий прежде, чем быть чем-то еще. Лоуренс же имел в себе нечто, помимо своей человеческой природы, общей для нас всех. Он нес в себе элемент величия духа, и выставление напоказ его человеческих слабостей все равно не способно это величие разрушить, даже когда артиллерия разоблачителей выпустит в него свой последний заряд.

Величие духа представляется очевидным и несомненным, когда с ним сталкиваешься, но ускользает, когда пытаешься его проанализировать и дать ему определение. У меня нет ни малейшего сомнения, что я наблюдал его и в Т. Э. Лоуренсе, и в Лайонеле Кертисе. Конечно, существует величие разного рода, и я бы не стал ставить тот или другой род на первое место. Я не стану утверждать об этих двух людях кроме того, что в каждом из них имелся признак величия, и это их качество было, на мой взгляд, неоспоримо.

То, что мы понимаем под словом «величие» в человеческом бытии (величие любого рода), есть проявляющаяся в той или иной степени способность приводить в движение других людей. Существует столько сфер проявления величия, сколько сторон в человеческой натуре, и в разных областях воздействие одной личности на другие имеет разные диапазоны и проявляется разными способами.

Высочайший уровень величия души присущ пророкам высших религий. Наиболее поздний из таковых, пророк Мухаммед, скончался уже более 1 300 лет назад; Заратустра и Второ-Исайя мертвы уже более 2 500 лет, а Сиддхартха Гаутама (Будда), пожалуй, лет на сто меньше этого[2]. Тем не менее — как и в случае с Иисусом, чью традиционную дату рождения большая часть мира принимает сегодня в качестве исходной точки осевого летосчисления (как вперед, так и назад) — эти давно умершие пророки и в настоящее время оказывают влияние на жизнь гораздо бóльшего числа людей (и гораздо более глубокое), чем любая из ныне живущих личностей. Религия является той сферой, в которой величие духа доказало величайшие масштабы своего действия — как во времени, так и в пространстве. И тот способ, каким религиозное величие воздействует на людские сердца, является самым тонким и неуловимым. Святость скорее

увлекает за собой, чем приводит в движение. Величие в сфере творчества и интеллектуальной деятельности и по способу, и по диапазону действия напоминает религиозное величие. Эти три вида величия кажутся родственными в том смысле, что все они представляют резкий контраст с величием в области практических дел — экономики, политики и войны. Величие в этих последних сферах имеет сравнительно узкий диапазон действия, и тут оно, скорее, приводит в движение, чем незримо увлекает.

Каждая человеческая душа, большая или малая, — есть поле духовной битвы, на котором добро и зло непрестанно сражаются друг с другом за господство. Поэтому величие может быть направлено как на хорошие, так и на дурные цели; и величие, действующее во зло, может оказаться могущественным, апеллируя к тому злу, которое присутствует в каждом из нас. В наше время мы видели великий народ, имеющий за собой длительную традицию христианской цивилизации, который был захвачен неким дурным человеком и великим демагогом[3]. Нет гарантии, что добро восторжествует над злом; вместе с тем добро имеет два преимущества в борьбе за обладание людскими душами. Одно из этих превосходств добра — это то, что мы его осознаем и отдаем ему дань, даже когда творим зло.

> Video meliora proboque.
> Deteriora sequor.
>
> [Вижу и одобряю лучшее,
> А следую худшему]
>
> *Овидий*[4]

Это одна из духовных трагедий Человека, но это трагедия не окончательная. Она не закрывает дверь возможности покаяния.

Второе превосходство добра над злом состоит в том, что эгоизм отпугивает, а, значит, то, зло, которое столь часто прорастает в человеческой натуре, начинаясь с эгоцентризма, имеет тенденцию подрывать собственные цели. Законченный, абсолютно прозрачный эгоизм не имел бы вовсе никакой власти приводить в движение человеческих собратьев эгоиста, однако эгоизм умеет завлекать показными притязаниями, маскируясь под альтруизм. К тому же законченный эгоизм встречается редко, пожалуй даже, никогда. Большинство человеческих душ, включая самые великие, в моральном отношении многосложны, и поборник альтруистической цели, наделенный величием, способным сдвигать горы, может все-таки иметь в себе жилку эгоизма. Сама альтруистическая цель может служить движущим средством для его эгоизма.

В том величии, каким были наделены Т. Э. Лоуренс и Лайонел Кертис, имелась, я бы сказал, некоторая примесь этого эгоизма, но

эта слабость занимала второстепенное положение. Полем деятельности и того, и другого была политика, область практических дел. Диапазон, в котором действовал Лоуренс, был шире, чем у Кертиса. Лоуренс, помимо того, что являлся поборником политической цели, был еще ученым и солдатом; полем деятельности Лайонела была только политика, хотя при случае, когда того требовала его задача, он мог процитировать Священное Писание. С другой стороны, политическая цель Лайонела была больше и важнее. Лоуренс был защитником единственной нации. Он был, фактически, представителем того особого типа британских политических идеалистов — тех, что, примерно, с начала XIX в. взяли под свое покровительство тот или иной народ, зависимый от Оттоманской или Габсбургской империи[5]. Арабы, чье дело отстаивал Лоуренс, уже имели к тому времени ряд видных и замечательных защитников среди британцев. Эта, особенно присущая британцам, форма политического идеализма достойна восхищения, но образ, который ее вдохновляет, ограничен. В противоположность этому мечта Лайонела охватывала все человечество, и его цель заключалась ни больше ни меньше, как в объединении всех народов Земли в федерацию, которая даст человечеству возможность обрести наконец свободу от причиняемого самому себе бедствия — от бедствия войны. В атомную эпоху воплощение лайонеловского идеала в жизнь могло бы стать прекрасной альтернативой разрушению самих себя; и уместность и своевременность того дела, которому Лайонел посвятил всю жизнь, свидетельствуют о величии Лайонела в избранной им области.

Как бы ни оценивать величие этих двух необыкновенных людей, оно заставило почувствовать свою внушительность. Во всяком случае, оно произвело на меня глубокое впечатление. Эта сила была сродни, скорее, наполеоновской, нежели силе Орфея[6] — что неудивительно, поскольку полем деятельности Лоуренса и Лайонела была сфера практических дел.

На Парижской мирной конференции 1919 г. и в последующие годы я не раз имел возможность видеть Лоуренса в действии. Следующие два эпизода, которых я был непосредственным свидетелем, иллюстрируют природу этой мощи.

Я примостился в заднем ряду кресел комнаты, где заседал Совет Десяти[7], в тот день, когда эмир Фейсал, один из сыновей Хусейна, короля Хиджаза, должен был обнародовать перед Советом политические чаяния арабского населения, которое было до того времени под властью или сюзеренитетом Турции[8]. Со своего места мне было хорошо видно каждого в помещении, поскольку число участников было невелико.

Я заметил, что сижу рядом с сэром Морисом Хэнки (лордом Хэнки[9]), что явилось для меня удачей. У лорда Хэнки была привычка

на заседании Совета записывать свои замечания по поводу происходящего на клочках бумаги и передавать их своим соседям, «заднескамеечникам»[10]. А эти его комментарии стоили того, чтобы их заполучить, ибо лорд Хэнки был мастером в том искусстве, коего являлся также изобретателем. Хэнки был первым, кто занимал должность секретаря в Комитете обороны Британской империи (т. е. расширенного кабинета британского правительства)[11].

История гласила, что Хэнки был обязан этим назначением (которое он обернул к такой выгоде) тому обстоятельству, что в детстве его полагали тупым. Его определили в морскую пехоту, поскольку считалось, что он будет не способен добиться права поступить на какую-нибудь еще службу. Когда же был учрежден Комитет обороны империи и потребовалось подыскать для него секретаря, эту должность пришлось отдать морскому пехотинцу, потому что ни Военно-морской флот, ни сухопутные силы не соглашались на назначение туда человека из соперничающего рода войск.

Деятельность Хэнки вызывала в памяти описанную Киплингом тактику индийских дрессировщиков слонов[12]. Дикими животными Хэнки были государственные министры, и, вероятно, было захватывающе интересно наблюдать, как он сгоняет этих грандиозных существ в свой загон, да так неприметно, что они сами не осознают, что с ними происходит. Инструментом укрощения был для Хэнки его журнал заседаний. Когда однажды он убедил министров позволить ему вести протокол заседаний комитета, он подчинил их своему контролю. Подробно записывая все слова и решения министров, Хэнки сумел настолько упорядочить их хаотичные совещания, насколько это увязывалось с правдой жизни; и, хотя эти неизбежные рамки ограничивали количество творимого им добра, все-таки оставалось достаточно возможностей существенно рационализировать и ускорить рассмотрение дел. Искусно подгоняемые Хэнки «слоны» теперь двигались уже чуть быстрее и ритмичнее. Великобритании повезло, что Хэнки пробыл на этой должности изрядное время до войны и, таким образом, к моменту ее начала кабинет министров оказался достаточно работоспособен.

Итак (возвращаясь к моему повествованию) перед членами Совета Десяти сидели три фигуры в арабских одеждах. Одна из них принадлежала Фейсалу, другая — Лоуренсу, а третья — марокканцу, который был приставлен сюда французами. Обязанностью марокканского наблюдателя было запоминать, что говорил эмир Фейсал на арабском, с тем чтобы французские начальники марокканца могли потом проверить, соответствовала ли речь Фейсала тому, что выдавал в качестве перевода Лоуренс. Французы приняли эти меры предосторожности потому, что несколькими днями ранее, в Эдинбурге, имели возможность оценить хитроумные маневры Лоуренса и

Фейсала. В тот раз Фейсал продекламировал главу о корове из Корана[13], а Лоуренс затем красноречиво обрисовал на английском языке арабскую политическую ситуацию. Этот метод работы избавил Фейсала и Лоуренса от труда составлять речь на двух языках. Присутствие марокканца (о чем эти двое заблаговременно получили оперативную информацию) вынудило их на сей раз принять иную, более трудоемкую методу. На этот раз Лоуренс написал и арабскую версию речи — для Фейсала, и ее английский вариант — уже для себя. Поэтому теперь арабский и английский варианты речи корреспондировались друг с другом до тонкостей.

Когда настал момент, Фейсал зачитал речь Лоуренса, написанную по-арабски, а Лоуренс вслед за ним выступил с чтением ее же по-английски. Однако тут случилась заминка. Клемансо понимал по-английски и умел на нем разговаривать (что давало ему ценное преимущество перед англосаксонскими и итальянскими коллегами[14]); однако итальянцы точно так же не владели английским, как вся Десятка не владела арабским. Единственным иностранным языком, который итальянцы понимали, был французский. Тогда президент Вильсон внес предложение. «Полковник Лоуренс, — сказал он, — не могли бы вы теперь перевести заявление эмира Фейсала для нас на французский язык?» После секундного колебания Лоуренс начал снова и еще раз пересказал речь от начала до конца. И когда он подошел к концу этого не подготовленного заранее перевода, вся Десятка зааплодировала. Произошедшее ошеломляло. Чары Лоуренса заставили Совет Десяти на миг забыть, кто они и что от них требуется. Они начали заседание как исполненные сознания собственной важности вершители судеб человечества, а заканчивали его увлеченными слушателями, которые внимали переводчику какого-то второстепенного просителя.

Из-за тех нескольких мгновений британские и французские члены Десятки даже позабыли свои тогдашние взаимные распри, хотя к тому времени конфликт стал болезненным, а ареной его был арабский мир. Общеизвестно, что победившая коалиция склонна раскалываться после разгрома общего противника, — если разгром его был достаточно убедительным. Так было на Венской мирной конференции 1814 г.[15], и в 1919 г. это произошло вновь. На этот раз трещина в стане победителей прошла через прямоугольник Уайтхолла, на котором вплотную соседствовали здания Министерства иностранных дел и Министерства по делам Индии. Министерства по делам Индии и Франция были теперь в союзе друг с другом против Министерства иностранных дел и генерала Алленби. Министерство по делам Индии и Франция сошлись на почве общего интереса. Каждая из этих двух сил опасалась, что, если арабам, находившимся прежде под властью оттоманских турок, будет дарована первоначальная

независимость, это может оказать дестабилизирующее действие на подконтрольные Франции территории в Северо-Западной Африке и на подконтрольный Министерству по делам Индии Индийский субконтинент. Франция и Великобритания не доводили свое послевоенное колониальное соперничество на Среднем Востоке до того, чтобы вовлечься в военные действия, но Министерство по делам Индии и Министерство иностранных дел проявили меньшую сдержанность. В мае 1919 г. они сражались друг с другом, чужими руками — так сказать, по доверенности — в Аравии, на границе между Неджом и Хиджазом, в местечке под названием Тураба. В этом бою араб, представлявший Министерство по делам Индии (его звали Абдаррахман ибн Сауд), разбил араба, представлявшего Министерство иностранных дел (короля Хусейна аль Хашими[16]). Но тогда МИД воззвал к своему союзнику, генералу Алленби. Алленби пригрозил послать несколько легких танков на подмогу тому арабу, который помогал МИДу; и Министерство по делам Индии, проявляя осмотрительность, рекомендовало своему арабу отвести войска.

Движущей силой войны, с обеих сторон, были денежные ассигнования, которые выделяли оба британских уайтхоллских департамента (каждый своему протеже соответственно) из денег британских налогоплательщиков. Было бы гораздо дешевле для налогоплательщиков и гораздо более мужественно со стороны этих двух воинственно настроенных ведомств, если бы их чиновники дрались друг с другом напрямую — благо министерства располагались по соседству. В качестве готового поля брани мог бы послужить их общий квадратный дворик в Уайтхолле. И они также сэкономили бы британцам больше средств, если бы бились друг с другом алебардами, мечами, копьями и другими простыми видами оружия, которыми лондонские муниципальные советы сражались друг с другом в книге Г. К. Честертона «Наполеон из Ноттинг-Хилла»[17]. Однако это явилось бы нарушением декорума государственной гражданской службы, так что налогоплательщику оставалось платить. С тех пор вашингтонская администрация упростила процедуру Уайтхоллской карусели. Уайтхолл давал своим арабским приспешникам деньги на покупку оружия, чтобы драться друг с другом; Вашингтон изъял из этой процедуры долларовую составляющую и стал сразу поставлять воюющим между собой Пакистану и Индии оружие с американских складов[18].

Мое второе непосредственное впечатление от масштабности личности Лоуренса было получено в 1922 г. — теперь уже в моей лондонской квартире. Это было в тот момент, когда Мустафа Кемаль Ататюрк и его сподвижники завершили приготовления к турецкому контрнаступлению против греческих захватчиков, вторгшихся в Анатолию. Когда контрнаступление наконец началось, оно

оказалось успешным сверх любых, самых оптимистических упований турецкого генштаба. Греческие войска были рассеяны, и баланс сил на Ближнем Востоке поменялся внезапно, за одну ночь[19]. Однако перед этим боровшиеся за национальное освобождение турецкие власти были полны сомнений относительно перспектив планируемых наступательных действий; но они были также полны горячего стремления освободить свой народ (который к тому времени в течение почти десяти лет находился в условиях непрестанной войны) от дальнейших военных бедствий и страданий. Соответственно, прежде чем начинать наступление, они отправили делегацию в Лондон, чтобы выяснить, не захочет ли теперь Великобритания рассмотреть условия мирного урегулирования на Ближнем Востоке — такие условия, которые в достаточной степени удовлетворяли бы стремлению турецких национально-освободительных сил обеспечить основу для переговоров, без необходимости в какой-либо дальнейшей вооруженной борьбе.

К сожалению, для всех заинтересованных в переговорах эта турецкая миссия мира оказалась пустым номером. Ллойд Джордж отказался беседовать с ними, и им также резко отказали в Министерстве иностранных дел. В этот критический момент правительство Его Величества было непростительно слепо. Либо их разведданные не соответствовали картине, либо политики самым безответственным образом не пожелали с ними считаться. Если бы они по достоинству оценили реалии военной обстановки в Анатолии на тот момент, они бы охотно ухватились за предлагаемую турками возможность мирных переговоров, покуда греческие войска, чей моральный дух уже пал, были еще целы физически. Военная победа турок, случившаяся через нескольких недель после отказа Ллойда Джорджа встретиться с турецкими делегатами, подкосила премьер-министра. Его неумение ее предвидеть и последующая неспособность реалистически воспринять ее последствия дали Консервативной партии возможность расколоть коалиционное правительство, всесильным главой которого Ллойд Джордж являлся в течение последней полудюжины лет, и навсегда сместить его с поста[20]. Некогда тонкое политическое чутье на сей раз подвело Ллойда Джорджа, и со столь прискорбными результатами!

Это политическое событие затронуло меня лично, потому что в то время я был одним из довольно немногих людей в Британии, которые сочувствовали турецкому национально-освободительному движению. Годом раньше я провел несколько месяцев в зоне греко-турецких военных действий в качестве специального корреспондента газеты «Манчестер Гардиан», и с тех пор делал все, что мог, дабы обратить внимание британской общественности на турецкие события. В моих силах было немногое, ибо, хотя я и располагал

некоторыми сведениями из первых рук о текущей обстановке на Ближнем Востоке, я не имел политического влияния в Британии. Когда в Лондон прибыла турецкая миссия мира, возглавляемая одним из моих турецких друзей Фетхи Бей Окияром[21], я делал все, что мог, чтобы им помочь. Как и следовало ожидать, я совершенно не преуспел в своих усилиях убедить людей, занимавших государственные посты, побеседовать с ними. Даунинг-стрит и Уайтхолл решили проявить непреклонность, и ничто из сказанного мной не могло побудить их изменить это решение. Все, что я мог, — это представить турецких посланцев каким-нибудь неофициальным лицам, к которым имел доступ и которые, как мне представлялось, могли бы при желании оказать им более эффективную помощь, чем я. Поэтому однажды вечером мы с женой пригласили турецкую делегацию к себе на квартиру, чтобы познакомить турок с полковником Лоуренсом и сэром Сэмюэлем Хором[22].

Когда мои турецкие друзья объяснили свою миссию двум нашим британским гостям и Лоуренс начал говорить, у меня волосы встали дыбом, потому что говорил он грубо. Не выбирая выражений, он заявил Фетхи Бею и его коллегам, что Турция — конченая страна и что она обязана нести всю ответственность за последствия. Лоуренс умолк, мы с женой, в ошеломлении, не могли проронить ни слова. Лоуренс выказывал туркам именно то отношение, которое спровоцировало их в 1919 г.[23] снова взяться за оружие. Турки были отнюдь не расположены вновь выслушивать эти обидные вещи от вчерашних победителей. Они ни за что не стерпят от Лоуренса такого унижения! Очевидно, сейчас последует взрыв. Наступил момент затишья, а потом один из турецких делегатов тихо сказал: «*Monsieur le colonel a raison*» (Господин полковник прав). То есть Лоуренсу опять удался его номер! Он увлек своей речью этих турецких националистов точно так же, как однажды на моих глазах увлек Совет Десяти. Конечно, турецкие посланцы разговор на этом не закончили; но то, что последовало далее, было уже конструктивной дискуссией между ними и Лоуренсом о том, каковы должны быть условия мирного договора и как им следует их преподнести. Совет, данный Лоуренсом, был хорош, и турки отнеслись к нему с пониманием. Если бы британское правительство оказалось столь же восприимчиво к здравому смыслу, как они, разговор между ними и Лоуренсом в тот вечер мог бы обеспечить отправную точку для мирного договора.

Третий пример морального превосходства Лоуренса так забавен, что я не могу удержаться и не рассказать эту историю, хотя в данном случае сам я не был свидетелем, а первоначальным рассказчиком этой байки был, должно быть, сам Лоуренс. Единственным человеком, кроме него, кто мог бы ее рассказать, был Клемансо.

Однако, каким бы жаляще-остроумным ни был Клемансо по отношению к другим, полагаю, он бы промолчал, коль скоро колкость была направлена против него самого.

В Париже 1919 года французы находили поведение Лоуренса все более и более раздражающим. Дело в том, что он обладал способностью браться за любую вещь, которую только могла потребовать его новая миссия. А эта миссия состояла в том, чтобы отстаивать дело арабов. Его сделанный экспромтом французский перевод речи для Совета Десяти был примером такого рода. Среди прочего он зарекомендовал себя специалистом в организации пресс-конференций и умении побуждать прессу преподносить вещи в том свете, в каком ему требовалось. В конце концов, Клемансо пожаловался на Лоуренса британской делегации, и та пришла в замешательство. Хотя Лоуренс формально был членом делегации Хашими[24] — о чем он и сигнализировал, одеваясь на арабский лад, а не в британскую военную форму — британское правительство не могло полностью снять с себя ответственность за него. К тому же они и сами уже превысили все пределы благоразумия, сердя французов. Так, например, англичане прикарманили округ Мосул, который, согласно соглашениям военного времени между союзными державами, был одной из тех арабских территорий, чьей «независимости» надлежало быть под французским, а не под английским контролем[25]. В дипломатии факт обладания составляет девять десятых права, и после заключения турецко-британского перемирия британские войска стремительно помчались через находившуюся в Ираке линию перемирия до Мосула, тогда как назначенный в Мосул французский верховный комиссар все еще пережидал в Басре. В итоге Клемансо пришлось примириться с потерей Мосула, но уже невозможно было ожидать от него еще каких-то уступок. В конце концов, он ведь был «Тигром»[26]. Поэтому британская делегация демонстративно умыла руки по поводу Лоуренса, когда Клемансо объявил, что предлагает послать за этим молодым человеком и сделать ему внушение. Соотечественники Лоуренса в Париже к тому времени знали полковника достаточно хорошо, чтобы быть уверенными: даже в пасти у «Тигра» он сумеет о себе позаботиться.

Получив распоряжение от Клемансо, Лоуренс явился, но их встреча закончилась очень быстро. «Послушайте, полковник Лоуренс, — сказал Клемансо, начиная свой гамбит, — как вам известно, Франция всегда имела виды на Сирию, еще со времен крестовых походов».

«Да, — ответил Лоуренс, — но победителями в этих походах вышли сирийцы, и они всегда об этом помнят». Очевидно, такого с Клемансо еще никогда не бывало. У него не было заготовлено ответа, поэтому разговор на том и окончился.

Но чудеса плодит наш век,
И люди зря галдели:
Пес околел, а человек
Живет, как жил доселе[27].

Замените слово «пес» на слово «людоед», и вы получите анекдот о поражении Клемансо от рук молодого человека, которого он опрометчиво вызвал на поединок.

Сила духа Лоуренса являла себя визуально. Лоуренс был, по сути, подобен хамелеону. Когда он пребывал в бездействии, он имел обманчивую внешность человека незначительного. Рост его был ниже среднего, волосы мышиного цвета, серого цвета глаза. Однако в тот момент, когда он начинал действовать, облик его преображался. Глаза загорались голубым огнем, волосы начинали отливать золотом, а фигура грозно возвышалась над потрясенным противником. Лоуренс в действии силой духа напоминал советника царя Давида Ахитофела[28], который пользовался непререкаемым авторитетом.

Но то был терзаемый дух. Полагаю, в Париже Лоуренсу уже стало ясно: каких бы тактических успехов он ни достиг в развернутой им кампании за дело арабов, всей войны ему не выиграть. Предоставление независимости арабам, прежде находившимся под оттоманским владычеством, было не тем пунктом, ради которого Британия станет ссориться с Францией. Этот момент был изложен весьма красноречиво, хотя и не беспристрастно, сторонником Франции, постоянным заместителем министра в Министерстве по делам Индии сэром Артуром Хиртцелем. Великобритания, отметил он, будет нуждаться в союзе с Францией и в послевоенные годы, и этому крупному британскому интересу неизбежно будет отдан приоритет по отношению к мелочам британских нужд на Ближнем Востоке. Тут Хиртцель попал в точку, точно выделив то соображение, которое волей-неволей должно было стать решающим для определения политики правительства Его Величества. Великобритания будет подворовывать для себя столько территорий и влияния в арабском мире, сколько удастся — без того, чтобы разозлить Францию; но в конечном счете она признает за Францией на Ближнем Востоке то, что обязалась ей уступить по условиям принятых во время войны соглашений между членами Антанты. А причитающийся Франции кусок подпортит картину того независимого арабского Востока, за который ратовали арабы и вместе с ними Лоуренс. Для Лоуренса то была горькая пилюля, но горечь не затмевала его склонности к потехе, ибо, помимо величия, он имел в себе и жилку озорства.

Я видел, как эта его склонность к шалостям проявилась однажды, когда, шагая вместе по коридору на какое-то заседание, мы проходили мимо двери чиновника Государственного казначейства. Через открытую дверь было видно, как находящийся в помещении

чиновник, сидя за письменным столом, деловито пишет. Полковник шагнул в комнату, и, когда служащий, оторвавшись от работы, раздосадованно поднял на него глаза, Лоуренс выхватил из-под своего балахона кинжал и поднес рукоятку к лицу человека. «Угадайте, что это?» — спросил Лоуренс. «Понятия не имею», — ответил человек из казначейства. Он чувствовал себя явно неуютно. Когда кто-то становился объектом наскока Лоуренса, невозможно было предугадать, что последует в следующую минуту. Лоуренс дал ответ клерку в виде очередной шарады: «Сто пятьдесят ваших соверенов»[29]. Увидев, как передернулся чиновник, можно было подумать, что Лоуренс не помахал у него перед носом золотой рукояткой, а вонзил между ребрами бедняги стальной клинок. Почему эта красивая резная рукоятка повергла человека в такой шок? Меня это зрелище потрясло, оно было неприятным напоминанием об одной из наиболее мучительных катастроф казначейства военного времени.

После того как вспыхнула война, казначейство потребовало назад все наши семейные золотые соверены и полусоверены. (Мы их больше никогда не увидели.) Вместо них оно всучило гражданам бумажные деньги. (До 1914 г. мы не видели банкнот достоинством ниже барственно роскошных, пятифунтовых.) Казначейство тогда хранило наше золото в подвалах Английского банка, с намерением так и держать его там в заточении. Казначейства других воюющих государств, с обеих сторон, сделали то же самое. По отношению к своим покорным подданным они могли проводить такую деспотическую и высокомерную политику. Например, солдаты «наемной армии» Хаусмана в бою были подобны львам, но уподоблялись овцам, когда соглашались принимать плату в подверженных обесцениванию бумажках, «накопленных в больших количествах в стране»[30]. Были, однако, два «отсталых» (я имею в виду «развивающихся») народа — албанцы и арабы, — которые проявляли свою наивность в том, что придерживались своей самобытной линии поведения. Будучи непривычны к бумажным деньгам, они отказались к ним приспосабливаться. Они настояли на том, чтобы им продолжали платить, как и прежде, золотом, а также на том, чтобы получать эту плату авансом. И казначейства воюющих сторон угрюмо подчинялись требованиям албанцев и арабов, потому что правительства стран, находящихся в состоянии войны, соперничали друг с другом в использовании этих умелых воинов в качестве своих наемников.

Албанцы и арабы были рады служить в наемниках, но лишь до тех пор, пока им платили, как положено — вперед и золотом. Им было безразлично, на чьей стороне воевать. У них не было намерений, отрабатывая свои деньги, воевать всерьез за ту или иную из участвующих в войне европейских стран. Им нужно было золото, чтобы нанимать друг друга для борьбы друг с другом. Вот в чем

состояла экономическая подоплека. Расходуемое таким образом золото циркулировало в пределах Албании и в пределах арабских земель, не покидая каждой из этих территорий. Британское казначейство прилагало усилия вернуть обратно то золото, которое оно перекачало ибн Сауду через Министерство по делам Индии и королю Хусейну — через Министерство иностранных дел. В кризисной ситуации подводной войны казначейство выпросило себе у Министерства морских перевозок грузовые мощности для доставки индийского текстиля в арабские порты, в надежде соблазнить арабов расстаться с частью золота в обмен на эти привлекательные иноземные предметы ширпотреба. Но из этого ничего не вышло. Арабов невозможно было склонить воевать друг с другом в обмен на текстиль. Для этой цели годилось только золото, и арабы продолжали настаивать на золоте, а отвергнутые индийские ткани пришлось отвезти обратно туда, откуда они прибыли.

Таков был исторический фон, на котором произошел эпизод с демонстрацией Лоуренсом рукоятки кинжала, и именно эти события пронеслись в голове чиновника казначейства, когда он вздрогнул, как от боли. Кинжал исполнял в Аравии, в том числе, роль банковского хранилища. Дело в том, что в обширной Аравии стальные сейфы были в то время редкостью; а между тем повсюду было необходимо сохранять определенные запасы золота, пока не настанет время пустить его в то дело, для которого оно было предназначено. Арабы изящно разрешили проблему хранения. Литое золото можно защитить, если сочетать его браком со стальным клинком. Но поскольку арабы были пока что всего лишь «развивающимся» народом, они не могли удовлетворяться чем-либо тупо «функциональным» и оттого наносили на золотые рукояти своих кинжалов «бесполезную» резьбу.

Лоуренс был не единственной известной ближневосточной личностью британского происхождения, которая оказалась в Париже в 1919 г. Из Арабского бюро в Каире прибыл его старший коллега Д. Дж. Хогарт[31], а из Ирака (который тогда на официальном жаргоне назывался «Месопотамией»[32]) прибыли Гертруда Белл[33] и Арнольд Уилсон[34]. Хогарт был видным археологом из поколения, предшествовавшего поколению Лоуренса. Гертруда Белл была королевой. Составьте собирательный портрет из Зенобии[35], Аиши[36] и Хестер Стэнхоуп[37] и вы получите о ней представление. Арнольд Уилсон был королем — нет, точнее, диктатором, можно сказать, почти тираном. Он тогда царствовал над Месопотамией в качестве гражданского администратора, назначенного Министерством по делам Индии. Смею догадываться, что, с точки зрения сэра Артура Хиртцеля, миссия Арнольда Уилсона состояла в том, чтобы содержать в порядке это бывшее Оттоманское владение для дальнейшего превращения его в

дополнительную провинцию Британской Индийской империи. Однако у Арнольда Уилсона, без сомнения, имелись собственные представления относительно его задач.

Мы с Хогартом были людьми академического мира и не могли тягаться с той могущественной троицей; так что мы просто сидели и наблюдали за ними. При первой встрече они взъярились друг на друга, как группа львов, запертых в одном подвале. Самый просторный пакгауз был бы недостаточно вместителен для их совместного существования. Чтобы адекватно выразить свои самобытные индивидуальности, каждому из них понадобилось бы иметь в своем распоряжении весь Средний Восток целиком.

Да, то было зрелище, внушающее благоговейный ужас, — видеть, как рутина мирной конференции постепенно сламывает надменный дух этой тройки львов. Каждый из них, подобно евангельскому сотнику[38], в своем ближневосточном регионе имел власть направлять дела так, как им хочется. Когда они в своих владениях велели какому-то человеку приблизиться — тот приближался, велели другому идти прочь — он шел прочь; велели третьему сделать то-то и то-то — он это делал. Они вообразили, что и в Париже будут иметь возможность вести дела в такой же эффектной и эффективной манере. Слабаки из континентальной Европы и Америки могут потерпеть провал, но британец с Ближнего Востока решит все стоящие перед ним задачи. Так они это себе представляли. Но, конечно же, как и любой участник любой мирной конференции, британцы с Ближнего Востока были разочарованы ходом событий в Париже 1919 г. Они яростно сражались с судьбой, но, дюйм за дюймом, все глубже погружались в топкую трясину ситуации, пока не увязли так же глубоко, как и все мы, остальные. Они начали как соперники, а закончили как товарищи по несчастью.

Один из козырных ходов в салонной игре под названием «Развенчание Лоуренса» — подвергнуть полковника критике за превращение его в «рядового авиации Шоу»[39]. Тут Лоуренсу инкриминировали как расстройство сознания, так и, напротив, расчетливый эксгибиционизм. Это верно, что если бы Лоуренс держал у себя на службе имиджмейкера с Мэдисон-авеню и если бы у агента родилась эта идея с изменением имени, то был бы красивый ход в профессиональной карьере этого специалиста. К примеру, с точки зрения издателей Лоуренса, могло ли что-нибудь продаваться лучше, чем магическое имя «Т. Э. Лоуренс» на титульном листе? Впрочем, кое-что бы могло — имя Шоу, набранное под именем Т. Э. Лоуренс, в кавычках и скобках. Был ли это со стороны Лоуренса намеренный, рассчитанный на публику трюк? Лоуренс продемонстрировал свое умение создавать себе паблисити ради того, чтобы отстаивать дело арабов в Париже. Опустился ли он до того, что стал создавать

себе славу ради самого себя? Если да, то, полагаю, бессознательно. Что же, выходит, это вопрос бессознательного эксгибиционизма? Последнее обвинение было бы трудно оспорить; ибо, по определению, бессознательные мотивы человеком не осознаются — до тех пор, пока не будут вытянуты на поверхность сознания психоаналитиком. Это обвинение, насколько я знаю, не доказано; но сама природа этого обвинения делает почти невозможным его опровержение. Я удовлетворяюсь тем, чтобы оставить все как есть. Эта версия может служить одним из объяснений смены Лоуренсом имени и занятий. Но если так, это, как мне кажется, лишь одно объяснение из нескольких, причем второстепенное. Я могу придумать три других объяснения — взаимно сочетаемых и, на мой взгляд, более убедительных и проливающих больше света.

Что следует принять во внимание в последней фазе этой безвременно оборвавшейся жизни — так это неспособность Лоуренса после окончания Первой мировой войны вернуться к мирной жизни в одной из тех сфер деятельности, которые были бы для него естественны в силу образования и воспитания. После войны Лоуренс был избран членом Ученого совета колледжа Поминовения, одновременно ему был предложен высокий пост в Департаменте Ближнего Востока, только что учрежденном в Министерстве по делам колоний с целью контроля за исполнением мандатов для Ирака и Палестины, который был возложен на Великобританию в соответствии с мирным соглашением 1919 г.[40]. Лоуренс был одновременно и солдатом, и ученым. Теперь ему предлагалось особенно привлекательное положение в каждой из этих областей деятельности; и если бы он в своей послевоенной карьере связал себя одним из этих направлений, то мог бы по-прежнему сохранить опору и в другой области. Почему он покинул Оксфорд и отказался войти в Уайтхолл? В колледже Поминовения Лоуренс нашел, в лице Лайонела Кертиса, родственную душу, человека, который понимал его и ценил. Кертис хорошо относился к Лоуренсу; и если кто-то мог помочь Лоуренсу прочно занять в академическом мире то заметное положение, которое сулило ему членство в колледже Поминовения, то этим человеком должен был бы стать именно Лайонел. Однако Лайонел в этом не преуспел. Почему?

Одной из причин является, конечно, общеизвестное разлагающее действие действительной военной службы. Нетрудно забрить штатских людей в армию в военное время; трудно вернуть их обратно в гражданскую жизнь после того, как война окончена. Этот побочный результат войны есть одно из самых страшных зол среди приносимых войной бед. К примеру, история последнего нестабильного века Римского государства в эпоху республики, — это, по существу, рассказ о крестьянах, призванных на военную службу, которые

так и не смогли заново успешно влиться в сельскую жизнь, из которой были с корнем вырваны[41]. Трудность приспособления к мирной жизни была, до некоторой степени, испытана, помимо Лоуренса, каждым вторым солдатом из миллионов, воевавших на той или другой стороне. В той мере, в какой Лоуренс страдал от трудностей перехода от военной жизни к мирной, ему выпал общий удел, и тут нет никакой загадки.

Лоуренс, однако, не был обычным солдатом. Он был солдатом, который своими личными подвигами добился исключительной славы, и этого пика известности и признания он достиг в молодом возрасте. В Первой мировой войне, когда боевые действия представляли собой преимущественно окопную войну, яркие личные подвиги были редки; и их редкость делала славу этих героев еще ярче. «Воздушные асы» завоевали столь высокую известность, потому что их было немного, но, по крайней мере, они были во множественном числе, тогда как Лоуренс в ту войну был единственным знаменитым партизанским вождем. Быть единственным означает быть одиночкой, а единоличную славу трудно выносить. Во Второй мировой войне было, пожалуй, уже столько партизанских вождей, сколько воздушных асов в Первую мировую. (Эта, вторая, война была, преимущественно, войной движения, а движение трехмерно: партизанские вожди сбрасывались на поля сражений на парашютах.) Я знаком с двумя партизанскими командирами, которые во Вторую мировую войну прославились, подобно Лоуренсу. Один из них сумел влиться в мирную жизнь, приняв (и уйдя в нее с головой) работу того же рода, которая была предложена после Первой мировой войны Лоуренсу. Послевоенная судьба другого партизанского вожака Второй мировой войны, которого я знаю, больше похожа на судьбу Лоуренса; однако кто знает — возможно, и он в конце концов успешно впишется в мирную жизнь, как первый его собрат? Прежде всего, тут требуется некоторое время, а у Лоуренса времени не было. Жизнь полковника безвременно оборвал несчастный случай[42].

Лоуренс и его двойники времен Второй мировой войны, которых я привел для сравнения, были вынуждены бороться с одной и той же трудностью. Все они достигли пика своих достижений в раннем возрасте; и эта вершина была так высока, а обстоятельства взлета столь необычны, что можно было с полным основанием сомневаться, выпадет ли им еще когда-нибудь (как бы долго они не прожили) возможность достичь сопоставимого по величине успеха. Психологическая проблема, связанная с необходимостью до конца дней жить с памятью об ослепительном раннем успехе, конечно, не является феноменом именно послевоенного времени. В мирное время та же проблема возникает у человека, который в ранней юности достиг ярких успехов, например, в качестве капитана школьной

или университетской спортивной команды. Если ему не удастся потом перещеголять эти юношеские достижения взрослыми достижениями сопоставимой величины и исключительности, он тоже, как знаменитый молодой «ас» или командир партизанского отряда, рискует попасть в положение человека, постоянно оглядывающегося назад. Он может на всю жизнь стать пленником своей ностальгии, ностальгии по прошлому, и это прошлое, поработив его, будет мешать ему жить в настоящем, обратившись лицом в будущее. Лоуренсу, конечно, сильно досаждала эта проблема; а если так — это будет еще одним объяснением того, что после войны он не мог найти себе места.

Итак, война лишила человека прежних корней и дала ему ранний успех. Достаточно ли двух этих жизненных переживаний, чтобы объяснить отречение Лоуренса от собственной личности? Что подвигло его спрятать свою популярность под псевдобезвестностью «рядового авиации Шоу»? Не было ли это бегство от реальности ребячеством, шальной выходкой? И могла ли эта выходка быть поступком умственно нормального человека? Что ж, если под словом «человек» подразумевать «западного человека двадцатого столетия», то умственная ненормальность может послужить дополнительным объяснением этого поступка. Но такое понимание слова «человек» произвольно, и его узость может завести на ложный путь. Альтернативная возможность такова, что, напротив, традиционное, общепринятое мировоззрение современного западного человека является ненормальным и что в своем стремлении превратиться в «рядового авиации Шоу» Лоуренс повел себя нормальным человеческим образом.

Я сформулирую свою позицию так: если бы можно было какого-нибудь средневекового западного человека поднять из мертвых и попросить высказать свое мнение, была ли попытка Лоуренса удалиться от мира нормальной или нет — я уверен, он бы, не задумываясь, заявил, что то был естественный поступок для человека, прошедшего через подобный жизненный опыт. Без сомнения, мой воображаемый средневековый арбитр отметил бы, что нынешний Западный мир — неподходящая среда для практики ухода от мира, но в этих неблагоприятных условиях принятие Лоуренсом неизвестного имени было ближайшей доступной ему заменой отшельничества. Сам я убежден: это объяснение попадает в цель. И оно также идет дальше, чем обе мои прежние попытки объяснить поступок Лоуренса.

Что такое отшельник, анахорет? Это греческое слово обозначает человека, удалившегося от мира, с тем чтобы искупить какой-то свой грех (реальный или воображаемый), и добровольно наложившего на себя епитимью. Воображаемый грех, без сомненья, способен погнать человеческую душу в пустыню со столь же непреодолимой силой, как и грех реальный, — если душа убеждена в реаль-

ности греха. Чувствовал ли Лоуренс, удаляясь от мира — таким вот, свойственным XX веку, способом, — что на его совести серьезный грех? У меня впечатление (это не более чем впечатление), что он ощущал нечто подобное. Когда война и последующее мирное урегулирование остались позади, он взглянул на перечень своих заслуг в качестве посредника между правительством своей страны и арабами, с которыми он вел дела.

Я воображаю, что совесть Лоуренса упрекала его за то, что он, от имени правительства Великобритании, пообещал арабам независимость, которой, в конечном счете, они так и не получили. Будь это обвинение адресовано не самому Лоуренсу, а его патронам, в этом был бы некоторый смысл. Это верно, что британские власти давали территориальные обещания в своей переписке с королем Хусейном перед его восстанием против турецких властителей. Британское обязательство перед королем Хусейном признать и поддержать независимость арабов в пределах определенных территориальных границ отчетливо исключало территорию к западу от «вилайетов Алеппо, Хама, Хомс и Дамаск» (каким бы сомнительным и неясным образом это ни формулировалось)[43]. Но эта полоска территории была мала в сравнении с арабской территорией к востоку от этой линии, которая тоже была под Оттоманским суверенитетом или сюзеренитетом[44]. Что касается этой гораздо более обширной арабской территории, британское обязательство было не ограничено условиями. Британские власти не сказали королю Хусейну — а, стало быть, он не мог об этом знать, — что, согласно более поздней договоренности с Францией, они собирались интерпретировать «независимость» для арабов так, чтобы это означало замену турецкого господства на британское и французское.

Если Лоуренс был осведомлен об этом англо-французском надувательстве арабов (а это было равнозначно именно надувательству), тогда он был их сообщником в мошенничестве; если не был осведомлен, тогда он оказался такой же жертвой, как и арабы. И та, и другая возможность остаются открытыми, за неимением убедительных доказательств противного; у меня тоже нет доказательств на этот счет. Я не могу с уверенностью сказать, было ли чувство вины Лоуренса оправдано или нет. Моя догадка такова, что оно не было оправдано. Но я также предполагаю, что — обоснованно или нет — Лоуренс чувствовал за собой вину и что это объясняет его отказ от привлекательных и подходящих ему должностей в мире государственного управления и в ученом мире, которые были к его услугам в послевоенные годы.

Я убежден, что Лоуренс не мог заставить себя извлечь личную выгоду из своей военной карьеры, которая закончилась предательством его арабских товарищей в той области, в какой он и добился

славы. Это было бы невыносимо для него, если он знал, что был инструментом, пусть даже невольным, в совершении преступного англо-французского сговора против арабов. Приняв на себя роль «рядового авиации Шоу», Лоуренс подчинился своей совести и отторг себя от всех личных выгод, связанных с военными заслугами. Арабы остались с пустыми руками — тогда он последует их примеру. Я предлагаю такое воссоздание мотивов поступка Лоуренса, хотя и не в силах доказать, что оно верно. Но, если согласиться, что оно похоже на правду, тогда окажется, что поведение Лоуренса не есть свидетельство умственной аномалии. Согласно этой гипотезе, он поступил так, как поступило бы в этой ситуации большинство людей, в большинстве эпох и мест — за исключением, пожалуй, Западного мира XX столетия.

Не все анахореты прошлого после удаления от мира шли одним и тем же курсом. Одни оставались в уединении до конца дней. Другие переживали в пустыне свое духовное возрождение, которое, в конечном счете, приводило их обратно в мир для выполнения новой задачи, с обновленными силами для ее выполнения. К которому из этих двух видов принадлежал бы Лоуренс? Мы не знаем. Духовное возрождение, ведущее к возвращению в мир, требует времени для того, чтобы кающийся дух отшельника воскрес и вошел в новое русло. А в этом даре целительного времени Лоуренсу было отказано.



15. ПРОФЕССОР У. Л. ВЕСТЕРМАН[1]

«Вон там моему прапрадедушке отрубили голову», — сказал профессор Вестерман. Он указывал в одно из окон отеля «Мёрис», выходивших на Пляс де Конкорд[2]. В «Мёрис» разместилась американская делегация, прибывшая на Парижскую мирную конференцию 1919 г. Уилл Вестерман был главой турецкой секции делегации, и он пригласил меня к себе на ленч для знакомства, потому что я был персоной № 2 в соответствующей секции британской делегации. (Моим коллегой был человек примерно моих лет, постоянный сотрудник дипломатической службы Эрик Форбс-Адам[3], а нашим шефом был сэр Луис Маллет[4], посол Великобритании в Стамбуле во времена, когда Турция вступила в Первую мировую войну на стороне Германии.)

Первое, что мы с Уиллом узнали друг о друге, — это то, что оба мы подошли к теме современной Турции из одного и того же исходного пункта. Прежде, чем временно стать государственными служащими, мы оба профессионально занимались историей Древней Греции и Рима. Уилл был профессором папирологии[5] в Висконсинском университете; я был тьютором[6] древней истории в Оксфорде. Общее наше касательство к минувшей истории Леванта сообщило нам обоим дополнительный интерес к текущим левантийским проблемам (делам); и именно профессиональные знания — возможно, довольно скромные — привели меня во время войны в Отдел политической разведки Министерства иностранных дел, а Уилла — в Inquiry — исследовательскую организацию, учрежденную вашингтонской администрацией с целью подготовки американского участия в конференции.

Любопытные семейные связи моего американского коллеги с Пляс де Конкорд, естественно, возбудили мое любопытство. Поэтому Уилл рассказал мне историю своей семьи. Его несчастный предок, выходец из Эльзаса, был французским генералом в революционной армии, который не слишком преуспел на поле брани и поплатился за свою неудачу тем, что был гильотинирован на том самом месте, которое Уилл показал мне из окна[7]. Семья Вестерманов после этого переехала в Баден, потеряла былое положение в обществе, снова эмигрировала, на сей раз в Соединенные Штаты, и обосновалась в Висконсине. В поколении Уилла дела семьи снова пошли в гору.

Нашей дружбе с Уиллом, завязавшейся в Париже в 1919 г., суждено было продолжаться всю жизнь, и благодаря ей мы многое узнали о странах друг друга. Я, например, узнал о том, как Уилл, живя в американском штате Висконсин и будучи еще ребенком, страстно мечтал быть просто американским мальчиком, а не американским мальчиком немецкого происхождения. Тем не менее это

происхождение не стало препятствием его карьере, и к тому времени, как мы познакомились, он уже давно и по достоинству оценил ценность своего немецкого происхождения. Я уверен, что оно представляло в его глазах важное качество. Его семья могла временно скатиться вниз по социальной лестнице, но ее члены, вероятно, сберегли свои переходящие из поколения в поколение немецкие интеллектуальные традиции, поскольку таковые, определенно, были унаследованы Уиллом. В Уилле Вестермане, как и в другом знаменитом моем американском друге, Рейнхольде Нибуре[8], американские и германские интеллектуальные традиции переплелись, дав счастливые результаты. Немецкая интеллектуальная основательность была уравновешена американской открытостью ума, которая, временами вскипая, могла переливаться в благотворную непочтительность. Мощные умы и обширная эрудиция Уилла и Рейнгольда в их родной, немецкой обстановке могли бы производить впечатление напыщенности и высокопарности, но, будучи пересажены на американскую почву, оказались оживлены веселым огоньком в глазах, свидетельствовавшим, что данный ученый муж был, в первую очередь и преимущественно, просто человеком.

Уилл Вестерман обладал безудержным чувством юмора, которое проявилось в связи с одним случаем, когда он по своей вине угодил в тот же переплет, что и я. Наш связанный с задачами военного времени интерес к проблемам современной Турции произвел на нас обоих один и тот же эффект. Он заставил нас смотреть на турок не абстрактно, как на племя ужасных чудовищ, а как на людей, наделенных теми же, что и мы, человеческими страстями, и которые не лишались своих человеческих качеств из-за того, что некоторые из них были повинны в таких преступлениях, в коих большинство из нас замешаны не были. Во время греко-турецкой войны, последовавшей за Первой мировой, когда греки вторглись в Анатолию и турецкое движение сопротивления превратилось в жгучий вопрос, мы оба оказались участниками разгоревшейся полемики по этому поводу. Позиция каждого из нас была такова, что турки являются людьми и наделены всеми человеческими правами и что, следовательно, имеют такое же неотъемлемое право на правосудие и на то, чтобы с ними играли по правилам. Эта позиция поставила каждого из нас перед стеной традиционного «христианского» предубеждения против инаковерующих: «евреев, турок и язычников», за которых Епископальная протестантская церковь[9] возносит раз в год, в Страстную пятницу специальную молитву согласно требнику. На этом предубеждении сыграли — как в США, так и в Великобритании — члены местных греческих диаспор, которые, также будучи всего только людьми, испытали побуждение отстаивать правоту своей исторической родины любой ценой.

Греческая диаспора в Соединенных Штатах многочисленнее, чем в Великобритании, и, соответственно голос ее, в развернувшейся общественной полемике по греко-турецкому вопросу, звучал там громче. На одном из собраний, где Уилл был докладчиком, его речь была прервана присутствовавшими в зале американскими греками. «Тебя подкупили турки! — кричали они. — Ни один честный человек не станет защищать турок так, как это делаешь ты». Дождавшись паузы в этом гвалте, Уилл ответил ровным, спокойным голосом, но с широкой улыбкой: «Ну, разумеется. Вспомните, пожалуйста, как мало получает преподаватель. Мы, преподаватели, тоже должны жить, не правда ли?» Шутка Уилла охладила пыл аудитории; благодаря его остроумному *reductio ad absurdum*[10] этих сумасбродных обвинений воинственно настроенные крикуны зачехлили ружья.

Пока мирная конференция 1919 г. была еще в своей начальной стадии, я узнавал от Уилла не только о нем самом, но также об американском образе жизни. Одно открытие, которое особенно удивило меня, состояло в том, что в социальном плане американская бюрократия была более иерархична, чем в Великобритании. Вскоре после ленча с Уиллом в отеле «Мёрис» мы с ним сидели за ленчем уже в отеле «Мажестик», где размещалась британская делегация. Посреди разговора Уилл остановился, чтобы указать в дальний конец обеденной залы, и сказал мне: «Поглядите, вон тот человек очень похож на мистера Бальфура». — «Так это и есть мистер Бальфур», — ответил я. «Что? Руководители вашей делегации едят в том же помещении, что и вы? О, наши никогда бы не пошли на такое!»

Дальше Уилл стал рассказывать, что он и остальные члены американской делегации приехали из Америки во Францию на пароходе «Джордж Вашингтон», на борту которого ехал также президент Вильсон. Делегаты говорили друг другу: «Как это президент здорово придумал — устроил так, чтобы провести неделю на море вместе с нами. Прежде, чем мы достигнем суши, он успеет познакомиться с нами лично и рассказать нам что-нибудь о своей политике — так, чтобы мы могли знать, какой линии придерживаться, когда настанет время вести переговоры с представителями французской, британской и итальянской сторон». Это их ожидание, конечно же, было вполне естественным, но они оказались разочарованы. С начало и до конца путешествия президент пребывал безвылазно в своих отдельных апартаментах, не видя никого и не показываясь никому из личного состава своей делегации. Это поставило их в тупик и заставило почувствовать себя неуютно, да и неудивительно. Товарищи президента по путешествию на «Джордже Вашингтоне» предположительно должны были быть его рабочими органами — его глазами, ушами и руками. Тем не менее президенту, судя по всему, не пришло в голову, что ни он, ни они не

смогут выполнять свою работу эффективно, если он не возьмет на себя инициативу установления с ними человеческих отношений. Он вынуждал их работать под своим началом, но без своего руководства, оставляя вневедении.

Эта пропасть между старшими членами американской делегации и их подчиненными так и не была преодолена, и одним из неприятных последствий этого стал отказ Уилла Вестермана от своей должности еще до окончания мирной конференции. Это случилось уже после того, как я уехал из Парижа, так что услышал об этом лишь позже, когда сам Уилл рассказал мне об этом. Согласно инструкции своего непосредственного начальника, Уилл в том комитете, где он работал, занимал позицию, противоположную представителю одной из других делегаций. (Я забыл какой именно и не думаю, что он рассказывал даже, какой пункт обсуждался.) Но както раз Уилла вызвали в кабинет его начальника. Он обнаружил там представителя иностранной делегации, которому, согласно полученным инструкциям, оппонировал в комитете, и его руководитель, в присутствии этого иностранца, объявил ему, что директивы поменялись на противоположные и что Уиллу впредь надлежит отстаивать ту самую линию, что и этот иностранный представитель. Уилл только сейчас впервые услышал о смене политического курса своего руководства, да еще при таких обстоятельствах. Подчиниться при таких обстоятельствах — это оказалось для Уилла уж слишком. Такое трудно было бы стерпеть и человеку менее независимому в мыслях и менее инициативному, чем Уилл.

Я сам уловил душок иерархической атмосферы в американской делегации, когда однажды мне пришлось доставлять какие-то бумаги в тот дом в Париже, где жил президент Вильсон. Дом принадлежал богатому французу; богатство обстановки доходило почти до курьеза; и имущество владельца ревниво оберегалось штатом прислуги, остававшейся на своих должностях и, как показало дальнейшее, наделенной полным правом командовать. Не успели мы ступить на порог, как мажордом негодующе указал на масляное пятно на дорогом ковре и обвинил каждого из нас по очереди в том, что это мы его оставили. Нам пришлось доказывать свою невиновность, показывая, что на подошвах наших туфель не было масла. То была удивительная и приводящая в замешательство манера принимать посетителей.

Пожалуй, управленческая система всегда и везде неизбежно является иерархической, но этот общий дух может выражаться в разных формах, и я обнаружил, что различия между американской и британской формами его выражения весьма любопытны в плане высвечивания ими национальных манер и обычаев.

В американской государственной службе времен войны иерархия чинов и званий особо подчеркивалась, чему свидетельством опыт

Уилла Вестермана. С другой стороны, американские чиновники, находящиеся на постоянной государственной службе, как мне показалось, не проводили того жесткого кастового различия между собой и своими вре́менными коллегами — непрофессионалами, с каким я сталкивался в соответствующем британском цехе.

В 1918 г. я работал в Отделе политической разведки МИДа, где областью моих исследований был Ближний и Средний Восток. За шесть недель до Дня перемирия 11 ноября 1918 г.[11] я получил следующие директивы: «Прикажите канцелярии прислать вам все бумаги, имеющие отношение к договоренностям, которые заключило правительство Его Величества за время войны в отношении Ближнего и Среднего Востока; доложите, в чем состоят эти соглашения и дайте свое заключение относительно того, сообразуются ли они друг с другом». На моем столе появились горы «дел»; мне никогда с тех пор не приходилось работать с таким отчаянным напряжением, стараясь успеть к сроку; ибо, хотя мы не могли предсказать даты наступления мира, но прекрасно знали, что военные действия приближаются к своему естественному концу.

Чтобы справиться с моей напряженной и многотрудной задачей (достойной Психеи), я теперь работал примерно по десять часов в день и по семь дней в неделю. Ранним воскресным утром, едва я снова засел сражаться с этими кипами «дел», количество которых от моей деятельности, похоже, ничуть не уменьшалось, как у меня на столе зазвонил телефон. Это был звонок внешний, и он был адресован именно мне, потому что в тот момент я был единственным служащим старшего звена (даже из числа вре́менных сотрудников), кто находился на работе. «Это Министерство иностранных дел? С вами говорят из агентства «Рейтер», — услышал я дрожавший от возбуждения голос. — Канцлер Германии принца Макс Баденский только что произнес речь; он сказал то-то и то-то; это означает окончание войны[12]; у нас есть полный текст». Мой голос, когда я заговорил, теперь тоже дрожал. «Пожалуйста, прошу вас, доставьте сюда текст как можно скорее. Я здесь всего лишь на временной службе, но я передам первому же пришедшему постоянному служащему все, что вы только что сказали, и сообщу также, что вы на подходе». Я положил трубку, позвонил привратнику, чтобы попросить его перезвонить мне, когда появится кто-то из постоянных служащих, затем вернулся к своей работе — насколько мог на ней сосредоточиться.

Вскоре телефон зазвонил снова. Только что пришли двое шифровальщиков, и привратник соединил меня с ними. Я принялся рассказывать им историю с тем же волнением, что и прежде. «Позвонили из «Рейтер»; принц Макс Баденский выступил с заявлением; он сказал то-то и то-то; это означает окончание войны; я попросил их принести текст сюда». Моя возбужденная речь была прервана

ледяным голосом. «Не хотите ли вы сказать, что пригласили прессу в Министерство иностранных дел?» И вот таким-то образом новость об окончании Первой мировой войны была встречена первыми двумя постоянными служащими МИДа, ее услышавшими.

Я полагаю, что их чувства все же были хоть немного затронуты волнующей новостью. Если их радость хоть слегка приближалась к той, которой были охвачены сотрудники «Рейтер» и я, значит, их самоконтроль был поистине героическим. Примерно, как у того спартанского мальчика, который, чтобы не выдать своего присутствия, предпочел позволить спрятанному у него под рубашкой лисенку выесть его внутренности, наружно ничем не выдавая своих мучений[13]. Прежде, чем позволить себе представить, что война подходит к концу, этим двум шифровальщикам требовалось выполнить задачу первостепенной важности. Они были обязаны подвергнуть суровой критике своего временного коллегу за вопиющее и типично дилетантское нарушение правил этикета Министерства иностранных дел. Если я нарушил правила по незнанию, то моя неотесанность уже в достаточной степени заслуживала порицания; если же я знал правила и проигнорировал их, то мой проступок, по своей чудовищности, просто не имел названия. Когда прибыл представитель «Рейтер», я робко просунул голову в дверь к шифровальщикам, чтобы возвестить его приход. Но они не пожелали его видеть. Мне пришлось встретить его в коридоре и затем сообщить им — после его ухода, — что он сказал. «Эти солдаты были когда-то людьми», — сказал ребенок, возвещая об этом невероятном открытии своим родителям, как гласит рассказанный Толстым анекдот. Чуть позже, в то же октябрьское утро 1918 г., появились сэр Эйр Кроу и сэр Уильям Тиррел[14]. Эти два чиновника высокого ранга занимали достаточно высокое положение, чтобы позволить себе нарушить свои собственные правила. Они протелефонировали в «Рейтер» и попросили, чтобы представитель агентства зашел еще раз со своим документом; и приняли его уже самолично, на сей раз не в коридоре, а в собственном кабинете сэра Эйра Кроу.

Если бы я был на американской вре́менной государственной службе и сделал то же самое в Вашингтоне, я подозреваю, что получил бы похвалу за усердие вместо выговора за нарушение этикета. Я не могу поверить, что американский государственный служащий подавил бы свой естественный человеческий интерес к такой первостепенно важной новости ради того, чтобы указать своему вре́менному коллеге его место.

С другой стороны, я подозреваю, что «вне службы» те двое министерских шифровальщиков отнеслись бы даже к младшему и временному клерку МИДа как к равному себе. На эту мысль меня наводит то, как вели себя их весьма высокопоставленные начальники.

Мистер Бальфур вкушал пищу в столовой зале отеля «Мажестик», окруженный менее выдающимися членами британской делегации, и делал это как нечто само собой разумеющееся; а временный помощник министра иностранных дел сэр Эйр Кроу однажды помог мне почувствовать себя непринужденно — в тот раз, когда мне пришлось впервые встретиться с ним лично, чтобы представить ему на рассмотрение наброски каких-то документов; при этом он велел мне, ворчливо, но ободряюще обращаться к нему «Кроу», а не «сэр Эйр».

В отеле «Мажестик» в 1919 г. имелось одно оскорбляющее своей несправедливостью разграничение, которое не было ни социальным, ни иерархическим. Оно было международного свойства. Члены делегации Соединенного Королевства должны были платить за свои напитки. Даже самому мистеру Бальфуру пришлось бы платить за них, если бы только он когда-нибудь дошел до такой вульгарности, как заказать себе выпивку. В то же время напитки, заказываемые членами делегаций британских доминионов, были бесплатными — так сказать, «за счет заведения»; «заведением» же было Казначейство Соединенного Королевства. То была обида, которая заставляла постоянных и временных клерков МИДа чувствовать свое родство как налогоплательщиков Соединенного Королевства. Киплинг пропел нам: «*If blood be the price of admiralty, Lord God? We have paid in full*» (Если цена адмиралтейства — кровь, Великий Боже, мы заплатили сполна). Ладно, кровь. Это бы еще ничего. Но если выпивка была ценой империи, эта дополнительная пеня была последней каплей. То был намек, что роль «метрополии» становится уже непосильной роскошью — той ношей, которую нашей тяжко нагруженной стране, возможно, вскоре придется сбросить.

Хотя я покинул Париж раньше Уилла, у нас было достаточно времени в ходе работы мирной конференции, чтобы часто видеться друг с другом и подружиться. С того времени и впредь мы поддерживали отношения, переписываясь; но лично встретиться нам не доводилось вплоть до 1925 г., когда я впервые приехал в США. К тому времени Уилл сменил свою кафедру в Висконсинском университете на кафедру в Колумбийском университете в Нью-Йорке, которую и продолжал занимать, пока не достиг пенсионного возраста. Когда он услышал от меня, что я собираюсь пробыть в Нью-Йорке несколько дней, по пути в Уильямстаун, штат Массачусетс, он с типично американским гостеприимством пригласил меня, от своего имени и своей жены, погостить у них в доме и сказал, что встретит меня на пристани.

Когда резвые буксиры подогнали корабль к пристани, и я увидел стоящие там и машущие мне две фигуры, Уилла и его брата, то вдвойне обрадовался. Мне снова предстояло увидеть своего старого друга и под его попечительством свести свое первое знакомство с

Нью-Йорком. Стоял воскресный августовский день; и мне показалось, что я не мог выбрать более тихого и спокойного момента для своей первой встречи с этим громадным, ошеломляющим по размаху, городом. Однако еще прежде, чем мы пристали, масштаб зданий и рев уличного движения нагнал на меня трепет. Братья Вестерманы «обкатали» меня, совершив тур по городу и закончив его в Бронксе, где угостили меня мятным джулепом[15]. Еще до темноты я имел в голове предварительный эскиз Нью-Йорка, который потом мог уже дополнять самостоятельно.

Составление эскиза было тем предметом, который составлял профессию брата Уилла. Позже Уилл рассказал мне, в чем состоял бизнес брата. Он говорил об этом в несколько защитительном тоне, но не из снобизма. Уилл был истинным американцем в том смысле, что не имел и следов этого качества, однако он все еще был в достаточной степени немцем, чтобы полагать, что неумственный труд недостоин образованного человека.

Профессия Уиллова брата была мне ранее неизвестна. В 1925 г. эра автомобилей в Соединенных Штатах еще только начиналась, и примерно половина населения все еще проживала тогда на фермах или в маленьких провинциальных городках. Диапазон передвижения американцев в сельской местности был узок. Психологически люди продолжали жить в веке лошадей и повозок. Для них были недосягаемы крупные универсальные магазины, в которых можно было бы лично осмотреть разнообразные модели и фасоны изделий, которые им хотелось бы купить. Эта проблема «шопинга» сельской Америки была решена в масштабах страны с помощью торговых предприятий, осуществлявших прием и отправку заказов по почте. Для того, чтобы делать свой бизнес, эти предприятия выпускали громадные иллюстрированные каталоги. Иллюстрации были столь подробные и тщательно выполненные, что являлись вполне подходящей заменой непосредственного взгляда на предметы, имевшиеся в наличие у фирм «товары — почтой». В этом бизнесе привлекательность, равно как и точность, каталожных иллюстраций и составляла всю важность, и именно в этом бизнесе брат Уилла обнаружил свое призвание. Он создал концерн для обеспечения фирм «товары — почтой» необходимыми им иллюстрациями, и это его прибыльное нововведение было призвано довести разделение труда до беспрецедентных масштабов. Он держал штат рисовальщиков, которые являлись суперспециалистами своего дела. Один вырисовывал изгиб женской ноги в чулке, другой — голень; один рисовал юбочные фалды, другой — талию; а самый высококвалифицированный рисовальщик собирал воедино эти стандартизированные части, подобно тому как аналогичные специалисты на заводах Генри Форда учились собирать воедино стандартизированные детали авто.

Описание Уиллом того, как его брат зарабатывает на жизнь, поразило мое воображение. То было специфическое американское ремесло, прежде мне совершенно неизвестное, и связанная с ним организация дела показалась мне столь же интеллектуальной, на свой собственный лад, сколь и расшифровывание Уиллом папирусов или мое греческое стихосложение. Уилл не оспаривал интеллект своего брата; он просто сокрушался, что тот вложил его в столь неинтеллектуальную, хотя и выгодную сферу.

Сам Уилл остался предан папирологии, и в ней он разработал свое собственное особое направление. Папирусы очень многое добавили к нашим знаниям об институциональных аспектах греческого и римского рабовладения, и Уилл Вестерман делит с Йозефом Фогтом[16] из Тюбингена славу двух ведущих авторитетов своего поколения в этой области. Уиллу посчастливилось прожить достаточно долго, чтобы завершить написание своего собственного всеобъемлющего, итогового труда по данному предмету. Он не успел добавить к своему произведению завершающие мазки и увидеть его опубликованным, но что с того? Ученый пишет не для себя, а для читателей.



16. ЧАРЛЬЗ Р. КРЕЙН[1]

Подобно моей дружбе с Уиллом Вестерманом, мое знакомство с Чарльзом Р. Крейном явилось побочным счастливым результатом в целом малопродуктивной мирной конференции. Я познакомился с мистером Крейном также в Париже в 1919 г.

Мирная конференция зашла в тупик в своих дискуссиях по поводу Сирии. Она не сумела разрешить конфликт между франко-британскими обещаниями арабам и французскими притязаниями. В надежде добиться прогресса на переговорах и, возможно, также выяснить правду касательно относящихся к делу фактов американская делегация предложила направить в Сирию совместную франко-англо-американскую комиссию по расследованию, которая прислала бы оттуда отчет в Париж. Французы согласились неохотно, англичане — тоже без энтузиазма. Тем не менее они согласились; таким образом, механизм был запущен, и я был назначен секретарем британской секции комиссии, главой которой стал сэр Генри Макмахон[2]. Моим коллегой с американской стороны был профессор Лайбьер[3] из Иллинойского университета, и как-то раз, в Париже, он представил меня двум совместным главам американской секции, президенту Кингу[4] и мистеру Чарльзу Р. Крейну.

Президент Кинг был президентом колледжа и являл собой типичный образчик своей профессии, как я имел возможность оценить впоследствии, посетив ряд американских колледжей и университетов. Не подлежит сомнению, что президент Кинг полностью соответствовал своему нынешнему назначению; но также не подлежит сомнению, что он не представлял собой ничего исключительного и своеобразного. Не то — мистер Крейн; его уникальность бросалась в глаза с первого взгляда. Он был похож на попугая, и, судя по комичному выражению его лица, казалось, размышлял, не приходит ли в голову человеческим особям, которые, возможно, подсмеиваются над ним, что он находит их самих гораздо более смешными. Мне представилось, что из него получился бы первоклассный придворный шут — доведись ему жить прежде, чем эта профессия ловкача и проныры вышла из моды. Простодушие его облика и манер вполне могло быть маской, под которой скрывались проницательность и практичность.

Первые мои впечатления подтвердились при дальнейшем знакомстве, и они же подкреплялись легендой о том, что произошло между Чарльзом Р. Крейном и его братом, когда они совместно унаследовали семейное предприятие Крейнов. Рассказывают, что Чарльз Р. спросил у своего брата, какой величины долю семейного состояния тот готов ему уступить, если он, Чарльз Р., откажется от своего законного права действующего компаньона в бизнесе, составившем

семейное состояние. История гласит, что брат, который был прирожденным бизнесменом, немедленно назвал очень большую сумму (семейное состояние было велико), и на этих условиях сделка состоялась. Полученной в ее результате суммы хватило, чтобы мой знакомый мог пуститься в жизненное плаванье в качестве свободного миллионера, без определенных занятий. Мотивом, подвигнувшим брата откупиться от Чарльза Р., заплатив столь высокую цену, было отнюдь не сомнение в способностях Чарльза Р. В чем его брат сомневался — так это в том, куда именно направит Чарльз Р. семейный бизнес, имея свободу действий. Чарльз Р. Крейн мог бы превратить бизнес Крейнов в аферу, но отнюдь не в доходном смысле. Для него бизнес мог бы стать инструментом для удовлетворения своего интеллектуального любопытства, для проведения с ним интересных, но, скорее всего, губительных экспериментов. Обоих братьев заключенная сделка полностью устраивала. Чарльз Р. получил постоянный доход и мог теперь без устали удовлетворять свое бесконечное любопытство — уже в других областях; а его брат, получив право на единоличное управление предприятием, мог извлекать из него вполне приличный прожиточный минимум — даже после того, как обеспечил роскошный доход Чарльзу Р. Я повторяю эту историю в том виде, как она была рассказана мне, не ручаясь за ее достоверность.

Наша краткая встреча с Чарльзом Р. Крейном в Париже оказалась на тот период единственной. Несколькими днями позже я уехал в Лондон с сэром Генри Макмахоном, чтобы провести в Уайтхолле подготовительные мероприятия для нашей экспедиции. Я был захвачен возможностью видеть сэра Генри живьем после того, как он сделался для меня столь знакомой фигурой заочно. Давным-давно через третьих лиц я свел знакомство с другими имевшими историческое значение европейскими посредниками на переговорах с ближневосточными державами — например, с Каллием и Анталкидом[5], — но эти древние греки уже давно и непоправимо умерли, тогда как этот их британский собрат здравствовал и был теперь моим шефом. За те недели, пока я работал под началом сэра Генри Макмахона, я провел бо́льшее количество часов и в многочисленных лондонских клубах, чем когда-либо после этого. Если не ошибаюсь, сэр Генри имел шесть клубов и, для удобства, сделал меня вре́менным членом одного или двух из них. Это было не просто удобно, это было необходимо, потому что сэр Генри вершил дела, одновременно совершая ежедневный обход своих клубов; и мне приходилось получать инструкции, конечно же, многочисленные, в нишах и углах клубных курительных комнат. Одной из таких инструкций, полученных мною от сэра Генри, была задача склонить Министерство морского транспорта отвести одно судно целиком в распоряжение

комиссии, назначенной в Сирию, на все непредсказуемо долгое время ее работы. Я, впрочем, не преуспел в выполнении этого поручения, несмотря на то (а возможно именно потому) что чиновник, с которым я имел дело, оказался моим однокашником и другом. Мне не стыдно за этот провал, поскольку моя миссия была заведомо безнадежным предприятием. В то время, когда потери британских кораблей от военных операций немецких подводных лодок еще не начали возмещаться, наш запрос был обречен остаться в самом конце длинного списка приоритетов; и даже если предположить, что нам удалось бы добыть наш корабль, я так и не смог понять, как бы мы возвращались каждую ночь из Сирии на этот корабль, чтобы ночевать на борту, подобно тому как лорд Кардиган возвращался на борт своей яхты после кавалерийских атак на оборонительные рубежи Балаклавы[6].

Этот последний этап моего первого пребывания в должности временного клерка Министерства иностранных дел был восхитителен, но при этом требовал таких же энергичных усилий, как и мои последние шесть недель перед днем прекращения военных действий. Моя служба у сэра Генри Макмахона окончилась внезапно, будучи резко оборвана предписанием врача соблюдать постельный режим, и я уже с сожалением сдавал дела своему преемнику, когда вдруг и сама должность растворилась вместе с должностью сэра Генри Макмахона. В последний момент французское правительство крепко надавило на британское правительство, настаивая, чтобы Великобритания, вместе с Францией, отозвала свое участие в комиссии; а британское правительство, со своей стороны, было только радо уступить нажиму своего союзника. Однако это сокращение первоначально трехсторонней комиссии до комиссии с участием одной стороны не означало ее распада, как, без сомнения, ожидали французы. Кинг с Крейном продолжили действовать уже в одиночку. Это развязало им руки, и они имели теперь полную возможность наблюдать и докладывать всю правду и ничего, кроме правды, не смущаемые присутствием коллег, которые могли бы попытаться подталкивать их к дипломатическим уступкам по отношению к своим неудобным французским и британским партнерам.

Кинг и Крейн абсолютно корректно, в полном соответствии с истиной, докладывали, что сирийские и палестинские арабы хотят независимости, без всяких помочей. Они только что освободились от турецкого владычества, которое тяготило их в течение последних четырех веков, и не хотят, чтобы одно надоевшее иностранное правление сменилось другими. Кинг и Крейн исследовали реакцию сирийских и палестинских арабов на предложение навязать им «мандаты», которые будут использоваться иностранными державами. Сделанный ими вывод состоял в том, что это предложение неприемлемо

для арабов, каковы бы ни были те державы, или держава, которая навяжет им подмандатный статус. Наименьшие возражения, с арабской точки зрения, вызывал мандат со стороны Соединенных Штатов. Арабы совершенно не желали быть подмандатными ни Британии, ни Франции.

Меня не удивило ни нарушение британским правительством достигнутой договоренности и прекращение своего участие в комиссии, ни выводы, представленные в докладе Кинга и Крейна, когда таковой был в итоге опубликован. Я был подготовлен к обеим этим вещам предыдущими событиями, свидетелями которых был в Париже.

Как-то раз мне требовалось вручить кое-какие бумаги Ллойду Джорджу, сразу же после закрытия какого-то заседания по Ближнему Востоку. До этого я часто видел Ллойда Джорджа и слышал, как он держит речь, но то был единственный случай, в связи с которым я когда-либо виделся с ним лично, и эта встреча продлилась не более одной-двух минут, но она оказалась неожиданно изобличающей. Взяв бумаги и начав пробегать их глазами, Ллойд Джордж, к моему восторгу, забыл о моем присутствии и принялся рассуждать вслух: «Месопотамия... да... нефть... оросительные системы... мы должны заполучить Месопотамию; Палестина... да... Святая Земля...сионизм... мы должны заполучить Палестину; Сирия... хм... что там в Сирии?.. Пускай достанется французам». Бессознательная, обращенная к самому себе речь Ллойда Джорджа обнаружила трезвое, практичное понимание экономических и политических активов входивших ранее в Оттоманскую империю арабских стран. Не было в ней слышно только одного — упоминания о человеческом факторе, которому надлежало впоследствии быть предметом исследования и докладов Кинга и Крейна. Подсчитывая ценные качества арабских стран, Ллойд Джордж выпустил из виду права и чаяния самих арабов.

Правдивые данные о таковых, которые содержались в донесениях Кинга и Крейна в адрес мирной конференции, были известны участникам конференции еще прежде, чем они согласились командировать комиссию, которая бы в этом удостоверилась. Они знали, к примеру, что в пределах нескольких часов, между отходом разбитой турецкой армии из Северной Палестины, Ливана и Сирии и занятием этих освобожденных территорий победоносными войсками Алленби, повсюду были подняты арабские флаги. Тем самым арабы заявили о своих политических устремлениях, пока еще были вольны их высказывать. После этого в Париже Совет Десяти заслушал также президента Американского университета в Бейруте, доктора Говарда Блисса[7]; и свидетельство доктора Блисса предвосхитило последующие выводы доктора Кинга и мистера Крейна. Точность совпадения между результатами их расследований и предшествовавшим

заявлением доктора Блисса ничуть не была удивительной. Все три наблюдателя были честны и непредубеждены; все трое говорили правду; а правда, в отличие от лжи, неизбежно совпадает сама с собой.

Заседание Совета Десяти, на котором доктор Блисс давал свои свидетельские показания, было самым странным и, одновременно, самым волнующим из всех заседаний, на которых я присутствовал. Перед нами был человек, держащий авторитетное слово. Он был главой старинного учебного заведения, студенты которого стекались со всего Ближнего и Среднего Востока и, больше всего — из бывшего арабского региона Оттоманской империи, в котором университет и располагался. Доктор Блисс был потомком династии миссионеров-преподавателей, он основал университет и с тех пор был постоянно с ним связан. Нашлось бы немного, если вообще нашлось, других нейтральных непосредственных наблюдателей, которые были бы способны так авторитетно и квалифицированно оценить, каковы политические пристрастия бывших оттоманских арабов. Кроме того, доктор Блисс был, совершенно очевидно, человеком благородным, и — столь же очевидно — он был стар и болен. Когда он поднимался, чтобы представить свой доклад, его физическая слабость гнула его к земле, и ему приходилось тяжело опираться о спинку стоявшего перед ним стула. Доктор Блисс знал, что дни его сочтены. (Я полагаю, что его смерть была ускорена изнурительным путешествием из Бейрута в Париж.) Он был полон решимости, чего бы это ему ни стоило, поведать правду участникам конференции прежде, чем будет призван держать ответ перед Создателем. (Доктор Блисс был верующим христианином пресвитерианского толка[8].)

Пока доктор Блисс говорил, можно было видеть, как он раздражает членов Десятки — или, по крайней мере, девятерых из них, исключая, пожалуй, своего собрата — пресвитерианина, президента Вильсона. Пожалуй, впервые за время деятельности Совета Десяти они столкнулись лицом к лицу со свидетелем, который не преследовал корыстных целей и чьей единственной заботой было рассказать правду и увидеть, как в ее свете справедливость будет восстановлена. Им это не нравилось; они не знали, как к этому относиться, и были неспособны скрыть свое замешательство. Комедия и трагедия сталкивались и перемешивались друг с другом, порождая шекспировский диссонанс — комедия явного смятения Девяти; трагедия, нависшая над доктором Блиссом и над арабами, судьбы которых заботили его гораздо сильнее, чем собственная жизнь. Свидетельство доктора Блисса было, по существу, сигнальным экземпляром последующего доклада Кинга — Крейна.

Моя следующая встреча с Чарльзом Р. Крейном, после той первой в Париже, произошла лишь некоторое время спустя, и на этот раз — в Лондоне. К этому времени мистер Крейн возобновил свои

обычные мирные занятия, другими словами — путешествия. Мистер Крейн был, прежде всего, путешественником, но он ничем не напоминал скачущего по свету туриста. Его экспедиции были тщательно подготавливаемы заранее, и некоторые из них были таковы, что, возможно, только он был способен их успешно осуществить.

При посещении Лондона мистер Крейн всегда следовал маршрутом, который был необычен, но неизменен. Он всегда останавливался в отеле «Керзон», и на следующее по приезде утро к парадному входу в отель всегда подкатывало «его» такси и ожидало, когда мистер Крейн появится и займет в нем свое место. Это такси можно было смело называть «такси мистера Крейна», хотя он не являлся его владельцем, он его не заказывал, и он даже не уведомлял водителя заранее о дате своего грядущего прибытия. Водитель имел свою службу разведки, и эта служба никогда его не подводила. И в самом деле, водитель мог себе позволить содержать первоклассную шпионскую службу из своих доходов от периодических и обычно кратких визитов мистера Крейна в Великобританию, поскольку по Великобритании мистер Крейн разъезжал в этом такси, куда бы ни направлялся. Сегодня его маршрут был длиною в квартал, завтра он мог пролечь с одного конца Соединенного Королевства до другого; однако всегда, в пределах острова, такси было эксклюзивным средством передвижения мистера Крейна.

В Британии мистер Крейн имел и своего штабного офицера — миссис Янг[9] (она же леди Янг), которая оказалась также и одной из моих знакомых. Я не думаю, что миссис Янг имела долевое участие в разведслужбе таксиста. Полагаю, она обычно узнавала о приезде мистера Крейна самым заурядным и прозаическим способом — скорее всего, из телеграммы. Трансатлантические телефонные звонки были во времена путешествий мистера Крейна все еще ненадежны. Если бы они уже соответствовали своему нынешнему стандарту, мистер Крейн существенно повысил бы доходы телефонной компании «Bell Telephone». Но так или иначе, когда бы и каким бы образом миссис Янг ни получала это известие, она откладывала в сторону свои домашние дела и была в распоряжении мистера Крейна на все время его пребывания.

Мистер Крейн обладал искусством побуждать своих друзей и знакомых желать оказывать ему услуги и при этом даже не помышлять о вознаграждении. Однако схема визитов мистера Крейна все-таки включал в себя стандартную награду для миссис Янг. То была двойная награда, и ее можно было получить не в Лондоне, а в Париже. В конце каждого из своих приездов в Лондон мистер Крейн брал миссис Янг с собой в Париж в качестве гостьи, чтобы дать ей возможность приобрести французскую шляпку и пообедать со своим спутником во французском ресторане. Награда в виде шляпки была

всегда удовлетворительна. Миссис Янг имела возможность провести все светлое время суток, разглядывая каждую шляпку, имевшуюся в парижских магазинах. Она сама делала окончательный выбор; а мистер Крейн только оплачивал счет — какая бы сумма в нем ни значилась. Награда в виде обеда, однако, всегда снижала градус удовольствия; ибо здесь выбор был как раз всегда за мистером Крейном. Он неизменно выбирал один из лучших ресторанов в Париже, но это лишь делало продолжение более разочаровывающим, поскольку выбор блюд был тоже за ним и его заказ всегда состоял из вареной курицы и рисового пудинга. Парижские рестораны того ранга, постоянным клиентом которых был мистер Крейн, считали для себя делом чести удовлетворять самые экзотические запросы своих посетителей. После некоторого промедления и по баснословно высокой цене вареная курица и рисовый пудинг надлежащим порядком появлялись на столе. Если бы мистер Крейн спросил барашка, зажаренного целиком в яме, или блюдо из австралийских личинок, все это тоже вскоре бы появилось. Просто так случилось, что вкусы мистера Крейна были незатейливы, и это обстоятельство было печальным для миссис Янг. Она могла бы с тем же успехом найти вареного цыпленка с рисовым пудингом и в Англии, в любом месте и в любой день.

В тот визит мистера Крейна в Лондон, когда и мне довелось внести свой вклад в гостеприимство, кажется, это миссис Янг попросила меня с ним встретиться. (Разумеется, обычно это являлось частью ее официальных обязанностей.) Когда я явился к мистеру Крейну в отель, то нашел его наполненным мыслями о предстоящей поездке в Индию. Он объяснил мне, что его экспедиция станет зрелым плодом длительных приготовлений. В течение ряда лет он помещал своих друзей и знакомых на ключевые наблюдательные посты на Индийском субконтиненте: там — должностным лицом в Христианской ассоциации молодых людей[10], здесь — консулом США и т. д. К настоящему времени он дал им всем достаточно времени, чтобы изучить все тамошние ходы и выходы, так чтобы их непосредственный индийский опыт себя оправдал. Итак, все было готово. Все, кроме одной вещи, и эту вещь необходимо было сделать в Англии, здесь и сейчас. Прежде, чем отправиться в путь, мистеру Крейну требовалось встретиться с автором книги «*A Passage to India*» («Путешествие в Индию»). Не знаю ли я мистера Э. М. Форстера?[11] Не мог бы я сказать мистеру Крейну, где он живет? Не мог бы я дать мистеру Крейну рекомендательное письмо к нему?

Случилось так, что я знал, где живет мистер Форстер, потому что это место было родным городком археолога Ф. У. Хэслака[12], который являлся библиотекарем Британской школы в Афинах, когда я был там студентом в 1911–12 гг. Хэслак имел обыкновение,

посмеиваясь, рассказывать нам, как мало соседи подозревали, на что способен мистер Форстер. Мистер Форстер совершенно не пользовался популярностью, пока наблюдал за жизнью сограждан в своей родной общине. (То было предместье, населенное круглый год только женами и детьми пассажиров пригородных поездов, ездящих каждый день на работу.) Городок пережил шок, когда вышли в свет первые из романов мистера Форстера, наделавшие столько шума.

Я сказал мистеру Крейну, где живет мистер Форстер. «Где это примерно?» — «Вообще-то это к югу от Лондона». — «О, так это же очень удобно, — сказал мистер Крейн. — Сегодня во второй половине дня я собираюсь на своем такси в Брайтон, поиграть там с кое-какими детьми. Я могу заехать попутно и к мистеру Форстеру, если буду иметь рекомендацию от вас». Надеясь избежать этой повинности, я объяснил мистеру Крейну, что дом мистера Форстера в действительности вовсе не на пути из Лондона в Брайтон; но это не смогло отвратить мистера Крейна. Обходные маневры не отпугивали мистера Крейна, они его привлекали. (Мистер Крейн в этом смысле не был похож на американца или, может, был просто старомоден). Во всяком случае, путешествие в своем собственном такси из Лондона в Брайтон, с заездом к мистеру Форстеру, было детской забавой в сравнении с некоторыми из путешествий, которые он уже совершил.

Я чувствовал, что мне не отвертеться; я чувствовал, что мне придется написать это рекомендательное письмо; и это было самое стеснительное; ибо я находился не в тех отношениях с мистером Форстером, которые могли бы оправдать подобную вольность с моей стороны. Я мимолетом встречался с ним раз или два — вот и все. Когда мистер Форстер прочтет мою подпись, не может быть, чтобы он вспомнил, кто я такой. Однако же я поймал себя на том, что пишу мистеру Форстеру. Мистер Крейн обладал неким свойством, которое делало невозможным отказать ему в просьбе. Едва письмо оказалось в его руках, мистер Крейн уселся в свое такси и отбыл, оставив меня наедине с неприятными мыслями о том, как воспримет мистер Форстер мою наглость. Но, против ожиданий, этот инцидент обернулся для меня удачно. Когда на следующее утро я спросил мистера Крейна, как прошла его экспедиция к югу от Лондона, он рассказал мне, что его таксист разыскал дом мистера Форстера, но они не обнаружили самого мистера Форстера. Вместе с удивлением я испытал эгоистическое облегчение. Я-то был уверен, что Чарльз Р. Крейн затравит-таки в тот день мистера Форстера. Обычно Фортуна благоприятствовала самым сумасбродным причудам мистера Крейна.

Доблесть Чарльза Р. Крейна как путешественника, преследующего свою собственную специфическую цель, иллюстрируется двумя

его похождениями. Я знаю о них не от самого мистера Крейна, а только из вторых рук, поэтому не стану ручаться за достоверность этих историй. Тем не менее я убежден, что они правдивы или, по крайней мере, могут претендовать на правдоподобие, поскольку находятся в полном соответствии с его характером.

Во время президентских выборов в Америке 1920 г. мистер Крейн пребывал в качестве американского посла в Китае. Он был назначен на эту должность президентом Вильсоном и, когда получил новость о сокрушительном поражении демократов, то мог предположить, что в тот день, когда власть в Вашингтоне перейдет в другие руки, он получит телеграмму, уведомляющую об освобождении от занимаемой должности. Настал день 4 марта 1921 г., а с ним — и ожидаемая телеграмма; но смещенный с должности посол вовсе не был опечален. С самого момента поражения Демократической партии мистер Крейн осуществлял приготовления к отъезду из Китая, и этот отъезд обещал быть даже более интересным, чем было его пребывание в этой стране.

Итак, Крейну предстояло отправиться из Китая домой, в Соединенные Штаты. Какой из нескольких возможных маршрутов должен оказаться самым интересным? Чарльз Р. Крейн выбрал тот маршрут, который восемью годами ранее выбрал Джеймс Брайс, когда по истечении срока своих полномочий в качестве посла Великобритании в Вашингтоне оказался перед необходимостью совершить путь домой, из США в Англию. И — точно так же, как ранее это сделал Брайс, — Крейн решил возвращаться через Сибирь. Маршрут был тот же самый, однако все остальное было иным, поскольку в период между 1913 и 1921 гг. на Россию обрушилась буря; и тот паводок, что затопил землю в Восточной Сибири, начал спадать не раньше чем за месяц до президентских выборов в Соединенных Штатах, то есть когда мистеру Крейну оставалось провести в Пекине еще только три месяца. Однако обстановка в России не отпугнула уходящего в отставку американского посла, и он принялся составлять план своего марш-броска сквозь российский хаос.

В 1913 г. путешествие по Транссибирской железнодорожной магистрали оказалось столь комфортабельным, что лорду Брайсу пришлось отклониться от магистральной линии и пуститься по боковой ветке, а далее — по проселку, с тем чтобы найти хоть частицу тех невзгод и лишений, за которыми он и отправлялся в путь. В 1921 г. транссибирскому путешественнику уже не было нужды отклоняться от своего курса в поисках трудностей; он мог твердо рассчитывать на то, что трудности сами, потоком, устремятся ему навстречу. Проблема мистера Крейна состояла не в поиске трудностей, она состояла в поиске платежного средства. Дело в том, что в России не было в 1921 г. денежной валюты, которой можно было

бы обзавестись за границей, а найдя, использовать внутри страны. После тысячелетнего обладания денежной валютой Россия теперь сменила ее на «бартер». И если Чарльзу Р. Крейну предстояло пересечь Россию из конца в конец, проехав через Азиатскую и Европейскую ее части, то он неизбежно должен был везти с собой какие-то предметы потребления, пользующиеся достаточно оживленным спросом, чтобы побудить людей давать ему в обмен на них продукты питания. Каких же товаров? Обмозговав этот вопрос, мистер Крейн остановился на гвоздях. Он посчитал, что людям всегда, при любой идеологии, бывают нужны гвозди; и потому, пока вновь избранный президент Гардинг[13] готовился к своей инаугурации, приговоренный к отставке посол Крейн посвятил тот же самый период отсрочки закупке гвоздей: больших гвоздей, маленьких, железных, медных, гвоздей всех размеров и сортов. Одновременно он купил два железнодорожных вагона: один, чтобы вести свои гвозди, а другой — чтобы везти себя самого. (Этот второй вагон он преобразовал в доморощенный спальный.)

В этом месте наступает пробел в истории в том виде, в каком она была мне изложена. История умалчивает об отправном пункте этого железнодорожного каравана. Им не мог быть Пекин, поскольку эти два вагона должны были быть ширококолейными, а в 1921 г. ближайшая к Пекину конечная станция ширококолейной железной дороги находилась где-нибудь за Мукденом, возможно, в Чанчуне, или еще дальше, за железнодорожным мостом через реку Сунгари. Так или иначе, бывший посол начал свой путь на запад через Россию из какого-то начального пункта, где бы тот ни находился; и не только отправился — он проделал его. Недели складывались в месяцы; вагоны-путешественники цеплялись то к одному поезду, то к другому; порой они простаивали на запасных путях по нескольку дней; но в конце концов воображение и упорство восторжествовали. Настал день, когда вагоны оказались на конечной станции ширококолейной дороги — на российско-польской границе. Последние дни были тревожными; гвозди уже почти совсем подошли к концу; но тем не менее в тот день, когда страна бартера наконец осталась позади, у наших пассажиров все еще оставалось в наличии достаточно гвоздей, чтобы обеспечить себе несколько трапез.

Появление в 1921 г. в Польше Чарльза Р. Крейна, прибывшего из Советского Союза, все-таки не так сильно изумило польские пограничные власти, как были изумлены несколькими годами позже британские пограничные власти его появлением из Йемена в Аденском протекторате[14]. На сей раз Чарльз Р. Крейн и его свита не могли приехать в железнодорожных вагонах: в Южной Аравии все еще нет железных дорог — ни узко- , ни ширококолейных. В этот раз они прибыли на верблюдах; и появление верхом на верблюде Чарльза

Р. Крейна следует признать событием более примечательным, чем Т. Э. Лоуренса; поскольку к тому времени, когда Крейн совершал это путешествие, обратное путешествию царицы Савской, он был уже далеко не молод.

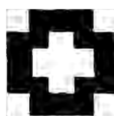
Как же удалось это Чарльзу Р. Крейну? Если бы один из тех британских пограничников вдруг вздумал ступить через границу, на территорию имамата, он бы уже через две секунды был мертв. В то же время этот американский дилетант только что пересек Йеменские горы целым и невредимым. Моя догадка такова: ему удалось это тем же способом, что и путешествие в Индию, которое он готовил, когда заставил меня дать ему рекомендательное письмо к мистеру Форстеру. Как и путешествие Чарльза Р. Крейна в Индию, его транзит через Аравию был, без сомнения, зрелым плодом нескольких лет подготовительной работы. Дайте Чарльзу Р. Крейну подготовить почву — и можете быть уверены, что когда она будет готова, не найдется такого препятствия, которое смогло бы его остановить. Будь он жив в 1966 г. и вбей себе в голову повторить свое аравийское турне, первым его шагом было бы успешно завершить встречу на высшем уровне между Президентом ОАР Абдель Насером[15] и королем Саудовской Аравии Фейсалом[16]. В их повестку дня вошел бы пункт обеспечить совместную охранную грамоту для мистера Крейна, а имея на руках таковую, Чарльз Р. Крейн проехал бы на своем верблюде по ничейной земле, между двумя рядами окопавшихся войск столь же благополучно, как сыны Израиля прошли однажды между двумя водяными валами Красного моря[17].

В последний раз я виделся с Чарльзом Р. Крейном у него в доме, в его родном городе Чикаго. В Чикаго я делал перерыв в путешествии и воспользовался возможностью навестить старого знакомого, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение. В комнате, где он принимал меня, мое внимание привлекли два больших написанных маслом пейзажа. Судя по изображенной на них природе и постройкам, то была Средняя Азия. «Вас интересуют эти картины? — спросил мистер Крейн. — Я рад, потому что они написаны моим художником. Позвольте рассказать вам его историю. Однажды в Бухаре я наткнулся на мальчика, который, судя по его виду, умирал от голода. Поэтому я забрал его с собой. Позднее выяснилось, что он обладает изрядным художественным дарованием. Обнаружив это, я послал его в Париж, чтобы он там хорошенько обучился. Я попросил его написать эти две картины как воспоминание о том путешествии, в котором я его нашел. Теперь, отправляясь в путешествие, я обычно беру его с собой.

Когда я попрощался, мистер Крейн умолял меня снова зайти на следующий день. Он только что приобрел коллекцию музыкальных записей китайских буддийских песнопений и как раз собирался

дать ее прослушать студентам, чтобы понаблюдать за их реакцией. Он пригласил всех китайских студентов, которых можно было найти в графстве Кук. Конечно же, я пришел снова, и все было так, как и предсказывал мистер Крейн. Гимны были заунывными; студенты сгрудились вокруг, чтобы их слушать. Когда я наконец стал уходить и пожелал мистеру Крейну всего хорошего, он вложил в мою руку красивый китайский сосуд, наполненный отборным китайским чаем — в качестве подарка моей жене, которая осталась в Англии. Изящные проявления учтивости, подобные этому, были для этого человека естественными.

Чарльз Р. Крейн был человеком удачливым, а также счастливым. Он делал то, что ему нравилось делать. Он тешил свою любознательность. Мне кажется, он чувствовал, что жизнь его прожита хорошо, а если это так, то заявляю, что полностью с ним согласен.



17. СЕМЬЯ МЕЙЕНДОРФ

Я уже имел удовольствие познакомить вас с бароном Мейендорфом, когда приводил его сокрушительный комментарий по поводу высказываний Сидни Уэбба. Эти резкие слова вырвались у Мейендорфа от горя и негодования по поводу судьбы его друзей из России, ставших жертвами большевистской революции. Я никогда не слышал, чтобы Мейендорф жаловался на свою собственную судьбу. Ему и его жене пришлось бежать, спасая свои жизни, и жить в изгнании, а это — одно из суровейших испытаний характера, которые может преподнести человеку судьба. В изгнании рискуешь либо ожесточиться, либо впасть в уныние. Мейендорф принял свой жребий с достоинством и кротостью. (Даже его упрек Уэббу был высказан мягким тоном.) Мир дореволюционной России, в которой Мейендорф занимал высокое положение, рухнул. В Англии он стал изгоем и вдобавок оказался в стесненных материальных обстоятельствах. И все же он не потерял своей жизненной хватки. Он нашел новый интерес в незнакомой ему прежде научно-преподавательской деятельности, которая доставляла теперь кусок хлеба ему и баронессе; и в этом своем новом положении им обоим удалось обрести в Англии друзей. Изгнанники-Мейендорфы были не менее удивительными и замечательными людьми, нежели двое других моих друзей-эмигрантов — Аднан Адивар и земляк баронессы Рауф Орбей[1]. Пожалуй, Аднан Адивар и барон Мейендорф были единственными из известных мне людей, кого можно было бы сравнить по мягкости и кротости характера с еще одним моим другом, Лоренсом Хэммондом.

Мейендорфы потеряли родину, но не потеряли друг друга. Они были счастливой парой, и именно Россия свела их вместе, хотя ни один из них по происхождению не был русским. Оба сделались русскими уже позже, и их союз на российской почве стал убедительным свидетельством в пользу ассимилирующей силы русского образа жизни для их поколения. Супруги происходили из двух абсолютно разных миров, разделенных всем географическим пространством России, между Черным и Балтийским морями. Их миры зародились далеко друг от друга — как в культурном, так и в географическом смысле, но пролегшая между ними русская культура отнюдь не разделила их, а, напротив, сыграла роль проводящей среды.

Рауф Орбей любил повторять (часто говаривал), что мог бы быть одним из подданных баронессы Мейендорф[2], если бы ее семью не депортировали, а его самого не изгнали из страны, которая была их общей родиной. Страной этой была Абхазия[3] — узкая полоска земли, протянувшаяся между северо-восточным побережьем Черного моря и северо-западными отрогами Кавказского хребта. Сегодня

Абхазия — это морской курорт, куда приезжают отдыхать со всех концов Советского Союза, но во времена, когда баронесса Мейендорф появилась на свет, эта местность была не менее дикой, нежели нагорья Шотландии вплоть до 1745 г.[4].

Отец баронессы был горским князем, иначе говоря, вождем клана. (Отсюда и происходила шутка Рауфа Орбея, ибо социальный статус его собственной семьи в родной Абхазии был не столь высок.) То был период, когда русские «усмиряли» Кавказ — процесс, который в свое время происходил в горах Шотландии и которому еще предстояло произойти в Атласских горах, стараниями генерала Лиотэ[5]. Способ, которым «усмирили», в частности, семью баронессы, был столь же насильственным, сколь и элегантным — типично русским по характеру исполнения. Однажды, воспользовавшись случаем, когда семейство было на охоте, русские окружили всех ее участников (вместе с лошадьми, охотничьими собаками и соколами). После чего вождя племени, его жену, сына и дочь увезли в Россию, чтобы поместить там в золотую клетку. Будущей баронессе было, вероятно, лет около 10 лет, когда на нее и семью обрушились удивительные перемены. Ее отдали учиться в Институт благородных девиц, где воспитывались русские девушки благородного происхождения, будущие фрейлины при императорском дворе. Вот каков был социальный фон, который, несомненно, угадал бы за госпожой Мейендорф всякий столкнувшийся с ней в эмиграции, случись ему задаться этим вопросом. Она производила впечатление (и вполне справедливое) изысканно воспитанной викторианской леди, для которой приспособиться к буржуазной британской жизни оказалось труднее, чем для ее мужа-барона. И уж о чем никто бы не догадался, так это о том, что баронесса была варварского происхождения — так сильна была на ней печать русской культуры.

Поистине, достойна изумления та социальная и культурная метаморфоза, которая смогла произойти в пределах жизни одного человека. Хотя, я полагаю, что и среди дочерей шотландских тэнов[6], родившихся в 1735 г., были такие, для которых мир Джейн Остин стал родным[7]. Точно так же для баронессы Мейендорф стала, безусловно, своей аристократическая среда русских писателей-классиков XIX века. Именно этот, живой и яркий русский мир, а не смутный и далекий мир ее родных абхазских гор, поддерживал баронессу, когда она во второй (но не в последний) раз в своей жизни лишилась прежних корней (привычной опоры, была с корнем вырвана с насиженных мест).

Высшее общество России XIX в. и стало той средой, где произошла встреча будущих супругов. Сам барон Мейендорф был балтийско-немецким дворянином, родом из Эстляндии[8]. Предположительно он происходил от одного из тех рыцарей немецкого Ордена

меченосцев, которые, перейдя в XVI веке в лютеранство, сняли с себя обет безбрачия и обзавелись семьями[9].

Балтийские провинции Российской империи, несмотря на свою территориальную удаленность от Западного мира, были неотъемлемой его частью — с тех самых пор, когда в XIII в. тевтонские рыцари захватили эти земли и насильно обратили в свою веру уцелевшее языческое население[10].

Эстляндия и Лифляндия были отвоеваны у Швеции российским царем Петром Великим в Северной войне; Курляндия отошла к России при третьем разделе Польши. И потому балтийские области были единственной частью Российской империи, где западная цивилизация имела место изначально — если не считать самоуправляющегося Великого княжества Финляндского, которое объединилось с Россией в порядке личной унии. (Великим князем Финляндским был русский царь[11].) В отличие от русского дворянства и буржуазии XIX в., чья европеизация была все еще поверхностна, балтийское немецкое дворянство и буржуазия были европейцами в полном смысле слова, и западная цивилизация в этих областях охватывала не только верхние слои общества, но проникла также и в крестьянство. В период между войнами процент грамотных людей в Эстонии и Латвии — недолговечных балтийских государствах-наследниках Российской империи — был одним из самых высоких в мире[12]. Предпосылки этого культурного достижения стран Балтии XX в. были заложены еще в XIX в., о чем ясно свидетельствует забавный случай, поведанный барону Мейендорфу его отцом.

Однажды его отец вез из России в Эстляндию нескольких приглашенных им в гости русских друзей. На границе они делали пересадку, меняя, правда, не железнодорожные вагоны, а конные экипажи, поскольку в Российской империи еще не было железных дорог. Когда компания перебиралась в эстляндский экипаж, кучер вынул носовой платок и высморкался. При виде этого русские гости восторженно всплеснули руками. «Да, это — Европа! — воскликнули они. — Это цивилизация! Подумать только, в этой стране даже кучеры пользуются носовыми платками».

Обладание признаками западной культуры, видимым символом которой были эти балтийские носовые платки, высоко ценилось в России XIX века, и это открывало балтийским баронам непропорционально широкий — в сравнении с их численностью — доступ к высоким государственным постам. Это делало немцев не слишком популярными среди русских собратьев-аристократов. Но вместе с тем более высокий уровень образованности делал их очень полезными для эффективного функционирования административного аппарата Российской империи; а непопулярность смягчалась полуассимиляцией к русскому образу жизни. Привлекательность русской

национальной культуры для этих представителей Запада была более значимым свидетельством ее очарования, чем ее привлекательность для кавказских горцев, и барон Мейендорф был тому живым примером. Если бы не его имя, Мейендорфа можно было по ошибке принять за русского, который полностью европеизировался, сохранив при этом русское отношение к жизни. Кроме, пожалуй, основательности своей умственной культуры, барон не проявлял ни одной типично немецкой черты (из тех, что якобы присущи немцам согласно традиционно бытующим на Западе представлениям и карикатурам). В Мейендорфе не было и следа той властолюбивой тупости, которая, быть может, предвзято ассоциируется в западном сознании с немцами. Мейендорф никогда не грешил германской грубостью и задиристостью — сама мысль о столь вопиющем грехопадении была для него мучительна. Напротив, Мейендорф в значительной степени проявлял восприимчивую чувствительность русского и как следствие — тонкое чувство иронии. К моменту, когда началось обучение юного Мейендорфа, балтийские области уже достаточно обрусели, чтобы упразднить распространенный на Западе варварский обычай телесного наказания школьников. Барон однажды рассказывал мне, какое испытал потрясение, когда отец отправил его завершать образование в Штуттгарт. Когда он увидел, что учителя бьют мальчиков, то не мог поверить, что перед ним Европа — сердце цивилизованного мира.

Когда я думаю о своем немецко-русском друге бароне Мейендорфе и сравниваю его с моими немецко-американскими друзьями Уиллом Вестерманом и Рейнхольдом Нибуром, то прихожу к выводу, что немецкая разновидность западной культуры, способная производить весьма прискорбное впечатление, если брать ее в чистом виде, несомненно, дает превосходные результаты в качестве одного из компонентов.

Теперь, когда я набросал культурный фон к портрету четы Мейендорфов, я попытаюсь подыскать какую-нибудь гипотетическую параллель, чтобы дать понять британскому читателю всю экстраординарность *tour de force* [фокуса] русского стиля воспитания и образования, сумевшего сделать из балтийского барона и кавказской княжны столь гармонично дополняющих друг друга партнеров и товарищей. Вообразите, что дочь пуштунского[13] вождя и сын ирландского землевладельца-протестанта будут вместе учиться в английском университете (причем отнюдь не в «краснокирпичном»[14]), встретятся там и поженятся. Вот, пожалуй, ближайшая доступная британскому пониманию аналогия, приходящая мне в голову.

Когда Мейендорф, преподававший в лондонской школе экономики, достиг пенсионного возраста, то, согласно пенсионной системе Лондонского университета, он, как проработавший недостаточно

долгий срок, получил право на слишком скудное пенсионное пособие, чтобы они с женой могли просуществовать на него в Англии. Поэтому Мейендорфы решили, вскладчину с другими русскими изгнанниками, купить виллу на морском побережье Финляндии, на Карельском перешейке[15]. То был само собой разумеющийся выбор, поскольку места эти были хорошо знакомы людям, принимавшим участие в общественной жизни дореволюционной России. В дореволюционную эпоху, когда Финляндия была связана с Российской империей, южная сторона Карельского перешейка была фактически частью загородных окрестностей Санкт-Петербурга.

Итак, следуя задуманному плану, Мейендорф и его друзья со всем имуществом перебрались из Англии в Карелию. Но не успели они обосноваться на своей вилле, как настала так называемая Мюнхенская Неделя — произошло подписание Мюнхенского соглашения[16]. Неделя закончилась, и вместе с ней закончилось безмятежное состояние Мейендорфов. Барон объявил своим сотоварищам, что они с женой вновь переезжают в Англию. Но почему, с какой стати? А потому, что вывод Мейендорфа в связи с событиями Мюнхенской Недели был таков: отныне жить на Карельском перешейке опасно. «Господи, ты сошел с ума! — возражали ему друзья. — То, что произошло в Мюнхене, означает, что Британия скоро вступит в войну с Германией. Зачем возвращаться в этот будущий район военных действий, когда тебе посчастливилось вовремя переехать в нейтральную страну?» Мейендорф был непоколебим, его не убеждали эти, казалось бы, разумные доводы. Они с женой вернулись в Англию, а их друзья остались на месте. Не прошло и года, как те убедились в справедливости его предвидения и пожалели, что не последовали его примеру. Когда Советский Союз напал на Финляндию, именно Карельский перешеек стал зоной военных действий, и непредусмотрительным друзьям Мейендорфов пришлось спешно эвакуироваться.

Решив в канун Второй мировой войны возвратиться из Финляндии в Англию, Мейендорф просто выбрал меньшее из зол. Хотя его прогнозы и подтвердились, однако жить в военной Англии супругам было вдвое тяжелее, чем в Англии мирных времен. Они были стары, их средства к существованию были недостаточны. Английские друзья, обеспокоенные их судьбой, делали все возможное, чтобы помочь им, но Мейендорфам было нелегко помогать материально. Тому существовало, по крайней мере, три препятствия: они не жаловались, они были горды и своим отношением к жизни напоминали святых праведников. Когда не удалось помочь деньгами, друзья попытались помочь иным образом. Они посылали им посылки с продуктами, но и эти старания мало к чему привели. Мейендорфы, подобно Тоуни, раздавали еду соседям-англичанам, которые, возможно, нуждались в ней не так сильно, как они сами.

После смерти жены бедственное положение Мейендорфа в послевоенной Англии стало еще отчаяннее, но его тяжелая жизнь, так долго переносимая с таким стоицизмом и благонравием, в самом конце приняла более счастливый оборот. Он обрел тихую гавань в доме добрых и близких по духу друзей; при моей последней встрече с ним, произошедшей там же, я нашел его спокойным и безмятежным. Он с блеском выдержал последнее из ниспосланных ему судьбой испытаний.



18. С. П. СКОТТ

Однажды, во время Первой мировой войны, когда я пришел с очередным визитом на квартиру к лорду Брайсу, чтобы отчитаться о том, как продвигается работа над составлением Синей книги, посвященной жестокому обращению с армянами, я нашел там еще одного посетителя, уже ожидавшего в кабинете. Это был пожилой и, судя по всему, отмеченный заслугами человек с доброжелательным, но твердым выражением лица и ясными, блестящими глазами. Когда я вошел в комнату, он радушно обратился ко мне и, завязав разговор, очень скоро дал мне почувствовать себя в его обществе легко и непринужденно. Теперь я уже не могу припомнить, о каком этапе войны мы говорили; помню только, что мы стояли вместе у окна, глядя через улицу Букингем-гейт в направлении арки на углу Букингемского дворца. Вошел лорд Брайс, мой сотоварищ-визитер уладил с ним свои дела и ушел, а лорд Брайс спросил меня, знаю ли я, кто был этот его посетитель. Нет, ответил я, и тогда он сказал, что это — редактор газеты «Манчестер Гардиан» С. П. Скотт. Это сильно заинтересовало меня, и я обрадовался, что мне представилась нежданная возможность с ним познакомиться. С. П. Скотт был выдающимся общественным деятелем, я также часто слышал о нем от Лоренса Хэммонда. Я уже упоминал, что Лоренс работал у Скотта в течение многих лет и что между ними была тесная личная дружба.

Моя следующая встреча с мистером Скоттом произошла в 1920 г., и на этот раз она происходила на профессиональной почве. После того как я принял на себя руководство вновь основанной кафедрой Византийских и Современных греческих исследований имени Кораиса в Лондонском университете, я получил отпуск на летний семестр 1920/21 учебного года, с тем чтобы посетить Грецию и район греко-турецких военных действий. Тогда-то мистер Скотт и облек меня, на время моего пребывания в Леванте, полномочиями специального корреспондента «Гардиан». Это поручение было для меня вдвойне ценным: оно помогало профинансировать мою экспедицию в Левант, и благодаря ему я получал возможность взглянуть на происходящие там события изнутри. Люди будут охотнее толковать с представителем известной газеты, чем просто с молодым университетским преподавателем, который представляет лишь самого себя. Соглашение между мной и «Гардиан» было заключено, и редактор пригласил меня на уик-энд погостить у него, в доме в Фоллоу-филд, где бы мы могли побеседовать с ним о моей предстоящей работе, прежде чем я отправлюсь в Грецию.

Я нашел мистера Скотта столь же приветливым, каким он показался мне при первой нашей встрече, и на этот раз я убедился,

что выражение твердости и решительности на его лице полностью согласуется с его спартанской выносливостью, которая напомнила мне моего дядю Гарри. В конце концов, английская традиция физической закаленности не ушла вместе с поколением дяди Гарри. Мистер Скотт был одним из тех, в ком она продолжалась, и я имел возможность в этом убедиться в первое же утро своего пребывания, когда в качестве его гостя принимал ванну перед завтраком. Одна сторона ванной комнаты была полностью открыта навстречу зимним небесам, и из обоих кранов текла холодная вода. Сам мистер Скотт, принимая ванну, без сомнения, с легкостью выдерживал это испытание; вероятно, он не пропустил ни единого утра с тех пор, как был еще мальчиком, потому и был так закален. Устыдившись показаться менее выносливым, чем человек гораздо старше меня по возрасту, я погрузился в холодную воду, в то время как сырой ветер Ланкашира свистел у меня в ушах. Я спас свое чувство собственного достоинства, правда, ценой простуды, свалившей меня по возвращении в Лондон. Тем не менее я был в отличном расположении духа. Моя симпатия к мистеру Скотту, которую я с первого взгляда почувствовал пятью годами раньше, получила щедрое подкрепление при дальнейшем знакомстве. Я осознал, что поступил на службу к человеку, который был столь же силен духом и телом, сколь умен и энергичен.

Вступив в эту свою должность, я нашел в мистере Скотте работодателя щедрого и, что еще важнее, честного и смелого. Я испытал щедрость мистера Скотта после второго сражения при Иненю. В этом сражении, которое оказалось поворотным моментом в греко-турецкой войне 1919—22 гг., я был единственным присутствовавшим на поле боя корреспондентом, и моя телеграмма в «*Гардиан*» стала первой новостью с театра военных действий, напечатанной в европейской или американской прессе. Мистер Скотт лично написал мне письмо, в котором сообщал, что дает мне премию в двадцать фунтов. Его честность и отвага проявились, когда он начал получать от меня телеграммы, описывающие жестокости греческой армии в отношении турецкого населения на территориях вдоль азиатского побережья Мраморного моря, через которое отступали греческие войска.

«Манчестер Гардиан» была ведущей газетой Либеральной партии в Британии. Газета была выразительницей взглядов традиционного гладстоновского толка, и ее репутация как издания, неколебимо приверженного ортодоксальности, была одним из качеств, за которые ее особенно ценило большинство читателей. Теперь же (как я узнал позже) некоторые влиятельные читатели этого направления написали мистеру Скотту, обвиняя его в предательстве их общих принципов, — предательстве, которое выразилось в опубликовании

корреспонденций, симпатизировавших «ужасным туркам». Однако эти критики получили непреклонный ответ редактора. Мистер Скотт заявлял, что доверяет донесениям своего корреспондента; он уверен, что ему сообщают правду, и потому намерен продолжать публикацию этих сообщений. Мистер Скотт остался верен слову. Он поддерживал меня, когда я доставлял такие факты, которые считались нежелательными не только в британских либеральных кругах, но и во всем Западном мире, где традиционное «христианское» предубеждение против мусульман продолжало бытовать во многих умах, отказавшихся от собственно христианства. Поддерживая меня, мистер Скотт сохранил верность традиции «Гардиан», которая оставалась для газеты дороже традиции «гладстонизма» и которая теперь, когда эти две традиции вошли в противоречие, возобладала. «Манчестер Гардиан», возвысившись над всеми прочими соображениями — без страха и каких-либо личных предпочтений, — продолжала печатать правду, как она ее видела. За время моей недолгой службы в штате «Гардиан», оказавшись одним из тех, кто пользовался ее благодеяниями, я мог на собственном опыте прочувствовать эти, присущие газете высочайшие стандарты непредвзятости. Я прошел через этот опыт, вынеся из него прочное чувство благодарности и восхищения по отношению к «Гардиан» и ее рыцарственному редактору С. П. Скотту.



19. МОИ ТУРЕЦКИЕ ДРУЗЬЯ

Мне посчастливилось иметь в числе своих друзей чету Адиваров — Аднана и Халиде, но это мое счастье явилось следствием их злоключений. Впервые я встретился с ними в Стамбуле в 1923 г., но не имел возможности познакомиться поближе, пока они, подобно Мейендорфам, не попали в Англию в качестве изгнанников.

Предки Аднана были наследственными старейшинами одной из дервишских общин и от отца к сыну передавали дар лечения внушением[1]. Сам Аднан был врачом, но не своей наследственной школы и не греко-арабской школы[2], которая до сих пор имеет своих последователей в некоторых наиболее отдаленных частях Исламского мира. Аднан был современным врачом того направления, которое на Западе в XVII в. стало вытеснять греко-арабское. Он был не только современным врачом, но и современным человеком, причем только в хорошем, а не в дурном смысле. Его современность была гуманистического, а не демонического склада. На протяжении всей жизни Аднана Адивара эти два противоположных элемента современного западного духа боролись за первенство в душах людей Запада. В вестерни́зированной душе Аднана гуманистические чувства не имели своего демонического антагониста, которого бы требовалось одолеть. Натура Аднана была несовместима ни с одним из семи дьяволов[3].

Когда я только познакомился с Аднаном, он занимался политикой. Он работал в национальном правительстве Турции в должности городского администратора Стамбула в период между подписанием в г. Муданья соглашения о прекращении огня и заключением Лозаннского мирного договора[4]. С 1919 г. Аднан и Халиде играли активную и заметную роль в турецком движении сопротивления[5], но политика не была их естественной стихией. Турция после Первой мировой войны, как Франция во Второй мировой, пережила кризис, в котором са́мо ее существование было поставлено на карту; и в обеих странах, в каждый из периодов соответственно, эта экстремальная ситуация вызвала к активной общественной жизни целый ряд благородных мужчин и женщин, которые при своем складе характера в более спокойные времена, вероятно, держались бы вдали от политики. Аднан и Халиде за свой патриотизм расплачивались тем, что были вытеснены в изгнание (и отнюдь не врагами) в те времена, когда Турция находилась в отчаянном положении. Они были изгнаны после того, как национальный кризис миновал, изгнаны национальным лидером, который спас Турцию с помощью таких вот, как Адивары, бескорыстных соратников. Когда, со смертью Ататюрка[6], Адивары получили возможность вернуться домой, они вернулись к своим прежним занятиям, вернулись в гуманитарную науку. Халиде в молодости составила себе имя как писательница, а теперь

стала преподавателем английской словесности в Стамбульском университете, тогда как Аднан взял на себя ведущую роль в выпуске турецкой версии «Энциклопедии ислама»[7]; то было ее новое издание, представлявшее собой, по существу, совершенно новый труд.

Для Халиде их брак был затишьем после бури. Это было ее второе замужество — первое закончилось в борьбе, ибо ее первый муж, в отличие от Аднана, был современным человеком только в границах своей профессии. Он был математиком, что не мешало ему быть традиционалистом. После того как Халиде родила двух детей, он объявил о своем намерении взять себе вторую жену; Халиде сказала, что, если он так поступит, она от него уйдет. Он настаивал на своем решении, и Халиде сделала, как обещала. Ее отказ стать частью полигамной семьи потребовал большой смелости, ибо в те времена институт брака в Турции еще находился под властью исламского религиозного права, согласно которому для мужчины-мусульманина вполне законно иметь четырех жен одновременно. (Многоженство было отменено в Турции лишь 17 февраля 1926 г., после введения в силу Швейцарского гражданского кодекса, который был переведен на турецкий язык и стал законом страны.) Порывая со своим первым мужем, Халиде боролась за насущные права человека, наперекор действовавшему тогда закону, и она боролась не только ради своих собственных интересов. То была борьба за интересы всех женщин Турции, а также, опосредовано — и женщин остального Исламского мира. Для Халиде этот личный жизненный кризис был таким же тяжелым, как общественный кризис 1919–23 гг. для всей ее страны. Наградой ей стали встреча и брак с человеком, который смотрел на проблемы морали теми же глазами, что и она, и который пленил ее пылкий, непокорный характер своим, более мягким и спокойным.

Когда первый муж Халиде настаивал на осуществлении своего законного права взять вторую жену, конфликт между двумя противоположными принципами — полигамией и моногамией — был трагическим, потому что противоборствующие стороны были людьми вполне грамотными и житейски умудренными и, следовательно, прекрасно понимали весь смысл и всю важность этого вопроса. Однако в ходе моего собственного пребывания в Турции я стал свидетелем другой ссоры относительно того же самого вопроса, в котором стороны были не столь деликатны и образованны, и следствием *mesintelligence*[8] явилась комедия со счастливым концом.

В 1921 г. мы с женой были гостями Американского колледжа для девочек в Арнауткёи[9] (Arna'ûtköi) на Босфоре, где одним из главных членов технического персонала был мажордом, которого я буду называть Ахмедом, поскольку не помню его настоящего имени. Ахмед был незаменим для американского профессорско-преподавательского

состава, потому что служил им в качестве переводчика при всех контактах с турецким внешним миром, находившимся за воротами колледжа. Однажды жена Ахмеда сказала ему: «Дорогой мой, мы оба старимся, и я начинаю чувствовать, что домашняя работа становится для меня тяжелой. Но, к счастью, эти американцы платят очень щедрое жалование, так что мы можем позволить себе вторую, молодую жену для тебя, которая будет в то же время помощницей мне. Она может выполнять грубую работу и заниматься стряпней, а я обещаю, что по-прежнему сама буду готовить твои любимые блюда». Это предложение звучало так здраво, что его воплощение не заставило себя долго ждать. Молодая жена водворилась в доме, а старая жена была благополучно освобождена от своих домашних обязанностей.

В тот момент, однако, в университетский городок прибыл новый американский преподаватель с женой. Они прибыли из так называемого «Библейского пояса» США[10]; и когда профессорская жена услышала о второй женитьбе Ахмеда, она заявила, что это безнравственность и позор для университетского городка и что если это не прекратится, они с мужем здесь не останутся. Когда Ахмед услышал, что говорит вновь прибывшая профессорша о его втором браке, он, со своей стороны, тоже заявил, что если она останется в университетском городке, он уедет. В смысле респектабельности Ахмед и вновь прибывшая американка находились на одном уровне. Оба были чрезвычайно почтенны и уважаемы всеми, а потому оба были чрезвычайно возмущены. Поставьте себя на место Ахмеда. Даже сейчас он имел только двух жен, когда священное право правоверных позволяло ему иметь четырех. У него еще оставались целых две вакансии; однако эта неверная имела наглость обвинять его в безнравственности и требовать, чтобы его дорогая первая жена была лишена домашней помощи, которую он ей только что предоставил.

Эта ссора поставила профессорско-преподавательский состав университета в затруднение. Они не могли себе позволить потерять Ахмеда, но не могли также позволить потерять своего нового преподавателя математики. Всем сотрудникам пришлось бросить всю остальную работу, чтобы сосредоточиться на достойной Геракла задаче — убедить Ахмеда и леди из «Библейского пояса», что в конце концов противоборствующая сторона может вести себя в полном соответствии со своими традиционными взглядами.

Вот пример двух турецких жен, которые заняли диаметрально противоположные позиции относительно исламского института многоженства. Жена Ахмеда смотрела на это в традиционном ключе, как на обычное дело; взгляд Халиде был революционен и идеалистичен. Жена мажордома была старше писательницы, вероятно не более чем на полпоколения. Полярное различие между их взглядами

на данный вопрос было результатом не столько разницы в возрасте, сколько разницы в воспитании и вытекающем из него мировоззрении. Халиде-ханум получила западное образование в том самом колледже, в котором служил Ахмед, и ее разрыв с исламской традицией был проявлением тех перемен, которые стали охватывать турецкую интеллигенцию ее поколения, но которая пока едва начинала воздействовать на другие слои турецкого общества.

Этот натиск вестернизации бросал вызов многим традиционным исламским институтам, помимо исламского брачного права. Каждая цивилизация имеет свой отличительный кодекс поведения. Исламский кодекс свободен в отношении секса. (Я здесь говорю только о том, что кодекс разрешает; никакие правила поведения никогда не соблюдаются на практике в полной мере.) Одним из результатов воздействия вестернизации на мусульман, таким образом, стали более строгие правила в отношении секса, но более свободные в отношении алкоголя.

Последствия вестернизации в смысле выпивки иллюстрируются жизнью Ататюрка — а также и смертью. Ататюрк стал неумеренным (в духе Гаргантюа) потребителем крепких горячительных напитков. Однажды вечером 1923 г., когда я присутствовал в качестве гостя на званом обеде в Анкаре, я наблюдал, что случилось, когда перед ним был поставлен очень большой медный поднос, нагруженный до отказа бокалами с неразбавленным виски. Бокалы были опустошены так быстро, словно заглатывалось не виски, а бараньи котлеты, а диктатор был не человек, а огромный датский дог. Ататюрк пил хвастливо, напоказ, то был жест, имевший целью символизировать его освобождение от традиционных табу, налагаемых исламской религией. Но при этом он пил бездумно и безрассудно, потому что этот западный порок оказался созвучен его природе. Натура Ататюрка носила демонический характер, и, подобно некоторым современным американцам, являющимся людьми действия, он употреблял алкоголь в качестве стимулирующего средства для придания сверхчеловеческой динамики всему, что он делал. Ататюрк совершил больше, чем совершает за свою жизнь большинство людей, и алкоголь был одним из генераторов этой энергии. Но алкоголь также явился причиной его безвременной смерти; и эта «демоническая» неудача бывшего мусульманина в том, чтобы справиться с западным ядом, позволяет предположить, что, в конце концов, запрет, наложенный пророком Мухаммедом на питье спиртного, возможно, был благотворным, возможно даже, он был такой исламской традицией, которую Западу было бы полезно перенять.

Запрет на употребление спиртного это не единственное исламское табу в области еды и питья. Мусульманам также запрещается есть свинину. Я однажды был свидетелем интригующего осквернения

ния данного исламского табу, которое произошло на противоположном конце широко раскинувшегося Исламского мира.

В Китае в 1929 г., как раз после того, как Гоминьдан наконец одержал победу над северными военачальниками[11], я был приглашен президентом и госпожой Чан Кайши[12] к ним на обед, который состоялся в Нанкине. Когда я представился, госпожа Чан сказала мне: «Надеюсь, вы не будете возражать, если сегодня вечером мы угостим вас кое-какими специфическими кушаньями. Нашим гостем будет также генерал Ма[13]. Он не так давно перешел на нашу сторону, так что мы стремимся проявлять по отношению к нему особую обходительность. Однако он мусульманин, а у мусульман, как вы знаете, странные идеи насчет свинины». Я заверил мадам Чан, что мне об этом известно. Я провел некоторое время в Турции, и мне понравилась еда, которую там подавали. Все как будто было в порядке, но, когда генерал Ма прибыл и обед начался, меня ожидало два сюрприза. Главное блюдо оказалось из свинины, а генерал Ма съел его, не только не моргнув глазом, но и с явным удовольствием.

Как следовало истолковать эти удивительные факты? Был ли повар Чанов тайным врагом? Подал ли он свинину в тот вечер нарочно, со злым умыслом, чтобы нарушить планы своих хозяев? Решил он внушить генералу Ма, что его хозяева намерены, вопреки ожиданиям, оскорбить его? Рассчитал ли повар, что этот самоочевидный выпад настолько оскорбит генерала, что заставит его вновь перейти на другую сторону, изменив теперь Гоминьдану? И как следовало объяснить спокойствие генерала Ма? Обладал ли он настолько сильной выдержкой, что смог заставить себя проглотить эту нечистую пищу, а также скрыть свое отвращение и негодование в ожидании возможности взять реванш?

Безмятежное спокойствие генерала Ма озадачило меня, потому что я знал, что автоматическое отвращение человека к запретной еде обычно пересиливает собственно убежденность в том, что данное табу необходимо. Гарольд Ласки[14] однажды рассказывал мне, в качестве своего любопытного наблюдения, что вид бекона по-прежнему вызывает у него тошноту, хотя на сознательном уровне он полностью освободился от своих традиционных еврейских предубеждений. Я также знал из собственного опыта, что англичане, носители христианской традиции, испытывали тошноту при виде конины, и я понимаю причину. На дохристианской стадии английской истории наши предки-язычники имели обыкновение пировать лошадиным мясом, которое они предлагали в качестве жертвы своим богам. Поэтому христианские миссионеры, обращая их в христианство, наложили табу на предмет рациона, который ассоциировался с религией, оказавшейся ныне под запретом. (Мои французские

и валлонские[15] современники способны есть конину с удовольствием. Дело в том, что тевтонские жертвоприношения не были включены в их дохристианский религиозный ритуал, поэтому для них не требовалось запрета на употребление в пищу конины для того, чтобы отвратить их от потенциальной опасности снова впасть в язычество, возвратиться к религии предков.) Но как же тогда генерал Ма ухитрился проглотить эту свинину даже без невольного содрогания?

Поразмышляв над этой проблемой, я в конце концов пришел к выводу, что простейшее объяснение наиболее правдоподобно. Я заключил, что все замешанные в это дело люди действовали добросовестно, потому что все они действовали в неведении, с полной наивностью. Когда госпожа Чан давала указания своему повару, они оба просто все перепутали. Понятия ислама и свинины были в их сознании смутно связаны между собой, поэтому они предположили: если вы принимаете мусульманина, подать свинину будет правильно, а не наоборот. Что же до генерала Ма, я сейчас думаю, что он либо не знал, что мясо на его тарелке было свининой, либо не знал, что свинина является запретной для мусульман.

Генерал Ма мог и не знать об этом исламском запрете, поскольку в Китае ислам пошел дальше, чем в любой другой, известной мне части света, в уступках местным обычаям. В 1929 г. я посетил мусульманскую китайскую деревню в пределах переезда верхом от Пекина. Арабские надписи были перевернуты на девяносто градусов, чтобы читаться не горизонтально, а вертикально — наподобие маньчжурских или монгольских надписей, записанных иероглифами на Храме Небес[16]. Хуже того — фронтоны китайской деревенской мечети были украшены рядами духов-хранителей, помещенных туда, чтобы оберегать от злых духов. Эти добрые гении были бы на своем месте, если бы здание было языческим храмом, а не предназначалось для поклонения ревнивому богу, который запретил изображения живых существ.

Бывшие товарищи Ататюрка, которых он вынудил к эмиграции, с точки зрения материальных обстоятельств были не более удачливы, чем мои русские друзья-беженцы, но они имели требующую преодоления психологическую трудность, от чего были избавлены русские беженцы. Мои русские знакомые не имели ни малейшего побуждения как-то считаться с правящим в России коммунистическим режимом. Они были членами класса, которому коммунисты объявили войну не на жизнь, а на смерть, и им посчастливилось бежать и спастись. Связь же турецких беженцев с правящим в Турции диктатором была более сложной.

Эти былые товарищи Ататюрка пошли за ним как за своим лидером в борьбе за преодоление величайшего кризиса, которым

была охвачена страна. Они последовали за ним к победе — к победе, в которой они тоже сыграли свою роль — и их самым горячим желанием было бы продолжать действовать с ним заодно во имя возрождения своей страны. Вынудив их уйти в изгнание, Ататюрк совершил главное преступление как лично против изгнанников, так и против их общей родины. В то время, когда Турция нуждалась во всех своих патриотически настроенных, честных и способных гражданах, Ататюрк лишил ее абсолютного большинства таковых и этим своим поступком продемонстрировал недостаток того самого гражданского духа, каким были наделены его жертвы. В то время, как его соратники были полны решимости продолжать работать на благо страны под его руководством, Ататюрк же ответил тем, что вытолкал их вон; их непростительное в его глазах преступление заключалось в том, что они также являлись личностями со своими мнениями, и покуда эти другие выдающиеся турецкие мужчины и женщины работали с ним бок о бок, он не мог выглядеть единственной звездой на турецком небосводе. Ататюрк оказался подвержен профессиональной слабости диктаторов — неспособности сотрудничать с равными себе, и за это расплачивались его изгнанники. Каждый из них имел не меньшее право, чем Данте, назвать себя *exul immeritus*[17]. Но было бы это для них допустимо, встать в позу Данте — непреклонную позу оскорбленного достоинства? Ататюрк был вопиющим образом не прав, но он все-таки продолжал оставаться спасителем их общей родины. Изгнанники по-прежнему одобряли прошлые действия Ататюрка и продолжали также одобрять значительную часть его текущей политики. Какую политическую линию следовало им принять в отношении Ататюрка — как между собой, так и перед лицом сочувствующих иностранных друзей?

В этой тяжелой моральной ситуации мои турецкие друзья в изгнании выказали здравость суждений и достойную восхищения щедрость. Их комментарии по поводу действий Ататюрка были откровенными, но избирательными и объективными. Ни нотки персональной горечи никогда не сквозило в том, что они говорили. Рауф Орбей, в частности, завершал любой критический комментарий, который ему случалось делать, неизменным прибавлением, что, несмотря ни на что, Ататюрк — великий человек, что его видение ситуации и его сила воли спасли Турцию и что всякий патриотически настроенный турок обязан чувствовать к нему восхищение и благодарность за то, что он сделал для страны, вне зависимости от поведения Ататюрка по отношению к отдельным личностям. Аднан и Рауф были людьми разных темпераментов и дарований. Аднан был, в первую очередь, ученым-гуманитарием, Рауф — преимущественно человеком действия; но наличие благородных духовных устремлений роднило их характеры.

Помимо своей бросающейся в глаза искренности и великодушия, Рауф был романтиком. Я уже упоминал о его абхазском происхождении. (В смысле религиозной принадлежности абхазцы делятся на православных христиан, к которым принадлежала баронесса Мейендорф, и мусульман суннитского толка, к которым принадлежал Рауф Орбей.) По профессии Рауф был морским офицером. В Первой Балканской войне он командовал крейсером «Хамидие»[18] и ходил на нем от Дарданелл до Алжира, пробираясь сквозь огонь греческой морской блокады. Он сумел совершить несколько торговых рейдов, не будучи пойманным, хотя греческий военно-морской флот господствовал на море, где он действовал. После вступления Турции в Первую мировую войну Рауф совершил равно отчаянный сухопутный рейд на трубопровод Англо-Иранской нефтяной компании, пролегающий между ее нефтепромыслами и нефтеперегонным заводом на острове Абадан. Если бы он преуспел в этом предприятии, то мог бы привести британский флот к остановке. Когда я познакомился с Рауфом (это было в Анкаре в 1923 г.), он был премьер-министром в турецком национальном правительстве. Он дождался возвращения из изгнания и во время Второй мировой войны был послом Турции в Лондоне. В отношениях с друзьями он был человеком, на преданность которого всегда можно было положиться.

Тех моих турецких друзей, которые находились в изгнании в последние годы правления Ататюрка, я имел возможность видеть наиболее часто и узнал лучше других. Но у меня также были и другие. Одним из таких был Фетхи Бей Окьяр, один из сподвижников Ататюрка, которого тот предпочел не удалять от себя, хотя был очень близок к ссоре с ним, по крайней мере, однажды. Фетхи получил возможность продолжать служить своей стране, без какой бы то ни было утраты личной неприкосновенности и чести. Сын Фетхи, Осман, был одним из самых дорогих моих друзей (среди людей любой национальности) из того поколения, которое следует за поколением его отца и моим. Моя первая встреча с Османом состоялась в 1923 г. в доме его родителей в Анкаре. Он тогда едва только вышел из колыбели; потом он вырос и стал видным экономистом, а теперь является ректором недавно учрежденного университета в Эрзеруме. Один из моих турецких друзей, из тех, что принадлежат моему поколению — это Шериф Ремзи Бей[19], лучший ученик моего старого канадского друга доктора Маклахлана[20], профессора бывшего Международного колледжа в Измире. Из более старшего поколения у меня были турецкие друзья, которые не все разделяли национально-освободительные взгляды других моих друзей. (Иностранец имеет то преимущество, что в своей дружбе ему не требуется ограничиваться каким-то одним политическим лагерем.) Был

еще «инглиз» Рифат[21] — турок-англофил старой школы, которому меня представил Обри Херберт[22] и который тоже стал моим другом. Был и философ-платоник Риза Тевфик[23], который до такой степени создал себе среди турецких националистов положение «персона нон грата», что для него было уже дальше неблагоразумно оставаться на свободе. Когда я познакомился с ним, он нашел прибежище в пределах Американского колледжа для девочек в Арнауткёи. Впоследствии ему дал постоянное убежище в Трансиордании эмир Абдалла[24].

Вы увидите, что у меня есть много турецких друзей, и из них несколько весьма близких. Как случилось, что я обзавелся этими личными отношениями с турками? Главная причина возникновения этих дружеских связей заключается в той работе, которую я выполнял на службе у лорда Брайса, участвуя в составлении, по заданию правительства Великобритании, Синей книги, посвященной геноциду армян в Оттоманской империи в 1915 г. Изучение проблемы случившегося привело меня к тому, что я познакомился с соотечественниками тех преступников, чьими руками совершался геноцид. Это может, на первый взгляд, показаться нелогичным, поэтому сейчас я по порядку прослежу те шаги, которые вывели меня от исходной точки к концу этого исследовательского пути. То было путешествие ума, а также — как я теперь вижу его в ретроспекции — и духа, так как, по существу, то было углубление в тайну человеческой природы.

Сбор и сопоставление свидетельств, из которых составлялась Синяя книга, заняли большую часть моего рабочего времени в течение ряда месяцев. И, после того как Синяя книга была опубликована, я не мог изгладить ее содержание из своего сознания. Меня не только преследовали образы страданий жертв и страшных деяний преступников; меня мучил вопрос: как вообще могут человеческие существа совершать то, что творили эти злодеи, вершившие геноцид. Существовали в этой истории детали, которые проливали кое-какой свет. Выяснялось, что преступники не были турками местными, то есть непосредственными соседями армян. Большей частью те, местные, просто пассивно смотрели на происходившее. (Конечно, это тоже было достаточно отвратительно.) В нескольких случаях имелись свидетельства, что местные турки делали что могли, дабы защитить своих армянских друзей и помочь им. Депортации выполнялись по приказам стамбульского правительства, и эти приказы выполнялись жандармами и солдатами, которые не имели личных связей с данной местностью. Эти факты позволяли предположить, что человеческие существа не склонны совершать зверства над теми своими собратьями, с которыми они лично знакомы. Если кто-то собирается вести себя зверски по отношению к другим

человеческим существам, его отношения с жертвами не должны носить личного характера. Например, в Великобритании нам пришлось дегуманизировать наш мысленный образ немцев путем навешивания ярлыка *Huns*[25], с тем чтобы облегчить для массового сознания восприятие необходимости массового убийства «гуннов». Организаторы геноцида армян (триумвират) были членами комитета «Единение и прогресс»[26], но, пожалуй, лишь Талаат[27] был наиболее разумным из правящих триумвиров. Но как эти трое дошли до того, чтобы совершить свое ужасное деяние? Всего за восемь лет до этого комитет «Единение и прогресс» сверг автократическую власть султана Абдул-Хамида II, вооружившись программой преобразования Турецкой империи в демократическое содружество, в котором все входящие в него религии и национальности должны были впредь пользоваться равными правами[28]. Турецкая революция 1908 г. завладела в то время моим вниманием, она будоражила мое воображение. Фактически это событие привело к тому, что я заинтересовался текущими международными событиями. И на моих глазах, в течение восьми лет с 1908 по 1915 г., лидеры комитета явно деградировали от идеалистов до людоедов. Как можно объяснить такую метаморфозу?

Здесь следует упомянуть, что мотивы триумвирата начать истребление оттоманских армян носили характер не только обезличенный, но и политический. Со времен русско-турецкой войны 1877—78 гг.[29] армянская диаспора на северо-восточных территориях Оттоманской империи лелеяла определенные политические амбиции. Подобно греческой диаспоре, проживавшей дальше к западу, в Анатолии, армяне надеялись, что смогут однажды выкроить часть Оттоманской империи, чтобы создать на этой части свое государство-наследника[30]. Эти политические чаяния греков и армян не являлись законными, ибо эти диаспоры представляли собой такие меньшинства, которые были рассеяны среди турецкого большинства[31]. Их стремления не просто угрожали расколоть турецкую империю, они не могли быть осуществлены без серьезной несправедливости по отношению к самому турецкому населению. Для Турции армянский вопрос встал после ее вступления в Первую мировую войну, когда русские подавили попытку турецкого вторжения в российское Закавказье, а вслед за этим вторглись в северо-восточную Турцию[32]. В этот момент турецкие власти обнаружили, что местное армянское население было склонно помогать русским захватчикам в качестве тех, кого мы называем «пятой колонной»[33]. Тогда они решили депортировать армян из зоны военных действий, и это, само по себе, могло бы сойти за законную меру безопасности В аналогичных обстоятельствах другие правительства предпринимали аналогичные действия. Правительство Соединенных Штатов, к при-

меру, депортировало свою японскую диаспору из Тихоокеанской зоны в бассейн реки Миссури после того, как японский флот напал на американский флот в Пирл-Харборе; и в ходе этой депортации также были совершены уголовно наказуемые деяния[34]. Депортируемые японцы также подверглись крупномасштабным мошенничествам и грабежам. Однако в Турции в 1915 г. депортируемые оттоманские армяне были не просто ограблены; депортация осуществлялась с намеренной жестокостью, рассчитанной на то, чтобы попутно повлечь за собой максимальные потери человеческих жизней. В этом и состояло преступление комитета «Единение и прогресс»; и мое изучение этого вопроса оставило такое впечатление, которое не было изглажено в моем сознании еще более хладнокровным и крупномасштабным геноцидом, который совершался во время Второй мировой войны нацистами.

Любое крупное преступление — частного или общественного характера, нацеленное на конкретное лицо или обезличенное, — поднимает вопрос, который перешагивает пределы национальности и обращен в самую суть человеческой природы. Мое изучение событий геноцида, происходившего в Турции в 1915 г., подвело меня к осознанию существа первородного греха. В этом грехе проявляется неотъемлемо присущее человеческой натуре свойство омерзительной злобы. Но в то же время ей же неотъемлемым образом присуще и свойство привлекательной доброты. Каждая человеческая душа представляет собой поле битвы, на котором две эти непримиримые духовные силы непрерывно борются за господство. Моральная противоречивость человеческой натуры является тайной, которую каждый из нас обязан попытаться исследовать — и не просто ради того, чтобы удовлетворить интеллектуальное любопытство, но чтобы попытаться преодолеть первородный грех и подчинить его. Человек обязан исследовать человеческую природу в себе самом; он обязан исследовать ее в своих соседях. И что касается меня, то, если брать соседей, я должен начать со своих соседей — турок. Известные нам турецкие преступники — Талаат, Джемаль, Энвер[35] и их подручные — составляли лишь малую часть турецкого народа, однако именно из этого народа они произросли. Однако я не имел права довольствоваться изучением турецкого народа в массе. Я не должен был забывать дегуманизирующий эффект коллективных ярлыков. Если мне предстояло постичь человеческую натуру в ее турецком воплощении, я должен был узнать живых турецких мужчин и женщин, познакомиться с ними лично и узнать каждого из них как одного из моих собратьев — людей, обладающих теми же чувствами, что и я. Я продолжал держать в голове это решение, пока наконец мое освобождение от работы, связанной с военными условиями, не позволило воплотить мой замысел в жизнь.

Моим первым шагом стало изучение турецкого языка. Человек далеко не продвинется в установлении контакта с людьми, чей язык отличается от его собственного, если не может с ними общаться — хотя бы сбивчиво, хотя бы при поверхностном знании их родного языка. Поэтому, как только у меня, среди моей преподавательской работы на кафедре Кораиса в Лондонском университете, появился небольшой досуг, я записался на турецкое отделение Лондонской школы ориенталистики и африканистики, и там я приобрел своего первого турецкого друга — преподавателя этой школы Али Ризы Бея[36].

Спустя долгое время после этого я услышал от директора школы, сэра Денисона Росса[37], какова была моментальная реакция Али, когда он обнаружил мое имя в списке очередной группы своих студентов. Али Риза пошел прямиком к директору и сказал, что не желает принимать в качестве ученика одного из составителей книги, в которой тот зарекомендовал себя врагом Турции. Ответ директора был таков: «Если вы откажетесь обучать профессора Тойнби турецкому языку, вы проявите недостаток веры в свою страну. Если вы истинно верите в свою страну (а я уверен, что так оно и есть), вы сделаете так, что тот, кто кажется вам предубежденным против вашей страны, при более близком знакомстве с ней изменит свое мнение. Когда вас просят учить профессора Тойнби турецкому языку, вам предоставляют возможность помочь ему изменить свое мнение. Язык — это дверь к пониманию людей, которые на нем говорят. Стремясь научиться турецкому, разве профессор Тойнби не проявляет желание лучше познакомиться с турками?» Али Риза почувствовал силу аргументов сэра Денисона Росса. Он снял свое возражение, и, когда я появился, он не проявил и следа враждебности, которую чувствовал по отношению ко мне до встречи. Вскоре он, должно быть, осознал, что мое желание ближе познакомиться с турками было искренним. Наша совместная работа имела результатом длительную дружбу.

Совет сэра Денисона Росса, данный им Али Ризе, бесспорно, был мудр сам по себе. Но он также основывался на непосредственном, из первых рук, знакомстве со мной. Мать сэра Денисона жила на Верхней Уэстбурн-террас, всего в нескольких шагах от дома, где жили мой дядя Гарри и мои родители; и ребенком я иногда видел Денисона, когда тот приезжал в отпуск из Индии. (Он был назначен на должность руководителя медресе[38] лордом Керзоном[39], который был высокого мнения о его способностях.) Денисон Росс иногда позволял мне помогать ему разбирать свои книги и бумаги; и из них я многое почерпнул, а еще больше — из иногда происходивших у нас разговоров. Он имел способности к языкам, и ему было присуще живое интеллектуальное любопытство, особенно ко всему, что имело отношение к Азии.

Мои занятия турецким с Али Ризой были частью моих приготовлений к моему второму шагу. Я собирался посетить зону греко-турецких военных действий в качестве корреспондента газеты «Манчестер Гардиан». В ходе выполнения этого задания я планировал увидеть события, происходившие в Леванте, с обеих сторон линии фронта. В этом я видел свой профессиональный долг по отношению к «Гардиан», однако, в любом случае, это было моим личным побуждением. Я давно уже накрепко усвоил правило *Audi alteram partem*[40], и я толковал слова *alteram partem* не просто как «дело противной стороны», но, в частности, как «то, дело из двух, которое больше рискует быть плохо услышанным». Я тогда уже оценил меру пропагандистского преимущества, получаемого той стороной, которая захватывает монополию на изложение происходящих событий. Я понимал, что мы смотрели на персов сквозь призму греческого видения, на спартанцев и беотийцев — глазами афинян, на филистимлян и финикийцев — глазами израильтян[41]. Если человек хочет смотреть сам, без посредников, он должен также увидеть происходящие события глазами той стороны, которая не имеет возможности высказаться; он не должен позволять стороне, имеющей такую возможность, сказать последнее слово — так же, как и первое. В данном конфликте и борьбе между греками и турками греки снова получались слышимой стороной. Я был знаком с делом греков и чувствовал, что оно способно само о себе позаботиться; но именно дело турок было тем делом, которое я должен был взять на себя труд понять. Поэтому, посмотрев на греко-турецкую войну с греческой стороны фронта, я поехал в Турцию, чтобы взглянуть на нее теперь уже с турецкой стороны.

В Турции я натолкнулся на тот барьер, который грозил бы мне и в случае с Али Ризой, если бы сэр Денисон Росс заранее не облегчил мне его преодоление. Я обнаружил, что турки, с которыми я теперь начал общаться, относятся ко мне с враждебностью и подозрением. Ведь я рабо́тал вместе с лордом Брайсом над Синей книгой, а на их, турецкий, взгляд имя «Брайс» звучало почти так же скверно, как «Гладстон»[42]. Кроме того, я был преподавателем по истории Греции Нового времени. Я только что прибыл из греческой армии, попиравшей турецкую землю. Хуже всего — я был представителем английской газеты «гладстоновского» толка, «Манчестер Гардиан». Я провел ряд бесплодных интервью с директором Стамбульского Красного Полумесяца Хамидом Беем. (Голова этого привлекательного, но грозного человека была такой же громадной и квадратной, как у Неймира и Эрлиха.) Однажды Хамид Бей неожиданно предложил мне в тот же самый вечер подняться на борт корабля Красного Полумесяца, который собирался в Ялову, на Анатолийское побережье Мраморного моря, чтобы вывезти турецких

беженцев. Ялова находилась под греческой военной оккупацией, и там произошло избиение местного турецкого населения местными же греками и армянами. Хамид Бей был удивлен, когда я ухватился за эту возможность увидеть события с турецкой стороны. Он был еще больше удивлен, когда после возвращения в Стамбул я показал ему текст телеграммы, направляемой мной в «Манчестер Гардиан», в которой я давал отчет об увиденном. Больше всего он удивился, когда получил экземпляр вышедшей «Гардиан», в котором моя корреспонденция была напечатана. Я до сих пор вижу эту сцену в офисе Красного Полумесяца: огромный Хамид Бей, с английской газетой в руках и в окружении своих коллег с сияющими лицами. Их дело наконец получило правдивее изложение в британской прессе.

Я убедил турок в своей добросовестности и в результате этого приобрел ряд турецких друзей. Забегая вперед, скажу, что поплатился за это тем, что лишился доброго мнения греков. В их глазах я был теперь предателем; и, без сомнения, если бы какой-то ученый, специалист по исламу из Британии — ну, например, сэр Томас Арнольд[43] — посетил бы зону греко-турецких военных действий и пришел к заключению, что правота за греками, турки бы ополчились против него так же, как греки ополчились против меня. Убедить греков в моей добросовестности едва ли было возможно. И, когда я вернулся на родину, мне предстояла достаточно нелегкая задача — убедить моих соотечественников непредвзято выслушать изложение дела с турецкой точки зрения.

Я знал о трудностях заранее, потому что помнил ту атмосферу враждебности по отношению к исламу и туркам, в которой я сам вырос. Мои родители не были особенно привержены римско-католической церкви; но после того, как дядя Гарри как-то раз за чаем заявил, что Мухаммед не был так скверен, как римский папа, родители потом сообщили мне потихоньку, что папа на самом деле был вовсе не так уж плох. Я также помнил, как однажды отец пришел домой с работы, переполненный впечатлениями от беседы, которая состоялась у него с армянским беженцем. Мой отец был должностным лицом в Обществе по организации благотворительной помощи[44]; ему было поручено управление местными отделениями организации в Южном Лондоне; и армянин обратился в эту организацию за финансовой поддержкой. То было в 1897 г., и этот армянин был из тех, кто бежал от обрушившейся на армян массовой резни, которая только что была учинена султаном Абдул-Хамидом II[45]. Позднее, когда я спросил мать о тех турках, подвергших гонениям армян, которым оказывал помощь отец, она выразила в отношении турок столь открытое и сильное порицание, которое простиралось много дальше гладстоновского. Когда Гладстон потребовал изгнания

турок из Европы, «полностью и окончательно», он имел в виду «вытеснить их в Азию, откуда они и появились». Таким образом, Гладстон (хотя тогда я не знал этого) оставлял за ними крупнейший из континентов, «библейские земли» и все прочее. Однако двадцатью годами позже знаменитой речи Гладстона моя мать сказала мне, что Малая Азия слишком хорошая страна для того, чтобы позволить туркам ею владеть. В то время все мои знания об отношениях между исламом и христианством не простирались далее истории крестовых походов. В отличие от мсье Клемансо в 1919 г., я уже в 1897 г. знал, что в крестовых походах христиане в конечном счете потерпели поражение[46]. «Я думаю, христиане не достаточно сильны, чтобы выгнать турок из Малой Азии», — сказал я. «О нет, ошибаешься, — сказала мать, — они могли бы выгнать их хоть сейчас, если бы захотели. Что позволяет туркам удерживаться там, где им не место, так это эгоистическое взаимное соперничество христианских стран». Эта побочная критика со стороны моей матери стала моим первым знакомством с циничной и бессмысленной международной игрой, которая впоследствии обернулась гибелью для половины моих друзей по школе и колледжу и для миллионов других моих соотечественников. В Париже в 1919 г., а потом в 1946 г.[47], непосредственно соприкоснувшись с закулисной стороной этих игр, я понял, что суровые осуждающие слова моей матери были даже слишком мягки.

В 1919 г., вернувшись в Лондон из своей поездки в Левант, я попросил Хедлэма-Морли организовать для меня приглашение в качестве докладчика на одно из осенних заседаний в Четем-Хаусе, с тем чтобы я мог поделиться своими непосредственными впечатлениями с сотрудниками института и осветить перед ними турецкий вопрос. Собрание состоялось 22 ноября 1921 г.; сэр Артур Эванс[48] предоставил мне кафедру для выступления; а перед этим попросил меня пообедать с ним вместе. Это было гостеприимно, но мне было неприятно, когда за супом он сообщил мне, что намерен сказать, когда будет представлять меня аудитории. Он собирался сказать, что мы и современные греки являемся сонаследниками древнегреческой цивилизации и что мы, западные наследники Древней Греции, должны поддерживать людей, которые делят с нами это наследие, против тех людей, которые его с нами не делят. Я высказал мнение, что верный критерий для вынесения суждения в споре есть не конкретная степень чьего-то сродства с тем или иным участником спора, но представления о правоте и неправоте в конкретном случае. Однако сэр Артур уже принял решение. Открывая встречу, он сказал именно то, что обещал сказать, и его тезис вызвал громкие аплодисменты. Предполагается, что председателю собрания, на котором затрагивается дискуссионный вопрос, следует воздерживаться

от того, чтобы добавлять свой политический вес на ту или иную чашу весов. Но мой председатель на этом собрании пнул мой сизифов камень, заставив его покатиться с вершины горы прямо к подножью, и мне пришлось снова начать толкать мой камень вверх по отвесному склону всеобщей враждебной предубежденности. То была, и впрямь, нелегкая работа.

Тезис сэра Артура был уязвим, как с интеллектуальной, так и с моральной стороны. Специалист, посвятивший себя изучению ислама, напомнил бы сэру Артуру, что мусульмане также являются наследниками древнегреческой цивилизации. Где в мире в 1921 г. можно было найти авторитет Аристотеля по-прежнему непререкаемым, а медицину Гиппократа все еще практикуемой? Не в современной Греции и не на Западе, но в *Dar-al-Islam*[49]. И почему сэр Артур не пожелал напомнить моей аудитории, что современные греки и мы были сонаследниками не только древнегреческого наследия, но также и еврейского, и что в этом мусульмане были также нашими сонаследниками? Западные христиане, православные христиане и мусульмане — все они почитают того Бога, с которым познакомили их евреи, а не древние греки. Христиане и мусульмане согласились с евреями в том, чтобы считать древних греков «язычниками», как бы сильно ни восхищались они интеллектуальными и художественными достижениями этих «язычников». В современном греческом языке язычники обозначаются словом «*Hellene*»[50], т. е. тем именем, которым называли себя древние греки. Эти факты опровергают тезис сэра Артура в интеллектуальном смысле. Но интеллектуальная несостоятельность данного тезиса это уже рассуждение следующего порядка; первейший же его недостаток есть недостаток морального характера. Точка зрения, согласно которой человеку следует принимать ту сторону в споре, с которой он сочтет наличие у себя наибольшего культурного сродства, при внимательном анализе выглядит облагороженной версией доктрины Стивена Декатура[51] — «*Our country, right or wrong*» [*англ.* — «Это наша страна, права она или нет»]. А если выразить ее в более эмоциональных терминах, она превращается в гитлеровскую доктрину «кровь и почва». В любой форме, облагороженной или грубой, принесение справедливости в жертву родовым и клановым связям аморально. Те способы, которыми Гитлер и сэр Артур выражали их общую доктрину, изобличают ее.

Тем не менее на собрании в Четем-Хаусе осенью 1921 г. предисловие сэра Артура нанесло моему докладу серьезный ущерб. Освещая в Великобритании турецкий вопрос, я имел перед собой две громадные трудности, которые надо было преодолеть. Первая заключалась в традиционном христианском предубеждении против мусульман и турок; вторая — в том, что в представлении всех моих соотечественников (за очень малым исключением) турки являлись

чудовищами без лица и имени. Подобно «гуннам» и «бурам», «ужасные» турки имели уничижительный коллективный ярлык, но не имели персональных человеческих имен и лиц. Мало кто в Великобритании в числе своих друзей имел каких-либо Рауфов или Аднанов и Халиде. Мой опыт подсказывал, что разрушить традиционное предубеждение может лишь личное знакомство. Когда кто-то лично знакомится со своим собратом-человеком — не важно, какой религии, национальности или расы, — он уже не может не признавать, что тот такой же человек, как и он сам. Но это потребовало бы известного времени — завязать сеть турецко-британских личных дружеских отношений, дабы сблизить два народа.

Во всех моих отношениях с турками или делах, имеющих к ним отношение, личные связи являлись для меня ключом; и эта мысль превалировала в моем сознании в тот весенний вечер 1923 г., когда я был гостем Ататюрка на обеде в Анкаре. При этой встрече с Ататюрком, как и при моей встрече с Гитлером тринадцать лет спустя, я имел возможность затронуть только один-единственный вопрос. Поэтому, разговаривая с Ататюрком, я старался донести до него мое убеждение о наивысшей важности личных отношений во всех областях, как личных, так и общественных. Когда Ататюрк не соглашался с чьим-то мнением, он, еще не открывая рта, старался устрашить этого человека визуально. Он хмурился, что придало его лбу сходство нависшей над бровями грозовой тучи; и я оказался лицом к лицу с этим его грозным выражением, покуда он толковал мне, что я совершенно не прав. Личные отношения, сказал он мне, не имеют значения; они не производят существенного действия. Неличные общественные отношения — вот что важно.

Наш обмен мнениями был кратким, но этот обмен объяснил мне, что я нахожусь в присутствии ума мощного, но вместе с тем «монадического» (в том смысле, который вкладывает в него Лейбниц[52]). Ум Ататюрка осознал, что для турецкого народа национальное спасение лежит в отказе от имперской роли, с тем чтобы сосредоточить всю энергию на возделывании своего собственного сада, длительное время находившегося в заброшенном состоянии. Слабость энергичного и одаренного богатым воображением ума проявляется в том, что когда он накрепко проникается какой-то своей собственной идеей, то закрывается, подобно раковинам моллюска, и блокирует себя от каких-то дополнительных размышлений и переоценок. Ибо самым плодовитым источником возникновения дополнительных мыслей и переоценок является обмен идеями между своим собственным умом и другими. Это глухое самозамыкание ума Ататюрка было, я полагаю, расплатой за его демоническую силу воли. Сила воли Ататюрка спасла его страну, но его неуступчивость дорого обходилась стране теперь, когда он стал ее диктатором.

Поднимая вместе с Ататюрком вопрос личных связей в сравнении с неличными, я руководствовался собственным опытом, безотносительно к характеру самого Ататюрка. Но во время этого разговора я нащупал в нем ту сферу, в которой он был не силен. Ататюрк действительно не извлекал должной пользы из личных отношений, и не извлекал потому, что в себе самом испытывал недостаток такого качества, как любовь. Ататюрк в высокой степени обладал и умом, и сильной волей, но того качества, которое делает человека человеком, он был лишен. Если и можно сказать, что Ататюрк любил что-либо, то он любил абстракцию. Он любил Турцию (если слово «любовь» подходит в данном контексте), но он не любил по-настоящему ни одного турка, и это было неестественно, поскольку в героическом движении сопротивления, которое он возглавил, у него был ряд товарищей, наделенных человеческими сердцами, и среди них — мои друзья Аднан и Рауф. Эти его товарищи по великому общему делу и общим достижениям отдали ему свою преданность и отдали бы также и свою привязанность, если бы в нем имелось какое-то ответное чувство, открывающее доступ к чувствам других. К несчастью, отношения Ататюрка с его товарищами оставляли его сердце холодным. Когда национальный кризис миновал, Ататюрк увидел в своих прежних сподвижниках лишь массу причин для беспокойства. Они стали для него бельмом в глазу, и он боролся с этим раздражителем, изгоняя из страны своих товарищей — патриотов, мыслящих более благородно, чем он сам. К моменту смерти Ататюрка только две ведущие фигуры равного ему масштаба избежали этой участи. Одним из двух был Фетхи Бей Окьяр, вторым — Исмет Инёню[53].

Что ж, я не согласен с Ататюрком. Для меня личные отношения являются наиболее ценной вещью в жизни. Поэтому, когда я размышляю о моих турецких друзьях, мысли обращаются снова к Адиварам, дружба моя с которыми была теснее всего. Последняя встреча моя с Халиде-ханум Адивар произошла в Стамбуле 19 ноября 1962 г. Она жила все там же, в квартале между мечетью Завоевателя[54] и побережьем Мраморного моря, — там, где они с Аднаном обосновались после своего возвращения на родину. (Выбрав себе для проживания самое сердце Стамбула, Адивары проигнорировали имевшуюся тогда среди турецкой интеллигенции моду — переезжать на Перу, французское предместье Стамбула, «за пределами» бухты Золотой Рог.) В 1962 г. Халиде была все там же, где я находил ее и раньше, но теперь она была одна и одинока. Аднан встретил такую же смерть, что и Лоренс Хэммонд, которого он так сильно мне напоминал. Как и Лоренса Хэммонда, Аднана Адивара унесла из жизни сердечная недостаточность, а Халиде осталось страдать, подобно Барбаре Хэммонд. На скорбь Халиде было тяжело

смотреть; и в то же время она высветила в ее характере сторону, которая была скрыта, пока Аднан был жив. Когда я впервые увидел Аднана и Халиде вместе, я почувствовал в ней резкость, которая смягчалась (но не полностью преодолевалась) влиянием Аднана. Теперь, когда Аднана больше не было, старая горячность уступила место мягкости и чувствительности. Вдова Аднана жила, погруженная в мир своей любви к нему. Было трудно желать, чтобы она продолжала вести жизнь, исполненную такой печали; и когда весть о ее смерти достигла меня, я почувствовал, что она стала для нее счастливым избавлением. Жизнь Халиде закончилась в печали, но она прожила ее не зря. Как писательница и как патриотка, а также, в первую очередь, как человек, любящий и любимый, Халиде состоялась в полной мере.



20. ПРОФЕССОР ЛЮТОСЛАВСКИЙ[1]

«Вы привыкли есть?» Таким вопросом сразил нас с женой профессор Лютославский. Это было сказано таким тоном, который, казалось, подразумевал, что подобная привычка и противоестественна, и постыдна. Если бы он обращался к нам по-латыни — на языке, с которым он был знаком как поляк и как специалист по классической филологии — его вопрос к нам, определенно, начинался бы со слова *num*, а не с *nonne*[2]. Если нам хотелось сохранить уважение профессора Лютославского, то следовало бы, по идее, отрицательно покачать головой. Однако слабость и порочность человеческой природы побудили нас со стыдом сознаться в приверженности к этой привычке. Вопрос был задан ближе к концу шестого часа нашего пребывания у профессора в гостях, в его квартире в городе Вильно, в один из дней 1928 г.[3]. К этому моменту профессор уже объявил о своем намерении повести нас в театр на просмотр польской пьесы, который грозил затянуться по меньшей мере на столько же часов, поскольку сюжет пьесы, как поведал нам хозяин, охватывал всю историю человеческой цивилизации. Даже если бы наш дух того и желал, все равно плоть оказалась бы слишком слаба, чтобы вытерпеть еще шесть часов без подкрепления.

Только славянин может, презрев все внешнее, обратиться к самой сути вещей. Прежде я считал радикалом своего друга Гарри Тоуни, но Гарри Тоуни не задавал столь радикального вопроса своему однокашнику Уильяму Темплу, когда архиепископ Темпл проводил ночь под его крышей. Он проявил британскую интеллектуальную небрежность, произвольно сочтя ответ на этот вопрос чем-то и без того разумеющимся — причем ответ именно утвердительный. Перейдя сразу *in medias res*[4], Гарри без обиняков спросил Уильяма, не желает ли тот поужинать именно сейчас? Ничего, кроме конкретного времени приема пищи, для Гарри вопроса не составляло; привычка питаться как таковая им под сомнение не ставилась.

Умственная дисциплина профессора Лютославского была более жесткой, и к тому же он также жил и действовал по своим собственным принципам. В ресторане, где мы с женой теперь спешно закусывали, он не нарушил своего поста — как не нарушил его и много позднее, когда, после окончания многоречивой постановки на тему мировой истории, мы прощались с ним в первые предрассветные часы наступавшего дня. Профессор Лютославский не только сам исповедовал привычку не есть, которую проповедовал; он также утверждал, что однажды совсем близко подошел к тому, чтобы начать успешно практиковать ее на других. Он предложил тогда управляющим горнодобывающей компании свои услуги в качестве консультанта по научному менеджменту, и суть его рекомендаций заставила

этих бизнесменов воспринять его предложение всерьез, несмотря на очевидную несовместимость этих рекомендаций с фундаментальной наукой. (То был дар данайцев.) Лютославский сообщил шахтовладельцам, что шахтерам есть вредно, и дал понять, что люди будут работать гораздо лучше, если эта их дурная привычка будет сведена к минимуму. Он предложил взять на себя этот процесс сведения их еды к минимуму, и тут-то управляющие навострили уши. Не будет еды — не будет семейного бюджета; не будет семейного бюджета — не нужно будет зарплаты. Если проект профессора Лютославского удастся, они смогут добиться выполнения работы просто из любви к искусству; а тогда ставшие больше ненужными зарплаты шахтеров можно будет обратить в дополнительные доходы акционеров предприятия. Управляющие с радостью предоставили профессору свободу действий; и, согласно его рассказу, он уже научил шахтеров обходиться *per diem*[5] пучком салата, когда эксперимент вдруг необъяснимым образом провалился. Шахтеры дали задний ход и вновь переметнулись к своей привычной солонине с картошкой.

В Вильно в 1928 г. профессор Лютославский был вынужден стерпеть нашу с женой привычку к еде, но он оставил нам слишком мало времени перед началом спектакля, чтобы ей потворствовать. Когда мы торопливо добрались до театра, действие уже началось. Купить билеты было еще можно, но когда мы вошли, то увидели, что в зале все места заняты. «Следуйте за мной», — сказал профессор и повел нас прямо в середину первого ряда партера. Затем он пошептал на ухо трем сидящим там людям, после чего те вскочили, уступив нам свои кресла, и ретировались в дальний конец зала, чтобы простоять там все пять с половиной часов. Мы с женой испытывали угрызения совести. «Будьте любезны, что вы им сказали?» — спросили мы. «Я сказал им следующее, — был ответ профессора. — Я, профессор Лютославский, как вам известно, а это двое моих английских друзей. В интересах польского возрождения надо, чтобы иностранцы увидели и оценили наши культурные достижения, поэтому я бы хотел, чтобы вы уступили им два хороших места и еще одно — для меня, так как без моего перевода они не смогут разобраться в сюжете. Конечно же, они были счастливы послужить таким образом своей родине», — прибавил он.

Этот случай открыл нам, что профессор Лютославский пользуется в этой стране авторитетом — или, по крайней мере, авторитетом среди польского меньшинства населения города Вильно. Большинство населения этого крупного города, предмета многочисленных территориальных споров, составляли белорусы и евреи[6]. Но не эти две национальности были соперничающими претендентами на владение городом. Верховную власть над Вильно оспаривали друг у

друга Польша и Литва. Город отошел к Польше после завершения Первой мировой войны, благодаря дерзкой и своевольной акции польского военачальника генерала Желиговского[7]. Генерал успешно проигнорировал решение Парижской мирной конференции, когда она потребовала от него отвести войска и уважать право мирной конференции решить политическую судьбу Вильно. Этот беззаконный акт Польши явился одним из самых ранних послевоенных симптомов того, что человечество так и не излечилось от своей привычки прибегать к помощи грубой силы и что, следовательно, Первая мировая война, вероятно, окажется не последней. Тем временем польское правительство попустительствовало этому, по всей видимости, независимому от него польскому генералу (который поставил всех уже перед этим *fait accompli*[8]), поскольку пользовалось преимуществами свершившегося. Польша аннексировала Вильно вопреки протестам Советского Союза и Литвы.

Против Советского Союза польское правительство безрассудно применило форс-мажор, когда в 1921 г. воспользовалось своим военным превосходством, на деле бывшим эфемерным. Польша навязала Советскому Союзу мирный договор, по которому к ней отходила полоса украинской и белорусской территорий, включавшая в том числе и Вильно[9]. Но польское владычество над Вильно продолжало оставаться шатким, ибо в районе Вильно размеры аннексированной Польшей территории сужались до узкой полоски, которая едва лишь отделяла Советский Союз от Литвы, достигая границы Латвии на реке Двине. Что касается Литвы, она отказалась заключить мирный договор с Польшей и осталась непримирима, поскольку когда-то — примерно шестью столетиями раньше, когда Литва простиралась от Балтики до Черного моря[10] — Вильно являлся столицей Литвы. Польско-литовская линия прекращения огня оставалась закрытой для проезда. Чтобы достичь Ковно[11], вынужденной и временной столицы Литвы в период между двумя мировыми войнами, нам с женой пришлось доехать до Латвии, а затем спуститься южнее и попасть в Литву из этой нейтральной зоны, исполняющей роль мостков через реку. И вот в Ковно одержимость литовцев потерей своей исторической столицы поражала наше внимание на каждом шагу. Примером может служить поведение кассового аппарата в привокзальном ресторане Ковно. Мы прибыли в Ковно на пасхальной неделе. Хотя Литва является страной римско-католической, проникновение православного, восточного христианства повышало строгость Великого поста в католической Литве почти до той степени, свойственной православию. В 1928 г. с вечера Страстной пятницы до середины дня Пасхальной субботы никакой пищи и напитков в городе не продавалось, и, чтобы добыть себе чашку черного кофе и сухарик, нам пришлось воспользоваться языческим привокзальным рестораном. И вот

там мы смогли наблюдать, что всякий раз, как официантка нажимала на клавиши кассового аппарата, рядом с цифрами выскакивал лозунг «Помни о Вильнюсе!».

Впоследствии станет ясно, что для удержания Вильно Польше требуется немалый и героический гарнизон, и профессор Лютославский является немаловажной его частью. Он олицетворял собой хозяина польского дома, ибо когда он переехал, туда же вместе с ним и в его лице переехала польская культура. Патриотический жест профессора был высоко оценен соотечественниками, и те трое из них, которые освободили для нас места в театре, отдавали свою дань уважения ученому-патриоту. Конечно же, судя по всему, они были поляками. Будь они литовцами, они бы не стали приносить эту жертву. Более того, литовские жители Вильно наверняка не пришли бы в театр смотреть польскую пьесу, дабы не выражать тем самым свое одобрение польской оккупации.

Винценты Лютославский представлял собой культурное достояние Польши, потому что как специалист в области греческой античности он был известен во всем мире. Он был первопроходцем в разработке объективного метода установления хронологической последовательности диалогов Платона[12]. Открытие в этой области означало бы важный шаг в постижении платоновской философии, однако предшественники Лютославского были поставлены в тупик скудостью сохранившихся по данному предмету сведений. Лютославский был первым исследователем Платона, которому случайно пришла в голову блестящая мысль обратить внимание на «внутреннее» свидетельство. Он провел доскональное изучение всего объема сохранившихся до наших дней сочинений Платона со стилистической точки зрения. Профессор заметил периодическую повторяемость в использовании одних и тех же стилистических приемов, подсчитал количество появлений каждого из них и количество сочетаний каждого из них со всеми другими и рассчитал относительную частоту использования каждого из этих приемов в каждом из Платоновых диалогов. Он был уверен, что его скрупулезное исследование высветило последовательные стадии развития платоновского литературного стиля; уверенный в достоверности этих показателей, он предложил для диалогов пробный хронологический порядок. И, хотя его открытие не могло претендовать на окончательность, оно было воспринято его собратьями, исследователями наследия Платона с пониманием и благодарностью.

В наши дни человек, располагающий компьютером, был бы способен довести до конца первопроходческую работу Лютославского, наметив себе гораздо более обширное число сочетаний и перегруппировок отличительных особенностей Платонова стиля. Ему осталось бы всего-навсего «запрограммировать» машину («всего-навсего»

звучит здесь сомнительно), и этот электронный Бриарей[13] доделал бы остальное. Лютославский же вынужден был сам служить себе компьютером, а в этом виде работы метод «сделай сам» трудоемок и утомителен. Иностранные ученые-гуманитарии, которые знали Лютославского только по его публикациям, скорее всего, сформируют ошибочный образ этого усердного польского ученого. Вероятно, они нарисуют себе Лютославского этаким возведенным в степень *Gelehrter*[14] немецкого типа. Такая ошибка была бы вполне естественной, но, если бы Лютославский узнал, что его ассоциируют с чем-то германским, он бы вознегодовал. Ибо Лютославский был самым ярым германофобом, какого я когда-либо встречал.

Однажды я испытал конфуз, непосредственно столкнувшись с этой его фобией. Лютославский был в Лондоне, и мы обедали у нас в доме — профессор, моя жена и я, — когда случилось заглянуть нашему английскому другу Чарльзу Зипману[15]. Я представил Зипмана Лютославскому, и, услышав немецкую фамилию, польский ученый, сверкнув глазами, с ходу бросился в атаку: «Вы, немцы, хвастаетесь, что намерены отобрать назад польские территории, которые мы вернули себе в прошлом году[16]. Да, действительно, между нами неизбежно будет еще много войн, и всякий раз нам, полякам, придется страдать, но всякий раз мы в итоге будем отбирать у вас все больше территорий»[17]. Я попытался вмешаться, но не мог вставить и слова. Я не мог заставить Лютославского понять, что он мечет свои стрелы в ложную цель. Чарльз Зипман был таким же англичанином, как и я, и дальнейший переход территорий от Германии к Польше касался его не в большей степени, чем меня — разве что (предположение не столь уж фантастическое) очередная германо-польская война перерастет в новую мировую, которая уничтожит и всех нас, остальных.

В каждой европейской стране есть добрые ее граждане и патриоты с иностранными фамилиями, и этот факт говорит лишь о том, что семья носителя такой фамилии имеет иностранные корни, недавние или давнишние. К примеру, в период между мировыми войнами в Польше был польский гражданин и маршал Смиглы-Ридз[18], носивший фамилию, по которой можно определить ее английское происхождение — если придерживаться польского произношения, но записать имя латинскими буквами, которые передают эквивалентное звучание его на английском. Тогда фамилия Смиглы-Ридз превратится в первоначальную Смайли-Ридж. Но это не делает Смиглы-Ридза в меньшей степени поляком; и если бы Смиглы-Ридз услышал от Гитлера, что Германия собирается смести с лица земли Англию, Смиглы-Ридз почувствовал бы грозящую его родной стране опасность не больше, чем обалдевший Чарльз Зипман почувствовал, что имеет отношение к участи, грозящей Германии. Все это не могло

быть не очевидно Лютославскому, когда он обрушивал на Зипмана залп своих бортовых орудий; но признавая Чарльза Зипмана англичанином, ему пришлось бы отказать себе в удовольствии потешить свою германофобию, а ему этого очень не хотелось.

Лютославский был не просто германофобом; он был убежденным поборником мессианской роли Польши. Он интерпретировал слова Второ-Исайи «скорбный слуга»[19] как относящиеся к нации, а не к отдельному человеку; и он отводил польскому, а не израильскому народу роль этого коллективного страдальца. В апокалиптическом видении Лютославского польский народ был предназначен к страданию за все человечество. И эта участь отводила полякам ключевую роль в мировой истории. Каких бы страданий полякам это ни стоило, Лютославский был готов увидеть, как они заплатят эту цену.

В этом отношении Лютославский, возможно, был точным выразителем мировоззрения своих соотечественников. По крайней мере, это можно предположить, исходя из личного опыта, пережитого Лоренсом Хэммондом, когда он в 1919 г. был в Париже на мирной конференции в качестве специального корреспондента «Манчестер Гардиан». В продолжение конференции Лоренс имел ряд встреч с польскими делегатами для того, чтобы выяснить их цели и обсудить их с ними. Поляки и Лоренс не всегда встречались с глазу на глаз; и, спустя время, один из делегатов сказал ему: «Дело в том, мистер Хэммонд, что мы с вами смотрим на вещи совершенно по-разному. Мы сейчас поняли, что для вас главной заботой является выработать такое мирное соглашение, которое бы не посеяло семян новой войны. Для вас эта последняя война была катастрофой, и вы хотите, прежде всего, воспрепятствовать ее повторению. Но мы, поляки, смотрим на вещи совершенно иначе. Для нас война — просто один из постоянных фактов жизни; поэтому наша первостепенная забота не есть избежать будущих войн; мы полагаем, что будущее сулит столько же войн, сколько их было в прошлом. Наша главная забота получить как можно больше для своей страны сейчас — что бы там ни сулило будущее». Я уверен, что профессор Лютославский, присутствуй он там, подписался бы под этой польской концепцией.

Я уже упоминал, что в тот день, когда я впервые повстречал профессора Лютославского, он на практике осуществлял то, что проповедовал. В тот раз он проводил в жизнь доктрину о том, что лучше не есть. Был также случай, когда он порывался применить к себе доктрину польского мессианства, но в этом случае его планы разрушил Джилберт Марри. Со стороны Марри то был акт законной самозащиты; ибо замысел Лютославского требовал, чтобы Марри тоже был вовлечен в это действо. Вот как я услышал эту историю

от самого Марри: однажды получил от Лютославского письмо, которое грозило поставить Марри в затруднительное положение. Каждый, писал Лютославский, нуждается в том, чтобы быть раз в жизни распятым. Он, Лютославский, чувствует, что сейчас настало его время; он только что прочитал объявление, что греческая кафедра в одном из североанглийских университетов (он назвал его) осталась вакантной. Он уверен, что эта должность была бы для него подходящей крестной мукой. Поэтому он будет очень признателен Марри, если тот будет так любезен написать рекомендательное письмо университетским властям в поддержку его, Лютославского, кандидатуры. Поразмыслив, Марри написал в своем ответном письме, что, по его мнению, крестная мука, которая может быть предоставлена этой должностью, не будет удовлетворять требованиям Лютославского. (Марри мог сказать это, положа руку на сердце, поскольку университет, о котором шла речь, был прославленным.) Марри поэтому посоветовал Лютославскому отказаться от идеи выдвигать свою кандидатуру на должность руководителя именно этой кафедры и поискать более адекватного распятия в какой-нибудь другой стране. К облегчению Марри, Лютославский не стал упорствовать.

Кафедра, которую занимал Лютославский перед освобождением и воссоединением Польши, находилась тогда на австрийской территории. Я не зафиксировал точного места. То мог быть Краков, но если то был Львов, это было бы более типично[20], ибо Лютославский любил размещаться, подобно воинским гарнизонам, на польских аванпостах, что подтвердило и его будущее переселение в Вильно. Но в каком бы городе под австрийским владычеством ни находилась его профессорская кафедра, его польский патриотизм вовлек его в тот период карьеры в политические неприятности. В читаемые им лекции о Данте то и дело врывался польский вопрос. Сплошь и рядом Лютославский начинал свою лекцию с разговора о Данте, но прежде, чем доходил до конца академического часа, обнаруживал, что говорит о польском вопросе; и с каждой следующей лекцией эта перемена темы возникала все раньше и раньше. После нескольких подобных лекций Лютославский заметил, что его аудитория пополнилась тремя вновь прибывшими слушателями. Их фигуры бросались в глаза, поскольку они сидели бок о бок в первом ряду, у всех на головах были цилиндры, и все трое прилежно записывали. Их личности скоро открылись. Все они оказались психиатрами и были уполномочены родным австрийским правительством проверить слух, что ум талантливого профессора тревожным образом мешается. Гений Лютославского был ценным мировым достоянием, и совесть слушателей не позволила им находиться в бездействии, когда гению грозила явная опасность умопомрачения. Психиатры затем деликатно переместили профессора из лекционной

аудитории в психиатрическую лечебницу, с тем чтобы провести с ним длительный курс корректирующего лечения. История умалчивает, как Лютославскому удалось вывести себя из затруднительного положения. Мы можем догадываться, что, вероятно, психиатры в конце концов смогли доложить австрийским властям, что если профессора освободить, то он, скорее всего, уже не спутает Данте с польским вопросом.

То был элегантный способ устранить публичное выражение национальных чаяний, которые были несовместимы с целостностью букета королевств и провинций, представленных в венском Рейхсрате[21]; но и профессорский способ пропаганды польского национализма был столь же элегантен. В этом случае бой между Габсбургской монархией и своенравной нацией был проведен с обеих сторон в мягких перчатках, в манере китайского бокса. Но методы монархии осуществлять свою власть не всегда были столь мягкими. Ломбардский город Бреша не забыл десяти дней своего отчаянного сопротивления новому порабощению[22]; и в Шёнбрунне[23] в 1937 г. стены парадных залов были все еще покрыты кровожадными картинами подавления неудачной войны венгров за независимость 1848–49 гг. Я спросил, не раздражали ли эти картины венгерских магнатов, когда те после заключения мирного соглашения 1867 г. пристрастились наезжать в Шёнбрунн, чтобы засвидетельствовать почтение своему императору. Ответ был, что эти бестактные напоминания о печальных событиях прошлого австро-венгерской истории, в самом деле, нанесли им значительную обиду, но Франц-Иосиф отказался пощадить чувства своих венгерских гостей. Он заказал эти зловещие картины для собственного удовольствия и совершенно не желал с ними расставаться[24].

Я много думал о профессоре Лютославском после того, как началась Вторая мировая война, когда три враждебных соседа предвоенной Польши наконец отомстили за все, вновь расколов эту страну на части. Таким образом, произошел уже пятый раздел Польши[25]. Вильно вновь стал столицей Литвы. Русские заняли Вильно и передали его литовцам, но, по существу, не утратили своей власти над ним, поскольку сама Литва была включена в состав Советского Союза. Сын профессора Лютославского был в то время в Англии, но он не больше моего знал о судьбе своего отца. Есть, однако, две вещи, относительно которых можно быть уверенным. Как поборник идеи польского мессианства профессор Лютославский не должен был удивиться, снова увидев Польшу переживающей мученичество. Он не должен был удивиться, как не должен был и устрашиться. Его вера в польскую мессианскую судьбу была непобедимой.

21. БОНН ПРИ НАЦИСТАХ

К 1930 г. занятия моего сына Тони на отделении античной филологии в Уинчестере, похоже, зашли в тупик. К сожалению для него и для других студентов, куратором их отделения («div don») был старый преподаватель-отставник. Выйдя в отставку в 1914 г., еще перед началом войны, он вернулся в колледж, чтобы занять место ушедшего на войну молодого дона, и продолжал оставаться на этом месте и в послевоенные годы. (Слишком многие из уинчестерских преподавателей погибли, чтобы можно было обходиться без услуг пришедших *remplacant*[1] отставников.) Я обращал внимание руководства на то, что этот преподаватель прививает Тони лишь отвращение к классическим наукам, однако удовлетворительного ответа не получил. «Мистер X., — было сказано мне, — привил отвращение к классике многим мальчикам до вашего сына и, без сомнения, привьет еще многим другим прежде, чем вторично выйдет в отставку; и тут уж ничего не поделаешь».

Не желая видеть интеллектуальные способности Тони загубленными, я тогда предложил руководству перевести его на параллельное отделение современных гуманитарных наук. «Удачная мысль, — к моему облегчению, ответило начальство. — Так и сделаем». Они действительно перевели Тони, и дело обернулось лучше, чем я мог надеяться. Новый див дон Тони, мистер Дональд Маклахлан, был (да и сейчас продолжает быть) живым, энергичным человеком. В то время он постоянно курсировал между Уинчестером и Германией, преподавая немецкий в перерывах между командировками в Германию в качестве специального корреспондента «Таймс». Он был таким же хорошим преподавателем, как и журналистом, и быстро вернул Тони интерес к интеллектуальным занятиям. Тони был прирожденным лингвистом, и теперь, получая первоклассное обучение живому языку, с жаром взялся за дело. Однако он не мог оставаться на отделении мистера Маклахлана до конца обучения в Уинчестере, а мне не хотелось, чтобы он снова попал в руки «отставника»; поэтому я решил сделать ставку на его теперь уже доказанные способности и вкус к немецкому и немедленно дать ему возможность довести начатое до конца. Забрать мальчика из английской привилегированной школы за год до окончания — это серьезный шаг. Это означает вырвать его из русла традиционно принятого в английском среднем классе высшего образования, учитывая вероятность того, что он может обратно в это русло и не вернуться. Я не имею права этого делать, не найдя для Тони равноценной альтернативы. Тут я вспомнил о его двоюродном прадеде Джордже Тойнби, который в 1833 г. с затерянной среди линкольнширских болот фермы уехал учиться в Боннский университет. Пережитое Джорджем Тойнби в Бонне было

мне знакомо, потому что у моей сестры имелась копия дневника, который он вел, пока был там студентом. Джордж Тойнби считал, что Боннский университет стимулирует студента к получению знаний, и на это его суждение можно было с уверенностью положиться — Джордж Тойнби был необычайно способным человеком. Что если двоюродному правнуку повторить его боннский опыт? Тони идея понравилась, и мы стали действовать в этом направлении. Первым делом Тони отправился к Веберу, англичанину, живущему в Бонне, который вел интенсивный курс немецкого для английских мальчиков; после этого можно было уже продолжать обучение в университете. Итак, после перерыва в целое столетие, молодой человек по имени Тойнби снова был зачислен студентом в Боннский университет; и для него, как и для его прадеда, этот опыт тоже оказался удачным. В Бонне лингвистические способности Тони расцвели пышным цветом. Он овладел немецким почти в совершенстве. Ему доставляло удовольствие, когда жители Рейнланда спрашивали, из какой области Германии он родом. Также он считал перспективным, когда ему говорили, что он говорит на немецком языке с русским акцентом, ибо так же ревностно изучал славянские языки. До конца своей недолгой жизни мой сын самостоятельно выучил монгольский и начал учить китайские иероглифы.

Боннский университет был основан в восьмидесятых годах XVIII века курфюрстом Кёльнским, одним из последних в череде владетельных князей-архиепископов[2]. Основатель его руководствовался незаурядной гражданственной заботой о высшем образовании. Курфюрстами Кёльнскими становились младшие сыновья или отпрыски младших ветвей Баварской герцогской династии[3]; и большинство из них, судя по всему, относились к этим обязанностям как к своему личному делу. Перечень заслуг курфюрстов как светских владык был ничуть не меньше, чем в качестве архиепископов. Их светской столицей был Бонн, а их епархией — Кёльн. Они перебрались из Кёльна в Бонн давным-давно. Кёльн, с его стремлением к гражданскому самоуправлению, был чужд по духу этим князьям-прелатам. По временам он был для них даже слишком горяч и неистов. Князь, основавший Боннский университет, поместил его в своем большом тамошнем дворце. (Это звучит, пожалуй, более великодушно, чем было в действительности. Во владениях курфюрста Кёльнского было достаточно дворцов, чтобы он мог позволить себе распоряжаться ими таким расточительным образом. Если бы он изъял из обращения все остальные, то все равно мог бы жить роскошно в своем дворце в Брюле, на Рейне, между Бонном и Кёльном. Дворец в Брюле невелик, но это истинная жемчужина. Съездите туда, если вам любопытно увидеть, до каких пределов может быть доведен стиль рококо.)

Баварский основатель Боннского университета, сам того не зная, «работал на короля Пруссии». При заключении европейского мира 1814—1815 гг. мириады крохотных независимых княжеств Рейнланда и Вестфалии[4] вошли в состав нового прусского владения. Французским завоевателям легко было прорваться сквозь прежнюю мозаику; новая глыба прусского гранита, вероятно, могла послужить более эффективной преградой. Как показало дальнейшее, гранитной глыбе так и не довелось подвергнуться испытанию, ибо в 1870 г. захватчиками оказались не французы, а пруссаки[5]. Тем не менее воспоминания о французской агрессии были живучи. Я унаследовал от своего двоюродного деда Гарри копию военной карты, напечатанной в «Таймс», когда разразилась франко-прусская война 1870 г. На этой карте, которая напечатана, в основном, в черном цвете, регион, которому, по мнению составителя, предстояло быть зоной военных действий, был выполнен в пунцово-красном. Эта бросающаяся в глаза красная заплата не включает в себя Седан или Париж или хотя бы один-единственный квадратный ярд французской территории. Она совпадает с границами прусской Рейнской провинции, которой в этой войне не пришлось увидеть сражений[6].

Когда пруссаки в 1814—1815 гг. приобрели Рейнланд, они захватили Боннский университет со всей находящейся на его территории общественной собственностью и институтами. Они захватили университет и повысили его значение, дав ему как научное, так и политическое развитие. В научном плане они подняли его на тот высокий интеллектуальный уровень, на каком он и находился во времена Джорджа Тойнби, а впоследствии — и Тони Тойнби. В политическом отношении они сделали это детище католического князя-епископа оплотом протестантского влияния. Боннский университет сделался излюбленным местом прусских аристократов, и тамошние аристократические студенческие корпорации[7] были в числе самых популярных и эксклюзивных клубов Германии. (Тони, который еще в Уинчестере пристрастился к гребле, вступил в университетский гребной клуб «Rhenus[8]».)

Нацисты, после прихода к власти, сделали в Боннском университете, во всяком случае, одну хорошую вещь. Они организовали новые, неснобистские студенческие клубы для значительного большинства студентов, которые до тех пор оставались сами по себе. (Члены корпораций позаботились о том, чтобы эти чужаки чувствовали себя там гражданами второго сорта.) Эти новые демократические клубы в Бонне были единственными местами в Рейнланде, в которых я встречал определенный энтузиазм по отношению к национал-социализму. Признание нацистами человеческих прав обычных студентов было дальновидным, как, впрочем, и подлинно гуманным[9]. Недавно получившие права и привилегии студенты были

сердечно благодарны первому в истории режиму в Германии, который подумал о том, чтобы что-то для них сделать.

В 1933 г., когда Тони стал студентом университета, варварский ритуал дуэлей там все еще сохранялся. Он ограничивался небольшой группой студентов — теми, кто, помимо своей принадлежности к аристократии, были еще и протестантами. Для студентов-католиков поединки были запрещены их церковными властями. Варварами были именно протестанты; но в Рейнской провинции и Вестфалии протестанты с 1815 г. были хозяевами положения. Отношения между двумя общинами напоминали мне отношения между теми же общинами в Ирландии до ликвидации там господствующего положения протестантов. В Рейнской же области и Вестфалии существовало протестантское засилье, хотя, если мерить ирландскими мерками, власть в этих двух прусских провинциях была мягкой. Тем не менее в Бонне напряженность между протестантами и католиками продолжала существовать и в эпоху нацистов[10].

В какой-то из дней, после того как Гитлер пришел к власти, я оказался в Бонне на празднике Тела Христова[11]. Я стоял, наблюдая за длинной процессией, которая выходила из собора и, в конце концов, возвращалась туда же, пройдя парадом через весь город. Человек, стоявший рядом со мной, заметив, что я иностранец, а, значит, по всей вероятности, не нацистский шпик, отважился шепнуть мне, что это католические религиозные братства и что, хотя официально они были *gleichgeschaltet*[12], но все равно проводят шествия (конечно, без своих отличительных эмблем). Позже в этот же день я упомянул об этом как о любопытном явлении своему знакомому, жителю Бонна и протестанту. Зная, что он настроен сильно антинацистски, я ожидал, что он одобрит то, что католические организации остались несломленными. Но нет, для него, даже в эпоху нацизма, католическая община все еще оставалась врагом номер один. «Сегодня, — холодно ответил он мне, — мы, боннские протестанты, сидим дома, за закрытыми дверями». К счастью, лидеры германских протестантских церквей были не столь фанатичны, как этот отдельный член их паствы. К тому времени протестантские и католические церковные власти, чувствуя, что приперты к одной и той же стене, уже начинали сотрудничать, стараясь выстоять, со своими традиционными принципами их общей христианской веры, против нового нацистского язычества[13].

Нацистский режим стал подавлять в Германии свободы уже прежде, чем закончился первый год студенчества моего сына в Бонне. К тому времени я, как и он, познакомился с рядом преподавателей, и теперь мы, с сочувствием и благоговением, наблюдали, как они переносят суровые испытания, с которым в Англии нам не приходилось сталкиваться лицом к лицу — во всяком случае, со времен Славной революции 1688 г.[14].

Преподаватели, которых я узнал лучше всего, были Фриц Керн[15] (его предметом была современная история), фон Бекерат[16] (экономика), Эрнст Роберт Курциус[17] (то был всемирно известный ученый, специалист по средневековой европейской литературе), Хюбенер[18] (преподаватель английского), Левисон[19] (ведущий германист своего времени) и Кале[20] (ориенталист). С первого момента нацистской эпохи все преподаватели, во всех университетах Германии, почувствовали на себе гнет. Нацисты ненавидели интеллектуалов и подвергали их гонениям с мстительностью, которую сенатор Маккарти впоследствии продемонстрировал против американских «яйцеголовых»[21]. Подобно Маккарти, нацисты подозревали, не без оснований, надо заметить, что интеллектуальная смелость склонна взращивать либеральные убеждения.

Одной из первых мер защиты, которые приняли боннские профессора, стала задача обеспечить назначение на пост ректора человека, который был бы подготовлен для этой должности — насколько вообще человек может быть подготовлен к этой устрашающей новой ситуации, с которой им внезапно пришлось столкнуться лицом к лицу. В Пруссии (когда она еще присутствовала на карте)[22] ректором университета не был выборный представитель преподавателей; он назначался министром просвещения как представитель министра в университете. На практике, однако, назначение ректора проходило после консультации с профессорско-преподавательским составом конкретного университета. И с появлением нацистов боннские профессора обеспечили себе назначения такого ректора, который по своим политическим взглядам был в достаточной степени правым, чтобы не подвергаться опасности стать для нового режима *persona non grata*, и в то же время чья первоочередная преданность принадлежала университету, вне зависимости от политических убеждений его коллег.

Я убежден, что новый ректор верно и преданно делал все, что мог, но никто не мог теперь спасти преподавателей от их горемычной доли. Их унижали требованием вскидывать руку в нацистском приветствии перед началом лекции; их поставили в нелепое положение, вынудив играть роль гороховых шутов при нацистских властителях; и они подвергались постоянной опасности уступить свою должность амбициозным приват-доцентам — некоторые из которых, без зазрения совести, то и дело демонстрировали рвение по отношению к партии, в надежде, что однажды будут вознаграждены, получив кафедру какого-нибудь оступившегося профессора.

Единственный из моих боннских друзей, который ухитрился сохранить почву под ногами вплоть до тех пор, когда нацистский режим был ликвидирован, был Курциус; а Курциус к тому времени, как Гитлер пришел к власти, уже был человеком заметным. Только лишь

за год до этого он опубликовал книгу под названием «*Deutsche Geist in Gefahr*» («Немецкий дух в опасности»). Его мнение о нацистах, таким образом, не составляло секрета; и он продолжал от начала и до конца открыто высказывать то, что думает. Почему же наци оставили Курциуса в покое? Возможно, по той же причине, по какой российские власти в свое время оставили в покое Толстого[23]. Самые деспотические режимы иногда воздерживались от соблазна принести в жертву своих противников, приобретших мировую известность, так как рассчитывали, что в данном случае потакание собственным прихотям обойдется дороже, обернувшись всемирным позором и ненавистью. В то же время нацисты, не дрогнув, избавились от Эйнштейна[24], а Эйнштейн, который в преднацистской Германии пользовался почетом и уважением, был еще более выдающейся фигурой, чем Курциус. Конечно, Эйнштейн был евреем, а Курциус — нет. Так или иначе то, что Курциус выстоял, дает почву для спартанской веры в то, что в бою отвага — наилучшее средство сохранить жизнь.

Когда Эйнштейну пришлось покинуть страну, которая когда-то пригласила его, предложив стать родиной (настоящей родиной Эйнштейна была не Германия, а Швейцария[25]), он нашел временное прибежище в колледже Крайстчерч, в Оксфорде, прежде, чем переехал дальше к месту своего окончательного пребывания в Институте перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси. Джилберт Марри также чувствовал себя в Крайстчерче как дома. В качестве профессора греческого языка (соответствующая кафедра была учреждена там одним из английских королей) он был связан с Крайстчерчем по работе. Зайдя однажды к Тому Куаду, Марри увидел там Эйнштейна, сидящего с отсутствующим видом. Мысль, сопутствующая этому рассеянному выражению, была, очевидно, счастливой, ибо в тот момент лицо изгнанника было безмятежным и улыбающимся. «Доктор Эйнштейн, расскажите, о чем вы думаете», — обратился к нему Марри. «Я думаю, — ответил Эйнштейн, — что, в конце концов, это очень маленькая звезда». Не все яйца Вселенной были в той корзине, которая ныне досталась нацистам, и для человека, мыслящего космогоническими категориями, эта мысль была отчетливо утешительной.

Левисон получил как-то два официальных письма одной почтой. Первое было личным письмом Гитлера — тот благодарил его за его многолетнюю службу на благо германской науки, которой профессор посвятил всю жизнь; второе было письмом из министерства, и оно отстраняло его от кафедры за то, что он еврей. Левисон был столь же популярен, сколь и сведущ в науке, и это позорное обхождение с ним едва не вызвало бунт среди его студентов.

Фон Бекерат также был нацистам совершенно ни к чему. Он был рейнским меннонитом[26]. Он обнаруживал свои чувства тем, что

держался вызывающе. Например, когда, разговаривая по телефону, он прощался с собеседником, то не забывал прибавить: «И вам также «до свидания», господин шпик, который нас сейчас подслушивает». Несомненно, об этом коронном выпаде фон Бекерата всякий раз немедленно докладывалось местному нацистскому руководству, что отягчало счет обвинений против него. Фон Бекерат предусмотрительно не стал дожидаться подведения итога. Когда, к своему немалому удивлению, он получил разрешение принять приглашение одного из знаменитых университетов Северной Каролины провести семестр в их университете, он поехал и больше не вернулся. Там ему дали постоянную кафедру, и он женился на американке.

Потеря Германией фон Бекерата была приобретением Америки — одним из многих приобретений в виде ученых-изгнанников. Эти приобретения Америка делала еще с тех пор, как раскрыла свои объятия ученым-белоэмигрантам, после того как в 1917 г. к власти в России пришли большевики. Америка проявляла к иноземным ученым-беженцам не только милосердие и гостеприимство; она проявила также и щедрость. Факультеты американских университетов назначали беженцев, к их собственному удивлению, на самые высокие университетские должности. Это сейчас хорошо говорить, что эти назначения были всего лишь подобающим признанием того высокого положения, которое беженцы занимали в научном мире. Отдавая эти должности, сообщество местных, американских ученых выказывало свое самоотречение и гражданственный дух. Единственная аналогия, какая мне известна, это назначение ученых-беженцев из республиканской Испании на ряд кафедр в университете Мехико[27]. Впрочем, я знаю случай, когда сенатор Маккарти дал одному европейскому университету возможность отплатить услугой за услугу. Один мой старый друг, ставший жертвой гонений Маккарти, был юридически реабилитирован, однако продолжал страдать в социальном плане, поскольку оставалось оскорбительное пятно на его репутации. Сейчас спокойствие его души восстановлено благодаря тому, что он получил в британском университете кафедру в той области наук, в которой составил себе имя.

Подобно фон Бекерату, Хюбенер успел ускользнуть прежде, чем стало слишком поздно. Он нашел новое место в приморских провинциях Канады[28] — с точки зрения положения в научном мире то была замена неравноценная, но в Канаде он мог снова дышать свободно. Боннская ассистентка Хюбенера, новозеландка, отправилась в Канаду вместе с ним, и там они поженились.

Керн реагировал на нацизм, начав играть в более опасную игру. В его характере была своенравная, строптивая жилка. Он организовал тайное антинацистское общество — «Бридж-клуб». Тони входил в него (как иностранный студент, он мог компрометировать

себя без большого урона) — как и его закадычный друг по университету Марков[29]; но для Маркова риск был гораздо выше. Марков был по национальности словенцем, но имел статус *Auslandsdeutscher*[30] и потому получал правительственную стипендию. Когда «Бридж-клуб» «накрыли» (это случилось уже после того, как Тони покинул Бонн), Керн ускользнул в Швейцарию, однако Марков оказался в тюрьме. Мы ничего не могли для него сделать, пришлось отказаться от этой идеи, и он остался погибать. Практически все мои немецкие друзья, очутившиеся в нацистских тюрьмах, в конечном счете погибли. Бернсторф[31], бывший сотрудник германской дипломатической службы, и Кюнцер[32], когда-то редактор газеты «Германия», оба были расстреляны — из бессильной злобы, в последние дни Второй мировой войны, когда нацисты знали, что их собственные дни сочтены. Марков, однако, выжил, хотя и был «красным». В следующий раз я встретил его в 1955 г. в Риме на Международном историческом конгрессе. К тому времени Марков занимал высокое положение в руководстве университетов Восточной Германии. Он выжил, женился и стал отцом большой семьи. Его спасение — это еще большее чудо, чем спасение Курциуса.

Кюнцер, как и Керн, был энергичен и безрассуден. Он предпочитал дерзко идти навстречу беде, чем останавливаться на полпути. Пока был жив, он ни разу не отдавал нацистского приветствия, и, если кто-то обедал с ним и его женой в их берлинском доме, он обычно угощал гостей рискованным розыгрышем. Ближе к концу трапезы человек внезапно с изумлением видел, как в дальнем конце комнаты потихоньку проходит Гитлер, при этом с дюжину раз выбрасывая руку в нацистском приветствии. То был слуга Кюнцера, который, нацепив фальшивые усы, становился вылитым Гитлером. Представление было забавным, но неразумным, даже если можно было быть уверенным в том, что гости за столом Кюнцера все до единого настроены антигитлеровски.

Антигитлеровски — возможно, но это отнюдь не означало, что они были настроены демократически, гуманистически и антимилитаристски. На одном из званых обедов Кюнцера мы обсуждали, есть ли у Германии какие-то шансы выиграть новую мировую войну — в случае если Гитлер ее развяжет. Мы уже сошлись на том, что нет, когда вмешался один старик: «Разумеется, если бы я мог быть уверен, что у Германии есть шанс победить, я был бы готов пожертвовать своим сыном». — «О да, конечно, я тоже», — подхватил другой. Пожертвовать сыном! Они имели в виду — жизнью сына. Гражданин побежденной Франции или Великобритании или США мог бы, пожалуй, сказать: «Я бы рискнул своей шкурой». Если бы он рассматривал возможность отдать жизнь, то это была бы его собственная жизнь, а не чья-то еще; тем более немыслимо, чтобы он

предлагал жизнь собственного ребенка. Человеческое жертвоприношение! Молох[34]! Меса[35], убивающий своего сына на городской стене, и Манасия[36], проводящий своего сына через огонь! Я увидел огромную пропасть между мною и теми, прежде вроде бы *bien pensant*[37] гостями Кюнцера.

Моя последняя встреча с Кюнцером состоялась в июне 1939 г. Он приехал в Англию, в Йоркшир, где я жил в то время, чтобы умолять меня упросить мистера Чемберлена[38] и лорда Галифакса жестко поговорить с Гитлером. «Я знаю англичан, — сказал Кюнцер, — поэтому знаю, что, говоря немного, они многое подразумевают. Но нацисты не знают англичан; поэтому, когда ваши английские политики говорят под сурдинку, в духе английских джентльменов, наци делают вывод, что эти учтивые ребята на самом деле говорят не всерьез. Если ваши лидеры и впредь будут разговаривать по-джентльменски, то последний шанс удержать Гитлера от развязывания войны исчезнет. Пожалуйста, доведите это до сведения премьер-министра и министра иностранных дел». Вопрос был вполне уместным, но что мог сделать я? Я не имел доступа на Даунинг-стрит; и даже, если бы я преуспел в проникновении к Галифаксу и Чемберлену и сумел довести это до их сознания, они были бы психологически неспособны действовать согласно доброму совету Кюнцера. Если бы даже они открыли рот с намерением выругаться, как базарная торговка, ничего, кроме тех же самых по-джентльменски сдержанных высказываний, не слетело бы, да и не могло слететь, с их уст. То был единственный язык, на котором они умели разговаривать. Подобно лорду Грею и Ллойд Джорджу, они не владели языками.

Бедный Кюнцер: эта его последняя миссия было безнадежным предприятием. Помимо мира во всем мире, собственная жизнь Кюнцера была поставлена на карту в этом рискованном демарше. И Кюнцер проиграл.

Реакция профессора Кале на нацизм была наиболее примечательной. Когда я встретился с ним впервые, за несколько месяцев до захвата Гитлером власти, Кале напомнил мне профессора Тойфельсдрока из книги Карлейля «Сартор Резартус»[39]. Интеллектуально всеядный и полностью поглощенный тем, над чем работал в каждый конкретный момент, Кале оказался реальным слепком с легендарного германского профессора. Вы сочли бы его не имеющим никакого понятия о политике.

К примеру, в первые месяцы 1933 г., когда нацистский ураган начал быстро закручиваться, профессор Кале не мог думать и говорить ни о чем, кроме недавно обнаруженной турецкой копии того, что явилось одной из самых ранних испанских карт Нового Света[40]. (Испанский оригинал, должно быть, был захвачен турками и потерян, и вот что делало турецкую копию такой интересной.) Эта

карта действительно наводила на некоторые интригующие размышления. Турки взяли на себя труд не просто скопировать карту, но транслитерировать имеющиеся на ней названия на арабский алфавит. Это показывало не подозреваемый ранее турецкий интерес к трансатлантическим открытиям Колумба. Что ж, предположим, что турки оккупировали Алжир в 1490-м, а не в 1525 г.[41]. К 1490 г. было уже вполне в их власти сделать то, что в реальности они сделали тридцатью пятью годами позже. При таком раскладе событий мусульманское королевство Гранада могло бы и не быть завоевано и аннексировано недавно объединенными христианскими королевствами Кастилией и Арагоном; вместо этого оно могло стать Оттоманским протекторатом, подобно татарскому Крымскому ханству[42]; а затем — кто знает? — Андалусия тоже могла быть завоевана исламом, и оттоманский флаг развевался бы над Палосом — портом, откуда, как в действительности случилось, Колумб пустился в свое плаванье, приведшее его к Испаньоле[43]. При этом гипотетическом клубке международных отношений в западной части Средиземного моря стал бы Колумб вообще адресоваться к Их Католическим Величествам[44]? Не оказался ли бы его более вероятным патроном тот, чьего покровительства он бы искал, — падишах? И далее, если бы Колумб поплыл в Индию под османским покровительством, не был бы Новый Свет в наши дни «Мусульманским Светом»[45]?

Глубоко погруженный в волнующую мысль об этой, действительно наводящей на размышления, турецкой карте начала XVI века, профессор Кале был застигнут главным событием 1933 г. врасплох. Но новый германский режим быстро вынудил его разобраться в политике и вынудил также, в целях самозащиты, самому стать политиком. Он показал себя талантливым и в этом искусстве тоже.

Пока Кале одним глазом поглядывал на свою турецкую карту, другой его глаз был нацелен на окончательную редакцию древнееврейского текста Торы, который он готовил с помощью первоклассного специалиста по древнееврейской тематике, оказавшегося, что и неудивительно, евреем. Пока Кале сообразил, что к чему, нацисты уже выгнали его еврейского ассистента и заменили его арийцем, который, по словам Кале, ни на что не годился, кроме как на перевязывание веревкой бумажных пакетов. Я застал Кале в мрачном расположении духа. Милая его сердцу редакция Торы была теперь под угрозой; и это побуждало его действовать. Он совершил вылазку в Берлин, в министерство, и представил дело таким образом, что для престижа Германии первостепенно важно, чтобы окончательная редакция Торы была именно немецкой. Теперь, когда власти удалили его ассистента, американцы придут к финишу первыми, и тогда престиж Германии резко упадет. Чиновник, которому Кале рассказывал эту басню, стал заламывать себе руки. «Вы

правы, — сказал он, — это ужасно. Но что я могу поделать?» — «Я скажу вам, что надо делать, — ответил Кале. — Вы можете переводить деньги, которые направляли на жалованье моему ассистенту, в Штуттгартское библейское общество и не задавать никаких дальнейших вопросов». В мой следующий визит в Бонн нежелательный арийский ассистент Кале исчез; его прежний еврейский ассистент снова был на старом месте и получал свое прежнее жалованье верным, хотя и кружным маршрутом. Боннское издание древнееврейской Торы было теперь почти совсем готово к набору, так что для Кале снова настало время отправиться в Берлин. «Престиж Германии, — стал внушать он министерским чиновникам, — требует, чтобы издание этого памятника германской ученой мысли было очень большим». Министерство выделило ему два полных грузовика лучшей бумаги.

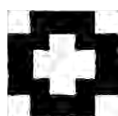
Как человек, способный потягаться на равных с нацистами, Кале, наверное, был бы уникален, если бы не был превзойден младшим из своих сыновей. (Все пятеро мальчиков были замечательны, но таких, как пятый из них, бывает один на тысячу.) Примерно в это время семья Кале переехала в Бонн, и среди старого хлама, оставленного на чердаке предыдущими жильцами, мальчики нашли четыре подписанные фотографии бывшего кайзера[46]. Естественно, каждый из четверых старших заявил свою претензию на одну из них; младшему брату не досталось ни одной, и он тяжело сокрушался по этому поводу. И вот однажды, вскоре после этого, за завтраком возле его места за столом появился пакет. Когда его вскрыли, то там оказалась подписанная фотография кайзера. «Силы небесные, сынок, — воскликнули родители, — что ты сделал?» — «Что я сделал? Ну, я написал письмо кайзеру в Дорн. Я написал: «Мы только что переехали и обнаружили в нашем новом доме четыре ваши подписанные фотографии, и четверо моих старших братьев забрали себе по одной, а мне не досталось. Разве это не обидно? Не могли бы вы прислать еще одну для меня?” И вот, видите, кайзер прислал». — «Но, все равно, — растерянно стали увещевать его потрясенные родители, — никогда больше не смей делать ничего подобного». Однако несколько недель спустя (это подлинная история) младшему Кале пришел еще один пакет, и из него появилась еще одна подписанная фотография. На этот раз то была фотография Геринга[47], и родители пришли в ужас. «Отвечай, что ты сделал?» — «Ой, на этот раз все было совсем просто. Я просто написал Герингу: “Кайзер выслал мне свою подписанную фотографию. Не могли бы вы также прислать мне свое фото?” Видите, это подействовало».

Вскоре родители Кале имели причину быть благодарными сообразительности своего младшего сына. Один преподаватель — еврей (возможно, то был Левинсон) — оказался уволен с работы, и

фрау Кале отправилась навестить жену уволенного профессора, чтобы выразить ей свое сочувствие. После этого ей и ее мужу пришлось следовать тайными тропами к бельгийской границе *quam celerrime*[48]. Они не отважились даже немного отсрочить бегство, чтобы забрать сыновей из школы. Их поспешность спасла их, но мальчики застряли в Германии. Каким образом семье воссоединиться? Британский консул в Кёльне попытался добыть мальчикам выездные визы, но это ни к чему не привело, и тогда младший из сыновей принял на себя командование. Он обманом провел братьев через все нацистские пограничные посты и довел их до Бельгии без сучка и без задоринки. (Сейчас мне приходит в голову, что подписанные фотографии Геринга здесь могли оказаться очень кстати, но это лишь догадка; такими сведениями я не располагаю.)

Сын был достоин своего отца. Хотя профессор достиг Англии живым, он остался без всех своих книг и бумаг, что для ученого даже хуже, чем остаться без гроша. Он впечатляющим образом возвысился до этого отчаянного состояния.

История семьи Кале имела сравнительно счастливое завершение, но Боннский университет под властью режима нацистов имел и свои трагедии. Мой последний визит в Бонн перед Второй мировой войной произошел в 1937 г. Зная, что именно надвигается, я хотел видеть — возможно, в последний раз — тех моих друзей, которые все еще оставались там. К моему немалому удивлению, каждый из них, по очереди, счел должным сообщить мне, что я должен непременно повидаться с преподавателем географии. Я был озадачен, потому что именно этот преподаватель как раз не принадлежал к числу моих старых друзей. Однако был быстро организован прием с чаепитием; преподаватель географии был там, и он дал мне экземпляр своей последней книги. Когда чаепитие закончилось и профессор географии ушел, причина, по которой мне его представили, открылась. «Видите ли, — сказали мне, — ему очень не повезло. Его жена еврейка, и его поставили перед выбором: либо развестись с женой, либо потерять кафедру; и он не собирается разводиться». Суть их просьбы ко мне состояла в следующем: «Пожалуйста, сделайте все, что возможно для него и для его жены, если они окажутся в Англии». (Впоследствии оказалось, что они перебрались в Америку.) Нацисты определенно побили рекорд совершенных человечеством низостей.



22. ЛЕКЦИЯ ГИТЛЕРА

Меня пригласили сделать доклад на очередном заседании Нацистского юридического общества, которое должно было состояться в Берлине в феврале 1936 г. Я принял предложение и получил за это упрек от моего старого друга Чарльза Вебстера[1]. По его словам, давая свое согласие, я потворствовал жестокостям нацистов. Я защищал принятое мною решение, указывая на то, что изучение наци является важной частью моей работы в Четем-Хаусе. Как я могу их изучать, не встречаясь с ними? А встречаться с людьми и при этом до некоторой степени не завязывать с ними человеческие отношения невозможно. Так или иначе я принял приглашение и слово свое сдержал.

Разумеется, во время этого визита в Берлин я не собирался встречаться только лишь с нацистами. Когда изучаешь дом, разделенный надвое, каковой была Германия в то время, изречение «*Audi alteram partem*» [Выслушай и другую сторону] должно стать непременным принципом. Следуя ему, я и прибыл в Берлин (*incognito*, как мне казалось) на неделю раньше той даты, с которой должен был начаться мой официальный визит; и я потратил эту предварительную неделю на то, чтобы встретиться с членами антинацистской оппозиции: например, с католическим епископом Берлина и с моим старым другом Кюнцером. После этого, в назначенный день, сделав вид, будто только сейчас сошел с поезда, я появился в канцелярии Фрица Бербера[2], одного из помощников Риббентропа[3] — того самого, который изначально передал мне приглашение Юридического общества и с которым с тех пор я обменивался корреспонденцией по этому поводу. Прежде, чем я успел вымолвить слово, Бербер тихо сказал мне: «Герру фон Риббентропу в точности известно, с кем вы виделись в течение последней недели, и ему это вовсе не понравилось». Выдержав паузу, Бербер прибавил, еще тише: «Хотя вы прибыли в Берлин и не сегодня утром, зато сегодня утром прибыл я. Я догадывался, каковы могут быть ваши намерения, и потому позаботился, чтобы до сегодняшнего дня находиться в Гамбурге».

Бербер представлял для меня некоторую загадку. Раньше он был (и продолжал оставаться) квакером. (Он был обращен после Первой мировой войны британскими членами Общества друзей, которые после войны организовывали в Германии общественные службы для безработных.) До прихода Гитлер к власти Бербер был секретарем Берлинской Высшей школы политологии (*Hochschule für Politik*). То был берлинский эквивалент Парижской *Ecole Libre des Sciences Politiques* и Лондонской *School of Economics and Political Science*. Как и эти два однотипных института, *Hochschule* являлась оплотом

либерализма и в качестве такового была назначена нацистами к уничтожению. Как только они захватили власт, то сразу обратили огонь своих орудий на Hochschule. Весь преподавательский состав был уволен с должностей; некоторым из преподавателей пришлось оставить страну. Устоял один Бербер. К февралю 1936 г. он не только стал спичрайтером Риббентропа, он также сделался главой института изучения международных отношений в здании *Thurn und Taxis building*[4] в Гамбурге. Во время Веймарской республики директором этого Гамбургского института был Мендельсон-Бартольди[5]. Теперь же Гамбургский институт был нацифицирован; бывший его директор находился в изгнании, а его место занял Бербер. Бербер удерживал за собой две важные должности в период правления нацистов. «Удерживал за собой» это подходящее выражение. Однажды он сказал мне, что, когда ему пришлось выступать в Гамбурге с докладом на тему текущих событий спорного характера, он справился с этим, сконструировав эти свои лекции целиком из цитат из книг и речей Гитлера. Раскроенные на части и перекомбинированные в другом порядке, фразы Гитлера вполне годились для того, чтобы передавать уже иной смысл, отличный от того, для которого предназначались в первоначальном контексте. Что ж из того? Берберовское произвольное использование высказываний фюрера никак не могло навлечь на него критику со стороны тех нацистов, которые сомневались в лояльности Бербера или просто-напросто домогались его места. Оспаривать *Fürerwörter*[6], даже выдернутые из контекста, означало бы взять на себя такой риск, на какой в Германии в то время не решился бы никто. Бербер это предвидел и на этом именно и построил свой расчет.

Бербер был человеком хитрым, ловким и двуличным; разговаривая со мной, он то и дело выносил в адрес Гитлера и национал-социализма суждения, аналогичные моим. Эти критические замечания, как мне кажется, выражали истинные взгляды и чувства Бербера, ибо ему не было никакой пользы оттого, что он делился ими со мной, и хотя он был, в сущности, уверен, что я его не выдам, было странно, что такой осторожный игрок в столь рискованную игру без всякой необходимости подвергает себя дополнительному риску. Какие мотивы побуждали Бербера играть двойную игру по отношению ко мне и к его нацистским хозяевам? С точки зрения логики следовало бы обвинить его в конъюнктурщине и лицемерии. И все-таки я думаю, он был искренен, хотя я и не могу поручиться, что он не впадал до некоторой степени в самообман, поскольку не могу объяснить, как он согласовывал эту двойственность со своим умом (а ум его был очень острым) и тем более — со своей совестью (которая некогда была, а может быть, все еще оставалась совестью квакера).

В то утро, когда Бербер рассказал мне, что Риббентроп в курсе моих встреч с членами оппозиции нацистским властям, у него в запасе был для меня еще больший сюрприз. Снова помолчав, он сообщил мне все тем же ровным, невыразительным голосом: «Вам предстоит встреча с Гитлером». Это была новость так новость. Я был взволнован. Мне предоставлялась неожиданная возможность изучать национал-социализм с первоисточника. Я был также озадачен. Какую выгоду мог извлечь для себя Гитлер из встречи со мной? Почему он считал, что стоит терять на меня время? И это после того, как я только что навлек на себя неодобрение его приспешника Риббентропа? Бербер сидел с непроницаемым лицом, предоставляя мне теряться в догадках. Он явно не собирался давать мне объяснений, пока моя беседа с Гитлером не останется позади.

Моя аудиенция у Гитлера должна была состояться в Рейхсканцелярии на Вильгельм-штрассе. От будущей гитлеровской ремилитаризации Рейнланда эту аудиенцию отделяла неделя[7]. В назначенный час я прибыл в сопровождении Бербера, и нас провели наверх, в комнату, где мы нашли уже собравшихся Риббентропа, Нейрата[8], Дикхофа[9] и переводчика Гитлера Шмидта[10]. Первые трое были главными авторитетами по международным делам в гитлеровском правительстве того времени. Ханс Дикхоф был государственным служащим. Он был в то время постоянным помощником статс-секретаря в ведомстве иностранных дел. Нёйрат, респектабельный консерватор, был гитлеровским министром иностранных дел. Риббентроп был дипломатическим представителем гитлеровской Германии. Дикхоф был давним моим другом, с Риббентропом я также уже встречался несколько раз. (Жены Дикхофа и Риббентропа были сестрами, швейцарками.) Присутствие этих троих мужчин показывало, что отношение к предстоящему событию было серьезным.

Гитлер стремительно вошел вслед за Бербером, по-нацистски отсалютовал присутствовавшим, но затем протянул мне руку для рукопожатия, причем так быстро, что я не успел еще растеряться и задаться вопросом, как следует отвечать на вскидывание руки самим Гитлером. Это рукопожатие со стороны Гитлера было жестом тактичности, и начиная с этого момента мне стало ясно, что Гитлер брал на себя труд произвести на меня благоприятное впечатление. Почему?

Понадобятся ли мне услуги доктора Шмидта? Я отказался от них. Перевод наполовину сократит полезное время разговора (если нам предстоял разговор), и он же создаст психологический барьер. К этому времени я мог понимать и говорить по-немецки достаточно хорошо, чтобы отважиться попытаться говорить с Гитлером без посредников. Как вскоре выяснилось, понимать немецкую речь (что представляет собой более легкую часть в мастерстве владения ино-

странным языком) оказалось в данном случае гораздо важнее, чем по-немецки говорить.

Затем Гитлер начал беседу. «Почему вы так дружественно настроены к России?» («Вы»! На всем протяжении беседы он адресовался ко мне так, будто я был либо правительством Его Британского Величества, либо представлял собой электорат Соединенного Королевства в миниатюре.) Гитлер вовсе не ожидал, что я стану отвечать на этот его вопрос. Он собирался ответить на него сам. «Я знаю, почему. Потому, что вы боитесь Японии. Но если вам нужен друг, который бы поддержал вас против Японии, почему вашим другом должна быть Россия? Почему бы мне не быть этим другом, который вам так необходим? Конечно, если бы мне было суждено стать вашим вынужденным другом, вам бы пришлось вернуть мне колонии. Зато, если бы вы вернули мне колонии, то в случае неприятностей с Японией, я бы дал вам шесть дивизий и несколько военных кораблей в Сингапуре». (Цифра «шесть» точно запечатлелась в моей памяти; и, когда в 1941 г. Сингапур был захвачен[11], я с любопытством отметил, что японская армия, захватившая базу, согласно сводкам, состояла из шести дивизий. Было ли это простым совпадением? Думаю, нет. Я склонен полагать, что Гитлер выяснил у своих военных советников, каково было максимальное число дивизий, могущих действовать одновременно на оконечности Малайского полуострова.)

Это стремительное и безоглядное погружение в вопросы современной силовой политики оказалось лишь преамбулой. За ней последовала лекция на тему «Историческая роль Германии как стража, на протяжении веков охраняющего восточные ворота Западного мира от “желтой угрозы”». Гитлер начал с VI века, с отражения нападения аваров Меровингами[12]. Возможно, авары и были желтыми — они явились из глубины среднеазиатских степей; но вскоре стало очевидно, что в кратком изложении Гитлером мировой истории главным адептом «желтых» была Россия. Коммунистический строй в России, вероятно, не противоречил той роли, которую Гитлер отводил этой стране. Разве не Ленин продекларировал политику, которая сводила вместе коммунизм и антиколониализм в единый, широкий общемировой фронт борьбы против капиталистического и империалистического Запада? И разве это не требовало от России принять на себя роль вождя желтого, цветного и черного большинства рода человеческого? Сталин, возможно, и готов был молча соглашаться с тем цветом, в который выкрасил его Гитлер, но что бы в таком случае сказал Мао? И что бы сказал Мао сегодня, когда он сдирает с бывших своих русских сподвижников боевую раскраску, чтобы обнаружить спрятанную под ней предательскую, по-американски белую, кожу[13]?

Оттолкнувшись от VI века, лекция Гитлера покатилась дальше, пока не добралась до современности. (Здесь он резко осадил, не сделав, разумеется, и намека на тот сенсационный исторический поворот, который намеревался осуществить через неделю.) Имелось в виду, что лекция полна и всеобъемлюща, но я заметил, что Гитлер ухитрился ни разу не упомянуть Италию. Конечно, Гитлер обходил тему Италии, которая на тот момент рассорилась с Великобританией из-за своего вторжения в Эфиопию. Теперь она находилась в процессе порабощения своей африканской жертвы, в то время как Великобритания и другие государства, входящие в Лигу Наций, отшатывались от принятия в отношении Италии нефтяных санкций[14]. В феврале 1936 г. Италия была слишком деликатным предметом для того, чтобы Гитлер стал его упоминать, и его уклонение от этой темы было виртуозным. Такова в целом была эта лекция. Она продолжалась два часа с четвертью, за вычетом примерно минут пяти, которые были потрачены в конце на единственный вопрос, который мне удалось задать, и на последовавший ответ Гитлера. В течение этих двух часов с четвертью Гитлер развивал свою тему с мастерской последовательностью и логичностью. Я не могу припомнить ни одного университетского лектора, из когда-либо слышанных мною, который мог бы говорить непрерывно столь долгое время, ни разу не потеряв нити повествования. «Мы и не знали, что он все это знает», — был комментарий внимавших ему ученых мужей, когда после окончания аудиенции Гитлер, снова вскинув руку в нацистском приветствии и снова обменявшись со мной рукопожатием, вышел из комнаты. Во время происходящего я уголком глаза наблюдал за пятерыми немецкими слушателями. Все они сидели скромно и тихо, ровно поставив ноги на пол и аккуратно сложив руки на коленях — точь-в-точь примерные школьники, внимающие уроку строгого учителя.

Большую часть времени я следил глазами за руками Гитлера. У него были красивые руки. Он обычно сопровождал свою речь движениями рук, подкрепляя свои слова, и жесты его были выразительны, а также изящны. Голос его также, к моему удивлению, звучал довольно приятно — и на высоких тонах, и на модуляциях, — но лишь до тех пор, пока Гитлер не начинал говорить о России. Всякий раз, когда слово «Россия» срывалось с его губ, голос Гитлера делался хриплым, а на высоких нотах срывался в резкий, пронзительный визг — тот самый визг, который заставлял человека вздрагивать, когда тот слышал его по радио, когда фюрер произносил какую-нибудь из своих распаляющих и подстрекающих, полных демагогии речей. Я уверен, что это было непроизвольно. Уж меньше всего Гитлеру хотелось бы испортить благоприятное впечатление, которое он стремился на меня произвести. Я уверен, что всякий

раз, когда он думал или заговаривал о России (а он никак не мог подолгу избегать этого болезненного для него предмета), он непритворно съезжал с катушек. Перемежающиеся вспышки русофобского хрипа, которые пунктиром перебивали читаемую мне лекцию, напомнили мне реакцию обезьяны, которая во времена моего детства была одним из аттракционов Лондонского зоопарка. Обычно эта обезьяна вела себя мирно и спокойно, но стоило вам вымолвить слово « полисмен» — так, чтобы зверушка его услышала, — как она немедленно впадала в неистовство, в припадке которого громко вскрикивала и быстро, бессвязно лопотала. Болезненный участок в сознании этой обезьяны, задеваемый при слове «полисмен», был, очевидно, тем же самым, который теперь затрагивался в сознании Гитлера при слове «Россия».

Когда 130-минутная лекция Гитлера подошла к концу, он спросил меня, есть ли еще какой-нибудь вопрос, который я хочу поднять. Тогда я сказал, что момент, который тревожит нас, людей, проживающих в странах к западу от Германии, — это предположение, что Гитлер может начать войну с Россией. В противостоянии между Германией и Россией, продолжал я, мы предполагаем, что победа будет за Германией. Мы действительно полагали, что победа Германии будет столь убедительной, что это побудит ее аннексировать Украину и Урал, с их обширными сельскохозяйственными и минеральными ресурсами. В этом случае Германия выросла бы до положения сверхдержавы того же масштаба, что и Соединенные Штаты; и тогда мы, ее западные соседи, оказались бы в тени этого широко разросшегося Третьего германского рейха, умаленными в значении и развитии. Мы могли бы оказаться зависимыми от ее милости, а это была бы отнюдь не радостная перспектива.

Гитлер парировал быстро и находчиво. Он сказал, что ценит комплимент, который я только что ему сделал, предположив, что Германия выйдет победительницей в российско-германской войне. Захочется ли ему (каковую возможность я выдвинул), использовать победу над Россией для присоединения к Германии Украины и Урала? «Что ж, — сказал он, — во-первых, мне не пристало хотеть включения *diese minderwertige Leute* [*нем.* этого низшего народа] в мой Рейх, а во-вторых, если бы я все-таки присоединил Украину и Урал, мне бы пришлось держать там постоянный гарнизон в шестьсот тысяч молодых немцев, а у меня найдется лучшее применение для немецкой молодежи[15]. В любом случае, если вам не нравится перспектива, которую вы только что обрисовали, не желаете ли вы сделать какие-либо альтернативные предложения относительно будущего Германии?»

Гитлер вновь парировал мой вопрос четко и умело. Я пытался прощупать его амбиции, и я верил — да и по-прежнему верю, —

что мое прощупывание шло в правильном направлении. Мое предположение, что Украина и Урал были скрытыми целями Гитлера, как мне кажется, было подтверждено его агрессией против Советского Союза в 1940-е годы — необдуманным, порочным поступком, которому предстояло иметь столь бедственные последствия для него и для Германии. Однако во время моей беседы с Гитлером на дворе стоял еще только февраль 1936 г., и только через неделю предстояла ремилитаризация Рейнской провинции. На этой стадии Гитлер не намерен был открывать карты. И хотя его ответ не успокоил моих подозрений, в этом ответе он умно избежал того, чтобы дать мне для них дополнительные основания.

«А сейчас, — сказал мне Бербер, когда после окончания моей аудиенции у Гитлера, мы отправились обратно в его канцелярию, — сейчас я собираюсь рассказать вам, зачем Гитлеру понадобилось с вами встретиться». И, рассказывая, Бербер вытащил с полки экземпляр, издаваемого в Четем-Хаусе «Обзора международных отношений» за 1934 г., а именно самый последний выпуск из тех, что уже вышли к тому времени. Открыв его на отмеченной странице (то была с. 325), Бербер указал на кусок текста, где было написано:

«Шокирующее действие, произведенное на западноевропейцев событиями 29—30 июня 1934 г., было действительно многоплановым. Потрясающе было видеть, как глава государства — пусть даже он был лидером недавнего победоносного революционного движения — на манер американского «гангстера» расстреливает своего бывшего сторонника ...»[16]

Что ж, теперь я, конечно, вспомнил. Я написал это о свирепой ликвидации Гитлером руководителей штурмовых отрядов (СА); и если бы в то время я писал «Обзор» уже не за 1935 г., а опять за 1934 г., я бы не изменил в этом обличительном пассаже ни слова.

«Видите ли, — продолжал Бербер, — я всегда покупаю выпуски вашего обзора, по мере их появления. (Говоря это, он указал мне на целый строй томов). Это часть моей работы — следить за тем, что пишут за границей о Германии при нынешнем режиме. Так вот, уже после того, как я передал вам приглашение от Юридического общества и получил ваше согласие, этот том как раз вышел из печати. Вы помните дату выхода? (Ее я тоже забыл, как и сам обличительный пассаж.) «Так вот, когда я пролистал книжку и наткнулся на эту страницу, я испытал шок. Организация вашей лекции находилась в сфере моих обязанностей. Я уже согласовал с вами дату, и она была публично объявлена. Теперь было уже слишком поздно отменять лекцию — возник бы неприятный инцидент. Я оказался в трудном положении. Я был тем чиновником, который непосредственно отвечал за ваше приглашение, и вдруг вы печатаете такое о Гитлере. Что мне делать? Следовало ли мне пойти к своему началь-

ству и рассказать все начистоту? Или надо было хранить молчание в надежде, что этот оскорбительный отрывок не привлечет внимания никого в руководстве, кроме меня? Я решил молчать. Насколько мне известно, я единственный в руководстве, кто регулярно читал ваш «Обзор». Если я буду держать язык за зубами, сказал я себе, то тысяча шансов против одного, что этот выпад Тойнби против Гитлера пройдет незамеченным всеми, кто может жаждать моей крови, так как едва ли содержание этого отрывка станет известно кому-либо еще из высоких лиц».

«Но мне не повезло, — продолжал Бербер. — Как оказалось, правительство Швейцарии имело неприятности с нашим правительством по поводу критики в адрес нашего режима, появившейся в швейцарской печати. Швейцарские власти были очень озабочены тем, чтобы сгладить трения, которые возникли в этой связи между нашими странами; поэтому они добились проведения закона, запрещающего на будущее швейцарской прессе публиковать провокационные критические выпады в адрес иностранных правительств. Швейцарские газетчики были в бешенстве оттого, что их заставили замолчать; они с пристрастием обследовали закон под микроскопом, дабы найти в нем лазейки, и обнаружили, что автор закона позабыл оговорить в нем одно особое условие: что запрещается цитировать провокационные критические материалы из зарубежной прессы. Исходя из этого, они стали использовать эту оставленную им лазейку, с тем чтобы критиковать нацистов, так сказать, чужими устами. И, конечно, когда появился выпуск вашего обзора, этот отрывок послужил им как нельзя более кстати. Они перевели его дословно, с язвительными комментариями. "Посмотрите, — написали они, — даже в этой лакейской Англии люди свободны публиковать о Гитлере подобные вещи; а в нашей свободной демократической республике нам это запрещено. Разве это не позор?"»

Я проверил ссылку Бербера на швейцарскую перепечатку из моего выпуска обзора. На эту тему в нашем архиве прессы нашлась целая подборка газетных вырезок. Бербер получил аналогичную подборку из своей собственной службы, собирающей газетные вырезки, и когда пробежался по ним, то пришел в ужас. Он знал, что хотя, возможно, он — единственный человек в структурах власти, который читает мой «Обзор», но есть ряд других людей, которые читают швейцарскую прессу. Ну и, конечно же, через несколько часов раздался звонок от разъяренного нацистского функционера. «Вы пригласили этого англичанина здесь выступать, — закричал этот большой начальник, — а теперь послушайте только, что написал этот англичанин о фюрере!»

Тут Бербер решил, что погиб, но у него оставался один последний ресурс. Он был одним из немногих сотрудников в системе власти,

наделенных правом просить Гитлера о личной беседе. Бербер немедленно прибег к этой возможности, добился назначения аудиенции и явился к Гитлеру с моим журналом в руке. «Мой фюрер, — сказал он, — я должен повиниться перед вами и попросить прощения. Я пригласил англичанина выступить здесь с докладом, а после того, как все было организовано, он опубликовал нечто неприятное о вас. Я не мог знать заранее, что он собирается это сделать, но я всей душой сожалею, что так случилось». — «Переведите, что написал обо мне ваш англичанин», — приказал Гитлер, и Бербер перевел ему оскорбительный пассаж. «Это несправедливо, — прокомментировал Гитлер. — Американские гангстеры устраняют соперников ради денег, а я сделал это не ради денег. Устройте так, чтобы я смог увидеться с этим англичанином, когда он приедет». Бербер спас свою шкуру, а я был награжден за свой донос на Гитлера приглашением на беседу с ним.

Каким образом был устроен ум Гитлера? Ключом к ответу является, думаю, его особое чутье в смысле воздействия на общественное мнение — этот его дар проявился в истории с Хансом Дикхофом, которая будет приведена ниже в этой главе. «Этот англичанин, — как я полагаю, мгновенно прикинул в уме Гитлер, — этот англичанин выпускает ежегодный «Обзор международных отношений». Сейчас я не имею власти его остановить. До тех пор, пока у меня нет возможности это сделать, надавив на его правительство, он сможет выпустить еще с полдюжины таких томов и, возможно, они будут иметь некоторое воздействие на общественное мнение в англоязычных странах. Если я хочу проводить свою политику по определенному плану, то важно, чтобы британцы и американцы не прониклись ко мне враждебностью в бóльших пределах, чем это неизбежно. Пожалуй, если я встречусь с этим англичанином, я смогу изменить его представление обо мне; а затем, быть может, он уже не станет писать обо мне столь оскорбительные вещи. Да, пожалуй, будет разумно, если я с этой целью уделю ему два с четвертью часа своего времени.

На следующей день после моей аудиенции у Гитлера должна была состояться моя лекция в Юридическом обществе. Я прочел им запланированную лекцию. (Я говорил по-английски, а один отрывок — на немецком языке, что застало их врасплох. Внешнеполитическое ведомство заранее распространило немецкий перевод всего доклада.) Потом мы пообедали с моими слушателями в Берлинской ратуше. В своей лекции я, вне плана, позволил себе маленькое удовольствие подразнить свою аудиторию цитатами из апостола Павла. (Нацисты не признавали никаких христианских ценностей, и я знал, что св. Павел был тем апостолом, которого они не терпели больше всего.) В банкетном зале ратуши, над мешаниной

нацистских мундиров, нарукавных повязок и флагов, я разглядел все еще висевшую там картину с изображением Бисмарка, который подался вперед, протянув руки в гостеприимном жесте, чтобы приветствовать Дизраэли, когда Диззи прибыл на Берлинскую конференцию 1878 г. То был период мира для Второго германского рейха[17]. «Какой неожиданный недосмотр, — сказал я своим нацистским сотрапезникам. — Вы оставили картину, изображающую еврея, в таком заметном общественном месте». Нацисты были смущены. «А вы помните, что сказал Бисмарк о Дизраэли?» — спросил я. «Нет, не помним». — «Что ж, он сказал следующее: «*Der alte Jude, das ist der Mann*»[18]... Да, вы не ослышались, это слова Бисмарка». Бисмарка теперь уже нельзя было заставить страдать за то, что он отдавал должное Дизраэли; однако интересно, как долго провисела эта картина в ратуше после того, как я выставил напоказ ее бьющую в глаза юдофилию.

В тот вечер мне пришлось ужинать с высокопоставленным должностным лицом, отвечающим в нацистском правительстве за пропаганду (теперь уже не помню, с кем именно). Мероприятие имело целью продемонстрировать мне фильм о недавнем съезде в Нюрнберге[19]. Фильм крутился три часа, без перерыва; и за эти три часа я остервенел. Чиновник от пропаганды был бы сокрушен, знай он, какой мощной контрпропаганде он, сам того не зная, меня подвергает. Но я не думаю, что у него заронились какие-то подозрения, что его пропагандистская машина дала задний ход. Когда я уходил, мой хозяин сказал: «Я слышал, что вы вчера виделись с фюрером». — «Да он был так любезен, что встретился со мной», — ответил я. «А кто еще там присутствовал?» — «О! Герр фон Риббентроп и барон Нейрат и герр Дикхофф и, конечно же, доктор Шмидт... да, и еще герр Бербер». Сказав это, я ушел, не предполагая в то время, что этот разговор имеет какое-то значение.

А между тем после ленча в ратуше и перед этим ужином Фриц Бербер принес мне извинения. «Я не присутствовал вчера на вашей лекции, — сказал он. — Но то не моя вина. Это дело рук того человека, с которым вам сегодня предстоит ужинать. Когда этот человек услышал, что у вас будет аудиенция у Гитлера, он сделал вывод, что содействие вашей лекции это ценный вклад в карьеру, поэтому он выхватил организационную часть у меня из рук (он гораздо могущественнее, чем я), а потом прислал мне билет третьего класса на галерку. Если бы я воспользовался этим билетом, я был бы публично унижен — чего, без сомнения, и добивался этот человек». — «Забудьте об этом, — ответил я. — Мы можем оставаться друзьями и без того, чтобы ходить друг к другу на лекции».

На следующий день, когда я зашел к Берберу в канцелярию, он сказал мне: «Сегодня утром случилась удивительная вещь, которой я

не нахожу объяснения. Когда я еще лежал в постели, меня официально посетил какой-то очень высокий человек в очень важном мундире, неся букет цветов и письмо от того, с кем вы вчера ужинали — того самого, который, как вы помните, забрал у меня обязанности организатора вашей лекции. Письмо было написано им собственноручно. «“Вследствие самой необъяснимой и несчастной ошибки, — говорилось в письме, — моя канцелярия послала вам билет третьего класса на лекцию герра Тойнби. Мы, конечно же, зарезервировали для вас самое лучшее место в первом ряду. Примите, пожалуйста, это письмо как выражение моих самых искренних извинений и примите также эти цветы — в знак того, что вы не держите на меня зла за оплошность, которая могла бы выглядеть в ваших глазах намеренной демонстрацией неуважения”. Я ничего не понимаю, — сказал Бербер. — Это никак не вяжется с прежним поведением этого человека».

Я расхохотался. «На сей раз мы поменялись местами, и я могу объяснить вам нечто, чего вы не понимаете. Вчера вечером, когда я уходил от него, он спросил, кто присутствовал при моей беседе с Гитлером, и я ему ответил — в числе прочих упомянув, конечно, и ваше имя. Очевидно, это стало для него потрясением. “Там был Бербер! Значит, он входит в ближний круг! Он один из тех, кто стоит у трона! Что, если в следующий раз, оказавшись рядом с Гитлером, он попросит у фюрера на блюде мою голову? Возможно, Гитлер пообещает, и тогда моя голова полетит. Я должен сделать все, что в моих силах, дабы умиротворить Бербера прежде, чем он успеет добраться утром до своей канцелярии. Если он примется под меня копать, то, должно быть, я погиб”». Бербер согласился, что я совершенно прояснил для него эту утреннюю загадку. Теперь мы смеялись уже оба.

Ханс Дикхоф — один из пяти немецких сановников, которые присутствовали на моей беседе с Гитлером — был и одним из моих немецких друзей, к которому я питал особенное уважение и теплые чувства. В каждый из моих приездов в Берлин я обычно имел с ним беседу в его офисе, а потом они с женой приглашали меня в свой дом в Далеме[20].

Ханс Дикхоф был проницательным и трезвым специалистом в области международных отношений. К примеру, во время этого моего визита в феврале 1936 г. он сказал мне (выразив свою мысль как можно учтивее), что, по его мнению, британцы нашли для себя психологически адекватную отдушину — позволившую им выплеснуть свое негодование в связи с нападением Италии на Эфиопию, — когда вынудили свое правительство отвергнуть план Хора–Лаваля[21] и побудили сэра Сэмюэля Хора самого отозвать этот план. «Теперь, когда они нашли себе козла отпущения в лице Хора, — сказал мне

Дикхоф, — думаю, мы скоро обнаружим, что они не предпримут больше никаких действий. Судьба Эфиопии окажется гораздо хуже, чем предложения Хора — Лаваля, которые вызвали такую бурю в Британии. Если бы эти предложения были представлены на рассмотрение Муссолини и были им приняты, Эфиопия отделалась бы потерей нескольких кусков своей территории. Эта потеря была бы болезненной, поскольку эти несколько кусков были бы крупными; но ценой этой потери остаток Эфиопии сохранился бы как номинально независимое государство. Судя по тому, как сейчас обстоят дела, думаю, что мы станем свидетелями полного завоевания и присоединения Эфиопии, и я предрекаю, что это не подвигнет британцев предпринять какие-либо дальнейшие действия. Вы нашли для Муссолини мальчика для битья в лице Хора. Теперь, когда вы дали выход своим чувствам за счет Хора, вы уже не станете чувствовать никакого побуждения спасать Эфиопию путем открытого выяснения отношений с Муссолини». Через несколько недель печальный исход событий показал, что, если бы Дикхоф не был дипломатом, он вполне бы мог стать психоаналитиком.

Как и Бербер, Дикхоф был откровенен, разговаривая со мной о нацистском режиме. В какой-то из дней ближе к началу Второй мировой войны — это было после ремилитаризации Рейнской провинции — Дикхоф рассказал мне историю, пережитую им самим, с тем чтобы довести до моего сознания всю опасность создавшейся к тому времени ситуации.

В течение той недели, что непосредственно следовала за ремилитаризацией, Дикхоф постоянно циркулировал, вместе с Риббентропом, между Берлином и Лондоном, стремясь добиться (и, достигнув, в конце концов, в этом успеха) выгод для Германии от этого последнего и, таким образом, самого рискованного хода Гитлера — без того, чтобы немедленно вызвать войну, к которой Гитлер был еще не готов, не выстроив пока линию Зигфрида, в противовес линии Мажино[22], вдоль франко-германской границы. На наиболее важной стадии этих переговоров в Лондоне было условлено, что в определенный день Риббентроп и Дикхоф должны прилететь вечером из Лондона в Бад Годесберг, на Рейне, чтобы доложить Гитлеру о результатах своей проведенной в тот день ответственнейшей работы в Англии. Бад Годесберг был назначен в качестве места встречи, потому что, согласно своему расписанию, Гитлер должен был прибыть туда из Дюссельдорфа, где ему предстояло днем произносить речь. Оба посредника на лондонских переговорах и Гитлер прибыли в Бад Годесберг к назначенному сроку (оставалось еще время для позднего обеда) и встретились в номере любимого отеля Гитлера. «Сейчас мы отчитаемся перед ним, — думали Дикхоф и Риббентроп, — а потом пообедаем». (День для них выдался особенно

жарким и нервным; они даже не успели пообедать, и напряжение и усталость давали себя знать.)

Однако, вместо того чтобы расспрашивать о Лондоне, Гитлер начал распространяться о Дюссельдорфе. Ему давно уже следовало совершить эту поездку в Дюссельдорф, сказал он. Он недальновидно откладывал ее, потому что понимал, что еще не полностью настроен на чувства тамошнего населения; и даже после того, как наконец заставил себя совершить это усилие, все равно еще нервничал. Поэтому он заранее позаботился, чтобы десять передних рядов в аудитории были заполнены исключительно промышленными рабочими, с которыми он чувствовал бы себя легче всего. Но все равно, первые десять минут речи он чувствовал себя не в своей тарелке. Однако потом, по выражению глаз слушателей, понял, что говорит именно то, что они сами чувствуют, и после этого все уже пошло хорошо. Гитлер стал подробно вдаваться в технические детали профессионального искусства оратора. Когда он наконец закончил, они подумали: «Ну, ладно, теперь, когда он излил душу, он попросит нас рассказать ему, что произошло сегодня в Лондоне». Как раз в этот момент, однако, к ним подвели директора Кёльнской оперы. Гитлер договорился, что тот тоже явится в этот вечер в Бад Годесберг, чтобы встретиться с ним. Когда директор оперы появился, лицо Гитлера просветлело; они с директором пустились в оживленную дискуссию относительно путей и средств подъема уровня оперных спектаклей, и этот обмен мнениями занял еще больше времени, чем отчет Гитлера о своем собственном рабочем дне в Дюссельдорфе.

В конце концов, после того как Гитлер и директор оперы тщательно обсудили все вопросы, директор ушел; и тогда Гитлер повернулся к Дикхофу и Риббентропу с вопрошающим видом: «Вы ведь сегодня были где-то за границей, не так ли? По какому-то международному делу?» — «Да, это так». — «Что ж, расскажите мне о нем». Они рассказали, и их доклад, естественно, тоже занял некоторое время, но все же не столь продолжительное, как каждое из двух предыдущих действий комедии этого вечера. Но тем не менее к тому времени, как они закончили, было уже около трех часов ночи. «Вы уже обедали?» — по-отечески поинтересовался у них Гитлер. — Нет?» Тогда Гитлер позвонил в звонок, и им подали обед из трех блюд, а Гитлеру — яблоко и стакан воды. Съев и выпив каждый свою порцию, все трое отправились спать.

«Я рассказал вам эту историю потому, — закончил повествование Дикхоф, — что она дает представление о последовательности приоритетов Гитлера. В первую очередь, и главным образом, Гитлер — демагог. Его умение воздействовать на слушателей является ключевым моментом в его власти, поэтому связи с общественностью

для него жизненно необходимы. Вот почему ему было так важно рассказать нам о своем выступлении в Дюссельдорфе, прежде чем он мог переключиться мыслями на какое-то другое дело, и здесь мы имеем его первый приоритет. Что далее? Гитлер — демагог с артистическим темпераментом, а поскольку он австриец, то интерес к искусству находится в русле его культурной традиции. Это дает ему разрядку, а также восстанавливает силы; и вот почему он заставил нас ждать, пока поговорит сначала с директором Кёльнской оперы. Вот вам его второй приоритет. Международные отношения? Они лишь на третьем месте в очередности его предпочтений, и вот это опасно», — закончил Дикхоф. Он обратил мое внимание на то, что считал важным.

Бедный Ханс Дикхоф! Его карьера под властью нацистов была ползучей трагедией. Его способности представляли собой ценное приобретение для режима, которое нацисты не хотели терять. Но Дикхоф был прямым и благородным человеком; он был также человеком, приверженным либерализму и гуманизму, и его политическая проницательность помогла ему осознать (задолго до того, как это произошло), в какую пропасть Гитлер увлекает Германию («с твердой решительностью слепца», как однажды выразил это сам Гитлер, дав красноречивый образец самоанализа). Не раз Дикхоф обсуждал со мной, размышляя вслух, не настала ли уже пора ему выйти в отставку. Но всякий раз чаша весов в его сознании перевешивала в пользу того, чтобы подождать — из-за мысли, что, если он удалится, нацисты наверняка поставят ему на смену того, кто будет способствовать продвижению Германии к катастрофе еще более быстрым шагом, чем тот, что задает ей сейчас Гитлер. В конце концов, должность постоянного министра иностранных дел была важным и ответственным постом; а характер человека, который ее занимал, не мог не сказываться на развитии внешних связей Германии.

Всем нам труднее применять искусство психоанализа к самим себе, нежели практиковать его на других. Я уверен, что Дикхоф искренне верил, что, решая всякий раз остаться, он выбирал тем самым меньшее зло; а отношение к нему наци затрудняло для него даже осознание момента истины. Наци обращались с Дикхофом, применяя дьявольски хитрую и искусную тактику. Они никогда не позволяли возникнуть ситуации, при которой его сомнения и щепетильность вошли бы в резкий конфликт с их преступной политикой. Ни одна проблема, возникавшая между ними и Дикхофом, никогда не казалась достаточно крупной, чтобы гарантировать его разрыв с ними на этой почве; но всякий раз, как он попустительствовал какому-нибудь деянию нацистов, которого не одобрял, он шел на чуть более глубинный компромисс с самим собой, увязая все глубже, пока наконец не оказался повязан с ними неразрывно. Если вы чувствуете

желание строго осудить хорошего и способного человека, который позволил себе попасться в ловушку таким образом, погодите и задайте себе сначала два вопроса. Бывали вы сами когда-либо в положении Дикхофа? А, если нет, уверены ли вы, что сами смогли бы лучше, чем он, справиться с подобной мучительной этической проблемой?

Чем дольше Дикхоф оставался с нацистами, тем, естественно, с большей готовностью они с женой находили основания думать о режиме не так уж плохо; и здесь случай сыграл на руку нацистам. Дикхофы имели единственного ребенка, к которому были очень привязаны. Причина для их проживания в Далеме заключалась в том, что там была школа, которая казалась им как раз подходящей и благотворной для их дочери. Затем наступило время, когда ей предстояло вступать в организацию *Hitler Mädels*[23], и чем ближе была эта дата, тем с большим отвращением думали о ней родители С какими-то девочками столкнется их дитя в отряде местной Hitler Mädels и что за женщина будет начальствовать над ними? Родители были свободны выбирать школу для дочери, но они никак не могли повлиять на персонал Hitler Mädels. А затем, когда ребенок уже вступил в отряд, все обернулось гораздо лучше, чем Дикхофы смели ожидать. Их дочери явно шло на пользу общение с девочками из разных общественых слоев. Это давало ей нечто, что не могла дать тщательно выбранная элитная школа. Пребывание в отряде смягчало гиперчувствительность ее характера, свойственную единственному ребенку в семье. Более того, ее руководительница вовсе не оказалась нациствующей фанатичкой и проповедницей нацистской идеологии. Она вполне оказалась бы на своем месте в организации британских или американских гёрл-скаутов. В своем старании хорошо думать о нацистском режиме, Дикхофы готовы были ухватиться за соломинку, и вот теперь случай предоставлял им спасательный круг. Я уверен, что удачный опыт пребывания их дочери в Hitler Mädels имел решающее влияние на их отношение к режиму в целом, а если так, то в этом нет ничего удивительного, это так по-человечески понятно. Благополучие их ребенка было для них самой важной вещью в жизни, а, против ожиданий, вступление девочки в Hitler Mädels способствовало процессу ее становления. Вы скажете, что это было иррационально — выводить из единичного опыта удачного пребывания одного ребенка в Hitler Mädels представление о благотворности гитлеровского режима в целом? Скажете, что это — наглядный пример принятия желаемого за действительное? Возможно и так, но если вы склонны осудить за это Дикхофов, можете ли вы поклясться, что готовы первыми бросить в них камень?

Драматичная история Ханса Дикхофа имеет свое неизбежно драматическое завершение. В те времена, когда Вторая мировая

война уже маячила на горизонте, он был назначен послом в Вашингтон; и это было, я полагаю, подлинной вершиной его служебной карьеры. В этот момент не могло быть более важного поста для германского дипломата. Некоторые из вашингтонских донесений Дикхофа можно найти в собрании дипломатической документации Германии, которое было опубликовано после войны союзными державами-победительницами. Вошедшие в него донесения Дикхофа свидетельствуют, что он откровенно предупреждал своих патронов: им следует считаться с вероятностью того, что в случае новой мировой войны Соединенные Штаты, рано или поздно, вступят в нее в качестве противника Германии, как это уже было в 1917 г. Это предостережение представляло собой мужественное и отважное исполнение послом своего профессионального долга. Смею предположить, что Риббентроп не обратил на него внимания; и я бы удивился, узнав, что депеши Дикхофа когда-либо попадались на глаза Гитлеру. Но Гитлер, однако же, не преминул обвинить посла, когда учиненный в Третьем рейхе в ноябре 1938 г. еврейский погром[24] вызвал в Соединенных Штатах волну негодования. Согласно фантастическому, ни с чем не сообразующемуся суждению Гитлера, Дикхоф обязан был предотвратить эту реакцию. Посол позорно провалил свою миссию, и Гитлер от него избавился. Как будто Дикхоф мог уговорить американцев примириться с вопиющим проявлением нацистского антисемитизма!

Я рад, что имею возможность сменить тему на более светлую. В Бонне во время карнавала, в один из годов между ремилитаризацией Рейнской провинции и началом войны, меня представили директору Кёльнской оперы, тому самому, которого Гитлер принимал вне очереди в тот вечер 1936 г., когда Дикхоф и Риббентроп дожидались внимания своего хозяина. «Я несу ответственность», — заявил директор оперы. Я навострил уши. «Видите ли, вскоре после того, как я был назначен на мой нынешний пост, один молодой человек попросил меня взять его на испытательный срок в качестве певца. После трехнедельного испытания я сказал ему "Герр Геббельс, вы никогда не добьетесь успеха на этом поприще. Мой вам совет: уходите и попытайте свои силы в журналистике." Теперь вы понимаете?»

Нацистская глава германской истории в ретроспективе выглядит не менее страшной, чем когда она еще только разворачивалась. Из каких глубин человеческой психики извергся этот поток кромешного зла? А когда извергся, как могла шайка порочных людей преуспеть в покорении одного из величайших народов Западного мира — народа, который к тому времени исповедовал христианство на протяжении от 11 до 15 веков, если отсчитывать от насильственного обращения континентальных саксов или добровольного обращения

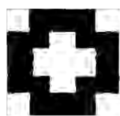
салических франков[25]? Как удалось наци мобилизовать в своих преступных целях все материальные и человеческие ресурсы Германии? Если христианский народ Германии мог поддаться Гитлеру в XX столетии Христианской эры, как все другие народы мира — христиане, мусульмане, иудеи, буддисты или индуисты — теперь могут чувствовать уверенность, что дело однажды не пойдет по немецкому сценарию? Катастрофа, уничтожившая гитлеровский «Тысячелетний рейх»[26], не просуществовавший и двенадцати лет, и потом не отпугнула фанатиков в других странах от попыток двинуться по дорожке, протоптанной нацистами. Видимо, все-таки повсеместно человеческой природе присуще свойство первородного греха, к которому с такой силой и обратили свой призыв нацисты. Мораль, которую можно вывести отсюда, заключается в том, что человечество нигде и никогда не может ощущать себя надежно и в безопасности. Тонкая верхняя корка традиции лишь слегка прикрывает горячую лаву греховности, которая всегда кипит, ожидая лишь возможности прорваться и выплеснуться на поверхность. Цивилизацию никогда нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Ценой, которой мы за нее платим, является необходимость внешней бдительности и непрестанных внутренних духовных усилий.

Почему немцы так послушно предались Гитлеру? Почему они были столь податливым инструментом в его руках? Что ж, я полагаю, во все времена и повсюду большинство людей со страхом отшатывается от необходимости столкнуться с последствиями сопротивления воинствующему злу. Что можно сказать в защиту немецкого народа, так это что под игом нацистов они произвели не целую «благородную армию» мучеников, а хотя бы благородный их отряд. Так, например, я думаю о двух своих друзьях, Кюнцере и Берншторфе.

Гитлеровский переворот застал Берншторфа советником германского посольства в Лондоне. Берншторф никогда не воздерживался от публичного высказывания своего отношения к нацистскому режиму, и он поплатился за свою прямоту снятием с поста, тюрьмой и, в конечном счете, смертью. Но советник был не единственной персоной в том штате посольства в период нацистского правления, кто имел смелость говорить правду. В какой-то из дней, когда Риббентроп еще не был назначен германским послом при Сент-Джеймсском дворе, но уже был дипломатическим представителем Гитлера в широком смысле, я как-то утром прочел в «Таймс», что он только что прибыл в Лондон. В Берлине незадолго до этого Риббентроп взял на себя некоторые хлопоты обо мне и вообще был гостеприимен. (Горничные и детские коляски в его загородном доме под Берлином напомнили мне сцены из моего детства на Кенсингтон-Гарденз, когда меня самого еще возили в коляске, вплоть до конца

викторианской эпохи. Милый уют домашнего уклада Риббентропа плохо вязался с преступным характером его государственной деятельности и с поджидавшей его в итоге судьбой, на мой взгляд, вполне заслуженной.)

А тогда мне захотелось отдать Риббентропу дань учтивости; поэтому в тот день, дождавшись времени ленча, я прошел от Четем-Хауса до германского посольства, располагавшегося тогда на Карлтон-Хаус-Террас, в первом доме к западу от ступенек дома герцога Йоркского. Я позвонил в звонок, и мне открыл дворецкий с серьезным и степенным лицом. Я протянул ему свою визитную карточку и сказал: «Я бы хотел, если можно, оставить это для герра фон Риббентропа». — «Нам здесь ничего о нем не известно, сэр», — едким тоном ответил дворецкий. «Но я прочитал в «Таймс» нынешним утром, что он в Лондоне в качестве чрезвычайного посла рейхсканцлера». — «Мне об этом ничего не известно, сэр». Должно быть, я выглядел растерянным, а дворецкий был, должно быть, добросердечным человеком, ибо наконец он смягчился. «Что ж, сэр, может быть вам попробовать обратиться вон туда?» — И он указал вдоль Нижней Риджент-стрит, в направлении отеля «Карлтон». Я попытал счастья там, и тут уже потерпеть неудачу было невозможно. Я узнал, что Риббентроп занял целый этаж отеля для себя и своей многочисленной свиты, сопровождающей его в пути. Я вряд ли мог ожидать, что дворецкий, как бедный Берншторф, поплатится жизнью за свою откровенность. Но я также едва ли мог ожидать, что он надолго сохранил свое место в посольстве после того, как вскоре там водворился Риббентроп. Я лишь надеюсь, что бесстрашный дворецкий дожил до восстановления в прежней должности, когда спустя годы была учреждена нынешняя западногерманская республика[27] и германское посольство снова вернулось в Лондон.



23. ШРИ ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ

Моя первая встреча с пандитом Неру состоялась в Лондоне в один из дней 1930-х гг. Он тогда был только что освобожден из индийской тюрьмы (куда его многократно упекали британские власти) и, как обычно, после этого приехал в короткий отпуск в Лондон, прежде чем возобновить в Индии политику ненасильственного сопротивления британскому режиму, которой, несомненно, скоро предстояло в очередной раз привести его к тюремному заключению[1]. Во время пребывания мистера Неру в Лондоне с этим кратким визитом одна английская дама пригласила нас с женой на ленч, чтобы там мы могли с ним познакомиться.

Приехав в гости, мы обнаружили, что мистер Неру нас опередил. Он был уже там и обсуждал с нашей хозяйкой политическую ситуацию в Индии, и, как следовало ожидать, декларируемая им политическая линия была тверда — фактически бескомпромиссна. Через минуту-другую разговор был прерван прибытием еще одного гостя. Это был британский генерал, и, когда он заметил мистера Неру, у него отвалилась челюсть. Он застыл на пороге комнаты, будто раздумывал: не обратиться ли в бегство. Позже мы узнали, что генерал был каким-то образом замешан в деле с последним тюремным заключением мистера Неру в Индии, поэтому приглашение его нашей хозяйкой для встречи с Неру теперь представлялось такой же загадкой, как выбор поваром мадам Чан Кайши свинины для угощения мусульманского генерала Ма. Пригласила ли наша хозяйка этого британского генерала из озорства, дабы посмотреть, что произойдет, когда она устроит им с мистером Неру очную ставку? Или ей смутно помнилось, что не так давно мистер Неру и генерал имели какое-то отношение друг к другу? Или она бездумно сочла, что взаимное общение этих людей было приятным и что они будут рады встретиться вновь? Ответа на этот вопрос мы так и не узнали, да он и не существенен для данного повествования. Интерес заключался не в том, была ли оплошность нашей хозяйки случайной или преднамеренной; интересным на тот момент было, как отреагирует на эту неловкость мистер Неру.

В течение тех мгновений, когда генерал в замешательстве медлил в дверях, я смотрел на лицо мистера Неру. Станет ли оно мрачным и зловещим? Возможно, он просто откажется оставаться в одной комнате с человеком, который явно чувствует, что у Неру есть некоторые законные причины на него злиться? Прерванный разговор на болезненную тему индийской политики оставил на лице Неру несколько жесткое выражение. Но прежде чем генерал успел взять себя в руки и шагнуть вперед, выражение лица Неру смягчилось, напряженность ушла, и в глазах блеснул огонек. Теперь стало ясно,

что ситуация, которую создала для него и для генерала наша хозяйка, собирается обернуться забавным эпизодом, не вызвав враждебности с его стороны. Если кто и собирался смущаться, то уж точно не мистер Неру. Генерал упомянул об их более раннем знакомстве, и его обращенное к мистеру Неру приветствие было чрезмерно вежливым, а Неру тут же обыграл комизм ситуации. Его поддразнивающие напоминания об обстоятельствах, при которых они с генералом ранее встречались, вынудили генерала пойти на еще большие уступки. Мистер Неру «сделал» генерала одной левой. Генерал не испытывал удовольствия от этой случайной встречи — в отличие от мистера Неру.

Случай может показаться пустяковым, но, на мой взгляд, это не совсем так. Он был не просто курьезен, он на многое открывал глаза; и это раскрытие характера мистера Неру оставило у меня глубокое впечатление. Перед нами был человек, который боролся, отдавая этой борьбе все силы. Он вел политическую борьбу за дело, в справедливости которого был убежден (я тоже был убежден в его справедливости). За отстаивание своих политических убеждений он только недавно был подвергнут личным страданиям, и такое происходило не впервые. Тем не менее, выйдя на свободу из своего последнего заточения, к которому его приговорили британские власти, он не испытывал никакой враждебной предубежденности ни против британцев в целом, ни против отдельных представителей британских властей в Индии, которые имели отношение к недавно принятым против него карательным мерам. В этой лондонской гостиной я был свидетелем проявления духа Махатмы Ганди. Передо мной была сама политика ненасильственного сопротивления в действии. Сопротивляйся иностранному политическому господству всеми своими силами, но сопротивляйся ему без кровопролития и без враждебной предубежденности. Это было руководство к действию, которое налагало почти сверхчеловеческие требования на человеческую натуру. Может ли какое-либо человеческое существо жить, по-настоящему соответствуя этим требованиям? Что ж, передо мной был один такой человек: этот человек и мог так жить, и на самом деле жил.

Моя следующая встреча с пандитом Неру произошла при совершенно иных обстоятельствах, и не в Лондоне, а в Дели. Состоялась она в последнюю неделю февраля 1957 г.; и мистер Неру был теперь не бывшим заключенным, недавно вышедшим на волю, — он был премьер-министром Индии, исполнявшим эту должность уже около десяти лет. В тот раз наступила уже моя очередь испытывать замешательство при встрече с ним. Я направлялся из гостиницы «Ашока» через Шахджеханабад и Олд-Сивил-Лайнз к университету, где мне должны были присвоить почетную ученую степень. Мне сообщили, к моему удивлению и радости, что премьер-министр тоже будет

присутствовать. Я уже сильно опаздывал к назначенному времени, и было весьма скверно заставлять университетское руководство ждать. Однако я заставлял ждать также и премьер-министра, а у премьер-министров не бывает лишнего времени, чтобы понапрасну его терять. Отель «Ашока» и университет находятся на противоположных концах обширной территории, на которой раскинулись *семь Дели*. В большинстве районов Дели уличное движение в наше время такое же плотное и напряженное, как и в других крупных городах мира. Препятствия в виде бычьих упряжек преодолевать труднее, чем препятствие в виде машин; а бычьи упряжки в изобилии присутствуют на узких улочках обнесенного стеной района Шах-Джехана[2], который никак нельзя обойти. Я опаздывал к назначенному часу все больше и больше. Мог ли я надеяться, что мистер Неру отнесется ко мне столь же снисходительно, как к тому английскому генералу двадцать лет назад? Неожиданно я увидел фигуру в белом, бегущую к нашей машине и взмахами указывающую направление, в котором следует ехать. Это был сам мистер Неру, который отнюдь не был в гневе и на сей раз. Вместо этого он почувствовал потребность помочь нам найти дорогу, поэтому он выскользнул из здания университета, к вящему ужасу людей из своей охраны, и бродил теперь по улицам, нас разыскивая. Нисколько не сердясь на нас за то, что мы, пусть и невольно, заставили его ждать, он пригласил нас на обед. То был скромный семейный прием в его доме, который был, безусловно, особенно мил нашим сердцам.

Вновь личность Неру произвела на меня сильное впечатление; и на этот раз особенно впечатляющей показалась мне его невосприимчивость к тем недугам, которым бывают подвержены люди, оказавшиеся на столь высоких постах. Не озлобиться, не сделаться мрачным мизантропом от пребывания в тюрьме — это, как мне кажется, не столь трудно, как не испортиться характером от пребывания в должности премьер-министра. (Таково мое представление; сам я никогда не имел случая подвергнуться столь нелегкому испытанию характера.) К тому моменту мистер Неру, как я уже упоминал, находился на посту премьер-министра уже почти десять лет; и однако же он предстал перед нами — по-прежнему человечным, по-прежнему бодрым и жизнерадостным. Человеческая непосредственность и юношеский оптимизм — с такими качествами предстал он передо мной в тот раз.

Моя третья и последняя встреча с мистером Неру произошла в феврале 1960 г. Я вновь приехал в Дели, чтобы прочитать мемориальные лекции, посвященные памяти Мауланы Азада[3], и опять мистер Неру нашел время принять участие в университетской церемонии. Маулана Азад, в память о котором был организован цикл лекций, был богословом, специалистом по исламскому религиозному

праву. Но одновременно он был активным и выдающимся поборником индийского национального освобождения, достаточно выдающимся и активным, чтобы не понаслышке знать о британских тюрьмах — подобно Неру, Махатме Ганди и огромному числу их соратников. Когда мистер Джинна[4] выступил за разделение Индии на два государства, Маулана Азад предпочел для себя Индию, а не Пакистан. Он был первым министром образования в независимой Индии; и его индийские соотечественники ценили и почитали его, главным образом, за то, чем он был, но также и за то, что он собой символизировал. Маулана Азад был выдающейся личностью, но, кроме того, он выступал за идеал светского индийского государства, который отстаивали также Ганди и Неру — за такое государство, в котором члены мусульманского меньшинства должны иметь равные права со своими согражданами-индуистами.

Идеалом Ганди и Неру была веротерпимая Индия. В стране, где преобладающее большинство населения составляют индусы, первым министром образования был мусульманин. В серии лекций, которые были организованы в память о вожде индийского национально-освободительного движения, лектором второго цикла стал англичанин. Вводный курс прочитал сам мистер Неру. Я начал первую лекцию следующего, уже своего цикла с того, что привлек внимание к примечательным фактам: я читал второй по порядку цикл лекций в память об индийце, которого мои соотечественники сажали в тюрьму; моего предшественника в чтении этих лекций британцы также не раз приговаривали к тюремному заключению; тем не менее в данный момент я находился здесь и обращался к этим индийским слушателям по приглашению индийского комитета.

Предыдущая моя встреча с мистером Неру оставила у меня ощущение, что этот человек неуязвим и неустрашим. К тому времени он выдержал уже почти десять лет беспрерывной, упорной, тяжелой политической работы, уже не прерываемой периодами вынужденной пассивности в тюрьме, когда напряжение несколько ослабевало. Казалось, что он одержал победу над самим временем. Множащиеся годы его службы не могли согнуть его. И вот с тех пор прошло только три года, но теперь я обнаружил в нем печальную перемену. То, что не могло сделать время, сделал Китай[5]. Я не принял в расчет Китая; и, уверен, мистер Неру также не принял его в расчет.

В феврале 1960 г. конфликт между Индией и Китаем еще не достиг своего наивысшего накала, но Индия испытывала все более сильное давление, а сильнее всего давил этот китайский гнет на человека, который выносил на своих плечах гораздо больше тягот своей страны, чем обычно требуется даже от премьер-министра. Меня известили о назначенной встрече с премьером в его рабочем

кабинете утром 23 февраля, и я стал возражать. Благодаря присутствию Неру 21 февраля на первой из моих лекций, я уже имел тогда возможность обменяться с ним несколькими словами. Бремя забот, лежащее на плечах этого человека, было и без того чрезмерным, и я не хотел быть причиной увеличения этого бремени, нагружая его совершенно необязательной рутинной обязанностью. Однако меня заверили, что моя встреча с премьер-министром запланирована по его ясно выраженному желанию, поэтому я не стал отказываться от возможности встретиться с ним еще раз. Вместе с тем я хотел поберечь его насколько можно и потому решил не говорить ничего о Китае. Но вскоре я обнаружил, что из этого ничего не выходит: мистер Неру не мог говорить ни о чем другом. Китайская проблема оказалась для него слишком большим испытанием.

Сильным людям свойственно восставать против ограниченности нашей человеческой природы: против смерти, против поражения, против усталости. И какое же ликование испытываешь, когда сталкиваешься с человеком, который как будто победил Судьбу. Ведь победа героя — это не только его победа, это общая победа человечества. Увы! Наше торжество покупается дорогой ценой. Нашей расплатой становится трагедия лицезреть, как Судьба, в конечном счете, одерживает победу. «И от судеб защиты нет». Рано или поздно, всем человеческим существам приходится покориться своему грозному противнику. В эту последнюю мою встречу с мистером Неру я обнаружил, что его некогда жизнерадостный дух сломлен. Неру, как и всякий смертный, не смог до конца противостоять Судьбе; его видимая победа была иллюзией, враг только выжидал время, чтобы нанести удар поэффектнее. Когда Судьба в конечном счете побеждает человека неординарного духовного масштаба, она всем нам преподносит урок и всех нас призывает склониться перед ней.

После смерти Джавахарлал Неру претерпел к себе такое же отношение, что и Т. Э. Лоуренс. «Разоблачители» немало похлопотали. Однако, когда стервятники покончат со своим занятием копания в отбросах, Неру (как и Лоуренс) останется тем же, чем был при жизни. Он останется человеком выдающимся. Хотя и всего только человеком — притом таким привлекательным в своей человечности.



24. ЛОРД СЭМЮЭЛ[1]

Как-то утром 1909-го или 1910-го года я выглянул из окна своей комнаты в оксфордском Бейллиоле и увидел человека, сбегающего по ступеням соседнего входа, где располагались гостевые комнаты колледжа. Быстрый, резкий шаг и черные волосы незнакомца привлекли мое внимание, и я спросил своего личного служителя, накрывавшего мне завтрак, не знает ли он, кто это. «О, это мистер Сэмюэл, министр почт, — услышал я ответ. — Он присутствовал на вчерашнем званом обеде в колледже. Несколько молод для министра, не правда ли? Это большая честь для колледжа».

Я тоже заметил, что мистер Сэмюэл был молод — по крайней мере для члена кабинета. Ему было тогда, полагаю, чуть меньше сорока, сам же я находился в том возрасте, при котором все люди старше тридцати пяти обычно выглядят одинаково старыми. Мне не довелось толком познакомиться с сэром Сэмюэлем вплоть до начала Второй мировой войны, когда ему было немногим меньше, чем мне сейчас. Встречаясь с ним, что бывало довольно часто, в последний период его необычайно долгой жизни, я обычно вспоминал то мое давнее, мимолетное впечатление в Бейллиоле, в ту пору, когда он еще был членом Кабинета министров.

Мое личное знакомство с лордом Сэмюэлем произошло после Первой мировой войны. Это было на неофициальной встрече в его доме на Порчестер-террас. Он как раз получил назначение в качестве Верховного комиссара в Палестине (это был первый британский Верховный комиссар на подмандатной территории) и пригласил группу людей, которые так или иначе соприкасались с Ближним Востоком, чтобы побеседовать с ними о тамошней ситуации и о перспективах на будущее. Лорд Сэмюэл был человеком широких взглядов, острого, проницательного ума и непредвзятых суждений, лишенный заносчивости и самодовольства, поэтому он хотел и мог многому научиться в ходе подобных консультаций. На меня произвело впечатление то, как он вел это совещание, и я уже не удивлялся впоследствии, наблюдая, с каким успехом он выполняет свою трудную миссию. Назначив именно его на эту должность, правительство сделало превосходный выбор. Назначение еврея явилось обнадеживающим фактором для сионистов; назначение человека беспристрастного, справедливого и объективного являлось гарантией для арабов. Если кто-то и мог разрешить бальфуровскую квадратуру круга[2], то это был, полагаю, именно лорд Сэмюэл. И я склонен думать, что во многом благодаря тому благоприятному началу, которое он положил мандатному правлению в Палестине, Британия не сталкивалась с серьезными проблемами в тамошних краях вплоть до 1929 г., то есть четыре года спустя после окончания срока

полномочий лорда Сэмюэля, в то время как серьезные неприятности Франции в соседней Сирии начались уже в 1925 г.[3].

Лорд Сэмюэл был, пожалуй, человеком самого объективного и непредубежденного ума из всех, кого я знал. Если бы я искал беспристрастного арбитра для спора, в котором участвовал бы в качестве одной из заинтересованных сторон, мой выбор пал бы в первую очередь на него. Я бы мог чувствовать уверенность, что, вне зависимости от того, решит ли он дело в мою пользу или против меня, его решение будет беспристрастным.

Наиболее яркими и выпуклыми чертами его характера были честность и прямота; следующим наиболее значительным качеством был здравый смысл. Две фракции раздробленной Либеральной партии[4] нашли в нем миротворца и посредника, на чью порядочность и благоразумие обе стороны могли всецело рассчитывать.

Семья Герберта Сэмюэля представляла собой, я полагаю, как и семья Альфреда Циммерна, сравнительно недавних переселенцев в Англию с континента, но ее корни глубоко вросли в английскую почву. После того как ему перевалило за девяносто, лорд однажды сказал мне, что начиная с шестимесячного возраста он жил в Лондоне в пяти минутах ходьбы от Кенсингтон-Гарденз. Это задело во мне ответную струну, так как, начиная с возраста, когда меня возили в коляске, я жил в десяти минутах ходьбы от этого места и меня возили в сад Кенсингтон-Гарденз дважды в день, причем иногда — именно по Порчестер-террас, родной улице лорда Сэмюэля в течение всей его жизни. В последние годы ноги уже не могли носить его даже на это короткое расстояние, что сделалось для него источником танталовых мук. (Чем старше становится человек, тем больше ценит он свои прежние связи и общение.) Однако он обеспечил себе импровизированную замену. За углом его дома, все еще в пределах возможностей его передвижения, находился гараж, хозяин которого только что провел реконструкцию, и после перестройки оставался узкий участок неиспользованной земли между стеной гаража и дорогой. Лорд Сэмюэл убедил владельца позволить ему превратить эту полоску в миниатюрный общественный сад. Он поставил там скамеечки и посадил цветы и имел обыкновение сидеть там в обществе других стариков, которых тоже привлекало это умиротворяющее место.

Колледж Бейллиол, где лорд Сэмюэл когда-то был студентом и где я впервые увидел его, всегда значил для него очень много. Он усваивал там философию и либеральные идеи столь же усердно, как я — греческий и латынь. Он остался верен философии, да и либерализму, до конца своих дней.

Я уже упоминал справедливость и здравый смысл этого человека. Третьей характерной добродетелью был его стоицизм. Это свойство

отчетливо проявилось у него в преклонном возрасте, именно в тот период жизни, когда я общался с лордом Сэмюэлем больше всего и наиболее полно его узнал. Одним из тяжелых испытаний для пожилого человека становится то, что нередко различные его природные способности приходят в диссонанс друг с другом. Лишь немногие люди, дожившие до преклонных лет, оказываются столь удачливы, как лорд Брайс, который до конца дней полностью сохранил и свои умственные, и физические способности. Самый скорбный удел состоит в том, чтобы утратить разум, оставаясь при этом физически по-прежнему живым (хотя, возможно, это более мучительно для наблюдателей, чем для жертвы). Разум лорда Сэмюэля, подобно лорду Брайсу, не утратил ясности, но ему выпала на долю физическая дряхлость. У него начал отказывать слух, а также ухудшилась способность передвигаться. Однако худшей потерей из всех (за исключением утраты разума) является потеря близких людей, с которыми неразрывно связана собственная жизнь человека. Эта потеря, наиболее тяжелая и горестная из всех, обрушилась на лорда Сэмюэля вместе со смертью леди Сэмюэл. Лорд Сэмюэл был слишком тонок и чуток и слишком привык смотреть правде в глаза, чтобы остаться невосприимчивым к своим несчастьям или даже пожелать себе стать таковым, но он умел выносить свои несчастья с замечательным достоинством и силой духа. Его дух никогда не угасал. До самой смерти он сохранял интерес к окружающим событиям жизни и делам людей и свою неизменную заинтересованность в их улучшении. Если человек завершает свой путь подобным образом, он действительно преуспел в жизни.





НАУЧНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

ОТ КОММЕНТАТОРА

В мемуарах А. Дж. Тойнби упоминается огромное количество людей, не все из которых попали в те или иные энциклопедии или биографические справочники. Помимо того, Тойнби называет множество мелких фактов и событий, также не нашедших места в исторических сочинениях. Определенные трудности вызывает перевод специфической терминологии в наименованиях должностей в Оксфордском университете, не имеющей соответствий в русском языке и российской университетской практике, поэтому кое-где дан описательный, а не буквальный перевод. За определенную неполноту комментария автор примечаний приносит свои извинения читателю.

Комментатор счел возможным не повторять разъяснения имен и событий, встречавшихся в ранее изданных книгах Тойнби, т. к. это было сделано им в соответствующих комментариях. Все отсылки к прежним комментариям даются по изданию:

Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., Айрис-пресс, 2001—2003.

Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. Мир и Запад. М., Айрис-пресс, 2002—2003.

ПЕРЕЖИТОЕ



Часть первая. СУДЬБЫ

1. ОТЪЕЗД В ШКОЛУ

[1] См. «Постижение истории», прим. 53 к т. 2, «Шесть форпостов в истории Западной Европы».

[2] После убийства 31 декабря 192 г. императора Коммода римский сенат избрал главой государства сенатора Публия Гельвия Пертинакса (ок. 160—193). Тот попытался ограничить своеволие преторианцев — императорской гвардии, — за что был убит 28 марта 193 г. Преторианцы открыто заявили, что возведут на престол того, кто больше заплатит. Покупателем оказался Марк Дидий Юлиан, тут же провозглашенный импера-

тором. Однако выполнить свои денежные обещания он не смог и 1 июня 193 г. был убит (рассказ, переданный Гиббоном, — легенда).

[3] Королевская военная академия в Вулидже (муниципальный округ Лондона) основана в 1741 г., королевский военный колледж в Сандхерсте (графство Беркшир) — в 1802 г. Эти привилегированные военные учебные заведения с высоким уровнем образования соперничали между собой, пока в 1947 г. не объединились на базе Сандхерста.

[4] На горе Афон в Северо-Западной Греции расположен комплекс мужских православных монастырей, прославленный как центр православного богословия и благочестия.

[5] Имеются в виду обряды инициации, особые ритуалы, знаменующие переход юношей в разряд взрослых; сопровождаются пытками и мучениями, символизирующими временную смерть мальчика перед его новым рождением в качестве воина и одновременно служащими испытанием на выносливость.

[6] В британских университетах кураторы студенческих групп называются префектами.

[7] *Букв.* равный Богородице (*греч.*).

[8] На профессиональном жаргоне британских университетов «доны» — преподаватели, «капитаны лордов» — студенческие руководители старших курсов, «община» — студенты, не получающие стипендии и платящие за учебу.

[9] Имеется в виду именная стипендия, учрежденная в 1801 г. Министерством по делам Ирландии.

[10] Масаи — африканский этнос (ок. 500 тыс. человек), обитающий в приграничных районах Кении и Танзании, пешие кочевники-скотоводы, чрезвычайно воинственный народ. Неженатая молодежь живет отдельно от племени, занимается пастушеством и набегами на соседние племена. А. Дж. Тойнби сравнивает здесь нравы закрытых учебных заведений Англии с обычаями сообществ холостых молодых людей у первобытных народов.

[11] Уильям Уикемский (1323?—1404) — английский государственный и церковный деятель, епископ Уикемский, лорд-канцлер в 1367—1376 и 1377—1391 гг., основатель колледжа св. Марии в Оксфорде; здание этого колледжа было построено на его средства в 1383—1388 гг.

[12] Ричард Стаффорд Криппс (1889—1952) — лидер левого крыла Лейбористской партии Великобритании (исключался из партии в 1939—1945 гг. за поддержку пакта Молотов—Риббентроп), посол в СССР в 1940—1942 гг., министр в 1942—1950 гг.

[13] Дэвид Ноуэлл Притт (1887—1972) — английский левый общественный деятель, юрист; в 1933—1969 гг. председатель Британского общества культурных связей с СССР, лауреат Международной Ленинской премии.

[14] Освальд Эрнальд, барон Мосли (1896—1980) — британский политический деятель, до 1922 г. — консерватор, в 1924—1931 гг. — лейборист (в 1929— 1930 гг. — член правительства), с 1923 г. — председатель Британского союза фашистов.

[15] Плинио Фраккаро (1883—1959) — итальянский историк-античник.

[16] Гаэтано Де Санктис (1870—1957) — итальянский историк-античник.

[1] Высший венгерский орган сословного представительства — Государственное собрание — был учрежден еще в 1222 г. Габсбурги, отвоевавшие в 1699–1711 гг. Венгрию у турок, признали права Государственного собрания как автономного парламента. По традиции языком его работы была латынь, но в 1846 г. ввиду национального подъема им стал венгерский, что вызвало протесты национальных меньшинств Венгрии — словаков и хорватов.

[2] Со времен императора Диоклетиана (284—между 313 и 316, император в 284—305) сложилась такая система управления, названная позднейшими историками «доминат» (от *лат.* dominus — господин), при которой сенат отстранялся от власти, сосредоточивавшейся в императорской канцелярии.

[3] Обращение к государю «dominatio tua» — «твое господство», т.е. нечто вроде «твое величество», — появилось в III в. н. э.

[4] «Путевые картины» — цикл стихотворений Генриха Гейне (1798–1856); посвящены его поездкам по Германии и Италии, выходили в свет по частям в 1825–1827 гг.; явствующие из этих стихов свободомыслие и демократические убеждения автора привели к запрету этого сборника в ряде германских государств.

[5] Одной из форм утверждения французского влияния в Германии в эпоху наполеоновских войн было проведение в германских государствах под французским нажимом реформ по французскому образцу: введение гражданских кодексов, ограничение прав Церкви, аграрная реформа и т. д. Падение Наполеона вызвало мощную реакцию, направленную на восстановление прежних порядков и ограничение демократии и т. п. Душой этой реакции был князь Клеменс Меттерних-Виннебург (1773–1859), министр иностранных дел (1809–1821) и канцлер (1821–1848) Австрийской империи.

[6] Имеются в виду левые социал-демократы.

[7] См. «Цивилизация перед судом истории», прим. 18 к ст. «Мой взгляд на историю».

[8] Имеется в виду белое духовенство.

[9] Эдуард III (1312–1377) — король Англии с 1327 г., инициатор Столетней войны.

[10] В христианских Церквах (кроме большинства протестантских) существует три ступени священства: диаконы, пресвитеры и епископы (подразделения внутри каждой ступени имеют лишь административное значение). По церковным канонам нельзя достичь высших ступеней, не пройдя низшие, но в случае необходимости посвящаемый проходил все ступени в течение одного дня.

[11] Уильям Гросин (1441?—1519) — английский ученый, гуманист.

[12] «Обитель Кекропа» — легендарного первого афинского царя — Аттика, считавшаяся во II в. н. э., время правления императора-философа Марка Аврелия, заповедной областью античной культуры. А. Дж. Тойнби противопоставляет этот узкий мирок эллинской образованности «обители Зевса» — подлинной цивилизации Греко-Римского мира.

[13] Эдмунд Бёрк (1729–1797) — английский философ, публицист и общественный деятель; А. Тойнби переводит его речи на язык Цицерона — тоже политического оратора.

[14] Ралф Уолдо Эмерсон (1803–1882) — американский философ-романтик, писатель-эссеист; А. Тойнби, видимо, усматривает его близость к Платону в том, что оба эти писателя-философа излагали свое учение не столько в философских категориях, сколько в художественных образах.

[15] Имеется в виду период т. наз. эллинского возрождения, или второй софистики (по названию философского течения V в. до н. э.), в I — нач. III в. н. э., когда произошел подъем литературы, в т.ч. философской, на греческом языке. Представители «эллинского возрождения» стремились, и довольно искусственно, возродить словесность золотого века, времени от греко-персидских войн, от победы греков при Марафоне в 490 г. до н. э. до македонского завоевания, до поражения при Херонее в 378 г. до н. э. Наиболее видными фигурами этого периода в глазах «вторых софистов» были: вождь афинской демократии Перикл (ок. 490–429 до н. э.), инициатор расцвета Афин и один из виновников Пелопоннесской войны, лидеры Беотийского союза Эпаминонд (см. «Цивилизация перед судом истории», прим. 10 к ст. «Мой взгляд на историю») и Пелопид (ок. 410 — 364 до н. э.), нанесшие в битве при Левктрах поражение спартанской армии благодаря примененной ими новой военной тактике — т. наз. косому строю, при котором один из флангов войска укреплялся построенным в глубину особым ударным («священным фиванским») отрядом.

[16] Во 2-й пол. XIX в. Россия и Великобритания вступили в соперничество по поводу сфер влияния в Средней Азии и на Дальнем Востоке; поэтому английское общество сочувствовало Японии во время русско-японской войны 1904–1905 гг.

[17] В нач. XX в. ряд держав, обеспокоенных ростом военного могущества Германии, предпринял попытку создать противодействующий ей союз. В 1904 г. такой военно-политический союз был заключен между Англией и Францией и получил название Антанта (от *фр.* — согласие). В 1907 г. в Антанту вступила Россия (тогда же появилось иное название — Тройственный союз), во время 1-й мировой войны — еще ряд держав. Антанта распалась после 1920 г.

[18] Произведения Гомера как минимум с VI в. до н. э. почитались в Элладе как непревзойденный образец литературы. Демосфен (ораторское искусство, по античным понятиям, входило в литературу) покончил с собой в 322 г. до н. э., когда последние попытки ведомой Афинами Греции сбросить македонское иго провалились.

[19] Грекоязычные авторы периода «второй софистики» — в частности, оратор Дион Хризостом, т. е. Златоуст (ок. 40 — ок. 120), и ритор Элий Аристид (117 — ок. 190) — практически не знали римской литературы, которая, однако, переживала в I в. до н. э. — I в. н. э. расцвет, названный позднейшими учеными серебряным веком (золотой век античной литературы — греческая литература V в. до н. э.); началом этой эпохи считается 81 г. до н. э. — дата первой дошедшей до нас речи Цицерона, вершиной — рубеж н. э., когда творили Вергилий, Гораций и Овидий, завершением — время творчества римского сатирика Децима Юния Ювенала (ок. 60–140).

[20] О своей скорби в связи со смертью дочери Туллии (ок. 76–45 до н. э.) Цицерон писал другу и соратнику Сервию Сульпицию Руфу (ок. 106–43 до н. э.); в ответном письме тот пытается смягчить горе несчастного отца. Это письмо представляет собой образец весьма популярного в

Античности жанра «утешения». Руф описывает некогда знаменитые города Греции, ныне пришедшие в упадок; все проходит, и смерть Туллии есть лишь проявление мирового закона бренности всего сущего.

[21] Акрокоринф — цитадель г. Коринфа на горе и название этой горы.

[22] Акрокерави — мыс в Эпире, ныне — мыс Гюхеза в Албании.

[23] Железнодорожный туннель длиной 19,5 км в Швейцарских Альпах.

[24] Имеются в виду Микены эпохи расцвета микенской культуры.

[25] Влахи (валахи, куцовлахи), или аромуны (самоназвание), — румыноязычный этнос, живущий в Греции и сопредельных странах (110 тыс., в Греции — 60 тыс. человек); основное занятие — отгонное скотоводство.

[26] Клефты (*н.-греч.* — воры) — в XVII — нач. XIX в. греческие разбойники-партизаны, в основном из простонародья, воевавшие против турок и собственных помещиков.

[27] Персонаж «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла (наст. имя и фам. Чарлз Латуидж Доджсон, 1832—1898) Белый Рыцарь все время падает с лошади, Алиса советует ему ездить на деревянном коне с колесиками. Белый Рыцарь везет с собой много всякой всячины — каминные щипцы, совки, пучки моркови и т.п., как подвешенные ко множеству крючков на седле, так и в притороченном к доспехам ящике, причем ящик закреплен все время открывающейся крышкой вниз, чтобы дождь не попортил содержимое.

[28] Вокруг имени св. Франциска Ассизского (1182—1226) складывались легенды, сведенные в XIII в. в сборник «Цветочки св. Франциска Ассизского». В 1228 г. генерал Ордена францисканцев брат Илия из Кортоны (ум. 1253) основал монастырь в Ассизи; одно из строений этого монастыря — Верхнюю церковь — в 90-х годах XIII в. расписал фресками на сюжеты «Цветочков» знаменитый Джотто ди Бондоне (1266 или 1267—1337).

[29] Эриманф — гора в северной части Пелопоннеса (средневековое название полуострова — Морея) высотой 2226 м.

[30] Имеется в виду Триполитанская война. — См. «Постижение истории», прим. 3 к т. 10 «Вдохновение историков».

[31] С целью установления единой системы разменной серебряной монеты в 1865 г. был заключен между Францией, Италией, Бельгией и Швейцарией монетный союз, названный Латинским, т.к. итальянский и французский языки (государственные также и в двух последних странах) произошли от латыни; в 1868 г. к союзу присоединилась Греция.

[32] «Бейсик инглиш» (т. е. «базовый английский») — разработанный английским филологом Чарлзом Кеем Огденом (1889—1957) упрощенный английский язык для международного общения; здесь: минимальный запас английских слов.

[33] Апок. 21: 19—20, где говорится, правда, об основаниях стены Небесного Иерусалима.

[34] Описываемые события происходят в начале 1912 г. В октябре того же года началась 1-я Балканская война между Турцией, с одной стороны, и Балканским союзом (Греция, Болгария, Сербия и Черногория) — с другой. В результате этой войны, завершившейся в конце мая 1913 г., остров Крит, принадлежавший Турции, но с 1898 г. автономный под покровительством европейских держав, отошел к Греции; Турецкая Македония также была занята союзниками, но они не смогли поделить ее, и через

месяц после конца 1-й началась 2-я Балканская война между Болгарией, с одной стороны, и остальными странами балканского союза вкупе с Румынией и вчерашним врагом, Турцией, — с другой. В итоге большую часть Македонии разделили Греция и Сербия, часть отошла к Болгарии, часть — возвращена Турции (после 1-й мировой войны досталась Греции). Кроме того, в результате 1-й Балканской войны Греция получила Южный Эпир.

[35] В начале романа Апулея (ок. 124 — после 170) «Метаморфозы» («Золотой осел») герой, Луций, едет в Фессалию. Описания Олимпа там нет.

[36] А. Дж. Тойнби производит название мыса от греческого: чудо, удивление, ошеломление.

[37] До Балканских войн граница между Грецией и Турцией проходила по исторической области Фессалии, и Олимп был на турецкой территории.

[38] Гераклея Трахиния — город в Южной Фракии, первоначально — Трахин; по преданию, именно там покончил с собой путем самосожжения Геракл.

[39] В XIX в. греки-критяне неоднократно восставали против турецкого господства, и эти восстания сурово подавлялись. Во время восстания 1896—1898 гг., приведшего к автономии Крита (см. выше, прим. 34), повстанцы жестоко обошлись с турками-критянами.

[40] Армяне, составлявшие немалую часть населения Османской империи, вызывали в массах турок ненависть как «торгаши» (среди торговцев империи было немало армян), «неверные» и «русофилы» (часть Армении была в составе Российской империи). Эта ненависть раздувалась властями, объявлявшими армян причиной всех бед Турции. В 1915 г. по инициативе правительства была предпринята акция якобы депортации армян из пограничных с Россией территорий в пустыни Месопотамии, на деле — массовое истребление, продолжавшееся спорадически до 1922 г.; более 1,5 млн армян было убито, более 1 млн — бежало.

[41] В 1884 г. итальянская археологическая экспедиция, в которой принимал участие немецкий ученый Эрнст Фабрициус (1857—1942), обнаружила в г. Гортине на Крите текст законов этого полиса кон. VI — нач. V в. до н. э.

[42] Гадес — одно из названий Аида, бога подземного царства и самого этого царства. По легенде, на мысе Тенар (см. ниже) находилась пещера, через которую Геракл спустился в Аид. Во время войн за раздел и передел царства Александра Македонского резко выросло число профессиональных воинов-наемников; основными местами их вербовки были о. Крит и мыс Тенар — крайняя южная оконечность Пелопоннеса. Посейдон, бог моря у древних эллинов, почитался на Пелопоннесе как божество, пропитавшее землю солью и этим наславшее бесплодие, но затем усмирившее свой гнев.

[43] Имеется в виду Арнольд Тойнби (1852—1883) — английский историк и экономист, автор книги о Промышленной революции XVIII в.

[44] Решение о создании новой столицы Пакистана — Исламабада — было принято в 1959 г. Строительство начато в 1961 г., закончено в 1972—1975 гг. Проект готовила фирма под руководством греческого архитектора и теоретика градостроительства Констандиоса Апостолоса Доксиадиса (1913—1975).

[45] См. «Постижение истории», прим. 109 к т.1 «Введение», гл. «Сравнительное исследование цивилизаций». Это поселение много древнее библейского Иерихона.

[46] К. Доксиадис родился в Афинах.

[47] После 1-й мировой и греко-турецкой войн был произведен обмен населением между Грецией, Турцией и Болгарией; всего из Турции уехало 1,25 млн греков, в Турцию въехало 370 тыс. турок, в Болгарию — ок. 200 тыс. болгар.

3. АВГУСТ 1914-го

[1] См. «Постижение истории», прим. 13 к т. 9, гл. «Контакты между цивилизациями в пространстве».

[2] См. «Цивилизация перед судом истории», прим. 5 к ст. «Мой взгляд на историю». Морганатической (т. е. не принадлежащей к правящим династиям — дети от такого брака не имели права наследования престола) женой Франца Фердинанда были графиня София Хотек (1868— 1914).

[3] Квакеры (от *англ.* to quake — трястись, дрожать) — протестантская секта, возникшая в Англии во время Английской революция XVII в. С кон. XVII в. большие группы квакеров стали переселяться в британские колонии в Северной Америке, будущие США. Квакеры отрицают всякие внешние формы религиозности — духовенство, таинства, молитвы — и усматривают сущность религии в озарении верующего Божественным светом. Богослужение заключается в коллективном молчаливом внутреннем общении с Богом, после чего любой из присутствующих начинает проповедь, часто весьма экзальтированную (отсюда и название). Квакеры не признают социальных различий, не снимают ни перед кем шляпу, не приносят присягу; активные пацифисты.

[4] Суфражистки (от *англ.* suffrage — право голоса) — участницы движения за предоставление женщинам избирательных прав в Британии. Радикальное крыло суфражисток проводило тактику демонстративного нарушения общественного порядка, срыва публичных мероприятий и т.п. После предоставления женщинам права голоса в 1918 г. движение сошло на нет.

[5] Менады — в греческой мифологии спутницы Диониса; следовали за Дионисом в шкурах, увитые виноградными листьями, в экстазе сокрушали все вокруг своими жезлами (тирсами), разрывали встреченных диких зверей и даже людей, не желавших поклоняться Дионису. В переносном смысле — экзальтированные фанатички.

[6] Ричард Бердон Холдейн (1856–1928) был в 1905–1912 гг. военным министром Великобритании и провел значительные реформы вооруженных сил, осуществив среди прочего деление армии на территориальные войска и экспедиционные силы, которые в случае войны должны были сражаться в Европе.

4. ДВЕ ПАРИЖСКИЕ МИРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

[1] *Шекспир У.* Гамлет. Действ. IV, сцена 2.

[2] А. Дж. Тойнби почти угадал. 27 января 1973 г. в Париже было подписано соглашение о прекращении войны во Вьетнаме между правительствами Северного Вьетнама (Демократической Республики Вьетнам), США,

Республики Вьетнам (поддерживаемой США администрации Южного Вьетнама) и т. наз. Временным правительством Республики Южный Вьетнам (руководством поддерживаемых ДРВ коммунистических повстанцев).

[3] На Парижской мирной конференции 1919—1920 гг. побежденные в 1-й мировой войне государства не были представлены, посему Версальский мирный договор держав Антанты с Германией вырабатывался без участия последней; националистические движения Германии рассматривали этот договор как несправедливый, насильственно навязанный «диктат», и одним из лозунгов национал-социалистов стало: борьба с «Версальским унижением» Германии.

[4] Принкипо, иначе Принцевы острова (*тур.* — Кызыл-Адалар), — острова в Мраморном море близ Стамбула, курортное место. В 1919 г. державы Антанты планировали созвать там конференцию всех враждующих сторон в гражданской войне в России; конференция эта не состоялась.

[5] Руководящую роль на Парижской мирной конференции 1919—1920 гг. играл т. наз. Совет Четырех, совещание глав делегаций: Франции, во главе с премьером Жоржем Клемансо (1841—1939); Италии, во главе с премьером Витторио Эммануэле Орландо (1860—1952); Великобритании, во главе с премьером Дэвидом Ллойд Джорджем (1863—1945) и советником делегации Эдвардом Греем; США, во главе с президентом Томасом Вудро Вильсоном (1856—1924).

[6] Руководителем французской делегации на Парижской мирной конференции 1946 г. был Жорж Бидо (1899—1983), участник Сопротивления, тогда — министр иностранных дел Франции, позднее — ярый противник независимости Алжира, в 1961 —1962 гг. — председатель Национального совета Сопротивления, легального крыла антиголлистской террористической Секретной военной организации (ОАС).

[7] Советскую делегацию на Парижской мирной конференции 1946 г. возглавлял Вячеслав Михайлович Молотов (наст. фам. Скрябин) (1890—1986), в 1939—1949 гг. — народный комиссар иностранных дел СССР.

[8] Джеймс Френсис Бирнс (1879—1972) — американский политический деятель, государственный секретарь в 1945—1951 гг.

[9] Эрнст Бевин (1881—1961) — министр иностранных дел Великобритании в 1945—1951 гг., лейборист.

[10] В античной этике одним из главных принципов было регулирование страстей: стоики призывали к «апатии» — бесстрастию, ибо страсть есть неразумное движение души, эпикурейцы учили «атараксии» — невозмутимости, означающей внутреннюю свободу. Буддийское учение о спасении гласит, что желание есть причина страданий, избавление от желаний избавляет и от мук.

[11] Мария Антуанетта (1755—1793) — королева Франции в 1774—1792 гг. до грозных событий Французской революции, была подвержена всем веяниям моды: под влиянием идей Руссо о «близости к природе» и «простой жизни» она приказала построить близ своего дворца Малый Трианон в Версале хлев, где содержались две коровы, которых монархиня собственноручно доила (чистили хлев слуги). С самого начала революции вокруг королевы сосредоточились все контрреволюционные силы. После свержения монархии и казни короля Мария Антуанетта была объявлена главным врагом французской нации, против нее был организован явно сфабрикованный

судебный процесс, на котором эта некогда легкомысленная женщина держалась с достоинством и после которого она смело взошла на эшафот.

[12] Сын короля Франции Людовика XVI (1754—1793, король в 1774—1792) и Марии Антуанетты Людовик Шарль родился в 1786 г. После свержения монархии был заточен с родителями в крепость; вслед за смертью отца (21 января 1793) провозглашен сторонниками монархии королем Франции Людовиком XVII. Разлученный с матерью, он был передан революционными властями на воспитание сапожнику Симону, а в январе 1794 г. помещен в одиночное заключение. 8 января 1795 г. юный принц умер, скорее всего от ревматизма. Он был похоронен в общей могиле, останки его не нашлись, поэтому пошли слухи, что король бежал, что породило вереницу самозванцев. Серьезные ученые не сомневаются в официальной версии смерти Людовика XVII.

[13] Король Англии Карл I (1600—1649, король с 1625) был низложен и казнен «как тиран, изменник, убийца и враг государства». Его жена и старшие дети с 1645 г. были в эмиграции, но остававшихся в Англии младших детей правительство Кромвеля не тронуло.

[14] Легенда об Амуре и Психее, сочиненная Апулеем, гласит, что царская дочь Психея выходит замуж за бога любви Амура, но не имеет права видеть его лицо. Из любопытства она зажигает светильник, и капля горячего масла падает на спящего. Он пробуждается и исчезает, и Психея возвращает его, лишь преодолев множество испытаний.

[15] Полуостров Истрия до 1-й мировой войны принадлежал Австро-Венгрии; после войны Италия, вступившая в 1915 г. в войну на стороне Антанты, и Югославия претендовали на полуостров. В 1919 г. группа итальянских националистов захватила г. Фиуме на Истрии и основала признанную Парижской конференцией Фиумскую республику, присоединившуюся к Италии в 1924 г. После 2-й мировой войны Истрия с Фиуме (ныне — Риека) отошли к Югославии (сегодня — в Хорватии).

[16] Элефтериос Венезелос (1864—1936) — греческий политический деятель, сторонник участия Греции в 1-й мировой войне на стороне Антанты (король Греции Константин I (1868—1923, король в 1913—1917 и 1920—1922) был сторонником прогерманской ориентации); в 1916 г. возглавил временное республиканское правительство Греции, неоднократно был премьер-министром Греческой Республики; инициатор высадки англо-французских войск в Измире (Смирне) и греко-турецкой войны.

[17] В августе 1917 г. в местечке Сен-Жак-де-Морьен во Франции состоялось секретное соглашение между Великобританией и Францией, по которому после победы над Турцией Смирна должна быть передана Италии.

[18] Большинство населения в северной части исторической области Тироль составляют немцы, в южной — итальянцы. В 1918 г. Южный Тироль отошел от Австро-Венгрии к Италии; ныне — автономная область Трентино-Альто-Адидже в составе Италии, немецкий язык является в области официальным наряду с итальянским.

[19] В июне 1943 г. Муссолини был свергнут, фашистская партия распущена, а Италия вышла из войны; в ответ на это вчерашние союзники Италии — немцы — оккупировали страну. Австрия была занята германскими войсками в 1938 г. и «добровольно» присоединена к Германии.

5. ТРИДЦАТЬ ТРИ ГОДА В ЧЕТЕМ-ХАУСЕ

[1] Первый отдел министерства иностранных дел Великобритании — информационно-аналитический.

[2] В 1935 г. Италия напала на Эфиопию. Министры иностранных дел Англии и Франции Сэмюэл Хор (1880–1959) и Пьер Лаваль (1883–1945) выработали тайное соглашение, по которому Эфиопия сохраняла независимость, но уступала значительную часть территории Италии. План был отвергнут Эфиопией, вызвал возмущение европейской общественности, а Италия все же оккупировала Эфиопию в 1936 г.

[3] Колледжи британских университетов пользуются самоуправлением, которое осуществляет Совет колледжа, состоящий из штатных преподавателей.

[4] См. «Цивилизация перед судом истории», прим. 28 к ст. «Греко-Римская цивилизация».

[5] Имеются в виду американизмы в английском языке. Мэдисон-авеню — улица в Нью-Йорке.

[6] В средние века преподаватели университетов были духовными лицами низшего ранга. Они не давали обета безбрачия, но в случае женитьбы лишались права преподавать. В Англии, несмотря на Реформацию, отменившую безбрачие духовенства, этот обычай сохранялся по отношению к преподавателям до 1-й мировой войны.

[7] Римское государство было терпимо по отношению к иноземным религиям, но некоторые — оргиастические, использующие человеческие жертвоприношения или не признающие поклонения государственным богам — запрещались; для таких верований существовал термин «*religio non liceta*» — «неразрешенная религия».

[8] Греция после 1-й мировой войны неоднократно переходила от монархии к республике и обратно. В 1917 г. король Константин I под давлением Антанты отрекся и утвердилась республика, руководимая Венезелосом. В 1920 г. после выборов, давших монархическое большинство в парламенте, король вернулся на престол, но поражение в греко-турецкой войне заставило его снова отречься в 1923 г. В 1934 г. в результате плебисцита монархия была снова восстановлена, в 1974 г. опять провозглашена существующая поныне республика.

[9] В результате Парижской мирной конференции 1919–1920 гг. державы-победительницы подписали пять мирных договоров с побежденными (названия даны по французским дворцам — местам подписания): Версальский (1919) с Германией, Сен-Жерменский (1919) с Австрией, Нейиский (1919) с Болгарией, Трианонский (1920) с Венгрией и Севрский (1920) с Турцией.

[10] «Ирландский вопрос» — проблема независимости Ирландии. — См. «Цивилизация перед судом истории», прим. 11 к ст. «Современный момент истории». Вопрос этот — в форме проблемы принадлежности Ольстера к Ирландии или Соединенному Королевству — не решен и сейчас.

[11] Имеется в виду — со времени атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 г.

[12] У села Инёню в Центральной Турции турецкие войска дважды нанесли поражение греческим: 10 января и 31 марта 1921 г.

[13] Аболиционист (от *лат.* abolitio — уничтожение, отмена) — в узком смысле — сторонник отмены рабства в США, в широком — участник движения за запрет чего-либо, в данном случае войны.

[14] А. Дж. Тойнби имеет в виду провозглашенную в 30-х годах западными державами политику «умиротворения» агрессоров. В 1931 г. Япония захватила Маньчжурию, в 1935 г. Италия напала на Эфиопию, в 1936 г. Германия потребовала от Чехословакии передать ей Судетскую область, населенную в основном немцами. Во всех случаях Англия, Франция и США в конечном счете признавали эти захваты.

[15] Via dolorosa — скорбный путь (*лат.*) — принятое на Западе название Крестного пути Иисуса Христа по улицам Иерусалима к месту казни на г. Голгофе.

[16] Карма — понятие индуистской и буддийской религий: совокупность добрых и дурных дел, совершенных человеком во всех его прежних воплощениях, определяет его последующие воплощения.

[17] Имеется в виду период истории Китая от появления там европейцев до изгнания японцев.

[18] Вьетконг (от *Вьет Нам Конг Сан* — вьетнамские коммунисты) — принятое на Западе наименование организаций, боровшихся в Южном Вьетнаме в 1954—1974 гг. против поддерживаемой США местной администрации, за объединение с коммунистическим Северным Вьетнамом.

[19] Территория нынешнего Вьетнама была занята Китаем во II в. н. э. Восстание 939 г. привело к изгнанию китайцев и созданию независимых княжеств и царств, временами попадавших под китайский протекторат. В 1854—1884 гг. территория Вьетнама была захвачена французами. Северный Вьетнам обрел независимость в 1945 г., Южный — в 1954 г., когда французы оставили и юг страны.

6. ПОЧЕМУ И КАК Я РАБОТАЮ

(I) Почему?

[1] Кинф — гора на о. Делос, по преданию — место рождения Аполлона и Артемиды.

(II) Как?

[1] Под «первым» имеется в виду период греческой истории до окончания Пелопоннесской войны, под «вторым» — до смерти Александра Македонского.

[2] Схолиаст — составитель схолий, т. е. (на средневековом греческом) комментариев к античным авторам.

[3] Как повествуется в «Младшей Эдде», древнеисландском сочинении XIII в., бог-громовик Тор отправился в Страну Великанов; тамошние жители подвергли его испытаниям, которых он не выдержал: не смог выпить рог за три глотка, поднять с земли кошку и побороть старуху. Потом оказывается, что рог был соединен с морем, кошка оказалась Мировым Змеем, который охватывал весь земной круг, а старуха — старостью. Поскольку

Тор своими глотками вызвал небывалый отлив, оторвал одну лапу кошки от пола и в борьбе со старухой старостью не победил, но и не был побежден, то он все же свершил то, чего еще никому не удавалось.

[4] «История» Фукидида (ок. 460—400 до н. э.) охватывает события до 411 г. до н. э., «Греческая история» Ксенофонта — 411—362 гг. до н. э.

[5] Согласно Гомеру (Илиада, VI, 119—236), ахеец Диомед и троянец Главк сходятся в единоборстве, но, узнав о славном роде каждого и дружбе их предков, прекращают битву и обмениваются дарами. «В оное время у Главка рассудок похитил Кронион: // Он Диомеду-герою доспех золотой свой на медный, // Во сто ценимый тельцов, обменял на стоящий девять».

[6] Как можно быстрее (*лат.*).

[7] Американский бизнесмен Конрад Николсон Хилтон (1887—1979), основатель международной Корпорации отелей «Хилтон», в 60-е годы XX в. заключил ряд договоров с международными авиакомпаниями, по которым именно его отели должны обслуживать пассажиров.

[8] Тобрук — город в Ливии, за который в январе — декабре 1941 г. шли кровопролитные бои между английскими и итало-немецкими войсками. Аверн, или Лаго д'Аверно, — озеро в Кампанье в Италии, где по преданию находился вход в царство теней. Золотые Ворота — пролив, соединяющий бухту Сан-Франциско и Тихий океан.

[9] Начало первой (А. Дж. Тойнби ошибся) песни хора из «Антигоны», повествующей о величии человека.

[10] Шельда протекает в основном по территории Бельгии, но ее устье, разделенное на два рукава, находится в Нидерландах. Спор о судоходстве на Шельде возник после выделения в 1830 г. Бельгии из единого Нидерландского королевства, был урегулирован соглашением 1839 г., снова возник после 1-й мировой войны (Нидерланды сохраняли в ней нейтралитет, Бельгия была оккупирована немцами, посему требовала, в качестве компенсации, поблажек в вопросе судоходства), так и не урегулирован до начала 2-й мировой войны и снят с повестки дня после того, как во время войны, в 1943—1944 гг., эмигрантские правительства Бельгии, Нидерландов и Люксембурга заключили вступивший в силу в 1948 г. договор о создании валютного и таможенного союза — т. наз. Бенилюкса.

[11] Портом Афин, расположенных в 8 км от моря, был город Пирей. После побед в греко-персидских войнах, в 80—40-х годах V в. до н. э., были построены т. наз. Длинные стены, соединившие Афины и Пирей в единый укрепленный район. После поражения в Пелопоннесской войне афиняне уничтожили эти стены по требованию спартанцев. Большинство полисов Греции и Персии боялись усиления Спарты и потому оказывали Афинам поддержку. В 395 г. до н. э. командующий персидским флотом и бывший афинский военачальник Конон разбил спартанский флот, а на следующий год привез в Афины крупные персидские субсидии, позволившие восстановить Длинные стены.

[12] Накануне морской битвы при Саламине, проливе, отделяющем остров Эвбею от Аттики, царь персов Ксеркс (ум. 465 до н. э., царь с 486 до н. э.) был настолько уверен в победе, что повелел воздвигнуть на холме на аттическом берегу трон, дабы наблюдать за битвой. Состоявшаяся 20 сентября 480 г. до н. э. Саламинская битва обернулась для персов сокрушительным поражением.

7. ЯНУС В СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЛЕТ (14 АПРЕЛЯ 1964 ГОДА)

[1] Имеется в виду т. наз. Дарданелльская операция: англо-французские войска с 19 февраля 1915 г. по 9 января 1916 г., заняв Галлиполийский полуостров на европейском берегу Турции, безуспешно пытались захватить проливы Босфор и Дарданеллы и овладеть Стамбулом.

[2] Янус — римский бог входов и выходов, дверей и всякого начала. Изображается с двумя лицами, что символизирует не двуличие, как принято считать, но одновременный взгляд вовне и вовнутрь, в прошлое и будущее.

[3] Дата подписания перемирия Антанты с Германией — 11 ноября 1918 г. — считается днем окончания 1-й мировой войны.

[4] Для управления Индийской империей было создано два индийских правительства: так называемое «домашнее», т.е. находящееся в Великобритании и возглавляемое министром по делам Индии, и «местное», пребывавшее в Индии.

[5] См. «Постижение истории», прим. 2 к т. 9, гл. «Социальные последствия контактов между современными друг другу цивилизациями».

[6] Британский фельдмаршал Ян Христиан Сматс (1870—1950), неоднократный премьер-министр Южно-Африканского Союза, один из создателей устава Лиги Наций, в 1928 г. выпустил книгу «Холизм» (от *греч.* χoλoς — целое), в которой излагалось учение о единстве всего физического и психического мира, причем с повышением степени сложности системы повышается уровень ее сознания; некоторая часть Мирового духа есть даже в ядрах атомов, но в полной мере он выявляется во всей природе (включая человечество) в целом.

[7] Историк Полибий (ок. 200 — ок. 120 до н. э.) был также одним из руководителей Ахейского союза (см. «Постижение истории», прим. 48 к т. 2, гл. «Вызов-и-Ответ»); римский политический деятель Марк Порций Катон Старший, или Цензор (234—143 до н. э.), известен как автор многих сочинений, в т.ч. исторических; великий механик Архимед (ок. 281—212 до н. э.) прославился участием в обороне родного города, Сиракузы, от римлян.

[8] Эдуард Хайд, граф Кларендон (1609—1694) — участник Английской революции 1640—1660 гг. на стороне роялистов, лорд-канцлер Англии после Реставрации, написал первую историю Английской революции. О Гиббоне см. «Постижение истории», прим. 50 к т. 1 «Введение», гл. «Поле исторического исследования». Эдуард Фримен (1823—1892) — историк средневековой Англии, в теоретической работе «Методы исторического познания» (1889) разрабатывал сравнительно-исторические методы, что было весьма близко А. Дж. Тойнби. Джордж Пагнелл Бьюри (1861—1927) — английский историк, специалист по поздней Античности, выступил с цитируемым ниже заявлением: «История — просто одна из наук, не больше и не меньше»; следует заметить, что английское «science» означает науку естественно-математического цикла. Знаменитый немецкий историк Античности Теодор Моммзен (1817—1903), прославившийся своим так и не оконченным трудом «История Рима», к концу жизни пришел к мысли о полной невозможности написания общей истории и посвятил себя собиранию и изданию античных текстов. Другой немецкий историк Античности, Эдуард Майер

(1885—1930), в работе «К вопросу о теории и методике истории» (1902) утверждал, что предметом исторической науки является единичный исторический факт, а не несуществующие на деле законы истории.

[9] Об Ибн Хальдуне см. «Постижение истории», прим. к т. 3, гл. «Уход-и-Возврат».

[10] Итальянский философ и историк Джамбаттиста Вико (1668—1744) в своем труде «Основания новой науки о природе наций» (1725) выдвинул идею единого закона исторического развития: любое общество проходит три эпохи — божественную (господство жрецов), героическую (власть аристократии) и человеческую (конституционное правление); по прошествии этих трех периодов наступает кризис и распад, и цикл снова повторяется.

8. ДРУГОЕ ДЕЛО

(I) Конец программы (22 февраля 1966 года)

[1] Теодор Филипп Тойнби (1916—1981) — английский писатель, его роман «Яростные дни» вышел в 1937 г.

[2] Натурфилософскую поэму «О природе вещей» римский поэт и философ-эпикуреец Тит Лукреций Кар (ок. 99—55 до н. э.; даты предположительные), видимо, не завершил. Время жизни Лукреция пришлось на период гражданских смут в Риме, знаменовавших кризис республиканского строя. Пафос поэмы Лукреция — преодоление страха перед смертью, который вызван религиозными представлениями о загробном существовании; если понять, что со смертью прекращаются все чувства и ощущения, то и бояться нечего. Однако призывы не бояться смерти столь настойчивы, что еще в древности возникло мнение о, наоборот, одержимости Лукреция страхом смерти, который привел его к безумию и самоубийству.

(II) Смерть

[1] Джилберт Марри (1866—1957) — английский филолог-классик, отец первой жены А. Дж. Тойнби.

[2] А. Дж. Тойнби умер через девять лет — в 1975 г.

[3] Альфред Эдвард Хаусман (1859—1936) — английский поэт и филолог-классик, автор легко написанных и весьма популярных стихов, окрашенных элегическим пессимизмом.

9. РЕЛИГИЯ: ВО ЧТО Я ВЕРЮ И ВО ЧТО НЕ ВЕРЮ

(I) Субъективность религиозного опыта

[1] О христианизации Англии см. «Постижение истории», прим. 9 к т. 1 «Введение», гл. «Поле исторического исследования». Расположенное в Средней Англии англосаксонское королевство Мерсия приняло христианство во 2-й пол. VII в. Выходцы из Скандинавии, нападавшие на Британские острова с кон. VIII в., к сер. IX в. заняли северо-восток Англии,

получивший название Денло, т. е. Датский закон. Жители Денло обратились в христианство в 876 г., эта область подчинилась Английскому королевству в 954 г., но сохраняла автономию до нормандского завоевания.

(II) Моя неспособность сдать экзамен на религиозную ортодоксальность

[1] Итальянский мыслитель и поэт Джордано Бруно (1548—1600), исходя из идеи всемогущества Бога, полагал, что Он не может ограничиться единократным созданием Космоса и творит непрерывно, — отсюда и признание бесконечного множества миров. Это противоречило ортодоксальным взглядам на уникальность Сотворения мира, неповторимость Грехопадения и Искупления.

[2] В наблюдаемой части Вселенной — Метагалактике — ученые насчитывают около 10^{10} галактик, содержащих в совокупности 10^{21} звезд. Мы не можем, однако, с уверенностью сказать, существуют ли планетные системы, кроме Солнечной, хотя косвенные данные позволяют с достаточной степенью вероятности говорить о наличии таких систем у ближайших к Солнцу звезд. Точно так же мы не можем считать сколько-нибудь доказанным наличие жизни, а тем более разума где-либо, кроме Земли.

[3] «О счастливая вина!» — выражение св. Августина по поводу первородного греха: если бы его не было, не было бы и Искупления, т. е. Христа.

[4] Цитата из сочинения древнегреческого медика Гиппократа (ок. 460 — ок. 370 до н. э.) «О священной болезни».

[5] 1 Кор. 1: 23.

[6] И церковное учение, и современная наука сходятся на том, что автором Четвертого Евангелия и трех посланий было одно и то же лицо: по традиции — св. Иоанн Богослов, любимый ученик Христа. В учении Иоанна Христос выступает как Сын Божий и как Божественный Логос, т. е. суть, смысл, явленная манифестация Бога.

[7] Ошибка. Надо: Фил. 1: 6—8.

[8] Среди множества раннехристианских сект довольно распространено было учение т. наз. гностицизма (от *греч.* — знание). Видный гностик, выходец из Малой Азии, Маркион (II в.) утверждал, что материальный мир есть абсолютное зло и не мог быть создан благим Богом; сотворение мира есть дело низшего злого Бога, которого Маркион отождествлял с библейским Яхве, спасение же, причем спасение только духа, а не плоти, — дело Верховного Бога Миродержца, пославшего своего Сына, Христа. Могущество Миродержца тем самым ограничено, ибо Он не вмешивается в дела материального мира. Против этого выступили многие богословы, в т.ч. епископ Лионский св. Ириней (ок. 126 — ок. 202), малоазийский грек по происхождению, настаивавший в своем сочинении «Против ересей» на всемогуществе единого Бога, на том, что материальный мир благ, как блага и человеческая плоть; зло в мире происходит от человека, чья свободная воля может быть направлена как на доброе, так и на дурное.

[9] А. Дж. Тойнби, видимо, иронизирует над взглядами, утверждающими, что для евреев цель истории есть восстановление в 1947 г. еврейского государства, разрушенного вавилонским царем Навуходоносором II в 586 г.

до н. э. (на деле Иудейское царство обладало независимостью в 142–63 гг. до н. э., а его обломки под римским протекторатом просуществовали до кон. I в. н. э.).

[10] Основатель зороастризма пророк Заратуштра был, скорее всего, историческим лицом, но время жизни его ученые датируют от XII до VI в. до н. э.

[11] См. «Цивилизация перед судом истории», прим. 35 к ст. «Унификация мира и изменение исторической перспективы». Заратуштра в Коране не упомянут.

[12] Некоторые ученые в 40–50-х годах XX в. полагали, что процессы, поддерживающие горение Солнца, прекратятся через 2 млн лет. Ныне эти предположения опровергнуты.

[13] Сказанное не находит подтверждения в религиоведческих исследованиях. Представления о том, что душа отлетает от тела во время сна или экстаза, распространены у многих, а не только североазиатских народов; при вере в переселение душ (метемпсихоз) предполагается, что душа одного живого существа переходит к другому после смерти первого. Развитое учение о метемпсихозе появилось в индуизме и было заимствовано буддизмом.

[14] По зороастрийскому учению, которое, по мнению ряда исследователей, повлияло на иудео-христианские представления, мировая история есть период борьбы между Ахурамаздой и Анхра-Майнью (равноправными добрым и злым богами); в конце времен явится Саошьянт (древнеиранское причастие будущего времени от глагола «спасать»), который свершит Страшный Суд, истребит злых, воскресит праведников, дарует живым бессмертие, объединит их в единое царство с единым языком и заколет быка в качестве последней всеискупляющей жертвы.

[15] Уильям Темпл (1881–1974) — англиканский церковный деятель, соученик А. Дж. Тойнби по Бейллиол-колледжу, архиепископ Кентерберийский с 1944 г. Приводимые Тойнби идеи принадлежат не столько ему, сколько его отцу, Фредерику Темплу (1821–1902), тоже архиепископу Кентерберийскому (с 1896), активному стороннику социальных преобразований и проповеднику личной, внутренней веры.

[16] В 1954 г. американский ассириолог Сэмюэл Ноа Крамер (род. 1897) опубликовал шумерский текст XVIII в. до н. э.(?), названный им «Человек и его божество. Шумерский вариант темы Иова». Это поэма о человеке, который был богат, мудр и праведен, но его поразили несчастья и болезни. Он обращается с мольбами к неназванному божеству (С. Н. Крамер полагает, что это личный бог-заступник, ходатай перед собранием богов), описывает свои безвинные страдания, и бог, в конце концов, избавляет его от напастей.

[17] *Милтон Дж.* Потерянный Рай. VI, 17.

[18] Имеется в виду воскресение духовное и телесное одновременно.

[19] В индуизме члены каст, чья деятельность связана с нечистотой, — метельщики, обдиратели падали и т. п. — считаются самыми низшими; эти группы каст иногда именуются «неприкасаемыми». Неиндиец не может стать ортодоксальным индуистом, ибо тот от рождения должен принадлежать к какой-либо касте; не принадлежащий же к таковой не просто ниже неприкасаемого — он исторгнут из человеческого общества.

[20] В XVIII—XX вв. в англиканской Церкви было три направления: Высокая Церковь, стремящаяся к компромиссу с католичеством; Низкая, акцентирующая протестантские корни англиканства; Широкая, призывающая к объединению всех протестантов, в т. ч. неангликан.

[21] А. Дж. Тойнби считает коммунизм идеологией, выросшей из христианства, так же как учение Гоминьдана — из конфуцианства.

[22] Агностицизм (от *греч.* — непознаваемый) — философское учение, отрицающее познаваемость Абсолюта (Бога или материи) и, среди прочего, требующее проведения научных исследований без оглядки на религиозные или антирелигиозные мнения. Это учение возникло в XVII в., хотя название появилось только в XIX в. Истоки агностицизма А. Тойнби обнаруживает во II в. до н. э., видимо, в учении Новой Платоновской академии, которую возглавлял философ-скептик Карнеад Киренский (214—129 до н. э.), хотя впервые идеи философского скептицизма выдвинул Пиррон из Элиды (ок. 365 — ок. 276 до н. э.).

(V) Любовь не всемогуща

[1] А. Дж. Тойнби именует указанные религии иудейскими, ибо христианство возникло как секта иудаизма, ислам — под влиянием обеих религий.

[2] «In memoriam A. G.» — «В память А. Г.» (*лат.*) — книга элегий английского поэта Альфреда Теннисона (1809—1892).

[3] Джордж Фредерик Уоттс (1817—1904) — английский художник и скульптор.

[4] Научный термин (и соответствующее английское слово) «mammalia» («млекопитающие») образовано от «mamma» — «грудь» (*лат.*).

(VI) Непостижимость всемогущества

[1] Мф. 19: 26.

[2] Мысли великого, не признанного при жизни английского поэта и художника Уильяма Блейка (1757—1827) весьма глубоки и вряд ли поддаются однозначному толкованию. Безусловно, увлекавшийся образом сатаны, гордо противостоявшего Богу, Блейк не был гностиком. В стихотворении «To Nobodaddy» (неологизм, образованный от «nobody» — «никто» и «daddy» — «отец, папа» и означающий «ничей Отец» как противопоставление «Всеотцу») он не считает Бога злым началом, но спорит с Ним, упрекает Его за то, что Он окутал тьмой Свои же слова и законы и не дает людям следовать им.

(IX) Борьба Человека за преодоление эгоцентризма

[1] См. выше, прим. 10 к гл. 4, «Две Парижские мирные конференции».

[2] Игра природы (*лат.*).

[3] Бра́хма — в ортодоксальном индуизме верховный бог, творец всего сущего и одновременно проявление брахмана (слово среднего рода, оно же в мужском — брахма́н — означает жертву, молитву и жреца) — безличного Абсолюта, из которого все вышло и к которому все возвращается.

Брахма не слишком почитаемое божество в народной религии (индийцы считают, что не за что поклоняться богу, создавшему столь плохой мир), но популярный объект философских размышлений. Его отождествление с христианским Св. Духом представляется натяжкой, ибо при всей своей всеобщности, всераспространенности Дух Святой есть ипостась Троицы, т. е. триединого Бога-личности.

(X) Любовь и совесть как индикаторы характера конечной реальности

[1] Указанная формула есть основной принцип индийской (не буддийской) философии: бра́хман (см. пред. примеч.) есть то же самое, что и а́тман — человеческая душа, понимаемая как личное психическое бытие; индивидуальное и универсальное полностью тождественны.

(XI) Конечная реальность — это не Альфа и Омега

[1] Апок. 22: 12. Сходные выражения — 1: 8, 1: 10 и близкое — 2: 8. Представления о Боге как начале и конце всего восходят к Книге Исайи — Ис. 41: 4, 43: 10, 48: 12.

[2] См. «Цивилизация перед судом истории», прим. 20 к ст. «Мой взгляд на историю».

(XII) Любовь: самоцельность и самоценность

[1] Имеется в виду Менелик II (1844—1913), негус (император) Эфиопии с 1889 г.

[2] Монофиситское направление христианства (см. «Постижение истории», прим. 26 к т. 1 «Введение», гл. «Поле исторического исследования») было осуждено Церковью на Четвертом Вселенском (Халкедонском) Соборе в 461 г. Однако большинство духовенства и паствы Александрийской Церкви остались верны монофиситству и образовали особую Коптскую Церковь (копты — потомки коренного населения Египта, ныне — египтяне-христиане), которая стала господствующей в кон. V — нач. VI в. в Эфиопии. Эфиопская Церковь подчинялась Коптской до 1959 г., когда была провозглашена автокефалия.

[3] Имеется в виду стихотворение поэта Биона Смирнского (кон. II в.), вошедшее в его сборник «Идиллии» (т. е. «Картинки»).

Приложение
ПРОТИВОРЕЧИЯ В МОЛИТВЕ ГОСПОДНЕЙ

[1] Так в католической и протестантской практике именуется «Отче наш».

[2] В Ханаане (нынешних Сирии, Ливане и Палестине) почитался западносемитский верховный бог-творец Илу (*др.-евр.* Эл), тогда же, во II—I тыс. до н. э., в некоторых регионах поклонялись богу-покровителю племени или местности, носившему имя Йево (*др.-евр.* Яхве), причем бог этот сливался с Илу. В раннеиудейской традиции Яхве — суровый и ревнивый

племенной бог, но со времен израильских пророков, Исайи, Иеремии и др., — в VIII—V вв. до н. э. — Яхве, не теряя этих черт, становится любящим и взыскующим любви Творцом и Мироправителем.

[3] Шива — один из трех верховных богов индуизма, воплощающий созидательные и разрушительные силы одновременно. В нижеследующих рассуждениях А. Дж. Тойнби приписывает индуизму и христианству одинаковую логику, что неверно. В индуизме вопрос о сочетании благости и всемогущества вообще не стоит. В ранних формах этой религии боги — олицетворения безличных сил, не добрых и не злых, в поздних — господствуют принципы абсолютного всеединства, где нет места разделению добра и зла; Шива носит эпитеты «Яростный» и «Милостивый» одновременно. В христианстве же проблема сосуществования всеблагого Бога и созданного Им, но лежащего во зле мира будоражит умы от возникновения этой религии до наших дней.

НЕИЗБЕЖНОСТЬ И НЕАДЕКВАТНОСТЬ АНТРОПОМОРФИЗМА

[1] Греческая религия в трудах поэтов и мыслителей подвергалась философской и морализующей обработке. Верховный бог, отец богов и людей Зевс терял антропоморфные черты, становился первопринципом бытия, аллегорией закона природы и т. д. и т. п. Иные философы, не отвергая существования олимпийских богов, выдвигали в качестве мироустроительного начала некий абстрактный принцип: огонь, первоматерию, Единое и мн. др.

[2] См. «Цивилизация перед судом истории», прим. 4 в ст. «Византийское наследие России».

[3] Св. Георгий Победоносец, по ортодоксальной житийной литературе — уроженец Малой Азии, высокопоставленный римский военачальник, принявший христианство и казненный в кон. III — нач. IV в. за отказ взять в руки оружие; довольно рано стал персонажем легенд (классический пример — убиение дракона, дабы спасти принцессу), а в массовом сознании — идеалом воина и шире — активного мужественного борца со злом.

[4] Имеется в виду фреска Микеланджело в Сикстинской капелле Ватикана, созданная в 1508—1512 гг. На ней Бог протягивает руку Адаму, как бы вливая в него жизнь.

[5] Иоахим Флорский, или Калабрийский (1132—1202) — монах, родом из Италии, выступил с весьма своеобразным мистическим истолкованием исторического процесса. Цель земной истории — движение от рабства к свободе, и мир проходит через три состояния. Первое — от Адама до Христа — эпоха Бога Отца, Ветхого Завета и подчинения человека Богу как раба господину; второе — от Христа до 1260 г. — время Бога Сына, Нового Завета и подчинения человека Богу как сына отцу; третье, завершающее — эра Бога Духа Святого, Вечного Евангелия (неясно, имеется ли в виду какой-либо писаный текст, ибо предполагается, что люди тогда познают истину непосредственно) и свободы. Учение Иоахима было осуждено Церковью на Латеранском Соборе 1215 г., но стало интеллектуальной причиной многих еретических и полуеретических движений и учений.



Часть вторая. ЛЮДСКИЕ ДЕЛА НА ПРОТЯЖЕНИИ МОЕЙ ЖИЗНИ

1. ЛЮДСКИЕ ДЕЛА И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА

[1] Имеется в виду перечень ветхозаветных патриархов от Адама до Авраама, причем от праотца Адама до Ноя эти патриархи жили в среднем по 900 лет (чемпион — Мафусаил, 969 лет, менее всех — отец Ноя, Ламех, 777 лет, Еноха после 365 лет жизни «Бог взял» — традиция утверждает, что живым на небо). От сына Ноя, Сима, до отца Авраама, Фарры, время жизни уменьшается с 600 до 205 лет (исключение — отец Фарры, Нахор, 148 лет). Далее сроки жизни еще более сокращаются: Авраам — 175 лет, Исаак — 180, Иаков — 110 лет.

2 Санскрит не является древнейшим индоарийским языком: это искусственно созданный ок. I в. до н. э. на основе разговорных диалектов — пракритов — язык, обладающий высокой степенью формализации. Причина создания санскрита — религиозная практика, требовавшая безупречного произнесения заклинаний: малейшая ошибка делала ритуал недействительным. Позднее санскрит стал языком философии и поэзии и в силу жесткой грамматической структуры и книжного в основе своей бытования не изменился доныне. Практиты же, письменная фиксация которых относится к III в. до н. э., т. е. времени до создания санскрита, изменялись и породили современные индийские языки. Латынь обрела классическую (но не созданную искусственно) литературную форму в I в. до н. э., мало менялась в качестве языка культуры, хотя разговорные формы ее, т. наз. народная латынь, с I в. н. э. до приблизительно IX в. развивались, в т. ч. под влиянием германских языков, породив романские языки.

[3] Знатный египтянин Ун-Амун в нач. XI в. до н. э. при фараоне Рамсесе XI отправился в Финикию закупать строевой лес и оставил дошедшее до нас описание своей поездки. Культура Древнего Египта и во времена Ун-Амуна, и много ранее, и много позднее была малоподвижной, но политические события при его жизни протекали весьма бурно: усиление власти жрецов, присвоение верховным жрецом бога Амона Херихором титула фараона после смерти Рамсеса XI, а может быть, и при его жизни, распад страны.

2. ВИКТОРИАНСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ СТАБИЛЬНОСТИ РАЗБИВАЕТСЯ ВЗРЕБЕЗГИ

[1] «Бриллиантовым» в Англии именуется 60-летний юбилей; в 1897 г. исполнилось 60 лет с момента восшествия королевы Виктории на престол.

[2] Имеется в виду время царствования сына королевы Виктории, Эдуарда VII (1841—1910), короля с 1901 г.

[3] Общество благотворительных организаций (первоначально: Общество для организации благотворительной помощи и упразднения нищенства), организованное рядом политиков и филантропов в 1869 г., поначалу

сосредоточивалось на помощи разорившимся членам средних классов и довольно настороженно относилось к рабочим, укоряя их за грубость и неблагодарность.

[4] Имеется в виду — после завершения войны Севера и Юга и объединения Германии.

[5] *Шекспир У.* Король Лир. Действ. III, сцена 6.

[6] Объединив Германию «железом и кровью», Бисмарк стремился избежать общеевропейских войн и ориентировался на решительное противостояние попыткам реванша со стороны Франции, на дипломатическое, не переходящее в вооруженные конфликты противодействие Англии, на союз с Россией. Эта политика была отвергнута преемниками Бисмарка, которые пошли на обострение отношений в Европе.

[7] Германский император Вильгельм II Гогенцоллерн (1859—1941, император в 1888—1918) был сторонником милитаристского курса, что привело к отставке Бисмарка в 1890 г., участию Германии в 1-й мировой войне и, в конечном итоге, свержению самого Вильгельма.

[8] Битва за Англию — массированные воздушные атаки Германии на Британию в 1940 г., долженствовавшие послужить прелюдией к вторжению на остров; действия британской авиации и ПВО сорвали этот план.

[9] С начала 2-й мировой войны, в 1939 г., американское правительство явно сочувствовало Великобритании и Франции, но соблюдало нейтралитет. 7 декабря 1941 г. японская авиация уничтожила американский флот, стоявший в гавани Пёрл-Харбор на Гавайских островах. 11 декабря союзники Японии — Германия и Италия — объявили войну США.

[10] Франклин Делано Рузвельт (1882—1945), четырежды, с 1932 г., избиравшийся президентом США, был потомком голландских поселенцев колонии Новый Амстердам (будущий Нью-Йорк), существовавшей в XVII в. Это считается в США аристократическим происхождением — как и вообще происхождение от тех, кто переселился в американские колонии до создания США.

[11] См. «Цивилизация перед судом истории», прим. 5 к ст. «Современный момент истории». В 1950—1956 гг. власть индийских князей была упразднена, но и до сего дня многие из них являются богатейшими людьми.

[12] Цивильный лист — предусмотренная государственным бюджетом сумма на содержание царствующего дома.

[13] Англичане называют Восточным Туркестаном Синьцзян, Западным — регионы Средней Азии, входившие в Российскую империю.

[14] Афганский эмир Абдуррахман-хан (1844—1901) получил власть в 1880 г. после 2-й англо-афганской войны (см. «Цивилизация перед судом истории», прим. 38 к ст. «Ислам, Запад и будущее») из рук англичан; весьма свирепыми методами привел в подчинение полунезависимые окраины страны и добился покорности населения. Негус Эфиопии Менелик II (см. прим. 1 к гл. 9 (XII)) активно боролся с махдистами с помощью итальянцев, закрепившихся на побережье Африканского Рога, а затем в битве при Адуе (1896) разбил своих недавних союзников, отстояв независимость страны. О Порфирио Диасе см. «Цивилизация перед судом истории», прим. 9 к ст. «Столкновения цивилизаций». Вопреки сказанному А. Дж. Тойнби он не был деловым человеком и к концу правления развалил экономику страны.

[15] Франки, в терминологии Тойнби, — западные европейцы.

[16] А. Дж. Тойнби сопоставляет греко-римских историков, относимых филологами-античниками к классике греко- и латиноязычной литературы, и тех, кого ученые начала XX в. третировали как относящихся к эпохе упадка. В число первых входят греки Фукидид и Ксенофонт и римлянин Публий Корнелий Тацит, в число вторых — живший в Риме грек Полибий, ранневизантийский грекоязычный историк Прокопий Кесарийский и грек по происхождению, римский офицер и латиноязычный писатель Аммиан Марцеллин (ок. 330 — ок. 400).

3. ВОЙНА: ИЗМЕНЕНИЯ В ЕЕ ХАРАКТЕРЕ И В ОТНОШЕНИИ К НЕЙ ЛЮДЕЙ

[1] Это произошло во время наполеоновских войн на Пиренейском полуострове (1808–1814).

[2] Бомбардировка города Герника в Стране басков в Испании была проведена германской авиацией: нацистская Германия оказывала в гражданской войне в Испании (1936–1939 гг.) активную финансовую и военную поддержку антиправительственным монархо-фашистским силам.

[3] См. прим. 2 к ч. I, гл. 4. и прим. 19, 20 к ч. I, гл. 5. Демократическая Республика Вьетнам (ДРВ) не прекращала попыток присоединить Юг. В 1964 г. США выступили в защиту прозападного правительства Южного Вьетнама (Республики Вьетнам — РВ) и начали бомбардировки ДРВ, а в 1965 г. послали в РВ войска для борьбы с прокоммунистическими партизанами. Как бомбардировки, так и антипартизанские действия уносили много жизней мирного населения.

[4] Так на Западе называли оружие, применявшееся в 1941 г. против немецких танков советскими солдатами: не имея достаточного количества противотанкового вооружения, красноармейцы забрасывали танки врага бутылками с самодельной зажигательной смесью.

[5] После оккупации в 1872 г., еще во время правления Бисмарка, Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией, поддержанной Германией, и создания в 1882 т., также еще до отставки Бисмарка, Тройственного союза в составе Германии, Австро-Венгрии и Италии обеспокоенное российское правительство начало сближение с врагом Германии — Францией. В соответствии с русско-французским договором 1891 г. и секретным военным соглашением 1892 г. Франция обязывалась оказать военную помощь России в случае нападения на нее Германии или Австро-Венгрии, Россия — Франции, если та подвергается агрессии со стороны Германии или Италии.

[6] Муссолини в Италии пришел к власти в 1922 г. в результате так называемого похода на Рим — массового выступления ок. 400 тыс. вооруженных членов фашистских отрядов. Гитлер был назначен рейхсканцлером в 1933 г. после получения его партией относительного большинства на выборах. Установление тоталитарных режимов в обеих странах происходило уже после прихода фашистов к власти, сопровождалось насилием победителей, но все же не было результатом гражданских войн.

[7] Граф Камилло Бенсо де Кавур (1810–1861) посвятил всю свою политическую жизнь объединению Италии вокруг Пьемонта (официальное

название — Сардинское королевство), премьер-министром которого он был в 1852—1861 гг. (кроме 1859). 14 марта 1861 г. было провозглашено единое Итальянское королевство, и Кавур стал первым главой его правительства, но уже 6 июня он умер. Полное объединение Италии, завершившееся взятием папского Рима, произошло в 1870 г.

[8] 21 октября 1805 г. у мыса Трафальгар близ Кадиса английская эскадра под командованием адмирала Нельсона разгромила объединенный франко-испанский флот, обеспечив британское господство на море не только во время наполеоновских войн, но и по меньшей мере до 1-й мировой войны.

[9] Так в Англии называется англо-бурская война.

[10] А. Дж. Тойнби отсчитывает период англо-русского соперничества на Востоке от конца наполеоновских войн до Петербургского соглашения 31 августа 1907 г., по которому, среди прочего, Афганистан признавался лежащим в сфере интересов Великобритании. После завершения русско-турецкой войны 1877—1879 гг. по Сан-Стефанскому миру (Сан-Стефано — прежнее название местечка Емилькей близ Стамбула) Россия получала Карс, Ардаган, Батум, Баязет и часть Бессарабии; Босния и Герцеговина и Болгария обретали автономию в рамках Османской империи. Сербия, Черногория и Румыния — независимость. Этот мир вызвал недовольство националистических кругов как России, требовавших занятия Константинополя, так и Великобритании, боявшихся усиления влияния России в новосозданных государствах: Англия послала даже военный флот в Дарданеллы. Бисмарк, также опасавшийся России, но не желавший и укрепления позиций Англии, выступил инициатором созыва международного конгресса, посвященного результатам русско-турецкой войны. В 1878 г. этот конгресс с участием России, Турции, Австро-Венгрии, Германии, Великобритании, Франции и Италии состоялся в Берлине, и под давлением его участников Россия была вынуждена согласиться на захват Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией и на раздел Болгарии на автономное княжество и турецкую провинцию.

[11] Во время итальянских войн 1494—1559 гг. между Францией, с одной стороны, и Священной Римской империей и Испанией — с другой (в разное время в этих войнах принимали участие и другие государства), Англия, во главе с королем Генрихом VIII (1491—1547, король с 1509), поддерживала то одну, то другую сторону и в 1513—1514 гг. высаживала свои войска во Франции. Английские армии сражались в континентальной Европе во время войны за испанское наследство (см. «Постижение истории», прим. 3 к т. 2, гл. «Природа генезиса цивилизаций»), Семилетней войны (см. там же, прим. 32 к т. 2, «Шесть форпостов в истории Западной Европы») и революционных и наполеоновских войнах 1792 (Англия вступила в войну в 1793 г.) — 1815 гг. Лишь после этого до 1-й мировой войны Великобритания не участвовала в европейских битвах.

[12] В первом периоде Английской революции XVII в. парламентские войска, организованные по принципу ополчения, постоянно терпели поражения от профессионально подготовленных королевских войск. В кон. 1643 — нач. 1644 г. парламент по предложению Кромвеля принял закон о создании т. наз. армии нового образца, или «Новой Модели». Это было профессиональное войско, в конце гражданской войны насчитывавшее

30 тыс. человек из 2,75 млн человек населения, единообразно вооруженное и экипированное, скованное жесткой дисциплиной, с введенными в его состав полковыми проповедниками, с общими молитвой и проповедью, с запретом пьянства и азартных игр и т.п. Эта армия смогла победить короля, а затем разогнать парламент и привести к власти своего главнокомандующего — Кромвеля. В 1655 г. Англия и Уэльс (Шотландия и Ирландия находились под военным управлением) были разделены на 15 округов, во главе которых были поставлены генерал-майоры (в сер. XVII в. — нечто среднее между воинским званием и должностью командующего соединением), наделенные весьма широкими административными полномочиями: от сыска противников Кромвеля до проверки подготовки священников, от организации муниципальных выборов до ссылки развратников в колонии. Режим генерал-майоров был отменен Кромвелем по рекомендации созванного им парламента в 1657 г., т. е. за три года до возвращения монархии. Английская армия со времен Реставрации комплектовалась на добровольной основе даже и во время 1-й мировой войны, и лишь во 2-ю мировую войну британское правительство прибегло ко всеобщей мобилизации.

[13] Во время англо-бурской войны красные мундиры английских солдат (впервые появившиеся в «Новой Модели» — см. пред. прим.) на фоне желто-бурой южноафриканской степи представляли прекрасную мишень для бурских снайперов. Именно тогда была введена полевая форма цвета хаки (*инд.* khaki — цвет грязи).

[14] Фридрих Вильгельм I (1688—1740, король Пруссии с 1713) отличался двумя безоглядными страстями: безграничной скупостью и всепоглощающей любовью к армии. Посему свое третье по величине в Европе (после России и Франции) войско, прекрасно экипированное и вооруженное, с отличной выправкой и суровой дисциплиной, он держал более для парадов, считая, что военные действия не окупают себя.

[15] Ашока, владыка государства Магадха в Северной Индии в 268—232 гг. до н. э., отличался, по легенде, большой жестокостью; но в 260 г. до н. э., победив царство Калингу, он повелел на месте решающей битвы высечь дошедшую до нас надпись на скале, где, среди прочего, сказано: «И сколько бы людей в то время, когда были покорены жители Калинги, ни было убито, или умерло, или увезено оттуда, даже сотая часть этого числа, даже тысячная часть тяготит душу Угодного богам (т.е. Ашоки. — *Комм.*)».

[16] Фридрих II Великий (1712—1786, король Пруссии с 1740) был одержим идеей величия Пруссии и своего собственного в первую очередь в военной сфере. Блестящий полководец, талантливый администратор, любитель просвещения, он экономику, финансы, дипломатию и даже образование подчинил военным задачам. Он увеличил территорию Пруссии в 1,5 раза, а население в 2,5 раза и положил начало возвышению своего государства.

[17] В 1923 г. под предлогом неуплаты репараций Франция оккупировала основной угледобывающий район Германии — Рурскую область в прирейнских землях. Местное население ответило пассивным сопротивлением, из-за чего добыча угля упала почти до нуля, и до той же отметки снизилась немецкая марка, лишившись поддержки ввиду отсутствия энергоресурсов и остановки многих производств. Получение Францией репараций оказалось

невозможным, и та вывела войска в 1924—1925 гг. Обесценивание марки вызвало необходимость денежной реформы 1924 г.

[18] См. «Цивилизация перед судом истории», прим. 13 к ст. «Византийское наследие России». Центральными державами во время 1-й мировой войны именовали Германию, Австро-Венгрию, Турцию и Болгарию — противников Антанты.

[19] Имеются в виду Финляндия, Литва, Латвия и Эстония.

[20] По условиям Брестского мира РСФСР возвращала Турции Карскую и Батумскую области, приобретенные в результате русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Эти территории оказались предметом конфликта между Турцией и независимыми закавказскими государствами, образовавшимися после распада Российской империи. После установления в Закавказье советской власти и укрепления режима Ататюрка были заключены Московский договор 16 марта 1921 г. и Карский договор 17 октября 1921 г. между Турцией, с одной стороны, и РСФСР с советскими республиками Закавказья — с другой; небольшая часть Карской области отходила к Армении, Батум — к Грузии, остальные спорные земли — к Турции.

[21] См. прим. 3 к ч. I, гл. 4. В 1935 г. Германия восстановила воинскую повинность, в 1936 г. ввела войска в демилитаризованную в соответствии с Версальским договором Прирейнскую зону, в 1938 г. присоединила Австрию и захватила Судетскую область Чехословакии.

[22] В отошедшей после 1-й мировой войны под управление Великобритании Палестине после 2-й мировой войны усилилось движение за создание независимого еврейского государства; сторонники его вели вооруженную борьбу против англичан до 1947 г., когда британские войска оставили Палестину. О Малайе см. «Мир и Запад», прим. 12 к ст. «Греки, римляне и остальной мир». В Кении в 1952 г. началось восстание, называемое в Европе «Мау-Мау», по имени ритуального тайного общества; оно было подавлено в 1956 г., но повстанцы продолжали партизанскую войну до предоставления независимости стране в 1963 г. и прекратили ее лишь после переговоров с правительством независимой Кении. Киприоты после 2-й мировой войны начали вооруженную борьбу против Великобритании, владевшей Кипром с 1878 г.; часть греков-киприотов стремились к объединению с Грецией, часть — к независимости, полученной островом в 1960 г. О Южной Аравии (Йемене) см. «Цивилизация перед судом истории», прим. 19 и 22 к ст. «Ислам, Запад и будущее». В 1963 г. в Адене началось антианглийское вооруженное движение, завершившееся в 1967 г. провозглашением Народной Республики Южный Йемен (с 1970 г. — Народная Демократическая Республика Йемен — НДРЙ), в 1990 г. объединившейся с Йеменской Арабской Республикой (впрочем, в 1994 г. начался вооруженный конфликт между бывшими частями единого государства, завершившийся в июле победой северян). О Вьетнаме см. прим. 20 к ч. I, гл. 5. Алжирская война 1954—1962 гг. была особенно кровопролитной, т.к. в этой французской колонии (с 1830) проживало тогда более 1,5 млн французов на 10 млн человек населения; и все же в 1962 г. Алжир стал независимым.

[23] По Версальскому договору от Германии отошли: Познань, почти вся Западная Пруссия, части Померании, Восточной Пруссии и Верхней Силезии — к Польше; часть Силезии — к Чехословакии; Эльзас и Лотарингия — к Франции; небольшие приграничные округа — к Бельгии;

Северный Шлезвиг — к Дании, Мемель (Клайпеда) — к Литве; Данциг (Гданьск) стал вольным городом под управлением Лиги Наций.

[24] Основная часть германских земель к востоку от линии Одер — Нейсе отошла в результате односторонних решений Советского правительства в 1947 г. к Польше, Восточная Пруссия — частично также к Польше, большей же частью — к СССР (Калининградская область), т. е. прежняя Пруссия (без Бранденбурга со столицей в Берлине) перестала существовать.

[25] По Потсдамским соглашениям 1945 г. Берлин был разделен на четыре зоны под управлением каждой из стран-победительниц и должен был составить особое административное образование. СССР признавал особый статус только за Западным Берлином, фактически передав Восточный в 1949 г. ГДР. Этого не принимали западные державы до соглашения 1971 г. После объединения Германии в 1990 г. проблема исчезла сама собой.

[26] В 1929 г. в Западном мире разразился самый мощный за все время экономический кризис, однако к 1933 г. спад производства прекратился и наметились признаки оздоровления, в т. ч. в Германии, однако демагогия Гитлера, обещавшего всем все и сразу, подействовала на измученных кризисом избирателей. После 2-й мировой войны Запад уже не знал столь сильных экономических потрясений.

[27] В результате японо-китайской войны 1894–1895 гг. Япония завладела Тайванем и вынудила Китай отказаться от протектората над Кореей. Вслед за русско-японской войной 1904–1905 гг. к Японии отошли Южный Сахалин, Порт-Артур в Китае и был установлен протекторат над Кореей. После 1-й мировой войны Япония по мандату Лиги Наций получила в управление бывшие германские колонии в Микронезии. Все эти приобретения, а также Курильские острова были утрачены Японией после 2-й мировой войны.

[28] В соответствии с этим договором провозглашалась «политика открытых дверей» в Китае, т. е. свобода экономической деятельности для стран-участниц. Договор был направлен против Японии, претендовавшей на монопольное положение в Китае.

[29] Во время 2-й мировой войны японские войска заняли, кроме захваченных ранее китайских земель, английские колонии Бирму и Малайю (с Сингапуром), Нидерландскую Индонезию, Французский Индокитай и часть Австралийской Новой Гвинеи.

[30] В 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о создании в Палестине двух государств — еврейского и арабского — и особого округа Иерусалима. Арабские страны не признали этого, и сразу за провозглашением государства Израиль в 1948 г. началась война, в результате которой часть так и не созданного арабского палестинского государства отошла к Израилю, часть — левый берег р. Иордан с Восточным Иерусалимом — к Иордании, часть — сектор Газы — к Египту; ок. 900 тыс. арабов покинули места своего проживания. В 1956 г., во время конфликта между Египтом и Англией и Францией по поводу национализации Суэцкого канала, Израиль начал наступление на Синайский полуостров, но по требованию ООН вынужден был отступить. В мае 1967 г. правительство Объединенной Арабской Республики (ОАР) — так назывался тогда Египет — потребовало ухода войск ООН из буферной зоны между ОАР и Израилем. 5 июня 1967 г. с бомбардировок израильской авиацией Каира и марш-броска израильских войск через Синай началась т. наз. Шестидневная

война, завершившаяся тем, что левобережье Иордана, сектор Газы, принадлежавшие Сирии Голанские высоты и Синайский полуостров оказались в руках Израиля. Это привело к тому, что число арабских беженцев с захваченных Израилем территорий достигло 1,5 млн. Созданная еще в 1964 г. Организация освобождения Палестины (ООП) развернула партизанскую и террористическую борьбу против Израиля. В октябре 1973 г. Египет и Сирия попытались отбить захваченные Израилем земли, но безуспешно. В 1979 г. Египет и Израиль заключили мирный договор, по которому Синайский полуостров возвращался Египту. В 1993 г. ООП и Израиль заключили соглашение, по которому арабы признают право Израиля на существование, а Израиль соглашается на создание Палестинской Арабской Республики, на переходный период — автономного образования в рамках Израиля; это соглашение подвергается нападкам со стороны как израильских, так и арабских ультранационалистов.

[31] Этот мелкий инцидент вряд ли можно считать войной: американские корабли всего лишь обстреляли Триполи и высадили десант.

[32] Англо-американская война (официально она закончилась в 1814 г.) завершилась скорее вничью: Великобритания не смогла захватить Вашингтон и Новый Орлеан, а США оказались не в состоянии укрепиться в занятой ими части Канады.

[33] В 1835 г. в мексиканском (тогда) штате Техас, значительную часть населения которого составляли выходцы из США, началось восстание, вызванное среди прочего отменой рабства в Мексике. Восставшие провозгласили в 1836 г. Республику Техас, которая обратилась в 1845 г. к правительству США с просьбой принять республику в Союз в качестве полноправного штата. Мексика объявила, что удовлетворение этой просьбы будет считаться поводом к войне. Техас все же вошел в США, и в 1846 г. началась американо-мексиканская война, закончившаяся в 1848 г. потерей Мексикой более половины своей территории.

[34] См. «Постижение истории», прим. 13 к т. 9, гл. «Контакты между цивилизациями в пространстве». В 1862—1877 гг. в западных провинциях Китая происходило подавленное в конечном итоге правительственными войсками восстание дунган (иное название — хуэй) — китаеязычных мусульман.

[35] В августе 1945 г. север оккупированного Японией Корейского полуострова был занят советскими, юг — американскими войсками. В 1948 г. на севере образовалась Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), на юге — Республика Корея. В 1950 г. северокорейские войска начали наступление на юг, заняв почти весь полуостров, и тогда же американцы, действуя под флагом ООН, отбросили их к северу. Война, где на стороне КНДР сражались т. наз. китайские добровольцы и советские летчики, а на стороне Южной Кореи — «голубые каски» из США, закончилась в 1953 г. восстановлением статус-кво до 1950 г.

[36] Вывод американских войск из Вьетнама был расценен американским обществом как поражение США в войне, что поколебало в глазах многих образ непобедимой нации и заставило усомниться в незыблемых американских ценностях.

[37] Этот закон был отменен после окончания Вьетнамской войны в 1974 г.

4. БОРЬБА МЕЖДУ ГУМАНИЗМОМ И БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТЬЮ

(I) Раскол по поводу войны как классический случай общего нравственного конфликта

[1] Ацтеки были убеждены, что природные процессы (восход и заход солнца, смена сезонов) происходят ввиду постоянного воздействия божеств, могущественных, но не всемогущих; чтобы боги были в силах осуществлять указанные процессы, их необходимо периодически кормить человеческой кровью — отсюда развитая практика человеческих жертвоприношений.

(II) Гуманизм против геноцида, этнической чистки и апартеида

[1] О геноциде армян см. прим. 39 к ч. I, гл. 2. Инициаторами этой бойни были руководители турецкого правительства, лидеры младотурецкой революции 1908 г. и комитета «Единение и прогресс» (см. «Постижение истории», прим. 2 к т. 9, гл. «Социальные последствия контактов между современными друг другу цивилизациями») Джемаль-паша (1861—1922), Талаат-паша Мехмед (1874—1921) и Энвер-паша (1883—1922). Все они покинули Турцию после поражения в 1-й мировой войне, двое — Талаат и Джемаль — пали от рук армянских террористов, мстивших за геноцид, третий — Энвер — вмешался в борьбу Советской власти со среднеазиатскими повстанцами — басмачами — на стороне последних и был убит в стычке с отрядом Красной Армии.

[2] Разгоревшийся в 1947 г. после провозглашения независимости Индийской империи и разделения ее на Индию и Пакистан конфликт между индуистами и мусульманами привел к страшным насилиям с обеих сторон, к массовой гибели людей.

Бельгийская колония Руанда-Урунди была населена близкородственными народами рунда и руанда, каждый из которых делился на две группы — высокорослых скотоводов тутси и низкорослых земледельцев хуту; тутси составляли меньшинство и занимали привилегированное положение. После перехода к независимости в 1959—1961 гг. и создания двух государств — Бурунди и Руанды — хуту пришли к власти в Руанде, где они составляли 90% населения, и начали массовые преследования тутси, которые бежали (ок. 150 тыс. человек из 3 млн населения) в Бурунди, где тутси (их там ок. 15%) сохранили господствующее положение. В 1994 г. после кровопролитной гражданской войны Руандийский патриотический фронт, состоящий в основном из тутси, захватил в стране власть; междоусобица и победа РПФ вызвали бегство множества хуту из Руанды. В 1992 г. на первых в Бурунди свободных выборах победы добился президент-хуту, что вызвало в 1993 г. военный переворот (большинство военных — тутси) и массовую резню хуту.

В Нигерии, получившей в 1960 г. независимость от Великобритании, существует резкое разделение на мусульманский Север и христианский и языческий Юг. Среди южных народов экономически, социально и культурно наиболее развитым является народ игбо, или ибо. Этот народ, этническая территория которого находится на юго-западе страны, составлял

немалую часть городского населения — торговцы, квалифицированные рабочие, чиновники, интеллигенция — в других районах Нигерии. Конфликт между Севером и Югом, прорвавшийся в 1966 г. серией военных переворотов, сопровождался массовыми погромами ибо, особенно на севере. Это усилило среди них сепаратистские тенденции, и в 1967 г. была провозглашена населенная ибо Республика Биафра, уничтоженная нигерийскими правительственными войсками после жестокой войны в конце 1969 г.

[3] В результате разделов Польши Познаньщина отошла к Пруссии. В 1815—1848 гг. Великое княжество Познаньское пользовалось определенной автономией в составе Пруссии, уничтоженной после восстания 1848 г., вслед за которым княжество было превращено в провинцию Позен. Активное онемечивание началось в 1890-х годах, когда прусское правительство организовало массовое переселение немцев в эту провинцию.

[4] В 1958 г. Египет и Сирия образовали единое государство — Объединенную Арабскую Республику; в 1961 г. Сирия вышла из нее, но ОАР сохраняла свое название до 1971 г., с тех пор — Арабская Республика Египет.

[5] Палестинцы составляют ок. 50% населения Иордании.

[6] Имеются в виду Вавилонское пленение и выселение евреев из Палестины после восстания Бар-Кохбы.

[7] Во время нацистского геноцида было уничтожено ок. 6 млн евреев; в 1950 г. (более ранние сведения отсутствуют) в Западной Германии, включая Западный Берлин, с населением в 50 млн человек проживало ок. 10 млн человек, рожденных за ее пределами.

[8] До 1960 г. немцы составляли ок. 99% населения ФРГ и Западного Берлина. За счет ввоза рабочей силы из Турции, Югославии, Греции, Италии и Испании в сер. 80-х годов немцы составляли 93% населения ФРГ и 87% — Западного Берлина.

[9] В Южно-Африканском Союзе (ЮАС, с 1961 г. — Южно-Африканская Республика, ЮАР), где выходцы из Европы — «белые» — составляют ок. 15% населения, лица смешанного происхождения — «цветные» — 9, «азиаты» — 3 и аборигены — «черные», или «банту», — остальное, с 1948 г. проводилась официальная политика апартеида (правильнее — апартхейда), т. е. «раздельного развития рас»: запрещались межрасовые браки и внебрачные связи, совместное проживание, обучение, медицинское обслуживание и т. п. В 1960 г. началось создание т. наз. бантустанов, резерваций для коренного населения, которые со временем должны были обрести фиктивную независимость; эти бантустаны охватывали 13% территории и ок. половины черного населения ЮАР, остальные оказывались иностранцами на своей земле. В 80—90-х годах XX в. начался демонтаж системы апартеида, и в настоящее время все расовые ограничения отменены, и в 1994 г. состоялись первые нерасовые выборы. В британской самоуправляющейся колонии Южная Родезия выходцы из Англии составляли 5% населения. В 1965 г. «белое» меньшинство объявило о создании независимого государства, где не было апартеида в полном смысле слова, но избирательная система давала безусловное преимущество европейским поселенцам. В 1980 г. после долгой вооруженной борьбы была провозглашена управляемая черным большинством республика Зимбабве, что вызвало массовую эмиграцию белых.

[10] «Синие воротнички» — принятое на Западе название квалифицированных рабочих в противовес «белым воротничкам» — служащим и интеллигенции.

[11] В 60-х годах XX в. в США развернулось активное движение за гражданские права цветного населения, сопровождаемое террором расистских организаций против активистов этого движения и разрушительными бунтами негритянского населения, особенно в крупных городах; во время расовых волнений в Ньюарке (штат Нью-Джерси) 12—16 июля 1967 г. погибли 23 человека, в т.ч. 19 негров, в Детройте 24—25 июля — 43 человека, в т.ч. 15 негров. «Чёрные бунты» в США вспыхивают и поныне.

[12] Лидер движения за гражданские права негров, проповедник ненасилия, лауреат Нобелевской премии мира (1964), доктор философии, священник Мартин Лютер Кинг (1929—1968) был убит расистом во время митинга.

[13] В кон. XIX — нач. XX в. на строительные работы в британскую колонию Кению съехалось немало выходцев из Британской Индии, которые впоследствии осели в этой стране. После получения Кенией независимости в 1963 г. правительство начало политику «африканизации», в соответствии с которой негражданам (более половины индийцев Кении имели британское гражданство) запрещалось заниматься определенными видами деятельности, в т.ч. торговлей, а это было основным занятием индийцев. Около половины их покинули Кению.

[14] Когда А. Дж. Тойнби писал эти строки (1969), в Великобритании с 1964 г. у власти находилось правительство лейбористов; в 1970—1974 и с 1979 гг. они уступили кормило правления консерваторам.

[15] См. Ездр. 9: 10; Неем. 13, 23—27. Ездра, иудейский священник, родом из Вавилона, религиозный реформатор, который, согласно традиции, обнаружил в Вавилоне Второзаконие и превратил евреев, лишенных своего государства, в замкнутую религиозную общину, жил в V в. и прибыл в Иерусалим в 458 г. до н. э. Неемия, знатный иудей из Вавилона, назначенный персидским царем наместником в Иудею, оказывавший Ездре значительную помощь в проведении религиозных реформ и отдававший немало сил восстановлению обновленного храма Соломона, начал свою деятельность ок. 445 г. до н. э.

[16] Первый закон о равноправии евреев был принят 27 сентября 1791 г. Учредительным собранием Франции; гражданские и политические права евреев были гарантированы французским Гражданским кодексом 1804 г. — т. наз. Кодексом Наполеона.

[17] В 1791 г. в Российской империи была установлена т. наз. черта оседлости — граница территорий, где евреям разрешалось селиться в городах (с 1804 г. сельская местность была для них закрыта); черта охватывала 15 губерний, в основном западных, за вычетом крупных городов — Киева, Николаева и др. Право жить вне черты, в т.ч. в Петербурге и Москве (т. наз. право жительства) давалось лицам, имевшим высшее образование, купцам I гильдии и (кроме столиц) ремесленникам — с семьей, купцам II гильдии и проституткам — лично. Черта оседлости была упразднена Февральской революцией 1917 г. Безусловный запрет на брак с нехристианами существовал в России до 1905 г., позднее он был отменен, но введено условие, что дети от смешанных браков должны воспитываться в христианской вере.

[18] Законодательство Республики Индии запрещает любую, в т. ч. брачную, дискриминацию по кастовому признаку. Однако смешанным бракам противится общественное мнение, особенно среди членов высших каст, хотя именно они в наибольшей степени подверглись западному влиянию.

(III) Диаспора, наказанная или господствующая

[1] См. «Постижение истории», прим. 109 к т. 1, «Введение», гл. «Сравнительное исследование цивилизаций».

[2] В Кении и обеих Родезиях европейские переселенцы составляли группы населения, принимавшие участие в экономической жизни колоний, — фермеры, торговцы. Под Северо-Западной Африкой здесь понимается Алжир (см. прим. 22 к ч. II, гл. 3). О судьбе народа ибо см. прим. 2 к ч. II, гл. 4 (II). Китайцы приезжали во многие страны Юго-Восточной Азии в качестве неквалифицированной рабочей силы, но оседали там в качестве торговцев; многие из них стали крупными бизнесменами, и в ряде стран этого региона солидная часть экономики находится в руках китайцев. В Индонезии антикоммунистический террор, развязанный после подавления прокоммунистического мятежа, сопровождался китайскими погромами и государственной политикой вытеснения китайцев из бизнеса и торговли. В Малайзии китайцы составляют ок. 1/3 населения.

[3] См. прим. 5 к ч. I, гл. 5. Эфиопия была освобождена англо-американскими войсками в 1941 г.

[4] Большую часть арабского населения Ливана составляют марониты — члены униатской католической Церкви, придерживающейся собственных обрядов. Живущие во враждебном мусульманском окружении, они с давнего времени эмигрировали в страны Западной Африки и Латинской Америки, где образуют довольно замкнутые общины, в основном торговцев.

[5] Король Франции Генрих IV (1563—1610, король с 1589, фактически с 1594) — лидер протестантов-гугенотов, дабы утвердиться на престоле, перешел в католичество, но даровал своим прежним единоверцам в 1598 г. Нантский эдикт, гарантировавший их религиозные права. В 1685 г. Людовик XIV отменил Нантский эдикт, запретив во Франции протестантизм. Это вызвало массовую эмиграцию гугенотов — в основном торговцев и ремесленников; в местах нового расселения они очень быстро ассимилировались.

(IV) Западноевропейская деколонизация и новые колониальные империи

[1] В кон. XVIII — сер. XIX в. в США развернулось движение, организованное белыми противниками рабства, за возвращение освобожденных негров в Африку. После нескольких неудачных попыток в 1847 г. на западном побережье Африки была основана Республика Либерия (т. е. «Свободная»). Черные выходцы из США (их переселилось ок. 19 тыс., и тогда и сейчас они составляют ок. 1% населения), давно лишившиеся африканских корней, образовали местную правящую элиту; до сер. XX в. Либерия находилась в сфере влияния США.

[2] Амхара — основной народ Эфиопии (составляет ок. 38% населения страны), ее привилегированный этнос; язык амхара — амаринья, — принадлежащий к особой ветви семитских языков, знают ок. 75% населения.

[3] См. «Цивилизация перед судом истории», прим. 35 к ст. «Ислам, Запад и будущее». Судан, завоеванный египтянами в 20—30-х годах XIX в., после подавления махдистского восстания (см. «Постижение истории», прим. 7 к т. 5, гл. «Отношения между распадающимися обществами и индивидуумами») был в 1899 г. объявлен совместным англо-египетским (фактически — британским) владением. В 1954 г. Египет формально отказался от управления Суданом, в 1956 г. Судан получил независимость.

[4] Тунис освободился от французского протектората в 1956 г.

[5] Королевство Марокко в 1912 г. было объявлено находящимся под протекторатом Франции (основная часть страны) и Испании (крайний север и крайний юг); город Танжер, находящийся на африканском берегу Гибралтарского пролива, — международной зоной. Марокко объявлено независимым в 1956 г., некоторые бывшие испанские владения вошли в его состав в 1957 и 1969 гг.

[6] Ливия стала колонией Италии в 1912 г., в 1943 г. поставлена под совместное управление Франции и Великобритании, с 1951 г. — независимое государство.

[7] После демократической революции 1974 г. в Португалии ее колониальная империя стала распадаться: получили независимость в 1975 г. Португальская Гвинея (Гвинея-Бисау), Ангола, Мозамбик, Острова Зеленого Мыса (ныне — Кабо-Верде) и Сан-Томе и Принсипи в Африке. В 1976 г. провозглашена независимость Восточного Тимора, тут же захваченного Индонезией, которой принадлежит западная часть острова. О судьбе последнего обломка империи — Макао (*кит.* — Аомынь) в Китае — Португалия ведет переговоры с КНР.

[8] Бирма была объявлена британской колонией, точнее, провинцией Британской Индии в 1886 г., отдельной колонией стала в 1932 г., независимым государством — в 1948 г.

[9] О битве при Плесси см. «Цивилизация перед судом истории», прим. 69 к ст. «Унификация мира и изменение исторической перспективы». Имбаба — местечко близ Каира, где произошла Битва у Пирамид (см. прим. 65 к указанной ст.).

[10] См. прим. 19 к ч. I, гл. 5.

[11] Фермопилы — проход из Средней Греции в Южную между скалой и обрывом над морем, где в 480 г. до н. э., во время греко-персидских войн, отряд из трехсот спартанцев во главе с царем Леонидом (508 или 507—480 до н. э., царь с 488 до н. э.) принял неравный бой с персами и полностью погиб, не отступив.

[12] Указанные племена до контактов с европейцами сохраняли племенной строй и занимались в основном ручным земледелием. Чикасо жили на севере нынешнего штата Миссисипи и на юге Алабамы, крики — на границе Алабамы и Джорджии. Чироки в XVIII в. были вытеснены французами из долины р. Огайо и расселились по Вирджинии, Северной и Южной Каролине, Теннесси, Джорджии и Алабаме. Часть криков во 2-й пол. XVIII в. после неудачной войны с французами ушли во Флориду — тогда испанскую колонию, — где смешались с местными племенами,

образовав этнос семинолов. Правительство США в 1809 г. приняло решение о переселении ряда индейских племен на земли к западу от Миссисипи, где они, сохраняя самоуправление, должны были приобщаться к благам западной цивилизации. Индейцы сопротивлялись этому решению, но после ряда кровавых столкновений большинство чироки (часть сумела удержаться в своих землях в Северной Каролине) было переселено в 1928 г., чикасо и чокто — в 1830 г., крики — в 1825—1842 гг. Вслед за присоединением Флориды к США в 1811— 1819 гг. началось давление на семинолов, и после двух (1816—1817 и 1835—1842) Семинольских войн, в которых племя общей численностью 7—10 тыс. человек сопротивлялось армии США, индейцы вынуждены были покинуть родину, кроме маленькой группы, скрывшейся в болотах юга Флориды и сохранившей там традиционный уклад до сер. XX в. В 1834 г. к северу от Техаса была создана Индейская территория (в 1907 г. после обнаружения там нефти превращена в штат Оклахома); указанные народы получили название «пять цивилизованных племен» и пользовались определенными привилегиями среди других индейцев: они имели даже свой двухпалатный парламент. В настоящее время насчитывается 6,5 тыс. чикасо, 20 тыс. чокто, 26 тыс. криков, 66 тыс. чироки (в т. ч. 6 тыс. в Северной Каролине) и 4,5 тыс. семинолов, в т. ч. 1,5 тыс. во Флориде.

(V) Появление государства всеобщего благосостояния

[1] Либеральная партия Великобритании пришла к власти в 1906 г. под лозунгом проведения социальных реформ. Ее программа предусматривала улучшение условий труда, страхование рабочих, пенсии, всеобщее начальное образование, строительство дешевого жилья.

5. НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ВО БЛАГО ИЛИ ВО ЗЛО?

[1] Апок. 8: 11. В этом разделе Откровения св. Иоанна Богослова дается описание бедствий накануне Светопреставления.

[2] Автомобиль с паровым двигателем был построен Ж. Коньо (Франция) в 1769 г., с двигателем внутреннего сгорания — Г. Даймлером и К. Бенцем (Германия) в 1885—1886 гг. Первый полет на самолете состоялся в 1903 г. (см. «Постижение истории», прим. 2 к ч. 2, «Анализ роста»).

[3] Имеется в виду повествование Ун-Амуна (см. прим. 3 к ч. II, гл. 1). Первое известное описание морского путешествия совершенно сказочного характера относится к XX—XVIII вв. до н. э. (более точная датировка затруднительна) и носит в науке условное название «Сказка о потерпевшем кораблекрушение». Первый действительный отчет о плавании обнаружен в настенных изображениях одного древнеегипетского храма; он посвящен экспедиции в страну Пунт (см. «Постижение истории», прим. 32 к т. 1 «Введение», гл. «Сравнительное исследование цивилизаций») в кон. XVI в. до н. э.

[4] См. «Цивилизация перед судом истории», прим. 18 к ст. «Греко-Римская цивилизация». Установив гегемонию над Грецией, Филипп замыслил поход на Персию, который осуществил его сын Александр Македонский.

[5] Форейтор — верховой, сидящий на одной из передних лошадей, запряженных цугом в карету или паланкин.

[6] Титикака — соленое озеро в Центральных Андах на границе Перу и Боливии на высоте 3812 м, площадь — 8300 кв. км. Живущие в районе озера индейцы аймара занимаются рыбной ловлей с лодок-плотов, сделанных из тростника; часть рыбаков живут на искусственных островках, изготовленных из тростника и сушеных водорослей.

[7] Это не анекдот. По британским законам считается, что женщина более живуча, нежели мужчина, и в случае их одновременной гибели при отсутствии детей и завещания имущество переходит к наследникам жены, а не мужа, ибо предполагается, что она умерла позднее и успела стать наследницей супруга; ее наследники вынуждены платить двойной налог на наследство: за себя и за покойную.

[8] См. «Постижение истории», прим. 30 к т. 2, гл. «Вызов-и-Ответ». Развалины Пальмиры находятся близ г. Тадмор в Сирии.

[9] Южноафриканский хирург Кристиан Бернард (род. 1922) в 1967 г. осуществил первую в мире пересадку сердца: сердце прижилось, но пациент — Луи Вакшанский — настолько обессилел от операции, что организм его потерял сопротивляемость, и он несколько недель спустя умер от пневмонии.

[10] Этот священный галлюциногенный напиток древних арьев (сома — у индийцев, у иранцев — хаома) употреблялся ими в ритуальных целях еще до их прихода в Индостан с Иранского нагорья. Гипотезы о растении, из которого приготовлялась сома, — конопля, эфедра, ревень, гриб мухомор — равно убедительны и равно не доказаны.

[11] До сих пор неясно, когда была изобретена дистилляция алкоголя. Одни исследователи называют изобретателем этой операции византийского алхимика Марка Грека (VIII в.), другие говорят о появлении винного спирта у арабов в X в., третьи — об изобретении перегонного куба в Италии в кон. XI — нач. XII в. До XV в. винный спирт применялся исключительно как лекарство.

[12] Во время написания А. Дж. Тойнби этих строк, в 1969 г., стало известно о применении армией США во Вьетнаме дефолиантов, распыляемых с самолетов над джунглями, чтобы лишить деревья листвы и иметь возможность наблюдать за передвижениями партизан; эти дефолианты оказались канцерогенными.

[11] Строго говоря, само существование микробов обнаружил голландский натуралист Антони ван Левенгук (1631 —1723) ок. 1673 г. Великий французский ученый Луи Пастер (1822—1895) в 70—80-х годах XIX в. доказал болезнетворность бактерий.

[14] Апостол Павел предсказывает, что по Втором Пришествии Христа «последний же враг истребится — смерть» (1 Кор. 15: 26).

[15] О древней эгейской письменности см. «Постижение истории», прим. 59 к т. 1 «Введение», гл. «Сравнительное исследование цивилизаций». После дорийского завоевания (см. там же, прим. 70, там же) в XII—XI вв. до н. э. наступили упадок культуры и забвение старого письма (оно некоторое время сохранялось только во внутренних районах Крита). Первые тексты, написанные архаическим греческим алфавитом, дошли до нас от VIII в. до н. э.

[16] Первый скачок в технике обработки камня произошел в начале последнего периода древнекаменного века — позднего палеолита — ок. 35 тыс. лет назад, что связано, по-видимому, с появлением человека современного вида. Ок. 12 тыс. лет назад, еще до появления техники шлифованного камня, знаменующей начало новокаменного века — неолита, — в районе нынешней Палестины произошел переход к земледелию; неолит начался 10 тыс. лет назад, одомашнивание скота и керамическое производство возникли в VIII—VII тыс. до н. э., металлургия (сначала только меди) — в VI тыс. до н. э., древнейшие письмена Междуречья и Египта датируются IV тыс. до н. э.

6. ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

[1] В Античности и Средневековье математика — знание об основных законах бытия; «математиками» называли астрологов и магов. Некоторые исследователи считают, что переход от античнo-средневековых к современным представлениям о математике обнаруживается в записях Леонардо да Винчи (1452—1519).

[2] Английский философ и государственный деятель Фрэнсис Бэкон (1561—1626) считал, что ни чисто логическими, свойственными схоластике, ни чисто эмпирическими, присущими современным ему ремесленникам (слово «технология» не употреблялось тогда в нынешнем значении), методами невозможно получить новое знание, но лишь соединением теории и практики («мысли и действия», по Бэкону).

[3] Научная революция XVII в. практически не затронула технологию. Действительным началом соединения науки и техники может служить лишь создание Рудольфом Дизелем (1858—1913) в 1897 г. в Германии двигателя внутреннего сгорания на основе термодинамического процесса, открытого в 1824 г. французским физиком Никола Леонаром Сади Карно (1796—1832).

[4] Имеется в виду — все правительства независимых государств, которых в 1969 г. насчитывалось 126.

[5] Английский биолог Томас Генри Хаксли (1825—1895), известный в России как Гексли, сторонник и пропагандист учения Дарвина, считал главным в воспитании человека основанное на самостоятельном изучении признание законов природы и активно и бескорыстно излагал эти идеи в британских учебных заведениях.

[6] Знаменитое евангельское выражение полностью звучит так: «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4), и представляет собой парафраз слов Моисея (Втор. 8,3).

[7] Родоначальником античной и вообще европейской философии считается Фалес Милетский (ок. 625—547 до н. э.), постулировавший возможность интеллектуального (а не полученного в традиции или Откровении) постижения первоосновы бытия; таковой он считал воду. Сократ (469—399 до н. э.), в молодости бывший прилежным читателем натурфилософских сочинений, сутью философии объявил не самодостаточные поиски первопричины мира, а познание сути человека, необходимое для правильного его поведения.

[8] Младший современник Фалеса (А. Дж. Тойнби называет его и других его последователей «диадохами», т. е. «наследниками», применяя термин, прилагавшийся к полководцам Александра Македонского, разделившим его царство) Анаксимандр (ок. 610–546 до н. э.) объявил первоосновой всего сущего «апейрон» — «беспредельное» — бескачественную первоматерию; ученик Анаксимандра Анаксимен (ок. 588 — ок. 525 до н. э.) — воздух.

7. ВЕТЕР ПЕРЕМЕН В РЕЛИГИИ

[1] В метафорическом виде А. Дж. Тойнби описывает здесь перемены в отношении к религии. Влияние традиционных религий («первый порыв ветра») ослабло к нач. XIX в. («штиль»), сменившись убежденностью в научной истинности законов природы и общества. Эпоха мировых войн характеризуется бурным всплеском идеологий — коммунизма, индивидуализма (Тойнби считает его извращенной формой либерализма), национализма, — враждебных традиционным религиям («второй порыв ветра»). Современная (1969) эпоха есть время возвращения к традиционным религиозным ценностям («третий порыв»), которые ограничиваются внутренним миром человека и не претендуют на всеобщность.

[2] Имеется в виду период, открывающийся Рыцарским восстанием (1522–1523) и Крестьянской войной (1524–1525), социальными движениями, проходившими под лозунгом Реформации, и завершающийся Тридцатилетней войной (1618–1648), начавшейся как внутригерманская распря между католиками и протестантами и переросшей в общеевропейский конфликт, уже не имевший религиозного наполнения.

[3] Французский философ и публицист Пьер Бейль (1647–1706) утверждал принципиальную непознаваемость религиозных истин (впрочем, он полагал, что и науке недоступна истина — только вероятность) и убеждал в независимости морали от религии.

[4] Не будучи ни атеистом, ни даже агностиком, Вольтер (наст. имя и фам. Франсуа Мари Аруэ; 1694–1778) яростно выступал против религиозной нетерпимости.

[5] Экуменическое (от *греч.* — ойкумена) движение, участники которого считают существующие исторические Церкви лишь частными проявлениями истинной, никогда не распадавшейся Христовой Церкви и ратуют за воссоздание этой Церкви путем преодоления канонических и догматических различий, возникло в протестантской среде и было организационно оформлено в 1910 г. на Всемирной миссионерской конференции. Мировые войны замедлили дальнейшее развитие этого движения, и лишь в 1948 г. состоялась включавшая лишь протестантских делегатов Всемирная Ассамблея Церквей, избравшая координирующий орган экуменического движения — Всемирный Совет Церквей. С 1961 г. в работе Совета принимают участие некоторые восточные Церкви — в частности, Русская Православная в качестве членов и Католическая в качестве наблюдателя. Второй по важности, после объединения Церквей, целью экуменического движения является обращение христианства к насущным проблемам современности.

[6] Иоанн XXIII (Анджело Джузеппе Ронкалли; 1881–1963, папа с 1958) выступал за реформы, призванные приспособить католическую Церковь к

современности, за мир и сотрудничество между государствами, за смягчение социальных противоречий.

[7] Разногласия между разными ветвями буддизма, а также между буддизмом и конфуцианством никогда не были глубокими и не принимали форму конфликтов, во всяком случае на уровне рядовых верующих. Что же касается исламо-христианских противоречий, то события последних лет в Ливане, бывшей Югославии и бывшем СССР показывают, что А. Тойнби поспешил с оптимистическими выводами.

[8] В позднем норвежском фольклоре Пер Гюнт (возможно, историческое лицо, жившее на рубеже XVIII—XIX вв.) — удалой парень, расправляющийся с троллями и побеждающий Кривую — чудовище женского пола. В драме Генрика Ибсена (1828–1906) Кривая — бесформенная сила зла; она побеждает исподволь, заставляя человека стремиться к собственной смерти. Пер Гюнт не может одолеть ее в схватке и спасается, лишь вспомнив о силе женской любви.

[9] Фарисеи и саддукеи — течения в иудаизме, существовавшие с сер. II в. до н. э. до ок. 70 г. н. э. Первые (от *евр.* перушим — отделенные) проповедовали бессмертие души и загробное воздаяние, ожидали пришествия Мессии, требовали скрупулезного соблюдения обрядов и скептически относились к храмовому священству. Вторые (от имени первосвященника Садока) настаивали на храмовой религии, сомневались в загробном существовании и скором явлении Мессии.

Тринитарии — сторонники ставшего со временем ортодоксальным раннехристианского течения, признававшего равенство лиц Троицы, в противовес арианам, считавшим Сына низшим по отношению к Отцу. Католиками А. Тойнби именует здесь сторонников ортодоксии, как собственно католиков, так и православных, в официальное название которых входит слово «кафолическая», т. е. «вселенская», Церковь. О монофиситах см. «Постижение истории», прим. 26 к т. 1 «Введение», гл. «Поле исторического исследования»; диофиситами (*букв.* двуприродниками) здесь названы несториане (см. там же). О шиитах и суннитах см. там же, прим. 19 к т. 1 «Введение», гл. «Сравнительное исследование цивилизаций».

[10] Павел VI (Джованни Баттиста Монтини; 1897–1978, папа с 1963) был продолжателем дела обновления католической Церкви, начатого Иоанном XXIII; первым из пап XX в. предпринимал длительные международные вояжи.

8. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

(I) Головы гидры

[1] Джордж Херберт (1593–1633) — английский религиозный поэт, священник.

(IV) Политический и экономический неоколониализм

[1] Кикуйю — бантуязычный народ Кении, составляют не больше 1/4 населения, но экономически, социально и культурно развиты больше иных

народов Кении, в большинстве христианизированы и являлись движущей силой в движении за независимость; сегодня кикуйю — лидирующий этнос Кении. Нилотские народы (масаи — см. прим. 10 к ч. I, гл. 1, — самый известный, но не самый крупный среди них) и сомалийцы ведут кочевой и полукочевой скотоводческий образ жизни и не спешат ощутить себя частью кенийской нации (хотя составляют более 25% ее), с которой ассоциируются кикуйю.

[2] Об амхара см. прим. 2 к ч. II, гл. 4 (IV). Официальной политикой самых разных властей Эфиопии была амхаризация страны. Судан довольно четко делится по 12° с. ш. и на две части: северную, арабизированную и исламизированную (примерно 70% населения), и южную, языческую и христианскую, где среди множества племен языком общения является английский. Север стремится арабизировать и исламизировать Юг, где с 1956 г., с момента провозглашения независимости Судана, то разгорается, то затухает война под лозунгом автономии или даже отделения Юга.

9. ПОСМЕРТНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

[1] Имеется в виду Бертран Рассел (1872—1970) — английский философ, математик и общественный деятель.

[2] См. «Постижение истории», прим. 3 к т. 5, гл. «Отношения между распадающимися обществами и индивидуумами». Священная Римская империя (Первый рейх), с конца Средневековья уже не представлявшая собой единого государства, была упразднена по требованию Наполеона в 1806 г.

[3] Словом «желтохвостка» именуются самые разные рыбы; здесь: видимо, тихоокеанская сельдь.

[4] Шотландия (ее население практически полностью англизировано, но ощущает себя особым этносом) и Уэльс (только 1/5 автохтонного населения которого владеет валлийским языком) в 1978 г. получили самоуправление. Бельгия населена разными этносами: франкоязычными валлонами и голландоязычными фламандцами, причем, хотя оба языка считаются равноправными, валлоны всегда являлись ведущей и привилегированной частью бельгийской нации. В 1963 г. страна была разделена на четыре языковых района — фламандский, валлонский, немецкий (небольшой округ на границе с Германией) и двуязычный Брюссель. Это смягчило валлоно-фламандское соперничество; противоречия между двумя главными этносами Бельгии еще более ослабли после перехода в 1980—1989 гг. к федеративному устройству страны, при котором каждый из языковых регионов получил политическую, экономическую и культурную автономию. О народе ибо см. прим. 2 к ч. И, гл. 4 (II), о Судане — прим. 2 к ч. II, гл. 8 (IV), о франкоканадцах — прим. 14 к ст. «Международная перспектива».

[5] Город Бразилиа строился в 1957—1960 гг. специально как новая столица Бразилии, расположенная в глубине страны, что должно было привести к подъему неосвоенных внутренних регионов. Город планировался по всем правилам градостроительного искусства и с привлечением новейших теорий создания городов. Однако вопреки сказанному А. Дж. Тойнби идеальный или близкий к идеальному Экуменополис (Город-Мир)

не получился: жители упорно не желали замыкаться в пределах квартала, появились более и менее престижные школы, лучшие и худшие магазины, мигранты, переселяющиеся в столицу, стали строить барачные трущобы, и в этих не предусмотренных планом кварталах нет ни школ, ни прачечных.

МОИ ВСТРЕЧИ



1. ДЯДЯ ГАРРИ

[1] Джон Армитедж Стейнтон (1888—1957) — британский политический деятель.

[2] Город Бонн, основанный римлянами в I в., входил в Кёльнское архиепископство, духовное княжество (т. е. такое государственное образование, где архиерей осуществлял также светскую власть в своей епархии) в составе Священной Римской империи, и с 1273 г. являлся резиденцией архиепископов. Во время революционных войн Франции с ее соседями был занят французскими войсками в 1794 г. Люневильский мир 1801 г. между Францией и Австрией закрепил Бонн и Кельн за Францией. После победы над Наполеоном прирейнские земли стали предметом спора между Францией, Австрией и Пруссией. По соглашению от 3 мая 1815 г. Бонн (а равно и Кельн) отошел к Пруссии, войдя в ее Рейнскую провинцию (Рейнланд). Неудачи Пруссии в борьбе с Францией во время наполеоновских войн заставили правительство Пруссии пойти на некоторые реформы. Согласно закону о реформе просвещения 1817 г., образование в университетах, остававшееся, по сути, неизменным со времен Средневековья (хотя Боннский университет был основан в 1786 г.) было приспособлено к нуждам времени.

[3] Имеется в виду Арнольд Тойнби, дядя А. Дж. Тойнби. — См. «Пережитое», ч. I, гл. 2, примеч. 43.

[4] Эдуард VII (1841—1910) — король Великобритании с 1901 г.; прославился как знаменитый бонвиван, любитель женщин, азартных игр, спорта, охоты, но также и как талантливый дипломат.

[5] В 1620 г. группа переселенцев — 82 человека — прибыла на корабле «Мейфлауэр» («Майский цветок») из Англии к берегам Северной Америки и основала поселение Нью-Плимут на территории нынешнего штата Массачусетс (ср. в сб. «Цивилизация перед судом истории», «Цивилизация перед судом», примеч. 3). Именно от этой даты американцы ведут отсчет своей собственной, независимой от Великобритании, истории, хотя первая английская колония на территории будущих США — Вирджиния — была основана в 1585 г. неудачно (большинство колонистов погибло, уцелевшие вернулись на родину) и в 1609 г. — удачно. Дело в том, что Вирджиния была королевской колонией, тогда как прибывшие на «Мейфлауэре» колонисты отправились из Англии по своей воле и основали самоуправляющееся поселение. Эти первопоселенцы именуются «отцы-пилигримы», ибо они являлись диссидентами (тогда это слово означало протестантов, не при-

надлежащих к англиканской Церкви), в данном случае — баптистами, и покинули родину спасаясь от преследований, в поисках религиозной свободы, но равно и Земли Обетованной, Нового Израиля, который должен быть построен в Новом Свете.

Битва при Ватерлоо произошла 18 июня 1815 г.

[6] Уильям Лод (1585—1645) — английский государственный и церковный деятель, архиепископ Кентерберийский с 1633 г., советник короля Англии Карла I. Жестко проводил королевскую политику в англиканской Церкви, заключавшуюся в утверждении полного единообразия в организации и богослужении и строгой дисциплине. Религиозные диссиденты и даже многие англикане видели в этом уступки ненавистному католичеству и даже стремление подчинить Церковь Англии папскому престолу. Казнен во время Английской революции (см. ниже). Ирония Тойнби здесь заключается в том, что он описывает дядю Гарри как крайнего пуританина (в широком смысле, необязательно как приверженца какой-либо неангликанской протестантской Церкви), для которого даже «отцы-пилигримы» недостаточно религиозны.

[7] «Низкая Церковь». — См. «Пережитое», ч. II, гл. 9, раздел II, примеч. 20. Следует отметить, что подобные течения *внутри* одной религии возможны потому, что англиканство, относясь к протестантизму, все же возникло как некий компромисс между Реформацией и католичеством (ср. «Постижение истории», т. 1, «Поле исторического исследования», примеч. 6).

[8] Джон Кенсит (1853—1902) — протестантский проповедник. Со 2-й четверти XIX в. в Великобритании обострились отношения между католиками и протестантами, а также между разными течениями внутри англиканской Церкви. Дж. Кенсит был лидером одной из англиканских группировок, выступавших с резкой критикой действий властей, предоставивших полную свободу вероисповедания католикам, а равно и тех руководителей англиканской Церкви, которые выступали примирительно по отношению к католицизму. Основанное им в 1889 г. Общество Протестантской Истины занималось распространением литературы и устройством митингов. 25 сентября в г. Биркенхед должен был состояться митинг, на котором собирался выступать Кенсит. Путь к зданию, где это должно было происходить, преградила толпа молодых католиков (в западных районах Англии тогда проживало много ирландцев-католиков), ок. 3 000 человек. Некий юноша из толпы метнул железную палку, которая попала в голову Кенситу и разбила левую бровь. Кенсита перевезли в больницу в Ливерпуль (вопреки сказанному Тойнби, сам инцидент произошел не в Ливерпуле), где он начал выздоравливать, но затем у него повысилась температура (врачи диагностировали пневмонию), и 8 октября он умер. На предварительном слушании по делу о его смерти присяжным был представлен акт медицинской экспертизы, из которого явствовало, что Кенсит умер от заражения крови, так что жюри предъявило молодому человеку, бросившему железную палку, обвинение в непредумышленном убийстве, но на суде тот был оправдан. В Великобритании доныне существует Общество памяти Джона Кенсита, члены которого считают его протестантским мучеником за веру.

Пирр (319—273, царь Эпира в 307—302 и с 296 до н. э.) был талантливым полководцем и неуемным авантюристом, пытался захватить трон в

Македонии, воевал с Римом и Карфагеном, одерживал блестящие победы и терпел тяжелые поражения; вмешался в династические распри в Спарте и погиб в уличной схватке (он был поражен снарядом из пращи) в принадлежавшем Спартанскому государству г. Аргос, который пытался захватить.

[9] Выражение передано не совсем точно. — См. «Постижение истории», т. 1, «Поле исторического исследования», примеч. 27.

[10] Имеется в виду, видимо, Английская революция 1640—1660 гг., т. наз. Пуританская революция. Хотя собственно военные действия между сторонниками короля Карла I и приверженцами парламента происходили лишь в 1642—1646 гг. и в 1647 г., но кроме этого были еще и восстания в Шотландии и Ирландии, и мятежи отдельных воинских частей, и мн. др. Английская революция была одновременно революцией политической и религиозной, в частности, члены англиканской церкви выступали за монархию, радикальные секты — за республику. После Реставрации в 1660 г. в Англии действительно не было революционных потрясений (переворот 1688 г., названный Славной революцией и приведший к постепенному сложению парламентской монархии, был бескровным). Практика ссылки политических и религиозных противников правительства и государственной Церкви в американские колонии, где ссыльные являлись — на время или пожизненно — «белыми рабами» на плантациях, продолжалась и до Революции, и во время нее, и после Реставрации, и была прекращена лишь вслед за Славной революцией.

[11] Имеется в виду война Севера и Юга.

[12] Сэмюэль Элиот Морисон (1887—1976) — британский военно-морской историк, офицер военно-морского флота Великобритании; в 1951 г. по отставке получил чин адмирала.

[13] Джон Ньютон (1725—1804) — командир работоргового судна, в 1755 г. оставил свое ремесло и обратился к Богу. В 1758 г. он принял сан священника. В его приходе в 1761 г. поселился известный религиозный поэт Уильям Каупер (1731—1800). Они подружились на почве религии — оба были, хотя и членами англиканской Церкви, пламенными пуританами, писали религиозные гимны. Сообщение о том, что Ньютон покушался на жизнь Каупера, скорее всего, апокрифично. Рассказывали, что Каупер, будучи человеком психически неуравновешенным, чтобы не сказать душевнобольным, мучительно переживал собственную греховность и считал, что он должен быть принесен в жертву, ощущал себя Исааком, которого собирается принести в жертву Авраам (Быт., 22), и просил Ньютона убить его.

[14] Барк — морское парусное 3-5-мачтовое судно с косыми парусами на кормовой мачте (бизань-мачте) и прямыми на остальных.

[15] Баркентина (иначе — шхуна-барк) — 3-5-мачтовое судно с прямыми парусами на передней мачте (фок-мачте) и косыми на остальных.

[16] Шхуна — 2-7-мачтовое судно с косыми парусами. В XIX в. бывали шхуны с двумя-тремя прямыми парусами на передней мачте.

[17] Топсель — прямой парус на верхушке мачты.

[18] Бригантина — двухмачтовое судно с прямыми парусами на передней мачте и косыми на задней (грот-мачте).

[19] «Фрам» — норвежское морское судно, построенное в 1892 г. В 1893—1896 гг. знаменитый полярный исследователь Фритьоф Нансен (1861—1930) попытался на нем пройти к Северному полюсу. «Фрам» совершил еще

несколько плаваний, самое известное из которых — экспедиция в Антарктиду (1910—1912), в результате которой другой знаменитый полярный исследователь — Руаль Амундсен (1872—1928) — достиг Южного полюса.

[20] Стеньга — продолжение верхнего конца судовой мачты.

[21] См. «Цивилизация перед судом истории», «Современный момент истории», примеч. 5.

[22] Имеется в виду англо-бурская война (в Британии названная Южноафриканской) 1899—1902 гг., в результате которой созданные потомками переселенцев из Голландии — бурами (иначе — африкандерами) — независимые государства (Оранжевое Свободное государство и Республика Трансвааль) перешли под власть Великобритании.

[23] Роберт Баден-Пауэлл (1857—1941) — британский военный и общественный деятель, генерал, основатель движения скаутов.

[24] Мафекинг — город в Оранжевой республике (ныне — в ЮАР), захваченный англичанами в англо-бурской войне в 1899 г.; буры осаждали его до 1900 г.

[25] Розетта — европейское название города Рашид в Египте. Мировую известность этот город получил в 1799 г., когда там был найден т. наз. Розеттский камень с двуязычной надписью на греческом и древнеегипетском языках, что сильно поспособствовало расшифровке египетских иероглифов.

[26] Дамиетта — европейское название города Думьят в Египте, в дельте Нила. В средние века крестоносцы дважды — в 1218 и 1249 гг. — брали его и дважды — в 1219 и 1250 гг. — терпели под его стенами жестокое поражение и оставляли его.

[27] Джузеппе Пьяцци (1746—1826) — итальянский астроном, работал в Палермо в Сицилии; в 1801 г. открыл малую планету Церера.

[28] Джайнизм. — См. «Постижение истории», т. 1, «Поле исторического исследования», примеч. 38. Ввиду веры в метемпсихоз (переселение душ) джайны в еще большей степени, нежели буддисты, проповедовали идеи ахимсы — непричинения вреда всему живому, причем в это живое входят и насекомые. Именно поэтому джайны носят повязки на лице, пьют только процеженную воду и не занимаются земледелием (основное занятие джайнов — торговля и ростовщичество), дабы случайно не разрезать плугом земляных червей.

[29] По законам полулегендарного спартанского законодателя Ликурга (IX или VIII в. до н. э. /?/) все взрослые мужчины-спартиаты должны были участвовать в ежедневных совместных трапезах — сисситиях, на которые ежемесячно вносили определенное количество продуктов. Основным блюдом была т. наз. черная похлебка, изготовлявшаяся из свиных потрохов, крови, уксуса и соли. Употребление этого весьма невкусного блюда должно было воспитывать в спартанцах неприхотливость в еде.

[30] Дебра Либанос — город в центральной Эфиопии на нагорье Дебра Син.

[31] Существует распространенный анекдот о некоем малограмотном разбогатевшем американце, который, проверяя документы, ставил аббревиатуру О. К. (название букв по-английски «О» и «Кей»), что считал сокращением выражения *oll korrect* (звучит «олл коррект», но правильное написание — *all correct*, т. е. «все верно»).

[32] En passage — здесь: во время движения (*фр.*).

[33] Георг III. — См. «Постижение истории», т. 1, «Сравнительное исследование цивилизаций», примеч. 108.

[34] Имеются в виду произведения т. наз. Могольской школы миниатюры, существовавшей в XVI-XVII вв. при дворе Великих Моголов (династия правителей т. наз. Могольской империи, охватывавшей значительную часть Индии; правили в 1526—1858 гг., с 1803 г. — под британским протекторатом). Это чрезвычайно красочные миниатюры манускриптов с изображениями цветов, птиц, зверей и даже людей, — несмотря на то что моголы были приверженцами ислама, который запрещает любые фигуративные изображения, особенно людей.

[35] Типу Саиб (иначе — Типу Султан; 1750—1799) — правитель южноиндийского княжества Майсур (ныне — приблизительно территория индийского штата Карнатака) с 1782 г. Был активным борцом с англичанами, с кон. XVIII в. стремившимися завоевать Индию. Погиб при осаде британскими войсками столицы княжества — города Серингапатам на берегу Аравийского моря.

[36] Франки — здесь: европейцы. — См. «Постижение истории», т. 1, «Поле исторического исследования», примеч. 34.



2. ТЕТУШКА ШАРЛИ

[1] В оригинале здесь рифмованный стишок.

[2] Абрахам Линкольн (1809—1865) — 16-й президент США с 1861 г., член Республиканской партии, противник рабства. На выборах 1860 г. (в США выборы президента проводятся в ноябре года, предшествующего вступлению в должность) его противником был член Демократической партии, сторонник сохранения рабства Стивен Арнольд Дуглас (1813—1861).

[3] Генри Джордж (1839—1897) — американский экономист, сторонник т. наз. “single-tax” system, т. е. системы «единственного налога», т. е. такого принципа налогообложения, при котором существует только один налог — поземельный.

[4] «Государство всеобщего благосостояния». — См. «Постижение истории», т. 12, «История и перспективы Запада», примеч. 18.

[5] Ист-Энд — район Лондона, населенный, во времена Тойнби, в основном рабочим людом.

[6] Уайтчепел — район Лондона, занятый беднотой, считался весьма неблагополучным и в социальном, и в криминальном отношении — районом воров, хулиганов и т. п.

[7] Образование в Шотландий до Первой мировой войны стояло на более высоком уровне, нежели в Англии. Несмотря на то что население Шотландии перед Первой мировой войной было в 7 раз меньше, чем Англии, в Англии тогда было два университета — Оксфорд и Кембридж, а в Шотландии — четыре (Абердин, Эдинбург, Глазго и Сент-Эндрю), и доступ в шотландские университеты был доступен представителям всех социальных слоев.

[8] Клемент Ричард Эттли (1883–1967) — британский политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1945–1951 гг., лидер Лейбористской партии в 1935–1955 г., член Палаты лордов с 1955 г.

[9] Бейллиол-колледж. — См. «Цивилизация перед судом истории», «Мой взгляд на историю», примеч. 7.

[10] В британских университетах Совет колледжа, состоящий из преподавателей, выполняет функции одновременно нашего Ученого совета и органа самоуправления.

[11] All Souls — колледж Поминовения в Оксфорде основан в 1438 г. День поминовения, когда возносятся молитвы за усопших, празднуется в западных Церквах 2 ноября.

[12] Ланселот Ридли Фелпс (1853–1936) — британский педагог, преподаватель колледжа Ориел, одного из старейших в Оксфорде, основанного в 1396 г.

[13] Уильям Арчибальд Спунер (1844–1930) — профессор Оксфордского университета, филолог. О «спунеризмах» см. ниже.

[14] Сесил Джон Родс (1853–1902) — британской колониальный деятель, премьер-министр Капской колонии (самоуправляющееся британское владение в Южной Африке с 1815 г., в 1910 г. вошла в Южно-Африканский Союз) в 1890–1896 гг., один из инициаторов англо-бурской войны. Стипендиальный фонд в Оксфорде учредил в 1902 г.

[15] Метатеза — взаимная перестановка звуков в словах на основе ассимиляции (т. е. уподобления одного звука другому) или диссимиляции (т. е. замене одного из двух одинаковых или сходных звуков в слове другим звуком, отличным или менее сходным с ним). Напр.: медведь — ведмедь.

[16] Non sequitur (букв. *лат.* «не следует») — название логической ошибки, состоящей в том, что положение, которое требуется доказать, не вытекает из приведенных в подтверждение доводов.

[17] Реджинальд Купленд (1884–1952) — британский африканист и индолог.

[18] Тойнби имеет в виду, что «спунеризмы» вошли в обиход преподавателей и студентов в самом Оксфорде. Иное значение выражения «оксфордский английский» — речь образованного человека (предполагается — учившегося в Оксфорде).

[19] Артур Уоллес Пикард-Кембридж (1873–1952) — британский филолог-классик.

[20] Томас Кейс (1844–1925) — британский историк, специалист по истории образования и истории Оксфорда, глава колледжа Corpus Christi, т. е. Тела Христова, основанного в Оксфорде в 1515–1516 гг.

[21] Музей Эшмола — один из старейших в Англии музеев естественной истории, основанный в Оксфорде в 1682 г. на основе коллекции собранной и пожертвованной университету известным геральдистом и археологом Элайасом Эшмолом (1617–1692).

[22] Перси Гарднер (1846–1937) — британский археолог.

[23] Credo quia absurdum (*лат.* «Верую, потому что нелепо») — парафраз высказывания христианского богослова и писателя Тертуллиана (Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан; ок. 160 — после 220). Обычно это выражение понимается как характеристика нерассуждающей веры и/или совершенно некритического отношения к чему-либо. Но мысль богослова

глубже и парадоксальнее. Полностью высказывание звучит: «Сын Божий распят; нам не стыдно, ибо полагалось бы стыдиться. И умер Сын Божий; это вполне достоверно, ибо ни с чем несообразно. И после погребения он воскрес; это несомненно, ибо невозможно». То есть предполагается, что истинная вера не проверяется доводами разума и даже обыденной морали.

[24] Термин «паулинистское богословие» употребляется в двух смыслах: 1) собственно учение апостола Павла; 2) традиция в христианском богословии, восходящая к паулинизму в первом значении; в этой традиции упор делается на разработке проблем благодати, божественного предопределения и, кроме того, выражается протест против обрядности.

[25] Дон — в Оксфорде и Кембридже: старший преподаватель.

[26] В католицизме целибат — безбрачие — обязателен не только для монашествующих и/или архиереев, но и для белого духовенства. Парадокс заключается в том, что Реформация резко выступила против целибата, во всех протестантских Церквах духовенство любого ранга имеет право вступать в брак (монашество в протестантизме полностью отсутствует), а миряне — члены университета — лишены этого права.

[27] Бенефиций — здесь: церковный приход, доходы от которого получает приходский священник. Право распоряжаться приходами в Англии принадлежит англиканской Церкви, но по особым королевским и парламентским привилегиям может передавать отдельным лицам или организациям, в данном случае — Оксфордскому университету.

[28] Musterhuft (*нем.*) — «примерный, образцовый».

[29] Эрнст Гарднер (1862—1923) — британский археолог.

[30] В британских университетах канцлер — глава университета — есть должность сугубо церемониальная, весьма почетная, и ее занимают видные государственные и общественные деятели (как правило, отставные), представители аристократических семейств (ныне этот обычай исчез, но в описываемое время еще соблюдался) и даже (это является традицией лишь для Оксфорда и Кембриджа) члены королевской фамилии. Канцлер назначается правительством (формально — короной). Реальное руководство университетом осуществляет вице-канцлер, избираемый Советом университета.

[31] Дик (Ричард) Уиттингтон (ум. 1423 г.) — реальное историческое лицо, лорд-мэр Лондона в 1398—1399, 1406—1407 и 1419—1420 гг. Насколько известно, был выходцем из состоятельной семьи. Популярная легенда, возникшая на рубеже XVI—XVII вв., гласит, что юный Дик был выходцем из деревни, учеником у некоего цехового мастера, т. е. владельца мастерской. С ним плохо обращались, и он уже собирался бежать домой, но у городских ворот его остановил звон церковных колоколов, в котором ему послышались слова: «Вернись, Дик Уиттингтон, трижды лорд-мэр Лондона!»

[32] Альфред Милнер (1854—1925), виконт (с 1915 г.) — британский колониальный деятель, с 1897 г. губернатор Капской колонии; во время Первой мировой войны (с 1915 г.) — военный министр.

[33] Верховный комиссар — в ряде британских колоний (в данном случае в Капской колонии—см. выше, примеч. 14) то же, что и губернатор.

[34] *Лукреций.* О природе вещей, III, 55—58. Пер. Ф. А. Петровского.

[35] Военный кабинет — узкая коллегия министров (четыре министра) британского кабинета, созданная в начале Первой мировой войны в 1914 г. внутри правительства для принятия оперативных решений.

36 Генри Кэмпбелл-Баннерман (1836–1908) — британский государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1905–1908 гг., лидер Либеральной партии с 1899 г. Был — в отличие от предшествующих лидеров либералов, сторонников неограниченной свободы рынка — приверженцем государственного вмешательства в экономику с целью проведения социальных реформ и уменьшения разрыва между бедными и богатыми. Ср. «Пережитое», ч. II, гл. 4, раздел V, примеч. 1.

[37] Эдуард Фредерик Вуд, лорд Галифакс (1881–1959) — британский государственный деятель, член руководства Консервативной партии, министр иностранных дел в 1938–1940 гг. Он был защитником и проводником т. наз. «политики умиротворения», т. е. уступок захватническим устремлениям правительств нацистской Германии и фашистской Италии с целью избежать большой войны. Ср. «Пережитое», ч. I, гл. 5, примеч. 14.

[38] Суфражистки. — См. «Пережитое», ч. I, гл. 3, примеч. 14.

[39] В Оксфорде существует весьма сложная система самоуправления. Высшими органами являются Конгрегация — общее собрание всех профессоров, докторов и магистров и Конвокация — нечто вроде нашего Ученого совета.

[40] Italia farà da se (*итал.*) — «Италия справится сама». Это выражение, весьма популярное в Италии времен борьбы за освобождение и объединение (Рисорджименто — см. «Постижение истории», т. 4, «Несостоятельность самоопределения», примеч. 13), впервые было произнесено королем Сардинии (в это королевство входил и Пьемонт, ставший ядром объединенной Италии) Карлом Альбертом (1798–1849, король с 1831 г.) в 1845 г. и стало поговоркой после того, как его употребил в своей брошюре Кавур (см. «Пережитое», ч. II, гл. 3, примеч. 7) в 1849 г. Данное выражение означало призыв к освобождению и объединению Италии своими силами, без помощи иностранных государств.

[41] Флоренс Найтингейл (1820–1910) — английская медсестра, организатор и руководитель отряда санитарок во время Восточной (Крымской) войны 1853–1856 гг., создатель (уже после этой войны) системы подготовки женского младшего и среднего медперсонала в Великобритании.

[42] Американский футбол — игра с овальным мячом типа регби. Здесь имеется в виду один из приемов этой игры, т. наз. «схватка»: команды, обнявшись за плечи, пытаются телами сдвинуть друг друга с места.

[43] Джилберт Марри. — См. «Пережитое», ч. I, гл. 8, раздел II, примеч. 1.

[44] Bien-pensant (*фр.*) — «благонамеренный».

[45] Malleus maleficorum virilis sexûs (букв. *лат.*) — «Молот [против] чародеев мужского пола». Намек на знаменитый антиведовской трактат, руководство по опознанию, розыску и допросам ведьм — «Malleus maleficarum» («Молот [против] ведьм»), — вышедший в свет в 1487 г. и написанный немецкими инквизиторами, монахами-доминиканцами Якобом Шпренгером (1436–195) и Генрихом Инститорисом (1430–1505).

[46] Имеется в виду эпизод из знаменитой книги Льюиса Кэрролла (см. «Пережитое», ч. I, гл. 2, примеч. 27). Гости сидят за большим столом, уставленном чашками, блюдцами и тарелками. Когда посуда наполняется объедками, гости пересаживаются на свободные места, перед которыми стоит чистая посуда.

[47] Рёскин (правильнее — Раскин) Джон (1819–1900) — английский писатель и теоретик искусства, выступал против «буржуазного искусства», являвшегося, по его мнению, забавой праздных и богатых, призывал к возрождению средневекового ремесла, где производительный труд был неотделим от творчества, от искусства.

[48] «Промышленная революция» А. Тойнби увидела свет в 1884 г., уже после смерти автора.

[49] «История упадка и крушения Римской империи» (см. «Постижение истории», т. 1, «Поле исторического исследования», примеч. 50) выходила в свет в 1776–1788 гг.



3. МОНТЕГЮ ДЖОН РЕНДАЛЛ

[1] Монтегю Джон Рендалл (1862–1950) — британский филолог, знаменитый преподаватель греческого языка.

[2] Винчестер (Уинчестер) — престижная частная школа в Великобритании.

[3] Ostiarius (букв. *лат.*) — «привратник».

[4] Согласно евангельскому преданию, уже после призвания двенадцати апостолов, т. е. создания группы ближайших учеников, «избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицем Своим во всякой город и место, куда Сам хотел идти» (Лук., 10, 1). Богословские толкования этого места подчеркивают, что 70 — общее число народов мира (ср. Быт., 10), посему избрание семидесяти есть символ распространения христианства по всему миру.

[5] «Яйцеголовые» — американское насмешливо-презрительное прозвище интеллектуалов. См. ниже.

[6] Эндрю Марвелл (1621–1678) — английский поэт.

[7] О Карле I см. «Пережитое», ч. I, гл. 4, примеч. 13.

[8] Святой (в католичестве) Игнатий (Иньиго) Лойола (1491–1556) — основатель (в 1534 г.) ордена иезуитов (официальное название — «Общество Иисуса»), был суровым аскетом. Пуританином он назван здесь не в буквальном смысле (английский кальвинист), а в переносном — человек, резко отрицательно относящийся к низменным удовольствиям, даже вообще к радостям жизни.

[9] Бенвенуто Челлини (1500–1571) — итальянский скульптор и ювелир. Прославился своей автобиографией «Жизнеописание Бенвенуто Челлини, им самим написанное» (не завершено, впервые опубликовано лишь в 1728 г.), написанной ярким языком и рисующей талантливого человека, для которого высшая ценность — искусство, притом что для подлинного таланта — по мнению Челлини — моральные нормы не столь уж обязательны.

[10] Бестиарий (от *лат.* bestia — «зверь») — сборник (нередко богато иллюстрированный) описаний реальных и никогда не существовавших (химеры, василиски и т. п.) животных, нередко с совершенно фантастическими сведениями об их свойствах и повадках, а равно и с символическим толкованием (напр., лев — символ Христа, дракон — дьявола).

[11] Ричард Мак Джилври Докинс (1871–1955) — британский археолог.

[12] Четем-Хаус — Британский королевский институт международных отношений, названный так по резиденции в Лондоне. А. Дж. Тойнби проработал в Четем-Хаусе тридцать три года.

[13] Кинглейк. — См. «Постижение истории», т. 2, «Шесть форпостов в истории Западной Европы», примеч. 36.

[14] Джордж Херберт (1593–1633) — английский поэт.

[15] Колридж. — См. «Постижение истории», т. 2, «Вызов-и-Ответ», примеч. 6.



4. СЕМЬЯ МАРГОЛИУС

[1] Дэвид Сэмюэл Марголиус (1858–1940) — британский семитолог и исламовед.

[2] Роберт Пейн Смит (1818–1895) — британский богослов и семитолог.

[3] Сирийский язык — здесь: то же, что арамейский язык (см. «Постижение истории», т. 1, «Сравнительное исследование цивилизаций», примеч. 29). Буква «коф» (соответствует букве «каф» в еврейском алфавите, «коф» в иврите — другая буква) — двенадцатая в 27-буквенном арамейском алфавите, «шин» — двадцать пятая.

[4] Джеймс Ли Стрэчен-Дэвидсон (1843–1916) — британский историк и филолог.

[5] См. «Постижение истории», т. 1, «Поле исторического исследования», примеч. 26 и т. 12, «Пересмотр классификации цивилизаций», примеч. 8.

[6] Мар Вениамин Шимун (ум. 1918 г.) — патриарх несторианской Церкви в Сирии; мар (*сир.*) — «благословенный», титул архиереев в сирийской несторианской (халдейской) Церкви.

[7] Заявление Тойнби никак не соответствует действительности. Библия (даже если считать только Ветхий Завет) много длиннее Корана.

[8] Копты — см. «Постижение истории», т. 12, «Пересмотр классификации цивилизаций», примеч. 6. Фанус.

[9] Great Western — одна из старейших железнодорожных компаний Великобритании, основанная в 1830 г.



5. СЭР АЛЬФРЕД ЦИММЕРН

[1] Альфред Экхарт Циммерн (1879–1957) — британский историк-античник.

[2] Nom de plume (*фр.*) — «псевдоним». Scotus Viator (*лат.*) — «путешествующий шотландец».

[3] Неймир (Бернштейн). — См. «Цивилизация перед судом истории», «Мой взгляд на историю», примеч. 6.

[4] Роберт Уоллес Сетон-Уотсон (1879–1951) — британский историк, специалист по истории Центральной и Восточной Европы.

[5] Fach — здесь: (*нем.*) «предмет исследований».

[6] Франкфурт-на-Майне с 1297 по 1806 г. был вольным имперским городом, в 1806—1813 гг. входил в состав различных марионеточных государственных образований, созданных Наполеоном в Германии, по решению Венского конгресса в 1815 г. объявлен вольным городом, членом Германского союза и местопребыванием союзных органов. Во время Тридцатидневной войны (см. «Постижение истории», т. 2, «Шесть форпостов в истории Западной Европы) выступил на стороне Австрии и был занят прусскими войсками 16 июля 1866 г. По указу короля Пруссии от 17 августа того же года, утвержденному прусским ландтагом 7 сентября, присоединен к Пруссии. Ныне — в земле Гессен ФРГ.

[7] Сурбитон — город в Великобритании в графстве Сёррей.

[8] Тойнби иронизирует здесь над традиционным для англичан чувством превосходства над иными народами и недоверием к иностранцам: знание иностранных языков абсолютно не нужно и даже несколько непатриотично.

[9] Фолькстоун — город в Великобритании в графстве Кент.

[10] Уикемист — выпускник колледжа св. Марии в Оксфорде (Уикемский колледж). — См. «Пережитое», ч. I, гл. 1, примеч. 11.

[11] χτῆμα εἰς ἀεί (*греч.*) — «вечное богатство».

[12] Скорее всего, Тойнби намекает здесь на известную легенду об Амуре и Психее (см. «Пережитое», ч. I, гл. 4, примеч. 14). Еще в Античности эта история понималась как аллегорическое описание поисков любви душой. Кроме того, Тойнби, возможно, употребляет слово «Психея» как термин античной философии — совокупность всех душевных и духовных качеств. Видимо, Тойнби хочет сказать, что изучение истории Античности более развивает интеллектуальные способности (это символизирует имя великого сыщика, приверженца дедуктивного метода), нежели дает пользу душе. — См. также «Цивилизация перед судом истории», «Значение истории для души».

[13] Напомним читателю, что Тойнби вообще не признает традиционного разделения на древнюю, средневековую и новую историю, ибо это противоречит его концепции отдельных цивилизаций. Поэтому слово «Средневековье» взято в кавычки. — Ср. «Постижение истории», т. 1, «Поле исторического исследования», примеч. 34.

[14] Ad hominem — здесь: (*лат.*) «применительно к конкретной личности».

[15] Кафедра Кораиса — одна из кафедр истории Древней Греции в Оксфорде, названная в честь известного греческого историка, филолога-классика и борца за независимость Греции Адамантиоса Кораиса (1748—1833).

[16] Н. Бейнс. — См. «Цивилизация перед судом истории», «Христианство и цивилизация», примеч. 2.

[17] Дж. Б. Бьюри. — См. «Пережитое», ч. I, гл. 7, примеч. 8.



6. СЭР ЛЬЮИС НЕЙМИР

[1] Галиция — историческая область в Восточной Европе. Центром ее сложения было Галицкое княжество на западе Древней Руси приблизительно в верхнем течении Днепра, среднем и верхнем — Южного Буга и

бассейна реки Сечи до впадения ее в Вислу. В XIV в. Галицкое княжество вошло в состав Польского королевства. После разделов Польши в кон. XVIII в. и передела Европы вслед за наполеоновскими войнами Галиция отошла к Австрии и образовала особое Королевство Галиция и Лодомерия с Великим герцогством Краковским (все это королевство обычно именовали просто Галицией) в составе Австрийской империи. Тогда же утвердилось деление Галиции на Западную, с центром в Кракове, населенную, в основном, поляками, и Восточную, с центром в Львове, где большинство составляли украинцы. После Первой мировой войны, распада Австрийской и Российской империй, образования Польского государства и советско-польской войны 1920 г. вся Галиция вошла в состав Польши, разделенная на четыре воеводства — Краковское, Львовское, Тернопольское и Станиславское (Станислав — после 1962 г. — Ивано-Франковск). Последние три воеводства в 1939 г. после начала Второй мировой войны и оккупации Польши Германией в соответствии с пактом Молотов—Риббентроп отошли к СССР и вошли в состав Украинской ССР. Ныне — в Украине.

[2] Ultima Thule. — См. «Цивилизация перед судом истории», «Унификация мира и изменение исторической перспективы», примеч. 89. Здесь в значении — край света.

[3] «Старый Моряк». — См. «Постижение истории», т. 2, «Вызов-и-Ответ», примеч. 6.

[4] В X—XIV вв. Германия (точнее — германские государства, входившие в Священную Римскую империю) стала распространяться на восток, в славянские земли, и процесс этот продолжался до последних разделов Польши в кон. XVIII в. Экспансия сопровождалась переименованием или, точнее, германизацией названий славянских городов. Бранибор стал Бранденбургом, Мишны — Мейсеном, Волынь — Волином, Щецин — Штеттином, Гданьск — Данцигом. Часть этих городов после Второй мировой войны отошла к Польше и вернула старые названия, но в большинстве это ныне германские города.

[5] Ллойд-Джордж. — См. «Пережитое», ч. I, гл. 4, примеч. 5.

[6] Эндрю Джонсон (1808—1875) — 17-й президент США в 1865—1869 гг.

[7] Вильсон. — См. «Пережитое», ч. I, гл. 4, примеч. 5.

[8] О Балканских войнах см. «Пережитое», ч. I, гл. 2, примеч. 34.

[9] Согласно Писанию, апостол Павел, будучи в Афинах, проповедовал в ареопаге (некогда высший орган Афинского государства, но в I в. н. э. — всего лишь городской совет, хотя и овеянный древней славой). «Услышавши о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время» (Деян., 17, 32).

[10] Руритания. — См. «Цивилизация перед судом истории», «Будущее мирового сообщества», примеч. 3.

[11] День Перемирия — 11 ноября 1918 г., прекращение военных действий на Западном фронте, считается датой окончания Первой мировой войны.

[12] Роберт Эдгар Олджернон Сесил, виконт (1864—1958) — британский государственный деятель, лорд с 1923 г., один из инициаторов создания Лиги Наций, представитель Великобритании в этой международной организации, лауреат Нобелевской премии мира в 1937 г.

[13] Епископальная Церковь — иное название англиканский Церкви, являвшейся государственной в Английском королевстве (в него входил и Уэльс) с 1-й пол. XVI в. и остающейся таковой доныне именно в Англии (но не в Шотландии и Ирландии). В Уэльсе Епископальная Церковь была отделена от государства (на территории Уэльса с тех пор вообще нет государственной Церкви) в 1918 г.

[14] Об устройстве Австро-Венгрии после 1867 г. см. «Постижение истории», т. 2, «Шесть форпостов в истории Западной Европы», примеч. 34. О Боснии и Герцеговине см. «Цивилизация перед судом истории», «Мой взгляд на историю», примеч. 5. Путаница на карте могла быть обусловлена тем, что Босния и Герцеговина являлась австрийской коронной землей, тогда как остальные балканские владения Австро-Венгрии входили в состав венгерской части двуединой монархии.

[15] Униаты — здесь: члены греко-католической Церкви русского обряда, созданной в 1596 г. в результате т. наз. Брестской унии, т. е. объединения Православной Церкви в Польско-Литовском государстве с Католической Церковью. Униаты признавали верховенство папы и основные католические догматы, но сохраняли определенные обрядовые особенности: богослужение на славянском языке (не на латыни), брачное белое духовенство и ряд иных отличий. Брестская уния была расторгнута на поместном Соборе униатской Церкви в 1946 г. (на территориях, отошедших после Второй мировой войны к СССР), и униаты воссоединились с Православной Церковью. Униатство в СССР было запрещено, и запрет снят лишь в 1991 г., незадолго до распада СССР.

[16] Гаон — знаток Талмуда.

[17] Хасиды (*евр.* Hasidim — букв. «благочестивые») — приверженцы мистического течения в иудаизме. Основателем этого течения был Исраэль бен Элиезер (1700—1760), уроженец еврейского местечка на Украине, носивший прозвище Баал Шем Тов (т. е. «Владеющий Добрым Именем», сокращенно — Бешт). Бешт учил (запись его учения произведена его последователями), что к Богу можно приблизиться не только изучением Писания, но и движением любящего, благодарного и радостного человеческого сердца, что верующий должен испытывать радость перед лицом Божиим. Хасидские общины группируются вокруг цадиков — праведников, мистически особо одаренных людей, направляющих духовную жизнь своих учеников. Хасиды скептически относятся к обрядности, к талмудистскому начетничеству; именно поэтому многие гаоны были противниками хасидов.

[18] Франкисты — последователи Якоба Франка (1726—1791), основателя одного из течений в саббатианстве, которое, в свою очередь, есть одно из направлений в каббале. В средневековом иудаизме возникло мистическое учение каббалы (*букв.* «предание»), согласно которому внутри открытого всем иудаизма есть особое тайное знание, которое можно выявить путем аллегорического толкования Писания и, особо, познания сокровенного смысла букв еврейского алфавита. Таким образом, а также путем мистического озарения можно непосредственно познать Бога и выявить в себе Божественное присутствие, искру Божьего света. Тот, в ком есть это Божественное присутствие, является совершенным. Каббалист Саббатай Цви (1626—1678) из Смирны (Измир в Турции) в 1648 г. объявил себя

Мессией и заявил, что призван спасти еврейский народ и восстановить его величие. За это он был отлучен от иудейской общины, но обрел множество приверженцев, во главе которых в 1666 г. явился в Стамбул, чтобы свергнуть султана и стать царем возрожденного Израиля (впрочем, некоторые исследователи полагают, что он всего лишь хотел обратить султана в свою веру). Саббатай Цви был схвачен, посажен в тюрьму и приговорен к смерти, от чего спасся, приняв ислам. Большинство его сторонников после этого отреклись от него, но в ряде стран продолжала существовать секта саббатианцев, приверженцы которой активно занимались каббалой и находили некий мистический смысл в переходе своего основателя в мусульманство. Еврей из Турции Якоб Франк в 1755 г. объявил, что в него вселилась душа Саббатая Цви, и, опасаясь преследований со стороны султанского правительства, перенес свою деятельность в Польшу, где его последователи и стали называться франкистами. В Польше правоверные иудеи отлучали франкистов, а государственные власти подвергали гонениям. Тогда Франк и ряд его приверженцев перешли в католичество (в этом также усматривался особый мистический смысл) и весьма активно споспешествовали гонениям на евреев.

[19] Черта оседлости. — См. «Пережитое», ч. II, гл. 4, раздел II, примеч. 17.

[20] Нейпир — здесь, видимо, намек на британскую фамилию, давшую Англии множество военных деятелей. Наиболее известны: Чарльз Джеймс Нейпир 1782—1853), Уильям Фрэнсис Патрик Нейпир (1785—1860) (он был также историком), адмирал Чарльз Нейпир (1786—1860), барон Роберт Корнелис Нейпир (1810—1890).

[21] Джеймс Херберт (уменьшительное — Хэмиш) Пейтон (1877—1969) — британский философ и психолог.

[22] Линия Керзона — условное наименование линии, которая была рекомендована Верховным советом Антанты в декабре 1919 г. в качестве восточной границы Польши. Данное название эта линия получила в июле 1920 г., когда министр иностранный дел Великобритании Джордж Натаниел Керзон (1859—1925) потребовал, чтобы во время советско-польской войны Красная Армия остановила свое наступление на этой линии.

[23] Impiger, iracundus et acer (*лат.*) — «стремительный, гневный и неукротимый».

[24] Палестина с 1516 г. входила в состав Османской империи. Во время Первой мировой войны в 1917 г. была занята британскими войсками. Длительные споры о судьбе ближневосточных владений Турции (о них подробнее ниже) привели, среди прочего, к тому, что в 1920 г. Великобритания получила мандат Лиги Наций на управление Палестиной. Британское правительство отказалось от этого мандата в 1947 г.

[25] Попытки британских властей лавировать между интересами палестинских арабов и палестинских евреев нередко приводили к межэтническим (они же межконфессиональные) столкновениям. В августе 1929 г. одно из таких столкновений переросло в попытку восстания арабов против англичан.

[26] Сэмюель Хор. — См. «Пережитое», ч. I, гл. 5, примеч. 2.

[27] В 1917 г. министр иностранных дел Великобритании, консерватор Артур Джеймс Бальфур (1848—1930) выступил с декларацией, явно направленной на привлечение умов и сердец евреев, в т. ч. и, может быть,

в первую очередь, евреев Германии. Согласно этой декларации, после окончания войны и раздела (предположительного) ближневосточных владений Турции в Палестине должен быть создан «национальный очаг» для евреев всего мира. Впрочем, об устройстве этого «очага» — будет ли это независимое государство или самоуправляющаяся территория под чьей-то (британской? международной?) верховной властью, станет ли этот «очаг» еврейским мононациональным или полиэтничным с учетом арабского населения — в декларации ничего не говорилось либо говорилось весьма туманно.

[28] Веймарская республика — название государственного устройства (и периода существования этого устройства) в Германии с 31 июля 1919 г. по 30 января 1933 г., от принятия Учредительным собранием, заседавшим в Веймаре, демократической конституции (также именовалась Веймарской конституцией) до прихода Гитлера к власти.

[29] Во время Первой мировой войны территория российской Польши в 1915 г. была оккупирована немецкими и австрийскими войсками. 5 ноября 1916 г. правительства Германии и Австро-Венгрии выпустили манифест, провозглашающий создание независимой Польши (границы этого государства и его внутреннее устройство должны были быть определены позднее). В январе 1918 г., т. е. еще до окончания войны, страны Антанты в принципе подтвердили необходимость создания Польского государства. Границы Польши были определены Рижским договором между Польшей и Советской Россией 18 марта 1921 г. В октябре того же года постоянный орган Антанты — т. наз. «совет послов» (имеются в виду послы стран Антанты в Париже) — подтвердил этот договор и даже передал Польше часть Силезии, до войны принадлежавшей Германии (впрочем, окончательно границы Польши до Второй мировой войны установились лишь в 1922 г. — см. ниже). Венгрия провозгласила свою независимость 31 октября 1918 г., после капитуляции Австро-Венгрии 29 октября (Германия еще вела войну). Официальный мирный договор между Венгрией и державами-победительницами (Трианонский договор. — См. «Пережитое», ч. I, гл. 5, примеч. 9) был подписан 4 июня 1920 г.

[30] День Искупления. — См. «Постижение истории», т. 12, «История и перспективы еврейства», примеч. 65.

[31] Зелоты — здесь: ревностные сторонники какой-либо религии, готовые распространять и утверждать ее, если потребуется, и военной силой, и террористическими методами.

[32] О религиозных убеждениях Тойнби, его отношении к различным религиям, атеизму и агностицизму см. «Пережитое», ч. I, гл. 9, раздел IV, примеч. 22, см. «Пережитое» ч. I, гл. 9 «Религия: во что я верю и во что не верю» (и Приложения к этой главе) и ч. II, гл. 7 «Ветер перемен в религии». О периоде религиозных войн в Западной Европе см. там же, примеч. 2.

[33] Рыцарские звание существует в Великобритании доныне и, утеряв всякую связь с феодальным землевладением и военными занятиями, означает почетный ненаследственный титул, даваемый за самые разные заслуги, в т. ч. в сфере науки и культуры.

[34] В британской исторической науке термин «конституциональная история» применяется по отношению к истории британских государственных

учреждений; дело в том, что конституции в собственном смысле, т. е. Основного закона, Великобритания не знает доныне.

[35] Эшер Эрлих (1878–1952) — британский филолог.

[36] Собака-самоед — разновидность сибирской лайки, белой масти.

[37] Tour de force (*фр.*) — «огромное усилие, подвиг».

[38] Павел Гаврилович Виноградов (1854–1925) — российский историк, профессор Московского университета, с 1914 г. — академик Петербургской Академии наук, в 1902–1908 гг. и с 1911 г. работал в Великобритании, признанный классик английской аграрной истории; покинул Россию ввиду конфликта с властями по поводу университетской автономии.

[39] Мир — здесь: крестьянская община на Руси, существовавшая до первых десятилетий XX в.; впервые зафиксирована в текстах XIII в. Историки доныне спорят о том, была ли подобная община изначальной формой организации крестьянских хозяйств или возникала по мере сложения крепостной зависимости, являясь формой эксплуатации со стороны землевладельцев.

[40] Книга Страшного Суда — свод материалов поземельной переписи в Англии в 1086 г., фиксировавший, среди прочего, статус земледельца (свободный или находящийся в той или иной форме феодальной зависимости). Поводом к этой переписи послужил передел собственности после нормандского завоевания Англии в 1066 г. Название получила потому, что перепись происходила путем сбора показаний под присягой, и говорить полагалось чистую правду, как на Страшном Суде.

[41] Манор (мэнор, от *лат.* manere — «оставаться, проживать») — наиболее распространенная в средневековой Англии форма феодального поместья: от иных современных ей форм отличается бульшим объемом частновладельческих прав помещика и меньшим — политической власти над зависимым населением.

[42] Эли Галеви (1870–1937) — французский историк, специалист по истории британского парламентаризма XIX — нач. XX в.

[43] Авторизованная версия (она же Библия короля Иакова) — принятый в Англии в 1611 г. в царствование короля Иакова I английский перевод Библии, являющийся официальным в англиканской Церкви.

[44] Латинская Вульгата — латинский перевод Библии, выполненный блаженным Иеронимом (Софроний Евсевий Иероним, ок. 340–420) и доведенный им до Деяний Апостолов. Впоследствии дополнялся и исправлялся и постановлением Тридентского собора 1546 г. объявлен обязательным для католической Церкви. Полное заглавие: Biblia sacra vulgatae editionis («Святая Библия общераспространенной редакции»).

[45] Corpus vile (*лат.*) — «подопытное животное».

[46] Wie es eigentlich gewesen ist (букв. *нем.* — «как это было на самом деле») — формула известного немецкого историка XIX в. Леопольда фон Ранке (1795–1886). Он настаивает на том, что единственная задача историка — изыскание и исследование фактов, в основном, если не исключительно, событийного ряда, а не построение историографических конструкций, не попытки воссоздать «дух эпохи». Поэтому Ранке сосредотачивался на политической истории и пренебрегал историей культуры.

[47] Гарольд Вильсон (род. 1916) — британский государственный деятель, лидер Лейбористской партии в 1963–1976 гг., премьер-министр

Великобритании в 1964—1970 (т. е. во время, когда Тойнби публиковал эти строки) и в 1974—1976 гг.

[48] Имеются в виду разнообразные нимфы — в греческой мифологии низшие божества, воплощающие те или иные силы или явления природы. Нереиды — морские нимфы, дриады — нимфы лесов, ореады — нимфы гор.

[49] О Фалесе Милетском см. «Пережитое», ч. II, гл. 6, примеч. 7.

[50] Эразм Дарвин (1731—1802) — английский врач, натуралист и поэт, провозвестник идей эволюции (что впоследствии развил его знаменитый внук — Чарльз Дарвин), ассоциативной психологии и многого другого. Свои идеи излагал в поэмах. «Любовь растений» — общераспространенное шутливое название его поэмы «Ботанический сад» (1791).

[51] Психея — здесь: метафора духовных и — главное — интеллектуальных поисков.

[52] Просопографический метод — в исторической науке метод исследования истории через индивидуальные биографии конкретных исторических личностей. Здесь Тойнби употребляет этот термин в расширительном смысле — любые биографические исследования.

[53] Офицеры Александра Великого

[54] Сыма Цянь (145 или 135 — ок. 86 до н. э.) — китайский историк, автор сочинения «Исторические записки».

[55] Deus ex machina (*лат.*) — «бог из машины». Так называется драматургический прием, применявшийся иногда в античной трагедии: запутанная интрига получала неожиданное разрешение во вмешательстве бога, который посредством особого механического устройства появлялся среди действующих лиц, раскрывал неизвестные им обстоятельства и предсказывал будущее. В современном словоупотреблении это выражение означает, что трудная ситуация разрешается неожиданно, причем способом, который не вытекает из естественного хода событий и является чем-то искусственным, вызванным вмешательством извне.

[56] Aut deus aut machina (*лат.*) — букв. «или бог, или машина». Аллюзия на различные латинские поговорки и выражения, построенные по схеме aut — aut, т. е. «или — или». Например: aut bene, aut nihil («или хорошо, или ничего», сокращенная форма выражения De mortuis aut bene, aut nihil — «О мертвых или хорошо, или ничего»); aut bibit, aut abeat — «либо пей, либо уходи»; aut Caesar, aut nihil — «или Цезарь, или никто» (соответствует русскому «пан или пропал») и т. п.

[57] См. «Пережитое», ч. I, гл. 6, раздел II, примеч. 3.

[58] Согласно толкователям Писания, Господь не дал завершить строительство Иерусалимского храма воителю Давиду, ибо достроить храм должен был, по Божьему замыслу, миротворец Соломон.

[59] Имеются в виду решения Венского конгресса, созванного победителями над Наполеоном для послевоенного устройства Европы. Карта Европы решительно перекраивалась, в Германии — в основном в пользу Пруссии и Баварии.

[60] «Политическое животное» (*греч.* zoon politikon) — выражение Аристотеля (Афинская полития, III, 6). Это выражение иногда переводят как «общественное животное», т. е. существо, не могущее жить вне общества, или же существо, становящееся человеком только в обществе. По мнению

большинства современных исследователей, такое толкование неверно и переводить надо — «полисное животное», т. е. человеком в полной мере, для Аристотеля, является лишь член греческого полиса, общины, города-государства. Те же, кто не знает полисного строя, — варвары, например, к людям, собственно говоря, и не относятся.

[61] О духовных княжествах см. выше, примеч. 2 к гл. 1. Все подобные княжества были ликвидированы во время наполеоновских войн и не восстанавливались после их завершения.

[62] О Меттернихе см. «Пережитое», ч. I, гл. 2, примеч. 5. Здесь имеется в виду, что Германия после Венского конгресса не представляла собой, даже и номинально, единого государства — Германский союз таковым не был. Италия объединилась в единое королевство лишь в 1870 г.

[63] Имеется в виду двоичное счисление, в котором существуют только две цифры — 0 и 1. Впервые разработал это счисление великий немецкий философ и математик Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) ок. 1660 г. для задач математической логики. Широко применяться двоичное счисление стало лишь в XX в. в кибернетике.

[64] Jeu d'esprit (*фр.*) — «игра ума».



7. СЕМЬЯ ТОУНИ

[1] Ричард Генри (уменьшительное — Гарри) Тоуни (1880–1962) — британский экономист и экономический историк.

[2] Чарльз Остин Бирд (1874–1948) — американский историк, специалист по проблемам экономической истории.

[3] Отцы-основатели — принятое в США название группы политический деятелей, подписавших в 1776 г. Декларацию независимости США. Иногда в их число включают и творцов конституции 1787 г.

[4] Рагби (Регби) — привилегированная частная школа в одноименном городе в Англии.

[5] Хорас Херберт Китченер (1850–1916) — британский военный и государственный деятель, фельдмаршал, граф, главнокомандующий британскими войсками в англо-бýрской войне; в 1914–1916 гг. (именно это здесь имеется в виду) — военный министр Великобритании.

[6] Имеется в виду герб Великобритании, на котором изображены геральдические животные, поддерживающие гербовый щит: лев (геральдический знак Англии) и единорог (геральдический знак Шотландии).

[7] Déshabille (*фр.*) — букв. «раздетый», «не одетый», а также «утренняя одежда», «халат». Русское «дезабилье» обычно употребляется именно в последнем смысле.

[8] Ассоциация рабочего образования (официальное название — Ассоциация помощи в получении высшего образования английскими рабочими) — чрезвычайно активная и влиятельная неправительственная организация (ее цель явствует из названия), основанная в 1903 г.; основатель — меценат и самоучка Альберт Мэнсбридж (1876–1952).

[9] Черуэлл — река в Оксфордшире.

[10] Аннет Дженни Беверидж (ум. 1958) — супруга Р.Г. Тоуни с 1909 г.

[11] Уильям Генри Бевериджж, барон Таггал (1879–1963) — британский экономист и государственный деятель, член Палаты лордов с 1946 г. Его исследование, проведенное по поручению министерства труда и опубликованное в 1944 г. под названием «Социальное страхование и общественные связи» (обычно называется «Отчет Бевериджа»), легло в основу послевоенной социальной политики британского правительства.

[12] См. «Цивилизация перед судом истории», «Унификация мира и изменение исторической перспективы», примеч. 9.

[13] См. там же, примеч. 4.

[14] Джон Лоренс Хэммонд ле Бретон (1872–1949) — британский историк и журналист; большинство его работ написаны в соавторстве с женой (с 1901 г.) Люси Барбарой (1873–1961), урожденной Бредби.

[15] Уэббы Сидней (1859–1947) и Беатрис (1858–1943), супруги — британские публицисты и экономисты, историки рабочего движения, социалисты.

[16] Адивары — имеются в виду супруги Абдулхак Аднан Адивар (1882–1945), турецкий писатель, переводчик и общественный деятель, и его супруга Халиде Эдиб Адивар (1885–1964), турецкая писательница и общественный деятель.

[17] Уильям Темпл. — См. «Пережитое», ч. I, гл. 9, раздел II, примеч. 15.

[18] Здесь явный намек на английский текст Первого послания апостола Павла к Коринфянам. В синодальном переводе: «А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (I Кор., 1, 23).

[19] Здесь, видимо, намек на то, что спрашивающий не может понять: как можно одновременно быть социалистом, приверженцем Советского Союза, что для американца является синонимом тоталитарного сталинского режима, и правоверным англиканином, патриотом доброй старой Англии, что здесь символизируется именами британских монархов Георга V (1865–1936, король с 1910 г.) и, особенно, Георга VI (1895–1952, король с 1936 г.).

[20] В англиканский Церкви второе по духовной иерархии, после архиепископа Кентерберийского, лицо — архиепископ Йоркский (в этой Церкви всего два архиепископа) — руководитель епархий Северной Англии.

[21] Нитрия — совр. Вади-эль-Натрун (Соляное поле) — тектоническая впадина в Египте, к западу от дельты Нила.

[22] Джеймс Брайс (1838–1922) — британский политический деятель, либерал, неоднократный министр в правительстве либералов: титул виконта получил в 1913 г.

[23] Битва на Сомме — одно из самых кровопролитных сражений (потери обеих сторон — более 1,3 млн человек) Первой мировой войны: с 1 июля по 18 ноября 1916 г. англо-французские войска безуспешно пытались прорвать линию немецкой обороны на реке Сомме к востоку от Амьена.



8. ХЭММОНДЫ

[1] Уильям Юарт Гладстон (1809–1898) — британский государственный деятель, лидер Либеральной партии с 1868 г., премьер-министр Великобритании в 1868–1874, 1880–1885, 1886 и 1892–1894 гг. Неоднократно, но безуспешно пытался провести закон о самоуправлении (Гомруль — Home

Rule) Ирландии. Об ирландском вопросе см. «Цивилизация перед судом истории», «Современный момент истории», примеч. 11; «Пережитое», ч. I, гл. 5, примеч. 10.

[2] Дороти Джордж (род. 1915) — американский историк.

[3] Эдуард Палмер Томпсон (род. 1924) — британский историк.

[4] Карлайл Эйлмер Макартни (1895—1982) — британский историк, специалист по истории Австрии и Венгрии (Австро-Венгрии).

[5] Алан Джордж Персиваль Тейлор (1906—1990) — британский историк.

[6] Пиккотс-Энд — деревня неподалеку от г. Хемел-Хемпстед в графстве Хертфордшир в Англии.

[7] «Манчестер Гардиан» — основанная в 1821 г. в Манчестере еженедельная газета, с 1854 г. — ежедневная, всегда была рупором Либеральной партии. Особую популярность получила, когда ее главным редактором с 1872 по 1929 г. был Чарльз Прествик Скотт (1846—1932).

[8] Locum tenens (*лат.*) — «исполняющий обязанности», «занимающий должность».

[9] Согласно «Цветочкам Франциска Ассизского», сборнику преданий о нем, святого не пожелали выслушать в некоем городе, и тогда он вышел из городских ворот и обратился с проповедью к птицам на ближайшем лугу. Когда он начал эту проповедь, птицы, по преданию, тут же умолкли. Этот сюжет отражен на фреске Джотто в церкви в Ассизи. — См. «Пережитое», ч. I, гл. 2, примеч. 28.

[10] Персонаж греческой мифологии Орфей, сын фракийского речного бога Эагра (вариант: Аполлона) и музы Каллиопы, был наделен магической силой: его игра на лире завораживала богов, людей и животных и даже усмиряла бурные стихии.

[11] Видимо, Тойнби имеет в виду следующее место из Соборного послания святого апостола Иакова: «Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица. Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: “тебе хорошо сесть здесь”, а бедному скажете: “ты стань там”, или “садись здесь, у ног моих”, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? <...> Если вы исполняете закон царский, по Писанию: “возлюби ближнего твоего как себя самого”, хорошо делаете; но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками» (Иак., 2, 1—4, 8—9).

[12] Ричард Бенджамин Сигер (ум. 1925) — американский археолог.

[13] Пахьяммос — знаменитый своими раскопками минойского времени городок на севере Крита на мысе Иерапетра.

[14] Имеется в виду Парижская мирная конференция 1919—1920 гг. О ней см. «Пережитое», ч. I, гл. 4, «Две Парижские мирные конференции».

[15] Джон Джилпин — известный в сер. XVII в. проповедник-квакер; со временем превратился в персонажа фольклора, классического смешного неудачника.

[16] Имеется в виду обычай (в Японии, судя по всему, существующий доныне) одновременного самоубийства супругов либо самоубийства одного из них после смерти другого.

[17] См. «Пережитое», ч. II, гл. 5, примеч. 7.



9. УЭББЫ

[1] Фабианские взгляды — взгляды, легшие в основу идеологии созданного в Великобритании в 1884 г. Фабианского общества: преобразование капиталистической системы в социалистическую путем постепенных реформ, без революций. В 1900 г. Фабианское общество вошло в состав новосозданной Лейбористский партии, но фабианство, как особая идеология, продолжало свое существование. Следует отметить, что фабианцы, вообще-то отрицательно относившиеся к революционным потрясениям, Октябрьскую революцию в России все же приветствовали. Название общество взяло себе от имени римского полководца и государственного деятеля Квинта Фабия Максима (275—203 до н. э.), который, будучи избран диктатором в 217 г. до н. э. во время Второй Пунической войны, применял тактику мелких стычек, направленных на изматывание сил Ганнибала, и уклонялся от решительных сражений. За это Фабий получил прозвище Кунктатор (*лат.* — Медлитель).

[2] Saeva idignatio (*лат.*) — букв. «свирепое возмущение», употребляется обычно в значении «болезненная раздражительность в крайних формах». Это свойство характера (психическое расстройство?) было, действительно, присуще знаменитому английскому писателю Джонатану Свифту (1667—1745), который занимал пост декана (здесь: настоятеля) англиканского кафедрального собора в Дублине.

[3] См. «Пережитое», ч. I, гл. 6, раздел II, примеч. 16.

[4] См. там же, ч. I, гл. 4, примеч. 18.

[5] См. там же, ч. II, гл. 3, примеч. 30.

[6] См. там же, ч. I, гл. 5, примеч. 2. Следует отметить, что партизанская война против оккупантов продолжалась и после захвата Италией Эфиопии в 1936 г.; в 1941 г. с помощью англо-американских войск Эфиопия была освобождена.

[7] «Титаник» — американский пассажирский корабль, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Лондон. Рекламировался как образец комфорта и безопасности. 15 апреля 1912 г. в 2.20 ночи в Северной Атлантике наткнулся на айсберг и затонул. Из 2 224 пассажиров и членов экипажа 1 513 человек погибло, в т. ч. из-за недостатка спасательных шлюпок.

[8] Мон-Пеле (сокращенное общепринятое название, полное — Монтань Пеле, т. е. Гора Пеле) — действующий вулкан на о. Мартиника. Здесь имеется в виду извержение 1902 г., когда облако вулканических газов накрыло расположенный у подножья г. Сен-Пьер. Все 29 тыс. жителей погибли.

[9] Кракатау — остров и действующий вулкан в Индонезии между Явой и Суматрой. Здесь имеется в виду извержение 1883 г., когда вулканическим пеплом была засыпана площадь 800 тыс. кв. км, волна цунами превысила 20 м и погибло множество людей.

[10] Барон Александр Феликсович Мейендорф (1869—1964) — российский государственный деятель, депутат Государственной Думы в 1912—1917 гг., заместитель (в терминах того времени — товарищ) председателя Думы. Примыкал к правым. В 1918 г. эмигрировал, жил в Финляндии и Великобритании, преподавал историю России в университетах.

[11] Джаггернаут (правильно — Джаганнатха, *инд.* — «владыка мира») — европейское название индуистского божества, являющегося воплощением (аватарой — см. «Постижение истории», т. 12, «Пересмотр классификации цивилизаций», примеч. 2) бога Вишну. В городе Пури (в современном индийском штате Орисса) находится центр культа этого божества. Одним из главных ежегодных ритуалов указанного культа является ратхаярта — проведение статуи Джаганнатхи через город на колеснице во главе процессии. Наиболее рьяные поклонники этого бога добровольно бросаются под эту колесницу, ибо считают, что такая смерть обеспечивает благоприятное перерождение. В переносном смысле колесница Джаггернаута — метафора жестокой идеи, требующей от своих приверженцев полного самоотречения.

[12] И в исламе, и в протестантизме в целом (в кальвинизме на этом делается особый акцент) господствует идея абсолютного предопределения: судьба и человечества, и каждого отдельного человека предопределена Богом, и человек никакими личными усилиями изменить это не может. При этом подобные воззрения никак не приводят мусульман и кальвинистов к фатализму, наоборот, сторонники этих религий отличаются повышенной активностью.

[13] Активизм — совокупность воззрений (и даже просто умонастроение), ставящих на первое место действие, а не рефлексию, не размышление.

[14] Profanum vulgus (*лат.*) — «толпа», «непросвещенное простонародье».

[15] Первое в истории Великобритании правительство лейбористов (именно оно здесь имеется в виду) пришло к власти в январе 1924 г.; лейбористы обладали лишь относительным большинством в Палате общин, и их правительство могло существовать лишь при поддержке депутатов от Либеральной партии. В ноябре того же года либералы прекратили поддержку правительства, и оно вынуждено было уйти в отставку. Сидней Уэбб был в этом правительстве министром торговли и промышленности.

[16] Имеется в виду период 1919—1929/30 гг. Во время Первой мировой войны группа крайне левых немецких социал-демократов во главе с Карлом Либкнехтом (1871—1919) и Розой Люксембург (1871—1919) начала выпускать (подпольно) т. наз. «информационные письма»; первое из них вышло в январе 1916 г. за подписью «Спартак» (в память вождя знаменитого восстания рабов в Риме). От этих «писем Спартака» группа получила свое название. После раскола Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в апреле 1917 г. группа вошла в состав Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ), созданной членами СДПГ, оппозиционными по отношению к руководству своей партии. После революции 9 ноября 1918 г., свергнувшей монархию в Германии, в день объявления перемирия 11 ноября группа конституировалась в политическую организацию Союз «Спартак» в составе НСДПГ. Союз «Спартак» выступал за радикализацию революции, за проведение ее по большевистскому образцу. 28 декабря конференция Союза приняла решение о выходе из НСДПГ и объявила себя учредительным съездом Коммунистической партии Германии. Однако название «спартаковцы» еще сохранялось, когда члены компартии подняли в Берлине восстание 4—11 января 1919 г. под лозунгами советской Германии. Восстание было сурово подавлено, Р. Люксембург

и К. Либкнехт 15 января убиты членами антиреволюционной добровольной дружины. После этого радикальное революционное движение пошло на убыль, хотя отдельные вспышки продолжались до 1923 г. Национал-социалистическая германская рабочая (нацистская) партия образовалась еще в 1919 г., активизация ее деятельности относится к 1923 г. После подавления организованного нацистами т. наз. «пивного путча» в Мюнхене в ноябре 1923 г. ее популярность падает и резко возрастает лишь зимой 1929/30 г. На выборах 1928 г. нацисты получили 809 тыс. голосов, на выборах 1930 г. — 6 375 тыс.

[17] Во время англо-бурской войны в Великобритании у власти находилось правительство консерваторов, инициатором этой войны был министр колоний Джозеф Чемберлен (1836—1914). По вопросу об отношении к этой войне оппозиционная Либеральная партия раскололась. Большинство во главе с лидером партии Кэмпбелл-Баннерманом (см. выше) высказалось против войны, часть, во главе с будущим (в 1908—1916 гг.) лидером партии и премьер-министром Гербертом Генри Асквитом (1852—1928) и будущим (1905—1916 гг.) министром иностранных дел Эдуардом Греем (см. «Постижение истории», т. 10, примеч. 3) поддержала правительство. Выражением «главное наша страна, праведна война или нет» переводчик, для сохранения не только мысли, но и стиля Тойнби, передал приводимую им американскую поговорку, возникшую из высказывания Стивена Декатура (см. ниже): «our (строго говоря, в поговорке, но не в оригинальном высказывании — my) country, right or wrong» — «это наша (моя) страна, права они или нет».

[18] Вождь, палач и жертва Великой Французской революции Максимилиан Мари Исидор Робеспьер (1758—1794) был просто одержим любовью к народу и к добродетели. При этом любовь к народу как целому у него вполне сочеталась с глубокой ненавистью ко всем «недобродетельным» (сюда могли относиться и морально нечистоплотные, и просто иначе, чем он сам, мыслившие люди), которые в «народ» как бы и не включались. Для пользы народа было совершенно необходимо, с его позиций, добиться всеобщей добродетели, а поскольку условия революции не позволяли заниматься перевоспитанием оных «недобродетельных», то их следовало истребить физически, причем для этого все средства были хороши.

[19] Snice — здесь: прилагательное, образованное от жаргонного глагола to snice — «пойти повеситься».

[20] Люцифер (*лат.* Lucifer — «светоносный», «утренняя звезда», название планеты Венера, *ст.-слав.* — Денница) — одно из обозначений сатаны. Это имя прилагалось к дьяволу обычно в связи с мятежом его и его присных против Бога. Ср.: «Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: “взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней» (Ис., 14, 12—15).

[21] Господь Воинств — одно из имен Бога, в православной традиции также — Господь Саваоф (так в греческой Библии передается *евр.* Яхве Цебаот — Бог Воинств). Под «воинствами» обычно понимается совокупность ангелов, но иногда также и совокупность небесных тел: «солнце, луну и звезды и все воинство небесное» (Втор.,4, 19). Указанное имя прилагается

к Богу как начальствующему в борьбе с силами ада, а также к Вседержителю как основе всего миропорядка, которому и ангелы, и небесные тела подчинены согласно «уставам неба» (Иов, 38, 33).

[22] Уоррингтон — город в Великобритании в графстве Ланкашир.

[23] Япония начала свое ускоренное развитие после переворота Мэйдзи (см. «Постижение истории», т. 6, «Универсальные государства как цели», примеч. 15 и «Цивилизация перед судом истории», «Унификация мира и изменение исторической перспективы», примеч. 56) в 1868 г., резко усилила его в нач. XX в. и, особенно, после Второй мировой войны. Экономика Китая, и так не слишком развитая до нач. XX в., была почти полностью разрушена во время гражданской войны и войны с Японией. Напомним, что указанные строки были опубликованы в 1967 г., когда уже ясно обозначилось не только стремление Китая к созданию экономически эффективного народного хозяйства, но и курс китайского руководства на почти мгновенное построение оного в результате «большого скачка» (см. «Постижение истории», т. 9, «Контакты между цивилизациями во времени», примеч. 13). Особая внешняя активность китайской коммунистической идеологии — попытки китайской компартии возглавить, вместо КПСС, мировое коммунистическое движение, распространение идей мировой революции — действительно, проявила себя с сер. 50-х гг. XX в., но пошла на убыль после смерти Мао Цзэдуна (1893—1976), хотя установление нормальных отношений между СССР и КНР относятся уже к эпохе перестройки. Существенный экономический рывок Китай совершил уже в 90-е гг. XX в., когда начались реформы, направленные на либерализацию экономики при сохранении абсолютной власти КПК. Что же касается советского коммунистического режима, то он действительно «размягчился» к 1967 г. в сравнении со сталинской и даже хрущевской эпохами, но все же не стал совсем «мягким», что показали события 1968 г., в частности вторжение в Чехословакию.

[24] A la Japonaise (*фр.*) — «по-японски, на японский лад».

[25] Парный брак — здесь: брак, перед заключением которого будущие супруги договариваются о количестве детей, условиях совместного проживания и развода.

[26] Coup (*фр.*) — «поступок, действие».

[27] Знаменитый английский писатель и драматург Джордж Бернард Шоу (1856—1950) был одним из основателей Фабианского общества.

[28] Au fait (*фр.*) — «на деле, на самом деле».

[29] Не совсем точно. Купец Пьетро Бернардоне — отец Джованни, будущего св. Франциска Ассизского — был жив и не выделял особого имущества сыну, когда тот решил уйти из мира. После того как отец запретил ему это делать, юный Джованни (именно после этого он стал называть себя Франциском) снял с себя всю одежду, как принадлежащую не ему, а его отцу, надел на себя какие-то выцветшие лохмотья (отсюда идет серый цвет францисканской рясы) и объявил: «До сих пор я звал отцом Пьетро Бернардоне, отныне же буду называть так только Отца Небесного».

[30] In forma pauperis (*лат.*) — «в виде бедняков», «в образе нищих».

[31] Choregia (*греч.*) — здесь «траты, расходы», а также «провиант, жизненно необходимые припасы».



10. ЛАЙОНЕЛ КЕРТИС

[1] Группа «Круглый стол» — основанная в 10-е гг. XX в. в Великобритании вокруг одноименного ежеквартальника группа политических и общественных деятелей, ставившая целью способствовать сглаживанию международных конфликтов. Сыграла определенную роль в заключении Мюнхенского соглашения, ибо члены ее полагали, что это предотвратит войну. Основателем и лидером группы был Джеффри Джордж Робинсон (1874—1944); в 1917 г. для получения наследства он сменил фамилию на Доусон.

[2] «Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним; и одни говорили: “чту хочет сказать этот суеслов?”, а другие: “кажется, он проповедует о чужих богах”, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взявши его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, чту это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши; посему хотим знать, чту это такое? Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое» (Деян., 17, 18-21).

[3] Филип Генри Керр, маркиз Лотиан (1882—1940) — британский дипломат и государственный деятель, в 1910—1916 гг. — главный редактор ежеквартальника «Круглый стол».

[4] Во время Первой мировой войны с сентября 1914 г. русские войска в ходе успешной т. наз. Галицийской операции осадили Перемышль (совр. Пшемысль в Польше) в австрийской Галиции и 22 марта (9 по старому стилю) 1915 г. взяли его. Но уже в мае того же года австрийские и немецкие войска перешли на Восточном фронте в контрнаступление и 3 июня Перемышль пал.

[5] Согласно Деяниям апостолов, когда апостола Павла везли на суд в Рим (как римский гражданин он имел на это право), он предупреждал сопровождавших его: «Мужи! я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни» (Деян., 27, 10). Ему не верили, но в пути началась страшная буря, все испугались, однако Павел заявил, что «ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль, ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобой» (22—24). Все происходит по слову апостола.

[6] Мистер Дик, дальний родственник главного героя романа Чарльза Диккенса (1812—1870) «Дэвид Копперфилд» (1850), был психически не вполне здоровым человеком. У него было несколько «пунктиков»: он называл себя именно мистер Дик, ибо ненавидел свои полное имя и фамилию — Ричард Бегли; он постоянно писал некий «Мемориал» — что-то среднее между мемуарами и докладной запиской на имя лорд-канцлера. Здесь, скорее всего, имеется в виду следующее: мистер Дик считал, что окружающие его люди переносили заботы из отрубленной головы короля Карла I (см. «Пережитое», ч. I, гл. 4, примеч. 13) в его, мистера Дика, голову. Эта ужасная голова короля почему-то постоянно попадала в текст

«Мемориала». «И в самом деле, позднее я [Дэвид Копперфилд. — *Комм.*] узнал, что мистер Дик больше десяти лет старается выбросить короля Карла Первого из своего Мемориала, но тот постоянно туда возвращался, да и теперь там пребывает».

[7] Согласно Деяниям апостолов, апостол Павел (его еврейское имя — Савл) первоначально был противником христиан и даже принимал участие, пусть и незначительное, в побивании иудеями камнями первомученика св. Стефана в Иерусалиме (Деян. 8, 58). Он выпросил у первосвященника письмо в синагогу Дамаска, где должен был организовать преследования христиан. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба; он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! чту ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь; трудно идти тебе против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! чту повелишь мне делать? И Господь сказал ему: встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать» (9, 3-6). Отправившись в Дамаск, Павел «тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий» (20).

[8] Здесь перечислены британские ученые и государственные деятели, в разное время входившие в группу «Круглый стол»: экономист лорд Роберт Генри Бранд (1878—1967), политический деятель Джон Карнеги Дав-Уилсон (1865—1935), историк Эдвард Уильям Маколи Григг, барон Олтринчем (1879—1956), историк Хью Арчибальд Уиндхэм, барон Леконфилд (1877—1957), дипломат и историк международных отношений Джеффри Малкольм Гаторн-Харди, граф Кренбери (1878—1976).

[9] Франклин Делано Рузвельт (1882—1945) — 32-й президент США с 1933 г.

[10] Артур Солтер (1881—1968) — британский экономист.

[11] Альфред Лесли Роуз (1903—1989) — британский историк.

[12] Катон Старший (Цензор) Марк Порций (234—149 до н. э.) — римский государственный деятель, оратор, писатель, консул 195 г. до н. э. В 184 г. до н. э. был избран цензором (см. «Постижение истории», т. 5, «Архаизм», примеч. 3). Цензоры (числом 2) избирались на 5 лет, но функции свои исполняли 1,5 года. Катон Цензор был известен как непримиримый противник Карфагена (все свои выступления в сенате, независимо от темы, он заканчивал словами: «Кроме того, полагаю, что Карфаген должен быть разрушен»). Прославился борьбой против роскоши, за государственные интересы против частных, за «истинно римские» ценности в противовес «разлагающему» греческому влиянию. Действия его на посту цензора были, временами, весьма экстравагантными. Он исключил одного сенатора из списков сословия (напомним: проводимая цензорами раз в 5 лет перепись — ценз — включала в себя разделение граждан по сословиям, в т. ч. пересмотр списков сенаторов) за то, что тот днем в присутствии дочери поцеловал свою жену; некий всадник (второе, после сенаторского, сословие в Риме) выбыл из списков своего сословия за то, что был слишком толстым. Главное противоречие в характере и деятельности Катона, если верить современникам, состояло в том, что, будучи непримиримым противником всего греческого, он составил первое римское руководство по ораторскому искусству, опираясь на греческие образцы, и написал по-гречески (впрочем,

некоторые исследователи настаивают, что все же на латыни) не дошедшую до нас историю Рима («Начала»).

[13] Те страны Содружества, которые имеют республиканское устройство (таковых, кстати, во времена, о которых здесь говорится, не было), абсолютно независимы, доминионы же формально имеют в качестве собственного государя монарха Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, но полностью независимы от правительства метрополии. Впрочем, ряд доминионов — самые крупные из них Австралия и Новая Зеландия — не имеют права менять свои конституции без согласия британского парламента, — которое, каждый раз, дается практически автоматически. Вообще Содружество — межнациональная, а не наднациональная структура.

[14] Мэдисон-авеню — улица в Вашингтоне, где располагается Государственный департамент США, в переносном смысле — американское внешнеполитическое ведомство.

[15] Res publica буквально на латыни означает «общее дело». Первоначально это было название Римского государства вслед за свержением власти царей в 510 г. до н. э.; название сохранилось и после утверждения в Риме императорского правления. В Средние века и в начале Нового времени слова «res publica» относились не только к государству без монарха, но и к монархическому, и означали такое состояние государства, где все его подданные воспринимают общественные дела как свои собственные. Слово «commonwealth» означает, скорее, «общественное благо»; как имя собственное (the Commonwealth) прилагается к устройству Англии (и соответствующей эпохе английской истории) в период от свержения Карла I в 1649 г. до реставрации монархии в 1660 г.

[16] Канада получила статус доминиона в 1867 г., Австралия (Австралийский Союз) — в 1901 г., Новая Зеландия — в 1907 г. Колонии в Южной Африке — Капская (британская с 1806 г.), Наталь (с 1842 г.), Оранжевая и Трансвааль (завоеваны в 1902 г. в результате англо-бурской войны) в 1910 г. были объединены в Южно-Африканский Союз, тогда же ставший доминионом. Впрочем, до имперской конференции (собрание представителей Великобритании, доминионов и колоний) 1926 г. доминионы не являлись независимыми государствами, но лишь владениями Великобритании с весьма широким внутренним самоуправлением.

[17] См. «Постижение истории», т. 5, «Отношения между распадающимися обществами и индивидуумами», примеч. 19.

[18] Viritim (*лат.*) — «один на один», «к каждому по отдельности».

[19] В 1906 г. партия Индийский национальный конгресс выдвинула идею самоуправления Индии (сварадж). Большинство сторонников этой идеи выступали либо за сохранение Индии в составе Британской империи, либо за получение независимости в результате долгого постепенного процесса. Эта идея получила широкую поддержку в Индии во время Первой мировой войны. В 1919 г. Индия получила определенную автономию, впрочем, довольно ограниченную.

[20] Carpet-baggers (от *англ.* carpet bag — «саквояж»; первоначально такие саквояжи делались из ковровой — carpet — ткани) — так в Англии называли политических деятелей, не связанных происхождением и/или проживанием с тем избирательным округом, от которого они собирались

баллотироваться, так сказать, «приезжие с саквояжем». В США (именно это здесь имеется в виду) это прозвище получили те жители северных штатов, кто в период т. наз. Реконструкции Юга (1867–1877 гг.), когда исполнительную и судебную власть в южных штатах после Войны Севера и Юга приняло на себя федеральное правительство с целью приведения конституций этих штатов в соответствие с федеральной (в первую очередь, отмена рабства и дарование чернокожему населению всех гражданских и политических прав), устремился на Юг «с одним лишь саквояжем», дабы сделать политическую карьеру на голосах освобожденных негров. Надо сказать, что после Реконструкции многие права у афро-американского населения Юга были отняты и возвращены лишь в результате борьбы за гражданские права в 60-е гг. XX в.

[21] Индийская гражданская служба — гражданская (т. е. отделенная от военной) колониальная администрация в Британской Индии (английские владения в Индии делились на Британскую Индию — колонию, и Индийские государства — княжества, находившиеся под британским протекторатом).

[22] Джеймс Уильям Хедлэм-Морли (1863–1929) — британский дипломат, государственный деятель и историк.

[23] Имеются в виду африканеры (буры), потомки первопоселенцев — выходцев из Голландии — в Южной Африке, эмигрировавшие туда еще в XVII в. Их язык — африкаанс — возник на основе голландского, но к XX в. стал уже довольно сильно отличаться от языка-предка.

[24] Махатма Ганди. — См. «Мир и Запад», «Индия и Запад», примеч. 5.

[25] Квакеры (от *англ.* quake — «трястись, дрожать») — протестантская секта, основанная англичанином Джорджем Фоксом (1624–1691) ок. 1650 г.; самоназвание — Общество друзей. Квакеры отрицают все таинства, любое духовенство, любые формальные структуры своих общин, единое руководство для всей секты. Истина, по мнению квакеров, находится в сердце человека и пробуждается гласом Божиим, «внутренним светом». В молитвенных домах, где отсутствуют иконы, алтари и т. п., члены общины собираются для общей молитвы. После молчаливой медитации любой член общины, почувствовавший в себе оный «внутренний свет», начинает проповедь. Эта проповедь иногда (но не столь часто, как утверждают противники квакеров) бывает довольно экзальтированной и весьма эмоционально воспринимаемой (отсюда и данное секте прозвище). Квакеры не признают клятв, отрицают любые социальные различия, практикуют обязательный труд для всех сочленов, отличаются широкой благотворительностью. Последователь Дж. Фокса Уильям Пенн (1644–1715) основал в 1666 г. колонию в Америке, получившую его имя (Пенсильвания) именно как общину квакеров. Еще в 1745 г. квакеры категорически запретили своим сочленам иметь рабов. Традиционно являются активными пацифистами и вообще противниками насилия (именно это здесь и имеется в виду), хотя во время Американской революции (Война за независимость; 1776–1783 гг.) группа квакеров создала особое Общество свободных и сражающихся друзей и участвовала в войне с оружием в руках.

[26] Диархия (*греч.*) — букв. «двоевластие», но не в привычном у нас значении «наличие двух соперничающих центров власти», а в прямо противоположном — «гармоничное сочетание двух центров власти». См. ниже.

[27] Имеется в виду Гай Октавий Фурин (63 до н. э. — 14 н. э.), внучатый племянник Гая Юлия Цезаря, в 44 г. до н. э. усыновленный им и получивший имя Гай Юлий Цезарь Октавиан; с 31 г. до н. э. принял официальный титул: император Цезарь, сын Бога, Август (от *лат.* augere — «увеличивать).

[28] Цезарь подчеркивал монархические основы своей власти, традиционно ненавистные римскому обществу, особенно его верхушке. Октавиан, в 31 г. до н. э. добившись единоличной власти, заявил, что к оной власти он совсем не стремится, что превосходит сограждан лишь личным авторитетом, и объявил то государственное устройство, которая получила Римская держава в результате реформ 31—27 гг. до н. э. «восстановленной республикой». В результате указанных реформ высшая законодательная власть вручалась сенату (народное собрание формально не упразднялось, но уже не являлось единственным государственным органом, принимавшим законы, и для этой цели не созывалось), председателем (принцепсом) которого пожизненно становился сам Август. Он же являлся «постоянным императором», что в тот момент означало титул верховного главнокомандующего, постоянным трибуном, что давало ему право вето и статус неприкосновенности, постоянным проконсулом, т.е. наместником большинства провинций, которыми он управлял через назначенных им представителей (легатов). За сенатом, кроме законодательства, оставалось управление рядом провинций (тех, давно умиротворенных, в которых не было войск) и государственной казной (эрарием), которая, впрочем, могла чеканить только медную монету. Золотые и серебряные деньги выпускал фиск — личное казначейство императора.

[29] Дэниел Маколи Стивенсон (1851—1944) — британский политический деятель.

[30] Международный сеттльмент — особый квартал для иностранцев в ряде городов Китая в сер. XIX — 1-й пол. XX в.; жители таких сеттльментов пользовались правом экстерриториальности, подлежали действию не местных законов, а особой «консульской» юрисдикции, осуществляемой консулами тех стран, гражданами которых они являлись.

[31] Согласно Деяниям апостолов и ряду Посланий апостола Павла, Тимофей и Тит — ученики апостола. Первый, сын грека и иудейки, уроженец Малой Азии, был обращен Павлом и сопровождал его во время проповеди в Малой Азии, Македонии и Греции. Тит проповедовал вместе с Павлом на Крите.

[32] In partibus infidelium (*лат.* — «в краях неверных») — принятое в Средние века название нехристианских (иногда и некатолических) земель, понимаемых как области миссионерства.

[33] Уильям Джонс (1746—1794) — британский востоковед и юрист, один из основателей индологии, с 1783 г. — председатель Высшего суда в Калькутте (юрисдикция этого судебного органа распространялась на все тогдашние британские колонии в Индии).

[34] Британская Ост-Индская компания. — См. «Мир и Запад», «Индия и Запад», примеч. 10.

[35] Андрэ Зигфрид (1875—1959) — французский философ и историк.

[36] Эльзасцы представляют собой немецкоязычный этнос; в основном — протестанты-лютеране. Эльзас не одно столетие был яблоком раздора между

Францией и германскими государствами. Здесь имеется в виду, что после франко-прусской войны 1870—1871 гг. Эльзас отошел к тогда же (1871 г.) созданной Германской империи.

[37] Кэ д'Орсэ — набережная в Париже, на которой расположено Министерство иностранных дел Французской республики; в переносном смысле (но не здесь) — внешнеполитическое ведомство Франции.

[38] Имеются в виду Июльская (27—29 июля) революция 1830 г., свергнувшая династию Бурбонов во Франции и приведшая к власти Орлеанскую династию; Февральская (24 февраля) революция 1848 г., упразднившая монархию во Франции, а также, возможно, июньское (23—26 июня) восстание того же года, когда радикальные революционеры, недовольные политикой правительства республики, попытались свергнуть его; восстание Парижской коммуны 18 марта — 29 мая 1871 г. Все указанные восстания (в случае Парижской коммуны — и при установлении власти коммунаров, и при подавлении восстания) сопровождались уличными боями и строительством баррикад.

[39] Ротари-клубы — местные отделения основанной в 1905 г. международной организации (Rotary International), объединяющей элиту бизнеса и профессиональных специалистов, в т. ч. ученых. Созданы именно для общения бизнесменов с профессионалами.

[40] Сеттльмент — здесь: английская часть международного сеттльмента (см. выше); французская концессия — французская часть.

[41] «Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя и меньше всех семян, но, когда выростет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина взявши положила в три меры муки, доколе не вскисло все» (Матф., 13, 31-33).

[42] I Иоанн, 4, 20.



11. ЛОРД БРАЙС

[1] См. «Пережитое», ч. I, гл. 2, примеч. 40.

[2] О т. наз. «цветных» книгах см. «Мир и Запад», «Психология столкновений», примеч. 4.

[3] Успешное наступление русских войск в Галиции выдохлось к апрелю 1916 г. 1 мая того же года с мощной артподготовки начался прорыв русских позиций германской армией под Краковом, а затем и общее наступление австро-германских войск. К концу сентября русские войска, потерявшие убитыми, ранеными и пленными ок. 2 млн человек, закрепились на линии Рига — Пинск — Черновцы.

[4] Контекст этой фразы следующий. Французские роялисты с 1800 г. постоянно готовили покушение на Наполеона (тогда еще первого консула). После раскрытия одного из таких заговоров в 1803 г. французские власти получили от своих агентов информацию о том, что террористами руководит из-за границы один из принцев крови свергнутой династии.

Наполеон счел, что этим принцем являлся представитель младшей ветви Бурбонов, герцог Луи Антуан Энгиенский (1772—1804), живший в эмиграции в Бадене. По приказу первого консула отряд драгун вторгся в ночь с 14 на 15 марта 1804 г. на территорию нейтрального государства, арестовал герцога и увез во Францию, где уже 20 марта несчастный был судим военно-полевым судом и расстрелян. Кстати, позднее выяснилось, что указанным принцем крови был не герцог Энгиенский, а живший в Англии граф Шарль д'Артуа (1757—1836), младший брат казненного революцией Людовика XVI и будущий (1824—1930) король Франции Карл X. Расстрел герцога Энгиенского вызвал бурное возмущение по всей Европе и усилил и так достаточно неприязненные чувства европейских правителей и даже европейской публики к Наполеону. Тогда и прозвучали комментируемые слова. Обычно их автором считается знаменитый острослов, политик, дипломат, интриган и предатель Шарль Морис Талейран (1754—1838), в тот момент — министр иностранных дел Франции. Впрочем, ряд исследователей полагает, что Талейран как раз был сторонником идеи ареста (а, может быть, и расстрела) герцога Энгиенского (во всяком случае, Наполеон, в приступе раздражения, обвинил своего министра именно в этом). В таком случае считается, что указанную фразу произнес соратник и враг Талейрана, человек, изменявший всем правительствам, которым служил, тогдашний министр полиции Франции Жозеф Фуше (1759—1820).

[5] Тойнби, видимо, имеет в виду, что те европейские евреи, которые смогли избежать геноцида во время Второй мировой войны, в большинстве эмигрировали в США и селились на северо-востоке страны. Впрочем, еврейские эмигранты (в основном из Российской империи и Австро-Венгрии) еще в XIX в. оседали в основном в крупных городах северо-востока, особенно в Нью-Йорке.

[6] Имеются в виду Великобритания и Франция, входившие вместе с Россией в Антанту; в 1915 г. к ним присоединилась Италия.

[7] Еще с нач. XIX в. официальной внешнеполитической доктриной Великобритании было признание ею права на морскую блокаду не только государств, находящихся с ней в состоянии войны, но и нейтральных держав. Впрочем, во время Первой мировой войны Великобритания никогда не собиралась блокировать морское побережье США (это была всего лишь германская и прогерманская пропаганда). Гораздо активнее в американском обществе обсуждался вопрос, должны ли США вступить в войну на стороне Антанты или сохранять нейтралитет. В реальности блокаду с помощью подводных лодок объявила 1 февраля 1917 г. именно Германия, притом по отношению не только к Великобритании (та уже с начала войны успешно блокировала германское побережье), но и к нейтральным странам, торговавшим со странами Антанты, в частности к США. Отказ Германии прекратить т. наз. «подводную войну» по отношению к Соединенным Штатам привел к объявлению ими войны Германии 5 апреля 1917 г.

[8] Центральные державы — обычно, название Германии и Австро-Венгрии; во время Первой мировой войны в число этих держав иногда включали Болгарию (с 1915 г.) и (весьма редко) Турцию.

[9] Уайтхолл — улица в Лондоне, на которой находится большинство правительственных зданий, в частности Министерство иностранных дел;

в переносном смысле — внешнеполитическое ведомство Великобритании (чаще) или вообще британское правительство (реже).

[10] Аналитическая психология — название, данное своему учению — явно в полемике с психоанализом З. Фрейда — К. Г. Юнгом (см. «Цивилизация перед судом истории», «Мой взгляд на историю», примеч. 24). Впрочем, Тойнби, скорее, здесь имеет в виду различные разработки психологов в области пиара (напомним: новое русское слово «пиар» образовано от *англ.* PR — аббревиатуры public relations — «связи с общественностью») и пропаганды, особо активизировавшиеся после Первой мировой войны.

[11] Le cadet des ses soucis (*фр.*) — «последняя (букв. «младшая») из их забот», нечто вроде нашего «дело десятое».

[12] Командующий британскими войсками на Ближнем Востоке во время Первой мировой войны генерал Эдмунд Генри Хинмен, виконт Алленби (1861—1936) занял Иерусалим в январе 1917 г., но оккупация всей территории Палестины затянулась до нач. 1918 г.

[13] В Великобритании принято в биографических справочниках (типа «Who's Who»), на визитных карточках, табличках на домах или квартирах и т. п. после фамилии ставить аббревиатуры и/или сокращения титулов, званий, указаний на то, что данное лицо является кавалером тех или иных орденов (напр., — в русской транскрипции — К.О.Б.И. — Кавалер Ордена Британской Империи) или состоит членом какой-либо научной организации (напр., Ч.К.О. — Член Королевского Общества — подразумевается Британское Королевское Общество естествоиспытателей, частичный аналог нашей Академии наук, но только в области естествознания).

[14] Джавахарлал Неру (1889—1964) — индийской государственный деятель, активный сторонник независимости Индии, соратник Ганди, премьер-министр Индии с момента обретения страной независимости в 1947 г. Тойнби прилагает к нему эпитет Шри (*санскр.* «великий, большой, главный») — обычная приставка в Индии к имени особо уважаемых людей. Пандит — см. «Цивилизация перед судом истории», «Унификация мира и изменение исторической перспективы», примеч. 58.

[15] Magnum opus (*лат.*) — «главное произведение», в расширительном значении — «дело всей жизни».

[16] Здесь намек на то, что знаменитый французский философ Анри Бергсон (1856—1941) до конца дней сохранял прекрасное здоровье.

[17] Херберт Альберт Лоренс Фишер (1865—1940) — британский историк.

[18] Еще в X—XII вв. в Западной Европе появились представления о Праведном Царе (он же Царь Последних времен), последнем перед пришествием Антихриста государе, который и возглавит борьбу с ним. На этот титул претендовали и английские, и французские короли, а особо — императоры Священной Римской империи. Иногда в качестве такого Царя выступал реальный и уже ушедший из жизни государь, причем предполагалось, что он не умер, а спит в некоем потаенном месте, но с наступлением последних времен проснется и поведет последнюю битву. Постепенно, уже в Позднее Средневековье и в начале Нового времени, эти верования утеряли прямой эсхатологический смысл, и предполагалось, уснувший государь восстанет ото сна в особо тяжелые для его народа времена и

поведет свой народ к счастью и благополучию (подобные верования зафиксированы в Ирландии даже в XIX в., только «уснувшим государем» оказывался тот или иной герой борьбы за освобождение Ирландии). В Германии первым «уснувшим государем» стал император Фридрих II Штауфен (1194—1250, император с 1215 г., король Сицилии с 1194 г.), еще при жизни так поразивший воображение современников, что те долго не могли поверить в его смерть. Лишь в XV в. Фридрих II в массовом сознании сливается со своим дедом, Фридрихом I Барбароссой (1129—1190, император с 1152), и именно последний становится героем легенды. Обычно, местом его «летаргического сна» становится пещера в горе Киффхейзер в Тюрингии. Локализация пещеры, где спит Барбаросса, на горе Берхтесгаден в Баварских Альпах встречается только в романах и балладах XIX в. На северном склоне Берхтесгадена располагалось «Орлиное гнездо» — резиденция Гитлера. Выбор фюрером именно этого места для своего укрепленного пункта может объясняться как раз чтением романов, до которых вождь Третьего Рейха был весьма охоч.

[19] Ars longa, vita brevis (*лат.*) — «Искусство вечно, жизнь коротка».

[20] Гильдейский социализм — социалистическое течение в Великобритании в первой четверти XX в., основанное Джорджем Дугласом Коулом (1889—1959), членом (с 1908 г.) Фабианского общества. Гильдейские социалисты призывали к национализации промышленных предприятий и передаче их в управление т. наз. «национальным гильдиям» (здесь явный намек на средневековые ремесленные гильдии-цехи), т. е. объединениям трудящихся в той или иной отрасли производства.

[21] «Электрический заяц» — приспособление для собачьих бегов: укрепленное на длинном кронштейне чучело зайца, вращаемое по кругу с помощью электромотора; собаки наперегонки бегут за этим «зайцем».

[22] О Юстиниане и Феодоре см. «Цивилизация перед судом истории», «Византийское наследие России», примеч. 27 и 40, «Христианство и цивилизация», примеч. 27.



12. СЭР ДЖЕЙМС ХЕДЛЭМ-МОРЛИ

[1] Министерство всех талантов — ироническое название британского правительства (министерство, в терминологии XIX в., — это Кабинет министров) в 1806—1807 гг., которое возглавил один из лидеров партии вигов, барон Уильям Гренвилл (1759—1834); среди заметных действий этого правительства — отмена рабства в британских колониях.

[2] Братья Реджинальд (Рекс) Уайтхед Аллен (1888—1968) и Александр Уильям Аллен (1887—1932) Липеры — британские дипломаты, уроженцы Австралии.

[3] Дуайен — здесь: старейшина.

[4] Эйр Александр Барби Уичарт Кроу (1864—1925) — британский государственный деятель. Здесь Тойнби имеет в виду то, что этот политик и дипломат, будучи не только женатым на немке, но и сыном германской подданной, являлся ярым противником Германии, сторонником резкого усиления военной мощи Великобритании накануне Первой мировой войны.

[5] Постоянный заместитель министра — в Великобритании, где действует принцип несменяемости, первый чиновник того или иного министерства, глава всего чиновничьего аппарата этого министерства. Министр, по британским традициям, есть чисто политическая фигура, сменяемая в зависимости от политической конъюнктуры, от прихода к власти той или иной партии, но аппарат министерства во главе с постоянным заместителем остается неизменным. Надо отметить, что опять же, по британским традициям, люди, посвятившие себя государственной службе, никогда не вступают на стезю политической карьеры (постоянный заместитель министра ни при каких обстоятельствах не будет назначен министром) и наоборот.

[6] Здесь подразумевается биографическая серия изданий, публикация которых началась в 1889 г.; эту серию выпускало американское издательство, которое основал в 1865 г. Джордж Палмер Патнем (1814—1872).

[7] Имеется в виду осуществленный в первой трети XX в. переход от абсолютного невмешательства государства в экономику, когда любая социальная помощь являлась делом частной или общественной благотворительности, к регулируемой государством социальной политике, централизованным оказанием государственной помощи неимущим, престарелым, детям, инвалидам и т. п. Эту политику с 1905—1906 гг. проводило либеральное правительство, а после Первой мировой войны — лейбористские правительства. Национальная страховая комиссия была учреждена в 1911 г. в связи с законом об обязательном государственном страховании. Надо отметить, что этот закон вызвал недовольство сразу и предпринимателей, вынужденных платить в этот государственный орган страховку за своих наемных рабочих, и этих рабочих, которые в соответствии с данным законом также были обязаны отчислять некоторую сумму, пусть и на собственные пенсии и больничные листы.

[8] См. «Цивилизация перед судом истории», «Современный момент истории», примеч. 12.

[9] См. «Постижение истории», «Контакты цивилизаций во времени», примеч. 3.

[10] См. «Постижение истории», т. 5, «Отношения между распадающимися обществами и индивидуумами», примеч. 20.

[11] Томас Тейлор Медоуз (изв. 1849—1856) — член британской дипломатической миссии в Китае.

[12] Фредерик Артур Хиртцель (1870—1937) — британский дипломат и филолог-классик.

[13] Джон Уильям Макейл (1859—1945) — британский государственный деятель, историк, специалист по истории классического образования.

[14] Возможно, Тойнби имеет в виду принятый в международном праве принцип, в соответствии с которым все государства, независимо от размеров, численности населения и богатства, имеют равные права, в т. ч. один голос в международных организациях.



13. ФЕЛЬДМАРШАЛ ЯН СМАТС

[1] О Сматсе и его книге «Холизм» см. «Пережитое», ч. I, гл. 7, примеч. 6.

[2] Фемистокл. — См. «Постижение истории», т. 12, «История и перспективы Запада», примеч. 12.

[3] Уильям Леонард Спенсер Черчилль (1874—1965) — британский государственный деятель, лидер Консервативной партии, премьер-министр в 1940—1945 и 1951—1955 гг., лауреат Нобелевской премии по литературе.

[4] Криппс Р.С. — См. «Пережитое», ч. I, гл. 1, примеч. 12.

[5] Черчилль постоянно курил огромную сигару, которая была частью его имиджа.

[6] Демосфен — См. «Цивилизация перед судом истории», «Греко-римская цивилизация», примеч. 2.

[7] Луис Бота (1862—1919) — южноафриканский политический деятель, главнокомандующий (в 1900—1902 гг.) войсками Республики Трансвааль во время англо-бурской войны, первый (с 1910 г.) премьер-министр Южно-Африканского Союза.

[8] Wahrheit (*нем.*) — «истина», «правда»; Dichtung (*нем.*) — «поэзия», «поэтический вымысел». Здесь явный намек на беллетризированную автобиографию Гёте «Dichtung und Wahrheit» — «Поэзия и правда» (1811—1833).

[9] Suppressio veri (*лат.*) — «сокрытие истины»; юридический термин, означающий, что обвиняемый или свидетель не лжет, но недоговаривает, утаивает нечто.

[10] Dramatis personae (*лат.*) — «действующие лица драмы», «персонажи».

[11] Артур Хью Клау (1819—1861) — британский поэт и переводчик; большинство его стихов написано в подражание греческой и римской поэзии. Тойнби не совсем точен: вышедший уже после его смерти (в 1862 г.) сборник стихов, в которых он бичует современные ему нравы и откуда приведена данная цитата, называется «Новейшие (иначе — «Самые последние») Десять заповедей» (*англ.* Latest Decaloge).

[12] Христиан Рудольф де Вет (1854—1922) — бурский военачальник, главнокомандующий армией Оранжевого Свободного государства во время англо-бурской войны в 1899—1902 гг. Занимал различные государственные посты в Оранжевой колонии Британской Южной Африки и в ЮАС; в 1914 г. встал во главе прогерманского и направленного на независимость ЮАС мятежа. Мятеж был подавлен, де Вет провел шесть лет в тюрьме, после чего отошел от политической деятельности.

[13] Балтазар Иоханнес Форстер (1915—1983) — южноафриканский государственный деятель, премьер-министр ЮАС в 1966—1978 гг., активный проводник политики апартеида; в 1942—1944 гг. был интернирован за пронацистские настроения.

[14] Вудро Вильсон. — См. «Пережитое», ч. I, гл. 4, примеч. 5. 8 января 1918 г. он выступил с программой из четырнадцати пунктов, посвященной послевоенному устройству мира. Важнейшие из них: ограничение вооружений, создание Лиги наций на основе самоопределения народов, равенство условий международной торговли, беспристрастное примирение всех колониальных притязаний при соблюдении интересов народов колоний, восстановление Бельгии, создание независимой Польши и др. Эти «Четырнадцать пунктов» легли в основу устава Лиги Наций.

[15] Джеймс Герцог (Херцог) (1866—1942) — южноафриканский государственный деятель, премьер-министр ЮАС в 1924—1939 гг., противник участия ЮАС во Второй мировой войне.



14. ПОЛКОВНИК Т. Э. ЛОУРЕНС

[1] Томас Эдуард Лоуренс (1888–1935) — британский разведчик, писатель.

[2] Основатель ислама пророк Мухаммед (Мохаммед) жил в ок.580–632 гг., Заратустра (Заратуштра) (см. «Пережитое», ч. I, гл. 9, раздел II, примеч. 1) — между XII и VI вв. до н. э. (Тойнби придерживается последней датировки), иудейский пророк, продолжатель Книги Пророка Исайи, обычно именуемый в науке Второ- (или Девтеро-) Исайей (см. «Цивилизация перед судом истории», «Унификация мира и изменение исторической перспективы», примеч. 74) — в VI в. до н. э., Сиддхарта Гаутама (см. «Постижение истории», т. 3, «Уход-и-Возврат», примеч. 4) — то ли в 566–476, то ли в 563–473 гг. до н. э. (Тойнби, судя по всему, предпочитает более позднюю датировку.)

[3] Имеется в виду немецкий народ во времена Гитлера.

[4] Video meliora proboque, // Deteritora sequor (*лат.*) — «Вижу и одобряю лучшее, а следую худшему» (*Овидий.* Метаморфозы, VII, 20-21).

[5] На протяжении почти всего XIX в. официальной внешней политикой британских властей была поддержка правительств Турецкой (Оттоманской) и Австрийской (Австро-Венгерской) империй. В Лондоне полагали, что единство империй, пусть и достигаемое путем подавления (в большей или меньшей степени) всех наций, кроме главенствующей, лучше, нежели хаос, который может воцариться при распаде этих империй, тем более что новообразованные национальные государства могли бы оказаться вне сферы влияния Великобритании. Однако в британском общественном мнении были достаточно распространены симпатии к угнетенным народам, например грекам или венграм.

[6] В аллегорической форме Тойнби хочет сказать, что, с точки зрения Лоуренса и Кертиса, новый миропорядок должен быть установлен силой — политической или даже военной, как это делал Наполеон, а не духовной, что символизирует имя Орфея.

[7] Состав участников Парижской мирной конференции 1919 г. был весьма велик — 32 делегации, поэтому многие вопросы решались коллегиями более или менее узкого состава. Фактически руководящими органами конференции были Совет Четырех (совещание глав делегаций Великобритании, Италии, США и Франции) и — в несколько более расширенном составе — Совет Десяти (совещание глав правительств и министров иностранных дел Великобритании, Италии, США, Франции и Японии).

[8] Арабское население подвластных Османской империи земель было всегда настроено оппозиционно по отношению к туркам. В 1916 г. правитель Хиджаза (подвластное турецким султанам с 1517 г. полунезависимое княжество на западе Аравийского полуострова) Хусейн ибн Али аль-Хашими (1856–1931), шериф (букв. *араб.* «благородный»; так именовались правители священных городов ислама — Мекки и Медины, находившихся на территории Хиджаза) с 1908 г., поднял антитурецкое восстание и провозгласил себя королем Хиджаза, а также — это было, впрочем, всего лишь претензией — «вождем всех арабов». Фактическим руководителем восстания

был его третий сын, эмир Фейсал (1885—1934). Это восстание было поддержано Великобританией, и ее представителем при Фейсале стал полковник Лоуренс. Лоуренс был не только агентом разведки и военным советником Фейсала; он, судя по всему, глубоко проникся симпатиями к арабам и поддерживал выданное британским правительством обещание создать после победы общеарабское государство на территории Аравийского полуострова, Сирии, Ливана, Палестины и Месопотамии. Тем бульшим шоком для него и для арабов стало известие о том, что еще 15 мая 1916 г. было заключено тайное соглашение между Великобританией и Францией, т. наз. соглашение Сайкса—Пико, по именам авторов проекта этого соглашения — дипломатического представителя при британском экспедиционном корпусе на Ближнем Востоке Марка Сайкса (1879—1919) и французского генерального консула в Сирии Жоржа Пико (1889—1937). По этому соглашению турецкие владения на арабском Востоке делились между Англией и Францией, и ни о каком общеарабском государстве не было и речи. Будучи формально экспертом британской делегации на Парижской мирной конференции, где, среди прочего, должен был быть урегулирован ближневосточный вопрос, Лоуренс фактически являлся защитником интересов Фейсала и Хусейна (практически он входил в делегацию Хиджаза, которую возглавил Фейсал), но из этого ничего не вышло. Независимость Хиджаза была признана, но Хусейн потерпел поражение в борьбе с Ибн Саудом (см. «Постижение истории», т. 5, «Отношения между распадающимися обществами и индивидуумами», примеч. 16) и вынужден был в 1924 г. отречься и покинуть страну. Фейсал в 1920 г. был избран королем Сирии, но тогда же свергнут французами, которые сочли его британским ставленником; в 1921 г. был провозглашен королем Ирака и вынужден согласиться на то, чтобы его королевство в 1922 г. стало британским мандатным владением (в 1932 г. мандат прекращен).

[9] Морис Паскаль Алерс Хэнки (1877—1969) — британский политический и военный деятель.

[10] «Заднескамеечники» — так в британском политическом лексиконе именуются те члены парламентской фракции той или иной партии, которые не занимают никаких постов в правительстве и/или в руководстве своей партии либо фракции. Здесь: не основные, не главные члены британской делегации.

[11] Комитет обороны Британской империи — созданный в марте 1917 г. орган, координирующий военную политику и военные действия государств, входивших в Британскую империю. Состоял из членов британского военного кабинета и глав правительств доминионов.

[12] Имеется в виду рассказ Р. Киплинга «Моти Гандж, мятежник».

[13] Имеется в виду вторая сура Корана «Корова». Название, как и многих иных сур, достаточно случайно и относится к стихам 67—71, где пророк Муса (Моисей) говорит о жертвоприношениях. Эта сура — самая большая в Коране, она состоит из 286 стихов (в русском издании обычного книжного формата она занимает 30 страниц).

[14] О членах Совета Четырех см. «Пережитое», ч. I, гл. 4, примеч. 5.

[15] На Венском конгрессе, созванном державами-победительницами Наполеона, довольно быстро образовалось два блока — русско-австрийский и англо-прусский.

[16] Тойнби несколько упрощает ситуацию. Помимо того, что разные ведомства британского правительства проталкивали свои ведомственные интересы, борьба между королем Неджда Ибн Саудом и королем Хиджаза Хусейном шла за верховенство над арабским, да и вообще Исламским миром. В марте 1924 г. Хусейн, как покровитель святых городов, объявил себя халифом, т. е. духовным (а в идеале — и светским) главой всех мусульман. Именно это послужило для Ибн Сауда, не признававшего претензий Хусейна, поводом к войне с Хиджазом, завершившейся отречением Хусейна, захватом Хиджаза в 1925 г. и провозглашением в 1927 г. Королевства Неджда, Хиджаза и присоединенных областей (с 1932 г. — Саудовская Аравия); Ибн Сауд провозгласил себя шерифом, но не халифом.

[17] «Наполеон из Ноттинг-Хилла» — роман (1904) английского писателя Гилберта Кийта Честертона (1874—1936). Это своеобразная утопия, действие которой разворачивается в будущей Великобритании, где происходит как бы возрождение столь любимого Честертоном Средневековья. Лондон разделен на почти независимые округа, и мэр одного из таких округов — Ноттинг-Хилла — ведет, хотя и закончившуюся его гибелью, но все же успешную борьбу с другими округами, пользуясь при этом вполне средневековым оружием.

[18] Здесь имеется в виду индо-пакистанский конфликт 1965 г. Хотя Пакистан был официальным союзником США, а Индия — неприсоединившимся государством, США помогали обеим сторонам, видимо, боясь, что в ином случае Индия, в большей или меньшей степени, войдет в орбиту влияния СССР. Во время конфликта 1971 г. (но это произошло уже после написания «Моих встреч») США открыто (дипломатически) и более или менее тайно (оружием) помогали Пакистану, а СССР — Индии.

[19] Тойнби несколько «подправляет» события. Во время греко-турецкой войны (см. «Цивилизация перед судом истории», «Будущее мирового сообщества», примеч. 10) турецкие войска вытеснили греков из Центральной Анатолии еще в августе—сентябре 1921 г. Здесь, явно, имеется в виду второе наступление турок, приведших к изгнанию греков из западных районов Малоазийского полуострова. Оно началось в августе 1922 г., 30 августа в битве при деревне Думлупынар греческая армия была наголову разбита (скорее всего, именно это подразумевает Тойнби), и турецкие войска вошли в Смирну (Измир), где устроили резню греков в отместку за бойню, учиненную греками по отношению к туркам там же в 1919 г. После выхода турецкой армии к Дарданеллам, Босфору и Стамбулу (султанская столица была оккупирована державами Антанты и находилась под их управлением) англичане и французы потребовали от Мустафы Кемаля прекратить военные действия. Это произошло 18 сентября 1922 г., а 11 октября греки и турки подписали перемирие.

[20] С начала Первой мировой войны в Великобритании было сформировано правительство из представителей всех политических партий. Это правительство, но уже без лейбористов, сохранялось и после войны и выборов в декабре 1918 г.; Ллойд-Джордж возглавлял это правительство с 1916 г. Но в октябре 1922 г. консерваторы, давно недовольные премьером, воспользовались падением его популярности в связи с успехами турок в греко-турецкой войне (слева Ллойд-Джорджа упрекали за то, что он не принял мирный план турок, справа, — что не оказал военную помощь

грекам) и заявили о выходе из коалиции. Премьер немедленно подал в отставку и никогда более не вернулся на этот пост.

[21] Фетхи Бей Окияр (ум. 1943) — турецкий государственный деятель, министр юстиции Турции в 1939–1941 гг.

[22] Сэмюел Хор. — См. «Пережитое», ч. I, гл. 5, примеч. 2.

[23] Основной причиной войны было непризнание Турцией оккупации Измира (Смирны) греческой армией с согласия Антанты в 1919 г.

[24] Тойнби неточен. Формально Лоуренс был как раз в составе британской делегации. Другое дело, что полковник, человек весьма экстравагантный и плохо управляемый, подчеркивал, что он является представителем рода Хашими (хашимитов), к которому принадлежали Хусейн и Фейсал, и, в знак протеста против политики Великобритании по отношению к арабам, носил не британскую военную форму, а арабское одеяние, к которому вообще питал пристрастие, то ли из-за того, что привык к нему во время пребывания в Аравии, то ли из-за своей любви к экзотическому поведению.

[25] Мосул — город в Ираке, ныне — центр Иракского Курдистана. По условиям капитуляции Османской империи 30 октября 1918 г. должен был остаться за Турцией, по соглашению Сайкса–Пико — отойти под французский протекторат, но, в конечном итоге, был захвачен Великобританией и передан созданному под британским мандатом государству Ирак. Турция признала этот факт лишь в 1926 г.

[26] Клемансо получил прозвище «Тигр» еще в кон. 70-х гг. XIX в., т. е. в начале своей политической карьеры, за чрезвычайную резкость в своих парламентских выступлениях, за непримиримость к своим политическим противникам.

[27] Цитата из стихотворения английского писателя и поэта Оливера Голдсмита (1728–1774) «Элегия на смерть бешеной собаки».

[28] Согласно Второй Книге Царств (гл. 15–17), Ахитофел был советником царя Давида и его сына Авессалома. «Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела как для Давида, так и для Авессалома» (2 Цар., 16, 23). Ахитофел поддержал заговор Авессалома против отца и давал ему советы действовать жестко и оскорбительно для Давида. Авессалом не послушал советов Ахитофела, и тот покончил с собой.

[29] Соверен — английская золотая монета, чеканившаяся с 1489 г. С 1816 г. — стоимость в 1 фунт стерлингов. С 1917 г. чеканится только для продажи на международных рынках золота.

[30] Альфред Эдуард Хаусман. — См. «Постижение истории», ч. I, гл. 8, раздел II, примеч. 3. Данная цитата взята из стихотворения Хаусмана.

[31] Дэвид Джордж Хогарт (1862–1927) — британский археолог.

[32] Употребление топонима «Ирак» для обозначения Междуречья (Месопотамии), т. е. области между Тигром и Евфратом, восходит к Средним векам (*араб.* «Ирак» — «культурный, цивилизованный», т. е. страна оседлых людей, а не кочевников-бедуинов). Провинция Османской империи Ирак примерно соответствовала нынешнему Ираку без Иракского Курдистана, составлявшего провинцию Мосул. По Севрскому договору 10 августа 1920 г. между Турцией и странами Антанты Ирак должен был отойти к Великобритании, но до создания одноименного королевства в официальных документах он именовался Месопотамией.

[33] Гертруда Белл (1868–1926) — британский дипломат и востоковед, первая женщина, поступившая (в 1887 г.) и окончившая Оксфордский университет.

[34] Арнольд Тэлбот Уилсон (1884–1940) — британский дипломат и государственный деятель, историк-востоковед.

[35] Зенобия. — См. «Постижение истории», т. 12, «Место ислама в истории», примеч. 9.

[36] Аиша (Айша) (ок. 613–678) — третья (и, судя по всему, любимая) жена пророка Мухаммеда; в момент заключения брака ей было ок. 10 лет. Пыталась, и успешно, играть значительную роль в распрях, начавшихся после смерти пророка. В кругах, оппозиционно настроенных по отношению к халифу Али (см. «Постижение истории», т. 1, «Сравнительное исследование цивилизаций», примеч. 19), почиталась как «мать верующих». После т. наз. «битвы верблюда» в 656 г. (сражение между сторонниками и противниками Али, во время которого Аиша восседала на верблюде; закончилась победой первых) попала в плен к Али и предложила ему союз против своих же недавних противников. Окончила свои дни в Медине.

[37] Хестер Люси Стэнхоуп (1776–1839) — английская путешественница, «весьма экстравагантная леди», как сказано о ней в «Британской энциклопедии». Выходец из хорошей семьи, она в 1810 г. навсегда покинула Англию и странствовала по Ближнему Востоку; в Горном Ливане среди местных племен считалась пророчицей.

[38] Имеется в виду евангельский сюжет об исцелении слуги сотника. Тойнби, видимо, намекает на слова сотника: «Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: “пойди”, и идет; а другому: “приди”, и приходит; и слуге моему: “сделай то”, и делает» (Матф., 8, 9).

[39] Томас Лоуренс был сложным и весьма экстравагантным человеком. После завершения Парижской мирной конференции Лоуренс, в знак протеста против того, что обещания о создании общеарабского государства, данные британским правительством Хусейну, не были выполнены, вернул лично королю Георгу V все полученные им ордена, после чего отказался от собственной фамилии и принял иную — Росс. Впрочем, со «службы его величества» он не ушел и выполнял в 1925–1926 гг. какие-то не вполне понятные правительственные поручения в Индии и Афганистане. Затем, по неясным причинам, все же ушел со службы, всерьез занялся авиацией, объявил себя «рядовым авиации Шоу» и даже получил британский паспорт на эту фамилию.

[40] На Парижской мирной конференции в 1919 г. был принят проект раздела турецких владений в Сирии, Месопотамии, Палестине и Аравии, занятых (кроме Аравии) британской армией в январе 1917 — октябре 1918 гг. По этому проекту Курдистан со столицей в Мосуле получал автономию в составе Турции с правом отделения (что и произошло — см. выше), Хиджаз — полную независимость, Сирия, Месопотамия и Палестина должны были в будущем стать независимыми государствами, но временно передавались под мандат, первая — Франции, остальные — Великобритании. Этот проект был еще раз принят на совещании руководящих органов Антанты в Сан-Ремо в апреле 1920 г., в июле с ним согласилась Турция, что было официально подтверждено Севрским договором. Правительство

Мустафы Кемаля отвергло Севрский договор, и, в конечном счете, он был пересмотрен на Лозаннской конференции (20 ноября 1922 — 24 июля 1923 гг.) с участием Турции и стран Антанты, но распределение мандатных территорий осталось в силе.

[41] По меньшей мере, до III в. до н. э. Рим являлся военно-крестьянским государством, войны с соседями завершались изъятием у тех некоторого количества земельных угодий, которые передавались римским колонистам, ведшим хозяйство самостоятельно, с незначительным применением рабского труда. Армия формировалась по принципу ополчения, солдаты снаряжались за свой счет, войско набиралось на одну кампанию, после чего распускалось, и воины возвращались к своему крестьянскому труду. Активные завоевания III—II вв. до н. э. привели к резкому увеличению числа рабов, в первую очередь, в Италии, к появлению дешевой рабской рабочей силы, с которой свободные граждане — крестьяне — не могли конкурировать и разорялись. Кроме того, расширение Римской державы заставляло держать более или менее постоянное войско в местах, весьма удаленных от Рима, и возврат воина к крестьянскому труду становился все более затруднительным. На рубеже II—I вв. до н. э. была проведена военная реформа, фактически превратившая римское ополчение в почти профессиональную армию. Эта армия вооружалась и снабжалась за счет казны, каждый получал жалование сообразно должности, отслуживший 20 лет получал некий аналог военной пенсии — земельный участок, достаточный для прокормления. Солдаты этой армии были весьма далеки (в т. ч. и в буквальном, географическом смысле) от гражданской жизни и политических баталий в Вечном Городе, преданы не столько «сенату и народу Рима», сколько своим собственным полководцам. Почти весь I в. до н. э. занимают гражданские войны, в сущности — борьба за единоличное правление между теми или иными военачальниками.

[42] Лоуренс погиб, разбившись на мотоцикле.

[43] Имеется в виду, что территории Западной Сирии (все перечисленные города и одноименные бывшие провинции — вилайеты — Османской империи ныне принадлежат Сирийской республике), Ливана и Палестины не должны были войти в состав нового арабского государства, а остальная часть Сирии и Месопотамия вроде бы включались в него.

[44] Здесь имеется в виду, что часть арабских земель входила в Османскую империю непосредственно, составляла ее вилайеты, т. е. находилась под суверенитетом Турции, а часть — например, Хиджаз, Йемен, Неджд (хотя ваххабитские султаны Неджда это не признавали) — как бы под протекторатом Османской державы, в вассальной зависимости, т. е. под сюзеренитетом (сюзерен — тот, кому вассал приносит ленную присягу).



15. ПРОФЕССОР У. Л. ВЕСТЕРМАН

[1] Уильям Линн Вестерман (1873—1954) — американский историк и журналист.

[2] Пляс де Конкорд (Площадь Согласия) — площадь в центре Парижа, создана в 1757—1779 гг. и первоначально носила название Площадь Людо-

вика XV. В 1792 г. была названа Площадью Революции и в центре ее на месте сброшенной конной статуи Людовика XV установили гильотину, после чего площадь стала местом публичных казней (теперь на месте гильотины стоит поставленный в 1836 г. египетский обелиск). Нынешнее название получила в 1800 г.

[3] Эрик Грехем Форбс Адам (1888–1925) — британский дипломат.

[4] Луис Маллет де Пау (1864–1957) — британский дипломат.

[5] Папирология — раздел одновременно египтологии и классической филологии, изучение написанных на папирусе текстов на древнеегипетском и древнегреческом (распространенном в эллинистическом Египте) языках.

[6] Тьютор — здесь: младший преподаватель.

[7] Имеется в виду Франсуа Жозеф Вестерман (1751–1794), французский генерал, активный сторонник Революции. Действительно, во время Французской революции, в период террора (1793–1794 гг.) власти отправляли на гильотину неудачливых военачальников, обвиняя их в заговоре и связях с врагом (как правило, совершенно безосновательно). Но в случае с Вестерманом, хотя обвинения были все те же, дело обстояло в другом. Генерал одержал ряд блестящих побед над мятежниками-роялистами в Вандее, а на эшафот попал из-за связей с политическими противниками Робеспьера.

[8] Рейнхольд Нибур (1892–1951) — американский протестантский теолог.

[9] Епископальная протестантская церковь — здесь: англиканская Церковь.

[10] Reductio ad absurdum (*лат.* — «сведение к абсурду») — термин логики, которым называется способ доказательства, состоящий в условном допущении положения, противоречащего тому, что требуется доказать, и в демонстрации того, что это допущение приводит к нелепому следствию (т. наз. «доказательство от противного»). Чаще, однако, — как здесь — это выражение употребляется в смысле доведения до абсурда ошибочной в своей основе мысли таким ее развитием, при котором заключенная в ней ошибка становится очевидной.

[11] 11 ноября 1918 г. было заключено соглашение о прекращении огня между войсками Германии и Антанты на Западном фронте. Считается датой окончания Первой мировой войны.

[12] События конца Первой мировой войны таковы. 29 сентября 1918 г. германский командующий Западным фронтом генерал Эрих Людендорф (1865–1937; см. также «Постижение истории», т. 12, «История и перспективы Запада», примеч. 9) неожиданно заявил императору Вильгельму II (1859–1941, император 1888–1918), что война Германией проиграна и необходимо немедленно начинать мирные переговоры; для этого должно быть сформировано новое правительство, которое и проведет эти переговоры. 1 октября новым канцлером был назначен член правящей фамилии в великом герцогстве Баденском принц Макс Баденский (1867–1929). На следующий день им была послана телеграмма президенту США В. Вильсону с предложением о начале указанных мирных переговоров. 3 октября новый канцлер сообщил об этом в рейхстаге (именно это выступление здесь имеется в виду). Военные действия, впрочем, продолжались, ибо страны Антанты требовали безоговорочной капитуляции. Союзники Германии

капитулировали один за другим: еще 29 сентября это сделала Болгария, 30 октября — Турция, 3 ноября — Австро-Венгрия. 9 ноября в Берлине вспыхнула революция, и созданное Берлинским Советом рабочих и солдатских депутатов (революция начиналась по русской модели) республиканское правительство (Совет народных уполномоченных) обратился к противнику с призывом о немедленном перемирии, что и произошло 11 ноября.

[13] См. «Постижение истории», т. 3, «Задержанные цивилизации», примеч. 28.

[14] Уильям Блейк Тиррел (ум. 1976) — британский историк.

[15] Мятный джулеп — коктейль из виски и/или бренди, воды, сахара, льда с веточкой мяты.

[16] Йозеф Фогт (1895—1980) — немецкий папиролог и историк.



16. ЧАРЛЬЗ Р. КРЕЙН

[1] Чарльз Ричард Крейн (1858—1939) — американский юрист и государственный деятель.

[2] Артур Генри Макмахон (1862—1949) — британский военный и государственный деятель.

[3] Альберт Хоу Лайбьер (1876—1949) — британский востоковед, специалист по истории Турции.

[4] Чарльз Кинг (1844—1933) — американский историк и государственный деятель, президент университета штата Пенсильвания.

[5] Каллий (изв. 449 до н. э.) — афинянин, представлявший объединенные греческие полисы на переговорах с Персией. По нему получил название Каллиев мир, завершивший греко-персидские войны (500—449 гг. до н. э.). По этому миру Персия признавала независимость всех малоазийских греческих полисов и лишалась права иметь свой флот в Эгейском море. Анталкид (изв. 387 до н. э.) — спартанский военачальник, глава спартанского посольства на переговорах с Персией об окончании спартанско-персидской войны 399—387 гг. до н. э. В союзе с Персией выступали и греческие города, в частности Афины, недовольные спартанской гегемонией в Элладе, но Спарта сумела заключить мир — т. наз. Анталкидов мир, — выгодный ей и Персии, но не недавним союзникам последней. Малоазийские полисы возвращались под власть Персии, в Элладе были запрещены все союзы городов, кроме Пелопонесского, в котором господствовала Спарта. Анталкидов мир был пересмотрен под давлением Фив и Афин в 378 г. до н. э.

[6] Джеймс Кардиган, граф (1797—1855) — британский военачальник, генерал. Во время Восточной (Крымской) войны командовал (с июня 1854 г.) бригадой легкой кавалерии. В битве при Балаклаве 24 (12 по старому стилю) октября руководил знаменитой атакой английских гусар, закончившейся полным разгромом его бригады, потерявшей только убитыми почти половину личного состава. Военные историки доныне спорят о степени личной ответственности лорда Кардигана за эту неудачу.

[7] Говард Таскер Блисс (1860—1920) — американский миссионер, с 1907 г. глава протестантского колледжа в Бейруте.

[8] Пресвитериане — протестантское течение, базирующееся на учении Кальвина. Устройство пресвитерианских общин и их объединений в рамках государства подчеркивает независимость от светских властей (в отличие, например, от англиканства). Общины избирают руководителей — пресвитеров, — а те, в рамках государства, образуют высший орган — пресвитерию, или синод, — нечто вроде церковного парламента.

[9] Гледис Янг (1900—1975) — британская общественная деятельница; с 1951 г. — кавалерственная дама Ордена Британской империи.

[10] Христианская ассоциация молодых людей — созданная в 1844 г. неполитическая международная молодежная благотворительная организация.

[11] Эдуард Морган Форстер (1879—1970) — английский писатель; его антиколониальный роман «Поездка в Индию» вышел в свет в 1924 г.

[12] Фредерик Уильям Хэслак (1878—1920) — британский востоковед.

[13] Уоррен Гамалиэл Гардинг (Хардинг) (1865—1921) — 29-й президент США в 1921—1923 гг., республиканец.

[14] См. «Цивилизация перед судом истории», «Ислам, Запад и будущее», примеч. 19 и 22 и «Пережитое», ч. II, гл. 8, примеч. 22.

[15] Гамаль Абдель Насер (1918—1970) — египетский государственный деятель, президент Египта с 1956 г. В феврале 1958 г. Египет и Сирия объединились в единое государство — Объединенную Арабскую Республику (ОАР), фактически под руководством Египта (президентом нового государства стал Насер). В 1961 г. союз распался, но Египет, возглавляемый все тем же Насером, сохранял прежнее название до сентября 1971 г.

[16] Фейсал Абдель Азиз ас-Сауд (1906—1975) — король Саудовской Аравии с 1964 г.

[17] Согласно Писанию, когда Моисей вывел евреев из Египта, фараон послал за беглецами войско на колесницах. Евреи подошли к Чермному (Красному) морю. «И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею; и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону» (Исх., 14, 21—22). Колесницы египтян преследовали их до середины моря. «И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место: а Египтяне бежали на встречу воде. Так потопил Господь Египтян среди моря» (Исх., 14, 27). Строго говоря, евреи переходили не собственно Красное море, а Суэцкий залив этого моря. Подобный феномен (хотя и не в таких масштабах), когда ветер в сочетании с отливом отгоняет воду так, что обнажается дно, а равно и обратное — изменившийся ветер в сочетании с приливом нагоняет воду — описан еще античными географами.



17. СЕМЬЯ МЕЙЕНДОРФ

[1] Рауф Орбей (1875—1931) — турецкий политический деятель.

[2] Варвара Мейендорф (1885—1946) — урожденная Шервашидзе, принадлежала к семейству бывших владетельных князей Абхазии.

[3] С XV в. Абхазия находилась под властью турок. В 1809 г. над Абхазией установлен российский протекторат, при сохранении власти местной

династии. После восстания 1824 г. эта власть была существенно ограничена. Немалая часть жителей Абхазии приняла участие в Кавказских войнах 1817—1864 гг. После покорения Кавказа в 1864 г. княжество Абхазия было упразднено и образован Сухумский отдел, управляемый военным губернатором. В 1877 г. во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. произошло новое восстание с целью поддержки турок. Подавление каждого восстания сопровождалось массовой эмиграцией в Турцию, особенно после восстания 1877 г., когда абхазы были объявлены российскими властями «виновным населением».

[4] Со времен Средневековья Шотландия четко делилась на Низинную (Lowland) и Горную (Highland). Жители Горной Шотландии долго сохраняли кельтский (гэльский) язык и традиционное клановое устройство. После Славной революции 1688 г., свергнувшей Иакова II Стюарта, шотландцы весьма прохладно приняли новых правителей (Стюарты — шотландцы по происхождению) и противились окончательному объединению с Англией (это произошло в 1707 г.), приведшему к упразднению не только формальной независимости Шотландии (фактически ее не существовало с нач. XVII в.), но и ее реальной автономии. В 1715 и 1745 гг. происходили т. наз. якобитские восстания под руководством сына свергнутого монарха, т. наз. «старого претендента», или «Иакова III» (1688—1766), и его сына, «молодого претендента» Карла Эдуарда Стюарта (1720—1788). После второго восстания кланы были распущены, и традиционное самоуправление горцев запрещено.

[5] Генерал Лиотэ. — См. «Цивилизация перед судом истории», «Ислам, Запад и будущее», примеч. 45.

[6] Тэн — здесь: вождь клана у шотландских горцев.

[7] Джейн Остин (1775—1815) — английская писательница; основная тема ее романов — быт и нравы английской провинции.

[8] Эстляндия — современная северная Эстония.

[9] На рубеже XII—XIII вв. немцы начали завоевание населенных языческими прибалто-финскими и летто-литовскими племенами земель в регионе нынешних Эстонии и Латвии. В 1202 г. рижский епископ Альберт фон Буксхеведен (ум. 1229, епископ с 1199) основал (но не возглавил) духовно-рыцарский Орден Братьев Христова воинства. Орденской одеждой был белый плащ с красным крестом в виде меча, потому этот орден также назывался Орденом меченосцев. На всем протяжении существования ордена его руководство вело борьбу с епископами Рижскими, претендовавшими на сюзеренитет над орденскими землями, и местным дворянством (эти вассалы ордена были не воинами-монахами, а светскими рыцарями), в основном, немецкого происхождения, добивавшимся, и в конечном итоге, успешно, участия в управлении. В 1237 г. Орден меченосцев вошел в состав Тевтонского ордена (см. ниже) — тогда же меченосцы получили название Ливонского ордена — на правах автономии, причем границы этой автономии были постоянным предметом спора между орденами. После Торуньского мира (см. ниже) Ливонский орден объявил себя самостоятельным. В 1562 (фактически — в 1561) г., в ходе несчастной для России Ливонской войны 1558—1583 гг. между нею с одной стороны и орденом, Швецией, Польшей и Литвой — с другой, орден был упразднен, а владения его, в конечном счете, поделили победители.

[10] Тевтонский орден имеет длинную историю. В 1118 г. в завоеванном крестоносцами Иерусалиме немцами был основан госпиталь св. Марии Тевтонской. После отвоевания Иерусалима мусульманами, во время Третьего крестового похода несколько бюргеров из Бремена и Любека основали в сер. 1190 г. в лагере крестоносцев, осаждавших Акру, братство для ухода за больными (в лагере свирепствовала эпидемия) немецкими крестоносцами. После взятия Акры в том же году это братство получило здание в городе, названное Иерусалимский немецкий госпиталь св. Марии (связи с первым немецким госпиталем не установлены), и указанное братство было поименовано Орден дома св. Марии Тевтонской. В 1198 г. братство было преобразовано в духовно-рыцарский орден. Особенностью этого ордена было то, что в него принимались исключительно подданные Священной Римской империи, и обычно он назывался Тевтонский, или Немецкий. Орденская одежда — черный плащ с белым крестом. Распри между тевтонцами и другими военно-монашескими орденами в Святой Земле привели к тому, что члены Тевтонского ордена приняли приглашение одного из польских князей, Конрада Мазовецкого, который предложил им Хелминскую (Кульмскую) землю в обмен на обязательство сражаться с пруссами — языческим племенем, близким к литовцам. В 1228 г. они переселились в Польшу, хотя резиденция осталась в Акре. В 1234 г. папа даровал ордену Пруссию. В 1237 г. Тевтонский орден объединился с Ливонским и постоянно расширял свои владения (в период наибольшего могущества — до 200 тыс. кв. км) по большей части за счет захвата земель местных племен, их покорения, а то и истребления. Предпринимались также попытки захвата северо-западных русских земель (Ледовое побоище 1242 г. — лишь один из эпизодов этой борьбы), впрочем, не очень активные и, главное, безуспешные. В кон. XIII в. орден превращается в духовное княжество, в 1309 г. резиденция его перемещается из Венеции, где она находилась после захвата Акры мусульманами в 1291 г., в Мариенбург (ныне — Мальброк в Польше). С 1-й пол. XIV в. главными врагами ордена оказываются Польша и Литва, на земли которых идет активное наступление. 15 июля 1410 г. объединенное польско-литовское войско, в составе которого была татарская конница и смоленский полк (Смоленск входил в состав Великого княжества Литовского), нанесли тевтонцам близ г. Грюнвальд сокрушительное поражение. Дальнейшие войны с Польшей привели к тому, что по Торуньскому миру 1466 г. уменьшившийся в размерах Тевтонский орден признал вассальную зависимость от польской короны, а столица его была перенесена в Кенигсберг. Во время Реформации в 1525 г. орденские владения были превращены в светское герцогство Пруссию. Орден, однако, продолжил свое существование с резиденцией в Вене. Уничтоженный по требованию Наполеона в 1809 г., он был восстановлен там же в 1834 г., где существует и поныне в качестве религиозно-благотворительной организации.

[11] Эстляндия и Лифляндия (территория нынешних южной Эстонии и северной Латвии) в результате Ливонской войны отошли к Швеции, а в 1710 г. в ходе Северной войны 1700—1721 гг. — к Российской империи. Герцогство Курляндское (территория южной Латвии) было образовано во время Ливонской войны в 1561 г. как вассальное по отношению к Польско-Литовскому королевству; с 1710 г. — вассал России, в 1795 г. превращено

в Курляндскую губернию. О Финляндии см. «Цивилизация перед судом истории», «Византийское наследие России», примеч. 6. Следует отметить, что международно-правовой статус Финляндии так и не был в полной мере определен до обретения ею независимости в 1917 г. Финские (и многие западные) правоведы считали Российскую империю и Великое княжество Финляндское разными суверенными государствами, находящимися в личной унии, российские юристы (и — главное — российское правительство) полагали, что Финляндия — автономная часть единой и неделимой России.

[12] Следует отметить, что не только в существовавших в 1918—1939 гг. независимых Латвии и Эстонии, но и в Эстляндской и Лифляндской губерниях Российской империи уровень грамотности был весьма высок — более 95% мужчин старше 10 лет и более 90% женщин того же возраста — и являлся самым высоким в Российской империи.

[13] Пуштуны — ирано-язычный этнос, ок. 25 млн человек, составляют большинство населения в Афганистане (ок. 55 %, 9,5 млн человек) и северо-западной провинции Пакистана (в описываемое время — северо-западной пограничной провинции Британской Индии).

[14] «Краснокирпичные университеты» — британские университеты, созданные в крупных городах после Первой мировой войны в связи с реформой высшего образования, предпринятой правительством с целью сделать оное высшее образование более доступным для средних слоев населения. Обычно противопоставляются элитным высшим учебным заведениям — Кембриджскому и Оксфордскому университетам.

[15] Карельский перешеек — территория между Финским заливом и Ладожским озером; южная часть его с XVI (фактически даже с XIV) в. принадлежала Московскому царству. С 1389 г. запад средней и северной части его, а с 1617 г. вся средняя и северная часть находились во владениях Швеции. В 1721 г. после Северной войны весь перешеек отошел к Российской империи. В 1809 г., после присоединения Финляндии ей была передана часть перешейка к северу от р. Сестры. В 1918 г. указанная часть перешейка осталась за независимой Финляндией, в результате советско-финской войны 1939—1940 гг. отошла к СССР.

[16] В конце сентября 1938 г. германское правительство предъявило претензии на Судетскую область Чехословакии, мотивируя это тем, что большинство населения там составляли этнические немцы. Великобритания и Франция первоначально резко противились этим претензиям. 22 и 23 сентября войска этих стран были приведены в состояние боевой готовности, во Франции объявлена мобилизация. Однако 29—30 сентября в Мюнхене состоялась конференция глав правительств Великобритании, Франции, Германии и Италии. В результате было подписано т. наз. Мюнхенское соглашение, в результате которого Судеты передавались Германии, Закарпатская Украина (в тот момент — автономная область в составе Чехословакии) — Венгрии, некоторые территории — Польше. Это привело к распаду Чехословакии, образованию независимого государства Словакия, а в январе 1939 г. — к оккупации Германией Чехии. Мюнхенское соглашение было широко разрекламировано как победа здравого смысла, как акция, сделавшая войну невозможной. На деле это лишь подстегнуло аппетиты Гитлера, что меньше, чем через год привело к началу Второй мировой войны.



19. МОИ ТУРЕЦКИЕ ДРУЗЬЯ

[1] С первых веков ислама среди верующих были люди особо приверженные любви к Аллаху и ищущие спасения в аскетизме и отшельничестве. В X—XI вв. стали создаваться общины таких аскетов; обычно, членов этих общин называли персидским словом «дервиш» (букв. «порог»; в переносном смысле — нищий, просящий подаяния). Во главе таких общин, которые объединялись в более крупные сообщества, наподобие монашеских орденов в христианстве, стояли старейшины (*араб.* «шейх», *перс.* «пир»). Дервиши были как странствующие, так и оседлые, жившие в обителях, именуемых «рибат», «хангах» или «текке». В описываемое время в Стамбуле было более 200 таких текке. Дервиши пользовались огромным уважением в Исламском мире, почитались искусными врачевателями и даже чудотворцами. Лечение они осуществляли как путем различных заклинаний и амулетов, так и посредством разнообразных традиционных и нетрадиционных медицинских практик.

[2] Классическая античная медицина, первым основателем которой был грек Гиппократ (ок. 460 — ок. 370 до н. э.), а вторым (он создал первое анатомо-физиологическое описание человеческого тела) — римлянин Клавдий Гален (ок. 130 — ок. 200), получила развитие в Исламском мире в т. ч. потому, что труды великого грека были переведены на арабский. Самым знаменитым представителем этой школы был Абу Али ибн Сина (ок. 980—1037), известный в Европе как Авиценна, иранец, писавший на тогдашнем языке науки — арабском. Его «Канон врачебной науки» был непререкаемым источником медицинского знания до XVI в. на Западе, а на Востоке — и позднее.

[3] Семь дьяволов — старинное английское обозначение семи смертных грехов.

[4] 11 октября 1922 г. в г. Муданья Турцией, с одной стороны, и Великобританией, Францией, Италией и Грецией (последняя сделала это 13 октября) — с другой, было подписано соглашение о прекращении военных действий между Грецией и Турцией и эвакуации греческих войск с европейской части Турции. Лозаннский мирный договор (см. выше) был заключен 24 июля 1923 г.

[5] «Турецким движением сопротивления» Тойнби, видимо, по аналогии с движением Сопротивления времен Второй мировой войны, именует те силы в Турции, которые не признали условий капитуляции Османской империи в 1918 г. и Севрского мирного договора в 1920 г., а также выступили против любых соглашений с Грецией, пока та оккупирует турецкие территории. Лидером этих сил был Мустафа Кемаль Ататюрк, в мае 1919 г. провозгласивший создание т. наз. «комитетов защиты прав». Эти комитеты на съездах в июле и сентябре того же года образовали высший орган власти — Временный представительный комитет во главе с Кемалем, не признававший власти правившего в Стамбуле султана. Султан сначала объявил Ататюрка мятежником, но потом вошел с ним в соглашение и созвал в январе 1920 г. парламент, где сторонники Ататюрка получили большинство. Этот парламент был разогнан англичанами, оккупировавшими

Стамбул в марте 1920 г., но часть депутатов бежала в Анкару, где 23 апреля было созвано Великое национальное собрание, объявившее себя высшим органом власти и создавшее национальное правительство во главе все с тем же Мустафой Кемалем.

[6] Мустафа Кемаль Ататюрк (напомним, — он умер в 1938 г.) весьма активно боролся не только со своими противниками из числа исламистов и приверженцев султана, но и с либералами в собственном лагере, и даже — несмотря на активную помощь кемалистской революции со стороны советских республик (с 1922 г. — СССР) — жестоко преследовал собственных коммунистов.

[7] «Энциклопедия ислама» — специализированное издание, содержащее сведения по географии, истории, литературе и религиям стран распространения ислама и народов, исповедующих эту религию. Издается параллельно на английском, французском и немецком языках в Лейдене. Первое издание (именно оно здесь имеется в виду) выходило в 1908—1934 гг.

[8] Mésintelligence (*фр.*) — «разногласие, разлад», «взаимное непонимание».

[9] Арнауткёи — квартал в Стамбуле на европейском берегу Босфора. Указанный американский протестантский колледж для девочек был основан в 1871 г.

[10] «Библейский пояс» — появившееся в 1920-е гг. название штатов американского Юга и, частично, Среднего Запада, считавшихся оплотом протестантов-фундаменталистов.

[11] См. «Постижение истории», т. 12, «Место России в истории», примеч. 19.

[12] Чан Кайши (Цзян Цзеши) (1887—1975) — китайский государственный деятель, глава партии Гоминьдан, президент Республики Китай с 1927 г. (с 1949 г. — фактически — Тайваня). Супруга Чан Кайши, Сунь Мэйлинь (1897—1989), была родственницей Сунь Ятсена и родной сестрой его жены.

[13] Генерал Ма Чжунинь (ум. 1949) — китайский военный и государственный деятель, генерал, сторонник Чан Кайши, в 30-е гг. XX в. — фактический правитель провинции Ганьсу.

[14] Гарольд Джозеф Ласки (1893—1950) — английский социолог, лейборист.

[15] Валлоны — этнос в Бельгии, говорят на французском языке (особый валлонский диалект французского языка практически исчез). Валлоны (как и французы) — потомки кельтских племен, подвергшихся романизации после завоевания их территорий римлянами в I в. до н. э.

[16] Храм Небес — храм в т. наз. Императорском (иначе — Закрытом) городе, квартале старого Пекина, где располагался императорский дворец и ряд других сооружений, в т. ч. культовых. Храм Небес строился в 1420—1530 гг. Маньчжуры обрели собственную письменность лишь в XVII в., заимствовав ее у монголов. Монгольское письмо, появившееся в XII—XIII вв. и заимствованное у народов Средней Азии, действительно восходит к арамейскому алфавиту. Надписи этим письмом пишутся сверху вниз и справа налево.

[17] Exul immeritus (*лат.*) — «безвинный изгнанник», выражение Данте Алигьери (1265—1321). Великий поэт активно участвовал в политической жизни родной Флоренции. После переворота 1301 г., когда к власти пришла группировка его политических противников, он был в начале 1302 г.

приговорен сначала к огромному штрафу, потом к изгнанию и даже — если посмеет вернуться — к смертной казни через сожжение и с тех пор до конца жизни скитался по разным городам Италии (то ли в 1308—1309, то ли в 1309—1310 гг. был в Париже). Указанный приговор был подтвержден в 1315 г. (в качестве курьеза можно добавить, что отменен этот приговор флорентийским городским судом лишь в 1965 г., к 700-летию со дня рождения Данте). В «Письме флорентийскому другу» (адресат неизвестен, написано предположительно в 1316 или 1317 г., некоторые исследователи считают его позднейшей подделкой), откуда взято вышеприведенное латинское выражение, Данте говорит, что ему разрешили вернуться на условиях принесения унизительного покаяния, но он с гневом отверг это предложение.

[18] Крейсер «Хамидие» — гордость османского военно-морского флота. Во время Первой Балканский войны 1912 г. этот крейсер, под командованием Рауфа Орбея, прошел незамеченным мимо греческой эскадры и обстрелял берега Греции.

[19] Шериф (здесь: прилагаемое к имени почетное прозвание, означающее, что генеалогия данного лица восходит к родне самого пророка Мухаммеда) Арик Ремзи Огуз Бей (ум. 1953) — турецкий историк.

[20] Роберт Уоллес Маклахлан (1845—1926) — канадский нумизмат и антиквар.

[21] Килисли Рифат (1877—1936) — турецкий переводчик. «Инглиз» — турецкое название англичан.

[22] Обри Найджел Генри Молине Херберт (1880—1923) — британский дипломат и путешественник.

[23] Риза Тевфик (1865—1949) — турецкий историк философии.

[24] Абдаллах ибн Хусейн (1882—1951) — второй сын короля Хиджаза Хусейна, с 1926 г. — эмир подмандатного Великобритании государства Трансиордания, созданного из части османских владений, с 1946 г. — король независимого государства Иордания, как с этого времени стала называться Трансиордания.

[25] Huns (*нем.*) — «гунны». Этим презрительным прозвищем, означающим «дикие варвары», англичане именовали немцев во время Первой мировой войны.

[26] Комитет «Единение и прогресс». — См. «Постижение истории», т. 9, «Социальные последствия контактов между современными друг другу цивилизациями», примеч. 2.

[27] Талаат-паша. — См. «Пережитое», ч. II, гл. 4, раздел III, примеч. 1.

[28] Абдул-Хамид II. — См. «Постижение истории», т. 6, «Универсальные государства как цели», примеч. 5. Надо отметить, что Тойнби, явно симпатизирующий Турции, несколько идеализирует деятельность комитета «Единение и прогресс». Действительно, вожди младотурок заявляли, что отныне в Османской империи не будет ни мусульман, ни христиан, ни турок, ни арабов, ни греков, ни армян, но лишь одна нация — османы. Однако на практике нетурецкие этносы (даже, например, арабы-мусульмане) были гражданами второго сорта. Кроме того, указанная политика была направлена против любой региональной и даже культурной автономии.

[29] В результате русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Болгария и Румыния обрели независимость (подробнее см. «Постижение истории», т. 12, «Место России в истории», примеч. 11), что могло побудить армян к

определенным мечтаниям о независимости, но эти мечтания никак не выражались — в противовес сказанному Тойнби — в политические действия.

[30] «Государство-наследник» — термин Тойнби: государство, возникшее на территории распавшейся империи (напомним: для Тойнби империя — область необязательно политической гегемонии, возможно и культурного влияния) и использующее некоторые традиции прежней империи. Так, например, халифат Омейядов английский историк считает одним из государств-наследников Римской империи, Византийскую державу — другим.

[31] Греки действительно не были основным населением Центральной Анатолии, которую Греция стремилась завоевать в ходе греко-турецкой войны 1919–1922 г. Но армяне, несмотря на обширную диаспору в Османской империи, составляли, до геноцида, большинство в Турецкой Армении, в районах вокруг озера Ван.

[32] Неточность. Активные действия русской армии в Турции развернулись уже *после* геноцида армян. Эрзрум был взят 16 февраля 1916 г., Трабзон — 18 апреля, Эрзинджан — в середине июля; тогда же русский казачий отряд, пройдя через Персию, вошел в Месопотамию.

[33] «Пятая колонна». — См. «Мир и Запад», «Дальний Восток и Запад», примеч. 3.

[34] Депортация японцев в США осуществлялась в нач. 1942 г., после начала войны с Японией. Этнические японцы, в большинстве жившие на тихоокеанском побережье США, были сосланы в концентрационные лагеря, где пребывали в не самых лучших условиях, до конца Второй мировой войны.

[35] Джемаль-паша, Энвер-паша. — См. «Пережитое», ч. II, гл. 4, раздел III, примеч. 1

[36] Али Риза Бей (ум. после 1938 г.) — турецкий филолог.

[37] Эдвард Денисон Росс (1868–1941) — британский востоковед.

[38] Медресе — исламское высшее учебное заведение.

[39] Лорд Керзон был вице-королем Индии в 1899–1905 гг.

[40] Audi alteram partem (*лат.*) — «Выслушай другую сторону». Впервые это выражение (точнее — audi partem alteram) встречается у Августина Блаженного, но восходит еще к Античности. В судейской присяге в Афинах были слова: «Я буду выслушивать обвиняемого и обвинителя одинаково».

[41] Тойнби имеет здесь в виду, что исторические и литературные сочинения, описывающие греческие полисы и их соседей, в первую очередь Персию, были созданы в Афинах, сведения о финикийцах и филистимлянах Европа долгое время черпала исключительно из Библии, т. е. мы знаем нечто о тех или иных странах и народах от их врагов.

[42] Гладстон, как и большинство в его Либеральной партии, был сторонником автономии и даже независимости народов, входивших в состав Османской империи (в первую очередь греков), тогда как противники либералов — консерваторы — поддерживали единую и неделимую Османскую империю. Ср. ниже.

[43] Томас Уокер Арнольд (1864–1930) — британский исламовед.

[44] Общество организации благотворительной помощи — основанная в 1869 г. (первоначальное название — Общество для организации благотворительных пособий и искоренения нищеты) общественная благотворительная организация, ставившая целью координацию благотворительной дея-

тельности в Великобритании, составление общенациональных и региональных списков нуждающихся, определение характера помощи и т.п.

[45] Имеется в виду т. наз. Сасунская (Сасун — историческая область Турецкой Армении к юго-западу от оз. Ван) резня в 1896 г.

[46] Ирония Тойнби направлена на французского премьера Клемансо, ибо тот на Парижской мирной конференции ратовал за установление власти европейцев (французов и англичан) над арабским Ближним Востоком, т. е. как бы призывал к восстановлению государств крестоносцев, существовавших там в 1097—1291 гг.

[47] См. «Пережитое», ч. I, гл. 4 «Две Парижские мирные конференции» и соответствующие примеч.

[48] Артур Джон Эванс (1851—1941) — британский археолог-античник.

[49] Дар-аль-ислам (*араб.*) — букв. «территория ислама». В раннем исламе эпохи завоеваний так обозначалось то, что европейские историки назвали Арабским Халифатом. Для самих мусульман это было государство-община, населенная правоверными. Весь остальной мир обозначался «дар-аль-харб» — «территория войны», т. е. земли, которые предстоит завоевать, а население обратить в ислам. Впрочем, ныне выражение «дар-аль-ислам» умеренными мусульманами (но не крайними исламистами) употребляется в значении «исламский мир», «мир мусульманской цивилизации» — и Тойнби следует именно этому значению.

[50] Именование язычников «эллинами» (Hellene) (что означало никак не греков в узко этническом смысле, но людей эллинской цивилизации) восходит к новозаветному словоупотреблению. Ср.: «Нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания» (Колосс., 3, 11).

[51] Стивен Декатур (1776—1820) — американский морской офицер, участник англо-американской войны 1812 г. Прославился своим тостом на официальных торжествах по поводу окончания этой войны. В этом тосте он сказал: «Наша страна! В ее отношениях с иностранными нациями она не может быть всегда права, но это наша страна, права она или нет». Последние слова стали крылатым выражением, превратились в поговорку.

[52] См. «Постижение истории», т. 1, «Относительность исторического мышления», примеч. 1.

[53] Исмет Инёню (1884—1973) — турецкий государственный деятель, соратник Ататюрка, премьер-министр Турции в 1923—1937 и 1961—1965 гг., президент в 1938—1950 гг., преемник Ататюрка на этом посту, а также в 1938—1972 гг. на посту председателя созданной Ататюрком Народно-республиканской партии.

[54] Мечеть Завоевателя — крупнейшая мечеть в Стамбуле, построенная во 2-й пол. XV в. Заложить ее приказал турецкий султан Мехмед II Фатих (1432—1481, султан в 1444 г. и с 1451 г.), завоеватель (Фатих и значит Завоеватель) Константинополя в 1453 г.



20. ПРОФЕССОР ЛЮТОСЛАВСКИЙ

[1] Винценты Лютославский (1863—1955) — польский историк философии, специалист по Античности.

[2] В данном контексте *лат.* num — «разве», *лат.* nonne — «не правда ли?».

[3] Напомним читателю, что в 1928 г. Вильнюс принадлежал Польше и потому носил полонизированное название — Вильно, — как, впрочем, и в те времена, когда город принадлежал Российской империи. Как раз в указанном 1928 г. литовское правительство объявило Вильнюс будущей столицей.

[4] In medias res (*лат.*) — «к самому главному», «к самому важному», «к самой сути дела».

[5] Per diem — здесь: (*лат.*) «в день».

[6] Тойнби не совсем точен. В Виленском крае (см. ниже) большинство составляли литовцы, но в городе Вильнюсе — поляки. По данным на 1923 г. в Вильно на 167 545 человек населения было 100 830 поляков, 55 437 евреев; остальные — литовцы и русские (далеко не все из них были белоэмигрантами, часть русских осталась еще со времен Российской империи).

[7] История Виленского края (Виленщины) такова. После третьего раздела Польши (1795 г.) Литва отошла к Российской империи, а из Виленского воеводства была образована Виленская губерния, не вошедшая в образованное в 1815 г. Царство Польское (см. «Постижение истории», т. 12, «Место России в истории», примеч. 10). В 1915 г. вся Литва была занята немецкими войсками, и германское правительство провозгласило независимость Литвы. Споры между Польшей и Литвой за Виленский край начались еще в 1917 г., до завершения Первой мировой войны. После падения в Литве советской власти (она была провозглашена в Вильнюсе 16 декабря 1918 г.) в августе 1919 г. Виленский край был захвачен польскими войсками, но в мае 1920 г., в ходе советско-польской войны (ее вели Польша и РСФСР, ибо Советского Союза еще не существовало; кстати сказать, Тойнби безоговорочно считает именно Польшу виновной стороной в этой войне — ср. «Цивилизация перед судом истории», «Византийское наследие России», примеч. 12) занят Красной Армией и по Московскому договору 12 июня 1920 г. между РСФСР и Литовской республикой передан Литве (по этому договору, среди прочего, к Литве переходило и Гродно). Еще до заключения перемирия между Советской Россией и Польшей в сер. октября 1920 г. по требованию Совета Лиги Наций 29 сентября — 7 октября состоялись переговоры между Литвой и Польшей, завершившиеся соглашением о том, что Виленщина отходила к Литве (Гродненское воеводство — к Польше). Однако 9 октября генерал Люциан Желиговский (1865—1947), действуя формально, как мятежник, повел свои «взбунтовавшиеся» войска на Вильнюс и занял его. Рижский мирный договор 18 марта 1921 г. между РСФСР и советскими Украиной и Белоруссией, с одной стороны, и Польшей — с другой закрепил за Польшей Западную Украину и Западную Белоруссию, но Виленский край в нем не упоминался. В январе 1922 г. были проведены выборы в особый Виленский сейм, в котором из 18 депутатских мест поляки получили 16. 20 февраля того же года этот сейм принял решение о безоговорочном присоединении к Польше, что было оформлено особым актом о соглашении между Польшей и Виленщиной 1 марта. Конфликт между Польшей и Литвой был передан на рассмотрение Лиги Наций, и ее решением от 3 февраля 1923 г., подтвержденным на совещании послов Антанты 15 марта, Виленщина,

несмотря на протесты Литвы и СССР, была оставлена за Польшей. Литва никогда не признала этот факт. После начала Второй мировой войны в соответствии с соглашением Молотов—Риббентроп советские войска заняли 17 сентября 1939 г. Виленский край и 10 октября передали его Литовской республике.

[8] Fait accompli — здесь: (*фр.*) «свершившийся факт».

[9] Неточность. В Рижском мирном договоре Вильнюс не упоминался. Ср. выше.

[10] Имеется в виду Великое княжество Литовское, которое в момент максимального расширения во 2-й пол. XV в. простиралось с северо-запада на юго-восток от района нынешней Паланги до черноморского побережья между устьями Днестра и Днепра.

[11] Каунас (русское и польское название — Ковно) был временной столицей Литвы в 1920—1940 гг.

[12] Следует отметить, что большинство исследователей творчества Платона исходили, в определении хронологии его диалогов (даты их до нас не дошли), из предполагаемой внутренней логики развития платоновской философии.

[13] Бриарей — в греческой мифологии сын бога неба Урана и богини земли Геи, чудовищное существо с 50 головами и 100 руками.

[14] Gelehrter (*нем.*) — букв. «ученый»; в переносном смысле — ученый педант, ученый сухарь.

[15] Чарльз Артур Зипман (1899—1976) — британский специалист по теории СМИ.

[16] Как можно понять, разговор происходит в 1938 г., когда после Мюнхенского соглашения часть территорий, принадлежавших до Первой мировой войны Германии, а затем отошедших к Чехословакии, были переданы Польше.

[17] Профессор Лютославский оказался пророком. После Второй мировой войны Польша приобрела значительную часть Восточной Пруссии (другая отошла к СССР), Гданьск (в 1918—1939 гг. — «вольный город» под управлением Лиги Наций, в 1939 г. оккупирован Германией) и бóльшую часть Западной Пруссии.

[18] Эдуард Рыдз-Смилгы (1886—1941) — польский военный и государственный деятель, маршал, командующий армией в советско-польской войне, главнокомандующий в 1939 г., фактически правитель Польши (формально занимал лишь военные посты) в 1935—1939 гг.

[19] «Скорбный слуга». — См. «Цивилизация перед судом истории», «Христианство и цивилизация», примеч. 19.

[20] Тойнби, видимо, имеет в виду, что Львов находится в Галиции, где большинство населения составляют не поляки, а украинцы, подобно тому как в Виленском крае — литовцы.

[21] Рейхсрат — австрийский парламент в 1848—1851 и 1861—1918 гг. Австрия и до 1867 г. (см. ниже) представляла собой совокупность земель с определенной степенью самоуправления, а также отдельных «королевств», т. е. автономных территорий, напр. королевство Галиция и Лодомерия, королевство Богемия и Моравия. Все эти земли и королевства должны были быть представлены в рейхсрате, тем более что последний до 1873 г. избирался местными представительными собраниями.

[22] Десять дней Брешии — принятое в итальянской исторической науке и публицистике название событий 23 марта — 2 апреля 1849 г. Во время австро-итальянской войны 1848—1849 гг. Брешиа, принадлежавшая Австрии, дважды восставала, причем второй раз именно 23 марта 1849 г. Австрийские войска подошли к городу 30 марта, и 2 апреля он был взят после жестокой бомбардировки, приведшей к значительным разрушениям.

[23] Шёнбрунн — императорский дворец в Вене; построен в 1695—1700 гг.

[24] Присоединенная к Австрии еще в результате Карловицкого мира 1699 г. (см. «Постижение истории», т. 2, «Шесть форпостов в истории Западной Европы», примеч. 22) Венгрия не оставляла попыток к самоопределению. Во время общеевропейской революции 1848 г. венгры потребовали от правительства Австрийской империи, также охваченной революцией, особой конституции, которая им была дарована весной 1848 г. Однако осенью того же года началось восстание, направленное на отделение Венгрии от Австрии, и венгерский парламент провозгласил это отделение 14 апреля 1849 г. Император Франц-Иосиф I (1830—1916), сам ставший монархом в 1848 г. на волне революции (его предшественник отрекся от престола, будучи не в силах справиться с ней), был непримиримым противником венгерской свободы (неприязнь к венграм он сохранил до конца своих дней) и с помощью 100-тысячной русской армии к осени 1849 г. подавил венгерскую революцию. О создании двуединой Австро-Венгерской монархии см. «Постижение истории», «Шесть форпостов в истории Западной Европы», примеч. 34. Это создание было оформлено как особое соглашение между Австрией и Венгрией.

[25] Строго говоря, в исторической науке (но не в публицистике, особенно польской и не в общественном мнении, также особенно польском) принято насчитывать три раздела Польши (1772, 1793 и 1795 гг.) между Россией, Австрией и Пруссией, причем последний раздел привел к уничтожению независимой Польши. Четвертым разделом обычно именуют передел польских земель на Венском конгрессе 1815 г. (см. «Постижение истории», т. 12, «Место России в истории», примеч. 12), причем в этом переделе принимали участие все вышеназванные страны. Пятым разделом Тойнби (и не только он) называет уничтожение Польши в 1939 г., когда СССР получил Западную Украину и Западную Белоруссию, Литва — Виленский край (но вскоре все это все равно досталось СССР, так что говорить об отмщении со стороны *трех* враждебных соседей Польши есть некоторое преувеличение), а оставшаяся часть под названием Варшавского генерал-губернаторства досталась нацистской Германии.



21. БОНН ПРИ НАЦИСТАХ

[1] Remplaçant (*фр.*) — «заместитель», «замена».

[2] Трон Священной Римской империи всегда был в принципе выборным. К XIII в. оформилась избирательная коллегия из семи членов; они именовались курфюрстами и постепенно стали высшими и почти суверенными князьями Империи. Курфюрстов было четыре светских — король Чешский, герцог Саксонский, маркграф Бранденбургский и пфальц-

граф Рейнский, и три духовных — архиепископы Кёльнский, Майнцский и Трирский. Курфюрстом Кёльнским (последним владетельным князем) с 1784 г. был Максимилиан Франц Австрийский (1756–1801), представитель младшей ветви австрийского правящего дома.

[3] Имеются в виду Виттельсбахи, род герцогов Баварских в 1180–1806 гг., королей Баварии в 1806–1918 гг.

[4] Вестфалия — историческая область Германии между Рейном и Везером. В XVIII в. на территории Вестфалии находилось множество мелких светских и духовных княжеств. В 1806 г. Наполеон объявил о создании Вестфальского королевства, трон которого в 1807 г. занял его брат Жером (1784–1860). Королевство это пало в 1813 г. (Жером официально отрекся в 1814 г.), и по решению Венского конгресса прежние владетели в Вестфалии не восстанавливались на своих тронах, а территория бывшего королевства образовала прусскую провинцию Вестфалия. После Второй мировой войны — часть федеральной земли ФРГ Северный Рейн-Вестфалия.

[5] Имеется в виду франко-прусская война 1870–1871 гг. Следует отметить, что, хотя прусское правительство во главе с Бисмарком усиленно провоцировало войну, официально она была объявлена 19 июля 1870 г. именно Францией.

[6] На территории Германии (точнее — Пруссии) военные действия во время франко-прусской войны все же были. В самом начале войны, 7 августа 1870 г. французы предприняли неудачную попытку взять Саарбрюккен, который тогда находился именно в Рейнской провинции (ныне — столица федеральной земли ФРГ Саар). Но уже 11–15 августа французы были вытеснены на свою территорию. 2 сентября окруженные под Седаном основные силы французской армии во главе с самим императором Наполеоном III сдались. Уже 19 сентября немецкая армия (объединенные силы Пруссии и ее германских союзников) осадили Париж; 27 сентября в Меце капитулировала самая крупная, после Седанской, группировка французских войск; наконец, измученный голодом, Париж сдался 28 января 1871 г. После этого было принято решение о прекращении огня.

[7] Korps — здесь: (*нем.*) «студенческие корпорации». Эти корпорации восходят к позднесредневековым студенческим братствам, со сложными ритуалами, обязательными совместными пирушками, традиционным разгулом и т. п. К XVIII в. указанные корпорации приобретают замкнутый аристократический характер, в них начинают практиковаться дуэли, являющиеся признаком дворянского быта.

[8] Rhenus (*лат.*) — Рейн.

[9] И до прихода к власти, и в первые годы своего правления нацисты апеллировали одновременно и к аристократическому «истинно немецкому» духу — их влияние именно в аристократических Korps было достаточно сильным — и к «демократизму». Вряд ли расширение числа студенческих организаций и привлечение в них тех, кто не являлся аристократами, можно считать проявлением гуманизма. Просто для истовых последователей расовой теории *все* немцы являются «высшей расой», а следовательно, *все* они аристократы.

[10] Идеология нацизма была в значительной степени антихристианской вообще, но с особой неприязнью нацисты относились к католичеству как к религии не национальной, не «истинно германской», католическая Церковь

понималась как «интернациональная» (что для сторонников национал-социализма неприемлемо), глава ее — находящимся вне Германии и т. п. Надо отметить, что в католических землях Германии влияние нацистская партия на выборах (пока эти выборы были) получала меньше голосов, нежели в протестантских.

[11] Праздник Тела Христова — в католичестве первый четверг после Троицына дня. Отмечается торжественными процессиями с пронесением эмблем религиозных братств (в т. ч. братств мирян), устраивающих это празднество и — главное — Тела Христова, т. е. хлеба причастия.

[12] Gleichgeschaltet (*нем.*) — букв. «поравнены». «Поравнением» на официальном языке нацистского законодательства и пропаганды называлось предпринятое в 1933—1934 гг. уничтожение независимых средств массовой информации и общественных организаций. Часть их закрывалась, часть ставилась под государственный контроль. Это — полное огосударствление — и считалось «равенством» в нацистском духе.

[13] Нацизм не только был настроен антихристиански (см. выше). Его официальная идеология включала в себя некое «истинно германское» неоязычество (разумеется, оно никак не было оформлено догматически или организационно), ориентированное, скорее, не на реставрацию древнегерманской религии, а на внедрение образа этой религии, образа, заимствованного не столько из истории, сколько из опер Вагнера.

[14] Славная революция — см. выше, гл.1, примеч. 10. Летом 1688 г. король Англии Иаков II (1633—1701, король в 1685—1688) вступил в конфликт со значительной частью английской элиты, ряд оппозиционеров обратились к зятю Иакова II, штатгальтеру Голландии Вильгельму Оранскому (1650—1702, штатгальтер с 1673 г.) с просьбой о помощи. 5 ноября Вильгельм высадился с небольшим войском в Англии, без единого выстрела дошел до Лондона и беспрепятственно вступил в него 18 декабря (Иаков бежал еще 11 декабря). 26 декабря Парламент вручил полномочия по временному управлению страной Вильгельму, 28 января 1689 г. Иаков II был отстранен от престола, и Парламент, хотя и не единогласно, постановил передать корону Вильгельму. Однако условием его коронации было согласие его на Декларацию о правах, принятую Парламентом 13 февраля 1689 г. 11 апреля Вильгельм Оранский короновался как король Англии Вильгельм III, а указанная Декларация была в октябре того же года закреплена как Билль о правах. Подданные английской короны по этому Биллю не получали равные политические права, но обретали равные для всех и неслыханные для континентальной Европы гражданские права: свободу слова, шествий, организаций, равенство всех (точнее — почти всех, ибо лорды были исключены из этого правила) перед судом и т. п. Этот Билль о правах (именно его имеет в виду Тойнби) завершил период смут, гражданских войн, репрессий по отношению к политическим и религиозным противникам, что было широко распространено в стране во время Пуританской революции и Реставрации.

[15] Фриц Керн (1884—1950) — немецкий историк.

[16] Эмиль Эрвин фон Бекерат (1889—1964) — немецкий экономист.

[17] Эрнст Роберт Курциус (1886—1956) — немецкий филолог.

[18] Густав Хюбенер (1889—1955) — немецкий филолог.

[19] Вильгельм Левисон (1876—1947) — немецкий историк.

[20] Пауль Эрнест Кале (1875–1964) — немецкий папиролог.

[21] Джозеф Реймонд Маккарти (1908–1957) — американский государственный деятель, сенатор с 1946 г., с 1953 г. председатель сенатской комиссии по вопросам деятельности правительственных учреждений и ее подкомиссии по расследованиям (именно эта подкомиссия получила названия «комиссия Маккарти» и «Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности», хотя последнее название было официально закреплено за соответствующим органом палаты представителей Конгресса США). С именем Маккарти связывают т. наз. «охоту на ведьм», или «маккартизм», невероятно раздутую шпиономанию в США в 50-е гг. XX в. Массовым увольнениям, а иногда и заключению (обычно — за отказ отвечать на вопросы указанной подкомиссии, что расценивалось как «неуважение к Конгрессу» и влекло за собой уголовное преследование) подвергались не только члены компартии и ей сочувствующие (симпатии к коммунизму и СССР однозначно расценивались как факт «антиамериканской деятельности», т. е. деятельности в пользу враждебного государства), но и многие свободомыслящие люди, никогда не бывшие сторонниками Советского Союза; таковых было немало среди творческой интеллигенции и ученых. Именно последних нередко презрительно именовали «яйцеголовыми». В декабре 1954 г. Сенат США принял резолюцию, осуждающую действия Маккарти и его комиссии.

[22] Прусское королевство было официально провозглашено в 1701 г., наибольших размеров достигло в 1815 г., после создания федеративной Германской империи вошла в нее как субъект федерации с монархическим устройством (прусский король был одновременно германским императором), а в 1918 г. Пруссия стала федеральной землей, самой крупной в Германской республике, хотя и уменьшившейся в размерах по сравнению с довоенным временем, ибо территориальные потери Германии по Версальскому миру пришлись в основном на Пруссию. Строго говоря, Пруссия была упразднена еще в нацистскую эпоху, по закону от 1936 г., когда федеративное устройство Рейха и сами федеральные земли упразднялись и последние разделялись на округа. Во время Тегеранской (1943 г.), Ялтинской и Потсдамской (обе — 1945 г.) конференций стран-союзников принимались решения о послевоенном устройстве Германии, причем подчеркивалось, что Пруссия, «как очаг германского милитаризма», не будет восстановлена. После войны те ее территории, что не отошли к Польше и СССР, были поделены между новосозданными землями ФРГ.

[23] Л.Н. Толстой неоднократно выступал против официального православия, в защиту свободы совести, против применения силы по отношению к революционерам и участникам крестьянских волнений (впрочем, против революционного террора и вообще революционного насилия — тоже). Некоторые его публицистические произведения запрещались цензурой, конфисковывались, за ним временами устраивался негласный надзор полиции, 20 февраля 1901 г. Святейший Синод отлучил его от Церкви, но прямые репрессии по отношению к нему не применялись.

[24] А. Эйнштейн был ненавидим нацистами и как еврей, и как антифашист. Однако пришедшие к власти нацисты не рискнули применить прямые репрессии по отношению к всемирно известному великому ученому. В 1933 г. он уехал на научный конгресс в США, и уже вдогонку германское

правительство лишило его гражданства, Прусская Академия наук исключила из своих рядов, а его теория относительности была объявлена «еврейской физикой», безусловно запрещенной в Третьем Рейхе.

[25] Эйнштейн родился в Германии, но в 1893 г., в возрасте 14 лет переехал с родителями в Швейцарию и вернулся на родину в 1914 г. Тойнби имеет здесь в виду, что главное свое открытие — специальную теорию относительности — он сделал в Швейцарии в 1905 г.; там же им был написан и ряд других важнейших работ.

[26] Меннониты — протестантская секта, основанная в 30—40-е гг. XVI в. голландцем Менно Симмонсом (1492—1559). Одно из основных положений секты — проповедь ненасилия и широкой терпимости. Секта распространена в Нидерландах и Нижнерейнских землях Германии.

[27] В Испании в 1931 г. была установлена республика, в 1936 г. на выборах победил Народный фронт, блок левых партий, в т. ч. коммунистической. Это вызвало в том же году военный мятеж и гражданскую войну, закончившуюся падением республики в марте 1939 г. Все это привело к массовой эмиграции сторонников республики. Восстановление монархии (с вакантным троном), произведенное главой мятежников генералиссимусом Франко, было признано далеко не всеми государствами. Мексика на протяжении всей гражданской войны поддерживала республиканцев, принимала беглецов, и именно в Мексике находилось существовавшее до 1944 г. республиканское правительство в изгнании.

[28] Приморскими именуются провинции Канады, расположенные на юго-востоке страны, в приатлантической зоне: Новая Шотландия, Нью-Браунсуик, Острова Принца Эдуарда.

[29] Вальтер Марков (род. 1909) — немецкий историк, специалист по истории Французской революции, после Второй мировой войны работал в ГДР.

[30] Auslandsdeutscher (*нем.*) — «немец, родившийся за пределами Германии».

[31] Альбрехт фон Бернешторф, граф (1890—1945) — немецкий дипломат. В 1933 г. в знак несогласия с политикой нацистов ушел в отставку, в 1940 г. был арестован и заключен в концлагерь, убит в самом конце войны в апреле 1945 г.

[32] Рихард Кюнцер (1881—1945) — немецкий историк Средневековья.

[33] «Германия» («Germania») — издававшаяся с 1871 г. немецкая ежедневная католическая газета, отличавшаяся умеренно-либеральным направлением; в 1933 г. «поравнена» (см. выше), в 1938 г. — закрыта.

[34] До сер. XX в. считалось твердо установленным (на основе Библии), что Молох — имя почитавшегося в Палестине, Финикии и Карфагене божества, которому приносили человеческие жертвы, особенно детей. Ныне выдвинута гипотеза, что «молох» (molk) — обозначение самого ритуала жертвенного сожжения животных или людей.

[35] Согласно Библии, царь моавитян (см. «Постижение истории», т. 12, «История и перспективы еврейства», примеч. 4) Меса «отложился от царя Израильского» (4 Цар., 3,5). Израильтяне разгромили моавитян, а Месу осадили в его столице. «И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в Израильтянах, и они отступились от него, и возвратились в свою землю» (4 Цар., 3, 27).

[36] Согласно Писанию, нечестивый царь Иудейский Манассия (ок. 705—639, царь с 693 до н. э.) поклонялся местным божествам, свершал гадания и жертвоприношения, «и провел сына своего чрез огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников; много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать Его» (4 Цар., 21, 6). Надо отметить, что здесь все же речь идет не о жертвоприношении, а о каком-то очистительном обряде.

[37] Bien pensant (*фр.*) — «благомыслящий, благонамеренный».

[38] Невилл Чемберлен (1869—1940) — британский государственный деятель, консерватор, премьер-министр Великобритании в 1937—1940 гг., сторонник политики «умиротворения» гитлеровской Германии.

[39] Томас Карлейль (Карлайл) (1795—1881) — английский писатель, историк и философ. В его философском романе «Сартор Резартус» (*лат.* букв. «заштопанный портной») (1837) выведен, в юмористическом ключе, профессор Тейфельдрек (в основу романа положено написанное Карлейлем в 30-е гг. XIX в. эссе «Тейфельдрек»), одержимый наукой немецкий ученый.

[40] Имеется в виду т. наз. «карта Пири Рейса», по имени турецкого адмирала XVI в., которому она принадлежала. Это карта мира (не только Нового Света), причем в непривычной проекции. Доныне не ясно, была ли эта проекция изначально таковой или мы имеем искажение оригинала при копировании. Попытки расшифровать эту карту и представить ее в принятой ныне проекции продолжаются и сейчас.

[41] Сюзеренитет Османской империи над Алжиром был установлен в 1520 г. Активные турецкие завоевания в Средиземноморье начались при султане Селиме I Грозном (между 1467 и 1470—1520, султан с 1512 г.), тогда как до этого османы были заняты внутренними распрями и, главное, окончательным покорением и умиротворением Балканского полуострова. Испания же первую успешную попытку закрепиться на африканском берегу предприняла в 1497 г.

[42] Гранадский эмират был полностью завоеван испанцами в 1491 г., Гранада капитулировала 2 января 1492 г. Крымское ханство выделилось из Золотой Орды в 1443 г. и приняло турецкий протекторат в 1475 г.

[43] Колумб отплыл из Палоса на берегу Кадисского залива Атлантического океана 3 сентября 1492 г. и во время своего первого путешествия (1492—1493) открыл Багамские острова, Испаньолу (правильнее — Эспаньолу, т. е. «Маленькую Испанию», как он назвал остров, ныне носящий аборигенное название Гаити) и Кубу.

[44] Католические Величества — официальное титулование испанских монархов с кон. XV в. Здесь имеются в виду Изабелла (1451—1504), королева Кастилии с 1474 г., и Фердинанд II (1452—1516), король Арагона с 1479 г. Их брак в 1469 г. стал предпосылкой объединения государств Иберийского полуострова (кроме Португалии) в единую Испанию. Характерно, что царствующую чету называли по-испански *los reyes catholicos* — «католические короли», т. е. Изабелла тоже считалась как бы королем. Следует отметить, что Колумб обращался со своим планом достичь Индий (именно так, во множественном числе, ибо Индиями называли вообще земли вокруг Индийского океана) с Запада к разным монархам — Испании, Франции, Португалии, даже Англии. Впервые к испанскому правительству он обратился в 1484 г.

[45] Предположение Тойнби сомнительно. В описываемое время в Османской империи не строились корабли, способные пересечь Атлантику; Колумб, охваченный идеей распространения христианства по всему миру, вряд ли пошел бы на службу к мусульманам.

[46] Германский император Вильгельм II (1859—1941, император в 1888—1918 гг.) после свержения жил в Нидерландах, но продолжал пользоваться определенной популярностью среди соотечественников. Гитлер усиленно заигрывал с монархистами и свергнутым императором, хотя и действовал весьма двусмысленно. 27 января 1934 г. он официально поздравил бывшего монарха с 75-летием, а 11 февраля запретил все монархические организации.

[47] В описываемое время Герман Геринг (1893—1946) был министром-президентом (т. е. премьер-министром) Пруссии и председателем рейхстага.

[48] Quam celerrime (*лат.*) — «как можно быстрее».



22. ЛЕКЦИЯ ГИТЛЕРА

[1] Чарльз Кингсли Вебстер (Уэбстер; 1886—1961) — британский историк, специалист по истории британской внешней политики.

[2] Фридрих (Фриц) Йозеф Бербер (1898—1980) — немецкий юрист и правовед.

[3] Иоахим Риббентроп (1893—1946) — германский государственный деятель, с 1933 г. глава внешнеполитического бюро Национал-социалистической партии, с 1936 г. — посол Германии в Великобритании, в 1938—1945 гг. — министр иностранных дел нацистской Германии, приговорен Нюрнбергским трибуналом к смертной казни.

[4] Турн-и-Таксис — старинная немецкая княжеская фамилия. Представители этого дома еще в 1515 г. учредили первую почту в Священной Римской империи, а с 1595 г. стали наследственными директорами имперской почты и пребывали в этом качестве до 1806 г.; с 1815 г. по 1918 г. являлись прусскими владетельными князьями.

[5] Альбрехт Мендельсон-Бартольди (1884—1936) — немецкий политолог.

[6] Führerwörter (*нем.*) — «слово фюрера».

[7] По условиям Версальского договора в Германии по обеим сторонам Рейна устанавливалась демилитаризованная зона, в которой Германия не могла держать вооруженные силы, возводить укрепления и т. п. 7 марта 1936 г. Гитлер приказал ввести туда войска. Кстати сказать, это было не первое открытое нарушение Германией статей Версальского договора. Годом ранее, в марте 1935 г. германское правительство отказалось соблюдать ограничения на численность вооруженных сил, отменило принцип добровольного найма на военную службу и стало комплектовать новую армию (вермахт) на основе всеобщей воинской повинности.

[8] Константин Нейрат (1873—1956) — германский государственный деятель, министр иностранных дел в 1932—1938 гг., в 1939—1940 гг. — протектор Богемии и Моравии, в 1946 г. на Нюрнбергском процессе осужден на 15 лет, в 1954 г. освобожден по состоянию здоровья.

[9] Ханс Генрих Дикхоф (1884—1952) — немецкий дипломат.

[10] Шмидт Пауль Отто (1899—1970) — немецкий дипломат, в 1935—45 гг. являлся личным переводчиком Гитлера во время его встреч с иностранными правительственными делегациями.

[11] Сингапур, тогда колония Великобритании, ее главная военно-морская база в Юго-Восточной Азии, был захвачен японскими союзниками Германии 15 февраля 1942 г.

[12] Авары — тюркоязычный этнос, в VI в. вторгнувшийся в Европу. В бывшей римской провинции Паннонии (приблизительно нынешняя Венгрия и приграничные территории сопредельных государств) они основали протогосударство (Аварский каганат), откуда совершали набеги на славянские и германские земли и даже Италию, некоторые территории облагали данью. Конец Аварскому каганату положили не Меровинги, династия франкских королей в 481—751 гг., а их преемники — Каролинги (познания Гитлера, при всей их обширности, не отличались ни глубиной, ни точностью). В 791 г. Карл Великий (742—814, король франков с 768 г., император с 800 г.) вторгся во владения авар, захватил их укрепленный пункт (юрт) на месте нынешнего Венского леса и преследовал их до места впадения реки Раба в Дунай. В 796 г. сын Карла Великого, король Италии Пипин (777—810, король с 781 г.) окончательно разгромил авар.

[13] В описываемое время (1936 г.) Мао Цзэдун (1893—1976) был всего лишь одним из лидеров компартии Китая. Другое дело, что уже после смерти Сталина, после обострения отношений между КНР и СССР (ср. «Постижение истории», т. 12, «Место России в истории», примеч. 16) именно Мао (и руководимая им компартия) претендовал на роль вождя мирового коммунистического и, особенно, национально-освободительного, антиколониального движения.

[14] Имеется в виду итало-эфиопская война 1935—1936 гг., когда большинство европейских демократий, хотя и осудили Италию, выступили в Лиге Наций против введения любых санкций по отношению к агрессору.

[15] Гитлер либо лгал Тойнби в глаза (что вполне вероятно), либо изменил свое мнение после начала войны с Советским Союзом. По более или менее официальным германским планам послевоенного устройства мира (эти планы и обнародовались публично, и были предметом закрытых обсуждений), на оккупированных территориях СССР вплоть до Урала предполагалось создать несколько особо управляемых округов (рейхскомиссариатов). Эти округа должны были служить объектом немецкой колонизации с наделением колонистов крупными земельными участками безвозмездно. Местное население, очищенное, разумеется, от «еврейского элемента», должно было являться практически бесплатной рабочей силой на фактически рабском положении. Дабы удержать это население в покорности, предполагалось лишить его всякого образования (советская научная и творческая интеллигенция подлежала полному истреблению), разве что предполагаемые надсмотрщики (лица с некоторой долей «арийской крови») могли окончить начальную школу. Что же касается земель к востоку от Урала, то здесь дело сложнее. По опять же более или менее официальным данным, Германия предполагала отдать после победы Сибирь и Дальний Восток своему союзнику — Японии. Однако из частных высказываний фюрера, воспроизведенных мемуаристами, следует: он считал, что

наилучшим решением будет вялотекущая война за Уралом с ослабленным, но сохранившимся Советским Союзом. Эта война будет держать Германию в постоянном напряжении, не даст ей расслабиться, станет лучшей школой для вермахта, позволит вырастить достойное поколение истинно немецкой молодежи.

[16] Речь идет о т. наз. «ночи длинных ножей», истреблении верхушки командования штурмовых отрядов (СА — т. е. Sturm Abteilung) (партийной милиции) во главе со старым соратником Гитлера, членом нацистской партии с момента основания, начальником штаба штурмовых отрядов Эрнстом Ремом (1887—1934). По официальной версии, Рем пытался поднять мятеж, чтобы самому стать фюрером. Некоторые исследователи полагают, что Рем действительно хотел совершить переворот, однако, скорее, внутрипартийный и стать вторым (но не первым) лицом в партии и государстве, официальным заместителем и преемником Гитлера. Другие настаивают на том, что финансово-промышленная элита Германии, поддержавшая Гитлера, с подозрением относилась к штурмовикам, многие из которых, будучи выходцами их низших и средних слоев общества, принадлежали к т. наз. «левым» нацистам, настроенным антикапиталистически. Третьи утверждают, что причиной «ночи длинных ножей» было давление германского генералитета на Гитлера, ибо Рем не раз заявлял о том, что костяком «возрождающейся» германской армии должны стать именно штурмовые отряды. Рем действительно был расстрелян по личному указанию Гитлера, но рассказ о том, что фюрер присутствовал при казни или даже сам в ней участвовал, скорее всего, вымысел.

[17] Имеется в виду Берлинский конгресс 1878 г., созванный по инициативе Великобритании и Австро-Венгрии для пересмотра условий Сан-Стефанского мира, завершившего русско-турецкую войну 1877—1878 гг. Кроме указанных стран в конгрессе участвовали Россия, Италия, Франция и Турция (германская делегация присутствовала в качестве наблюдателя). Большинство держав боялись усиления российского влияния на Балканах, и под их давлением Россия пошла на уступки. Главным противником Российской империи был премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли (Диззи — его весьма популярное фамильярное прозвище), граф Биконсфилд (1804—1881), лидер Консервативной партии, кстати сказать, этнический еврей. Бисмарк на этом конгрессе занимал примирительную позицию, ибо не желал крупных потрясений в Европе, после того как ему удалось объединить Германию и создать Германскую империю (Второй Рейх). Ср. «Пережитое», ч. II, гл. 2, примеч. 6.

[18] Der alte Jude, das ist der Mann (*нем.*) — «Старый еврей — это человек».

[19] Имеется в виду съезд Национал-социалистической Германской рабочей партии (НСДАП — аббревиатура немецкого названия) в Нюрнберге в 1934 г. На этом съезде были приняты т. наз. «нюрнбергские законы», знаменовавшие начало «окончательного решения еврейского вопроса», т. е. переход от политики ограничения евреев в правах, вытеснения их из экономической и общественной жизни к политике прямого уничтожения. Этому съезду был посвящен вышедший на экраны в том же году документальный фильм режиссера Лени Рифеншталь (род. 1902) «Триумф воли». Современные историки кино в большинстве считают этот фильм никак не пустым и трескучим пропагандистским трюком, но полагают его

шедевром кинодокументалистики, где, впрочем, с огромной художественной силой воспевается и поэтизируется человеконенавистническая идеология. Сама Л. Рифеншталь, после Второй мировой войны надолго подвергнувшаяся остракизму и перешедшая на склоне лет к подводным съемкам, доныне настаивает на том, что делала этот фильм с искренним чувством любви и восхищения к Гитлеру и нацизму, не понимая, чем это обернется впоследствии.

[20] Далем — район Берлина.

[21] План Хора–Лаваля — см. «Пережитое», ч. I, гл. 5, примеч. ??.

[22] Линия Зигфрида (название дано не столько в честь героя «Песни о Нибелунгах», сколько по имени главного персонажа вагнеровской оперной тетралогии «Кольцо нибелунга» — любовь Гитлера к Вагнеру была общеизвестной) — пояс долговременных пограничных укреплений на западе Германии от Клеве на границе с Нидерландами до швейцарской границы в районе Базеля; строился в 1936–1940 гг. Эта «линия Зигфрида» должна была стать противовесом «линии Мажино» (название дано по имени военного министра Франции в 1922–1924 гг. Андре Луи Рене Мажино [1877–1932]), системы укреплений на границе с Германией, построенной в 1929–1934 гг. и совершенствовавшейся до 1940 г. Эта линия протянулась от места схождения границ Франции, Люксембурга и Бельгии до г. Бельфор к западу от швейцарской границы. В 1940 г. германские войска через Бельгию просто обошли «линию Мажино» и ударили ей в тыл; вся расположенная там группировка французских войск капитулировала.

[23] Hitler Mädels (*нем.*) — «Гитлеровские девушки». Тойнби не совсем точен. Строго говоря, организации с таким названием не существовало. Еще в 1926 г. при нацистской партии была образована молодежная организация Союз немецкой рабочей молодежи, в 1933 г. переименованная в «Гитлерюгенд» («Гитлеровская молодежь»). В марте 1936 г. она была реформирована и разделена на четыре секции по возрастному и половому признакам: собственно «Гитлерюгенд» (юноши 14–18 лет), Союз немецких девушек (девушки 14–18 лет), Deutsche Jungvolk (букв. «Немецкий молодой народ») (мальчики 10–14 лет) и Deutsche Jungmädelbund (букв. «Союз немецких молодых девушек») (девочки 10–14 лет).

[24] Имеется в виду т. наз. «Хрустальная ночь», организованный германскими властями в ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. в процессе «окончательного решения еврейского вопроса» массовый еврейский погром, сопровождавшийся, помимо избиений и убийств (изнасилование еврейских женщин категорически запрещалось в соответствии с расовыми законами), уничтожением принадлежавшей евреям собственности; название акция получила из-за разбитых витрин принадлежавших евреям магазинов. После «Хрустальной ночи» правительство оценило материальный ущерб в миллиард марок и заставило еврейскую общину заплатить эту сумму в казну в качестве как бы компенсации. «Хрустальная ночь» послужила началом массовых депортаций евреев в гетто и лагеря уничтожения.

[25] Вождь салических франков (ветвь народа франков, первоначально обитавшая по берегам (salus — *лат.* «берег») нижнего и, частично, среднего течения Рейна) Хлодвиг (ок. 466–511, вождь с 481 г.) в 486 г. завоевал Северную Галлию (кстати, давно христианизированную), а в 496 г. (называются и другие латы) крестился в Реймсе и крестил свой народ.

Сопровождавшееся насильственным крещением завоевание Карлом Великим Саксонии (она не представляла собой единого государства и никогда не входила в римские владения) происходило в 772—804 гг.

[26] Тысячелетний рейх — самопрозвание (оно поддерживалось официальной пропагандой) Третьего рейха; явная аллюзия на Тысячелетнее Царство Божие.

[27] Создание в западной оккупационной зоне Германии Федеративной Республики Германии произошло 7 сентября 1949 г., хотя конституция этого государства была официально обнародована 23 мая того же года.



23. ШРИ ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ

[1] За свое участие в антибританской деятельности Неру неоднократно попадал в тюрьму (в общей сложности он просидел более 10 лет). Здесь имеется в виду его арест в 1932 г.

[2] Традиционно считается, что Дели возник из слияния семи городов, главным из которых был Шахджеханабад (т.е. Город Шах-Джехана). Шах-Джехан (1592—1666) — правитель империи Великих Моголов в 1627—1658 гг.

[3] Маулана Абул Калам Азад (1888—1958) — деятель индийского национально-освободительного движения, мусульманин, сторонник индусско-мусульманского единства.

[4] Мухаммед Али Джинна (1876—1948) — деятель индийского национально-освободительного движения, лидер (с 1934 г.) Мусульманской лиги Индии, сторонник разделения Британской Индии на Индию и Пакистан, первый генерал-губернатор Пакистана с 1947 г. (в 1947—1950 гг. Пакистан был британским доминионом).

[5] Конфликт между Индией и Китаем из-за пограничных территорий в районе Тибетского нагорья вспыхнул сентябре 1959 г., причем в октябре—ноябре 1962 г. он перешел в вооруженные столкновения (соглашение о прекращении огня подписано 22 ноября).



24. ЛОРД СЭМЮЭЛ

[1] Герберт Луис Сэмюэл (1870—1963) — британский политический деятель, либерал, член Парламента с 1902 г., британский верховный комиссар Палестины в 1920—1925 гг., лорд с 1937 г.

[2] Имеется в виду Декларация Бальфура (см. выше), которую можно было трактовать по-разному — как обещание создать особое еврейское государство либо национально-религиозный очаг под протекторатом Великобритании; кроме того, палестинские арабы были против национального очага евреев в любой форме.

[3] В 1929 г. в Палестине вспыхнуло массовое антиеврейское движение арабов, вылившееся в вооруженные столкновения в т. ч. с британскими колониальными властями. Впрочем, столкновения 1929 г. были лишь самыми сильными, более слабые имели место в 1920, 1921 и 1928 гг. В Си-

рии вспышки недовольства и выступления против французского мандата были в 1920, 1922 и 1925 гг. Здесь, скорее всего, имеется в виду восстание друзов (см. «Постижение истории», т. 9, «Контакты между цивилизациями в пространстве», примеч. 3), живших в горной области Джебель-Друз на юге Сирии и пользовавшихся определенной автономией в составе Османской империи. Французские власти даже заключили в 1921 г. с друзами соглашение о будущей независимости Джебель-Друза, но не торопились его выполнять. Это вызвало восстания 1922 и 1925–1926 гг., причем последнее распространилось по всей Сирии и вылилось в общесирийское вооруженное восстание против французских властей вообще.

[4] После отставки правительства Ллойд-Джорджа в 1922 г. Либеральная партия раскололась на две (или три) группировки (формально парламентская фракция партии оставалась единой): сторонники Ллойд-Джорджа, выступавшие за независимость партии, невхождение ее ни в какие коалиции (впрочем, среди них были и сторонники союза с консерваторами, но эта группа не оформилась организационно), и т. наз. «левые либералы», ратовавшие за тесные связи с лейбористами.

[5] Имеется в виду Барбара Сэмюэл (1876–1959), урожденная Франклин, супруга лорда (впрочем, тогда он еще таковым не был) Сэмюэла в 1897 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЖИТОЕ

(перевод М. Ф. Носовой)

Предисловие 7

Часть первая. СУДЬБЫ

1. Отъезд в школу 9
2. Три греческих образования 16
3. Август 1914-го 48
4. Две Парижские мирные конференции 52
5. Тридцать три года в Четем-Хаусе 62
6. Почему и как я работаю?
   (I) Почему? 86
   (II) Как? 89
7. Янус в семьдесят пять 101
8. Другое дело
   (I) Конец программы (22 февраля 1966 года) 107
   (II) Смерть 112
   (III) Потеря разума до физической смерти 115
   (IV) Утраты 116
   (V) Лицом к лицу с самим собой 117
   (VI) Лицом к лицу со старостью 118
9. Религия: во что я верю и во что не верю
   (I) Субъективность религиозного опыта 119
   (II) Моя неспособность сдать экзамен на религиозную ортодоксальность 123
   (III) Пределы моего агностицизма 136
   (IV) Любовь есть Бог 137
   (V) Любовь не всемогуща 138
   (VI) Непостижимость всемогущества 139
   (VII) Порок во Вселенной 140
   (VIII) Болезнь в Человеке: грех и совесть 142
   (IX) Борьба Человека за преодоление эгоцентризма 144
   (X) Любовь и совесть как индикаторы характера конечной реальности 147
   (XI) Конечная реальность — это не Альфа и Омега 151
   (XII) Любовь: самоцельность и самоценность 154

Приложение
   Противоречия в Молитве Господней 157
   Агностицизм: для родителей — проблема, для детей — загадка ... 158

Действенность молитвы, обращенной к Богу, во всемогущество которого не веришь 160
Неизбежность и неадекватность антропоморфизма 162

Часть вторая. ЛЮДСКИЕ ДЕЛА НА ПРОТЯЖЕНИИ МОЕЙ ЖИЗНИ

1. Людские дела и человеческая природа 168
2. Викторианская иллюзия стабильности разбивается вдребезги 172
3. Война: изменения в ее характере и в отношении к ней людей ... 186
4. Борьба между гуманизмом и бесчеловечностью
(I) Раскол по поводу войны как классический случай общего нравственного конфликта 214
(II) Гуманизм против геноцида, этнической чистки и апартеида 215
(III) Диаспора, наказанная или господствующая 225
(IV) Западноевропейская деколонизация и новые колониальные империи 230
(V) Появление государства всеобщего благосостояния 237
5. Наука и технология: во благо или во зло? 239
6. Перетягивание каната 253
7. Ветер перемен в религии 262
8. Непредвиденные последствия
(I) Головы гидры 269
(II) Ответный удар целебных лекарств 270
(III) Социальная цела новой технологии на фермах в штате Айова 270
(IV) Политический и экономический неоколониализм 272
(V) Графа дебета на счету Британского Содружества 273
9. Посмертная повестка дня 276

МОИ ВСТРЕЧИ

(перевод Н. А. Кудашевой)

Предисловие автора 287

1. Дядя Гарри 289
2. Тетушка Шарли 307
3. Монтегю Джон Рендалл 322
4. Семья Марголиус 327
5. Сэр Альфред Циммерн 332
6. Сэр Льюис Неймир 343
7. Семья Тоуни 365

8. Хэммонды 373
9. Уэббы 384
10. Лайонел Кертис 403
11. Лорд Брайс 421
12. Сэр Джеймс Хедлэм-Морли 432
13. Фельдмаршал Ян Сматс 439
14. Полковник Т. Э. Лоуренс 447
15. Профессор У. Л. Вестерман 465
16. Чарльз Р. Крейн 474
17. Семья Мейендорф 486
18. С. П. Скотт 492
19. Мои турецкие друзья 495
20. Профессор Лютославский 514
21. Бонн при нацистах 522
22. Лекция Гитлера 534
23. Шри Джавахарлал Неру 552
24. Лорд Сэмюэл 557

НАУЧНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Пережитое 560
Мои встречи 598

По вопросам оптовых закупок обращаться:
тел./факс: (095) 785-15-30, e-mail: trade@airis.ru
Адрес: Москва, пр. Мира, 106

Наш сайт: www.airis.ru

Вы можете приобрести наши книги
с 11⁰⁰ до 17³⁰, кроме субботы, воскресенья,
в киоске по адресу: пр. Мира, д. 106, тел. 785-15-30

Адрес редакции: 129626, Москва, а/я 66

Издательство «Айрис-пресс» приглашает к сотрудничеству
авторов образовательной и развивающей литературы.
По всем вопросам обращаться
по тел.: (095) 785-15-33, e-mail: editor@airis.ru

Документально-художественное издание

Тойнби Арнольд Джозеф

ПЕРЕЖИТОЕ.
МОИ ВСТРЕЧИ

Ведущий редактор *Е. М. Гончарова*
Редактор *Н. И. Колышкина*
Художественный редактор *А. М. Драговой*
Технический редактор *С. С. Коломеец*
Компьютерная верстка *Г. В. Доронина*
Корректор *З. А. Тихонова*

Подписано в печать 09.07.03. Бумага офсетная.
Формат 60×90/16. Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная
Печ. л. 42. Усл. печ. л. 42. Тираж 5000 экз. Заказ № 281

ООО «Издательство “Айрис-пресс”»
113184, Москва, ул. Б. Полянка, д. 50, стр. 3.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

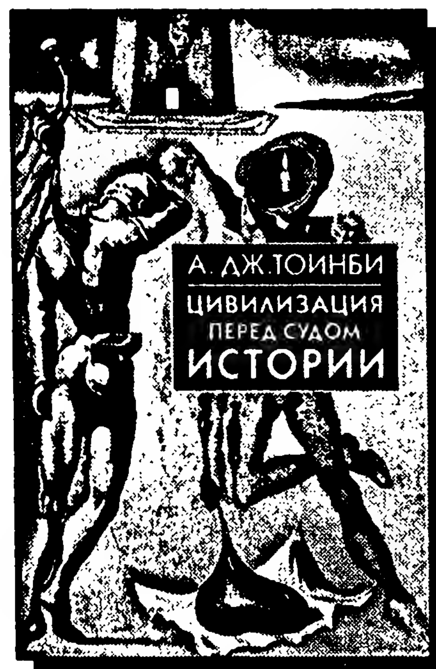
БИБЛИОТЕКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ



А. Дж. Тойнби
Постижение истории

В сборник включены материалы первых семи томов капитального труда классика английской исторической науки А. Дж. Тойнби «Постижение истории», посвященные теории и сравнительной истории локальных цивилизаций.
640 с., переплет

А. Дж. Тойнби
Цивилизация перед судом истории: Сборник



В сборник включены завершающие тома трактата А. Дж. Тойнби «Постижение истории», в том числе наиболее актуальные фрагменты тома 12 «Переосмысленное», освещающие роль ислама, мирового еврейства и России в развитии человечества и впервые переведенные на русский язык. В книгу вошли также два близких по тематике произведения Тойнби — «Цивилизация перед судом истории» и «Мир и Запад», которые посвящены, главным образом, проблемам столкновения цивилизаций в современную эпоху и мировой экспансии Запада.

592 с., переплет

ИЗДАТЕЛЬСТВО АЙРИС-ПРЕСС

БИБЛИОТЕКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ



О. Шпенглер
Закат Европы: Том первый
Перевод И. И. Маханькова

Впервые оба тома знаменитого трактата немецкого историософа и культуролога Освальда Шпенглера «Закат Европы» выходят в едином переработанном и выверенном переводе. В начале 20-х годов XX в. эти книги буквально шокировали мировую общественность неординарностью взгляда на закономерности исторического развития человечества, ибо автор отрицал не только устоявшуюся концепцию прямолинейного прогресса, но и эволюционную теорию Дарвина. Произведение Шпенглера отнюдь не утратило своей актуальности, ибо названные концепции попрежнему господствуют в мире. Первый том посвящен преимущественно вопросам искусства и науки, выявлению закономерностей культурно-исторического процесса.

528 с., переплет

О. Шпенглер
Закат Европы: Том второй
Перевод И. И. Маханькова



Второй том знаменитого произведения О. Шпенглера «Запад на закате» (в традиционном переводе — «Закат Европы») посвящен анализу ранее выделенных автором типов культур с точки зрения религии и политики. Глубоко символично, что новое русское издание этого классического труда выходит в начале 3-го тысячелетия, в котором, по мнению О. Шпенглера, Россию ждет необыкновенный взлет: должна завершиться предыстория и начаться ранняя история.

624 с., переплет

ИЗДАТЕЛЬСТВО АЙРИС-ПРЕСС 

БИБЛИОТЕКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ



Л.Н. Гумилев

Чтобы свеча не погасла: Сборник эссе, интервью, стихотворений, переводов

Десятая книга сочинений Л. Н. Гумилева вышла к 90-летнему юбилею ученого, отмечавшегося 1 октября 2002 года. Книга включает диалоги и интервью, посвященные проблемам русской истории и сохранения отечественного культурного и государственного достояния, статьи по искусствоведению и истории религий.

Заключительные разделы книги посвящены поэтическому наследию выдающегося ученого: это в большинстве своем впервые публикуемые стихотворения 1930-х годов, поэтические размышления 1980-х, две пьесы в стихах (которые автор много лет сохранял в памяти), а также собранные из редких ныне поэтических сборников переводы Л. Н. Гумилева с персидского и других восточных языков.

560 с., + вклейка, переплет

ИЗДАТЕЛЬСТВО АЙРИС-ПРЕСС

Тойнби А. Дж.
Пережитое. Мои встречи

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Издательство «Айрис-пресс» хотело бы узнать Ваше мнение об этой книге. Заполнив анкету и отправив в издательство по адресу 129626, г. Москва, а/я 66, Вы имеете шанс выиграть одну из 100 книг издательства на Ваш выбор. Каждая двадцатая анкета выигрывает!

Анкета

1. Ф. И. О. ______________________________
2. Индекс и почтовый адрес ______________________________
____
3. Ваш возраст – ______________________________
4. Укажите род вашей деятельности ______________________________
5. Когда Вы (примерно) купили эту книгу и по какой цене
____
6. Отметьте, пожалуйста, три наиболее важных фактора, которые повлияли на Ваше решение приобрести эту книгу
   - Оформление обложки
   - Известность автора
   - Известность серии
   - Качество полиграфии
   - Цена книги
   - Оглавление
   - Наличие иллюстраций или цветной вклейки
   - Другое (укажите, пожалуйста) – ______________________________
____
7. Как Вы впервые узнали об этой книге
   - Порекомендовали продавцы книжного магазина
   - Порекомендовали друзья или сослуживцы
   - Увидел впервые в книжном магазине
   - Порекомендовали преподаватели (учителя)
   - Увидел информацию о книге (укажите, где)
____
8. Что Вам понравилось (не понравилось) в этой книге
____
9. Какие новые книги Вы хотели бы увидеть в серии «Библиотека истории и культуры»
____

НАШИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

Воронеж	◆ **ООО «Амиталь»** (0732) 23-63-26 **e-mail:** mail@amital.vrn.ru Воронеж, ул. 25-го января, д. 28
Екатеринбург	◆ **ООО «Алис»** (3432) 55-10-06 **e-mail:** alis@mail.ur.ru Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 137
Иркутск	◆ **ООО «ПродаЛитЪ»** (3952) 59-13-80 **e-mail:** prodalit@irk.ru Иркутск, ул. Байкальская, д. 172
Казань	◆ **ООО «Аист-Пресс»** (8432) 43-60-31 **e-mail:** astp@kai.ru Казань, ул. Декабристов, д. 182
	◆ **ООО «Таис»** (8432) 72-27-82, 72-34-55 **e-mail:** tais@bancorp.ru Казань, ул. Гвардейская, д. 9а
Красноярск	◆ **ООО «Литэкс»** (3912) 55-50-35/36/37 **e-mail:** mail@litex.ru Красноярск, ул. Дудинская, д. 3а
Краснодар	◆ **ООО «Букпресс»** (8612) 62-55-48 **e-mail:** dges@mail.kuban.ru Краснодар, ул. Товарная, 5
Минск	◆ **ООО «Современное слово»** (10-375-172) 42-07-52, 38-38-52 **e-mail:** newbook@tut.by Минск, ул. Центральная, 14
Новосибирск	◆ **ООО «Топ-книга»** (3832) 36-10-28, 26-62-39 **e-mail:** office@top-kniga.ru Новосибирск, ул. Арбузова, д. 1/1
Пермь	◆ **ООО «Азбука+»** (3422) 64-12-26 e-mail: azb_plus@perm.raid.ru Пермь, ул. Героев Хасана, д. 10
Ростов-на-Дону	◆ **ООО «Алтай»** (8632) 44-10-92, 62-37-95 **e-mail:** altay@info-don.ru Ростов-на-Дону, ул. Соборная, д. 26
Санкт-Петербург	◆ **ООО «Оникс-С»** (812) 520-61-57 **e-mail:** onyx@mail.axon.ru Санкт-Петербург, пр. Передовиков, 13/2
Тюмень	◆ **ООО «Фолиант»** (3452) 27-36-06, 27-36-11 **e-mail:** foliant@tyumen.ru Тюмень, ул. Харьковская, д. 83а
Хабаровск	◆ **ООО «Мирс»** (4212) 23-54-47 **e-mail:** sale_book@bookmirs.khv.ru Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 21
Челябинск	◆ **ООО «ИнтерСервис ЛТД»** (3512) 21-33-74 **e-mail:** intser@chel.surnet.ru Челябинск, Свердловский тракт, д. 14
Южно-Сахалинск	◆ **ООО «Эврика-Трейд»** (4242) 79-64-33 Южно-Сахалинск, НПР Новоалександровск, ул. Советская, д. 104

«…мне было суждено стать свидетелем
ранних стадий мирового кризиса,
который начался в 1914 году
и который с тех пор неуклонно набирает силу и скорость.
Едва ли я доживу до развязки, но перед моим взором
развернулось уже достаточно много
актов этой исторической драмы,
чтобы захотелось попробовать составить
предварительный баланс мировых событий,
свершившихся за годы моей жизни»

А. ДЖ. ТОЙНБИ

"ДОМ КНИГИ" 190.00



Тойнби А.Дж. Пережитое. Мои встречи

АЙРИС ПРЕСС